МАРКИЗ ДЕ САД

МОРИС ЛЕВЕР

ЛАДОМИР

МОРИС ЛЕВЕР

МАРКИЗ ДЕ САД

MOURICE LEVER

DONATIEN ALPHONSE FRANÇOIS, MARQUIS DE SADE

Fayard

МОРИС ЛЕВЕР

ДОНАСЬЕН АЛЬФОНС ФРАНСУА МАРКИЗ ДЕ САД



Научно-издательский центр
«Ладомир»
Москва

ИЗДАНИЕ ВЫПУЩЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ФРАНЦИИ И НАЦИОНАЛЬНОГО КНИЖНОГО ЦЕНТРА

OUVRAGE PUBLIÉ AVEC LE CONCOURS
DU MINISTÈRE FRANÇAIS CHARGÉ DE LA CULTURE – CENTRE NATIONAL DU LIVRE

Перевод с французского
Е.В. Морозовой

Стихи в переводе
О.Г. Воздвиженской

Иллюстрации
(выполнены специально для настоящего издания)
А.В. Павленко

ISBN 5-86218-463-5



Посвящается Эвелин

На вершине одиночества
Жалобно и грозно звенит неведомое.

Жильбер Лели. Мое окружение

ПРЕДИСЛОВИЕ

Если бы не содействие, дружеская поддержка и великодушие Ксавье де Сада и его сына Тибо, книга эта никогда бы не увидела свет. Исследователи-садоведы прекрасно знают, в каком они неоплатном долгу перед потомками «божественного маркиза». Именно благодаря графу де Саду введена в обиход значительная часть творческого наследия его великого предка. Без помощи этих двух людей Жильбер Лели вряд ли составил бы известный нам библиографический корпус и подлинный облик автора «Жюстины» до сих пор оставался бы сокрытым от читателя. Расположение Ксавье и Тибо де Садов я испытал и на себе, за что выражаю им величайшую благодарность. В мое распоряжение были предоставлены все семейные архивы, семейная переписка и ряд неизданных документов, позволяющих совершенно по-новому взглянуть на жизнь маркиза де Сада.

Перед тем как сдать книгу в печать, я обратился за консультациями в Центр изучения XVII–XVIII вв. (CNRS – Sorbonne), где получил поистине бесценную помощь; столь же необходимой была для меня и поддержка членов моей команды под названием «САД», среди которых хотелось бы выделить Алена Мотю, ежедневно выполнявшего без преувеличения титаническую работу. За это я сердечно благодарю его.

Горячую признательность хочу выразить и всем музейным работникам, коллекционерам, коллегам и друзьям, поделившимся со мной своими знаниями, необходимой информацией, давшим бесценные советы и открывшим доступ к архивам. Моя особая благодарность мадам Анни Ангреми, сотруднице отдела рукописей Национальной библиотеки, маркизу д'Аржансону, а также Франсуа д'Аржансону, Пьеру Ассулину, Жозефу Барри, доктору Люку Бертрану, Оливье Блану и Тьери Бодену, маркизу де Бретейлю, Жан-Полю Клеберу, Алену и Беатрис Демаре, главному смотрителю архивов Франции Мишелю Дюшену, а также Жоржу Феста, графу Кристиану де Флерье, доктору Пьеру Флотту, бывшему мэру Дравеньи Даниэлю Юбье, профессору Нилу Джонсону из Гуэлфского университета (Онтарио), графологу Катрин де Ланглад и Розалин Лаплас, научному сотруднику Французского центра научных исследований, директору муниципальных архивов Версаля Ле Мейнену, Жану Лекоку, мэру Дравеньи, фермеру из Лонжевиля (Эн) Пьеру Мае, профессору Дижонского университета Франсуа Моро, сотруднице кабинета рисунков Луврского музея Мадлен Пино, Кристофу Пенсмаю, Женевьеве Рейн, директору по науке Национального центра научных исследований Филиппу Роже, профес-

сору Саррского университета доктору Йохану Шлобаху, директору архивной службы департамента Эн Сесили Сушон, а также Колетт Вальтер.

Еще хотелось бы отдать должное щедрости двух друзей-коллекционеров, позволивших мне (при условии, что имена их не будут названы) воспользоваться многочисленными оригиналами уникальных писем.

Наконец, огромная благодарность Франсуазе за помощь в подготовке аппарата этой книги.

Морис Левер

ПРОЛОГ

Звезда с восемью золотыми лучами

История дома де Сад полна легенд. Само возникновение рода уже чудо, ибо, согласно преданию, основателем его считается один из волхвов. В своей «Истории Прованса» Сезар де Ностредам утверждает, будто где-то вычитал, что де Сады – прямые потомки князей Бausских, предками своими считавших балтов, но не обитателей побережья Балтийского моря, а людей из дерзкого рода Ардисов, про́клятых отпрысков вестготского семейства. Во всяком случае, сеньоры Бausские имели на своем гербе звезду с шестнадцатью лучами – таинственную комету, происхождение которой знатоки геральдики так и не определили. Согласно народным поверьям, это звезда Бальтазара, одного из трех волхвов, чьими потомками также считают себя князья Бausские. Однако эта же звезда – и символ цыган из Сент-Мари-де-ла-Мер, пришедших с Востока. Для провансальцев сомнений не было: Бальтазар побывал в Провансе, в Бо. Но когда? Как он туда попал? Загадка.

Следуя за рассуждениями Ностредама, звезда эта, убавив половину своих лучей, «распределилась на разных гербах», дабы отличать старшие ветви семейства от младших. Таково возможное объяснение происхождения герба де Садов – звезды с восемью золотыми лучами на красном фоне. Разумеется, никто никогда не воспринимал всерьез эти сказки: Ностредам слишком их любил. Тем не менее упоминание о волхвах сохранилось в семейной памяти: на генеалогическом древе можно найти немало Каспаров, несколько Бальтазаров... но ни одного Мельхиора.

Еще одна легенда связана с именем Луи де Сада, первого представителя рода.

Пастушок Бенезе

В год Божьей милостью 1177-й мальчик по имени Бенезе (иначе малыш Бенуа) пас овечек матушки, когда вдруг послышался голос с неба. Взволнованный пастушок поднял голову.

– Я – Иисус Христос, – произнес голос, – и хочу, чтобы ты оставил свое стадо и отправился строить мост через Рону.

Малыш принялся уверять, что не знает ни где находится река, ни как надо возводить мосты; но голос пообещал руководить работой Бенезе, а к стаду приставить другого пастушка. Бенезе отправился в путь и вскоре встретил ангела, переодетого паломником; ангел привел его на берега Роны.

— Возьми лодку, — велел паломник, — и переправься на тот берег. Затем иди в Авиньон и явись к епископу и его пастве.

Перебравшись на другой берег, мальчик отыскал прелата: тот как раз собирался читать проповедь. Прелат посмеялся над ним и отправил к городскому прево, отличавшемуся суровым нравом; тот, в свою очередь, тоже поднял малыша на смех.

— Хочешь, покажу тебе камни, из которых построен мой дворец? — предложил он. — Сдвинь с места хоть один, тогда поверю, что тебе под силу построить мост.

Довольный Бенезе вернулся к епископу и сказал, что готов пройти испытание.

— Что ж, пойдем посмотрим, — согласился епископ.

За ними последовали и прихожане.

Бенезе взял камень, который тридцать человек не могли даже приподнять, отнес на берег и опустил там, где надлежало возвести первую арку моста. Восхищенные и изумленные прихожане тотчас собрали деньги, чтобы мальчик без промедления приступил к работе. Знаменитый Авиньонский мост был построен меньше чем за десять лет.

За легендарной фигурой пастушка Бенезе на самом деле скрывается первый известный представитель семейства де Сад Луи де Сад, бывший в 1177 году авиньонским вигье, финансировавшим строительство моста. Его потомки считали делом чести поддерживать мост в хорошем состоянии и ремонтировать по мере надобности. В 1355 году Юг де Сад завещал на ремонт моста две тысячи золотых флоринов. Поэтому под первым пролетом моста до сих пор можно видеть выбитый в камне герб де Садов[1].

Конопля и соль

Род де Сад, именуемый в старинных грамотах де Садо (Sado), де Садоне (Sadone), а иногда даже де Саз (Saze) или де Соз (Sauze), принадлежит к старейшим родам Прованса и Конта Венэссена. Согласно Ремервилю, историку из города Апта, кропотливому исследователю происхождения знатных семейств, род этот берет свое название от маленького городка Саз (Saze) в Лангедоке, расположенного на берегу Роны, в двух лье от Авиньона[2]. Если верить старинным документам, неподалеку от Саза было еще одно владение, называвшееся Рошфор-де-Сад (Rupis-Fortis de Sadone). Очень быстро семейство разделилось на несколько ветвей. Так появились сеньоры Сомон, Эгийер, Мазан, Романиль, Лагуа, Гула, Бошан, Вордон...

Юг де Сад, первое упоминание о котором восходит к 1298 году, занимался ремеслом коноплянщика (chenevassier), то есть изготовлял коноплянное волокно, что в те времена, когда вокруг Авиньона было множество

конопляных полей, являлось делом весьма прибыльным. Богатство и численность семейства постепенно росли, де Сады совершали новые приобретения и расширяли сферы своей деловой активности: подвизались в строительстве, лесоторговле, пивоварении, приобрели валяльные мельницы, изготовляли веревки и, вероятно, самые разнообразные ткани, включая шелковые. А еще — торговали солью и взимали мостовую пошлину со всех, кто пользовался мостами через Рону. Благодаря богатству и принятой в XIV веке в Авиньоне итальянской модели получения дворянского звания, согласно которой любой купец, арматор или банкир, сославшись на специальную папскую буллу, провозглашавшую торговлю занятием благородным и достойным, легко мог обзавестись титулом и пополнить ряды аристократии, семейство вскоре получило дворянство. Таким образом, Донасьен де Сад, всю жизнь лелеявший феодальный предрассудок относительно чистоты своего высокого происхождения и презрительно относившийся к получившим дворянство буржуа, в значительной степени лицемерил. И хотя дворянство семьи де Сад было на три века старше дворянства семьи Монтрей, само его происхождение, по сути, было одинаковым. Просто за три века ношения титула де Сады добились почестей, которых обычно удостаивались дворяне шпаги, и породнились с наиболее знатными семьями Прованса: Форбенами, Камби, Барбантанами, Симианами, Козанами, Гримальди, Астуо и Крийонами, не считая Медичи и Дориа. Древность дворянства де Садов, престижные браки, должности при папском дворе и дворе графов Провансских, доблестная служба в армии — все это бесспорно обеспечило семье высочайшее положение среди аристократов Конта Венэссена. В Провансе до сих пор сохранилось немало тому свидетельств; в Авиньоне, помимо моста Бенезе, еще недавно была башня де Садов, название которой, со временем исказившееся, звучало как башня де Соз (Sauzes), а также улица де Садов, где стоял фамильный особняк[3].

Таково происхождение сего почтенного семейства. Однако подлинным благородством, благородством, даруемым гениями и амурами, оно обязано поэзии.

Прекрасная Лаура

Знаменитая своими добродетелями и вот уже долгое время воспеваемая мною в стихах, Лаура впервые явилась очам моим, когда я пребывал во цвете юности, а именно в год 1327 от Рождества Христова, 6 апреля, в авиньонской церкви Святой Клары, ранним утром. В этом же городе в тот же день месяца апреля 1348 года она в последний раз узрела дневной свет, а я, увы, тогда находился в Вероне и не знал, какой удар подготовила мне судьба. <...> Тело, целомудренное и прекрасное, было предано земле в тот же самый день, в час вечерни[4].

Эти заметки Франческо Петрарка написал на обороте титульного листа томика Вергилия, хранящегося сегодня в Амброзианской библиотеке в Милане. Сколько раз вспоминал поэт день 6 апреля 1327 года, пришедшийся на понедельник Страстной недели, день, когда в бледном свете раннего утра в часовне Святой Клары он увидел прекрасную Лау-

ру! Призрачное видение, идеальное, бесплотное существо. Рождение страсти, выплеснувшейся исключительно в поэзии. И незаживающая рана, о которой будет поведано в бесчисленных вариациях:

Сияет прелесть, святостью маня,
Еще слова пленительные эти,
Что я боготворю, в душе храня —
Любовь, все это ласковые сети,
В которые в апреле на рассвете
Шестого — уловила ты меня.
В тот год, прелестным ликом покорен,
Я в лабиринт вошел — без края он,
И никогда его мне не покинуть*.

Неутомимый Петрарка окружает Лауру поэтическим венком, где тень соперничает со светом, восторг со страданием, действительность с вымыслом, где счастье и раскаяние, сменяя друг друга, переплетаются в сладостных ламентациях.

Лаура символизирует духовное совершенство: чистоту души, непорочность тела, лицо в ореоле доброты. Однако юная мадонна спускается иногда с алтаря и, приминая травы и цветы, сбрасывает одежды, чтобы погрузиться в светлую воду Сорга. В эти минуты она, оставив жемчужную бледность, обретает живые краски и соблазнительные формы: ласковость взгляда, нежный румянец, прекрасную девичью грудь. И вряд ли при жизни у нее были какие-либо секреты, которые надлежало бы скрывать. Невольно задаешься вопросом: а действительно ли она любила поэта? И чем можно объяснить ее «порядочность»: холодностью, супружеским долгом, осмотрительностью или женским кокетством? Двойственность ее образа нередко побуждает считать Лауру простой аллегорией, воплощением Музы.

Любовь Петрарки также имеет мало общего с человеческой страстью. Это скорее «любовные размышления», сопровождаемые сладостными слезами: «Я один из тех, кому слезы даруют радость», — признается поэт. Однако Петрарке знакомы и иные горести, гораздо более реальные, нежели те, что несет с собой «ночной тоскливый мрак», от которых любое блюдо становится горькой отравой, ночи — мучением, а кровать — полем жестокой битвы. Любимое существо далеко, тревога усиливается; образ Лауры расплывается, истончается в душевных терзаниях, и песня начинает звучать с запредельной искренностью.

Любопытно, что поэт, воспевший во множестве стихов красоту, раздувшую в его душе неугасимое пламя, поэт, который столько пишет о возлюбленной в письмах и воспоминаниях, не только не оставил сведений о ее частной жизни, но даже не сохранил для нас ее фамилию. Он лишь сообщил, что Лаура была почти его ровесницей и происходила из старинного рода. Из какого рода? Историки по-прежнему не пришли

* Основой для стихотворения аббата де Сада послужил CCXI сонет Петрарки из цикла «На жизнь мадонны Лауры».

к единому мнению. Большинство историков-итальянцев — следом за Алессандро Велутелло — утверждают, что Лаура (по-французски имя ее звучит как Лор) была дочерью Анри де Шабо, сеньора де Кабриер[5]. Во Франции, и в частности в окрестностях Авиньона, предание гласит, что с семьей де Сад Лор соединяли брачные узы. В XVIII веке аббат де Сад, кропотливо исследовавший семейные архивы, заявлял вполне категорически: Лор, дочь Одибера де Нов и Эрмессанды, была супругой Юга, второго владельца этого имени в роду де Сад.

Старинный дворянский род де Нов, славный своими предками, которые не раз занимали высокие должности, числился среди знатнейших семейств городка Нов, расположенного в двух лье от Авиньона[6]. Изыскания аббата доказали, что именно Авиньону принадлежит честь быть местом рождения Лауры. «Петрарка не раз упоминает об этом в своих стихах», — утверждает аббат. Синдик Авиньона Одибер де Нов умер около 1320 года, оставив на попечение матери троих детей: сына Жана и двух дочерей — старшую Лор и младшую Маргариту. Согласно завещанию, наследником был объявлен Жан; в приданое же Лор было выделено 6000 турских ливров. Девушка из хорошей семьи, юная, красивая и обладающая немалым приданым, притягивала женихов словно магнит. Эрмессанде оставалось только выбрать подходящего. Выбор она сделала в пользу Юга де Сада, по прозванию «старый», сына Поля де Сада; брачный контракт был подписан 16 января 1325 года. В то время Лор едва исполнилось восемнадцать.

Помимо того, что Лор вдохновила Петрарку на создание самых прекрасных стихов, о ней известно немногое. Видимо, всех интересовала только любовь к ней знаменитого поэта. Тем не менее авторы мемуаров отмечают, что под влиянием тетушки, Этьенетты Гантельми де Романиль, привившей племяннице «прекрасный литературный вкус», Лор стала членом кружка ученых дам, составлявших так называемый авиньонский «Двор любви».

> Участницы кружка сочиняли стихи на любые темы, изощрялись в искусстве провансальской поэзии; среди них были и Этьенетта, графиня Прованская, и Алази, виконтесса Авиньонская, и многие другие провансальские дамы, блиставшие своей ученостью. <...> Они устраивали публичные суды, где обсуждали остроумные сочинения и решали вопросы чести, вежества и куртуазии[7].

Таким образом, прекрасная вдохновительница Петрарки, похоже, также не чуралась поэтической музы и восседала среди других ученых женщин в академии поэзии и куртуазии, каковой являлся «Двор любви». Интересно, не превратилась ли с годами воспетая поэтом дриада в Мольерову Белизу*?

Умерла она 6 апреля 1348 года от чумы, успев тремя днями раньше составить завещание[8]. Лаура распорядилась похоронить себя в Авиньоне, в церкви братьев миноритов, в фамильном склепе часовни Святого Креста.

---

* Белиза — ученая старая дева из комедии Мольера «Ученые женщины» (1672). — *Здесь и далее постраничные примечания принадлежат переводчику.*

Спустя два столетия над ее могилой было совершено двойное надругательство. Сначала поэт Морис Сев, человек широко образованный, общепризнанный вождь лионской школы, в 1529 году приказал вскрыть склеп[9]. Говорят, среди останков он нашел небольшой свинцовый сундучок, содержавший бронзовую медаль и пергаментный свиток. На медали в профиль была изображена женщина, стыдливо прикрывавшая грудь, а на пергаменте обнаружили сонет, автор которого явно подражал Петрарке. В 1533 году король Франциск I, возвращаясь вместе с Екатериной Медичи из Марселя, где был заключен брачный контракт его второго сына, герцога Орлеанского (будущего короля Генриха II), приказал подробно поведать ему «чудесную историю Лауры»; он также пожелал осмотреть, «что осталось от сей беспримерной любви». Увидев медаль, найденную четыре года назад Морисом Севом, и прочитав написанный на пергаменте сонет, он сам сочинил стихотворную эпитафию, поместил оба стихотворения в свинцовый ящичек и приказал замуровать склеп вместе с этим ящичком. Королевские катрены (которые Гуже ошибочно приписывает Клеману Маро) сохранились до наших дней; однако они не добавляют ничего нового к образу монарха, «возродившего изящную словесность»:

Здесь в скромном уголке нашла приют
Та, что весь мир в одной себе вместила.
Слились терпенье, мудрость, страсть и труд
В руках того, чей дух она любила.

Почтенье воздаем душе той милой.
Безмолвье ей — торжественный покров.
Ведь слово отступает перед силой
Того, что выше высказанных слов.

Едва ли следует добавлять, что изложенные здесь факты относятся к сфере воображаемого. Но когда это воображаемое побуждает и государя и поэта задуматься над дивным призраком былой любви и красоты, когда оба, и государь и поэт, вскрывают гробницу, дабы проникнуть в заключенную в ней тайну, выдавая, таким образом, свое смятение перед бренностью человеческих страстей, тогда фантазии говорят нам гораздо больше, чем все ученые трактаты вместе взятые.

* * *

Действительно ли — как гласит легенда — Лаура столь упорно сопротивлялась поэту? Жильбер Лели думает иначе:

Неужели возможно, чтобы юная и трепетная девушка в течение двадцати лет сопротивлялась отчаянным ухаживаниям возлюбленного, вызывавшего восхищение всего христианского мира, да еще в жарком Авиньоне XIV века, городе наслаждений и интриг, где сладострастие процветало повсюду, включая даже женские монастыри? <...> Образ Лауры, отвечающей страстью на страсть, кажется куда более правдоподобным, нежели образ холодной идеальной красавицы, которую наперебой изображают историки, занимающиеся Петраркой[10].

Возможно, это и так. Но созданию образа, развенчанного Лели, более всего способствовал сам автор «Книги песен», жалуясь на суровость своей возлюбленной и вырывая ее из повседневности, дабы превратить в миф. Действительно, Лаура Петрарки никогда не была земной женщиной, она является воплощением мечты о женщине. Когда поэт хочет сделать идеал недоступным, он рисует его с «золотыми кудрями», «белоснежными плечами», «бровями цвета черного дерева» и «жемчужными зубами», дабы было удобнее обожествлять девственный идол, о который разбились его земные желания. Невозможно представить более загадочное, более инфернальное, более чувственное исступление, чем исступление, увлекшее Петрарку в те темные сферы, где эротизм, исчерпав себя, превращается в лирическое созерцание.

* * *

О том, была ли действительно Лор де Нов, супруга Юга де Сада, той самой Лаурой, возлюбленной Петрарки, спорили много и бесплодно. Лели в этом не сомневается (что неудивительно), как неудивительно и то, что аббат де Сад в этом совершенно уверен. Однако вопрос так и остался дискуссионным. Во все времена ученые, столкнувшись с ним, принимались ломать копья, приводя множество аргументов, цитат, архивных данных, генеалогических древ, свидетельств и «доказательств», ни одно из которых, если говорить честно, не имело под собой серьезной фактологической базы. Сегодня по-прежнему ничего нельзя утверждать безоговорочно, хотя по результатам исследований последних лет большинство историков склонны лишить род де Сад его самого изысканного украшения[11].

Впрочем, какая разница, состояла Лаура в родстве с де Садами или нет? Ведь она, как и звезда Бальтазара, как и мост Бенезе, уже неотъемлемая часть легендарной истории семейства. И никакие факты не вычеркнут ее оттуда. Начиная с XIV века Лаура исполняет роль ангела-хранителя рода де Сад. Из поколения в поколение образ ее витает над членами этой семьи, сегодня так же, как и вчера, и отношение к нему меняться не собирается; наоборот, в наши дни ему поклоняются с еще большим пылом. Лаура — это Белая Дама де Садов, очаровательный призрак, явившийся во сне Донасьену, заключенному в донжоне Венсеннского замка, в ночь с 16 на 17 февраля 1799 года:

> Было около полуночи. Я уже начал засыпать <...>. И тут внезапно явилась она... Я видел ее! Могильный мрак не посягнул на ее ослепительную красоту, взор сиял столь же ясно, как и во времена Петрарки. Поверх черного крепа, в который она была закутана, разметались чудесные золотистые волосы. Казалось, само совершенство задумало сделать ее еще прекрасней, перед тем как предстать перед моим взором. «Зачем ты мучаешься на этой земле? — спросила она. — Иди ко мне. В мире, где живу я, нет ни горестей, ни печалей, ни тоски. Собери все свое мужество и следуй за мной». Услышав это, я припал к ее стопам и воскликнул: «О Мать моя!..» Рыдания перехватили горло. Протянув ко мне руки, она, тоже заливаясь слезами, промолвила: «Еще пребывая на свете, который ты так ненавидишь, мне нравилось устремляться помыслами в будущее; я множила свое потомство вплоть до твоего

появления, *но представить тебя таким несчастным не могла*». И тогда, охваченный отчаянием и нежностью, я обнял ее, в надежде то ли удержать ее, то ли последовать за ней, а может, просто для того, чтобы окропить ее слезами; но тут видение исчезло, оставив мне взамен одну лишь скорбь[12].

Двуглавый орел

Столь прославляемое целомудрие Лауры не помешало ей подарить супругу одиннадцать детей. Через семь месяцев после ее смерти, 19 ноября 1348 года, Юг де Сад женился вторым браком на Верден де Трантливр, родившей ему еще шестерых детей. Старший из сыновей Юга и Лауры, получивший – третий раз в роду – имя Юг, но прозванный Югоненом, или Маленьким, стал главой семьи. От его союза с Жираудой де Леденон, дочерью Жана де Леденона, сеньора д'Арамона, родилось трое сыновей и четверо дочерей.

Средний из этих сыновей, Эльзеар де Сад, – конюший, а затем виночерпий папы Бенедикта XIII и совладелец Эссара. За особые заслуги он удостаивается от императора Сигизмунда Люксембургского привилегии носить на фамильном гербе имперского двуглавого орла, увенчанного алыми коронами, с развернутыми крыльями, сомкнутым клювом и острыми когтями; грамота, подтверждающая пожалование, выдана была 11 января 1416 г. в Авиньоне[13]. Отныне описание герба де Садов будет гордо звучать в устах герольдов: «Восьмиконечная звезда с золотыми лучами на красном фоне; в звезду вписан раскинувший крылья черный орел, с крючковатыми когтями и клювом; орел увенчан алыми коронами»[14].

* * *

А теперь скорей вперед, ибо целью автора отнюдь не является утомительное перечисление списка имен и дат, знаменующих вехи в истории рода де Сад. Напомним только, что на протяжении веков выходцы из этой семьи неоднократно проявляли свои выдающиеся качества на службе у государства и Церкви. Начиная с основателя рода и вплоть до Донасьена Альфонса Франсуа, маркиза де Сада, не прерывалась череда прелатов, капитанов, магистратов, синдиков, вигье, парламентских советников, великих приоров, губернаторов, папских камерариев, дипломатов, мальтийских рыцарей, внесших свой вклад в создание королевства Франции. Наш герой, всю жизнь сознававший себя потомком знатного феодального рода, гордился своими предками.

А сколько было аббатис и монахинь, десятками наводнявших монастыри Конта...

Часть первая
ДВОРЯНИН И ЛИБЕРТЕН

Глава I
СЧАСТЛИВЧИК

«Кровь отца», «лоно самки»

Я не сумел сделать состояние, ибо всегда придерживался свободы мысли и нравов, а посему не мог просиживать штаны в прихожих, я был слишком беден, чтобы использовать в своих интересах слуг, слишком горд, чтобы пресмыкаться перед фаворитами, министрами, любовницами. Сотни раз повторял я: пусть их обхаживают те, кто надеется или стремится добиться удачи таким способом. Я человек свободный. Конечно, я не всегда был таковым, ибо мною управляли страсти, но никогда — честолюбие.

Я долго жил в окружении лжи и злословия. Только сегодня я наконец наслаждаюсь тем, чего мне не смогли бы пожаловать даже короли, а именно свободой[1].

Так, успешно исчерпав на жизненном пути все возможные удовольствия, на закате лет писал о себе Жан-Батист Франсуа-Жозеф, граф де Сад, владелец Сомана и Ла-Коста, совладелец Мазана, отец маркиза де Сада. Этот человек заслуживает внимания, хотя предыдущие биографы Донасьена де Сада часто отзывались о нем пренебрежительно или даже не упоминали вовсе. Сегодня благодаря семейным архивам мы можем не только проникнуть во внутренний мир этого человека, одного из блистательных вольнодумцев эпохи Людовика XV, но и — а это главное — понять, что именно он сыграл выдающуюся роль в становлении будущего автора «Жюстины». Узы, связывавшие отца и сына де Садов, столь глубоки, что стоит упомянуть об одном, как позади уже проступают портретные очертания другого. В тесном контакте с отцом Донасьен провел детство и отрочество; отношения их, бесспорно, отличались эмоциональностью, сочетанием нежности и взаимного доверия; вдобавок они имели сходные литературные вкусы и интеллектуальные запросы. Образ отца, далекого, холодного, равнодушного, который нередко пытаются нам нарисовать, рушится на глазах. Недавно обнаруженные документы поистине открывают нам новый облик графа де Сада.

Чем отчетливей вырисовывается содружество отца и сына, тем меньшим видится влияние матери: на поверку оказывается, что таковое практически отсутствует. Отстраненная от воспитания сына ветреным мужем, она вскоре удаляется в монастырь, где и пребывает до самой кончины; таким образом, в жизни Донасьена мать практически не займет места. Однако место ее не пустует, ибо всегда находятся

женщины, готовые его занять, например, г-жа де Сен-Жермен или г-жа де Раймон, о существовании которых впервые узнал автор. Но эти женщины, бывшие любовницы отца (по крайней мере последняя), так никогда и не смогли заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода г-жи де Сад в монастырь. Будучи женщинами «падшими», они представляют противоположность исконной дихотомии «дева — мать», сначала обожествляемой, а потом отвергаемой сыном.

Обычно изначальной причиной конфликта является ненависть к отцу, но у Сада она, наоборот, порождена ненавистью к матери (далекой, отсутствующей, равнодушной, в то время как отец постоянно рядом и опекает сына). Пьер Клоссовски убедительно показал, как комплекс ненависти к матери, крайне редкий и обычно гораздо менее выраженный, стал одной из основных причин формирования своеобразной садической идеологии. В данном случае мы имеем дело с отрицательным эдиповым комплексом. Вместо того чтобы убивать отца, он заключает с ним союз и всю мощь своей агрессии направляет на мать. Когда спустя некоторое время он почувствует, как в его теще, президентше де Монтрей, пробуждаются пугающие его материнские чувства, тяга к убийству и надругательству перейдет в область сознания. Отвращением, стремлением уничтожить будет проникнуто его отношение ко всем матриархальным ценностям: состраданию, нежности, утешению, жертвенности, верности; чувства эти внушают ему одновременно и интерес и страх, и он этого не скрывает[2]. Его взаимоотношения с женой Рене-Пелажи основаны на стремлении покарать материнскую власть. Тем более что ее любовь быстро переросла из супружеской в материнскую. Безграничная преданность, самоотречение, беспримерная забота: все материнские стигматы налицо, однако Донасьен безжалостно отвергнет эти чувства, сопровождая свое презрение саркастической издевкой. В его произведениях содержится невообразимый калейдоскоп всевозможных физических и моральных страданий, которые сын (или дочь) в состоянии причинить собственной матери. В них материнство с ликованием бичуют, унижают, оскверняют, делают его предметом, предназначенным исключительно для получения удовольствия. Так, Эжени в «Философии в будуаре» заявляет: «Я люблю отца безумно и чувствую, что презираю мать»*, а Дольмансе отвечает:

> Я не нахожу в этом предпочтении ничего удивительного, я думаю точно так же. Я еще не утешился после смерти отца, а когда умерла моя мать, я просто прыгал от радости... Я всей душой презирал ее. Бесстрашно впитайте эти принципы, Эжени: их нашептывает природа. Мы слеплены только из крови отцов наших и абсолютно ничем не обязаны матерям. Они только предоставили себя в акте, в то время как отец этого добивался. Он желал нашего рождения, а мать шла на это из-под палки**.

Герой, символизирующий антиматеринский комплекс, матереубийца Брессак из «Злоключений добродетели» в одной фразе выражает основную составляющую садической идеи:

---

* *Маркиз де Сад.* Философия в будуаре / Пер. И. Карабутенко. М., 1992. С. 43.
** Там же.

Разве мать думала обо мне, когда в похоти своей приняла зародыш, из которого я произошел? Могу ли я чувствовать себя обязанным ей за то, что она хотела получить удовольствие? Только кровь отца, а отнюдь не матери, создает ребенка; лоно самки оплодотворяется, сохраняет, порождает, однако само оно не дает ничего; придя к такому выводу, я бы никогда не покусился на жизнь отца, в то время как жизнь матери я без колебаний готов прервать в любую минуту[3].

Действительно, мать рассматривается Садом как главное препятствие для прямого общения отца с сыном. И это веская причина, чтобы ненавидеть ее.

Групповой портрет

Наброски

Но вернемся к обожаемому отцу — быть может, даже чересчур обожаемому. Рожденный в Мазане 12 марта 1702 года от брака Гаспара Франсуа де Сада и Луизы Альдонсы д'Астуо[4], он — старший из трех выживших сыновей (всего мальчиков было пятеро): детская смертность в те времена была высока. 12 октября 1703 года родился его младший брат Ришар Жан-Луи, рано вступивший в члены Мальтийского ордена и в дальнейшем ставший великим приором провинции Тулуза. Младший брат — воплощение нравственных устоев семьи: степенный, педантичный, занудный, изрекающий прописные истины и произносящий возвышенные речи; он не говорит, а вещает, судит всех и вся и производит неизгладимое впечатление на г-жу де Монтрей. 21 сентября 1705 года Луиза д'Астуо производит на свет Жака Франсуа Поля Альдонса, будущего аббата де Сада, «священнослужителя Эпикура». Рассеянный в миру, остроумный в литературных трудах, ученый в своем рабочем кабинете, галантный кавалер в дамском обществе, этот друг Вольтера и г-жи дю Шатле представляет собой законченный тип аббата-вольнодумца. В нашей книге мы еще не раз к нему вернемся.

Перейдем теперь к девочкам. Из пяти дочерей Гаспара только одна вышла замуж: Анриетта Виктуар де Сад, родившаяся в 1715 году, стала супругой (всего на несколько лет) безрассудного Жозефа Игнаса де Вильнев-Мартиньяна[5]. О ней мы тоже поговорим позже. Женщина необычайно энергичная, прагматичная, циничная эгоистка без малейших иллюзий, она почитала только разум и деньги; единственной ее слабостью был ее племянник, дурной молодой человек, которому она безоговорочно прощала все. Все ее четыре сестры будут отданы в монастырь, дабы более никогда не покидать его стен. Габриэль Лор станет аббатисой в монастыре Святого Лаврентия в Авиньоне, Анн-Мари Лукрес — монахиней этой же обители, а Габриэль Элеонор и Маргарита Фелисите, прозванная г-жой де Ла Кост, станут соответственно аббатисой в монастыре Святого Бенедикта в Кавайоне и простой монахиней в монастыре Святого Бернара в том же городе. Замурованные в тихих монастырских кельях, тетушки-монахини маркиза де Сада до самой своей смерти пребудут безымянными силуэтами. Вряд ли кто-нибудь сумеет разли-

чить их под монашескими покрывалами, делающими всех женщин на одно лицо. Из внешнего мира, словно эхо, до них иногда будут долетать странные слухи о Донасьене, а вместе с ними и неведомые им прежде слова: «содомия», «проституция», «флагелляция», «позорный столб», «тюрьма». Однако сострадание сильнее оскорбленных чувств: монастырская ограда не является препятствием для частых писем, адресованных заблудшему ребенку. Эти письма, написанные дрожащим почерком, со старомодной орфографией, можно узнать с первого взгляда. Что же пишут племяннику смиренные затворницы? О, письма их полны очень простых и очень нежных слов, правильных и наивных, как они сами, истершихся, словно старый образок, и источающих ароматы ризницы. Одна из них пишет племяннику:

Надеюсь, в будущем вы станете подлинным утешением семейства, соразмерно тому горю, кое вы причинили ему в прошлом. Я же со своей стороны не перестаю давать обеты Господу, дабы вы могли получить все мирские и духовные блага, кои могут вам оказаться нужны; остаюсь всегда любящей вас тетушкой[6].

Донасьен регулярно отвечает, и письма его исполнены такой заботы и благочестия, что практически невозможно различить, где он серьезен, а где ерничает.

Блестящее начало

Семья де Сад, подобно многим родовитым дворянским семьям, проживающим в провинции, никогда не покидала своего фьефа. Де Сады занимали самые высокие должности, но — скажем так — на провинциальном уровне: в Авиньоне, Провансе, Конта. Там они рождались, жили, делали карьеру и там же их погребали в семейных склепах. Двор, подобный далекому миражу, казался им средоточием всяческих амбиций и всевозможных опасностей. Они взирали на него с завистью, замешанной на отвращении. Никогда еще ни один из де Садов не пытался сделать карьеру при дворе. Первым это осмелился сделать Жан-Батист.

Задорный, исполненный романтических чувств и жажды приключений, в один прекрасный день он решает покинуть землю предков и попытать счастья при дворе, который, несмотря на дурные слухи, умножившиеся с началом правления регента Филиппа Орлеанского, попрежнему ослепляет своим блеском. Маркиз де Мазан, несомненно, сделал все, чтобы удержать при себе старшего сына, на которого он возлагал большие надежды. Однако труды были напрасны, Жан-Батист остался глух к отцовским уговорам. Ведь если вдуматься, какое будущее сулит ему родная провинция? В урочный час унаследовать своему отцу? Стать вместо него сеньором ближайшей деревни? Или, в лучшем случае, вигье в Авиньоне? Да, унылая перспектива для пылкого молодого человека, стремящегося добиться самых высоких должностей и вести блестящую жизнь, полную развлечений, спектаклей, праздников и хорошеньких женщин. В момент прощания Гаспар де Сад, по

обычаю, вручил сыну рекомендательные письма к дальним родственникам, обретавшимся при дворе, дабы те научили его лавировать среди опасных соблазнов придворной жизни.

Точная дата прибытия в Париж Жан-Батиста неизвестна. Дальнейшие сведения о нем относятся к 1721 году, когда было объявлено о бракосочетании юного Людовика XV, которому исполнилось всего пятнадцать лет, с испанской инфантой. Жан-Батист пишет отцу:

Мадам де Вентадур отправляется встречать инфанту на границе. Юной принцессе отводится старая часть Лувра; собственного дворца у нее пока не будет. Когда королю объявили о скорой свадьбе, он горько заплакал, но теперь, похоже, даже доволен предстоящим событием. Вчера я был ему представлен. Никто не напоминал ему о свадьбе, но после долгих пустых разговоров он приказал одному из маленьких Конфланов поздравить его с предстоящим бракосочетанием.

Мадемуазель де Монпансье выходит замуж за принца Астурийского, а герцог Шартрский женится на принцессе Уэльской. В отличие от двух других будущих мужей, герцог не слишком уверен в своем предстоящем браке, однако все полагают, что и эта свадьба состоится. Великая герцогиня умерла; своей законной наследницей она сделала принцессу д'Эпине. Еще умер кардинал де Майи; ему недолго пришлось пользоваться своим богатством. Архиепископство его сулят сразу нескольким. Некоторые считают, что оно достанется архиепископу Экса; другие полагают, что кардинал де Бисси также получит свою долю. А еще говорят, что господин де Фрежюс отказался от этого архиепископства, однако это всего лишь городские слухи, и поручиться за их точность я не могу[7].

В девятнадцать лет Жан-Батист уже в курсе всех придворных секретов (а также городских, хотя делает вид, что этих последних не ведает вовсе) и умеет неплохо ими пользоваться. Всю жизнь ему будет нравиться рассказывать о великих событиях так, словно речь идет о мелких сварах, снабжая эти рассказы собственными комментариями, весьма своеобразными, благодаря которым письма его превращаются в живую хронику событий, написанную автором проницательным и едким. С тех пор как кузены Симианы в Версале представили его ко двору, он изрядно преуспел. Принятый в лучших домах Сен-Жерменского предместья — у г-жи де Ларошфуко, мадемуазель де Ларош-Гийон, у господина де Шавиньи, — он вскоре заслуживает репутацию человека остроумного. Он влюбляется во владелицу особняка Сассенаж и добивается ее благосклонности. Он обладает редким умением нравиться женщинам, не вызывая ненависти у мужчин; поэтому число его друзей столь же велико, как и число его любовниц. Действительно, у него были все таланты, необходимые для завоевания успеха в обществе: приятное лицо, живой, без предрассудков ум, способность поддержать оживленную беседу, здоровое честолюбие, умеренная ветреность, глубокое знание философии и талант облекать его в доступную форму. И в придачу способность с удивительной легкостью сочинять небольшие вещицы в прозе и стихах, большинство из которых сохранилось исключительно благодаря благоговейной почтительности его сына. Среди этих вещиц есть все: приветствия, послания, куплеты, песенки, импровизации, послания к Флоре, мадригалы и т. д. Он сочиняет по любому поводу. Женщина обошлась с ним несправедливо? Живо сочиняется куплет, где он жалу-

ется на ее жестокость. Она побеждена, просит пощады? Тотчас создается нежная эпиталама. Путешествие, свидание, бал, сон — все является поводом для сочинительства. Разумеется, он часто скатывается к слащавому стилю а-ля Дора. Но, в конце концов, он же следует моде, а все, что модно, нравится женщинам. Адресаты с наслаждением читают его письма. В эпистолярном жанре он превзошел самого себя: каждое письмо, написанное изящным слогом, полно живости и юмора. К тому же молодой граф де Сад страстно любит театр и не считает зазорным появляться в любительских спектаклях, которые нередко ставят в высшем обществе. Короче говоря, через несколько месяцев он превращается в завсегдатая большого света: петиметр — слово, характеризующее его наилучшим образом, ибо подразумевает наличие в человеке разнообразных талантов, ловкость, умение соблазнять, а также пылкость характера и вольномыслие.

Конфидент семейства Конде

Однако к чему все эти качества, если у тебя нет могущественного покровителя? Дальняя родственница, герцогиня де Ларош-Гийон, используя свое влияние, вводит его в дом Луи-Анри де Бурбона, принца Конде, которого чаще называли просто Господин Герцог. Правнук Великого Конде*, глава Регентского совета, воспитатель короля, он являлся первым лицом в королевстве[8].

Пользуясь своим высоким положением, принц Конде еще недавно черпал обеими руками из общественной казны и извлекал огромные прибыли из операций Лоу**. Лишенный здравого смысла, ограниченного ума и не доверяющий сам себе, невежественный, думающий только о собственных удовольствиях и охоте, не имеющий никакого опыта в делах, он тем не менее в 1723 году, после смерти Регента, стал Главным министром и продолжил свою расточительную деятельность, предоставив неслыханные привилегии Индийской компании, в которой у него были свои интересы; во всех случаях он выказывал такую алчность, что эта алчность, равно как и неслыханная развращенность нравов, стала основной характеристикой дома Конде. И в то же время он полностью пребывал под влиянием своей любовницы, маркизы де При, которая, без сомнения, была всего лишь инструментом в руках братьев Пари, недальновидных и хищных финансистов. Кроме всего прочего, ему также приписывали противоестественные наклонности.

---

* Великий Конде — Луи II де Бурбон (1621—1686), четвертый принц Конде, выдающийся полководец и меценат.

** Лоу Джон (1671—1729) — шотландский финансист и авантюрист; на родине за убийство на дуэли был приговорен к смертной казни и бежал во Францию, где в 1716 г. основал частный банк с правом выпуска бумажных денег. Теоретик кредитной системы, создатель первых финансовых пирамид. В 1720 г. стал генеральным контролером финансов, однако из-за безудержной эмиссии бумажных денег банк его, ставший к тому времени королевским, лопнул, и Лоу бежал из Франции. Финансово-экономическая деятельность Лоу оценивается неоднозначно.

Став капитаном драгунского полка, принадлежавшего принцу, молодой граф де Сад вскоре выбился в фавориты, а потом и в доверенные лица своего начальника. Отныне перед ним открывалась дорога, усыпанная милостями и высокими должностями. Вскоре он становится вхож в круг близких родственников Господина Герцога, его братьев и сестер: графа де Шаролэ, графа де Клермона, а главное – мадемуазель де Шаролэ, чей образ жизни (по словам д'Аржансона) отмечен «развратом, беспутством и сумасбродствами». Уделяя не слишком много внимания службе, он делит свое время между Парижем, где проживает в гостинице «Бретань», что на улице Сены, и Шантийи, куда следует за своим покровителем.

Соединяя свою судьбу с сильными мира сего, никогда не следует забывать об опасностях подобного положения. Когда репутация благодетеля перестает соответствовать его возможностям, риск, связанный со службой ему, увеличивается. Сблизившись с Конде, Жан-Батист получит несравненные преимущества для карьеры, однако отныне, что бы он ни предпринял, в глазах окружающих он останется вечным клевретом семейства Конде, представителей которого равно ненавидят и боятся. При поддержке этого семейства он становится одним из самых блистательных придворных, которому очень завидуют, но втайне презирают. Пока он будет пользоваться покровительством Людовика XV, никто не осмелится открыто нападать на него. Но когда он утратит доверие монарха и, несмотря на все старания, не сможет вернуть его, его тотчас заставят испить всю горечь одиночества и забвения.

Впрочем, до этого еще далеко. Сейчас маркизу нет и двадцати пяти, и он с триумфом исполняет роль, для которой, кажется, специально создан, – роль либертена. Ибо если первая половина его жизни посвящена удовлетворению честолюбивых амбиций, то вторая – волокитству, причем ни одна из интрижек не затрагивает всерьез его сердца. Количество его любовниц не поддается исчислению, и непонятно, чем более восхищаться – их многочисленностью или высоким рангом. Господину де Саду не нужны легкие победы; горожанки его не интересуют. Он пытается соблазнить – и чаще всего ему это удается – придворных дам, обладающих не только умом и красотой, но и звучным именем, положением, влиянием или состоянием, словом, тех, кто может послужить его интересам и стать полезными. Соединяя волокитство и честолюбие, он не раз использовал успехи первого для удовлетворения второго. Его амурные устремления поистине безграничны: отпылав страстью к г-же де Сассенаж и мадемуазель де Шаролэ, бывшей в ту пору любовницей короля, он отправился воздыхать к стопам герцогини де Латремуй, герцогини де Клермон, а затем и юной принцессы Конде, за которой последовала маркиза де Помпадур. Все эти дамы не собирались заставлять страдать своего воздыхателя; впрочем, относительно последней существуют некоторые сомнения. Автор упоминает только имена, принадлежавшие дамам, чьей благосклонности жаждали в первую очередь. Если же составлять полный список побед юного

донжуана из Прованса, к ним пришлось бы прибавить еще не один десяток имен.

Его любовные устремления находятся в полном согласии с тягой к роскоши, сказывающейся во всем: он любит шикарных женщин, обожает дорогие кареты, празднества, балы, жизнь на широкую ногу и всевозможные удовольствия, причем весьма дорогостоящие. Посещая исключительно изысканные парижские дома, он поддерживает свое реноме и в свете, и в частной жизни. Поэтому нетрудно представить, как деньги, присылаемые отцом, исчезают словно вода в песке, а долги все накапливаются. Однако остановиться уже невозможно; безумная расточительность и вечная потребность в средствах заставляют его совершать бестактности, за которые впоследствии придется расплачиваться — к этому мы еще вернемся. За несколько лет Жан-Батист де Сад растратил родовое состояние и поставил семью на грань нищеты. Сыну оставалось только довершить дело отца.

«Брат Анж де Шаролэ»

Сестра принца Конде, Луиза-Анн де Бурбон, именуемая мадемуазель де Шаролэ, а также просто Мадемуазель, считалась самой красивой принцессой дома Бурбонов. Воспитание чувств этой живой, умной и любознательной от природы девушки завершилось к пятнадцати годам. С этих лет она лишь умножала любовные приключения. «Среди тысячи совершенств, коими наградила ее природа, — отмечает барон де Безанваль, — самыми необыкновенными были великолепные глаза; по глазам ее узнавали даже в маске, когда в таковой она появлялась на балу». В двадцать лет она могла гордиться многочисленными победами, среди которых числился герцог де Ришелье, самый знаменитый волокита эпохи Регентства. Их связь была столь явной, что любовникам оставалось либо вступить в брак, либо расстаться. Был избран разрыв. У мадемуазель де Шаролэ он не вызвал ни печали, ни гнева. Спустя несколько дней она отдалась герцогу де Мелену, но связь эта была недолгой; затем настал черед некоего кавалера из Баварии. Переход из одних объятий в другие был подобен путешествию из Ришелье в Мелен, а из Мелена в Баварию... К этому маршруту следует добавить остановку в провинции Домб, ибо принц с таким именем, средний сын герцога Мэнского, стал ее следующим фаворитом. Можно привести еще немало имен — список получится невероятно длинным. Назовем — среди прочих — сына герцога д'Омона (скончавшегося в 1723 году; причиной смерти стали излишества, коим он предавался с принцессой) и господина де Вореаля, епископа Реннского, пожелавшего с помощью принцессы заполучить кардинальский сан. Впоследствии она, судя по всему, без труда завоевала сердце Людовика XV, завлекая его на свои галантные ужины в замок Мадрид, место свиданий, завязывания интриг и безграничной свободы нравов. Никто не мог сравниться с ней в устройстве изысканных приемов и вечеринок, на которых царила атмосфера страсти и ощущение быстротечности времени; об этих приемах судачили и при дворе, и в городе. Она регулярно по-

ставляла королю хорошеньких пансионерок, набирая их по своему вкусу и умело и не без цинизма исполняя роль сводни.

«Она рано начала заниматься сводничеством, в ее глазах эта профессия была достойна всяческого уважения, — заметил ненавидевший ее д'Аржансон. — Родись Мадемуазель среди простонародья, она наверняка стала бы скупщицей краденого, воровкой или цветочницей», — добавил он.

Говорят, в угаре разгульной жизни она вдруг впадала в истовую набожность. Но верится в это с трудом. Надев рясу монаха-кордельера, она приказывала рисовать себя в этом костюме не столько из религиозных побуждений, сколько для возбуждения воображения любовников, которым затем дарила эти портреты. На них она чаще всего держит в руках веревку святого Франциска или же завязывает на этой веревке узел. Эротический (и, быть может, *садический*, ибо веревка ассоциируется с кнутом) намек совершенно ясен[9]. Переодевания Мадемуазель вдохновили Вольтера на следующее четверостишие:

Брат де Шаролэ, как близко
Сплетены Любовь и Вера:
Ныне вервие Франциска
Стало поясом Венеры[10].

* * *

Хотя Мадемуазель и старше графа де Сада на семь лет, она не могла не привлечь его внимания, поскольку принадлежала к тем женщинам, которых презирают и одновременно взыскуют. Приближенная к королю и министрам, делящая свой альков с высокопоставленными людьми, находящаяся в курсе всех интриг, она могла помочь добиться многого: пенсий, патентов, назначений и т. п. Решив завоевать ее, Жан-Батист обнаруживает, что задача решается достаточно просто. Будучи вхож в дом ее брата, Господина Герцога, он имеет возможность видеть ее когда пожелает — как в парижском дворце Конде, так и в Шантийи — и в конце концов влюбляет ее в себя; победа эта равно льстит и его самолюбию, и чувству. Вскоре он становится завсегдатаем замка Мадрид, подаренного Людовиком XV прекрасной кордельерке, и, не в силах сдержать восторженных чувств, посвящает замку и его хозяйке вот такие (весьма посредственные) стихи:

Ах, принцесса дорогая,
Пусть Париж грустит,
Вас скорее провожая
К нам, сюда в «Мадрид».
Придите снова в наши рощи,
Где птичья песнь без вас не весела.
Скорее к нам, принцесса,
Сирень уж расцвела[11].

Воспевая наслаждения замка Аттис-Мон, еще одного жилища мадемуазель де Шаролэ, Жан-Батист находит более удачные рифмы:

Искусством взращены роскошные сады,
Где мы, в любовной битве одержав победу,
Блуждаем по путям причудливой мечты
И постигаем наслаждение беседы.
Здесь правил нет, ничья не властвует рука,
Мы не считаем дни, не сторожим минуты,
И только об одном жалеем мы слегка:
Как быстро вечер наступает почему-то.
Уставши от услад (еще бы их чуть-чуть!),
Мы веки тяжкие смыкаем в сне спокойном –
На пышном ложе до полудня отдохнуть
И видеть сны, что только Аттиса достойны*[12].

Если судить только по стихам, вполне можно было бы вообразить некую абстрактную идиллию между робким Селадоном** и его далекой возлюбленной. Но есть еще письма, и, в частности, письма Мадемуазель, адресованные любовнику. Донасьен де Сад почтительно сохранил их вместе с другими бумагами отца; только благодаря ему мы можем сегодня ознакомиться с ними. Они свидетельствуют о прочной любовной связи, где чувствам отводится подобающее им место; забавно, что связь эта родилась в результате травмы, вынудившей графа де Сада некоторое время не покидать своей комнаты. Вот несколько посланий, адресованных ему в то время неотразимым «братом Анжем»***.

День 24 ноября – самый прекрасный в моей жизни, ведь я вновь завладела своим королевством и обрела суверенную власть по праву постели, где принесла вам клятву верности. Рассчитываю получить в ней от вас такую же клятву, так как теперь я живу ради самого обворожительного короля в мире. Отныне вам запрещается жаловаться и заявлять, что вы несчастны, ибо было бы жестоко держать в плену обязательств нежное и верное сердце. Думайте о том, что нет ничего приятнее, чем страсть разделенная. До пяти вечера завтрашнего дня ждать слишком долго. Не стану утверждать, что не заеду к вам сегодня вечером. Господин Жюс<ье>[13] вскоре посетит вас: прикажите впустить его[14].

Соедините воздержание с самообладанием, оба эти качества необходимы для вашего выздоровления, и никогда не сомневайтесь в выдержке женщины, умеющей ждать своего возлюбленного. Я хочу быть так же уверена в вашей нежности, как уверена в том, что заслужила ваше уважение и доверие[15].

В одиночестве вас одолевают мрачные мысли, поэтому я запрещаю вам сидеть одному и поссорюсь с вами, ежели вы ослушаетесь. Приезжайте, ангел мой, или я сама отправлюсь к вам и взломаю дверь, коли вы не приедете добровольно. Если вы окончательно отказываетесь приехать, тогда скажите, хотите ли вы в два часа видеть меня у себя, дабы я могла вас утешить; и как мне вообще обходиться без вас?[16]

Но вскоре непостоянный Жан-Батист встречает герцогиню де Латремуй, и она пробуждает его чувства. Муж герцогини, Шарль Арман

* Аттис – возлюбленный фригийской богини Кибелы, олицетворявшей производительные силы природы. Празднества в его честь сопровождались неистовыми оргиями.
** Селадон – персонаж романа Оноре д'Юрфе «Астрея» (1607–1619), воплощение идеала платонической любви.
*** Анж (*фр.*) – ангел.

Рене герцог де Латремуй, некогда (когда ему было шестнадцать лет) имел гомосексуальные отношения с Людовиком XV, которому в ту пору было четырнадцать. И хотя сей дуэт не продвинулся дальше мастурбации, тем не менее это приключение стоило юному дворянину кратковременной ссылки. Вольтер писал маркизе де Берньер:

Я скажу вам, почему господин де Латремуй отправлен в изгнание. Причина в том, что он слишком часто запускал руку в ширинку Его Наихристианнейшего Величества. Они вместе с графом де Клермоном (братом мадемуазель де Шаролэ. — *М.Л.*) пожелали повелевать тем, что прячется в штанах Людовика XV, не допуская никого из придворных разделить с ними выпавшую на их долю удачу. <...> Все это рождает во мне желание искренне поздравить господина де Латремуя, ибо я не могу не уважать того, кто в шестнадцать лет хочет заставить потрудиться своего короля и командовать им. Я почти уверен, что из господина де Латремуя получится прекрасный подданный[17].

Спустя несколько лет Людовик XV и вышепомянутый господин окончательно забыли заблуждения юности и все свои взоры и чувства устремили на прекрасный пол. Герцогиня же, урожденная Буйон, увлеклась янсенизмом* и, окружив себя принадлежавшими к этой секте мужчинами и женщинами, стала действовать исключительно через них. Супруги боготворили друг друга и даже решили расстаться, если вдруг один из них заразится ветряной оспой — заболеванием, в те времена весьма распространенным. Г-жа де Латремуй заболела первой. Муж не пожелал доверить ее заботам чужих людей и денно и нощно сидел у ее изголовья. Она выздоровела, а несчастный умер, став жертвой супружеской преданности.

Эта хорошенькая и в меру кокетливая женщина, в то время едва переступившая порог супружеской жизни, заставила биться сердце нашего провансальца. Раздосадованный преследованиями мадемуазель де Шаролэ, от которой он стал уставать, он написал ей письмо о разрыве отношений. Избавляясь от разонравившейся любовницы, мало кто способен на столь циничное (или, наоборот, изощренное) послание:

Ваши авансы, мадам, я рассматриваю всего лишь как игру ума, но отнюдь не как побуждения сердца. Я не имел чести Вас узнать, не был Вам ничем обязан, растяжение сустава приковало меня к постели, мне нечем было заняться; Ваши письма были очаровательны, они развлекали меня, и я тешу себя надеждой, что, если я в действительности сумел завоевать Ваше сердце, Вы излечите меня от той единственной несчастной страсти, которая переполняет меня целиком.

Да, мадам, я люблю. А так как на сегодняшний день у меня имеется достаточно доказательств Вашего дружеского ко мне расположения, не стану скрывать страсти, завладевшей моей душой. Я имею честь быть близко знакомым с герцогиней де Буйон. Мадемуазель де Буйон удостоила меня своей дружбой; она выдала племянницу замуж за господина де Латремуя, поселила молодых супругов у себя и держит для них стол, что дало мне возможность видеть мадам де Латремуй довольно часто[18]. Мне понравилось ее лицо, а характер покорил окончательно. Она прекрасно относится к супругу, и чем больше он ей изменяет, тем большую радость доставляет ей угождать ему: его равнодушие уязвляет ее, и иногда я тешу себя мыслью, что сумею получить желаемое из-за ее стремления отомстить, хотя мне хотелось бы, чтобы причиной этого была одна лишь любовь.

---

* Янсенизм — течение в католицизме, тяготевшее к протестантизму.

Я – единственный мужчина, бывающий у мадемуазель де Буйон; у нее в доме я стараюсь проводить время в обществе мадам де Латремуй, делая все, чтобы она догадалась о той любви, кою я к ней питаю. Не уверен, что нравлюсь ей; но, по крайней мере, я ее забавляю; она кокетлива, любит нравиться и боится меня потерять. Это, сударыня, единственная причина ее доброты ко мне. Когда муж плохо обращается с ней, она начинает прислушиваться к моим словам. Когда он удостаивает ее доброго слова, она не смотрит на меня, и я вижу, что мною могут пожертвовать в любую минуту. Я сознаю ужас своего положения, понимаю, чего требует от меня разум. Но разве может разум в чем-либо убедить сердце пылкого двадцатилетнего влюбленного?

Я встретил Вас, Вы строили мне глазки, и я подумал, что Вы прониклись ко мне любовью из сострадания. Если это шутка, – говорил я себе, – то, ответив на нее, я, быть может, сумею развеяться. Если она по-настоящему любит меня, то благодаря ее милому лицу и очаровательному уму я вскоре сумею излечиться от своей поистине смешной страсти, составляющей несчастье моей жизни. Покуда длилось мое недомогание и я не видел мадам де Латремуй, я тешил себя надеждой на исцеление. Вчера я увидел ее и почувствовал себя еще более недужным, чем прежде. Понимаю, что должен любить только Вас, хочу этого, и так непременно будет. Но дайте мне время, а пока смотрите на меня как на друга, станьте моим советчиком, руководите мной, жалейте и любите меня. Однако что я говорю! Я этого не достоин после всех сказанных здесь мною слов. Я либо умру, либо вырву из сердца эту страсть, но не потому, что она составляет несчастье всей моей жизни, а потому, что ежели Вы, как Вы утверждаете, любите меня, она станет несчастьем также и Вашей жизни[19].

Мадемуазель никогда не относилась к женщинам снисходительным; сама она легко порывала с любовниками, но не терпела, когда любовники порывали с ней. Она ответила де Саду в насмешливом тоне, пытаясь спрятать под ним уязвленное самолюбие, но отнюдь не собираясь скрывать своего намерения оскорбить изменника. Удар когтистой лапы этой тигрицы для того, кому он предназначался, мог стать роковым. А в данном случае изменник вполне заслужил кару. Стрела мадемуазель де Шаролэ попала точно в цель. Не желая порочить посмертную репутацию графа де Сада, все же скажем, что рукой его, писавшей письмо, несомненно, водили честолюбие и эгоизм; этими же чувствами были подсказаны нелицеприятные слова «петиметр» и «куртизан», брошенные Мадемуазель в лицо графу. Защищаться ему было нелегко, ибо, не будучи излишне разборчивым в способах достижения цели, он не умел скрывать своего желания подняться на самый верх общественной лестницы.

Сударь, – написала ему мадемуазель де Шаролэ, – я получила три Ваших письма, но не сочла нужным ответить на них, ибо Вы просите у меня совета, а я не привыкла давать их тем, кто получает их, как Шампанский полк – приказы[20]. Тем более что мне неведомо, где в Париже находится Ваш дом или дом Вашей любовницы. Однако на что вы рассчитываете, по-прежнему появляясь при дворе? Разве Вы не знаете, что проигравшие выходят из игры? Тот, кто больше месяца не ищет со мною встречи, для меня более не существует. Буду с Вами откровенна: я думала, что полюбила человека благоразумного, умеющего заставить чувства уступить разуму и уважать в своей любовнице друга. Но приходится признать за Вами звание недалекого петиметра, которому принцессы кружат голову, а он, за неимением лучшего, развлекает их рассказами о собственных похождениях.

Ибо все, что мне передали от мадемуазель де Клермон[21], правда; более того, меня убедили, что Вы с презрением меня отвергли, заявив моим друзьям, что я обожаю Вас и надоедаю своими преследованиями и Вы едете в Версаль исключительно для того, чтобы избавиться от меня. А так как за словами последовали действия, я не могу долее сомневаться, и мое самолюбие исцелило меня от чувств, кои я к Вам питала. Как видите, сударь, Вы не брали меня в аренду, и это письмо докажет Вам, что наши отношения зависели только от меня. А я не питаю уважения к излишне усердным куртизанам[22].

По направлению к Содому

Непостоянный в любви, граф столь же непостоянен и в желаниях. То и дело он позволяет себе идти на поводу у своих капризов, чувства его не знают удержу и зачастую заставляют переступать грань дозволенного. Его влекут неизведанные наслаждения, к числу которых принадлежит порок, и по сей день именуемый «итальянским». Де Сада притягивает прекрасный пол, победы над женщинами со звучными именами по-прежнему льстят ему, однако с не меньшим пылом его влечет и к молодым людям его возраста. Для него не имеет значения, равны они ему по положению или нет. Здесь социальное неравенство перестает существовать. И если обычно он весьма придирчиво оценивает родовитость своих любовниц, отсутствие родовитости у гитонов его совершенно не волнует. Напротив, он оказывает предпочтение выходцам из народа и среди мужчин-проституток, во множестве обитающих в столице, чаще всего выбирает именно их. Удовольствие торжествует над выгодой; получая наслаждение, граф одновременно бросает вызов обществу; он ощущает, как возносится над общепринятыми законами; чувство это пьянит его, а сознание риска щекочет нервы. Удовольствие, получаемое от связей со всякой швалью, влечет его и к уличным девкам. С ними, как с проститутками-мужчинами, не нужно ни красивых слов, ни остроумия, ни стихов: наслаждение в чистом виде. Эти тайные вожделения становятся вторым, невидимым лицом графа де Сада, его черной маской, его секретом.

Сомнительное удовольствие снять проститутку часто приводит его в сады Тюильри, одно из мест, наиболее посещаемых теми, кого тогда называли «грязнухами» или «кавалерами-нарукавниками». Самые разные люди, от знатного сеньора до разносчика, от трубочиста до князя Церкви, прохаживаются там взад и вперед, внимательно приглядываясь друг к другу. Они узнают друг друга по определенным жестам, взглядам, знакам; затем происходит краткий диалог, во время которого оба, не стесняясь в выражениях, быстро переходят к существу дела. Днем и ночью за подступами к садам наблюдает полиция, задерживающая многих благодаря «подсадным уткам». «Подсадными утками» обычно называют молодых мальчиков, в обязанность которых входит завлечь пришедшего в сад «клиента» и тотчас выдать его скрывающемуся в кустах дежурному полицейскому.

Однажды теплым осенним вечером наш молодой Жан-Батист прогуливался в саду Тюильри; глаза его блестели, на губах играла улыб-

ка, и было ясно, что он ищет приключений; неожиданно он увидел молодого человека, на которого несколько дней назад обратил внимание. Он заговорил с ним и, полагая, что имеет дело с обычным посетителем этих мест, пригласил прогуляться с ним в кусты. На него явно нашло затмение, ибо молодой человек был как раз «подсадной уткой», о которых мы только что рассказали. Юноша подал знак, словно из-под земли возник пристав со своими людьми, и они арестовали неосмотрительного кавалера.

Мы отыскали полицейское донесение по этому делу. Составленное корявым канцелярским языком и, надо сказать, слегка напоминающим язык некоего Донасьена де Сада, начавшего писать на полвека позже, оно представляет собой документ следующего содержания:

Около половины девятого вечера вышеуказанный господин де Сад, совершив несколько кругов вокруг кустов, сел на ближайшую скамью; увидев проходившего мимо молодого человека, он поприветствовал его и пригласил сесть рядом, на что тот и согласился. Сделав много грязных предложений, господин де Сад сказал ему, что, хотя некий мужчина уже дрочил его х..., он может ему вставить, если тот пожелает; и пусть он не боится, что слуги чего-нибудь заметят, потому как они давно знают о склонности своего господина к такого рода удовольствиям, и он готов увести его с собой, чтобы, поужинав, лечь с ним в постель. Он захотел прямо сейчас затащить молодого человека в кусты, однако тот не согласился, ответив, что коли господин желает, то лучше они пойдут к нему в комнату, это тут, недалеко, там никто не помешает; на что вышеуказанный господин де Сад согласился. И вот, когда они оба поднялись со скамейки, [полицейский пристав] господин Эмье, который наблюдал за ними и по условному знаку, данному указанным молодым человеком, догадался, что нечестивец усердно пристает к юноше, вышел и арестовал вышеуказанного господина де Сада, который не стал отрицать того, что сказано выше; но, принимая во внимание его положение, пристав отпустил его, записав его имя и адрес и взяв с него обещание явиться в суд.

Nota. Молодой человек заявил, что вышеуказанный господин де Сад приставал к нему уже второй раз; что несколько дней назад он также набросился на него с подобными предложениями, но ему не хотелось притворяться, что он согласен, потому что вокруг никого не было, а вот сегодня они оба были на виду[23].

Жан-Батист упомянул о своем родстве с герцогиней де Ларош-Гийон, назвал своих высокопоставленных знакомых, и делу не дали ход, ограничившись выговором и вынудив де Сада подписать признание своей вины. За исключением редких случаев, полиция нравов обычно была снисходительна к дворянам. Впрочем, никто не удивился, узнав, что очередной приспешник Конде предается запрещенному разврату. Людей из окружения Конде с полным правом считали скопищем всевозможных пороков.

Случай этот произошел, когда молодому графу де Саду было двадцать два года. Без сомнения, подобное приключение не было единственным; читая его переписку, можно догадаться о нежных отношениях, установившихся у него с некоторыми из друзей, например, с вступившим на дипломатическое поприще юным Анном-Теодором де Шавиньи, место которого впоследствии занял Амло де Шайу из Министерства иностранных дел.

Предаваясь греческой любви, граф де Сад вовсе не испытывал непреодолимой тяги к мальчикам, а всего лишь хотел избежать монотон-

ности привычных любовных отношений; занятие любовью с себе подобными доставляло ему новые, непривычные эротические ощущения, усиливая угрозу витавшего вокруг призрака наказания. Для него, как и для множества молодых дворян, «философский грех» представляет собой аристократическую причуду, своего рода игру, возбуждающую вдвойне оттого, что она запрещенная; суть же забавы состоит в том, что можно сколько угодно нагонять на себя страх, зная, что реально ничем не рискуешь. Какая опасность может грозит обладателю громкого имени или тому, у кого есть могущественный покровитель? Разумеется, никто не посадит его ни в Бисетр*, ни в Шатле**. В крайнем случае сорок восемь часов в Бастилии и отеческое наставление начальника полиции[24].

Похоже, в промежутках между двумя романами граф де Сад никогда не упускал возможности предаться сократовым оргиям и прекратил эти занятия только с возрастом, после обращения, проникшись ужасом перед «безумствами» юности. Приведенные ниже два куплета свидетельствуют о двойственности его желаний. Первый дает основание полагать, что он считал содомию подходящей не только для партнеров-мужчин. Поэтому Донасьену оставалось только укрепиться в этой идее; он всегда будет отдавать предпочтение именно такому способу сексуальных отношений.

Когда я с вами, в вас вся сущность мне по нраву,
Люблю я вас вдвойне – и сразу в два конца,
Я обожаю в вас вид женщины лукавой
И друга мудрого, и нежного юнца.

***

Во всем подобен обитателям Содома,
По-дамски уступлю я натиску мужскому.
За что и в вашем мненьи обесчещен,
Но, дамы, в чем же тут вина моя?
Ведь, в сущности, люблю я только женщин,
И с дамами вполне мужчина я[25].

«Очаровательная троица»

Помимо любовных романов и осуществления честолюбивых планов, граф де Сад страстно увлекался литературой. Наряду с куплетами и ведением обширной переписки, он писал комедии, трагедии, героические поэмы, повести, сказки, философские и моральные трактаты, сборники коротких историй, оставив после себя в общей сложности

* Бисетр – построенный по приказу Людовика XIII приют для увечных солдат, ставший затем больницей для умалишенных, а еще позже – тюрьмой для уголовников.
** Шатле – замок на левом берегу Сены (так называемый Малый Шатле), служивший тюрьмой. В Большом Шатле (на правом берегу) заседал парижский уголовный суд.

более двадцати произведений, ни одно из которых по сей день не опубликовано. Его сын тщательно собрал их и сберег; постоянно читая их и перечитывая, он делал свои пометки, исправлял фразы, добавлял заголовки, отдавал переписывать или переписывал сам плохо сохранившиеся листы, переплетал их и брошюровал. Он никогда не расставался с ними. Вынужденный пребывать вдали от Ла-Коста, он требует управляющего Гофриди прислать их ему. В тюрьме Донасьен бережно хранит книжечку без заглавия, написанную Жан-Батистом, и собственноручно выводит на форзаце: «Мораль и религия: мои размышлениия». В Шарантоне после его смерти отцовские рукописи, разобранные и в полном порядке, будут найдены в книжном шкафу вместе с остальными семейными бумагами. Эти страницы, где между строк, написанных графом де Садом, видно, как почерком Донасьена одно прилагательное заменяется на другое, на полях пишутся новые слова и жирной вертикальной чертой зачеркиваются целые пассажи, наглядно свидетельствуют, как много общего было у отца с сыном и вместе с тем какими они были разными; оба почерка налезают друг на друга, переплетаются, сливаются и отталкиваются, противостоят один другому, подобно их душам, близким и далеким одновременно.

Итак, граф де Сад много пишет, но делает это ради развлечения, как дилетант, нисколько не помышляя сделаться профессиональным литератором, ибо это означало бы конец всей его карьеры. Старый предрассудок жив по-прежнему: дворянин обязан уметь разбираться в искусствах, однако заниматься ими профессионально может, только рискуя вызвать презрение своих собратьев по сословию. Монтескье начал писать, и тотчас дипломатическая карьера оказалась для него закрытой; литературная репутация весьма навредила посланнику и министру Берни; Шуазель упрекал Сен-Ламбера, бывшего в то время капитаном Лотарингской гвардии и автором «Времен года», в двойном отступничестве: как дворянина и как военного. Жан-Батист де Сад тоже и дворянин, и военный. А так как он рассчитывает на высокие должности, то предпочитает ничего не публиковать.

Его отношение к литераторам такое же, как и у всех знатных вельмож: они обожают Вольтера за его литературные таланты, но никому даже в голову не придет относиться к нему как к равному. Между прочим, Вольтер — один из тех литераторов, у которых бывает граф де Сад и его брат аббат. Их общение льстит обеим сторонам: один гордится знакомством с прямыми потомками Лауры, другие — с одним из самых знаменитых авторов своего времени. Однако дружба между Вольтером и графом и аббатом де Сад, к которым следует присоединить их кузена, Жозефа Давида д'Эгийера, не идет дальше обмена изысканными и остроумными комплиментами и не менее изысканными декларациями о намерениях. В честь «очаровательной троицы» (граф, аббат, Сад д'Эгийер) Вольтер пишет стихотворение:

Господину Альдонсу де Саду,
графу де Саду
и господину Жозефу Давиду де Саду

Вы трое прелестью столь ярки
Средь всех, кто мне опорой служит,
Способные вернуть, коль нужно,
Лауру с похоронной барки,
Вы в е...ле превзошли Петрарку,
Да и рифмуете не хуже,
Но я к вам не приду на ужин.
Я заперт и сижу в припарках;
Ведь лихорадка – родственница Парки,
Чья морда – вылитый катар, –
Во мне трясется и хромает,
И взгляд косит, в мозгу – угар,
Меня, как демон, донимает
И насылает адский жар.
И я, несчастный, только пар
Настоев мятных принимаю –
От Жоффруа печальный дар.
Счастливцы вы, я понимаю,
У вас веселия разгар,
И вы, бокалы поднимая,
Вкушаете хмельной нектар.

Простите, господа из троицы; простите и посочувствуйте мне <...>. Пейте, господа; будьте веселы и любезны, и пусть каждый занимается своим делом. Мое дело – вам сочувствовать, питать к вам нежную привязаность и злить вас[26].

* * *

Неизданные письма графа де Сада свидетельствуют о его живом интересе ко всему, что было связано с театром и литературой. Как бы далеко ни находился он от Парижа – воевал ли во Фландрии, пребывал ли с посольской миссией в Бонне, – он всегда был в курсе последних книжных новинок и оперных спектаклей, выборов в Академию, литературных сплетен и закулисных интрижек. Литературные интересы сделали его завсегдатаем салонов писателей и поэтов. Помимо Монтескье, с которым он встретился в Англии, а затем обменялся несколькими письмами, помимо Вольтера, с которым встречался у г-жи де Сассенаж, а потом встретится при осаде Филиппсбурга, Жан-Батист завел множество литературных знакомств. Его склонность влечет его к скабрезным авторам и сочинителям фривольных песенок. У него обедает Кребийон-сын, Колле, Пирон, Жанти-Бернар, все ревностные члены знаменитого «Погребка» при кабаре Ланделя на улице Бюси, где исполняются их непристойные куплеты.

Лучшей характеристикой таких обедов, куда не допускались женщины и где царила чрезвычайно вольная обстановка, является свидетельство одного из друзей графа де Сада, написанное несколько лет спустя:

К сожалению, наши ужины в мужском обществе, украшением коих вы были, прекратились. Перед моим отъездом мы еще раз отобедали в обществе Кребийона,

Колле и остальных. Веселились вовсю, тем более что могли это делать беспрепятственно. Следует признать, что женщины, несмотря на всю их прелесть, только мешают веселью. Им надо постоянно уделять внимание, они хотят блистать сами, отчего в их присутствии всегда приходится сдерживать свой ум. Знаки внимания, кои им приходится постоянно расточать, комплименты, кои надобно говорить, мешают игре ума и сужают круг обсуждаемых идей. Любая непритязательная женщина всегда что-нибудь скрывает и постоянно дает нам это понять. Однако в ее присутствии мы вынуждены соблюдать приличия, отчего происходит принужденность и возникают преграды воображению. Когда же собираются одни мужчины, разговор идет свободно, без непристойностей и богохульства, веселый, но без злословия и неприличных намеков. Правда, иногда мы нелестно отзываемся о женщинах, но никогда об определенной женщине. Я заметил, что на женщин чаще всего нападают самые ревностные их поклонники, а защитниками их выступают либо самые слабые, либо самые равнодушные. Я не осмеливаюсь сказать, куда могут завести подобные рассуждения. Наконец, чтобы подобный ужин оказался удачным, надо иметь утонченный ум и сердце. Мы не стали бы приглашать ни дураков, ни трусов, ни мошенников[27].

Писатель Бакюляр д'Арно, изобретатель слезливого готического романа, был частым участником таких трапез. По отношению к графу де Саду он вел себя как должник со своим благодетелем. Правда и то, что граф очень уважал его и обращался как с другом. Благодаря его (а не Вольтера) вмешательству, Бакюляр вступил в литературную переписку с Фридрихом II. Поэтому нет ничего удивительного, что «Испытания чувств» столь разительным образом напоминают «Несчастья добродетели». Романы Бакюляра занимали почетное место в библиотеке Жан-Батиста де Сада, равно как и многие другие сочинения, авторы которых были его друзьями.

Сколько же книг, прочитанных отцом, стало частью культурного наследия Донасьена! А сколько историй, воспоминаний, встреч, рассказов, признаний перешли к сыну непосредственно из уст отца! Сегодня, когда это наследие нельзя ни исчислить, ни пронумеровать, ни классифицировать, трудно до конца определить степень его влияния на Донасьена. О сотне повседневных мелочей, оказавших влияние на воображение маркиза де Сада, об обрывках разговоров отца с сыном мы уже не узнаем никогда.

Брак либертена

Оставшись вдовцом в двадцать девять лет — Мари-Анн де Конти умерла в 1720 году, — принц Конде вполне стоически переносил свое положение, тем более что жену он никогда не любил, а сердце его занимала г-жа де При. Когда эта последняя умерла, на ее место заступила графиня д'Эгмон. Спустя несколько лет, под давлением семьи, и прежде всего матери, вдовствующей принцессы, он решил утешиться и выбрал себе в жены очаровательную пятнадцатилетнюю немецкую принцессу Каролину-Шарлотту Гессен-Райнфельдскую[28]. Принцу в это время было около сорока. Неравенство возрастов уготовило ему роль Арнольфа*.

* Арнольф — в комедии Мольера «Урок женам» (1662) педант, опекун юной красавицы.

Семейные неприятности старичка, которому весьма сложно справляться с супружескими обязанностями, а тем более удовлетворять юную супругу, привлекали всеобщее внимание.

Матье Марэ заметил:

Герцог столь злоупотреблял сношениями как с мужчинами, так и с женщинами, что практически превратился в развалину. Жена его, урожденная принцесса Гессен-Райнфельдская, весьма любезна и очень хороша. Полагают, что брак их не является настоящим; говорят, она этого не скрывает, но при этом умеет сохранять благорасположение супруга.

Однако это не помешало молодой супруге в 1736 году родить мальчика, Луи-Жозефа де Конде, будущего главнокомандующего эмигрантской армии, чей внук, герцог Энгиенский, расстрелянный по приказу Бонапарта, окончит свои дни во рву Венсеннского замка.

Примерно в это же время, точнее летом или немного позже, осенью 1733 года, граф де Сад, потрясенный красотой юной принцессы, начал за ней ухаживать. Занятие было не из легких, ибо Господин Герцог был ревнив и бдительно охранял молоденькую жену. Чтобы преуспеть, необходимо было жить подле нее, не отпуская ни на шаг. Наконец случай представился. Дочь придворной дамы принцессы, мадемуазель де Майе де Карман, хорошенькая бесприданница, достигла брачного возраста. Граф просит ее руки. Принц дает согласие. Теперь граф может беспрепятственно посещать свою возлюбленную, делает это каждый день и в конце концов добивается желаемого. Таким образом граф де Сад становится любовником принцессы де Конде и супругом мадемуазель де Майе.

Но дадим слово самому графу, рассказавшему эту историю в своей биографии, отрывок из которой, написанный его рукой, был найден в семейном архиве. Сцена брачной ночи, во время которой принцесса подогревает рвение новобрачного, держащего молодую супругу за руку, кажется взятой из одной из сказок Кребийона.

Герцог де [Конде] уже несколько лет был вдовцом. Семья напрасно умоляла его жениться. Первую жену он не любил и о женщинах в целом имел мнение весьма нелестное, поэтому, опасаясь, что вновь будет несчастлив, он отказывался от супружества. Мадам де Пр<и>, с которой он прожил много лет, также являлась препятствием для брачных уз. Когда эта дама умерла, в семье герцога вновь пробудились надежды на его брак. И вот, потеряв любовницу, место Главного министра и оказавшись в Шан<тийи> практически не у дел, он уступил настояниям матери, однако посчитал, что честь его будет в большей безопасности, если он возьмет в жены не французскую, а иностранную принцессу. Ко дворам немецких князей был направлен Лафей. Остановив свой выбор на принцессе Гессен-Райнфельдской, он отправил принцу ее портрет и расписал достоинства ее ума и характера, что окончательно определило выбор Его Высочества. Граф де Мати<ньон> от имени короля отправился делать предложение родителям принцессы.

Принцесса прибыла в Шантийи. Все нашли ее очаровательной. Все, за исключением ее мужа, старались ей понравиться, однако принц счел ее слишком юной и доверчиво отдал свое сердце мадам д'Эгмон. Герцогиня отправилась на житье в Париж, где получила в свое распоряжение удобный дом вместе с приказом не являться в Шантийи без особого на то распоряжения, кое она сможет получить, только когда принц сочтет ее поведение похвальным. Сам герцог показывался в Пари-

же крайне редко. Таким образом принц, женившийся исключительно для того, чтобы продолжить род, по сути, лишил себя этой возможности.

Принцессу окружили надежными людьми, обязанными докладывать о каждом ее шаге, каждом слове, каждом взгляде. Первые три или четыре года принцесса прожила в полной невинности. Однако женщины из ее свиты позаботились о том, чтобы просветить ее. Ей постоянно ставили в пример свекровь, невесток и собственного супруга. И дали понять, что в ее возрасте она ничем не обязана ревнивому и явно не любящему ее мужу. Молодая принцесса старательно впитывала яд, вливаемый мощной струей в ее душу. Те, кто стремились погубить ее, притворялись ее лучшими подругами, и она предпочитала их всем остальным компаньонкам. Когда герцога спрашивали, зачем он оставил в свите жены столь злоязычных особ, он отвечал, что, лишив ее мужского общества, посчитал несправедливым лишить ее еще и общества женского.

Обладая живым нравом, герцогиня жаждала любви. Ее деверь, граф де Клермон, был единственным мужчиной, с которым она могла свободно видеться. Природное кокетство невестки породило в нем некие надежды, и, хотя он был влюблен в герцогиню де Буйон, он счел неразумным отказываться от подобной удачи. Желание досадить братцу лишь подогрело его решение. Сообщив юной герцогине, сколь дорого ему ее внимание, он стал ухаживать за ней с удвоенной энергией. Герцога предупредили, он запретил брату навещать невестку и уволил ее придворную даму мадам де Карман за то, что та не сообщила ему, как братец его попытался переступить границы приличий в отношениях с его женой. Молодая принцесса была огорчена разлукой с мадам де Карман. Желая утешить ее, супруг пообещал выдать дочь мадам де Карман за того, кто согласится оставить ее в свите принцессы.

Три или четыре года подряд я ездил в Шантийи, и герцог, казалось, радовался моим посещениям. При каждом удобном случае он выказывал мне свое расположение. В те времена я бывал в особняке Сассенажей, где нередко ставили любительские спектакли[29]. Сначала меня удерживала там склонность к хозяйке дома, а потом к мадам д'Отри. Однако ни одна из любовниц не помешала мне признать герцогиню обворожительной и постараться понравиться ей. Когда же я порвал с мадам д'Отри и стал свободен, я всерьез решил добиться взаимности этого очаровательнейшего в мире создания. Из нескольких разговоров я понял, что обладать ею я смогу, как только изыщу возможности видеться с ней. Мадемуазель де Карман была на выданье, я решил, что герцогиня будет мне признательна, ежели я выступлю претендентом на ее руку, а я, став мужем фрейлины, к которой она испытывала живейшую симпатию, смогу беспрепятственно видеться с ней и завоевать ее сердце.

И вот я явился к ней и сказал, что желаю жениться на мадемуазель де Карман. Принцесса усомнилась в искренности моего предложения. Я стал убеждать ее столь пылко, что она поверила и не остановила меня, когда я продолжал говорить уже исключительно для того, чтобы понравиться ей, из чего я сделал вывод о ее чувствительности. Она приказала мне поговорить об этом браке с мужем, попросив при этом не упоминать о нашем с ней разговоре. Что я и сделал. Герцог отнесся к моему предложению весьма благосклонно, особенно когда я сказал ему, что делаю это исключительно ради того, чтобы иметь честь быть ближе к его дому. Он пообещал позаботиться о моем будущем, хотя подобное обещание, в сущности, ничего не стоило. Герцогиня, которой муж сообщил о моих намерениях, решила устроить нашу свадьбу как можно скорее. Она купила невесте платье и занялась предсвадебными приготовлениями.

Наконец этот день настал. Свадьба состоялась во дворце Конде, куда из Шантийи прибыл герцог. Я был уже в постели, а мадам де Сад никак не решалась отпустить руку герцогини, умоляя ее не покидать нас. Присутствие принцессы возбуждало мои желания, и я был более тороплив и стремителен, чем если бы мы остались вдвоем, хотя жена моя была отнюдь не дурна собой. Наконец все, похоже,

успокоились. Жена моя, не имея ни гроша за душой, нашла мужа. Герцог доставил удовольствие своей жене и сохранил в ее окружении женщину безупречного поведения. Герцогиня радовалась, что ее не разлучили с задушевной подругой, с которой она могла делиться всеми своими тревогами. А я приобрел недурную жену, надежду на получение полка, обещанного мне герцогом, и вдобавок любовь юной, очаровательной принцессы. Объясняясь с ней, я несколько преувеличил тяжесть жертвы, кою принес, женившись, на бесприданнице с единственной целью быть поближе к ней и видеть ее каждый день, не вызывая подозрений.

Женитьба изрядно сблизила меня с семьей герцога. В любую минуту я мог пройти к его жене. В сердце принцессы царила пустота, и она, несомненно, нашла бы того, кто понравился бы ей больше, чем я, однако она не имела возможности встречаться с мужчинами. Все убедило ее в моей любви, и она без долгих размышлений сдалась мне, сделав все, чтобы я по достоинству смог оценить ее поражение. Я завоевал доверие хранительницы гардероба, впускавшей меня к принцессе через низенькую дверцу, расположенную у меня под лестницей. Эта женщина была единственной свидетельницей наших отношений. И если бы не ревность моей жены, никто никогда бы не проник в нашу тайну. Но о чем только не дознается ревнивая женщина! Она наняла лакея следить за мной, и однажды несчастная дверь открылась в ту самую минуту, когда на лестнице караулил тот самый лакей, поставленный узнать, в котором часу я вернусь к себе. Выходя из двери, я не заметил его, но, придя домой, застал жену в таком ужасном состоянии, что сразу понял, что случилось нечто непредвиденное. Жена не пожелала мне ничего объяснять и только повторяла, что любовь ко мне сделала ее несчастной, ибо я не люблю ее вовсе. Я долго уверял ее в обратном, полагая, что никто не мог донести ей о моей связи, назвать ей те места, которые я посещал, и тех людей, с которыми мне доводилось встречаться, но она была безутешна. Герцогиня первой догадалась, что является объектом ревности моей жены. И мы, решив проявить осторожность, стали меньше разговаривать друг с другом в ее присутствии; однако осторожность нас и выдала. Когда я вошел в апартаменты принцессы, та как раз собиралась удалиться к себе. Многие были уверены в неприязни принцессы ко мне, ибо едва я вошел, как она тут же вышла, не сказав мне ни слова. Я остался и четверть часа болтал с ее придворными дамами, а затем удалился. Но вместо того, чтобы вернуться к себе, я отправился в гардеробную, где меня уже ожидала принцесса, и мы предались нашим нежным утехам. Она была необычайно кокетлива и темпераментна, и я все время боялся ее потерять. Я не сомневался, что она сможет найти более любезного кавалера, чем я, и поэтому каждый раз старался подольше удержать ее, одаривая ласками сверх всякой меры.

Однажды, когда я посчитал, что удовлетворил ее, – и какая женщина не была бы удовлетворена! – она принялась рыдать и сетовать на то, как она несчастна и как, отдаваясь мне, рискует жизнью, ведь если связь наша будет раскрыта, муж в слепой ярости убьет ее, а я люблю ее недостаточно и не могу избавить от этих страхов.

– Как, сударыня, вы все еще сомневаетесь, что я люблю вас самой пылкой любовью? Что я должен сделать, чтобы убедить вас?

Она слегка растерялась.

– Я была бы довольна, – сказала она мне, – если бы не знала, что вы, когда захотите, умеете это делать лучше; мадам де С<ад> рассказала мне некоторые подробности о вашей первой ночи, и теперь мне кажется, что вы предпочитаете ее мне.

– Мадам де Сад была совершенно неопытна, – отвечал я ей, – и мне было легко ввести ее в заблуждение. Разумеется, были некоторые различия, но столь несущественные, что вам не в чем упрекнуть меня.

– Но вы продолжаете спать с ней, – произнесла она, – а если бы вы меня любили, вы бы не делали этого каждую ночь. Мне нравится, как вы меня любите, и

если я хочу получать доказательства вашей любви, то лишь потому, что они укрепляют мою уверенность в ваших чувствах.

Напрасно я уверял ее, что сплю с женой исключительно ради приличий: она заставила меня пообещать спать в отдельной постели, и слово это я сдержал.

Однако с тех пор, как мадам де С<ад> через своего лакея узнала, что я выходил из гардеробной, она стала следить за мной еще более бдительно и однажды, заметив, как герцогиня вошла к себе в гардеробную, поднялась в наши комнаты узнать, у себя ли я. Меня не было, но ей сказали, что я наверняка где-нибудь в доме. Большего ей и не требовалось. Но так как я часто, словно для того, чтобы специально сбить с толку слуг, наносил визиты многочисленным обитателям дворца, она вновь отрядила следить за мной своего лакея, того самого, который видел, как я выходил вечером из гардеробной. Прикинувшись больным, я стал спать отдельно. С этой поры я почувствовал, что жена моя пребывает в состоянии ужасном и ужасно горюет. Печаль свою она объясняла волнением за мое здоровье. Так я утратил дружеское расположение жены, сулившее мне больше счастья, чем все мои виды на будущее[30].

* * *

Итак, Жан-Батист де Сад женился исключительно для обладания пленительной принцессой Конде; весь жар охватившей его любовной лихорадки достался принцессе, для той же, кому предстояло стать его женой, у него не осталось ни единого чувства, даже благодарности за — пусть и скудное — приданое. Однако он все рассчитал и предусмотрел. Хотя в записках своих он об этом не говорит, тем не менее брак его — отличная выгодная комбинация. Мари-Элеонор де Майе де Карман была родственницей в пятом колене Клер-Клеманс де Майе де Брезе, племянницы кардинала Ришелье, ставшей супругой Великого Конде. Таким образом в результате этого брака, безденежного, зато блестящего с точки зрения видов на будущее, наш Растиньяк* породнился с младшей ветвью дома Бурбонов-Конде и таким образом убил разом нескольких зайцев: получил принцессу, престиж в обществе и возможности удовлетворить свои самые честолюбивые замыслы. Партия была разыграна неплохо.

13 ноября 1733 года, в часовне дворца Конде, в торжественной обстановке, в присутствии герцога и герцогини, состоялась церемония бракосочетания. На следующее утро в газете «Меркюр де Франс», после отчета о торжественной церемонии был опубликован очерк, посвященный генеалогии обоих супругов, где были названы все их титулы; среди славных предков графа де Сада не забыли упомянуть и прекрасную Лауру, «известную благодаря восхвалениям знаменитого Петрарки <...>, слагавшего стихи в ее честь». Сообщалось также, что отцом новобрачной был Донасьен, шевалье, маркиз де Карман, граф де Майе, обладатель титула барона де Леклана, владелец земель в Дамени и Вильромене[31]. Жан-Батисту было тридцать два года, а Мари-Элеонор — двадцать два. В качестве свадебного подарка герцог де Конде назначил молодую графиню де Сад фрейлиной герцогини; молодая чета стала жить в апартаментах во дворце Конде.

---

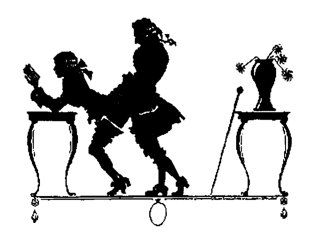
* Растиньяк — персонаж «Человеческой комедии» О. де Бальзака — цикла романов, в которых этот молодой человек, не разбирая средств, стремится сделать себе карьеру.

Через три месяца после свадьбы граф де Сад получил приказ выехать в полк, стоявший в Германии, в звании адъютанта маршала де Виллара. Узнав одновременно и о браке, и об отъезде графа в армию, Вольтер прислал ему этот «маленький пустячок»:

И Гименеем, и Беллоной
Приказ вам к выступленью дан?
И вы к Виллару и к Карман
Завербовались под знамена.
Красавица, чьи ласки внове,
И славный маршал рядом с ней.
Мой друг, поведайте же мне:
Служить Виллару иль любови —
Что вам покажется трудней?

Жан-Батист ответил ему в таком же тоне:

Да, Гименеем и Беллоной
Приказ дан к выступленью мне.
И я сказал «прости» жене,
Воздев Вилларовы знамена.
Мне, новичку, учиться нужно,
Но я надеюсь на успех:
С Вилларом на военной службе,
С Карман — в премудростях утех[32].



Глава II

НЕУДАВШАЯСЯ КАРЬЕРА

Граф де Сад, секретный агент

Подобно многим своим ровесникам-офицерам молодой драгунский капитан добился отправки за границу, чтобы делать, как тогда говорили, «политическую карьеру». Для такого рода службы у него есть все данные: представительная осанка, легкость в обращении, шарм, ум, высокая культура, стремление к роскоши, короче говоря, он словно специально создан, чтобы красоваться при иностранных дворах. И после приобретения некоторого опыта в ведении переговоров перед ним открылось блестящее будущее.

В двадцать один год ему доверили миссию в Гааге, суть которой нам неизвестна; мы только знаем, что перед отъездом он получил из рук Анри д'Оверня, архиепископа Вьеннского, следующее рекомендательное письмо:

Париж, 24 июня 1723 года
Сударь, граф де Сад, который передаст Вам это письмо, направляется в Голландию, в Гаагу. Он принадлежит к числу моих друзей и друзей моего дома. С радостью направляю его к Вам, дабы Вы оказали ему все те услуги, в коих нуждается человек, попавший в незнакомую страну. Прошу Вас ввести его в приятное и достойное общество, а также представить тем лицам, с коими ему следует познакомиться. Поручаю его Вам с уверенностью, что сделал наилучший выбор[1] <...>.

Спустя четыре года, снабженный инструкциями министра иностранных дел Шовлена, а также рекомендациями барона Бернсторфа, поверенного в делах Дании при французском дворе, шпионившего в пользу английского короля, Сад отправился в герцогство Саксен-Гота.

Париж, 18 мая 1727 года
Сударь, пишу только для того, чтобы пожелать Вам счастливого пути и великолепного здоровья, а также адресовать вместе с этим письмом послание для сборщика милостыни Его Высочества герцога Саксен-Гота, дабы в случае, если принца Ангальтского и барона фон Бунау, маршала дома Его Высочества, не окажется в Готе, вышеуказанный господин Хун будет иметь честь принять Вас и показать все, что того заслуживает, например, библиотеку, собрание медалей и прочее. Господин Хун — литератор, у него неплохая библиотека, а так как мне известно Ваше пристрастие к литературе, то я тем более позволю себе вольность направить Вас к нему в надежде, что Вы останетесь довольны[2] <...>.

Во время этого пребывания в Готе граф де Сад познакомился с братом будущей императрицы Екатерины II, князем Ангальтским, с которым станет поддерживать регулярную дружескую переписку.

В 1730 году графа назначают посланником Франции при русском дворе, но смерть юного царя Петра II и политика новой императрицы Анны Иоанновны, бывшей герцогини Курляндской, выдвинули на первое место среди союзников России Германию, а так как правила императрица тоже с помощью немцев, то успеха это посольство не имело. Именно тогда Первый министр кардинал Флери поручает графу де Саду вести конфиденциальные переговоры при Лондонском дворе.

Во время исполнения этого поручения наш секретный агент завязывает дружеские отношения с сэром Генри Пельхэмом, главным хранителем казны партии вигов* и знатоком английских придворных секретов, недавно назначенным генеральным военным казначеем. А попутно извлекает пользу из чар прекрасной г-жи де Воклюз, своей двоюродной сестры, любовницы герцога Ормонда, на которого она — судя по слухам — имела неограниченное влияние[3]. Одна из задач графа де Сада состояла в добывании сведений о тайной деятельности английских якобитов, сторонников дома Стюартов, крайне враждебных ганноверской династии**. Зная, что вышеуказанных якобитов много среди членов масонских лож, граф решает вступить в масоны, дабы легче было шпионить за диссидентами.

Церемония посвящения состоялась 12 мая 1730 года в ложе под названием «The Horn»***, заседавшей в расположенной в Вестминстерском квартале таверне с таким же названием. Еще один непосвященный явился в этот вечер к воротам храма «принять свет»: его звали Шарль-Луи де Секонда, барон де Монтескье. Граф де Сад и автор «О духе законов» стали «братьями» в масонстве. Среди присутствующих были замечены высокопоставленные английские аристократы: герцог Норфолк, Натанаэль Блэкерби, маркиз Кен, лорд Мордаунт, маркиз де Бомон и и другие. Заседание проходило под председательством герцога Ричмонда, старейшины ложи[4].

Теплое местечко

После женитьбы и кампании 1734–1735 годов, проделанной в качестве адъютанта маршала де Виллара, в 1739 году граф де Сад получил от короля должность, которую за сто тридцать пять тысяч ливров откупил у маркиза де Ласэ — наместника провинций Брес, Бюже, Вальроме и Жекс. Цена умопомрачительная, однако выгоды подобное назначение сулило поистине заоблачные. Должности наместников пользовались большим спросом, ибо обеспечивали исполнителей пожизненной рентой, выплачиваемой провинциями своим начальникам. Наместникам не вменялось в

---

* Виги — будущая либеральная лейбористская партия Англии.

** Ганноверская династия — английская королевская династия (1714—1901 гг.).

*** «Рог» (*англ.*).

обязанность безвылазное сидение у себя в глуши, поэтому большую часть времени они проводили при дворе. Лучшего места было просто не сыскать. Однако такие должности были редки, и король жаловал их только лицам привилегированным. Граф де Сад был удостоен этой милости исключительно благодаря хлопотам кардинала Флери, видимо, пожелавшего вознаградить графа за блестящее исполнение дипломатических миссий, которые он ему поручал[5]. Общая сумма денежных поступлений из провинций Брес, Бюже и Жекс доходила до десяти тысяч двухсот ливров в год[6].

Королевские патенты, официально жалующие должность наместника вышеназванных провинций, датированы 29 мая 1739 года. Спустя месяц граф де Сад отправился в парламент Дижона произносить вступительную речь[7].

Двадцать четвертого ноября того же года в Авиньоне скончался Гаспар-Франсуа де Сад. «Смерть отца меня необычайно опечалила», — признается граф монсеньору де Крийону, архиепископу Нарбоннскому и другу покойного.

Чехарда с именами

Рождения первого ребенка графу и графине де Сад пришлось ждать четыре года. В 1737 году Мари-Элеонор родила девочку, названную Каролиной-Лор (Каролиной звали ее крестную мать, принцессу Конде, имя Лор было в семье сакральным: почти в каждом поколении была своя Лор де Сад). Но ребенок не прожил и двух лет — в 1739 году девочка умерла. Единственным сохранившимся о ней свидетельством является письмо маршала де Баленкура графу де Саду от 9 января 1738 года, где можно прочесть:

Я уже поведал находящемуся здесь вместе с нами де Лафею, что у Вас со здоровьем все в порядке, а дочь Ваша чрезвычайно мила и чуточку кокетлива. Видите, я постарался разузнать о Вас все поподробней, но это не должно Вас удивлять, зная, насколько искренне я интересуюсь всем, что касается Вас[8].

* * *

Спустя год после смерти Каролины-Лор, 2 июня 1740 года, г-жа де Сад родила мальчика, коего уже на второй день после рождения окрестили в купели церкви Святого Сюльпиция (в этом приходе располагался дворец Конде). Крестным отцом его стал дед со стороны матери, Донасьен де Майе, маркиз де Карман, а крестной матерью Луиза-Альдонса д'Астуо де Мюр, бабушка с отцовской стороны. Но ни один, ни другая на церемонии не присутствовали, их представляли заместители. Граф в этот день также был занят и не сумел попасть на крестины сына. Мать лежала в постели, не успев оправиться от родов. Ошибки, совершенные церковным служкой, объясняются отсутствием родственников ребенка, приславших вместо себя слуг.

Новорожденный действительно был назван Донасьен Альфонс Франсуа. Но только первое имя — Донасьен — соответствовало жела-

нию семьи; имя это носил дед с отцовской стороны, получивший его в честь святого бретонского мученика, убитого вместе со своим братом Рогасьеном за проповедь в Бретани христианства. Вторым граф хотел сделать имя матери, старинное провансальское имя Альдонс, подходящее как для девочек, так и для мальчиков, но совершенно неизвестное в Париже. Кюре церкви Святого Сюльпиция не понял и записал в акте о крещении Альфонс[9]. Третьим именем отец выбрал Луи — в честь своего покровителя Луи-Анри де Бурбона, но его попросту забыли и заменили на Франсуа.

Вот так маркиз де Сад получил имена Донасьен Альфонс Франсуа вместо предназначенных ему Донасьен Альдонс Луи. Однако он не забыл о потерянных именах и всю жизнь старался восстановить их, часто подписывая ими официальные бумаги, начиная с брачного контракта, где он назван Луи Альдонс Донасьен де Сад. Иногда он предпочитал написание Альдонз, более точно отражавшее провансальское произношение. Во время революции он оставил только одно имя — Луи. Об этих ономастических казусах вряд ли стоило бы говорить столь подробно, если бы они не повлекли за собой плачевные последствия для владельца всех этих имен. У нас еще будет случай к ним вернуться.

Господин посол

Через семь месяцев после рождения сына, 20 января 1741 года, граф де Сад узнал о своем назначении полномочным министром при дворе курфюрста Кельнского, архиепископа Климента-Августа. Кардинал Флери, некогда уже оценивший его умение вести переговоры, представил его кандидатуру Людовику XV, и тот согласился. Правда, пост был не из завидных на европейском дипломатическом поприще; рейнские князья не обладали полным суверенитетом и зависели от высшей инстанции — Священной Римской империи. К ним обычно посылали молодых людей, зачастую выходцев из офицерской среды, непременно знатного происхождения и общительного нрава, дабы те прошли там школу «дипломатического послушания». Разумеется, такое назначение нельзя было сравнивать с миссией в Лондон, Вену или Мадрид. Однако для начала это было не так уж плохо. Граф де Сад видел, что желание его сбывается: у него свое посольство, почести, состояние; перед ним открывалась легкая и беспечная жизнь.

Французский двор был самым блестящим в Европе: роскошь укрепляла престиж короля. Отсюда и высокое содержание, выплачиваемое дипломатам, — они были обязаны вести образ жизни, достойный их повелителя. Обладал ли граф де Сад «скромными средствами», необходимыми для успеха при рейнских дворах? Задачу облегчали постоянно выделяемые бюджетные суммы в размере 24 000 ливров в год, к которым прилагались еще 12 000 ливров на расходы «по обустройству», а также суммы от 6000 до 10 000 ливров на «экстренные» расходы. Этих средств вполне хватало для преодоления препятствий даже при

клерикальном дворе курфюрста Кельнского: там деньги также служили «ключом, отпирающим любые двери».

Итак, в последних числах января 1741 года, оставив жену и сына во дворце Конде, Жан-Батист уехал в Бонн, где квартировало его посольство. Что же касается маленькой принцессы, его любовницы, то она еще в 1739 году сменила его на кавалерийского офицера господина де Бисси. Раздосадованный предпочтением, оказанным этому франту, а главное, опасаясь, как бы новая интрижка не стала причиной разоблачения его собственной связи с принцессой, Жан-Батист, по слухам, сам известил принца о его несчастье. По крайней мере, так считает д'Аржансон: «Говорят, господин де Сад, почувствовав нависшую над собой угрозу, способствовал сему досадному открытию». В приступе жестокой ревности Господин Герцог приказал поставить на окна покоев жены решетки, на двери повесить засовы, уволил большинство женщин из ее свиты (сохранив графиню де Сад как наименее подозреваемую) и приказал отправить Бисси в полк. «Страшно даже подумать, что за такую извинительную провинность эту очаровательную принцессу могут запереть в каком-нибудь ужасном замке», — заключает д'Аржансон.

Но проследуем в Бонн, где Жан-Батист де Сад обосновался уже к 10 февраля, заметив попутно, что в Париже назначение его было воспринято неоднозначно. Д'Аржансон, например, резко критикует королевский выбор:

> Только что нашим представителем в Кельне был назначен господин де Сад, а посланником Франции в Дрездене — шевалье Дезалер. Обоим петиметрам нельзя отказать в уме, но не в том, который потребен для такого рода деятельности: подобные назначения на заграничные посты всегда удивляют. Они свидетельствуют о нашем отношении к германским делам, а также о полном забвении интересов королевы Богемии; напомню, что в свое время мы не проявили должного внимания к интересам ее отца[10].

Тревога д'Аржансона станет более понятной, если вспомнить, что после смерти Карла VI (19 октября 1740 года) наследовавшая ему дочь Мария-Терезия должна была встать во главе империи в силу Прагматической санкции*, принятой большинством европейских государств. 10 ноября Людовик XV признал ее наследницей австрийских владений, однако кандидатом на имперскую корону решил поддержать курфюрста Баварского Карла-Альберта[11]. Итак, французская политика заключалась в том, чтобы разъединить германских принцев из дома Габсбургов и заставить их поддержать Карла-Альберта, родного брата курфюрста Кельнского. Связанный с Францией союзным договором, подписанным в 1734 году и возобновленным в мае 1740 года, Карл-Альберт, подталкиваемый Людовиком XV, должен был выполнить принятые на себя обязательства и выступить против Марии-Терезии. Такова была задача миссии де Сада.

---

* Прагматическая санкция — принятый Карлом IV Габсбургским закон о престолонаследии, согласно которому в случае отсутствия у императора сыновей престол переходил к старшей из дочерей; в 1740 г. на основании этого закона правление землями Габсбургов перешло к Марии-Терезии.

На первой же аудиенции, данной ему 4 марта 1741 года согласно принятому церемониалу, граф де Сад убедился, что курфюрст в целом соответствовал сложившемуся о нем мнению. Посредственного ума, нерешительный, склонный к меланхолии и чрезвычайно рассеянный, Климент-Август оживлялся только во время развлечений, праздников, на охоте и при виде красивых построек. Также он любил, когда все восторгались его вкусом и окружавшей его пышностью. Он был чрезвычайно влюбчив и имел множество фавориток, которых донимал мелочной ревностью. Однако в остальном князь-архиепископ, похоже, «скрупулезно исполнял свои обязанности как политика, так и отца церкви; не было дня,— отмечает аббат Онийон, — когда бы он пропустил мессу, часы молитв или забыл свои четки». И добавляет: «Его благочестивые упражнения часто прерываются пирами, охотами, играми, ужинами в тесной компании, выездами в оперу, в театр, на бал». В заключение же он сообщает: «По утрам курфюрст, облачившись в мантию и митру, нередко ведет службу, а вечером танцует где-нибудь в костюме домино»[12].

Граф де Сад быстро докапывается до сути политики курфюрста, лавирующего между Веной и Версалем. С одной стороны, для сохранения своих епископских владений, находящихся на лютеранских землях, он нуждается в поддержке Австрии; с другой — связан обязательствами с королем Франции и курфюрстом Баварским. Получив недвусмысленную поддержку в лице победоносной французской армии, недавно занявшей Прагу, наш посол в конце концов убеждает курфюрста присоединиться к подготовленному при его участии Нимфенбургскому договору (от 28 марта 1741 года), согласно которому Франция, Испания, Королевство Обеих Сицилий, курфюрст Пфальцский и он сам, курфюрст Кельнский, обязуются поддержать Карла-Альберта Баварского. 24 января 1742 года Карл-Альберт избирается императором, и Климент-Август лично коронует собственного брата, принявшего имя Карла VII. Торжество французской политики стало дипломатической победой одного из представителей французской дипломатии.

Темное дело

Но долго наслаждаться плодами победы не пришлось: отношения между курфюрстом и графом де Садом быстро испортились. Косный и надменный князь-архиепископ Климент-Август совершенно не выносил французского дипломата, беззаботного вольнодумца, с легкостью рассуждавшего о вещах серьезных и позволявшего себе в общении с ним «недопустимую фамильярность». Первое время француза терпели, даже ободряли, но вскоре в отношениях наступил кризис и обидчивый курфюрст развернулся к нему на сто восемьдесят градусов. Со своей стороны, Жан-Батист не может без усмешки взирать на тщеславного прелата, предающегося разврату и в то же время с дотошностью старой девы исполняющего все церковные обряды. Его раздражают вечные колебания курфюрста, мелкие увертки и резкая смена настроений.

В течение 1742 года взаимное раздражение усилилось. Развязка обещала быть бурной. Она произошла в августе 1743 года. Причины ее никто так и не узнал. Ходили слухи о любовном соперничестве, однако, по мнению графа Гогенцоллерна, Первого министра курфюрста, граф де Сад, сумев втереться в доверие к его повелителю, не сумел это доверие сохранить, так как «пожелал произвести изменения у него в доме и в министерстве»[13]. Не исключают также возможность ссоры во время игры. Князь обожал играть, но испытывал ужас перед проигрышем, и тот, кто безрассудно дерзал выиграть у него, оказывался в весьма деликатном положении: «Именно проигрыш курфюрста стал причиной их взаимного охлаждения и бурного взрыва возмущения со стороны графа де Сада; ссора их зашла слишком далеко, между послом и курфюрстом возникло отчуждение»[14]. Таковы предположения де Пюизье, который, будучи в 1747 году министром иностранных дел, направил их в качестве предупреждения преемнику графа де Сада, аббату Гебриану. Наконец, в анонимном — и неопубликованном — письме, датированном 3 марта 1744 года, графу де Саду сообщают, что для недовольства у курфюрста был целый ряд причин.

Вот три преступления, каждое из которых подпадает под определение «оскорбление величеств»; эти преступления хотят вменить Вам как посланцу короля Франции, дабы лишить должности, на которую Вы были назначены.

Преступление первое: поддерживая тесные отношения с императором, Вы жаловались ему на курфюрста. К тому же Вы наверняка пребываете в курсе интриг, которые плетут императорский двор и двор французского короля с королем Пруссии.

Преступление второе: Ваша особая привязаность к герцогу Теодору, которому Вы оказываете предпочтение перед курфюрстом; доказательством тому явилась Ваша немедленная готовность раздобыть сумму, необходимую герцогу, чтобы уехать отсюда и начать переговоры об избрании его курфюрстом княжества Льежского в ущерб нашему курфюрсту.

Преступление третье: нежелание побудить французский двор выплатить сумму, которую он должен курфюрсту.

Вот три тяжких преступления, в которых Вас обвиняют, и оправдаться у себя при дворе Вам будет нелегко. Поэтому, сударь, примите соответствующие меры; ежели здесь станет известно, что сведения эти получены прямо в посольстве, Вы погубите достойного человека, вместе с коим наверняка погибнет еще один человек[15].

Подлинная причина разногласий так и не установлена, но тяжкие последствия этой ссоры для графа де Сада известны достаточно хорошо. Вот каковы факты. Испросив разрешения у французского двора вернуться на время в Париж и получив его, граф де Сад уверил курфюрста, что отозван окончательно, и перед отъездом попрощался со всем двором. Вопреки содержанию анонимного письма, состоялась церемония прощания, во время которой граф получил из рук Климента-Августа традиционный подарок, явившийся, скорей всего, замаскированной формой вознаграждения, и вернулся во Францию. Спустя несколько дней после прибытия князь-архиепископ прислал ему отзывные грамоты, датированные 31 декабря 1743 года[16].

Жан-Батист покинул свой пост, не имея на то распоряжения короля, и прибыл ко двору, не поставив никого в известность о ссоре с курфюр-

стом. Отзывные грамоты, которые следовало передать Людовику XV, он сунул в карман и больше года продолжал извлекать выгоду из своего звания, получая причитавшееся за него содержание. Аббат Онийон, обнародовавший эти сведения[17], уточняет, что обман графа был раскрыт только в марте 1745 года. Д'Аржансон высказывается еще суровее:

В Кельне наш посланец граф де Сад вступил в конфликт с курфюрстом и его министерством; заслуживший поначалу благоволение курфюрста, граф вскоре злоупотребил им; курфюрст жаловался, что посланник продал за деньги его милостивое к себе отношение, и обвинял его в низменных и корыстных поступках. Господин де Сад испросил разрешения вернуться на время во Францию, разрешение было дано, но не более того; он же окончательно распрощался с курфюрстом, получил от него прощальный подарок, но никому об этом не сообщил и продолжал получать причитавшееся ему содержание. Заместителем своим в Бонне он оставил секретаря по имени Боме, одного из тех гнусных проходимцев, иногда встречающихся в нашем деле, готовых служить любому, кто больше заплатит. В конце концов Боме попался на мошенничестве, был посажен в тюрьму и там умер[18].

Разумеется, Жан-Батист постарался опровергнуть выдвинутые против него серьезные обвинения. В одной из служебных записок д'Аржансону он писал:

Его упрекают в том, что он взял у князя отзывные грамоты. Да, он их взял, но не посчитал их отзывными и отослал своему секретарю, чтобы тот вернул их курфюрстовым министрам. Его также упрекают в утаивании своей размолвки с курфюрстом. Если он никого не известил, значит, он не знал об этом. Мог ли он такое предвидеть? Он получил множество писем от этого князя. Последнее письмо написано 12 января, а уехал он 2 февраля[19]. Похоже, что слух о размолвке возник исключительно из страха перед его возвращением, но так как сегодня этого никто больше не боится, мир восстановлен, и принц уже доверил ему ряд поручений. Он в состоянии доказать правоту всех своих слов[20] <...>.

О законном отпуске, предоставленном ему тогдашним министром Амло де Шайу[21], и дальнейших событиях граф дает объяснения в другой служебной записке:

В 1744 году он получил разрешение вернуться в Париж, где господин Амло, знавший о плачевном состоянии его дел, дозволил ему оставаться в должности до тех пор, пока не найдет ему места при другом дворе. Когда Амло покинул Министерство иностранных дел (26 апреля 1744 года), граф де Сад, вообразив, что новый министр, не ведающий о его заслугах, может позабыть о нем, пожелал вернуться на службу, дабы заслужить должность более высокую, и попросил дозволения вернуться в Бонн[22] <...>.

Наконец, на основании письма от 12 марта 1747 года, адресованного из Бонна графине де Сад, написанного скорей всего секретарем графа, Анри Боме, можно заключить, что не столько сам курфюрст, сколько его министры сделали все, чтобы погубить посла короля Франции в глазах общественного мнения. Курфюрст, таким образом, стал жертвой интриг:

Вам, сударыня, без сомнения, известно, что Его Светлейшее Высочество курфюрст, узнав, что господин граф должен вернуться, отправил королю письмо, где умолял прислать на место господина графа другого посла. Однако это письмо было написано им вовсе не по велению души, а под диктовку министров, опасавшихся, как бы де Сад не разоблачил низости, распространяемые ими о нем везде, где толь-

ко возможно. Доколе продолжат преследовать высочайшей местью того, кто ни в чем не повинен сегодня и не был повинен вчера, и лишь для того, чтобы доказать свою дружбу людям, стремящимся единственно набить карманы, не задумываясь над тем, что стремление сие наносит урон чести их повелителя! Таковы, сударыня, принципы, коими здесь руководствуются; издалека в это трудно поверить[23].

И полномочный представитель добавляет весьма характерную деталь об атмосфере подозрительности, царящей во владениях курфюрста: «Как бы мне этого ни хотелось, сударыня, но не стану доверять бумаге все, что мог бы рассказать Вам об этом деле». При кельнском дворе, как и при всех германских дворах, царили коварство, клевета и чудовищная коррупция.

Добавим, что эпистолярные отношения между Климентом-Августом и графом де Садом всегда будут самыми сердечными, даже после «размолвки». Курфюрст знал, что посол пытался найти себе замену, чтобы получить более престижное назначение и не возвращаться в Бонн, где разорился на королевской службе, не получив ни выгод, ни преимуществ. «Я глубоко Вам обязан, сударь, за заботу о моих интересах, кою Вы с такой учтивостью проявляете, напоминая о них своему королю. Любому, кого Его Величество пожелает прислать в качестве посла, будет оказана достойная встреча», — писал он графу 29 апреля 1744 года. И внизу листа собственноручно прибавил несколько слов, отнюдь не выдающих в нем человека оскорбленного: «Каждый день вспоминаю Вас, ибо как никогда нуждаюсь в Ваших советах. Возвращайтесь, если сможете. Вы мне очень нужны»[24]. Спустя пять месяцев, 6 сентября, он доверительно сообщает графу:

Я Вам очень признателен, сударь, за труды, кои Вы приложили, убеждая меня заказывать к каждому сюртуку собственные кружева: это действительно необычайно удобно. Я приказал, чтобы портрет, который мадемуазель де Шаролэ изъявила согласие принять, был готов как можно скорее: мне не хотелось бы, чтобы из-за меня Вас бранили[25].

Разве на другой день после размолвки просят советов относительно гардероба? Или напоминают о портрете, предназначенном для любовницы врага (а может, также и для своей собственной)? Все это, напротив, свидетельствует об удивительно близких отношениях между полномочным послом и князем-архиепископом. Остается только вообразить, что князь-архиепископ использовал посла в целях отнюдь не дипломатических и недоразумение возникло из-за женщин. И тут напрашивается некий вывод, который историк тем не менее вряд ли отважится сделать. Есть все основания полагать, что Климент-Август завидовал тесным дружеским отношениям графа де Сада с его соперником, князем-епископом Льежским Иоганном-Теодором. Не запрещено и предположить, что князь щедро вознаграждал посланца Франции за поставку свежей информации о кельнском дворе. Письма князя к де Саду, написанные в течение 1744 года, действительно заставляют усомниться в лояльности графа по отношению к курфюрсту[26].

В глазах общественности виновность посла была, в сущности, доказана: никто не сомневался, что он оставил свой пост, не имея на то при-

каза короля, но продолжал получать жалованье. Остаются также обвинения д'Аржансона в спекуляции влиянием и «низменных и корыстных поступках». Мы знаем, что министр, мягко говоря, не испытывал ни малейшей симпатии к полномочному послу. Однако ни для кого не секрет злобный от природы характер д'Аржансона: его суждения о политических персонажах эпохи Людовика XV отличаются необычайной суровостью. К тому же обвинения его беспочвенны: ни одного письменного свидетельства, ни единого письма, ни тени доказательств. Поэтому, на наш взгляд, слепо доверять им нельзя.

Напротив, обвинения д'Аржансона, выдвинутые против Анри Боме, похоже, вполне оправданны. Этот уроженец Монпелье является весьма любопытным персонажем. Когда в 1741 году в Бонне он поступил на службу к де Саду, ему было всего двадцать один год. С начала 1744 года, став временным заместителем своего начальника, он исполнял текущие дела в посольстве. Спустя три года расследование, проведенное начальником полиции Фейдо де Марвилем, привело к любопытным результатам. Воспользовавшись своим положением, Боме попытался за десять тысяч экю (или тридцать тысяч ливров) продать одному иностранному посланнику «шифры и документы, а также переписку графа де Сада с кельнским двором, ибо всем этим он ведал со дня отъезда посла». 22 апреля 1747 года его посадили в Бастилию, где он заболел какой-то загадочной болезнью и 8 ноября следующего года умер у себя в камере: ему было всего двадцать семь лет[27].

Остается одна невыясненная деталь: действовал Боме в одиночку или же при сообщничестве де Сада? Вечный недоброжелатель д'Аржансон, похоже, склоняется ко второму предположению. Коварно соединяя посла и секретаря, он адресует упреки обоим, не оставляя сомнений о ходе своей мысли. Для него господин ничуть не лучше слуги: в обоих он видит мошенников, взяточников и стяжателей. Однако не станем полагаться на его поспешные выводы, продиктованные не столько ненавистью, сколько стремлением видеть на посту посла в Кельне своего протеже аббата Онийона[28]. Мы перечислили основные провинности де Сада, но напоминаем, что утверждать что-либо с полной уверенностью невозможно. Что же касается остального, давайте проявим к маркизу снисхождение. Оставив, разумеется, и место для сомнений.

Крепость в Анвере

Вышеизложенные события стали известны при французском дворе только в марте 1745 года. Даже сам д'Аржансон, 19 ноября 1744 года сменивший Амло де Шайу на посту государственного секретаря по иностранным делам, ничего не знал. Иначе у него ни за что не возникла бы идея отправить в феврале 1745 года графа де Сада в Кельн. Тем временем смерть нового императора Карла VII (20 января 1745 года) повергла в великое смятение всех, кто определял внешнюю политику Франции. Д'Аржансон упорно отказывался поддержать кандидатуру Франца Лотарингского, супруга Марии-Терезии, предпочитая баварского

наследника Максимилиана-Иосифа, хотя тот явно не подходил для роли императора. И графу де Саду было поручено поставить в известность курфюрста Кельнского о планах – весьма абсурдных – французских политиков и привлечь его на свою сторону. Инструкции, полученные им 26 января 1745 года, свидетельствуют об удручающей наивности политического руководства страны, рекомендовавшего взывать «к великодушию курфюрста и его нежному отношению к детям покойного императора, а также к долгу перед человечеством». Подобное отсутствие политического реализма может вызвать только недоумение.

Второго февраля 1745 года посланец короля пустился в путь. Но едва он покинул Париж, как Климент-Август поставил в известность французские власти, что «по причинам особого характера» он не желает принимать этого посла и требует другого. Предупреждение оказалось бесполезным: въехав во владения курфюрста и проезжая через небольшое село Зинциг, расположенное между Андернахом и Бонном, граф де Сад попал в засаду, устроенную одним из нерегулярных пехотных отрядов, которые во множестве формировались во владениях Марии-Терезии, был взят в плен и препровожден в крепость Анвер[29]. Климент-Август, разумеется, отказался потребовать его освобождения. Французский двор, узнав о мошенническом поведении своего посланца, также не спешил его вызволять. Д'Аржансон торжествовал: его дражайший аббат Онийон, уже находившийся в Бонне, был назначен поверенным в делах. «Вот и прекрасно!» – ликовал министр.

С Жан-Батистом обходились почтительно, как подобает его рангу; сам он, пытаясь забыть о своем положении узника, сочинял стихи и сказки, писал воспоминания. Узнав о постигшем его несчастье, друзья слали ему письма, где, желая развлечь его, пересказывали придворные и городские сплетни, переписывали куплеты, остроты и множество забавных шуток: Мопертюи обосновался в Берлине, г-жа д'Этиоль* признана «официальной любовницей», король одержал победу при Фонтенуа**, дофин женился, Грессе дождался постановки своей комедии «Сидней», «смеси ужасов и буффонады», в Опере идет «Амадис Греческий», и т. д. Вольтер присылает ему милое письмо и вместе с ним свою последнюю пьесу «Принцесса Наваррская». «Произведение заказное, его следует забыть сразу после окончания праздника, – предупреждает он. – Но раз вы хотели его прочесть – читайте, ведь узнику все равно что читать». В конце письма он передает ему «тысячу приветов» от г-жи дю Шатле[30].

Узнав об аресте мужа, графиня де Сад начала кампанию по его освобождению, вовлекая в нее всех своих влиятельных знакомых. Герцогиня Аренберг и графиня де Тротти обещали поддержать ее; она с беспримерным упорством осаждала д'Аржансона, и тот наконец отпра-

---

* Г-жа д'Этиоль – будущая маркиза де Помпадур. Ленорман д'Этиоль – фамилия ее мужа, с которым она сочеталась браком в 1741 г.

** Речь идет о сражении, состоявшемся 11 мая 1745 г., когда французская армия под командованием маршала Морица Саксонского разбила коалиционное войско англичан, голландцев и австрийцев.

вил ее к герцогу Шуазелю; герцог пообещал ей сделать все, что от него зависит. Теперь требовалось согласие короля, а получение его зависело от министра. Она вновь принялась осаждать д'Аржансона, но безуспешно. Она настаивала и потерпела поражение. Тогда она стала писать князю Кауницу, послу Австрии в Париже, умоляя его вмешаться; она буквально засыпала его письмами.

Наконец, после десяти месяцев пребывания де Сада в тюрьме, супруга его благодаря своей эпистолярной активности, направленной как на освобождение мужа, так и на получение причитающихся ему денег (так как выплата жалованья была приостановлена), 16 ноября 1745 года получила ответ от маркиза д'Аржансона, любезный по форме, но ядовитый по сути. Однако на яд внимания не обратили: освобождение было близко, до него оставалось буквально несколько дней.

Сударыня, Вам известно, что явилось причиной прекращения выплаты причитающегося графу де Саду жалованья; если бы он не оставил у себя, как он это сделал, отзывные грамоты курфюрста Кельнского, его бы продолжали выплачивать и не было бы нужды раздобывать специальный приказ короля относительно возобновления выплат. После того как я имел честь сообщить королю о плачевном положении графа и о Вашей нужде, Его Величество, желая утешить графа де Сада в несчастии, постигшем его на королевской службе, кою он исполнял по прямому королевскому распоряжению, поручил мне сообщить Вам, что он готов выплатить ему 6000 французских ливров в качестве жалованья за шесть месяцев, и я уже отослал приказ. Еще я распорядился направить письма в разные инстанции, дабы королеве Венгрии были поданы прошения об освобождении графа де Сада, и надеюсь, что эти просьбы приведут к ожидаемому Вами результату.

Имею честь, сударыня, быть Вашим почтительнейшим и смиреннейшим слугой.

Д'Аржансон

P.S. Только что я получил ответ господина де Стэнвиля с копией письма господина Кауница, позволяющего надеяться на успех Вашего предприятия[31].

Наконец 23 ноября граф Кауниц сообщил де Саду о его грядущем — 24 ноября 1745 года — освобождении[32].

* * *

Незамедлительно вернувшись в Париж, граф де Сад употребляет все силы и влияние для защиты чести и исправления создавшегося положения. Ему надо срочно найти какую-нибудь должность и добиться выплаты содержания хотя бы в половинном размере, ибо он практически разорен. В Кельне он жил на широкую ногу: его дом считался одним из самых роскошных во всем княжестве; гостей восхищали богатая обстановка, изысканный стол и великолепные вина, выписываемые непосредственно из Бургундии. Обязанность осуществлять представительские функции прекрасно согласовывалась с его пристрастием к роскоши; он бездумно жертвовал всем ради показного величия. Теперь же, не имея ни кредита, ни доходов, он готов согласиться на любую вакантную посольскую должность. Д'Аржансон уверяет его в своей «почтительной преданности», но упоминать его имя в присутствии Людовика XV воздерживается. Потеряв терпение, Сад пишет министру письмо:

Нет, я не жалуюсь, что Вы до сих пор не предложили мне должность в посольстве. Когда Вы окажете мне честь и сообщите королю о моем горячем желании служить ему, я буду черезвычайно Вам признателен. Но даже если Вы этого не сделаете, я не стану жаловаться на Ваше чрезмерно суровое ко мне отношение. Суровым я называю его потому, что, отправив меня отсюда с жалованьем в двадцать четыре тысячи франков, Вы после моего возвращения утверждаете, что король дает мне всего двенадцать.

Не знаю, много ли у короля послов, довольствующихся жалованьем в двенадцать тысяч франков. Если таковые есть, значит, они не принадлежат к тому сорту людей, к которому отношу себя я, и я не желаю, чтобы меня с ними смешивали. Две тысячи экю (шесть тысяч ливров), выделенные мне Вами в качестве особой милости, не могут являться полной суммой, причитающейся мне, ибо отъезд мой состоялся через пять недель после назначения меня на должность. Уверен, Его Величество, назначая вознаграждение своим посланникам и всем, находящимся у него на службе, бывает столь добр, что предупреждает их о суммах выплат, ибо расходы принято соизмерять с доходами. Тем более что искомые две тысячи экю едва покрывают мои дорожные расходы. А разве справедливо, что десять месяцев я содержал себя за собственный счет?

Пребывать в заточении вдали от семьи, от своей страны, быть не в состоянии исполнять свои обязаности и, что еще более плачевно, лишиться чести служить своему повелителю — это ли не величайшее несчастье? Если я и совершил несколько промахов, то потеря Вашего расположения уже сама по себе является суровым наказанием, и вовсе не требуется усугублять его, разоряя меня[33].

Но д'Аржансон упорствует в своей ненависти. Для него граф де Сад остается креатурой семейства Конде, «породы Конде», как пренебрежительно выражается он. Не дерзая атаковать это могущественное семейство в лоб, он отыгрывается на их приверженцах, и прежде всего на том, кого считает их преданным слугой: на Жан-Батисте де Саде.

Отныне графу даются только кратковременные и весьма скромные поручения; такая работа не имеет перспектив. Его, светского щеголя до мозга костей, отныне используют в качестве статиста при иностранных дворах; ему уготована роль исключительно представительская, он представляет, но ничего не решает; его, например, используют для поисков подходящих партий для принцев; реальной работы в посольстве, соответствующей его способностям, ему никогда больше не предложат.

Оплошность

Вокруг его имени при французском дворе всегда будет существовать сомнительный ореол, старательно создаваемый его недоброжелателями. Все, кто считают себя противниками Конде, станут и его врагами, а таковых немало. В частности, среди его недругов будут числиться кланы д'Аржансона и Шуазеля. Как говорится, для полного букета не хватало только восстановить против себя короля. Но об этом позаботились; недовольство короля стало основной причиной его опалы.

Граф имел несчастье вызвать неудовольствие Его Величества при обстоятельствах, о которых аббат де Сад поведал брату в письме от 15 декабря 1744 года:

Вместе с маршалом Ришелье, как никогда любезным со мной, я провел несколько дней в Монпелье[34]. Его брошенные вскользь слова относительно Вас долго лежали у меня на душе тяжким грузом. Наконец я попросил его рассказать все подробно. И он сообщил, что Вы ополчились на него и мадам де Шатору в присутствии друзей этой дамы, которая и поведала ему об этом; обида мадам де Шатору была еще сильнее от того, что ранее она приняла решение составить состояние Вам и Вашей жене, бывшей своей подруге; она пожаловалась на Вашу выходку королю, и тот теперь настроен против Вас. Я заверил маршала, что Вы не способны оскорбить женщину, это сущая клевета, тем более что Вы, на мой взгляд, всегда испытывали глубокую симпатию к мадам де Шатору и неблагодарность Вам чужда. Вот все, что мне удалось разузнать[35]<...>.

Граф получил это письмо сразу же после кончины герцогини де Шатору (8 декабря 1744 года) от загадочной скоротечной болезни; любовнице короля было всего двадцать семь лет. В ужасе от сделанного братом открытия он тотчас просит его разъяснить все наиподробнейшим образом. 26 января 1745 года аббат пишет ответ, однако весьма уклончивый:

Не могу ничего сообщить Вам об интересующем Вас предмете. Подробности мне неизвестны. Человек, отправляющийся в Англию [Ришелье], сказал мне только, что господин его [Людовик XV] крайне Вами недоволен из-за некоторых Ваших высказываний об умершей женщине [герцогине де Шатору]. Когда я захотел оправдать Вас, он рассмеялся мне в лицо и заверил, что все рассказанное им — чистая правда; мне показалось, он и сам уязвлен Вашей выходкой. Вот все, что мне известно. Исходя из Вашего письма, я полагаю, Вам не следует более искать государственной службы. Если Вы со мной согласны, значит, скоро утешитесь, и если я выражаю Вам свою досаду, то исключительно полагая, что Вы останетесь самим собой и со мной не согласитесь[36] <...>.

Тесно связанная с Ноайлями и имея поддержку могущественного клана герцога де Ришелье, который два года назад с помощью интриг сделал ее фавориткой Людовика XV, герцогиня де Шатору пользовалась при дворе неограниченным влиянием. Нападая на нее, граф де Сад совершил оплошность, в которой ему придется каяться всю жизнь. С присущим ему злопамятством монарх не забыл об оскорблении, нанесенном его любовнице, равно как не забыли про это и все те, кто отныне опасались числиться в его друзьях.

* * *

Нам казалось необходимым подробно рассказать о карьере Жан-Батиста де Сада. Это поможет понять причины его горького разочарования в жизни, результатом которого явилось обращение к серьезному интеллектуальному труду, а затем и к религии. История крушения карьеры графа де Сада важна еще и потому, что общественный остракизм, жертвой которого он стал, впоследствии распространился на его сына. Первые самостоятельные шаги Донасьена на жизненном поприще, несомненно, были затруднены по причине дурной репутации графа, равно как и будущие его несчастья во многом порождены опалой отца.

Глава III
ОТВЕРЖЕННЫЙ

Во время долгих отлучек графа де Сада маленький Донасьен остается с матерью, придворной дамой принцессы, во дворце Конде, где она занимает просторные апартаменты на втором этаже, в строении, расположенном между так называемым Архивным двориком и вторым двориком[1]. Сам дворец Конде располагался там, где сейчас проходит улица Конде, на месте домов с 9-го по 15-й; сады, окружавшие его, простирались вплоть до улиц Вожирар и Месье-ле-Пренс. Это был один из великолепнейших жилых особняков Парижа.

> Ни один другой дворец, — писал Жермен Брис, — не мог похвастаться таким количеством роскошной мебели. Поражало также изобилие полотен известных художников, среди которых выделялась картина «Крещение Иисуса Христа», долгое время бывшая собственностью герцога де Ледигьера, великолепных гобеленов, некогда принадлежавших семейству Монморанси, а также драгоценностей, подобных коим не сыщешь нигде. В нем также была обширная библиотека, где хранилось немало редких книг и редчайших, выполненных вручную географических карт. Сад, достойный всяческого внимания, невзирая на сравнительно небольшую протяженность, счастливо соединял мастерство природы с искусством садовника и неизменно производил наиприятнейшее впечатление. Там были закрытые беседки на манер голландских, сделанные с величайшей изобретательностью. Каждая аллея завершалась маленькой изысканной триумфальной аркой. Летом в саду цвели апельсиновые деревца и душистые кустарники, отчего прогулки по нему были необычайно приятны[2].

Анри-Луи де Конде умер 27 января 1740 года, в год рождения маркиза де Сада; после него остался сын, Луи-Жозеф де Бурбон, вскоре ставший товарищем Донасьена по играм. Опекать малолетнего принца было поручено брату покойного, графу де Шаролэ. Граф жил у себя, однако часто навещал племянника. А так как оба мальчика воспитывались вместе под руководством мадам де Руссийон, гувернантки Луи-Жозефа, то граф, разумеется, постоянно встречался и с Донасьеном. Таким образом, все детские воспоминания будущего маркиза де Сада связаны с человеком, с редкостной полнотой воплотившим в себе понятие, которое потом назовут именем маркиза.

Граф де Шаролэ был поистине образцовым садическим персонажем. Никто никогда не испытывал столько удовольствия от преступле-

ния; он играючи убивал ближних, подобно тому, как другие охотятся на диких зверей. Однажды он пожелал проверить собственную меткость и, выстрелив в какого-то буржуа из Ане, воскликнул: «Посмотрим, удалось ли мне продырявить эту тушу!» Его любимым развлечением было отстреливать из мушкета кровельщиков, работавших на высоких крышах. Попав в цель, он громогласно заявлял о своей победе, а чтобы избежать ответственности, сразу же отправлялся к королю и просил его о помиловании. Устав от подобных просьб, Людовик XV однажды ответил ему: «Сударь, вы просите о помиловании, на которое имеете право по своему положению и как принц крови, однако я охотно дарую его и тому, кто так же поступит с вами». («Прекрасные слова!» – скажет потом маркиз де Сад.) От Делиль, певички из Оперы, у принца родился сын, обожаемый всем семейством Конде. Когда в возрасте шести или восьми месяцев ребенок заболел, граф де Шаролэ заставил его глотнуть водки, и младенец тут же скончался. «Теперь ясно, это был не мой сын, – воскликнул принц, – раз его сгубила столь ничтожная доза!»[3] Матье Марэ рассказывает еще об одном поступке этого законченного мерзавца. Однажды, охваченный ревностью, он отправляется искать Делиль на улицу Ришелье, где проживала певичка, в кафе, имевшее выход к Пале-Роялю; с помощью наряда стражников он окружает кафе и избивает палкой всех, кто имел несчастье в нем находиться. Возвращаясь по улице Траверсьер, он наконец видит женщину, которую так долго искал, набрасывается на нее, отпускает ей пару оплеух, затем, подгоняя пинками в зад, заставляет подняться к себе в комнату, там срывает с нее одежды, выталкивает в шею лакеев, приказывает принести себе ужин и завершает день в постели с певицей[4].

Можно привести тысячу примеров его жестокости.

> Наделенный всеми пороками, кроме тех, которые знатные сеньоры его времени называли *низменными* <...>, жестокосердный и кровожадный <...>, Шаролэ был тем не менее человеком не лишенным достоинств, одаренным живым и дерзким умом. Однако, не получив должного воспитания, он злоупотреблял этими превосходными качествами. И, как следствие, вовсю предавался разврату в худших его формах, равно как и всему остальному, что тот за собой влечет[5].

Разве мог будущий автор «Жюстины» забыть такого злодея-вельможу? Товарищ Донасьена по играм, маленький принц Луи-Жозеф де Конде, четырьмя годами старше его, был, по признанию герцога де Люиня, задиристым, хорошо сложенным и очень высоким для своего возраста мальчиком. « <...> он необычайно серьезен, – пишет герцог в своих "Мемуарах", – и ничем, кроме белокурых волос, не похож ни на отца, ни на мать». И далее добавляет: «Говорят, у него превосходное чувство юмора. За это ему частенько достается от графа де Шаролэ»[6].

Школа презрения

Характер у Донасьена не самый покладистый. Воспитанный в сознании своей принадлежности к высшим существам, он быстро выучился надменности, очень рано возомнив себя превыше всех, и с удовольствием

заставлял окружающих прислуживать себе. Говорил и поступал он как повелитель, не сообразуясь ни с совестью, ни с человечностью. В четыре года его деспотическая натура уже сформировалась. Время лишь ужесточило ее. Слепой ко всему, что его окружает, он быстро отгородится от мира стеной непонимания и необщительности, в том числе и от тех, кого любит, и даже прежде всего от тех, кого любит. С самого детства его поступки отражают трагическое бессилие облечь мысли в слова.

Его буйная натура всегда одерживает верх над соображениями осмотрительности и выгоды; даже по отношению к своему маленькому товарищу, Луи-Жозефу де Бурбону, являвшемуся его повелителем, Донасьен никогда не умел быть сдержанным и отказывался подчиняться любым установленным правилам. Однако предоставим ему возможность самому вспомнить о своем детстве, об играх и внезапных вспышках гнева:

> Мать узами родства связала меня с высшей знатью королевства, по отцу я принадлежал к утонченнейшей аристократии провинции Лангедок; увидев свет в Париже среди роскоши и изобилия, я, едва обретя способность мыслить, рассудил, что природа и фортуна объединились, чтобы осыпать меня своими дарами; <...> сей достойный осмеяния предрассудок сделал меня надменным, деспотичным и гневливым; казалось, все должно покоряться мне, весь мир обязан потакать моим капризам, и только я мог решать, что хорошо, а что плохо. Расскажу вам всего лишь об одной черте моего характера, проявившейся уже в раннем детстве, дабы показать, сколь опасные принципы были заложены и взращены во мне по неразумию.
>
> Я был рожден и воспитан во дворце знаменитого принца, к дому которого моя мать имела честь принадлежать; принц был ненамного старше меня, нас рано стали воспитывать вместе, дабы я, завязав с ним дружбу с самого детства, мог бы в дальнейшем опираться на его поддержку; однако тогда я еще не разбирался в подобных расчетах, и когда однажды во время игры он попытался настоять на своем, полагая, что в силу титула своего обладает правом на превосходство, тщеславие мое возмутилось, я взбунтовался и, забыв обо всем, осыпал его градом ударов; от противника меня оттащили только силой[7].

Видимо, после этой или подобной сцены граф де Сад, обеспокоенный буйным нравом сына, решил отправить его в Прованс. Донасьену исполнилось пять лет — самое время усмирять гордыню и приспосабливаться к суровой действительности. 16 августа 1744 года община Соман направила в Авиньон своих консулов и секретаря «поздравить маркиза де Сада, сына господина графа, сеньора здешних мест, с благополучным прибытием в Авиньон и пожелать будущему наследнику долгих и счастливых лет жизни»[8]. Зрелище почтенных нотаблей, преклоняющих колени перед четырехлетним малышом, кажется на редкость смешным. Но малолетний сеньор даже не думает улыбаться; он исполняет свою роль совершенно серьезно.

Соман-Силлинг

Бабушка д'Астуо спокойно коротала старость в узком кругу знати при дворе папского легата, соблюдая религиозные обряды главным образом для приличия, как это свойственно светским женщинам, в то

время как постригшиеся в монахини тетушки ломали глаза над «Размышлениями христианина» и псалмами. Прибытие мальчика для них подобно явлению младенца Иисуса, они обожают его, осыпают ласками и закармливают сластями. Ведь это единственный наследник родового имени, единственный мальчик в семье! Рождение во дворце принца, воспитание вместе с наследником Бурбонов, высокопоставленный отец, постоянно обретающийся в Версале, сразу же дают ему фору в благочестивом провинциальном обществе, и он это прекрасно понимает. Он – само чудо, диво, идол, каждый каприз которого исполняется беспрекословно. Тиран-подмастерье это знает; он получает все, что требует, и становится еще невыносимей, чем прежде. «Я был отправлен в Лангедок к бабушке, чья слепая нежность взлелеяла все те недостатки, в коих теперь я признаюсь», – напишет он позже[9].

Видя, как возня женщин с ребенком лишь усугубляет его пороки, граф умоляет своего брата-аббата взять мальчика к себе, в Соман. Только мужской авторитет может подействовать на него, полагает граф. Однако предложение его не слишком уместно, ибо Поль Альдонс де Сад только что получил комменду* настоятеля цистерцианского аббатства Сен-Леже близ Эбрея, в Оверни, и часть года обязан проживать там[10]. Но брат соглашается, и Донасьену придется повсюду следовать за новоиспеченным аббатом. А так как в этом возрасте пора приставлять к мальчику наставника, графу рекомендуют молодого савояра**, утверждая, что тот – наилучшая кандидатура. Будущий воспитатель – принявший постриг клирик из Женевского диоцеза, родом из Анси, двадцати девяти лет от роду, по имени Жак Франсуа Амбле. Несмотря на солидную теологическую подготовку, он не стал священником, не имеет никакой церковной должности и, следовательно, абсолютно свободен. Аббату выбор брата по душе:

Дорогой брат, прибыл господин Амбле. Поездка его прошла благополучно. Пока не составил о нем определенного мнения, ибо мы пока едва знакомы. Могу только сказать, что он умен и кроток. Похоже, Вы отыскали для сына настоящее сокровище. Вскоре сообщу свои соображения о новом наставнике более подробно. Пока же очень рад его приезду. Гувернантка моих друзей знакомит его с тонкостями дела, которым ему предстоит заниматься, он же обучает ее итальянскому языку, и, по-моему, весьма добросовестно[11].

* * *

Донасьен часто слышал рассказы о Сомане и знал, что замок исконно принадлежит его семье – отец сдал его аббату только в пожизненную аренду; но то, что избалованный ребенок там увидел, стало для него полной неожиданностью. Он был уверен, что прибудет во дворец, похожий на жилище Конде, только построенный в деревне, дворец, где

* Комменда – церковная должность, приносящая пожизненный доход.

** Савояр – уроженец провинции Савойя, входившей до 1860 г. в состав Сардинского королевства.

везде висят ковры, много произведений искусства и изящной мебели, расписные потолки, мраморные лестницы, затянутые парчой стены. Какое разочарование!

Возведенный на полпути между Л'Иль-сюр-Сорг и Воклюзом, на скалистом утесе, нависшем над деревней, зажатый между двумя узкими расщелинами, замок Соман гордо возвышается над долиной. С его террасы открывается вид на три десятка городков и селений, видны гора Воклюз и массив Альпий, плато Люберон и Севеннские горы. Этот древний замок XII века, перестроенный в XIV и XV веках, счастливо избежал разрушений, и сегодня он почти такой же, каким впервые увидел его пятилетний Донасьен. Снаружи это мрачная и неприступная крепость: унылые серые стены двухметровой толщины, дозорная дорожка, бойницы, желоба для горячей смолы. На севере и на западе — бастион и казематы, в стенах которых проделаны большие амбразуры для пушек; высокий и гладкий фасад, на котором напрасно искать хоть какое-нибудь украшение. Единственный портик, проездные ворота с подъемной решеткой, перед ними — подъемный мост, переброшенный через выбитый в скале глубокий ров. Изнутри замок менее суров: типичное жилище знатного феодала, с большими залами со сводчатыми потолками и величественной лестницей в ренессансном стиле. Пока шло ее строительство, аббат де Сад приказал расширить прежние окна и пробить новые, украсить комнаты и построить оранжерею, оборудовал кабинет естественной истории и кабинет монет и медалей. На потолке до сих пор можно разглядеть вырезанные в камне гербы прежних сеньоров: звезда с восемью золотыми лучами, в которую вписан распростерший крылья орел.

Таково новое жилище Донасьена — и его первая тюрьма. Ибо, посещая Соман, невозможно не вспомнить о других крепостях, которые, начиная с Пьер-Ансиз и кончая Бастилией (а между ними — Миоланский замок и Венсеннская крепость), будут во множестве присутствовать как в жизни, так и в воображаемом мире маркиза. Нельзя не вспомнить стены, за которыми впоследствии будут происходить ритуальные совокупления обитателей замка Силлинг, ведь универсум замкнутого пространства Сада всегда соотносится с универсумом наслаждения. Воображение посетителей Сомана более всего поражают глубокие погреба и потайные подземные галереи, сооруженные в XIII веке, с лишенными света и воздуха камерами. На полу все еще лежат цепи всеми забытых несчастных узников, томившихся здесь без всякой надежды вернуться в мир людей. Это идеальное место для пыток: ни один крик не вырывается наружу. Мрачные гробницы произвели неизгладимое впечатление на юного Донасьена; оказавшись среди этих глухих стен, он всякий раз испытывал головокружение, рожденное одиночеством и страхом[12]. Описывая внутренности замка Дюрсе, автор «120 дней Содома», несомненно, вспоминал о стенах Сомана:

> В галерее находился маленький христианский храм. Узкая лестница в триста ступенек вела в подземелье. Там за тремя железными дверями в глубокой тайне хранились орудия самых жестоких, варварских и утонченных пыток в мире. И

кругом – тишина и полная изоляция. Здесь можно было расправиться со своей жертвой совершенно безнаказанно. <...> Кругом – непроходимые горы и леса. И только птицы могли узнать правду. Горе, сто раз горе наивным созданиям, оказавшимся в подобной изоляции от всего мира! На что они могли рассчитывать? На милость победителей? Но победители были лишены жалости, их привлекал только порок. Ни законы, ни религия не могли их остановить*.

Галантный аббат де Сад

Когда племянник прибыл в замок Соман, его дяде, Жаку-Франсуа Полю Альдонсу, аббату де Саду, появившемуся на свет 21 сентября 1705 года, исполнилось сорок лет. Генеральный викарий Тулузы в 1733-м и Нарбонна – в 1735-м, аббат по поручению парламента Лангедока отправился с миссией ко двору и несколько лет провел в Париже, где какое-то время состоял в интимной связи с г-жой де Лапоплиньер, очаровательной женщиной двадцатью годами старше его, официальной любовницей маршала де Ришелье. Маршал узнал об их связи, однако не счел нужным допытываться, как аббат во время его частых отлучек утешал его подругу. Красавица продолжала регулярно получать назначенную ей пенсию.

Наделенный неугасимым любовным пылом, аббат не собирался ни ограничивать свои галантные похождения, ни сдерживать страсть к литературе. Постоянно поддерживая отношения с Вольтером и г-жой дю Шатле, высоко ценившими его таланты, он состоял в переписке с обоими; каждое письмо его искрилось умом и обаянием. Когда Жак-Франсуа был назначен главным викарием Тулузы, Вольтер не без ехидства высказался о его двойном призвании – священника и либертена:

Говорят, Вы вот-вот станете священником и главным викарием. Не много ли сразу святых даров на одну семью? Вероятно, поэтому Вы и сказали мне, что отрекаетесь от любви.

Попробуйте себе сказать,
Что Вас придется называть
Главным викарием, к примеру.
Вам вмиг придется перестать
Любить и чаровать без меры.
Ах, как Вы б ни служили вере,
Останетесь в любовной сфере.
И доведись Вам Папой стать,
Любовь к Вам не закроет двери,
Всегда Вас будет продвигать
Лишь к Вашей подлинной карьере.
Ваш путь – любить и всех пленять,
Служа и Церкви, и Цитере.

Ваши стихи и Ваша проза, несомненно, выдают в Вас человека, умеющего нравиться. Я тяжко болен, поэтому буду немногословен. Впрочем, что еще могу я сказать Вам сверх того, что люблю Вас всем сердцем? <...> Прощайте, сколь бы краткой ни оказалась моя жизнь, я всегда буду любить Вас.

Вольт[13]

* *Маркиз де Сад.* 120 дней Содома. М., 1993. С. 38.

Госпожа дю Шатле тоже очарована этим священнослужителем, но она гораздо больше ценит его ум, чем стихи: аббат силен в прозе. «Мой друг, аббат де Сад, – пишет сия *божественная Эмилия*, – один из тех людей, которых я просто обожаю. Уверена, его ум и характер придутся Вам по душе, если, конечно, четыре или пять лет служения Церкви их безнадежно не испортили»[14]. Благодаря ясности стиля, огромным познаниям, искусству соединять иронию с самыми серьезными рассуждениями письма аббата являют собой образец живости и изящества[15].

Библиотека почтенного аббата

Удалившись в Соман, аббат проводит долгие часы среди книг, подобранных им тщательно и с любовью. Помимо греческих и латинских авторов, теологических трактатов, сочинений по истории и географии, научных трудов и заметок путешественников, на полках стоит все, что только может быть представлено в библиотеке человека почтенного: «Опыт о человеческом разуме» Локка, «Мысли о разном» Бейля, «Китайские письма» маркиза д'Аржанса, «Сочинения» Монтескье, «Основы философии» Гоббса, а также великие классические авторы прошлого века: Малерб, Буало, Лафонтен, мадам де Севинье, Расин, Мольер, Реньяр, романы и повести: «Дон Кихот», «Записки и приключения знатного человека» аббата Прево, «Хромой бес» Лесажа, «Модная любовь» мадам де Пренжи, «Принцесса Чувствительная и принц Тифон» мадемуазель де Любер и т. д.

Затем, по мере появления, выстраиваются: «Новая Элоиза», «Эмиль», «Общественный договор», произведения, принадлежащие перу Руссо, затем «Простодушный» и «Театр» Вольтера, «Театр» Дидро, «Сочинения» Грессе, Детуша, «Стихотворения» кардинала де Берни. Есть здесь и запрещенные книги, такие как «О происхождении мира и его древности» Жан-Фредерика Бернара, «Культ божественных идолов» Шарля де Броса, «Трактат о преступлениях и наказаниях» Беккарии, «Китайский шпион» Анжа Гудара.

Другие, более легкомысленные, сочинения призваны отвлекать господина аббата от его ученых занятий: «Воспоминания» (апокрифические) маркизы де Помпадур, «Забавные истории о мадам Дюбарри» Пиданса де Меробера. Из современников лучше всех представлен друг графа де Сада Кребийон: «Ночь и мгновение», «Ах, что за история!», «Нечаянность у камина», «Моральный диалог», «Письма герцогини де*** к герцогу де***», «Счастливые сиротки», «Заблуждения сердца и ума», «Танзаи и Неадарне», «Софа», «Афинские письма»...

Здесь, в тишине и уединении, склонившись над письменным столом, аббат де Сад создает главную книгу своей жизни – «Жизнеописание Франческо Петрарки»; работа эта, потребовавшая двадцати лет кропотливых изысканий, не только дань уважения прародительнице *Лор* (Лауре) де Сад, но и фундаментальный труд по истории, политике и литературе Италии XIV века, в котором не осталось неупомянутым ни одно сколько-нибудь значительное лицо, освещены, проанализированы и все-

сторонне рассмотрены все примечательные события. Аббат де Сад цитирует всех биографов и комментаторов Петрарки, оспаривает их доводы и исправляет значительное число ошибок. Но эта работа занимает только часть его времени; еще он создает трактат о трубадурах и французских поэтах Средневековья, который так никогда и не будет издан, а в оставшееся время пишет историю деревни Соман, располагая для этой работы богатейшей документацией. Желая отдохнуть, он для собственного удовольствия составляет семейное генеалогическое древо. Генеалогия является его страстью; он может целыми днями сидеть над старинными пергаментами, пытаясь разобрать их и перевести с латыни на французский, а потом переписать своим красивым уверенным почерком.

В этом кабинете Донасьен под руководством наставника постигает основы гуманитарных наук. Он прекрасно выучил расположение книг на полках и любую может найти с закрытыми глазами. Рука его безошибочно тянется к шести толстым собраниям семейных архивов. В них в хронологическом порядке, шаг за шагом, представлена вся история его предков, начиная с XIII века и до последнего представителя рода, то есть его самого, подкрепленная подлинными документами: завещаниями, брачными договорами, расписками, жалованными грамотами, документами, написанными каллиграфическим почерком на тонком пожелтевшем пергаменте[16]. Нет сомнений, что наряду со многими иными качествами Донасьен унаследовал от аббата и страсть к архивам.

Мальчику известны все уголки библиотеки, даже самые потаенные, где аббат прячет свое небольшое собрание непристойностей. Подрастая, он — разумеется, втайне от дяди и наставника Амбле — с любопытством станет листать эти книги: сочинения Аретино, «Лавры служителей церкви», изданные в «Граде сладострастия», «Иезуиты в прекрасном настроении», даже «Современный Филотан»... Несомненно, взор его задерживался на многообещающем названии «Бордель, где Жан-Трах занимался развратом». И на загадочном адресе издателя: «В Кунизде, у вдовы Большого Холма».

Стоящий на соседней полочке томик в переплете из телячьей кожи также наверняка привлек его внимание. На его титульном листе можно прочесть: «История флагеллантов, где показаны хорошие и дурные стороны бичевания, принятого среди христиан. Перевод с латинского господина аббата Б***. Амстердам, 1701». За инициалом скрывается аббат Жак Буало, доктор теологии и известный полемист, вновь вернувшийся к вопросу, поднятому полвека назад немецким врачом Майбаумом в «Письме об употреблении кнута в делах венериных», а именно является ли бичевание «дурным обычаем»[17]. Достойный аббат Буало входил в пространные рассуждения о возбуждении, в кое бичевание может приводить чувства, и размышлял над важным вопросом: как лучше бичевать себя — по спине или по ягодицам? И тут же приводил множество примеров, когда кнут стимулировал любовную ярость. Через страдание — к сладострастию: этот рецепт Донасьен запомнил навсегда.

Однако «спецхран» библиотеки не является единственным источником приобщения к таинствам половой жизни. Для этого мальчику достаточно просто понаблюдать за собственным дядюшкой. Ибо аббат отнюдь не все дни и ночи проводит, склонившись над пергаментами, и тот, кто полагает, что он образумился, глубоко ошибается. Во-первых, живет он не один, а в обществе двух женщин, матери и дочери, пользуясь услугами обеих, к великому возмущению деревенских кумушек. Во-вторых, ходят слухи о его связи с местной кабатчицей, записной шлюхой, которой он оказывает покровительство, а также о некой белошвейке, Мари Кюр, спешно выданной им замуж за местного молодого человека по имени Пепен. «Хотя он и священник, в доме его всегда проживает парочка шлюх, – напишет через несколько лет Донасьен. – Разве его замок не напоминает сераль? Впрочем, нет, это скорее бордель». В этом же письме двадцатипятилетний либертен, оправдываясь за свое беспутство, пишет:

Простите мне мои прегрешения. Все они унаследованы от семьи, в которой я имел несчастье родиться. Храни меня Боже от кишащих в ней нелепостей и пороков. Я считал бы себя почти добродетельным, если бы по милости Господней унаследовал только часть их[18].

Завершая описание не слишком благочестивого образа жизни аббата де Сада, напомним, что 25 мая 1762 года, пребывая в Париже, он был задержан полицейскими на месте преступления, сиречь разврата, в соответствующем заведении на улице Шантр, содержательницей которого являлась некая Муассон, по прозвищу Гусенок. Аббата сопровождала девица легкого поведения, по прозванию Леонор, чье настоящее имя было Мари-Франсуаза Тереза Дьё*(!). Таким образом, господин аббат «лицезрел и совокуплялся» (гласит полицейский отчет) с тезкой своего Творца![19]

Счастливые дни

Незаметно проходят месяцы и годы. Соман расположен в семи лье от Авиньона; путь не близок, каждый день не наездишься, так что городские слухи доходят сюда с опозданием, и вдобавок приглушенные расстоянием. Новости из Парижа приходят еще реже; курьер прибывает раз в неделю. В самой деревне и в окрестностях узкие дороги круто уходят в горы и непригодны для проезда экипажей, так что путешественникам приходится довольствоваться мулами. Нетрудно представить себе, как аббат де Сад с племянником, оба в широкополых соломенных шляпах, защищающих от солнца, восседая на мулах, отправляются на прогулку. Покачиваясь в такт трусце своих «скакунов», сопровождаемые стрекотом цикад, они едут по каменистым тропам, спускаются по зигзагообразным тропинкам, прорубленным в скальных массивах, едут вдоль бурлящего течения реки Сорг до самой деревни Л'Иль, где река, разветвляясь на множество рукавов, течет среди ла-

* Дьё (*фр.*) – Бог.



биринта узких, плохо замощенных улочек. В четверти лье отсюда струи потока становятся священны, ибо путь их лежит через уголок, где царит культ Лауры и Петрарки, чью историю пишет аббат. Именно здесь, в маленьком, окруженном садами домике поэт нашел убежище вдали от городского шума Авиньона. «От дома не осталось и следа, — замечает аббат, — жители Воклюза растащили все оставшиеся камни». В нескольких шагах, возле порога, именуемого Водопадом, Сорг бурным потоком бежит к подножию скалы и с грохотом разбивается об огромные камни, кое-где поросшие мхом.

Лишившись общества принца крови, Донасьен набирает себе товарищей для игр среди деревенских ребятишек и детей окрестных фермеров, в лучшем случае среди детей зажиточных горожан, лекарей, торговцев или нотариусов. От них он учится сочному провансальскому языку; язык ему нравится, и он никогда не забудет его. Речь его сохранит легкий провансальский акцент, а сам он нередко будет следовать столь привлекательному для него образу жизни южан. Общаясь с местным населением, маленький парижанин учится понимать душу селянина и пользоваться прерогативами сеньора, которым в один прекрасный день ему суждено стать. Среди своих приятелей он играет ту же роль, какую играл при нем юный Конде. Дает ли он им почувствовать свое превосходство? Мы в этом не сомневаемся: он навсегда сохранит верность кастовым предрассудкам.

Он быстро сводит дружбу со своим ровесником, Гаспаром Франсуа Ксавье Гофриди, сыном делового человека из Апта, управляющего имуществом графа де Сада. Гаспар и Донасьен великолепно ладят, вместе предпринимают дальние пешие прогулки, а время от времени отправляются в гости к бабушке д'Астуо в Ла-Кост. Полина, маленькая кузина Донасьена, дочь госпожи де Вильнев, обнаружив в замке мальчиков, играющих в просторном зале с низкими потолками, нередко присоединяется к их играм. Позднее маркиз и его старый товарищ вместе будут вспоминать об этих днях.

После возвращения в Соман жизнь вновь обретает монотонное течение, иногда нарушаемое поездками в аббатство Эбрей, расположенное на берегах Сьюля; земли, принадлежащие аббатству, были очень удачно сданы в аренду и приносят аббату-коммендатарию немалый доход. Честно говоря, Поля Альдонса де Сада нисколько не интересуют подчиненные ему монахи; он скверно управляет своей вотчиной, и вскоре аббатство оказывается на грани разорения[20]. Беспутная жизнь аббата становится причиной скандала внутри общины.

* * *

Таким образом, детские годы Донасьена прошли в обществе дяди и наставника; женское общество состояло из «подружек» аббата. Оторванный в четыре года от матери, увезенный из дворца принца на вершину скалистого утеса, заточенный в крепость в обществе священника-либертена и окружающих его развратных девок — вот все необхо-


FB·2005

димые составляющие садического романа, изначально травмировавшие детскую душу. Замок аббата де Сада выполняет двойственную и одновременно парадоксальную функцию, впоследствии приданную замку Силлинг: он причиняет страдания и оберегает от наказания, запирает в своих стенах зло и выпускает на волю преступление.

«Дорогостоящие» уроки

Осенью 1750 года (Донасьену только что исполнилось десять лет) граф де Сад решает забрать сына из Сомана и записать в прославленный парижский коллеж. Но честолюбивые замыслы, связанные с сыном, можно осуществить, только покинув дыру, именуемую Провансом. Итак, Донасьен, сопровождаемый аббатом Амбле, в почтовой карете едет в Париж; об этом эпизоде упоминается на автобиографических страницах «Алины и Валькура», где автор воздает хвалу своему наставнику:

> В Париж я вернулся продолжать учение под руководством умного и достойного человека, словно созданного для того, чтобы сформировать мой юношеский характер; к несчастью, наставника я вскоре лишился[21].

Прибыв в столицу, Сад поступает в руководимый иезуитами коллеж Людовика Великого, расположенный на улице Сен-Жак, в самом центре Латинского квартала. Живет он то у аббата Амбле на улице Фоссе-Месье-ле-Пренс, «напротив каретника», то у матушки во дворце Конде, в двух шагах от улицы Сен-Жак.

В те времена коллеж Людовика Великого был одним из наиболее популярных и дорогих — все дворянство отдавало туда своих недорослей — и граф де Сад шел на большие жертвы, ибо его финансовое положение в последние годы неуклонно ухудшалось. В 1752 году у него даже мелькнет мысль отправить Донасьена в Лион, где обучение дешевле, чем в Париже. Чтобы иметь возможность оплачивать коллеж, он подумывает продать Соман или земли в Глатиньи. Пока же он максимально сокращает расходы и принимает приглашение бывшей любовницы, мадемуазель де Шаролэ, посетить ее в замке Аттис-Мон. В ноябре 1752 года он снова оказывается без средств и обращается за помощью к одному из своих дядей, прево церкви Л'Иль-сюр-Сорг:

> Дорогой дядюшка, плачевное состояние дел моих и потребность увеличить доходы, чтобы дать сыну образование, побудили меня прибегнуть к различным способам получения денег, ни один из которых до сих пор не принес желаемого результата. Наконец я решил продать Соман и стал прислушиваться к предложениям, поступающим с разных сторон; я сделаю это с удовольствием, ибо Вы сотню раз говорили мне, что земли там отвратительные, надеяться на их плодородие не приходится, дохода мало и жить там совершенно невозможно. Желая быть поближе к Вам, я хотел купить Соргет, ограничить свои затраты, и все, что имею, расходовать на воспитание сына и составление его состояния. <...> Жить, не тратя вовсе, я не могу, но не могу и постоянно проедать свою недвижимость. С целью сократить расходы я отправился к Мадемуазель, хотя в моем возрасте зависимость является жестоким испытанием. У меня всего двое слуг, кучер и две лошади, а это кое-что стоит. А еще надо одеваться, играть... Я бы охотно продал Глатиньи, но

пока нет покупателя[22]. Одним словом, сам я могу тратить мало, но моему сыну нужно солидное обеспечение, ибо его расходы растут с каждым днем. Доходы со своей должности я уже уступил[23] на два года вперед. Но что прикажете делать эти два года? Доходов из Авиньона для сына не хватает. Где взять средства? Я уже обращался к Вам за помощью. Не как к дяде, ибо как дядя вы ничего мне не должны, но как к другу. На кого же из друзей мне рассчитывать, если не на Вас?

Сегодня мне нужен от Вас лишь совет. Повидайтесь с моим братом[24], он сейчас как раз находится в ваших краях. Посчитайте вместе расходы моего сына и подумайте, как эта сумма могла бы поступать непосредственно наставнику Амбле. Если окажется, что содержать мальчика в парижском коллеже не на что, я отошлю его в коллеж в Лион. Если сочтете нужным, чтобы я ради сокращения расходов удалился в монастырь, возражать не стану. Нет такой жертвы, которую бы я посчитал чрезмерной.

Наконец, дорогой дядюшка, настало время, когда мне нужна Ваша помощь. Руководите мной и будьте уверены, я готов сделать все, чтобы доказать Вам мою любовь и почтение[25].

Граф никогда не продаст Соман, не желая лишать брата жилья.

Театр святых отцов

Основанный Людовиком XIV и наделенный всеми вытекающими из этого привилегиями, королевский коллеж Людовика Великого является одним из наиболее знаменитых учебных заведений королевства. В нем обучается около пятисот воспитанников, среди которых вся золотая молодежь королевства: отпрыски семейств Конти, Буйон, Субиз, Виллар, Монморанси... Профессора также отбираются среди лучших; некоторые даже сумели прославиться: отец Бюфье, отец Поре, знаменитый аббат д'Оливе, ставший собратом Вольтера по Академии, аббат де Шатонеф, выдающийся музыковед, пригласивший в салон к Нинон де Ланкло юного тринадцатилетнего Аруэ, отец Турнемин, чьим учеником, а затем и другом, был вышеназванный Аруэ. Дружеские узы связывали отца Турнемина также с графом де Садом[26].

Иезуиты блестяще преподавали латынь, греческий и риторику. Было у них и еще одно пристрастие, к которому Донасьен, разумеется, не остался равнодушным. Воспитывая прежде всего людей светских, достойные отцы приобщают своих воспитанников к светским искусствам, и, в частности, к театру, занимавшему большое место в жизни коллежа. Они устраивают театральные представления, ставят трагедии, комедии, пасторали, даже оратории и оперы, сочиненные главным образом самими преподавателями; сюжеты, предлагаемые воспитанникам, отличаются назидательностью, в помощь актерам-любителям приглашаются профессиональные танцовщики из Оперы. Спектакли снискали громкую славу; они привлекают в коллеж постороннюю публику, изысканную и жаждущую зрелищ; среди зрителей не только родственники учеников, но и знатные вельможи, и придворные дамы. Постановки отличаются пышностью декораций и сложной машинерией, на сцене создаются великолепные дворцы, перспективы, колоннады, фантастические пейзажи[27].

Ежегодно в августе во внутреннем дворике коллежа проходят торжественные представления, приуроченные к вручению наград. Над зрителями, заполняющими

три амфитеатра, натягивают огромное полотнище, все окна здания временно превращаются в ложи. В самом здании также имеется зрительный зал, где зимой играют спектакли и репетируют пышные зрелища, которые предстоит показать в августе. В коллеже Людовика Великого было три актерские труппы: труппа риторов, игравших в высоких трагедиях и участвовавших в балете, составной части августовских представлений; труппа учеников второй ступени, исполнявших короткие трагедии во время карнавала или комические драмы; труппа маленьких пансионеров, для которой отец Серсо писал свои французские вещицы. <...> В этом маленьком мирке разучивание роли и освоение соответствующей манеры игры давались нелегко. <...> Молодые люди репетировали весь год. Согласно учебному расписанию, каждую неделю в классах гуманитарных наук занимались литературными упражнениями. Обычно ученики нескольких классов собирались вместе, образуя немногочисленную публику, и около получаса слушали чтение стихов, речей, элегий, идиллий, учились подобающему произношению и декламации. Раз в месяц проводились упражнения более серьезные, продолжавшиеся целый час. <...> Без сомнения, после такой подготовки актеры из коллежа Людовика Великого уверенно выходили на сцену под пристальные взоры образованной и утонченной публики. <...> Подготовка к большому августовскому спектаклю была долгой и отнимала много сил; приходилось помногу репетировать, особенно балетные номера[28].

За время пребывания де Сада в коллеже Людовика Великого, то есть с августа 1750 по конец 1753 учебного года, отцы иезуиты устраивали представления и балеты по меньшей мере семнадцать раз. Мальчик поступил в коллеж осенью 1750 года, значит, мог присутствовать только на пятнадцати из них[29]. Удалось ли ему за это время сделать первые шаги на актерском поприще? Чести выступать перед публикой удостаивались лучшие ученики. В некоторых программках напротив фамилии исполнителя можно было увидеть почетное определение — «блестящий оратор». Имя юного де Сада ни разу не встречается в списках награжденных в конце года.

Но даже если он не получил привилегии выступать на подмостках коллежа Людовика Великого, эти представления привили ему любовь к театру, сохранившуюся до самой смерти. Ему всегда нравились театральные декорации; созданная им феерия «Зачарованная башня» навеяна лучшими постановками коллежа. Эти же воспоминания, правда, перетолкованные до неузнаваемости, лягут в основу театральности садического либертинажа, а именно эротической хореографии, превращающей непристойные позы в живые картины или балетные действа. Театральное происхождение имеют и разнообразные приспособления для извлечения удовольствий, сладострастных или преступных, которые Сад измышляет на каждом шагу в «Жюстине» и «Жюльетте»: машина для порки, машина для насилия, машина для впрыскивания семени, машина для получения наслаждения, подобная автоматическому годмише принца Франкавиля, и т. д.

Розги Лойолы

Предаваясь развлечениям, иезуиты никогда не забывали о своей основной цели, а именно о воспитании детей. По сравнению с другими учебными заведениями распорядок дня в коллеже Людовика Велико-

го был не слишком суров. Расписание не перегружено ни уроками, ни избытком богослужений: подъем в 5 часов 30 минут, около девяти часов начинаются собственно занятия, равномерно распределенные в течение дня и продолжающиеся до вечера, с четырьмя трапезами (завтрак, обед, полдник, ужин) и следующими за ними перерывами. Исполнение религиозных обязанностей в целом занимает не более часа: полчаса на мессу и еще полчаса на две молитвы, по пятнадцать минут каждая. Достойные отцы иезуиты не хотят прививать отвращение к религии маленьким господам, доверенным их попечению[30].

Взамен они со всей строгостью поддерживают традицию телесных наказаний. В XVIII веке розга остается необходимым вспомогательным средством воспитательной системы. В «Наставлениях для учителей христианских школ» (1708) учителям усердно рекомендуют использовать в своей работе розги:

> Розга необходима; она порождает мудрость, к ней следует прибегать, когда робость и кротость требуют ее поддержки. Но никогда не следует бить по щекам или раздавать пинки, наносить удары кулаком, бить линейкой по голове или животу. Не следует больно дергать за ухо, выходить из себя и гневаться: все эти поступки влекут за собой опасные последствия для детей, вызывают особенный протест и свидетельствуют только о вспыльчивом нраве учителя[31].

Такие же принципы исповедует княгиня Пфальцская, применявшая их к собственному сыну. В записке от 15 февраля 1710 года она указывает: «Когда сын был маленьким, я никогда не давала ему пощечин, но наказывала розгами столь сильно, что он помнит об этом до сих пор. Пощечины опасны». Но, судя по его нраву, регент не извлек пользы из маменькиных обращений к его ягодицам.

Итак, пощечина считается унизительной, в то время как розги слывут наказанием благородным. Никто не может избежать их, самые знаменитые ягодицы Франции обнажаются перед ферулой иезуитов. Возвращаясь к нашему коллежу Людовика Великого, приведем «совсем свежее» воспоминание министра д'Аржансона, коему в то время было семнадцать лет: «В 1711 году меня наказали розгами, не помню за что, — вспоминает он. — Мой друг, герцог де Буфлер, бывший тогда правопреемником наместника Фландрии и полковником в полку, учился в том же классе, что и я; его наказали за обычный проступок: решив насолить отцу Лежэ, нашему регенту, мы насыпали ему горошины в сарбакан»*. История наделала много шума. Маршал де Буфлер пожаловался королю и забрал сына из коллежа. «Бедный мальчик смертельно огорчился, — продолжает рассказчик. — Спустя несколько месяцев он заболел оспой и скончался»[32]. Из похвального чувства такта отцы иезуиты не наказывали детей собственноручно; они поручали это делать специально приставленному к заведению мирянину, в обязанности которого входило внушать озорникам ultima ratio patrum**.

---

* Сарбакан — духовой музыкальный инструмент.

** Последний отеческий довод (*лат.*).


INRI
FB

Хотя роль телесных наказаний в религиозных учебных заведениях часто преувеличивали, тем не менее практика их применения формировала климат агрессивности, который не мог не воздействовать на новичков. Разумеется, ученики не оставляли жестокое обращение без ответа; Мерсье рассказывает, как в коллеже Мазарини один ученик однажды повернулся к избивавшему его служителю и одним ударом перочинного ножа убил его. Подобные происшествия случались в различных коллежах как Парижа, так и провинции.

Другая опасность, скрытая, но от этого не менее грозная, заключалась в том, что наказание нередко пробуждало в учениках половое возбуждение. Кто не помнит о том наслаждении, которое испытывал Руссо, когда его впервые отшлепала мадемуазель Ламберсье. Поэтому вполне возможно, что именно в коллеже Людовика Великого Донасьен открыл для себя этот источник наслаждения, к которому впоследствии будет сладострастно припадать. Анальная эротическая чувствительность зачастую проистекает из подобного рода опыта, а, как известно, произведения де Сада этим опытом перенасыщены. Садический миф кристаллизуется главным образом вокруг причинения страдания («садизм»), но не следует забывать, что претерпевание страданий («мазохизм») также является частью садического сексуального поведения. Персонаж испытывает удовольствие как от ударов, которые сам раздает, так и от ударов, им получаемых.

Не секрет, что содомия была распространена в коллежах, и, если верить общественному мнению, добрые отцы иезуиты даже культивировали ее. Их обвиняли в том, что они превратили свои учебные заведения в настоящие рассадники педерастии, ибо здесь не только поощрялись, но даже насаждались «особые дружеские отношения» между воспитанниками. Так утверждают памфлетисты и шансонье того времени, и, несмотря на все их преувеличения, нельзя сказать, что они вовсе неправы. Читая полицейские донесения, мы познакомились с любопытными откровениями на этот счет[33].

Действительно ли именно у отцов иезуитов Донасьен приобщился к «итальянскому пороку», пылким поклонником которого позже стал? Явились ли наказания розгами причиной той пассивной роли, которую он всегда отводил для себя в гомосексуальном акте? Не секрет, что между пассивной ролью и мазохизмом, желанием оказаться в положении жертвы, существует тесная связь. Нашел ли он в боли, в позоре «смешение чувственных удовольствий», приводившее в восторг Жан-Жака Руссо? Мог бы он, подобно автору «Исповеди», сказать:

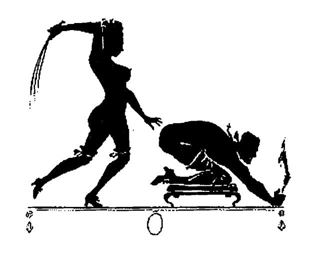
> Кто бы мог подумать, что это наказание, которому подвергла восьмилетнего ребенка девушка тридцати лет, определило мои вкусы, мои желания, мои страсти, меня самого на всю остальную жизнь, и как раз в направлении, обратном тому, что должно было произойти естественным путем?

Подобно Руссо, «нормальный» сексуальный акт никогда не будет доставлять Донасьену полного удовлетворения, его сексуальность очень рано зафиксируется на инфантильной стадии. Эрогенная зона как у

одного, так и у другого расположится на границе нормального, в зоне пассивного удовольствия и радостного самоуничижения. Садический мазохизм, в отличие от мазохизма традиционного (например, мазохизма Руссо), полностью лишен элемента воображения; в нем нет сценария, громоздящего уничижения, нет словесных фантазмов, нет налета литературщины, это инверсия садизма, последовательно вписывающаяся в его симметричную и симультанную систему. Различия, установленные для двух типов поведения: транзитивного (садизм) и интранзитивного (мазохизм), исчезают, уступая место полной взаимодополняемости обоих полюсов. Поза, являющая для Сада вершину наслаждения, соединяет гетеросексуальную содомию с пассивным гомосексуальным актом (или с ощущением боли), превращая тело садического героя в средоточие противоположных извращений.

Театральность, флагелляция, содомия, пассивность – все основополагающие темы садического эротизма виртуальным образом объединились в опыте, пережитом (или измысленном) в коллеже Людовика Великого. Прибавим к ним преступления графа Шаролэ, подземелья Сомана, шлюх аббата, любовниц отца, отлучение от матери... Все структуры на месте, декорации поставлены, роли распределены. Пора начинать праздник! Но разве все это не было разыграно изначально? Придя к такому выводу, Сад под впечатлением сиюминутного озарения, за век до Фрейда, написал:

Органы, которые должны нас сделать восприимчивыми к тем или иным фантазиям, формируются в утробе матери; первые встреченные предметы, первые услышанные речи довершают предопределение наших побуждений; дальнейшее образование ни при чем, оно уже ничего не может изменить.



Глава IV
«ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ РЕБЕНОК»

Жена кастеляна де Лонжевиль

Часто можно слышать, как специалисты-садоведы жалуются на отсутствие информации о ранней юности своего героя. «От этого периода его жизни до нас не дошло даже семейной переписки», — сокрушался Жильбер Лели. Но в тех же самых семейных архивах, которые некогда исследовал Лели, нам посчастливилось обнаружить переписку графа де Сада с таинственной г-жой де Лонжевиль; содержание ее и заполняет имеющуюся информационную лакуну. Благодаря этим ни разу не издававшимся документам мы располагаем сведениями о ранней юности Донасьена — примерно с одиннадцати до восемнадцати лет. Из них перед нами постепенно предстает образ хрупкого замкнутого подростка с чувствительной душой. И эта встреча, где маркиз де Сад впервые предстает во всей своей детской незащищенности, не может оставить нас равнодушными.

* * *

В конце каждого учебного года, то есть к концу августа — началу сентября, Донасьен уезжает из Парижа на каникулы в замок Лонжевиль, расположенный в Шампани, возле Фима; замок принадлежит бывшей любовнице его отца графине де Раймон, вдове Роже, графа де Раймона, губернатора Ингольштадта[1]. У этого сеньора из Сентонжа была необычная судьба: приговоренный в 1698 году к смерти за убийство в уличной потасовке, он бежал в Германию, где поступил на службу к герцогу Баварскому. Вернулся он во Францию только спустя двадцать четыре года, когда получил письменное уведомление об отмене приговора и дозволение беспрепятственно распоряжаться своим состоянием[2]. Вероятно, сразу после возвращения он женился на Жанне-Мари де Бед де Блэ де Монрозье, дочери военного комиссара Шарлевиля, бывшей моложе его на тридцать три года (она родилась в 1705 году). Спустя немного времени молодая женщина встретила графа де Сада и страстно в него влюбилась. Прошли годы, граф де Раймон скончался около 1750 года[3], и его вдова удалилась в замок Лонжевиль[4].

Непостоянный Жан-Батист в совершенстве владел искусством менять любовниц: брошенные им женщины никогда не питали к нему ненависти; у него был своеобразный дар (быть может, следует сказать: гений?) превращать прежних любовниц в надежных подруг и верных хранительниц тайн, всегда готовых услужить ему; более того, все они, памятуя о прошлых романах, продолжали испытывать к нему чувства признательности и благорасположения. После прекращения их связи г-жа де Раймон долгое время хранила в сердце нежную привязанность к тому, кого любовно называла «мой Сад». Ее пылкая страсть перекинулась и на очаровательного Донасьена, которого в своих письмах она называла исключительно «мой сын», «наш сын», «наше дитя».

Замок Лонжевиль был расположен в центре тесной долины, по склонам которой раскинулись деревушки, входившие в состав коммуны Дравеньи, почти напротив хутора Монтаон, на берегу речушки Орийон. Кроме остова фермы и развалин мельницы, от замка практически ничего не осталось, однако еще были отчетливо видны следы глубоких рвов, окружавших эту старинную крепость, сгоревшую во время волнений Фронды и восстановленную около 1650 года[5]. По мнению г-жи де Раймон, замок обветшал уже спустя век. Собравшемуся навестить ее графу де Саду она адресует следующее послание:

Надежды ваши увидеть настоящий старинный дом сбудутся. Зато мост у меня совершенно новый, точнее, восстановленный, живописные рвы зелены и заросли тростником, а садов не касалась рука садовника. И это весьма прискорбно. У нас нет ни пучка петрушки, ни листика салата, ни фруктов; зато есть сердца, а значит, мы сможем преодолеть все трудности, и все будет прекрасно.

У нас нет тропинок для прогулок, – пишет она ему в другом письме. – По единственной имеющейся дорожке я запретила ходить: это садовый мостик, содрогающийся всякий раз, когда на него наступают; сейчас его ремонтируют, но вряд ли он будет готов раньше следующей недели. <...> Дрожа от страха, я один раз перешла по нему и тут же поклялась до завершения починки больше никогда этого не делать. Моя маленькая Мари-Луиза вчера упала там, но, к счастью, не свалилась в ров. Рвы эти – единственное украшение нашего жилища, они придают ему своеобразную прелесть, хотя совсем заросли тростником. В замке надо жить постоянно или хотя бы время от времени наезжать в него. От подобной необходимости меня бросает в дрожь. Тут все гадко, но ваша особа, несомненно, украсит здешние места[6].

За исключением кратковременных наездов в Париж или в Сен-Жермен г-жа де Раймон весь год живет в Лонжевиле, в обществе матери и дочери – госпожи Прейзинг, жены министра курфюрста Баварского; ее окружают сливки здешнего общества: г-н де Бюриньи, сосед из Арси-ле-Понсара, часто приходящий обедать вместе с племянником и племянницей; брат г-на де Бюриньи, г-н де Пуйи, «очень любезный человек, обладающий богатыми познаниями, но чрезвычайно скромный, умеющий повернуть беседу так, что вам начинает казаться, что вы сами вспомнили о том, о чем он вам только что рассказал»[7]; прево Реймсского собора; шевалье де Фонтенэ; шевалье де Мезьер; шевалье Брисконне. Проезжая через эти края, Кребийон-сын не преминул нанести визит своей старинной приятельнице г-же Раймон.

Прибавьте к этой компании еще целый рой очаровательных женщин: девицу де Турнэ, «красивую, хорошо сложенную и остроумную»; мадемуазель де Шампо, «обладательницу на редкость миловидного лица, наделенную умом приятным, любезным и тонким, без зачастую свойственной провинциалам вычурности»; ее кузину, «несказанно сильную», с подругой, «отличавшейся юношеским простодушием без примеси глупости», г-жу де Лагранж, «которая поет как ангел, играет на клавесине так, как некогда играл Маршан, и танцует как "на картинке"». Летом дамы веселятся на природе, посещают окрестные фермы, принимают участие в сельских праздниках, а долгими зимними вечерами маленькое общество собирается возле огня – послушать музыку, обсудить последний труд Гельвеция или Жан-Жака Руссо, насладиться стихами Сен-Ламбера или просто поиграть в каваньоль или в фараон. Завсегдатаями этих вечеров являются госпожа де Сен-Жермен и госпожа де Вернуйе. Первая, о которой речь пойдет выше, как и госпожа де Раймон, испытывает к Донасьену материнские чувства; госпожа де Вернуйе когда-то также была любовницей его отца.

«Non so piu cosa son, cosa faccio...»*

Нашего юного маркиза окружает столько прекрасных женщин, что невольно напрашивается сравнение с Керубино;** женщины порхают вокруг него, воркуют, ласкают, смеются над его невинностью и играют его сердцем, подобно тому как графиня играла сердцем Керубино. Вздохи, легкие прикосновения, украдкой сорванные поцелуи, нежные взгляды, притворные обиды, нежные клятвы: эти любовные игры, сколь бы невинны они ни были, подогревают воображение и распаляют чувства:

> Я сам не понимаю, что со мной творится, – восклицает герой Бомарше. – С некоторых пор в груди моей не утихает волнение, сердце начинает колотиться при одном виде женщины; слова «любовь» и «страсть» приводят в трепет и наполняют тревогой. Потребность сказать кому-нибудь: «Я вас люблю» сделалась у меня такой властной, что я произношу эти слова один на один с самим собой, когда бегаю в парке, обращаюсь с ними к твоей госпоже, к тебе, к деревьям, к облакам, к ветру, и эти мои тщетные восклицания ветер вместе с облаками уносит вдаль... Девушка! Женщина! Ах, какие это упоительные слова! Сколько в них таинственного!***

Госпожа де Вернуйе придумывает себе веселую забаву: кружит мальчику голову. Бывшая любовница герцога Ришелье, а затем графа де Сада, сегодня она является вдохновительницей всех увеселений лонжевильской жизни[8]. Г-жа де Раймон обожает ее и, похоже, совсем не может без нее обходиться:

---

* «Не знаю больше ни кто я, ни что я делаю...» (*ит.*)

** Керубино – паж из комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1778).

*** *Бомарше*. Безумный день, или Женитьба Фигаро / Пер. Н.П. Любимова // Бомарше. Драматические произведения. М., 1971. С. 162.

Мадам де Вернуйе постоянно придумывает все новые развлечения, — пишет она графу. — Такой фантазии, как у нее, нет ни у кого. Местный кюре, монах-премонстрант, служащий у нас мессу, горбун, отличающийся Эзоповым сложением, горожанин, благородный полукровка — она смеется над всеми, ее красочные рассказы просто брызжут весельем. Некоторые вещи, представшие нашему с ней взору, были мне неприятны. Она представила их в смешном виде, и я вполне с ними смирилась[9].

Вид очаровательной госпожи де Вернуйе впервые пробуждает в тринадцатилетнем Донасьене сердечное волнение, и насмешница решает поиграть с мальчиком в не совсем невинные игры, забавляющие госпожу де Раймон:

Он действительно влюбился в нее. Несколько раз я смеялась буквально до слез. С удовольствием наблюдая за его попытками выразить свою нежность, мы убеждались, что *он не умел выражать охватившие его чувства, не понимал причины их возникновения и от этого приходил в смятение* (курсив мой. — *М.Л.*). Он был очарователен в своем смущении; растерянность и безмолвное обожание чередовались с самыми настоящими приступами ревности, свойственной нежной и пылкой любви[10]. Его «возлюбленная» была поистине растрогана его поведением. Она сказала: «Это очень необычный мальчик». Она находит, что он похож на Вас. Знаете ли Вы, что он очень похорошел? Я попробовала протереть его кожу нежным миндальным маслом, и, похоже, результат налицо, поэтому я продолжу это занятие, мне нравится, что он становится все милее: это его нисколько не портит.

Мне часто становится страшно за него. Дважды он садился на лошадь. Господин Амбле был недоволен моими страхами и опасался, что я не отпущу его воспитанника на прогулку. Но он бесстрашен: он вырастет мужественным и умным. Берегите его как следует[11].

В этом письме — и, на наш взгляд, это очень существенно — раскрываются обстоятельства, повлиявшие на формирование психики де Сада, интуитивно названного когда-то Симоной де Бовуар «аутистом». Писательница прозорливо утверждала, что ключ к разгадке этого человека можно отыскать только в детстве:

Проклятие, тяжким бременем давящее на Сада, обрушилось на него еще в детстве, оно называется *аутизм* — психическое состояние, не позволяющее забыться и вписаться в окружающий мир других людей. Если бы он обладал холодным темпераментом, проблем бы не было; однако его инстинктивно влечет к посторонним объектам, которые он не способен заполучить: чтобы обладать ими, ему приходится изобретать весьма своеобразные способы[12].

Никто лучше и точнее не понял и не сформулировал (напомним, не боясь повториться: не зная о существовании впервые публикуемых сегодня текстов) причину, по которой де Сад будет страдать всю жизнь, несмотря на очевидную и демонстративную склонность к аффектам. Вулканический темперамент заставит его прибегать к языку символов: театр, богохульство, «значки», цифры, эротизм, деньги...

Вспышки чувств юного Донасьена, мгновенно подавляемые неумолимой цензурой, напоминают водопад, внезапно остановленный в своем падении. Этот же механизм приходит в движение и в конце каникул, когда наступает пора прощаться с дорогой «мамочкой»: сдерживаемое отчаяние, вырвавшись наружу, оборачивается истерическим рыданием. Давайте снова уступим место г-же де Раймон:

Увы, мальчик наш уехал, и мы все глубоко опечалены его отъездом. У этого очаровательного ребенка чувствительное сердце. Расставаясь со мной, он постарался скрыть слезы, но я узнала, что потом он разрыдался. Мадемуазель Аделаида сообщила мне, как он сказал ей: «Я спасся от мамочки». Скажи она мне еще хоть слово, я бы сама разрыдалась. Непременно передайте ему, что я люблю его и растрогана его добротой. Аделаида также переживает его отъезд. Еще он спросил ее: «А вдруг она больше не захочет видеть меня в Лонжевиле, а тем более в Париже?» Но наверняка там у него будет множество иных дел. Не могу себе представить, что там он так же будет любить свою «любовницу»[13].

Спустя несколько дней госпожа де Раймон вновь возвращается к любовным увлечениям «сына»:

Известно ли Вам, что он испытывает настоящую страсть по отношению к мадам де Вернуйе? Налицо все признаки: приступы ревности, волнения, словом, все, как при настоящем романе. Не тревожьтесь, он от Вас ничего не скрывает: ему еще нечего скрывать; в свое время он почувствует цену любовной тайны. Он написал своей милой подруге довольно забавное письмо. Со мной же он ведет себя необычайно серьезно, как если бы я была его родной матерью. Я тоже люблю его как сына. Мне хотелось бы, чтобы он и дальше любил меня как свою мамочку, ибо мне приятно, когда меня любят[14].

Юный маркиз – ему уже исполнилось полных тринадцать лет – поистине возбуждает материнский инстинкт; госпожа де Сен-Жермен, еще одна постоянная участница кружка, собирающегося в Лонжевиле, также полюбила его как сына; тем не менее стремление заменить мальчику мать, охватившее обеих женщин, не порождает между ними соперничества[15]. Госпожа де Сен-Жермен принимает Донасьена в своем загородном доме и так к нему привязывается, что не желает отправлять его к отцу и умоляет графа разрешить ему остаться у нее еще на некоторое время.

Сударь, – пишет эта вторая «мать» в неопубликованном письме, адресованном графу де Саду, – я с радостью отдаю свою любовь Вашему мальчику. Время, сглаживающее все углы, лишь усиливает мою к нему привязанность. Теперь Вы знаете мое уязвимое место, и я рассчитываю только на Вашу снисходительность. Две недели назад Ваш брат пожелал забрать его у меня, утверждая, что Вы непременно требуете его к себе; но одна только мысль о разлуке с ним приводит меня в отчаяние. Неужели Вы будете столь жестоки и увезете моего мальчика, лишите меня единственной отрады? Умоляю Вас, подождите забирать его, оставьте у меня еще хотя бы ненадолго. Я не имела чести быть представленной госпоже де Сад, иначе я бы и ей направила такую же просьбу. Так будьте же снисходительны ко мне. Придворная и городская жизнь предоставляют Вам столько забав и развлечений, что Вы без ущерба можете пожертвовать ради меня мещанским удовольствием видеть подле себя сына. Этим летом я сама привезу его к Вам; можете быть уверены, образование его не пострадает: как и в Париже, здесь с ним будет господин Амбле, а я, живя уединенно и обладая досугом, смогу позаботиться о его воспитании, на что у Вас, с Вашими парижскими и версальскими делами, несомненно, не хватит времени; признаюсь без ложной скромности, я не так уж мало успела за то время, которое он провел подле меня. Ваш брат при встрече даст Вам полный отчет. Пребывание у меня племянника не может стать препятствием для поездки дяди. <...> Не знаю, как мне благодарить Вас за внимание; голова у меня занята исключительно мыслями о моем мальчике, и думать о чем-либо другом просто не получается.

Прощайте, сударь; тревога по-прежнему не покидает меня; ответ Ваш будет для меня подобен приговору судьбы; Вы дадите его когда Вам будет угодно; однако заявляю Вам, что не отпущу моего мальчика раньше, чем получу от Вас известие, ибо мне не верится, что Вы будете столь суровы и откажете мне в этой просьбе[16].

Госпожа де Раймон, г-жа де Сен-Жермен – обе эти жещины, питавшие к Донасьену материнские чувства, надолго остались в его памяти. В честь первой он написал короткую новеллу, озаглавленную «Жена кастеляна де Лонжевиль, или Женская месть». Действие происходит в средние века, и героиня нисколько не напоминает его добрую «мамочку», но место, где происходит действие, описано точно:

В давние времена, когда сеньоры безраздельно властвовали в своих землях <...> в Шампани, а именно неподалеку от Фима, в обширном поместье проживал сеньор де Лонжевиль. Селение Лонжевиль предоставляло мало возможностей отыскать лекарство от любовной скуки*.

Не забыт также и «ров с водой, что окружал замок», а также парк, двор, залы с низкими сводами и «кабинет, расположенный рядом с часовней». В этом месте Сад делает примечание внизу страницы: «Часовня эта до сих пор существует в замке Лонжевиль». К г-же де Сен-Жермен Донасьен всю жизнь будет испытывать скорее почтение, нежели любовь. Заключенный в башню Венсеннского замка, он спустя тридцать лет расскажет жене «ужасный» сон:

Нет ничего более странного, чем сны. К примеру, мне приснилось, что герцог де Лавальер, с которым я никогда не был знаком и никогда не встречался, умер; спустя три дня вы посылаете мне альманах, где я нахожу сообщение о смерти герцога. Такой же сон приснился мне и о мадам де Сен-Жермен, но, если она уже умерла, не говорите мне об этом, потому что я все еще люблю ее и любил всегда, а потому буду вечно безутешен[17].

В 1784 году, все еще пребывая в Венсенне, он вновь признается жене в глубокой привязанности к г-же де Сен-Жермен:

Прошу Вас от моего имени попросить у мадам де Сен-Жермен прощения за то, что долго не пишу ей. <...> Надеюсь, Вы не станете возражать, если я предложу Вам исключить из числа объектов Ваших плоских шуток эту светскую женщину, которую после Вас я люблю больше всего на свете и которой я, несомненно, обязан настолько, насколько сын может быть обязан матери. Когда она узнает, отчего я не писал ей, уверен, она меня простит. Пока же, прошу Вас, передайте ей мои извинения и заверьте в моих самых нежных чувствах. Скажите ей, не боясь погрешить против истины, что каждый день, проведенный мною здесь, я вспоминал о ней[18].

* * *

Граф де Сад отнюдь не собирался порицать любовные игры сына с дамами из Лонжевиля, напротив, они даже нравились ему. Маленький проказник, похоже, выказывает задатки будущего либертена! Тем лучше! По крайней мере, ему ничего не придется объяснять сыну по этой части!

---

* См.: *Маркиз де Сад.* Жена кастеляна де Лонжевиль, или Женская месть / Пер. Е. Морозовой // Маркиз де Сад. Преступления любви. М., 1995. С. 390.

Решив достойно поощрить чадо, он снимает ему холостяцкую квартирку неподалеку от дворца Конде, ту самую, которую прежде снимал граф де Клермон для своей любовницы. Теперь тринадцатилетний маркиз мог свободно принимать у себя случайных подружек. Неплохое начало!

Мой сын провел осень у мадам де Раймон, — сообщает граф в письме одному из своих друзей. — Узнав, что она собирается в Париж, он пригласил ее к себе на ужин. Она приехала позавчера и сразу отправилась к нему ужинать. Я снял ему неподалеку маленький домик, где когда-то, будучи любовницей графа де Клермона, проживала Камарго, а теперь живет князь Гремберген[19]. Там-то я и поселил сына. Когда он обедает, эти любезные дамы приходят разделить с ним трапезу. Мальчик влюблен в мадам де Вернуйе, это ее забавляет, и она ждет, когда он подрастет[20].

Исполненный решимости устроить карьеру сына, граф де Сад идет не только на финансовые жертвы, но и заставляет себя участвовать в светских развлечениях, без которых он, разменяв пятый десяток, вполне может обойтись: посещает карнавалы и балы, куда маленькое чудовище тащит его чуть ли не силой. Изрядно похудевший граф, словно компаньонка, повсюду сопровождает сына, в надежде, что миловидная мордашка юноши привлечет внимание богатой наследницы:

Карнавал подходит к концу, — пишет он своему другу, маркизу де Сюржеру. — Сын мой горюет, я же очень рад; он упросил меня пойти с ним на танцевальный вечер, хотя это развлечение мне уже не под силу. Однако я согласился, дабы не вызвать его неудовольствия. На вечере было не более тридцати человек, все, как на подбор, красивые, все любители потанцевать; танцевали весело и долго. За весь карнавал я ни разу не видел столь приятного зрелища[21].

Год спустя в письме к тому же Сюржеру он сетует: «Поговорим о развлечениях. Я посетил вот уже три танцевальных вечера и не могу сказать, что это мое любимое занятие; хожу туда исключительно ради сына»[22].

Керубино отправляется на войну

К концу 1753/54 учебного года граф де Сад забирает сына из коллежа Людовика Великого и определяет в армию; юному маркизу сравнялось четырнадцать лет, и он завершил третий год обучения; к этому времени он успел постичь начатки латыни и основательно освоить орфографию. В то время молодых людей, вступавших в полк двенадцатилетними, чтобы в двадцать стать полковниками, было хоть отбавляй. Малолетних офицеров называют «полковниками в подгузниках». Некоторые, самые младшие, прибывают к месту службы в сопровождении наставников, неотлучно находящихся при своих воспитанниках, пока те не начнут самостоятельно получать уроки на поле боя. Донасьен не принадлежит к их числу, ему приходится — на его взгляд, слишком рано — расстаться с любезным его сердцу аббатом Амбле[23].

Позднее он выступит с осуждением практики столь преждевременного вступления в армию, из-за которой отец прервал его учение и заставил с головой окунуться в солдатскую жизнь:

Разразилась война: торопясь отдать меня на военную службу, мне не дали завершить образование и отправили в полк; я был в том возрасте, когда, следуя естественному ходу вещей, нужно поступать в академию[24], мне же пришлось исполнять воинские обязанности.

Стремясь осмыслить, в чем главным образом заключается порочность наших современных принципов, мы пришли к заключению, что цель должна состоять не в подготовке юных солдат, а в подготовке солдат хороших. Сохраняя же нынешние установки, мы никогда не сумеем добиться совершенства от столь необходимого обществу военного сословия, ибо во главе угла по-прежнему будет стоять возраст кандидатуры, а вовсе не стремление выяснить, обладает ли она качествами, потребными для несения воинской службы. Следует понимать, что необходимые добродетели приобретаются путем длительного и всестороннего образования, и требуется дать соискателям возможность получить его[25].

Благодаря связям, граф де Сад добился для сына места в Кавалерийской школе, основанной в 1741 году де Бонгаром, а в 1751 году приписанной к полку легкой кавалерии королевской гвардии, стоящему гарнизоном в Версале, на авеню Со; содержание воспитанника в этой части обходилось не менее трех тысяч ливров в год. Это военное подразделение считалось одним из самых аристократических, а следовательно, вступить в него было больше всего желающих[26]. В 1754 году в полку числилось девятнадцать офицеров и двести гвардейцев, командовал ими герцог де Шон. Зачисление в полк осуществлялось только по предъявлении грамоты, удостоверяющей наличие не менее четырех поколений благородных предков и должным образом заверенной Клерамбо, «королевским генеалогистом». Донасьен получил такую грамоту 24 мая 1754 года. Для доказательства древности своего семейства пришлось предъявить архивные документы, доверенные ему дядей-аббатом, хранителем семейной «памяти», имевшим все основания опасаться, что документы могут быть утеряны.

Я передал Вашему сыну все бумаги, требуемые для составления его родословной, — пишет аббат графу де Саду. — Это оригиналы, и скажу честно, мне было непросто изъять их из толстых книг, куда они были вплетены, и отдать, сознавая, что, возможно, больше никогда их не увижу. Но ничего не поделаешь! Не мог же я отказать! Стремясь добраться до самых корней нашего рода, господин де Божон просит еще документов. Они существуют, но я не могу их отдать, ибо отец мой внес в них бросающиеся в глаза поправки. Эта правка повергла меня в замешательство. Поэтому я отослал то, что счел нужным. Прошу Вас проследить, дабы, как только отпадет нужда, документы эти были возвращены мне в целости и сохранности[27].

Во время службы в легкой кавалерии Донасьену несколько раз приходится принимать участие в торжественных построениях, проходивших почти всегда в присутствии короля. Нетрудно себе представить, как он, в ладно сидящем пунцовом мундире с бранденбурами, в белых шелковых панталонах с серебряными пуговицами, в увенчанной белым плюмажем треуголке с золотым галуном, восседает на коне, а вокруг полощутся на ветру штандарты с вышитыми молниями и гордым девизом: «Sensere gigantes»*.

---

* «Чувствовать себя исполинами» (*лат.*).

Четырнадцатого декабря 1825 года, после двадцати месяцев обучения, благодаря отцовскому влиянию Донасьен производится в подпоручики пехотного королевского полка без выплаты содержания — разумеется, не за воинские заслуги, а за давность своего дворянства. И меняет роскошный красный мундир на белый, с «девятью золотистыми галунами и столькими же желтыми пуговицами и голубыми обшлагами с тремя галунами». Но на этот раз мундир послужит ему не только для парадов...

В Европе всюду бряцают оружием. Россия, Австрия и Франция объединяются против Фридриха II и Англии. Ожидается, что вскоре войска будут приведены в боевую готовность. В провинции, в деревне Лонжевиль, г-жа де Раймон умирает от тревоги за «своего сына» и одновременно пытается успокоить графа де Сада:

Стоит мне только подумать о войне, как я тут же начинаю бояться за него и переживать за Вас, — пишет она ему. — Но давайте не будем волноваться заранее: еще ничего не известно, а значит, пора горевать пока не наступила. Если война станет неизбежной, печаль успеет завладеть нашими сердцами, но мы не должны позволить ей перейти в отчаяние. У меня есть племянник, которого я люблю так же, как Вы любите сына, и сердце мое болит и за него, и за его родителей. Но не все же, кто отправляется на войну, обязательно должны быть убиты. Смерть подкарауливает нас повсюду, и те, кто занимается воинским ремеслом, стареют так же, как и все мы, в ожидании, когда придет урочный час[28].

Война начнется в следующем году, и еще никто не знает, что она продлится семь лет. В качестве прелюдии войска короля Франции захватывают Порт-Магон, самую неприступную после Гибралтара крепость в Европе. Операцией командует престарелый маршал Ришелье, захват проводится в ночь с 27 на 28 июня 1756 года. Наш херувим получает в ней боевое крещение. Для первого сражения он ведет себя поистине геройски и без ложной скромности может повторить вслед за Родриго:

Я молод, это так; но если сердце смело,
Оно не станет ждать, чтоб время подоспело*.

Верхом на горячем скакуне поручик де Сад во главе четырех гренадерских рот, набранных в Эно, окрестностях Суассона и Камби, участвует в штурме и, презирая опасность, совершает чудеса храбрости, особенно при взятии редута Королевы. Вот как описывается его подвиг в «Газетт»:

В десять часов вечера, когда все батареи прекратили стрельбу, по сигналу, произведенному пушечным выстрелом и залпом четырьмя снарядами, выпущенными с сигнальной башни, маркиз де Монти начал наступление на бастионы, выстроенные Стругеном и д'Аржийлем, а маркиз де Бриквиль и г-н де Сад тем временем быстро предприняли штурм редута Королевы. После плотного убийственного огня им с помощью лестниц удалось захватить его и, несмотря на то, что осажденные взорвали четыре минные галереи, закрепиться в нем[29].

---

* *Корнель П.* Сид, акт. 2, сц. 2. *Пер. Н.П. Любимова.*

За два дня сражения потери французов составили четыреста двадцать четыре убитых, и среди них — двадцать четыре офицера и четыреста солдат.

Вспоминая об этих сражениях на автобиографических страницах «Алины и Валькура», Сад объясняет свою храбрость не столько воинской доблестью, сколько природной агрессивностью, нашедшей себе выход на поле боя.

Начались боевые действия, — пишет он, — и, смею уверить, я принял в них достойное участие. По причине присущей мне вспыльчивости и природной пылкости души я был предрасположен к ратному труду и наделен кровожадной добродетелью, именуемой храбростью, которую — без сомнения, ошибочно — считают единственно необходимой для военного сословия[30].

Отцовские страхи

Тревога графа де Сада нисколько не напоминала обычные волнения за сына, впервые подвергающего себя опасности на передовой. Больше всего граф боится не мушкетных выстрелов, а дурных знакомств, игры, девиц легкого поведения и — более всего — привычек, свойственных молодым людям, живущим в тесном соприкосновении друг с другом. Похоже, граф совершенно забыл свои прежние причуды. Во всяком случае, прошлое не мешает отцу, часто изображаемому этакой неуступчивой старой перечницей, с тревогой курицы-наседки следить за своим отпрыском. Образ наседки здесь, пожалуй, наиболее уместен, ибо подле Донасьена граф и в самом деле исполняет двойную роль — и матери, и отца.

После письма своего друга, маркиза де Пуайяна, беспокойство графа возрастает. Маркиз пишет:

Сударь, офицер, видевшийся с Вашим сыном в лагере, отозвался о нем очень тепло; этот же офицер сообщил мне о странной фантазии командира тамошнего полка. Полковник этот, похоже, решил, что все подчиненные его должны пройти школу разврата и азартных игр. Бесчинства, царящие в полку, поистине заставляют содрогаться. О, какая низость! Зная Вас как человека достойного, прошу Вас, постарайтесь по возможности уберечь сына от подобного влияния![31]

Действительно, милейший граф содрогается при одной только мысли об опасностях, подстерегающих сына, особенно об угрозе заразиться страстью к игре, бывшей в моде среди тогдашних молодых людей и разорившей немало семейств. И он немедленно обращается за советом к старому другу, г-же де Раймон: как отвратить мальчика от опасных развлечений?

Если наш мальчик не воспринимает те добродетели, кои Вы хотите ему внушить, — отвечает ему владелица замка Лонжевиль, — Вашей вины тут нет, хотя и на него тоже нельзя возложить всю вину: вряд ли он один будет во всем виноват. Существуют склонности, присущие его возрасту, пример приятелей. Сколько искушений, и со всеми надо бороться! Полагаю, Вы правильно поступили, решив обосноваться неподалеку от него; по крайней мере, Вы хотя бы отсрочите его падение. Разумеется, с возрастом он вспомнит обо всех Ваших советах, однако мудрость

приходит только с собственным опытом, если, конечно, ты с ней не родился. Я верю только в добродетели, присущие нам от природы. Воспитание исправляет, точнее, смягчает буйство страсти, облачает страсть в несвойственную ей одежду, но не гасит ее. Для всего нужно время. Увы, оно бежит гораздо быстре, чем нам бы того хотелось.

Будьте тверды в своем намерении удержать его от пристрастия к игре. Снабдите его деньгами, чтобы у него не возникало желания самому раздобывать их. Пусть учится не проигрывать то, что поставил на кон, и пусть, если, конечно, возможно, играет только для развлечения, чтобы вращаться в обществе, а не для обогащения. Признаюсь, я всегда боюсь за молодых людей, предающихся этой страсти.

Любовь менее опасна, особенно когда все обставлено честным образом. Продажные девицы дороги и опасны для здоровья, однако неприятность, подхваченная таким образом, учит лучше, чем все наставления вместе взятые. Об иных заблуждениях я речи не веду. Уверена, эти пороки не заложены в природе, а значит, что бы там ни говорили, их возможно избежать. Не знаю, кем надо быть, чтобы не проникнуться отвращением и пренебрежением к людям, наделенным этим пороком и бесстыдно ему предающимся. Исключая двух или трех моих знакомых, они вызывают омерзение у всего света. Мне кажется, у нашего мальчика нет склонности к подобным мерзостям. У него было страстное увлечение. Похоже, от любой хорошенькой мордашки он теряет голову. Так стоит ли Вам тревожиться? Не исключаю, он может подхватить какую-нибудь болезнь. Что ж, его вылечат! Посоветуйте не запускать ее, а в остальном устранитесь. Если Вы станете излишне пугать его, боюсь, он проникнется отвращением к женщинам. Но говорят, что с другими также не слишком безопасно[32].

Корнет и его дуэнья

Когда Донасьену исполнилось шестнадцать, честолюбивый отец пожелал видеть его в рядах карабинеров — в одном из наиболее престижных полков во всей армии. В прошлом столетии первым командующим полка был Людовик XIV, что свидетельствует об уважении, с которым он к нему относился. Потом он назначил командиром своего сына, герцога Мэнского. В 1758 году командиром полка по-прежнему является член королевской фамилии, граф Прованский, будущий Людовик XVIII. Людовик XIV распорядился вышить на знамени полка, где в центре изображено золотое солнце, свой горделивый девиз: «Nec pluribus impar»*.

В этот элитный корпус принимают только высоких и хорошо сложенных молодых людей: предписание от 20 марта 1751 года гласило, что рост вступающего в полк должен быть никак не меньше пяти футов четырех дюймов (около 1,73 м). Донасьен имеет рост всего пять футов два дюйма (около 1,68 м). Следовательно, ему недостает два дюйма (около 5 см). Но отец не отчаивается и решает пустить в ход связи. Тем более недавно он узнал, что его старый друг, полковник маркиз де Пуайян назначен командиром карабинеров. Говорят, маркиз принадлежит к партии Помпадур, которая обязана графу де Саду за кое-какие услуги, некогда оказанные ее отцу, г-ну Пуассону. Фаворитка не откажется замолвить за него словечко. Пуайян слывет «лакей-

* «Превыше всех» (*лат.*).

ской душой, наглецом и посредственностью» (д'Аржансон), однако его протекция может оказаться полезной. В сентябре 1756 года граф просит его принять в полк сына, а уже 4 октября получает ответ:

Надеюсь, Вы не усомнитесь в моей дружбе ни к Вам, ни к любому, кого Вы порекомендуете. Согласен с Вами и нахожу пост управляющего занятием весьма многотрудным. Я готов взять Вашего сына на должность корнета в полк карабинеров. В этом полку служат избранные из избранных, и служить в нем одно удовольствие. Кроме того, я с удовольствием возьму его к себе в адъютанты, хотя число этих должностей ограничено и все вакансии уже заняты. Но для Вас я всегда готов сделать исключение. Большего, я, увы, предложить не в силах; положитесь на меня, и я уверен, Вы не разочаруетесь, ибо я всегда готов подтвердить Вам свою живейшую привязанность. <...>

Если мои предложения Вам подходят, не теряйте времени и привозите сына в Париж[33].

Четырнадцатого января 1757 года Донасьен официально получает должность корнета в карабинерском полку (в бригаде под началом Сент-Андре), которым командует маркиз де Пуайян. Корнетом называли офицера-знаменосца, которому было доверено знамя кавалерийской роты. Этот некогда упраздненный чин Людовик XV восстановил в начале января. Таким образом, Донасьен оказался в числе первых, кто вновь стал носить его. Теперь на юноше новый синий мундир «с красными обшлагами, лацканами, воротником и подкладкой». Попона его лошади — из синего сукна «с белым узорчатым галуном по краю».

* * *

Тем временем тревога графа де Сада не проходит. Чтобы приглядывать за сыном, он, словно дуэнья, следует за ним из гарнизона в гарнизон и обивает пороги начальников, умоляя следить за нравственным климатом во вверенных им подразделениях. В апреле 1757 года граф сопровождает Донасьена в Аббевиль, откуда посылает госпоже де Раймон следующий отчет:

Вы станете смеяться, графиня, встретив меня в Аббевиле и узнав, какие маневры приходится мне проделывать, к каким ухищрениям прибегать, чтобы снискать расположение во всех полках армии нашего короля. Как хотелось бы мне, чтобы опытные офицеры стали наставниками для офицеров молодых! Я готов повторить каждому командиру: «Господа, умоляю, не развращайте этого мальчика. Зачем вы хотите сделать из него либертена? Угомонитесь! Поберегите его чистоту». Но я прекрасно сознаю, что все мои потуги тщетны. Старшие закроют глаза на глупости молодых, а молодые подобьют друг друга на глупости еще большие. И все же буду стараться выиграть время и отсрочить падение сына. Чтобы его спасти[34].

Где это видано, чтобы отец был столь озабочен добродетелью сына? Г-жа де Раймон делает ему комплимент:

Разделяю все Ваши чувства; вчера я, не сдержавшись, громогласно объявила, что еще не встречала человека более добродетельного, чем Вы. Вы самый достойный из всех, и никто меня в этом не переубедит; читая Ваши письма, я убеждаюсь, что не знаю более нежного и заботливого отца, который бы столь ревниво оберегал добродетель сына. У либертена иные заботы. Где еще Вы встречали отца, ко-

торый бы последовал за сыном в полк и, преодолевая отвращение, завоевывал бы расположение офицеров из окружения сына, и старых, и молодых, который бы, внемля чувствам, трепетно взывал к разуму, пытаясь заглушить голос страстей, и являл сыну живой пример благородной мудрости? Господь милосердный, где еще сыщется такой наставник? Живите, мой Сад, и пожинайте плоды своих трудов. Ваш мальчик, ощущая постоянную Вашу заботу, непременно проникнется к Вам безмерной признательностью. И не тревожьтесь, если пока не видите в нем пробуждения тех чувств, кои Вы желали бы видеть. В свое время он вспомнит Ваши наставления, затмеваемые нынче тягой к удовольствиям. Иногда путь к добродетели лежит через ошибки. Возраст страстей опасен. Но я уверена, что он не пристрастится к игре; из всех пороков это наихудший, ибо влечет за собой не только разорение, но и бесчестие. Если бы он вступил в связь с какой-нибудь добропорядочной женщиной, это оградило бы его от многих опасностей. Однако почтенные добропорядочные женщины не интересуются мальчиками, да и в гарнизоне трудно найти женщину, руководствующуюся принципами порядочности[35].

Иногда дела препятствуют графу следовать за молодым человеком по пятам. В таких случаях роль дуэньи исполняет маркиз де Пуайян. Он ревностно относится к возложенным на него обязанностям и отчитывается графу о всех проказах сына:

В Страсбурге Ваш сын наделал глупостей, а главное, молниеносно промотал все имевшиеся у него деньги. Я немного побранил его, но прежде всего за то, что он пренебрег обществом полкового интенданта и заслуженных офицеров. Он кротко выслушал мои упреки и тем буквально меня обезоружил. Командующий бригадой, г-н де Сент-Андре, с которым они прибыли из Страсбурга в Мец, был им очарован. Я вручил де Ливерну двадцать четыре ливра, присланные Вами для нужд сына. Он оплатит ему гостиницу, еду для слуги и будет выдавать мальчику по луидору в месяц, если, разумеется, Вы не измените Ваши распоряжения. Так как сын Ваш носит чин корнета, я приказал ему показать мне свое умение командовать ротой; он справился вполне удовлетворительно. Вместе с полком ему предстоит вернуться в расположение армии, следовательно, содержание его перестанет обходиться столь дорого, а после моего возвращения в полк он будет находиться при мне[36].

«Я отправляюсь на поиски свободы...»

В 1758 году Донасьену исполняется восемнадцать. Отцовский надзор начинает ослабевать, тем более что Пуайян вполне им доволен. По словам полковника, все превозносят Донасьёна за «необычайную кротость». Такое утверждение не может не вызвать удивления, ибо речь идет о человеке, который через несколько лет прослывет воплощением абсолютного зла; впрочем, эту оценку подтверждает г-жа де Раймон, постоянно подчеркивающая крайнюю чувствительность Донасьена.

Я могу говорить о Вашем сыне только хорошо. Он стал еще лучше, чем был в прошлом году; характер его необычайно кроток, отчего все, несомненно, будут его любить. Так как сейчас у него много свободного времени, я собираюсь предложить ему изучить труд де Фекьера, чья книга, насколько мне известно, является лучшим сочинением по военному делу[37]. Полагаю, Вам не следует уезжать, не получив согласия маршала дать ему кавалерийскую роту. Он вполне ее достоин, ведь служит корнетом уже второй год. Через майора Дорлеана я передала его слуге четыреста ливров. Вместе с теми деньгами, которые послали ему Вы, он может чувствовать себя вполне уверенно[38].

Убедившись наконец, что будущее сына обеспечено и его обещают сделать командиром кавалерийского полка, граф де Сад решает удалиться к себе на родину, в Прованс. Расставшись с честолюбивыми амбициями, разоренный, разочарованный, он неожиданно ощутил свою ненужность. Даже придворные развлечения утратили для него всякую привлекательность. В круговерти дворцовой жизни он видит только притворство, обман и измены. К тому же только что у него на глазах скончалась женщина, значение которой в его жизни невозможно переоценить: в пятницу 7 апреля 1758 года, в пять часов утра, в Париже, после трехмесячной болезни, скончалась мадемуазель де Шаролэ, у которой он жил последние несколько лет. В пятьдесят шесть лет Жан-Батист оказывается в одиночестве, без дома, без цели, без надежды. Его жена удалилась в монастырь кармелиток, расположенный на улице Анфер, сын больше в нем не нуждается. И он решает уехать в Авиньон. Ему необходимо привести в порядок дела, тем более что не так давно у него появилось новое серьезное желание: он хочет выгодно женить Донасьена. По дороге он завернет в Овернь на воды и повидается с братом в аббатстве Эбрей, а перед отъездом напишет г-же де Раймон прощальное письмо:

27 апреля 1758 года

Наконец-то, дорогая графиня, я покидаю Париж; не стану легкомысленно заявлять, что делаю это навсегда, ибо, как известно, непостоянство заложено в самой природе человека. К тому же у меня есть сын, и он в любую минуту может призвать меня к себе. Но пока я уверен, что по собственной воле я туда больше не вернусь. Я потерял все, что привязывало меня к нему. Мадемуазель умерла, Вы уехали, так что я покидаю Париж безо всяких сожалений. В этом городе нельзя быть стариком. Если ты живешь сообразно своему преклонному возрасту, значит, жизнь твоя печальна и одинока; если ты изображаешь молодого, а возраст твой уже далек от молодости, значит, жизнь твоя подвергается осуждению и насмешкам. В провинции у меня есть имения, но все они в запустении и давно и настоятельно требуют моего присутствия; мой долг перед сыном привести их в порядок. Хозяйственные труды станут для меня своеобразным развлечением, они заменят недостающие столичные удовольствия. Тем более что имеются веские причины заняться ими. Я буду трудиться ради любимого сына, а это чрезвычайно приятно. Поэтому я уезжаю и сожалею лишь о том, что скоро расстояние, разделяющее нас, станет неизмеримо больше. <...> Перед отъездом я посетил Версаль, где рекомендовал нашего протеже. Я отправился сразу к королеве; она сказала мне: «Господин де Сад, я вас долго не видела». Я чуть было не ответил ей: «Увы! Сейчас вы видите меня в последний раз». Но я был так растроган, что не вымолвил ни слова. Ах, дорогая графиня, какими разными глазами смотрят на двор тот, кто покидает его, и тот, кто еще только собирается ловить там свое счастье! Какой безумец этот последний! При дворе можно обрести только рабство. Я же ищу свободы, независимости и покоя; мне хочется повидаться с нежно любимой матушкой и забыть обо всем, что довелось пережить; со мной останутся только воспоминания о Вас[39].

В своем ответном письме г-жа де Раймон пытается (но безуспешно) отговорить графа от его замысла и приглашает к себе в Лонжевиль. Мы не можем отказать себе в удовольствии процитировать письмо этой милой женщины, свидетельствующее о ее чутком и деликатном обхождении с теми, кого она любит.

Мой дорогой Сад, хорошенько подумайте, прежде чем принимать столь скоропалительное решение. Отдаваясь во власть горю, мы забываем о будущем. Не раздумывая, устремляемся в бездну отчаяния, но чем страшнее эта бездна, тем скорее мы спохватываемся, ибо душа не может печалиться вечно. Я понимаю всю тяжесть Вашей утраты; потеряв бесконечно дорогую для Вас подругу, с которой Вас связывали самые нежные узы, Вы предались скорби и убедили себя, что будете скорбеть о ней вечно. Однако жизненный опыт каждый день твердит нам, что утешение непременно наступит, и, если Вы, исполняя заветное мое желание, прислушаетесь к его голосу, миг этот приблизится.

Поездка в Авиньон развеет Вас, а радость встречи с любимой и почитаемой матушкой, несомненно, отвлечет от горестных мыслей. Однако не давайте волю чувствам: как знать, не отнесут ли их, позабыв о справедливости, на счет тщеславия? Вы знаете людей: они приписывают ближним только те чувства, на которые способны сами, и, как следствие, судят о нас плохо.

Сын Ваш, что бы Вы ни говорили, еще не в том возрасте, когда его можно предоставить самому себе. Вы неплохо преуспели, однако у Вас масса достоинств, с помощью которых Вы еще сможете многого достичь: у Вас множество талантов, и Вы умеете расположить к себе людей. Как бы я ни восторгалась Вашим сыном, ему пока до Вас далеко. Однако можно быть прекрасным человеком, даже не обладая Вашими совершенствами. <...>

Дорогой Сад, Ваше письмо чрезвычайно меня обязывает, однако не все Ваши замыслы кажутся мне правильными. У меня Вы будете столь же далеки от света, как и в Авиньоне, и я вряд ли сумею пробудить у Вас вкус к развлечениям, ибо сама давно от них отказалась. Здесь Вас ждут уединение, книги и чуточку взбалмошная мадам Прейзинг; моя сестра набожна; я питаю к Вам дружбу. Так почему бы Вам не согласиться на мое предложение? Ваш возраст вполне позволяет Вам желать большего, однако обуявшая Вас печаль отвращает Вас от любых желаний. Но Вы не созданы для праздности. Ездите в гости, веселитесь, избегая неподобающих развлечений, и постарайтесь избавиться от гнетущих Вас мрачных мыслей. Все мы умрем. Зачем же приближать этот миг? Будь Вы набожны, я бы сказала Вам, что безысходная печаль уподобляет Вас язычнику, но, к несчастью, Вы не слишком усердный христианин и не можете находить утешение в молитве. Что ж, тогда используйте иные средства.

Ваш отъезд в Авиньон породит слухи, что дела Ваши пришли в расстройство. Не повредит ли это видам на будущее Вашего сына? Ведь кому как не Вам известно людское коварство. И еще одно соображение: увы, с грустью приходится признать, что обожаемой Вами матушке уже восемьдесят три года. А вдруг по приезде Вы найдете ее на смертном одре? И вместо того, чтобы исцелиться от меньшей печали, погрузитесь в печаль еще более горькую. Подумайте как следует об этом, мой дорогой Сад. Обустройте Ваш дом, поживите в нем немного. У Вас столько занятий: пишите, завершите те прелестные вещицы, которые Вы начали сочинять. Вы скажете мне: для этого надо иметь свободную голову. Что ж, тогда философствуйте, записывайте свои мысли для сына, иногда пишите мне, а если пожелаете, то приезжайте навестить меня; живя недалеко от Парижа, Вы сможете в любое время съездить в столицу, встретиться с нужными людьми. Наконец, Вы будете в курсе интересующих Вас дел и всегда сможете рассчитывать на мою поддержку: мне так хочется быть Вам полезной. Прекрасно сознавая, что возможности мои крайне ограничены, я тем не менее готова их использовать, ибо по-прежнему нежно Вас люблю[40].

Живя одиноко в своем замке, граф де Сад постоянно вспоминал дорогую его сердцу г-жу де Лонжевиль. Он еще не обратился к Богу, как того страстно желала его нежная подруга, но совету ее уже последовал: он пишет для сына философские и моральные трактаты, страницы которых впоследствии, когда придет время, отразят вспыхнувшее религиоз-

ное рвение обращенного либертена. Пока же он дает волю воображению и, за неимением лучшего, с наслаждением предается фрондерским мыслям, свободным от каких-либо моральных соображений и обращенным в сторону удовольствия. Вдали от столицы его рассуждения о либертинаже принимают ностальгическую окраску, в них нет даже намека на раскаяние. Бравируя собственной дерзостью, он превозносит непристойность, сопровождая свои восхваления смехом, порожденным чувством неуверенности, и от этого еще более жутким. Похвала непостоянству, которую он набрасывает специально для г-жи де Раймон, отличается таким сумбурным восхвалением порока, что ее даже попытаются причислить к садическим сочинениям, ибо она поистине является предвестником аморально-дидактических писаний маркиза. Разумеется, приглашение графа вступить на путь неверности, адресованное сыну, не останется незамеченным:

Может быть, Господу и угодно, чтобы я всю жизнь любил только Вас. Но, королева моя, разве я на такое способен? Постоянство встречается только среди дураков. То, что ты действительно любишь, надо любить беспрерывно, но при этом пользоваться каждой предоставившейся возможностью срывать цветы удовольствия: тогда нас будут любить еще больше. Если бы господин де Ришелье имел всего одну женщину, он был бы самым заурядным человеком. Но у него была сотня любовниц, и посмотрите, сколько женщин теперь добиваются его внимания! Только не подумайте, что им нужен именно этот старый хрыч. Нет, они хотят попасть в список его побед ради собственной славы. Ведь мы трудимся не ради удовольствия, но ради репутации. Когда женщина проповедует постоянство, это вовсе не означает, что она требует постоянства от своего любовника, просто она хочет бросить его первой, чтобы не оказаться брошенной самой. Я видел нескольких постоянных любовников: они столь печальны и унылы, что просто в дрожь бросает. Если бы мой сын вознамерился хранить постоянство, я счел бы себя оскорбленным. Пусть бы уж лучше стал членом Академии. <...> В провинции можно найти достойное общество, но провинция есть провинция и всегда таковой останется; если бы я вспоминал о Париже, я бы нашел другие слова. Мне в провинции хорошо, как может быть хорошо дураку. Если бы я захотел блеснуть остроумием, меня бы подняли на смех, даже не попытавшись понять. Но, когда я начинаю говорить о хозяйстве, продуктах, податях, меня слушают, мною восхищаются и находят, что я великий гений, ибо успел столько узнать. Мне кажется, в провинции невозможно стать либертеном. Девушки тут хорошенькие, но такие робкие, что поначалу с ними должно быть скучно. Даже когда действия наши продиктованы самой природой, выполнять их следует с искусством. Уверовать здесь тоже невозможно: мне столь невразумительно рассказывают о Боге, что только отвращают от него. Несмотря на все это, я чувствую себя прекрасно, тихо прозябаю, спокоен и полагаю, что меня любят, ибо я стараюсь делать добро своим крестьянам и оттого чувствую себя настоящим королем[41]. Подобное заблуждение льстит мне. Мы живем иллюзиями. Если отнять у меня иллюзию, что Вы любите меня, я вряд ли смогу чувствовать себя счастливым...

Прощайте, дорогая графиня[42].

Юный герой

Тем временем Семилетняя война в разгаре, и Донасьен ревностно исполняет воинский долг, чем заслуживает уважение начальства. 23 июня 1758 года он вместе со своим полком участвует в сражении при Крефельде, селении на левом берегу Рейна, в двадцати километрах от Дюссельдорфа. Французской армией командует граф де Клермон, брат покойно-

го Господина Герцога, высокородное ничтожество, свой за кулисами Оперы и чужой на поле боя. Из-за его бездарности и бестолковости Брауншвейгу удается внезапно напасть на авангард французской армии. Рошамбо и Сен-Жермен выдерживают удар и стойко обороняют плацдарм; вынужденные постепенно отходить, они посылают за подкреплением, уверенные, что сумеют его дождаться. Но Клермон, посчитав атаку ложной, не двигается с места. Под натиском превосходящих сил противника оба генерала отступают, а вскоре Клермон вынужден трубить общее отступление. Французские войска, потеряв семь тысяч убитыми, откатываются до самого Кельна, а города Нейс и Рурмонд переходят в руки ганноверцев и пруссаков. Остатки уважения к дому Конде, чудом сохранившиеся после низостей Господина Герцога и преступлений графа де Шаролэ, рассеялись как дым на поле сражения при Крефельде.

В этом злополучном сражении отличился юный товарищ Донасьена, такой же, как и он, восемнадцатилетний корнет роты Сент-Андре, входящей в состав полка карабинеров графа Прованского. Бюлью (так звали корнета) совершил поистине беспримерный подвиг: не выпуская из рук знамени, в одиночку прорвал линию вражеской пехоты, затем, собрав вокруг себя отряд карабинеров, атаковал батарею, уничтожил канониров, но, не сумев соединиться со своим полком, обогнул рубежи ганноверцев, взял в плен вражеского полковника и в четырех лье от Крефельда, в Гладенбахе, накормил и разместил на ночлег своих людей. На следующий день на рассвете они выступили в путь и, сделав огромный крюк, прибыли в лагерь под Нейсом, где Бюлью вместе с двадцатью пятью сопровождавшими его в этом дерзком рейде карабинерами из роты Сент-Андре вручили сохраненное знамя полковнику. Восемь карабинеров были ранены; среди раненых оказался племянник г-жи де Раймон, получивший за свой подвиг крест Людовика Святого и 400 ливров наградных. Бюлью, юный герой импровизированного рейда по тылам противника, получил награду из рук самого Людовика XV, а также наградные, по сумме равные наградным полковника, и пансион в 800 ливров[43]. Возможно, Донасьен также принимал участие в этой экспедиции. Спустя некоторое время г-жа де Раймон писала графу де Саду:

> Дорогой Сад, очень тревожусь за нашего мальчика и моего племянника. Несколько дней назад я наконец получила известия о Вашем сыне, ведь в «Газетт» о нем ни слова. Но, говоря нашим языком, это «признак хорошего тона». <...> Карабинеры понесли большие потери. Я переживала за Вас, за себя, за брата и его жену, я страдала, но не теряла надежды что-либо разузнать. Я не писала Вам, ибо не знала, что сказать. <...> Возвращайтесь, надо устроить нашего мальчика. Полагаю, Вы оставите его в карабинерах? Кажется, это часть для избранных, и попасть в такой полк теперь совсем непросто. Де Пуайян — Ваш друг: под его началом Ваш сын пройдет хорошую школу[44].

В поисках свободного полка

Неизвестно, храбрость ли в битве при Крефельде или же рекомендации Пуайяна сыграли решающую роль в повышении Донасьена, но, как бы то ни было, спустя четыре месяца, в октябре 1758 года, он назначен

капитаном в кавалерийскую роту. Но вакантной роты нет, и назначение пока остается на бумаге. Тем не менее граф Зоннинг направляет его отцу поздравление:

Мне следовало бы начать письмо с комплимента и поспешить засвидетельствовать Вам удовольствие, испытанное мною при назначении Вашего сына в кавалерию. Очень приятно без всякого труда заполучить его к себе, тем более столь быстро. Вы, как всегда, предупредительны и без промедления сообщили мне эту добрую весть, за что я Вам искренне благодарен. Зная Вас как человека справедливого, полагаю, Вы по достоинству сумеете оценить мои скромные заслуги. Я рад, что сын Ваш покидает полк карабинеров. Разумеется, я преисполнен безграничного восхищения этим полком, однако вижу, что командиры его не всегда поступают как подобает и часто подвергают своих солдат ненужной опасности. Я благодарен г-ну де Пуайяну за его внимание и дружеское ко мне отношение. Вам не составит сложности попросить г-на де Бель-Иля приписать сына к той роте, которая понравится Вам более остальных[45].

Граф возобновляет свои демарши, добиваясь у маршала де Бель-Иля, государственного секретаря по военным делам, чтобы первая же вакантная рота перешла под командование его сына. В письме от 14 марта 1759 года старый маршал, которому в то время сравнялось семьдесят четыре года, отвечает:

Вы огорчаете меня, сударь, и одновременно удивляете; в письме от 4 числа Вы сетуете на невнимательность и равнодушие, якобы проявленные мною при решении интересующего Вас вопроса, хотя, на мой взгляд, я еще не давал никаких ответов. Что же касается Вашего сына, то я не меньше Вас стремлюсь помочь ему получить заслуженную им роту. Но теперь, согласно указу Его Величества, командиры полков должны сами набирать себе офицеров, и Вам надлежит пройти общие для всех формальные процедуры конкурса, который, надеюсь, завершится к вящему нашему удовольствию, а пока остаюсь, сударь, Вашим покорным и почтительным слугой[46].

Первого апреля приходит новое письмо от маршала де Бель-Иля:

Боюсь, Вы все еще сердитесь на меня, сударь, и совершенно напрасно. Я давно и неизменно причисляю себя к Вашим друзьям, и было бы чрезвычайно досадно, ежели бы Вы не питали ко мне добрых чувств, кои, как мне кажется, я заслужил, ибо всегда горячо Вас поддерживал. Не моя вина, что сын Ваш до сих пор не командует ротой. Я не вправе лишать командующих полками удовольствия самим представлять свои кандидатуры королю. Если Вам угодно, я попрошу одного из них выбрать Вашего сына, но это будет означать, что я прекращаю играть роль министра и меняю ее на роль друга. Подумайте сами: разве не все равно, годом позже или годом раньше сын Ваш станет командовать ротой? Ибо согласно королевскому указу, командовать полком можно только после семи лет службы. Он уже три года служит корнетом, оставшиеся четыре прослужит капитаном. Ведь, если я Вас правильно понял, Вы готовите его для военной карьеры? Поверьте, я постоянно делаю все, что в моих силах, и искренне желаю оказаться Вам полезным; однако не могу беспрепятственно нарушать свои собственные предписания; тем не менее остаюсь преданный Вам <...> [47].

Через двадцать дней, после отбытия маркиза де Токвиля в Лузиньянский полк, рота наконец освободилась. За тринадцать тысяч ливров граф де Сад покупает ее, и 21 апреля 1759 года Людовик XV подписывает приказ о назначении Донасьена де Сада на должность капитана роты в Бургундский кавалерийский полк. Наконец-то наш юный офи-

цер может с полным правом щеголять в ослепительном мундире: «<...> синее сукно, подкладка, лацканы и воротник малиновые, с белым галуном по краю». Конь смотрится не менее импозантно: «<...> упряжь из синего сукна с малиновой кромкой, попона из белой гладкой шерсти, украшенная синей мозаикой с малиновым зерном».

Долгожданное известие застает Донасьена в Клеве, где расквартирована его часть. На следующий день, в воскресенье 22 апреля, он приказывает устроить в честь этого события фейерверк. Но ему не везет: одна ракета падает на крышу частного дома — к счастью, не причинив строению никакого ущерба. Однако Донасьену приходится принести извинения «господам из муниципального совета»; истинной причины салюта он, разумеется, не называет, ссылаясь на непрекращающееся ликование по поводу победы в сражении при Бергене, деревушке между Франкфуртом и Ханау, в котором маршал де Брольи нанес сокрушительное поражение сорокатысячной армии гессенцев, ганноверцев, англичан и пруссаков, выступавших под командованием герцога Брауншвейгского.

Господа!

По причине только что сообщенной нам приятной новости — о том, что монсеньор герцог де Брольи полностью разбил ваших гессенцев и ганноверцев, я, как добрый патриот, исполненный переживаний за дело нации, в прошлое воскресенье, 22 числа сего месяца, устроил фейерверк, радуясь вышеуказанному счастливому известию; к сожалению, одна из ракет упала на дом г-на Штрайля, не причинив, однако, никаких повреждений или разрушений, что письменно засвидетельствовано самим домовладельцем (бумага прилагается). Надеюсь, господа, за оставшееся время моего здесь пребывания поводы для ликования станут более частыми, а посему обещаю устраивать фейерверки на большем удалении от города, дабы они не представляли никакой угрозы его жителям.

Засим остаюсь смиренным слугой вашего почтенного и, полагаю, уважаемого собрания[18].

Дерзкий, ироничный, наглый юнец: таким предстает Донасьен в самом первом — судя по дате — письме из дошедшего до нас его эпистолярного наследия.

Пребывание в городе Клеве связано у него с еще одним воспоминанием, о котором он поведает двадцать лет спустя:

В Германии я участвовал в шести кампаниях; в то время я еще не был женат, а потому меня легко удалось убедить, что лучший способ изучить язык — это регулярно и каждодневно спать с местными женщинами. Решив проверить сие умозаключение, я, проживая на зимней квартире неподалеку от города Клеве, обзавелся добродушной толстой баронессой, в несколько раз старше меня, которая любезно согласилась обучать меня языку. Через полгода я уже сочинял речи по-немецки не хуже Цицерона![19]

Глава V
ВЫГОДНАЯ ЖЕНИТЬБА

Ученик либертена

Молодой офицер всегда мечтает о гарнизонной жизни. Особенно когда внешность его недурна, род насчитывает несколько поколений благородных предков, конь ретив, а сине-красный мундир плотно облегает тонкую талию. Донасьен обладает всеми этими достоинствами; добавим к ним глаза цвета лаванды, насмешливый рот с пухлой нижней губой, столь нравящейся дамам, изрядное количество денег, чтобы проигрывать в карты, и чувствительное сердце, воспламеняющееся при первом же кокетливом взгляде в его сторону. Он посещает кружки, участвует в конных состязаниях, не пропускает ни одного спектакля, блистает на празднествах и балах, играет в комедиях, пишет стихи, множит долги, пополняет список побед, безумствует — словом, сын достоин своего отца. «Трудно представить себе более дурную школу, нежели гарнизонная жизнь, нигде, кроме гарнизона, молодой человек не становится столь легкой добычей разврата и порочных страстей», — признает он позднее.

Среди полковых товарищей фигурирует его ровесник по имени Кастежа (а не «Кастера», как всегда писали), сын губернатора Туля и Сен-Дизье, крайне рассудительный молодой человек, с которым Донасьена связывают узы дружбы. Примерно в мае — июне 1759 года Кастежа сообщает графу де Саду последние новости о Донасьене:

> Ваш милый сын чувствует себя превосходно, — пишет он. — Он любезен, послушен, весел <...>. За время пребывания в Париже он похудел и осунулся, переезд вернул ему полноту и приятный цвет лица. <...> Его юное сердце, точнее тело, воспламеняется мгновенно. Берегитесь, немецкие красотки! Готов сделать все возможное и невозможное, чтобы удержать его от глупостей. Пока идет кампания, он обещал мне не проигрывать больше луидора в день.

Разъяренный граф посылает копию этого письма своему брату-аббату, сделав приписку:

> Черт побери, этот мошенник имеет наглость проигрывать по луидору в день! А мне он обещал ставить не больше экю! Все его слова — это пустой звук. Но не будем огорчаться. Г-ну Кастежа всего двадцать лет, а он еще не натворил ни одной глупости. Он так удивился, что достойный человек может быть либертеном, что до сих пор в себя не придет[1].

С этой же почтой он посылает брату «исповедь» Донасьена, адресованную аббату Амбле: сочинение написано специально, чтобы аббат показал его отцу. С помощью столь наивной уловки юнец надеется заслужить прощение за свои проказы. Что ж, давайте полюбуемся на нашего героя в роли раскаявшегося сынка:

Дорогой аббат, будучи в Париже, я наделал множество ошибок, презрел советы самого лучшего в мире отца, заставил его раскаяться в своем стремлении отправить меня в столицу. Так пусть же раскаяние, охватывающее меня всякий раз, когда я вспоминаю, что имел несчастье не угодить ему, или с ужасом думаю, что он может навсегда лишить меня своей дружбы, станет для меня самым страшным наказанием! Я пускался во все тяжкие, мне казалось, что наслаждения и есть настоящая жизнь, но угар прошел, и осталось лишь горькое сознание того, что поведением своим я вызвал неудовольствие самого нежного из отцов и самого лучшего из друзей.

Каждое утро я вставал с мыслями о новых развлечениях: забыв обо всем, я отправлялся на их поиски и, когда находил, чувствовал себя счастливым. Но едва желания мои исполнялись, это так называемое счастье исчезало, оставив после себя лишь сожаления. Вечерами я впадал в отчаяние; я понимал, что был неправ, но каждый вечер, равно как и на следующий день, желания возрождались, и я вновь летел к удовольствиям, как бабочка летит на огонь. Я забывал о принятых накануне решениях. Мне предлагали сыграть, я соглашался, мне казалось, что игра развлекает меня, но быстро понимал, что поступил глупо, ибо развлечения она мне не доставила. Сейчас, чем больше я размышляю о своем поведении, тем загадочней оно мне кажется. Отец был прав, утверждая, что три четверти своих поступков я совершаю, не думая о последствиях. Ах, если бы я всегда делал только то, что мне действительно доставляет удовольствие, я был бы избавлен он множества неприятностей и не причинил бы столько горя отцу. Отчего я вообразил, что девицы, с которыми я встречался, могут действительно даровать наслаждение? Увы! Разве существует счастье, покупаемое за деньги, разве бывает нежной продажная любовь? Теперь, стоит мне подумать, что меня любили только потому, что я платил, наверное, чуть больше остальных, как самолюбие мое начинает испытывать нестерпимые мучения.

В минуту душевных терзаний я получил письмо от отца, где тот просит меня чистосердечно признаться во всех заблуждениях. И я это делаю, и, уверяю Вас, делаю искренне. Я не хочу обманывать нежнейшего из отцов, тем более что он готов меня простить, ежели я признаю свои ошибки.

Прощайте, дорогой аббат, и прошу Вас, пишите мне. К сожалению, получу я Ваши письма не сразу, ибо пока я еще в пути и не знаю, где мы будем останавливаться по дороге к месту нашей теперешней дислокации. Итак, дорогой аббат, не тревожьтесь, я отправлю Вам весточку сразу же по прибытии на место[2].

Нет сомнений: Донасьен не забыл наставления добрейших отцов иезуитов! Однако граф де Сад не попадается на его иезуитскую удочку, напротив, он подумывает, не вернуться ли ему в Париж, одновременно вызвав туда сына, дабы снова не спускать с него глаз. Он советуется со своим другом де При, но тот предлагает ему совершенно иное решение:

Ваше сердце, Ваша нежность, Ваше мужество, Ваша любовь к сыну выше всяческих похвал, а Ваше решение добровольно вернуться в Париж и провести там зиму, присматривая за образованием сына, заслуживает восхищения. Подобный поступок вряд ли найдет последователей. Но уверены ли Вы, что сможете оставаться здесь до тех пор, пока сын Ваш в полной мере станет обладать добродетелями, что пристали человеку порядочному, разумному и честному, и сумеет сочетать их с качествами, необходимыми воину, намеревающемуся сделать карьеру?

В возрасте Вашего сына добрых примеров обычно не замечают вовсе, зато дурным следуют без лишних размышлений. Мне лучше многих известны пороки, процветающие в этом полку. Все свои порочные принципы мой племянник почерпнул именно там; затем, когда он получил собственный полк, он и в нем стал насаждать эти принципы. Вероятно, он и дальше продолжал бы составлять несчастье нашей семьи, если бы Господь не прибрал его к себе.

Привезти сына в Париж, дабы затем следовать за ним по пятам, — задача практически невыполнимая. Каждый день, каждую минуту он будет ускользать от Вас и в конце концов привыкнет не бояться Вас. Хотите знать мое мнение? Вот оно. Я бы, ни секунды не сомневаясь, вернул его в полк легкой кавалерии. Несмотря на его активное нежелание там служить, Вы можете сказать ему, что более двух десятков его товарищей, послужив, как и он, поручиками и капитанами в пехотных, кавалерийских и драгунских полках, вновь вернулись в свою прежнюю часть[3].

Приданое Донасьена

Решительно, необходимо придумать нечто иное. Донасьен никогда не согласится вернуться обратно в легкую кавалерию: он решит, что делает шаг назад, и это уязвит его самолюбие. В идеале надо бы найти ему подходящую партию, невесту из знатной и богатой семьи. Но для этого сначала надо приготовить приданое. Граф де Сад испрашивает у Его Величества разрешения отказаться в пользу сына от наместничества в провинциях Брес, Бюже, Вальроме и Жекс[4]. 4 марта 1760 года король дает разрешение, подкрепляя его «жалованными грамотами, подтверждающими будущие выплаты», однако сумма этих выплат сокращается с восьмидесяти тысяч до шестидесяти тысяч ливров. 6 марта Сен-Флорантен сообщает новость де Саду:

Сударь, король изъявил согласие исполнить Вашу просьбу и передал исполняемую Вами должность наместника провинции Брес Вашему сыну, дабы тот достойным образом смог упрочить свое положение, о чем я и имею искреннее удовольствие сообщить Вам. Я высказал пожелание, чтобы Его Величество выплачивал Вашему сыну ту же сумму, которую в качестве наместника получали Вы, однако он посчитал сие невозможным и сократил ее до шестидесяти тысяч ливров, дабы не нарушать обычая, согласно которому новичкам, вступающим в должность, содержание сокращается <...>[5].

Граф протестует и умоляет канцлера ходатайствовать за него перед Его Величеством, дабы тот определил сыну такую же сумму, какая была определена ему. Напрасный труд: через неделю он получает ответ, сильно напоминающий предупреждение:

Вы знаете мое мнение, — пишет ему Сен-Флорантен, — и можете быть уверены, что я был бы счастлив, если бы смог определить Вашему сыну то же жалованье. Но как бы мне ни хотелось оказать Вам услугу, сударь, мне не удалось склонить Его Величество изменить сумму шестьдесят тысяч ливров на большую. Поэтому я полагаю, что следует оставить все как есть и более не предпринимать никаких шагов, кои могли бы показаться Его Величеству преждевременными; не исключено, что постепенно все образуется[6].

Смысл письма следующий: с королем Франции торговаться не рекомендуется.

Девушки на выданье

Не дожидаясь, пока уладятся дела с приданым, граф начинает подыскивать сыну партию. О его женитьбе он мечтает уже давно, а если точнее, то с тех пор, как Донасьену исполнилось двенадцать лет! Задача действительно не из легких, и готовить ее решение надо загодя. Найти женщину благородного происхождения и в то же время богатую почти невозможно. Осуществление задуманного осложняется из-за многочисленных помех: отец-либертен, испытавший на себе превратности судьбы, обвиненный в нечистоплотности, оказавшийся в немилости у двора и государственных чиновников и бежавший в Прованс, а также слухи, которые уже пошли о самом Донасьене. Все это создает немало препятствий для осуществления задуманного. Однако граф не обескуражен; очертя голову он устремляется на охоту за наследницами. Многочисленные документы из семейного архива, никогда прежде не публиковавшиеся, рассказывают о перипетиях этого предприятия.

Желая не ошибиться в выборе, граф де Сад составляет список девиц на выданье; все они из благородных семейств, а возраст их колеблется «от пятнадцати до сорока пяти лет» (!) С левой стороны в столбик указаны фамилии родителей и количество дочерей, а справа отмечается, сколько девушек за время существования списка вышло замуж. Вот выдержка из этого реестра:

Девицы Шуазель	2	
Вильнев	1	
Бурдоннэ	1	замужем за д'Аннонвилем
Каролина де Водрей	1	
и т. д.		

В то же время граф обращается к провинциальным свахам, они подбирают ему варианты и знакомят с семьями. Некий Монморийон, регент в хоре Лионского собора, выполняющий функции брачного агента, указывает на мадемуазель де Рошешуар. Она подходит по всем параметрам, однако ее приданое кажется г-ну де Саду слишком ничтожным.

Очень сожалею, сударь, — пишет ему услужливый хорист, — но мадам де Рошешуар не пожелала ни изменить, ни добавить новые условия, на которых, как я уже имел честь Вам сообщить, она готова выдать замуж дочь. В своем последнем письме от 29 августа сего года она извещает меня, что высоко оценивает возможность брака ее дочери с Вашим сыном, которые подходят друг другу во всех отношениях, как по рождению, так и по состоянию, однако к назначенной ею сумме приданого, максимальной, какую она может выделить, она ничего добавлять не собирается. Полагаю, у Вас сохранились все условия этой сделки, а значит, будет время спокойно перечитать их и подумать, подходят ли они Вам. Ваше требование обеспечить гарантированную выплату пятидесяти тысяч ливров, причитающихся дочери *по закону*, показалось ей оскорбительным, и все мои попытки убедить ее, что подобные гарантии всегда закрепляются в брачном контракте и не вызывают ни обид, ни сомнений ни у одной из сторон, оказались напрасны. Она настаивает на своем праве выделить дочери столько, сколько она пожелает, а будет это больше или меньше, зависит от того, угодит ли ей дочь своим поведением или нет.

Мой тягостный долг, сударь, известить Вас об этом до приезда вашего брата, ибо я имею опасения, что сей подходящий союз может расстроиться. Как повелось, господа обычно уступают дамам, и ежели Вы решите воспользоваться случаем и посчитаете возможным уступить мадам де Рошешуар, я буду искренне рад, ибо не оставляю надежд, что в предполагаемом союзе Ваш сын будет счастлив, а Вы удовлетворены. Разумеется, сударь, выбор исключительно за Вами, так как, не обладая талантом провидеть будущее, я хотел бы застраховать себя от малейших упреков, особенно с Вашей стороны, ибо питаю к Вам бесконечное уважение и с удовольствием остаюсь вашим смиренным и почтительным слугой[7].

Сударь, маркиза де Рошешуар просто душка, — отвечает ему граф де Сад. — Я в восторге от ее характера, и если бы был уверен, что дочь унаследовала его, я бы взял ее без всякого приданого. Большинство женщин слабы либо от природы, либо от доброты сердца. Когда заходит речь о надлежащем обеспечении будущего молодых, у них вырывают согласие отдать столько, сколько они отдавать не собирались. Маркиза де Рошешуар мягкостью характера не обладает; в первый же день она сообщила мне, какое приданое она готова выделить дочери, предупредив, что никто не заставит ее добавить в свадебную корзину еще хотя бы сто экю; я уважаю ее за это. Однако имеются два пункта, которые вызывают у меня беспокойство.

Во-первых, Вы говорили, что у нее имеется двадцать пять тысяч ливров ренты. Она же утверждает, что небогата, и я готов ей поверить, ибо по виду состоятельной ее никак не назовешь. Далее, она говорит, что жертвует частью имущества, необходимого ей самой; имущество это заключается в земле, приносящей тысячу экю ренты, однако рента эта отягощена рядом обязательств: разве бывает земля, свободная от налогов и повинностей? Содержание дочери обходится ей в сто пистолей в месяц. Таким образом, жертва ее составляет пятнадцать или шестнадцать сотен франков ренты. Если эта сумма необходима ей на прожитье, значит, она хочет придержать средства для иных целей, что не может не волновать меня. И вот мои выводы.

Она недовольна своим сыном. Следовательно, можно тешить себя надеждой, что она пожелает закрепить за дочерью *законную* долю, то есть ту, которая в любом случае отойдет к ней по наследству согласно закону. Но она не желает! И обещает объяснить свою позицию в урочном месте и в урочный час. Но разве существует более благоприятное время для улаживания финансовых дел, нежели вступление в брак? Тем более когда от нее требуется всего лишь гарантированно закрепить за дочерью *законную* долю наследства, которая в любом случае отойдет к ней? Не следует ли из этого, что она недовольна дочерью, а вовсе не сыном? Для меня ясно, что она не желает обеспечить дочь и поэтому согласилась выдать ее замуж подальше от себя, вдобавок поставив условие, что та уедет на следующий же день после свадьбы. Вот уж действительно условие нежной матери, озабоченной счастьем своих детей! Это условие пугает меня, ведь если мадам де Рошешуар останется недовольна дочерью, а дочь станет упорствовать в своих заблуждениях, для меня это означает «прощай приданое». Эта женщина не обладает ни пристрастиями, ни капризами, ни фантазиями. И, как я полагаю, поступки детей своих оценивает прямолинейно.

Если бы маркиза де Рошешуар согласилась на мои первоначальные предложения, то есть гарантировать *законную* долю, составляющую пятьдесят тысяч франков, и определить состав свадебной корзины к обоюдному согласию, дело бы сладилось. Сейчас же я следую примеру непреклонной мадам де Рошешуар и настаиваю на своих условиях. Если бы этот брак мог сблизить меня с ней, если бы у меня была надежда провести некоторое время в ее обществе, будь то у меня в доме или же у нее, я полагаю, мы бы пришли к соглашению. Но, сдается мне, что, как только дочь ее выйдет замуж, мы перестанем ее интересовать.

Отсылаю Вам ее письма. Тысячу раз благодарю Вас за труды, затраченные Вами на поиски достойной партии моему сыну. Но я не отчаиваюсь и полагаю, что он еще

может получить невесту из Ваших рук. Имею честь, сударь, выразить Вам свою глубочайшую признательность и остаюсь Вашим смиренным и покорным слугой[8].

* * *

Через несколько недель хорошая партия начинает вырисовываться в Бургундии. На этот раз речь идет о молоденькой канонисе аббатства Ремирмон по имени Дама де Фюлиньи де Рошуар, о которой новый посредник, Обан де Лафейе, собрал следующие сведения:

Господа де Рошуар, конечно, не Рошешуары*, но они ничуть не хуже. Брат отца девицы — граф Лионский, сама девица — канониса монастыря в Ремирмоне, что свидетельствует о ее достойном воспитании. Отца зовут Дама де Фюлиньи, мать из семьи Пон-Реннепон, имение, где она проживает, называется Аже, земля прекрасно обрабатывается и приносит не менее десяти тысяч ливров ренты. Еще ей принадлежит земля в Сандокуре, дающая не менее тысячи ливров ренты, а при продаже она наверняка принесет более ста тысяч франков, потому что здесь, в Бургундии, не принято платить сюзерену и редко довольствуются тридцатым денье**. У мадам де Рошуар один сын, и она не слишком им довольна. Последнее время он находится в тюрьме. Не знаю, вышел ли он уже на свободу. Сын этот единственный, дочь тоже одна.

Вот, дорогой граф, все, что мне удалось разузнать на сегодняшний день. Если удастся узнать больше, непременно Вам сообщу; надеюсь, у Вас нет оснований подозревать меня в предвзятости, ибо я никогда не был знаком ни с кем из членов этой семьи; мадам де Рошуар — женщина большого ума, я бы даже сказал, женщина ученая и, полагаю, сочинитель, однако она не любит общества и имеет мало знакомых.

Ее старый деверь, граф Лионский, живет вместе с ней, растрачивая на красивых безделушках и подарках двадцать или двадцать пять тысяч ливров ренты, получаемой с церковного имущества.

Возможно, имеется и иное имущество, о котором мне ничего не известно, ибо проживают они в тридцати лье отсюда. Через два-три месяца я смогу сообщить Вам обо всем более подробно, так как зиму я провожу в Фролуа <...>.

В качестве постскриптума посредник добавляет еще одну, на его взгляд не слишком значимую, деталь:

Относительно внешности и характера мадемуазель де Фюлиньи сказать ничего не могу, но один из моих друзей, посетивших несколько месяцев назад Аже, видел ее и сообщил, что говорит она мало, но лицом пригожа; матушка обращалась к ней дружелюбно, однако властным тоном, отчего та, возможно, и хранила вежливое молчание[9].

Дело не сладилось. А жаль! Супруга-канониса и шурин в Бастилии: поистине, это был перст судьбы!

* * *

А вот и третья кандидатура — мадемуазель де Бассомпьер; родственница герцога Шуазеля, она принадлежит к высшей аристократии (мать ее,

* Рошешуары — представители старинного дворянского рода; родовой замок Рошешуаров был возведен в XIII в.

** Тридцатый денье — распространенный в те времена процент (примерно 3,3%, «один денье из каждых тридцати»).

придворная дама из окружения королевских дочерей, из рода Бово). К возможному родству с де Садами Шуазель отнесся весьма скептически:

Сударь, 8 числа сего месяца я имел честь получить Ваше письмо, посредством которого Вы пожелали изложить мне свои соображения относительно возможности заключения брака Вашего сына с мадемуазель де Бассомпьер. Так как я имею честь состоять с ней в родственных отношениях, то, разумеется, все, связанное с ее замужеством, мне небезразлично. Заверяю Вас, что я с удовольствием воспользуюсь возможностью, чтобы оказаться полезным Вашему сыну[10].

Другой на месте графа де Сада на этом бы и остановился, вполне удовлетворившись неожиданно выпавшим на долю его сына шансом. Сад же незамедлительно и бестактно начинает требовать для Донасьена патент полковника. И в решающий момент, когда договоренность о свадьбе была уже почти достигнута, сказались плачевные последствия этого требования. Ответ не заставил себя ждать. Это отказ — вежливый, но безоговорочный:

Сударь, в настоящее время я не имею возможности предоставить Вашему сыну патент полковника. Но так как он полон энергии и рвения, то я нисколько не сомневаюсь, что генералы выскажутся в его пользу и по завершении кампании мне будет легче удовлетворить его честолюбие и выразить Вам свои чувства, с коими имею честь пребывать, сударь, Вашим покорным и почтительным слугою[11].

А через три недели наступает развязка: брачный проект рушится, Бассомпьер отдает руку дочери другому. Несчастный граф смотрит на крушение своих надежд и, с огромным усилием взяв себя в руки, приносит поздравления матери девушки, которая, похоже, не менее опечалена столь резкой сменой настроения своего супруга.

Сударь, — отвечает она ему, — меня бесконечно взволновало Ваше дружеское участие и Ваша готовность разделить со мной радость по поводу бракосочетания моей дочери. Она, без сомнения, была бы счастлива в случае осуществления тех намерений, кои Вы имели относительно ее будущности и которые мы всегда будем почитать за честь. Надеюсь, она также будет счастлива, исполнив волю своего отца. Я желаю, сударь, чтобы сын Ваш нашел себе партию, достойную и его и Вас. Все, что касается Вас и Вашего сына, отныне будет представлять для меня бесконечный интерес[12].

Что же все-таки произошло? Судя по всему, противником почти решенного союза выступил Шуазель, он же и настроил семью невесты против де Сада и его сына. Государственный секретарь, с 27 января 1761 года ведавший военными делами, он, видимо, приказал негласно собрать сведения о Донасьене: полученные отчеты оказались неутешительными. Поведение молодого человека на поле боя заслуживает только похвал, но этого, к сожалению, нельзя сказать о его поведении в повседневной жизни. Старшие по званию считают его безалаберным молодым человеком, не знающим удержу в исполнении своих прихотей, игроком, мотом и распутником. «Однажды вечером здесь обедал майор из его полка; находившийся среди гостей Сен-Жермен принялся его расспрашивать. Все, что рассказал майор, было ужасно», — сообщает граф де Сад.

Неприязнь министра возросла после еще одного происшествия. В апреле 1761 года граф добился для сына должности знаменосца в корпусе жандармерии: отличие выдающееся и одновременно устрашаю-

щее — стоимость должности была непомерно высока[13]. Не имея средств заплатить за нее, граф вынужден был явиться к Шуазелю засвидетельствовать свой отказ. До последней минуты граф не мог решиться на сей крайне неприятный демарш, совершить который пришлось в самый разгар переговоров о возможном браке с мадемуазель де Бассомпьер. Судя по письму секретаря, министр держался с ним весьма надменно:

Несомненно, во время аудиенции герцог де Шуазель был с Вами холоден по причине Вашего отказа от должности знаменосца; герцог опасается, что тот, кому предстоит заменить Вашего сына, на которого он рассчитывал, не успеет сделать положенные шаги и в предписанные сроки занять свое место в роте. В остальном же о судьбе сына можете не беспокоиться. Министр — человек справедливый и не станет возлагать на Вашего сына ответственность за то, что от него не зависит, так что этот случай не может и не должен повредить его карьере[14].

Знаменосец на продажу

Матримониальные дела требуют присутствия графа в Париже. К концу марта — началу апреля 1761 года он вновь приезжает в столицу с твердым намерением собрать деньги, необходимые для выкупа должности знаменосца в жандармерии и найти для Донасьена достойную партию. Он располагается в семинарии Иностранных миссий на улице Бак (где сегодня стоят дома с номера 122 по номер 126) и оттуда сообщает о своем возвращении г-же де Раймон:

Дорогая графиня, Вы в Шампани, а я в Париже. Вы не ответили на мое последнее письмо, отправленное из Авиньона, отчего я пребываю в полной растерянности, не зная, стоит ли мне беспокоить Вас. Однако сердце заставляет умолкнуть разум. Любя Вас, я позабыл Ваши заблуждения и хочу, чтобы вы помнили о моем существовании, каким бы ничтожным оно ни казалось.

Мне кажется, что Париж сильно изменился, хотя, в сущности, он остался прежним. Здесь все так же правит легкомыслие, а видимость подает пример, все ищут удовольствия, а находят скуку, и показная роскошь скрывает нищету. Никогда еще в семьях не царило столь дурное расположение духа, а на спектаклях и в местах для гулянья не собиралось столько народу, не говоря уж о танцах, об общественных местах... Все ищут забвения от несчастий, но по-прежнему предпочитают быть несчастными в Париже, нежели счастливыми в провинции, и можно с полным основанием утверждать, что Париж не делает счастливым, а лишь препятствует обретению счастья в ином месте. <...>

Устав от Парижа и пресытившись людьми, де Сад удаляется в провинцию, где собирается заняться приведением в порядок своих дел. Это поражение? Как бы не так! Его сыну дают должность знаменосца. Вот и предлог, чтобы вернуться и попытаться найти денег. Он рассчитывает сразу же уехать. Но он все еще здесь! И утверждает, что не хочет возвращаться, не повидавшись с Вами. Ах, какая ерунда![15]

По приезде де Сад изводит Шуазеля своими просьбами. Во что бы то ни стало сын его должен получить патент полковника. Упорство граничит с дурным вкусом, но ему все равно: он не оставит министра в покое, пока не получит удовлетворения. Обороняясь, Шуазель принимает надменный вид и ссылается на занятость или же, злорадствуя, принимается поворачивать нож в незажившей ране. Вашему сыну предложили должность знаменосца в жандармерии. Почему же он ее не принял?

Сударь, я имел честь получить Ваше письмо от 6 числа сего месяца, в коем Вы возобновляете свою прежнюю просьбу о предоставлении Вашему сыну, капитану Бургундского кавалерийского полка, должности полковника.

Я не забыл ни о его благородном происхождении, ни о примерной службе, на основании этих причин я при первой же возможности буду содействовать его продвижению, о чем я уже сообщал Вам в июне месяце сего года и готов повторить еще раз. Однако король как никогда настроен соблюдать свой собственный указ от 29 апреля 1758 года, строго регламентирующий распределение должностей. Это препятствие преодолеть крайне сложно, и я не хочу Вас напрасно обнадеживать; в то же время заверяю, что не меньше Вашего стремлюсь исполнить Ваше желание. Досадно, что Вы не сумели воспользоваться милостью Его Величества, пожаловавшего Вашему сыну должность знаменосца в корпусе жандармерии; в этих войсках он, возможно, сумел бы продвинуться гораздо быстрее[16].

Спустя месяц граф де Сад возобновляет свои просьбы, направив министру два письма, одно за другим. Шуазель раздраженно отвечает:

Сударь, я имел честь получить оба письма, от 4 и 6 числа сего месяца, в которых Вы снова ходатайствуете за Вашего сына. Я могу предложить ему только должность знаменосца в жандармерии. Сообщите мне, если Вы вознамеритесь приобрести ее, дабы я заранее смог совершить необходимые шаги, вследствие которых в урочное время, когда представится таковая возможность, я мог бы сделать представление королю[17].

Иными словами это означало: «*У вас нет денег, чтобы купить ему должность знаменосца? Значит, ждать больше нечего!*»

Тогда де Сад пытается использовать влияние Луи-Жозефа Конде, с которым Донасьен воспитывался в детстве. Он просит товарища детских игр сына предоставить Донасьену комнату в своем дворце и дать ему рекомендацию для получения патента полковника. А может быть, он возьмет его к себе адъютантом?

Молодой принц отвечает весьма уклончиво:

Судя по Вашему письму, сударь, Вам известно, как редко освобождаются квартиры во дворце Конде. Если бы в нем были свободные комнаты, я бы с радостью выделил Вашему сыну сразу несколько, и мне чрезвычайно жаль, что сейчас нет никаких достойных свободных помещений, которые я мог бы ему предоставить.

Убежден, что о Вашем сыне можно говорить только хорошее, но даже если бы я был в состоянии рекомендовать его, вряд ли бы это на что-либо повлияло, ибо г-н де Шуазель будет просить высказаться в его пользу тем командирам, под началом коих он служил. Тем не менее я поговорю о нем с министром, представлю его как человека, чье продвижение доставит мне много удовольствия; хотелось бы, чтобы моя рекомендация была ему полезна. <...>

Если Бургундский полк не будет принимать участия в ближайшей кампании, я с удовольствием взял бы его с собой, но обязательства, уже имеющиеся у меня по отношению к множеству нынешних адъютантов, не позволяют мне предоставить ему эту должность. Оставайтесь, сударь, при моих совершеннейших к Вам чувствах[18].

Сомнений нет: если Донасьена столь же тяжело женить, как и продвинуть, следовательно, против него имеются серьезные предубеждения. И, как мы уже видели, отец со всей серьезностью пытается во всем разобраться. Но это ничего не меняет. Отныне дурная репутация начинает доставлять юному маркизу немало неудобств, хотя ни одного публичного скандала, подтверждающего ее, еще не случилось. На чем

тогда основано общественное мнение? Пока на слухах, сплетнях, болтовне гарнизонных кумушек. В чем они его, в сущности, упрекают? Похоже, в проступках достаточно серьезных, ибо их предусмотрительно не называют.

«Вот исповедь моя...»

Кем же стал сей милый ребенок? Постоянно под ружьем, он, получая отпуск, наверстывает упущенное и в каждом городе заводит себе любовниц. 12 августа 1760 года мы находим его в лагере Оберштейн, неподалеку от Корбаха, во время всеобщего ликования по поводу победы, недавно (10 июля) одержанной маршалом де Брольи над ганноверской армией. Из деревни Оберштейн он посылает графу длинное письмо, где вначале подробно описывает передислокацию войск и лишь потом переходит к самому главному, то есть к рассказу о себе самом. На отцовские упреки в неподобающем поведении он отвечает «исповедью», которую мы воспроизводим полностью, ибо она является основным свидетельством образа мыслей и поведения двадцатилетнего Донасьена. В авторе этого документа уже виден будущий писатель, со всем его лукавством и двусмысленностью.

Вы спрашиваете меня, как я живу, чем занимаюсь. Поведаю Вам все честно и в подробностях. Меня упрекают в том, что я люблю поспать; правда, у меня есть сей недостаток: я ложусь под утро, а просыпаюсь поздно. Часто совершаю конные прогулки, обозревая вражеские позиции и наши собственные. Прожив три дня в лагере, я уже знаю все особенности нашей местности не хуже господина маршала. Затем в голове вызревают разные соображения; я высказываю их, и меня либо хвалят, либо порицают, в зависимости от того, насколько они приемлемы. Иногда я отправляюсь с визитом к г-ну де Пуайяну или к своим прежним товарищам — карабинерам или королевским гвардейцам. Я не сторонник слишком строгого соблюдения правил этикета: я их не люблю. Если бы не господин де Пуайян, за всю кампанию ноги бы моей в штабе не было. Знаю, что поступаю неразумно: чтобы добиться успеха, необходимо мозолить глаза начальству, но это не по мне. Больно слышать, когда кто-нибудь, чтобы подольститься к собеседнику, говорит ему сотни приятных вещей, когда на самом деле хотел бы сказать совершенно обратное. Не могу разыгрывать такую жалкую личность, отвращение сильнее меня. Быть почтительным, честным, с чувством собственного достоинства, но без гордыни; услужливым, но без пресмыкательства; руководствоваться своими желаниями, но когда они не вредят ни нам, ни кому-либо; жить в достатке, предаваться развлечениям, не допуская ни безумств, ни разорения; иметь немногих друзей, а может, и не иметь их вовсе, ибо воистину невозможно встретить такого правдолюбца, который бы при случае не предал вас раз двадцать, особенно если это в его интересах; быть ровным со всеми, со всеми уживаться, но ни к кому не привязываться, дабы потом не раскаиваться; говорить только хорошее и даже чрезмерно хорошее о людях, которые зачастую без всякого повода злословят о вас, причем вы об этом даже не подозреваете (чаще всего вас обманывает именно тот, кто с вами особенно любезен и усердно ищет вашей дружбы) — вот мои добродетели, мои принципы, коими я намерен руководствоваться. Тешу себя надеждой, что у меня есть друг, и он из нашего полка; однако я в нем пока еще не уверен. Его зовут де ***, сын господина де ***; мне кажется, мы состоим с ним в отдаленном родстве через Симианов. Это достойный молодой человек, любезный, сочиняет очень милые стихи, хорошо пишет, усердный и сведущий в своем деле. Я полагаю себя его другом; у меня есть основания считать

его своим другом. Но, в сущности, что значит «считать другом»? Друзья зачастую подобны женщинам: проверка показывает, что товар подпорчен[19]. Вот и вся моя исповедь; я раскрываю Вам свое сердце не как отцу, коего часто боятся, а потому не любят, но как другу, самому искреннему и нежному на свете. Перестаньте делать вид, что у Вас есть причины ненавидеть меня, верните мне Вашу любовь и никогда более не лишайте меня ее и будьте уверены, что я сделаю все, чтобы ее сберечь[20] <...>.

В этом тексте можно распознать большинство тем, которые потом разовьются и станут отличительным признаком садического письма: принцип наслаждения, заточения и того, что сам он назовет словом «изолизм» («isolisme»), а именно непреодолимую некоммуникабельность людей в общении друг с другом. Об этой «исповеди» можно было бы еще многое сказать, ибо, на наш взгляд, она является первым собственно *литературным* творением Донасьена де Сада.

«Очень нежное сердце»

Лето 1762 года. Донасьен томится от скуки в гарнизоне Эсдена, небольшого местечка возле Па-де-Кале. Однажды он встречает женщину, старше его на десять лет, не красавицу, но из хорошей семьи. Сердце его мгновенно воспламеняется. И в один прекрасный день все благородное общество городка узнает об их связи. Отныне все говорят только о любовной интрижке хорошенького капитана с мадемуазель де***. Однако родители начеку: или свадьба, или ничего. Будь что будет: если надо, он пойдет к алтарю. Желая увериться в его намерениях, отец мадемуазель на несколько дней увозит дочь из города. Втянувшись в игру, Донасьен незамедлительно пишет своему отцу, желая получить разрешение на брак.

Граф де Сад встречает просьбу сына без энтузиазма. Провинциальная овечка, даже если она из хорошего рода, его не устраивает; он грезит о блистательной партии. Но Донасьен настаивает, его вполне устраивает эта. Во всяком случае, он собирается жениться «только по велению сердца», о чем и заявляет отцу.

Он все еще думает об этом браке, — жалуется граф своей сестре Габриэль-Лор, — он написал мне об этом. И вот как заканчивается его письмо: «Во всем, что касается вступления в брак, я по-прежнему исполнен решимости поступать так, как я уже имел честь Вам сообщить. Вы мой отец, и любовь Ваша, на которую я полагаюсь, является званием, должным внушить Вам благосклонное отношение к моим чувствам. Прошу Вас меня простить за принятое мною решение: в вопросах брака прислушиваться только к советам собственного сердца. Оно может обмануть меня, но заблуждения его столь сладостны, что я всегда стану оказывать им предпочтение даже перед самым безоблачным счастьем. Доброта, выказанная Вами и позволившая пообещать никогда не принуждать мои чувства, наполняет меня уверенностью в Ваших добрых намерениях. Имею честь...»

Господин аббат решит, что нужно делать, — заключает граф. — Я больше ни во что не вмешиваюсь и отвечать тоже ни за что не собираюсь. Он не обманывал меня; я чувствовал, что надо было бы уже давно женить его. Никто мне не верил. Мне твердили: «Время еще есть». Мне хочется, чтобы его уже не было. Мне сказали, что без этого брака он никогда не даст чистого бланка со своей подписью. Полагаю, ему следовало бы провести семестр в Авиньоне; тогда посмотрим, что можно будет сделать. Говоря «Авиньон», я подразумеваю Соман, Мазан, Ла-Кост[21].


FB·2005

К счастью, командующий полком герцог де Коссе в курсе событий. Ему удается без всякого скандала уговорить юного безумца отказаться от девицы, и тот делает это с такой же легкостью, с какой прежде воспылал к ней страстью.

У Вашего сына, сударь, очень нежное сердце, или же ему просто не составляет труда убедить себя в том, что он влюблен и что ему отвечают взаимностью, — докладывает офицер графу де Саду. — Поэтому он просил у Вас разрешения на брак, не имевший под собой никаких оснований и от которого мне удалось заставить его отказаться, высмеяв все и вся и предложив ему пари, что уже в следующем гарнизоне у него возникнет такое же желание жениться. Он не пожелал заключать пари и пообещал мне более не говорить о браке с мадемуазель, разделявшей его планы. Эта девушка из хорошей семьи, кою мы все должны уважать, ибо она вдобавок является племянницей прежнего командира нашего полка. Таким образом, можете быть уверены, сударь, что сын Ваш не имеет иных желаний, кроме как угодить Вам. Он чувствует себя прекрасно и играет в комедии, что забавляет его и занимает его время, и, разумеется, он счастлив, что в этом городе, где житье просто невыносимо, ему не пришлось скучать[22].

Исцеленный от беспокойства, граф, рискуя уподобиться цапле* из известной басни, продолжает поиски.

Уволенный из рядов

Десятого февраля 1763 года подписание Парижского договора кладет конец Семилетней войне. Весь город ликует. Но два фейерверка и иллюминация, устроенные по случаю настоящего события, к сожалению, не единственные признаки возвращения к мирной жизни. Из затяжного конфликта Франция вышла чрезвычайно ослабленной: флот разрушен, казна исчерпана, колонии потеряны. Людовик XV вынужден был уступить Англии свои владения в Америке и Индии, за исключением отдельных факторий, таких как, например, Шандернагор и Пондишери. Разгрому не подверглись только Антильские острова. Поражение Франции закрепляет морское и торговое превосходство Англии и консолидирует военное могущество Пруссии. И в Париже, и в провинции полагают, что чести Франции нанесен урон, и весьма скептически относятся к Парижскому договору, сократившему французские колонии до размеров шагреневой кожи. Поэты и шансонье высмеивают бездарность генералов, однако насмешки плохо скрывают чувство глубокого унижения.

Не дожидаясь подписания договора, Шуазель, бывший тогда военным министром, приказывает уже со 2 февраля начать реформу кавалерии, пехоты и драгун, вызвав тем самым живое недовольство офицеров, безжалостно уволенных и вынужденных после многих лет службы вернуться домой со скудной пенсией в шестьсот ливров, обрекавшей их на нищету[23]. Честно говоря, в этой мере не было ничего экстраординарного: после каждого мирного договора так обычно поступали со

* Имеется в виду разборчивая цапля из басни Жана де Лафонтена (1621—1695). Кн. 7. № 4.

многими офицерами и солдатами. Уволенные не теряют своего офицерского звания и могут быть вновь взяты на службу в свой полк или в любое другое соединение.

Для графа де Сада это катастрофа, и он пускается в объяснения с Шуазелем:

Думы о будущем сына, ввергнутого в уныние по причине лишения места службы, о предстоящей реформе, необходимой королю, но повергающей в отчаяние офицеров, вызвали у меня тяжелейшую болезнь, коя на целых три месяца избавила Вас от моей назойливости. И вот сын мой уволен из армии. Я теряю роту, более десяти тысяч экю, потраченных на сына во время службы и на его экипировку, которую пришлось менять дважды[24]. Но я об этом не жалел, так как он служил королю. Но теперь у меня сорок тысяч франков долга, а сын мой не имеет ни положения, ни надежды вновь вернуться на военную службу – и это после того, как он проделал все кампании, в том числе и последнюю, участвовал во всех сражениях. Что прикажете делать? Что должен я сказать сыну? Что могу ему посоветовать? Если бы Вам было угодно приписать его к какому-либо корпусу, дабы он не утратил расположения и вкуса к службе, кои я всегда старался ему внушить, это был бы благодетельный поступок. В противном случае умоляю Вас приказать ему вернуться в Авиньон. В моем нынешнем состоянии я не желаю предпринимать ничего, что могло бы меня взволновать, обеспокоить или разжалобить[25].

Граф де Сад не преувеличивает свои несчастья. Вот уже несколько месяцев, как здоровье его резко ухудшилось, а неприятности, доставляемые Донасьеном, тем более не способствуют улучшению его состояния. Недавно он пережил тяжелый приступ, о котором, не надеясь оправиться, сообщил брату:

В воскресенье мне было так плохо, что слуги, перепугавшись, послали за священником. Однако я довольно быстро пришел в себя и успел остановить их. Этой ночью приступ повторился. Один хирург как-то сказал мне, что я могу внезапно умереть от удушья, но я еще чувствую в себе силы и мужество и полагаю, что несчастные дни свои мне предстоит влачить еще долго[26].

Спустя несколько дней, а именно 24 февраля 1763 года, он принимает причастие, однако снова выздоравливает. Возобновляющиеся приступы, способствующие нарастанию мизантропических настроений, а также серьезные денежные затруднения с каждым днем все больше удаляют его от общества и приближают обращение к Богу.

Я рассчитываю удалиться куда-нибудь в уединенный уголок, – пишет он своей сестре, аббатисе монастыря Святого Лаврентия, – дабы жить там, вдалеке от мирской суеты, и размышлять о надвигающейся кончине. Вскоре я намереваюсь навеки распрощаться с Вами, испросив прощения за все те беды и огорчения, которые я Вам причинил. Хотелось бы, чтобы сын мой не доставил Вам еще больших хлопот. *Вы можете свободно располагать всеми оставленными мною вещами; я не возьму их, мне больше ничего не нужно*[27].

Он ищет пристанище в лоне монашеской общины не столько по причине набожности, ибо, по его словам, «большинство священнослужителей только отвращают от истинного благочестия, нежели склоняют к нему», но «чтобы избежать всякого рода расходов, а также не принимать у себя сына, которым недоволен»[28]. Состояние своих финансовых дел он оценивает следующим образом: «Погибаю от нищеты,

обходясь без самого необходимого, постоянно страшась лишиться даже того, что имею». Это явное преувеличение; граф де Сад обладает неприятным свойством сгущать краски, которое сын его впоследствии унаследует в полной мере.

Супруга для Донасьена

Официально Донасьен считается демобилизованным с 16 марта 1763 года. На самом деле его цивильная жизнь началась месяцем раньше, и теперь он беспечно прожигает ее в Париже; он ездит на празднества и балы, не пропускает ни одного спектакля или пикника, он частый гость за кулисами и в публичных домах, и будущее его совершенно не волнует. Пока он крутится в вихре удовольствий, его несчастный отец отчаянно пытается найти ему супругу. Когда сын женится, думает граф, он перестанет нуждаться в его опеке и, быть может, образумится и станет вести размеренную жизнь. Однако из-за дурного поведения Донасьена его задача осложняется; каждый день граф де Сад с трепетом ожидает новостей об очередных безумствах сына, которые окончательно похоронят матримониальные надежды отца.

В это время он знакомится с неким Жаном Парсье, бывшим торговым атташе Франции в Кадисе и Мадриде, а с 1758 года исполняющим обязанности управляющего королевским Дворцом инвалидов; он рассказывает графу о своей молоденькой племяннице, которую родные хотят выдать замуж[29]. Граф напоминает ему о своем сыне «на выданье». Пока семейство девицы изучает его предложение, он сообщает новость аббату:

Здоровье мое с каждым днем крепнет, я готов выехать уже завтра. Меня удерживает только этот брак. Если он расстроится, я уеду. Сын пока не способен отважиться на такой шаг. Ему страшно хочется жениться, но предпринимать для этого хоть какие-то действия он не желает. Я попросил его нанести визит управляющему Дворцом инвалидов г-ну де Граммону; он не нашел для этого времени. Я прошу его явиться ко мне на ужин, на который приглашен управляющий, чтобы поговорить о деле: он не является, а потом говорит, что забыл о приглашении. Никогда еще не видел подобного легкомыслия! Мать девушки призналась: ей сообщили, что молодой человек весь в долгах и имеет шальной нрав. «Где вы видели молодых людей, которые бы не делали глупостей? – ответила она. – Цыплят по осени считают». Ответ ее позволяет надеяться, что на этот раз брак состоится; все остальные расстроились из-за дурной репутации Донасьена. Говорил ли я Вам, что по контракту молодые получат право проживать в доме родителей невесты не три, а пять лет, а далее на их усмотрение? Если они решат жить собственным домом, им будет выплачиваться пенсион, а также они получат десять тысяч франков на покупку мебели; сумма эта будет выделена особо, а не взята из приданого; *законная* доля каждого ребенка будет равна пяти или шести тысячам франков. Не думаю, что мы могли бы найти более подходящие условия. Отец невесты – председатель податного суда, у него пятеро детей[30]; он сын господина де Лонэ[31], который аннобліровал ее отца. Таким образом, дочь имеет право вступить в мальтийскую общину[32]. Семья имеет знакомства в хороших домах, среди людей порядочных, которые отныне готовы хлопотать за моего сына. И я наконец смогу удалиться и во всем положиться на них. Я закрепляю за собой имущество, а затем передаю его по наследству, оставив себе только право пользования и десять тысяч экю, которые перейдут к сыну после моей смерти[33].

Действительно, такими партиями не пренебрегают. И хотя семейство Кордье де Монтрей принадлежит к дворянству мантии и примкнуло к благородному сословию лишь в XVII веке, зато богатство его значительно превосходит состояние семьи де Сад. Брачные союзы между дворянством шпаги и дворянством мантии, вышедшем из торговой буржуазии, в XVIII веке заключаются довольно часто; они обусловлены все возрастающим обнищанием придворной аристократии. В мире, где успех в обществе сопряжен с непомерными представительскими тратами для поддержания престижа, разорение древних родов неизбежно. В основном оно происходит на протяжении двух-трех поколений. В случае де Садов для растраты семейного достояния хватило одного Жан-Батиста. Именно он, и никто иной до него, поставил под угрозу финансовое благополучие семьи. Честолюбивое стремление занять самые высшие посты привело его к расточительству; его траты во много раз превосходили доходы. Год за годом он лез из кожи, чтобы поддерживать свое положение, свой уровень жизни, ибо придворное общество, живущее по своим суровым законам, безжалостно выталкивало из своих рядов оступившегося или давшего слабину. Но в конце концов ему пришлось признать свое поражение и оставить изнурительную гонку, приведшую его, опустошенного и горько разочарованного, к краю пропасти.

* * *

В 1763 году Клод Рене де Монтрей носит звание почетного председателя Парижского податного суда[34]. Вместе с семьей он живет на улице Нев-дю-Люксамбур (сегодня улица Камбон), в приходе Мадлен, одном из наиболее аристократических кварталов столицы, недавно возникшем на месте бывшего дворца маршала Люксембургского. 21 августа 1740 года он женился на Мари-Мадлен Масон де Плиссэ, рожденной от союза Антуана Масона, конюшего, советника и королевского секретаря, и Мари-Пелажи Парсье[35]; дворянство семьи жены было столь же недавним, как и его собственное. Энергичная и властная, жена председателя де Монтрея, или просто «госпожа председательша», как чаще всего ее называли, распоряжалась в доме и твердой рукой вела хозяйство.

От их брака родилось шестеро детей, три дочери и три сына, среди которых близнецы: Шарль и Мари-Жозеф[36]. Старшую дочь зовут Рене-Пелажи. Она родилась 2 декабря 1741 года, полутора годами позже Донасьена. Именно ее прочат ему в жены. Морис Эн пишет:

> Будущая супруга была богата, но богатство это заключалось не столько в ее приданом, кстати, довольно скромном, сколько в солидно подкрепленных видах на будущее. Как бы неожиданно это ни звучало, но ее родственники имели прочные связи и влияние при дворе[37].

Председательша, женщина расчетливая и прекрасно осведомленная о репутации Донасьена, сразу понимает, что граф де Сад снисходит до не слишком лестной для него партии потому, что нрав его сына стал притчей во языцех среди матерей более благородных семейств. Она

этим пользуется и во время напряженных переговоров, начавшихся уже в марте, цинично добивается уменьшения вклада Монтреев в благосостояние молодых.

Тем временем из Прованса прибывает новое предложение: на этот раз речь идет о мадемуазель де Камби, родом из старинной семьи флорентийских банкиров, обосновавшихся в Авиньоне и состоящих в отдаленном родстве с маркизой де Помпадур. Но граф де Сад отдает предпочтение Рене-Пелажи де Монтрей; брату он так излагает свой выбор:

Если бы даже сын мой был добрым подданным, я бы все равно считал предстоящий брак превосходным и во всех отношениях более желательным, чем брак с мадемуазель де Камби: он сулит большее материальное благополучие, что, по моему мнению, всегда предпочтительнее. Мне больше по вкусу, что сын породнится с де При[38] и Тулонжоном[39], занимающим видную должность в корпусе жандармерии, нежели с Брантесом и Прелем или приобретет родственников в Тарасконе. Впрочем, в Париже, обремененный долгами, он наверняка вскоре погубит себя; жена его будет несчастна, его выгонят из дома тестя – вот какой конец его ожидает. Но в Авиньоне его раскусят незамедлительно, поэтому мне всегда хотелось найти для него партию менее блестящую, нежели ту, на которую он мог бы рассчитывать в провинции[40].

Похоже, граф полностью поглощен предстоящим союзом и видит только его преимущества.

Чем больше я размышляю об этом браке, – снова пишет он брату, – тем привлекательней его нахожу. Вчера я был у Монмартеля[41], который знает все обо всех состояниях и который хорошо знал г-на де Лонэ[42], исполнявшего обязанности казначея и ведавшего экстренными военными расходами. Он сказал мне, что у мадам де Лонэ[43] было более ста десяти тысяч ливров ренты, которые она не успевала проедать, и после ее смерти Монтрей получит никак не меньше восьмидесяти тысяч ливров ренты, а также имущество, которым он пользуется уже сегодня; что мадам д'Ази[44], не имея детей, разделит свое состояние, и де Монтрей получит из него одну треть; немало отойдет ему и от жены. По приблизительным подсчетам Монмартеля, дети де Монтрея должны будут получить от двадцати до двадцати пяти тысяч ливров ренты, причем гарантированно, ибо имущество его не эфемерно и не подвержено превратностям, как у многих деловых людей, и он лично предпочел бы пять лет пребывать на довольствии у председателя, нежели получить на сто тысяч франков приданого больше. Так же высоко он ценит мать сего семейства, женщину умную и обладающую многими заслугами; да и вообще все семейство очень почтенное, и с ними мой сын будет счастлив. Все это мне необычайно нравится. Но больше всего я хотел бы поскорее избавиться от своего маленького сорванца, у которого нет ни единого положительного качества, а все исключительно дурные[45].

Граф заявляет, что его гложет совесть, ибо он хочет одурачить людей достойных. «Мне очень жаль их за столь безрадостное приобретение, способное на любого рода глупости», – признается сей добропорядочный апостол аббатисе обители Святого Лаврентия. На деле же он с трудом сдерживает радость. Отныне ответственность за негодяя-сына ляжет на семью его жены.

Чтобы избавиться от него, я сделал то, чего никогда бы не сделал, если бы нежно его любил, – признается он аббату. – Я полагал, что имею право купить себе удовольствие никогда более о нем не слышать. Брак этот, хотя уже и решенный, тем не менее еще может расстроиться, если господин де Сад выкинет какую-нибудь штучку. Я до тех пор не уверую в этот брак, пока не увижу молодых у алтаря[46].

Мадемуазель де Лори

Пока отец с успехом ведет переговоры о его женитьбе на мадемуазель де Монтрей, Донасьен, позабывший свою пассию из Эсдена, безоглядно влюбляется в восхитительное создание, встреченное им недавно и тотчас ставшее его любовницей. Обладательнице дивных глаз Лор-Виктуар Аделине де Лори двадцать два года, и она, как и Донасьен, принадлежит к старинной провансальской аристократии, чья родословная восходит к XIII веку. Такая партия, по мнению Донасьена, гораздо более достойна знатного дворянина, нежели «дочь вымогателя налогов», которую пытаются ему всучить. С самого начала их связи он просит возлюбленную стать его супругой. Отец ее, маркиз де Лори, готов дать согласие, однако красавица отказывается разбить считающийся уже решенным союз Донасьена с мадемуазель Монтрей и войти в семью против ее воли; по крайней мере, именно так она объясняет свой отказ. Однако в 20-х числах марта граф де Сад, убежденный, что переговоры с Монтреями прерваны окончательно, неожиданно решает вернуться в Прованс и посылает вперед сына подготовить свое возвращение. Таким образом, он наверняка надеется, что разлука утихомирит пыл молодого человека и положит конец его идиллии. В сильном душевном смятении Донасьен пускается в путь. Прибыв в Авиньон, он умоляет любовницу ехать вместе с ним. Но жестокосердая отказывается. Через несколько дней новый сюрприз: все улаживается, и Монтреи снова в превосходных отношениях с графом де Садом. Разумеется, они даже не подозревают, что жених Рене-Пелажи вздыхает о другой.

Милому мальчику остается только послушно вернуться в Париж и жениться на той, которую ему предназначили. Но Донасьен не согласен. На этот раз все более чем серьезно: он до безумия влюблен в мадемуазель де Лори, обожает ее и заявляет, что готов на все, лишь бы получить ее руку. Впрочем, он это уже говорил — что он хочет жениться только по велению сердца. Он заклинает любовницу бежать с ним, но она отказывается; он настаивает — она сопротивляется; он приходит в ярость, выходит из себя, впадает в отчаяние, но она остается холодна как мрамор. Разве она не поклялась ему в вечной любви? Что она делает в Париже? Без сомнения, она обманывает его. В довершение всех неприятностей он заболевает: у него обнаруживается шанкр; его лечат ртутью, единственным лекарством, применяемым в те времена против венерических заболеваний. Узнав об этом, отец приходит в ужас: а вдруг об этом проведают у Монтреев? Тогда разрыв неизбежен! Любой ценой надо помешать им узнать правду, распространить слух о другой болезни. Церемония бракосочетания назначена на май (сейчас идет апрель). Граф просит аббата написать ему такое письмо, которое он смог бы показать своим будущим родственникам:

> Вам надо сообщить мне, что лихорадка, от которой мальчик еще полностью не оправился, по приезде вновь охватила его, но это всего лишь приступ, и Вы пришлете его мне уже совсем здоровым[47] <...>.

Только бы этот маленький шалопай поскорее излечился! Его ждут.

Необходимо, чтобы он выздоровел, но если он и в Авиньоне станет вести себя так же, как в Париже, он не поправится никогда. Надо убедить его соблюдать все необходимые предписания, чтобы он поскорее вернулся в Париж, где наконец произойдет долгожданная свадьба[48].

Но Донасьен думает иначе. Вернуться в Париж? Жениться на Рене-Пелажи, которая, судя по слухам, дурнушка без капли очарования? Черт побери, нет, нет и нет! И речи быть не может. Он доводит свое решение до отца. Несчастный граф уже не знает, какому святому молиться. В отчаянии он пишет брату:

Вчера он написал мне, что влюблен по-прежнему или даже еще больше и что это вовсе не от мадемуазель де Лори он сделался больным. Он забыл, что говорил мне, что давно уже более ни с кем не имел дела. К счастью, она больше не хочет его видеть[49].

«Мы созданы друг для друга...»

Тем временем Донасьен отказывается верить, что его бросили. Несмотря на полученные им доказательства разрыва, он продолжает надеяться, что мадемуазель де Лори к нему вернется. Но вскоре иллюзия сменяется растерянностью. И тут он берет перо и изливает на бумагу поток охвативших его противоречивых чувств. В этом длинном письме ненависть, страсть, страдания, угрозы и мольбы с грохотом сталкиваются друг с другом и рассыпаются пышными снопами искр словесного фейерверка. Восемь больших листов, покрытых убористым почерком, из которых мы процитируем только наиболее примечательные пассажи:

Авиньон, 6 апреля 1763 года

Клятвопреступница! Неблагодарная! Ты забыла, что обещала любить меня вечно? Кто принуждает тебя к непостоянству? Кто заставляет тебя разорвать узы, которым предстояло связать нас навеки? Неужто ты приняла мой отъезд за бегство? Ужель поверила, что я смогу жить вдали от тебя? Но ты, верно, судила о чувствах моего сердца по своим собственным. <...> Коварная, неблагодарная! Ты испугалась соединить свою жизнь с жизнью того, кто обожал тебя. Наши узы, сотканные из цепей вечности, стали для тебя бременем; душа твоя, подвластная лишь непостоянству и легкомыслию, оказалась не столь утонченной, чтобы оценить их прелесть. Ты побоялась покинуть Париж; тебе было мало моей любви; я не смог удержать твою любовь. Так иди же, оставайся навек в Париже, чудовище, рожденное на мое несчастье! И пусть уловки того, кто заменит меня в твоем сердце, заставят тебя ненавидеть этот город так же, как твое коварство заставило ненавидеть его меня... Но что я говорю? Ах, милая моя подруга! Божественная моя подруга! Единственная опора моего сердца, единственная услада моей жизни, бесценная любовь моя, куда завлечет меня мое отчаяние? Прости несчастному его слова, после утраты той, которую он любил, он стал сам не свой, и только смерть остается последней его надеждой. О, я сам приближу это мгновенье, кое избавит меня от ставшего мне ненавистным дневного света; глаза мои ждут, когда настанет этот миг. Кто может привязать меня к жизни, единственной отрадой которой была ты? Я потерял тебя, потерял себя, потерял свою жизнь, я умираю самой жестокой смертью... Я брежу, милая моя подруга, я не в себе; так не утирай же слезы, льющиеся из моих глаз и застилающие мне взор... Я не переживу своих несчастий. — Что ты делаешь?.. Кем ты стала?.. Кто я теперь в твоих глазах? Я внушаю тебе страх? Или любовь?.. Скажи! Каким ты меня видишь? Чем станешь оправдывать свое по-

ведение? Боже, но, быть может, это мне надо оправдываться перед тобой! Ах, если ты все еще меня любишь, как любила всегда, как люблю тебя я, как обожаю и как буду обожать всю жизнь, то сжалься над несчастьями нашими, подумай об ударах, наносимых фортуной, и напиши мне, постарайся оправдаться... Увы, тебе неведомы страдания. Это моя душа терзается, видя твою измену <...>.

Береги свое здоровье, а я буду стараться восстановить свое. Но как бы ты себя ни чувствовала, ничто не помешает мне явить тебе доказательства моей самой нежной любви. Надеюсь, что за все время наших отношений ты убедилась и еще будешь иметь возможность убедиться в моей скромности. Но я всего лишь исполнял свой долг и не делаю из этого заслуги... Подумай, прежде чем изменить мне; я этого не заслуживаю. Не стану скрывать: ярости моей не будет предела, а гнев будет неутолим. То маленькое происшествие <...>[50] должно побудить тебя отнестись ко мне повнимательнее. Признаюсь, я не стану скрывать его от своего соперника, коему у меня, без сомнения, будет что порассказать. Клянусь тебе, нет таких мерзостей, на которые бы я не пошел. <...> Но я краснею при одной только мысли, что придется прибегать к таким средствам, чтобы удержать тебя. Я не хочу, не должен говорить об этом, от меня ты должна слышать только слова любви. Твои обещания, клятвы, письма, кои я каждодневно и беспрестанно перечитываю, только они должны привязывать тебя ко мне: и я взываю только к ним <...>.

Люби меня всегда; будь мне верна, если не хочешь, чтобы я умер от горя. Прощай, прекрасное дитя, я боготворю тебя и люблю в тысячу раз больше, чем собственную жизнь. Прощай, что бы ты ни говорила, клянусь тебе, мы созданы друг для друга[51].

Среди этих любовных жалоб нельзя не заметить низкий шантаж, который Донасьен готов пустить в ход, если возлюбленная изменит ему. Впрочем, гораздо резоннее предположить, что это он, а вовсе не она, как пытается убедить ее Донасьен, заразил ее: гарнизонная жизнь и усердное посещение борделей, разумеется, более способствуют приобретению соответствующих заболеваний, нежели упорядоченная жизнь юной провинциалки, пребывающей под строгим отцовским надзором. Можно также задаться вопросом: действительно ли это письмо предназначалось той, кому оно было адресовано? Ведь впоследствии Донасьен велел своему секретарю Картерону переписать его наряду с другими своими юношескими сочинениями (галантные письма, дивертисменты, песенки и т. п.), а затем переплести; получившийся сборник он озаглавил: «Сочинения г-на де Сада». Отсюда можно сделать вывод, что он рассматривал его скорее как литературное упражнение, нежели как подлинный документ. Можно даже предположить, что оно было написано через несколько лет после его романа с мадемуазель де Лори. Прирожденный писатель, он всегда любил запутывать следы, смешивая вымысел и реальность.

Артишоки и паштет с тмином

Тем временем произошедшее в Париже событие изрядно льстит самолюбию Монтреев: Его Величество согласился оказать честь, нечасто выпадающую на долю даже лиц привилегированных, а именно — лично одобрить заключение предстоящего брака; родственнику де Майе подобная милость выпадает не часто, не говоря уж о правнучке господина Кордье. Торжественная церемония должна состояться 1 мая в Версале. Сейчас середина апреля; Донасьен по-прежнему в Авиньоне, ждет

свою возлюбленную, а отец его гневно топает ногами в Париже. Время идет, день свадьбы приближается, Донасьен не возвращается. Да как он может продолжать любить эту свою Лори, заразившую его сифилисом и готовую расстроить столь выгодный для него брак? «Неужели после всего, что он слышал об этой Лори, после того, как он заразился от нее, он все еще сожалеет об их несостоявшемся браке? Тогда у него воистину нет ни совести, ни чести».

А Донасьен явно не горит желанием жениться на мадемуазель де Монтрей. Конечно, она богата, у нее, бесспорно, прекрасные виды на будущее, но она напрочь лишена шарма. Все единодушно утверждают: природа не выбрала ее своей любимицей. Разумеется, никто прямо не называет ее дурнушкой, однако это читается между строк. Граф де Сад, например, пишет сестре: «В воскресенье я видел малышку, она вовсе не дурна; она хорошо сложена, у нее красивая грудь и очень белые руки (*sic*!). Ничего бросающегося в глаза, приятный характер»[52]. Восторга в этих строках явно нет. Мать девушки, председательша де Монтрей, в письме к аббату де Саду высказывается о ней еще менее снисходительно (или более резко):

Когда она будет иметь честь познакомиться с Вами, сударь, и с семьей г-на де Сада, надеюсь, она сумеет внушить вам искреннюю симпатию хотя бы потому, что щедро наделена умом и кротостью. Лицо и прочие прелести — это дар природы, и сами мы не в силах раздобыть их[53].

В видах на жительство, выданных Рене-Пелажи во время революции, приводится ее описание: «Рост: четыре фута шесть дюймов (1,57 м), нос массивный, рот средний, подбородок круглый, волосы темно-русые, лицо круглое и полное, лоб низкий, глаза серые»[54].

Рене-Пелажи не красавица и совсем не кокетлива. Эта мужеподобная особа, обладающая походкой гренадера, никогда не старается выглядеть элегантной; она носит потрепанные платья, изнашивает до дыр туфли и надевает перчатки, в которых колют дрова. Воспитанию ее, как и воспитанию большинства девиц того времени, внимания уделяли не много, сама она читала мало, писала со множеством ошибок, однако здраво судила о своих ближних и обладала живым и ярким слогом, не чуждым образности. Читать ее письма никогда не скучно; она описывает людей и вещи такими, какими она их видит, из-под ее пера выходят живые, естественные фразы, чуждые манерности и жеманства, а зачастую даже не лишенные экспрессии. За ними можно разглядеть женщину решительную, энергичную, совершенно уверенную в своей правоте, однако не чуждую ни критических размышлений, ни сомнений.

* * *

Утром 1 мая, в день представления королю, оба семейства отправляются в Версаль в полном составе — за исключением будущего супруга, который никак не решится покинуть Авиньон. Тем хуже, обойдут-

ся без него. Людовик XV ставит свой августейший росчерк под брачным контрактом, а следом за ним дофин, дофина, герцог Беррийский и граф Прованский, за которыми следуют дочери короля, принц Конде, принц де Конти и мадемуазель де Санс. Как и при крещении Донасьена, злой рок вновь преследует его имя. На этот раз его записывают еще более неожиданным образом: Донасьен *Адольф* Франсуа. Наконец церемония завершается и граф де Сад, совершенно разбитый, возвращается в Париж. «Этот день меня доконал, — признается он Габриэль-Лор. — Я вернулся с совершенно распухшими ногами».

Едва оправившейся после пережитых волнений семье Монтрей становится известно про интрижку с мадемуазель Лори и про подлинную болезнь их будущего зятя, которую от них столь долго и тщательно скрывали... Понимая, что богатая наследница может ускользнуть от сына, бывший посланник Людовика XV приходит в ужас и, позабыв о своем презрении к новоиспеченным дворянам, льстит им напропалую и всячески их обхаживает.

Кажется, из последней почты из Авиньона мадам де Монтрей стало все известно, — пишет он сестре. — И первая, и вторая (венерическое заболевание Донасьена. — *М.Л.*) истории чрезвычайно охладили ее отношение к моему сыну, однако отступать уже некуда. <...> Какие бы оплошности он ни совершил, я стараюсь загладить его глупости своими любезностями и почтительностью. Кажется, все семейство мною довольно; я каждый день обедаю у них или у кого-нибудь из их родственников; я ни с кем больше не встречаюсь и стойко переношу обрушившиеся на меня знаки внимания. Разумеется, я мог бы посетовать на то, какое приобретение ожидает их в лице будущего зятя, но я молчу, и совесть моя от этого неспокойна. В своем последнем письме аббат уверяет, что более кроткого молодого человека, чем Донасьен, не сыскать. Когда же я позволил себе не согласиться с ним, он стал уверять меня, что может вертеть им как угодно. Но я знаю, что кроткими можно назвать только его речи, в остальном же его невозможно заставить изменить решение. Полагаю, что, как только он приедет в Париж, я тотчас оттуда уеду[55].

К счастью, председательша также держится за этот союз, и желание породниться с семейством королевской крови заставляет ее на все закрывать глаза.

Подписание брачного контракта в присутствии нотариуса назначено на 15 мая, венчание — на 17 мая. А Донасьен все еще в Авиньоне! Но нельзя же праздновать свадьбу без него. Теперь уже нервничают все:

Вы назначаете свадьбу на 15-е, а на следующий день аббат пишет мне, что жених не тронется в путь раньше 15-го. <...> Измышлять отговорки становится все труднее, все семейство пребывает в беспокойстве и постоянно интересуется причинами промедления. Один из самых богатых дядюшек, председатель де Мелэ, уезжает в понедельник: вот уже один подарок потерян, боюсь, что и с остальными произойдет то же самое. 15-е число назначено мною исходя из Вашего письма, и теперь уже ничто не заставит меня изменить дату. Продолжайте везде и всюду говорить о его лихорадке, ибо здесь я именно это и делаю. Раз болезнь его стала достоянием публики, неужели Вы полагаете, что можно скрыть его отношения с мадемуазель де Лори? А ведь скрыть все было так просто! Да ладно. Если об этом стало известно, значит, надо приписать все дурному климату.

Ехать в дорожной карете не стоит, это обойдется дороже. Пусть привезет с собой не меньше десятка артишоков — будет прекрасный свадебный подарок, ибо

сюда они попадают только замороженными. Не помешает и паштет с тмином. Все это, разумеется, следует везти, если он поедет на почтовых[56].

* * *

Наконец-то! Блудный сын прибывает вместе с артишоками и паштетом. И самое время! В воскресенье, 15 мая, после полудня будущие супруги и их семьи собираются в роскошном доме председателя де Монтрея для подписания брачного контракта в присутствии нотариусов Форсье и Лебрена. Условия давно оговорены. Приданое Рене-Пелажи достигает 300 000 ливров – сумма значительная, однако наличными выдадут всего лишь малую его часть, остальное будет выплачиваться в виде ренты, а также перейдет по наследству[57]. Со стороны де Садов Донасьен получит должность наместника провинций Брес, Бюжэ и проч., доход от которой составляет в общей сложности 10 000 ливров в год; также ему предстоит вступить во владение землями в Ла-Косте, Мазане, Сомане и фермой Кабанн, приносящими от 18 000 до 20 000 ливров годового дохода каждая. Из этих доходов отец его выговорил себе право распоряжаться 30 000 ливрами. Сверх того граф выделяет сыну 10 000 ливров из тех 34 000, которые задолжал ему граф де Бетюн, купивший землю в Глатиньи, «дабы сын оделся сам и одел слуг, а также приобрел карету и пару лошадей». Наконец, молодой маркиз выделяет жене 4000 ливров ренты на случай, если та останется вдовой, а весь основной капитал завещает детям, которые у них родятся[58].

Морис Эн так расценивает это распределение:

Граф де Сад не был заинтересован в том, чтобы основной капитал попал в руки сына, расточителя и либертена. Его интересы как нельзя лучше совпали со скаредностью Монтреев, более склонных выделить молодым супругам ренту, нежели вручить им приданое в звонкой монете[59].

Но есть и еще одна статья контракта, не менее важная, чем предыдущие; она касается собственно положения Донасьена. «Согласно настоящему контракту, – гласит статья, – вышеуказанный граф де Сад заявил, что освобождает от своей отцовской власти будущего супруга и предоставляет ему полную свободу». Таким образом, за два года до полного совершеннолетия (наступавшего при Старом порядке в двадцать пять лет) молодой маркиз получает право спокойно располагать своим достоянием и своей особой. И он не замедлит злоупотребить этим правом...

В день после подписания контракта, иначе говоря, накануне венчания, госпожа председательша де Монтрей, не удержавшись, выражает аббату де Саду свое глубокое удовлетворение тем, что отдает дочь в столь высокородное семейство. Она также не скупится на похвалы зятю:

Я безмерно тронута, сударь, той радостью, кою Вы выразили мне по поводу союза, который мы имеем честь с Вами заключить. Я им более чем довольна, можно даже сказать, я от него в восторге. Ваш племянник является для меня самым любезным и самым желанным зятем: он необычайно рассудителен, кроток и бла-

годаря Вашим заслугам превосходно образован. Дочь моя также премного благодарна Вам за Ваше к ней внимание; она выражает Вам свое уважение, а также осмеливается передать Вам, что наиживейшим желанием ее является понравиться Вам и заслужить Ваше дружеское расположение, равно как и расположение всей семьи, к которой она будет иметь честь принадлежать. Господин де Монтрей и я разделяем это чувство и просим Вас донести это наше горячее стремление до всех членов Вашей семьи, ибо Вы, как никто иной, внушаете нам безграничное почтение.

Завтра настанет великий день: задуманный союз наконец осуществится. Многочисленные хлопоты не позволяют мне в полной мере предаться удовольствию беседы с Вами о наших будущих молодых супругах. Прошу Вас, сударь, станьте добрым покровителем и советчиком моей дочери: лучшего наставника она не может и желать. Надеюсь, Вы сами в этом убедитесь[60].

На следующий день, 17 мая 1763 года в церкви прихода Святой Марии Магдалины в Виль-Левек на глазах у многочисленных свидетелей состоялось заключение брака. Со стороны будущего мужа присутствовали: аббат де Сад д'Эгийер, каноник Марсельского капитула, его двоюродный брат, а также его родственник герцог д'Ансезен. Со стороны мадемуазель де Монтрей присутствовали: ее двоюродный дедушка Жозеф Мари Масон, бывший главный смотритель лесных угодий; дяди с материнской стороны: Антуан Масон де Мелэ, председатель Счетной палаты, и маркиз де Виллет, бывший генеральный казначей военной казны; ее бабушка с материнской стороны, Анн-Тереза де Крезер, вдова Жака Кордье де Лонэ[61].



Глава VI
«ВЕТЕР В ГОЛОВЕ...»

«Ах, какой милый мальчик!»

Церемония окончена, и супруги устраиваются в приготовленных для них апартаментах на втором этаже особняка Монтреев на улице Нев-дю-Люксамбур. Согласно контракту, семья Монтрей обязалась «безвозмездно поселить и кормить» молодых супругов в течение пяти лет, начиная со дня свадьбы, а также их камердинера и горничную; настоящее обязательство действительно как в Париже, так и в замке Монтреев в Нормандии, куда семья часто выезжает[1].

Граф де Сад поселяется в двух шагах от молодых, на улице Бас-дю-Рампар; живет скромно, в обществе «мэтра Жака»*, служанки и лакея; у него нет даже выезда. Ежедневно его навещает г-н де Монтрей, Донасьен же не желает утруждать себя переходом через улицу, чтобы повидаться с отцом. Однако невнимательность сына графа, похоже, не заботит: «Что бы он ни делал, мне теперь все равно, я готов согласиться со всем, — пишет он аббату. — Придет, когда я буду ему нужен. Он хочет поставить одну из моих комедий; значит, явится за ней: что ж, я не против»[2]. Надо сказать, отношения между отцом и сыном еще никогда не были такими плохими. Граф приходит в ярость, обнаружив, что ему надо заплатить старые долги Донасьена, и выходит из себя, когда Донасьен требует у него отчетность о доходах с его должности наместника за последние три года.

> Я должен быть готов ко всему, — жалуется граф. — Впрочем, его бесчувственность не удивительна: он рожден под злополучной звездою, а потому стал таким, каков есть; как я Вам уже сообщал, я сделал все, что был должен сделать, и даже больше, для того, чтобы этот брак состоялся: меня подгоняло желание поскорей избавиться от Донасьена и опасение, что мне вновь придется нести за него ответственность[3].

Он жалуется, что мошенник-сын платит ему черной неблагодарностью и постоянно делает гадости. Вот совсем недавно, когда он раздобыл для него бесценную привилегию садиться в карету короля и охотиться вместе с Его Величеством, негодяй даже пальцем не пошевелил, чтобы ею воспользоваться.

---

* Мэтр Жак — персонаж комедии Мольера «Скупой» (1668), слуга, исполняющий сразу несколько обязанностей.

Я примирился со своей участью и перестал печалиться, – продолжает граф. – <...> Что бы мой сын ни натворил, это не помешает мне крепко спать. Жаль, что рождение его оказалось столь злополучным событием; он вынуждает меня покинуть Париж, дабы более не слышать о его выходках, хотя теперь эти слухи вряд ли меня опечалят. Пусть делает что хочет, отныне я ни во что не вмешиваюсь[4].

Председательша, напротив, не сочувствует несчастному отцу: она просто без ума от Донасьена и говорит только о нем.

Ах, какой милый мальчик! Так я называю своего юного зятя, – доверительно сообщает она аббату де Саду. – Иногда я даже осмеливаюсь немного пожурить его: мы поссоримся, но тотчас помиримся; ссоры наши никогда не бывают серьезными, и всегда короткие. А в целом мы довольны друг другом: доверие нельзя завоевать за двадцать четыре часа, равно как и отказаться от дурных привычек. Он легкомыслен, согласна, однако женитьба быстро ставит голову на место; если я не ошибаюсь, Вы скоро увидите первые положительные результаты – конечно, коли пожелаете их заметить[5].

«Мадам де Монтрей обуревают фантазии относительно моего сына, – усмехается граф де Сад, – она от него без ума; <...> просто, по ее мнению, у него ветер в голове, он любит удовольствия и поэтому ищет их постоянно»[6]. В серьезных разногласиях между отцом и сыном председательша принимает сторону последнего. И для этого у нее имеются весьма веские основания. Так в чем тут дело?

Мы помним, что в 1760 году граф де Сад уступил свою должность наместника в пользу сына. Однако никто не знал, что при этом он приказал выплатить себе «вознаграждения» за три года вперед, то есть за 1761, 1762 и 1763 годы; не сказав об этом ни слова Донасьену, он, таким образом, лишил его весьма существенной суммы. В брачном контракте настоящее обстоятельство также не упомянуто[7]. Граф попытался оправдаться, ссылаясь на необходимость содержать сына до женитьбы, однако подобный довод лишь дал повод обвинить его в недобросовестности. Г-жа де Монтрей целиком встала на сторону зятя, высказав свое недовольство аббату де Саду:

Признаюсь Вам, в данном случае мне не в чем упрекнуть зятя, ни по форме, ни по существу. Если поведение твое небезупречно, не лучше ли вместо жалоб хранить почтительное молчание? А ведь граф вот уже шесть недель всюду жалуется на сына, в том числе и в семьях, с коими мы только что породнились, жалуется друзьям, быть может, даже людям малознакомым, называя сына неблагодарным и бессердечным. <...> С начала августа мы живем за городом. Зять вынужден был задержаться на несколько дней в Париже, чтобы привести в порядок документы, связанные с будущими выплатами по его должностям, и приехал ко мне только через неделю, вместе с женой, кою я ему доверила. Наверное, смешно слышать такие слова, когда идет речь о жене и муже: *я ему доверила*, но он еще очень и очень молод <...>, так что употребленное мною выражение вполне простительно.

Присущее деревне спокойствие благотворно влияет на его здоровье; однако он худ по-прежнему. Не уверена, что здешняя жизнь во всем соответствует его привычкам и запросам: этому живому молодому человеку постоянно требуется пища для ума. К счастью, всегда имеются два верных ее источника: чтение и сон. Вам, без сомнения, известно его пристрастие и к первому, и ко второму[8].

Возмущенная несправедливым отношением отца к сыну, г-жа де Монтрей рвется во что бы то ни стало исправить положение, пытаясь убедить

графа, что Донасьен гораздо лучше, чем тот про него думает, и в связи с этим пишет вот такую записочку (неизданную), которую граф наверняка прочел со скептической улыбкой. Не каждый день встретишь здравомыслящую женщину, у которой от восторга помутился рассудок:

Возможно, сударь, я с Вами слишком откровенна, но если когда-нибудь Вы окажете мне честь узнать меня получше, Вы, несомненно, воздадите по справедливости моему сердцу: я далека от мысли лишить Вас любви Вашего сына. Он слишком недавно стал моим сыном, чтобы я могла воздействовать на его ум. Душа его гораздо лучше, чем Вам это расписали или же чем Вам самому это кажется. Только избыток живости побуждает его подчас совершать очевидные ошибки. От всей души мне хотелось бы, чтобы, думая о нем, Вы прислушивались только к голосу природы. Когда Вы это сделаете, тогда все спорные вопросы будет легко уладить. Слушайте только голос собственного сердца. А я поручусь Вам за его сердце. Душа моя будет счастлива, когда убедится, что вас вновь связывают узы нежности и доверия[9].

«Железная леди»

Совершенно очевидно, что г-жа де Монтрей полностью очарована «совсем молоденьким» кавалером, со сластолюбивыми губами и бешеным темпераментом. Сама она не чувствует груза своих сорока лет и еще не отказалась от удовольствия нравиться мужчинам. Это

<...> очаровательная женщина, любезная собеседница, сохранившая свежесть молодости; росту она, скорее, ниже среднего, с приятным лицом, обворожительной улыбкой и пленительным взором, с юношеским складом ума, мудрая и чистая как ангел и вместе с тем хитрая как лиса; она всегда любезна и даже в своем роде соблазнительна[10].

Со своей стороны маркиз изо всех сил старается завоевать еще большее расположение тещи. Внимание и лесть вскоре делают свое дело: ему удается окончательно вскружить ей голову. Он преуспевает на поприще обольстителя. Разумеется, г-жа де Монтрей знает, что он способен на любые безумства, однако искренне верит, что новое состояние сделает его более благоразумным... Впрочем, она не имеет ничего против его мятежной непримиримости; это качество сближает их; она даже испытывает тайное удовлетворение, убеждая себя, что они одного поля ягоды. Созданные повелевать, ни председательша, ни Донасьен не обременяют себя чувствами — будь то ненависть или слепая привязанность — по отношению к тем, кто возбудил их властную страсть: они совершенно равнодушны к правам и страданиям ближнего. Оба умеют соблазнять, наводить страх, развращать, использовать любые средства для достижения цели, не чувствуя ни угрызений совести, ни сожалений. Оба в одинаковой степени обладают энергией и удалью, перед которыми не устоит ни одно препятствие. Горе тому, кто откажется уступить их желаниям! Донасьену еще предстоит познакомиться с этим бешеным темпераментом, когда они оба, подобно хищным зверям, восстанут друг на друга, безжалостно бросив друг другу вызов. И в конце концов председательша одержит верх. Нет, не силой, но добродетелями, которых всегда чертовски не хватало Донасьену: осмотри-

тельностью, доведенной до степени лукавства, а главное, постоянным самообладанием, не покидающим ее ни при каких обстоятельствах. Своему противнику, взбалмошному и непостоянному, г-жа де Монтрей противопоставит неукоснительную требовательность и рациональный, расчетливый ум. Она просчитает все, до последнего шага, и, подобно кошке, терпеливо подстерегающей жертву, в решающий момент совершит роковой прыжок. Ненависть ее будет тем сильнее, чем острее она станет сознавать, что сначала ее соблазнили, а потом обманули. Донасьен усыпил ее бдительность, за благодеяния отплатил неблагодарностью, бросил тень на любимую дочь и предал любовь другой дочери. Она будет методично отвечать своему некогда слишком любимому зятю ударом на удар. Донасьен же в ее лице в первый и единственный раз в жизни встретит существо, скроенное по тем же меркам, что и он сам, такое же жестокое и беспринципное, но вдобавок еще и бесконечно хитрое. И в конце их беспощадной борьбы он разобьется об этот утес чистой совести, вдохновленный грозной силой закона. В его глазах г-жа де Монтрей станет воплощением завывающей своры, одержимой жаждой справедливости и возмездия. Он был *всего лишь* виновным: она превратила его в обвиняемого. Еще хуже: в преступника. Постепенно ему начнет казаться, что у его заблуждений лицо г-жи де Монтрей; пытаясь избавиться от жуткого видения, он прибегает к оскорблениям и клевете. Однако, борясь против г-жи де Монтрей, он будет бороться против собственной природы, разрушая и уничтожая ее; его убийственные удары обернутся против него самого. Палач сам станет жертвой другого палача, коим является мать его жены, точнее, воплощенный в ней образ матери, *своей* матери, всех матерей. Это не просто г-жа де Монтрей, это прежде всего *мать*, это г-жа Мистиваль, над которой он осуществит свою самую жестокую месть, описанную на последних страницах «Философии в будуаре», постаравшись вовсю очернить эту женщину и вывалять ее в грязи под яростное ликование того, кто заранее знает, что будет побежден.

Подле этого высшего существа в женском обличье г-н де Монтрей выглядит бесцветно. Полностью порабощенный председательшей, от природы добродушный, слабый и безвольный, он давно уже не пытается распоряжаться в собственной семье. Жена заправляет всем, все видит и все решает. По принципу противоположности, бесхарактерность председателя могла бы даже внушить сострадание или симпатию, но она просто навлекла на него забвение. Но и он играет свою роль; и хотя он действительно самая бледная фигура, однако пренебречь ею невозможно, о чем до недавней поры не было известно и что нам удалось открыть благодаря любезности нашего коллеги Франсуа Муро. Г-н де Монтрей воплощает собой семейную память; он регулярно ведет семейный дневник, где записывает все, что интересно ему и всем его родным: генеалогию, рождения, смерти, воспоминания, автобиографические записки, путевые заметки и т. п. Бесхарактерный председатель предельно точно рисует места и встреченных в них людей, равно как и описывает впечатления, полученные во время странствий. Помимо

этого в его дневнике мы отыскали тысячу прежде неизвестных сведений, которыми и воспользовались в полной мере[11].

Идеальная пара

Итак, медовый месяц наших молодоженов продолжается. Первые недели незаметно пролетели в вихре спектаклей, празднеств, концертов, поездок с визитами и ответных приемов у себя[12]. 9 июня мадемуазель де Санс представляет молодую г-жу де Сад ко двору: согласно обычаю, представлять могли только потомственные дворяне[13]. Летом и в начале осени супруги наслаждаются безоблачным счастьем, которое, похоже, разделяют оба. Рене-Пелажи выискивает малейшую взможность снискать похвалу мужа, а тот оказывает ей уважение и проявляет нежность. Мадам де Монтрей имеет все основания для ликования: если она и испытывала сомнения относительно моральных устоев зятя, то теперь они полностью рассеялись. Она с полным правом уверовала в благотворное влияние Гименея.

«Он прекрасно ладит с женой, — замечает граф де Сад. — Если так будет продолжаться, я отдам ему все оставшееся»[14]. Через четыре месяца после свадьбы председательша пишет аббату де Саду:

Их нежная дружба, похоже, обоюдна. Семья опечалена только одним: что дочь моя пока не может уверить ни Вас, ни меня в своей *плодовитости*. Я очень этого желаю, но беспокойства не испытываю: ни он, ни она не принадлежат к *бесплодным* семействам[15].

Однако сколь ни велико желание племянницы Вашей, — повторяет она ему 20 октября, — быть Вам во всем послушной, она никогда не станет ни в чем винить мужа. Она будет любить его, пока сама не разлюбит; и это вполне понятно: он необычайно мил. По сю пору он очень любит ее и обходится с ней как нельзя лучше[16].

Маскарад или реальность? Разыгрывает ли Донасьен любящего мужа или же действительно влюблен в свою жену? Для Рене-Пелажи подобный вопрос не стоит. Подчинившись воле родителей, она решает, что долг ее — любить этого едва знакомого ей молодого человека. В этом отношении нравы со времен Мольера остались прежними: дочерей приносят в жертву, равно как жертвуют младшими сыновьями в пользу старших, не оставляя им ни выбора, ни возможности прислушаться к голосу собственного сердца и руководствуясь так называемой мудростью, в основе которой лежит честолюбие или интерес, или стремление добиться расположения влиятельных лиц, или соискание должностей и богатства, устраивают браки, когда жених и невеста едва знают друг друга. Нетрудно догадаться, к чему в конце концов приводит супружеская жизнь по принуждению: чаще всего к мрачному смирению, культивируемому Церковью, и к сожалениям, горечь которых смягчает лишь время; иногда, правда, она ведет к разрыву или же к появлению ухажера, который всегда тут как тут, готовый утешить жену, опостылевшую мужу. Однако сей последний способ Рене-Пелажи, в глубине души глубоко набожной, заказан. О разводе она, конеч-

но, станет помышлять, но украдкой, тотчас отталкивая даже мысль об этом, хотя будет делать это скорее из чувства долга, нежели из почтения к условностям. Впрочем, ее участь действительно единственная в своем роде, ибо она сама связала свою судьбу с человеком, не подпадающим под общие правила. Меланхолия и томность, эти душевные болезни, погружающие большую часть брошенных супруг в состояние, подобное летаргическому сну, необычайно похожему на смерть заживо, никогда не были присущи Рене-Пелажи. Ее судьба, также заслуживающая именования выдающейся, нисколько не напоминает многократно описанную участь безутешной жены; скорее, она похожа на судьбу сообщницы, вернее, надежного и преданного партнера; эту роль она не выбирала, не имела к ней никакой предрасположенности, но тем не менее приняла ее как должное и исполнила, инстинктивно используя все дарованные ей природою женские способности.

Госпожа де Сад осознанно, естественно, временами даже весело приносила себя в жертву мужу, никогда не требуя у того никаких объяснений. Не умея защищаться от несправедливости, брани и ударов, она шла ради него на любые низости. Все, что при обычных обстоятельствах должно было бы отдалить столь чувствительное создание от такого человека, напротив, только сближало супругов. Вот в чем великая загадка этой пары, в отношениях которой никогда не существовало ни жалости, ни усталости, ни компромиссов, ничего, что обычно обесценивает супружескую любовь. Рене-Пелажи смирилась с насилием над собственной совестью так же, как мы смиряемся со сменой времен года, кротко и просто, вложив в исполнение задач, наиболее противоречащих ее натуре, своего рода ясновидческую благодать, не имеющую ничего общего с цинизмом или мученичеством и странным образом напоминающую любовь. Это добровольное повиновение, в котором некоторые — небезосновательно — усмотрят склонность к мазохизму, г-жа де Сад приняла прежде всего благодаря глубокому пониманию маркиза. Она инстинктивно почувствовала, что за личиной человека властного скрывается ребенок, исполненный слабостей как низменных, так и достойных жалости, и которому необходима опора. Она научилась примирять двух живущих в нем противоположных персонажей: раба чувственности, капризного, влекомого порывами «пламенной души», способного получить удовлетворение только через страдание, как причиненное, так и причиняемое, — и загнанное существо, наделенное ненасытной потребностью сознавать себя любимым. Она подарила ему себя так, как умеют дарить только матери, слилась с ним полностью, позабыв об угрозе утратить собственную цельность. Какая любовница, какая супруга смогла бы подвергнуть себя такому множеству опасностей и с таким упорством защищать падшее создание?

В течение почти тридцати лет Рене-Пелажи чувствует, как Донасьен увлекает ее за собой и возносит к вершинам непостижимого. На протяжении почти тридцати лет она чувствует, что живет выше законов человеческих и божеских, что поставлена выше всех других женщин, выше самой себя и пребывает где-то в области «седьмого неба»,

куда орел де Садов унес свою добычу. Маркиз же всю жизнь будет рассматривать свой союз с мадемуазель де Монтрей как «грязный торгашеский договор, позорное торжище, где за состояние было куплено имя, в результате чего сердца насильственно соединенных людей были брошены в бездну отчаяния и сожаления»[17]. А из-за так называемой верности он не собирается отказываться ни от одной из своих прихотей. «Горе женщине, которая вздумает ревновать мужа! — пишет он. — Если она любит, пусть удовлетворится тем, что он ей дает, но не препятствует ему. Она не только не преуспеет в этом, она вскоре будет презираема»*. Рене-Пелажи усвоила этот урок...

«Задний смысл» г-жи де Сад

Хорошо известно, какой была в те времена первая брачная ночь для большинства девушек. Принц де Линь шутливо напоминает об этом:

Девушку учат не смотреть мужчине в лицо, не разговаривать с ним и никогда не задавать вопросов о том, каким образом она появилась на свет. Приходят два господина в черном, и с ними еще один господин, весь разнаряженный. Ей говорят: «Останетесь на ночь с этим господином». Господин, распаленный желанием, грубо заявляет свои права на нее, ничего не спрашивает, зато много требует; она заливается слезами, а он влагою[18].

Мадам де Сент-Анж в «Философии в будуаре», по сути, говорит о том же, только иными словами:

Представь, девушка, едва покинувшая отчий дом или пансион, не знает ничего, не имеет никакого опыта, а ее обязывают вдруг перейти в руки человека, которого она никогда не видела. Она обязана дать перед алтарем клятву покорности и верности, тогда как в глубине сердца частенько таит горячее желание ее нарушить. Эжени, есть ли в мире более чудовищная участь?**

Такой была и Рене-Пелажи, когда ее выдали замуж.

Резонно предположить, что маркиз не стал щадить создание, с которым впервые встретился в супружеской постели, и заставил ее испытать все те жестокости, коим до сих пор он подвергал только публичных девиц. Известно, что в своих сексуальных фантазиях он всегда оказывал предпочтение содомии (гомосексуальной или гетеросексуальной) перед всеми прочими способами получения удовольствия. Сцены содомизирования в его «эротических» романах повторяются с такой навязчивой регулярностью, что иногда вовсе забываешь о существовании «нормальных» сексуальных отношений. «Содомское наслаждение» превосходит все прочие.

Такому наслаждению ничто не способно повредить! — восклицает Дольмансе. — Пациент, вкушая его, возносится на седьмое небо. Ни одно не сравнится с ним; ни одно не способно полнее удовлетворить партнеров, предающихся ему; испытавших его трудно вернуть к чему-то иному***.

---

* *Маркиз де Сад.* Философия в будуаре / Пер. И. Карабутенко. М., 1992. С. 62.

** Там же. С. 60.

*** Там же. С. 70.

Без сомнения, г-жа де Сад без возражений уступила требованиям мужа. Сама христианская Церковь рекомендует супругам-христианкам уступать требованиям супруга, а она принесла клятву перед Богом. Одно из писем Донасьена свидетельствует о том, что анальное сношение было в порядке вещей у этой супружеской пары.

Целую ваши пышки-ягодицы, — пишет он Рене-Пелажи в июне 1783 года, — и пусть черт меня заберет, если я не угощу себя тумаком в их честь! Только не говорите об этом председательше, хотя бы потому, что сия почтенная янсенистка не любит, когда *молинизируют** женщину. Она утверждает, что г-н Кордье всегда *поддавал* ей только в *сосуд размножения*, а тот, кто отклоняется от этого *сосуда*, должен гореть в аду. Но я был воспитан иезуитами, и отец Санчес сумел внушить мне, что не следует *плавать в пустоте*, ибо, согласно Декарту, *природа не терпит пустоты*, а потому то наименьшее, что я могу сделать, — это выразить свое несогласие с *мамашей Кордье*. Но вы-то философ; у вас великолепный *задний смысл*, которым вы умеете пользоваться, ваш *задний смысл* достаточно узок, а на *прямой дорожке*, из него ведущей, вполне уютно, из чего следует, что мы с вами вполне подходим друг другу[19].

Жанна Тестар

В XVIII веке брак нисколько не препятствует либертинажу. Сколько мужей покидают своих супруг сразу после первой брачной ночи, чтобы продолжить вести жизнь как им заблагорассудится! Если перед свадьбой у будущего супруга имеется несколько любовниц, на следующий день после свадьбы они снова тут как тут! Такие нравы царят повсеместно; супружеская верность кажется столь же смешной, как и постоянство в любви. Женившись в мае, в июне Сад снимает маленький домик на улице Муфтар и в кредит покупает для него обстановку. Также у него имеется квартира в Версале и меблированный домик в Аркее, обходящийся ему в 800 ливров в год; именно об этом домике вскоре заговорит весь Париж. А пока для молодого развратника все складывается удачно. Правда, ему приходится часто менять квартиры, чтобы запутать следы и избежать преследования девиц, с которыми он знакомится где только можно, а затем увозит к себе в закрытой карете с опущенными шторами. Если девицы вздумают пожаловаться на его жестокое обращение, они вряд ли сумеют его найти. Тем временем молодая жена ждет его в доме своих родителей, не зная, чего ей страшиться более — ночей одиноких или ночей, когда муж ее предается унижающим ее сексуальным экспериментам. Разумеется, г-жа де Монтрей в курсе всего, что происходит под крышей ее дома. Однако она знает цену супружеских уз и довольствуется тем, что изредка делает зятю замечания. Тот взрывается, размолвка длится несколько часов, но потом они примиряются. Председательша все еще надеется, что брак наполнит голову молодого человека «свинцом вместо ветра». «Если я

* Глагол «молинизировать» образован от фамилии испанского иезуита Молины (1535–1601). Намек на процветавшие в иезуитских коллежах гомосексуальные отношения.

не ошибаюсь, Вы скоро увидите первые положительные результаты, — конечно, коли пожелаете их заметить», — пишет она, как мы помним, аббату де Саду 20 октября 1763 года[20].

* * *

Она ошибается. 29 октября, то есть ровно девять дней спустя после того, как г-жа де Монтрей отправила свое оптимистическое послание аббату, разразился скандал: маркиз де Сад был арестован по приказу короля и препровожден в донжон Венсеннского замка. Что же случилось?

В первые дни осени он находился в замке Эшофур вместе с женой и тещей. Г-н де Монтрей пока оставался в Париже, но вскоре должен был к ним присоединиться. 15 октября Донасьен в почтовой карете отправляется в Париж, чтобы — по его словам — в конце месяца уехать в Фонтенбло, где ему предстоит предстать перед королем и просить у него места в ведомстве герцога Шуазеля. Оттуда он отправится в Дижон, в тамошний парламент, где вступит в должность наместника. С «тяжелым сердцем» провожает его Рене-Пелажи. Ведь он покидает Нормандию вовсе не для того, чтобы ехать в Фонтенбло, а всего лишь чтобы избежать рабских уз супружества.

В Париже он живет на улице Нев-дю-Люксамбур в обществе тестя. Но в ночь со вторника на среду 19 октября он, соблазнив платой в два золотых луидора по двадцать четыре ливра каждый, завлекает к себе в домик на улице Муфтар молодую работницу, расписывающую веера; ей двадцать с половиной лет, ее зовут Жанна Тестар, и она, как гласит полицейский отчет, иногда «промышляет, гуляя по улицам». «Светская женщина», иначе говоря сводня, по имени Дюрамо вечером 18 числа познакомила ее с очередным клиентом. Войдя в ворота, Донасьен в сопровождении лакея по имени Лагранж ведет свою спутницу в дом, где они поднимаются на второй этаж, входят в комнату Донасьена, и тот, отослав слугу вниз, тотчас запирает дверь на ключ и задвигает засовы. Оставшись один на один с девушкой, он спрашивает ее, ходит ли она в церковь, верит ли в Бога, в Иисуса Христа, в Деву Марию. Она отвечает, что верует и усердно, как только может, соблюдает все предписания христианской религии, в лоне которой воспитана. Внезапно маркиз, изрыгая невообразимую брань и проклятия, принимается утверждать, что Бога не существует, и даже доказывает это, извергнув с помощью рук свое семя прямо в чашу для святых даров, заявив при этом, что Иисус Христос был всего лишь е... т... , а Дева Мария — б... . Затем он рассказывает ей, что спал с девицей, вместе с которой ходил причащаться; он взял обе гостии, поместил их в половые органы этой девицы и тотчас овладел ею с криком: «Если ты существуешь, Господи, отмсти за себя!»

Затем он предлагает Жанне Тестар пройти в соседнюю комнату, обещая показать ей «интересные вещи». «Я беременна, — произносит она, — и не хочу смотреть на то, что может меня испугать». «Ничего не бойтесь, — отвечает он, вталкивая ее в комнату, — эти предметы вас не

испугают». Пока он вновь запирает двери на все замки, несчастная с ужасом разглядывает странное убранство комнаты. Прежде всего ей бросаются в глаза висящие на стене четыре пучка розог и пять многохвостых плеток разных размеров: три веревочные, одна из латунной проволоки и одна из проволоки железной. Еще на стене висят три распятия из слоновой кости, две гравюры с распятиями, гравюры с Голгофой, Святой Девой и множество непристойных рисунков. Тут Сад приказывает ей отхлестать его железной проволочной плетью, раскаленной докрасна, а затем выбрать плеть, которой он отхлещет ее, но она упорно отказывается. Тогда он срывает со стены два распятия из слоновой кости, швыряет их на пол и принимается топтать, одновременно рукой доводя себя до семяизвержения, а потом приказывает ей поступить так же. Так как она продолжает упираться, он грозится пустить в ход оба лежащих на столе пистолета и, положив руку на эфес шпаги, сулит проткнуть ее в случае отказа. Полумертвая от страха, бедняжка повинуется и, швырнув к ногам распятие, умирающим голосом повторяет слова, которые он выкрикивает ей прямо в ухо: «Е.., мне на...ть на тебя». Затем требует, чтобы она поставила себе клизму и облегчилась на распятие. Однако ее упорное сопротивление заставляет его отступить.

Она проводит ночь со своим палачом, без еды и без сна. Он декламирует ей стихи, «нечестивые и исключительно богопротивные». Затем предлагает содомизировать ее и обещает в следующее воскресенье, в 7 часов утра, явиться за ней, и они вместе отправятся в церковь Сен-Медар к причастию, где возьмут обе облатки, одну сожгут, а с другой поступят так, как он рассказал ей вчера. В 9 часов утра сводня Дюрамо явилась за девицей, точнее, явилась освободить ее. Прежде чем отпустить Жанну, Сад заставил ее дать письменную клятву, что она никому ничего не расскажет, и расписаться под ней.

Едва вырвавшись на свободу, Жанна Тестар бросилась к начальнику полиции; не застав его, она отправилась к инспектору Марэ, но его тоже не оказалось на месте. Тогда его помощник отвел ее к Мютелю, комиссару в Шатле, который и взял у нее показания[21].

Начинается расследование; признания других опрошенных проституток, которым довелось принять участие в играх маркиза, пополняют заведенное на него дело и становятся причиной его ареста. Под надзором инспектора Марэ маркиз препровожден в Фонтенбло, к г-ну де Сен-Флорантену, министру Королевского дома, который, представляя свой отчет Его Величеству, выражает мнение, что подобные бесчинства следует наказывать со всей строгостью. Людовик XV с обычным для него жадным любопытством знакомится с обстоятельствами дела (все знают, что король обожает истории про распутные похождения своих подданных), а потом приказывает заключить виновника в донжон Венсеннского замка в ожидании перевода в крепость; расходы по его содержанию должна оплачивать семья. 29 сентября Сад под конвоем все того же Марэ препровожден в Венсенн.

Согласно полицейским донесениям, содержащим богатейший материал о различного рода беспутствах, флагелляция в столичных борде-


FB·2005

лях практиковалась довольно часто. Инспектор Марэ, которому поручено надзирать за маркизом де Садом, приводит весьма любопытное свидетельство.

Сегодня, — пишет он, — нет ни одного публичного дома, где бы не было пучка крепких, готовых к употреблению розог, дабы подхлестнуть остывший пыл распутников, то есть помочь им кончить. Приверженностью к розгам более всего отличаются священнослужители; в соответствующих заведениях я встречал немало таких, которые заставляли хлестать себя. Среди них был также и библиотекарь из обители Пти-Пер, что на площади Виктуар[22], ради которого две женщины, измочалив об его тело целых два пучка розог, вынуждены были за отсутствием прутьев расплести камышовый коврик и, сделав из его волокон плеть, продолжить свое занятие. Когда я вошел в заведение, с тела библиотекаря ручьями струилась кровь.

Другие не довольствовались тем, что приказывали бичевать себя; они пороли своих партнерш, упражняясь в нанесении замысловатых ударов, благо в публичных домах розог было предостаточно — разной длины и толщины, колючих, с узлами.

Подробно анализируя показания Жанны Тестар, можно заметить, что маркиз не склонял девицу ни к каким противоестественным действиям, за исключением содомии; похоже, он удовлетворился одним только «предложением», не настаивал и не применял физического насилия. Разумеется, он угрожал ей пистолетами и шпагой. Но у нас нет оснований утверждать, что он решился бы пустить их в ход. В самом деле, Сад наверняка избежал бы судебного преследования, если бы против него было выдвинуто обвинение только в сексуальной агрессии. Но были еще богохульства, оскорбление распятия, принуждение жертвы принять участие в надругательстве над священными предметами. Именно на основании последних обвинений он и был подвергнут аресту: в глазах уголовного законодательства того времени святотатство считалось несравненно более серьезным проступком. Если бы подобный дебош учинил кто-нибудь, не принадлежавший к высшей аристократии, он мог бы поплатиться за это головой.

Однако для человека, который на протяжении всей своей жизни неустанно и громогласно отрицал Бога, подобное пристрастие к святотатству удивительно и вызывает недоумение. Богохульство имеет смысл только в том случае, когда оно является преступлением против признанных ценностей; истинным атеистом является не тот, кто сражается против Бога, отказывая ему в существовании, а тот, кто не думает о нем вовсе. Подобное противоречие заставляет задуматься об искренности садического атеизма. Чем больше маркиз нападает на религию — известно, что его ненависть к священникам граничила с истерией, — тем меньше верится в его атеизм. Молчание в данном случае было бы в сотню раз более весомым, нежели оскорбления. Столь же наивно предполагать, что им отрицается сакральное значение гостии и креста, ведь он сам выбирает их в качестве инструмента мятежа! Сознавая парадоксальность своего поведения, Сад будет пытаться объяснить его, хотя и безуспешно, на страницах «Философии в будуаре», где Дольмансе следующим образом разъясняет смысл богохульства:

Шутки с предметами дурацких культов не ведут ни к каким последствиям. В сущности, эти фантазии способны воспламенить только очень юные головы, те, для которых любой предлог отпустить повода — наслаждение. Нечто вроде маленькой мести воспламеняет воображение и способно позабавить на несколько минут. Но к этим удовольствиям в конце концов человек охладевает, особенно когда убедится в ничтожестве Божества, жалким воспроизведением которого является вышучиваемый идол. Осквернять реликвии, изображения святых, просфору, крест — все это не большее зло для философа, чем разрушение античной статуи. Коль скоро обрекли на презрение эти мерзкие безделушки, надо плюнуть и не уделять им внимания. Полезно из всего этого лишь богохульство. Вы скажете: если нет Бога, к чему оскорблять его имя? Да потому что очень важно произносить крепкие и грязные словечки в опьянении удовольствия, а богохульства в высшей степени воспламеняют воображение. Ничем не до́лжно пренебрегать; надо эти словечки вставлять в как можно более роскошные выражения; ведь очень сладостно — шокировать. Не следует забывать, что в этом кроется триумф гордости; признаюсь, сударыни, — это одно из самых заветных моих наслаждений. Другие духовные удовольствия не так остро действуют на воображение*.

Текст этот, опубликованный через три десятка лет (точнее, через тридцать два года) после истории с Жанной Тестар, оправдывает святотатства атеиста стимуляцией наслаждения. Действительно, ловкая защита, однако она бессильна преодолеть наше убеждение, ибо фетишизация сакрального, даже если оно возбуждает чувственность, исходит из признания существования сакрального как такового. Поэтому мы продолжаем утверждать, что отношение к религии, как и ко многим другим моральным ценностям, у Донасьена де Сада осталось на уровне «мальчика-подростка», рвущегося произносить «гнусные нечестивые слова», чтобы позлить взрослых. В самом деле, культовые предметы никогда не оставляли его равнодушным (холодное презрение не в его натуре); в бессильной ярости он и дальше будет обрушиваться на них, топая при этом ногами, словно капризный малыш.

«Преклоняя колени и со слезами на глазах...»

Маркиз не настолько «легкомыслен», чтобы не понимать, какие опасные последствия может повлечь за собой это дело. В первый день заключения в Венсенне он пишет начальнику полиции Сартину, к счастью связанному с Монтреями, что жизнь его будет безвозвратно загублена, если это злоключение станет достоянием гласности: вернуться на военную службу ему будет невозможно.

В тот же день или на следующий он отправляет слезное прошение коменданту Венсеннской крепости Гион, в котором умоляет его отправить прилагаемое тут же письмо к г-же де Монтрей и заклинает разрешить маркизе свидание с «несчастным»:

Преклоняя колени и со слезами на глазах дерзаю я просить у Вас этой милости. Позвольте испытать сладость примирения с особой, которая бесконечно дорога мне и которую я имел слабость столь сильно оскорбить. <...> Умоляю, сударь, не

* *Маркиз де Сад.* Философия в будуаре. ... С. 90.

отказывайте мне в свидании с той, кто для меня дороже всех на свете. Если бы она имела честь быть с Вами знакомой, Вы бы увидели, что беседа ее, более чем все прочие ее таланты, способна вернуть на стезю добра несчастного, который, сбившись с пути, пребывает в глубочайшем и ни с чем не сравнимом отчаянии[23].

Помимо свидания с женой он хотел бы иметь подле себя своего лакея: «Этого человека родители мои очень давно поместили ко мне в услужение; видеть его подле себя — истинное утешение»[24].

Второго ноября де Сартину отправлено новое послание с прежней просьбой: разрешить свидание с женой и прислать к нему лакея. Есть и еще одна просьба, совершенно неожиданная: де Сад требует исповедника!

Каким бы несчастным я себя здесь ни чувствовал, сударь, — пишет он, — я не жалуюсь на свою участь; я знаю, что заслужил месть Господню; и теперь мне остается только оплакивать свои ошибки и ненавидеть собственные заблуждения. Ах! Господь мог уничтожить меня, не оставив времени признать и ощутить всю тяжесть совершенного. Так как же должен быть я Ему благодарен, раз Он позволил мне осознать это! И Вы, сударь, также позвольте мне ступить на путь исправления и пригласите ко мне священника. Благодаря его пастырским наставлениям и своему искреннему раскаянию я надеюсь вскоре вновь ощутить присутствие в своей жизни Божества, пренебрежение коим стало главной причиной моего падения[25].

Маленький Тартюф! Если он столь превосходно изображает набожность, то не резонно ли предположить, что он с таким же успехом разыгрывает супружескую любовь? Тем временем несчастная Пелажи, пребывающая на третьем месяце беременности, страдает и от приступов тошноты, естественной в ее положении, и от сознания, что муж ее сидит под замком, и от подавленного состояния родных. Она, без сомнения, не посвящена в детали дела. Разумеется, она не строит иллюзий ни относительно сексуальных аппетитов Донасьена, ни относительно его странных пристрастий; она уже испытала их на себе и легко может догадаться, что произошло на улице Муфтар. Однако она наверняка не в курсе подробностей, а маркиз, зная ее набожность, всеми силами старается скрыть от нее свое богохульство и надругательство над святынями.

В письме к Сартину содержится любопытная деталь. Сад упоминает о «злосчастной книге, появившейся не далее как в июне месяце». Идет ли речь о дневнике, который, как утверждает Жильбер Лели, вел маркиз, или же о непристойном сочинении, быть может, том самом, отрывки из которого он зачитывал Жанне Тестар? На сегодняшний день ответа на этот вопрос нет. В конце письма Сад просит начальника полиции скрыть от семьи истинную причину его ареста: «В их глазах я буду безвозвратно погублен». В конце концов, его «заблуждения» продолжались всего восемь дней. Однако этого довольно, признает он, для того, чтобы «разгневать Верховное существо, справедливую ярость которого я испытал на себе».

Сен-Флорантен любезно согласился предоставить узнику исповедника и поручил отцу Греффе, бывшему преподавателю коллежа Людовика Великого, найти для него такового. Однако во всем остальном

Донасьена содержат как «лицо обыкновенное», полагая его преступление достаточно серьезным и не заслуживающим снисхождения. Так что никакого лакея для услуг; если ему неймется, пусть адресует эту просьбу Гионе. Извещенный об аресте сына, граф де Сад помчался в Фонтенбло просить короля помиловать узника; по дороге он проклинал отпрыска, позорящего его имя и заставляющего потратить десять луидоров на поездку, в то время как на эти деньги можно было бы жить два месяца. Людовик XV уступает просьбам бывшего посланника и подписывает приказ об освобождении маркиза. Сейчас 13 ноября; Донасьену суждено провести в тюрьме две недели.

Поднадзорная свобода

Освобождение не означает свободу. Король согласился выпустить Донасьена, но предписал безвыездно жить в Эшофуре под надзором инспектора Марэ, которому поручено сопроводить его в замок и все то время, пока он будет там оставаться, следить за каждым его шагом. Луи Марэ с полным правом считается самым опытным полицейским в делах либертинажа; его называют «инспектором по делам Киферы»*. Будучи в курсе всех альковных и закулисных дел, он неутомимо рыщет на самом дне и в местах донельзя подозрительных, инспектирует «веселые» дома, выслеживает распутных священников, шпионит за любвеобильными господами, знает, сколько берут за свои услуги фигурантки из Оперы и какие пенсии назначают им их покровители. Для него в Париже нет секретов: любовные похождения, интриги, ревность, соперничество, ужины для узкого круга, связи, измены, разрывы, скандалы крупные и мелкие – все становится добычей его глаз и ушей. Ему делают признания уличные девки и почтенные сводни, и он может до мельчайших подробностей описать экстравагантные выходки их клиентов, он знает до мелочей, каким забавам предаются во время ночных и дневных оргий в «веселых» заведениях и кто из посредников поставляет туда девиц. На основании этих сведений он составляет донесения для Сартина, который, выбрав особо пикантные истории, отправляет их на ознакомление Людовику XV, большому охотнику до подобного рода чтения. Уже несколько недель этот аргус от разврата идет по следам де Сада. И еще много лет он будет следовать за ним по пятам, вынюхивать, словно породистая ищейка, и приписывать ему самые скабрезные выходки. Отныне маркизу придется считаться с этим человеком и, несмотря на глубочайшее к нему презрение, остерегаться его хитрости.

* * *

Донасьен в Эшофуре, и семья его с облегчением вздыхает. К счастью, слух о его заключении не успел распространиться широко. Но, в

* Кифера – одно из именований богини Афродиты.

случае если отголоски скандала все же докатятся до Прованса, граф советует своему брату-аббату все отрицать.

Со времени этого происшествия прошло две недели, — пишет он 15 ноября. — Я боялся сообщить Вам о нем и потому не писал. Но, в конце концов, Вам тоже следует быть в курсе дела. Какие бы ни дошли до Вас слухи, отрицайте все. Пока никуда никаких сведений не просочилось, сын пребывает в провинции, так что пресечь возможное возникновение пересудов можно в самом зародыше. Ничего не говорите сестрам. Я очень несчастен[26].

Госпожа де Монтрей восприняла случившееся философски. Шалость Донасьена не поколебала ни ее доверия к нему, ни ее оптимизма:

Ваш племянник вполне в состоянии загладить ошибки прошлого своим безупречным поведением в будущем, — пишет она аббату де Саду. — С тех пор как он вновь находится с нами, мы им премного довольны; однако я понимаю, что выносить окончательное суждение еще рано, и только будущее покажет, какое воздействие произвели на него размышления над совершенным проступком. Г-н де Монтрей и я сделали для него все, что сделали бы для собственного сына, все, дабы сдержать зарождавшийся скандал, ибо таковой мог бы ему повредить; при этом мы тешили себя надеждой, что душа его, благородная и высокорожденная, по достоинству оценит наши старания.

Вы понимаете, какое горе доставил он моей дочери. Однако она поступила как женщина разумная и добродетельная. Но мне не пристало хвалить ее, поэтому пусть судят о ней те, к чьей семье она теперь имеет честь принадлежать[27].

Живя в обществе жены и ее родителей, Донасьен, похоже, смирился с поднадзорной свободой. Несмотря на частые приступы рвоты, в целом Рене-Пелажи неплохо переносит беременность. Г-жа де Монтрей использует ее состояние как официальный предлог для проведения зимы в Эшофуре: истинной причины свет знать не должен. Тем не менее она не хочет, чтобы Рене-Пелажи рожала в провинции. «Она весьма хрупкого сложения, и там мы не сумеем оказать ей должной помощи». Действительно, хотя младенец и появился на свет в положенный срок, он оказался слишком слабым и умер через несколько часов после рождения, не оставив даже памяти о том, кем он был: мальчиком или девочкой. «Небо не пожелало подарить мне радость быть отцом», — вздохнул маркиз.

Третьего апреля 1764 года Сен-Флорантен сообщает председателю де Монтрею, что король дозволяет его зятю вернуться на три месяца в Париж, начиная с 15 числа сего месяца. И хотя председатель против, он уступает настоянию семьи, посчитавшей присутствие Донасьена в столице необходимым[28]. Это первый шаг к снятию приговора. 11 сентября того же года монарх окончательно освободит де Сада от принудительного проживания в Эшофуре.

Вырвавшись на свободу, де Сад без промедления возвращается к своему любимому занятию — театру и берет на себя руководство любительской труппой, созданной 17 апреля в замке Эври, в тридцати километрах от Парижа, у дяди г-жи де Сад[29]. Под его руководством там будут поставлены пьесы начала века: «Неожиданное возвращение» Реньяра, одноактная пьеса в прозе, сыгранная в 1700 году в Комеди Франсез, «Адвокат Патлен» Брюейса и Палапра, комедия в прозе в трех действиях, впервые сыгранная в 1706 году также на сцене Комеди Франсез, равно как и современные пьесы: «Все к лучшему», одноактная комедия

в стихах Рошона де Шабана (премьера состоялась 29 ноября 1762 года там же), «Злодей», пятиактная комедия в стихах Грессе, написанная скорее всего в 1747 году, где Сад, по всей вероятности, исполнил главную роль Клеона; «Нанина, или Побежденный предрассудок», трехактная комедия Вольтера, написанная десятисложником (сыграна впервые 16 июня 1794 года). Занятия театром собирают вокруг Сада членов семьи, их родственников и друзей: г-жу де Сад, г-жу де Монтрей, г-жу д'Эври, г-жу де Плиссэ, матушку председательши, г-жу де Бурневиль и г-жу де Мондран; господ де Лонэ, сына г-жи де Монтрей, де Лионне, де Рипьера, де Нуанвиля, молодого д'Эври.

Для финальной сцены «Адвоката Патлена» Сад сочинил соответствующие случаю куплеты, в каждом из которых содержался вполне узнаваемый намек на один из дней тех шести месяцев, что прошли после его заточения в Венсенн. В первом куплете Донасьен (Валер) обращается к Рене-Пелажи, исполняющей роль Анриетты:

Не теряйте надежды милой.
Отвернулось счастье от нас,
В душе его свет не гас,
Мое сердце верность хранило.
Ни к чему сокрушаться так:
От беды до счастья — лишь шаг.

На что Анриетта (г-жа де Сад) отвечает:

Неизвестность меня томила,
Я боялась беды не раз,
О, Валер мой, в опасный час
Мы в любви обретаем силу.
И теперь мне не страшен мрак:
Лучше к счастью сделаем шаг.

В пятом куплете г-жа де Бурневиль набрасывает идиллическую картину воссоединившегося семейства:

Вот картина полного счастья;
Вся округа поет о том,
Что хозяин вернулся в дом
Со своей добродетельной властью.
Насладимся же вместе — ах! —
Ведь любовь побеждает страх.

* * *

Четвертого мая 1764 года министр Королевского дома информирует Монтрея, что Его Величество с «великим неудовольствием» дарует де Саду дозволение отправиться в Дижон, дабы в тамошнем парламенте его ввели в должность королевского наместника провинций Брес, Бюже, Вальроме и Жекс. Церемония состоится 26 июня. По такому случаю Донасьен произносит исключительно академическую речь, исполненную непривычного для него смирения:

Господа, с глубоким удовлетворением встречаю я сегодняшний день, самый прекрасный день в моей жизни! Да и могу ли я испытывать иное чувство, если сегодня я стою среди вас, в рядах вашего почтенного собрания? <...> Пребывание среди вас, господа, наполняет меня не изведанным доселе счастьем; прежде я не задумывался над тем, что ваши голоса, ваше уважение, ваше снисхождение мне более необходимы, чем все прочее, ибо именно благодаря им я оказался здесь. Поэтому, господа, я дерзаю просить вас о них. Надеюсь, что сумею их заслужить прилежным следованием вашему примеру, а также рвением, проявленным при исполнении обязанностей в соответствии с должностью, которую Его Величество удостоил меня чести получить из ваших рук. Все мои честолюбивые помыслы заключены в том, чтобы оказаться достойным вас; и если в один прекрасный день вы скажете мне, что я вас достоин, мне больше нечего будет желать[30].

Довольный этим риторическим пассажем, Сад переписывает его в свой сборник «Разрозненные сочинения», куда помещает все, что, по его мнению, достойно быть представлено на суд широкой публики.

Пользуясь пребыванием в Дижоне, он отправляется в библиотеку местного картезианского монастыря для работы в архивах, что дает основание предполагать, что уже тогда у него созрел замысел исторического романа. В противоположность бытовавшему долгое время мнению, его литературное призвание дало о себе знать отнюдь не в тюрьме: он всегда стремился писать и быть опубликованным. В дальнейшем мы еще не раз сумеем это подтвердить.

Мадемуазель Коле из Итальянского театра

Смирился ли де Сад с необходимостью вернуться к упорядоченной жизни в кругу счастливого семейства? Неужели он сумел столь резко отказаться от своих безумств и стать примерным супругом и гражданином? Не будем заблуждаться: это всего лишь маска. Прирожденный актер, Донасьен особенно хорош в сложных ролях: роль раскаявшегося грешника удается ему с особенным блеском.

После пяти месяцев изгнания и прозябания в нормандской деревне его обуревает зверская жажда наслаждений. Едва вернувшись в Париж, он пускается во все тяжкие либертинажа, множит свои похождения, меняет девиц как перчатки и разоряется на их содержании. Одна вечеринка сменяет другую, адский хоровод кружится между предместьем Сен-Марсо и его домом в Аркее. И все это под бдительным оком инспектора Марэ, следующего за ним по пятам и записывающего каждый его шаг, каждое его движение. Именно из инспекторских донесений сегодня мы можем узнать во всех подробностях о проказах маркиза.

Среди женщин, вращавшихся вокруг де Сада, некоторые привлекли особое внимание Марэ — а следовательно, и наше тоже.

Пятнадцатого июля 1764 года по окончании спектакля в Итальянском театре нашего кавалера представили мадемуазель Коле, молодой актрисе двадцати лет, высокой, хорошо сложенной, с гибкой талией и легкой походкой, хотя и с несколько поистрепавшимся лицом; она милостиво дозволила ему проводить ее домой. Искушенная в любов-

ных играх, она, судя по всему, преуспела в весьма редких способах доставления наслаждения. «Говорят, она гораздо талантливее выступает наедине с мужчиной, нежели на подмостках», — отмечает Марэ. Элджин, молоденький англичанин, из тех, что приезжают в Париж, привлеченные царящей там свободой нравов, предложил ей тридцать луидоров за одну ночь и нисколько об этом не пожалел. На следующий день Донасьен приказывает своему лакею отнести Коле записочку, где признается в пробудившейся в нем пылкой страсти:

Увидев Вас, невозможно не влюбиться, а влюбившись, невозможно не сказать Вам об этом. Я долго молчал, но дальнейшее молчание невыносимо. Я влюблен в Вас до безумия и теперь не знаю большего счастья в мире, чем провести всю жизнь подле Вас, разделив с Вами все свое состояние.

Молю Вас, соблаговолите дать мне ответ. Если я окажусь столь счастлив, что Вы серьезно отнесетесь к моим искренним словам, назначьте мне свидание, во время которого мы смогли бы договориться; предупреждаю Вас: я готов принести обеты, кои свяжут нас на всю жизнь, готов подписать любые обязательства <...> Мое счастье в Ваших руках; я не могу без Вас жить[31].

Разумеется, он вовсе так не думает, равно как и его адресат. Этот язык — всего лишь игра, соблазнительная безделица, имеющая целью своей спрятать желание под маской страсти. Условный код, согласно которому «я вас люблю» означает «я вас хочу», никого не вводит в заблуждение; он просто оправдывает чувственность и развенчивает миф о чувстве. Своего рода «искренняя ложь», где проявляется этика либертена, его пристрастие к притворству и обману сердца, его искусство маскировать оружие возвышенными словами. Театр обмана, где каждый торжествует и никто не чувствует себя одураченным. Играют в любовь, выспреннюю и беззастенчивую; прислушиваются к собственным стенаниям, мольбам, уговорам, а сами украдкой улыбаются; а если кто-то злоупотребляет клятвами, то лишь для того, чтобы лучше был виден обман. Крушение иллюзии — вот к чему почти всегда ведут любовные речи. Как хорошо сказал Кребийон-сын,

<...> мы пользуемся чувствами крайне редко: почти все они порождены случайностью, приличием и праздностью. Мы убеждаем себя, что мы любезны, но не ощущаем этого; завязываем дружбу, не веря в нее, и расстаемся, боясь наскучить друг другу.

И если мы правильно поняли, Донасьен рассматривает письма к мадемуазель Коле как «избранные отрывки», которые он не забывает переписать набело и вставить в свои «Разрозненные сочинения».

Разве можно устоять перед признанием, сопровождаемым столь многообещающим заявлением об «обетах» (разве Донасьен не пообещал поделиться с ней своим состоянием)? Однако девица — не новичок в подобных делах; занимаясь продажной любовью с семнадцати лет, эта тонкая штучка на расстоянии чует либертена и не собирается идти на поводу у первого встречного. В начале своей карьеры она оказалась на содержании у старого и несметно богатого американца де Бреана; затем перешла под покровительство герцога де Лаферте, наградившего ее сифилисом, потом ее любовником стал излечивший ее синьор Розет-

ти, покинувший ее как раз в тот самый момент, когда она решила изменить ему с виконтом де Сабраном. Весной 1763 года мадемуазель Коле бросает Сабрана ради маркиза де Линьерака, платящего ей двадцать луидоров в месяц, но дарует ему свою любовь не безраздельно, а пополам с графом де Рошфором, ежемесячно дающим ей тридцать луидоров и обязавшимся заплатить ее долги на общую сумму в шесть тысяч ливров. Великодушный покровитель делает ей подарок: бриллиантовые серьги стоимостью четыре тысячи ливров. Но и это не мешает распутнице отдаваться первому встречному, когда ей это выгодно. Наделенная даром ловко торговать своими прелестями, она знает, как набить себе цену, и отдается, только выговорив себе максимальную выгоду. Получив предложения де Сада, она разыгрывает возмущение. Сделав вид оскорбленной добродетели, она вышвыривает посланца за дверь, дав ему понять, что терпеть подобное обращение не собирается.

Через час Донасьен посылает ей второе письмо, еще более настойчивое, чем первое, и исполненное раскаяния, которое можно было бы даже принять за искреннее, если бы в заключение он не просил дать ответ завтра не позднее десяти часов утра. Если же такового не будет, угрожает он, тогда в полдень его лакей явится к ней, дабы получить ответ из ее собственных рук. Приказ, забавно перечеркивающий предшествующее ему смиренное раскаяние.

Бог мой! Отчего, сударыня, я не могу пасть к ногам Вашим, дабы оправдаться от обвинения в оскорблении, кое Вы мне предъявляете! Да разве я способен оскорбить Вас! О нет, я лучше умру тысячу раз! Как я несчастен, поддавшись порыву безудержной страсти в том злосчастном письме, за которое Вы меня упрекаете! Я обуздаю свой язык, это труда не составит, но пылающую страсть загасить не властен. Я более не хозяин ей. Чтобы прекратить любить Вас, мне надо прекратить жить. Убежден, что хотя я и не имею счастья знать Вас близко, но репутация особы чувствительной и честной, коей Вы пользуетесь, более чем кто-либо, немало способствовала тому, что я решился отдать Вам свое сердце, ибо добродетель Ваша известна всем, и Вы, несомненно, заслуживаете своей репутации. Как могли Вы подумать, что я пожелал обидеть Вас или оскорбить своим вчерашним письмом? О Боже, Вы в это поверили! Я самый несчастный из всех людей.

Соблаговолите простить меня. Припадаю к Вашим стопам, дабы заслужить Ваше прощение. Воздайте по справедливости и мне, и моему образу мыслей, он гораздо более деликатен, нежели Вы думаете. Можете быть в этом уверены. Позвольте мне умереть у ваших колен, позвольте искупить вину, совершенную мною исключительно из-за любви, воздайте мне по справедливости; прошу Вас об этом со слезами на глазах. Убедившись в ужасном состоянии, в коем я пребываю из-за Вашей немилости, Ваше нежное и добродетельное сердце, быть может, простит меня. Ах, сколь буду я счастлив, ежели оно хоть на миг проявит ко мне интерес! Нет, я не могу перестать любить Вас. Я чувствую, что любовь становится главным в моей жизни, а последняя теплится исключительно благодаря любви. Неужели Вы поверили, что я предлагаю Вам состояние, чтобы купить Ваши милости? Вы столь утонченны и чувствительны, что были бы правы, возненавидев меня, если бы я именно этого хотел добиться! Мои слезы, мои вздохи, мое постоянство, моя покорность, мое раскаяние и мое почтение: вот цена такого сердца, коим обладаете Вы, сердца, которое единственное может составить счастье моей жизни. <...> С тех пор, как я увидел Вас, у меня не было ни минуты покоя; но единственное слово из Ваших уст может вернуть мне его. Искренность и бесхитростность моих чувств не по-

зволяют мне скрывать их; я пишу Вам свое имя и свой адрес. Завтра утром я жду от Вас ответа. Если до десяти утра я не получу его с городской почтой, я стану думать, что Вы не решились довериться ей, и в полдень мой лакей будет у Вас, чтобы забрать ответ из Ваших рук[32] <...>.

Восхитительное двоедушие! С каким ликованием и как виртуозно Сад использует язык двусмысленностей, говоря одно и одновременно подразумевая другое, как играет чувствами, о которых заявляет! Признанный мэтр зашифрованного письма, здесь он откровенно забавляется, переворачивая с ног на голову любовные признания, пародируя их выспренность и смехотворность. Никогда еще цинизм не рядился столь ловко в одежды страсти. Самое выражение этой страсти, ее неуемность, ее чрезмерность, ее слезливость, ее наивный характер – все это относится к чертам, присущим «душе чувствительной», и вызывает насмешку у истинного влюбленного. Для Сада нет ничего хуже, чем оказаться втянутым в восторженный бред, он смеется над любовными страданиями и одновременно уверяет в своей искренности. «Вы притворяетесь искусно и умело, но средство я нашел вас уличить во всем», – хочется воскликнуть вслед за Альцестом*. С какой свирепой радостью он облекает в пошлые комплименты сарказмы, адресованные продажной женщине, распутство которой известно всему Парижу и которой он с насмешливой настойчивостью приписывает репутацию «добродетельной» и «честной» особы! Велеречивые слова на эту тему отдают то ли дурным вкусом, то ли жестокостью. Не говоря уж о намеке на его состояние, при помощи которого он приглашает куртизанку начать свой грязный торг.

Почувствовала ли хищная лисичка издевку? Как бы там ни было, она заставляет воздыхателя протомиться несколько месяцев, прежде чем обещает ему свидание; однако проволочки только распаляют чувства маркиза, сгорающего от желания взять эту женщину, обладание которой, по его мнению, сулит райское сладострастное наслаждение.

Как Вы жестоки, если позволяете себе отодвигать все дальше миг моего счастья. Я больше не живу, я более не существую. Пощадите, пусть этот миг настанет сегодня около четырех часов. Как коварно с Вашей стороны продолжать откладывать свое решение! О, я понимаю, Вы хотите уморить меня. У Вас есть возможность сообщить мне сегодня, свободны ли Вы. Измените свой печальный обычай, не затягивайте мои ужасные мучения. Если Вы ничего не сообщите, значит, все откладывается на завтра. Увы! Конечно, подойдет и это. У меня же нет иных занятий, кроме как любить Вас; занятие сие становится единственным и наиприятнейшим в моей жизни, и я отрекаюсь от всего, дабы ничто не мешало предаваться любви к Вам[33].

Нам неизвестно, откликнулась ли мадемуазель Коле на эти отчаянные призывы. В какой момент она наконец уступила настойчивости своего обожателя? Этого мы тоже не знаем. Можно утверждать только, что 7 декабря 1764 года она уже не могла ни в чем ему отказать. Начиная с этой даты Донасьен ежемесячно выделяет двадцать пять

* Альцест – персонаж комедии Мольера «Мизантроп» (1666). Приведена цитата из акт. 4, сц. 1. *Пер. Т. Щепкиной-Куперник.*

луидоров своей любовнице, продолжающей жить с маркизом де Линьераком, который в великодушии своем снисходит до того, что по желанию своей протеже беспрекословно уступает место сопернику. Ее связь с г-ном де Садом для него не секрет.

Иногда случается, что де Сад, избавившись от фриний* кулис, удовлетворяет свой пылкий темперамент с публичными девками. В таких случаях он прибегает к услугам Бриссо, содержательницы самого знаменитого борделя Парижа; желая подчеркнуть ее превосходство над сестрами по профессии, ее нередко называют «президентшей Бриссо». «Из всех, занимающихся подобного рода деятельностью, — отмечает Марэ, — трудно найти более распутную и более всех соблюдающую видимые приличия женщину. Поэтому дела ее идут прекрасно»[34]. Несомненно, Донасьен чувствует себя вольготнее в обществе «профессионалок»: с ними можно предаваться своим фантазиям, чего не скажешь о роскошных содержанках. Тем временем Марэ, уверенный, что Сад способен на любое насилие, советует Бриссо не отпускать с ним девушек в его маленький домик, ибо именно там он творит свои ужасы.

Двадцать первого декабря Линьерак по требованию семьи вынужден расстаться с мадемуазель Коле, и она полностью переходит к де Саду. Маркиз получает наследство без всякого удовольствия, ибо в одиночку не в состоянии содержать требовательную и расточительную актрису. Союз с Линьераком оборачивался двойной выгодой: позволял делить расходы и скрывать интрижку за удобной ширмой. Вытолкнутый на авансцену в качестве официального любовника актрисы, он рискует навлечь на себя гнев родных, и прежде всего г-жи де Монтрей. Теща не глупа, она в курсе мельчайших подробностей похождений своего зятя (быть может, от самого Марэ). Пока они не носят скандальный характер и Донасьен ведет жизнь, похожую на жизнь всех молодых дворян его возраста и положения, теща закрывает на все глаза. Но как только связь с актрисой станет достоянием гласности, она обрушится на него со всеми вытекающими последствиями. Донасьен делится своими сомнениями с «президентшей Бриссо» и просит у нее совета. Сводня торопит его расстаться с мадемуазель Коле, содержание которой обходится слишком дорого. Однако истинная причина не в этом. Бриссо полагает, что ежели он привяжется к этой девице, то перестанет бывать у нее, и тогда можно лишиться одного из самых усердных клиентов, регулярно опустошающих кошелек в ее заведении.

Тем временем Линьерак продолжает посещать мадемуазель Коле, но, так как денег семья ему больше не дает, переходит на положение тайного любовника, довольствующегося посещением своей пассии у нее в уборной и быстро ныряющего под стол, когда в дверь раздается стук. Донасьен же охвачен жестокой ревностью, ставшей еще более нестерпимой после обнаружения у любовницы серег стоимостью тысячу экю и огромной туалетной корзинки, «наполненной всевозможными изящ-

* Фриния — знаменитая афинская гетера IV в. до н. э., любовница Праксителя, служила моделью для статуй Афродиты. Ее имя употребляется как имя нарицательное.

ными штучками», которую она получила в подарок к Рождеству и теперь показывала всем приятелям как забавную диковину.

Эти роскошные подарки были преподнесены ей одним из самых богатых людей королевства, герцогом де Фронсаком, сыном маршала Ришелье, унаследовавшим от отца страсть к распутству. Однако Донасьен продолжает спать с ней, словно пытаясь заклясть предательство, жертвой которого стал. Как ни странно, именно г-жа де Монтрей берется открыть ему глаза. «В прошлом году мне удалось оторвать его от Коле, заставив прислушаться к голосу разума: я убедила его, что его обманывают», — напишет она спустя восемь месяцев, а именно 8 августа 1765 года, аббату де Саду[35]. Сознавая, что ему не удастся превзойти нового соперника ни богатством, ни славою, Сад решается на разрыв и просит любовницу вернуть его письма. Опьяненная новой победой, исполненная тщеславия, она с презрением взирает на павшего к ее ногам отпрыска одной из знатнейших фамилий Франции и отвечает Саду в надменном и оскорбительном тоне. Тогда Донасьен прощается с ней навеки, не скрывая ни ярости, ни досады.

Женская месть, — пишет он ей, — всегда презренна, и я пишу Вам лишь для того, чтобы показать, что не боюсь ее. Чем я не угодил Вам, попросив вернуть мои письма? Ведь это сделать так просто, и никто, кем бы он ни был, за исключением Вас, не нашел бы в этом ничего предосудительного. Что я Вам сделал, что Вы обходитесь со мной столь жестоко? Какое варварское наслаждение находите Вы, унижая того, чьей единственной ошибкой является любовь к Вам? <...> Кто Вы такая? Впрочем, Вы более чем достаточно дали мне это понять. Кто я такой? Я одурачен Вами. Так кто же из нас играет более унизительную роль?

Если бы в Вас осталась еще хоть капля добродетели, капля человечности, Вы бы устыдились обманывать меня так, как сделали Вы... Прощайте. Мне больно говорить с Вами в таком тоне, ибо я все еще настолько несчастен, что до сих пор не могу вычеркнуть Вас из своего сердца. Но надеюсь вскоре это сделать. И пусть само Небо на Вашем примере остережет меня от столь плачевной страсти!

Простите за правду, кою я высказал Вам. Я мог бы найти еще более суровые слова, однако не сделаю этого никогда. От этого пострадает мое самолюбие: я пощадил Вас ему в угоду. Не воображайте, что Ваше письмо уязвило меня; оно было написано, чтобы наказать более Вас, нежели меня.

Прощайте, теперь уже в последний раз. Я уезжаю и нахожу столько же удовольствия в том, что отдаляюсь от Вас, сколько некогда находил в сближении с Вами[36].

* * *

Наш влюбленный быстро утешается с мадемуазель де К*** (быть может, это мадемуазель де Камби, на которой он едва не женился), воспылав к ней бешеной страстью на одном из балов. Он сожалеет, что не был знаком с нею ранее, — из нее бы вышла идеальная супруга. Сиюминутная любовная интрижка, дающая повод написать милое письмо, насквозь проникнутое ностальгией; потом он тщательно перепишет его для своей антологии. Послушаем же, как он описывает несвойственные ему ностальгические чувства:

Какие сладостные дни мог бы я проводить подле Вас! Занятый одной лишь мыслью — нравиться Вам, я бы полагал диктуемые Вами законы своими желани-

ями и исполнял бы их, испытывая невыразимое наслаждение! Дни, которые злополучные узы, завязанные исключительно из соображений выгоды, наполнили терниями, могли бы полниться весенними розами. Я копил бы эти бесценные дни с одержимостью скупца, теперь же они мне ненавистны. Присоединяемые друг к другу руками счастья, дни эти бежали бы для меня слишком быстро. Никаких лет не хватило бы мне, чтобы по достоинству воздать почести своей нежной возлюбленной. Пребывая у ног супруги, я обожал бы в ней любовницу, прикованный к ней цепями долга, выкованными любовью, я бы упивался счастьем, познавая всевозможные его оттенки[37] <...>.

Признаем, это не лучшее письмо Сада, хотя намеки на «тернии» брака звучат достаточно справедливо. Решительно, романтический стиль ему не удается. Стал ли он, по крайней мере, любовником сей дамы? Отнюдь не факт. Возможно, все приключение было столь же стремительным, как воспоминание... или сожаление.

* * *

Сочиняя романсы в честь идеальной супруги, Донасьен заводит интрижку с актрисой Итальянского театра, мадемуазель Бопре. Находясь на содержании у русского графа Брюса, она меняет его на шевалье де Шуазеля, живущего с матерью на улице Сент-Оноре и без колебаний платящего ей по двадцать пять луидоров за ночь. «Это чрезвычайно дорого для его возраста», — отмечает Марэ и тут же добавляет:

Следует опасаться, как бы она не завлекла его слишком далеко, ибо мне уже известно, что она выпрашивает у него серьги стоимостью в пять тысяч ливров. Ему будет затруднительно заплатить за них наличными, однако он может приобрести их в кредит[38].

Однако это не мешает девице крутить роман на стороне — со сьером Лэнге, кассиром в Итальянском театре. Маркиз де Сен-Сюльпис, также пытающийся отыскать подле нее местечко, предложил ей двадцать луидоров в месяц. «Она отказала ему, предпочитая принимать по шесть луи от графа де Сада, с которым спала дважды», — сообщает нам Марэ 8 февраля 1765 года. Спустя четыре дня мадемуазель Бопре переходит под покровительство англичанина, мистера Стивенсона, известного записного игрока, проживающего в меблированных комнатах на улице Ришелье. Он дает ей 50 луидоров в месяц и оставляет за собой право делать ей подарки «в зависимости от испытываемого им удовлетворения». Шевалье де Шуазель, заметив, что она обманывает его и, похоже, «ненасытна, когда речь заходит о деньгах», бросает актрису. Ее главным любовником «на вторых ролях» остается Лэнге, однако, говорят, что она ему слишком дорого обходится.

Глава VII
ПЕРВЫЕ СКАНДАЛЫ

Бовуазен

Весной 1765 года Донасьен страстно увлечен своим последним завоеванием. На этот раз речь идет о куртизанке высокого полета, прославившейся как своей красотой, так и количеством любовников. Бывшая прислужница хирурга, мадемуазель Бовуазен совсем юной дебютировала в Опере и была направлена на стезю проститутки знаменитым графом Дюбарри, супругом королевской фаворитки. В ее объятиях побывали самые известные мужчины, как по рангу, так и по размерам своего состояния, и она умудрялась удовлетворять их всех, одного за другим, не отказывая себе в удовольствии заводить мелкие интрижки на стороне. Помимо постоянных связей она не брезговала и случайными любовниками, лишь бы они давали хорошую цену. Она брала самые высокие гонорары, принятые среди дам полусвета, что делало ее недоступной для людей несостоятельных. Обычно ее представляют любезной женщиной с красивым лицом, однако «без талии, небольшого роста и плотного сложения», что заставило ее бросить карьеру танцовщицы. К счастью, будучи особой любвеобильной, она успешно подвизалась на другом поприще. На нем она преуспела и обошла всех своих соперниц.

Но только 26 апреля 1765 года мы впервые встречаем упоминание имени этой современной Лаис* в связи с маркизом де Садом.

> Девица Бовуазен, — отмечает инспектор Марэ указанного выше числа, — с привычной для нее ловкостью охмурила г-на Дуэ де Лабулэ, который осыпает ее благодеяниями. Сьер де Пьен по-прежнему пребывает у нее в любимчиках, хотя и на вторых ролях, а граф де Сад берет на себя расходы на туалеты и театр, что обходится ему в 20 луидоров в месяц[1].

Вот уже несколько месяцев подряд как Бовуазен находится на содержании сразу у двоих: у маркиза де Лувуа и у г-на Дуэ де Лабулэ, из которого ей удалось вытянуть все, что только возможно. Хотя она и не увешана бриллиантами, тем не менее славится талантом «обделывать свои дела».

---

* Лаис — имя, которое часто носили греческие гетеры. Стало нарицательным для представительниц древнейшей профессии.

Ее дом прекрасно обставлен; она проживает на улице Курто-Вилен (теперь улица Монморанси. — *М.Л.*), ее превосходно подобранному гардеробу, а особенно кружевам, могут позавидовать многие. У нее всегда царит ослепительная чистота, она носит самое соблазнительное белье, и никто лучше не умеет представить свою фигуру в самом выгодном свете. Среди нынешних женщин она слывет одной из самых привлекательных; говорят, она даже бывает верна своим любовникам. Однако все, что я сказал, доказывает обратное, а кроме того, я уверен, что она идет на поводу у своего весьма бурного темперамента, хотя по ее виду скромницы этого не скажешь; к примеру, в прошлую среду маркиз де Лувуа отбыл в свой полк, и в ту же ночь она уже спала с шевалье де Латуром, слывущим среди соответствующего сорта красоток настоящим жеребцом[2].

Еще одна деталь: когда Донасьен становится ее любовником, она уже месяц как беременна[3]. После Жанны Тестар это вторая беременная женщина, которую вожделеет Донасьен. Через десять лет в Италии у него также будет беременная любовница. Этот постоянно повторяющийся эксперимент свидетельствует о неудержимом влечении к женщине-матери, что, на наш взгляд, подтверждает эмоциональную несостоятельность маркиза, о которой говорилось выше.

Лже-госпожа де Сад

Двадцать шестого марта 1765 года Донасьен объявляет мэтру Фажу, нотариусу в Апте, что намеревается посетить Прованс. Благодаря этому неопубликованному письму мы видим неизвестного нам прежде Сада в состоянии полнейшей эйфории (что бывало крайне редко!), Сада, которого одна только мысль сменить Париж, «это зачумленное место», и двух своих «сторожей» (видимо, Марэ и одного из его клевретов, из тех, что следуют за ним по пятам) на «лазурные равнины Ла-Коста»[4] приводит в неописуемый восторг. Второго апреля он покидает столицу и вместе с женой и председательшей месяц живет у одной из своих родственниц под Фонтенбло. Девятого мая он вновь пускается в путь, четыре дня проводит где-то «вдалеке от Фонтенбло», возможно в Мелэне, где его удерживает неизвестная нам интрижка, и, наконец, отправляется в Прованс. Вначале он предполагал совершить исключительно увеселительное путешествие, но г-жа де Монтрей убедила его соединить приятное с полезным, попросив дядю-аббата ввести племянника в курс дел, которыми тому когда-нибудь придется заниматься. Отцу Донасьена эта поездка почему-то не по душе. Возможно, он опасается чрезмерных расходов или же полагает, что еще при жизни его могут лишить принадлежащих ему владений. Госпожа председательша, напротив, довольна отъездом зятя, полагая, что аббат, к которому она питает безграничное доверие, своим авторитетом и умом сумеет направить племянника на путь истинный.

Но так как после отъезда Донасьена от него нет ни слуху ни духу, она обращается к аббату с просьбой сообщить о прибытии племянника и пожурить его за молчание:

Ему необходимы Ваши советы, с их помощью он сможет избежать свойственной ему необычайной легкости в мыслях, он Вам доверяет. И очень нуждается в

руководстве; первые побуждения его всегда отличаются ненужной порывистостью, коей следует опасаться; однако он вполне поддается доводам рассудка и сам способен рассуждать здраво; чтобы он Вас услышал, нужно время, а также свобода от очередного пылкого увлечения.

Мне приятно описывать характер Вашего племянника, хотя, разумеется, Вы знаете его гораздо лучше, чем я, и не нуждаетесь в иных мнениях; лучше напишите, что Вы о нем думаете. Но что написано, то написано. Я человек посторонний, и мне не в чем его упрекнуть; а поскольку я — его теща, мой особый интерес к нему вполне оправдан <...> только от него зависит, продолжу ли я превозносить его в своих письмах к Вам; для этого надо всего лишь сдержать данное мне обещание. Я знаю, что должна принимать во внимание его возраст и быть снисходительной, однако и он в поведении своем должен был бы соблюдать известные приличия. Вы вполне можете доверять тому, что я написала Вам, а если он будет с Вами откровенен, сможете сами оценить, права я или ошибаюсь[5] <...>.

Пока еще председательша не лишает Донасьена ни поддержки, ни снисхождения. Она умеренно журит его за неподобающее поведение, продолжая надеяться, что оно в конце концов переменится. Связи с актрисами и певицами из Оперы ее, совершенно очевидно, нисколько не шокируют, ибо они не только не выходят за рамки общепринятых норм, но даже, напротив, вполне им соответствуют. Он распутничает, сорит деньгами, однако никакого святотатства, никакого надругательства над святынями, словом, никаких скандалов и никаких дьявольских наваждений из тех, что присутствовали в деле Жанны Тестар.

Однако уже через месяц тон г-жи де Монтрей становится более суровым, оптимизм явно покидает ее. Ничего удивительного, ведь за это время выяснились обстоятельства, возмутившие ее до глубины души: оказывается, ее зять путешествует не один; за ним в Прованс последовала мадемуазель Бовуазен. Он увез ее в глубокой тайне, выкрал из-под носа у общества; даже хитроумная ищейка, инспектор Марэ, считал, что девица на все лето «похоронила» себя в Лоншане, у маркиза де Лувуа, скрывая ото всех свою беременность[6]. Отягощающее обстоятельство: судя по некоторым слухам, Донасьен выдает девицу за жену. Во всяком случае, точно известно, что июнь, июль и часть августа он провел в обществе своей любовницы в Любероне.

В день его вступления в Ла-Кост, куда он входит под ручку с Бовуазен, празднично одетые селяне толпятся у входя в замок, приветствуя его и выражая радость по поводу его прибытия. Юноши и девушки наряжены пастухами и пастушками, их «депутат» держит на руках украшенного цветами и лентами агнца, и все хором поют сочиненные по случаю провансальские пасторали, прославляющие молодого сеньора. Одна пастораль недвусмысленно адресована обоим супругам, ее второй куплет явно свидетельствует о том, что селяне встречают супружескую чету:

Что за счастливое известье
И какой для нас сюрприз,
Дарида,
Свою красавицу-невесту

К нам сюда привез маркиз!
Куси-куса,
Тра-ля-ля,
Надо нам поздравить их!*[7]

Так как «сударь маркиз» не счел нужным развеять заблуждение своих крестьян, то вскоре все в крае стали почитать Бовуазен за г-жу де Сад. Присутствовавший при этой сцене аббат немедленно предупредил председательшу. Оскорбленная подобной выходкой, уязвленная в своем самолюбии, чувствующая себя униженной, ибо все усилия ее пошли прахом, преданная в своей привязанности, она принимает меры, чтобы история эта не дошла до ушей дочери, и пишет длинное письмо, где не щадит ни Донасьена, ни его дядю, горько упрекая последнего за его небрежение и слабость:

Обладая известной компетенцией, полученной на основании собственного опыта, я была готова ко всему со стороны г-на де С<ада>, однако я отказывалась верить, что он в пылкой увлеченности своей способен на подобное нарушение приличий; догадываясь о том, что там происходит, я тем не менее отгоняла от себя мысль, несомненно для него оскорбительную, и в то же время страшилась, что опасения мои подтвердятся. К сожалению, я узнала об этом теми же путями, коими узнают об этом все, а не только я; но именно огласки как раз и хотелось бы избежать — главным образом ради него самого. В своих тайных изменах он повинен только перед женой и передо мной, но теперь его безнравственное поведение стало достоянием всей провинции, оно оскорбительно для соседей, а если о нем станет известно здесь, то ошибку уже нельзя будет исправить — а как можно сохранить все в тайне? И это в то время, когда я, используя влияние друзей, тружусь над его продвижением и состоянием, когда только благодаря жене и нам ему был смягчен приговор по делу, грозившему навсегда погубить его карьеру и на долгие годы заточить в крепость! Вот какова его благодарность! А потом проникновенным голосом он станет жаловаться на судьбу, на неукротимость своих страстей, над коими он не властен, станет сожалеть о том, что сделал несчастными тех, кто к нему привязан. Мы не всегда можем сдержать порывы нашего сердца, но мы всегда в ответе за наше поведение, именно по нему о нас и судят. От поведения зависит, займет ли он те должности, для которых предназначен по рождению, или же будет смещен с них как дурной подданный, что, несомненно, унизительно для такого человека, как он. В последнее время никто не относится к нему с предубеждением, репутация его значительно улучшилась; зима прошла без неожиданностей и в порядочном, хотя бы с виду, обществе, за что мы изо всех сил выражали ему наше удовлетворение: но сами видите, сударь, что за этим воспоследовало! Если судить по тому, что он мне говорил, поездка в Авиньон должна была стать развлечением, увлекательным путешествием; я посоветовала ему соединить приятное с полезным и, воспользовавшись Вашей добротой, попытаться разобраться в счетах и бумагах, относящихся к владению землями, коими ему впоследствии непременно придется управлять, — всегда полезно знать, на что ты можешь рассчитывать, дабы по неведению не зайти слишком далеко. Две недели назад он сообщил, что прибыл в Ла-Кост и работает вместе с Вами, то есть, как я ему и рекомендовала, разбирается в бумагах; когда работа будет завершена, он с *превеликим удовольствием непременно приедет ко мне в Нормандию и наверняка обретет там покой, коего долгое время был лишен*. Не знаю, в это ли или в иное время прибыла мадемуазель Бовуазен; во всяком случае, легко предположить, что тогда он уже ожидал ее. Ра-

* Полный текст пасторали см. в Приложении I наст. изд.

зумеется, он понимает, что я не жажду его видеть: он слишком злоупотребил моей снисходительностью, хотя она и не заходила столь далеко, как он пытается Вас убедить; письма, которые я писала ему, пока он пребывал в Провансе, тому свидетельство, и я сомневаюсь, что он осмелится Вам их показать; однако мне бы хотелось, чтобы Вы непременно ознакомились с ними, дабы я могла оправдаться перед Вами. Исходя из характера, который был мне обрисован, а также из собственных наблюдений, я тешила себя надеждой, что, будучи снисходительной к его юношеской горячности и слабостям сердца, я сумею завоевать его дружбу и доверие, а следовательно, предостеречь от больших неприятностей, кои он беспрестанно на себя навлекает. Его любовницы деспотически управляют им, и какие любовницы! Они остаются с ним ради удовольствия, кое он умеет им доставить, а также из-за его щедрости; доставляй он им меньше удовольствия и будь он менее щедр, они бы тотчас бросили его — и это несмотря на то, что он, как никто иной, достоин любви! Конечно, он великолепный актер, но графини де Сен-Пре играют гораздо лучше его. [Признаюсь, сударь, я удивлена, как у вас хватило терпения присутствовать при этой нелепой сцене, вместо того чтобы раз и навсегда прояснить заблуждение, без сомнения, подхваченное слугами, кои и разнесли повсюду, что они видели мадам де Сад. Подобная ошибка безмерно унижает мою дочь. Она не скрывает своей любви к мужу и готова была бы заявлять об этом повсюду, если бы он того заслуживал. Я знаю, ваши родственницы на этот обман не поддались. Полагаю, что и на самом деле ни одежда, ни манера держаться, ни речь той особы не имели ничего общего с мадам де Сад.][8] Мне остается только вздыхать и выразить пожелание, чтобы Вы все же сохранили немного добрых чувств по отношению к нему, дабы он не оказался полностью предоставленным самому себе. Что до меня, то я более ни во что не вмешиваюсь, ибо окончательно убедилась, что дружеские чувства чужды его сердцу. В течение шести лет, что он провел на войне и находился под присмотром отца, он не совершил столько непристойных поступков и не растратил столько денег, сколько совершил и растратил сейчас. Следовательно, строгость пристала ему гораздо больше, нежели наши благодеяния[9] <...>.

Так как милейший аббат де Сад посчитал нужным предупредить сестру, аббатису обители Святого Бенедикта в Кавайоне, о скандале в Ла-Косте, старая монахиня в письме устраивает своему беспутному племяннику строгий нагоняй. Не собираясь сдаваться, Донасьен яростно опровергает ползущие о нем слухи, а затем переходит в наступление и ополчается на тетушку Вильнев и аббата, с особой язвительностью разоблачая их собственное скандальное поведение:

Ваши упреки, дорогая тетушка, меня мало трогают. Признаюсь честно, я не ожидал услышать из уст набожной служительницы Церкви столь крепкие выражения. Я не дозволю, не собираюсь терпеть и поощрять, чтобы женщину, проживающую у меня в доме, принимали за мою жену, и я об этом громко всем заявил. «Никогда не выдавайте ее за жену, — сказал мне господин аббат, — но не мешайте остальным говорить что им вздумается, даже если сами будете в их присутствии утверждать противоположное». Этому совету я и следую. Когда одна из Ваших сестер (мадам де Вильнев. — *М.Л.*), состоящая, как и я, в браке, открыто жила здесь со своим возлюбленным, может, Вы уже тогда считали Ла-Кост проклятым местом? Я поступаю не хуже, чем она, и вместе мы оба не причиняем никому зла. А что касается того типа, от которого Вы узнали все то, о чем мне и сообщили, то в доме его, хотя он и священник, всегда проживает парочка шлюх; простите, если я употребляю те же слова, что и Вы. Разве его замок не напоминает сераль? Впрочем, нет, это скорее бордель.

Продолжение этого письма мы уже цитировали:

Простите мне мои прегрешения. Все они унаследованы от семьи, в которой я имел несчастье родиться. Храни меня Боже от кишащих в ней нелепостей и пороков. Я считал бы себя почти добродетельным, если бы по милости Господней унаследовал только часть их[10].

Донасьен быстро раскаялся в своих дерзких речах и в октябре следующего года покаялся перед дядей, взвалив ответственность за письмо на злобную «сирену» Бовуазен.

Дорогой дядюшка, я могу только просить Вас о великой милости, — писал он, — забыть ошибки, совершенные мной в ослеплении страсти, над коей я был не властен. Поверьте, листки, переданные Вам в руки исключительно по злополучию и неосмотрительности, были писаны под диктовку той сирены, коя кружила мне голову. Сам я был бы просто не в состоянии написать те клеветнические слова, и теперь, когда заблуждение полностью рассеялось, я краснею при воспоминании о них и отказываюсь от их авторства.

Заклинаю Вас, простите и поверьте, что ошибки, совершенные под воздействием того создания, погружают меня в пучину угрызений совести; но более всего меня угнетает сознание, что, совершив подобные дерзости, я вознамерился заглушить в душе своей чувства нежности и признательности, кои всегда питал к Вам; и я никогда в жизни не прощу той, кто передала Вам эти письма для прочтения[11].

Такой вот отдых

Пока в замке разыгрывается комедия с подставной супругой, Донасьен превращает большую гостиную в театральный зал, чтобы ставить и играть пьесы по собственному выбору. Балы, празднества, ужины, на которые он приглашает всю знать из соседних деревень, чередуются со спектаклями. Все торопятся попасть на эти блистательные вечера, где в роли маркизы де Сад либо одной из ее родственниц выступает пресловутая Бовуазен. Всю неделю, проведенную в Ла-Косте по приглашению Донасьена, аббат — чье тогдашнее местонахождение в этих краях все же сомнительно, хотя именно он и сообщает об истинном положении дел, — также принимает участие в увеселениях. Возможно, как считает г-жа де Монтрей, своим присутствием он хочет избавить племянника от «унижения оказаться одному в недостойном обществе». Однако, зная его, можно предположить, что аббат получал немалое удовольствие от вращения в «недостойном» обществе, и находившиеся там хорошенькие женщины чрезвычайно развлекали его после пребывания в мрачных стенах Сомана. Воцарение обманщицы Бовуазен порождает слухи о запретных радостях, коим предаются в замке, а злые языки и вовсе обвиняют аббата в том, что он и сам не прочь «порадоваться» вместе с племянником. Аббат виртуозно защищается, публично осуждает бесстыдство чертовой парочки, доходит до полного отрицания каких-либо отношений со своим радушным хозяином. «Я не общаюсь с племянником, — восклицает он, отвечая своему хулителю, — и был бы крайне недоволен, если бы кто-нибудь из моих близких вел себя так бесстыдно».

Рене-Пелажи, в сущности, ничего не знает о том, что происходит в Ла-Косте: ей известно только, что муж предается невинным развлече-

ниям, играя в комедиях вместе с соседями-дворянами, и это единственная причина его молчания. По крайней мере, мать так объясняет трехнедельное отсутствие писем от Донасьена. Сама же она пытается придумать способ, как разлучить зятя и Бовуазен, и делится своими мыслями с аббатом де Садом. Задача не из легких — куртизанка имеет на Донасьена большое влияние и прекрасно знает, с помощью чего можно его удержать: самолюбие, привязанность, разного рода проказы... Возможно, неплохо будет, если аббат задержит племянника в Провансе; если же тот вернется в Эшофур, то тут же пообещает образумиться и вести себя хорошо, но вряд ли эти обещания будут искренними; радуясь, что в очередной раз удалось усыпить бдительность тещи, он продержится два или три месяца, а затем поедет в Париж, и все вернется на круги своя, а может, станет еще хуже.

Признаюсь, я совершенно обескуражена, <...> — доверительно сообщает г-жа де Монтрей своему корреспонденту 8 августа 1765 года. — Судьба моей дочери зависит только от Вас, ибо муж ее в Ваших руках. И она, и я судим обо всем со стороны, возможно, даже неверно. Если Вы согласитесь взять на себя труд и возьмете дело в свои руки, то все, как всегда, будет хорошо. Философия не ведет к равнодушию, она всегда приводит к добру; по крайней мере, я уверена, что Ваша философия именно такова. Уже четыре дня как я пребываю в одиночестве, кое, как известно, бывает сладостным, когда есть о чем взгрустнуть и помечтать.

И в постскриптуме:

Читая мое письмо, сударь, Вы поймете, что я рассказываю Вам все, о чем думаю; можете показать это письмо зятю, если полагаете, что у него еще сохранилось достаточно почтения ко мне и к жене; в таком случае оно, наверное, произведет на него определенное впечатление. Естественно, что Вы не стали скрывать от меня то, что происходит, ибо он уверил Вас, что я в курсе всех его забав и отношусь к ним вполне терпимо. Однако в последних трех или четырех письмах, которые я отправила ему после отъезда, ни о какой терпимости и речи нет. Мне нечего Вам посоветовать, потому что самой хотелось бы получить совет от Вас: Вы лучше знаете его характер, лучше представляете, что происходит, ибо находитесь недалеко от него. Надо прислушиваться только к Вашему просвещенному мнению, особенно памятуя о том участии, кое Вы принимаете в племяннике. Что делать в сложившихся обстоятельствах? Трудно дать ответ. И все же выношу свое предположение на Ваш суд.

Прибегнуть к строгости, дабы разлучить их? Разумеется, я без лишних слов раздобыла бы у министра необходимые бумаги, но это вызвало бы скандал, а для него это опасно: следовательно, не станем злоупотреблять связями. Однако Вам ни в коем случае нельзя показывать племяннику, что Вы боитесь скандала и собираетесь и дальше терпеть его безумства. Не теряйте его из виду, ибо достичь цели можно только ни на минуту не упуская его из виду. Именно таким образом мне в прошлом году удалось разлучить его с Коле и заставить внять голосу разума — после того, как я убедила его в ее измене. Сомневаюсь, чтобы теперешнюю красотку он любил больше, чем предыдущую: тогда был разгул страстей. С тех пор все обстояло благополучно — до той поры, пока во время поста он не встретил нынешнюю девицу. Под предлогом земельных дел вернитесь и посмотрите, что там происходит, по-прежнему ли он пылает страстью. Браните его, говорите твердым голосом, заставьте его из уважения к Вам вести себя более пристойно, сократить расходы, зажить уединенно, не заводить знакомств и никого не принимать. Таким образом можно избежать скандала и замять эту историю; надо заверить его, что если он постарается не наделать шуму в провинции, то в Париже вообще никто ни

о чем не узнает. И непременно постарайтесь остаться с ним наедине: тогда Вы сможете поговорить с ним, прибегнув к доводам разума, и выразить недовольство тем, что Вам приходится исполнять роль посредника, а следовательно, делать вид, что Вы миритесь с его дурным поведением. Будучи в стесненном положении, они заскучают; нимфа скорее всего решит уехать. Судя по последнему его письму, которое я пересылаю Вам, он, похоже, начал пресыщаться ею, и Вы сможете воспользоваться моментом — их размолвками и ссорами, которые наверняка вскоре возникнут и которыми у него никогда не хватит сил воспользоваться в одиночку. Все просто. Если у Вас хватит терпения, не позволяйте ему последовать за ней, держите его при себе как можно дольше, не отпускайте и займите чем-нибудь; а потом посмотрим. Если он будет безумствовать, я бы предпочла, чтобы он делал это в Провансе, а не здесь; так это легче скрыть. К тому же его присутствие здесь покоя мне не добавит: он пожелает хотя бы из вежливости жить вместе с женой, но тут его станут преследовать кредиторы, и он наделает новых долгов; а если ему прискучила его любовница, он заведет новую. Я же предпочитаю, чтобы он завел ее в Провансе; возможно, ему повезет и он привяжется к какой-нибудь замужней женщине: они всегда менее опасны, чем девицы-содержанки[12].

Возвращение инкогнито

Двадцатого августа 1765 года, пока Рене-Пелажи вместе с матерью проводят остаток лета в Эшофуре, Тейсье, лакей Донасьена, вместе с чемоданами своего господина прибывает на улицу Нев-дю-Люксамбур. «Господин отослал меня вперед, — заявляет он, — и приедет только через неделю». На самом деле де Сад инкогнито прибыл в тот же самый день вместе с Бовуазен, у которой и поселился. Г-жа де Монтрей сразу почуяла ложь:

Если бы я была в Париже, я бы сама отправилась в дом этой девки и увела его, как в прошлом году увела от ее предшественницы; это мне удалось. Но меня там нет. К тому же я полагаю, что более не имею прежнего влияния ни на разум его, ни на сердце[13].

Итак, он прибыл с пустым кошельком, наделав в Провансе долгов на четыре с половиной тысячи ливров. В Париже ему буквально не на что жить, и тут мы присутствуем при сцене, воистину напоминающей чудо. Известная своей расчетливостью Бовуазен продает драгоценности, в частности пару бриллиантовых серег, брошь, эгретку, крест и еще несколько малопримечательных безделушек, выручает за них восемь тысяч шестьсот ливров, добавляет разницу и вручает всю сумму, то есть десять тысяч ливров, своему любовнику, который обязуется возместить ей долг в виде пожизненной ренты в пятьсот ливров. Акт, заверенный королевским нотариусом Понтелье, датирован 21 августа; он был составлен на следующий день после возвращения любовников из Прованса![14]

Спустя дней десять он наконец решается сообщить жене и теще о своем предполагаемом отъезде. Однако пока нет возможности прибыть к ним в Нормандию, ибо необходимо уладить кое-какие дела: с одной стороны, он задолжал в Провансе четыре с половиной тысячи франков, и необходимо найти денег, чтобы вернуть долг, с другой — надо восстановить семейную родословную и отдать ее г-ну Божону, королевскому

генеалогисту, дабы, иметь право претендовать на более высокий чин в армии, коли он захочет туда вернуться. Г-жа де Монтрей встречает письмо настороженно; она знает, что зять чаще ночует у Бовуазен, нежели у себя дома, и это весьма ее раздражает. В письменной форме она обещает раздобыть ему денег к ноябрю, «но не за свой счет и не за счет его жены», — уточняет она, ибо «не собирается оплачивать его удовольствия», а также при условии, что он без промедления прибудет в Эшофур. Тем более что семейные бумаги, предназначенные для Божона, он вполне мог попросить у своего дяди-аббата, когда был в Провансе, — вместо того чтобы писать дяде всякие гадости. Со стороны Донасьена тотчас последовал протест: он никогда не оскорблял дядю; он сохранил копии всех своих писем и может это доказать, и т. п.

Я недовольна его посланием, — доверительно сообщает председательша, — и ответила достаточно жестко. Он пообещал жене по завершении дел тотчас приехать к ней. Моя семья торопит его с отъездом, уговаривая отправиться не позже 11 [сентября] <...>.

И тут же добавляет последние новости о Бовуазен:

От людей, которые видели его, я знаю, что он все еще пылко влюблен, хотя это и отрицает. Но ему никто не верит, а я тем более. Весьма прискорбно. Несмотря на весь свой гнев, я намерена вести себя так, как Вы в прошлый раз посоветовали. Посмотрим, что будет, когда я заполучу его сюда[15].

Преждевременные роды

Наконец, поздним вечером 15 ноября, карета Донасьена въезжает в решетчатые ворота Эшофура. Рене-Пелажи, по-прежнему ничего не ведающая о его похождениях, встречает его с неподдельной радостью. В последние несколько месяцев она жила прежней жизнью незамужней девушки в родительском доме, умирая от скуки и одиночества и предаваясь душераздирающим воспоминаниям о своем умершем ребенке. Мать ничего не рассказала ей о случившемся, боясь еще больше опечалить дочь. К тому же она не намерена ни с кем, кроме аббата, делиться своими соображениями относительно поведения зятя. Только она, полагает г-жа де Монтрей, может противостоять ему; она одна сумеет дойти до цели. Ее дочь слишком чувствительна, а такого человека, как ее муж, слезами не удержишь. О своем муже-председателе она не думает вовсе; этот добродушный человек будет только обузой в ее делах. Впрочем, она даже не посчитала нужным поставить его в известность. У кого, кроме нее, может хватить энергии, упорства и сообразительности, чтобы укротить мятежную душу Донасьена? К тому же г-жа де Монтрей сама не прочь бросить вызов, а возможность помериться силами с подобным противником наполняет ее мрачной радостью. Неукротимая, как и он, она, похоже, вовсе не знает поражений. И если и позволяет порой усталости или унынию взять над собой верх, то лишь ненадолго: с удивительной быстротой она вновь берет себя в руки.

По мнению председательши, маркиз после возвращения весел и беззаботен. Его отношения с Рене-Пелажи постепенно налаживаются. Именно в это его пребывание в Эшофуре, а точнее в октябре 1765 года, супруги сумеют зачать ребенка, который спустя девять месяцев появится на свет.

Однако к началу ноября Донасьен узнает, что с Бовуазен произошло несчастье, вызванное поездкой в Прованс: скорей всего, у нее выкидыш. Он спешно покидает Эшофур и мчится к любовнице. Теща делает все, чтобы помешать ему, но ее усилия напрасны. В Париже, где никто не знает о его возвращении, он ни на минуту не покидает комнаты своей «нимфы» и окружает ее самыми нежными заботами.

Мне трудно себе представить, — желчно комментирует г-жа де Монтрей в письме к аббату, — как в ее состоянии она может доставлять ему удовольствие; было бы великим счастьем, если бы он, наскучавшись вволю, навсегда бы расстался с ней. Хотелось бы верить, что ей на смену не придет очередная пассия; однако тут я обольщаюсь не больше Вашего. Кто-то сказал, но где, уже не помню:

Но разве может тот к спокойствию привыкнуть,
Кто в сердце дал свое любви уже проникнуть?

Он несчастен, потому что не может полюбить ту, которой должен дарить свою любовь. Но, похоже, он хочет прекратить забавляться за счет жены и наконец примириться с ней; нам он обещает впредь вести себя достойно. На мои крайне резкие письма он, уверяю Вас, отвечает с достоинством, даже с кротостью и доверием, несомненно, продиктованным дружбою. Но искренен ли он или снова что-то скрывает? Этого я, за недостатком опыта, пока не могу распознать, здесь нужен человек, знающий его лучше, чем я. Признаюсь Вам, что сердце по-прежнему шепчет мне, что Вы с ним расстались отнюдь не по-дружески. Но это пока не установлено, а он сам несколько раз говорил, что из всех родственников Вы — тот, к кому он испытывает наибольшее уважение, чувство дружбы и доверие[16].

«Так вот твое истинное лицо, чудовище!»

Тринадцатого декабря полностью исцелившаяся Бовуазен появляется в Итальянском театре во всем блеске своей красоты. «После родов она стала еще красивей, — отмечает Марэ, — и теперь может мечтать о любовниках очень высокого полета». Едва она вновь вышла в свет, как вокруг нее сразу же образовалась толпа поклонников, все молодые и богатые, и все молят позволить им разориться ради нее. Все модные альфонсы оспаривают друг у друга привилегию понравиться ей: молодой де Сен-Конте первый сдался на ее милость; ради него она дала отставку г-ну де Лабулэ и маркизу де Лувуа, в загородном поместье которого, как говорили, скрывала свою беременность (никто не знал, что она была в Провансе вместе с де Садом). Со своей стороны, шевалье де Ракони обещает ей пятьдесят луидоров, и нет никого, от гвардейского офицера до барона Сен-Крика, кто за двадцать луидоров не был бы готов пожертвовать ради нее теперешней модной фаворит-

кой Лафон, танцовщицей из Итальянского театра. Все эти ухажеры – соперники бедняги Донасьена. Более всего опасен для него шевалье де Шуазель, которого некогда ради него бросила Бопре. На этот раз позиция его неизмеримо менее выгодна. Вот уже несколько месяцев шевалье летит от победы к победе. «Он обладает неким блеском и лоском, способными вскружить голову любой продажной красотке», – замечает Марэ. Увидев однажды, как Шуазель разглядывает Бовуазен, инспектор полиции делает комплимент его хорошему вкусу. Повернувшись к нему, юный фат отвечает: «Я только что подметил у нее особое выражение лица, убедившее меня, что через несколько дней она будет моей». И он не ошибся.

Спустя дней десять шевалье де Шуазель обошел всех своих соперников, в том числе и де Сада, даже не развязав кошелька. Но если Бовуазен пошла на поводу у своей прихоти, то только потому, что Сен-Конте, отличающийся полнейшей близорукостью, продолжает оплачивать ее расходы: таково правило. Победитель же всюду хвастает своей победой, расхваливает доставшийся ему лакомый кусочек и уверяет всех, что прежние красавицы, побывавшие у него в постели, нынешней и в подметки не годятся. «Энтузиазм сей продлится аж до конца спектакля, но для него это уже много», – иронизирует Марэ, скрывая ухмылку[17].

Третьего января 1766 года Бовуазен прекратила все отношения с маркизом. С досады он тут же бросается в объятия девицы Дорвиль, «толстой и очень аппетитной девки», недавно сбежавшей из сераля Эке, еще одной известной содержательницы публичного дома, соперницы Бриссо. Он дает ей всего два луи в месяц, однако она живет на содержании у Элджина, который навещает ее не чаще раза в неделю и от которого каждый раз получает четыре луидора[18].

Ничто не может утешить Донасьена. Преданный, осмеянный, вытесненный конкурентом, он, обезумев от ревности и мечтая о мести, адресует своей бывшей любовнице обвинительную речь, исполненную бешеной ярости:

Так вот твое истинное лицо, чудовище! Твоя душа черна непроглядно. <...> Прочь, ты вернула меня самому себе; теперь всю свою жизнь я буду ненавидеть тебя и твоих товарок. Я не стану мстить: ты не стоишь таких трудов. Величественное презрение – вот единственное чувство, кое сердце мое может испытывать по отношению к тебе. Прощай, забирай свою новую победу, а затем столь же коварно избавляйся от нее, как ты избавилась от меня. Когда ты останешься одна, когда угар удовольствий и снедающего тебя честолюбия рассеется, ты не сможешь воспрепятствовать мукам совести терзать твое сердце, как они терзают сердца тебе подобных. Тогда ты почувствуешь всю мерзость своей отвратительной фальши. Пусть Небо уготовит тебе раскаяние, и тогда ты пожалеешь, что заставила меня испытать все удары судьбы! <...> Остатки жалости не позволяют мне повсюду рассказывать о твоем коварстве. Позор и утрата доверия, ожидающие тебя в случае моей нескромности, могли бы отомстить за меня. Но будь покойна, мое презрение к тебе – гораздо лучшая месть. Прощай в последний раз. С каким удовольствием я думаю о том, что завтра в этот час нас, вероятней всего, уже будут разделять пятьдесят лье! Я уезжаю, покидаю тебя; и, несомненно, твой недостойный образ вскоре исчезнет из моего сердца <...>[19].

Инспекторский вояж

По крайней мере, одна из клятв будет сдержана. В начале мая 1766 года Донасьен отправляется в Авиньон. Несмотря на его заявления, он не столько бежит от Бовуазен, сколько хочет проинспектировать стройку в Ла-Косте, начатую им во время последнего пребывания там, то есть ровно год назад, почти день в день. В столицу Конта он пребывает только 21 мая, ибо по дороге, как и в прошлом году, задерживается на четыре дня в Мелэне, у таинственной незнакомки, «которой теперь увлечен»[20]. Его дядя покидает свое убежище и 15 мая выезжает ему навстречу, чтобы увезти с собой в Соман. Но уже через день, сгорая от нетерпения увидеть, как продвигаются работы, Донасьен вскакивает на лошадь и, не попрощавшись с дядей, во весь опор мчится в направлении Ла-Коста.

Пройдя по новому мосту и вступив во двор, минуя почти завершенные двустворчатые фламандские ворота, он тотчас погружается в заботы по обустройству двух главных частей здания: новых апартаментов г-жи де Сад и театра. Работы в апартаментах идут полным ходом, к началу 1766 года их предполагается завершить. Вместе с тремя новыми комнатами, добавленными к уже существующей, в распоряжении маркизы будет зимняя спальня, летняя спальня, будуар и рабочий кабинет. Для «театрального зала» используется прошлогоднее помещение, расширенное за счет нескольких соседних комнат. В самом конце северной галереи второго этажа – подмостки размером 100 квадратных метров, выходящие на террасу замка. Сцена размером 30 квадратных метров тянется вдоль северной стены, а комната рядом превращена в фойе.

Парк также требует его забот. Он приказывает окружить его живой изгородью и сделать лабиринт из зеленых насаждений, а на вершине плато, рядом с оливковыми и миндальными деревцами посадить фруктовые деревья[21].

Завершив инспекторский вояж, маркиз возвращается в Соман, где проводит несколько дней вместе с дядей. Судя по всему, сей последний не держит на него зла за пресловутое письмо к г-же де Сен-Бенуа. Нет, разумеется, он не забыл нанесенного оскорбления, но считает, что разумнее не вспоминать о нем. «Чем больше бранить этого ветреника, – думает аббат, – тем больше глупостей он натворит». Он делится своими соображениями с г-жой де Монтрей, от которой у него нет секретов:

> Опасно все время гладить его против шерсти, как обычно делал его отец; он может пуститься во все тяжкие. Только кротостью, снисходительностью и взыванием к разуму можно надеяться наставить его на путь истинный. И Вы, сударыня, взялись за это как нельзя лучше. Он доверяет Вам и уважает Вас: рано или поздно Вы сделаете из него, то что желаете[22].

Какое заблуждение!

Наедине с дядей, долгими вечерами Донасьен с жаром говорит о Ла-Косте, от которого буквально без ума, и о тех перестройках, которые собирается произвести, чтобы сделать замок пригодным для жилья. Во время пребывания в Конта он хочет жить только там. Аббат,

пользуясь настроением племянника, старается ненавязчиво ввести его в курс дел, рассказывает о стоимости земель, об арендной плате... Донасьен рассеянно слушает, а затем пускается в самые интимные признания, говорит о жене и очень ее хвалит. Он понимает, чего она достойна, и испытывает к ней уважение и подлинное чувство дружбы; он был бы в отчаянии, если бы не сумел понравиться ей; но все же считает ее «слишком холодной и слишком набожной»: поэтому и ищет развлечений на стороне. Жена не знает о его проказах, и он был бы сильно опечален, если бы она о них узнала.

Когда у него закончится возраст кипения страстей, — доверительно сообщает аббат г-же де Монтрей после визита племянника, — он сумеет оценить ту женщину, кою Вы дали ему в жены; но нужно подождать, пока пройдет этот возраст, а он тянется дольше, чем нам того хотелось бы. Лишь бы только он не приносил слишком много огорчений, мне и Вам, и да поможет нам Господь![23]

Хоровод любовниц

По возвращении в Париж хоровод развлечений возобновляется. Интрижки завязываются, распадаются, возникают случайные связи, страсти разгораются, становятся все ненасытней, все неутолимей. Его репутация «опасного» либертена распространяется с быстротой огня по пороховой дорожке. Девицы из Оперы и публичные девки чередуются в адском ритме. Разумеется, мы знаем далеко не о всех, полицейские отчеты, к сожалению, тоже сообщают весьма отрывочные сведения, а сам Донасьен предусмотрительно умалчивает о своих не самых достойных похождениях. И даже г-жа де Монтрей, несмотря на осуществляемый ею бдительный надзор за зятем, не все знает о его потаенной жизни. Но раз никто не приносит жалоб начальнику полиции, значит, все шито-крыто. А со времени дела Жанны Тестар жалоб на него больше не поступает. Разумеется, это не означает, что он отказался от своих пристрастий, однако он больше не навязывает их без разбора всем женщинам, которых затаскивает в постель. Само собой разумеется, что ни Бопре, ни Коле, ни Бовуазен не испытали на себе жестокого обращения. Постоянно на виду, окруженные воздыхателями, на содержании у самых богатых людей, они являются своего рода аристократками среди проституток, а потому подобные приключения им не грозят. Свои жертвы Донасьен ищет в самом низу иерархической лестницы, среди девиц из «маленьких домиков», которых, в обход всех запретов Марэ, ему поставляют профессиональные сводни.

* * *

Примерно в это время маркиз встречается с некой мадемуазель Д***, танцовщицей из Оперы, имя которой до наших дней не сохранилось. Увидев ее в «Армиде», он тотчас адресует ей целый лист пошлых комплиментов, оставив себе копию. Вынырнув из потоков лести, мы можем уяснить его тогдашнее положение:

Я знаю, у Вас есть тот, кто дорого платит за удовольствие любить Вас. Сколь счастлив он! Почему у меня нет состояния, дабы я, подобно ему, мог предложить его Вам! О, что я говорю: не состояния Вы достойны, но трона царицы любви, чтобы править всем миром. Поэтому я претендую всего лишь на второе место. Молю Вас, даруйте мне его. Моя бурная страсть его достойна. У меня нет таких богатств, как у моего соперника, но я моложе его (первоначально было написано «мужественнее». – *М.Л.*) и люблю Вас сильнее. Позвольте мне увидеться с Вами хотя бы на мгновение, сегодня, в тот час, когда Вам будет угодно, или же завтра, также в назначенный Вами час. Уверяю Вас, я буду хранить подобающее в таких случаях молчание. Ах, руки любви сплели мои цепи. И сколь сладостно их носить! <...> Страсть кипит во мне и не дозволяет долго ждать[24].

Таким образом, он, не имея денег, готов довольствоваться вторыми ролями подле мадемуазель. В то же самое время он упорно преследует еще одну актрису, мадемуазель М***, имя которой также осталось неизвестным. Но у той дамочки, которая, кстати сказать, живет в Марселе, уже есть любовник, и она может предложить Донасьену только роль друга. Получив категорический отказ, он разражается потоком слез и жалоб, которые не забывает тщательно переписать для своих «Разрозненных сочинений». Стилистическое упражнение чистой воды – как, впрочем, и другие письма из этого сборника, – на этот раз на тему отчаяния. Впрочем, перемена темы мало влияет на стиль: все та же патетика, те же преувеличения, те же потуги на лиризм.

Я уже говорил Вам, и не устану повторять: ничто на свете не сумеет отвратить меня от Вас. Я готов на все, я последую за Вами даже в могилу. <...> Какая невыносимая мука! В каком ужасном положении я очутился! Неужели Вы не видите, в какую пучину горестей Вы меня ввергли? А ведь я мог бы внушить Вам хотя бы жалость. Ужель эти узы нерасторжимы? О, великий Боже! Но нет, я не пытаюсь разорвать их; они слишком дороги Вашему сердцу. Они станут причиною моих несчастий, но я смирился. Будьте счастливы; я жертвую всем ради Вашего счастья.

А так как дама, о которой идет речь, является матерью маленького мальчика, наш маркиз простирает свой героизм так далеко, что даже выражает готовность заботиться о нем как о собственном сыне:

Все заботы о нем я полностью возьму на себя; я стану воспитывать его в одном из своих поместий; он будет жить, окруженный заботами и почтением, как мой собственный сын; все, что создала природа, будет к его услугам. А потом, когда Вы захотите его повидать, я сам отвезу Вас к нему. Его успехи будут делом моих рук; и если мать его будет мне за это хотя бы немного признательна и я увижу эту признательность в ее глазах, это будет означать, что я сумел зародить в ней ответное чувство[25].

Пустые словеса, бездумные обещания, которые, к счастью, никто не воспринимает всерьез: ни автор, ни адресат. Как и во всех письмах из «Разрозненных сочинений», ученик-писатель, подобно начинающему музыканту, упражняется в гаммах и постепенно учится нажимать на разные клавиши страсти. И даже если результаты кажутся нам неубедительными, не будем слишком строги: это всего лишь ученические работы. Понадобится еще много лет, множество потрясений и страданий, а также свобода, купленная ценой этих страданий, прежде чем мы увидим рождение автора «Ста двадцати дней Содома».

К числу его теперешних приключений инспектор Марэ причисляет и малышку Леруа, фигурантку из Оперы, с которой, судя по записи инспектора от 26 сентября 1766 года, маркиз расстался две недели назад, не надеясь на возобновление отношений. «Эта юная девица, — добавляет полицейский, — необычайно мила, однако у нее имеется тетка, отличающаяся невероятной скупостью, и она забирает себе все, что той приносят»[26].

Спустя четыре месяца, 23 января 1767 года все тот же Марэ сообщает, что мадемуазель Бовуазен «бесстыдно» обманывает своего нынешнего любовника, шевалье де Жокура, с многочисленными господами, в частности с офицером французской гвардии малышом Томбефом и маркизом де Садом,

<...> с которым она, похоже, полностью восстановила отношения, ибо он публично подает ей руку. Сей очевидный факт, — прибавляет полицейский, — сообщил мне лично шевалье де Жокур, а любовники, имеющие в этом корысть, обычно в таких случаях не ошибаются[27].

Смерть отца

Это известие сразило Донасьена в самый разгар вакханалии. Вот уже долгое время граф страдал от неведомой болезни, приковавшей его к постели: ноги отказывались держать его. Безуспешно перепробовав множество лекарств, он смирился с болями, перерывы между которыми становились все короче. Ссора с сыном, хлопоты, причиняемые ему «этим неблагодарным», и жестокое разочарование в своем отпрыске усугубляли его страдания.

Теперь он находил утешение только в молитве. Приближался седьмой десяток, возраст наслаждений миновал безвозвратно, и он незаметно, по примеру многих знаменитых либертенов, обратился к Богу и религии. Все свое время он посвящал приведению в порядок дел, писал исторические, дидактические или философские очерки, подавляющая часть которых обращена к сыну, записывал свои воспоминания о дворе Людовика XV и составлял сборник «английских анекдотов»; не отказывался он также и от своего излюбленного занятия, а именно — от сочинения стихов.

О любви и женщинах, некогда составлявших основной смысл его жизни, он теперь рассуждает как умудренный опытом философ, его высказывания отличаются точностью и наблюдательностью, которыми он обязан как своему обширному кругу чтения, так и собственному богатейшему опыту. Вот какие мысли о любви мы обнаружили в его неизданных заметках, составленных на закате жизни:

Мои прежние представления о любви чрезвычайно отличаются от представлений нынешних. Я полагал ее очаровательной, ибо был знаком только с ее удовольствиями, а беды ее мне были неведомы. Я любил без страданий; если любовница мне изменяла, я расставался с ней и сожалел только о напрасно потраченном на нее времени. Встретив женщину, отвечавшую моим желаниям, я приятно проводил с ней время, уверяя ее в своей нежной привязанности; я не обманывал ее, я верил в это, чувство мое было пылким как никогда, и мне нравились переживания любовной страсти. Какое счастливое неведение! Женское самолюбие легко принимает на

веру те комплименты, которые внушают его обладательницам, уверенность в своей красоте заставляет женщин верить в искренность слов своих любовников. Моя любовница мне верила, а если и делала вид, что сомневается в моей любви, то исключительно для того, чтобы я приводил ей новые доказательства оной[28].

И хотя эти суждения отражают привычный для того времени цинизм по отношению к прекрасному полу, тем не менее он не упускает возможности воздать женщинам по заслугам, ибо, не прекращая любить их, он научился их понимать: «Только женщины могут затронуть наше сердце, взволновать чувства и доставить радость уму», — писал он в одном из своих последних писем.

Вот уже месяц, как состояние здоровья графа стабилизировалось. Сын и граф де Крийон, посетившие графа 19 января, нашли его «как обычно»: каждый день он поднимался с постели, нормально ел и спал. Однако его необычайная слабость не оставляла надежд на выздоровление. Через пять дней, в субботу 24 января, около часу дня, он скончался в маленьком домике в Гран-Монтрей, предместье Версаля, где с некоторых пор проживал[29]. Ему было шестьдесят шесть лет. Похороны состоялись спустя двое суток, отпевание прошло в приходской церкви Святого Симфориана. Сопровождавший Донасьена председатель де Монтрей описывает эту церемонию в своем неизданном дневнике:

В субботу двадцать четвертого января 1767 года, узнав, что граф де Сад очень плох, я выехал в Версаль. Прибыв туда, я узнал, что он только что, примерно через час после обеда, испустил дух. Мы с зятем оставили его тело лежать в доме двое суток. Затем сопроводили в собор Гран-Монтрей, где в половине одиннадцатого утра покойный был похоронен в приделе собора. Похоронная процессия и сами похороны прошли со всей подобающей благопристойностью. Церковь была затянута траурной тканью; при похоронах присутствовали двенадцать бедняков, державших факелы. В доме графа мы обнаружили двадцать четыре или двадцать пять рукописей, выполненных его рукой; в них содержались придворные анекдоты и рассуждения о морали, вполне достойные быть опубликованными. Он был похоронен в соборе Гран-Монтрей, рядом с левой кафедрой, прямо напротив этой кафедры. Похоронами руководил аббат д'Омаль, друг графа де Сада[30].

* * *

В своем завещании, текст которого хранится в семье, но никогда не был опубликован, Жан-Батист де Сад делает распоряжения относительно наследства. После стандартной преамбулы он заявляет, что завещает жене, Мари-Элеонор де Майе, свою квартиру вместе с обстановкой, в том виде, в каком ее найдут после его смерти, передает ей в безраздельное владение бриллианты и драгоценности, а также карету и лошадей, коими она пользуется. От нее бриллианты должны перейти к невестке, а после нее к их сыну или его наследникам. Пенсию, которую он выплачивает своему брату Ришару Жан-Луи, он увеличивает до четырехсот ливров в год; брат сохранит эту пенсию до тех пор, пока не получит командорства; также он завещает ему шесть картин, из тех, что находятся в Авиньоне. Каждой сестре он оставляет сто ливров пожизненной ренты, «дабы увеличить ту сумму, каковую они уже име-

ют». К аббату переходят библиотека, серебряная посуда, а также пожизненное право пользоваться всей обстановкой, находящейся в Сомане, которая затем перейдет к Донасьену. Все, что остается сыну, уже оговорено в брачном контракте, и он ничего не собирается изменять. Лакею Барруа и кучеру Франсуа он завещает по двести ливров каждому; сумма эта увеличивается до четырехсот ливров, если окажется, что на день его смерти срок их службы у него составит пятнадцать лет. Остальные слуги получат вознаграждение пропорционально времени, которое они у него прослужили. Наследником всего остального имущества, движимого и недвижимого, «прав, обязательств, договоров и их последствий, настоящих и будущих», назначается и устанавливается его сын Донасьен и его дети, рожденные в законном браке, бессрочно, согласно закону о первородстве «и оказывая предпочтение детям мужского пола перед детьми женского пола»[31].

На деле Донасьен наследует катастрофическое количество долгов. Опутанный долгами, накопленными за последние полвека и поглощавшими львиную долю его годового дохода в восемнадцать тысяч ливров, старик жил скудно и часто за счет великодушных хозяев или хозяек, предоставлявших ему стол и кров... «Каждое путешествие мне стоит денег, а у меня нет ни су», — пишет он незадолго до смерти сестре, настоятельнице монастыря Святого Лаврентия[32].

* * *

«Его неподдельное горе в связи с утратой отца, его волнение полностью примиряют меня с ним. Будьте ему отцом, сударь, лучшего наставника ему не сыскать». Так пишет председательша аббату де Саду неделю спустя после смерти графа[33]. Далее она сообщает о беременности дочери, по срокам равной «двум или более месяцам». Однако она сомневается, что рождение этого ребенка вызовет ту радость, кою должно было бы вызвать.

Отец, похоже, не слишком думает о предстоящем появлении ребенка, — пишет она спустя три месяца. — Он занят более интересными для него вещами, и я боюсь, как бы это не повредило матери, особенно в самом конце, во время родов, ибо если она печалится по этому поводу уже сейчас, то дальше может быть только хуже <...> Как жаль! — добавляет она. — У него есть все задатки, чтобы составить ее счастье, и одновременно всех тех, с кем ему приходится жить. Если бы только он пожелал быть разумным и соблюдать приличия, а не посвящал бы всего себя созданиям, нисколько этого не заслуживающим[34].

Подобные высказывания означают, что г-жа де Монтрей плохо знает не только Донасьена, но и Рене-Пелажи! Требовать от этой инфернальной парочки возврата к добропорядочной жизни, в лоно буржуазного блаженства? Какое безумие! Ослепленная своим абстрактным и обобщенным представлением о правосудии, председательша не может понять, какие узы связывают палача с жертвой. Наслаждение и насилие, соединившиеся воедино, создают между этими двумя созданиями двусмысленную, дикую и нерушимую связь. Ибо если любовник испытыва-

ет наслаждение, лаская жену и одновременно замысливая против нее самые черные козни, то жена млеет от сладострастия и признательности к своему гонителю: добродетель склоняется перед злом и становится его сообщницей. Не считая Рене-Пелажи своим врагом, Донасьен испытывает по отношению к ней своеобразную нежность, кою все тираны испытывают к тем, кто безоговорочно подчиняется их прихотям.

Почести сеньору

Шестнадцатого апреля 1767 года маркиз де Сад наконец производится в капитаны кавалерийского полка и получает приказ как можно скорее прибыть в свою роту[35]. Приказ для де Сада явно несвоевременный, ибо сейчас у него в голове совсем иные планы. Добившись у полкового командира отсрочки, он 20 апреля потихоньку покидает Париж и едет в сторону Лиона, объясняя свое путешествие желанием повидаться с дядей. На самом же деле он едет к Бовуазен, с которой вновь состоит в связи. «Сирена» опять имеет на него влияние и после смерти отца нагло этим пользуется. «Он становится глух, когда говорят о ней», – вздыхает г-жа де Монтрей. Однако, без сомнения, его подруга изменяет ему, ибо он не задерживается на берегах Роны. Пробыв недолго в Сомане, 15 июня он уже разворачивает бурную деятельность в Ла-Косте: принимает завершенные работы, проверяет, как продвигаются те, которые еще не завершены, призывает к себе мэтра Фажа, нотариуса из Апта, чтобы разобраться со счетами, и доводит до сведения общины Ла-Коста, что он, как по традиции положено новому сеньору, намеревается получить оммаж*. 21 июня совет деревни решает заказать заупокойную мессу по опочившему сеньору, графу де Саду, и принести оммаж и изъявление благодарности его наследнику, как положено по обычаю. Однако церемония состоится не раньше 9 августа.

В этот день два консула Ла-Коста, в сопровождении специально избранных для этой цели четырех делегатов и в присутствии мэтра Фажа

> <...> преклонив колени, с непокрытой головой, без перевязей и оружия, принесли оммаж восседавшему в кресле высокородному и могущественному сеньору Луи-Альдонсу Донасьену, маркизу де Саду[36], вложив свои сомкнутые ладони в ладони вышеуказанного сеньора маркиза, который, в знак принятого оммажа, отпустил руки вышеуказанных господ делегатов и консулов и принял от каждого из них поцелуй, положенный обычаем. <...> Вышеупомянутые господа консулы и делегаты <...> также обещали и поклялись, что как они были в прошлом, так и в будущем они будут добрыми, законопослушными и верными вассалами вышеназванного сеньора маркиза и его домашних, станут хранить его тайны, оберегать его от ущерба, всеми честными способами способствовать его процветанию, не будут ему противоречить и уклоняться от его суда <...>[37].

Об этом очень важном дне придется вспомнить, когда мы будем разбирать политические воззрения маркиза де Сада. Процедура при-

* Оммаж – средневековый обряд принесения вассалом клятвы верности сеньору.

несения «клятвы и оммажа» вассала своему сеньору, истоки которой восходят к временам раннего феодализма, во Франции не практиковалась уже, по крайней мере, лет сто, тем более в такой форме, со всеми атрибутами подчинения и почтения, предписанными старинными обрядами. Обычно довольствовались составлением нотариального акта, согласно которому клятва и оммаж считались принятыми. Нередко сам сеньор при этом не присутствовал, а присылал свое доверенное лицо; так, в частности, в 1732 году поступил отец Донасьена. Желание реабилитировать одряхлевший, ставший формальностью обычай и требование к властям коммуны Ла-Коста принять участие в давно позабытом обряде свидетельствуют о необычайной приверженности к феодальному праву. Во всяком случае, подобное пристрастие заставляет задуматься о так называемой «революционности» маркиза.

Отягощающее и одновременно усиливающее «реакционные» позиции де Сада обстоятельство: жители Ла-Коста даже не подумают воспользоваться освобождением от работ, традиционно дарованным им новым сеньором по случаю его «счастливого вступления» во владение. Решительно, его «царство» начинается под недобрым знаком.

Реставрация замка идет полным ходом, хотя новый театральный зал еще не готов. Иных подробностей об этом пребывании Донасьена в Ла-Косте неизвестно, кроме разве того, что он «довольно регулярно» пишет супруге и очень страдает от жары. Насколько «живо» предается он тем развлечениям, кои занимали его в прошлую поездку? — в тревоге задается вопросом председательша. «Полагаю, его состояние более не нуждается в новых потрясениях; прошлые уже успели нанести ему достаточный ущерб», — пишет она аббату[38].

Согласно местной традиции, Донасьен потребовал устроить подобную церемонию и в Апте, «но консулы уклонились, узнав, что их сосед требовал оказания ему почти тех же самых почестей, что и вице-легату, представляющему в Авиньоне Святой Престол»[39].

Перед тем как уехать из Прованса, Сад призывает в Ла-Кост нотариуса Фажа и выражает ему свое удовлетворение; нотариус очень удачно продал различные земельные участки, заключил новые арендные контракты и устроил множество других дел своего клиента. И клиент предлагает ему отныне осуществлять управление его имуществом. Очарованный благородными манерами маркиза, Фаж соглашается, позволив убедить себя, что обязанность эту ему предстоит исполнять всего три года. Однако вскоре он в этом раскается...

* * *

Донасьен возвращается в Париж через несколько дней после родов жены, которая 27 августа 1767 года произвела на свет младенца мужского пола. 24 января следующего года Луи-Жозеф де Бурбон, принц де Конде, и Луиза-Элизабет де Бурбон, вдовствующая принцесса де Конти, держали новорожденного над купелью в часовне дворца Конти. Мальчика назвали Луи-Мари.

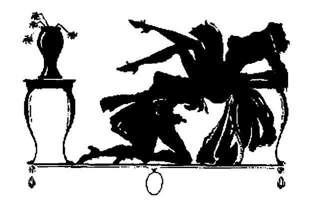
Можно было предположить – и г-жа де Монтрей, несомненно, надеялась на это, – что отцовство образумит нашего маркиза. Но ничего такого не произошло, наоборот, все стало еще хуже. Сразу же по возвращении Сад попал под надзор к Марэ, и уже 16 ноября 1767 года инспектор записал:

Он готов на все, чтобы добиться расположения девицы Ривьер, той, что из Оперы; желая заставить ее жить с ним, он предложил ей двадцать пять луидоров в месяц, с условием, что те дни, когда не будет спектаклей, она будет проводить с ним, в его маленьком домике в Аркее. Девица отказывается, ибо находится на содержании у Окара де Куброна, однако де Сад не прекращает своих преследований; ожидая, когда она наконец падет к нему в объятия, он на этой неделе требует у Бриссо прислать ему к ужину в маленький домик девиц. Примерно представляя, на что он способен, Бриссо ему отказала, и ему придется обратиться к другой, менее щепетильной, сводне или же к тем, кто его не знает, и, без сомнения, мы скоро о нем услышим[40].

Марэ слов на ветер не бросает. Примерно через четыре месяца, в начале февраля 1786 года Сад принимает у себя в Аркее четырех девиц, которых его лакей нашел ему в Сент-Антуанском предместье; он сечет их, потом приглашает ужинать, после чего через лакея передает каждой по луидору; лакей за свои услуги получает экю. По мнению жандармского пристава, в этом факте нет ничего выдающегося: вот уже около полутора лет маркиз устраивает в Аркее скандалы; днем и ночью он привозит туда «особ обоего пола и совершает с ними развратные действия». У него репутация человека «чрезвычайно буйного, способного оскорбить и поколотить любого»[41]. В июне 1767 года он избил кучера наемной кареты, который, привезя к нему девиц, потребовал платы за поездку[42].

* * *

Отныне Донасьен становится жертвой собственного головокружения, слепая сила неумолимо влечет его в пустоту. «Скоро мы услышим, как все будут говорить о мерзостях г-на де Сада», – пророчествует инспектор Марэ.



Глава VIII
АРКЕЙСКОЕ ДЕЛО

Человек с белой муфтой

Пасхальное воскресенье 3 апреля 1768 года, площадь Виктуар, девять часов утра. Некто в сером рединготе прислонился спиной к решетке, окружающей статую Людовика XIV. На боку у незнакомца — охотничий нож, в руке — тросточка и муфта из меха рыси, «нежная и белая», как говорил Ролан Барт, очарованный этим предметом, «оказавшимся здесь конечно же, дабы *подчеркнуть хрупкость*».

Из церкви Пти-Пер выходит какая-то женщина и устраивается на паперти. Ей скоро исполнится тридцать шесть, она уроженка Страсбурга, вдова слуги кондитера по имени Шарль Валантен. Зовут ее Роза Келлер. Прядильщица, она уже месяц не работает и вынуждена попрошайничать. Какой-то случайный прохожий останавливается, дает ей су и идет дальше, следом к нищенке подходит человек с муфтой и обещает экю, если она согласится пойти с ним. Женщина возмущенно отказывается; по-французски она говорит плохо, с сильным немецким акцентом: «Я не та, за кого вы меня принимаете; мне не нужен хлеб, заработанный таким путем». Незнакомец успокаивает ее: это вовсе не то, о чем она подумала; ему всего лишь нужна помощница для ведения хозяйства, ничего больше; она получит плату вперед, ее будут хорошо кормить. Женщина соглашается. Молодой человек ведет ее к новому складу, они поднимаются на третий этаж, в комнату, обставленную мебелью, обитой желтой камкой; на креслах и на кушетке — холщовые чехлы; господин приглашает ее присесть и спрашивает, согласна ли она поехать к нему в загородный дом. Ей все равно, отвечает Роза, — только бы заработать на жизнь. Под предлогом необходимости сделать покупки мужчина покидает ее, пообещав вернуться через час.

Спустя час он действительно возвращается вместе с экипажем, усаживает ее в фиакр, захлопывает деревянные ставни на окошках и велит трогаться с места. После долгого молчания он спрашивает у девицы Келлер, знает ли она, куда они едут. «Откуда мне знать, коли я ничего не вижу?» — последовал ответ. Остаток пути они едут молча; незнакомец, в котором читатель конечно же узнал маркиза де Сада, делает вид, что спит.


FB·2005

Тем временем его лакей Ланглуа прибыл в Аркей в сопровождении двух девиц и устроил их рядом с кухней. Примерно через час экипаж Донасьена останавливается на самой окраине городка. Половина первого пополудни. Поручив заботам кучера некий пакет, господин указывает Розе Келлер на тропинку, которая приводит их к дому на улице Ларденэ[1]. Маркиз предлагает нищенке подождать еще немного, сам входит во двор через главный вход, а для нее изнутри отпирает маленькую зеленую калитку, затем ведет в дом на первый этаж в большой зал и опять просит подождать — пока сам сходит за хлебом и вином. Главное, не скучайте, советует он и запирает за собой дверь на два оборота ключа. Роза Келлер долго сидит одна, погруженная в полумрак. Единственное окошко, выходящее в сад, затянуто изнутри плотным фетром. При слабом дневном свете, с двух сторон сочащемся из-под ткани, можно разглядеть деревянную обшивку стен, две кровати с балдахинами и несколько плетеных стульев.

Пока Роза Келлер оценивающим взглядом рассматривает мебель, Донасьен отправляется к двум девицам, привезенным Ланглуа. Через час он возвращается, держа в руке подсвечник с горящими свечами: «Выходите, милочка». Женщина подчиняется и следует за господином в небольшой кабинет, дверь которого он тотчас запирает. В этой клетушке он приказывает ей снять одежду. «Зачем?» — «Чтобы позабавиться». Она протестует, утверждая, что приехала совсем за другим; он выходит из себя, грозит за неподчинение убить ее и собственноручно закопать в саду, после чего оставляет одну. В ужасе узница начинает раздеваться. Он появляется через несколько минут, обнаженный по пояс, в жилете на голое тело, голова его обвязана белым носовым платком. Увидев, что женщина стоит в рубашке, он приказывает снять и ее. «Уж лучше я умру», — отвечает она. Тогда резким движением он срывает с нее рубашку и вталкивает в соседнюю комнату, где окна задернуты шторами. Посреди комнаты возвышается кровать, покрытая красным ситцем, куда он швыряет Розу Келлер; она падает ничком, и он, как полагают, привязывает ее руки и ноги к углам кровати, а саму прикручивает за талию (что касается последнего, то тут показания расходятся); затем, накрыв ей голову подушкой-валиком, кладет сверху еще и муфту, чтобы заглушить крики. Далее берет пучок розг (или плетку с узелками) и начинает в кровь избивать лежащую; и так несколько раз.

Согласно показаниям жертвы, после порки он маленьким ножичком принялся надрезать ей кожу и лить на раны расплавленный воск, которым запечатывают письма; в общей сложности надрезы и флагелляция чередуются семь или восемь раз подряд. Когда несчастная кричит, он, потрясая кинжалом, клянется убить ее и закопать. Когда же она сдерживает крики, он хлещет ее еще сильнее. Роза заклинает не убивать ее: она еще не была у пасхальной исповеди и не хочет умереть, отягощенная грехами. Он предлагает на роль исповедника себя, даже пытается принудить ее к исповеди. Чем больше жертва взывает к его жалости, тем чаще и сильнее становятся удары. Внезапно он останав-

ливается и, тяжело дыша, забыв обо всем, исторгает из себя жуткие вопли страдания и наслаждения. Мучения подошли к концу.

Он отвязывает Розу Келлер, ведет в кабинет, оставляет там и вскоре возвращается с кувшином воды и тазиком. Она моется и вытирается, оставляя на полотенце широкие кровавые следы, которые Донасьен тут же приказывает замыть. Затем маркиз протягивает бедняге пузырек с прозрачной мазью – протереть все тело. Уже через час на нем не останется никаких следов, уверяет он. Однако мазь причиняет жгучую боль. Пока женщина одевается, он приносит ей тарелку вареного мяса, кусок хлеба, бутылку вина и отводит в комнату на втором этаже и прежде чем снова запереть дверь, приказывает не приближаться к окну и вести себя тихо: тогда вечером пленницу отпустят. «До наступления темноты», – умоляет девица, ведь она не знает, где находится, денег у нее нет, а ночевать на улице опасно. «Об этом не беспокойтесь», – бросает он и уходит.

Оставшись одна, Роза Келлер закрывает дверь на задвижку, собирает с кроватей простыни, с помощью ножа срывает войлок с окна, и, скрутив простыни, привязывает свою самодельную веревку к оконному переплету. Соскользнув в сад, она бежит к глухой стене и, цепляясь за плетущийся виноград, взбирается на нее, сильно ободрав при этом левую руку. Спрыгнув по ту сторону ограды, беглянка оказывается на улице Фонтен. Ланглуа бросается в погоню. Догнав Розу, лакей сует ей в руку кошелек, набитый деньгами, и призывает вернуться: хозяин хочет поговорить с ней. Но она отталкивает Ланглуа и бежит дальше, растрепанная, в рубашке, превратившейся в лохмотья. По дороге ей встречается местная жительница, Маргарита Сиденье. Страдалица, рыдая, бросается к ней и рассказывает о своих несчастьях. Подходят еще две местные кумушки: Понтье и Бажу. В ужасе от услышанного, они заводят ее во двор, стягивают с нее лохмотья и действительно видят на коже кровоточащие порезы, от «поясницы до самых колен». Кумушки промывают ее раны лавандовой водой и отводят к главному поверенному округа, который отсылает их в дом Шарля Ламбера – нотариуса и секретаря суда Аркейского бальяжа. Там их встречает жена нотариуса Мари-Луиза Жуэт. Роза Келлер еще раз повторяет ей свою историю, однако чрезмерно чувствительная женщина не в силах дослушать ее до конца: она вынуждена удалиться. Так как бальи отсутствует, посылают за жандармским приставом Жерсаном де Лабернардьером. Около восьми вечера он снимает показания жертвы и отправляет ее на освидетельствование к хирургу Пьеру Полю Леконту, который, осмотрев несчастную, составляет следующий отчет: «Вся поверхность ягодиц и часть спины носят следы розог и царапин острым предметом, вдоль позвоночника – выраженный протяженный след от ушиба, а также ссадины», нанесенные, по его мнению, «каким-то тупым режущим предметом». С наступлением темноты мадам Ламбер просит одну из соседок приютить несчастную. Розу Келлер отводят в хлев и устраивают на ночь. Утром супруга нотариуса забирает ее к себе в дом.

Тем временем маркиз, распрощавшись со своим садовником, около шести часов возвращается в Париж, на улицу Нев-дю-Люксамбур[2].

Посредники

Пока полиция Аркея продолжает расследование, перенесемся в жилище Монтреев, где царит необычайное волнение. Неужели Донасьен признался домашним? Или же прево Иль-де-Франса потихоньку предупредил г-на де Монтрея? Как бы там ни было, на улице Нев-дю-Люксамбур объявлена боевая тревога, и председательша, как всегда исполненная решимости, похоже, готова бороться до конца за спасение чести дочери. Положение, разумеется, критическое, но отчаиваться рано. Не теряя ни минуты, она берет руководство операцией на себя.

Цель первая: получить у короля приказ о тайном аресте зятя, дабы избавить его от обычной правовой процедуры. Для этого г-же де Монтрей нужны связи мужа. Выведенный из привычного состояния апатии, он подключается к кампании, оживляя все требуемые знакомства. Цель вторая: добиться от Розы Келлер отказа от показаний. В четверг 7 апреля г-жа де Монтрей призывает двух своих доверенных людей: Соие, придворного прокурора, и аббата Амбле, бывшего наставника Донасьена, оставшегося ближайшим советником семьи. Их задача — съездить в Аркей, повидаться с девицей, уговорить ее забрать жалобу и, если надобно, заплатить. Однако все следует делать быстро: время не ждет.

Выйдя из дома председательши, они садятся в карету и направляются в Аркей. Прибыв в дом, где все еще находится Роза Келлер, они изъявляют желание повидаться с ней. Она принимает их лежа на кровати, ибо, по ее словам, не может сидеть и, видимо, никогда больше «не выздоровеет полностью». Соие спрашивает, согласна ли она забрать жалобу и сколько за это хочет. Ей нужно тысячу экю (три тысячи ливров), и ни су меньше. Соие взвивается: три тысячи ливров?! Да это целое состояние! Даже если она сумеет доказать обоснованность своих обвинений, правосудие никогда не присудит ей такой суммы компенсации. И он пытается изменить сумму, однако Роза Келлер упорно отвергает все предложения: три тысячи ливров или ничего; платить или не платить — его дело. Видя ее упрямство, прокурор и аббат Амбле удаляются на совещание. Вернувшись, Соие предлагает ей тысячу восемьсот ливров. Снова отказ, и снова попытки переубедить ее. Наконец, она готова уступить, но не меньше чем за две тысячи четыреста ливров. Находя, что это также слишком дорого, посредники возвращаются в Париж, чтобы посоветоваться с председательшей. Г-жа де Монтрей без промедления отсылает их обратно, велев договориться во что бы то ни стало. Вернувшись в замок, они застают Розу Келлер сидящей на постели и оживленно болтающей с кумушками. «Вот видите, не так уж вы больны, — замечает прокурор, — и судя по всему, скоро выздоровеете». Наконец, в присутствии Ламбера и многочисленных свидетелей, подписывается отказ от жалобы; затем девице вручаются обещан-

ные две тысячи четыреста ливров на выздоровление и еще семь луидоров «на лекарства и повязки».

Узник короля

На следующий день, 8 апреля, приходит приказ короля «арестовать и препроводить в замок Сомюр графа де Сада». В это же самое время министр Королевского дома информирует г-на дю Пти-Туара, коменданта Сомюра, что к нему вскоре поступит узник, которого следует содержать «в строгости, ни под каким видом не выпускать за ограду крепости». Действительно, сейчас главное — спрятать де Сада ото всех. У Монтреев с облегчением вздыхают: отныне Донасьен — узник короля, и скандала не будет; по крайней мере, они так думают.

Остается только уничтожить вещественные доказательства: розги, веревки и прочие компрометирующие предметы и бумаги. Девятого апреля, под предлогом оплаты счетов садовника, аббат Амбле отправляется в домик в Аркее и возвращается оттуда с множеством свертков: это всего лишь серебряная посуда и эстампы, которые г-жа де Сад попросила его привезти, — объяснит он потом. В самом же доме он не заметил ничего из ряда вон выходящего. Теперь все чисто: полиция может устраивать обыск.

Десятого апреля Донасьен на почтовых лошадях следует к месту своего заключения. Дабы не вызвать пересудов, семья добивается разрешения, чтобы сопровождал его туда аббат Амбле, а не полицейский эскорт. Но вместо того, чтобы свернуть к Луаре, Донасьен выбирает направление на Бургундию и останавливается в Жуаньи, расположенном на пути не к Сомюру, а к Лиону. Неужели он намеревается не подчиниться приказу короля и спрятаться у себя в Ла-Косте? Вполне возможно, ибо иначе этот странный маршрут объяснить никак нельзя. Впрочем, де Сад быстро отказывается от своего намерения — скорей всего благодаря уговорам наставника[3]. Тот, похоже, сумел убедить своего подопечного, что королевский указ равен помилованию, ибо в противном случае ему бы наверняка пришлось предстать перед уголовным судом, несомненно, приговорившим бы его к тюремному заключению в одной из темниц Его Величества. В кои-то веки вняв голосу разума, Донасьен меняет курс и направляется в Сомюр. Однако, прежде чем покинуть Жуаньи, пишет письмо дяде, где рассказывает обо всем, что произошло:

Дорогой дядюшка, приключилось несчастье: меня арестовали и сейчас я на пути в крепость Сомюр. Семья намерена хлопотать за меня и добиваться моего освобождения. Она уже добилась того, что к месту заключения меня сопровождает аббат Амбле, он Вам расскажет мою историю в подробностях. Памятуя о несчастьях, обрушившихся на меня со всех сторон, подарите мне свое прощение за те ошибки, что совершил я по отношению к Вам, и будьте, дорогой дядюшка, ко мне более снисходительны, нежели мстительны, хотя я и заслуживаю Вашей мести. Если в наших краях обо мне станут ходить дурные слухи, скажите, что все это ложь, а я нахожусь у себя в полку, куда по просьбе семьи мне пришлось отбыть, чтобы уладить кое-какие дела[4].

Козел отпущения

Когда ворота крепости Сомюр захлопнулись за обвиняемым, в Парижском парламенте разразился скандал. 15 апреля 1768 года, во время заседания уголовной комиссии, один из членов ее, чье имя осталось неизвестным, извещает своих коллег «об ужасном преступлении, произошедшем в Аркее», и посвящает их в некоторые его детали. После обсуждения комиссия постановляет немедленно направить запрос королевскому прокурору, дабы известить двор о возбуждении дела по данному факту. В последующие дни парламент приказывает местным органам правосудия передать дело в его ведение, оно поступает в палату Турнель парламента, и та тотчас учреждает подробное расследование и издает указ об аресте обвиняемого. Все усилия председательши терпят крах: аркейское дело становится достоянием гласности и скандал неизбежен. За решением парламента видится рука его первого председателя, Шарля Огюстена де Мопу, воспользовавшегося случаем, чтобы отомстить своему давнему врагу, Кордье де Монтрею. Новость порождает оживление среди общественности и всеобщую апатию в семействе. Арестованный по приказу короля, Донасьен находится вне досягаемости закона; очутившись между шестеренок обычной судебной машины, его судьба зависит теперь лишь от доброй воли монарха. Как только Парижский парламент возьмет дело в свои руки, следует опасаться самого худшего.

* * *

Мы нисколько не собираемся оправдывать проступки маркиза де Сада или преуменьшать их тяжесть, как это делает, например, Морис Эн, говоря в связи с аркейским делом, что речь шла о простой «порке по ягодицам», или Жильбер Лели, намекающий на «недоказанность самого факта». Отхлестать беззащитную женщину само по себе является поступком отвратительным, каковы бы ни были причины, побудившие ее мучителя сделать это. Сочинения де Сада, во много раз кровожаднее, оправданы по праву фантазии и свободы, присущей любым творениям духа, однако поведение конкретного индивида судится по совершенно иным законам. Но нельзя отрицать, что при Старом порядке, в случае если обвиняемый принадлежал к родовитому дворянству, подобные деяния обычно оценивались как «происшествие». Каждый день знатные сеньоры причиняли мучения женщинам, как продажным, так и порядочным, единственно ради удовлетворения собственной чувственности, нисколько не заботясь о последствиях: высокородность служила им индульгенцией. В конечном счете, в эпоху, когда розги составляли часть воспитательной системы, когда те же самые сеньоры уже в коллежах привыкали испытывать болезненное наслаждение от порки, когда использование розог было освящено религией, а в монастырях бытовал обычай добровольного умерщвления плоти, можно задаться вопросом, могла ли порка, пусть даже причиненная с целью возбуждения сладострастия, являться столь же су-

ровым преступлением, каковой она является в наши дни. Уважение к человеческой личности и социальная эволюция положения женщины глубочайшим образом изменили нашу мораль и отношение к женщине.

С другой стороны, была ли проститутка такой же женщиной, как и все остальные? Разумеется, нет; даже в эту эпоху разнузданного либертинажа делали различие между куртизанкой, девицей из Оперы, находившейся на содержании и пользовавшейся определенным уважением, и ученицей Пафоса*, которую любой мог заставить делать все, что ему заблагорассудится, в том числе и подвергнуть порке розгами. Так как Роза Келлер была для Сада вульгарной шлюхой, подобранной на улице, он не считал нужным скрывать свои капризы: разве ей платили не именно за это?

Такое уважение к этим презренным созданиям проявляют только в Париже и Лондоне, – писал он позднее. – Если в Риме, Венеции, Неаполе или Варшаве они дерзают пожаловаться в суд, их тотчас спрашивают, заплатили им или нет. Если не заплатили, суд требует возместить убыток; это справедливо. Если же им заплатили и они жалуются только на дурное обращение, их грозят запереть в тюрьму, дабы они не терзали уши судей своими гнусностями. Меняйте ремесло, – отвечают им, – а ежели не хотите, терпите связанные с ним неприятности[5].

Столь пуританский взгляд на проституцию достоин лишь удивления. Тем более что проистекает он отнюдь не из неприязненного отношения к данному явлению. Сад всегда выражал крайнее презрение к публичным женщинам и бурно упрекал Сартина за то, что тот имел глупость придавать значение свидетельствам падших созданий; также он жаловался на излишнее, по его мнению, доверие, коим они пользовались в глазах полиции:

Можно предаваться любым злоупотреблениям и совершать любые нечестивые поступки, главное – с уважением относиться к задницам шлюх; впрочем, тут все просто: шлюхи платят, а мы не платим. Когда я выйду на свободу, я таким же образом попытаюсь завоевать доверие полиции: у меня задница как у шлюхи, и мне будет очень приятно, коли ее будут уважать[6].

* * *

Парламент занялся аркейским делом не столько потому, что расценивал его как «преступление», сколько из-за личности виновника, в частности, из-за его знатного происхождения. Общественное мнение, эта совершенно новая сила, с которой слабеющая центральная власть все чаще вынуждена считаться, уже давно возмущается безнаказанностью или, по крайней мере, необычайной снисходительностью, проявляемой правосудием по отношению к сексуальным насилиям, совершаемым дворянами. Устав смотреть, как господа благополучно избегают наказаний, оно потребовало показательного процесса, и теперь на заклание отдают маркиза де Сада. Г-жа де Сен-Жермен прекрасно это поняла, и страхи ее за свое дорогое «дитя» умножились.

* Пафос – в античности носитель страсти, порождающей деяние, связанное со страданием, а также само страдание.

Он является жертвой жестокой публики, – писала она аббату де Саду. – К его делу собираются пристегнуть дело де Фронсака и некоторых других. Что поделаешь, последние десять лет наши придворные действительно творят непостижимые мерзости. Теперь, видимо, им сделают внушение[7].

Потребность в козле отпущения очевидна. Но почему Донасьен де Сад, а не кто-нибудь иной? Для этого есть ряд причин. Прежде всего, означенный Сад никогда не скрывал своих пристрастий; напротив, обладая врожденным стремлением провоцировать окружающих, он выставляет напоказ свои пороки почти под самым носом у полиции, впрочем, прекрасно осведомленной о его подвигах. Мы уже упоминали, и не без основания, желание де Мопу исподтишка насолить зятю своего врага. Наверняка он приложил руку к этому делу. Следует прибавить и еще один факт, на первый взгляд незначительный, однако в действительности имеющий принципиальное значение. По несчастливому стечению обстоятельств у Луи-Поля Пинона, председателя уголовной палаты Турнеля, также имеется загородный домик в Аркее, и в момент драмы он как раз находился в нем, отчего, по словам книгопродавца Арди, исполнился «самого благородного негодования».

Есть и еще одно основание, до сего времени практически не принимавшееся во внимание. Мы говорим о давней тяжбе, противопоставившей отца маркиза двору Людовика XV. Подозрения, так и не снятые с экс-посланника Франции в Кельне, его враждебные выпады против королевской любовницы, его плохо скрываемое презрение к министрам и придворным, его репутация проходимца, хуже того – проходимца падшего и разоренного, – все это является частью совсем недавнего прошлого, которое еще помнят в кулуарах власти. И если король, похоже, не питал к сыну такой же неприязни, как к отцу, то другие придворные отнюдь не обладали благодушием суверена. Людовика скорее всего действительно не заботило ни отсутствие Донасьена в Версале, куда тот не давал себе труда являться, ни его неявка на подписание собственного брачного контракта, ни его фактический отказ от чести пользоваться королевской каретой. Но придворные видели подобное небрежение и все запоминали.

В отличие от Мориса Эна и Жильбера Лели, приписывающих де Саду могущественных покровителей, мы убеждены, что к началу аркейского дела, Донасьен де Сад уже был тем одиночкой, каковым оставался далее на протяжении всей своей жизни: человеком без друзей, союзников, без каких-либо уз, соединявших его с обществом. Он не принадлежит ни к одной группировке, не входит в состав ни одного клана и в любых обстоятельствах остается один, даже когда предается сладострастию. В противоположность Фронсаку, Жокуру и другим модным либертенам, Сад культивирует «удовольствие без общения». Не считая лакеев, служащих ему то сводниками, то партнерами, мы не знаем никого, кто мог бы считаться его товарищем по распутным похождениям.

При Старом порядке, когда в основе общества находились преимущественно групповые и родственные связи, он являл собой воплощение одиночества. А репутация клана Конде, принадлежностью к которому он похвалялся, оказалась настолько подмоченной, что никто из этого

семейства не в состоянии прийти ему на помощь: заявлением, что он один из них, можно лишь еще больше его дискредитировать. Но если принцев крови щадят по причине высокого положения, то на их сообщников обрушиваются безо всякой жалости, особенно на тех, кто на виду. Уже в 1765 году давняя приятельница графа де Сада, г-жа де Франш, писала о Донасьене: «Сегодня мне кажется, что его отношения с Конде уже не являются привилегированными; он слишком плохо их поддерживает»[8]. В обществе он действительно занимает обособленное положение по отношению к остальным дворянам; подобное положение занимал его отец, и, быть может, он отчасти унаследовал его. Если в провинции его по-прежнему почитают как крупного феодального сеньора, то в Париже он, в сущности, никто. Союз с дочерью судейского председателя веса ему также не прибавил, ибо, как говорится, если «гусь может облагородить свинью», то наоборот происходит крайне редко. Таким образом, для судебных властей, торопящихся отдать на растерзание общественному мнению какого-нибудь аристократа, кандидатура де Сада просто подарок. Не нужно опасаться, что на защиту обвиняемого встанет влиятельное семейство или всесильный покровитель, что кто-нибудь напомнит о древности его рода или о героических деяниях его далеких предков и тем самым вырвет из рук закона карающий меч: человека, порвавшего со своей средой, исключенного из своего клана, не обладающего кредитом доверия и не умеющего приспосабливаться, не станет поддерживать никто. У покинутого своими собратьями по классу Донасьена есть только один союзник — король. Подписав приказ об аресте, на основании которого его заключили в Сомюр, монарх вырвал де Сада из когтей парламента. И теперь, когда парламент вплотную занялся его делом, спасение его вновь зависит только от королевского великодушия.

Справедливо встревоженная оборотом, который стало принимать дело, семья бьет тревогу, призывая на помощь всех родных и друзей. Председатель де Монтрей, сделавший все, «чтобы избежать последствий этого происшествия», умоляет аббата де Сада приехать в Париж и встать на защиту племянника. Как будто этот почтенный завсегдатай борделей пользуется хоть каким-то влиянием! Обращаются к герцогу де Монпеза, выразившему «живейшее сочувствие» несчастному, а также к г-же де Вильнев, желая с ее помощью ускорить прибытие дядюшки Донасьена, этого клиента проститутки Гусенка, возведенного в ранг спасителя, посланного самим Провидением. Да, есть над чем посмеяться. «Ваш племянник должен быть счастлив, ибо он женат на женщине, чьи родственники имеют отношение к парламенту», — ободряюще добавляет Монпеза.

Расследование

Как только бумаги по делу, начатому в Аркее, попадают в уголовную палату Парижского парламента, скандальные подробности происшедшего становятся достоянием гласности. 19 апреля издается при-

каз задержать Донасьена и препроводить в Консьержери, а на его имущество налагается арест; в это же время двое придворных хирургов снова осматривают Розу Келлер и в течение двадцати четырех часов составляют заключение о «ее нынешнем состоянии, причинах и последствиях ее ранений». Предупреждены ли уже в палате Турнель о королевском указе? Скорей всего, нет, ибо обе правоохранительные системы, королевская и парламентская, сосуществуют параллельно, и первая вовсе не обязана отчитываться о своих действиях перед второй. 20 апреля в квартире маркиза, расположенной в доме председателя де Монтрея на улице Нев-дю-Люксамбур, проводится обыск. В отсутствие обвиняемого, не появлявшегося здесь уже двенадцать дней, судебный пристав оставляет у привратника копию акта о задержании, а также предписание обвиняемому предстать перед судом в двухнедельный срок. Имущество маркиза не описывают, так как обстановка в его квартире является собственностью г-на де Монтрея. В тот же день в семь часов утра два советника парламента отправляются в деревню Аркей для составления протокола, касающегося дома, занимаемого маркизом. Они добросовестно обходят каждую комнату, роются в ящиках, трясут подушки, сдергивают матрасы, однако не находят ничего необычного: столовое и постельное белье, свечи, шнуры для штор, безделушки из слоновой кости. Взор их привлекает запертый на ключ секретер; призывают слесаря, чтобы открыть его; внутри оказываются «два кусочка зеленого воска, большой письменный прибор и маленькая картонная коробочка». В погребе стоят «пустая бутылка из-под вина, бутылка уксуса, несколько початых бутылок вина». Никаких следов, свидетельствующих о том, что произошло здесь 3 апреля. Но мы знаем, что в доме уже побывал верный Амбле.

На следующий день, 21 апреля, начинают заслушивать показания Розы Келлер и свидетелей: женщин Понтье, Ламбер, Бажу, Сиденье, прокурора Соие, аббата Амбле... Священник, коему уже сравнялось пятьдесят три года, остался другом дома своего бывшего ученика. При Старом порядке звание это, по сути, обозначало *слугу* дома, поэтому он, как и прежде, получает ежегодную пенсию в пятьсот ливров[9]. Так что его показания, воспроизводимые нами дословно, в форме прямой речи, лишены даже минимальной достоверности; в них звучит исключительно голос верного слуги.

Я знаю де Сада с самого детства, — вспоминает священник, — ибо мне было поручено его воспитание. Я знал, что он отличается пылким темпераментом, побуждавшим его постоянно стремиться к удовольствиям, но сердце у него всегда было доброе, и он был далек от тех гнусностей, которые приписывает ему жалобщица. В коллеже товарищи любили его, равно как и в различных воинских частях, где он служил. Я видел, как он занимался благотворительностью, совершал глубоко человечные поступки, например, по отношению к столяру по имени Мулен, умершему в прошлом году после продолжительной болезни, во время которой мой воспитанник ухаживал за ним. Несчастный оставил после себя много детей, и де Сад взял одного из них на содержание и платит ему пенсию. Поэтому я не могу поверить тем мерзостям, в которых его обвиняют.

Так как ни в одном другом документе нет упоминаний ни о столяре, ни о его ребенке, можно прийти к выводу, что эту историю аббат просто выдумал. О том же, что его бывший воспитанник отбыл в Сомюр и он лично сопровождал его, наставник не обмолвился ни словом.

* * *

Допрос обвиняемого состоится только через три месяца, одновременно с подписанием помилования. Зная, что ему уже нечего бояться, де Сад не старался скрыть подробности. Во всяком случае, такое возможно. Его версия противоречит показаниям жертвы, по крайней мере, по двум основным вопросам:

Во-первых. Неужели Роза Келлер действительно думала — как она неустанно твердила всюду, — что маркиз собирается предложить ей честную работу? Не занималась ли она и в самом деле проституцией, как станет утверждать маркиз? Но, признав себя проституткой, она рисковала угодить в тюрьму Форс. Желая избежать тюрьмы, многие девицы легкого поведения называли себя безработными, и можно предположить, что вдова Валантен поступила так же. Не исключено, разумеется, что она принадлежала к армии проституток «по случаю», женщинам, занимавшимся развратом время от времени, в качестве дополнительного, сверх основного ремесла, заработка[10]. Звучит кощунственно, но посещение церкви Пти-Пер, возле которой де Сад «подцепил» ее, соответствует гипотезе о занятиях проституцией. Эта церковь действительно слыла местом, где чаще всего, особенно по воскресеньям и в праздничные дни, женщины вольного поведения выслеживали «клиентов».

> Там всегда полно красоток, выставляющих напоказ свои прелести и готовых отдаться за определенную плату, — отмечает инспектор Марэ. — Как только кто-нибудь заглотит наживку, они тут же бегут из храма Божьего, чтобы заняться делами мирскими»[11].

В тот день Роза Келлер, не найдя того, кто бы «заглотил крючок», возможно, решила поискать удачи на паперти рядом с площадью Виктуар.

Во-вторых. По словам Розы Келлер, маркиз привязал ее к кровати, а потом стал бить розгами и палкой, прерывая битье только для того, чтобы сделать надрезы «скальпелем или перочинным ножиком» и полить их красным и белым воском. Сад признает, что уложил ее на кровать, но не привязывал, и бил ее веревкой с узлами, а не розгами и уж тем более не палкой. Авторство порезов он полностью отвергает: он всего лишь прикладывал к различным участкам тела маленькие лепешки из мази с белым воском, чтобы залечить ее раны. Оба утверждения взаимосвязаны, ибо ощущения жертвы, и следы, увиденные врачом, зависят от использованного инструмента. Напомним только, что, лежа на животе, жертва не могла видеть происходящего у нее за спиной. Хирург Леконт, осмотревший ее в тот день, когда разыгралась драма, 23 апреля был вызван в суд и подробно допрошен; суд интере-

совали прежде всего порезы: протяженность, вид, глубина и т. п. Ответы хирурга явно не совпадают с первым его заявлением:

Под ссадинами он подразумевал эпидермис, снятый с различных участков ягодиц и части поясницы. Повреждения, на его взгляд, являлись, скорей всего, следами розог; порезов он не заметил, а видел только содранную кожу <...>.

На вопрос, видел ли он синяки, которые, на его взгляд, были бы следами от ударов палкой, он ответил, что видел всего два следа чуть повыше поясницы, на позвоночнике; кровоподтеков не было, только покраснения.

На вопрос, сколько было ссадин, он ответил, что около дюжины, и они напоминали царапины.

На вопрос, какого размеры были эти ссадины, он ответил, что они по величине и по форме были равны монете в шесть су, но поврежден был только эпидермис.

На вопрос, не показалась ли ему странной круговая форма ссадин, о которых он сообщил в своем отчете для жандармерии, написав, что вышеуказанная женщина была поцарапана режущим орудием и побита длинной и прочной палкой по спине, вдоль позвоночника, он ответил, что не знает, каким инструментом были нанесены царапины, но они были круговые, а слова «длинный и прочный», содержащиеся в его отчете, оставшемся в полиции, относятся к орудию, с помощью которого были нанесены синяки, а не ссадины.

На вопрос, видел ли он следы ожогов на теле вышеуказанной женщины, он ответил, что нет; вышеуказанная женщина жаловалась, что на нее лили расплавленный красный и белый воск, но он не нашел ни единого следа красного воска, ни единого ожога, свидетельствовавшего бы о том, что на ссадины лили испанский воск, а обнаружил только несколько капель белого воска на спине, кои капли, совершенно очевидно, не могли вызвать ожогов.

На вопрос, видел ли он следы веревок на руках и на ногах, а также на теле, он ответил, что нет.

Этот текст мы решили привести подробно, ибо именно ножевые порезы произвели на публику наибольшее впечатление. Если предположить, что хирург не был подкуплен семейством (г-жа де Монтрей вполне была способна заключить с ним такой же договор, какой она заключила с Розой Келлер), значит, его показания свидетельствуют в пользу маркиза, по крайней мере, по следующим пунктам: во-первых, жертва не была связана, и во-вторых, круговая форма и внешний вид ссадин говорят о том, что они были причинены узлами плетки, а не лезвием ножика.

Пятна от воска были не красные, а белые. Различие важное, так как красный воск, служивший для запечатывания писем, содержит шеллак и скипидар, которые, попадая на кожу горячими, мгновенно прожигают ее, в то время как белый пчелиный воск совершенно безвреден, даже расплавленный. Но каким образом объяснить появление капелек воска на спине Розы Келлер? По словам маркиза де Сада, это был воск, входивший в состав мази, которой тот намазал свою жертву, «желая исцелить ее раны». Средство известное: примочки из масла и пчелиного воска еще в античности использовались для ускорения заживления ран, трещин и ожогов. Но также можно предположить, что это были капли воска со свечи флагелланта.

Остаются розги или веревки. Разве этого мало? — могут сказать. Разумеется, вполне достаточно, и, как мы уже говорили, в наши наме-

рения не входит амнистия маркиза. Но здесь, как и в деле Жанны Тестар, следует констатировать, что мучения были главным образом вымышленными, нежели реальными. Де Саду удалось внушить страх несчастной, убедив ее, что если она не подчинится, то не выйдет от него живой, ибо он разрежет ее на кусочки; страх жертвы доставлял ему наслаждение. Извращение состоит не в том, чтобы заставить страдать, а в том, чтобы внушить страх.

Пьер-Ансиз

Пока в Сомюрской крепости Донасьен — к коему все относятся с большим почтением — спокойно ждет дальнейшего развития событий, семейство Монтрей пытается добиться его перевода в более надежное место. 23 апреля министр Королевского дома просит де Бори, коменданта крепости Пьер-Ансиз, что возле Лиона, принять нового заключенного:

Король желает, чтобы он не покидал своей камеры и не вступал в контакты с другими узниками. Когда ему будет необходимо погулять и подышать воздухом, вам надлежит принять должные меры и приставить к нему сопровождение. В настоящее время у него развивается свищ, и ему нужны лекарства, выписанные доктором Брассоном; ежели он пожелает посоветоваться с хирургами из Лиона, помогите ему сделать это; также надобно прислать к нему слугу, обладающего навыком делать перевязки, которые необходимо менять утром и вечером. Слуга этот также не должен покидать пределов крепости[12].

Когда же маркиза просит, чтобы мужу ее дозволили выходить на прогулки в стенах крепости, тот же самый министр присылает ей отказ, мотивированный по всей форме, из которого можно понять, что заключение в крепость Пьер-Ансиз является всего лишь способом отобрать обвиняемого у уголовной палаты[13].

Что касается свободы передвижения в стенах крепости, — разъясняет граф де Сен-Флорантен, — то, полагаю, предоставить ее совершенно невозможно, особенно после того, как парламент взял дело в свои руки и, несомненно, потребует выдачи Вашего супруга, если кто-нибудь увидит, как он вольно разгуливает по крепости и общается с посещающими ее людьми[14].

Инспектор Марэ, коему было поручено сопровождать Сада при переезде, прибыл в Сомюр в последние дни апреля и обнаружил, что на территории крепости узник пользуется полной свободой и обедает за столом коменданта. Чрезвычайно удивившись при виде полицейского, Донасьен, узнав, в чем суть его миссии, и вовсе изумился. Он спрашивает, в чем причина подобного изменения. Марэ объясняет, что его делом занялся Парижский парламент и надо

<...> сделать вид, что мы предупредили наказание, коего заслуживает его сумасбродная выходка, и таким образом смягчить трибунал и склонить его членов принять решение в его пользу; в остальном же ему не о чем беспокоиться, ибо в Пьер-Ансизе с ним будут обращаться так же, как в Сомюре; просто Сомюрская крепость славится излишне мягким режимом.

Явно довольный таким ответом, пленник послушно позволяет препроводить себя на новое место заключения. Во время переезда он долго пересказывает свою историю, уверяя Марэ, что всего лишь отхлестал девку плеткой и ему даже в голову не приходило резать ее. «Он просто представить себе не может, что побудило это создание подать на него такую жалобу, и убежден, что, если парламент прикажет осмотреть ее опытным хирургам, ни единого следа от шрамов обнаружено не будет». Поэтому он ни в чем не раскаивается и сожалеет только о том, что ему приходится сидеть в заточении. «В глубине души он все тот же», — поясняет полицейский, передавая отчет о поездке с де Садом министру Сен-Флорантену. Из этого же отчета мы узнаем, что, несмотря на принятые меры предосторожности, все уже в курсе злосчастных похождений де Сада и в Сомюре, и в Лионе, и в Мулэне, и в Дижоне: «это нынче самый злободневный сюжет»[15].

Тем временем судебная машина, запущенная в ход Мопу и председателем Пиноном, продолжает набирать обороты. Седьмого мая суд объявляет де Сада неявившимся, ибо тот — по вполне понятной причине — не счел нужным явиться в отведенные ему две недели, и вновь постановляет вызвать его, теперь уже «публично», дабы он через неделю явился в суд. Одиннадцатого мая обвиняемый по-прежнему отсутствует, и двое «присяжных трубачей Его Величества» отправляются трубить возле дома председателя де Монтрея, у позорного столба на Центральном рынке, у большой лестницы Дворца Правосудия и «в других подобающих такому случаю местах города Парижа»; следом за трубачами наступает очередь мэтра Филиппа Руво, «единственного присяжного глашатая короля», который «громко и понятно» выкрикивает приказ, адресованный сьеру де Саду, «ныне отсутствующему и находящемуся в бегах», явиться лично в восьмидневный срок «в тюрьму Консьержери», дабы там его «выслушали и допросили». «Если обвиняемый и на этот раз не явится, процесс его пойдет своим чередом без его присутствия и приговор будет вынесен заочно». Неужели в палате Турнель до сих пор неизвестно о королевском приказе? Маловероятно. Скорей всего, в ней просто делают вид, что не знают о нем, дабы без помех соблюсти все положенные при задержании процедуры. «Парламент считает, что режим в королевских тюрьмах для узников слишком мягкий», — замечает адвокат Симеон. Первого июня Сад вновь объявлен неявившимся.

Полное оправдание

Снова родственники де Сада со стороны жены множат демарши, включают в ход все связи, в том числе и самые высокопоставленные, дабы получить оправдательную грамоту. Эта форма помилования, полностью перечеркивающая преступление и освобождающая виновного от наказания, даруется только королем, единственным судьей, имеющим право карать и миловать по своему усмотрению. Она дается при преступлениях, не подлежащих помилованию, и должна быть непре-

менно одобрена двором[16]. 3 июня, после нескольких недель ходатайств перед монархом и его министром, пресловутая грамота наконец поступает в уголовную палату парламента, в то время как начальник полиции получает приказ перевести заключенного из крепости Пьер-Ансиз в Консьержери, дабы там ратифицировать полученный документ и тотчас отправить арестованного обратно в крепость.

Десятого июня Донасьен Альфонс Франсуа де Сад предстает перед судом, коленопреклоненный и с обнаженной головой, как велит обычай; затем, как принято, его дважды подвергают допросу: первый допрос происходит в стенах тюрьмы, второй – на скамье подсудимых в совещательной палате суда. Принеся присягу, маркиз признает основные факты, однако подает их в совершенно ином, нежели жертва, свете, о чем мы уже говорили выше. Выслушав его показания, уголовная палата Турнель складывает с себя полномочия по делу и передает их Большой палате, единственному органу, уполномоченному ратифицировать королевские оправдательные грамоты. Эта палата собирается в тот же день под председательством Мопу и утверждает решение монарха, что для де Сада означает немедленное прекращение судебного расследования; палата лишь приговаривает свежеосвобожденного «пожертвовать сумму в сто ливров на хлеб узникам Консьержери».

И вновь председательша может похвастаться тем, что вытащила зятя из гнусной истории и спасла честь семьи. Следующие два дня она посвящает благодарственным визитам, а на третий сообщает аббату де Саду о благополучном завершении неприятной истории:

> Дело Вашего племянника, сударь, сведено на нет и, как я уже имела честь сообщить Вам, сударь, в суде не рассматривалось и рассматриваться не будет; проступок был не настолько тяжким, чтобы повлечь за собой наказание. Король пожаловал де Саду оправдательную грамоту, согласно которой поданная на него жалоба, заведенное дело и прочие постановления отменяются и почитаются не имевшими места. С дозволения короля зять мой прибыл в Париж утвердить эту грамоту в парламенте; утверждение состоялось в прошлую пятницу, на собрании двух палат (привилегия, оказанная его высокому рождению), и нужное решение было принято единогласно, без единого возражения. Надо понимать, что теперь мы обязаны председателям обеих палат, ибо при проведении надлежащей процедуры они были на высоте и все проделали с подобающим почтением. Донасьен тотчас вернулся в Пьер-Ансиз, где пробудет столько, сколько королю будет угодно его там продержать. <...> Дурной поступок, заслуживший всеобщее неодобрение, к чести нашей, последствий не возымел, и все завершилось наилучшим образом[17].

На следующий день после суда Донасьен вновь отправлен в крепость Пьер-Ансиз, где ему предоставлена относительная свобода: возможность гулять, однако под надзором, дабы он не установил контакты с внешним миром и не сбежал. К концу июля в Лион приезжает жена маркиза и получает разрешение на свидания с ним. В принципе, она имеет право видеться с мужем не более двух-трех раз за все время его заключения. Но так как срок его заточения пока не определен, а комендант Бори отличается снисходительностью, она пользуется правом свиданий достаточно часто, надеясь найти способ помочь узнику выйти из крепости. Все усилия семьи также направлены в эту сторону. Даже мать за-

ключенного, старая вдовствующая графиня де Сад, из своего уединения ходатайствует перед Сен-Флорантеном об освобождении сына. Если его освободят, он обязуется отправиться в свои владения в провинции и не вернется в Париж, пока не разрешит Его Величество.

Шестнадцатого ноября 1768 года после семимесячного заточения маркиз по приказу короля отпущен на свободу; тем не менее ему рекомендуется удалиться к себе в замок Ла-Кост: «В дальнейшем его свобода передвижения будет зависеть исключительно от его поведения; дабы исправить прошлое, он должен перестать привлекать к своим поступкам излишнее внимание». Таково предупреждение министра Королевского дома вдовствующей графине де Сад, сделанное накануне освобождения Донасьена из-под стражи.

«Препоручаю его вам...»

Вначале маркиза должна была следовать за мужем в Прованс. «Она очень много для него сделала и готова завершить свое дело, публично выказав ему свою привязанность», — замечает г-жа де Монтрей[18]. Однако маркиза на третьем месяце беременности и предпочитает рожать дома. К тому же финансовое положение Донасьена таково, что ей лучше оставаться в Париже. Со дня их свадьбы он щедрою рукой черпал из казны, принадлежавшей обоим супругам, и растратил шестьдесят шесть тысяч ливров из приданого жены, не говоря уж о собственных доходах. Фигурантки из Оперы, сводни, дома и квартиры в Версале, Аркее, Париже, привычка к роскоши очень быстро поставили его в стесненные обстоятельства. Большинство земель уже заложено из-за долгов, не выплаченных отцом, он сам задолжал своему полку семь тысяч четыреста ливров, которые придется постепенно отдавать, не без многократных напоминаний министра. В 1767 году супруги были вынуждены занять у некоего Жана Кастена сумму в четырнадцать тысяч ливров, которую Донасьен возместил через три месяца[19]. 26 мая 1768 года г-жа де Сад простилась с маленьким домиком в Аркее. В июле она втайне от матери продает несколько своих бриллиантов, деньги от которых пошли на путешествие в Лион и, на выплату задержанной «по забывчивости» мужа пенсии за шесть месяцев вдовствующей графине. Таким образом, в последние дни ноября 1767 года Донасьен один уедет в Ла-Кост, а его жене придется утихомиривать кредиторов, некоторые из которых уже подали судебные иски. Упрашивая прислать ему доверенность на заем в двадцать тысяч ливров, необходимый, чтобы расплатиться с самыми срочными долгами, он получит только шесть тысяч, предоставив Рене-Пелажи одной бороться с вызовами в суд и угрозой описи имущества. Чтобы исправить положение, Донасьену было бы достаточно продать всего лишь ферму в Кабанне, однако он упорно отказывается, полагая, что приданого жены хватит для покрытия дефицита. Как всегда, на помощь дочери устремляется председательша — проклиная легкомыслие зятя и его бессмысленные траты, совершенные исключительно ради удовольствия. Утомленная его эгоизмом, упрям-

ством и неблагодарностью (разве не ее усилиям он обязан своей свободой?), она отныне отказывается от переписки с ним и берет аббата де Сада в свидетели того, что́ она сделала для зятя и ка́к он ее отблагодарил. По ее словам, ошибки, постоянно совершаемые его племянником, уничтожили ее «чувства приязни к нему и надежду вернуть его на стезю добра, то есть чувства, руководившие мною во всех поступках, совершенных ради него, когда он пребывал в несчастиях, и моим стремлением исправить плачевные последствия его легкомыслия». Все же она вновь пытается его спасти, умоляя аббата отговорить его от возвращения в Париж, каковым замыслом он уже поделился с женой:

Сударь, непременно, настойчиво и всеми возможными средствами помешайте ему совершить это безумие, на которое он, к сожалению, способен. Откуда он взял, что ему можно вернуться? Разве он не знает, как следует уважать и соблюдать приказы короля? Если Вы еще по-доброму к нему относитесь, воспрепятствуйте ему покидать Ла-Кост хотя бы до тех пор, пока не будет получено разрешение министра. Зачем ему губить себя безвозвратно, рисковать быть арестованным по дороге или же, прибыв сюда, тотчас оказаться в более чем стесненных обстоятельствах? Что касается последнего, он может быть уверен: я больше вмешиваться не намерена. Он благополучно станет добычей тех, из чьих рук я его вырвала. Если он предполагает, что, вернувшись к прежним речам и поступкам, он ускорит свой приезд в Париж, пусть не надеется: напротив, он его отсрочит. За него может замолвить словечко кто угодно, но пока он не изменит поведения, я лично не буду заниматься его делами. А после того, как я одна просила за него и получила разрешение министра, не сомневаюсь, что министр оценит как должное мое невмешательство в разрешение любых вопросов, которые могут быть поставлены в связи с маркизом де Садом.

Свое длинное письмо она заканчивает на горестной и разочарованной ноте:

Препоручаю его Вам, сударь. Теперь только Ваша доброта подскажет, как Вам уладить дела с племянником и что можно для него сделать. Я, со своей стороны, отказываюсь даже пальцем пошевелить. Пусть все идет своим чередом, я же буду заботиться только о дочери и о ее несчастных детях. Желаю, чтобы второй младенец благополучно появился на свет, несмотря на постоянные огорчения, кои испытывает его мать, не говоря уж о тех, которые готовит ему ее муж. Наш малыш чувствует себя хорошо, и он очень хорошенький — говорю без предвзятости, свойственной бабушкам. Он часто целует портрет своего папы, что висит в комнате у его матери; признаюсь, этим он меня ранит в самое сердце[20].

Дело обрастает слухами

Подлинное аркейское дело начинается в ту самую минуту, когда над сценой в последнем акте падает занавес Большой палаты. Дело отныне разыгрывается в театре воображаемого. Подпитываясь различного рода вымыслами, легенда упорно продолжает жить. Несмотря на очевидное стремление газет не сгущать краски, маркиз де Сад за несколько дней превращается в символ абсолютного зла, источник всех пороков, чудовище, способное на любое преступление, объект всеобщего отвращения. Маркиз имеет возможность наблюдать, как рядом с ним постепенно создается его копия, своего рода мифический двойник,

наделенный самыми что ни на есть мрачными чертами характера, и хочет он того или нет, но ему придется сосуществовать с этим двойником, присвоившим его имя; и чем дальше, тем отчетливей он с великой горечью будет распознавать в двойнике себя.

Уже 12 апреля 1768 года, иначе говоря, спустя девять дней после указанных событий, г-жа дю Деффан довольно подробно – за исключением некоторых мелочей – излагает дело своему старому другу Горацию Уолполу. В ее рассказе впервые встречается фармакологический тезис. Согласно версии этой прославившейся своими письмами просвещенной дамы, Сад совершает жестокости только для того, чтобы проверить действие изобретенной им мази.

Нисколько не стыдясь своего преступления и не краснея по этому поводу, – пишет она, – он, напротив, утверждает, что совершил доброе дело и оказал обществу большую услугу, изобретя особый бальзам, мгновенно излечивающий раны; именно его действие он и испытывал на той женщине[21].

За редкими исключениями слухи, ходящие в обществе, враждебны обвиняемому. По мере того как распространяется дурная молва, а особенно после того, как парламент завладел материалами дела де Сада, слухи пополняются новыми ужасными подробностями, что не может не встревожить близких маркиза. «Вот уже две недели все только и говорят об этом загадочном происшествии, постоянно добавляя к нему все новые и новые ужасающие подробности», – жалуется г-жа де Сен-Жермен в уже цитированном выше письме к аббату де Саду[22]. Странность заключается в том, что, несмотря на добровольный отказ французской прессы мусолить это дело, а возможно, именно из-за этого отказа, в устах общества оно, бесспорно, превратилось в скандал. Лишенное точной информации, общественное мнение порождает вокруг дела мифологию жестокости, черпающую подпитку из источника общественного вымысла и былых страхов. Новое замечание: «Публика, громко протестующая против жестокостей графа де Сада, побуждает преувеличивать умственные отклонения, имеющиеся у сего графа по причине слабости рассудка и сочинять о нем разного рода небылицы»[23]. Газетчик Марен сообщает, что «чрезвычайно много народу» устремилось на заседание парламента, где должно было состояться покаяние[24]. В коллективной памяти образ знатного жестокого сеньора очень быстро слился с другим высокородным палачом, историческим персонажем, овеянным мрачной легендой: речь идет о Жиле де Ре, прозванном Синей Бородой.

Французская пресса получила запрет обсуждать происшествие, затрагивавшее почтенное семейство и высший офицерский чин королевской армии; ее молчанием воспользовались пресса иностранная и подпольно выходящие рукописные листки с новостями[25]. Разумеется, семья не осталась безучастной. Вдовствующая графиня де Сад, обычно не вмешивающаяся в дела сына, на этот раз заявляет протест против статьи в «Газетт де Оланд» и направляет его Сартину:

Не могу не довести до Вашего сведения черные наветы на моего сына, распространившиеся в обществе. Некоторое время я полагала, что, раз Вам о них извест-

но, вы будете столь любезны, что пресечете их; к тому же меня уверили, что сплетни эти быстро прекратились. Но я только что узнала, что в «Газетт де Оланд» опубликован отчет об этом злосчастном деле и в нем все расписано самыми черными красками. Такая низость может кого угодно обесславить на весь мир. Мошенники, творящие подобные мерзости, заслуживают пожизненного заточения, и я заявляю, что нельзя безнаказанно бесчестить моих близких. В крайнем случае можно возводить справедливые обвинения, но безмерное раздувание дела заслуживает наказания. Мой род не отмечен позорным пятном, никому из моей семьи не в чем себя упрекнуть, а посему нужно уметь уважать семейство, почтенное во всех отношениях. Осмелиться так отзываться о моей семье! Эти прохвосты и негодяи заслуживают веревки. Не знаю, читали ли Вы эту «Газетт де Оланд», где дело моего сына расписано с абсолютно лживыми подробностями. Можно в деталях излагать события, но делать это правдиво. Ложь, по моему мнению, заслуживает наказания, и я прошу Вас, сударь, отдать приказ разузнать, кто эти люди, написавшие подобные низости[26].

В целом иностранная пресса и рукописные сводки новостей излагают примерно одинаковую, весьма близкую к истине версию дела, но излагают ее всегда *по-разному*. «Заново, на уровне социальном, событие получило развитие в трех направлениях, — отмечает Франсуа Муро. — Актера возвратили на сцену, событие обезболили, жертву дисквалифицировали»[27]. Все газеты, исключая лишь «Курье дю Ба-Рен», называют имя и титул виновного, но не для раздувания скандала, а совсем наоборот: раз он «имеет честь принадлежать к высшему дворянству», следовательно, надо позаботиться, чтобы эти «сказки» не могли «ужасать» до такой степени, что «почтенные члены его семейства заболеют от страха»[28].

Чтобы «провести анестезию» события и преуменьшить ответственность преступника, ссылаются на душевное расстройство. «Его поведение при совершении данного преступления явно свидетельствует о том, что он пребывал “в состоянии безумия”», — замечает автор «Сборника литературных и политических анекдотов». Он рассуждает о «действиях безумной головы», об «отклонениях слабого мозга» и том, что «преступник — человек скорее вздорный, исполненный сумасбродств, нежели негодяй»[29]. Тот же самый аргумент повторен и в «Газетт д'Утрешт»: «Все убеждены, что он повредился умом; семья его добилась приказа о его заточении в крепость Сомюр, а порезанная женщина за некоторую сумму отказалась от показаний, кои принесла судье».

Параллельно, словно чтобы поддержать тезис о безумии, прибегают к «химической» версии, выдвинутой г-жой дю Деффан. Если маркиз де Сад и поливал раны Розы Келлер расплавленным воском, то вовсе не из-за желания удвоить ее страдания, а чтобы испытать на ней чудодейственную мазь. Тогда на что жалуется жертва? Не должна ли она, напротив, благодарить маркиза как своего благодетеля, ведь так почетно послужить на благо научного эксперимента, пусть даже в роли подопытного кролика!

Наконец-то мы узнали подлинную подоплеку жестокого поступка маркиза де С***, — читаем мы в «Курье дю Ба-Рен» от 27 апреля. — От отца ему досталось некое средство для исцеления ран за двадцать четыре часа, и он решил провести

экперимент, воспользовавшись для этого встреченной на улице нищенкой, просившей милостыню; прежде он эту женщину никогда не видел. Сначала он сделал ей непристойное предложение, но она отвергла его и заявила, что просто осталась без работы; тогда он пообещал ей работу в своем загородном доме, привез туда и, заставив раздеться, привязал к кровати. Потом острым ножичком сделал надрезы у нее на теле и тут же приложил к ним свой бальзам, излечивший ее за двадцать четыре часа. Факт сей совершенно достоверен.

Спустя несколько дней «Газетт д'Утрешт» возвращается к садическим рецептам и, скромно умолчав о методе испытания, восхваляет прекрасную эффективность лекарства: «Женщина, забравшая свои жалобы, совершенно оправилась от порезов, от них не осталось и следа, что доказывает великолепные свойства бальзама графа де Сада, хотя и не умаляет жестокости способа, примененного для его испытания»[30].

Жертва, выставленная в газетах наивной простушкой, однако, ведет себя весьма двулично: из-за спины трогательной героини, несмотря ни на что, выглядывает продажная публичная девка. Все согласны с тем, что ее молчание куплено за немалую сумму: денежная компенсация в подобных случаях необходима. Однако «Курье дю Ба-Рен» в своих предположениях движется дальше, убеждая всех, что маркиз таким образом отомстил ей за некий «подарочек», которым она когда-то его наградила: «Маркиз де ***, полковник некоего полка, разгневался на одну из тех женщин, занятием которых является усмирение страстей и которая, вполне возможно, наградила его дурным подарком <...>». Желая извлечь из истории мораль, журналист добавляет: «Происшествие сие должно научить нас не доверять слухам и женщинам, готовым на любые услуги, а также не поддаваться жажде мести»[31].

Но кто читает газеты? Чтобы воистину оценить размеры скандала, произведенного в парижском мирке, лучше обратиться к добрейшему Симеон-Просперу Арди, книгоиздателю и книгопродавцу, трудолюбиво записывающему все, что происходит в столице. Среди тщательно занесенных им в «Дневник» больших и малых событий имеется рассказ, датированный средой 8 апреля, где обстоятельно излагается случившееся пятью днями раньше происшествие в Аркее. Буржуа Арди явно не питает пылкой симпатии к развращенным аристократам. Это чувствуется уже в манере описания персонажа, перечисления его титулов, подчеркивания его связей с Конде; именует он его исключительно «граф де Сад». Предубеждение против Сада откровенно звучит и в заключительных строках рассказа:

Благодаря высоким связям удалось получить королевское распоряжение, согласно которому граф де Сад был препровожден под арест в крепость Пьер-Ансиз. Впрочем, некоторые утверждали, что графа отправили вовсе не в крепость, а за границу. Как бы там ни было, сей не имеющий достаточных объяснений факт является постыдным и возмутительным, и если правосудие не пожелает обратить на него внимание и не подвергнет графа де Сада примерному наказанию, то будущее поколение получит еще один пример безнаказанности, когда виновника одного из наиболее отвратительных преступлений оправдывают исключительно по той причине, что виновник сей имеет счастье принадлежать к сильным мира сего, богат и имеет связи[32].

Аркей: тема с вариациями

Мы знаем, сколь многим обязана романическая литература «колонке происшествий». Было бы удивительно, если бы аркейское дело не получило отражения в беллетристике. Однако следует дождаться конца века, когда мода на черный роман превратит историю мучителя-маркиза в повествование, пленяющее «чувствительные души». В самом деле, происшествие обладало всеми составляющими, необходимыми, чтобы заворожить публику, обожающую вымысел и мелодраму. Но так как собственно ужасов в нем явно недоставало, их следовало выдумать.

Ретиф де ла Бретон, упорно преследовавший своей ненавистью автора «Жюстины» и использовавший любой случай насолить ему, создает на основе известных подробностей дела некий псевдонаучный вымысел, где маркиз, радея о прогрессе анатомии, решает принести в жертву бесполезную и жалкую жизнь Розы Келлер. Притащив нищенку в заполненный до отказа анатомический зал, он во имя науки безо всяких шуток намеревается заживо произвести рассечение: «Что делает это жалкое создание на земле? Оно ни к чему не пригодно; так пусть же послужит нам, дабы мы могли постичь все тайны строения человеческого тела». Несчастную, полумертвую от страха, привязывают к белому мраморному столу, а маркиз тем временем сообщает аудитории, каких результатов он собирается достичь. Затем удаляют слуг, и в тот момент, когда импровизированный хирург уже намеревается разрезать живот своей жертве, той удается разорвать веревки и выпрыгнуть в окно. Оказавшись на улице, она рассказывает всем, что видела в зале три человеческих тела: от одного остались только кости, другое выпотрошено и брошено в большую бочку, а третье, принадлежавшее мужчине, еще совсем свежее[33].

* * *

Через несколько лет в воображении публики аркейское дело становится символом загнивания аристократии, своеобразным центром ментального паломничества к разлагающимся трупам Старого порядка. На «санкюлота» из секции Пик, разоблаченного по письменному доносу члена Конвента Жак-Антуана Дюлора, взваливается ответственность за коррумпированное дворянство, и ему приходится расплачиваться за безнаказанность своих собратьев:

> Среди тех, кто в этом веке воплотил в себе все преступления дворян и ужасы феодализма, следует назвать графа де Шаролэ, убийцу с веселым сердцем, графа Горна, вора и убийцу, уже названного выше герцога де Фронсака, сегодня носящего титул герцога де Ришелье, поджигателя, насильника и негодяя, готового мучить всех даже в минуты наслаждения <...>. Ко всем этим мерзавцам, владельцам замков и карет, щеголям в туфлях на красных каблуках, с красными или голубыми орденскими лентами, следует добавить маркиза де Сада, чьи злодеяния превосходят, быть может, злодеяния всех прочих дворян его времени.

> Маркиз де Сад встречает юную бедную вдову, просящую милостыню, и обещает ей работу в своем доме в Аркее. Дело происходит в конце Страстной недели. Он делает женщине непристойные предложения; видя, что они встречают отказ, он прибегает к насилию: раздевает несчастную, привязывает к столу, скребком или перочинным ножом наносит царапины по всему телу, затем заливает эти царапины расплавленным испанским воском, и чем большие муки испытывает его жертва, тем больше удовольствия он получает.
>
> Удовлетворив свою чудовищную жестокость, негодяй оставляет истекающую кровью женщину умирать, а сам отправился в сад выкопать ей могилу; но несчастной удается собрать остатки сил и в чем мать родила бежать через окно. Милосердные сограждане оказали ей помощь и вытащили из логова этого лютого тигра.
>
> Говорят, накануне своего чудовищного поступка маркиз де Сад обедал у одного из своих знатных знакомых и, похоже, был спокоен и весел.
>
> Монстр не окончил дни свои на эшафоте <...>. Среди бессчетных придворных он обрел могущественных покровителей, разоруживших нетвердую руку нашего прежнего продажного правосудия, и он получил оправдательную грамоту, где говорилось, что его обвинили в несовершенных преступлениях. Чтобы спасти маркиза от эшафота, его заперли в крепости Пьер-Ансиз, куда к нему приехали жена, дочь г-на де Монтрея, председателя Парижского податного суда (*sic*!), вместе со своей сестрой. Утверждают, что, будучи в тюрьме, он попытался изнасиловать свою золовку <...>.
>
> Отвратительное преступление, совершенное маркизом в Аркее, стало известно всему Парижу; даже история злодеяний дворянства во времена анархии и беззакония насчитывает единицы подобных преступлений. Только зверства Робера де Белема, бастарда Бурбонского, Жиля де Лаваля и некоторых других могут сравниться с чудовищными поступками этого дворянина 18-го столетия. Названный последним Жиль де Лаваль, сеньор де Ре и маршал Франции, своими чудовищными пристрастиями чем-то напоминает маркиза де Сада. <...> Но хотя Жиль де Ре жил во времена, когда дворяне могли безнаказанно творить любые преступления, тем не менее он не избежал правосудия и был заживо сожжен в Нанте 25 октября 1450 года. А маркиз де Сад, повинный в таких же зверствах, спокойно живет среди нас[34].

Року было угодно, чтобы аркейское дело, эта образцовая садическая тема, вошло в литературное творчество маркиза, а его герой стал его рассказчиком. Романная транспозиция, помимо прочего, предоставила герою наилучшую возможность оправдаться, пусть даже посредством намека, проскользнувшего в «Обманутом председателе» — жестокой сатире, направленной против одного из советников парламента в Эксе:

> Главное, напомните парижским судьям, пред коими вам предстоит предстать, знаменитый случай, произошедший в 1769 году. Тогда они, повинуясь велению своих сердец, волнующихся гораздо больше при виде выдранной задницы проститутки, нежели при виде народа, которому они, называя себя его отцами, предоставляют возможность умирать от голода, начали уголовный процесс против юного офицера, вернувшегося из армии, где тот, служа монарху, жертвовал лучшими своими годами, а по возвращении не обрел иных лавров, кроме унижения, уготованного ему самыми большими врагами той самой родины, коюон только что защищал[35].

Образно говоря, нищенка с площади Виктуар растворится в садическом письме, станет неотъемлемой частью сочинений маркиза.

Глава IX
СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ

Зима в изгнании

Выехав из Авиньона, Донасьен направляется по дороге в Апт и, проехав хутор Нотр-Дам-де-Люмьер, сразу сворачивает направо. Он мог бы также двинуться к античному мосту Юлиана, перебраться через Калавон и постепенно продвигаться по скалистому отрогу, где на вершине высится замок с башней; в этом случае осыпь серых домов с охряными черепичными крышами, тех, что амфитеатром раскинулись на склоне Люберона, осталась бы от него по левую сторону.

Он добирается до замка по тропе, проложенной мулами, едет в тени дубовых деревьев; вскоре их сменяют оливковые рощи и виноградники, среди которых тропа продолжает выделывать свои петли. Затем он едет через деревню, где отвесные тропы заменяют улицы, проезжает под стрельчатым сводом портала Кластр и подъезжает к крепостному валу... Еще несколько шагов по каменистой почве, и вот он уже стоит перед суровой с виду стеной восточного фасада, окруженной рвами. Пройдя по широкому мосту, лежащему на двух опорных конструкциях, заменивших былой подъемный мост, он входит в фламандские ворота и попадает в передний дворик, прежде служивший убежищем для вассалов во время нападения на деревню; затем, минуя кованую решетку, увенчанную гербами его дома, он наконец попадает на мощеный двор, расположенный немного выше по отношению к предыдущему дворику и окруженный со всех сторон жилыми постройками. Отсюда взору открывается долина Бонье, плато Клапаред и горный хребет Люберона, напоминающий гигантского спящего орла, раскинувшего крылья и спрятавшего между ними голову. Каменным клювом орла, хотя и без грозного крючка, вполне можно считать деревушку Опед. Спящая вполглаза птица в любую минуту готова взлететь.

> Орел, мадемуазель, иногда вынужден покидать седьмую воздушную сферу, дабы опуститься на вершину горы Олимп, на древние сосны Кавказа, на холодные лиственницы Юры, на белые скалы Тавриды, а иногда и на Монмартрский холм[1].

Выводя эти строки, маркиз думает именно о Любероне, а также о китайских соснах, кедрах и холмах, окружающих его владение.

Замок Ла-Кост стал семейной собственностью после того, как Жан-Батист де Сад, владевший Соманом, в 1627 году женился на Диане де Симиан, дочери Франсуа, владельца Ла-Коста, Лаверьера и прочих угодий. Картулярий на пергаменте, хранящийся в Апте, говорит нам, что уже в 1038 году в этой стратегической точке высился укрепленный замок (castrum). Для Донасьена Ла-Кост в полной мере является его фьефом: на этой земле он полновластный господин, а жители здешних деревень находятся у него в подчинении; тут он имеет право разрешать не только мелкие и средние споры, но и выносить важнейшие судебные решения вплоть до смертного приговора; он вправе взимать дорожную подать и обладает исключительным правом охоты и рыболовства. Это место наслаждения одновременно является и убежищем, и землей изгнанника; именно таким предстал перед ним замок в ноябрьский день 1768 года, когда он в одиночестве въезжал в решетчатые ворота с гербами и мистраль бил ему в лицо.

* * *

На этот раз тревога не покидает Донасьена: осторожность побуждает его вести себя тихо, по крайней мере до того времени, когда забудется аркейский скандал. Не считая нескольких вылазок в «веселые» дома Марселя, он всю первую половину зимы скучает за стенами замка. Наконец, не выдержав, в один прекрасный день он возвращается к прежнему образу жизни: начинает устраивать празднества и балы и приглашает на них соседей дворян. Многие уклоняются от приглашения, ибо, несмотря на имеющиеся у него рекомендации, слухи о недавнем скандале дошли до этих мест, вдобавок изрядно преувеличенные здешними кумушками. Благородное общество от него отворачивается, и ему приходится снисходить до буржуа из окрестных деревень, до всех этих Поле, Апи, Самбюк, Пайан, зачастую являющихся его собственными вассалами, и те радостно выставляют напоказ в доме «сударя маркиза» свои воскресные наряды. Аббат тоже не заставил себя упрашивать и с удовольствием принял участие в развлечениях племянника.

Узнав об этих сумасбродствах, г-жа де Монтрей посылает аббату письмо, исполненное грозных упреков, без стеснения ругая его за преступную слабость. Как! Вместо того чтобы искупать свои ошибки примерным поведением, этот безумец осмеливается задавать балы: «Бал, театр и все, что из этого следует, да еще и актрисы!» И все это на глазах аббата! Разве он не понимает, как жестоко он заблуждается?

Признаюсь, я вряд ли была бы столь снисходительна. Я бы, пожалуй, подожгла театр, если бы не сумела найти иного средства наставить его на путь истинный. Могу сказать только, что в голове у него по-прежнему гуляет ветер; исходя из этого Вы вполне можете сделать вывод о возможных последствиях.

Отправляя его в семейный круг, мы тешили себя надеждой, что его ближайшие родственники, облеченные властью, предоставленною родственными узами, станут следить за его поведением и добросовестными наставлениями своими благотвор-

но влиять на молодого человека, неизменно приверженного бурным удовольствиям, но обладающего, как я полагаю, незлобивым сердцем и восприимчивым умом, особенно когда на него воздействуют доводами разума.

Надеюсь, Вы простите мне мои назидания, но его поведение является крайне важным не только для него самого, но и для его детей. Я уже не говорю Вам о треволнениях его жены: это его беспокоит менее всего, хотя он обязан ей, по крайней мере, признательностью, а в сущности, гораздо большим. Знаю, сударь, Вы неодобрительно высказались о ее возвращении в Париж, однако Ваше недовольство было бы явно меньшим, если бы Вы поразмыслили о той пользе, кою она, находясь здесь, приносит мужу. Признаюсь, я нисколько не пыталась повлиять на это решение, принятое обоими супругами, тем более что мое спокойствие от этого только выиграло. Постоянно помня, что она заперта в уединенном замке вместе с этим человеком, я бы не знала ни минуты покоя[2].

Бесценный свищ!

Вот уже некоторое время, как Донасьен страдает от геморроя (говорят также о «фистуле»), мешающего ему ездить верхом: досадное неудобство для офицера, желающего вернуться на службу. Из-за этой «фистулы» даже вспоминают, как в свое время комендант крепости Пьер-Ансиз отправлял своего подопечного лечиться в Лион. Пользуясь тем же предлогом, вдовствующая графиня де Сад, без сомнения, по инициативе г-жи де Монтрей, желающей видеть Донасьена в Париже во время родов жены, направляет прошение министру Королевского дома, дабы тот позволил сыну проживать близ столицы, ибо у него слабое здоровье и он нуждается в срочном лечении. Второго апреля 1769 года приходит ответ:

Его Величество, убежденный, что Вы говорите чистую правду, соблаговолил разрешить г-ну де Саду вернуться в окрестности столицы и проживать в загородном доме, где он бы имел возможность поправить свое здоровье и где ему было бы легко оказать помощь. Дозволение сие, однако, дается с условием, что его никто не будет посещать, кроме родных и близких, а также, что, едва здоровье его позволит, он тотчас отбудет в свои владения, ибо Его Величество не намерены полностью отменять свои распоряжения. Можете сообщить об этом негласном разрешении г-ну де Саду, дабы он поскорее воспользовался им, раз состояние его здоровья требует скорейшего оказания помощи[3].

Поразительная снисходительность! Ведь, в конце концов, заболевание маркиза, пусть даже подлинное, не является тяжким и не требует срочного медицинского вмешательства и уж тем более переезда в окрестности Парижа. Почему бы не отправить его в Лион, к тому врачу, который уже лечил его от этой болезни, или же к практикующему врачу в Монпелье? А потому, что семья и Королевский дом составили специальный сценарий, чтобы вернуть изгнанника, избежав возмущения общественности. Именно это отчетливо дает понять председательша в своем письме к аббату де Саду:

Он приедет повидаться с женой, с семьей, начнет лечиться от опасного заболевания, внезапно открывшегося и потребовавшего вмешательства самых опытных хирургов и скорейшего оказания помощи. Вот что следует говорить всем, кто станет интересоваться, как в Провансе, так и здесь, причинами его возвращения[4].

Однако Донасьена эти предосторожности не интересуют, он не собирается сохранять даже видимость благопристойности. Едва узнав о королевском решении, он отправляется – но не в парижский пригород, а прямиком в столицу. Выехав 23 апреля, он через неделю прибывает в Париж, где находит жену на седьмом месяце беременности, кою та, снедаемая беспокойством и измотанная денежными проблемами, переносит очень плохо. В конце концов он посылает доверенность на заем в 10 000 ливров (половину нужной суммы), однако заимодавцы, утомленные ожиданием, отказываются удовлетвориться подачкой. Председателю Монтрею приходится прийти на помощь дочери.

Спустя два месяца Рене-Пелажи производит на свет мальчика, Донасьена Клода Армана, окрещенного на следующий же день в церкви Святой Марии-Магдалины в Виль-Левек. Несомненно, это знак немилости, в кою впал его отец: новорожденного держат над купелью не Конде, а всего лишь двое родственников: председатель де Монтрей и вдовствующая графиня Мари-Элеонор де Майе.

В последнем письме к жене, датированном 8 апреля, Донасьен, казалось, был доволен рождением этого ребенка; он говорил ей о «надеждах, которые она ему дарует, и том, что готов смиренно ждать, когда же она простит его». «В зависимости от того, как он намеревается себя вести, мы поймем, стоит нам опасаться за будущее или же уповать на него»,– комментирует председательша. Пока она неустанно хвалит зятя, однако не верит, что счастье это надолго. Но рождение второго сына, похоже, действительно вернуло его на праведную стезю: он проводит все время с маркизой и с удовольствием играет с маленьким Луи-Мари, которому уже два года и он «настоящий красавчик». Любопытство? Чувство? Признательность? Покажет только время, утверждает председательша, скептически относящаяся к обращению Донасьена и к его пребыванию на свободе.

Надеюсь, он не станет злоупотреблять своей свободой, – пишет она аббату. – Во всяком случае, я ему обещала, что я в последний раз предпринимаю шаги к его благу. Не сомневаюсь, сударь, что Вы посоветуете ему быть сдержанным и осмотрительным: в его положении это более чем необходимо. Чтобы его прошлое забылось, требуется время; именно в этом я никак не могу его убедить[5].

Путешествие в Голландию

Спустя три месяца маркиз заявляет о своем намерении отправиться в Голландию. Откуда эта внезапная страсть к путешествиям? Потребность сменить воздух, дать возможность позабыть о себе, ускользнуть от бдительного ока домашних? Может быть. А может, он просто, уступая любопытству, хочет посетить незнакомую ему страну, слывущую благодаря своей торговле и своим произведениям искусства самой богатой в Европе? Об этой прогулке, длившейся от силы месяц, он пишет отчет в форме семи писем, адресованных воображаемой даме, и мы, читая их, можем следовать за ним буквально по пятам.

Выехав из Парижа в ночь с 19 на 20 сентября, он ночует на почтовой станции близ Камбрэ. На следующий день он добирается до Валансье-

на и далее до пограничного Кьеврешена и 22 утром прибывает в Брюссель. «Город не слишком приятный, — отмечает он. — Передвигаясь по улицам, все время приходится то карабкаться в гору, то спускаться вниз. Очень мало красивых домов, и почти нет общественных зданий». Спустя неделю он уже в Антверпене, где проводит ночь, оказавшуюся достаточной для вывода, что жители этого города «исполнены предрассудков и ханжества и, как это ни невероятно, сохранили нравы испанцев, своих бывших хозяев». 2 октября из Роттердама он отправляет вымышленному адресату третье письмо. Каналы, обсаженные деревьями набережные, подъемные мосты, прекрасные аллеи, сады, «ухоженные и прекрасные», — все восхищает его. Но более всего его удивляет необычайная чистота, царящая в городе: «стекла, перила и стены сверкают словно зеркала». Что же касается внутреннего убранства фламандских домов, то они полностью соответствуют их репутации:

Невозможно даже вообразить, до какой степени голландцы ухаживают за своими домами. У дверей вас всегда ждет коврик, чтобы вытереть ноги, а ежели вы, на ваше несчастье, войдете, презрев его, они страшно на вас рассердятся. Лестницы и коридоры покрыты циновками; домашняя утварь, даже та, коя по назначению своему должна быть грязной, как то: подставка для дров и котел, висящий над огнем, вся отмыта и начищена до такого блеска, что в нее можно смотреться как в зеркало.

Это впечатления туриста. Философа же восхищает царящий здесь, как и в каждой из Соединенных Провинций в отдельности, дух терпимости: «В Роттердаме дозволено исповедовать любую веру, каждая религия имеет свой храм и каждый свободно отправляет свой культ».

Из Роттердама он по каналам добирается до Делфта:

Нет ничего приятнее такого путешествия; на протяжении всего пути наслаждаешься очаровательным зрелищем прекраснейших в мире лугов и великолепнейших пейзажей. Справа и слева от канала стоят поистине сладострастного вида домики; они приятно разнообразят зрительную картину, так что времени, потраченного на дорогу, просто не замечаешь.

По воде он прибывает в Гаагу, где правящий принц Оранский много сделал «для украшения города»: дома не бросаются в глаза излишней пышностью, улицы «красивые, чистые и прекрасно проложены». Он присутствует на маневрах полка принца, коего считает большим специалистом по военным вопросам: «На мой взгляд, войска содержатся в хорошем состоянии и в них царит порядок, но в целом я не слишком доволен их маневренностью, ибо они показались мне медлительными и неповоротливыми».

Седьмого октября Донасьен уезжает из Гааги в Лейден, знаменитый своим университетом, где нет «ни большого населения, ни оживленной торговли». После короткой остановки в Харлеме он вечером 9 октября прибывает в Амстердам. «По справедливости этот город считается местом свидания всех наций, — отмечает он. — Нет ни одного порта в Европе, где бы находили себе место столько кораблей». Восхищенный зданием ратуши, адмиралтейством, «мостом Влюбленных», он, однако, разочарован театром, к которому, как известно, проявляет огромный интерес:

Здесь совсем нет французских спектаклей. Развлекает сей столичный город скверная голландская труппа. Зал довольно большой, но простоват, хотя и достаточной высоты, чем напоминает наши обычные театральные залы; в нем есть только два ряда лож; в партере стоят скамьи, на них вперемежку сидят мужчины и женщины. Мне рассказывали о великолепных декорациях, но я нашел их крайне простыми. Гений этой нации не простирается дальше коммерции, поэтами она не изобилует; театр у них ограничивается постановкой двух трагедий; во время моего пребывания в Амстердаме мне посчастливилось увидеть только одну. Это неуклюжее соединение невероятных событий, не связанных между собой, без какой бы то ни было выстроенной интриги. Смесь трогательных сцен в английском духе, чередующихся со сценами бурлескными.

Восемнадцатого октября он пишет из Утрехта: здесь «так мало людей, что трава растет прямо на улицах. В этом городе живут очень богатые люди, покончившие с коммерцией и более не занимающиеся никакой деятельностью». Он без промедления посещает место, где играют в знаменитые шары, игру, которую Людовик XIV так хотел ввести в Версале, и на следующий день пускается в обратный путь, вновь через Антверпен и Брюссель, куда прибывает 25 октября. Спустя несколько дней он возвращается в Париж.

Из этого «Путешествия в письмах», которые маркиз, возможно, хотел опубликовать, но которые оставались неизданными до тех пор, пока Жильбер Лели не обнаружил их рукопись, запоминаются только суждения о голландцах:

Достаточно сказать, что в целом они показались мне достойными людьми; они чрезвычайно поглощены своими занятиями, постоянно охвачены заботой о приумножении своих богатств, заняты единственно собственным преуспеянием; впрочем, они с радостью оказывают услуги, если им это ничего не стоит; они флегматичны, холодны и в глубине души ограничиваются исключительно тем, что имеет отношение к деньгам. Так как гений мужчин определяет облик женщин, то совершенно ясно, что последние не слишком любезны; они могли бы быть красивее, но это не их вина. Изящное сложение у женщин — редкость; у них достаточно белая кожа, однако лица совершенно невыразительны. Неумеренное потребление очень горячих чая и кофе портит их зубы до такой степени, что в Голландии едва ли можно найти хотя бы четырех женщин с хорошими зубами[6].

Донасьен не пишет ни о каких встречах, однако ведет точный счет, во что ему обошлось это путешествие: транспортные расходы, гостиницы, трактиры и т. п. Все выдает туриста со скромным бюджетом.

Светская жизнь

Всю зиму 1769 года и всю весну 1770 года Сад одержим лихорадкой светской жизни. И дня не проходит без какого-либо приема. Это следует из ознакомления с записной книжкой маркиза, недавно обнаруженной в семейных архивах, где он отмечал визиты нанесенные и ответные. Один из списков имеет курьезный заголовок: «Визиты, сделанные повторно, вместе с женой, *туда, где хорошо принимали*»*; это означает, что

* Полный текст см. в Приложении II наст. изд.

далеко не все принимали его хорошо. Вполне можно предположить, что многие из его прежних знакомых теперь отвернулись от него. Если не считать принцев Конти и Конде, графини де Латур-дю-Пен (дальняя родственница Донасьена), герцога де Коссе (командующий его полком) и некоторых других, среди приглашенных и тех, к кому иногда приглашали супругов, не видно имен знати. Чаще всего в них встречаются имена родственников семьи жены: Ази, Эври, Шамуссе, Тулонжон, Мелэ, Плиссэ, Лонэ, Парсье, но никак не тех, кто вхож в великосветское общество Парижа. Со стороны Донасьена чаще всего фигурирует имя аббата де Сада. Также следует отметить имя его дорогой г-жи де Сен-Жермен, «необычайно любимой», и де Пуайяна, его бывшего командира в полку карабинеров, так много сделавшего для его продвижения по службе, да и теперь явно не утратившего к нему дружеских чувств. Тем не менее одно имя среди «визитов к мужчинам» привлекает особенное внимание: это де Сен-Флорантен, министр Королевского дома, тот самый, который подписал у Людовика XV приказы, на основании которых Донасьена сначала сослали в Сомюр, затем в Пьер-Ансиз, потом к нему в имение и в конце концов дозволили ему вернуться «в окрестности Парижа». Это, разумеется, визит вежливости, свидетельствующий о признательности де Сада за все, что министр для него сделал.

Впервые за долгое время г-жа де Монтрей довольна зятем: ни одного скандала после его возвращения в Париж, ни одного похождения; даже инспектор Марэ, краем глаза за ним приглядывающий, не может сказать о нем ничего плохого. Происходит ли это из-за отсутствия средств? Или же он ускользнул от бдительного ока своего ангела-хранителя? Как бы там ни было, председательша полагает, что настал момент добиваться его реабилитации, и испрашивает у графа Сен-Флорантена разрешения для Донасьена появляться при дворе (куда де Сад, впрочем, никогда не ездил). Сейчас, когда Донасьен намеревается просить чин полковника, чтобы вернуться в армию, не будет лишним, если его заметят в Версале. Одно слово или даже простое мановение руки монарха могло бы заставить всех забыть о его былой опале и позволило бы надеяться на успешную карьеру. Но министр считает такой демарш преждевременным:

Я хотел, сударыня, прежде прощупать почву, выяснив, что Его Величество думает по поводу господина де Сада, прежде чем обращаться к нему с просьбой дозволить господину появляться при дворе. Мне показалось, что его впечатления, кои в разное время были равно негативными, все еще свежи, и пока преждевременно делать попытки их изгладить. Это побудило меня не предпринимать дальнейших шагов, ибо мне показалось, что таким образом я бы сослужил ему дурную службу, ведь в случае отказа, в коем я уверен, и не без оснований, г-н де Сад мог бы нажить изрядные неприятности у себя в полку. Полагаю, в этом деле стоит положиться на благотворное действие времени[7].

Трудности возвращения

В последнюю неделю июля 1770 года капитан Донасьен де Сад отправился в свой полк в Бургундию, в гарнизон, расположенный в Фонтенеле-Конт. Первого августа он прибыл в свою часть. Опасаясь, и не без

оснований, что ему будет оказан не самый теплый прием, г-жа де Монтрей решает «подстелить соломки»: 3 августа она пишет письмо маркизе Польми д'Аржансон, дабы рекомендовать зятя заботам ее супруга, государственного министра[8]. Мы считаем необходимым воспроизвести полностью этот текст, которым автор обязан любезности нынешнего маркиза д'Аржансона:

Сударыня, не смею надеяться, что Вы еще помните обо мне: слишком много времени у меня не было возможности напомнить Вам о себе и выразить Вам свою признательность. Однако, памятуя о том, как в добрый час граф д'Аржансон[9] выказал свое расположение семье г-на де Монтрея и моей, а также мадам д'Эври, моей сестре, я осмеливаюсь просить Вас, сударыня, обратиться с просьбой к маркизу де Вуайе благожелательно отнестись к моему зятю, маркизу де Саду, капитану Бургундского кавалерийского полка, расквартированного в Фонтене-ле-Конт под опекою инспектора маркиза де Вуайе.

Мой зять пребывает в достаточно затруднительном положении. Злосчастная история, в которую более двух лет назад его втянули собственное легкомыслие и дурная компания, наделала много шума и была представлена в исключительно неверном свете, превратившем юношескую глупость в тяжкое преступление. Завершение сей истории в парламенте послужило к полнейшему его оправданию.

Я отнюдь не желаю его защищать, сударыня; мне хотелось бы только, чтобы грехи молодости, не будучи несовместимыми с законами чести, кои он никогда не нарушал, были бы забыты. Король (и министр), пожелав сохранить за ним его роту, также посчитали возможным, чтобы он, как и прежде, появлялся при дворе, и он уже не раз бывал там и даже присутствовал на свадьбе дофина[10]. Ощутив снисхождение друзей и общества, он посчитал возможным уповать и на снисхождение товарищей по службе, и если бы не уважение к воле герцога де Коссе, командующего его полком, он мог бы прибыть к себе в полк уже 1 июня. Между нами говоря, сударыня, заслужить благорасположение герцога было не слишком просто по причине особых обстоятельств и сопряженных с ними дрязг, о которых было бы слишком сложно поведать вам письменно. Зять мой уехал и прибудет к себе в часть 1-го числа следующего месяца. Герцог туда еще не прибыл; но он обещал мне и моей дочери, что будет принимать г-на де Сада у себя наравне с другими офицерами, без каких-либо различий, кои были бы для последнего весьма неприятны; тем самым герцог пожелал показать наилучший пример другим: личный состав обычно сообразует свое мнение о человеке на основании мнения командиров. Поэтому поддержка маркиза де Вуайе была бы поистине бесценна: уповая на нее, я особенно прошу его проявить снисхождение и доброту. Моими устами, сударыня, мадам де Сад также умоляет Вас ходатайствовать перед супругом за ее мужа; женщина честная и сознающая свой долг, она поведением своим доказала нежную к нему привязанность. Я представляю ее Вам без прикрас и надеюсь, что от этого она лишь в большей степени заслужит Ваше внимание.

Герцог де Коссе велел мне ждать маркиза де Вуайе в Фонтене, с 12-го по 15-е, куда тот должен прибыть в это время по случаю смотра. Ежели он уже отбыл в инспекционную поездку, для г-на де Сада это будет большим несчастьем, ибо это означает, что он прибывает в полк, предшествуемый исключительно дурной славой, укрепившейся за последний год в уме его командира и некоторых его личных врагов. Именно поэтому я осмеливаюсь просить Вашего снисхождения и уповаю на Вашу доброту: если Вам будет угодно задуматься, Вы сразу поймете, что Ваше участие необходимо ему именно сейчас, когда он только что прибыл в полк, где будет решаться его участь, с коей связана судьба и моей дочери, и моих внуков, то есть всех тех, кто дорог моему сердцу. Вы сами мать, сударыня, и исключительно на этом основании я надеюсь получить Ваше прощение за свою дерзость[11].

Возможно, письмо дошло с опозданием. Возможно, маркиз де Польми отказался внять ему. Во всяком случае, события, как и следовало ожидать, стали разворачиваться из рук вон плохо. Едва прибыв в лагерь, Сад сталкивается с враждебным отношением майора де Малерба, командующего подразделением в отсутствие подполковника графа де Сеня, находившегося в то время в командировке в Компьене. Ссылаясь на какие-то — явно вымышленные — причины, Малерб отказывает капитану в праве исполнять служебные обязанности. А так как последний протестует со своей обычной горячностью, майор сажает его под арест. Одновременно с этим он запрещает квартирьерам и каптернамусу роты подчиняться приказам их капитана. Тот тотчас доводит до сведения графа де Сеня унижения, объектом которых он стал. Подполковник приказывает Малербу объяснить свое поведение. На этом история и заканчивается.

Что произошло дальше? Удалось ли Донасьену в конце концов выиграть партию? Действительно ли он дрался на дуэли с Малербом, о чем даст понять позднее?[12] Покинул ли он армию сразу же после этого инцидента? Нам это неизвестно, мы знаем только, что он провел в Фонтене еще некоторое время[13]. Там он познакомился с неким Пьер-Бенжаменом Жаллэ, нотариусом, на пятнадцать лет старше его, живущим в городском предместье на улице Паради; с ним он долгое время поддерживал переписку[14].

Вмешательство г-жи де Монтрей оказалось безрезультатным, скорей всего, де Сад даже не узнал о нем. В этом деле, как и во всех прочих, когда теща вставала на защиту зятя, она преследовала единственную цель: обезопасить свой клан, ибо при Старом порядке интересы группы, рода, «дома», если таковое определение будет предпочтительнее, ставились неизмеримо выше личных интересов того или иного из его членов.

Долговая тюрьма

Спустя восемь месяцев после этого злополучного происшествия Донасьен при поддержке принца Конде ходатайствует перед военным министром о должности кавалерийского полковника без содержания, напоминая ему свой послужной список и должность знаменосца в жандармерии, полученную в 1762 году, но «не выкупленную по причине расстроенного состояния дел». 19 марта 1771 года министр сообщает ему о благоприятном для него решении, вынесенном Его Величеством на основании «похвальных свидетельств», полученных с прежних мест службы. Подобный ответ стоит всех прочих реабилитаций: наконец-то все его прошлые заблуждения полностью и официально оправданы и он награжден новым, девственно чистым гражданским состоянием[15].

* * *

Семнадцатого апреля радости близких Донасьена буквально нет границ: его жена рожает девочку, которой дают имя Мадлен-Лор. Отцу троих детей, вернувшему себе милость монарха, остается только испра-

вить финансовое положение дел. Отныне все призывает его начать новую жизнь; ему всего тридцать один год, ничего еще не потеряно. Удалившись к себе в замок Валери по причине «неотложных дел», г-жа де Монтрей в следующих выражениях сообщает о рождении внучки аббату де Саду:

Теперь у нас с Вами маленькая крестница; хотя Вы и крестный по доверенности, надеюсь, сударь, любить ее Вы от этого меньше не станете; наделите ее Вашим разумом, а я дам ей свое терпение: уверена, для женщины это самая необходимая из добродетелей.

Г-жа де Монтрей не оставляет своим вниманием также и обоих мальчиков, но признается, что оказывает предпочтение старшему, Луи-Мари:

Ваш маленький старший племянник – самое прелестное существо на свете; младший нравится мне менее: он красив, но еще непонятно, какими станут его ум и характер – он только начинает говорить. К тому же старший оставался у меня на руках, под моим присмотром в известные Вам тяжкие минуты <...> поэтому я не могу не любить его больше младшего[16].

Пока Рене-Пелажи медленно оправляется от родов, Донасьен борется с финансовыми трудностями. Родители жены отказались предоставить ему залог. Совершил ли он тогда блиц-вояж в Прованс, чтобы раздобыть денег, как это утверждает Жильбер Лели? Не исключено, однако доказательств у этой гипотезы нет; с таким же успехом можно предположить, что он и в Париже предпринял ряд демаршей для выхода из затруднительного положения. Его доверенное лицо, нотариус Фаж, подвергся суровому испытанию, пытаясь без промедления собрать нужные суммы. «Если Вам не удастся заставить подождать трех указанных мною кредиторов и раздобыть для меня сумму в 13 400 ливров, – пишет ему маркиз, – полагаю, нам с вами следует расстаться»[17]. О будущем маркиз не слишком беспокоится: через год он получит содержание за наместничество от штатов* Бургундии, а также выплату за роту и «значительную сумму» с приданого жены. Наконец он начинает серьезно подумывать о том, чтобы продать ферму Кабанн, что возле Арля. Однако у парижских кредиторов терпение лопается, они грозят ультиматумом. Тогда он решается уступить свою должность полковника графу Осмону за десять тысяч ливров. Но этого недостаточно, и происходит неизбежное: г-н де Сад отправляется в тюрьму Фор-Левек за долги. Этот арест не сопряжен с позором: в Фор-Левек попадают только обанкротившиеся граждане. Как совершенно справедливо утверждает бывший тюремный привратник Перрот, «пребывание в этой тюрьме не бросает тень на репутацию, не мешает исполнять любые должности и не затрагивает чести». Динан дю Верже, также тюремный привратник, занимавший эту должность во времена заключения Донасьена, заявляет, что Фор-Левек – это прежде всего военная тюрьма. «Поэтому, –

* Штаты – при королевской власти местные парламенты. Всеобщий парламент, периодически созывавшийся монархом, именовался Генеральными Штатами.

прибавляет он, — должность привратника обычно достается лицам, знакомым с воинскими правилами и дисциплиной». В самом деле, когда в 1768 году речь зашла о предоставлении поста тюремного сторожа Динану дю Верже, его покровители, рекомендуя его парламенту, особенно подчеркивали, что в прошлом он был сержантом и его начальники-офицеры прекрасно о нем отзывались.

Точный срок пребывания маркиза в Фор-Левеке неизвестен, однако он явно не превышает двух месяцев: июль и август 1771 года. 9 сентября Донасьен выходит из тюрьмы под аванс в три тысячи ливров, вносимых им в счет погашения долга. На остальную сумму ему приходится подписать вексель под честное слово со сроком платежа 15 октября. Теперь, если он хочет найти способ раздобыть денег, поездки в провинцию ему не избежать. И вот через некоторое время после освобождения он отправляется в путь; впервые в поездке его сопровождают жена и дети: Луи-Мари, Клод Арман и даже пятимесячная крошка Мадлен-Лор со своей няней, мадемуазель Ланжевен.

Хорошенькая канониса

Примерно через месяц молоденькая и хорошенькая свояченица г-на де Сада Анн-Проспер де Лонэ, чье здоровье настоятельно требует свежего воздуха, присоединяется к вновь прибывшим обитателям Ла-Коста. Она является светской канонисой в бенедиктинском аббатстве Аликс возле Лиона и приезжает в гости к родственникам прямо оттуда[18]. Как и иные женские монастырские общины, эта обитель служит прежде всего пристанищем для девушек дворянского рода (чтобы быть принятой в нее, надо иметь, по крайней мере, четыре поколения благородных предков), живущих на ренту, купленную им родителями. Они не принимают обетов, а следовательно, вольны выйти замуж и вернуться в свет.

Теперь мы знаем дату рождения Анн-Проспер: 27 декабря 1751 года; следовательно, ей еще нет и двадцати[19]. В Ла-Кост ее пригласила Рене-Пелажи, полагая, что там сестра поправится быстрее, чем у себя в монастыре. Заботы о собственном здоровье отнюдь не лишают Анн-Проспер желания помочь семейству: она понемногу помогает сестре по хозяйству, составляет опись кружев и белья свояка, при котором она исполняет обязанности секретарши и играет в пьесах, поставленных им в собственном театре. В нашем распоряжении имеется неизданное письмо, написанное ее рукой и адресованное нотариусу Фажу; продиктованное Донасьеном, оно имеет ее собственную приписку:

> После того как я исполнила роль переписчика для де Сада, коего я только что отослала проветриться, ибо утомилась от писания, я наконец хочу написать пару слов от себя и умолять Вас, нашего дорогого адвоката, на этот раз не забыть, как Вы уже забыли в прошлый раз, исполнить мой заказ и привезти четыре стопки писчей бумаги. Не знаю, быть может, бумагу взял аббат (*sic!*), во всяком случае, я ее не получила, а мне она очень нужна. Пришлите ее на мой адрес, я буду Вам премного обязана. Мой брат (точнее — свояк. — *М.Л.*) рассказал мне, что Вы выражаете заботу о моем здоровье. Благодарю Вас за это. Приезжайте повидаться с нами.

<...> И прошу Вас, подумайте также о ванне. Для поправления здоровья мне прописали ванны, а чтобы иметь возможность играть в театре, надо хорошо себя чувствовать — поэтому мне нужно принимать ванны, чтобы поправить здоровье[20].

С первых же дней после приезда Анн-Проспер полюбили все, особенно аббат де Сад, подаривший ей маленькую скаковую лошадку для прогулок; она отблагодарила его очаровательными речами:

Меня нисколько не смущает, дорогой дядюшка, что Вы очень дорого заплатили за эту маленькую лошадку, ведь это двойное удовольствие — заслужить ее на основании одного лишь письма. Только поверьте, мои чувства — более веская причина выразить Вам свою любовь, нежели подаренный маленький скакун: к этому меня побуждает сердце.

Ваша крошка племянница очень раздосадована, что не может приехать кокетничать с Вами; она старается как можно больше радоваться, чтобы не слишком огорчаться. Смерть бабушки откладывает нашу встречу, а мне так хочется, чтобы она наконец состоялась[21].

Прошу Вас, дорогой дядюшка, считать это письмо простым доказательством моей дружбы, лишенным всякой корысти, — хотя, конечно, и благодарностью за лошадку тоже. Разумеется, я не могу остаться равнодушной к заботам моего дядюшки, поэтому не устаю благодарить его <...>[22].

Старый либертен больше не может скрывать волнение, охватывающее его при виде юной красавицы, «кокетничающей» с ним; он настолько очарован ею, что готов открыто признаться в сжигающей его страсти, напрочь позабыв про разделяющие их сорок шесть лет! Однако в момент признания девушка пугается и умоляет его придержать свои чувства. Аббат тотчас прикрывается светской болтовней и — довольно неловко — пытается выдать любовное чувство за дружеские любезности:

Нет, дорогая племянница, Ваш дядюшка никогда не откажет Вам ни в чем, что в его власти. Так разве может он отказать в любезности, от которой зависит «Ваша репутация, Ваша честь и, быть может, сама Ваша жизнь»?[23] Что за ужасные слова, племянница, и какой урок для меня; ибо для меня в этом мире нет ничего более дорогого, чем «Ваша честь и Ваша жизнь». Возможно, я слишком разболтался: не означают ли в таком случае мои слова отказ в той любезности, о коей Вы просите? Я просто умираю от страха, как бы Вы и вправду так не подумали. Объяснимся же и раз и навсегда поставим для себя границы.

Я испытываю к Вам чувство нежнейшей и одновременно чистейшей дружбы, не имеющей ничего общего с тем, что Вы называете «волочиться». Это по сути: тут Вы должны быть довольны. Но, между нами говоря, речь идет всего лишь о форме. Страсти принимают форму головы, в которой рождаются: дружба принимает более или менее пылкую форму в зависимости от того, кто ее питает, и очарования того, кто ее внушает. Я не знаю более любезного существа, чем Вы, но я рожден в жарком климате; от соединения этих двух факторов зарождается пылкая дружба, такая, каковую я питаю к Вам. Вы желаете, чтобы я «пожертвовал ею» ради Вас и заменил ее «на чувство более спокойное»: я готов исполнить все, что Вы от меня требуете; остается только узнать, что я могу сделать.

Вы хотите, чтобы провансалец любил как овернец, но это невозможно. Предложите ему станцевать бурре; он быстро обучится, хотя и привык танцевать ригодон, но для этого ему придется всего лишь делать иные телодвижения и следовать иному ритму. Движениями души так управлять нельзя; их стремительность зависит от течения крови, над коим мы не властны. Кровь провансальца закипает на

солнце; снега замедляют бег крови в жилах овернца: от этого происходит разница между манерой любить одного и другого; отсюда неудивительно, что женщина, прожившая всю жизнь в Оверни, принимает дружбу провансальца за любовь <...>[24]. Я хотел бы провести всю свою жизнь подле Вас: теперь я Вас больше не увижу. Я сгораю от желания отправиться в Клермон, но теперь я туда не поеду. Если бы я следовал за движениями своего сердца, я бы писал Вам каждый день, и мои письма были бы полны нежности и жара души: чтобы Вам понравиться, я стану изредка писать Вам холодные письма, в коих попытаюсь подражать стилю овернцев. Тешу себя надеждой, что под прикрытием такой маски Ваша честь и Ваша жизнь будут в безопасности.

Если Вы захотите еще что-нибудь, что в моих силах дать Вам, Вам стоит только сказать. Но если Вы хотите, чтобы я сдержал слово, кое даю Вам, остерегайтесь выходить за рамки, Вами же и поставленные. «Ах, дорогой дядюшка, как я Вас люблю! С тех пор как я узнала Вас, я только о Вас и думаю». Племянница, разве таков стиль дружбы, принятый в Оверни? Заявляю Вам, что я рассматриваю это заявление как рывок ко мне в Прованс. Если Вы станете продолжать в том же духе, я потеряю власть над собой, соберу весь свой жар, растоплю Ваши снега и превращу их в бушующий поток, который затопит Вас.

Не кажется ли Вам, дорогая племянница, забавным, что я нахожу выражения из Ваших писем излишне нежными и жалуюсь Вам на избыток чувств с Вашей стороны? Вы хотели бы, чтобы я все обратил в шутку: неужели Вы сумеете придумать шутку лучше этой? <...>[25]

Кровосмесительное счастье

Донасьен тоже не оставил без внимания очаровательную канонису. От одного лишь сознания, что они живут под одной крышей, он испытывает непонятное волнение. Впервые в облике этой девушки перед ним предстало воплощение образа недоступной девственницы. Той самой, которую он неутомимо преследует в своих самых сокровенных желаниях и которая, как ему казалось, существовала только в его мечтах; и вот теперь она обрела тело, лицо и голос его юной свояченицы. Как тут можно устоять?

Действительно ли, как убеждает нас Жильбер Лели, мадемуазель де Лонэ именно такова, какой Сад нарисовал ее под именем Юлии в «Портрете мадемуазель де Л***»? У нас есть все основания согласиться с ним. И хотя начальная буква имени в целом может означать мадемуазель де Лори или любую другую неизвестную нам любовницу, множество признаков указывают именно на канонису. Во всяком случае, рисуя образ любимой женщины, маркиз редко будет столь точно следовать истине, как следует он в изображении своей возлюбленной:

Юлия пребывает в том счастливом возрасте, когда начинают понимать, что сердце создано для любви. Нежный, исполненный сладострастия взгляд ее чарующих глаз ясно говорит об этом; привлекательная бледность является воплощением желания, а когда цвет ее щечек изменяется, всем ясно, что это происходит благодаря нежному язычку любовного пламени <...> Юлия высока; стан ее гибок и строен, осанка благородна, походка свободная и исполнена достоинства, коим дышит все, что она делает. Какое изящество! Как редко оно встречается! Искусство бессильно перед ним. Искусство? Великий Боже! Что может искусство там, где природа сказала свое последнее слово? <...> К естественной живости ума, присущей ее возрасту, Юлия присоединяет приветливость и деликатность, свойственные са-

мой любезной и самой образованной женщине. Более того: не удовлетворившись тем, что природа создала ее необычайно привлекательной, она пожелала придать сей привлекательности должное оформление. Начав рано прислушиваться к голосу разума, отбросив, как и положено философу, предрассудки воспитания, внушенные в детстве, она научилась распознавать и судить уже в том возрасте, когда другие еще только учатся думать.

Следующий пассаж содержит слегка замаскированный намек на «монастырскую» принадлежность мадемуазель де Лонэ, равно как и предрассудки, приобретенные ею в монастыре, от которых она освобождается после того, как открыла для себя любовь. Одновременно исчезают наши последние сомнения относительно прототипа Юлии: последующая ситуация в точности совпадает с той, в которой очутилась канониса, прибыв в Ла-Кост. Поэтому нам крайне интересно читать рассказ о зарождении ее страсти:

Для Юлии с ее тонким восприятием это стало настоящим открытием! Она прекрасно понимала, что на ее разум надевают шоры, одурманивают ей ум, пытаясь убедить ее в преступности нежнейших движений души, порожденных благодетельной природой. Что же случилось? Поняв, что ее душу хотят полностью изменить, Юлия позволила душе заговорить во весь голос, и та вскоре отомстила за нанесенное ей оскорбление. А как заблистал этот чудесный ум под руководством освобожденной души! Когда пелена упала с глаз, Юлия словно заново увидела окружающий мир и все способности ее души обрели новые силы и поднялись еще на одну ступеньку. От этого выиграли все, даже ее личико. Юлия стала еще прекрасней. К прежним удовольствиям она стала относиться прохладно, и весь свой пыл вкладывала в новые мысли. Прежние вещи больше не трогают ее. Милая птичка, некогда любимая от всего сердца, теперь уже не столь мила ей. В чувстве нежности, сопровождавшем ее как подружка, обнаружилась пустота; оно больше не переполняет сердце, как было раньше. Одним словом, стало понятно: чего-то не хватает. Нашла ли это что-то Юлия? Могу ли я гордиться этим?.. Простите, здесь я осмелюсь воссоздать историю твоей души, тогда как первоначально хотел всего лишь описать ее. Ах! Как боюсь я, что ты распознаешь толику самолюбия там, где мне следует всего лишь шаг за шагом идти вслед за истиной! Прости, обожаемая Юлия! Я осмелился заговорить о своей любви, тогда как должен был бы говорить только о тебе. Но увы! Позволь мне убедиться, что как для тебя, так и для меня предметы эти вскоре навсегда соединятся в наших сердцах <...>[26].

Сразу ли между Донасьеном и его свояченицей установились плотские отношения? Ничто не говорит об этом. Но нетрудно вообразить смятение его чувств при виде этой двадцатилетней девственницы, сестры его жены, следовательно, неприкасаемой, облаченной в одеяние своего ордена и носящей на груди восьмиконечный эмалевый крест (точное подобие звезды Садов!), коим Людовик XV наградил канонис обители Аликс. Без сомнения, их с безудержной силой тянуло друг к другу. Кроме цитированного выше «Портрета мадемуазель де Л***», имеется еще «Прошение», направленное в Шатле и составленное Гофриди в 1774 г. под диктовку самой г-жи де Сад, где та повествует о начале этой кровосмесительной связи:

Она (г-жа де Сад. – *М.Л.*) была с мужем, маркизом де Садом, в его поместье Ла-Кост в Провансе, куда под предлогом составить ей компанию и подышать чистым воздухом прибыла ее сестра, мадемуазель де Лонэ. Деля свою привязанность меж-

ду мужем и детьми, г-жа де Сад долгое время наслаждалась покоем, который, казалось, ничто не могло нарушить. Услужливость мужа не позволяла ей заподозрить, что вскоре роковая страсть повлечет за собой целую цепь бед и злоключений[27].

Этому эпизоду из жизни де Сада часто придавали романтическое звучание, даже Лели впал в сентиментальную драматизацию. Согласимся, что сюжет этому способствовал и что a priori ничто не препятствует вообразить, будто Донасьена и мадемуазель де Лонэ связывало подлинное любовное чувство. Основания в это поверить существуют попрежнему, и в свое время мы их рассмотрим. Однако совершенно очевидно одно: поразительное соответствие Анн-Проспер сексуальным фантазиям маркиза де Сада. Девственница, исполненная религиозных принципов, почти монахиня и вдобавок сестра его жены — такая девушка, в сущности, является воплощением идеала чистоты, предназначенного для растоптания. Через нее в полной мере осуществляется насильственное преодоление всяческих запретов, падение ангела, иначе говоря, одна из основных тем, коими одержимо садическое воображение. Инцест, святотатство, растление, богохульство, кощунство: поистине, все согласуется, дабы довести до пароксизма эротические мечтания Донасьена. Мадемуазель де Лонэ предвосхищает безмерную чистоту Жюстины, вышедшей из монастыря Пантемон и немедленно подвергшейся самым гнусным надругательствам; она с наслаждением отвечает на отчаянный вопль Сада, рвущегося к недоступной девственности, «вопль, обернутый и оправленный в богохульствующий гимн», в котором Клоссовский в свое время разглядел один из ключей к творчеству маркиза.

Сад всегда предпочитал ярость наслаждения простому счастью бытия. Его связь с Анн-Проспер являет собой один из редких моментов в его жизни, когда оба этих принципа примиряются и плотские радости совмещаются с радостями душевными. Дни, проведенные в Ла-Косте в окружении жены, детей и свояченицы, могут считаться едва ли не самыми счастливыми, кои он когда-либо переживал.

Фестиваль в Ла-Косте

Вдвойне счастливыми, потому что Донасьен наконец может беспрепятственно предаваться своей страсти к театру. Ей он посвящает большую часть времени и заставляет близких разделять ее. Хотя в зрительном зале в Ла-Косте всего шесть десятков сидячих и столько же стоячих мест, зато в театре имеется самое современное оборудование. Как обычно, постоянная декорация представляет гостиную, изменяющуюся с помощью разрисованных холстов, опускающихся сверху на штангах; на двух из них изображена городская площадь и тюрьма (ироническое воспоминание или мрачное предчувствие?). Рампа состоит из шестидесяти пяти жестяных плакеток, «чтобы ставить свечи», и двадцати четырех лампионов. При необходимости окна полностью закрываются специальными ставнями, «чтобы сделать ночь». Голубым занавесом, полностью скрывающим сцену, управляют из фойе[28].

Так как в театре Ла-Коста бывает тесно, сеньор здешних мест решает оборудовать театральный зал еще и в фамильном замке Мазан, устройством которого он занимается в течение зимы и весны 1772 года[29]. Таким образом он сможет давать спектакли то в одном зале, то в другом. В его честолюбивые замыслы входит создание постоянной труппы под его руководством и переход от любительского великосветского театра к театру профессиональному. До сих пор он поручал главные роли любителям: своей жене или мадемуазель де Лонэ, разумеется, не забывая и себя; второстепенные роли исполняли комедианты из Экса или Марселя, обычно весьма посредственные и нанимаемые по случаю. Этими силами была поставлена мелодрама «в английском вкусе» его собственного сочинения «Свадьба века», от которой сохранилась только сюжетная канва и несколько реплик, а также список ролей и исполнителей, составленный рукой маркиза: героиню пьесы, Полину, играла канониса, г-же де Сад предназначалась роль ее доверенной служанки, а себе Донасьен взял роль графа Касталли, супруга Полины[30]. Многие жители Ла-Коста мечтали играть в театре маркиза. Так, юный Поле, сын буржуа из Ла-Коста, рвался «дебютировать в трагедии», но заявлял, что готов на любые роли. Молодой человек, занимавшийся коммерцией в окрестностях Монпелье, предложил свои услуги по набору актеров.

Двадцать пятого февраля 1772 года Донасьен нанял актера Бурдэ с женой. Они будут играть у него весь сезон, с Пасхи до 1 ноября, все роли, которые он им станет давать, за вознаграждение в восемьсот ливров; жилье, еда и дорожные расходы также за его счет[31]. Помимо обычного для Бурдэ амплуа благородных отцов ему также поручают обязанности театрального администратора[32]. Амплуа его жены — дуэньи. Вскоре труппа пополняется еще десятью актерами: это Дютийоль, «на первые роли, в комедиях и трагедиях»[33], Ролан, «комедии и комические дивертисменты»; Бенуа, «криспены* и конфиденты»; Берне, «влюбленный»; Ашар, «роли правителей, тиранов, лицемеров, притворщиков»; Галло, «лакеи и прочие статисты»; г-жа Дютийоль, «трагедия и комедия»; Алина, «влюбленная»; Клер, «ближайшая подруга и спутница»; Нинон, «субретка». Появился оркестр с собственным дирижером, неким Майе[34]. Нетрудно себе представить, во что обходится содержание постоянной труппы из двенадцати актеров, играющих попеременно шесть месяцев в году! Но ради утоления своей страсти Донасьен готов пожертвовать всем.

Теперь все вакансии в труппе заполнены, оба зала готовы: можно открывать фестиваль. В первый раз занавес поднимается 3 мая в Ла-Косте: дают «Гордеца» Детуша и одноактную пьесу в прозе «Нравы нашего времени» Сорена. Те же самые пьесы повторно сыграны 10 мая на сцене Мазана. Таким образом, каждый спектакль играется дважды, сначала в Ла-Косте, затем в Мазане, примерно с недельным интервалом. Репертуар достаточно традиционен: наш меценат не хочет риско-

* Криспен — персонаж комедии дель арте, хвастливый и плутоватый слуга.

вать и предпочитает ставить популярных авторов, а не собственные сочинения или сочинения авторов столь же безвестных. Он ставит Вольтера, Дидро, Реньяра, Детуша, Грессе, Лашоссе, Колле, даже Каюзака и Рошона де Шабана.

К несчастью, де Саду с превеликим трудом удается заполнять залы. Так как окрестные дворяне упорно бойкотируют его спектакли, он призывает своих знакомых горожан и не гнушается открывать двери простолюдинам, что требует присутствия двух конных жандармов, «дабы воспрепятствовать беспорядкам». Со своей стороны, аббат де Сад вербует зрителей в Сомане и Мазане, ему помогает фермер Рипер[35]. Фестиваль равен циклу из двадцати четырех представлений, последнее должно состояться в Мазане 22 октября[36]. Но уже 27 июня цикл трагически прервется...

Повозка Феспида*

«Как трудно руководить этими упрямыми животными, кои называют себя актерами», — вздыхал Мольер, прекрасно знавший актерскую среду. Наверняка Донасьен не раз цедил сквозь зубы эту известную реплику из «Версальского экспромта». Действительно, очень скоро в труппе начинаются склоки; интриги и соперничество побуждают одних «постоянных актеров г-на маркиза де Сада» выступать против других постоянных членов труппы. Однако голова маркиза занята другими заботами. В то же самое время когда скоморохи изводят его своими скандалами, торговцы в Апте отказывают ему в кредите, кредиторы торопят с уплатой, а судебные приставы наступают на пятки; когда же осторожный Фаж пытается его вразумить, маркиз резко и грубо осаживает его. Аббат де Сад, полностью разделяющий мнение нотариуса относительно дорогостоящих капризов племянника, пишет ему:

> Я думаю то же, что и Вы, о страсти моего племянника к спектаклям, которая, как Вы сами видите, поставила его на грань разорения, а если продлится, то непременно разорит. До сих пор я не говорил с ним об этом, ибо чувствовал бесполезность моих внушений. Я с удовлетворением смотрю, как невозможность примирить актеров между собой и их постоянные обманы, трудности, связанные с поиском денег для покрытия театральных расходов и прочие препятствия, ежеминутно возникающие при удовлетворении этой страсти, начинают отбивать у него охоту, и я жду только подходящего момента, чтобы нанести главный удар; он был бы уже нанесен, если бы жена его была менее снисходительна к фантазиям мужа и пожелала бы действовать заодно со мной[37].

Разумеется, больше всех сумасбродство маркиза — «смешное» сумасбродство, не только ведущее к разорению, но и бесчестящее его, его жену и всю его семью, — раздражает председательшу де Монтрей, полностью осведомленную обо всех спектаклях и празднествах, устраиваемых в Провансе.

---

* Феспид (VI в. до н. э.) — по преданию, греческий поэт, создатель аттической трагедии; разъезжал по Греции в повозке, служившей ему сценой.

Я тревожусь за здоровье своих детей, так как от них давно нет писем, – жалуется она аббату. – Со всех сторон я только и слышу, что о спектаклях и развлечениях, по причине которых они совершенно не сидят на месте <...> Нет ничего дурного в том, чтобы ставить спектакли среди равных, в своем кругу, но когда занятию этому начинают предаваться сверх меры, выставляя себя напоказ перед всей провинцией (шокированной подобным поведением) вместе с людьми, чьим ремеслом является развлекать тех, кто по положению и знатности равен де Саду, занятие сие становится чрезвычайно нелепым, чтобы не сказать большего; даже в спектакле, где каждый исполняет свою роль, аристократу неуместно появляться перед взором публики наравне со скоморохами. Пусть театр всегда был для маркиза де Сада главной страстью, чтобы не сказать навязчивой идеей, до известного предела он волен распоряжаться собой и своими поступками; но он не имеет и никогда не будет иметь права бесконечно компрометировать жену и свояченицу. Такое поведение недостойно, и я положу ему конец, если только он не опередит меня, добровольно склонившись перед доводами разума. К чему ведут все эти разъезды, эти торжества? К окончательному разбазариванию состояния, кое и так уже сильно уменьшилось из-за многочисленных сумасбродств.

Итак, несмотря на настойчивые призывы зятя, председательша решительно отказывается прийти ему на помощь до тех пор, пока он не гарантирует, что наведет порядок в своих делах.

Я устала оставаться в дураках, – продолжает она. – Можно пожертвовать собой ради вещей честных и разумных, но не для увековечивания сумасбродства. Растратив все, он отправит ко мне жену и детей, о которых вовсе не заботится и которых я, без сомнения, приму, и отправится своей дорогой <...> куда поведут его горе и нищета, а ведь эта дорога не была создана для него!

Она готова пойти на соглашение и помочь маркизу и его жене, попавшим в затруднительное положение, справиться с долгами, срок уплаты которых 1 июля и которые с тех пор, несомненно, увеличились. Но для этого необходимо, чтобы кредиторы отсрочили выплату до конца лета, ибо из наследства ее двоюродной бабушки Крезер еще не выплачены все долги. «Тридцать тысяч ливров в Провансе, столько же здесь, вместе шестьдесят тысяч, но они лежат отнюдь не рядышком». Впрочем, ей также требуется время, чтобы заключить договоренность на дальнейшее: она больше не хочет «посылать денег, не зная, что с ними станет»[38].

Во вторник 23 июня 1772 года Донасьен покидает Ла-Кост в самый разгар фестиваля и отправляется в Марсель, где, по его словам, имеются деньги, которые можно получить. Не исключено также, что семейная жизнь начинает угнетать его, и он мечтает о «вечеринках» у фокейских лаис. С собой он берет лакея Армана Латура[39]. В принципе, он предполагает вернуться не позднее 29 июня, на представление «Женатого философа», которое должно состояться в Мазане. Но судьба распорядилась иначе...

Глава X
МАРСЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

Прибыв в Марсель 23 июня после полудня, Донасьен остановился в гостинице «Трез-Кантон». Чем он занимался в этот и на следующий день, кроме посещения борделя старухи Вашье на улице Сен-Ферреоль-ле-Вье, где имел свидание с девятнадцатилетней уроженкой Лиона Жанной Нику, нам неизвестно.

Двадцать пятого июня, в четверг, он посылает Латура в портовые кварталы с заданием найти девиц «очень молодых» для распутной «вечеринки». Лакей подбирает на улице некую Марианну Лаверн, восемнадцатилетнюю уроженку Лиона, и назначает ей свидание на завтра около одиннадцати часов вечера, предупреждая, что будет вместе со своим господином. Но когда оба мужчины приходят к «дому Никола», что на улице Обань, оказывается, птичка уже улетела на морскую прогулку.

В субботу 27 июня в восемь часов утра Латур стучит в дверь к вернувшейся с прогулки Марианне и вновь предлагает встретиться. Но на этот раз уже не у нее: дом слишком заметен, а его хозяин предпочитает укромные уголки. Неподалеку отсюда, на углу улиц Обань и Капюсен, живет еще одна проститутка, Мари Борелли, именуемая Марьеттой. Пусть она приходит к ней ровно в десять. Там будет еще несколько приглашенных им обитательниц «дома Никола»: Марианна Ложье, именуемая Марианеттой, и Роза Кост, именуемая Розеттой. Его хозяин принесет анисовые конфеты, «чтобы заставить их пукать и принимать их ветры прямо себе в рот». Жанна Нику, которую Латур также не забыл пригласить, пойти с ним отказалась.

Театрик маркиза де Сада[1]

Действующие лица

Марианна Ложье, именуемая Марианеттой, 20 лет.
Марианна Лаверн, 18 лет.
Роза Кост, именуемая Розеттой, 20 лет.
Мари Борелли, именуемая Марьеттой, 23 года.
Жанна-Франсуаза Лемер, служанка Марьетты, 42 года.

Маркиз де Сад, именуемый Лафлером, 32 года.
Его лакей Латур, именуемый Господином маркизом.

Сцена I

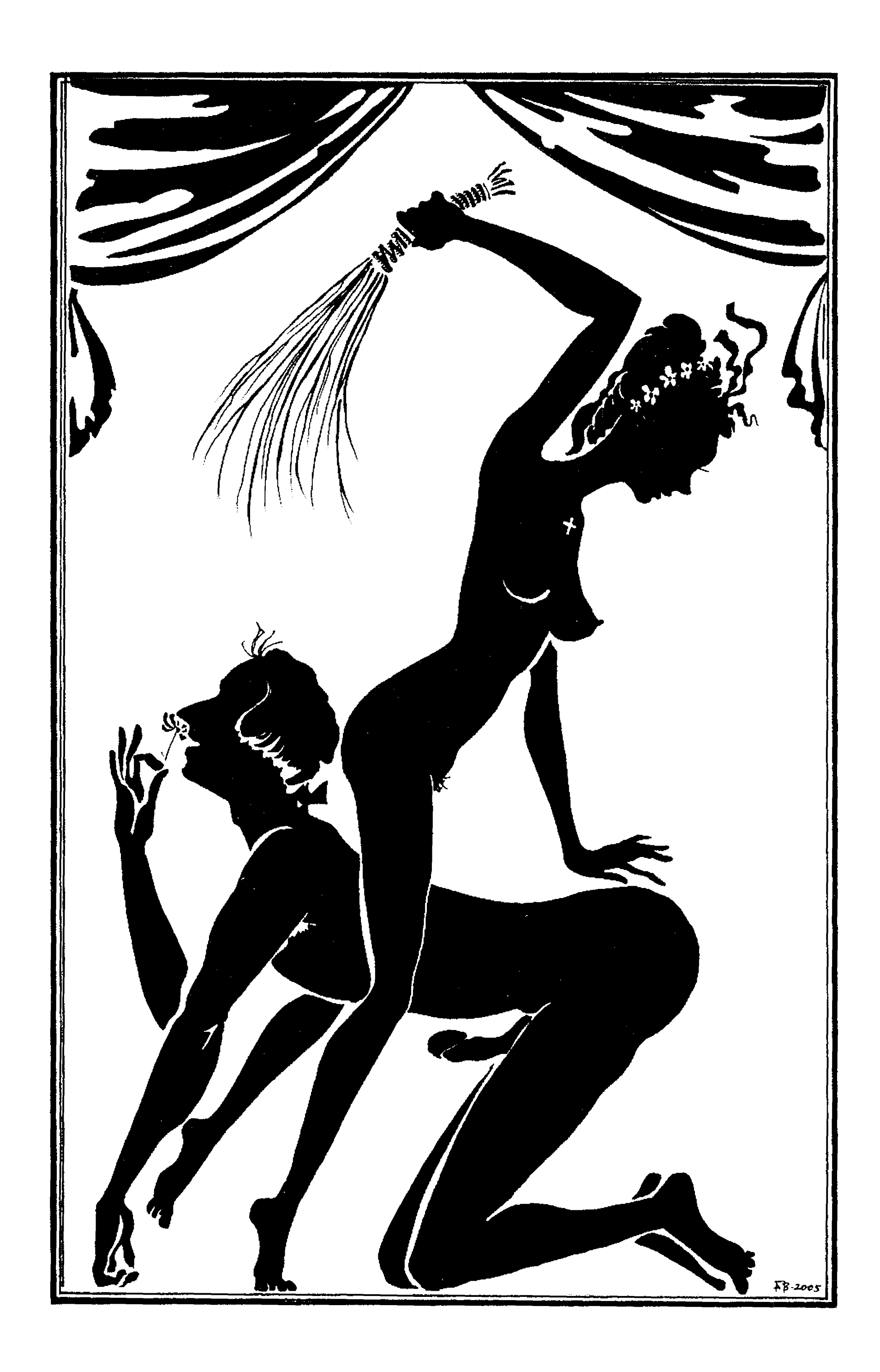
Марианна Лаверн – маркиз де Сад – лакей Латур

Действие начнется два часа спустя. Сейчас мы находимся в квартире Марьетты Борелли, в доме 15 бис по улице Обань, на четвертом этаже. Входит загадочный путешественник: «рост средний», «волосы светлые», «фигура стройная», «лицо полное»; на нем серый фрак на голубой подкладке, куртка, ярко-оранжевого цвета шелковые штаны до колен, шляпа с перышком, на боку шпага, в руке трость с золотым набалдашником. За ним следует его лакей Латур, ростом он выше хозяина, волосы прямые, лицо испещрено оспинами, одет в «матроску» с синими и желтыми полосами. Едва войдя в комнату, где сидят четыре девицы, маркиз вытаскивает из кармана пригоршню экю. «Здесь хватит на всех!» — восклицает он. При условии, конечно, что они умеют «развлекать». Но сначала загадка: та, кто скажет, сколько экю он держит в руке, пойдет первой! Каждая называет цифру. Выигрывает Марианна. Донасьен приказывает всем выйти, за исключением выигравшей счастливицы и лакея, коего он называет Господином маркизом, в то время как сам откликается на лакейское имя Лафлер.

Сцена II

Марианна Лаверн – маркиз де Сад – лакей Латур

Маркиз запирает дверь на ключ и укладывает Латура и Марианну на кровать. Одной рукой он стегает девицу, другой возбуждает слугу. Затем приказывает Латуру выйти, вытаскивает из кармана маленькую, оправленую в золото хрустальную бонбоньерку, полную драже из шпанской мушки в анисовой глазури, и протягивает девице. Главное, съесть достаточно драже, ибо это самое верное средство вызвать ветры. Она сгрызает семь или восемь и больше не может. Затем он предлагает ей сношение через зад – или с его лакеем, или с ним самим – и обещает за это луидор. Так как она отказывается, он достает пергаментный рулон, ощетинившийся булавками с загнутыми концами, и велит этой импровизированной плеткой отхлестать его по заднице. Она начинает бить, но после первых трех ударов чувствует, что теряет сознание. Он приказывает продолжать, но она не может. Тогда он требует метлу из вереска; с ней дело пойдет лучше. Марианна идет на кухню и посылает вдову Лемер купить требуемую метлу. Вскоре Лемер возвращается с метлой, и Марианна принимается стегать ею маркиза, который кричит, чтобы она била сильнее. Внезапно она останавливается и просит разрешения выйти: ей стало плохо. Она выходит из комнаты и бежит на кухню, где служанка дает ей выпить стакан воды. Затем, все еще чувствуя себя неважно, она просит у служанки чашку кофе.


FB-2005

Сцена III

Марьетта Борелли – маркиз де Сад – лакей Латур

Пока Марианна тщится привести в порядок свои мысли, Донасьен вводит Марьетту и Латура. Он раздевает девушку, заставляет опуститься на колени возле кровати и хлещет ее метлой. Затем требует, чтобы она сделала то же самое с ним. Пока она бьет его, он на каминном колпаке перочинным ножом царапает число полученных ударов. Затем опрокидывает ее на постель и берет спереди, одновременно мастурбируя своего слугу. Затем Латур содомизирует его. Когда операция завершена, Марьетта одевается и выходит. Входит Розетта.

Сцена IV

Роза Кост, именуемая Розеттой – маркиз де Сад – лакей Латур

То же, что и в предыдущей сцене, за исключением некоторых деталей: пока Розетта стегает маркиза метлой, Латур возбуждает его, одновременно позволяя хозяину делать с собой то же самое. Затем маркиз просит девицу позволить лакею содомизировать ее. Девица отказывается и выходит, уступив место Марианетте.

Сцена V

Марианна Ложье, именуемая Марианеттой – маркиз де Сад – лакей Латур, затем вновь Марианна

Сначала Марианетта позволяет ласкать себя, но когда Донасьен готовится стегать ее (он говорит, что ему осталось нанести еще двадцать пять ударов), она замечает на кровати рулон с окровавленными булавками, пугается и пытается убежать. Он силой удерживает ее и зовет Марианну, та входит неуверенной походкой, и он запирает дверь на ключ. Тут он предлагает девицам свои драже; малышка Лаверн отказывается, она и так уже съела достаточно; Марианетта кладет несколько штук в рот, но тут же выплевывает. Сильно отхлестав обеих вересковой метлой, маркиз хватает Марианну, швыряет ее на кровать, укладывает на живот, задирает юбку и сует нос между ягодиц, чтобы получить ее ветры. Затем наносит несколько ударов метлой, приказывает Марианетте встать у изголовья своей товарки и смотреть на то, что он делает. Он приспускает до колен штаны, касаниями возбуждает своего лакея и «укладывается на задницу вышеуказанной Марианны», которую, возможно, содомизирует, в то время как лакей наслаждается им сзади. Марианетте становится дурно, она бросается к окну и прижимается лицом к стеклу, чтобы не видеть этой сцены. Тогда маркиз приказывает ей мастурбировать Латура, но она отказывается и пытается убежать, тогда как Марианна заливается слезами. Обе девицы умоляют его позволить им уйти; сначала он угрожает им, затем все же отпирает дверь и дает каждой по экю стоимостью в шесть

ливров. И обещает каждой еще по десять, если они сегодня вечером отправятся с ним на морскую прогулку.

Так завершается сцена, которую Жильбер Лели ханжески — без всякой иронии — называет «утром Киферы». Но день еще не окончен, и молодой маркиз все еще одержим волчьим аппетитом. Утренний сеанс был лишь закуской, вечером ему потребуются более плотные блюда, так как на следующий день надо уезжать в Ла-Кост, и он не собирается попусту растрачивать последние часы свободы.

После полудня, ближе к вечеру, де Сад посылает Латура на улицу Обань, за Марианной и Марианеттой, дабы предложить им морскую прогулку. Но девушки отказываются. Тогда лакей начинает рыскать по марсельским борделям: ему во что бы то ни стало необходимо до наступления ночи доставить господину свежую плоть. Тем временем вышеназванный господин принимает актера Дерозьера, в разговорах с коим убивает время, а затем приглашает его остаться обедать. Вдвоем они пируют, но тут появляется лакей и шепчет на ухо маркизу: нашел то, что надо. Около девяти часов вечера он встретил возле своего дома по улице Сен-Ферреоль-ле-Вье проститутку. Ей двадцать пять лет, и зовут ее Маргарита Кост. Латур приглашает ее ненадолго подняться к себе и говорит, что в скором времени к ней придет его хозяин: пусть она готовится принять его. В залог он оставляет ей носовой платок с монограммой и тотчас бежит в гостиницу «Трез-Кантон». Дерозьера быстро отсылают, и оба, господин и слуга, устремляются в путь, а занавес поднимается над...

Сценой VI
(*и последней*)

Маргарита Кост — маркиз де Сад — лакей Латур

Декорации сменились; теперь они изображают комнату Маргариты. Спустилась ночь. Маркиз быстро преодолевает лестницу, ведущую на третий этажа дома, принадлежащего слесарю Дебефу; слуга не отстает от него. Маркиз входит в комнату и отсылает Латура; тот с растерянным видом удаляется; господин прислоняет к стене трость, снимает шпагу и падает на кровать, в то время как Маргарита берет стул и садится рядом с ним. Он достает хрустальную коробочку с драже; она рассасывает несколько штук; он предлагает ей еще, но она больше не хочет; он настаивает, говорит, что всех девиц заставляет их есть, и наконец уговаривает ее опустошить бонбоньерку, при этом постоянно интересуясь, не болит ли у нее живот. Затем укладывает ее вниз лицом, лижет ей анус, велит пукать себе в рот и наконец предлагает «насладиться ею сзади и прочими способами, кои все ужасны». Она упорно отказывается. Соглашается только на то, чтобы ее взяли согласно естественным законам природы. «Позабавившись с нею», маркиз уходит, оставив на столе шесть франков.

Занавес

Судебно-медицинское расследование

На следующий день рано утром, когда почтовая карета уносит вдаль от Марселя хозяина и слугу, в древнем фокейском городе начинает работать судебная машина. В ход ее пустила Маргарита Кост. Накануне, сразу же после ухода маркиза, она почувствовала сильное жжение в желудке, сопровождаемое тошнотой, головокружением и «общим плохим самочувствием». Она легла спать, но не смогла уснуть, потому что ее стало обильно тошнить чем-то черным и зловонным. На следующее утро она позвала квартирную хозяйку, вдову Равель, и попросила ее приготовить чай. Достойная вдова, видя девицу в плачевном состоянии и перепачканную нечистотами кровать, оказывает ей первую помощь и обильно поит ее теплой водой, что помогает той облегчиться. Несчастную тошнит все воскресенье. Вечером она вызывает врача, Антуана Ру, который прописывает ей сладкое миндальное масло, но рвота не прекращается и весь понедельник. Утром во вторник вдова Равель находит ее в прежнем состоянии. Узнав, что накануне неизвестный угостил ее конфетками, она бежит сообщить об этом в жандармерию, где тотчас заводят дело. В тот же самый день, во вторник 30 июня 1772 года, следователь уголовной полиции Жан-Пьер Шомель отправляется к проститутке домой, на улицу Сен-Ферреоль-ле-Вье, чтобы взять у нее показания. Она лежит в кровати, сотрясаясь от рвотных спазм, из нее по-прежнему исторгаются гнилостные черные массы. Он собирает небольшое количество их во флакон и запечатывает пробкой. Королевский прокурор направляет флакон к хирургу Ру (однофамильцу предыдущего врача), дабы тот обследовал женщину и с помощью аптекаря провел экспертизу содержимого флакона. Параллельно он приказывает произвести обыск в квартире Марьетты Борелли. Во время обыска полицейские находят в углу комнаты две маленькие пастилки и относят их в лабораторию для анализа. Неожидано внимание их привлекает ряд цифр, нацарапанных лезвием на каминном колпаке, справа от зеркала; порядок цифр таков: 215, 179, 225, 240.

На допросе Марьетта отвечает, что таким образом маркиз последовательно записывал количество получаемых им ударов. В сумме оно составило 859! В четыре приема — и за одно только утро! Невольно задаешься вопросом, а не могли ли самые удачные удары считаться за два или даже за три?

В среду 1 июля врач Лонж и хирург Ру идут к Маргарите Кост; они находят ее в постели, у нее «блестят глаза, язык влажный, покрыт беловатой слизью, и жесткий частый пульс»; она мучается от жестоких болей. Рядом с кроватью стоит таз с черноватой жидкостью, которую она продолжает исторгать из себя. Врачи пальпируют желудок и находят его излишне чувствительным. Уходя, они предписывают ей есть протертую пищу и промывать желудок. На следующий день, в четверг, они отправляются в лабораторию аптекаря Рембо, которому помогает его коллега Обер, специально назначенный для этой цели уголовной полицией Марселя. Четыре медика приступают к анализу отделяемо-

го. На поверхности они обнаруживают жирные и маслянистые вещества: возможно, остатки сладкого миндального масла. Жидкость под ними состоит из настоек и питья, употребленных больной.

В тот же день врачи снова осматривают Маргариту: боль в желудке стала менее резкой, зато распространилась на область поясницы, не затрагивая брюшной полости. Стул жидкий, желтоватый, с желчью.

Четверг, вечер: состояние прежнее, рвота.

Пятница, около 11 часов утра: по-прежнему рвота, пульс слабый.

Пятница, вечер: после полудня рвота прекратилась.

Суббота, утро: ночью спала плохо, пульс лихорадочный, язык сухой.

Эти наблюдения позволяют врачам сделать следующий вывод:

1. Настоящие симптомы свидетельствуют о разрыве и прободении стенки желудка и кишечника.

2. Причиной разрыва послужило какое-то едкое и вызывающее раздражение вещество, содержавшееся скорее всего в пастилках, съеденных больной.

3. Хотя смерть больной не угрожает, состояние ее тяжелое, очень тяжелое.

Марсель, 4 июля 1772 года
[Подписано:] *Лонж*, *Ру*[2].

* * *

Пока Маргарита Кост выздоравливает, вернемся к Марианне Лаверн, также — хотя и в меньшей степени, чем ее товарка, — испытавшей на себе действие садической кондитерской. Очень скоро, как мы уже в этом убедились, она начала ощущать те же симптомы: сначала дурное самочувствие, затем обильная черная кровянистая рвота, «подобная помоям, исторгнутым организмом», где можно было видеть кровавые следы и хлопья слизи. Кроме того, язык был влажным и белесым, ощущались боли в брюшной полости, особенно в эпигастральной области.

В пятницу, 3 июля, врачи, пришедшие осмотреть ее, отмечают: «Периодическая рвота, жидкий стул, лихорадка усилилась. Во время питья возникает жжение по всему пищеводу, боли в пояснице». Суббота: пациентка уснула, лихорадка спала, низ живота «вздут из-за скопления газов», жжение при мочеиспускании. Врачи составляют заключение, мало чем отличающееся от того, какое они вынесли по состоянию Маргариты Кост:

1. В первые дни больная испытывала легкое жжение внутри, вызванное прохождением какого-то едкого и разъедающего вещества, действие которого распространилось и на мочеиспускательные пути <...>.

2. Хотя вышеуказанная больная еще не полностью поправилась, она тем не менее находится на пути к выздоровлению[3].

Остаются результаты анализа. Мэтры-аптекари Андре Рембо и Жан-Батист Жозеф Обер составляют подробные отчеты об исследованиях, произведенных в лаборатории Рембо. Первый относится к рвотным массам Маргариты Кост:

1. После смешения с рвотной массой извести никаких изменений не произошло.

2. После фильтрации рвотной массы была получена бесцветная жидкость с

легким гнилостным запахом; она окрасила в слабый голубой цвет воду из источника, в которую мы подмешали немного раствора меди.

Растворенная в отфильтрованной воде и оставленная в покое на всю ночь, рвотная масса не дала ни минерального осадка, ни мышьяка, ни осадка разъедающего.

Также экспертизе были подвергнуты два драже, подобранные на полу во время обыска. Рассмотрев их под микроскопом, аптекари увидели только зернышко аниса в сахарной оболочке, «искусно изготовленное». Попробовав драже на кончик языка, они не почувствовали никакой горечи. Введя его в пламя горелки, запаха мышьяка тоже не обнаружили. Второе драже смешали с двумя драхмами (около 6,48 г) известковой воды, и раствор не изменил окраску. Не имея возможности производить дальнейшую экспертизу по причине малого количества драже, фармацевты составили следующий отчет:

Мы заявляем и утверждаем, что ликвор из вышеуказанной бутылки не мог быть веществом, вызвавшим у больной рвоту, а двух драже недостаточно для проведения более подробной экспертизы на предмет определения их состава и природы[4].

Анис и шпанская мушка

Профессиональная бездарность обоих аптекарей позволяет только руками развести. Одержимые идеей отравления, они даже не подумали, что заболевание девиц может иметь совершенно иные причины. Отыскивая яд, они тщетно пытались выделить мышьяк и провели совершенно никчемный микроскопический анализ. Так как речь шла о таком распутнике, как Сад, они должны были бы вспомнить о шпанской мушке, известной еще со времен античности, обладающей возбуждающими половое влечение свойствами; либертены часто употребляли ее в виде драже, которые в Италии назывались «дьяволини», а во Франции — «галантными пилюлями», а иногда «пилюлями а la Ришелье». Чтобы обнаружить присутствие шпанской мушки, достаточно было подвергнуть садические конфетки испытанию посредством пластыря (приложив к коже кусочек драже, плотно прижать его с помощью пластыря: вскоре кожа начинала нарывать). Но господа Обер и Рембо думали только о мышьяке; не обнаружив последнего, они отказались от дальнейших исследований. Судьи вспомнили о шпанской мушке очень поздно, только во время кассационного обжалования приговора, хотя многие говорили о ней уже на следующий день после происшествия. Так, 22 июля 1772 года интендант Прованса де Монтион, отвечая обеспокоенному неподтвержденными слухами министру Королевского дома Сен-Флорантену, ставшему к тому времени герцогом де Лаврийер, написал следующее:

Другая версия этой истории — и она значительно менее жестока и более правдоподобна — заключается в том, что сей молодой человек, находясь в непотребном заведении, угостил девиц драже со шпанской мушкой, которые вызвали у них расстройство желудка; девица же, съевшая этих драже значительно больше остальных, чуть не умерла. Но в конце концов все девицы остались живы[5].

О шпанской мушке идет речь и в личной переписке маркиза с семьей. Он хочет защитить себя от обвинений в злоумышлении против марсельских девиц. Комментируя прошение, составленное г-жой де Сад для подачи в кассационный суд с целью обжалования приговора, Донасьен резко критикует один из абзацев этого текста:

На странице седьмой вы утверждаете, что женщины такого рода занятий, как эти, не должны или не могут знать *происхождение, свойства и воздействие шпанских мушек*. Это неверно; именно при их занятиях они обязаны знать этот тип наркотика, обладающего теми же свойствами, что и их искусство, и я уверен, что только немногие из них с ним незнакомы; именно потому что они прекрасно знают, что это такое, они на него и набросились <...>[6].

Таким образом, он аргументирует недомогания девиц их собственным несдержанным поведением за столом, тезис, который он разовьет в «Обманутом председателе» в более игривом тоне:

В Марселе, так же как и в Эксе, эта болезнь вызывает некоторое бурление чрева, но с тех пор, как мы убедились, что шайка мошенников, собратьев того проходимца, посчитала *отравленными* нескольких шлюх, почувствовавших колики, не следует удивляться, что у провансальского магистрата колика становится событием чрезвычайной важности![7]

Наличие шпанской мушки в конфетках маркиза де Сада сегодня ни у кого не вызывает сомнения; симптомы, отмеченные у Маргариты Кост и Марианны Лаверн – ибо только они ели эти конфеты, – в точности соответствуют симптомам отравления именно этим веществом. Мы обратились к доктору Пьеру Флотту, эксперту по клинической и аналитической токсикологии при кассационном суде, и он безоговорочно подтвердил предположение об отравлении порошком из шпанской мушки, равно как и высокую токсичность этого вещества*.

Маркиз де Сад не мог не знать, чем грозит употребление шпанской мушки: в его время это было общеизвестно. Чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть II том «Энциклопедии», опубликованный в 1751 году, где в статье «Шпанская мушка» можно прочесть:

Шпанские мушки, превращенные в порошок и приложенные к коже, вызывают язвочки, оказывают болезнетворное воздействие на мочеиспускание, провоцируют застой жидкости в организме, жажду, лихорадку, кровь в моче и т.п., сопровождаемые зловонным, трупным запахом. Те же симптомы они вызывают и при принятии внутрь. Было замечено, что они оказывают вредное воздействие на мочевой пузырь. <...> Бойль идет еще дальше: он утверждает, что одни чувствовали болезненность в области мочевого пузыря, а у других были повреждены органы мочеиспускания, и это только в результате соприкосновения с сухой шпанской мушкой. Из чего он делает заключение, что шпанскую мушку можно отнести к числу ядов. Бургаве в качестве противоядия рекомендует рвотное, большое количество разнообразной жидкости, масляные растворы, обволакивающие средства и кислотные растворы, препятствующие процессам гниения и брожения <...>.

Разумеется, Сад прекрасно знал о возбуждающем воздействии шпанской мушки и, несомненно, предложил ее своим партнершам,

* См. Приложение III наст. изд.

чтобы «подогреть» их. Его ошибка (автор не говорит *его преступление*) состояла в том, что он превысил дозу, чем подверг жизнь девиц реальной опасности. Обычная доза не превышает двух драже в сутки. Превышение нормы грозит отравлением и смертельным исходом. Впрочем, совершенно ясно, отчего он хотел усилить дозу: его подлинной целью являлось не столько вызвать возбуждение во влагалище, сколько стимулировать слизистую в анальном отверстии; а так как возбуждение последней наступало позже первой, пришлось удвоить дозу, чтобы поскорей достичь желаемого. С вполне реальным риском вызвать внутреннее кровотечение, некроз мочеточников и мочевого пузыря.

Чтобы заглушить горьковатый вкус шпанской мушки, был использован обладающий сильным ароматом анис. В противоположность всему тому, что было неоднократно сказано по поводу действия аниса, этот продукт никогда не вызывал вздутия живота, а следовательно, никоим образом не мог повлиять на отхождение «газов». Напротив, анис обладает антиспазмолитическими свойствами и значится таковым во всех фармацевтических книгах. На самом деле газы, с таким наслаждением вдыхавшиеся маркизом, причиной своей имели периодические спазмы, вызванные шпанской мушкой. Не раскрывая этого секрета девицам, либертен с улицы Обань лишь сообщил о своем пристрастии к скоплению газов в кишечнике: газы послужили ему своего рода алиби.

Само собой разумеется, у него и в мыслях не было убивать свои жертвы: не стоит даже выступать в защиту отсутствия преступных намерений; этому есть все основания верить, ибо в один из редких порывов искренности он пишет: «Да, я либертен, я это признаю: я замышлял все, что можно замышлять в моем положении, но я, разумеется, исполнил далеко не все, что замыслил. Я либертен, но не преступник и не убийца». В остальном, как справедливо рассудила председательша де Монтрей, «какой смысл давать яд девицам, которых не знаешь и впервые видишь и чье ремесло не дает оснований ни для любви, ни для ревности, ни даже для любопытства?»[8] К тому же ни Маргарита Кост, ни Марианна Лаверн не умерли.

Зная вред, причиняемый человеческому организму избытком шпанской мушки, маркиз тем не менее без колебаний накормил ею обе свои жертвы до отвала. Неосторожность? Неловкость? Ошибка в дозировке? Научный эксперимент, как в случае с Розой Келлер? Или простое безразличие? Что стоит жизнь какой-то проститутки по сравнению с удовольствием дворянина? Аркейское дело уже обнаружило его презрение к этим «низменным созданиям». Он никогда не сможет согласиться с тем, что человеку его звания может быть вынесен приговор из-за публичной девки:

Эти развлечения, порой по случайности приводившие к смерти какой-нибудь шлюхи, были в прошлое столетие и в первые восемь десятков лет столетия этого приравнены к преступлениям, караемым смертной казнью. Но мы становимся просвещеннее, и благодаря философии честного человека больше не будут приносить в жертву из-за какой-то уличной потаскухи. Поставив этих низменных созданий на их истинное место, мы начнем ощущать, что созданы исключительно для

того, чтобы пользоваться ими для удовлетворения наших страстей; и карать следует их неповиновение, а не наши капризы[9].

«Это божественное ощущение!»

Параллельно с судебно-медицинским расследованием продолжается сбор информации по делу; во главу угла ставятся попеременно то отравление, то содомия, и это несмотря на данный судьям приказ вести следствие только для выяснения подробностей тех действий, на которые была подана жалоба. После заслушивания свидетелей установился основной круг причастных лиц, а именно — Мари Борелли, ее служанка Жанна Франсуаза Лемер, Марианна Лаверн, Жанна Нику, узнавшая в описанном дворянине своего постоянного клиента, Марианна Ложье, Роза Кост, врач Антуан Ру, актер Себастьян Дерозьер и т. д., всего дюжина.

Ни одна из допрошенных девиц не призналась в совершении содомского акта со своим клиентом; при одном только упоминании этого «ужасного» деяния они протестовали в один голос. И хотя в это верится с трудом (анальное соитие широко практиковалось в борделях, а маркиз предпочитал отдавать честь именно данной части женского тела), их отказ от признания вполне можно понять: учрежденные за это кары были столь суровы, что лучше было промолчать. Действительно, закон предусматривал смертную казнь через костер, приговоренные сжигались заживо, а их пепел развеивали по ветру. Поспешим добавить, что смертный приговор почти никогда не выносился; он применялся исключительно к гомосексуальной содомии, часто в соединении с другими «преступлениями»[10]. Впрочем, наказания, заменявшие смертную казнь, также впечатляли: Бисетр и Сальпетриер* по праву слыли прихожими смерти.

Противоестественные акты, происходившие между маркизом и его лакеем и подробно описанные проститутками, также являются составной частью садических фантасмагорий. Пассивное подчинение партнеру вызывает у автора «Жюстины» приступы лирического настроения, в связи с чем он вспоминает об экстазе де Брессака.

Ах, Тереза! — с жаром произнес однажды этот энтузиаст порока, — если бы ты только знала, с какой силой привораживают нас к себе наши причуды! Если бы только могла понять, испытав на опыте, насколько сладостной представляется нам иллюзия быть женщиной и никем другим! Какое немыслимое смятение духа! Ненавидеть ваш пол и одновременно жаждать подражать ему! Ах, как сладостно, Тереза, как сладостно отдаваться всем, кто тебя ни пожелает, опускаясь, таким образом, до последней степени безумия и проституции. Как сладостно в течение одного дня последовательно становиться любовником взломщика, музыканта, камердинера, монаха, сделаться объектом ревнивых упреков и угроз, получать побои. То ты как победитель находишься в объятиях любовника, то как жертва пресмы-

---

* Сальпетриер — лечебница для бедных, устроенная Людовиком XIV на месте бывшего порохового завода, позднее превращенная в место заключения «падших женщин»; после 1796 г. — лечебница для душевнобольных.

каешься у его ног, стараясь смягчить недовольного ласками или возбудить его своим бесстыдством... Увы, Тереза, нет, ты не можешь даже себе представить, чем для меня, такого человека, является подобное удовольствие.

Не станем приводить в пример царящее в голове возбуждение мыслей, достаточно того, чтобы ты составила себе понятие о физических ощущениях, связанных с нашими божественными удовольствиями. Сопротивляться таким ощущениям бесполезно, настолько живо доставляемое ими щекотание нервов, настолько это щекотание способствует возбуждению сладострастия... Ты начинаешь терять голову... пропадает разум... тысячи поцелуев, один нежнее другого, недостаточны, чтобы умиротворить пароксизмы страсти, которая охватывает все тело, когда в тебя проникает любовник. Держа своего друга в объятиях, соединив уста в поцелуе, ты хотел бы всем нутром воплотиться в любовника, образовавши с ним единое существо. Если мы когда-нибудь и жалуемся, то только потому, что нами пренебрегают, ведь мы желаем себе возлюбленных, по мощи равных Гераклу. Мы хотим, чтобы они, с усилием пронзив наше тело, метнули свое драгоценнейшее горячее семя в глубь наших внутренностей, вызывая благодаря теплу и силе ответное горячее биение ключа в могучих руках <...>*.

Война

Теперь дело раскручивается чрезвычайно быстро, можно даже сказать, с невероятной быстротой, особенно для Прованса, где обычно в период жарких летних месяцев все совершается очень медленно. Не дожидаясь результатов экспертизы аптекарей, которые поступят к нему только завтра, королевский прокурор де Манд 4 июля подписывает постановление о задержании маркиза де Сада и его лакея Латура. В тот же день Маргарита Кост, чье состояние все еще остается тяжелым, принимает последнее причастие.

Накануне или днем раньше, когда по указу Донасьена репетировали «Аделаиду Дюгесклен» и «Любовника-автора», которые должны были быть показаны 9-го в Ла-Косте, его тайно предупреждают о выдвинутом против него обвинении в отравлении нескольких девиц. И прибавляют, что одна из них, возможно, уже скончалась. Решив, что он пропал, он без лишних сборов вместе с Латуром пускается в бегство. Мадемуазель де Лонэ следует за своим родственником, а г-жа де Сад остается на месте. Скорей всего, беглецы скрываются неподалеку: быть может, у Рипера в Мазане, или у Льона в Арле, или же у аббата в Сомане. Во всяком случае, когда 11 июля судебный исполнитель из Апта в сопровождении Этьена Бланкара и трех конных жандармов является в замок Ла-Кост, чтобы «лично захватить и отправить в тюрьму» маркиза де Сада и его лакея Латура, нотариус Фаж отвечает, что они уехали уже неделю назад и с тех пор о них нет никаких известий. Судейские допрашивают слуг и соседей, но те ничего нового сказать им не могут: беглецов никто не видел, и никто не знает, где они находятся. Тогда судебный исполнитель приступает к «подробному обыску во всех апартаментах указанного замка» и оставляет для обоих беглецов

* *Маркиз де Сад.* Жюстина, или Несчастная судьба добродетели / Пер. А.В. Царькова, С.С. Прохоренко. М., 1991. С. 115–116.

вызов, предписывающий им явиться в суд через две недели. После чего, выражаясь языком закона, он приступает к «наложению ареста и описи» имущества и доходов маркиза: замок, селения и земли, входящие в состав его владений, ренты и фермы, приносящие ему доход, а также прочие сеньориальные права и имущество. Откупщику маркиза, Пьеру Шовену, поручено быть хранителем секвестрированного и наличествующего имущества, с «правом отказа и возражения против запроса его, ежели таковой будет».

В следующем месяце, а именно 3 августа, тот же самый судебный исполнитель вновь появляется в Ла Косте в сопровождении деревенского глашатая Панакраса Ру, которому предписано «публично заявить» обвиняемым, перед замком и «на всех площадях, во всех местах и на всех перекрестках означенного Ла Коста, что им следует явиться через неделю к начальнику полиции». По истечении этого срока начнется «приведение в действие судебной процедуры».

* * *

Госпожа де Сад всеми силами стремится вызволить мужа из когтей правосудия. Она ждет поддержки от сестры, вновь объявившейся вскоре после бегства, но та, похоже, подавлена еще больше, чем она: «Волнение, читающееся в ее душе, неуверенность ее ответов только усиливают тревогу»[11]. Тогда Рене-Пелажи обращается с призывом к председательше: по ее мнению, она единственная, «кто смог бы объяснить всем, что муж ее более несчастен, нежели виновен». Но от ее нежности к нему более не осталось и следа. Ходатайствовать за зятя означает явить себя сообщницей в его проступках. Отнюдь не желая спасать маркиза, как она это делала прежде, г-жа де Монтрей исполнилась твердой решимости вести с ним борьбу, и не на шутку. А мы знаем, на что она способна.

Такой резкий поворот, несомненно, имеет причиной связь Донасьена с мадемуазель де Лонэ. Долгое время председательшу одолевали сомнения, но теперь от них не осталось и следа. Из всех ударов, которые мог нанести ей маркиз, этот, несомненно, самый жестокий. Она терпела его долги, проказы, ложь; она даже согласилась с тем, что он предпочитал спать с публичными девками, а не с законной супругой: ее прагматический ум и недоверчивое отношение к мужчинам скорее не смогли бы примириться с избытком морали. Но наложить лапу на Анн-Проспер, осмелиться тронуть ее вторую дочь, самую нежную, самую хрупкую... она не могла этого простить. Не говоря уж об угрозе венерического заболевания, ибо распутник, подобный ему, всегда мог нести в себе заразу. И уж тем более не говоря о скандале, ибо известие об инцесте быстро распространяется среди публики, разносится газетчиками, и честь семьи втаптывается в грязь. Какое разочарование для председательши, стремившейся к союзу с родовитым дворянством, чтобы придать семье новый блеск! «Г-жа де Монтрей не из тех, кто мстит ради самой мести, — пишет Морис Эн, — но она не отступит ни

перед чем, дабы удовлетворить одновременно и свое злопамятство, и моральные и материальные интересы тех, за кого она отвечает. Упрятать по суду в надежное место в качестве узника, на ее взгляд, вполне соответствовало бы этой двойной цели».

Не встретив поддержки матери, Рене-Пелажи начала действовать самостоятельно. Следуя примеру г-жи де Монтрей образца 1768 года, она прежде всего решает попытаться убедить девиц отказаться от показаний. Для этого ей нужны деньги. Она раздобывает заем в четыре тысячи ливров, поручителем которого после вмешательства аббата де Сада[12] соглашается выступить Рипер, и вместе с сестрой мчится в Марсель.

Переговоры, с предельной осторожностью проводимые марсельским нотариусом де Карми, завершаются очень быстро. Соответственно 8 и 17 августа Маргарита Кост и Марианна Лаверн, получив щедрую компенсацию, подписывают отказ от показаний. Первая победа г-жи де Сад, пребывающей в ужасе от размаха, который приняло дело. «Во всех умах царит донельзя предвзятое мнение», — скажет она позднее. В самом деле, о ее муже ходят самые фантастические слухи, способствующие нарастанию напряжения и настраивающие против него общественное мнение, готовое проглотить самые грубые измышления. К примеру, из-под пера корреспондентов Башомона вылетают следующие абсурдные домыслы:

Двадцать седьмое июля 1772 года. Из Марселя пишут, что граф де Сад, печально прославившийся в 1768 году своими безумными зверскими выходками по отношению к некой девице, на которой он якобы испытывал некое медицинское снадобье, недавно учинил в этом городе спектакль, начавшийся забавно, а завершившийся трагически. Он устроил бал, куда пригласил множество народу, и на десерт подал великолепные шоколадные пастилки, которые все ели с удовольствием. Пастилок было вдоволь, и всем досталось; но он подмешал к шоколаду шпанскую мушку. Свойства этого снадобья известны: оно проявилось, и все, кто ел пастилки, вдруг воспылали бесстыдными желаниями и, охваченные любовной яростью, предались разврату. Бал превратился в одно из тех непристойных собраний, кои столь славились среди римлян: даже самые мудрые женщины не могли сопротивляться снедавшей их утробной похоти. На этом балу г-н де Сад насладился своей свояченицей, с которой потом бежал, желая избегнуть заслуженного наказания. Некоторые из гостей умерли из-за бесчинств, коим они предались, впав в ужасающий приапизм; многие все еще чувствуют себя недужными[13].

Достойный книгопродавец Арди, обычно более сдержанный, идет еще дальше, утверждая, что маркиз де Сад был осужден «за то, что, сговорившись с одним из лакеев, отравил жену, ибо воспылал дикой страстью к свояченице»[14].

* * *

На обратном пути в Ла-Кост на г-жу де Сад внезапно нападает необоримое отчаяние. Никогда еще она не чувствовала себя такой беззащитной перед лицом обрушившегося на нее несчастья. Она поняла, что, хотя девицы и забрали показания, отныне все объединились про-

тив Донасьена. «Его погибель предрешена, – говорит она себе, – и не потому, что все в ужасе от преступления, в котором его обвиняют, а потому, что заблуждение заставляет превратить его в жертву, которую должно принести ради счастья семьи, принявшей его»[15]. Как одной бороться со всеобщей враждебностью? Как убедить распоясавшееся общественное мнение? Как ввести дело в его подлинные рамки, то есть убедить судей в банальном распутстве ее мужа? А главное, как настроить судей, стремящихся погубить Донасьена, встать на его сторону? Задача кажется ей невыполнимой, да вдобавок она чувствует себя слишком усталой, чтобы бороться с обстоятельствами. Никогда еще она столь болезненно не ощущала отсутствие поддержки матери. Если бы еще Анн-Проспер сумела встать выше их женского соперничества, помогла бы ей стряхнуть оцепенение, стала бы трудиться вместе с ней над спасением человека, в которого обе они влюблены... Но бедняжку канонису все еще терзают отчаяние, пожирающее последние нервы, и ревность к неверному возлюбленному, предавшему ее столь мерзким образом[16].

Миссия г-на де Монтрея

Через несколько дней неожиданный визит заставил г-жу де Сад позабыть о своих размышлениях: в Ла-Кост прибыл ее отец. Действительно, 7 августа г-н де Монтрей выехал в Прованс – вероятнее всего, по настоянию жены. Помимо моральной поддержки Рене-Пелажи получает от отца существенную финансовую помощь: 25 августа он авансирует ей сумму в три тысячи ливров на непредвиденные расходы, которых может потребовать создавшееся положение[17].

Письменный отчет председателя о своем путешествии до сегодняшнего дня оставался неизвестным; ниже мы воспроизводим выдержки из него. Занимательность предмета возмещает бесцветность стиля. В заметках г-на де Монтрея среди прочего имеется единственное известное описание Ла-Коста времен маркиза:

Я выехал из Парижа 7 августа 1772 года и отправился в Прованс. <...> 12 августа к обеду я прибыл в Лион. В город я въехал через ворота Вэз. Подъезжая к Лиону, я увидел знакомую крепость Пьер-Ансиз, высящуюся на утесе, нависшем над Роной, узрел церковь в Абондансе, коя хороша необычайно. <...> Я виделся с г-ном де Бори, комендантом замка Пьер-Ансиз <...>.

Семнадцатое августа 1772 года, Авиньон. <...> После обеда я повидался с настоятельницей монастыря Святого Лаврентия и с г-жой де Вильнев, сестрой мадам Данпьер де Козан, являющейся монахиней этого монастыря <...> Переночевав в Сен-Клу, я от мадам де Вильнев отправился в Мазан; там я пообедал с г-ном Рипером и его братом-кюре. Рипер является поверенным в делах де Сада в Мазане. Из Мазана я отправился в Соман, владение, находящееся в пользовании у аббата де Сада, настоятеля обители в Эбрее. Там я застал г-на аббата и мадам де Ла Кост, его сестру. <...> Аббат повел меня осматривать построенный им миленький дом, где расположена его библиотека. Он называет этот дом и это место Виньерм. Дом очень хорош и удобен. Местность очаровательна своими пейзажами, кои весьма разнообразны. Используя природное расположение сего уголка, раскинувшегося у подножия отвесной горы, он разбил там сады, сделал гроты, устроил огород. Вид

здесь наисвоеобразнейший, ибо природа и случайность совместно потрудились над сим местом. Отсюда я отправился в Ла-Кост повидать свою дочь, г-жу де Сад. Я проехал через деревню, где стоит церковь Нотр-Дам-де-Люмьер, основанная г-ном де Садом, епископом Кавайонским. <...> 22 августа я посетил Ла-Кост, где проживают несколько протестантских семейств, например Поле с женой, Пероте, Гардиоль, семьи Самбюк и Пайян[18].

Ла-Кост — замок, более похожий на крепость, и построен без всякого плана. Подступы к нему необычайно холмисты и неприятны для подъема по причине каменистых осыпей и изрядной протяженности горного склона. На подступах к замку нет ни клочка тени. Недостаток сей свойствен Провансу в целом, где вовсе нет рощиц и очень мало строевого леса, мало дубов, более всего распространенных во Франции. Средиземноморские дубы произрастают в горах, здесь же растет шелковица, оливы и миндаль, — словом, деревца, не способные укрыть от страшной жары, что царит в этом краю. <...> Поместье Ла-Кост небольшое, однако находится в сильной зависимости от сеньора. Сеньор имеет право на восьмую часть всего, что произрастает на его земле: в тамошнем кантоне это зовется *восьмой частью*. Управление всем поручено протестанту Шовену, живущему на ферме Мэзон-Бас[19].

Был упомянут визит председателя к де Бори, коменданту крепости Пьер-Ансиз. Без сомнения, это был визит признательности за те услуги, которые тот некогда оказал его зятю. Нельзя не отметить странное молчание Монтрея по поводу Марсельского дела, которое меж тем идет полным ходом. Молчание воистину загадочное, ибо его путевые записи никогда не предназначались для печати. Отметим также, что о Донасьене речь заходит всего один раз. И несколько слов о Рипере. Быть может, он встречался с ним тайно? Такое вполне возможно, хотя он об этом ничего и не говорит. Также ни слова о двух дочерях, принимающих его в Ла-Косте. В остальном можно подумать, что де Монтрей совершил невинную туристическую прогулку: об истинной своей миссии он не говорит ни слова. Но разве можно поверить, что именно в тот момент, когда маркизу грозит эшафот, этот визит случаен? Кого хотят уверить, что заядлый домосед папаша Кордье в свои почти шесть десятков лет покинул роскошный дом на улице Нев-дю-Люксамбур и 700 км ехал навстречу августовскому провансальскому пеклу единственно ради удовольствия пообедать в компании с Рипером? Оправдать такое путешествие может только необходимость установить контакт со всеми, кто может помочь ему: родственниками и союзниками его зятя, а главное, с теми, кому поручено его судить. 7 сентября он прощается с дочерьми и отправляется в Экс, где местный парламент готовится утвердить вынесенный Марсельским судом приговор. Несмотря на поздний час, он сразу же по прибытии отправляется к «знаменитому городскому адвокату» мэтру Гашье — без сомнения, чтобы посоветоваться, какие шаги надо предпринимать. На следующее утро он в сопровождении командора Валанса Гайара идет к Жоаннису, генеральному прокурору нового парламента Прованса, а затем к его председателю Мазно, двум людям, от которых зависит участь обвиняемого. После обеда он покидает Экс и едет в Лурмарен[20]. И хотя о содержании своих бесед он умалчивает, догадаться нетрудно. Скорее всего, Монтрей старался договориться со своими коллегами о том,

какое направление следует придать делу, дабы удовлетворить правосудие и одновременно соблюсти интересы и честь его семьи.

«А прах их будет рассеян по ветру...»

Тем временем судебная процедура в ускоренном ритме следует своим чередом: 26 августа королевский прокурор объявляет о слушании показаний свидетелей, «как тех, коих уже заслушали, так и тех, кои хотят дать новые показания», приравненном к очной ставке с де Садом и Латуром, «не явившимися и обвиняемыми заочно». На следующий день все свидетели подтверждают свои показания, за исключением врача Антуана Ру, объявленного неявившимся. 2 сентября прокурор требует, чтобы обвиняемые «были бы надлежащим образом оповещены и извещены о преступлениях, им вмененных, а именно означенный де Сад о выдвинутом против него обвинении в отравлении, а означенный Латур о выдвинутом против него обвинении в содомии». Как следствие, оба приговорены к покаянию на паперти у церкви Мажор, где они должны опуститься на колени, с обнаженными головами, босые, в рубахах и с веревкой на шее, держа в руках зажженную свечу из желтого воска весом в один фунт. Затем их проводят на эшафот, воздвигнутый на площади Сен-Луи. Маркизу де Саду отрубят голову, а Латур будет повешен или задушен на виселице, и будет висеть, пока не удостоверятся в его смерти[21]. Затем тела их будут брошены в огонь, и после сожжения прах их будет развеян по ветру. Еще виновники приговариваются к штрафу: маркиз – в тридцать ливров, его слуга – в десять ливров[22].

Таким образом, Донасьену уготована двойная казнь: обезглавливание за отравление и костер за содомский грех[23]. 3 сентября начальник уголовной полиции Шомель оглашает окончательный приговор. 11 сентября парламент Прованса в Эксе утверждает приговор, объявленный в Марселе; теперь он подлежит исполнению[24]. На следующий день, 12 сентября, оба преступника казнены заочно (казнь совершилась над фигурами, изображавшими преступников) на площади Прешер в Эксе[25]. Казнь хотя и была символической, предназначенной прежде всего произвести впечатление, однако за ней следовала самая настоящая гражданская смерть, ибо начиная с этого дня маркиз лишался всех своих прав – вплоть до истечения срока давности, то есть тридцати лет, обычного срока при осуждении заочно, если только преступник не являлся в суд в последующие пять лет[26].

Можно ли вообразить большее наслаждение для маркиза де Сада, чем сознание того, что его казнили публично? Можно только догадываться, как он ликовал, когда новость дошла до него. Бьемся об заклад, он отпраздновал это событие на манер некоего маркиза, о чьем подвиге рассказывает Кюрваль в «Ста двадцати днях Содома»:

Всем известна история маркиза де ***, который, едва ему сообщили, что его изображение было публично сожжено, вытащил из штанов свой член и восклик-

нул: «Ах, трах-перетрах! Как же я этого хотел, наконец-то я сейчас кончу, вот она, пакость и бесчестье; дайте, дайте же мне скорее спустить!» И с этими словами он кончил[27].

* * *

Маркизу был вынесен смертный приговор по двум статьям обвинения: отравлению и содомии, тогда как против его лакея была выдвинута только последняя статья. Что же касается отравления, то в этом вопросе решение суда совершенно несправедливо. Марсельские судьи не приняли во внимание ни отказ от показаний Маргариты Кост и Марианны Лаверн, которые к тому же полностью выздоровели, ни заключение аптекарей: каким бы спорным оно ни было, оно тем не менее снимало с маркиза все обвинения в отравлении. Сегодня мы уверены, что преступные конфетки содержали шпанскую мушку, но — напомним — во время следствия это снадобье даже не было упомянуто. Отметим также, что вопреки действующему законодательству свидетели показали «наличие иных фактов, нежели тех, что содержались в жалобе», и вдобавок сама жалоба никогда не была никем сформулирована — только самими судьями. Столько небрежностей, не говоря уж о спешке, с которой было проведено расследование, заставляют предполагать, что маркиз был приговорен заранее.

Остается содомия. Мы уже сказали, что это преступление наказывалось смертью. Но на тысячи гомосексуалистов, известных полиции, за весь XVIII век только семеро окончили свои дни на костре. Среди них знаменитый Бенжамен Дешофур, сожженный 26 мая 1726 года[28]. Правда, за ним числилось еще немало тяжких преступлений: убийство подростка, кастрация молодого певца, похищения и контрабандная торговля детьми. Спустя полвека начальник полиции Ленуар, призванный сыграть выдающуюся роль в тюремной судьбе маркиза де Сада, вспоминал о деле Дешофура как об одном из пагубных результатов классового правосудия:

Здесь я должен отметить, — писал он, — что в то время, когда был вынесен этот приговор, в Париже насчитывалось — и полиция об этом знала — более двадцати тысяч личностей, обладавших тем же пороком, за который взошел на костер Дешофур. Хотели устроить публичное наказание; он погиб, но не как самый преступный, а как самый незащищенный из преступников; таково правило, и именно на этом основании народ может льстить себе тем, что он более добродетелен, чем сильные мира сего. Палач работает именно на этот принцип. В конце концов, педерастия всего лишь порок знатных сеньоров[29].

Судебный приговор по делу маркиза де Сада объясняется отчасти политической конъюнктурой, а именно парламентской реформой и отчасти личным злопамятством канцлера Мопу. Годом раньше, с согласия и поддержки Людовика XV, канцлер отправил в ссылку парламентских судей и конфисковал их имущество. Этот воистину государственный переворот вызвал, как известно, оживленные протесты, и, в частности, среди членов Податного суда, который некогда возглавлял де Монтрей.

Протесты эти настолько разозлили канцлера, что он решил вообще этот суд упразднить и отправить в изгнание его первого председателя Ламуаньона де Малерба. 23 февраля 1771 года он подготовил появление эдикта, отменяющего продажу должностей и их передачу по наследству, осудил злоупотребления судебной администрации и пообещал «правосудие скорое, честное и бесплатное». Против реформы, обновившей судебный аппарат и сделавшей его более доступным для подсудимых, выступила значительная часть дворянства, однако Вольтер и некоторые другие философы поддержали ее. Наконец, Мопу — не без труда — сформировал новый парламент, состоящий в основном из людей надежных и преданных ему лично. Таким образом, судьи из Экса, подписавшие 11 сентября приговор Саду, исполняли свои обязанности при Счетной палате Прованса, а не при парламенте; они были назначены канцлером, и тот располагал ими по своему усмотрению.

Козырной картой Мопу в деле маркиза де Сада стала провозглашенная им необходимость примерного наказания преступника. Козел отпущения, которого пришлось отпустить на свободу после дела Розы Келлер, теперь не должен ускользнуть от него: на сей раз руки у канцлера развязаны: монарх не собирается дезавуировать его решения. Таким образом, Сад стал ставкой в политической игре: следовало любой ценой продемонстрировать всей Франции, что правосудие Мопу не считается с привилегиями и происхождение не является крепостью, за стенами которой можно скрыться от карающей десницы закона[30]. И снова в распоряжении властей оказался идеальный преступник, уже скомпрометировавший себя четыре года назад, что, несомненно, осложняло его положение. Как ни странно, бегство де Сада полностью устраивало креатуры Мопу, ибо, если бы он был арестован и доставлен в суд, его появление наверняка смягчило бы их суровость и изменило приговор. Само его присутствие на процессе явно сыграло бы в его пользу, ибо гораздо проще послать человека на смерть заочно, чем лично. В сущности, отсутствие его устраивало всех. До такой степени, что задаешься вопросом, не были ли приложены все усилия, чтобы не найти его, и не являлся ли визит Монтрея к своим коллегам из парламента Экса одним из элементов выстроенного сценария: казнь изображения преступника, его гражданская смерть, его дети попадают под опеку семьи Монтрей, его состояние оказывается в руках жены... а сам он — во мраке тюремной камеры. Разве можно придумать лучший способ избавиться от неисправимого маркиза, сохранив при этом все, что должно быть сохранено: его состояние и его потомство.

Венецианские любовники

Когда кукол, изображавших маркиза и его лакея, сжигали на главной площади в Эксе, де Сад, путешествовавший под именем «графа де Мазана», находился в Венеции, где разворачивался его любовный роман со свояченицей, которую он выдавал за жену. Пребывание вместе с ним Анн-Проспер еще недавно оспаривалось некоторыми историками. Се-

годня мы имеем неопровержимые доказательства, что канониса следовала за Донасьеном в его итальянском вояже: в неопубликованном письме Сада от 16 июня 1793 года, адресованном Гофриди и касающемся актера Бурдэ, утверждавшего, что он никогда не получал от Сада денег, маркиз делает следующее уточнение: «Вы сами видите, сколь важно переслать мне расписку, которую Фаж взял у этого комедианта в Бурдэ *в 1772 году, когда я вместе с мадемуазель де Лонэ уехал в Венецию*»[31].

После Венеции любовники посетили еще несколько итальянских городов, затем канониса резко покинула маркиза, оставив ему свои чемоданы. Призвали ли ее срочно родители? Была ли тому причиной сцена, разыгравшаяся между ними после альпийского приключения маркиза? Во всяком случае, уже 2 октября мы находим Анн-Проспер у сестры в Ла-Косте, в то время как Донасьен переезжает в Геную, а затем морем в Ниццу, где оставляет на хранение багаж и свой и свояченицы. Потом — необъяснимая неосторожность! — он отправляется в Марсель, где 16 октября получает два свертка с луидорами, по пятьдесят в каждом, из рук своего парижского поверенного, г-на де Милли[32]. Оттуда он верхом по дороге, ведущей в Турин, едет до самого Шамбери, куда приезжает 27 октября, по-прежнему инкогнито, однако в сопровождении неизвестной девицы и двух лакеев. Этих двоих мы уже знаем: речь идет о его марсельском пособнике Латуре и о Картероне, прозванном как Юностью, так и Мартином Киросом, обладателе изобретательного ума и неисправимом мошеннике, с недавнего времени состоящем на службе у маркиза. Но кто такая эта неизвестная девица? Согласно Жильберу Лели, речь может идти только о мадемуазель де Лонэ, присоединившейся к маркизу в Ницце и сопровождавшей его в Шамбери[33]. Сегодня мы знаем, что это невозможно. В самом деле, в своем «Дневнике» председатель де Монтрей заявляет:

> Двадцать седьмого октября 1772 года, в девять часов вечера, я выехал из Парижа за дочерьми, г-жой де Сад и мадемуазель де Лонэ, прибывшими из Прованса и остановившимися в доме моего родственника маркиза д'Эври, ездившего туда за ними[34].

Итак, 27 октября канониса находилась у г-на д'Эври вместе с сестрой и не могла сопровождать де Сада в Савойю.

В Шамбери маркиз остановился в гостинице «Помм д'ор», где вскоре завязал знакомство с французом де Во. В начале ноября его таинственная спутница, которую он выдает то за жену, то за свояченицу, с ним расстается. Позднее он станет утверждать, что отослал ее в Италию. Во всяком случае, куда-то он ее отправил в сопровождении Латура. Спустя несколько дней он снимает сроком на полгода дом в предместье, принадлежащий местному дворянину дю Шуари. Лучший обойщик, Огюстен Ансар, снабжает его необходимой обстановкой, а также бельем, занавесками и т. п.

Под именем графа де Мазана, «кавалерийского полковника на службе Франции», он ведет замкнутое существование, сидит дома, не выходит даже, чтобы пообедать, предпочитая заказывать себе еду в

соседнем трактире, и не общается ни с кем, за исключением де Во, ставшего его доверенным лицом и принявшего его сторону в разногласиях с семьей жены. Однако к концу ноября загадочная болезнь вынудила нашего отшельника лечь в постель и призвать хирурга Тонена, жившего неподалеку от гостиницы «Помм д'ор». Хирург прописал ему кровопускания и еще несколько раз лично посетил его. Тогда маркиз призывает Латура, покинувшего Шамбери в начале месяца, чтобы тот сменил Картерона у его изголовья, так как Картерон должен немедленно отправиться в Париж, встретиться там с г-жой де Сад и передать ей поручение своего хозяина. Спустя десять дней доктор Тонен прекращает свои визиты: больной начинает выздоравливать.

«Лезть на рожон»

Драма необходима де Саду как воздух. Едва только несчастье стало уходить в прошлое, как он вновь устремляется ему вдогонку. Иначе как объяснить необъяснимую идею написать председательше де Монтрей, которую он считает самым непреклонным своим врагом, да еще в тот момент, когда он скрывается от всего света? Такой поступок называется «лезть на рожон». И именно его он и собирается совершить. В конце ноября – начале декабря он отправляет теще письмо, «в надежде найти подле нее утешение против преследующих его несправедливостей»!

Теперь его песенка спета. Узнав, где он скрывается, «железная леди» тотчас начинает действовать – через министра иностранных дел, герцога д'Эгийона, являющегося протеже г-жи Дюбарри и одновременно предводителем партии святош. Герцог ходатайствует перед послом короля Пьемонта и Сардинии в Париже, графом Ферреро Ла Мармора о получении у его монарха приказа об аресте графа де Мазана, alias* маркиза де Сада. Естественно, все приводимые им доводы – только в пользу семьи де Монтрей. Речь идет о том, чтобы защитить дурного подданного от самого себя, ибо, желая вновь вернуться во Францию, он рискует жизнью: на родине его заочно приговорили к смерти. Сам же подданный, по свидетельству ходатаев, крайне неосторожен, «ибо голова его пребывает в расстройстве». «Его семья, очень уважаемая, постоянно находится в смертельном страхе, что его вот-вот арестуют, и не видит иного способа избежать ареста кроме как определить его в надежное, безопасное место»[35]. Вот почему семья желает, чтобы Его Величество распорядился поместить его под стражу в один из своих замков и содержал бы там до тех пор, пока семье не будет угодно просить его освобождения. Расходы по его содержанию семья обязуется взять на себя.

Убежденный в благих намерениях просителей, король Сардинии без колебаний выдал ордер на арест молодого сумасброда и заключе-

---

* Иначе (*лат.*).

ние его в замок Миолан. Разумеется, всю операцию следовало провести без шума и лишней рекламы.

* * *

Вечер 8 декабря Донасьен, как обычно, проводит дома в одиночестве; кроме него, в доме присутствует один Латур. Около 21 часа отряд полиции, в полной тишине, неожиданно окружает уединенно стоящее жилище Донасьена, плац-майор Шамбери граф де Лашаван в сопровождении своих адъютантов вторгается в дом и предъявляет хозяину постановление об аресте, подписанное королем Сардинии. Вынужденный сложить оружие, Донасьен вынимает из кармана пару пистолетов и отдает свою шпагу из дамасской стали. Пока он разоружается, жандармы обыскивают дом; но их находки ограничиваются старым платьем, коего столь мало, что оно все умещается на одной вешалке; «ни писем, ни важных бумаг» не найдено. Офицер удаляется, оставив узника «равно изумленного и опечаленного» под надзором своих адъютантов, и те бдительно сторожат его всю ночь. На следующее утро, в 7 часов, арестанта сажают в почтовую карету и под охраной четырех конных жандармов увозят в Миоланскую цитадель. Латур верхом следует за своим хозяином.



Глава XI
ЦИТАДЕЛЬ

В 25 км от Шамбери, на обрывистом утесе, нависшем над городком Сен-Пьер д'Обиньи, гордо высится Миоланская цитадель, прозванная также «Бастилией герцогов Савойских». Орлиное гнездо, расположенное на высоте 250 м над долиной Изера, окружено тремя рядами укреплений и двойным рвом. Цитадель состоит из собственно форта с донжоном и башней Сен-Пьер, и нижнего форта. Донжон, служащий тюрьмой, представляет собой внушительную квадратную башню, увенчанную зубцами и с трех сторон окруженную турелями с конусообразными крышами; фасад его — это отвесная стена, где на высоте восьмидесяти метров над землей разбросаны единичные окна. Попытка бежать, спустившись по этой гладкой вертикальной поверхности, явно обречена на неудачу. На каждом из четырех этажей донжона имеются более или менее обширные помещения со сводчатыми потолками и полукруглыми арками. Винтовая лестница поднимается на террасу, откуда виден Монблан, Рош-Пурри, ледники Сейера, горная цепь Бельдонн, массив Гранд-Шартрез... Внизу, у подножия цитадели, под подъемным мостом, низенькие двери ведут в холодные словно ледники казематы, куда сквозь узкие щели-оконца с трудом находит себе дорожку серый свет; эта часть называется «Ад». Над ней находится «Чистилище»: в нем всего одна комната средних размеров, с камином и каменной скамьей. На следующем этаже, в «Сокровищнице», для узников отводятся два помещения, в одном из которых есть окно, выходящее на юг, и камин. Этажом выше расположены апартаменты коменданта, г-на де Лонэ. Над ними — еще два помещения для узников: «Малая Надежда» на севере и «Большая Надежда» на юге; из забранного двойной решеткой окна «Большой Надежды» открывается прелестный вид на Альпийскую гряду. Именно эта камера предназначена де Саду. Самый последний этаж, куда ведет лестница в семь ступеней, носит название «Рай».

В квадратной, с зубцами и машикулями башне Сен-Пьер можно разместить трех узников. В здании форта, помимо кордегардии, оружейного зала, кухни с огромным камином, печью, чаном для воды и хранилищем для угля, есть двенадцать камер для заключенных, а также часовня, огород и резервуар для воды. В части цитадели, именуемой

нижним фортом, расположены часовня, трапезная, пороховой склад, продовольственный склад, казармы, небольшие садики, принадлежащие персоналу крепости, а также специальная комната, где узника обычно не запирают; из этой комнаты он может самостоятельно отправиться в трапезную[1].

«Большая Надежда».

Комендант де Лонэ получил приказ обращаться со своим новым пансионером со всем почтением, подобающим ему по праву рождения, и смягчать «разного рода политесами» суровый режим его заключения; в то же время ему предписывалось не пренебрегать никакими мерами предосторожности, дабы у заключенного даже мысли о побеге не было. Де Сада поместили в камере, носившей название «Большая Надежда», самой просторной и самой комфортабельной во всем замке, а его лакею отвели смежное помещение. Впрочем, ему также дозволено ночевать в комнате своего господина; покидать пределы крепости ему строго запрещено. Тюремщик ночует в прихожей узника; лечь спать он имеет право только после того, как запрет камеру на два оборота ключа. Днем де Сад может гулять во внутреннем дворе донжона под пристальным наблюдением часового, который следит за ним из укромного места, так что заключенный его не видит; при первом же подозрительном движении заключенного часовой обязан поднять тревогу и предупредить коменданта.

Заключенному разрешается разводить огонь в камине, обставить камеру по своему вкусу, договориться с поваром, чтобы тот готовил ему любимые блюда; ему категорически запрещены свидания с кем бы то ни было, и он не должен ни отправлять письма на волю, ни получать их. Все адресованные заключенному письма обязан хранить у себя комендант. Взамен этого узнику разрешено держать двух маленьких собачек — для компании.

На следующий день после своего заточения маркиз адресует г-ну де Латуру, губернатору герцогства Савойского, слезную просьбу вернуть ему свободу, потерю которой он не заслужил.

> Даю честное слово, кое я еще никогда не нарушал, — пишет он, — не покидать города Шамбери, тем более если те, кто арестовал меня, будут так добры и назначат его местом моего безвыездного пребывания. Тогда цель, которой добивается моя семья, а именно воспрепятствовать моему возвращению во Францию раньше определенного ею времени, будет достигнута, а раз так, то почему бы не предоставить мне сей милости?[2]

А еще он просит разрешить вести переписку и позволить его лакею выходить за пределы крепости за мелкими покупками. Разрешение получено по двум последним пунктам: теперь он имеет право писать и получать письма, правда, при условии, что их предварительно просмотрит де Лонэ. Слуге разрешено выходить из цитадели за покупками, при условии, что и «по выходе и по возвращении» будут приниматься надлежащие меры предосторожности.

«Госпожа опекунша»

Оставим Донасьена осваиваться с новыми условиями жизни и перенесемся ненадолго в Авиньон, где 18 декабря состоялся важный семейный совет. У тамошнего нотариуса мэтра Тома собрались г-жа де Сад, аббат де Сад, командор, дядя маркиза с отцовской стороны, а также г-да де Комон и де Вильфранш, избравшие своим «ответственным и генеральным доверенным» мэтра Франсуа-Бартелеми Фажа. Члены этого совета полагают, что

<...> во время отсутствия маркиза де Сада и до его возвращения или же до достижения совершеннолетия его малолетними детьми, матери этих детей маркизе де Сад следует поручить заботу об их воспитании и управление их имуществом; она должна стать их опекуншей ad hoc*, дабы действовать во всех делах, в коих дети могут иметь интерес, а также управлять и распоряжаться имуществом указанного маркиза де Сада в его отсутствие, получать то, что ему причитается, и распоряжаться его имуществом как в целом, так и в том, что касается доходов и расходов, рентных платежей и погашения долгов, как в королевскую казну, так и в провинциальную и общинную, а также личных платежей, и т. п.[3].

В силу ордонанса 1670 года[4] приговоренный к смерти заочно подвергался процедуре гражданской смерти не ранее, чем через пять лет после вынесения приговора; если же в течение этих пяти лет осужденный отдавал себя в руки правосудия, то гражданской смерти его не подвергали. Поэтому в течение пяти лет Сад наряду с прочими правами сохранял также и права, связанные с отцовством, и г-жа де Сад не могла свободно действовать от имени своего мужа. Необходимо было решение совета, который назначил бы ее попечительницей и определил бы продолжительность ее мандата с целью «обеспечить ее права и права ее детей»; постановление совета было получено без всякого труда. Но решения, принятые 18 декабря, имели всего лишь совещательное значение; чтобы они обрели юридическую силу, необходимо было подтвердить их соответствующим постановлением органов правосудия. Поэтому 5 февраля 1773 года, на основании желания родственников малолетних детей как с отцовской, так и с материнской стороны, мэтр Фаж сделал соответствующее представление в сенешальство Форкалькье, где и было утверждено назначение г-жи де Сад опекуншей собственных детей и управительницей имуществом и доходами мужа**.

Нет сомнения, что управление делами столь беспорядочного как в своих счетах, так и в жизни человека, да вдобавок опутанного долгами, является задачей не из легких. Поэтому Рене-Пелажи без сожаления передает эту ответственность председательше, вручив ей доверенность, оформленную 24 февраля 1773 г. парижским нотариусом мэтром Жибером[5]. Г-жа де Монтрей с присущей ей энергией берет дело в свои руки и проявляет себя великолепным менеджером, строго ведущим учетные книги и умело организующим переговоры. Откупщики

* В настоящий момент (*лат.*).
** См. Приложение VI наст. изд.

и доверенные лица маркиза отнюдь не жалеют о своем бывшем хозяине и не нахвалятся манерой вести дела, присущей требовательной и авторитарной женщине, которая – и в этом надо отдать ей должное – никогда не презирала своих партнеров и обладала обостренным чувством справедливости. Во всяком случае, от нее им не приходилось терпеть ни надменного обращения, ни вспышек необузданного гнева, свойственных владельцу Ла-Коста. В скором времени она завоевала их доверие и даже симпатию, в результате чего в их деловых отношениях воцарилась атмосфера доброй воли. Парадоксально, однако имущество де Сада никогда так хорошо не управлялось, как в то время, когда им заведовала его теща.

Есть и еще один пункт, по которому ей следует воздать должное. В противоположность тому, о чем неустанно говорил маркиз, г-жа де Монтрей никогда не руководствовалась низменными стремлениями. Взяв на себя бремя управления имуществом маркиза, она никогда не преследовала иных целей, кроме благополучия внуков, которые, в сущности, составляли смысл ее жизни. Обвинения маркиза в желании личного обогащения являются не чем иным, как гнусной клеветой. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно и беспристрастно, как автор и попытался сделать, разобраться в бесчисленных бумагах, написанных ее рукой и сохранившихся в семейном архиве. И хотя вряд ли там обнаружатся слова нежности (это чувство ей несвойственно), зато все, что она делала, будет проникнуто преданностью, заботой и упорством, которые проявляла она на протяжении всей своей жизни для обеспечения будущего внуков.

Красный сундучок

Вернемся к Донасьену, который все хуже и хуже переносит заключение. Посещение Картерона (которого не стали заточать вместе с ним), разумеется, отвлекает его, но ненадолго, и настроение его с каждым днем становится все более желчным. Картерон, 16 декабря вернувшийся в Шамбери, получает разрешение на свидание только 19 декабря. Лакей отчитывается о своей поездке в Париж, куда он отвозил важные письма к г-же де Сад и друзьям маркиза. Несомненно, он привозит ему и новости о детях, вновь соединившихся с матерью. Затем господин дает слуге новое поручение: съездить в Ниццу и доставить оттуда брошенный там багаж, в том числе и чемоданы его свояченицы. Неизданное письмо маркиза еще раз подтверждает, что во время побега в Италию между ним и канонисой царили прекрасные отношения. Речь идет об инструкциях, отправленных вслед Картерону тотчас же после его отъезда в Ниццу:

Инструкции на обратную дорогу

Помните, что после Вашего возвращения я не желаю платить ни единого су. Вы остановитесь в «Помм д'Ор», аккуратно разместите вещи в моем номере, а затем без промедления, не пускаясь во все тяжкие, отправитесь в Шамбери, где попро-

сите у графа де Латура разрешения доставить мне эти вещи. Если окажетесь в затруднительном положении, возьмите с собой то, о чем Вы знаете[6]. Прибыв в форт, Вы отдадите разрешение коменданту и вместе со своей тележкой подъедете к подножию моей лестницы. Там мы отберем вещи мадемуазель де Лонэ, сложим их в один большой сундук, и на следующий день Вы займетесь отправкой этого сундука в Лион; Вы поедете следом за сундуком, ибо в Лионе мне необходимо получить аккредитив, а я не хочу никому его доверять <...>[7].

Не только маркиза заботят его вещи; о них тревожится также и его теща. Она жаждет заполучить в свои руки личные вещи и бумаги, принадлежащие канонисе. Для чего зять желает завладеть ими? Не хочет ли он отомстить за себя и в один прекрасный день устроить скандал, обнародовав свою связь с девушкой? Имея в руках такое мощное оружие, он сможет шантажировать не только ее самоё, но и всю ее семью! Поэтому она с присущей ей энергией не пренебрегает ничем, чтобы получить багаж маркиза. 21 декабря она от имени семьи составляет записку на имя графа Ла Мармора, основными пунктами которой являются следующие:

Просьба вещи, что окажутся у него, как первой необходимости, так и иные, потребные дать пищу его живому уму, были бы ему переданы, за исключением документов, рукописей и писем, какого бы рода они ни были; семья его просит отправить ей эти бумаги, а также ящичек или небольшой деревянный сундучок, скорее всего красного цвета, отделанный медью, где также лежат бумаги; если же он взял этот сундучок с собой в форт, просьба забрать его без предупреждения, со всем его содержимым, не извлекая из него ни единого листка[8].

Этот ящичек, где вполне могли лежать письма мадемуазель де Лонэ, не был обнаружен в вещах маркиза; возможно, он находится в чемоданах, которые тот должен получить из Ниццы. У г-жи де Монтрей даже имеется бумага, успокаивающая ее относительно судьбы вожделенного ящичка:

Чемоданы его, без сомнения, будут подвергнуты досмотру, и указанный в записке сундучок вместе со всеми бумагами, какого бы содержания они ни были, будет изъят, опечатан и задержан графом де Латуром, а затем предоставлен в распоряжение родных графа де Сада, коим и будет об этом сообщено[9].

Председательша желает также наложить секвестр на «рукописи, письма и иные документы» и «дурные книги, противные нравственности», которые могут находиться в пресловутых чемоданах. Еще она умоляет отослать супруге графа «одежду и белье, ему не принадлежащие». Но мы знаем, что Донасьен уже поручил Картерону отправить платье и белье своей свояченицы в Париж.

Госпожа де Монтрей проявляет повышенный интерес к болезни, случившейся у ее зятя в прошлом ноябре. Не может ли посланник сардинского короля дать ей какие-нибудь разъяснения по этому поводу? Разумеется, доктор Тонен хранит профессиональную тайну, но, если Латур, губернатор провинции Савойя, пожелает допросить его, он, разумеется, все расскажет. «Семье очень важно знать, — настаивает она, — каковы истинные причины его болезни». Действительно, ведь если речь идет о венерическом заболевании, значит, ее младшая дочь, совершенно очевидно, им заразилась.

Узник г-жи де Монтрей

Подлинным тюремщиком маркиза де Сада в Миолане является не кто иной, как его собственная теща. Она обязалась полностью оплачивать его содержание: его пансион и пансион его лакея, наемную мебель, постельное и столовое белье, питание, карманные деньги, свечи, дрова, панталоны, чулки, цирюльника, чаевые служителям — за все это, до последнего су, теперь расплачивается председательша. Напомним также, что отныне кошелек находится в руках ее дочери и де Сада содержат в крепости исключительно за его собственный счет. Он сам оплачивает свое пребывание в тюрьме и возмещает расходы по собственному аресту, включая оплату кареты, доставившей его в Миолан. Более того: чаевые его сторожам выплачиваются также из его денег!

Хотя г-жу де Монтрей отделяет от зятя более пятисот километров, она тем не менее ежесекундно следит за каждым его движением. Она все видит, все слышит, всем распоряжается, приказывает, запрещает, спрашивает, ругает, наказывает, угрожает — и заставляет себе повиноваться! Все спешат услужить ей, начиная с де Латура, губернатора герцогства Савойского, и кончая комендантом крепости, не говоря уж о чиновниках из Государственного кабинета и Министерства иностранных дел в Турине. Ее советы приравниваются к приказам, и их превосходительства живо устремляются их исполнять. Это своего рода почести, которые они оказывают уму этой женщины и ее искусству преодолевать препятствия. Г-жа де Монтрей с легкостью насаждает свои законы, но вовсе не потому, что, как пытаются иногда доказать, она внушает страх, а потому, что она умеет заставить любить себя. Письма, написанные ее рукой, отчасти раскрывают секрет ее возвышения. В них волеизъявления искусно замаскированы выражением чувств и лестью и столь умело переплетаются друг с другом, что ее корреспонденты оказываются не в состоянии отказать ей. Эта смесь комплиментарной патоки, наигранного простодушия и неукротимой энергии лучше, чем что-либо иное, позволяет нам понять, в чем заключается власть ее обаяния.

И все складывалось бы для председательши как нельзя лучше, если бы по ночам ее не мучил кошмар: побег Донасьена. Она одержима этой мыслью, и ее постоянные наставления, как этого избежать, необычайно напоминают невроз. Главное, не дай бог, не сделать чего-нибудь такого, что смогло бы облегчить ему побег, принять все необходимые предосторожности, не позволять слуге его способствовать побегу чем-нибудь «доставленным с воли». При этом она никогда не забывает, что зять ее — потомственный дворянин, и равным образом настаивает, чтобы с ним обходились «со всем почтением и уважением, приставшими ему по рождению, а также с любезностью, коя могла бы смягчить суровость его положения». Из-за «его злополучного дела, осложненного известного рода обстоятельствами и наделавшего много шуму, желательно было бы избежать досадных предубеждений», а потому ей хотелось бы, чтобы его настоящее имя было известно только графу де Ла-

туру. Лучше было бы, если бы никто не знал о его пребывании в Миолане: пусть бы он звался там по-прежнему – графом де Мазаном.

Господин де Лонэ, вытянувшись, как всегда, по струнке перед властной председательшей, безоговорочно соблюдает ее требования: удваивает бдительность, приумножает и без того немалые меры безопасности, приказывает наблюдать за узником денно и нощно, и тот буквально шагу не может ступить, чтобы об этом не узнал комендант. В итоге: маркиз, остервеневший от постоянного надзора, воспринимаемого им как унижение, заваливает жалобами губернатора Савойи. Наконец, де Лонэ объявляет лакею маркиза, что более не станет принимать письма от его господина. Комендант, пишет маркиз, «сделал свой отказ в столь неподобающих форме и словах, что я по рождению своему и воинскому званию не могу с этим мириться». Со своей стороны вышеуказанный комендант, которому его неудобный пансионер уже успел порядком надоесть, с удовольствием бы избавился от него.

Могу заверить ваше превосходительство, – пишет он графу де Латуру, – что господин этот очень опасен, ибо необычайно капризен, а обладая характером живым и непостоянным, вполне может в ущерб мне подкупить кого-нибудь и бежать, тем более что он уже делал недвусмысленные на это намеки. Поэтому было бы вполне уместно, если бы родственники переправили его в какую-нибудь крепость во Франции. На сего легкомысленного господина нельзя ни в чем положиться, а я не могу <...> отвечать за узника, который целый день разгуливает по форту и от которого, на мой взгляд, можно ожидать чего угодно, особенно в порыве отчаяния. Прошу Вас довести мои соображения до министра, дабы оградить меня от всех возможных неожиданностей, кои могут случиться, несмотря на принятые мною меры предосторожности <...>[10].

Несчастный комендант также жалуется на сложности перлюстрации писем маркиза: он не может разобрать его почерк и не в состоянии «удержать в памяти» их содержание.

Узнав, что Донасьен продолжает составлять записки о своем нынешнем положении «знатным лицам, к коим он сам имеет честь принадлежать», возмущенная председательша просит графа Ла Мармора проверять содержание его посланий:

Если в них содержатся всего лишь просьбы о снисхождении и кредите, адресованные королю Франции и его приближенным, а также его попытки оправдаться от обвинений, выдвинутых против него во время последнего дела, тогда никаких оснований задерживать эти письма нет; но если в них содержатся сведения заведомо лживые и оскорбительные по отношению к семье его жены, от которой он никогда не видел ничего, кроме добра, было бы жестоко из-за этих неосмотрительных писаний вновь сделать его притчей во языцех и добычей придворных сплетников; еще более неприятно, что он велел напечатать в Женеве одну из своих записок, где содержатся его угрозы в адрес тещи.

По мнению г-жи де Монтрей, он мог отослать или просить переправить свои памфлеты только двум лицам: французскому дворянину де Во, с которым он познакомился в гостинице «Помм д'Ор» и в дальнейшем установил дружеские отношения, или лакею Латуру, «человеку испорченному, коего не следует терять из виду, особенно после того, как он расстался со своим господином, ибо он способен взяться за выполнение любого опасного поручения». Его надо обыскивать после каждого посещения

узника, умоляет председательша, ибо «он может спрятать бумаги где угодно». «Семье чрезвычайно важно предотвратить выход этой статьи», — продолжает она, все еще пребывая в ужасе от одной только мысли, что Донасьен может предать гласности свой кровосмесительный роман:

Из застенка подобная месть кажется достаточно ничтожной, поэтому следует все предусмотреть и предупредить; пусть он пишет только о своем здоровье, а если ему желательно сообщить что-либо иное, то пусть это делается под контролем и надзором Вашего превосходительства, к которому семья питает безграничное и полное доверие <...>[11].

Тем временем отношения между де Лонэ и его узником, и без того натянутые, в начале 1773 года окончательно портятся. 14 января между ними разыгрывается отвратительная сцена. Когда радостный комендант, спеша сообщить узнику, что граф де Латур надеется вскоре добиться для него новых послаблений, входит к нему в комнату, Донасьен встречает его «ужасающими оскорблениями», и это в присутствии лейтенанта Дюкло, ставшего одним из друзей Сада, и обойщика Ансара, который в это время находился у него. Благоразумный де Лонэ удаляется, «дабы избежать еще более отвратительной сцены», не преминув пригрозить узнику сменить комнату и перевести его в «огненную камеру», а также поставить у двери часового — разумеется, за счет заключенного. Делая отчет о случившемся графу де Латуру, комендант выдвигает свое объяснение «ненависти», питаемой к нему де Садом. Несколько дней назад узник велел отнести на комендантскую кухню ящик с вином, кофе и шоколадом, но комендант отослал ящик обратно, заявив, что не намерен принимать от кого-либо подарки. Теперь комендант опасается, что заключенный может найти в крепости менее добросовестных охранников, чем он сам, и, как следствие, предложил посадить маркиза под замок, «иначе с ним может случиться очередной приступ гнева, от которого он, комендант, не сможет защититься». В тот же день Донасьен выдвигает свою версию случившегося.

Только что между мной и комендантом произошла безобразная ссора, — рассказывает он в письме к губернатору. — Я не привык, когда со мной разговаривают пренебрежительно, употребляя слова «висельник» и «негодяй», поэтому не слишком изысканная манера выражаться г-на де Лонэ побудила меня ответить ему достаточно резко.

Отныне он желал быть подвластным только заместителю коменданта, г-ну де Лабальму, «человеку порядочному и с благородными манерами». Это единственный способ избежать новых скандалов, ибо «всегда будет существовать опасность столкновения человека чести, получившего достойное воспитание, с таким субъектом, как де Лонэ»[12]. В остальном узник уже через три дня обещает вести себя более осмотрительно, однако с условием, что де Лонэ станет соблюдать приказ относиться к нему с почтением:

До сих пор я не мог отвечать иначе как без гнева, ибо гнев мой порожден моими несчастьями, а грубое и абсурдное нежелание озлобленного де Лонэ исполнять полученные приказы вызывает у меня раздражение, сдерживать кое я долее не в силах[13].

Предупрежденная о «дурном обращении», на которое жалуется ее муж, г-жа де Сад адресует коменданту письмо, полное упреков:

С удивлением узнаю, сударь, что, несмотря на мои пожелания и распоряжения, полученные Вами от Вашего двора относительно моего супруга де Сада, Вы не только не исполняете приказ о смягчении для него режима, но даже не соблюдаете элементарной вежливости, коя была Вам предписана и с коей надобно к нему обращаться, принимая во внимание все его титулы. Эта новость, сударь, настолько же опечалила меня, насколько мне польстило Ваше письмо. Поэтому, полагаю, Вы сочтете уместным, ежели я как можно скорее выведу его из-под Вашего подчинения, а я и моя семья сообщим Вашему посланнику о Вашем поведении <...>[14].

Несмотря на явно угрожающий тон письма, комендант не только не приходит в замешательство, но, похоже, вообще «не испытывает эмоций» по его поводу. «Я с удовлетворением узнал, что Вы намереваетесь вывести Вашего супруга, господина де Сада, из-под моего подчинения и сообщить нашему посланнику о моем поведении в отношении г-на де Сада», — дерзко отвечает он. А впрочем, в чем можно его упрекнуть? В том, что он разместил узника в своих собственных апартаментах? Добился для него многих послаблений? Ни разу не противопоставил его «выходкам» свой авторитет? Не принял предложений, несовместимых с его долгом и честью? В глубине души бедный комендант только и мечтает, чтобы его как можно скорее избавили от этого беспокойного заключенного.

Изменил ли де Лонэ свое отношение к пленнику после этого письма? Известно, что он приказывает «обустроить» камин маркиза, оказывает ему «все возможные любезности», даже сопровождает его во время прогулок в нижний форт и старается поддерживать отношения на уровне «страха и признательности». Со своей стороны де Сад кажется гораздо более спокойным, что не мешает коменданту распорядиться шпионить за ним, ибо он нисколько не доверяет этому видимому спокойствию.

Я говорил с ним, а потом распорядился тайно проверить этого господина, — пишет он губернатору Савойи. — Я не нахожу в нем ни единого качества, на которое можно было бы положиться, и полагаю, что все его происки имеют единственную цель — побег, ибо помимо тех предложений, которые он мне делал, он приказал обменять все свои пьемонтские деньги на деньги французские и <...> осведомлялся, есть ли мост через Изер и далеко ли он от Франции.

Де Лонэ добавляет, что не может отвечать за заключенного, свободно гуляющего по территории форта и способного в любую минуту перелезть через стену, и просит де Латура сообщить об этом семье де Сада и добиться, чтобы она непременно забрала отсюда своего родственника. «Буду Вашим вечным должником»[15], — заключает он.

Барон де Лалле

Двадцать седьмого февраля 1772 года Франсуа де Сонжи, барон де Лалле, родом из небогатого дворянского семейства из Анси, по приказу короля был препровожден в форт Миолан и помещен под замок. Персо-

наж сей, наделенный аппетитом и жаждой великана Гаргантюа, уже дважды побывал под арестом. Первый раз это случилось в декабре 1770 года, когда он был арестован за организацию побега заключенного из тюрьмы в Бонвиле; второй раз его схватили за удар шпагой, нанесенный солдату регулярной армии в деревне Шен (департамент Об). К счастью, пуговица на мундире изменила направление удара, и лезвие проткнуло только перевязь и камзол несчастного.

Сонжи быстро проел состояние жены, оставив ей ровно столько, чтобы она могла кое-как поддерживать свое существование. Когда доходов семьи перестало хватать, он, чтобы удовлетворить свою страсть к пьянству и распутству, пошел на воровство. В ночь с 17 на 18 февраля 1772 года, около 10 часов вечера, заручившись содействием четырех неизвестно откуда взявшихся негодяев, он вместе с ними отправляется по фермам, принадлежащим его отцу, взламывает двери, связывает слуг и забирает добычу, составившую в общей сложности восемь быков и одну корову. Фермеры бьют тревогу, вместе с отрядом драгун бросаются в погоню за ворами и в конце концов хватают их.

Подобные подвиги стоят г-ну Сонжи де Лалле десяти лет тюремного заключения, однако семья его умолила короля не подвергать его позорному наказанию, а отправить в какую-нибудь удаленную крепость, обязавшись взять на себя расходы по его содержанию. Монарх согласился и заменил ординарную тюрьму на содержание в форте Миолан, где неугомонный барон был сдан на руки коменданту де Лонэ. Увидев этого савойского Фальстафа*, буфетчик чуть было не отказался от места; как можно накормить этакого людоеда при той скромной сумме, которую выделили на его содержание? — простонал кашевар, — «денег, отпущенных на еду в день, ему даже на обед не хватит!». Впрочем, вскоре родственники присылают барону некоторую сумму, но уже 3 февраля 1773 года заявляют губернатору Савойи, что они сами пребывают в известном стеснении.

> Молодой человек, — говорят они, — не имеет ничего, женщина, на которой он женился, сама с трудом сводит концы с концами, а его отец, почтенного возраста и обремененный многочисленным семейством, не обладая ни имуществом, ни состоянием, разумеется, не в силах помочь сыну[16].

Однако самого Сонжи его положение нисколько не пугает; привыкнув жить за счет друзей, он нашел в Миолане товарища по несчастью, не скупящегося на расходы на еду и вино; товарищ этот — де Сад, за чьим столом Сонжи становится частым гостем; иногда они обедают вдвоем, иногда к ним присоединяется лейтенант Дюкло. Этот офицер, приписанный к гарнизону форта, быстро стал одним из близких друзей маркиза и почти каждый вечер ужинает вместе с ним. Впрочем, он на плохом счету у начальства и не ладит с де Лонэ; недавно они поспорили в самых резких выражениях, и эхо этой ссоры докатилось до ушей губернатора. Комендант не доверяет ему и не без основания по-

---

* Фальстаф — персонаж из хроники У. Шекспира «Генрих IV» — обжора, балагур и весельчак.

дозревает, что Дюкло продает свои услуги де Саду. Быть может, даже готовит ему побег. Так что Латур советует де Лонэ присматривать за этим офицером столь же бдительно, сколь и за узником.

Помимо лейтенанта Дюкло и барона де Лалле, Донасьен продолжает поддерживать дружеские отношения с г-ном де Во. Де Во не может посещать его, ибо посещения запрещены, однако постоялец «Помм д'Ор» служит де Саду своего рода «почтовым ящиком». Через него узник отправляет и получает большую часть своей корреспонденции. Через некоторое время он заручается поддержкой еще одного посланца, восемнадцатилетнего Жозефа Виолона. Каждую неделю молодой человек приносит ему письма, которые забирает у де Во, а также коекакие продукты из Шамбери.

Маневры

Четырнадцатого февраля г-н де Сад сообщает графу де Латуру, что он составил прошение на имя Карла-Иммануила III и просит отправить его адресату[17].

Надеюсь, — пишет он, — Ваше превосходительство, прочтя этот документ, примет близко к сердцу мои несчастья, кои побудят его оказать мне честь и добиться у Его Величества лекарства, необходимого для их исцеления, а именно возвращения несправедливо похищенной у меня свободы[18].

Далее следует текст прошения:

Теща, ведомая самыми гнусными корыстными соображениями, мечтающая только о том, как бы меня разорить, воспользовалась моими несчастьями и обратила против меня всю строгость закона, заставила вынести мне приговор и, как следствие, вынудила меня исчезнуть навсегда <...>. Используя доверие, обретенное вследствие недостойных маневров, она сумела окольными путями склонить посла Вашего Величества во Франции стать орудием ее мести. <...> Сир, если бы эта неправедная женщина, желающая погубить меня, боялась только моих жалоб, тогда к чему все ее старания изменить заслуженное наказание? Почему она не позволила заключить меня в тюрьму на родине? Она прекрасно знает, что король, мой повелитель, не позволил бы ей этого, поэтому она, пребывая в нелепом заблуждении, пытается обмануть того, в чьих руках сегодня находится моя судьба, и я надеюсь, что Ваше Величество <...>, узнав, какова на самом деле истина, и признав лживыми сведения, при помощи которых его пытались перехитрить, вскоре вернет мне столь долгожданную свободу, вожделенную мною прежде всего для того, чтобы сбросить иго этой женщины, снять с себя ужасные обвинения, выдвигаемые ею, кои она, понимая, что я не в состоянии защищаться, возобновляет каждодневно, желая навсегда похоронить меня в стенах крепости <...>[19].

По словам Донасьена, именно г-жа де Монтрей потребовала для него самого тяжкого наказания и помешала ему предстать перед судом с единственной целью полностью его разорить и завладеть его имуществом.

В то время как де Сад адресует свою жалобу королю Сардинии, де Лонэ как никогда пребывает начеку. Вот уже который день он ощущает в крепости некое движение, источник которого он тщится узнать, и даже доводит свои наблюдения до сведения губернатора. Так, 8 числа про-

шедшего февраля месяца какой-то мальчик отнес де Во письмо, написанное от имени лейтенанта Дюкло. Комендант попытался отыскать посланца, но безуспешно; расспросы Дюкло также не дали результатов: лейтенант все отрицал. Было очевидно, что узник тайно отправляет и получает письма. Коменданта необычайно волнует все возрастающая близость маркиза с пресловутым Дюкло, который почти каждый вечер ужинает с заключенным, отчего комендант даже дерзает намекать на «преступную связь». Впрочем, де Сад по-прежнему ведет себя спокойно и часто гуляет по территории верхнего и нижнего фортов – разумеется, под надзором: «не похоже, чтобы у него появилась возможность бежать», ибо даже ночью возле его двери с недавнего времени ночует часовой. Однако, добавляет г-н де Лонэ,

> <...> я не поручусь, что он не сможет выбраться из окна с той стороны, где это достаточно просто, хотя я каждый день приказываю часовым, наблюдающим за той стороной, удвоить бдительность. <...> Поэтому, – заключает комендант, – в форте, где содержатся государственные преступники, опасно иметь такого гения, как г-н де Сад, личность коего нисколько не соответствует его рождению[20].

Разумеется, нет нужды пояснять, что, говоря о «гении», он намекает на характер де Сада...

До ушей графа де Латура долетают и другие, не менее подозрительные факты. Так, 26 февраля 1773 года посланник короля Сардинии в Париже сообщает, что г-жа де Сад недавно отправилась в Прованс, «но есть основания полагать, что она поехала по дороге в Савойю, чтобы повидаться с мужем». Необходимо всеми силами помешать этому свиданию, ибо последствия оно может иметь самые плачевные. И Латур должен дать коменданту надлежащие распоряжения.

* * *

Вскоре еще одно происшествие, хотя и менее серьезное, вновь нарушило спокойствие де Лонэ. На этот раз речь идет о ссоре между де Садом и бароном де Лалле. Желая обмануть скуку, они в один прекрасный день решают сыграть партию в фараон. Барон, обладающий странной способностью постоянно выигрывать, обыгрывает маркиза на двенадцать луидоров, ровно на ту самую сумму, которую прислали ему накануне для покупки часов. А так как де Сад более расположен приобрести часы, нежели заплатить долг, он просит приятеля отсрочить выплату до дня его освобождения. Барона отговорка не устраивает, он начинает угрожать и требовать деньги прямо сейчас. Донасьен докладывает о происшествии губернатору, однако прибавляет обстоятельство, отягощающее вину барона и откровенно постыдное для де Лонэ.

> Не могу скрыть от Вашего превосходительства, – пишет он, – что все тот же барон де Лалле запер в комнате моего слугу [Латура], молодого человека из хорошей семьи, который был мне рекомендован и из которого в будущем выйдет толк; так вот, у означенного Латура он за два дня выиграл в ту же игру сто золотых французских луидоров. <...> Фортуна слишком пылко устремилась на его сторону, и стало ясно, что он, несомненно, владеет искусством повелевать ею.

Но это не самое худшее. В стенах крепости азартные игры строго запрещены, однако, по словам Донасьена, де Лонэ не только не воспрепятствовал игре, но даже попытался извлечь из нее выгоду. Более того, когда слуга его заявил, что не может выплатить такую сумму, де Лалле заставил его подписать долговое обязательство сроком на три года, и все это на глазах у коменданта! Со своей стороны, Донасьен готов пожертвовать двенадцатью проигранными луидорами, но он умоляет графа де Латура приказать вернуть молодому человеку расписку с обязательством заплатить сто луидоров, ибо такую сумму тот сможет собрать, только разорив свое семейство. И разумеется, Донасьен просит губернатора сохранить полученные им известия в тайне: любая нескромность приведет к «новым стычкам с де Лонэ или же ссорам с бароном»[21].

Тем временем отъезд г-жи де Сад из Парижа ввергает председательшу в живейшую тревогу: она знает, что для спасения мужа Рене-Пелажи способна на все: что, если она попытается увидеться с ним, поможет ему бежать? Похоже, г-жа де Монтрей делится своими опасениями с герцогом д'Эгийоном, ибо сей последний высказывает свои соображения Ла Мармора относительно того, каковы могут быть последствия побега де Сада. Французский министр иностранных дел возмущен «неосмотрительным и несправедливым письмом», направленным маркизой коменданту де Лонэ; впрочем, он относит это письмо на счет живости ее характера: эта женщина «получает недостоверные сведения и пребывает под сильным влиянием, которое муж ее, коего она любит, к несчастью, сохраняет над ее разумом». Теперь еще более, убеждает он посланника сардинского короля, необходимо содержать г-на де Мазана в заключении: «Это главная цель». Герцог даже рекомендует «ради безопасности узника» принять самые суровые меры, вплоть до помещения того, если понадобится, под замок, увольнения всех его слуг и «отмены всех послаблений, кои он не постарался заслужить и коими смог бы злоупотребить». Желая избежать шума, который заключенный или его жена могут поднять, посланник требует от коменданта, чтобы «любые сношения с посторонними были бы этому заключенному строго запрещены, равно как и переписка»[22].

Братья Дюмон

Субботним вечером 16 марта 1773 года двое молодых французов, братья Дюмон, в почтовой карете прибывают по Лионской дороге в Шамбери. Они останавливаются в гостинице «Помм д'Ор» и заявляют, что завтра намерены отправиться в Пьемонт. Одним из этих таинственных персонажей является, как вы уже догадались, переодетая мужчиной маркиза де Сад; ее сопровождает слуга по имени Альбаре[23]. На следующий день та же самая почтовая карета направляется в сторону Пьемонта, но через 15 км «по причине некоторых неудобств» высаживает путешественников в Монмелиане. Они останавливаются в единственной имеющейся там дрянной гостинице, откуда маркиза посылает

своего доверенного человека в Миолан. За час до наступления ночи Альбаре прибывает к коменданту форта, которого граф де Латур уже в начале месяца предупредил об этом визите, и предъявляет ему письмо от г-жи де Сад, написанное 5 марта в Барро. В нем она просит де Лонэ дозволить подателю письма наедине побеседовать с ее мужем хотя бы четверть часа, ибо она давно не получала от супруга писем и от этого пребывает в беспокойстве. Комендант, получивший приказ никого не допускать к заключенному, отказывается впустить Альбаре в крепость, и тот возвращается к хозяйке в Монмелиан.

На следующий день после полудня предпринимается новая попытка проникнуть в замок, но на этот раз ходатай направляется к губернатору Савойи. Податель письма приносит ему послание, совершенно идентичное вчерашнему: оно составлено в том же месте, в тот же день и имеет то же содержание: выехав из Парижа в свои владения в Провансе, г-жа де Сад избрала дорогу на Гренобль, ибо желала прежде повидаться с мужем, и только сильный насморк заставил ее остановиться в Барро. Поэтому она посылает вперед своего посланца и просит, чтобы ему дозволили краткое свидание с г-ном де Садом; она беспокоится о здоровье супруга, от коего вот уже целый месяц не имеет известий. Чрезвычайно вежливо, в самой изысканной манере граф де Латур отвечает ему, что, к сожалению, не может исполнить просьбу, но заверяет г-жу де Сад, что супруг ее чувствует себя превосходно, о нем по-прежнему прекрасно заботятся и он имеет все возможные послабления; она даже может написать ему, он сам передаст письмо и сделает все, чтобы она без промедления получила ответ. В тот же день губернатор получает от Ла Мармора новые инструкции по содержанию узника: ни один листок, вышедший из-под пера узника, не должен пересекать границы цитадели, «ибо он буквально извел нас своими жалобами и записками, где факты изложены столь же лживо, сколь и виртуозно».

Девятого марта Дюмон, иначе Альбаре, второй раз наносит визит г-ну де Латуру. Вручив ему незапечатанное письмо своей хозяйки, написанное ею мужу, он снова умоляет разрешить ему свидание с де Садом. Губернатор упорствует в своем отказе, слуга пытается разжалобить его, описывая плачевное состояние несчастной маркизы, мучимой болезнью и не имеющей возможности продолжать путь в Прованс. Не выходя за рамки учтивости, граф де Латур поручает просителю передать его соболезнования маркизе «по случаю ее нездоровья» и тут же заявляет, что не станет нарушать свой долг; также он советует маркизе «покинуть ту дурную гостиницу, где она остановилась». Ирония его будет оценена по достоинству, ибо она означает, что ни де Латур, ни де Лонэ не попались на удочку мистификации г-жи де Сад; оба прекрасно знали, что супруга маркиза остановилась в дрянной монмелианской гостинице и чувствовала себя превосходно.

Может возникнуть вопрос: зачем ей надо было уверять всех, что она находится в Барро, по ту сторону границы, на французской территории? К чему это письмо с фальшивой датой «5 марта»? Зачем было

переодеваться в мужское платье? К сожалению, ни на один из этих вопросов при нынешнем состоянии наших изысканий мы ответить не в силах. Не так давно Жорж Дома предложил весьма остороумную гипотезу, согласно которой супруга маркиза де Сада окружила свое путешествие такой таинственностью исключительно потому, что замысливала устроить мужу побег[24]. Но это всего лишь предположение, требующее подтверждений.

* * *

Отчаявшись связаться с мужем, 14 марта г-жа де Сад садится в почтовую карету и, покинув Монмелиан, направляется в Лион, минуя Шамбери. Прибыв в Лион, она вновь умножает попытки смягчить участь узника, засыпает письмами графа де Латура, припадает к стопам Сардинского короля, умоляя его освободить мужа и дозволить ему жить в своих владениях. Она изо всех сил старается обелить его от вменяемых ему преступлений, даже находит для этого лирические интонации:

> Нет, сир, муж мой не имеет ничего общего с теми негодяями, от которых потребно очищать наш мир. Излишне живое воображение повергло его, сир, в состояние, близкое к безумию; предубеждение превратило заблуждение в преступление и правосудие обрушило на его голову свои молнии. Но за что? За юношескую горячность, не причинившую вреда ни жизни, ни чести, ни репутации граждан. Чтобы остудить пламя излишне пылкого воображения, его заточили в Миолан; но подобное средство только бередит зло, а не исцеляет его <...>[25].

Подозрения

После эскапады г-жи де Сад коменданта цитадели не покидает тревога; он постоянно начеку, готовый действовать по первому же сигналу. Убежденный в существовании заговора, направленного на устройство побега узнику, он удваивает надзор за ним, а также предпринимает энергичные шаги по удалению из крепости лейтенанта Дюкло, пребывающего на короткой ноге с маркизом: поведение лейтенанта внушает все больше и больше подозрений. Обнаружив, что на прошлой неделе Дюкло каждый день ранним утром покидал форт, комендант приказал проследить за ним и выяснил, что тот — по крайней мере один раз — встречался в Монмелиане с г-жой де Сад. Де Лонэ почтительнейше просит губернатора перевести этого офицера, постоянно враждующего со своими начальниками, в другое место. Иначе он сам подаст прошение об отставке; пока Дюкло в крепости, он ни за что не отвечает. Другой предмет для беспокойства — молодчик Латур, выдающий себя за слугу де Сада, который, в свою очередь, выдает его за побочного сына герцога Баварского; на деле же этот тип всего лишь «соучастник дебошей» маркиза. А де Во? С ним тоже не все ясно. Разве нельзя найти другого корреспондента? И это не говоря о Картероне, появившемся вместе с багажом своего хозяина! С ним как посту-

пить? Оставить вместе с Латуром прислуживать маркизу? Или отослать обратно?

И словно ему мало этих забот, коменданту приходится оправдываться перед губернатором за обвинения, возводимые на него де Садом, клясться всеми богами, что он не ведал об игре в карты, и т. п. Помимо этого ему нужно быть особенно вежливым с пленником и одновременно усиливать за ним надзор. Он попытался завоевать его доверие, но напрасно:

Если бы он следовал моим несложным советам, — жалуется комендант, — мы бы вместе ходатайствовали перед его родственниками о некоторых послаблениях, и <...> возможно, добились бы от короля права убежища, кое он вполне мог бы ему предоставить. Но он, напротив, настроен по отношению ко мне крайне воинственно.

«Если бы он удостоил меня своим доверием, — вновь сетует отвергнутый комендант, — я бы смог предоставить ему все возможные послабления, не выходя за рамки служебного долга». Но де Сад взирает на коменданта надменно, не удостаивает ни словом и не желает наносить ему визиты. Бедный де Лонэ!

Однако в конце концов он получает весьма существенное удовлетворение: де Во высылают из Шамбери, а лейтенанта Дюкло убирают из цитадели.

* * *

Со своей стороны, губернатор доводит до сведения шевалье де Муру, чиновника Государственной канцелярии в Турине, всю правду о Марсельском деле, которую ему удается извлечь из признаний Альбаре. Не скрывая ничего из того, что ему известно, слуга рассказывает о «порошке из шпанской мушки», подсыпанном «марсельским актрискам», о «похищении мадемуазель де Лонэ» и даже о «случайном убийстве» какой-то девицы, что больше похоже на пересуды, и утверждает, что именно из-за нее маркиз де Сад был приговорен к «лишению головы».

Но так как его родственница, чьим покровителем является герцог Эгийонский, — пишет де Латур, — пребывает в неустанных трудах, чтобы раздобыть ему помилование или, по крайней мере, замену смертной казни, то она заинтересована в том, чтобы, прежде чем труды ее увенчаются успехом, он бы не появлялся во Франции, где его наверняка бы арестовали и, быть может, даже подвергли позорной казни, к которой он приговорен.

Набросав в черных красках портрет узника, губернатор не без явного пессимизма напоминает о возможности его побега или даже самоубийства, не исключая ни первого, ни второго. Это своеобразный способ предупредить событие, если таковое случится:

Полагаю, факты изложенные в моем письме, позволят Вашему превосходительству убедиться, на что способен сей г-н де Сад: его поведение во Франции, скандальные и клеветнические письма против близких родственников и даже против собственной супруги, кои он хотел распространить в Турине, в Париже и здесь, свидетельствуют о его дурном характере и доказывают, что человек этот обладает изобретательным умом, не признает морали и готов на любого рода крайности <...>.

Комендант Миоланской крепости, оказывающий узнику всевозможные знаки внимания и уважения, получает взамен оскорбления и разного рода беспричинные выпады, а потому пребывает в постоянной тревоге и, зная о живости и неистощимости воображения узника, опасается, как бы тот не соблазнил кого-нибудь из людей гарнизона, дабы сей человек облегчил бы ему побег, или же, окончательно отчаявшись, не воспользовался бы правом свободно прогуливаться внутри крепостных стен замка и ни бросился бы с крепостной стены вниз[26].

Неожиданная смена настроения

Несмотря на внешнее небрежение, Донасьен не был глух к советам де Лонэ. Раз все его выпады остались без ответа, почему бы не прибегнуть к обходным маневрам и не попытаться «подчиниться», раз комендант ему об этом все уши прожужжал? Он пишет длиннейшую записку на имя графа де Латура, где обязуется отныне получать только ту корреспонденцию, которую «может прочесть весь свет». Затем он быстро переходит к сути дела. Почему его семья с таким упорством пытается похоронить его в стенах Миолана? Он видит только одну, вернее одну основную, причину, на которую они сами и ссылаются: его связь с собственной свояченицей, «желание прервать эту досадную и неуместную интригу». В таком случае

<...> они слишком далеко заходят в своем злопамятстве, — возмущается он, — ибо я доподлинно заявил, и каждодневно не устаю заявлять, и делаю это умышленно, что я давно отказался от нее. <...> Что еще я должен сделать, сударь, чтобы мне поверили? Дерзаю просить у Вас совета. Я порвал все отношения с ней, готов вернуть все ее письма, клянусь не приближаться к Парижу на сто лье, пока не будут вычеркнуты из памяти все просьбы и все оскорбительные предложения, которые могли бы повредить или воспрепятствовать ее устройству, коему, как опасаются, я могу навредить, но которого я на самом деле желаю еще больше, чем они. Но мне не верят. Так что же делать?[27]

Хотя ни одного имени здесь не названо, последние строки свидетельствуют достаточно ясно, что для Анн-Проспер появилась партия, и он не собирается препятствовать ее браку, заключения которого он желает более, чем кто-либо. Претендента зовут Антуан-Франсуа, виконт де Бомон. Более подходящую партию трудно найти: молодой человек принадлежит к старинному роду, а его дядя — Парижский архиепископ, Кристоф де Бомон, тот самый, который осудил «Эмиля» и которому Жан-Жак Руссо адресовал свое знаменитое письмо*. Сей непреклонный прелат, отличающийся крайней строгостью, является непримиримым противником Просвещения и упорно борется с философами и либертенами. Можно только представить себе, какой разразится скандал, если его собственный племянник женится на свояченице и любовнице распутника, приговоренного к смерти за попытку убийства и содомию! Говорят, семья готова согласиться на этот брак только при условии, что де Сад пробудет в заключении до конца дней своих[28].

* Речь идет о «Письме к г-ну де Бомону» (1762).

Спустя некоторое время г-жа де Монтрей поручает графу Ла Мармора поблагодарить власти за «твердость и учтивость», с коими они отнеслись к ее дочери во время ее савойской эскапады, и возобновляет распоряжения относительно того, чтобы де Сад «не наводнил публику своими ужасными сочинениями и записками, кои только отягощают его заблуждения»: это необходимо «в подлинных его интересах». Оставив в стороне формальности, председательша, похоже, готова вступить на путь примирения, настолько, что даже намеревается ходатайствовать перед де Лонэ за лейтенанта Дюкло.

Я была бы безмерно огорчена, сударь, — пишет она коменданту, — если бы ктолибо из офицеров из-за меня или из-за моей семьи лишился бы места. Если иных упреков у Вас к нему нет, то я умоляю Вас не отсылать его; убеждена, что г-н Дюкло, лучше осведомленный о причине несправедливости, его постигшей, и о злоупотреблении его доверием, отныне будет ограничиваться в своих отношениях теми рамками, кои будут ему предписаны Вашими приказаниями.

Ее добрая воля простирается даже на Донасьена: она умоляет коменданта забыть о тех заблуждениях, с которыми узник может относиться к ней, принимая во внимание его «поистине неукротимый характер» и «ужас теперешнего положения». Пусть он дозволит ему «любые развлечения и любые радости, принятые в обществе и совместимые с пребыванием в надежном месте его и его писаний, <...> его ум требует того», — заявляет она[29]. Бесспорно, тон ее стал значительно мягче. Подействовала ли на нее смена взглядов зятя? Или она считает, что давления, оказанного ею, вполне достаточно? Или изменение ее настроения связано с подготовкой к свадьбе Анн-Проспер, то есть с исчезновением главного повода для страха?

Ссора

Через некоторое время отношения между маркизом и бароном де Лалле, похоже, вновь вошли в норму. Благодаря вмешательству де Лонэ барон отказался от своих требований к Латуру и обещал после освобождения вручить его расписку губернатору. Но вскоре между двумя не в меру раздражительными дворянами вновь вспыхивает ссора.

Вечером в пятницу, 29 марта, де Лалле принимает друга у себя, и они вместе опустошают две бутылки подаренного комендантом белого вина. Распрощавшись с маркизом, через некоторое время барон вновь видит его — на этот раз на террасе — играющим в кегли с новым пансионером, Колоном де Баттином; за игрой присматривают тюремный капеллан и несколько офицеров. В ответ на предложение присоединиться к партии барон заявляет: «Я не играю с людьми, которые, проиграв, начинают подавать жалобы». — «Если вы говорите это специально для меня, — подает голос уязвленный маркиз, — то ваши соображения совершенно неуместны». — «Я вполне способен определить, что уместно, а что — нет», — отвечает де Лалле. На сем все и расстаются. Через пять минут Сад врывается в комнату коменданта. «Сударь, — кричит он, — я явился принести жалобу на де Лалле: он оскорбил меня! Если вы не

восстановите справедливость, я пожалуюсь господину де Латуру!» И, развернувшись, уходит. Тогда де Лонэ призывает барона и дружески советует ему не покидать своей комнаты. «Нет никакого основания наказывать меня на основании жалоб маркиза де Сада, — отвечает тот, — я не сказал ему ничего неприятного». — «Я всего лишь повинуюсь приказам губернатора, — объясняет де Лонэ. — При первой же перебранке я обязан лишить вас всех развлечений». Слова эти исторгают из глотки барона вопль отчаяния. «Раз меня все покинули, — вопит он, — и даже сам губернатор, мне остается только умереть!» С этими словами он как бешеный выскакивает из комнаты, но через минуту возвращается: рубашка его запятнана кровью, а сам он с блуждающим взором размахивает ножом. Де Лонэ устремляется к нему; с помощью сторожа и караульного он обезоруживает взбесившегося узника и укладывает его на кровать. Призванный к изголовью хирург форта обнаруживает несколько легких ран в области желудка, самая глубокая из которых не превышает четверти дюйма. Барона относят к нему в комнату, пускают кровь, а потом укладывают спать. На следующий день винные пары по-прежнему дурманят ему голову, и он упорствует в своем решении убить себя[30].

В последующие дни барон приходит в себя и, опасаясь, как бы его поведение не обернулось двумя лишними годами тюрьмы, со слезами на глазах раскаивается. Г-н де Лонэ настроен снисходительно и предлагает до самого освобождения держать барона «под замком», что, по его мнению, будет способствовать «его исправлению»; впрочем, он готов признать множество смягчающих обстоятельств. В частности, г-н де Лалле получил дурное воспитание: когда он был совсем юным, отец использовал его в качестве «бретера», а также «добавлял вина, дабы придавать храбрости своему отпрыску, коему теперь трудно перевоспитаться».

Пока же комендант поручает новому арестанту, де Баттину, примирить противников. Это будет сделано неделю спустя.

Благодать Святых Даров

Пока барон де Лалле оплакивает свои сумасбродства, де Сад, по словам де Лонэ, «начинает становиться человеком». Он наконец признает, что его записки, направленные против председательши, и его постоянное бунтарство лишь отдаляют час его освобождения. «Мне — даже кажется, что он перестал думать о побеге, — отмечает комендант, хотя я по-прежнему соблюдаю все надлежащие предосторожности».

Действительно, произошла подлинная метаморфоза: гневливец внезапно превратился в смиренного кающегося, с тревогой ожидающего награду за свое поведение. 1 апреля он подает де Латуру прошение, составленное в самом что ни на есть покорном тоне. Почему семья упорно продолжает множить его несчастья, раз он отрекся от всего, что вызывало ее неудовольствие, и «готов подписаться под всем, под чем они пожелают?» Он хочет немедленно получить свободу, ибо чувству-

ет, «как здоровье его с каждым днем становится все хуже и хуже»; пребывая и далее в заключении, «он рискует заболеть, а ужасная печаль его будет лишь усугублять страдания», кои он испытывает и избавиться от коих нет никакой возможности. Также он пишет о возможной свадьбе своей свояченицы:

> Если мое дело еще не завершено или, точнее, дело лиц, которые удерживают меня здесь, даю честное слово не возвращаться во Францию до тех пор, пока мне не будет этого позволено, и согласен, чтобы, если это считают нужным, ко мне бы приставили стража, который бы всегда и везде сопровождал меня и я бы содержал его за свой счет[31].

В тот же самый день де Лонэ сообщил губернатору, что де Сад с каждым днем все больше доверяет ему, хотя и выглядит «очень обеспокоенным и меланхоличным по причине продолжающегося своего заточения». «Он даже разочаровался в речах, коими развлекал его Дюкло», — в восторге от подобной перемены добавляет комендант.

Еще лучше. Через несколько дней де Сад просит губернатора разрешить ему столоваться в обществе барона де Лалле. После примирения два приятеля стали неразлучны. «Мне хочется доказать ему, что я искренне помирился с ним, — объясняет Донасьен, — а потому я желал бы добиться для него этой милости, ибо мы оба мечтаем скрепить нашу дружбу, отныне нас связывающую». Так как де Лонэ не видит в этой просьбе ничего предосудительного, то согласие дается.

Наступает праздник Пасхи. После исполнения обязанностей христианина у де Сада «внезапно изменилось настроение и поведение», — сообщает де Латур. Не довольствуясь извинениями, принесенными коменданту де Лонэ за все, что он сказал и написал против него, «он настоятельно попросил позволить ему в его присутствии уплатить своего рода почетный штраф в пользу ряда офицеров и младших офицеров, коих поведение его, излишне оживленное, временами приводило в ужас». И губернатор заключает: «Счастливая перемена произошла, как я уверен, под влиянием благодати, исходящей от Святых Даров!»[32]

Побег

Теперь каждый вечер де Сад ужинает у себя в комнате в обществе барона де Лалле. Но так как еда, которую им приносят из трапезной, по причине дальнего расстояния обычно успевает остыть, они с приятелем просят дозволения принимать пищу непосредственно в трапезной. Не видя причин для запрещения, комендант разрешает им использовать в качестве столовой комнатку, смежную с общей трапезной и прежде являвшуюся частью апартаментов лейтенанта Дюкло. Эта комнатка сообщается с небольшой кладовкой, дверь которой почти всегда заперта на ключ, ибо буфетчик держит в ней провизию. Там же, в углу, находится отхожее место. Де Сад хорошо знаком с этими помещениями недавней постройки, так как часто навещал своего друга Дюкло. Еще тогда он заметил, что окно отхожего места — единственное окно во всей крепости, не защищенное решеткой; более того, оно достаточ-

но широко, чтобы через него мог пролезть мужчина плотного сложения. Окно выходило на задворки форта, смотрело на гору и находилось на высоте 4,40 м над землей.

Вечером 29 апреля Жозеф Виолон, рыскавший вокруг донжона в той стороне, где были сады, изыскивает способ перекинуться с маркизом несколькими словами. На следующий день, то есть 30 апреля, предчувствуя, что скорей всего ему не придется спать всю ночь, молодой человек останавливается в трактире деревни Сен-Пьер-д'Обиньи и спит там до четырех часов пополудни. Затем он направляется к форту и занимает пост под окном отхожего места.

В тот же самый вечер, около 19 часов, маркиз де Сад и барон де Лалле, как обычно, отправляются ужинать в трапезную. Им прислуживает Латур, который, убедившись, что буфетчик и его помощники сидят за столом и из кладовой им больше ничего не потребуется, выкрадывает ключ от кладовой, стремглав мчится в камеру хозяина, зажигает там свечи и кладет на стол два запечатанных письма, адресованных коменданту де Лонэ. После чего спокойно возвращается к обоим друзьям, которые с не меньшим спокойствием продолжают ужинать. В 20 часов 30 минут трое узников проникают в кладовую, а оттуда в отхожее место. Де Сад аккуратно сворачивает редингот, вместе со шляпой кладет его на сиденье, а затем вылезает в окно; за ним следуют оба его спутника. Ожидающий их внизу Виолон подставляет небольшую лестницу и помогает им спуститься. Под предводительством молодого уроженца Савойи беглецы быстро скрываются в ночи в направлении французской границы.

Около 21 часа часовой маркиза, окончив ужин, занимает пост перед дверью узника. Заметив сквозь замочную скважину свет, он думает, что приятели играют в шашки. Вместо того чтобы тотчас проводить де Лалле к нему в комнату, как следовало бы сделать, он дает им время поиграть: г-н де Сад ужасно не любит, когда его прерывают на середине партии, и еще вчера послал часового к дьяволу, когда тот пришел за бароном. Так как ничто не пробуждает у него подозрений, часовой решает немного вздремнуть; прямо в одежде он бросается на кровать (напомним, его комната является смежной с комнатой маркиза) и засыпает крепким сном. В три часа утра часовой внезапно просыпается и снова смотрит в замочную скважину: свечи горят по-прежнему. Почуяв неладное, он устремляется к де Лонэ. Тот одним прыжком вскакивает с кровати, бежит к комнате заключенного, приказывает отпереть дверь, входит... Никого. Рядом с серебряными чашами подсвечников, где догорают свечи, лежат два запечатанных конверта на его имя: один от маркиза де Сада, другой от барона де Лалле. Он лихорадочно вскрывает первый и с изумлением читает следующий текст:

Сударь!

Я сбросил свои цепи, и только сознание того, что Вас могут сделать ответственным за мой побег, омрачает мою радость. После всех Ваших послаблений, Вашей учтивости я просто обязан сказать Вам, что мысль об этом действительно меня огорчает <...>.


FB·2005

Издевка продолжается, ликование нарастает: нет, комендант нисколько не способствовал побегу, де Сад клянется в этом своим честным словом. «Из-за Ваших неустанных забот побег пришлось отложить на неопределенно долгое время», «я бежал исключительно благодаря собственной ловкости». Затем, после иронических рассуждений относительно «способов» и «стремлений» коменданта смягчить участь несчастных узников, маркиз переходит к угрозам. Пусть не вздумают его искать. «Пятнадцать человек, прекрасно снаряженных и вооруженных, ждут меня у подножия замка, — предупреждает он, — и все они скорее расстанутся с жизнью, нежели позволят вновь арестовать меня». Эти готовые на все и вооруженные его женой наемники являются чистейшей выдумкой, но свой побег ему хотелось обставить именно так — как подобает герою романа. Впрочем, сейчас речь идет прежде всего о том, чтобы запугать де Лонэ. Если комендант будет упорствовать в желании вновь арестовать его и направит по его следам крепостной гарнизон, он рискует устроить «резню и погубить множество народу»; но даже уничтожив его людей, комендант получит своего бывшего узника только мертвым или тяжело раненым, «ибо я стану защищать свою свободу до последнего вздоха». Ах, как романтично!

Затем, в качестве своеобразного заключения, насмешливое выражение признательности:

> Мне остается, дражайший комендант, только поблагодарить Вас за доброту. Буду Вам признателен всю жизнь и желаю только, чтобы случай предоставил мне возможность это доказать. Полагаю, настанет день, когда я в полной мере смогу выразить чувства, кои Вы мне внушили и с коими я, дражайший комендант, имею честь оставаться Вашим покорным и почтительным слугою.
>
> *Маркиз де Сад*[33]

Беглец позаботился составить подробнейшую опись оставленных в комнате предметов, в чем также можно усмотреть немалый сарказм. Помимо деревянного топчана, стула с дыркой, матрасов, белья и т. п. в ней перечислены биде, фаянсовая миска, чашка с блюдцем, стакан, две тряпки и ночной горшок. А еще рекомендуется забрать у буфетчика его синий редингот «абсолютно новый» и две пары нитяных чулок, брошенных им на месте побега. Не забыл он и о «двух легавых щенках, один из которых совершенно черный, а другой черный с белым, к которым, — уточняет он, — я очень привязался»[34].

Глава XII
БЕГЛЕЦ

Десант в Ла-Косте

На селение Ла-Кост, зябко притулившееся у подножия одноименного замка, опустилась ночь. Окруженный, словно нимбом, полной сияющей луной, силуэт главной башни отчетливо вырисовывается на золотистом фоне. Тишина. Неожиданно со стороны дороги доносится приглушенный шум. По мере его приближения явственно различается стук копыт по мощеной мостовой и вторящее ему бряцание шпор. Затем при свете факелов можно разглядеть, как в нижние ворота въезжает отряд всадников и направляется к замку. Его возглавляет начальник в полицейской форме; за ним следуют семеро лучников, легко узнаваемых по их мундирам, а за ними — три роты марсельской жандармерии. Подъехав к подножию стены, окружающей замок, солдаты с помощью лестниц перебираются через нее во двор, бегут к дому и, высадив двери, врываются в него. Навстречу налетчикам выскакивает перепуганная г-жа де Сад. Полицейский, с пистолетом в одной руке и со шпагой в другой, «с неистовством, отразившимся на лице его», спрашивает ее, «сопровождая слова свои ужасной бранью» и «самыми непристойными выражениями», где находится ее муж. «Я возьму его живым или мертвым»,— рычит он. Несчастная видит, как «глаза его, сверкающие варварским блеском, наливаются яростным гневом». Она отвечает, что г-н де Сад отсутствует. «Слова ее послужили сигналом к началу жуткого разгула страстей». Отряд разделяется: одни охраняют подступы к замку, другие, с оружием в руках, обыскивают комнаты, готовые при малейшей попытке сопротивления начать крушить все на своем пути. Один из сбиров грозно потрясает железной дубинкой, выкованной в Бонье и предназначенной для взлома дверей и разбивания мебели. Маркиза нигде нет; ярость нападающих удваивается; они устремляются в его кабинет, за несколько секунд превращают его в руины и сдирают со стен и разносят в клочья фамильные портреты; командир, еще более озверелый, чем подчиненные ему солдаты, вытряхивает наружу содержимое шкафов и комодов, хватая подряд все письма и документы. В одно мгновение производится сортировка: одни бумаги он охапками бросает в пламя камина, другие оставляет себе. Не в силах ничего сделать, г-жа де Сад присутствует при этой сцене, сжимая в руках черепаховую табакерку,

оправленную в золото и украшенную миниатюрным портретом — без сомнения, ее супруга, — дабы спасти ее от налетчиков. Заметив табакерку, офицер полиции вырывает ее из рук маркизы, осыпая ее супруга непотребной бранью, еще больше разжигающей ярость его людей. Некоторые грозятся убить маркиза и приволочь его труп г-же де Монтрей.

Наконец орда удаляется, «насытив свою подлую жестокость» и основательно разграбив замок. Спускаясь к деревне, несколько наемников орут во всю глотку: «Мы схватили его! Вот он, мерзавец!». Кричат, чтобы предотвратить возможный (но весьма маловероятный) мятеж деревенских жителей, возмущенных нападением на замок их сеньора.

События эти происходят в ночь с 6 на 7 января 1774 года.

* * *

Но куда же подевался Донасьен?

Рано утром 1 мая 1773 года г-н де Сад и барон де Лалле вместе со своим юным проводником выходят к французской границе. Утомленные ночным переходом, они решают сделать остановку в небольшой деревушке Шапарейан, где маркиз, воспользовавшись передышкой, набрасывает записочку губернатору Савойи:

> Ничем не оправданные жестокости тещи, от которой я нисколько не намерен зависеть, ложь, обман, вранье, коими давно пытаются меня убаюкать, стали единственной причиной предпринятого мною опасного шага. Я помню Вашу доброту, сударь, и от этого меня обуревают угрызения совести. Мне стыдно, что я не заслужил ее, но ужас моего положения возобладал, и мне стало невозможно долее пребывать в темнице, моя горячая кровь не может смириться с подобного рода наказанием; заключение противно мне, и я предпочитаю умереть, нежели жить в неволе[1].

С этого момента мы теряем его след. Пока г-жа де Монтрей и ее дочь, каждая со своей стороны, настойчиво требуют вещи Донасьена, главным образом письма, оставшиеся в Миолане после его побега, беглец ведет кочевую жизнь. Нам известно, что он побывал в Бордо, откуда направил слезную просьбу теще снабдить его средствами для поездки в Испанию. В письме к графу де Латуру г-жа де Сад утверждала, что в июле 1773 года Донасьен находился в Кадисе. А может, она просто хотела запутать следы? С точностью известно только, что осенью 1773 года он обретается в Ла-Косте, не выходит за пределы замковых стен, подолгу гуляет в парке, читает у себя в кабинете и готов бежать по первому сигналу тревоги. Ночью 6 января кто-то успел предупредить его, поэтому за полчаса до нашествия жандармов с приказом об его аресте ему удалось скрыться[2]. В последующие несколько недель он прячется то в риге у Рипера, то у окрестных фермеров[3].

Заговор

В полицейской операции Рене-Пелажи сразу почувствовала руку матушки. И была права, ибо все действительно было устроено г-жой де Монтрей. Но на этот раз она действовала не одна, а по наущению семейства

Бомон, племянник которого, как мы позволим себе напомнить, собирался жениться на Анн-Проспер.

Последний скандал, — пишет Донасьен Риперу, — был устроен с единственной целью: изъять письма мадемуазель де Лонэ, ибо семья Парижского архиепископа потребовала сделать это прежде, чем их племянник, маркиз де Бомон, станет ее супругом. Вы можете распространить эти сведения повсюду, — коварно добавляет маркиз, — и также результаты сей экспедиции, уже вызвавшей множество пересудов. Вы просто обязаны это сделать, чтобы пресечь начавшие ходить обо мне дурные слухи[4].

В результате упорных трудов 16 декабря 1773 года председательша получила сразу два королевских указа, предназначенных для начальника полиции Сартина: один разрешал произвести обыск у маркиза и конфисковать все его бумаги, а другой предписывал задержать маркиза и препроводить его в крепость Пьер-Ансиз, на основании прежнего указа об аресте без суда, выданного Людовиком XV после Аркейского дела. Де Монтрей тотчас снеслась с инспектором парижской полиции Гупилем, который уже не раз бывал у нее в доме, и обсудила с ним подробности облавы, намеченной на ночь 6 января[5]. Напомним, речь шла о том, чтобы арестовать беглеца и захватить имевшиеся при нем бумаги, и более ничего. А главное, все должно было пройти без шума. Насилия, развязанного в ту ночь, председательша, разумеется, не хотела (это было не в ее стиле); случившееся обязано обычной полицейской неловкости, столь частой для того времени.

Однако сей плачевный рейд стоил ей целого состояния: счет, предъявленный ей Гупилем, был равен восьми тысячам двумстам тридцати пяти ливрам двенадцати су[6]. Этот расход, вкупе с затратами на пребывающую в стесненном положении дочь и содержание внуков, основательно подорвал финансовое благополучие семьи Монтрей.

Теперь и я нахожусь в крайне затруднительном положении по отношению к мадам де Сад, — доверительно сообщает г-жа де Монтрей своей подруге, г-же Неккер. — Вам известно, что муж ее, помимо того, что навлек на всех нас великие несчастья, оставил свои дела в совершеннейшем беспорядке, право на получение доходов с земель продано на много лет вперед, уставшие ждать кредиторы, как в Париже, так и в Провансе, не прекращают преследования. Кроме того, всему семейству надо на что-то жить. Я противостояла несчастьям сколько могла, но нынче возможности мои исчерпаны. Последнее январское дело стоило мне более восьми тысяч ливров, потраченных, как Вы знаете, совершенно зря; разумеется, никто мне их не возместит.

На поступления и вознаграждения за должность наместника, составляющие основной доход, вот уже два года как наложен секвестр. Герцог де Лаврийер, несмотря на доброе ко мне отношение, говорит, что с этим надобно смириться. Возможно, это был бы действительно неплохой выход, если бы мы не оказались в такой нужде. Г-н де Монтрей, коему надобно содержать оставшихся пятерых детей, устал предпринимать какие-либо шаги в этом направлении. Уверяю Вас, сударыня, с подобными денежными затруднениями справляться чрезвычайно тяжело. Мне приходится использовать все свои возможности, дабы поддержать моих несчастных внуков, кои, сверх всего прочего, оказались на моем содержании: два мальчика и девочка. Лишь бы только, отчасти удовлетворив кредиторов, мы смогли бы жить спокойно, без дальнейших происшествий, и если бы со временем все разговоры в этом краю прекратились, нам, надеюсь, удалось бы справиться со всеми остальными трудностями[7].

Тайный агент

Мы знаем, что помимо инспектора Гупиля г-жа де Монтрей пользовалась услугами различных провансальских осведомителей, и, в частности, услугами мэтра Фажа, чему имеются неопровержимые доказательства. Мы нашли не менее дюжины его писем к председательше, являющихся бесспорными уликами его с ней сотрудничества. Однако следует упомянуть, что этот же Фаж, как мы увидим, прежде чем присоединиться к рейду и принять в нем участие, сделал все возможное, чтобы отговорить от него г-жу де Монтрей. Чтобы понять его поступки, зачастую весьма двусмысленные, не лишним будет уточнить, что его отношения с семьей де Сад на протяжении зимы 1773 года постоянно ухудшались. Фаж измучился терпеть «дурные выходки» сеньора Ла-Коста, который, множа свои требования, расплачивался исключительно потоками брани и совершенно не заботился о том, чтобы вернуть нотариусу долги. К концу года состояние дел предрекало неминуемую отставку делопроизводителя. Рене-Пелажи и Донасьен отчитывали нотариуса как простого слугу и изводили его просьбами о деньгах. Зная, что он состоит в переписке с председательшей и подозревая его в шпионаже в ее пользу, они обращались с ним на редкость надменно. Они не ошибались. Письма, впервые обнаруженные автором, ясно свидетельствуют о его преданности г-же де Монтрей. В ней он обрел внимательного слушателя, ей он мог жаловаться и требовать с нее возмещения сумм, потраченных им из его личных средств. В обмен он регулярно доносил ей о делах и поступках дочери и зятя.

Самое большое мое преступление состоит в переписке с Вами, — отмечает он 9 декабря 1773 года, — в том, что я сообщаю Вам обо всем, что здесь происходит; и тем не менее я продолжаю считать себя Вашим слугой. Если бы у меня появилась возможность быть Вам полезным, я был бы счастлив немедленно ею воспользоваться. Однако мне следует держаться подальше от дел, занимающих супругов де Сад. Вы понимаете, что в будущем мне не пристало осведомлять Вас, тем более что обнаружилось, что мне известно о тайной отправке в Париж нескольких статей, о чем я имел честь сообщить Вам. В этих обстоятельствах Вы, несомненно, оказали бы мне большую услугу, вернув мне письма, содержащие эти сведения; так Вы поможете мне избежать возможных подозрений и дальнейшего дурного обращения со мной, ведь иначе может случиться, что письма эти попадут к ним в руки <...>[8].

Отношения нотариуса с Садами в течение зимы 1773 года стремительно портятся.

Я снова в ярости, — пишет мэтр Фаж своей покровительнице 21 декабря того же года. — Шаги, предпринимаемые в Ла-Косте, отличаются чрезвычайной необузданностью, в то время как с моей стороны совершаются только честные действия, и Вы, сударыня, об этом знаете. Вот плоды, кои мне удалось извлечь: копия письма, полученного мною в тот момент, убедит Вас в плачевности моего положения. Я не хочу скрывать это от Вас, в надежде, что Вам будет угодно каким-либо образом исправить сие положение, прежде чем этим займется кто-либо иной.

К письму Фажа приложено письмо маркиза, где говорится о намерении его автора поколотить нотариуса в его же собственном доме:

Помилуйте, сударь, не устраивайте мне сцен; разумеется, Вам не по себе, и Вы решили ко мне не являться; однако сейчас я сажусь на лошадь и отправляюсь не самым приятным для Вас образом доказать Вам, что я не позволю безнаказанно над собой смеяться. Так не станем, во имя Господа, доводить дело до крайностей и досадных последствий: я лично не собираюсь ничего объяснять! Единственное удовольствие, кое я собираюсь сегодня себе доставить, – это месть, и именно Вы заставляете меня вкусить ее; если я обнаружу, что Вы изменили своим обязательствам, клянусь, Вас ожидают трагические последствия, и они неотвратимы.

Не бросайте меня, сударыня, в столь плачевном положении, – умоляет Фаж, – Вы единственная моя надежда. Вы видите, что он самым решительным образом настроен против меня. Наверняка к нему в руки попали некоторые из моих писем. Но что можно из них узнать, кроме моего стремления к благу и достойному порядку, установления коего я желаю? Иных намерений у меня при написании этих писем не было; Вы, надеюсь, отдадите мне должное и признаете, что я нисколько не заслужил того обхождения, коему меня подвергают[9].

Что касается вопроса о возвращении писем, мучающего его явно больше, чем он отваживается сказать, то г-жа де Монтрей успокаивает его:

Будьте уверены, сударь, – отвечает она, – что ни единого написанного Вами письма не попало и не могло попасть в недружественные руки, всё хранится у меня. Если же какое-то письмо и было перехвачено, то только по причине Вашей почты. Во всяком случае, когда ведешь себя честно и достойно, как это делаете Вы, как делаю я, надо ходить с высоко поднятой головой[10].

На полях этого письма Фаж нацарапал следующие слова: «Секретно. Сохранить».

Предательство мэтра Фажа

Двенадцать дней спустя в отношениях между Фажем и супругами де Сад неожиданно наступает улучшение. В это время нотариус узнает, что г-жа де Монтрей желает ареста маркиза, и пытается отговорить ее от этого шага:

Вам, несомненно, известно, что между семьей маркиза и мною царят те же отношения, что и между влюбленными, которые, как известно, чем больше ссорятся, тем больше любят друг друга. Они и я и есть эти самые влюбленные: на смену сухому слову «сударь», вставлявшемуся в каждую фразу, пришли слова «дорогой адвокат», «адвокат от Бога». Мы снова позабыли, что такое церемонии, и вновь стали лучшими в мире друзьями. И Господу угодно, чтобы это продолжалось! Разумеется, не я стану чинить этому препятствия; мое отношение к ним не изменилось, и я всегда готов сделать для них, с Вашей помощью, даже невозможное <...>.

Именно в этот момент приходит анонимное письмо, в котором де Сада извещают о получении г-жой де Монтрей приказа об аресте зятя. Ни Донасьен, ни Рене-Пелажи не принимают предупреждение всерьез. Участвующий в обсуждении Фаж подробно излагает всю сцену г-же де Монтрей, намекая тем самым на собственную сдержанность:

Они (супруги де Сад. – *М.Л.*) сообщили мне об анонимном письме, где говорится, что Вы получили от короля согласие на арест г-на де Сада. Содержание пись-

ма Вам в точности известно от меня и от аббата Гардиоля, и Вы знаете, что автор его совершенно прав. Однако они единодушно решили, что все это выдумки и запугивание. Они не могут себе представить, что Вы, вселяя в них сладостную надежду на то, что все уладится, а главное, что наладится управление имуществом, в то же самое время добиваетесь приказа, о котором им только что сообщили.

Если Вы, сударыня, дозволите мне выразить свое мнение, а сделать это меня побуждает привязанность к известному Вам лицу, то скажу, что, если существование такого приказа настолько же реально, насколько его считают вымышленным, значит, в этот дом снова придет хаос и все вновь заполонит ненависть.

Беспорядок неизбежен: Вы лучше меня знаете гениев этого дома. Совершенно очевидно, мадам де Сад сделает все возможное, чтобы избавить его от неприятностей: вот почему поездки и расходы для достижения сей цели будут множиться до бесконечности.

Ненависть. Снова появится множество писем и записок, а в случае необходимости нового побега известная Вам горячая голова способна на все.

С другой стороны, мне кажется, что захватить его вновь будет трудно: в настоящую минуту он пребывает, так сказать, в самом центре своих владений, поэтому полагаю, что, если не иметь намерения взорвать замок до основания и похоронить его под руинами, исполнить полученный приказ будет практически невозможно. По крайней мере, если приведение в исполнение будет поручено людям из Парижа, им придется пробыть здесь немало времени, чтобы ухитриться схватить его.

Впрочем, сударыня, зачем прибегать к крайним мерам? Найти способ уладить его дела, а затем определить предельную сумму его расходов, лишив возможности расточительствовать, кажется мне более верным и разумным средством. Тогда исчезнут опасения, что он покинет Ла-Кост, а все его занятия здесь сводятся к прогулкам по парку, раздаче указаний рабочим и чтению у себя в кабинете. Его нынешняя привязанность к мадам де Сад кажется мне прочной как никогда; есть основания надеяться, что он успокоился надолго.

А главное, если все обстоит так, как Вам сообщают, то Вы, бесспорно, должны понимать, что делаете, ибо Вы, сударыня, гораздо проницательнее меня. Я же единственно желаю, чтобы все это не привело нас к чему-нибудь еще худшему, чтобы, стремясь избежать зла малого, Вы не выпустили на волю зло большое. Думаю, что вправе высказать сие соображение, ибо имею в этом деле прямую заинтересованность <...>[11].

Госпожа де Монтрей не обращает внимания на эти предостережения и вместе с инспектором Гупилем продолжает подготавливать рейд 6 января. Она также пишет Фажу, прося его о сотрудничестве. После всяческих уверток нотариус наконец дает согласие, однако подробно расписывает председательше, в какое душевное состояние согласие это его повергло:

Мне доложили о приходе незнакомца, который, не дожидаясь дозволения, вошел ко мне в кабинет и вручил два Ваших письма; удивлению моему не было границ. С первых же строк я понял, что речь идет об анонимном письме, касающемся тех, кто сейчас находится в замке, и о Ваших последних письмах: мне даются исчерпывающие разъяснения. Ах, сударыня, какую жестокую миссию Вы мне поручаете! Я никогда не смогу решиться стать орудием задержания лица, к которому, несмотря на все его проступки, сохранил подлинную привязанность. А что станет с этой почтенной дамой (мадам де Сад. – *М.Л.*)? Какое ужасное смятение предвижу я! И сколько горя причинит эта миссия! Вы вряд ли можете себе представить, насколько я к нему привязан и насколько крепки объединяющие нас узы. Однако избежать поездки в Экс невозможно; туда меня призывает письмо интенданта, и завтра я уезжаю вместе с тем лицом, которое передало мне Ваши письма. И опять я говорю Вам: какая печальная миссия на меня возложена! Больше всего мне бы сейчас хотелось нико-

гда не иметь дела и с этим домом и его хозяином. Да простит его Бог! Если бы он верил мне, ему не были бы уготованы неприятности, кои я заранее предвижу. А какой новый удар для этой благородной женщины! Какие пересуды пойдут по всей провинции! Ах, сударыня, не думая порицать Ваши доводы, я полагаю, что предусмотрительнее было бы принять иные меры. Зачем Вам снова опасаться побега? Я более не дерзну приблизиться к нему; у нас будут все основания страшиться его гнева, особенно мне, если он хотя бы чуть-чуть заподозрит, что я каким-то, пусть самым ничтожным, образом стал виновником его несчастья. Не знаю, как описать Вам свое теперешнее положение: оно столь жестоко, что не хватает слов передать мои чувства, и я был бы Вам безмерно обязан, если бы Вы властью своею облегчили мне его. Ибо — и я вновь и вновь не устану это повторять — сколь жестоко для меня это поручение! Нет, я никогда не смогу его выполнить; Вам до́лжно удовольствоваться тем, что я не сделаю ничего, что было бы противно Вашим интересам. Вернувшись из Экса, я буду иметь честь вновь принести Вам свои извинения по этому поводу.

В остальном же прошу Вас, сударыня, написать мне письмо, дабы посредством его иметь возможность сообщить, что я не одобряю полученный приказ и написал Вам об этом на основании тех сведений, кои узнал из анонимного письма, где также объясняются причины, побудившие испросить сей приказ; таким образом я буду иметь возможность дать им понять, что упрекать в этом они должны только самих себя; это письмо окажет мне большую помощь в отношениях с мадам де Сад[12].

Не станем полагаться на его слова: если Фаж испускает покаянные вопли значит, будучи человеком осторожным, он подстилает соломки на будущее. Он ни в чем не уверен: а вдруг его письма попадутся на глаза г-же де Сад? Лучше уж выразить благородное негодование планом ее матушки. А так как лишний раз подстраховаться никогда не помешает, то г-жа де Монтрей пишет ему письмо, в котором отрицает любое его участие в этом деле. Нам удалось обнаружить черновик этого письма, написанный рукой председательши:

Не могу скрыть, сударь, своего удивления той горячностью, с коей Вы высказываете неодобрение приказу, о котором говорится в анонимном письме, копию коего Вы мне отправили. Не стану отрицать, что мне известно его содержание и что в настоящих обстоятельствах этот приказ является самой большой услугой, которую министерство могло оказать обеим семьям и самому де С<аду>. Всем было громогласно объявлено о его пребывании у себя дома, а манера мадам де С<ад> пользоваться расположением людей, подбивая их на то, что ей потребно, ожесточила умы и не произвела изменений ни в ее мыслях, ни в поведении. Если бы они последовали советам, кои я им дала год назад, то, несмотря на имеющееся у меня достаточное количество причин жаловаться на них, я бы не стала предпринимать сего демарша. Однако с подобными головами, для которых закон никогда не писан и которые всегда хотят все повернуть только по-своему, и никак иначе [не останавливаясь перед использованием самых неблагородных способов][13], нет возможности осуществить какой-либо план или же сделать что-нибудь хорошее.

Я вижу, сударь, что Вам, без сомнения, известно немного. Иначе бы то, что Вы сейчас считаете великим злом, Вы бы рассматривали как великое благо. Несмотря на имеющиеся у меня *очень серьезные*[14] причины для жалоб как на одного, так и на другую, я тем не менее пытаюсь изыскать способы борьбы с сим досадным делом, хотя план, о котором я упоминала, не является идеальным средством[15].

Наконец, 6 января полиция устраивает в Ла-Косте безобразный обыск, о котором мы уже говорили. Понимая, что предприятие успеха не имело, Фаж приходит в ужас: он понимает, что его обошли, и поверяет свои огорчения благодетельнице.

Вы чрезвычайно меня скомпрометировали, — пишет он ей на следующий день после неудачного рейда «командос», — пожелав замешать меня в известное Вам предприятие. Я отнесся к нему с отвращением, и для дела было бы гораздо полезнее, если бы я вовсе не имел к нему касательства. Дело провалилось, несмотря на усердие, рвение и меры предосторожности, принятые г-ном Гупилем; меры эти были правильны и должны были привести к успеху. Однако анонимный корреспондент из Парижа, коего Вы знаете, и предупреждение, прибывшее за полчаса до появления в замке полиции, стали причиной провала предприятия. Что же касается бумаг, то тут я обязан отдать должное Гупилю, выполнившему поручение со всей возможной точностью и всем надлежащим вниманием. Во всем, что касается бумаг, он действовал безукоризненно, равно как и в том, что Вы считаете более всего в Ваших интересах, о чем я буду иметь честь доложить Вам в иное время.

Сейчас мне предстоить отправиться успокаивать эту несчастную женщину (мадам де Сад. — *М.Л.*). Я бы и вчера не оставил ее, если бы у нее в это время не находился небезызвестный вам де Во из Монтелимара, чье присутствие было в интересах известного Вам лица. У меня уже имеются основания утверждать, что он сможет взять на себя обязательство по осуществлению приказа короля. Все также были бы готовы к нему присоединиться, если бы не опасения, что заключение, его ожидающее, будет пожизненным. Главным средством преуспеть в этом предприятии будет отсрочка высылки средств, предназначенных для уплаты самых неотложных долгов, чтобы они не смогли попасть к нему в руки и облегчить ему переход границы иностранного государства. В связи с этим я, если говорить по правде, опасаюсь за фамильное серебро. Однако постараюсь сделать все возможное, чтобы избежать непоправимого. <...>

С ближайшей почтой сообщу Вам, какое решение будет принято. Сейчас мне как никогда важно сохранить их доверие, и для пользы дела лучше, если я буду знать обо всех шагах, кои они предпримут. После искомого предприятия, виденного мною собственными глазами, я чувствую, что сейчас особенно важно принести в эту семью мир и порядок; Ваш покой также в значительной мере зависит от этого. Я никогда не потеряю из виду ни одних, ни других. У меня есть опасения, что некоторые бумаги отсутствуют, а некоторые оказались разбросанными по углам. Я мог бы, вооружившись терпением, постараться собрать их; будьте уверены в искренности моего рвения и, проверив документы, попавшие к Вам в руки, сообщите мне, каких недостает. В подобных вещах необходимо оказывать доверие. Если бы Вы сообщили мне о Ваших планах, то избежали бы лишних расходов и ненужных действий[16].

Все лучше и лучше! Не удовлетворившись ролью шпиона и участием в налете, он уже готов похищать бумаги своих клиентов! Предательство, низость, склонность к интригам являются основными чертами характера сего в целом малоприятного персонажа[17]. Прибавим к этому еще и взяточничество, сомневаться в коем оснований нет. Воспользовавшись полнейшим развалом, в котором маркиз оставил свои финансовые дела, мэтр Фаж не преминул разобраться с ними по-своему — к собственной выгоде. Его клиент мертв как гражданин, г-жа де Сад в делах не разбирается, г-жа де Монтрей далеко: никто не явится проверить его. Если, конечно, его не вынудят подать в отставку и его обязанности доверенного лица не перейдут к кому-нибудь иному. Тогда ему придется вернуть бухгалтерские книги и дать подробный отчет о состоянии дел. Отсюда это постоянное — тактическое — балансирование между ожесточением (притворным или истинным) и преданностью, которая, как он клянется, оказывается сильнее его. Он то заявляет, что все бросает: он разорен, осмеян, обруган, устал от «дурных манер» и т. п., то меняет

мнение и решает, несмотря ни на что, оставаться на своем посту «исключительно по причине привязанности» к г-же де Сад, сей «почтенной женщине», «к ее несчастному супругу», ко всему дому в целом, который он не может покинуть без сожалений.

Но когда слишком часто меняешь хвалу на хулу, рискуешь запутаться и выдать свои истинные чувства. Убежденные, что нотариус их предал, де Сады решают раз и навсегда избавиться от него. Г-жа де Монтрей не станет выступать в его защиту, ибо она также имеет основания сомневаться в его честности. К тому же она получила анонимное письмо, датированное 21 февраля 1774 года, где ее предупреждают о возможных растратах, совершенных нотариусом:

Председательшу де Монтрей просят повременить с посылкой четырех с половиной тысяч ливров, которые мэтр Фаж столь настойчиво требует у нее для уплаты г-ну Бозу, ибо есть уверенность, что данная сумма завышена вдвое; известно также, что он дважды заплатил мадам де Гадань, однако в своих счетах дерзко поставил четыре раза, увеличив, таким образом, сумму в четыре с половиной тысячи ливров вдвое, что составило мошенническое вымогательство в девять тысяч ливров. Мэтр Фаж является признанным мошенником, и следовало бы избавиться от него[18].

В это же самое время Фаж удостаивается аналогичного предупреждения, также анонимного:

Вы повели себя глупо и не сумели полностью спрятать концы в воду, так что когда-нибудь они неминуемо отыщутся. Все неприятности разрешатся, Сады примирятся с Монтреями, а Вас принесут в жертву. Вскоре Вам прикажут дать отчет о делах. Будьте осторожны: Вас непременно погубят, если обнаружится хотя бы малейший непорядок. Если станете хитрить, Вас разорят и уничтожат. Письмо это написано тем, кто также был принесен в жертву только за то, что слишком усердно служил Монтреям. Вскоре все будут настроены против Вас. Вот что значит полагаться на подобного рода людей. Они сделают так, что Вас письменно ославят по всей провинции как вора, предателя и мошенника[19].

* * *

Уже 3 февраля г-жа де Сад сообщает Риперу, своему управляющему в Мазане, что из-за «имеющихся серьезных причин для недовольства» она решает расстаться с Фажем. Поэтому теперь Рипер будет отчитываться не нотариусу, а только ей самой, и уже начиная с ближайшего арендного договора[20]. Преемником Фажа она избрала одного из его собратьев, также нотариуса и прокурора из Апта, коего обычно называют «г-н адвокат». Речь идет о Гаспаре Франсуа Ксавье Гофриди, «адвокате и королевском нотариусе города Апта». Нам он уже известен: мы помним о товарище детских игр Донасьена, его ровеснике, сопровождавшем его в походах к бабушке Астуо вместе с кузиной Полиной. С тех пор они никогда не теряли друг друга из виду. Говоря по чести, невозможно себе представить более подходящей кандидатуры на роль управляющего делами маркиза, тем более что отец его, Марсиан Гофриди, уже исполнял обязанности управляющего при графе де Саде[21].

Эмигрант

Со времени высадки «полицейского десанта» в Ла-Косте маркиз де Сад ведет жизнь гонимого изгнанника, вынужденного каждый день искать новое пристанище и убежденного — совершенно справедливо, — что теща ни за что не разожмет своих стальных объятий и будет преследовать его, пока не настигнет, чего бы ей это ни стоило. Пока он будет оставаться на французской территории, его могут арестовать в любую минуту. Поэтому в начале марта 1774 года он решает эмигрировать в Италию и поручает Риперу изыскать для этого средства. Публикуемое ниже письмо, адресованное вигье Мазана, во всех подробностях знакомит нас с планом подготовки к отъезду:

Во-первых, после получения этого письма Вам следует тотчас же заняться поисками для нас суммы в *три тысячи пятьсот ливров*; это можно сделать, продав либо наши права на налог, собираемый при совершении имущественных сделок, либо серебряную посуду, добавив к ней два больших блюда, которые мы сами Вам доставим, либо же векселя мадам (которая собирается посетить Вас); для выполнения наших планов нужна именно эта сумма, и ни оболом меньше. Чтобы полностью покончить и с делами, и с принятыми по нужде обязательствами, я непременно приеду к Вам в Мазан в ночь со вторника первого марта на среду второго числа сего месяца. Я войду через заднюю садовую калитку, которую, как Вы сказали, Вы оставите открытой, и тайно поживу у Вас неделю, то есть так, чтобы никто не заподозрил моего у Вас пребывания. Что же касается мадам, то она также приедет к Вам, дорогой Рипер, в среду второго числа и пробудет столько же, сколько и я. Приехав при свете дня и совершенно открыто, она не сможет сохранить инкогнито, поэтому сразу же после ее прибытия Вам, мой дорогой Рипер, предстоит приятная миссия оповестить об этом всех женщин города и передать им наилучшие пожелания от ее имени, а также сообщить, что она в отчаянии от того, что состояние и количество дел (единственная причина ее приезда) лишают ее удовольствия посетить их или же принять у Вас в доме. Когда Вы всех обойдете, мы настоятельно потребуем от Вас, чтобы с этой минуты дверь Ваша была плотно закрыта для всех, включая *Кониля*, аббата *Баньоля*, шевалье де *Суассана* и т. д. Мы не хотим никого видеть, кроме членов Вашей семьи.

Дабы упростить процедуры и сократить их, я сейчас письменно изложу Вам все, что непременно и обязательно нужно сделать в дополнение к уже сказанному. В пятницу 11 марта, в семь часов вечера, мне понадобятся два мула или две лошади — чтобы в эту же ночь добраться до Пон-дю-Сент-Эспри. Не торгуйтесь и в точности выполните мое указание. В тот же день понадобится еще экипаж и два мула, чтобы отвезти мадам в Ла-Кост. Будьте столь любезны сопроводить ее. Иначе ей придется ехать одной. Экипаж доставит Вас обратно. <...>

Впрочем, дорогой Рипер, пока все складывается как нельзя лучше. От меня требуется пробыть в укрытии еще немного времени, ибо за этот срок мадам де Монтрей обещала привести в порядок все дела, как гражданские, так и уголовные. Поэтому сами видите, что для удовлетворения сей просьбы необходимы деньги и сохранение инкогнито, и чем скорее Вы раздобудете мне средства для отъезда, тем больше будете способствовать улаживанию моих дел <...>[22].

Господин кюре

В пятницу 11 марта экипаж увозит маркиза де Сада или, точнее, «господина кюре», в Пон-Сент-Эспри. Чтобы не быть узнанным, Донасьен облачился в сутану местного священника, брата Рипера. В костюме

святого отца он спускается вниз по Роне до самого Марселя. Все идет прекрасно, за исключением небольшого происшествия, которое, впрочем, наверняка изрядно позабавило нашего героя. Во время переправы через Дюрансу веревка парома лопнула, и утлое суденышко некоторое время плыло по течению. Посчитав, что пришел их последний час, пассажиры бросились к ногам кюре, умоляя его исповедать их...[23]

О пребывании Сада в Италии почти ничего не известно; неизвестно даже, в каких городах он останавливался. Ясно только одно: у него очень быстро кончились деньги, ибо уже 12 мая 1774 года г-жа де Сад просит мазанского вигье увеличить выплачиваемую ей сумму до полутора тысяч ливров:

> Просить об увеличении суммы побуждает меня господин де Сад, и я прошу Вас, дорогой Рипер, держите эти сведения в строжайшем секрете, не говорите об этом никому. После прибытия к месту назначения ему пришлось заплатить вперед за жилье, обстановку и т. д., ибо из иностранца тянет деньги всяк кому не лень; затем кто-то узнал его. Не слишком надеясь на скромность встреченного лица, он ночью, тайком, уехал в другое место, что ввело его в дополнительные и непредусмотренные расходы, которые, вместе с разницей в курсах при обмене денег, оказались таковы, что ему не хватает как раз полторы тысячи ливров, чтобы прожить там нужный срок. Деньги эти понадобятся ему в августе, но отправить их мне следует уже в начале июля, дабы они пришли к нему вовремя. Поэтому, дорогой Рипер, я буду Вашей должницей, но только умоляю, никому ни слова. Если нужно подписать заемное письмо, то я готова взять на себя обязательство возместить эту сумму через полгода или год, как будет угодно. Главное, никому об этом не говорите, чтобы известие не дошло до ушей моих дядюшек, иначе они поднимут шум[24].

«Дядюшками», разумеется, являются не кто иные, как аббат де Сад и командор; последний председательствовал на семейном совете, когда обсуждались последствия гражданской смерти беглеца. Чтобы получить заем в полторы тысячи ливров, Рене-Пелажи готова отдать в заклад «позолоченную лохань и серебряный кофейник: все это стоит неизмеримо больше, чем я прошу», добавляет она[25]. Занятая исключительно раздобыванием денег для Донасьена, она забывает о кредиторах, которые в конце концов теряют терпение: 29 мая она жалуется на еврея из Бокэра, который, не довольствуясь письменным напоминанием о задолженности, «явился в замок и поднял там ужасный шум». Не найдя хозяйки, он отправился скандалить в деревню[26]. Со своей стороны, де Сад торопит управляющего сделать все необходимое, чтобы прислать ему эту сумму, выдумывая еще один предлог, столь же сомнительный, как и предлог его жены.

> Прибавьте к этому, — пишет он Риперу 29 мая 1774 года, — что я совершенно ошибся в расчетах и забыл про такую не слишком обременительную, но все же значимую статью расходов, как еда. Подсчитав все как следует, Вы, мой друг, тоже придете к выводу, что мне нужны деньги. Ради бога, приложите все усилия, чтобы раздобыть мне эту сумму, и не ставьте меня в ужасно неудобное положение, а именно, находиться в чужой стране без денег, где меня, не имеющего ни средств к существованию, ни рекомендаций, уже начинают принимать за авантюриста. Заклинаю Вас, Рипер, отнеситесь со вниманием к моей просьбе. Сумма, на которую я ошибся, составляет пятнадцать сотен ливров, а срок, к которому она должна ко мне прибыть, — август текущего года. Соответственно, это должны быть либо на-

личные, либо чек на Лионский или Парижский банк, подлежащий оплате по предъявлении; чек сей должен попасть в руки моей жены не позднее 1 августа. Полагаюсь на Вашу дружбу, г-н Рипер, и уверен, что Вы не станете затягивать дело и не поставите меня в затруднительное положение[27].

Госпожа де Сад подает жалобу

Накануне отъезда мужа в Италию г-жа де Сад поставила последнюю точку в записке, где она обвиняет мать в организации налета 6 января. Затем она заверяет ее у Гофриди и отсылает в Шатле. Совершенно очевидно, редакцию текста осуществлял сам Донасьен, ибо стиль записки нисколько не напоминает стиль его жены и еще менее невнятный стиль Фажа. Собирась покидать Ла-Кост, де Сад торопит с отсылкой жалобы. По своей дурной привычке Гофриди медлит, за что получает нагоняй (первый из длиннющей череды!), адресованный ему из Италии разгневанным маркизом:

Не могу передать Вам, сударь, как я опечален Вашей медлительностью по отношению к моим делам. Вы обещали мне совершенно иное; мою тещу должны были вызвать уже через неделю после моего отъезда, сейчас прошло столько времени, а прокурор только еще готовится сделать свои замечания; воистину, дела идут прекрасно. Похоже, весь мир в сговоре против меня и мне нигде не суждено обрести ни друга, ни покровителя. Однако утвердиться в сем мнении было бы для меня слишком опасно; оно наверняка довело бы меня до плачевной крайности. Если правосудие откажет мне в моем праве, я сам осуществлю его и, не желая более проволочек, стану действовать быстро, чем, возможно, навлеку на себя непоправимые несчастья: вот к чему приведет меня Ваше небрежение, сударь, и вот что я получу, облачив Вас своим исключительным доверием![28]

* * *

В жалобе г-жи де Сад шаг за шагом расписаны все «несчастья», случившиеся с ее мужем начиная с 1772 года, и всякий раз единственной виновницей их оказывается ее собственная мать, председательша де Монтрей. Яростные атаки, пламенное красноречие, выспренний стиль проклятий, все, включая ритм фраз, позволяет распознать манеру письма де Сада. Прежде всего г-жа де Сад заявляет, что вынуждена

<...> прибегнуть к защите законов, дабы наконец покончить с ужасающими и неслыханными доселе притеснениями. Невинная жертва самой священной привязанности, – продолжает она, – требует защитить права человека, столь долгое время попираемые. <...> Дочери Неба, Справедливость, Истина, Нежность, Сострадание, вы одни можете нам поведать, какая роковая случайность повинна в том, что вы более не властны над чувствами, поступками, деяниями женщины по имени де Монтрей, отчего несправедливость, клевета, ярость и жестокосердие пришли вам на смену и захватили власть в ее сердце! Вы страдаете оттого, что их оружие, объединившись, разит несчастного и уделом его остается лишь отчаяние! Да! Смиренная просительница вынуждена это говорить открыто, хотя это противно и ее долгу, и чувству почтения: женщина по имени де Монтрей с ужасом взирает на любые шаги, совершаемые для оправдания и освобождения ее зятя. <...>

Она преследует не преступника, но человека, коего она считает мятежником, ибо он воспротивился ее воле, ее приказам. Но разве уже сами эти причины не

являются предвестниками оскорбления, наносимого гуманности, забвения всяческого уважения, несчастий дочери и нежной супруги, бесчестья, пятнающего почтенных родственников, стыда, навечно поселившегося в злосчастной семье, печального плода страшного обязательства, кое мать ее скрепила своей печатью? Разве узы, соединяющие маркиза де Сада с женщиной по имени де Монтрей, его тещей, должны быть цепями тирании и жестокости? Разве отныне смиренная просительница должна влачить исключительно горестные дни, каждодневно печалиться об участи несчастных детей, невинных жертв гонений собственной бабушки, приносящей их в жертву своей ненависти к зятю? Желая избавить их от стыда и позора, коими хотят их покрыть, дабы оправдаться в глазах всего мира, убедить всех, что позор сей никогда не был заслуженным, чтобы вернуть им их положение, чтобы отомстить за их честь и честь смиренной просительницы, которая также была унижена, чтобы наконец рассеять туман клеветы, пособницей которой просительница сия могла бы стать, не возьмись она за оружие, чтобы остановить ее бег, просительница вынуждена обратиться к служителям закона, дабы побудить их поставить преграду притеснению[29].

Адресованная Шапоту, прокурору в Шатле, «кроткому, честному молодому человеку необычайного ума», записка эта, судя по всему, никакого действия не возымела: спустя четыре месяца г-жа де Монтрей все еще не получила вызова в суд. А приказы короля о задержании маркиза и заключении его в крепость Пьер-Ансиз, оставшиеся неисполненными вследствие неудачного полицейского рейда от 6 января, напротив, продолжали действовать. 25 марта герцог де Лаврийер направил их интенданту Прованса Сенаку де Мейлану с просьбой проследить за их исполнением с «должной бдительностью и необходимой осмотрительностью». Главное, чтобы жандармский прево, отвечающий за захват де Сада, хранил свое поручение в тайне, ибо, если вышеназванный маркиз заподозрит неладное, то «закроется у себя в недоступном замке, а поймать его возможно только, когда он, пребывая в бегах, скрывается в окрестностях»[30].

Теперь, впрочем, отправляться за ним предстоит еще дальше, ибо вот уже двенадцать дней, как маркиз нашел убежище в Италии.

Утраченная надежда

Десятого мая 1774 года, в половине четвертого пополудни, свеча, горевшая на окне короля, погасла: шестидесятичетырехлетний Людовик XV скончался в атмосфере полнейшего равнодушия к своей особе. 27 апреля у монарха началась жестокая лихорадка, сопровождаемая тошнотой и сильными мигренями, а тело его стало покрываться красными пятнами. Врачи единодушно поставили диагноз, однако остереглись ознакомить с ним короля. Он был одержим идеей смерти, и королевская семья опасалась сообщать ему истину. Дочери, предупрежденные о тяжести его состояния, несмотря на опасность заразиться, решили дежурить у изголовья больного; графиня Дюбарри также проводила ночи у ложа своего царственного любовника. Состояние короля ухудшалось. 3 мая, видя, как тело его покрывается гнойниками, Людовик XV понял, что у него оспа. Проявив неожиданно для всех

недюжинное мужество, он отослал любовницу и потребовал к себе исповедника. На заре 7 мая он в присутствии двора причастился Святых Даров. На следующий день его состояние резко ухудшилось. Лицо его напоминало уродливую бронзовую маску, по комнате распространялось зловоние. Все с нетерпением ждали окончания агонии, ибо вся Франция надеялась, что с приходом нового монарха в государстве начнется не виданное доселе процветание.

Вся Франция... и прежде всего маркиз де Сад. Наверняка указ об аресте и заключении, подписанный покойным королем, теперь потеряет силу. Конец преследованиям, гонениям, страхам: де Сад вновь становился свободным (почти) человеком. Если не принимать в расчет старания председательши, поспешившей потребовать у герцога де Лаврийера, единственного министра из бывшего правительства, не потерявшего свой пост, новых приказов, подписанных юным монархом. Герцог без труда получает их (Людовик XVI был слишком набожен, чтобы позволить либертену такой закалки разгуливать на свободе) и 21 октября 1774 года отправляет Сенаку де Мейлану вместе с письмом, публикуемым нами впервые:

Двадцать пятого марта сего года я отправил Вам, сударь, королевские приказы об аресте маркиза де Сада и препровождении его в крепость Пьер-Ансиз. Так как изданы они достаточно давно и подписаны покойным королем, я посчитал своим долгом — раз они еще не исполнены — получить новые от нынешнего короля, и Его Величество изволил их подписать. Они прилагаются к письму. Его Величество желает их непременного и скорейшего исполнения, поэтому сделайте все возможное. Так как прежние приказы утратили свою силу, не сочтите за труд изъять их и переслать мне. Кроме того, мне кажется, что жандармский офицер, коему вы доверили исполнение приказов, не проявил должного рвения, несмотря на свое обещание. Меня уверяют, что де Сад часто покидал свое убежище, его видели в Марселе, где он провел несколько дней подряд и даже дерзнул публично появиться в театре[31].

Спустя три дня Лаврийер предупреждает председательшу, что, исполняя ее волю, он передал интенданту Прованса приказ об аресте ее зятя. Однако Сенак де Мейлан видит большие препятствия для его исполнения и, в свою очередь, выдвигает план, у которого есть все шансы оказаться успешным. Мы не знаем его сути, но знаем из другого неизданного письма министра Королевского дома к интенданту, что операция рискует обойтись Монтреям очень дорого. Не важно, лишь бы де Сад наконец был изолирован и не смог более никому вредить:

Я медлил с ответом на Ваше письмо, сударь, кое Вы взяли на себя труд направить мне 30 октября сего года, только потому, что ожидал, пока семья маркиза де Сада ознакомится с предложенным Вами планом по поимке маркиза. Уверен, это единственно возможный способ достичь успеха. После определенных колебаний семья наконец согласилась на его осуществление. Поэтому прошу Вас передать королевские приказы Увьеру, жандармскому офицеру в Марселе, поручив ему исполнить их за определенное вознаграждение, кое будет ему выплачено. Я уже предупредил семью, что это обойдется ей примерно в тысячу экю, однако мы еще должны встретиться с ответственными лицами и обговорить необходимые детали, а также определить сумму вознаграждения и гарантии его выплаты. Так как подобная экспеди-

ция, судя по всему, потребует временной отлучки Увьера из Марселя, быть может, даже отлучки продолжительной, то не сочтите за труд написать генеральному прево, чтобы он предоставил ему свободу действий[32].

«Большое дело»

Смерть Людовика XV должна была иметь и еще одно последствие, для Донасьена вполне благоприятное. По совету своего наставника, графа де Морепа, в начале лета Людовик XVI приступил к существенной реорганизации министерств. Второго июня 1774 года герцог д'Эгийон, министр иностранных дел, подал в отставку, уступив свой портфель графу де Вержену. 19 июля 1774 года молодой король почти сполна удовлетворил требование общественности, главным образом партии философов, назначив Тюрго министром морского флота взамен Буржуа де Буана. Спустя месяц, 24 августа, он нанес новый удар, отозвав Мопу и Терэ и назначив Тюрго Генеральным контролером финансов. Таким образом, злейший враг де Сада, тот, кто еще два года назад пытался заполучить его голову, теперь, как и маркиз, был приговорен к ссылке. Для полного реванша радостный народ повесил изображение бывшего канцлера и пронес его по улицам Парижа!

Отставка Мопу была воспринята как верный признак ближайшего созыва парламентов. После смерти Людовика XV вопрос этот беспрестанно будоражил политическую жизнь королевства. Партия «патриотов», враждебная канцлеру Мопу, выставляла парламенты естественными защитниками народа против королевского произвола: король был доверенным лицом, утверждали они, а не господином. Парламенты, говорили они, выступали защитниками основных законов, попранных канцлером. «Патриоты» встречали противодействие со стороны святош и абсолютистов. В полной мере сознавая, что созыв парламентов приведет к ослаблению его власти, король в конце концов согласился, что монархия не может существовать без верховных судов и что ему придется пожертвовать Мопу. Последний попытался защитить свое творение, представив Людовику XVI записку, оправдывающую его реформу, но последнее слово осталось за Морепа, который напомнил об общественном мнении, поддержавшем требования судей. Наконец король приказал Мопу сдать печати. Его преемник Миромениль, родственник Морепа, немедленно представил план возвращения распущенных ранее парламентариев, что сделало его в глазах толпы и «патриотов» «человеком дня, реставратором законов». Наконец, 12 ноября 1774 года после многих проволочек, Людовик XVI на ложе правосудия* торжественно вернул на свои скамьи судей, изгнанных его дедом.

Эта мера предоставляла Донасьену неожиданный шанс: прежний парламент Экса может вернуться к его делу и отменить приговор, вы-

---

* Ложе правосудия. – Первоначально так называлось королевское кресло, стоявшее в зале заседаний, затем – само заседание парламента, на котором присутствовал король.

несенный ставленниками Мопу, что означало возвращение свободы, восстановление гражданских прав и прекращение скандала. Не дожидаясь королевского решения, но зная, как и все во Франции, о скором возвращении прежнего парламента, Рене-Пелажи решает предупредить события и по совету мужа 14 июля покидает Ла-Кост и вместе с сестрой отправляется в Париж. Она останавливается в Бургундском отеле на улице Таранн, в Сен-Жерменском предместье, однако просит Гофриди писать ей «на имя Карлье, портного, проживающего в Париже на улице Сен-Никез. Это верный человек, — пишет она, — а многолюдные гостиницы совершенно ненадежны, их владельцы обо всем доносят полиции». Цель ее поездки заключается в том, чтобы дать ход жалобе на собственную мать и начать процедуру кассации. Эти демарши взаимосвязаны, и второй будет зависеть от преодоления страха, который попрежнему внушает первый. «Без процесса в Шатле, — заявляет она, — нам никогда не завершить этого дела, но нетрудно заметить, что, несмотря на все отговорки, они весьма и весьма заинтригованы». Все тянется неимоверно долго: королевский прокурор, любезный Шапот, всем рассказывает, что г-жа де Сад сошла с ума, и кладет ее жалобу на председательшу под сукно. Прошению же о кассации можно будет дать ход только через несколько недель. Тем временем расходы растут, кредиторы угрожают, а председательша не прекращает преследовать зятя. Однако до ушей г-жи де Сад доходят странные откровения.

Меня пытались убедить, — пишет она Гофриди, — что моя мать безумно любила господина де Сада и была настроена гораздо враждебнее ко мне, чем к нему. Я ответила: «Тем лучше!» Наконец, мне подтвердили, что родные де Бомона согласятся на его брак с мадемуазель де Лонэ только в том случае, «если де Сад будет заключен пожизненно и министр подтвердит это распоряжение». Подобное условие возмутительно, — бросает г-жа де Сад[33].

Из Италии умирающий от скуки Донасьен следит за демаршами жены и теми сложностями, с которыми ей приходится сталкиваться; они возникают прежде всего из-за противодействия тещи, которая упорно не хочет договориться полюбовно:

Вы согласитесь с нами, сударь, что упорство, с которым г-жа де Монтрей не желает ничего прекращать, действительно совершенно необычно. Ибо, в конце концов, что она от этого выиграет? Увековечит этот позорный процесс, позор своей дочери и внуков, внесет ужасающий разлад в дела, заставит меня вести жизнь, исполненную печали и несчастия? Ибо, как Вы догадываетесь, нельзя с приятностью жить в стране, где приходится постоянно скрываться и играть различные роли, дабы остаться неузнанным. Уверяю Вас, я в полной мере познакомился с этим жанром пытки и нахожу его жестоким и бессердечным. <...>

Ради Бога, подбодрите жену, дайте ей добрый совет, и пусть она совершит невозможное, но закончит все за четыре месяца, которые я отвожу ей на это дело. Во имя Господа, пусть она наконец все уладит, не заставляет меня и дальше вести жизнь беспорядочную и бродячую, как мне приходится это делать сейчас! Я чувствую, что не создан быть авантюристом, и необходимость исполнять таковую роль для меня крайне мучительна, особенно в теперешнем моем положении <...>[34].

Тем временем Рене-Пелажи продолжает консультации и делает из них достаточно оптимистические выводы: новый созыв парламентов,

похоже, неминуем, а судьи, с которыми ей удалось повидаться, чрезвычайно ее обнадежили. Даже со стороны ее матери трудностей, похоже, поубавилось: «Мать моя — настоящая львица, но и она бывает непоследовательна. Поэтому, что бы она ни говорила, я уверена, она пойдет на попятную»[35]. Кассации приговора же, по ее мнению, можно добиться только в том случае, если они будут все отрицать:

В основном деле мы попробуем добиться пересмотра приговора и для этого станем все отрицать: наличие шпанской мушки [конфетки со шпанской мушкой] доказать невозможно, а второй пункт обвинения [содомия] можно будет не выпячивать. Действительно, это великая милость, однако меня уверяют, что добиться ее вполне по силам. Если данное мне слово сдержат, значит, не все потеряно[36].

В начале сентября ее надежды обретают подкрепление: примерно через шесть недель кассационная жалоба будет рассматриваться в прежнем парламентском суде Экса. Говорить об отмене приказа о тайном аресте можно будет только после пересмотра приговора. Таким образом, теперь будет лучше, если муж ее вернется к себе, «нежели продолжит пребывать за границей и много тратить», замечает эта экономная и здравомыслящая женщина. Из Шатле по-прежнему никаких новостей: ее жалоба на мать отложена в долгий ящик:

Королевский прокурор — человек чрезвычайно умный, однако порхает словно птица и говорит софизмами, а это невыносимо, когда желаешь не потерять нить рассуждений; как мне кажется, в обращении с ним следует набраться терпения и дать ему договорить до конца[37].

Так что она предпочитает разговаривать с начальником полиции Сартином: «Его речи более связны и последовательны».

Нежная дичь

Мы не знаем точной даты, когда Донасьен покинул Италию и вернулся во Францию; скорей всего, это случилось во второй половине сентября[38]. Однако он не отправляется прямиком в Ла-Кост, а едет в Лион, куда к нему приезжает жена. Пользуясь своим пребыванием в столице галлов, супруги нанимают слуг: сначала молодого «секретаря» пятнадцати лет, почти мальчика — для г-на де Сада. Разумеется, от родителей мальчика скрывают, что будущий хозяин их сына и дворянин, приговоренный к смерти в Эксе, — одно и то же лицо. Ложь эта не вызывает подозрений, так как в Провансе множество дворян носят фамилию Сад: разве мало Садов в Эгийере, Мазане, Тарасконе, Сомане? Затем парочка нанимает горничную, двадцатичетырехлетнюю Анн Саблоньер, прозванную Нанон, и еще пятерых девушек, родом из Лиона и Вьенна, все приблизительно того же возраста, что и секретарь. Относительно девушек Сад не уверен, что родители их, знай они правду, дали бы свое согласие. Позднее де Сад станет утверждать, что добычу ему поставила Нанон, «известная сводня» в городе Лионе.

В то время, когда финансовое положение де Садов поистине катастрофическое, когда доходы от должностей маркиза секвестрированы,

фамильное серебро пребывает в закладе у евреев Мазана, наем семи новых слуг поистине граничит с безрассудством. Но самой большой загадкой в этом деле нам кажется поведение г-жи де Сад. Зная своего мужа, она должна была догадаться, что приставленный к перу ганимед* и изящные хрупкие нимфетки предназначены для удовлетворения совершенно особых потребностей. И все же она привозит всех в Ла-Кост и бросает на растерзание маркизу. Что можно об этом сказать? Прежде всего, что г-жа де Сад, унаследовавшая от матери практический ум, предпочитает, чтобы скандал разразился под ее присмотром, а не на стороне: лучше отдать Донасьену требуемую им добычу, нежели он, словно хищный зверь, начнет скитаться в ее поисках. Поставщица «нежной плоти» для собственного мужа, хранительница его фантазмов, наполовину тюремщица, наполовину сводня, она вступает с «чудовищем» в продолжительный диалог, в котором, без сомнения, выступает его сообщницей, ибо утоляет его страсть к самым немыслимым извращениям; но в этом же диалоге развивается и ее собственная своеобразная способность вести игру по правилам, созданным «злом», выворачивать наизнанку общепринятые понятия, провоцировать все необычное, ниспровергать традиционные ценности. Не в покорности судьбе, но в веселии души, обучающейся мятежу.

Настает ноябрь; фантасмагорический замок Ла-Кост медленно погружается в долгую зимнюю ночь; потушив огни, он, словно корабль-призрак, следующий без руля и ветрил, теряется в тумане, унося в трюме свой странный экипаж.



* Ганимед — прекрасный царевич, сын царя Троса, возлюбленный Зевса.

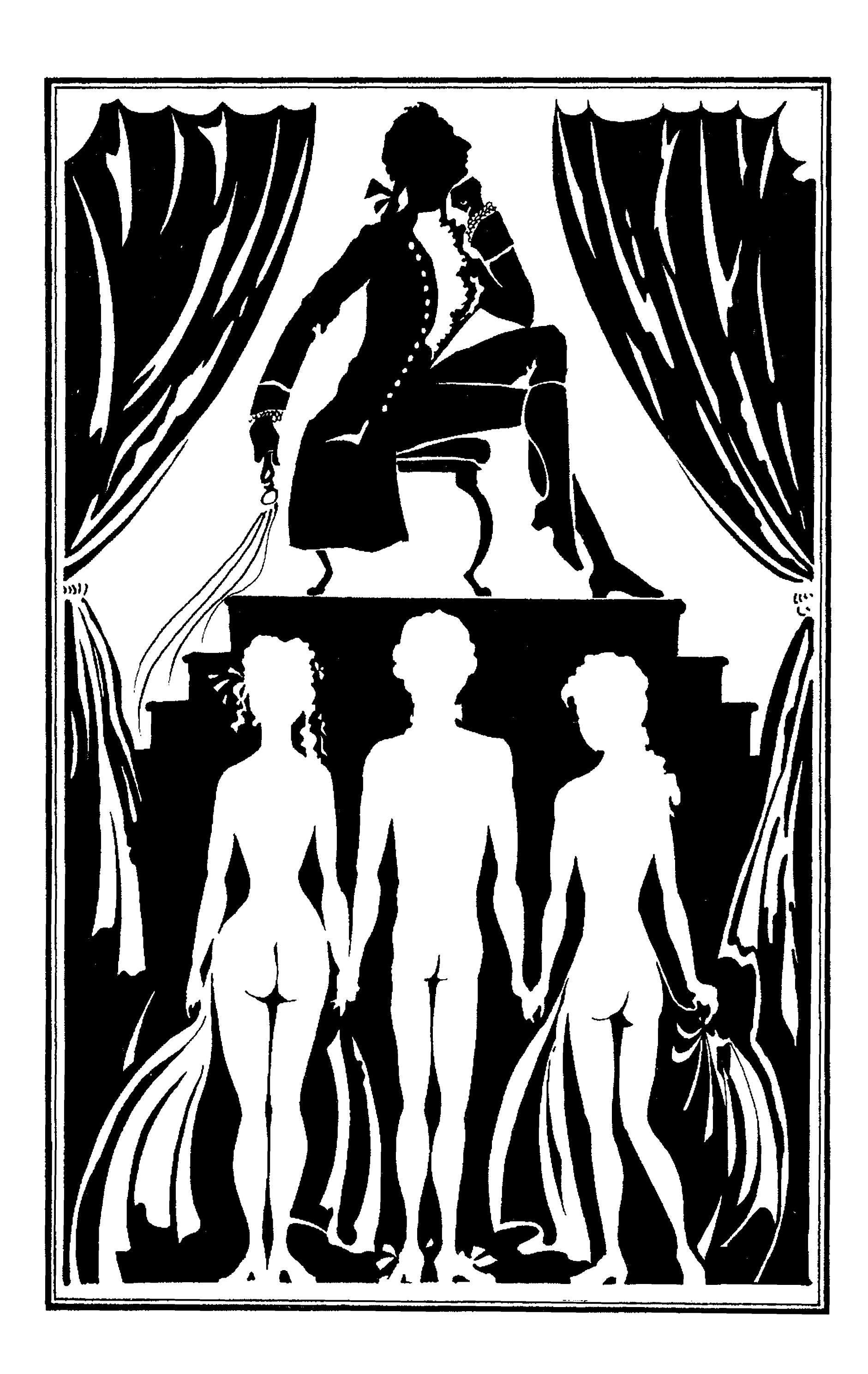
Глава XIII
«МОИ ГЛУПЫЕ ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ»

За закрытой дверью

О том, что происходило зимой 1774/75 года за высокими стенами Ла-Коста, известно только по слухам, однако нетрудно себе представить. Если это еще не величественная оратория вымышленного Силлинга, то, по крайней мере, эскиз, предваряющий завершенное произведение. Внутри замка роли распределяются согласно социальной стратификации и строгой иерархии, которая превращает эротическую функцию в ритуал и кодифицирует ее. В этом театре сладострастия все являются одновременно и актерами и зрителями. На вершине находятся сеньор и его жена, а вокруг них вращаются юные опытные создания, прекрасно осведомленные о причудах хозяина и всегда готовые услужить ему: во-первых, это горничная Готон Дюффе, швейцарская гражданка, сельская каллипига* и протестантка, племенная кобыла, приписанная к конюшням маркиза[1], затем ее любовник Картерон по прозванию Юность, бросивший жену и детей ради задницы вышеуказанной Готон, воистину самой красивой, «которая когда-либо спускалась со швейцарских гор за последнее столетие»[2], затем таинственный Жан, беспокойный Сен-Луи, пьяница и дебошир, готовый «послать к черту и господ, и лакеев», и Нанон, из вновь нанятых, но быстро получившая покровителя в лице Сен-Луи. На самом низу лестницы пребывали: малыш-секретарь и пять вновь нанятых девственных служанок. Следует упомянуть еще двух девиц «в том возрасте и состоянии, в коем они уже не могут быть востребованы родителями». Одна из них — мадемуазель Дюплан, танцовщица из Марселя, проживающая в замке «открыто и без всяких инкогнито»: официально она именуется гувернанткой. Вторую зовут Розеттой, она из Монпелье; на службе у де Сада пробудет два месяца, а затем вернется к себе в родной город. Две или три кухарки, иначе именуемые кухонными девушками, а также племянница Нанон дополняют состав галантного фаланстера. В целом за высокой оградой уединенно стоящего замка, оградой, недавно отстроенной специально по приказу маркиза, в ту зиму обитает около двадцати человек, и все они повинуются хозяину здешних мест, являются послушными инструментами, исполняющими его желания.

---

* Каллипига (*греч.*) — прекраснозадая.



Вот уж действительно менять так менять — восстановить тюремный застенок с единственной целью: оградить наслаждение от вторжения извне и символически ограничить территорию свободы не подвластными взлому запертыми дверями тюрьмы.

* * *

В центре сераля — Сад, господин, распоряжающийся церемонией, режиссер, или, выражаясь более точно, «расставляющий по местам», бдительно следящий как за актерами театра, так и за своими подручными в дебошах, ибо для сладострастия необходим порядок. Сад предписывает позы, очередность наслаждения той или иной частью тела; указывает каждому его место в группе, составляет живые картины, меняет мизансцены, перемещает партнеров, объясняет дальнейшие действия, подсказывает движения, подбирает группы, добивается изысканности положений, говорит, когда достигать пика наслаждения, словом, следит за осуществлением «протокола» церемонии.

Этот протокол, «необходимый» для сладострастия, то есть для «преступления» (transgression, по Ролану Барту), подчиняет себе распорядок дня сеньора Ла-Коста. Аскетический, почти монашеский образ жизни, каким он его расписывает Гофриди, является не просто плутовством либертена; это даже не ложь в прямом смысле слова; это недосказанность.

Мы ждем Вас во вторник, дорогой адвокат <...>. Прошу явиться не поздно, хотя бы к обеду, то есть в три часа; очень меня обяжете, если станете соблюдать этот час всякий раз, приходя к нам зимой. И вот почему: у нас есть тысяча причин, чтобы в эту зиму никого не принимать. Вследствие этого я все вечера провожу у себя в кабинете, а жена — в соседней комнате, вместе с другими женщинами, и так, пока не пробьет час ложиться спать. Поэтому с наступлением вечера все ворота и двери замка запираются на замок, гасятся огни и очаг на кухне, трапезы прекращаются <...>[3].

Вот так, в тиши и уединении, вдали от посторонних глаз, начинаются пышные садические литургии: реальная жизнь переплетается с жизнью вымышленной; Ла-Кост и Силлинг становятся единым целым.

Игра окончена

Шабаш продолжается полтора месяца. В начале января 1775 года семьи подают жалобу «на увоз детей без согласия родителей и на совращение», и в Лионе открывают уголовное дело. На г-жу де Сад девушки не жалуются, напротив, считают, что ее скомпрометировали не меньше, чем их самих, и что она «стала первой жертвой неистовой ярости, порожденной безумием». И «со всей страстью» обвиняют маркиза[4]. Разумеется, одних обвинений недостаточно, нужны доказательства. Не хочет ли кто-то поживиться за счет репутации сеньора Ла-Коста и сплести убедительный вымысел, дабы заставить его заплатить за молчание? К несчастью, доказательства существуют: следы на руках

и телах детей подтверждают правдивость их слов. А юный секретарь по имени Андре в результате этой истории заболел сифилисом; но свою виновность в его болезни маркиз отрицает с особенным упорством.

Я пригласил эту мошенницу Мадлон, — пишет он Гофриди, — и доказал, что она наградила сифилисом Андре, и, если она тотчас не предпримет ничего, чтобы оплатить ему лечение, я заставлю выгнать ее из деревни как шлюху и сделаю это непременно. Она едет в Апт; поговорите с ней построже, я не собираюсь оплачивать лечение мальчика <...>[5].

Вряд ли г-жа де Сад принимала участие в оргиях. Ее снисходительность имела свои границы: она соглашалась, чтобы он содомизировал ее, однако на большее, совершенно очевидно, пойти не могла. Да и сам маркиз строго отбирал себе партнеров для различных сексуальных практик, а не использовал всех без разбору. Например, само собой подразумевалось — и это относится ко всем либертенам того времени, — что флагелляции подвергаются исключительно проститутки, которых привозят в «маленькие домики», то есть существа, стоящие на самой низшей ступени любовной лестницы; ничего подобного он ни разу не предлагал ни девицам из Оперы, ни куртизанкам на содержании, таким как Бовуазен или мадемуазель Коле. И, разумеется, собственной жене или любовницам — г-же Молдетти или Саре Гудар, о которой речь пойдет ниже. Никогда ни одна из этих женщин не жаловалась на причиненные ей физические страдания. Безвестные девицы из Лиона или Валанса явились самой подходящей дичью для его целей. Страдания Рене-Пелажи были прежде всего морального свойства: унижающий ее спектакль разыгрывался в доме, почти у нее на глазах.

Шантаж

Как только было заведено уголовное дело, г-жа де Сад вместе с Готон выехали в Лион, чтобы — в который раз! — попытаться замять назревающий скандал. О том, чтобы вернуть «курочек» родителям, прежде чем на теле заживут следы от ударов розгами и порезы, и речи быть не могло. В ожидании, пока затянутся раны, девиц размещают то тут, то там, пытаясь во что бы то ни стало заставить их молчать. Троих определяют в монастыри Кадрусса и Жюмьежа, предупредив монахинь, что все признания новых «послушниц» — сплошной вымысел. Еще одна живет у маркизы; однако вскоре ей удается бежать, причинив тем самым стражам своим большие хлопоты. Ту, что пострадала больше всех, тайно переправляют к аббату де Саду, которому она рассказывает, каким жестоким истязаниям ее подвергали. Но так как вскоре аббат отказывается держать ее у себя и грозит отправить во Вьенн, то маркиза, желая заставить его замолчать и подчиниться, без лишней щепетильности, под диктовку мужа, напоминает ему о коекаких не слишком благоприятных для него фактах. Из этих напоминаний можно понять, что соманский отшельник с возрастом отнюдь не угомонился.


FB·2005

В прошлом году в Провансе все только и говорили о девице, которую Вы похитили у родителей и укрывали у себя в замке Соман; когда же к Вам пришли искать ее, Ваш секретарь, схватив пистолет, воспротивился поискам и сделал это по Вашему приказу. Совсем недавно ко мне пришли две юные жительницы Лиона, дабы пожаловаться на дурное обращение, кое они встретили в замке Соман, и я все уладила, всех успокоила и сделала все, чтобы прекратить распространение этой гнусной клеветы. Надеюсь, что и Вы в теперешнем случае постараетесь сделать то же самое, особенно когда речь зайдет об этой девице, а главное, воспрепятствуете ее возвращению во Вьенн, куда, судя по всему, Вы замыслили ее отправить: это опасно, ибо она везде и всюду рассказывает невообразимые ужасы; держите ее у себя, у Вас ей будет лучше, так как она почувствует себя свободной, чего не могла допустить у себя я из тактических соображений, превративших мой дом в своего рода тюрьму; однако причины этого абсолютно далеки от тех, кои Вы наверняка себе вообразили и к которым племянник Ваш, коего Вам угодно оскорблять, почитать сумасшедшим и т. д., и т. п., не имеет никакого отношения <...>[6].

Простите, если я возвращаюсь к фактам прошлого, но разве могу я поступить иначе, видя, с какой отчаянной яростью Вы продолжаете обрушиваться на Вашего племянника, даже когда он ни в чем не виновен? Мне нечего бояться сбежавшей от меня девицы; все, что она говорит, является ложью и клеветой. Я могу убедительно доказать и подтвердить, что она убежала из моего дома девственницей: пусть ее приведут ко мне. Разумеется, я не могу и не собираюсь отвечать за нее в то время, когда она пребывает в монастыре кармелиток и в иных местах. <...> Какие гадости она наверняка наговорила! И как только Вы могли всему этому поверить? Хотя, судя по Вашему письму, именно так и произошло. Вот, оказывается, какого Вы замечательного обо мне мнения! Неужели Вы и в самом деле считаете меня устроительницей забав мужа? Нет, сударь, этого нет и никогда не было, а теперь и вовсе быть не может, ибо Вам прекрасно известно, что муж мой больше года не был в Ла-Косте. Можно прислать туда с обыском, но никто не найдет там ни его, ни следов того, на что Вы намекаете. В этом отношении мне бояться нечего <...>[7].

Таким образом куплено молчание аббата, по крайней мере на некоторое время, хотя последнее заявление маркизы, отрицающей все скопом, его нисколько не убедило, а, напротив, дало понять, что письмо написано по наущению Донасьена. Спустя месяц, измученный присутствием девицы и сознанием риска, которому он подвергается, держа ее у себя, аббат умоляет Гофриди избавить его от нее как можно скорее; он держит ее в Сомане исключительно из сострадания «к людям, которые с моей стороны его не заслуживают вовсе и с которыми я не желаю иметь никаких отношений»[8]. Однако просьба остается без ответа: красотка пребывает в замке до полного выздоровления. Пока же она поправляется, г-жа де Сад умоляет аббата не звать к ней врача.

Председательша вмешивается

Серьезность сложившейся ситуации вынудила Рене-Пелажи посоветоваться с матерью. Г-жа де Монтрей не может оставаться безучастной, когда вновь задета честь семьи — на этот раз еще более серьезно, чем прежде, а прошение о пересмотре приговора и вовсе находится под угрозой. Ответ не заставляет себя ждать. Она связывается напрямую с королевским прокурором Лиона, а затем, 11 февраля, обращается

напрямую к Гофриди, с которым еще не знакома, но к которому питает доверие. Ее позиция ясна: детей без проволочек, но «с осторожностью», надо вернуть родителям, дабы «избежать скандала», — добавляет она. Иначе говоря: девочки должны быть совершенно здоровыми. Как мы знаем, эти меры предосторожности уже приняты, а г-жа де Сад даже намекает, что имеет «справки об их прекрасном здравии». Так пусть же Гофриди возьмет на себя труд лично препроводить их к родителям, не забыв взять расписки, «составленные по всей форме, имеющие силу и достаточные, чтобы избежать беспокойств в дальнейшем». Еще лучше будет, если он передаст девочек родителям в присутствии королевского прокурора и местных кюре, которые также направляли г-же де Сад просьбы вернуть девочек.

Это деликатное поручение, — заключает председательша, — не передоверяйте его никому; можете взять себе одного помощника, того, кому полностью доверяете <...>. Именно Вам, сударь, надлежит уладить это дело с подобающей осмотрительностью[9].

Нотариус не горит желанием развозить девиц и тянет волынку. Проволочка оказывается столь долгой, что в один прекрасный день в Ла-Кост прибывает женщина по имени Лагранж и требует вернуть ей ребенка. Гофриди приводит ее к себе, где ему удается задобрить ее «лестью и надарив старого платья». Тем временем общение председательши с королевским прокурором принесло свои плоды: похоже, дело готовы замять. Однако г-жа Монтрей все еще в тревоге: ее волнует девица из Сомана по причине «невероятной болтливости». Забрать ее у аббата опасно, так как это «может привести к серьезным последствиям», но и оставить — не многим лучше. Хорошо бы подыскать подходящий монастырь «в уединенном месте, надежный, откуда нельзя убежать и где ее убедят, что болтать ни в коем случае нельзя, иначе не оберешься неприятностей <...>»[10]. Пока же отпускать ее на свободу рискованно: лучше держать под наблюдением и при этом хорошо обращаться, а главное, пока не уладится дело, не давать ни с кем видеться.

Не теряет председательша из виду и главную цель, а именно пересмотр приговора 1772 года. Она злится на аббата де Сада, который под пустяковыми предлогами морального соображения продолжает бездействовать. Вот уж действительно блюститель нравов!

Матушка крайне недовольна аббатом из Сомана, — пишет Рене-Пелажи, — ведь он, храня присущее ему стоическое спокойствие, до сих пор не съездил в Экс, тогда как она уже давно официально просила его об этом. Подобное упорное нежелание помочь племяннику вызывает только смех и выдает его с головой, а также оправдывает наше к нему нерасположение. Мне хотелось бы, — просит она Гофриди, — чтобы Вы нашли тайный способ убедить его помочь[11].

Аббат упорствует:

Нет, сударь, я не поеду в Экс и не стану подавать генеральному прокурору эту совершенно нелепую просьбу. Я совершу такую поездку только в том случае, если будет получено постановление совета с упоминанием об этом деле, а решение бу-

дет отослано в парламент Экса. Таково мнение моей семьи, и я с ним согласен, и мне жаль, что оно расходится с идеями женщины, почитающей нас марионетками, созданными для исполнения ее распоряжений; она постоянно выступает против меня, приписывая мне воображаемые грехи[12].

Перестав обращать внимание на упрямство аббата, г-жа де Монтрей предпринимает энергичные шаги для реабилитации зятя. Однако она пребывает в постоянном страхе, как бы Донасьен вновь не выкинул какой-нибудь фортель. Более всего она боится, как бы он полностью не подчинил своему влиянию жену.

Если все, о чем говорят, правда, — доверительно сообщает она нотариусу, — то в любую минуту можно ожидать чего угодно! Увы, у меня есть множество причин опасаться этого! Не кажется ли Вам странным, что она никогда ни на что не жалуется, что бы он ни сделал. Она скорее позволит изрубить себя на куски, нежели допустить — даже мысленно, — что ее действия могут навредить ему. Но разве желание обезопасить ее является желанием навредить ему? Напротив, это означает предостеречь ее от возможных несчастий, которые могли бы обернуться также и против него; а если бы она была в безопасности, то несчастий могло бы не случиться вовсе.

В сущности, образ мыслей г-жи де Монтрей не изменился ни на йоту. Обжаловать судебный приговор? Хорошо; она готова смыть пятно с фамильной чести и спасти будущее своим внукам. Однако с условием, чтобы маркиз был помещен в надежное место, под замок, лучше всего по тайному приказу короля — так ей кажется надежнее. Зная, что Рене-Пелажи всеми силами противится аресту мужа, хотя это в ее интересах, и одновременно понимая, что страсть подталкивает дочь к краю пропасти, она мечтает отыскать способ защитить дочь от ее собственной слабости и питает — тщетную — надежду избавить ее от наваждения, жертвой коего она стала. Что, впрочем, не мешает ей трезво анализировать отношения, сложившиеся между супругами: потакая капризам мужа и облегчая ему возможность творить преступления, — думает она, — маркиза в действительности делает все, чтобы погубить любимого человека; если бы не она, он был бы менее дерзок и действовал бы более осторожно <...>.

В собственном замке он вместе с ней считает себя совершенно неуязвимым, и позволяет себе все. <...> А если бы ее с ним не было, у него не нашлось бы средств для исполнения своих безумных желаний, а следовательно, поступки его были бы неопасны. Пусть бы он развлекался, измышляя преступления в стенах дома или же вне стен его — в любом случае у него не было бы достаточно денег, а следовательно, стоили бы его развлечения недорого и не имели бы последствий[13].

Книги, клавесин и капуста...

Вопрос о будущем, похоже, де Сада не волнует вовсе. Закрытие его эротического театра, несомненно, несколько его опечалило, но ему остались Нанон и Готон, а также малыш-секретарь, не говоря уже о девочке, которой занимается г-жа де Сад; этого вполне достаточно, чтобы не томиться от скуки в ожидании лучших дней. Затворившись в замке, он подолгу читает у себя в кабинете, преимущественно истории из жизни Прованса. Гофриди как раз одолжил ему одну такую книгу, «несколько», по его словам, «фривольного содержания», однако доставившую ему «много удовольствия». Он отыскивает сочинение Антуана де Рюффи, опубликованное в 1655 году и посвященное Гаспару Симиану, сеньору Ла-Коста, а также просит нотариуса купить ему

изданную в Париже новую историю Прованса. Спустя некоторое время он узнает, что в доме Саблиеров будет проходить аукцион; если там будут продавать клавесин, большой или маленький, пусть его оставят за ним. Клавесин? Но для кого? Сам он, насколько нам известно, не играет ни на одном музыкальном инструменте и не проявляет интереса к музыке. Быть может, он предназначен для г-жи де Сад? «Если там также будут книги, пришлите, пожалуйста, столько, сколько можно будет раздобыть...» Его репутация в крае вызывает у него насмешку: «Меня здесь считают кем-то вроде *оборотня*. Бедные маленькие курочки, голосящие от *испуга*!» Главным занятием кастеляна из Ла-Коста становится еда. Интендантским ведомством руководит маркиза; в ее записочках к нотариусу Фажу, а затем и к Гофриди, людям, готовым исполнять решительно любые поручения, в том числе и делать покупки вместо хозяйки, даются заказы на приобретение провизии, фруктов и овощей. Благодаря им нам известно, как питались в замке (чаще всего готовились типично провансальские блюда), что подавали к столу. Однако бывали времена, когда воцарялась нужда, и тогда хозяин брался за перо и начинал изливаться в жалобах:

Пероте, сударь, сообщает мне, что дела Ваши на ярмарке шли прекрасно. Поздравляю Вас. Для нас, несчастных бедняков, живущих вдали от городского величия, остается одна капуста, и бедняжка Готон, утверждающая, что Апт изобилует превосходными продуктами, коими Вы нисколько не желаете с нами поделиться, готовится осаждать Вас по всем правилам, если завтра Вы не сжалитесь над ней и не пришлете испанских артишоков, цветной капусты, спаржи, бобов, горошка, моркови, пастернака, местных артишоков, трюфелей, картофеля, шпината, репы, цикория, латука, сельдерея, кервеля, салата, свеклы и других овощей[14].

Тучи сгущаются

Пока г-н де Сад приятно проводит время, г-жа де Монтрей делает все, чтобы отменить приговор. Самая большая трудность состоит в том, чтобы получить желаемое без «определения состава преступления»; для этого надо найти подобный случай в юридической практике. «А еще передайте мадам де Сад, — наказывает она Гофриди, — пусть они не думают, что все это очень просто, и если они и впредь будут оскорблять меня и преследовать, то вряд ли ускорят этим дело». Судьи в Эксе, похоже, не возражают против отмены, однако, прежде чем дать свое согласие, они хотели бы получить приказ от двора. В Париже председательша встречается с новым канцлером Мироменилем; тот настроен дружелюбно, однако опасается прибегнуть к власти короля в Кассационном совете, потому что

<...> не считает возможным оскорблять воображение юного принца грязными подробностями этого судебного дела, которые могут лишь настроить его против того, ради кого будет написано прошение. По возможности не стоит рассказывать королю об этом деле[15].

Между тем 3 мая 1775 года Брюни д'Антрекасто, первый председатель парламента Экса, информирует одновременно обоих глав млад-

ших ветвей дома де Садов, а именно Садов-Эгийеров и Садов-Вордонов, прево аббатства Сен-Виктор в Марселе, что родственник их, маркиз де Сад, находится в Ла-Косте, «где предается различного рода безумствам с молодыми людьми обоего пола, коих он похитил из разных мест, главным образом из Лиона, где на него поданы жалобы»[16]. Подобная реакция со стороны вновь созванных судей может показаться странной, ибо она мало чем отличается от реакции их предшественников. Если только она не является результатом маневров семьи, желающей вынудить Донасьена отправиться в ссылку. В глубине души г-жа де Монтрей не имеет ничего против, если бы зять отправился куда-нибудь подальше, пусть даже совершенно свободным: лишь бы о нем перестали судачить. Но она не смеет на это надеяться.

Если он будет вести себя тихо, — считает она, — а жена его перестанет компрометировать себя, облегчая ему возможность совершать поступки, недостойные ни ее, ни его самого, быть может, тогда, через некоторое время мы сумеем забыть о нем. Однако хватит ли у них разума, и у одного, и у другой, придерживаться подобного поведения? Я лично сомневаюсь. Так как они по-прежнему вместе, есть все основания опасаться повторения прежнего[17].

Аббат де Сад, разумеется, не согласен с таким рассуждением; 18 мая 1775 года он лично обращается к министру Королевского дома с просьбой арестовать племянника. «Его поступки свидетельствуют о помешательстве, — заявляет он, — они оскорбляют общество и постоянно тревожат семью»[18].

Но есть и более серьезная причина. Забеременевшая во время маркизовых представлений Анн Саблоньер, именуемая Нанон, 11 мая в Куртезоне рожает ребенка женского пола, Анн-Элизабет, и приписывает отцовство своему супругу, Бартелеми Файеру. Двадцати четырех лет от роду, «впору воду возить», Нанон великодушно исполняла свою роль в садических представлениях в Ла-Косте; «эта потаскуха служила основным блюдом, в то время как девочки выступали в качестве приправы», насмешливо сообщает Поль Бурден[19]. Ребенок отдан кормилице в деревню Ла-Кост, а мать возвращается жить к де Саду. Однако 20 июня после бурной сцены Нанон в истерике бежит из замка, «выкрикивая дерзости», и скрывается в Нижнем доме. Г-жа де Сад в смятении: от бежавшей девицы можно ожидать всего, она опасна как своими речами, так и поступками и способна на любую низость. Известно, что, если бы не она, скандала с девочками не произошло бы. Если теперь она вмешается в «лионские козни», с какой невиданной скоростью помчится тогда карета противников маркиза? Председательша начинает искать способы изолировать ее; это будет «всего на две недели, не больше», — сообщает она дочери в письме, которое та получила накануне; пока же она советует не выпускать девицу из виду. Сейчас, когда эта девица на воле, она являет собой постоянный источник опасности. Как нейтрализовать ее, ожидая распоряжения об аресте без суда и следствия, о котором сообщила г-жа де Монтрей и которое должно прибыть со дня на день? Как помешать ей отправиться в Лион и Экс, где она неминуемо все разболтает? Поддавшись панике, маркиза при-

бегает к уловке, совершенно ее недостойной; оправдывает ее только стремление спасти мужа: она обвиняет Нанон в краже трех серебряных приборов и подает на нее жалобу. Разве это не лучший способ выиграть время?

Заклинаю Вас выиграть это дело, ибо оно имеет гораздо большую важность, нежели Вы предполагаете, — пишет она Гофриди. <...> Постарайтесь сделать так, чтобы она не уехала в Лион. Не забывайте, как это важно. <...> Если бы Бланкар мог дать нам верного человека, чтобы препроводить ее в Париж и сдать на руки моей матери, я бы охотно оплатила эту поездку. Кража, начавшееся разбирательство, желание спасти девицу и передать ее на попечение родственников (в Париже они у нее есть) — разве это не облегчит нам дело? <...> Сейчас она находится в Нижнем доме, откуда пишет тысячи дерзких и ужасных писем и грозится отправиться в Экс[20].

Чувствуя нависшую над ней опасность, Нанон попросила убежища у отца Александра де Неркло, приора монастыря в Жюмьеже, и тот согласился ее принять. Однако через три дня после ее отбытия в монастырь маркиз посылает в Жюмьеж трех своих слуг с заданием выкрасть ее — под предлогом, что она украла у него сорок ливров. Его затея провалилась, и приор жалуется аббату де Саду, одновремено советуя ему изолировать племянника на всю оставшуюся жизнь. «Он убежден, что и маркиза одного с супругом поля ягода; все знают, что никто у них в доме не исполняет религиозный долг на Пасху, а маркиза позволяет своим молодым слугам поддерживать отношения с замужней лютеранкой»[21]. В остальном же он заверяет аббата, что ему удастся погасить досадные слухи.

* * *

Решительно, все против Донасьена. Через несколько дней после дела Нанон в Экс прибывает мать маленького «секретаря» и «с адским шумом» требует вернуть ей сына. Любопытно, что до сих пор эта женщина советовала сыну не отлучаться ни на шаг от хозяина и хорошо ему служить. «Ясно, что против меня втайне плетутся интриги, — приходит к заключению маркиз. — <...> Ребенка хотят получить единственно ради того, чтобы нагромоздить новую ложь». Речь, несомненно, идет о коварном королевском прокуроре из Лиона, полагает он, который усыпил его тещу своими красивыми обещаниями, а сам украдкой строит против него козни. К счастью, люди Мопу больше не диктуют законы в парламенте Экса: «Если бы мы по-прежнему имели тех дураков, что были раньше, то черт знает, во что бы это все вылилось!» Однако с таким адвокатом, как де Кастийон, «мудрым, честным и рассудительным», ему больше нечего бояться. По крайней мере, он так думает. Спустя несколько лет он узнает о далеко не столь блистательной изнанке этого дела. На самом деле Кастийон, пригрозив и матери и сыну, продиктовал им «массу ужасов», и «они написали и рассказали все, что от них хотели». Более того,

<...> мальчик был зависим от матери, крайне заинтересованной в этом деле, — добавляет маркиз, — и верившей, что, заставляя его наговаривать тысячу ужасов, она обеспечивает себя гарантированной рентой; она знала о сотне луидоров Аркея[22].

Можно ли верить этой новой интерпретации фактов, изложенной шесть лет спустя и извлеченной из «Большого письма», адресованого г-же де Сад (1781)? Нет ничего более сложного, чем отделить правду от лжи в этой длинной и жалкой защитительной речи, именуемой им «главной исповедью», где он пытается отмести от себя все подозрительные обстоятельства, которые можно истолковать не в его пользу. Прежде всего он отрицает причиненные им физические мучения, но доказательства их мы имеем во множестве. Одно за одним отбрасывает он и свидетельские показания. Признания Нанон? Ничего удивительного: чтобы оправдаться самой, эта «сводня» сваливает все на того, кто стал ее сообщником. Кости, найденные у него в саду? Дюплан, шутки ради, украсила ими свой кабинет, а потом отнесла в сад. В этом последнем вопросе он лжет только наполовину; вполне возможно, что кости эти служили декорациями для празднеств, устраиваемых в Ла-Косте в честь Приапа, и нагоняли страх на девочек: Сад любит смешивать макабр с эротикой, ему нравится вызывать ужас у своих юных подружек. Показания маленького секретаря? Этот ребенок был слугой; «таким образом, будучи ребенком и слугой, он хотя и может дать показания, однако они не имеют силы».

Пятого июля 1775 года Рене-Пелажи облегченно вздыхает: из Версаля наконец приходит «Lettre de cachet»* с приказом заключить Нанон Саблоньер в Арльский дом призрения. Председательша, лично предложившая эту тюрьму, надеется, что королевские распоряжения «обеспечивают все, что нужно: *гуманность* и вместе с тем *тайну и безопасность*». Наконец-то они избавились от этой фурии. Дочь Нанон угасает с каждым днем из-за отсутствия молока: кормилица «забыла» предупредить, что она сама на четвертом месяце беременности. Девочка умирает в Ла-Косте 30 июля в шестинедельном возрасте.

Тем временем Донасьен чувствует, что кольцо вокруг него сжимается. Даже в замке он не ощущает себя в безопасности. Шум вокруг дела «маленьких девочек» нанес ему значительный вред и вскоре может стать поводом для нового полицейского десанта, а следовательно, дорого ему обойдется. Лучше бежать. И он вновь с надеждой взирает на Италию, желая найти там убежище, свободу... и сладострастие.

От Ла-Коста до Флоренции

Семнадцатого июля 1775 года после полудня он в сопровождении Юности[23] и Луи Шарвена, почтового служащего из Куртезона[24], отправляется по дороге через Альпы. Трое мужчин ночуют неподалеку от Сересты (департамент Альпы Верхнего Прованса), в «довольно просторном сарае, где нам было не слишком удобно, — расказывает Сад, — ибо тамошние жители не расположены предоставлять пристанище путникам и приютили нас исключительно из одолжения». На следующий день они завтракают в Пейрюи и ночуют в амбаре возле Систерона. 19 июля,

* Королевский указ об изгнании, о заточении без суда и следствия (*фр.*).

несмотря на ужасную дорогу, «где в любую минуту рискуешь сломать экипаж», они без остановок добираются до Сольса, что в трех лье от Гапа. 20 июля в восемь часов утра маркиз, по-прежнему сопровождаемый Юностью и Шарвеном, проезжает через Гап, завтракает в деревне Шорж, дважды по шатким деревянным мостикам переправляется через Дюранс и ночует в высящемся на утесе городе-крепости Амбрёне, в лучшей его гостинице под названием «Пти Пари». «Там довольно неплохо», — замечает Донасьен, хотя при гостинице нет даже каретного сарая, и путешественникам приходится оставить лошадей в другом месте и заплатить за их постой. На следующий день де Сад по обрывистой дороге продолжает путь до Сен-Креспена, откуда после завтрака едет дальше, до Бриансона, оставляя за собой множество деревень, где в прошлом году был пожар и теперь жители их вновь отстраивают свои дома «при милостивом содействии короля и на его пожертвования». К шести часам вечера он въезжает в обнесенный крепостными стенами Бриансон, намереваясь уже завтра покинуть его и перебраться через перевал Мон-Женевр. Однако комендант этого укрепленного города не советует ему ехать выбранной дорогой, полагая ее слишком опасной, а советует направиться в деревушку Лавашетт, что находится в четверти лье отсюда, у самого подножия горы; там переход менее труден, а остановиться можно будет у королевского консула по имени Пра. Сад отправляется к Пра, «человеку честному и услужливому», любезно предлагающему путешественнику переночевать у него. На следующий день на заре к нему приходит местный сельский кюре и, исполняя свой долг, приглашает путешественника к мессе, а потом к себе на завтрак, словом, неукоснительно соблюдает долг вежливости, так что отклонить его приглашение невозможно. Наконец, около шести часов утра багаж погружен на мулов и восхождение начинается. Чтобы поднять экипаж и лошадей, требуется не менее дюжины человек. Операцией командует Пра, он простирает свою любезность столь далеко, что решает верхом сопроводить маркиза де Сада, в то время как несчастный кучер почтовой кареты, чьих лошадей не удосужились выпрячь, трясясь от страха, карабкается в гору. На каждой остановке под колеса приходится подкладывать куски бревен: необходимая предосторожность, чтобы карета не соскользнула с тянущегося справа от тропинки обрыва в пропасть глубиной около ста метров. В трех четвертях лье от Лавашетта, как раз над самым отвесным склоном, находится источник, откуда вытекает Дюранс; похоже, река выбивается прямо из-под тропинки, узкой, словно человеческая рука. Вода ее стремительно бежит по тонкой полоске изумрудной зелени; «я напился из этого ручья, — пишет Сад, — но вода в нем показалась мне такой холодной, что своим людям я не позволил ее пить, опасаясь, что они простудятся». Когда перевал остался позади, Пра, генерал этой маленькой армии, «отважно взявший на себя руководство операцией», признался маркизу, что не пожелал его пугать перед восхождением, но теперь может сказать, что за двадцать лет экипаж маркиза — третий, которому удалось благополучно преодолеть эту высоту.

На венчающем гору плато, шесть месяцев в году покрытом снегом, Сад осмотрел древнее поселение, изобилующее подземельями, посетил приют, такой же, как на горе Сени, предназначенный для приема заблудившихся путешественников, нищих и паломников. В четверти лье находится деревня Клавьер, а немного поодаль — часовня Святого Гервасия, откуда начинается спуск.

Тропинка столь крута, что пеший человек с трудом на ней удерживается. Пропасть кошмарная и, ежели, на несчастье свое, оступишься, поглотит тебя навсегда. Зрелище нанятых в Лавашетте людей, спускающих экипажи, захватывающее и пугающее. Возле часовни Гервасия они выпрягают лошадей, а затем человек двенадцать впрягаются в карету, спереди и сзади, и идущие впереди тянут ее на веревках с такой скоростью, что просто волосы становятся дыбом. Ужас в том, что карету тащат по почти отвесному склону практически без тропинки, и если кто-нибудь из людей поскользнется, то неминуемо будет раздавлен колесами, а сам возок устремится в пропасть, увлекая за собой людей, впрягшихся в него сзади[25].

Спуск Донасьена и его людей проходит благополучно, не считая «нервического срыва» одного из проводников и легкой царапины на ноге другого проводника. В сопровождении нанятых людей и эскорта из мулов, везущих поклажу, Сад проезжает деревню Уль, к вечеру прибывает в Сальбертран и останавливается в захудалой гостинице, где еду для проезжающих хозяину приходится просить у местных жителей. На следующий день, 23 июля, он минует ущелье Экзиль и утром прибывает в Сюз. Там карету разгружают, Донасьен отпускает мулов, рассчитывается с проводниками и, попрощавшись с проводившим его до этого места капитаном Пра, отбывает в Буссолено, обедает там, а на ночь останавливается уже в Сант-Амброджио. Утром 25-го он прибывает в Турин, останавливается в гостинице «Англетер», лучшей во всем городе, «шумной, как и все большие гостиницы», но с «прекрасными комнатами и вышколенной прислугой». В тот же день он выезжает в Асти, однако, не зная дороги, задерживается в пути. После полудня 26-го он прибывает в Алессандрию, где останавливается также в гостинице «Англетер» (как и в Турине: англомания повсюду!). «Это лучшая гостиница, — сообщает нам г-н де Сад. — Комнаты удобные и прекрасно обставлены, еда, по местным меркам, очень изысканная, само здание красиво, но цены чрезмерные». Добираясь из Алессандрии до Флоренции, он проезжает через Тортону, Вогеру, Пьяченцу — первый город герцогства Пармского, «большой обезлюдевший город; народ, что еще проживает там, жуликоват и набожен, как и во всей Италии»; Сад останавливается в гостинице Сан-Марко, лучшей в городе, однако он именует ее «вертепом <...>. Все в ней, включая лакеев, обслуживающих иностранцев, пребывают в сговоре, дабы обворовывать вас». Затем проезжает Борго-Сан-Донино, «большой и красивый город» Парму, Реджо, где платит пошлину в четырех разных конторах, Модену, Болонью, откуда выезжает рано утром, чтобы осмотреть вулкан Пьетрамала, чьи огненные потоки (fuochi) произведут на него незабываемое впечатление. Проездом он останавливается в Скарика-Лазино, «довольно

милом монастыре оливетинцев*, где привечают иностранцев и есть прекрасный приют для паломников».

Третьего августа 1775 года около четырех часов пополудни г-н де Сад, точнее «граф де Мазан», французский дворянин, ступает на флорентийскую землю, завершив первый большой этап своего путешествия. Наконец-то он свободен или, по крайней мере, считает себя таковым, ибо, несмотря на его псевдоним, французская полиция не выпускает его из виду. В Италии у инспектора Марэ имеется широкая агентурная сеть, и его информаторы регулярно сообщают ему о передвижениях беглеца. Некий Питро, танцовщик из Итальянского театра, сообщает о прибытии во Флоренцию «графа де Мазана» и далее доносит о его передвижении по итальянским дорогам. В Риме следить за Донасьеном будет поручено французскому актеру. Когда де Сад обнаружит слежку, он поколотит доносчика, но тот тем не менее будет сопровождать его вплоть до Неаполя. На обратном пути, в Гренобле, сын трубочиста, выдающий себя за офицера Савойской армии и видевший де Сада в Миолане, станет доносить о всех его поступках и перемещениях[26].

Доктор Мени

Как положено добросовестному и образованному туристу, г-н де Мазан внимательно прочел отчеты путешественников, проделавших до него этот путь: Кошена, Лаланда, аббата Ришара; куски из сочинения последнего он без смущения вставляет в свое «Путешествие по Италии» (Стендаль будет поступать так же), однако, обнаружив малейшую неточность, ехидно упрекает в ней автора[27]. Неблагодарный педант, он возмущается глупостью, невежеством, ложью и дурным вкусом своих предшественников. Бедный аббат Ришар становится главным козлом отпущения. Интересно, он намеренно перепутал Болонское предмостное укрепление с въездом в город? Взирая на него с пренебрежением, г-н де Сад надменно замечает: «Все детали у этого путешественника выписаны примерно так же. Предоставляю вам самим решать, следует ли доверять ему». Он уличает аббата в переписывании путеводителей, что является поистине вершиной мелочности. Упрекает за сочинительство, например, за описание Сиенской библиотеки: «Все, что довелось этому человеку увидеть, он именует чудесным, хотя таковое именование более свойственно роману, нежели подлинно историческому повествованию»[28]. Или вот еще: «Следуя за этим автором, с горечью убеждаешься, что день за днем он вместо правды писал вымысел, старался сочинить книгу вместо путевых заметок»[29]. Он называет аббата «лгуном», «обманщиком» и с хищной яростью на каждой странице набрасывается на него. Надо сказать, со своей стороны аббат испытывал стойкую неприязнь к философам.

На следующий день после прибытия во Флоренцию Донасьен отправляется к доктору Мени, имея к нему рекомендательное письмо от

* Монастырь оливетинцев – обитель монашеского ордена устава Святого Бенедикта.

маркиза Пьетробоно де Дони, одного из своих дальних родственников и отца некой дамы де Валетты, проживающей неподалеку от Мазана[30]. Уроженец Лотарингии, переваливший за шестой десяток, врач великого герцога Тосканского, натуралист, археолог и коллекционер, Бартелеми Мени по праву слывет одним из образованнейших людей в городе[31]. Он сразу же предлагает нашему путешественнику стать его гидом. Тот соглашается, а через много лет, желая выразить свою признательность, создает хвалебный портрет своего *чичероне*:

Не забудем, госпожа графиня, среди достопримечательностей Флоренции упомянуть и о частном кабинете естественной истории, принадлежащем доктору Мени, практикующему врачу главного военного госпиталя. Этот ученый собрал у себя все, что позволило ему его состояние и сделанные ему разрозненные подарки. В частности, там можно увидеть раковины, окаменелости, различные останки, минералы, старинные и современные монеты и медали, словом, вещи воистину любопытные.

Я окажусь неблагодарным, если не скажу о том особом внимании, кое уделил мне этот философ. Он лично позаботился о том, чтобы я увидел все красоты Флоренции, и Вам, графиня, я предоставляю самой догадываться, сколько всего и какими глазами можно увидеть под руководством столь образованного человека и при этом ничего не упустить. Будучи родом из Лотарингии, он предельно честен с соотечественниками, и ему доставляет удовольствие быть им полезным, особенно ежели у них имеются рекомендации. И я советую всем ученым, отправляющимся в путешествие, обрести поддержку подобного человека, особенно ценную тем, что он станет не только руководить вами, но и расширять ваши познания, ибо, как я уже имел честь сообщить Вам, сударыня, образованные люди во Флоренции нынче очень редки*[32].

Соблазненная и покинутая

Никогда не изучавший итальянский язык Донасьен испытывает неприятное ощущение от возникшего языкового барьера.

Здесь сам черт ногу сломит, прежде чем о чем-либо договоришься, — пишет он Гофриди. — Ни одна живая душа не говорит по-французски, а я далек от того, чтобы говорить по-итальянски. Однако тружусь изо всех сил. Но шевалье де Дони утверждает, что я никогда не выучу итальянский язык, если не обзаведусь местной любовницей, хотя я и уверяю его (и Вас тоже), что подобным средством, разумеется, не воспользуюсь[33].

Шутка! На самом деле Донасьен только и мечтает, чтобы заполучить хорошенькую наставницу. И первой из них становится одна из дочерей уже упомянутого высокоученого медика.

У доктора Мени пять дочерей: одна замужем за тосканским подеста; вторая стала монахиней; третья вышла замуж за французского художника, о котором мы поговорим позже; г-жа Молдетти стала женой таможенного чиновника; самая юная, Франческа, пока еще живет с родителями.

Однако наш либертен соблазнил вовсе не младшую, а красавицу Кьяру Молдетти, тридцатилетнюю мать пятерых детей, ожидающую появления на свет шестого младенца.

---

* В Приложении VII наст. изд. впервые публикуется 18 писем доктора Мени к маркизу де Саду.

Она жила на площади Санто-Спирито во Флоренции, — позже будет вспоминать Донасьен, — в доме напротив церкви, предпоследняя дверь слева. У нее было четверо сыновей, дочь, и во чреве своем она носила еще одного ребенка. Старший сын ее был ужасен, младший довольно симпатичен и походил на Латура. Двое других обещали стать довольно хорошенькими; малышка была отдана кормилице, но вскоре ее собирались забрать. Селение Молдетти находилось на возвышенности, в полулье от Поджо-а-Кайано[34].

Сердце Кьяры мгновенно воспламеняется страстью к французскому дворянину. Последний, похоже, отвечает на ее страсть и клянется в вечной любви — до тех пор, пока она не становится его любовницей, а это случается очень скоро; но столь же скоро он от нее устает и пытается избавиться. Итак, все происходит по классической схеме: чем больше она привязывается к неверному, тем скорее он бежит от нее, готовый целыми днями не видеть ее и не писать ей писем. Несчастная стенает, умоляет, вымаливает хотя бы жест, хотя бы слово утешения, вернувшие бы ей надежду. Но все напрасно.

Об этом приключении у нас осталось трогательное свидетельство: пылкие письма соблазненной и покинутой женщины; около дюжины неизданных писем, все на итальянском (доказательство успехов Донасьена в изучении этого языка), откуда нам хотелось бы привести несколько строк:*

Я люблю Вас, любовь моя, и клянусь, в будущем стану делать только то, что будет Вам по нраву. Прости ту, кто любит тебя самой живейшей любовью от всего сердца.

Думайте о той, кто нежно Вас любит. Прощайте, любовь моя, и, как Вы мне обещали, не принимайте никого.

Жду твое милое письмецо в ближайший вторник, как мы и уговорились; я предупредила сестру, чтобы она вовремя послала за письмом на почту. <...> Прошу тебя, любимый, не забывай о той, кто обожает тебя. Знай, что единственная моя радость состоит в том, чтобы думать о тебе и вспоминать счастливые мгновения, которые мы пережили вместе с тобой.

Возвращайся поскорее, любовь моя, утешить ту, кто любит тебя, и кто с тех пор, как ты уехал, пребывает в непрерывной тоске.

Но я прекрасно вижу, что мне остается только печалиться, несчастье преследует меня повсюду. Ах, проклятый Неаполь! Да и Рим я тоже не могу благословить! Эти два города станут для меня роковыми. Ведь в этот раз я ждала нежного письма, исполненного тех чувств, в коих Вы когда-то клялись мне и коих, как я с горечью убеждаюсь, Вы более ко мне не питаете! Увы, лишь своему несчастью могу я приписать перемену Вашего отношения ко мне. Ах, как же ты ошибаешься, любовь моя! И как содрогаюсь я от ярости и горя, когда получаю от тебя столь незаслуженно холодное письмо, в то время когда я ожидала от Вас совсем иного <...>. О, как я несчастна, ведь каждый день, каждую минуту я жду твоего возвращения! Всякий миг я думаю о тебе — и с какой радостью! Нет, я не верю, что ты хочешь заставить меня страдать! Я жду тебя; приходи, моя единственная надежда, вернись утешить ту, кто тебя обожает, и ты увидишь, что я нисколько не заслуживаю рокового приговора, который ты грозишься вынести мне <...>. Ах, сокровище мое, если ты бро-

* В Приложении VIII наст. изд. письма Кьяры Молдетти публикуются полностью.

сишь меня, то я заявлю, что ты сам выдумал причину, чтобы покинуть меня, и мне остается только признать, что сердце твое самое жестокое и самое лживое, а это значит, что ты не любил меня никогда.

Разумеется, эта буржуазка, позволившая себе увлечься красавцем офицером, не имеет ничего общего с португальской монахиней*, и ее интрижка, возможно, даже вызвала бы насмешливую улыбку, если бы не письма, позволившие нам познакомиться с этим недолгим романом, жестоким и сентиментальным одновременно, совершенно в духе маркиза де Сада, романа, до сей поры остававшегося неизвестным.

Тем не менее Донасьен — по доверенности — станет крестным отцом ребенка, который родится в декабре 1775 года[35]. Что касается доктора Мени, бывшего в курсе всех подробностей романа дочери, он был всецело на ее стороне, ибо никогда не испытывал к зятю особого уважения[36].

Сара Гудар

Примерно в это же самое время Донасьен свел знакомство с довольно примечательным персонажем, одним из тех авантюристов, что в прихожих министров и в посольских закулисьях чувствуют себя как рыба в воде; это был француз по имени Анж Гудар[37]. Казанова, разбиравшийся в такого рода проходимцах, характеризует его как «известного распутника» и «мерзавца», а также как «человека остроумного, сводника, шулера, полицейского шпиона, лжесвидетеля, плутоватого, отважного и уродливого». Плотный покров тайны окутывает прошлое Пьера Анжа Гудара, равно как и все, что его касается. Если верить словарям, то он родился около 1720 года, в то время как на самом деле он увидел свет двенадцатью годами раньше, в 1708 году, в городе Монпелье. О детстве его и юности практически ничего не известно или, по крайней мере, не известно в точности. Имеются сведения, что в 1744 году его видели в Реджо, затем в Парме, и дальше след его теряется. Спустя некоторое время он появляется в Константинополе, а потом в Исфахане. На какие средства он живет? Загадка. В 1746 году он оказывается в Венеции. После выхода ряда его автобиографических сочинений, вроде «Французского авантюриста» (1746), забавной и циничной «Истории греков» (1757), нескольких историко-политических работ, таких как «Мир в Европе» (1757) или «Карл I, король Англии» (1757), а также полемического «Анти-Вавилона» (1751), он в 1761 году появляется в Лондоне, где в одной из пивнушек встречает шестнадцатилетнюю служанку Сару, отличающуюся необычайной красотой. Вот что рассказывает Казанова, ставший свидетелем их знакомства:

Находясь в стране, языка которой я не знал, и не имея каких-либо определенных занятий, я был почти рад возможности общения с Гударом, познакомившим меня с самыми известными куртизанками Лондона, и прежде всего с Китти Фишер,

---

* Португальская монахиня — героиня сочинения Гийерага «Португальские письма» (1669), полюбившая французского офицера, который бросил ее.

кoя, правда, в то время уже стала выходить из моды. В одной из пивных, где мы с ним распили бутылочку крепкого пива — оно здесь лучше, чем вино, — он познакомил меня с шестнадцатилетней девушкой-подавальщицей, отличавшейся поистине необычайной красотой. Она была ирландка, католичка, и звали ее Сара. Я захотел завоевать ее сердце или просто заполучить ее, но Гудар имел на нее виды; действительно, через год он ее похитил. В конце концов он на ней женился; лет через пять мы вновь встретились с ней и с ее мужем; к этому времени Сара Гудар уже успела красотой своей покорить Неаполь, Флоренцию, Венецию и многие иные места. Гудар даже составил план, как сместить тогдашнюю любовницу Людовика XV Дюбарри, поставив на ее место Сару, однако тайный королевский приказ об аресте вынудил Гудара бежать из Франции и искать счастья в других краях. Увы, блаженные времена единоличных королевских указов миновали навсегда![38]

Предположительно в 1767 году супруги устраиваются в Неаполе, где Анж Гудар дает уроки иностранных языков, отчего и слывет человеком ученым. На самом деле он зарабатывает на жизнь прежде всего азартными играми, прелестями жены, которые он эксплуатирует поистине виртуозно, и шпионской деятельностью, дающей ему помимо денег высоких покровителей. В те времена дворы мелких итальянских монархов, за влияние над которыми шла острая конкурентная борьба между Францией и Габсбургами, буквально кишели шпионами. С помощью интриг Гудару удается проникнуть в окружение короля Неаполитанского: он питает надежду, что Фердинанд IV не долго останется равнодушным к чарам красавицы Сары. Надежды его оправдались с лихвой; жена его вскоре очутилась в королевской постели, а он был осыпан милостями.

Став владелицей игорного дома в Позилиппо, неотразимая англичанка однажды приглашает в него Казанову, который, признав в ней бывшую молоденькую служаночку из пивной, не может скрыть своего удивления.

Увидев меня, Сара нисколько не изумилась, даже не удивилась, — пишет он, — но я был поражен. Она была одета с большим вкусом, манеры ее были безупречны, вела она себя прекрасно, и вид имела самый что ни на есть возвышенный и благородный; она великолепно говорила по-итальянски, высказывала достойные мысли, а красота ее была выше всяческих похвал; я даже пришел в замешательство, ибо метаморфоза была поистине чудесной. Менее чем за четверть часа собралось пять или шесть дам, занимавших самое высокое положение в свете, дюжина герцогов, князей, маркизов, а также множество иностранцев из самых разных уголков мира. Пока накрывали стол на тридцать персон, мадам Гудар села за клавесин и уверенно исполнила несколько арий; ее сладкозвучный, словно у сирены, голос, похоже, не удивил никого из собравшихся, кроме меня и моих спутников, не ожидавших от нее подобных талантов. Творцом этого чудесного превращения был Гудар. Я видел перед собой плоды воспитания и образования, которое шесть или семь лет давали ей нанимаемые Гударом учителя[39].

Однако через некоторое время ветер переменился. В сентябре 1774 года Гудары впадают в жесточайшую немилость. Фердинанд IV, король Обеих Сицилий, с полным правом слывущий идиотом и подающий повод говорить о своем слабоумии, отлучает их от двора; впрочем, всем известно, что он всецело находится под каблуком жены, Марии-Каролины, известной лесбиянки, сестры королевы Франции Марии-Антуанетты, властной, взбалмошной, ревнивой и большой любительницы буйных

оргий. Так что же произошло? Действительно ли с королевой случился припадок ревности, как полагает Казанова? Или же Сара стала предметом соперничества между Фердинандом и Марией-Каролиной? Как бы там ни было, но монарх, воспользовавшись первым же предлогом, избавился от авантюриста. В 1769 году Гудар беспрепятственно опубликовал дерзкую брошюру, озаглавленную «Неаполь. О том, что требуется сделать для процветания сего королевства»[40]. Четыре года спустя произведение это было признано нечестивым и прилюдно сожжено палачом на городской площади; его автору было предписано немедленно, в двадцать четыре часа, вместе с супругой покинуть пределы королевства[41]. Анж и Сара бежали сначала во Флоренцию, а затем несколько лет скитались по разным городам, зарабатывая на жизнь самыми разнообразными способами; и отовсюду их изгоняли за неуемный разврат.

* * *

Сад познакомился — возможно, через доктора Мени — с Анжем Гударом почти сразу после своего приезда во Флоренцию. Общение их было недолгим, ибо уже 21 октября маркиз покидает столицу Тосканы и держит путь в Рим. Однако этих нескольких недель ему вполне хватило, чтобы стать любовником Сары, которую впоследствии он назовет одной из трех самых красивых женщин Флоренции — наряду с графиней Альбани, женой Чарльза Эдуарда Стюарта, претендента на английский престол, урожденной княгиней Штольберг, и леди Купер, юной восемнадцатилетней англичанкой[42]. На его взгляд, Сара превосходила обеих вышеназванных женщин «как красотой лица, так и совершенством фигуры и образованностью»[43].

* * *

За несколько недель до отъезда из Рима Донасьен отправляет Юность в Прованс. В середине августа лакей перебирается через Альпы и прибывает в Ла-Кост с «догом, таким же черным, как и он сам». Г-жа де Сад, неустанно выступающая ходатаем по делу мужа, в начале ноября увозит Юность в Экс и по такому случаю приказывает сшить ему фрак «цвета персика, редингот из серого ратина и черные штаны-кюлоты»[44].

«Сладкая жизнь»

В субботу 21 октября 1775 года в 3 часа пополудни г-н де Сад уезжает из Флоренции через Порта-Романа и в 8 часов вечера прибывает в Тавернелле. В половине шестого утра он покидает этот городок и днем, в двенадцать тридцать, въезжает в Сиену.

По сравнению с Тосканой Сиена является тем же, что Бове или Мант по сравнению с Парижем. <...> Я не удивляюсь, что многие приезжают сюда и остаются здесь жить: воздух чистый, пейзаж радует глаз, а общество чрезвычайно милое.

В понедельник 23 октября, в 7 часов утра, он покидает Сиену, в полдень добирается до Буонконвенто, завтракает в дрянном трактире, проезжает долину Серлате, останавливается в Сан-Кирико, проезжает Радикофани и Аккуапенденте, минуя леса, выезжает к Сан-Лоренцо, едет мимо озера Больсена, самого большого озера вулканического происхождения в Италии, проезжает знаменитое своими винами Монтефьясконе, ночует в Витербо и направляется в Рим. 27 октября в 11 часов утра он въезжает в Вечный город.

Благодаря рекомендациям доктора Мени он знакомится с синьором Лукатини, который стал его гидом и познакомил с городскими антикварами. Наш путешественник с увлечением скупает предметы искусства, при этом не забывая приобрести несколько древних медалей для коллекции своего друга Мени. Также он знакомится с ученым Козимо Алессандро Коллини, о котором доктор не упоминал, хотя человек этот и отличался обширнейшими и разнообразнейшими познаниями. В пятидесятилетнем возрасте Коллини находился на службе у Вольтера и помогал ему в написании многих сочинений. Расставшись с великим человеком, он сохранил к нему глубочайшее уважение и до сих пор состоял с ним в переписке. Спустя некоторое время в Страсбурге он получил место гувернера у графа Зауэра, в 1759 году стал историографом курфюста Пфальцского Карла-Теодора, а затем директором кабинета естественной истории в Мангейме[45]. С присущей ему прямотой Мени объяснил «графу де Мазану», отчего не счел возможным рекомендовать его своему высокоученому коллеге.

Вы упрекаете меня за то, — пишет он, — что я не познакомил вас с милейшим г-ном Коллини <...>. Не приписывайте мне чувства ревности, но даже если бы таковое и присутствовало, у меня имеются оправдания. Обычно чувство ревности свойственно женщинам, однако мужчины тоже могут его испытывать, особенно когда предчувствуют неминуемую потерю. Но в настоящем случае меня можно простить, хотя я и поступил несправедливо. Если бы я, сударь, не знал, какие чувства вы ко мне питаете, я мог бы опасаться, что почтенный Коллини зачернит мой образ, произведет некое воздействие, подобное воздействию густого дыма, чернящего все. Но отбросим в сторону ревность: я рад, что вы с ним совершаете совместные прогулки. Он отлично разбирается в физике, обладает глубокими познаниями в естественной истории и вдобавок превосходный собеседник. Сведя с ним знакомство, вы проявили вкус и прозорливость, и не исключено, что из прозелита вы станете ярым приверженцем естественной истории — мне прекрасно известна притягательность этой науки[46].

* * *

В ноябре 1775 года благодаря стараниям Пьера Анжа Гудара Донасьен принят кардиналом де Берни, тогдашним послом Франции в Риме и близким другом Казановы. В письме Гудара содержится указание на эту встречу:

Дайте мне знать, как Вас принял кардинал де Берни. Если Вы попали в хорошее время, когда кардинал не был опечален очередной сердечной неудачей, он вероятно был с Вами весьма любезен. Тем более что он вряд ли забыл о том времени, когда за двенадцать ливров снимал меблированную комнату в Бют-Сен-Рош,

где обычно селятся люди несостоятельные. Не так уж много жильцов таких комнат становятся кардиналами нашей Церкви, и немногие кардиналы — французскими посланниками[47].

Не имея документальных свидетельств, мы можем только вообразить диалог между Садом и прелатом-либертеном, некогда делившим с Казановой любовь двух венецианских монахинь и в подвалах Ватикана почтившим своей любовью некую принцессу. Какой великолепный сюжет для вдохновения будущего автора «Жюстины»! Разумеется, не исключено, что во время встречи они всего лишь обменялись светскими любезностями. Но тогда к чему было к ней стремиться? Ведь на первый взгляд у графа де Мазана не было никаких объективных причин встречаться с французским посланником.

Но так ли уж никаких?

В «Истории Жюльетты», героиней которой, как известно, является сам Донасьен в женском обличье, кардинал де Берни играет промежуточную роль. Сразу же по приезде в Рим Жюльетта приказывает отвести себя именно к нему: «У меня были письма к кардиналу де Берни, нашему посланнику при дворе его святейшества; де Берни принял меня со всей изысканностью, какую только можно было ожидать от поклонника Петрарки». Спустя пять месяцев Берни представил ее Папе Пию VI, преемнику Климента XIV на престоле святого Петра.

Насколько нам известно, Донасьен делал все, чтобы встретиться с Папой с глазу на глаз. Скорее всего эта встреча нужна была ему только для того, чтобы ощутить иронию судьбы. Непримиримый враг Церкви и глава христианского мира, мирно беседующие тет-а-тет: тут есть над чем посмеяться! Андре-Пьейр де Мандьярг, автор предисловия к «Истории Жюльетты», всегда бравший сторону автора, писал о возможной встрече де Сада с понтификом.

Неужели де Сад действительно встретился с ним? — задавался вопросом автор «Черного музея». — Если эта встреча и в самом деле состоялась, забавно было бы поприсутствовать на ней.

Да, это было бы забавно. Возможность же такой встречи очень велика, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Ибо, перечитывая параллельно «Историю Жюльетты» и «Путешествие по Италии», испытываешь искушение дополнить содержание одного текста другим. Если в «Путешествии» с бóльшими подробностями воссоздаются итальянские декорации «Жюльетты», то как знать, не восполняет ли текст «Жюльетты» (вольно или невольно) лакуны, имеющиеся в «Путешествии»; иными словами, спрятавшись под маской вымысла, не рассказывает ли автор в романе об утаенных прежде встречах, состоявшихся или предполагавшихся.

Возможно, Донасьен не добился у Пия VI личной аудиенции; но, по крайней мере, известно, что он, затерявшись в толпе, присутствовал на церемонии его вступления на престол святого Петра[48]. Вернувшись к себе, де Сад подробно описал увиденное в письме к доктору Мени, поблагодарившего его в ответном послании за такой отчет:

Сударь, Ваше молчание уже начало меня беспокоить, как вдруг я, можно сказать, неожиданно получил от Вас сразу три весточки – если Вы не против употребления такого слова. Они свидетельствуют о том, что Вы меня не забыли, а также сообщают, что Ваше драгоценное здоровье, столь меня беспокоившее, в полном порядке. В первом, судя по дате, письме Вы подробно описываете вступление на престол понтифика Пия VI. Вы пишете об этом с таким множеством ярких деталей, что мне показалось, будто я все видел собственными глазами, и я сказал себе: «Вот что значит владеть пером!» Полностью согласен с Вами, сударь: подобные публичные церемонии необходимы; они мощно воздействуют на умы народа и сильных мира сего; во время церемоний владыки получают возможность убедиться в общественном признании своей значимости, что немало льстит их самолюбию, кое время от времени требует, чтобы ему воздавали должное. Философ знает всему этому цену, однако и он не бывает полностью бесчувствен к славе. Впрочем, я уже достаточно выразил свою мысль; избавьте меня от описания чувств, какие должны испытывать при этом деспоты[49].

Узнав эту новость, г-жа де Сад поспешила сообщить ее всему Провансу: ее муж собственными глазами видел Папу! А значит, его обращение уже не за горами![50]

Далекий от подобных мыслей де Сад предавался всем мыслимым утехам, которые предоставлял город Рим тем, кто умел эти утехи отыскать; удовольствий, разумеется, было немало, ибо за благочестивым фасадом царили такой же разврат и извращения, как и в других городах Италии. Судя по письму Анжа Гудара, который хотя и не говорит прямо, однако позволяет о многом догадываться, наш неофит вовсю развлекается в тени святого Петра. «Вижу, что в Риме вы развлекаетесь, – пишет он Донасьену 5 декабря 1775 года, – и нашли много для того способов; впрочем, в подобного рода развлечениях надо уметь находить удовольствие»[51]. Зная, какой смысл вкладывали либертены в многократно повторяющееся в письме слово «развлечение», можно быть уверенным, что Донасьен действительно не скучал...

* * *

Мы не можем покинуть Рим, не упомянув о юном Джузеппе Иберти, которого Сад ласково называет «маленьким римским доктором»; Иберти, без сомнения, был самым дорогим и близким другом Донасьена среди всех его итальянских знакомых. Доктор Мени горячо рекомендовал этого юного врача, «который, судя по всему, наделен талантом угождать и исцелять Вас».

Будучи вхож в высшее общество Рима, Иберти великодушно предоставляет своему французскому другу возможность пользоваться его связями. Благодаря ему Сад, среди прочих, заводит знакомство с герцогиней Онориной де Грилло, едва достигшей двадцатилетнего возраста и выданной замуж за старца шестидесяти лет, отчего она «пребывает такой же девственной, какой была в монастыре урсулинок, откуда мать забрала ее, чтобы выдать замуж за этого фавна»[52].

Иберти не только водит Сада осматривать памятники и галереи; он выполняет весьма деликатные поручения: выспрашивает об интригах, завязывающихся в великосветском обществе Рима, разузнает о скандаль-

ных похождениях римских прелатов. Имея доступ к архивам Ватикана, не считаясь с огромным для себя риском, он собирает там обильную жатву анекдотов и, желая доставить другу удовольствие, тотчас приносит ее Донасьену. Но нельзя безнаказанно рыться в папских секретах. Однажды письмо маркиза к его юному другу-эскулапу попадает в лапы инквизиции; несчастного доктора арестовывают, когда тот выходит от герцога де Грилло, и бросают в застенок[53]. Только благодаря протекции венецианского посланника через четыре месяца он был освобожден — с непреложным условием и под угрозой смерти никогда и никому не рассказывать, что с ним произошло. Тем не менее бедный юноша породолжал снабжать маркиза материалами, хотя теперь уже не всеми без разбора.

Я сделаю описание, какое вы хотите, — писал он ему, выйдя из тюрьмы. — Будьте уверены, я приму все надлежащие меры предосторожности; Вы заслуживаете большего, и я постараюсь сделать все, что в моих силах. Но пикантные подробности — увы, простите меня, их более не будет: я окружен соглядатаями. Не исключено, что на почте прочитывают мои письма. Соблюдайте осторожность и отвечайте мне только, что Вы поняли, какие несчастья меня постигли. Боже мой, в какую бездну суждено мне было угодить! Чем более осмотрительны будете Вы в своих письмах, тем лучше. Сами того не ведая, Вы стали причиною моих несчастий <...>[54].

Спустя двадцать лет маркиз де Сад почтит память «маленького римского доктора», выведя его образ в «Истории Жюльетты». Вложив в его уста проникновенную речь в защиту врачей, которые за определенную плату помогают поскорей отправиться на тот свет больному, слишком зажившемуся и мешающему собственной супруге или сыну, он добавляет: «Вот что сказал мне Иберти, самый очаровательный, самый любезный и мудрый врач в Риме», а в примечании указывает:

Позвольте мне еще раз вспомнить добрым словом этого необыкновенного человека, и пусть он простит меня за то, что я не изменил его имя в своих записках и сообщил его всему миру*.

Пребывание в Неаполе

К концу декабря Донасьен покидает Рим и направляется в Неаполь, куда прибывает в первых числах января 1776 года[55]. Там его встречает зять доктора Мени, французский художник Тьерс, который находит ему подходящую квартиру и снабжает всем необходимым для жизни.

Жан-Батист Тьерс — личность, известная историкам искусств. Родившись в Руане в 1737 году, он умер предположительно около 1790 года во Флоренции. Некоторые из его работ сохранились в административных зданиях во Флоренции, в музеях городов Булонь-сюр-Мер, Каркассонн, Орлеан, Рубо, Тулуза. С маркизом де Садом он встречается в Неаполе, где проживает в то время вместе с женой, выполняя заказы кардинала де Берни. Он живет на улице Толедо, за дворцом Кавальканти, неподалеку от резиденции папского нунция. Его тесть отзывается о нем более чем сдержанно.

* *Маркиз де Сад.* Жюльетта: В 2-х т.: Пер. с фр. М., 1992. Т. 2. С. 120.

Этот человек постоянно в делах, — доверительно сообщает доктор Мени Донасьену. — Ему надо поторапливаться, чтобы успеть вернуться во Францию и устроиться там. Он умен, не обделен талантом, честен, обладает живым характером, однако излишне говорлив; впрочем, на первый взгляд он совершенно очарователен, хотелось бы только, чтобы он был поспокойнее. Мы с ним родом из разных провинций, но мне прекрасно известны недостатки и его соотечественников, и моих собственных: от Лотарингии и Нанси* до костра Девы** расстояние столь же велико, как велика разница между его характером и моим. Лотарингец упрям, отважен, злопамятен, но искренен. Когда вы с ним познакомитесь, сударь, полагаю, у Вас будет возможность сравнить оба характера. У меня есть основания так представить Вам его. Не говорю, что у него нет чести, если бы я так сказал, я бы поступил против совести, однако он нередко со мной ссорился и совершал глупости в обществе, мнение которого мне небезразлично. К счастью, благодаря моей доброй славе мне это не повредило, однако попадать в подобное положение весьма неприятно. Но сохраните это в тайне[56].

В Неаполе маркиз с той же ненасытностью, что и в Риме, и во Флоренции, продолжает заниматься исследованием интересующих его предметов. Он хочет все увидеть, все узнать, обо всем приобрести собственное суждение, восхищаться, критиковать, любить, ненавидеть, словом, безудержно отдаваться неутолимому любопытству, с равной страстью влекущему его как в галереи, музеи, церкви, дворцы, библиотеки, так и в гроты, пещеры, катакомбы и даже жерла вулканов. Ему мало просто созерцать произведения искусства, памятники античные или современные, его интересуют нравы, политика, религия, управление, общественная жизнь. Женская красота, обычаи, постановки спектаклей, традиции приема пищи, питья, ношения одежды, вознесения молитв, манера держаться в свете — ничто не оставляет его равнодушным. Ему хотелось бы постичь и прошлое и настоящее итальянской цивилизации, составить о ней свое представление, единое и обобщенное. Задача гигантская, как раз под стать его исключительному воображению; однако с ней ему не удалось справиться, ибо справиться с ней было невозможно изначально.

Его писательское честолюбие начинается именно со стремления к великому, грандиозному, безмерному. Намереваясь создать нечто необыкновенное, он наспех — в дороге и в харчевнях — делает заметки, присоединяя их к материалам, собранным для него Мени и Иберти. Таким образом он сооружает свой монумент, который увидит свет только в XX веке[57]. Большую помощь ему оказывает Жан-Батист Тьерс: он перечитывает заметки и в маленькие тетрадочки заносит выписки, а в случае необходимости проставляет номера, отсылающие к исходному тексту. За эту работу де Сад ему особенно благодарен. Художник часто сопровождает его на прогулках и, будучи неразлучен с блокнотом для эскизов, делает зарисовки привлекших их внимание пейзажей и зданий. Недавно в архивах семьи де Сад было обнаружено более

* Нанси — город на северо-востоке Франции, с XII по XVII в. — столица герцогов Лотарингских.

** Руан — город на северо-западе Франции; в 1431 г. там сожгли Жанну д'Арк, прозванную Орлеанской Девой.

сотни его карандашных и гуашевых рисунков. Снабженное этими иллюстрациями «Путешествие по Италии» превращается в настоящий путевой репортаж.

Два настоящих имени за одно вымышленное...

В январе 1776 года произошел случай, который наверняка остался бы в памяти исключительно как фарс, если бы не повлек за собой самые плачевные последствия для маркиза и не побудил его преждевременно отбыть во Францию; речь идет о деле Тейсье.

Прошел слух, что некий Тейсье, ведавший деньгами соляных складов в Лионе, бежал в Италию, унося с собой восемьдесят тысяч ливров, и теперь скрывается в Неаполе под вымышленным именем. Поверенный в делах Франции Беранже, уверенный, что Тейсье — это не кто иной, как граф де Мазан, приказывает начать расследование. Для Донасьена, не рискующего раскрыть свое инкогнито, возникает серьезная дилемма. Так как он называет себя полковником, о нем тотчас справляются у де Лабурдоннэ, также французского офицера, прекрасно знающего весь офицерский состав французской армии и уверенно отвечающего, что полковника с фамилией де Мазан при французском штабе не было и нет. Маркиз вынужден раскрыть свое настоящее имя. Он предъявляет рекомендательные письма, написанные его кузеном Дони, а также некоторые другие, однако ему не верят и требуют более весомых доказательств его личности; если он в ближайшее время не выпишет из Франции другие, более достойные доверия документы, его посадят под арест. Пока же он находится под пристальным надзором полиции Неаполя, и вся переписка его тщательно контролируется: таким образом его портрет, посланный им г-же де Сад, перехватывается и отправляется в Лион, дабы удостовериться, идет ли речь, действительно о Тейсье или нет. Тем временем подозрения относительно его личности все больше усиливаются, по причине его постоянного отказа представиться ко двору. Словом, недоразумение полное. Ситуация настолько обостряется, что какое-то время г-жа де Сад, предупрежденная о случившемся, всерьез подумывает о том, чтобы отправиться в Италию спасать мужа, попавшего в затруднительное положение; она даже спрашивает у него, сколько времени и денег понадобится, чтобы доехать до Неаполя морем и можно ли перевезти на корабле лошадей. В ожидании ответа она посылает ему письменное распоряжение на право получения тысячи двухсот франков, которые она одолжила у матери; однако он не может их получить, потому что в его нынешних документах везде указано, что он холост[58]. Со своей стороны, Донасьен пытается подключить к делу своих многочисленных знакомых.

Как ни странно, но помощь придет со стороны обер-гофмейстера неаполитанского двора, князя Сан-Никандро. Получив от него рекомендательное письмо, Донасьен отправляется к г-ну Беранже; тот принимает его холодно и говорит, что в первый раз видит и почерк, и имя того, кто подписал письмо. Именно этого посетитель и ожидал. «Прекрасно, су-

дарь, — отвечает ему маркиз, — я незамедлительно сообщу обер-гофмейстеру, как вы относитесь к тем, кого он к вам направляет, и к письму, написанному во Флоренции его собственным племянником». Воспользовавшись замешательством поверенного в делах, который слишком поздно осознал, что, кажется, совершил глупость, Сад саркастически изрекает, что поверенный великолепно справляется с порученными ему делами: на подобном посту осмотрительность, видимо, ему ни к чему. С этими словами он закрывает за собой дверь и уверенным шагом отправляется к обер-гофмейстеру доложить о результатах своего визита.

«Что это еще за шут? — восклицает князь Сан-Никандро, узнав подробности разговора де Сада с г-ном Беранже. — Сегодня же я поговорю с ним при дворе и, смею вас заверить, научу его, как надо жить!» Результат не заставляет себя ждать. Спустя несколько часов г-н Беранже собственной персоной подъезжает к дверям маркиза и посылает лакея справиться, дома ли хозяин. Убедившись в личности визитера, маркиз отвечает: «Передайте вашему хозяину, что меня нет дома, но я пришлю за ним, дабы он сопроводил меня ко двору в первый же день, когда королю не будет угодно отправиться на охоту». Таким образом, после долгих отговорок он наконец решается представиться ко двору неаполитанского монарха. В мундире полковника.

Однако едва решение принято, как его начинают раздирать сомнения: а не подвергнется ли он оскорблениям? Что, если его публично разоблачат? Или изгонят, как вора?

Я смертельно боюсь наделать глупостей во время этого представления, — признается он жене. — Я против воли позволил уговорить себя людям, которым не известна моя подноготная, и от этого чувствую себя чрезвычайно слабым. По крайней мере, сообщите мне хотя бы через известного вам адвоката, — умоляет он, — что Вы думаете об этом поступке и какой линии поведения мне следует придерживаться, если меня узнают и станут упрекать в подлоге. О, как тяжко очутиться в таком положении, как я сейчас, но еще тяжелее чувствовать себя всеми покинутым![59]

Похоже, представление все же состоялось. Иначе бы маркиз не писал об этом доктору Мени и не получил бы от него ответа, исполненного неприкрытой иронии:

Для человека, путешествующего с целью стать философом и получать наслаждение от красот природы, быть представленным ко двору короля — не главное. Но мне приятно узнать, что это случилось. Тем более что от этого «Собачий грот» не покажется Вам лучше, и Вы так же прилежно будете осматривать восхитительные галереи Портичи, богатое собрание картин короля Обеих Сицилий, красивейшие греческие статуи, найденные в Геркулануме, этрусские вазы, камеи, обширные собрания медалей и наблюдать за вулканом, который, как Вы мне сообщили, продолжает извергать лаву[60].

Донасьен был представлен королю Фердинанду IV и явно ему приглянулся: монарх даже предложил ему поступить к нему на службу. По крайней мере, к такому выводу можно прийти на основании письма, отправленного через год венсеннским узником своей жене:

Даю вам честное слово, что, как только я окажусь на свободе, я навсегда уеду из Франции. Полагаю, Господу будет угодно, чтобы я нашел себе не худшее при-

станище, нежели то, кое год назад предлагал мне король Неаполитанский, приглашая меня к себе на службу[61].

Несмотря на благополучный вердикт по делу Тейсье и теплый прием со стороны монарха, де Сад затаит злобу на неаполитанцев и с жестокой яростью утолит ее в «Путешествии по Италии». «С глубоким прискорбием, — напишет он, — я убедился, что самая прекрасная в мире страна населена самым отупевшим подвидом рода человеческого». Затем следует резкая обличительная речь, где не забыты ни невежество, ни изнеженность, ни развращенность, ни дурной вкус, ни вульгарность, ни жестокость, ни алчность этого народа, сплошь состоящего из lazzaroni*. И все это густо замешено на «самых дурацких суевериях»[62].

Вещички маркиза де Сада

Полагал ли де Сад, что теперь, когда инкогнито его утрачено, свобода его находится под угрозой? Опасался ли он, что после побега из королевства Сардинского его со дня на день могут арестовать? Жаждал ли повидаться с женой и детьми, как напишет об этом впоследствии?[63] Или же ему просто стало скучно? Похоже, все вышеназванное в целом повлияло на его решение вернуться в Ла-Кост. На этот раз намечается ехать морем; так путешествие будет короче и значительно дешевле, хотя и опаснее, ибо есть риск быть узнанным сразу же по прибытии в Марсель. Г-же де Сад с трудом удается отговорить его от этого замысла; она посылает к нему Юность, чьи услуги на обратном пути Донасьену совершенно необходимы.

Прежде чем покинуть Неаполь, он морем, один за одним, отправляет два огромных ящика, наполненных предметами старины, книгами, медалями и различными редкостями. Получив первый, Рейно, его адвокат в Эксе, в растерянности восклицает, что «это самая большая глупость, которую только можно было совершить»; он не дал бы и двенадцати су за весь этот хлам, за исключением тетрадки с рисунками, кои изрядно его позабавили. В ящике также имеется письменный прибор для Гофриди, однако подставка его по дороге разбилась. Впрочем, нотариуса, как и его коллегу, посылка сия не слишком интересует. «Судя по Вашим словам, антиквар из Вас плохой, — упрекает его маркиза. — Спросите у аббата де Сада, сколько стоит ящик с настоящими старинными вещами, вывезенными из Рима»[64]. Но вот и второй ящик, еще громадней прежнего, погружен на тартану «Милая Мария»; весит он более шести центнеров!

Это настоящий ковчег. В нем среди прочего имеются мраморные скульптуры, окаменелости, «обросшая кораллами греческая ваза или амфора для хранения вина», античные лампы, сосуды для благовоний, «множество вещей, сделанных в стиле греков и римлян», медали, истуканы, камни необработанные и камни, обточенные извержением Везувия, прекрасно сохранившаяся погребальная урна, этрус-

* Бездельников (*ит.*).

ские вазы, кусок скульптуры из серпентинного мрамора, куски селитры и сульфата, семь губок, коллекция раковин; маленький гермафродит и цветочная ваза – «оба изделия из алебастра, добываемого в Вольтерре, в Тоскане»; мраморное блюдо, украшенное всевозможными фруктами, «выполненными чрезвычайно искусно»; два шкафчика из мрамора с Везувия, чаша из красной глины, неаполитанский нож, одежда, эстампы и книги, среди которых: «Доказательства истинности религии» в четырех томах, трактат, доказывающий существование Бога; «Переворот, произведенный при правлении Мопу», «Отказ от десятины», «Театральный альманах», «Влюбленная саксонка», «Военный альманах», «Письма, опубликованные и публикуемые впервые» мадам де Помпадур, «История Неаполя», сочинения итальянских авторов, словарь рифм[65].

И всего лишь несколько мало-мальски ценных предметов, затерявшихся в груде «хлама».

* * *

Пятого мая 1776 года де Сад в сопровождении верного Юности и Шарвена навсегда покидает Неаполь. После недельного пребывания в Риме (с 12 по 18 мая) маленький отряд направляется в Гренобль, оставляя позади Веллетри, Лорето, Болонью и Милан[66].



Глава XIV
ПОКУШЕНИЕ

Хлопоты госпожи де Сад

Маркиз отсутствует уже более года, и г-жа де Сад, женщина, слывущая слабой и малодушной, в одиночку вступает в борьбу со множеством трудностей, выказав при этом такую силу и энергию, какие трудно было в ней заподозрить. Изнывая под бременем долгов, одолеваемая домашними хлопотами, постоянно отражая угрозы Нанон и не забывая о бегстве девиц, не переставая предпринимать шаги с целью добиться пересмотра дела, страдая от медлительности судейских, от апатии аббата де Сада и враждебного отношения матери, она еще ухитряется следить за тем, чтобы супруг ее ни в чем не нуждался: посылает ему батистовое полотно на двадцать четыре рубашки и денег, которых ему никогда не хватает; последние затраты вынуждают ее отдать в заклад свое серебро.

Хотя Нанон и пребывает в Арльском доме призрения, именно она внушает госпоже де Сад самые большие опасения. Когда управляющий фермой в Кабанне Антуан Льон явился к узнице и стал убеждать ее, что она получила по заслугам, тем более что заключили ее в «весьма почтенную» обитель, ответом ему был поток брани. Обрушив на управляющего «сотни ужасных проклятий», узница этим не ограничивается и грозится убить себя, чтобы привлечь внимание к своему несправедливому заключению и дурному отношению к ней монахинь, отказывающих ей в праве даже написать письмо родителям. В течение двух часов управляющий пытается ее урезонить. Безуспешно. «Я, как и сестры монахини, опасаюсь худшего», — сообщает он Гофриди. Спустя несколько дней по приказу интенданта Прованса, Дегалуа де Латура, одновременно исполняющего обязанности председателя парламента Экса, начинается дознание. У пансионерок намереваются узнать, были ли слышны вопли несчастной за стенами обители? Тогда Льон без промедления договаривается с настоятельницей, и та наставляет сестер, как им следует отвечать. Со своей стороны г-жа де Монтрей, предприняв необходимые шаги, добивается встречи и с министром, и с интендантом; скандал удается предупредить. В течение недели дело улаживается к полному удовольствию семейства: Нанон останется под замком до тех пор, пока де Сад не будет оправдан. А тем временем священник в два

раза чаще посещает ее и уговаривает исповедаться и покаяться... Нанон в ярости, а когда ярость стихает, она тотчас вспоминает о дочери Анн-Элизабет и интересуется ее здоровьем; ведь никто так и не осмелился сообщить ей о смерти малютки! Льон, которому поручено это сделать, ждет праздника Пасхи, ибо, как ему кажется, «тогда она станет более доступна голосу разума». Во время своего последнего посещения, а именно 23 февраля 1776 года, ему показалось, что Нанон немного успокоилась. Действительно, она надеется, что Арльский епископ монсеньор Дюло, намеревающийся посетить обители с пастырским визитом, заинтересуется ее судьбой и выступит на ее стороне. «Однако, на мой взгляд, он слишком осторожен, чтобы вмешиваться в подобные дела», — изрекает мудрый управляющий[1].

Еще один повод для беспокойства: «девочки», размещенные «кто тут, кто там». Аббат де Сад поспешил избавиться от своей подопечной, отправив ее в больницу селения Л'Иль-сюр-Сорг. Маркиза берет на себя расходы по ее содержанию, но по-прежнему настаивает, чтобы она никому ничего не рассказывала. Через несколько недель девочка полностью выздоравливает; аббат забирает ее из больницы и помещает в пансион к Риперу, где ей явно будет лучше, чем в Сомане, и у нее «будет меньше возможностей болтать с чужими людьми». Тут приходит известие о побеге одной из девчонок из монастыря в Кадруссе: за ней увивались двое молодых людей, один из которых назвался ее крестным отцом; беглецы направились по дороге в Лион. 26 июля все внимание переключается на девицу, отосланную к Риперу. После «восьми дней» пребывания в Оранже девица эта, прежде чем отправиться домой, по всем правилам сделала заявление судье. Г-жа де Сад усматривает в этом происки самого Рипера. Третья девчонка, крошка Мари, которую маркиз оставил при себе, определив ей «должность» прислужницы на кухне, подхватила «корь», излечение которой потребовало одиннадцати визитов семейного врача Терри. Чтобы она никого не заразила, ее, несмотря на все протесты, выдворяют из замка. Через два дня врач находит ее мертвой. Остальные дела столь же плохи, и неприятности, подобно грозовой туче, клубятся над головой г-жи де Сад: ее отношения с кюре и епископом, с коими она пребывает в ссоре, обостряются[2], Готон заболевает, один из злопамятных соседей убивает шесть индюков маркизы за то, что те забрели к нему на поле, в замке нет ни единого су, а под дверью бушует свора кредиторов. Рене-Пелажи буквально негде голову преклонить.

В довершение всего «большое дело», совершенно очевидно, затягивается надолго. Постоянные поездки в Экс положения не спасают. Судебные чиновники этого города без возражений готовы принять кассационную жалобу к производству, но при одном условии: приказ должен исходить от двора. Миромениль не хочет брать на себя столь деликатные переговоры, а желающих поговорить о деле с королем также не наблюдается: опасаются шокировать стыдливость Его Величества. Короче говоря, дело заходит в тупик. Аббат де Сад потирает руки; он-то предвидел, что, пока племянника его не арестуют, дело с

мертвой точки не сдвинется. Теперь де Кастийон и судья Симеон подтверждают его точку зрения: действительно, в суде «полно ничтожеств» и приговор вынесен несправедливо, равно как несправедливо и постановление об аресте, однако сопротивление, оказанное арестованным, незаконно. Тем более что пересмотр дела и подача кассационной жалобы неизбежно предполагают предварительное заключение: «приговоренный должен предстать перед судом или же быть арестован и посажен в тюрьму, дабы можно было снять с него вынесенный заочно приговор».

> Вот видите, сударь, — радостно сообщает аббат в письме к Гофриди, — я был прав, и Вы наконец вынуждены это признать; согласитесь, я всегда об этом говорил, чем и вызвал неудовольствие мадам де М<онтрей>, которая пожаловалась на меня, когда я отказался ехать в Экс к генеральному прокурору с ее смехотворным предложением. Видите, сколько времени потеряла эта почтенная дама только из-за того, что дело получило дурное начало. Единственно возможный теперь выход — это уговорить известное Вам лицо приехать сюда и сдаться на милость короля; в этом случае он сам сможет обжаловать несправедливый приговор, обрекающий его на позорное наказание и бесчестящий всю его семью. <...> Однако я не уверен, что мадам де С<ад> со мной согласится, а сам виновник возвращаться явно не собирается. Упорство их в этом вопросе совершенно непостижимо[3].

Аббат прав: де Сад отнюдь не намерен сдаваться в руки правосудия. Едва ступив на французскую землю, он хочет беспрепятственно вернуться в свои владения. Прибыв 18 июня 1776 года в Гренобль, он проводит в этом городе несколько дней, в течение которых нанимает себе молодого «секретаря» по имени Райан — взамен того, с которым ему пришлось расстаться. «Надо полагать, юнец сей обладает потрясающим слогом», — иронизирует Рейно, зная эпистолярную неуемность своего клиента. Из Гренобля де Сад направляется в Куртезон, там высаживает станционного смотрителя Шарвена и 26 или 27 июня прибывает в Ла-Кост[4]. Прожив дома несколько дней, он возвращается в Гренобль, там расстается с Райаном, который его явно не устраивает (никто не знает почему...) и берет на службу другого молодого человека, некоего Маласье или Ламаласье, рекомендованного ему владелицей книжной лавки Жиру.

Труды и дни

Вернувшись летом 1776 года к родным пенатам, де Сад возобновляет привычные занятия; он совершенно спокоен и ведет себя так, словно ничего не произошло и отныне он находится в полной безопасности. Ему всегда казалось, что, пока он живет в своих владениях, никакая опасность ему не грозит. Заперевшись у себя в замке, в его заколдованных стенах, почитаемых им неприступными, он читает, пишет, покупает необходимые книги — историю Церкви, томик Вергилия на латыни с французским переводом — и отсылает их в переплет, заказывает рамки для гравюр... Но в основном работает над монументальным трудом, для которого продолжает получать материалы от своих итальянских

друзей и прежде всего от доктора Мени, обратившего это непыльное занятие в способ подзаработать. После долгих размышлений над заголовком Сад наконец останавливается на названии, дающем наиболее полное представление о масштабности и оригинальности его замысла, согласно которому его труд будет коренным образом отличаться от уже имеющихся путеводителей и мемуаров: «Путешествие по Италии, или Рассуждения критические, исторические и философические о городах Флоренции, Риме, Неаполе и Лорето, а также дорогах, к сим четырем городам ведущим. Сочинение, целью коего является описание обычаев, нравов, законодательства и т. д., как древних, так и нынешних, исследование подробное и доскональное, выполненное в духе, в коем до сих пор никто материи сии не описывал». Отныне де Сад мечтает опубликовать этот труд, надеясь тем самым положить начало своей карьере литератора или, скорее, философа, ибо он собирается вынести на суд публики не простой отчет путешественника, а подлинно философский трактат.

Лето Донасьен проводит у себя в кабинете, за рабочим столом; полуприкрыв ставни и обложившись книгами, он упорно работает над рукописью. Медленно и однообразно текут дни, рацион новостей крайне скуден, единственным развлечением являются домашние хлопоты или заранее запланированные визиты. Но к концу лета монотонная жизнь начинает утомлять: Донасьена охватывает тоска. Вскоре он не выдерживает; неодолимая жажда перемены мест влечет его прочь из крепостных стен. 15 октября он приказывает седлать лошадей и мчится в Монпелье; там он пробудет до праздника Всех Святых*.

Мадемуазель Жюстина

В Монпелье он вновь встречается с Розеттой, которая в свое время прожила в Ла-Косте два месяца вместе с Дюплан. Розетта знакомит маркиза с некой Аделаидой и уговаривает девушку поступить к нему в услужение, убедив ее, что за «исключением отсутствия шумного общества» ей не на что будет жаловаться. Сделка заключена, и маркиз пускается на поиски следующей девицы: ему нужна еще и кухарка. Об этом желании он сообщает знакомому францисканцу отцу Дюрану, и тот начинает переговоры с двумя сестрами Бессон, дочерьми садовника из Монпелье. Те, в свою очередь, адресуют предложение Катрин Трейе, двадцатидвухлетней дочери ткача, славящейся своей красотой. И вот наконец все три девицы направляются в гостиницу «Красная шляпа», где остановился господин маркиз. Трейе, зарабатывавшая в Монпелье 40 экю, просит за работу в Ла-Косте 50 экю. Де Сад обещает ей требуемую сумму, а в случае, если он будет доволен ее услугами, сулит даже увеличить ее[5]. Остается только получить согласие отца. Ткач обращается за советом к францисканцу, и тот заверяет его: о лучшем месте дочь его просто мечтать не могла. Что же касается нравов, то

* Праздник Всех Святых отмечается у католиков 1 ноября.

замок де Садов вполне можно сравнить с монастырем... Сделка заключена. С завтрашнего дня Катрин поступает на службу к новому хозяину. Отец Дюран берет на себя труд лично проводить ее в Ла-Кост. Вернувшись, монах успокаивает последние страхи папаши Трейе: переступая порог замка, дочь его пролила несколько слезинок, однако г-жа маркиза быстро ее утешила. Когда через два или три дня маркиз вернулся в Прованс, девушка, похоже, уже освоилась на новом месте; значит, чтобы привыкнуть к нему, ей понадобилось не слишком много времени. Несомненно, она в точности исполняла свою работу, ибо очень скоро Донасьен решает дать ей другое имя, более подходящее для положения служанки-любовницы: ее станут звать Жюстиной!

* * *

Похоже, г-жу де Сад нисколько не волнует появление очередной девицы — как не волновали ее предыдущие особы и не станут волновать те, кто прибудет им на смену. Скольких она уже перевидала! Впрочем, она нисколько не напоминает безутешную жертву: уже давно она оставила это амплуа, а скорее всего, не примеряла его на себя вовсе. Она прекрасно знает, что не имеет никакой власти над страстями мужа, и, начав неравную борьбу, может только проиграть. Отбросив гордость и ревность, она продолжает любить Донасьена за то, что он есть, за его подлинную сущность, известную только ей одной. Действительно, она любит его страстно, однако без излишней сентиментальности и тем более без всякой снисходительности, не предаваясь иллюзиям и не ослабляя бдительности. Любовь прагматичная, деятельная и действенная, помноженная на безграничную преданность. Но также тревожная, пребывающая постоянно начеку. Рене-Пелажи прекрасно знает, на что способен этот дьявол в человеческом облике, и ее уже ничто не страшит. Повинуясь только собственным прихотям, Донасьен не расположен выслушивать ничего и никого; он мгновенно утрачивает чувство меры, перестает себя контролировать, теряет осторожность и забывает об опасности. Ей беспрестанно приходится бороться с его беспечностью, буквально самоубийственной; и она борется, желая прежде всего спасти его самого, а вовсе не из эгоистической надежды приблизить день, когда он наконец вернется к ней. Так что если г-жа де Сад и мечтала иногда о том, чтобы «обратить» Донасьена, то речь шла только о его возвращении к Богу, а вовсе не к ней.

Теперь ее больше всего волнуют его непомерные расходы на новую «прислугу». Когда после двухнедельного отсутствия он вернулся домой, ситуация резко ухудшилась. Рене-Пелажи теряется в догадках, как им прожить зиму. У нее нет ни дров, ни одежды, в ее комнате выбиты стекла, и несчастная так сильно простудилась, что ей пришлось несколько дней провести в постели. Продукты на исходе: хлеб, мясо, пряности. А кредиторы ведут себя все более угрожающе. Волнуясь за судьбу дочери, г-жа де Монтрей в конце концов посылает тысячу двести ливров Гофриди, с условием расходовать их по мере необходимо-

сти, только на обеспечение нужд по содержанию замка, а в конце «дать полный отчет по истраченной сумме». Г-жа де Сад возмущена мелочностью матери: если та хочет оказать помощь, то почему бы не переправить эти деньги непосредственно дочери? Что еще за маневр с нотариусом? Может, она принимает ее за нищенку, которой бросают милостыню?

Подобные выходки весьма странны и выходят за пределы здравого смысла, а Вы, приняв эти деньги, попадете в положение весьма затруднительное, — пишет она нотариусу, — ибо в таком случае мне придется отсылать к Вам мясника, булочника, лакея и т. д. У меня нет ни единого су, а чтобы перезимовать, нужно никак не меньше тысячи экю, которых у меня нет и не будет, даже с учетом всех возможных поступлений![6]

Маркизу подобная щепетильность не свойственна, и он, видя, как неожиданно просыпавшаяся с небес манна от него ускользает, в ярости устраивает скандал Гофриди, наотрез отказавшемуся выдать ему денег из полученной от тещи суммы; убедившись в беспочвенности своих притязаний, он принимается играть на чувствах нотариуса, прибегнув к испытанному способу — шантажу:

Похоже, Вы более заботитесь о том, чтобы оставаться в хороших отношениях с моей тещей, нежели о том, чтобы быть полезным мне. Что ж, этого следовало ожидать; такие поступки нынче в моде, и Вам не стоит отставать от других; я, пожалуй, не стал бы даже сетовать по сему поводу, если бы был готов к такому повороту дел. <...>

Вы мне ничем не обязаны. Каким бы ужасным ни было мое положение, Вам-то что за дело: главное, чтобы Ваши обязательства были выполнены! Щедрость, кою Вы некогда проявляли в ущерб себе, поддерживая друга в несчастии, поистине, граничила с безумием, и в угоду эгоизму Вы от нее излечились. Поэтому, сударь, я более ничего от Вас не требую; мне вполне достаточно знать, что у Вас все хорошо, и время от времени получать подтверждения Вашего доброго здравия[7].

Растревоженный улей

В середине декабря де Сад доводит до сведения отца Дюрана, что ему нужны еще слуги: горничная, помощница на кухне, парикмахер и секретарь. Святой отец тотчас начинает поиск. Через несколько дней ему удается нанять секретаря по имени Ролан, парикмахера из Парижа, горничную по имени Кавани, и девушку-иностранку для помощи на кухне. Он сажает всю компанию в повозку и сам сопровождает ее до Ла-Коста. В день прибытия, ближе к вечеру, маркиз устраивает новичкам ужин, а затем запирает каждого в отдельной комнате. Ночью он посещает всех по очереди, пытаясь в обмен на кошелек с деньгами добиться соответствующих милостей; судя по всему, старания его не увенчались успехом. Утром вновь нанятые слуги заявили, что ноги их в этом доме больше не будет. Францисканец был вынужден предоставить им ту же самую повозку, на которой они сюда прибыли; на службе у маркиза решила остаться только помощница по кухне.

Вернувшись в Монпелье, слуги тотчас сообщают Трейе о том, что случилось с ними в замке. Разъяренный ткач бросается к отцу Дюра-

ну, поносит его на чем свет стоит и вынуждает признаться, что действительно до него доходили слухи о проказах г-на де Сада; однако монах клянется всеми богами, что маркиз раскаялся: все вокруг только и говорят, что он вновь вернулся в лоно Церкви и даже встречался в Риме с самим Папою! Однако ткач упорствует в своем намерении забрать дочь, а францисканец изо всех сил пытается ему в этом воспрепятствовать; убедившись, что решение Трейе непреклонно, он передает ему запечатанное послание для маркиза де Сада. Расставшись с монахом, почтенный ткач отправляется прямо к настоятелю монастыря и рассказывает ему свою историю. Настоятель вскрывает письмо, убеждается, что в нем написано вовсе не то, о чем говорил Трейе, заставляет Дюрана написать письмо заново, а затем изгоняет его из монастыря. Снабженный новым письмом, отец «Жюстины» отправляется в Ла-Кост, и 17 января 1777 года перед ним предстают узорчатые ворота замка...

* * *

Прервем на некоторое время рассказ, полностью составленный на основании показаний Трейе, и дадим слово маркизу, который шаг за шагом разоблачает утверждения ткача, чья память, как с самого начала утверждает Донасьен, «лжива и пропитана клеветой»: «без сомнения, этот человек — мошенник и не заслуживает доверия». Что же касается фактов, то он, один за другим, отрицает их все.

Трейе называет свою дочь «красавицей»: эпитет сей нисколько ей не подходит, — замечает Сад.

Относительно письма францисканца:

Письмо подложное, ибо отец Дюран никогда не смог бы написать ничего подобного; впрочем, сам Трейе письма не читал, ибо не умеет читать.

Относительно новых молодых прислужников и той пресловутой ночи в Ла-Косте:

Слуга отвел их на ночлег. Г-н де С. за ними не последовал, ибо продолжал беседу с супругой и отцом Дюраном. Новые слуги заперлись у себя в спальне, а в четыре часа утра их разбудили, так как пора было ехать.

Относительно оскорбления нравов:

Тут вряд ли я смогу многое сказать. Если предположить, что я сам нашел всех этих людей (кои для своего возраста воистину красотой не отличались, особенно на лицо), даже если предположить — а я говорю именно «предположить», — что я посчитал их достойными удовлетворить мои желания, то в таком случае, когда они явились ко мне и заявили, что согласны остаться у меня в услужении, я, скорее всего, действительно оставил бы их у себя; однако если бы я принял такое решение, зачем мне в первую же ночь смущать их стыдливость? У меня впереди было бы еще много времени. Следовательно, как подсказывает логика событий, я уже в первый вечер решил отослать их, потому что в услугах их не нуждался и не просил приезжать ко мне; следовательно, я вряд ли стал бы намеренно подвергаться оскорблениям со стороны людей, которые утром должны были покинуть мой дом

и которым бы я, попросив об определенного рода услугах, дал бы повод подать на меня жалобу. Неужели я не предвидел недовольства этих людей по причине безрезультатности их путешествия? Неужели стал бы усугублять их дурное настроение ночными оскорблениями? Я был бы многажды безумен, если бы так поступил, но, разумеется, я этого не сделал! Что же касается кошелька с деньгами, то Гофриди, лучше других знает и может подтвердить, что в то время у меня не было ни су[8].

Кому же верить? Нам известно самодовольство маркиза, а также и то, с каким упорством он готов защищать любую ложь: мы уже не раз ловили его на этом тогда, когда он яростно доказывал свою невиновность, так что даже хотелось ему поверить, в то время как вина его была бесспорно доказана; сегодня в подобное трудно поверить. Во всяком случае, аргументация не может убедить тех, кто его хорошо знает. Отчего он повел себя столь неосторожно с молодыми людьми? Свои объяснения он приводит постфактум, однако мы знаем, что, оказавшись во власти желаний, он полностью забывает об осторожности. Говоря об уродстве новых слуг, он, конечно, сильно преувеличивает. В свое время Жильбер Лели уже отметил, что уродство для де Сада вполне могло являться дополнительным источником соблазна, особенно если он действительно разделял вкусы либертенов из «Ста двадцати дней Содома»:

Красота – явление простое и понятное, а уродство – нечто чрезвычайное, и извращенное воображение предпочтет немыслимое и чрезвычайное, а не простое и обычное. Красота и свежесть поражают только в простом смысле, уродство и деградация гораздо более сильное потрясение – и результат бывает живым и активным. Поэтому не надо удивляться, что многие мужчины выбирают для наслаждения женщину старую и безобразную, а не свежую и красивую. Не надо удивляться тому, говорю я, если мужчина предпочитает для прогулок ухабистую землю гор монотонным тропинкам равнины*.

«Выстрел»

Продолжим рассказ. Итак, 17 января 1777 года, между полуднем и часом, папаша Трейе (далее мы придерживаемся его версии) подходит к воротам замка и, предъявив письмо, требует проводить его к хозяину здешних мест. Слуга отвечает, что хозяина нет дома. Тогда посетитель требует хозяйку; через несколько минут к нему выходит г-жа де Сад; посетитель заявляет, что он – отец кухарки. Г-жа де Сад что-то шепчет на ухо слуге, и они вместе удаляются, попросив посетителя еще немного подождать. Спустя несколько минут появляется де Сад. Осыпав пришельца бранью, он заявляет, что работу в этом замке дочь его должна почитать за счастье; затем он вызывает «Жюстину». Девица прибегает и, увидев отца, с рыданиями бросается ему на шею. Однако маркиз безжалостно вырывает ее из отеческих объятий, уводит и, прежде чем растерявшийся отец успевает сказать хоть слово, запирает в одной из пристроек. Затем он хватает ткача за шиворот и буквально выкидывает за ворота, пригрозив засадить в тюрьму, если тот еще хоть раз ступит ногой в его владения. При

* *Маркиз де Сад.* 120 дней Содома: Пер. с фр. М., 1993. С. 33.

этом он успевает крикнуть незадачливому родителю, что дочь его подписала контракт на год и срок ее службы еще не истек.

Свидетелями этой сцены, по словам Трейе, были работавшие в то время в замке три каменщика: Бонтан из Руссильона, Перен из Ла-Коста и подмастерье. На следующий день, то есть 18 января, де Сад просит некоего Поле, постоянно проживающего в Ла-Косте, передать Трейе послание, где маркиз сообщает, что в обмен на согласие Трейе оставить у него в услужении дочь он готов взять на службу его четырнадцатилетнего сына и самого Трейе; он сможет поселиться в замке, ибо ему будет предоставлена должность привратника. Через того же Поле «Жюстина» посылает отцу двенадцать ливров. Еще двенадцать ливров она успела вложить ему в руку при расставании[9].

Быть может, Трейе и не лжет, однако он все же упускает небольшую деталь: выстрел, направленный прямо в грудь маркиза. В этом вопросе мы можем полностью положиться на де Сада. Поэтому теперь обратимся к его рассказу:

И тут, дорогой адвокат, произошло ужасное событие, в результате которого я вполне мог бы навечно лишиться удовольствия видеть Вас. Поэтому я изложу сие происшествие во всех, каких только возможно, подробностях.

В пятницу утром в дверь замка позвонили, и нам доложили, что явился отец Жюстины, моей кухарки. Когда я вышел, этот человек с наглым видом подошел ко мне и заявил, что пришел забрать дочь, потому что он узнал... а далее последовала обычная в подобных случаях клевета. Наглость его была возмутительна, однако я старался сдерживаться: «Если вы, сударь, пришли повидаться с дочерью, — сказал я ему, — пожалуйста, говорите с ней сколько хотите, однако прекратите ваши оскорбления. Если же хотите забрать ее, препятствий вам чинить не будут, однако извольте подождать, пока я найду ей замену». После этих слов мужлан схватил девицу за руку и потащил к двери. Тогда я сам схватил его, не причинив при этом никакого вреда (ибо я вышел к нему из рабочего кабинета, и в руках у меня не было ничего, ни трости, ни шляпы), и отвел к воротам, продолжая увещевать и говорить, что дела так не делаются: следует спуститься в деревню, отыскать посредника и прислать ко мне, дабы тот, от его имени, в пристойной форме изложил бы его просьбу; когда я произносил эти последние слова, негодяй уже был возле самых ворот. Внезапно, не говоря ни слова, он выхватил пистолет и в упор выстрелил в меня; к счастью, произошла осечка, негодяй испугался и убежал. Судите сами, в каком я был ужасе, да и все мои домашние тоже[10].

После чего, продолжает маркиз, Трейе отправился «куролесить» в селение, в то время как Жюстина рвалась к отцу, желая «вразумить его». Сначала Трейе отказывался от встречи, видимо, опасаясь, что дочь завлечет его в какую-нибудь ловушку, но в конце концов согласился и явился на свидание к воротам замка в сопровождении двух своих свидетелей, Перена и Бонтана.

Беседа, передавать содержание коей я не стану, — продолжает маркиз, — была чрезвычайно оживленной; отец девицы осыпал всех оскорблениями, девица же изо всех сил пыталась отца успокоить и образумить.

Наконец, по словам де Сада, разбушевавшийся папаша вновь выхватил пистолет и прямо во дворе разрядил его, видимо полагая, что там его речи были слышны всем.


FB·2005

Впоследствии Донасьен станет отрицать присутствие свидетелей в ту минуту, когда Трейе ворвался к нему. «Мне бы самому хотелось, чтобы они были!» — воскликнет он. Приглашение Трейе с сыном в замок и обещание предоставить ткачу место привратника относятся к сфере домыслов. «Взять его привратником! О, разумеется, чтобы как-то успокоить его, дочь и Поле вполне могли сделать ему такое предложение, однако все остальное является домыслами».

На следующий день после покушения, а именно 18 января, вигье, исполняющий обязанности судьи в Ла-Косте, отправляет донесение в парламент Прованса, в котором просит издать запрет на ношение оружия «ремесленникам, крестьянам и прочему простому люду». Спустя два дня Трейе уезжает из Ла-Коста в Экс, где намеревается подать жалобу. Маркиз расценивает его отъезд как победу.

Направляю второе письмо вдогонку первому, ибо спешу сообщить Вам, что все спокойно, — пишет он Гофриди. — Наш молодчик удирает завтра на рассвете. Находившиеся здесь г-да Поле и Видаль нагнали на него такого страху, что он покидает наши края, и в дальнейшем — я уверен — мы можем быть спокойны: он для нас более не опасен. Наоборот, если верить словам этих господ, теперь он высказывает ко мне чувства исключительно дружеские и почтительные. Простите, что побеспокоил Вас сегодня вечером. Обнимаю и отсылаю письмо, дабы оно скорее попало к Вам в руки[11].

Суета вокруг дела Трейе

«Дружба»? «Почтение»? Возможно; однако ни то, ни другое не мешает Трейе отправиться в Экс подать жалобу на того, кого он считает своим обидчиком. Осознав опасность, де Сад посылает Гофриди в Экс: надо как можно скорее остановить отца «Жюстины» и незамедлительно предпринять против него ответные шаги. Однако нотариус и не думает торопиться; замысел его клиента кажется ему не просто неудачным, но и опасным. Возбудить дело против Трейе означает самому ринуться в волчью пасть, засвидетельствовать свой страх перед демаршами ткача. Наилучшая стратегия, по мнению «дорогого адвоката», заключается в том, чтобы не делать ничего, а главное, не производить шума и отослать девицу домой. Отослать его кухарку? Об этом не может быть и речи, решительно отвечает маркиз. Разве для поддержания мира в доме он обязан сам готовить себе суп? «Сегодня какой-то чужак, угрожая пистолетом, заявился требовать свою дочь, завтра какой-нибудь крестьянин, угрожая мне ружьем, явится требовать свою поденную оплату!» Как можно не подать жалобу на убийцу? Оставить безнаказанным человека, стрелявшего в него? Да это равнозначно признанию собственной вины! А может быть, в душе Гофриди действительно считает его виновным?

Скажите попросту, без всяких уверток, как говорят все, что Вы считаете меня виновным. Я несчастен, а потому Вы полагаете, что невиновность моя недостаточно доказана, и Вы не можете открыто стать на мою сторону. Вот в чем суть дела, и, даже если Вы станете убеждать меня в обратном, разубедить меня не сможете.

Впрочем, владелец Ла-Коста не собирался оставлять своих обидчиков безнаказанными: его подданные заслуживают примерного урока:

Мне не пристало склоняться перед человеком, осыпавшим меня оскорблениями, ибо это может дурно повлиять на крестьян, проживающих на моих землях, тех самых землях, где удерживать вилланов в почтении к их господину особенно трудно, ибо постоянно находятся причины, на основании которых их побуждают выйти из повиновения.

А вот что наш будущий «санкюлот» пишет на эту же тему дальше:

Я убедился, что жители Ла-Коста — сплошь висельники, и, разумеется, настанет день, когда я скажу им все, что я о них думаю, выкажу все свое к ним презрение. Уверяю Вас, если бы их всех, одного за другим, стали поджаривать на костре, я бы, не моргнув глазом, начал подбрасывать в сей костер хворост. Пусть не сомневаются: в урочное время и в урочном месте они у меня за все заплатят сполна[12].

Итак, долой колебания, пора отомстить Трейе, и без всякой жалости! Поздно! Ткач уже подал жалобу и отнес генеральному прокурору г-ну де Кастийону записку, где, описав причиненный ему ущерб, обвинил маркиза в похищении его дочери, но ни словом не обмолвился о выстрелах из пистолета. Узнав об этом, де Сад вновь начинает тормошить нотариуса; нельзя терять ни минуты, надо немедленно арестовать этого Трейе, «иначе мне придется поверить, что все вокруг только и ждут моей гибели». Наконец Гофриди начинает действовать; на роль посредника выбирается проживающий в Эксе адвокат Муре. Однако адвокат сразу же предупреждает, что генеральный прокурор настроен крайне отрицательно к маркизу де Саду и дело легко может повернуться против самого маркиза:

Даже если Вы правы и г-н маркиз действительно остался равнодушен к прелестям девицы, о которой идет речь, и она, будучи изрядно уродливой, по-прежнему девственна как весталка, отец вправе требовать свою дочь, и ему следует возвратить ее по первому требованию. <...> Никакой договор о найме — ни на месяц, ни на год — не может быть препятствием для отца, желающего забрать свою дочь; он один обладает законными правами на нее; хозяин, потерпевший ущерб от того, что у него забрали служанку, вправе требовать только возмещения ущерба. Однако ежели, желая вернуть дочь, находящуюся в услужении, отец обвиняет хозяина в ее растлении, никакие претензии со стороны хозяина в расчет не принимаются, и отец волен забрать дочь когда ему будет угодно, а если ему станут препятствовать, он вправе сделать это силой. Ему даже не нужно предъявлять доказательств сего растления, достаточно лишь опасений, тем более что все прекрасно знают: подобные обвинения, выдвинутые в адрес г-на де Сада, скорее всего окажутся небеспочвенными. При той дурной репутации, кою он успел снискать, а также при существующем ныне положении дел отказ его отпустить девицу вызывает лишь нарекания. <...> Дело это, кое разумно было бы замять, уже получило огласку и может повлечь за собой нежелательные для маркиза последствия. Поэтому я бы хотел заручиться Вашим словом, что девица эта под охраной надежных людей отослана к отцу в Монпелье, ибо иного средства исправить положение я не вижу, и это при условии, что *она туда действительно отправлена;* только такие действия могут умерить волнение, порожденное этим делом[13].

«Темное дело»

Де Сад руководствовался только собственными соображениями. В сложившейся ситуации ему виделся единственный выход: уехать в Париж. Следовательно, надо запрягать две кареты: одну для него и

Юности, другую для г-жи де Сад и «Жюстины». Если верить маркизу, девица сама бросилась в ноги хозяйке, умоляя взять ее с собой[14]. По прибытии в столицу, до которой из-за ужасных дорог и ненастной погоды они добрались только вечером 8 февраля, Донасьен узнает о смерти матери, случившейся три недели назад, а именно 14 января: никто не счел нужным сообщить ему об этом[15].

В Париже он останавливается на улице Фоссе-Месье-Лепренс, у своего бывшего гувернера, аббата Амбле, встретившего воспитанника как старого друга, в то время как Рене-Пелажи первую ночь проводит в квартире покойной — в обители кармелиток на улице Анфер. На следующий день она перебирается в гостиницу «Дания», что на улице Жакоб[16].

Тринадцатого февраля 1777 года, около девяти часов вечера, когда Донасьен находился у жены в вышеуказанной гостинице, к ней в номер явился инспектор Марэ (старый знакомец) с постановлением об аресте без суда и следствия, подписанного королем. Через час де Сад уже числился среди заключенных Венсеннского замка. Утром 15 февраля его перевели в камеру № 11, именовавшуюся «зрячей», ибо она располагалась на высоте, превышавшей крепостную стену.

* * *

Отправляясь в Париж, Сад не мог не сознавать, что там окажется полностью во власти г-жи де Монтрей, а та явно не намерена его щадить. Он знал, что столица для него — одна огромная западня, готовая в любую минуту захлопнуться. И Рейно, и Гофриди, и Готон прекрасно это понимали, а Готон даже пыталась удержать его в Ла-Косте. Как же объяснить столь упорное стремление бежать навстречу собственной гибели? Мы вновь сталкиваемся с будоражащей наш ум загадкой, разгадка которой, как нам уже казалось раньше, кроется в тяге к самоубийству. Позднее Сад станет утверждать, что пустился в путь исключительно из желания повидаться с умирающей матерью, и обвинит г-жу де Монтрей в том, что та заперла его в крепость, воспользовавшись его несчастьем.

Из всех возможных способов, коими располагают месть и жестокость, — пишет он ей, — Вы, сударыня, избрали самый отвратительный. Я приехал в Париж, чтобы принять последний вздох умирающей матушки, единственным намерением моим было повидаться и обнять ее, если она еще жива, или же оплакать ее, если она уже покинула наш мир. Вы же воспользовались этим и вновь принесли меня в жертву! <...> Если бы я явился в Париж с целью досадить Вам или с иными неблаговидными целями, Вы были бы вправе добиваться моего заключения! Но ведь помимо забот о матери целью моей также было смягчить Ваш гнев, успокоить Вас, примириться с Вами и предпринять все необходимые, на Ваш взгляд, шаги для решения моего дела; я намеревался во всем следовать Вашим советам[17].

Госпожа де Монтрей клянется всеми святыми в непричастности к аресту зятя:

Он обвиняет меня в предательстве! Это я-то предатель! Да я понятия не имела, что он в Париже, об этом знал только министр; из-за моего милейшего зятя за мной самой шпионили целую неделю![18]

Тем не менее, узнав, что зять наконец под замком, она, не считая нужным скрывать свою радость, восклицает: «Несомненно, все к лучшему, а главное, столь вовремя!» Председательша пытается втолковать Рене-Пелажи, что арест произведен с единственной целью – ускорить пересмотр дела. В этом же пытался убедить узника и препроводивший его в Венсенн Марэ. Получалось, что тайный приказ буквально упал с неба: никто об этом приказе не просил. Этакий «божественный сюрприз»! Однако главный заинтересованный персонаж не верит никому из тех, кто столь старательно его успокаивает, – и это можно понять. Его отношения с тещей еще никогда не были столь натянутыми. Менее месяца назад, а именно 17 января, г-жа де Монтрей получила от дочери письмо на десяти страницах, «полное оскорблений и угроз» (разумеется, продиктованное маркизом).

Если бы я захотела отомстить за себя и наказать его, – писала г-жа де Монтрей Гофриди, – я бы отнесла это письмо министрам, которые лучше меня сумели бы оценить и его поведение, и мое, а также дать оценку его жалобам и упрекам. <...> Когда на меня нападают или начинают угрожать, я знаю, как следует отвечать, а потому не боюсь ничего, что может случиться в этом мире. Тем хуже для того, кто заставит меня объяснять и *доказывать*, каковы могут быть последствия его угроз[19].

На основании этих слов вполне можно сделать вывод, что председательша всегда начеку и в любую секунду готова броситься на свою добычу; отсюда рукой подать до вывода, с легкостью сделанного адвокатом Рейно в пророческом письме к своему собрату по ремеслу и родственнику Гофриди за пять дней до ареста де Сада:

Головой ручаюсь, что письмо г-жи де Монтрей в конечном счете является ловушкой, особенно если принять во внимание, что написано оно после того, как сорвалась ее предыдущая попытка арестовать зятя. Маркиз, как последний глупец, сам лезет на рожон. Мне же кажется, что теща его, пресытившись созерцанием его легкомысленной физиономии, замышляет некий хитроумный план, дабы ловкостью добиться того, что не удалось сделать силой. Готов поклясться, не пройдет и месяца, как наш клиент будет посажен в одну из парижских тюрем[20].

И хотя председательша с возмущением отрицает свою причастность к аресту зятя, есть все основания полагать, что именно она выдала его полиции. Г-жа де Сад уверена в предательстве матери: «Я не могу простить ни его ареста, ни сокрытия фактов, о которых я по справедливости должна была бы знать», – жалуется она Гофриди[21]. Аббат де Сад, только что с трудом оправившийся от тяжелейшего гриппа, похоже, рад известию об аресте племянника: «Наконец-то этот человек арестован и заключен в крепость близ Парижа. Теперь я спокоен, и, полагаю, все также будут довольны!»[22]

Письма, написанные кровью

«Удар, нанесенный мне, столь внезапен, столь силен, что я поистине не знаю, как все еще жив». Г-жа де Сад, у которой на глазах увели мужа, в панике бросается к матери за помощью, а та «спокойно и убе-

дительно» повторяет: она ни в чем не виновата и — уж тем более — не способна на предательство. Однако в глубине души удивляется слепоте дочери.

У нее есть свои причины подозревать меня, а может, она относится ко мне с предубеждением, — пишет она Гофриди. — Пусть другие откроют ей глаза, а затем я объясню ей, что к чему. И все же: как можно быть такой доверчивой? Или она просто прикидывается таковой? Не могу понять. В конце концов, она должна была бы видеть, знать, *убедиться*, что все, что говорят о ее муже, вовсе не является клеветой![23]

От матери Рене-Пелажи отправляется к министру юстиции, однако тот, зная о предстоящем пересмотре дела, не без цинизма отвечает ей: «Наконец-то я смогу поработать, теперь я вплотную займусь этим делом». Вместе с тем ей потихоньку советуют не поднимать шума и хранить спокойствие; тогда все завершится быстро и к вящему ее удовольствию: ей сообщат, где находится ее муж. Пока она этого не знает и, полагая, что он в Бастилии, часами кружит вокруг крепости. Но подъемные мосты все время подняты, а часовые запрещают посторонним стоять под стенами цитадели. От узника никаких известий; правда, министр заверяет, что тот чувствует себя прекрасно и ни в чем не нуждается, даже в лакее. Так пройдут три месяца — в неведении, тревоге и жгучем желании освободить Донасьена. «Я могу измениться, только если это пойдет на благо мужу, — пишет г-жа де Сад Гофриди. — Его благо — единственная цель моей жизни, без него мир для меня — ничто»[24]. Тем не менее ей разрешено писать супругу: полиция доставляет ее письма Донасьену. На следующий день после ареста она пишет ему: «Как ты провел ночь, мой милый друг? Я страдаю, хотя все заверяют меня, что у тебя все в порядке. Но я смогу успокоиться, только когда увижу тебя. И прошу, ни о чем не тревожься <...>»[25].

Восьмого марта от узника приходит первое письмо:

Любовь моя, с той ужасной минуты, когда меня бесчестным образом разлучили с тобой, я страдаю беспрестанно и жестоко. Мне запрещено подробно рассказывать тебе, что со мной приключилось, поэтому скажу только, что несчастней меня никого нет на свете. Уже целых семнадцать дней провел я в этом ужасном месте. Очевидно, приказы, на основании коих меня тут удерживают, изначально противоречивы, ибо за прошедшее время условия моего содержания разительно изменились. И я чувствую, что долее терпеть сие жестокое заточение мне совершенно невозможно. Отчаяние охватило меня. Бывают минуты, когда я сам себя не узнаю. Я чувствую, как ум мой теряет ясность. У меня слишком горячая кровь, чтобы безропотно переносить эти ужасные лишения. Но ярость моя обращена только на меня самого, и если через четыре дня мне не вернут свободу, то я наверняка разобью себе голову о стену. Решение мое твердо; полагаю, оно доставит удовольствие твоей матери, сказавшей Амбле, что смерть моя была бы наилучшим исходом дела. Мне неприятно говорить тебе об этом, дорогая. Знаю, как горько тебе будет узнать об этом моем решении, однако я его принял, и если его не выполню, можешь с полным правом считать меня трусом. Если моя жизнь тебе все еще дорога, пади к ногам министра, а если нужно, то и самого короля, и попроси их вернуть тебе мужа. Ужели смогут они отказать тебе? Притесняя меня подобным образом, они всего лишь исполняют жестокие замыслы твоей матери. Если спросить их, попросить их вспомнить, в чем я виноват перед королем, за что он карает меня так же-

стоко, никто не сможет назвать законной причины моего заточения, а следовательно, отказать тебе в моем освобождении. Итак, ты спасешь мне жизнь, ибо в противном случае я сведу с нею счеты. Конечно, тебя непременно станут убеждать прекратить ходатайства, уверяя, что заключение необходимо для решения моего дела, но, надеюсь, ты не позволишь себя одурачить и не поверишь вздору, за которым твоя жестокосердая мать прячет свою месть. Дело разрешится и без этой меры, а работа по нему будет продвигаться так же, как она продвигалась, когда я был в Савойе! Если бы король желал моего ареста, я вряд ли смог бы покинуть пределы королевства. Однако я это сделал, и мы достигли той же самой цели, не прибегая к жестокости <...>[26].

Такая переписка продолжается все шестнадцать месяцев, в течение которых маркиз пребывает в заключении. Единственное условие, поставленное г-же де Сад, — передавать «открытые», то есть незапечатанные письма. В случае, если содержание письма администрацию не устроит, письмо возвратят автору. Те же условия поставлены и Донасьену: «Текст его безжалостно вымарывают, стирают или вырезают», — жалуется маркиза. По этой причине супруги начинают пользоваться симпатическими чернилами и таким образом получают возможность общаться почти свободно. Рене-Пелажи регулярно сообщает мужу о своих шагах «относительно большого дела» (которое в целях конспирации называется *Константинопольскими башмачками*) и обнадеживает скорым решением вопроса. Пока же она призывает мужа к терпению, что, по ее словам, «вовсе не во вкусе г-на де Сада, и я чувствую, сколь тяжело ему внимать подобным речам после семи месяцев заточения»[27]. Больше всего страданий причиняет ему неизвестность: ведь сроки заключения нигде не определены.

Скажите же наконец, сколько мне еще здесь томиться, ведь, оставляя меня в неведении, Вы ввергаете меня в бездну отчаяния <...>. Что я такого сделал, чтобы заслужить столь варварское обращение? Почему надо карать меня, даже не выслушав моих оправданий? Зачем повергать меня в отчаяние, заставлять видеть в смерти единственную цель жизни, единственный источник желаний?[28]

Каким бы долгим ни был назначенный мне срок, — жалуется он в другом письме, — мне было бы гораздо легче переносить заточение, если бы я знал, как долго мне суждено терпеть его; о, как это жестоко — погрузить меня в море печали и пучину неведения! Воистину, от этого можно сойти с ума[29].

Господин Тибо де Сад передал нам тридцать шесть неопубликованных писем де Сада, написанных во время заключения в Венсенне жене и председательше[30]. Содержание их разнообразием не отличается: мольбы, угрозы, страдальческие, вопли, патетические призывы к милосердию, угрозы свести счеты с жизнью, если его немедленно не освободят, упреки в адрес г-жи де Монтрей, нежно именуемой «адским чудовищем», «ядовитой гадиной», «чертовой мамашей» и т. п. Не забудем также и о безумии, витающем вокруг него и постепенно заволакивающем утомленный «созерцанием унылых стен» мозг. В январе 1778 года он тем не менее адресует председательше свои наилучшие пожелания и заклинает ее положить конец его мучениям. В содержании письма нет ничего нового, зато по форме оно резко отличается от предыдущих, поскольку начертано кровью. В силу отличия (свидетельствующе-

го о своеобразном фетишизме: кровь не может лгать) письмо заслуживает полного воспроизведения:

5 января 1778 года.

Увы, сударыня, сердце мое преисполнено скорби, в то время как Ваше, без сомнения, ликует, видя, в какую пучину горестей я ввергнут единственно из-за Вашего упорного нежелания поведать мне причины моего ареста; но хотя душу мою терзает отчаяние, я тем не менее искренне желаю Вам всяческих благ и делаю это столь же чистосердечно, сколь откровенно желаете Вы разбить мое сердце. Сударыня, заклинаю Вас всем, что Вам дорого, избавьте меня от ужаса, в коем я пребываю! Нет, я нисколько не прошу избавить меня от всех бед. Увы, Вам это не под силу, и я это прекрасно знаю. Я всего лишь умоляю сообщить мне, как долго продлится мое заключение, и поведать, какая участь меня ожидает, ведь чувствительная душа, подобная Вашей, не станет мучить меня неведением! Заставьте страдать мое тело, но пощадите разум, не дайте ему помрачиться окончательно. Подумайте, ведь лишив меня разума, ни Вы, ни дочь Ваша не сделаетесь счастливее.

Ах, ведь когда-то я с наслаждением называл Вас матушкой, спешил обрести Ваше материнское сочувствие! Но Вы вместо ожидаемого утешения одарили меня железными оковами; так дозвольте же слезам моим, кровавым этим буквам, коими начертано сие письмо, смягчить Ваше сердце. Вспомните, что кровь эта также и Ваша, потому что она бежит в жилах обожаемых Вами существ, что проживают подле Вас: от их имени я обращаюсь к Вам с мольбами. Если потребуется, я до последней капли изопью уготованную мне чашу, только окажите мне ту милость, о коей я молю. Я останусь навеки Вашим должником, и благодарность моя не будет иметь границ. Увы! Великий Боже, смотрите, на коленях, в слезах молю я Вас вернуть мне свое благорасположение и сострадание. Забудьте все, забудьте, и если в душе у Вас осталась — а я уверен, что осталась непременно — хотя бы капля заслуженного сострадания, простите меня, помогите мне и скажите откровенно, сколько времени мне еще придется провести взаперти. Об этой единственной милости молю Вас. Положите конец моей мучительной тревоге и убедитесь, что перед Вами всего лишь несчастный заблудший, вконец смущенный оказанной Вами милостью и сознающий всю незаслуженность ее, заблудший, живущий отныне только ради Вас, ради исправления всего причиненного Вам зла, заблудший, жаждущий заплатить, если таковое возможно, той самой кровью, коей написаны сии строки, за все те слезы, что он заставил Вас пролить и за которые Вы отплатили ему с лихвой, ввергнув его в беспрестанное раскаяние.

Де Сад[31]

Со своей стороны Рене-Пелажи, стремясь получить разрешение видеться с мужем, не перестает осыпать прошениями министра; она убеждена, что свидания скрасят ему пребывание в тюрьме. Однако на все ее просьбы следует безоговорочный отказ. Тогда она решает устроить мужу побег и делится своими планами с Гофриди: если пересмотр дела потребует присутствия Донасьена в Эксе, то наверняка можно будет улучить удобный для побега момент. В случае если она не сможет подготовить побег, она просит Гофриди заняться этим делом вместо нее, а после побега задержать беглеца и

<...> запереть его где-нибудь в надежном месте. Потом Вы напишете мне письмо, где укажете, что он в сопровождении доверенного слуги отбыл в Париж; сигналом тревоги станет написанный чужой рукой адрес на конверте. Лучше самому добыть себе свободу, чем выпрашивать ее[32].

Но как можно доверять нотариусу? Ведь он постоянно поддерживает отношения с г-жой де Монтрей! И, согласно полученным инструкци-

ям, обязан подробно информировать ее обо всем, что происходит в Ла-Косте. Чтобы войти к нему в доверие, председательша даже пообещала сжигать его письма тотчас после прочтения: таким образом, никто не сможет проникнуть в тайну их отношений. Да и в конце концов, чего ему бояться? Разве председательша не считает себя «доктором, радеющим о выздоровлении больного»? Можно побиться об заклад, что наш нотариус вряд ли был полностью согласен с такой трактовкой ее роли, даже если властной даме и удалось убедить его и лестью склонить на свою сторону. Позднее Сад безо всяких на то оснований обвинит Гофриди в предательстве; смешает его с грязью и не пожалеет ни сарказма, ни прямых оскорблений, забывая, что именно Гофриди предъявил ему письма от председательши, а также бумаги, подтверждающие, что действия его не нанесли маркизу никакого ущерба. Да и что, собственно, он такого ужасного сделал? Вполуха выслушал жалобы г-жи де Монтрей? А если ему и пришлось порыться в бумагах маркиза в кабинете в Ла-Косте, то исключительно для того, чтобы извлечь оттуда компрометирующие маркиза документы. Его убедили, что этим он оказывает своему другу неоценимую услугу, и он в это поверил.

«Рукописи» или «механизмы»?

В отношениях между председательшей и ее дочерью царит полнейшее лицемерие. Общаясь с матерью, г-жа де Сад вынуждена соблюдать приличия, притворяться скромной и почтительной дочерью и делать вид, что во всем ей доверяет. «Чтобы достичь своей цели, у меня нет иного выхода», — пишет она Гофриди. И тут же признается: «Как только я сумею выскользнуть из ее лап, я лучше пойду копать землю, чем вновь попадусь в ее объятия». Нисколько не заблуждаясь в оценке отношения к ней дочери, г-жа де Монтрей тем не менее не может не волноваться и не тревожиться при виде «ослепления», в коем та по-прежнему пребывает. Узнав от Гофриди, что компрометирующие доказательства спрятаны в потайном кабинете в Ла-Косте, она окончательно перестает понимать поведение дочери. Доказательства эти, уверена она, должны быть уничтожены, «спрятаны на глубине сто футов, дабы на земле и следа не осталось <...> от свидетельств, подтверждающих слухи прошлые и способных породить слухи новые». Но она толком не знает, о чем, собственно, идет речь: «Это рукописи? Или какие-то механические устройства, кои, как мне известно, можно неоднократно приводить в действие? А может, просто исписанные клочки бумаги?»[33] «Клочков бумаги» председательша страшится особенно — наверняка речь идет о скабрезных заметках Донасьена. В одной из бумаг говорится о его маленьком секретере; этот секретер выбросили в окно, соседи подобрали его, а на вопрос, откуда он взялся, ответа так и не нашлось. А что еще там было? Куда делась «мебель» с «изысканными» формами, причинившая «столько неприятностей»? Видимо, ее все же разбили, ибо позднее были обнаружены обломки; но где точно их нашли? Знала ли Нанон о пропаже бумаг? «Это основной вопрос, и отношения с

ней следует строить в зависимости от ответа на него». Сколько забот из-за каких-то исписанных бумажек и горстки щепок! Гофриди просят провести собственное расследование (что плохо согласуется с его природной безалаберностью). Знает ли об этом г-жа де Сад?

Если знает, — рассуждает ее мать, — значит, поведение ее совершенно непостижимо <...>. Если не знает, значит, время сообщить ей об этом еще не пришло, однако когда-нибудь это все равно придется сделать[34].

Но в целом г-жа де Монтрей признается, что ничего не понимает в поведении Рене-Пелажи:

Я никак не могу понять, какие мысли она таит. Находясь рядом со мной, она хранит спокойствие, что не мешает ей без устали умолять министра скрасить заключение ее супругу, дозволив посещать его; впрочем, она постоянно получает отказ. Руководит ли ее действиями слабость? Или преувеличенное чувство долга? Или же страх, что когда-нибудь ее накажут за то, что она якобы не сделала все, что было в ее силах? Она молчит, и никто не может вытянуть из нее на сей счет ни слова[35].

Председательша клянется дочери, что нисколько не виновата в аресте ее мужа, однако просить о его освобождении отказывается: быть может, «отсутствие свободы» сумеет его успокоить. Взамен она прилагает все усилия, чтобы пересмотреть результаты процесса.

Дела судейские

После бесчисленных ходатайств, скучными деталями которых мы не станем утомлять читателя, председательша добивается назначения судебного разбирательства на 26 сентября 1777 года и получает благосклонные отзывы большинства министров, входящих в состав суда[36]. Среди них в первую очередь следует назвать Жозефа Жерома Симеона, адвоката в парламенте Экс-ан-Прованса, составившего письменное ходатайство, предназначенное для представления королю во время разбирательства. В бумаге этой адвокат, вкратце изложив факты, приступает непосредственно к обвинительной части, лишенной, по его словам, «какого-либо правдоподобия»; вдобавок обвинение выдвинуто «лицом низкого сословия, служанкой проститутки и сообщницей ее распутств». Затем адвокат напоминает, что химики не нашли в пастилках следов яда, а 8 августа 1772 года, в присутствии мэтра де Карми, две девицы признали маркиза невиновным и отказались от «любых преследований и возмещения ущерба и урона».

Что же касается преступления, «оскорбляющего в равной степени и природу и нравы», то адвокат считает подобную формулировку недопустимой, ибо речь идет о новом пункте обвинения, «совершенно чуждом тому единственному пункту, на основании которого обвиняемый стал объектом розыска и преследования со стороны правосудия». А двумя постановлениями парламента Прованса — от 8 мая 1677 года и 18 апреля 1766 года — судьям запрещено выслушивать свидетелей обвинения, проходящих по другим статьям, не имеющим отношения к данной жалобе; в случае нарушения постановлений показания могут

быть признаны недействительными и обжалованы в порядке кассации. Однако вышеуказанный парламент выслушал в качестве свидетелей

<...> тех же самых лиц, кои дали показания против отсутствующего обвиняемого, а именно падших девиц, извлекающих из беспорядочного образа жизни средства к существованию, заработанные постыдным путем; девицы эти, множащие оговоры знатного господина в надежде удовлетворить свой самый низменный интерес, не могут заслуживать доверия со стороны правосудия.

Но даже если предположить, что показания этих свидетелей приняты и подшиты к делу,

<...> в них можно найти лишь незначительные подробности относительно распутного поведения обвиняемого, странный и извращенный характер которых могут свидетельствовать только о том, что вышеуказанный обвиняемый пребывал не в своем уме. <...> Несмотря на все юридические нормы, – продолжает Симеон, – никакие показания в пользу обвиняемого заслушаны не были, и суд сенешальства Марсельского приговорил его к самому строгому наказанию, как если бы оба выдвинутых против него обвинения были доказаны. Но разве отсутствие обвиняемого может считаться доказательством его вины? Или же и вовсе быть вменено ему в вину? Увы, именно из-за сего плачевного заблуждения мы имеем постановления, приводящие в ужас самое правосудие.

Как следствие вышесказанного, маркиз де Сад просит короля решением Кассационного суда отменить приговор и мотивировочную часть решения по причине недействительности «разрешения производить следствие» в Марселе, дабы получить возможность обжаловать приговор, вынесенный в 1772 году.

Беззаконие, против коего он протестует, затрагивает не только честь маркиза и его потомства, но и всего дома де Садов, а посему он уповает на просвещенность и беспристрастность судей, к коим и обращается с сим прошением[37].

Но несмотря на красноречие членов суда и надежды, которые они подавали маркизу, Совет отказался отменить в кассационном порядке принятое в Марселе постановление, сославшись на то, что в его ведении находятся только дела административного характера, а кассационные жалобы относительно уголовных преступлений рассматриваются только особой королевской коллегией или коллегией кассационной[38].

Таким образом дело решено: г-н де Сад должен предстать перед судом в Эксе. В то время как жена его усматривает в этом возможность бежать и даже начинает разрабатывать план будущего побега[39], г-жа де Монтрей, напротив, ищет способ, как избавить зятя от «появления» перед судом, избежать очной ставки с девицами из Марселя, во время которой он непременно окажется в «положении досадном и затруднительном», и, разумеется, как сорвать предполагаемый побег. Единственное средство – сослаться на безумие и на этом основании добиться, чтобы де Сада допрашивали отдельно. Именно об этом говорится в ее инструкциях, направленных в феврале 1778 г. Гофриди:

Де С<ад> время от времени подвержен приступам безумия, а сегодня разум все чаще покидает его. В сём плачевном состоянии он не может предстать перед судом ни по своей воле, ни по повелению. Да и каких объяснений можно требовать от

человека, пребывающего в состоянии умственного расстройства? Следовательно, речь идет о том, чтобы официально признать его безумным; в случае такого признания попечитель, заинтересованный в полном оправдании ради его малолетних детей, семьи и заинтересованных сторон, смог бы явиться вместо него в суд и просить отменить неправедное решение суда, неправильное по форме и несправедливое по содержанию, и на этом основании требовать пересмотра приговора. <...> Вот, сударь, основная задача, кою Вам надлежит исполнить; для этого следует направить ходатайства первому председателю и генеральному прокурору. Полагаю, министр не станет противиться и исполнит Вашу просьбу, ибо она совершенно законна и легко выполнима[40].

Кончина аббата

Пока в Париже все хлопочут вокруг маркиза де Сада, 31 декабря 1777 года, в доме в Виньерме в возрасте семидесяти двух лет умирает аббат де Сад. Порядком растерявшись от этого известия, г-жа де Монтрей тем не менее просит Гофриди опечатать замок, пока никто не растащил имущество аббата. Надо признать, дела его весьма запутаны, за ним числится множество долгов, а в доме проживает некая испанская дама с дочерью, которой аббат успел продать Виньерм.

Незадолго до смерти он составил завещание в пользу брата, великого приора. Осведомленный о долгах аббата, приор принял наследство, но только при условии проведения описи наследуемого имущества. Наследство состояло главным образом из библиотеки, нескольких бронзовых медалей и кабинета естественной истории, где было собрано немало редкостей. Быстро сообразив, что дело может оказаться прибыльным, великий приор уже в марте 1778 года приступил к описи имущества, находившегося в Сомане и Виньерме. В Сомане вся мебель, за исключением нескольких предметов, принадлежала маркизу, равно как и сам замок: в сущности, аббат всего лишь снимал его[41].

Но, сделав вид, что любые вещи являются частью его наследства, командор приказал перевезти к себе в дом в Сен-Клу, что возле Мазана, все, что, на его взгляд, представляло хотя бы мало-мальскую ценность: велел выкопать с корнями деревья и пересадить их к себе в парк, вывез всю серебряную посуду, продал карету и лошадей и даже стал собирать деньги, которые фермеры из приорства Бонье задолжали покойному приору. Короче говоря, учинил настоящий грабеж, не посчитав при этом нужным возместить ни денье из долгов брата. А долги эти достигали шести тысяч восьмидесяти семи ливров и четырнадцати су, не считая долговых обязательств маркиза (шести тысяч ливров); впрочем, великий приор не оплатил даже погребение усопшего.

Оставались еще бенефиции, принадлежавшие аббату как бывшему настоятелю монастыря Эбрей. Г-жа де Сад полагала, что эти доходы будут отнюдь не лишними для ее сына Клода-Армана, готовящегося вступить в Мальтийский орден, но еще не прошедшего необходимых испытаний. Она тотчас принялась выяснять: сможет ли мальчик сохранить за собой эти доходы, если станет кавалером Мальтийского ордена? Или ему придется расстаться с частью из них? А если придется, то

как велика будет эта часть? И во сколько обойдутся расходы по оформлению и добыванию разрешения на получение этих доходов, если известно, что выдается оно в Риме? На все вопросы она получила неутешительные ответы и в конце концов отказалась от претензий на бенефиции, и они перешли к аббату Шарлю де Сад-Вордону, прево аббатства Сен-Виктор в Марселе.

«Когда меня отпустят на волю?»

Скажите же, скажите, когда, или я разобью себе голову о стены камеры! Скажите, не терзайте душу, не рвите ее на куски, как Вы все это время делаете. <...> Отчаяние мое не имеет границ. Из моих слов ты можешь понять, сколь велики мои страдания. Но знай же, милая моя подруга, я более не принадлежу себе. Стоит мне только подумать о будущем, как меня охватывает леденящий ужас, ибо конца своим несчастьям я не вижу; тяжесть груза этих мыслей становится для меня непомерной, и мне все труднее им сопротивляться[42].

Если бы Вы видели меня, Вы бы меня пожалели, а если бы кто-нибудь, сжалившись надо мной, описал бы Вам ужасное мое состояние, Вы не стали бы ежедневно множить мои несчастья, как Вы это делаете своими отвратительными письмами. Какое чудовище, о Бог мой, какое мерзкое чудовище подсказывает Вам слова, из которых следует, что пребывание мое здесь затянется на долгие годы?[43]

О, великий Боже, кто бы мог подумать, что мне придется так долго, так ужасно страдать! Чаша отчаяния моего переполнена, и я думаю только о том, каким способом приблизить смерть, ибо она одна способна освободить меня, покончить с тем ужасным состоянием, в коем я нахожусь. О, почему меня не оставили на чужбине, когда я уехал из страны? Почему не дали понять, что лучше бы мне не возвращаться вовсе? Почему вызвали оттуда на погибель? О Боже, как я несчастен![44]

День за днем, месяц за месяцем, продолжаются жалобы и стенания, чередующиеся с приступами ярости и отчаяния, неожиданными переходами от нежности к злобе, от оскорблений к мольбам; затем все повторяется, и так по кругу. Эти словесные громы и молнии являются предвестниками широкомасштабной мелодрамы, которая в течение тринадцати лет будет разыгрываться актером по имени маркиз де Сад в декорациях тюремных камер, где исполнителю придется пребывать все эти годы; результатом станет рождение одного из наиболее душераздирающих монологов в истории мировой литературы. С февраля 1777 г. по июнь 1778 г. маркиз де Сад учится быть узником: знакомится с тюремными страданиями и тревогами, постигает искусство находить источники энергии, основным из которых для него станет чувство неудовлетворенности: именно в нем следует искать истоки его литературных трудов. Пребывание в четырех стенах порождает ужас, который, в свою очередь, вызовет к жизни самые разнузданные произведения, когда-либо созданные человеческим воображением.

Пока же, помимо плохого самочувствия, описанию коего он посвящает множество страниц, исписанных убористым почерком и исполненных жалости к себе, он, похоже, поглощен крайне «важным делом»; ему кажется, что решение этого дела вернет ему свободу; однако, чем сильней он стремится его приблизить, тем больше оно от него отдаляется.

Я прекрасно знаю, что следует запастись терпением, — пишет он жене, — и именно поэтому твои попытки развлечь меня вызывают одно лишь раздражение, равно как и те дурацкие письма, что ты успела написать; некоторые из них я когда-нибудь тебе покажу; бьюсь об заклад сто против одного, что написаны они обладателем ума недоверчивого и чрезвычайно склонного к видению всего в черном свете[45].

В ожидании счастливого дня решения дела он готовит свою защиту. Он совершенно уверен в своей правоте или, по крайней мере, успешно делает вид, что уверен, ибо ему известно, что все письма его читает тюремный цензор. Он пишет, по-прежнему обращаясь к жене:

Я намереваюсь *самым достоверным и убедительным* образом доказать, что все обвинения, выдвинутые против меня, — не более чем видимость, и я не совершил ни одной тяжкой провинности. Я отвечу на все вопросы. Я внесу *ясность* во все. Я сделаю еще больше: расскажу, что и кто, *какие люди* смогут лучше меня высказаться в мою пользу. <...> Клянусь Господом, честью и самой жизнью: *все обстоит не так, как об этом думают.* Так выслушайте же меня, услышьте меня: только об одной этой милости прошу Вас[46].

Приготовления к отъезду

Наконец 18 мая 1778 года ему наносит визит некий Бонту; этот посланец г-жи де Монтрей приносит письмо с наставлениями председательши и записку, составленную на основании советов двух поверенных в делах, мэтров Симеона и Пазери[47]. В записке ему предлагается два возможных варианта разрешения ситуации: повторно предстать перед судом или начать процедуру о признании его невменяемым. Донасьен резко возражает против самой мысли о признании его сумасшедшим, но Бонту настаивает, пытаясь убедить его, что это единственный способ не совершать поездки в Экс. Но маркиз отвечает, что перспектива поездки нисколько его не смущает, однако поедет он только сам, без сопровождения конвоя.

Остается обговорить условия поездки и получить от Донасьена «исковые письма о правомерности его жалобы», позволяющие обжаловать решение парламента Прованса, несмотря на истечение пятилетнего срока, установленного для подачи жалоб. Через Бонту председательша предупреждает зятя: министр прекрасно осведомлен обо всем, что произошло за время, истекшее после суда, обо всех жалобах, поданных на маркиза, отчего сей последний вряд ли может рассчитывать выйти на свободу сразу после отмены судом приговора.

Едва посланец г-жи де Монтрей уезжает, как маркиз хватается за перо и составляет пространный документ под названием «Замечания, размышления и требования», состоящий из 27 пунктов, относящихся к его предстоящему путешествию; 20 мая он отсылает эту бумагу жене*.

Не слишком ли рискованно предпринимать подобную поездку? Ведь приговор, согласно которому он уже сложил голову на плахе, пока еще

* Полный текст письма см. в Приложении XI наст. изд.

остается в силе. Вдобавок в провинции он может стать жертвой происков тайных врагов, которых у него есть все основания опасаться. Вопросы эти не могут не волновать де Сада. Ему отвечают: по дороге из Венсенна в Экс он будет по-прежнему считаться узником короля. Но, разумеется, до того момента, как поступит в распоряжение местного правосудия: далее оно будет распоряжаться его судьбой. Каковы его гарантии на время переезда? Один лишь королевский приказ о заточении его без суда и следствия? Но его не станут принимать во внимание ни парламент Прованса, ни тюремная администрация. Судебный пристав? Но, доставив узника до места, он далее не обязан охранять его. И почему жена ничего ему не разъяснит? Он только что получил от нее письмо, которое лишь растревожило его. Ведь она пишет, что *конец этой истории вряд ли будет счастливым*. Слова эти пробуждают в нем новые подозрения: что она хочет сказать? Беспокоится за его жизнь? Или есть опасения, что дело будет проиграно? Тогда на чем основаны эти опасения?

Относительно условий переезда де Сад выдвигает следующие требования:

Я буду спокоен и удовлетворен только в том случае, если меня будет сопровождать жена. Ежели она со мной не поедет, значит, тут кроется какая-то ловушка. <...> Поэтому я поеду только вместе с женой, при условии, что именно она приедет за мной, ибо только так я поверю, что в пути мне ничто не угрожает; она сама, своими устами должна подтвердить, что по дороге мне ничто не грозит. Также я требую, чтобы меня посадили в карету вместе с ней, и весь первый день мы бы ехали с нею вместе. А дальше, ежели будет угодно, она поедет самостоятельно, а я — в карете полицейского пристава, если таковой будет дан мне в сопровождающие. Затем договоримся насчет дней: мы будем двигаться с одинаковой скоростью и каждый вечер встречаться в одном трактире. В Оранже мы расстанемся: жена отправится ко мне в замок, а я поеду в Экс. Таково мое основное условие, и если его не удовлетворят, то не стоит рассчитывать на мою поддержку в этом деле. <...> Почему жена моя не осведомлена о столь важном для меня деле, отчего она посылает мне экипаж накануне того дня, когда мне сообщают о предстоящем отъезде? Если бы со мной поступали честно, то вряд ли стали бы скрывать предстоящую поездку от моей жены. Не является ли противное убедительным доказательством, что поездка сия может послужить мне во вред? Эти новые махинации только укрепляют меня в принятом решении, поэтому повторяю: если мои условия не будут приняты, я не сдвинусь с места <...>.

Ведь если решение принимается для моего блага, тогда почему полагают, что я могу с ним не согласиться? А если я со всем согласен, зачем тогда мне нужен конвой? Путешествие с провожатым не только обходится дорого, оно еще и унизительно, а мне не хотелось бы, чтобы в моей провинции меня увидели под конвоем, ибо сие крайне неприятное ощущение навеки оставит в душе моей болезненный след. Не провожатый, а королевский приказ о моем аресте должен оградить меня от любых неожиданностей. Честь моя и детей моих является узами достаточно прочными, и я, несмотря на отвращение, не сделаю никаких шагов, противоречащих задуманному плану; а если вдобавок жена моя уверит меня в необходимости соблюдения выдвинутых мне условий, то я сам, не затрудняя никого, прибуду в тюрьму Экса в тот самый день, который будет мне назначен. Уверен, что прибыть туда по собственной воле и собственному побуждению является бесконечно более честным, нежели быть доставленным по принуждению под конвоем полицейских приставов. Мое прибытие в суд в сопровождении королевского чиновника станет

свидетельством нужды моей в такого рода защите и публично о том оповестит; если же охраной мне будет только королевский приказ о моем аресте, лежащий у меня в кармане, такого не произойдет.

В конце концов, если сопровождение столь необходимо, то пусть меня эскортирует Марэ с одним слугой, дабы избежать шума, избытка вещей и напрасных расходов; пусть все происходит естественно, дабы в дороге нас принимали скорее за двух друзей, путешествующих вместе, нежели за узника и сопровождающего его конвоира. Удивительно, насколько проницательны люди, что встречаются нам по дороге, в гостиницах и на почтовых станциях. К моему изумлению, меня хорошо знают по дороге в Экс. Таким образом, это смешное и бессмысленное сопровождение, кое мне непременно хотят навязать, в сущности, явится своеобразной вывеской, извещающей и о моем аресте, и о моих злоключениях; об этом станет известно в каждой таверне на протяжении всего пути, а это, согласитесь, влечет за собой ряд неудобств. Поэтому как величайшей милости прошу я тех, кто хочет навязать мне сей конвой, поразмыслить и дозволить мне самостоятельно прибыть в Экс; но если сопровождение совершеннейше необходимо, то пусть сопровождающим будет друг, а не полицейский чин. <...> Прошу также дозволить моему слуге сопровождать меня. В Эксе я положительно не смогу обойтись без него. <...> Еще прошу до отъезда прислать мне одежду, а также необходимые мелочи, о которых я сообщу позднее; здесь мне совершенно нечего надеть, нет пристойной одежды, чтобы пуститься в путь, а в Эксе явиться к различным высокопоставленным персонам, с коими мне непременно придется встречаться. <...> Мне обещали, что перед отъездом я смогу повидаться с детьми; поистине, жестоко заставлять меня покидать сей край не повидавшись с ними. Я не только желаю, но и настоятельно требую, чтобы изыскали предлог, на основании которого я смог бы повидаться с детьми, а также с тещей. <...> Что касается сроков отъезда, то, как мне сообщили, они зависят только от меня; мне же хотелось бы рассчитать время так, чтобы пробыть в тюрьме Экса только необходимый для меня срок, и не более того. Но так как мне не известно, каков он должен быть, пусть вопрос сей уладят, однако примут во внимание, что, находясь в заключении уже более шестнадцати месяцев и ни разу не имея возможности подышать воздухом, я не в состоянии ни совершать путешествие галопом, ни переносить тяготы длительной езды, привычной для господ полицейских чиновников, сопровождающих подконвойных. Мне желательно иметь в своем распоряжении на дорогу в Экс не менее десяти дней, дабы я мог, если того потребует мое здоровье, сделать остановку; остановки, несомненно, понадобятся, ибо здоровье мое по причине пребывания там, где я нахожусь сейчас, сильно расстроено, и я совершенно не способен переносить утомление; к тому же мне необходима возможность делать остановку всякий раз, когда мне потребуется принять лекарство. Таким образом, в дороге я желаю быть самому себе хозяином и выбирать из трех имеющихся дорог ту, что мне более понравится; одним словом, здоровье мое расшатано, а потому мне не хотелось бы захворать либо в дороге, либо по прибытии на место, ибо в таком случае болезненное состояние мое может быть принято за испуг или робость, что, разумеется, произвело бы дурное впечатление на судей, как бы хорошо они ни были ко мне расположены <...>.

Каковы, хотя бы приблизительно, те формальности, соблюдение которых от меня там потребуется? Сяду ли я на скамью подсудимых, будут ли очные ставки, допросы и т. п.?.. Все эти процедуры всегда крайне неприятны, и я испытал бы искреннее удовлетворение, если бы за все, что мне уже довелось вынести, меня бы от них избавили. <...> Прошу также, чтобы сразу же по приезде я имел возможность в любое время сноситься с Гофриди. Ему следует написать и просить устроить свою поездку так, чтобы прибыть в Экс в один день со мною, вернее, чуть раньше меня, дабы он мог встретить меня возле кареты на тюремном дворе. Приезд его стал бы для меня великим утешением и помог бы мне избавиться от страха, который дело сие мне внушает.

Еще один вопрос, беспрестанно будоражащий венсеннского узника:

Почему я не могу получить свободу сразу же после принятия парламентом благоприятного решения? Говорят, что о новом вердикте надо будет прежде сообщить в Париж, и, только когда его там одобрят, можно будет ходатайствовать о моем освобождении. Но откуда столь нелепая необходимость держать меня в тюрьме еще две недели? Ежели меня оправдают, зачем королю продолжать содержать меня под стражей, да еще в темнице парламента? Это больше похоже на исполнение приговора. Люди в этих краях злы, и мое дальнейшее пребывание в тюрьме будет истолковано превратно. Разве свобода моя не зависит от решения суда? Если суд примет решение не в мою пользу, то, разумеется, меня прикажут вновь заточить в темницу; но если решение будет благоприятным, отчего бы не вернуть мне свободу сразу же после его оглашения? В любом случае исполнение решения суда можно было бы, как обычно, поручить интенданту, и тот исполнил бы его, каким бы оно ни оказалось, без лишних проволочек. Мне кажется, способ сей наиболее надежен, даже если решение будет принято не в нашу пользу, а уж тем более, если таковое окажется для нас благоприятным. Если же все придут к согласию, на что, как мне сообщили, есть все основания надеяться, следует просто уладить сие дело с господином де Латуром[48]. Я же заявляю, что в случае вынесения парламентом благоприятного для меня решения я не желаю оставаться в тюрьме ни минутой дольше и требую тотчас освободить меня из-под стражи[49].

Спустя дней десять де Сад получает «разрешение на предъявление иска», датированное 27 мая; таким образом король дозволяет заключенному обжаловать приговор суда, вынесенный «на основании имевшихся подозрений в совершении преступлений — отравления и педерастии», так как

<...> согласно общественному мнению во время ведения дела было допущено множество нарушений процедуры, совершены неправомочные действия, а потому <...> по всем надлежащим правилам вердикт того суда, несомненно, следует отменить[50].

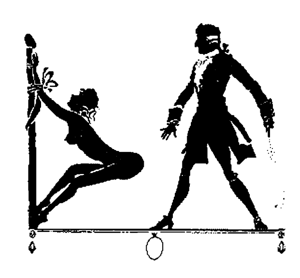
Путешествие в Экс

Госпожа де Сад не поедет в Экс вместе с мужем; более того, ее даже не предупредят о дне его отъезда. Г-жа де Монтрей предпочла ничего не говорить ей, дабы та, со свойственным ей упрямством, не нарушила ее планов. 22 июня, когда маркиз находится уже в пути, г-жа де Сад по-прежнему убеждена, что он в Венсенне, и тревожится, отчего супруг не отвечает на ее письма.

С тех пор как ты, милый мой друг, написал, что занятия твои не оставляют тебе времени написать мне ответ, я более не имею от тебя известий, а потому не знаю, получил ли ты мою последнюю посылку и доволен ли ее содержимым. Опасаюсь, что ты болен. Впрочем, я уже не знаю, что и думать. Однако тешу себя надеждой, что не отвечаешь ты не по своей вине. Так как я уверена, что не заслужила с твоей стороны подобного безразличия, то надеюсь, что все не замедлит разрешиться. Однако время идет, и я чувствую себя все хуже и хуже, и исцелить меня может только письмо от тебя — хотя бы коротенькая записочка. Я специально подчеркиваю эту фразу, ибо мысли о тебе не покидают меня ни на минуту, и стоит мне только представить себе, что ты подозреваешь меня в равнодушии, как я тотчас прихожу в отчаяние, ибо поистине люблю тебя, люблю так, что не нахожу слов, дабы выразить свою любовь; я готова отдать всю свою кровь, только бы тебе сократили срок заключения[51].

Милый друг мой, от тебя по-прежнему нет вестей, – жалуется она 30 июня. – Нет нужды повторять, насколько это огорчает меня. Ведь тебе давно известно, что сердце мое принадлежит тебе одному. Храни спокойствие, это поможет тебе поддерживать хорошее самочувствие, и воздай справедливость моей нежной дружбе; таковы мои тебе пожелания: я твержу их целыми днями[52].

В конце концов сопровождать узника действительно поручают инспектору Марэ. 14 июня экипаж покидает донжон Венсеннской крепости, а в понедельник 20 июня, вскоре после наступления сумерек, он уже катит по булыжной мостовой Экса[53]. Так как время уже позднее и для формальностей, необходимых для размещения узника в тюрьме, неподходящее, то инспектор и его подконвойный проводят ночь в гостинице Сен-Жак. На следующий день, после полудня, маркиз, «подчиняясь правосудию», прибывает в королевскую тюрьму Экса, «дабы снять с себя вынесенный заочно приговор», а инспектор тем временем вручает сторожу приказ короля, выданный 11 июня в Версале[54].



Глава XV
В БЕГАХ

Процесс

Все двадцать три дня, что Донасьен находится в тюрьме Экса, он изводит Марэ «тысячами просьб личного характера, хотя обходятся с ним как и пристало обходиться с благородным господином, попавшим в тюрьму». Ему хочется быть щедрым со всеми своими сотоварищами по заключению, хочется выразить им свое «великодушие». Инспектор по мере сил сопротивляется капризам маркиза, однако ему «время от времени приходится уступать»[1]. В целом же де Сад живет в свое удовольствие, платит двенадцать ливров трактирщику, поставляющему в тюрьму еду, и даже ухитряется завязать роман с юной узницей, г-жой Дуайен де Бодуэн, прозванной им «Дульсинеей в зеркале»; через адвоката Рейно он передает ей любовные записочки и награждает адвоката прозвищем «посланец богов».

Процесс начинается 22 июня; прежде всего оглашается ходатайство, написанное маркизом и адресованное парламенту Прованса; документ пестрит теми же терминами, что и записка, направленная ранее в парижские судебные инстанции Симеоном. В тот же день специальным постановлением утверждается текст ходатайства, дабы оно «было исполнено по форме и содержанию». Разбирательство идет быстро и завершается через три недели. На самом деле стороны договорились обо всем заранее, так как семья продолжает оказывать давление на двор. 25 июня командор де Сад обращается к первому председателю парламента Экса Дегалуа де Латуру: семья, заявляет он, «имеющая честь состоять в родстве со всеми благородными родами Прованса», уверена, что теперь ей не придется терпеть несправедливость, ибо дело находится в руках «судей, вызывающих доверие у всех сословий» и вновь приступивших к исполнению своих обязанностей; иными словами, все было бы по-другому, если бы его племянник был судим не людьми Мопу.

Либертинаж заслуживает наказания, — продолжает командор, — однако это не наказание за преступление; либертинаж — заблуждение одной отдельно взятой личности, следовательно, карать надлежит только виновного. Если бы я не был уверен в Вашем благосклонном отношении к моей семье или же сомневался в Вашей беспристрастности, я бы сам помчался в Экс, дабы иметь честь быть Вам

представленным; однако Вы человек столь просвещенный, что я ни секунды не сомневаюсь в приговоре, который Вам предстоит вынести <...>[2].

Спустя три дня командор вновь предпринимает упреждающий шаг; на этот раз он обращается с циркулярным письмом ко всем судьям парламента, разослав по экземпляру каждому из них:

Сударь, семья покарала либертена так скоро, как только смогла это сделать. Он более не станет нарушать общественное спокойствие. Король и правительство готовы принять надлежащие меры для защиты чести семьи, коей не в чем себя упрекнуть ни в прошлом, ни теперь. Надеюсь, Вы согласитесь оказать ей в этом содействие. <...> Отклонив ходатайство, Вы окажете услугу тем, кто утвердил сей позорный приговор; разумеется, если бы Вы были судьей в том позорном процессе, мы бы не стали обращаться к Вам <...>[3].

Великодушная служанка

В Провансе родственники и близкие маркизу люди готовятся отпраздновать его реабилитацию; за стенами тюрьмы царит лихорадочное оживление, однажды там даже появляется огромный букет цветов: его прислала из Ла-Коста Готон вместе с приложенным собственноручно исполненным корявым посланием:

Сударь!

Как только я узнала от господина адвоката, что Вы тут неподалеку, как мне стало ужасно радостно, и я снова начинаю надеяться, что вскоре буду иметь счастье и удовольствие увидеть Вас. Прошу Вас, сударь, верьте, я до последнего предана Вам и Вашим интересам. Дай Вам небо, чтобы Вы избавились от наверняка одолевающих Вас забот и чтобы каждый день, всю Вашу жизнь Вам жилось спокойно (*sic*! – *М.Л.*). Поверьте, без всякой лести скажу, что никто этого не хочет так, как хочу я, ведь мне кажется, что со дня Вашего отъезда прошла целая вечность. Ваше отсутствие, Ваше пребывание вдали от дома и неуверенность, что чувствую я, когда вспоминаю про состояние ваших дел, делают мою жизнь очення унылой. Уверяю Вас, сударь, мне очень грустно, и стоит мне только подумать, каково Вам там теперь, как слезы сами набегают на глаза. Не соблаговолите ли, сударь, прислать от себя весточку? Коли я могла бы следовать зову сердца, так я бы уже бросила Ваш дом и полетела бы туда, где Вы сейчас находитесь, ради одного только удовольствия повидать Вас. А ежели Вам будет угодно приказать приехать к Вам, так я все брошу и сразу полечу. Ежели и есть у нас тут сейчас что-нибудь, что могло бы доставить Вам удовольствие, Вы мне так и сообщите. Можете располагать мною и днем, и ночью, потому что я сделаю все, что будет в моих силах.

Господин адвокат любезно согласился передать Вам несколько цветочков, что выращены на Вашей террасе, несколько абрикосов и два горшочка с вареньем, ягоды для которого собраны также на Ваших землях. Пусть Вы сейчас пребываете в краях, где, быть может, и красивее и лучше, только я думаю, что Ваши земли и лучше, и прекраснее, хотя, быть может, они у Вас еще и не плодоносят в полную силу. На прошлой неделе я передала хозяйке через Шарвена четыре дюжины. Конечно, я бы все варенье Вам отправила, ежели бы мне выпало счастье знать, что Вы близко. Надеюсь, сударь, Вы не оставите меня своими милостями и заботой, и будьте уверены, что я всегда буду питать к Вам самую что ни на есть почтительную привязанность.

Ваша смиренная и почтительная слуга

Готон.

Писано в Ла-Косте 27 июня 1778[4].

Вердикт

Наконец во вторник 30 июня, в восемь часов утра, инспектор Марэ прибывает в тюрьму за Донасьеном; в портшезе с задернутыми занавесками его везут в монастырь якобинцев, где обычно заседает парламент. Когда все члены судебной палаты собрались, приглашают заключенного. Войдя, он делает попытку опуститься на колени, но первый председатель де Латур делает ему знак встать. Жозеф Жером Симеон произносит проникновенную речь в защиту маркиза; Эмар де Монмейан, генеральный королевский прокурор, также энергично высказывается в пользу обвиняемого. После непродолжительной дискуссии парламент в кассационном порядке отменяет приговор Марсельского суда как недействительный «по причине отсутствия состава преступления, а именно отравления» и приказывает собрать новую информацию только по факту распутства и педерастии, а также заслушать свидетелей. Судебное разбирательство продолжается более двух часов, затем Марэ препровождает маркиза в тюрьму.

Не меньше двух сотен зрителей толпились перед зданием на протяжении всего заседания; все хотели видеть де Сада; однако зеваки обманулись: шторы в портшезе, перевозившем узника, были плотно задернуты. На мой взгляд, — отмечает Марэ, — первое заседание не произвело на маркиза особого впечатления.

Сразу же после заседания Гофриди принят первым председателем и генеральным прокурором, которые совершенно официально предлагают ему без промедления отправиться в Марсель, встретиться там с известными девицами и «убедить их убрать из своих показаний любые намеки на содомию». Инспектор Марэ, которому мы обязаны этими сведениями, добавляет следующий комментарий:

Гофриди, ловкий малый, безгранично преданный дому де Садов, является адвокатом, пользующимся, судя по всему, полным доверием мадам де Монтрей; следовательно, он, совершенно очевидно, не станет разглашать условий секретного соглашения. Сам я сегодня также выезжаю в Марсель, чтобы в случае необходимости негласно оказать ему поддержку.

Итак, Гофриди отправляется в город древних фокейцев, где, снабженный по распоряжению председательши деньгами Садов-Эгийеров, щедро тратится на обеды и ужины для девиц и делает роскошные подарки хирургам и аптекарям, «заявившим, что еще никто не обходился с ними столь любезно»[5].

Пока идут допросы и очные ставки между обвиняемым и свидетелями, г-жа де Монтрей проводит работу среди членов парламента.

С нетерпением жду, когда же наконец все это кончится, — доверительно пишет она Гофриди. — Мне немного тревожно, и хотя за известное лицо вроде бы беспокоиться нечего, так как в случае неблагоприятного поворота дел или дурного отношения мне обещают быстро все уладить, тем не менее мне бы хотелось, чтобы с имени его были смыты все пятна до единого. Шесть дней назад я направила господам председателям парламента письмо, где подчеркнула именно эту свою просьбу. Те, кто смогли, прислали мне ответы, составленные в самых достойных и лестных для меня выражениях <...>[6].

Наконец 14 июля 1778 года, утром, после публичного допроса обвиняемого, парламент Прованса выносит окончательное постановление. Принимая во внимание имевшие место факты «распутства и безудержного либертинажа», суд постановляет: Луи Альдонс Донасьен де Сад «приговаривается к публичному внушению, кое будет ему сделано в присутствии генерального королевского прокурора, дабы впредь он вел себя прилично»; в течение трех лет ему запрещается «посещать город Марсель, а также проживать в оном городе»; он обязан уплатить штраф в пятьдесят ливров, «которые пойдут на содержание заключенных и возмещение расходов по осуществлению правосудия». После уплаты штрафа «двери тюрьмы откроются и приказ о его взятии под стражу будет аннулирован».

Из приговора, зачитанного «в суде» г-дами Пазери и Дегалуа де Латуром до Сада, доходит только одно: он свободен! Дурной сон окончен. Завтра он может вернуться в Ла-Кост и вновь с присущим ему аппетитом наслаждаться жизнью; вскоре ему исполнится тридцать девять: самый расцвет сил!

Однако назавтра, 15 июля 1778 года, в три часа ночи инспектор Марэ является к нему в камеру, будит его и предлагает собираться: они возвращаются в Венсенн. Узник изумлен: разве вчерашнее решение не вернуло ему свободу? Разумеется, однако оно нисколько не касается выданного 13 февраля сего года «Lettre de cachet», скрепленного королевской подписью 5 июля сего года; вот уже двадцать четыре часа, как постановление это лежит у Марэ в кармане.

* * *

Честь дома де Садов спасена. Маркиз отправлен обратно в камеру. Все возвращается на свои места.

Прекрасно срежиссировано, госпожа председательша!

Побег из Валанса

Пятнадцатого июля, на заре, тяжелый четырехместный берлин покинул двор тюрьмы Экса, увозя Донасьена, инспектора Луи Марэ, его брата, АнтуанаТома и двух полицейских. Чтобы не ехать по землям маркиза, карета, выехав из Экса, берет направление на Тараскон и проезжает через Сен-Кана, Ламбеск и Пон-Рояль. После Тараскона путь ее лежит через Кон, Ремулен, лесной массив Рошфор и лесистую долину Валигьер, где решено заночевать в придорожной гостинице[7]. Там Донасьен пытается совершить побег, план которого он обдумывал на протяжении всего пути, однако терпит неудачу.

На заре 16 июля узник и четверо его сопровождающих покидают Валигьер и едут дальше, на север.

По мосту Святого Духа берлин перебирается через Рону и направляется в Лапо. Одна за другой мелькают подставы: Пьерлат, Донзер, Монтелимар, Ливрон. В половине девятого вечера, на въезде в предместье Валанса, экипаж сворачивает во двор почтовой гостиницы под названием «Луврский трактир»[8].

Донасьена препровождают в отведенную ему комнату, где он, прислонившись к окну, выходящему на большую дорогу, стоит там до тех пор, пока Луи Марэ не предлагает ему сесть к столу, накрытому в комнате заключенного. Сад отказывается: у него нет аппетита, ужинать он не станет. Пока четверо его спутников едят, он прохаживается по комнате взад и вперед. В какой-то момент он обращается к брату Марэ с «некой срочной просьбой». Тома Марэ сопровождает его к «удобствам», расположенным в коридоре, и ждет его возле лестницы. Через пять-шесть минут маркиз выходит из чулана, крадучись приближается к своему охраннику, делает вид, что поскользнулся, а когда тот пытается его поддержать, вырывается у него из рук, скатывается по лестнице и в три прыжка выскакивает за ворота на большую дорогу. Не заметив этого и полагая, что он все еще в гостинице, братья Марэ и оба полицейских обыскивают заведение снизу доверху, а также прилегающие к нему пристройки, каретные сараи, конюшни, сеновал, погреба, все закоулки и чердаки. Маркиз как сквозь землю провалился. Луи Марэ приказывает хозяину гостиницы позвать на подмогу жандармов; однако хозяин отвечает, что это невозможно, так как час поздний и городские ворота уже заперты. Тогда инспектор посылает брата и одного из полицейских продолжить поиски на дороге, ведущей из Валанса в Монтелимар, а второго полицейского отправляет с тем же заданием на дорогу, ведущую из Валанса в Тэн[9].

На следующий день, 17 июля, рано утром инспектор является к начальнику жандармерии Валанса Тиэ и подает ему описание примет беглеца. Тотчас десяток жандармов устраивают облаву и прочесывают дома и окрестности на десять лье вокруг, в то время как отряд конной полиции стережет места переправ через Рону. Поиски ведутся целый день, до наступления темноты. Но де Сад словно сквозь землю провалился. Тогда Марэ приказывает вызвать заседателя из превотального суда Дофине, расположенного в департаменте Валанс, и тот прибывает в «Луврский трактир» в сопровождении секретаря суда и ректора университета. Судейский советник составляет опись вещей, брошенных заключенным при побеге. Кроме чемодана, ключ от которого беглец унес с собой, имеются еще два саквояжа. Из первого извлекают пару тапочек из желтого сафьяна, полотняную ночную сорочку с рукавами, сорочку с нарукавниками, носовой платок, пару белых нитяных чулок, мешочек с пудрой, холщовые панталоны до колен т. п. Во втором, зеленом полотняном, саквояже также осталось немало полезных мелочей: шкатулка, где хранится стеклянный стаканчик, коробочка с притираниями, маленькая фаянсовая коробочка с вытяжкой из бычьих костей, старенький футляр со столовым прибором и серебряной кофейной ложкой, две новые свечи, колокольчик, мыльница, губка, медный тазик... А также одежда:

<...> фрак камлотовый с двойным ворсом, золотисто-розовый, со стальными пуговицами и серебряными петлицами, два английских редингота, <...> хлопчатобумажный халат на мельтоновой подкладке, шляпа черная с английским шнуром, два мельтоновых жилета.

Все эти вещи теперь опечатаны «печатью красного воска» и вручены на хранение г-ну Марэ[10].

* * *

А что же наш герой? Обманув своих охранников, он сначала прятался в какой-то дощатой развалюхе возле гумна, где обмолачивали зерно, в четверти лье от города. Отсюда два крестьянина проводили его в Монтелимар.

Пройдя одно лье, — рассказывает он, — мы решили изменить маршрут и свернули к Роне, чтобы воспользоваться лодкой, однако не сумели найти ни одного суденышка. Наконец на рассвете один из нас отправился в Виварэ, где нашлась маленькая лодочка, владелец которой за один луидор доставил нас в Авиньон[11].

Высадившись около шести часов вечера в папском городе, Донасьен отправляется к своему другу Кино, ужинает вместе с ним и его женой, затем приказывает подать карету и в тот же вечер выезжает из города, едет целую ночь и в девять утра прибывает к Ла-Кост, совершенно разбитый и пьяный от радости. Едва вернувшись к себе, он набрасывает записку Гофриди:

Приехал измученный, умирал от голода и жажды; ужасно напугал Готон. Непременно расскажу Вам все; это настоящий роман. Прошу Вас, приезжайте как можно скорее.

Пожалуйста, пришлите с посыльным лимонов и все ключи. Еще прошу, привезите с собой оба пакета с бумагами, которые я отдал Вам на хранение, особенно толстый пакет. А сейчас я иду есть и спать, обнимаю Вас от всего сердца <...>[12].

«Конец нашим несчастиям»

Пока Донасьен наслаждается первыми днями свободы, его близкие радуются, что позор семьи наконец безвозвратно похоронен под грудой вердиктов. Его жена, едва узнав, что супруг ее прибыл в Экс и там дело его благополучно завершилось, пишет ему письмо, где стоит дата 18 июля; о побеге супруга ей ничего не известно. Письмо это прежде не публиковалось:

Меня уверяют, милый друг, что ты доволен исходом дела. Если это так, то почему ты сам не сообщил мне об этом? Надеюсь, ты не сомневаешься, что приближение конца наших несчастий радует меня несказанно. Как только дело будет окончено, у них более не будет причин удерживать тебя в тюрьме; убеждена, что если тебя и задержат ненадолго, то исключительно ради выполнения необходимых формальностей. Однако в этом случае, ты знаешь все, что мне придется сказать и что я скажу. Впрочем, тешу себя надеждой, что вмешательство мое не понадобится[13].

Едва узнав о побеге маркиза, адвокат Рейно обращается к нему с пламенным приветствием:

Сударь, я был готов к подобному поступку, и если хотите знать мое мнение, то два маленьких мешочка, что привешены у Вас ниже пояса, неплохо Вам послужили. Ах, как приятно мне Вас поздравить! Теперешняя моя радость равна прежнему горю, испытанному мною в часы нашего вынужденного расставания. Если пред-

приятие тщательно продумано, память никогда не подведет. В Валансе Вы наконец осуществили давно вынашиваемый Вами замысел. <...> Ничто не вызывает у меня такого восхищения, как талант придавать человеческий облик церберам. Да, хотелось бы мне увидеть лицо их старшего! Так и вижу, как он в растерянности не знает, куда бросаться. Но, друг мой, боюсь, что Вы все-таки угодили в ловушку! Впрочем, главное для Вас сейчас — это попытаться узнать, решил ли он направиться за Вами в погоню. И все же признайте: клика должна вернуться в Париж триумфаторами. Мадам де Сад будет хохотать во все горло, а клика вскоре пустится по Вашему следу. Слава Богу, воспаление скоро пройдет: еще одно преимущество этого забавного и удачного приключения!

Итак, еще раз выразив Вам свидетельства моей несказанной радости, обращаюсь к Вам с вопросом: можно ли мне прибыть к Вам и, передав Вам самые горячие пожелания, убедить Вас более не превращать наши тюрьмы в свои резиденции? <...>

В Эксе знают о Вашем побеге. Услышав эту новость, Симеон-сын изумленно рассмеялся. Не знаю, что скажет де Латур. Если хотите, чтобы Вас оставили в покое, постарайтесь вести себя потише <...>[14].

Провансальские тетушки не скрывают своего облегчения и шлют маркизу бесчисленные советы. Первой откликается г-жа де Вильнев-Мартиньян; в послании от 26 июля она пишет:

Заверяю Вас, сударь, в моем активном участии в известном Вам деле, от благополучного завершения коего зависела честь семьи. Надеюсь, Вы более не станете подвергать ее столь неоправданному риску, ведь Вы поставили на карту не только собственную честь, но и честь Ваших детей и всех нас, ибо в подобных обстоятельствах невиновные страдают не меньше виноватых.

Признаю, с Вами действительно обошлись сурово. Но разве Вам совсем не в чем себя упрекнуть? С кем Вы связались? Вспомните этот отвратительный процесс. У многих, в том числе и у Вашей семьи, есть основания жаловаться на Вас. Так какое Вы теперь имеете право требовать от них вернуть Вам прежнее доброе отношение? <...>

Верните, если таковое еще возможно, Вашему имени утраченный ныне блеск. Ваша репутация изрядно пострадала; чтобы восстановить ее, требуется время. Нельзя допустить, чтобы Вас вновь уличили в каких-либо неблаговидных поступках; теперь все Ваши действия должны иметь только одну цель: сделать Ваши похвальные поступки столь же известными, сколь известны Ваши заблуждения. <...>

Ежели станете мне писать, сообщите, как Вы устроились в Ла-Косте. Ходят слухи, что Вы числитесь в бегах. Даже если это так, можете мне в этом смело признаться; меня ничто не смущает, лишь бы поступки Ваши не противоречили законам чести[15].

Не меньшая радость царит и в монастырях Конта, где старые тетушки, возблагодарив небо, благословляют своего непутевого племянника и молятся за его обращение на путь истинный. Так, сестра Габриэль Элеонор де Сад, аббатиса обители Святого Бенедикта в Кавайоне пишет:

Письмо Ваше, дорогой племянник, приятно меня поразило и искренне обрадовало. Я не знала, что Вы в Ла-Косте, а потому не ждала скорых от Вас известий.

Чрезвычайно тронута Вашим вниманием и Вашим дружеским участием, кое Вы не преминули мне засвидетельствовать. Дорогой племянник, я всегда питала к Вам самую нежную и самую искреннюю привязанность, не покидавшую меня даже в те времена, когда у меня были все основания недолюбливать Вас.

Не будем сегодня вспоминать ни о Ваших несчастьях, ни о несчастьях, перенесенных Вашей семьей в целом и мною в частности. Это горькое время уже в прошлом. Давайте же оставим его там и будем радоваться дню нынешнему. Сегодня сердце мое преисполнено ликования; и все же, дорогой мой племянник, самым

счастливым для меня станет день, когда я смогу обнять Вас и воочию убедиться в благотворных переменах, в Вас произошедших.

Мне кажется, сейчас Вы самый счастливый человек на свете. Говорю Вам это совершенно искренне и надеюсь, что все мы будем иметь основания для радости. Ваши враги постараются заманить Вас в ловушку. Не доверяйте им и будьте бдительны. Они только и ждут, когда Вы оступитесь. Можешь быть уверен, племянник, что сейчас на тебя устремлены все взоры. Будьте осторожны, благоразумны и осмотрительны: этот совет дает вам Ваша тетя, любящая Вас и желающая Вам всяческого добра, покоя и благополучия. Я не собираюсь читать тебе мораль. Суровые испытания, через которые довелось Вам пройти, наверняка заставили Вас основательно задуматься о своем поведении и, несомненно, станут гарантией Вашего благоразумия и побудят Вас отречься от заблуждений юности[16].

Аббатиса обители Святого Лаврентия из Авиньона, чей почтенный возраст уже не позволял держать перо в руке, поручила племяннице, сестре Анриетте де Вильнев, монахине того же монастыря, написать племяннику:

Моя тетя очень стара, и здоровье ее давно оставляет желать лучшего. Поэтому ни она, ни я не ответили на Ваше письмо так скоро, как подобает в подобном случае: мы получили его, когда тетушка была сильно больна. Правда, она велела известить Вас через мою матушку, но я не захотела обременять матушку этим поручением, в надежде, что тетя вскоре поправится и сама будет в состоянии Вам ответить. Но, увы, сил самой написать Вам у нее все же не хватило; однако отношение Ваше к ней, Ваше дружеское участие чрезвычайно ее растрогало, особенно Ваши старания разузнать что-либо о ее самочувствии.

И вправду, не удивительно ли, что Вы все еще помните о старенькой настоятельнице? Неужели Вы в самом деле сохранили воспоминания о ней? Это внушает мне и радость и надежду, что Вы всерьез намереваетесь начать новую жизнь, коя сулит хорошие дни также и нам. Никто так сильно не желает Вашего исправления, как я, дорогой кузен. Я искренне привязана к Вам и ко всем вашим близким. Я часто молюсь за все Ваше семейство, за его процветание. Вам суждено отстроить все заново. Здание семейной твердыни было поколеблено, и теперь Вам предстоит восстановить его, придать ему новый блеск. Дай Бог, чтобы дети помогали Вам в этом. Я на это надеюсь. У Ваших детей есть виды на будущее, и, полагаю, они не останутся невеждами <...>[17].

Вскоре семидесятивосьмилетняя аббатиса дрожащей рукой сама написала ему несколько строк:

Бремя немалых годов, многочисленные печали, вечные тревоги и огорчения, потеря брата, нежная и взаимная привязанность коего побуждала меня любить отведенный мне остаток жизни, ибо он был посвящен ему[18], страдания, причиняемые гнойной лихорадкой и разлитием желчи, преследовавшие меня целых двадцать пять дней, — все объединилось против меня. И все же хрупкое бытие мое прервано не было, хотя я была к этому готова. Не имея более занятий и перепробовав в этом мире все, в том числе и то, чего следовало опасаться в первую очередь, не надеясь более испытать никаких радостей, я тем не менее ощутила живейшее удовольствие, узнав об успешном завершении Вашего дела. Мне хотелось бы первой поздравить Вас, однако я знаю, что г-жа де Вильнев, уведомленная о моем состоянии, по моей просьбе уже упредила Вас; полагаю, ответ мой на Ваше письмо запоздает, и Вы узнаете, что я Вами недовольна, ибо Вы не воздали по справедливости моим чувствам, обманувшись видимостью, вводящей в заблуждение до тех пор, пока не познаешь истинных чувств. Рассудок мой слабеет, поэтому я не могу выразить Вам все свои чувства, а рука моя не может долее держать перо. Поразмыслите над моими словами, я не отказываюсь ни от одного из них[19].

Затем наступает очередь сестры Маргариты Фелисите, именуемой также «сестрой Ла Кост», самой неприметной из всех, ибо она всего лишь простая монахиня в обители Святого Бернара в Кавайоне; перебирая четки, она молится за спасение дорогого племянника, а затем пишет ему трогательное и простодушное письмо:

Хотя я единственная в семье, кому Вы, дорогой племянник, не соизволили написать, я на Вас не в обиде. Вы вполне можете не знать, что у меня есть жилье в доме возле площади Сен-Пьер, в Авиньоне. Тем не менее мне хочется сообщить Вам о той радости, что посетила меня при получении известия о благополучном завершении самого злополучного процесса, в который только мог оказаться вовлеченным честный человек. Я слишком долго оплакивала Вашу смерть, чтобы теперь не радоваться Вашему воскрешению.

Надо признать, племянник, судьи обошлись с Вами крайне снисходительно, чего не скажешь о публике. Вам следует изрядно потрудиться, коли Вы хотите заставить забыть досадные впечатления, имевшиеся на Ваш счет, и побудить относиться к Вам с уважением и почтением, как если бы поведение Ваше всегда было столь же благородно, как и Ваше рождение.

Надеюсь, в будущем вы доставите Вашей семье столько же радостей, сколько огорчений доставляли ей в прошлом. Я же стану без устали просить Господа осыпать Вас своими милостями, как мирскими, так и духовными, в коих Вам будет нужда; засим остаюсь доброй Вашей тетушкой, всегда Вас любящей и преданной Вам[20].

«Бескорыстная дружба»

Ощущение вновь обретенной свободы кружит голову, Донасьен горит желанием все увидеть и узнать — все сразу. Он хочет за несколько часов наверстать упущенное за шестнадцать месяцев. Ему не сидится на месте, он постоянно в движении, постоянно куда-то рвется; словно ребенок, он радуется всему, а потом бросается за стол и пишет бесконечные письма Гофриди:

Не могу ничего Вам сказать, потому что сказать требуется слишком много. Нам положительно необходимо провести вместе несколько дней. Когда я пытаюсь сформулировать одну мысль, их тотчас приходит не менее пяти десятков, и я не знаю, с чего начать. Сообщите мне, какие обо мне ходят слухи; полагаю, что прибытие мое вряд ли наделало много шума. Когда Вы приедете? Я уже повидался со всеми. Мы крепко подружились с кюре; мне кажется, он буквально влюблен в меня.

Опьяненный свободой, Сад даже пытается разыгрывать моралиста. Ему кажется, что его фермер переспал с Жаннетон, дочерью сторожа Самбюка. «Дело Шовена мне кажется достаточно грязным, — ворчит он, — все на него ополчились, да и мне есть что Вам сказать по этому поводу»[21]. Перескакивая с одного на другое, он продолжает:

Я ужасно хочу поехать в Соман. Даже если Вы станете противиться, я все равно туда отправлюсь, дабы вступить в *права хозяина*; ноги сами несут меня, боюсь, даже Ваш талант убеждать не сможет заставить меня отказаться от этой поездки. Постарайтесь поскорей освободиться, чтобы поехать туда вместе со мной[22].

Состояние эйфории, охватившее его в Ла-Косте, поддерживается присутствием там пленительной женщины, Мари-Доротеи де Руссе, исполняющей обязанности экономки. Дочь Антуана де Руссе, нотариуса из Сен-

Сатюрнена, что возле Апта, когда-то разделяла детские игры Донасьена в Сомане, хотя и была четырьмя годами младше его. В 1763 году она вместе со своим братом, г-ном де Ремервилем, участвовала в сельских торжествах, устроенных по случаю прибытия молодого офицера. Видимо, мысль пригласить ее в замок и сделать официальной любовницей хозяина пришла в голову самой г-же де Сад. Мари-Доротея влюбила в себя маркиза с первой же встречи. И сделала она это не красотой, ибо лицо ее было еще более некрасиво, чем лицо г-жи де Сад, но своим умом. Живая, веселая, волевая, насмешливая, не лезущая за словом в карман, щедро наделенная талантом понимать с полуслова, она отвечает маркизу с такой находчивостью, что тот не перестает удивляться. Они часто уединяются и, усевшись на каменную скамью, могут болтать часами. Их разговоры напоминают поединок искусных фехтовальщиков, в котором оба противника искушены не только во владении оружием, но и в любовных играх. В ответ на посулы либертена мадемуазель де Руссе, улыбаясь, предлагает ему нежную дружбу. Ее неприступная добродетель нисколько не гневит маркиза, напротив, он позволяет ей увлечь себя в дебри словесной диалектики, коей столь умело владеет эта умная и сердечная женщина. Нечувствительная к чарам своего партнера, она умеет направить его в сторону более глубокого и менее обременительного чувства, лишь отдаленно напоминающего любовь и не обладающего любовной серьезностью; она умеет заставить умолкнуть вожделеющую плоть, дабы свободно предаваться удовольствию беседы. Слова, сказанные ими друг другу под сенью Лакоста, предвосхищают содержание их будущей переписки: смесь любовной болтовни, философии, нежного попустительства, дерзких намеков и насмешливой снисходительности. Подле этой молодой и желанной женщины, получившей от него ласковое прозвище «Милли» Руссе, Донасьен испытывает неведомые ему прежде чувства; исходящее от нее бесконечное очарование кружит ему голову, пьянит, словно молодое шампанское вино. Пленившую его страсть он выразил в следующих словах:

Она моя нежная и почтительная подруга; ей я обязан более, чем кому-либо. Ее честная и чувствительная душа обладает чудесным талантом пробуждать наслаждение от сладостных прелестей чистой дружбы. Я привязался к ней, и привязанность эта будет сопровождать меня всю жизнь. Она всегда поступала по отношению ко мне как добрый и искренний друг, а душа моя никогда не была чужда признательности[23].

Немногих женщин маркиз де Сад почтил такими словами.

«Дульсинея в зеркале»

И все же, несмотря на уединенные свидания с мадемуазель Руссе, он никак не может забыть лицо, увиденное в зеркале тюрьмы в Эксе. Адвокат Рейно передает узнице послания от маркиза и сообщает ему новости о его «дульсинее». 23 июля приходит первая весточка от дамы Дуайан де Бодуэн:

На днях прекрасная узница отправила мне посланца с письмом, которое Вам предстоит прочесть: ее покровителем выступает г-н де Сад, и она уповает на него. Какое, однако, дьявольское впечатление произвели Вы на эту женщину, всего лишь

отразившись в зеркале! Явись Вы перед нею во плоти, вы не смогли бы достичь большего эффекта! Я ответил на все ее вопросы, какие она только пожелала мне задать. Дело ее находится у меня в производстве. Однако положение ее не слишком утешительное, можете мне поверить, оно весьма и весьма сомнительно! Это мне подтвердила и ее близкая подруга. Однако мячик брошен, его надо отбить[24].

Через несколько дней Сад передал для своей «дульсинеи» немного денег и письмо, заверив Рейно, что «она может свободно поддерживать переписку и получать любые письма, что ей напишут». Ответ посланца:

Итак, господин маркиз, Ваше письмо, отданное моему секретарю для последующей передачи адресату, в тюрьме было перехвачено, распечатано и прочитано. Тем не менее деньги даме Бодуэн переданы; также ей сообщили, что к деньгам было приложено письмо от г-на де Сада, но она письма этого не увидит. Женщина тотчас извинилась и сказала, что послание сие не может быть ответом, ибо она Вам не писала. Полагаю, Вы понимаете, что содержание письма заслуживало некоторого внимания. Меня ознакомил с ним сторож, и сделал это, когда я менее всего об этом думал. Сторож предъявил мне распечатанное письмо и заставил меня прочесть его. Я спросил, видела ли это письмо узница, и он заверил меня, что нет. Вы столь ловко сумели замаскировать суть дела, назвав меня посланцем богов и тем самым выставив на посмешище, что я вынужден был прочесть все Ваши восторги и чувствительные излияния. Передавший мне сие послание весьма выразительно заметил, что если бы письмо направили генеральному прокурору, то узницу ожидало бы наказание, Вас — презрение, а меня — позор. То есть намекнули, что огласка сей переписки и Вам и мне не принесла бы ничего, кроме унижения. Сами подумайте, каково в этом случае получается Ваше положение и мое. Я убеждал, умолял, угрожал, упрашивал, но письмо мне не отдавали. Отчаяние мое возрастало. Однако упорство мое победило, и я наконец получил возможность разорвать его в присутствии подателя. Действительно, оно было изорвано на тысячи кусков. Таков исход сего неприятного приключения, коему Ваш славный Равель обязан званием старого болвана.

Обязан Вам сообщить: тюремное начальство отдало строжайший приказ: всю переписку дамы Бодуэн, даже самую крохотную записочку, тщательно прочитывать; нарушителю грозят самые серьезные кары. Так что откажитесь от этой переписки; к сожалению, я сам невольно проявил слабость и поощрил Вас к ней. Вы содеяли зло, не ведая о том, но искупать его Вам. Можно посылать денежные передачи, но не более того. Коли вы хотите по-прежнему помогать ей, все суммы будут передаваться ей в целости и сохранности. На сем и остановитесь. Мне было все сказано предельно ясно, так что никаких ходов я измышлять не намерен. Слишком дорого обошлись мне мольбы дозволить разорвать в мелкие клочки Ваше письмо, дабы оно не стало достоянием гласности и дело бы не получило дальнейшего хода, возможность каковой, как я со страхом убедился, была весьма велика. Итак, оставьте Вашу затею.

Должен теперь сообщить Вам о состоянии дел заключенной и известить, что ни ходатайства, ни шаги по ее защите, ни советы и прочая помощь со стороны правосудия в ее состоянии бесполезны. Вынесено постановление, согласно которому она будет находиться под стражей до тех пор, пока дело ее не получит окончательного решения. Правосудие исполняет все требуемые формальности и отступать от них не собирается. Когда настанет суд, я постараюсь ей помочь, получив возможность высказаться в ее пользу и поддержать ее своими заботами. Но приблизить срок суда невозможно. Можете рассказать о случившемся Гофриди, и он подробно разъяснит вам, какие порядки царят в здешнем Дворце Правосудия.

Еще должен сообщить, что на этих днях из Парижа прибыл ее муж. Сейчас он все еще в Эксе и занят тем, что упрашивает жену отдать ему дочь, находящуюся в тюрьме вместе с ней. Узнав об этом, я попытался воздействовать с разных сторон, дабы в первую очередь были удовлетворены просьбы матери[25].

Возможно, маркиз последовал совету Рейно и отказался продолжать приключение, ставшее для молодой женщины слишком опасным[26].

Происки

Неожиданно до де Сада начинают доходить странные слухи о Гофриди. Мадемуазель Руссе, каноник Видаль из Оппеда и еще кое-кто из обитателей Ла-Коста неустанно и совершенно серьезно намекают на подозрительное поведение конфидента маркиза[27]. Возможно, как полагает г-жа де Монтрей, они хотят дискредитировать управляющего в глазах маркиза и самим занять его место как в сердце, так и во владениях повелителя Ла-Коста. Такое вполне возможно. Во всяком случае, клевета достигает своей цели. Давно уже дурно настроенный по отношению к нотариусу из-за его секретной переписки с г-жой де Монтрей, Сад легко дает себя убедить в его измене. Однако виду не подает, понимая, что нотариус ему еще нужен, и терпеливо выжидает, как советуют ему мадемуазель де Руссе и каноник Видаль. Но, общаясь с подозреваемым, не может не удержаться от издевки.

Я никогда не сомневался в Вашей крайней деликатности, что Вы и доказали, поставив меня перед фактом Вашей переписки с г-жой де Монтрей, — пишет он Гофриди и злорадно добавляет, что в урочное время та, несомненно, покажет ему все письма управляющего, и он с радостью убедится «в его нежной дружеской заботе и прочных доказательствах его непоколебимой верности».

Ему нравится испытывать терпение управляющего:

Кстати, мой дорогой адвокат, — замечает он, — отвечу Вам Вашими же словами: «Вы утверждаете, что постоянно стремитесь быть мне полезным и радеете о моей выгоде». Но какой смысл вкладываете Вы в сие утверждение? Г-жа де Монтрей полагает своей первейшей заботой исключительно ради моей пользы посадить меня в тюрьму; я же полагаю полезным для себя и необходимым нечто совершенно противоположное. А к кому присоединяетесь Вы: ко мне или к ней?.. Надеюсь, Вы понимаете, что вопрос мой — всего лишь шутка, и я задал его только для того, чтобы показать, как одну и ту же фразу можно истолковать по-разному[28].

Позднее в письмах к жене маркиз выступит с еще более тяжкими обвинениями против адвоката, заподозрив его — на основании слухов и клеветы — в том, что именно он побудил Нанон дать против него показания:

Ничто не может сравниться с низостью, к которой прибег Гофриди. Я Вам сообщал об этом, но Вы не удостоили меня ответом, ибо и Вы, и Ваша матушка заблуждаетесь относительно этого мошенника. <...> Вот как поступает это чудовище![29]

«Подобно львице»

Узнав наконец от г-жи де Монтрей о счастливом завершении «великого дела» и заключении под стражу (она по-прежнему не знает о его побеге), г-жа де Сад устраивает матери жуткую сцену и сообщает об этом Гофриди:

Узнав о его заключении, она повела себя со мной надменно и властно, что не могло не возмутить меня. Я столь разгневалась, что не могу ничему радоваться, словно бы и не случилось ничего хорошего. Однако она дала мне понять, что г-н де С<ад> выйдет на свободу, но не сегодня. Ибо *семья* (она уверенно взяла на вооружение это слово) дала понять, что не перенесет, ежели его отпустят из-под стражи до окончания процесса. Но более всего ее уязвляет, что мои идеи и предложения исходят непосредственно от меня, а не от г-на де С<ада>, ибо ей постоянно кажется, что он подсказывает мне, а я как попугай повторяю его слова[30].

В тот же день она сообщает Рейно о своем желании отправиться встречать мужа на дорогу, ведущую в Бурбоннэ, но ее мучают опасения, что она уже опоздала: «Я пошлю кого-нибудь узнать, не вернулся ли Марэ. Если он не вернулся, лечу на дорогу»[31]. С опозданием узнав о побеге, она пишет мужу нежную записку:

Мой добрый и нежный друг, теперь ты веришь, что я люблю тебя, обожаю тебя? Позаботься о своем здоровье, не отказывай себе ни в чем; пиши мне, но не сам, а диктуй свои письма, чтобы они были написаны не твоим почерком, а сам между строк пиши мне тайнописью. Я буду делать так же[32].

Узнав, что зять ее в Ла-Косте, г-жа де Монтрей приходит в ярость, а выведав у дочери, что та намеревается отправиться к мужу, гневается еще более. Председательша мечет громы и молнии и на полном серьезе грозится раздобыть приказ об аресте дочери, если та не образумится. «Она рвет и мечет, словно львица», — пишет г-жа де Сад; председательша никогда не смирится с намерением дочери

<...> пасть еще ниже и скомпрометировать себя, как она уже это сделала, присоединившись к мужу, прежде чем тот *долговременным* достойным поведением своим докажет, что поступок сей не чреват опасностями. А если же любовь или ослепление влекут ее туда, — угрожает разгневанная старая дама, — правительство окажет нам любую помощь в этом честном и справедливом деле. Пусть оказывает услуги супругу, в этом ей никто препятствовать не намерен. Но пусть остается в Париже[33].

Зная, что мать без колебаний обратится в полицию, лишь бы помешать ей уехать, Рене-Пелажи решает перебраться на жительство в монастырь кармелиток на улице Анфер, где занимает апартаменты, прежде принадлежавшие вдовствующей графине де Сад, и оттуда продолжает демарши с целью аннулировать королевский приказ о заточении де Сада без суда и следствия. Но так как Донасьен изо всех сил умоляет жену вернуться как можно скорее, ибо «ее присутствие, по его утверждению, совершенно необходимо по множеству причин», г-жа де Монтрей считает нужным еще раз предупредить Рене-Пелажи:

Ваша честь принадлежит Вашей семье, и я как мать обязана предостеречь Вас и сделать все, дабы отвратить Вас от всем нам известных опасностей, коим Вы вновь хотите себя подвергнуть. Коли Вы желаете, чтобы он оставался на свободе, не доставляйте ему новых хлопот, ибо из-за Вас его этой свободы вполне могут лишить. Советую Вам прислушаться к моим словам: доказать, что я не бросаю их на ветер, несложно, но для г-на де С<ада> сие было бы весьма нежелательно, так что не стоит меня к тому принуждать[34].

«Глупости, пошлости...»

Тем временем над Ла-Костом сгущаются тучи; мрачные предупреждения доходят до маркиза. Из Парижа приходит анонимное письмо: неведомый доброжелатель советует ему быть настороже. «Ерунда, — отмахивается Донасьен, — глупости, пошлости, как обычно! Я в этом не сомневаюсь; все эти секретики всего лишь фарс, не больше; полагаю, они так же стремятся меня схватить, как я — пойти и утопиться»[35].

Вечером 19 августа, неспешно прогуливаясь в парке с мадемуазель де Руссе и г-ном Тестаньером, кюре из Ла-Коста, он неожиданно слышит в кустах довольно громкое шуршание. И несколько раз вопрошает: «Кто там?» Ответа нет. Приблизившись, он обнаруживает Самбюка-старшего, служащего в замке привратником; пребывающий «в легком подпитии» привратник с «видом крайне взволнованным и испуганным» велит маркизу поскорее убираться, ибо в трактире собрались молодчики с «физиономиями крайне подозрительными». Милли Руссе тотчас идет в деревню, дабы самой во всем удостовериться; вернувшись через час, она сообщает маркизу, что в трактире проездом остановились торговцы шелком и причин для беспокойства нет[36]. Слова ее маркиза не убеждают, и он в ту же ночь решает перебраться в Оппед, к канонику Видалю, взяв с Милли Руссе обещание держать его в курсе всех новостей и дважды в день с курьером пересылать почту. Но едва известия становятся тревожными, он тотчас покидает Оппед и прячется в заброшенном амбаре, в одном лье от деревни. Обезумев от беспокойства, уверенный, что вот-вот к нему нагрянут сбиры, он мечется, не зная, чем себя занять. К чему ждать, пока его найдут, не лучше ли сразу покинуть эту дыру? Когда 23 августа каноник Видаль приходит навестить его, он застает маркиза в сильнейшем волнении.

— Что с вами? — громко вопрошает каноник.
— Ничего; я хочу покинуть этот сарай.
— Вам здесь плохо?
— Нет, но я хочу уехать.
— И куда вы хотите отправиться?
— К себе.
— Вы с ума сошли! Я ни за что не стану вас сопровождать!
— А я этого и не требую; я прекрасно доберусь и сам!
— Подумайте хорошенько, что вы делаете! Заклинаю вас!
— Все уже обдумано: я хочу домой.
— Не будьте слепцом, вас же предупредили в письме о грозящей вам опасности!..
— Да, предупредили, но, на мой взгляд, все это пустые сплетни; нет никакой опасности. Едем!
— Давайте подождем хотя бы еще четыре дня!
— Говорю же вам, я не желаю больше ждать; я хочу уехать![37]

Поняв, что ему никак не удержать маркиза, добрый каноник сопровождает его до самого Ла-Коста, куда тот прибывает, совершенно обессилев. Опасаясь потревожить его отдых, в тот день никто даже не пытается убедить маркиза в его ошибке; но уже завтра все принимаются усиленно его уговаривать вернуться в убежище. Он отказывается. 25 августа

он получает письмо от жены, извещающей о продаже его должности генерального наместника провинций Брес, Бюже, Жекс и Вальроме его кузену, Жан-Батисту Жозефу Давиду, графу де Саду д'Эгийер[38].

Должность продана за свою цену, – лаконично замечает Донасьен. – Это всего лишь один из поворотов судьбы, и сулит он только утрату моих восемнадцати тысяч ливров ренты; впрочем, я продам землю, и все выйдет то на то. Мне остается титул и честь, хотя особой нужды ни в одном, ни в другой я не чувствую: из-за них у меня слишком много врагов[39].

«Великий Боже, какой кошмар!»

На следующий день, в среду 26 августа, в четыре часа утра, Готон врывается в спальню хозяина, «почти раздетая и запыхавшаяся». «Спасайтесь!» – кричит она. Одним прыжком Донасьен вскакивает с кровати и, как был, в ночной рубашке, бросается к двери, карабкается на чердак и запирается в чулане, убежденный, что разбойники пришли убивать его. Внезапно на лестнице раздаются голоса и топот ног; шум приближается, кто-то кричит: «Убивают! Пожар! Грабят!» Не выдержав натиска нападающих, дверь с треском распахивается, и в чулан врывается инспектор Марэ в сопровождении четырех парижских приставов и шести местных жандармов, призванных им на подмогу. Полицейские наводняют каморку и окружают де Сада: один приставляет к его горлу шпагу, другой направляет на него дуло пистолета. Марэ принимается грозно отчитывать маркиза за побег, совершенный им в Валансе; как ему удалось бежать? «Отвечай, отвечай, несчастный! – вопит он. – Отвечай, иначе тебе придется коротать век в темном сыром подвале, в подземной темнице, как у тебя в замке... где... где... где нашли мертвые тела!»[40] Де Сада связывают и стаскивают вниз, где ждет полицейский фургон; маркиза «грузят» в фургон, и, провожаемый изумленными взорами разбуженных ночным вторжением Самбюка и кюре Тестаньера, фургон катит в сторону Парижа. Путь занимает около тринадцати дней. Когда колымага проезжает Кавайон, весь город высыпает поглазеть на сеньора Ла-Коста, путешествующего под плотным конвоем полицейских приставов; в Авиньоне, городе, где у арестанта немало родственников, свидетелями его позора становятся более трехсот человек[41].

Великий Боже, какой кошмар, какой кошмар! – восклицает он, сообщая о случившемся жене. – И это после того, как почти все члены нашей семьи поздравили меня с успешным исходом процесса, уговаривали меня приехать навестить их, стремились обнять меня и из собственных уст передать мне свои поздравления, после того как, желая сделать мне приятное, они усердно распространяли слухи о полном моем оправдании в результате состоявшегося судебного процесса, убеждали всех, что теперь любое наказание – если таковому меня решат подвергнуть – явится карой не за былые прегрешения, а за вновь доказанное преступление <...> и вот, после всех этих лестных слов, каково мне пережить вторжение в мой дом грубых, остервенелых, наглых субъектов, которые схватили меня словно самого отпетого негодяя, подонка из простонародья, связали так, что я едва дышу, и, бесстыдно выставив на всеобщее обозрение, под конвоем везут по всей провинции, по

тем самым местам, где только что обнародовали мой оправдательный приговор и подтверждающий его вердикт![42]

Воспользовавшись двухдневной остановкой в Лионе, де Сад ухитряется отправить инструкции Гофриди: управляющему предписано полностью собрать все доходы, что приносит Соман, предпринять все возможное, чтобы сохранить для него соманский замок, равно как и Виньерм, а главное, не допустить разворовывания библиотеки покойного аббата и его кабинета естественной истории. Относительно Ла-Коста распоряжения следующие: отобрать ферму у Шовена и передать ее Самбюку, родственнику привратника; он обещал ему уступить ее за пять тысяч шестьсот ливров; и пусть арендный договор будет составлен не более чем на шесть лет, ибо «полная глупость подписывать аренду на девять лет».

Надеюсь, Вы пробудете в Ла-Косте какое-то время, необходимое для наведения там порядка, — продолжает он, — ведь меня увезли насильно, и я впопыхах все бросил; мне едва удалось перекинуться несколькими словами с мадемуазель де Руссе. Согласуйте с ней исполнение данных ей поручений. <...> Ежели Вам понадобятся бумаги из моего кабинета, обратитесь к мадемуазель де Руссе: ей я оставил от него ключ; когда же Вы заберете требуемое, она вновь запрет кабинет и передаст ключ жене, ибо я не хочу, чтобы его открывали, пусть даже под благовидным предлогом.

Также он приказывает увеличить жалованье Готон на шесть ливров в месяц, «дабы она занялась уходом за парком и террасами», и составить опись всей имеющейся в замке мебели[43].

Отмена Кассационным судом приговора 1772 года означала, что г-жа де Сад более не является управительницей Ла-Коста, и, хотя королевский приказ не отстранял ее от управления имуществом супруга, предполагалось — как само собой разумеющееся, — что маркиз сам станет управлять своими поместьями с помощью Гофриди. Это положение вполне могло стать дополнительным аргументом в разговоре с г-жой де Монтрей: «Не забывайте, дорогой адвокат, напоминать моей теще, что мое присутствие в Ла-Косте совершенно необходимо для решения накопившихся дел; ради них побудите ее поскорее добиться моего освобождения».

Седьмого сентября 1778 года в половине девятого вечера, после долгих тринадцати дней, проведенных в дороге, маркиз де Сад в сопровождении инспектора Марэ прибыл в Венсеннскую крепость. После выполнения требуемых формальностей арестант был помещен в камеру № 6.

* * *

Узнав, что муж ее арестован, г-жа де Сад поняла, что все, и прежде всего мать, ее предали; в отчаянии и растерянности она шлет слезное письмо мадемуазель де Руссе, в котором умоляет ее приехать к ней в Париж. Не зная, когда девушка сможет выехать, г-жа де Сад наугад посылает ей еще одно пространное послание, где в полной мере нашли свое выражение и боль, и отвращение, и жажда мщения:

Боже мой! Какой удар! В какую бездну отчаяния они меня вновь повергли! Как выбраться из нее, кому доверять, кому верить? После всех обещаний, уговоров и посулов я не могу ни успокоиться, ни вынести верное суждение, ни принять взве-

шенное решение. Стоит мне только подумать о противоречиях, лжи и лицемерии тех, от кого зависит ход событий, у меня буквально все из рук валится и я совершенно не вижу выхода из создавшегося положения. Я рада, если Вы написали моей матери подробное письмо; но еще больше меня обрадует, ежели окажется, что вы уже на пути в Париж. Со времени известного Вам события я более не вижусь с матерью, но я написала ей письмо, где поклялась никогда не прощать ее и мстить ей вечно, если через три дня она не раздобудет мне разрешения присоединиться к мужу, куда бы его ни отправили. <...> Я устала, целых восемнадцать месяцев меня все обманывают. Министры напоминают мне стены. Возможно, они считают, что я должна удовлетвориться их жалкой подачкой — разрешением писать ему записочки, которые затем будут читать надзиратели. Я не хочу снова попасть в прежние ловушки, куда я уже не раз попадала: я слишком много страдала[44].

Потрясенная новой, только что случившейся бедой («я сделалась совершенно больна», — пишет она), мадемуазель де Руссе умоляет Гофриди выступить ходатаем маркиза перед председательшей:

Вспомните о несчастном, чьи стоны не долетают более до ушей мадам де Монтрей, и простите ему его заблуждения. Он Ваш друг, он искренне любит Вас, Вы можете помочь ему сократить срок его мучений. Сделайте это, заклинаю Вас, и не забывайте сообщать мне новости, как только они у Вас появятся[45].

Сражение бархатных лапок

Прибыв в Париж в первых числах ноября, Мари-Доротея поселяется у г-жи де Сад в монастыре кармелиток, и та окружает ее всяческими заботами («я чувствую себя избалованным ребенком, которого ублажают как только могут», — замечает она). Но она не забывает об основной цели своего приезда — освобождении маркиза, и испрашивает аудиенции у председательши. Г-жа де Монтрей принимает посетительницу «со всей подобающей учтивостью, любезностью и вниманием». Встреча их, по словам великолепной рассказчицы, каковой является мадемуазель де Руссе, напоминает поединок

<...> двух кошек, собирающихся вступить в схватку, и кошка, готовая напасть первой, то и дело выпускает из своих бархатных лапок острые коготки, дабы раздразнить противницу. Схватка началась незаметно, как бы между прочим, и продолжалась до тех пор, пока я не решила перейти к осаде. И вот тут, в пылу битвы, когда мысли путаются и перемежаются, я неожиданно осознала, что г-на де С<ада> любят, и противнице моей тяжко признавать свою причастность к заточению его туда, где он сейчас пребывает.

Мадемуазель де Руссе начинает с «немного преувеличенных» описаний страданий узника в Венсенне в течение восемнадцати месяцев.

Сейчас он находится в лучших условиях, чем прежде, — отвечает председательша. — Ему дозволены свидания, он может беспрепятственно писать письма, равно как и пользуется прочими мелкими послаблениями. Но что делать? Остальное от меня не зависит.

Ах, я это прекрасно знаю, — подхватывает де Руссе, — и обращаюсь к вам только затем, чтобы вы подсказали способы, какими можно действовать. Я давно не была в Париже, вы знаете этот город гораздо лучше; мне нужна поддержка; но где ее найти, если не подле нежной матери?

После этого обе женщины приступают к деликатной части разговора, касающейся «заблуждений» Донасьена.

Он признает их, — заявляет мадемуазель де Руссе, — однако он не исправится, если будет находиться там, где находится сейчас. — О! если бы вы знали, мадемуазель, чего он только не обещал мне в прошлый раз! Посмотрите вокруг, вот в этой самой комнате в чем он мне только не клялся! — Я верю вам, однако уверена, что он хотел сдержать свои обещания. Но человек слаб! И Вы, сударыня, это знаете; возраст и несчастья произвели в нем большие изменения. — Я на это надеюсь! Скажите мне, мадемуазель, — вы готовы поручиться за него?

После недолгих размышлений она «не слишком скоро, но и не слишком затягивая», ответила, потупив взор: «Да, сударыня». Однако семья противится его освобождению; еще никто из ее членов не выступил с просьбой отменить приказ о его заточении.

Подхватив мячик на лету, Мари-Доротея напоминает, что по собственной инициативе выступила с ходатайством перед тетушками Донасьена — мадемуазель де Вильнев и аббатисой из монастыря Святого Лаврентия, и обе они искренне желают освобождения племянника. «Командор и тетушки из Кавайона придерживаются, разумеется, такого же мнения», — дерзает заявить она.

Они имеют полное право требовать его освобождения, — отвечает г-жа де Монтрей. — Я нисколько не возражаю против их требований, моя собственная дочь не раз этого требовала, однако напрасно. Что же касается оснований, имеющихся у правительства поступать таким образом, то если бы даже они были мне ведомы, то, разумеется, обсуждать их было бы не в моей компетенции. Полагаю, эта разумная предосторожность предпринята в ответ на те отклонения в поведении, которые столь часто допускал мой зять[46].

Затворница и заключенный

Едва выйдя из дома председательши, мадемуазель де Руссе пишет письмо Гофриди, умоляя добиться для заключенного поддержки семьи. «Господин адвокат, убедите всех, что в его отстутствие дела придут в упадок. Со своей стороны, я уговорю авиньонских тетушек, кузин и прочих родственников предпринять шаги в его пользу»[47]. Но провансальские родственники не дают никаких оснований для подобных иллюзий. За исключением аббатисы из обители Святого Лаврентия и кузины Анриетты, тетушки-монахини стоят на стороне г-жи де Монтрей; твердость души ее восхищает их, и они питают к ней безграничную признательность за упорство, с которым та пытается спасти честь их рода. Командор также поддерживает председательшу. Вот, к примеру, что пишет Габриэль-Элеонор де Сад, аббатиса из монастыря Святого Бенедикта в Кавайоне, в письме к председательше от 29 января 1779 года:

Я весьма привязана к мадам де Сад и ценю дружеские узы, нас связывающие. Но у нее есть один недостаток: слишком большая слабость к собственному мужу, который, к несчастью для нее и для нас, дурным поведением своим выказал себя недостойным ее дружбы. Мне бы хотелось, чтобы эта женщина осознала необхо-

димость подержать его еще какое-то время взаперти. Я использовала все доводы, какие только нашла, чтобы убедить ее в этом, но весь ум ее, вся ее добродетель и весь разум никак не могут помочь ей спокойно переносить разлуку с мужем. Я разделяю ее горе и печаль, но мне хотелось бы, чтобы она поняла и позицию семьи. Она слишком добра и от этого несчастна, ибо принимает слишком близко к сердцу коснувшиеся ее печальные события. Муж ее, похоже, действительно теперь пребывает в достойном расположении духа; но кто может за него поручиться? Разумеется, все мы более всего хотели бы видеть его в кругу семьи, убедиться, что он ведет достойную жизнь, подобающую человеку его ранга, что поведение его заставляет забыть прежние его заблуждения, произведшие на публику поистине неизгладимое впечатление. Надеюсь, такое время наступит, и в один прекрасный день он доставит нам столько же утешения, сколько некогда доставил горя[18].

Через несколько недель аббатиса вновь возвращается к этому животрепещущему вопросу, но теперь говорит все без обиняков:

Я польщена, сударыня, Вашим желанием вступить со мной в переписку. Таким образом я буду иметь честь поближе познакомиться с Вами и выразить Вам свою особую признательность. Тысяча благодарностей за любезные слова, сказанные в мой адрес в Вашем письме. Я всегда готова подписать любые бумаги, необходимые, на Ваш взгляд, для улаживания дела. В этом отношении я Вам полностью доверяю. Все, кто носит имя де Сад, внушают Вам, сударыня, особое почтение, и наша семья весьма Вам за это признательна. Понимая, сколь великую услугу Вы нам оказали, мы не намерены ни препятствовать Вам, ни оставлять без внимания Ваши демарши, имеющие касательство к нашей семье. Мы доверяем Вам как никогда и имеем для того множество оснований. С признательностью вкушаем мы плоды Ваших забот и Вашей мудрой осмотрительности. Мне остается, сударыня, только просить Вас продолжать Ваше доброе дело ради несчастной семьи, обязанной Вам честью и жизнью.

Воистину, с прискорбием я узнала про упорство мадам де Сад. Полагаю, что, требуя с подобной неосмотрительностью и настойчивостью свободы для своего мужа, она скорей всего не сознает, что требует сделать свою жизнь окончательно несчастной. Когда она пытается оправдать в глазах публики поступки мужа, я ее понимаю: этим она исполняет свой долг. Но мне бы хотелось, чтобы она понимала все возможные последствия исполнения ее просьбы, последствия, которые уже имели место и, к сожалению, могут иметь место в будущем. Чувство жалости, невероятно приятное, не должно заставить нас изменить наши планы, продиктованные необходимостью и предусмотрительностью. Свобода для моего племянника может и должна быть исключительно платой за его хорошее поведение. После многократных рецидивов мы сами должны убедиться в его добропорядочности, прежде чем возвращать его обществу, дабы не нести ответственности за его новые проступки, на которые он скорее всего все еще способен; последствия сих проступков были бы непоправимы, и это переполнило бы чашу нашего отчаяния.

Все это я неоднократно излагала своей племяннице, но безрезультатно; она непреклонна и глуха к гласу разума. Я же, сударыня, сколь бы ни была растрогана картиною страданий ее мужа, ею нарисованной, в данном случае предпочитаю надлежащую строгость, нежели снисходительность, ибо снисходительность может оказаться для него плачевной. Опыт прошлого стал для нас ужасным уроком. Я пишу своей племяннице в как можно более дружелюбном тоне, разделяю ее горести, хотя и не одобряю повод, их вызвавший. Я повторяю ей, что невозможно, да и неразумно продолжать просить выпустить мужа на свободу. Я пыталась уговорить ее оценить все те неудобства, к которым может привести сия просьба. Я убеждаю ее, что уповать следует только на донесения о его добропорядочном поведении, кои будут до нас доходить. Мне известно, что она перестала доверять матери, коя, напротив, должна была бы пользоваться полным ее доверием, ибо всегда действо-

вала только ради ее счастья, спокойствия, а также достояния и чести ее детей, и попыталась убедить ее в этом. Я напомнила ей обо всем, чем она обязана Вам; мы также, вместе с ней, разделяем сии обязательства. Мне хотелось побудить ее сблизиться с Вами и во всем на Вас положиться. Также я прибавила, что вся моя семья слишком Вам обязана, чтобы не согласовать с Вами свое поведение в этом деликатном вопросе. Наконец, я, как могла, постаралась ее утешить, убеждая, что со временем все уладится, просто нужно иметь терпение и ждать. На что в письме от шестого числа текущего месяца она мне ответила: «Разве трех лет недостаточно? На мой взгляд, это слишком много и для его чести, и для чести семьи. Как можно проявить достойное поведение, — добавляет она, — когда находишься в четырех стенах? Разве семья его, напротив, не должна была бы стремиться поскорей увидеть его на свободе, увидеть его собственными глазами, дабы наблюдать произошедшие в нем перемены?» Она говорит, что ему необходимо быть свободным для приведения в порядок изрядно запущенных дел. Тут, как мне кажется, она права: никто не сможет привести в порядок его дела, действительно крайне запутанные. Его кредиторы вопиют, но никто их не слышит. Деловые люди говорят, что у них связаны руки и они не могут ничего предпринять.

Смерть моего бедного брата-аббата вызвала большое замешательство, продолжающееся и поныне. Дела стоят на месте. Конечно, это печально, но ежели г-на де Сада выпустят на свободу, нас, скорее всего, постигнет еще большее несчастье. Разумеется, я желаю ему скорейшего освобождения, хотя бы только для того, чтобы мадам де Сад утешилась, ибо я люблю ее и бесконечно уважаю; тем не менее мне бы хотелось, чтобы для освобождения имелся исключительно веский повод.

Удивлена, что мои сестра и племянница, аббатиса из обители Святого Лаврентия[49], попались в расставленную им ловушку. Письмо, о котором Вы мне говорите, плохо согласуется с их чувствами. Я просила за г-на де Сада активнее и чаще, чем они, но теперь я остерегаюсь предпринимать новые шаги, чтобы из-за чувства сострадания не нажить новых горестей. Мой брат командор и другие члены нашей семьи доверяют Вам, сударыня, Вашей осмотрительности и Вашей проницательности. Действуйте, и Ваши действия получат одобрение. Мы расцениваем поведение Ваше выше всяческих похвал и полностью на Вас полагаемся.

Поверьте, сударыня, я живо ощущаю неудобства и неприятности, кои приходится претерпевать Вам, следуя избранной Вами линии поведения. Есть от чего прийти в отчаяние, когда приходится все время бороться против собственной любимой дочери, не понимающей, что действия Ваши обусловлены исключительно ее интересами. Но что тут поделаешь? Надо жалеть ее, терпеть ее слабость, утешать ее и излечивать от заблуждений. К несчастью, она слишком привязана к мужу, нисколько не заслуживающему ее дружеского участия; впрочем, недостаток сей вытекает из похвального принципа.

Поведение мадемуазель де Руссе кажется мне весьма неблаговидным, и мне чрезвычайно жаль, что моя племянница во всем ей доверилась. Это создание оказывает ей дурную услугу, поддерживая ее идеи. Я хочу написать ей об этом.

Благодарю Вас, сударыня, за оказанное мне внимание, за новости о моих малютках-племянниках, коих я нежно люблю. Надеюсь, приобретаемое ими достойное воспитание пойдет им на пользу и образцовое поведение их станет нашим утешением, столь же великим, сколь велико было наше несчастье, причиненное заблуждениями их отца. Мадам де Сад сообщила мне, что старший ее сын преуспел в ученье, дела его идут прекрасно, он делает успехи.

Примите, сударыня, мои заверения в нежной к Вам привязанности и подлинной признательности, остаюсь Вашей смиреннейшей и почтительнейшей слугой.

Сестра де Сад[50]

Глава XVI
ЗАСТЫВШЕЕ ВРЕМЯ
1778–1790

«Господин № 6»

Для каждого заключенного, в тюрьме какого бы государства он ни сидел, история прекращает существование за порогом камеры, а время, отмеряемое механическими часами, становится величиной абсурдной: в тюрьме человек погружается в безвременье, в пространство, где время отменяется. Тюремный мир представляет собой «иной мир» и, подобно городу-утопии, живет по собственным космогоническим законам. В нем все подчинено регулярному чередованию, но лицу непосвященному подобная регулярность совершенно чужда; в этом мире есть свои циклы и своя система ценностей, свои законы, свой образ правления, наконец, своя алгебра, благодаря которой существует и воспроизводится логика заточения в безвременье. В течение двенадцати лет, проведенных под замком — сначала в Венсенне, а потом в Бастилии, — жизнь де Сада будет являть собой бесконечную извращенную игру, где постоянно приходится выбирать между принуждением реальным и принуждением вымышленным (даже добровольным), а также нескончаемым протестом; однако, читая письма де Сада-узника, невольно задаешься вопросом, не является ли этот протест своего рода стилистическим стереотипом, в котором он и получает свое разрешение. Напомним также и про видения, порожденные столь буйным воображением, что его хватило оплодотворить самое фантазматическое творение, когда-либо рожденное в четырех стенах тюремной камеры. В тюрьме маркиз де Сад олицетворяет себя исключительно в создаваемых на бумаге образах; он существует только посредством слова; случайности, которым подвластна жизнь человеческая, исчезают, остается *знак.* Письма де Сада доносят до нас ход его размышлений: отныне все вопросы только к ним.

Заключение неизбежно сопровождается сменой идентификации. Донасьен временно расстается (о чем сам не знает) со званием дворянина и получает регистрационный номер; как он сам пишет в одном из посланий к мадемуазель де Руссе, он становится «господином № 6». Итак, «господин № 6» постоянно жалуется на новые условия. Ему пришлось отпустить бороду; ему вернули часть белья, несколько книг и одно из писем жены; ему кажется, что камера № 6 гораздо менее удоб-

на, чем камера № 11, которую он занимал прежде, ибо в ней не только нельзя развести огонь зимой, но и полно крыс и мышей, не оставляющих его в покое ни на минуту. Он просит кошку, чтобы избавиться от них, а ему отвечают, что держать животных в камере запрещено. «Какие же вы тупицы! – кричит он. – Если присутствие животных в камере запрещено, значит, запретите являться туда мышам и крысам!» В 1783 году он станет просить позволения завести собаку, чтобы скрасить одиночество, «маленькую собачку, желтенькую, дабы воспитывать ее: спаниеля или легавую»[1]. Он жалуется, что камера его

> <...> крайне сырая и нездоровая, из окна едва виден кусочек неба, а доступа воздуха нет вовсе, словно боятся, что я могу улететь вместе с ветерком <...>. Я прошу камеру на верхнем этаже, – продолжает он, – не важно какую, лишь бы зимой в ней можно было разводить огонь, ибо здесь совершенно невозможно находиться, а также чтобы в ней был воздух и можно было видеть небо; вот и все мои просьбы[2].

Еще одно неудобство для любящего поспать маркиза: каждый день в шесть утра к нему в камеру входит тюремщик. Впрочем, в этом вопросе жалобы его возымели действие: ему удалось добиться отмены столь неуместного подъема. Наконец, он требует права на прогулки: это требование составляет основное содержание его жалоб[3].

Ах эти прогулки! Сто раз их отменяли, потом опять разрешали, потом снова отменяли, в зависимости от примерного или дурного поведения узника. Прогулка для тюремщиков – идеальное средство шантажа, право на прогулку становится у де Сада навязчивой идеей. Как только его лишают этого права, он тотчас принимается вопить, словно на дыбе, проклинать палачей, которым нравится его мучить (*садист* – это всегда кто-то другой), грозить, бушевать, стенать, пока ему наконец вновь ее не разрешают. Через некоторое время очередное наказание, лишение прогулки (повод, как обычно, исключительно пустяковый) – и новая истерика. Прогулка и дата освобождения – вот две основные мысли, одолевающие де Сада в течение двенадцати лет заключения. Начиная с 7 декабря 1778 года, после трех месяцев заключения, ему разрешили два раза в неделю выходить подышать воздухом, получать бумагу и перья в любых количествах. На следующий год количество прогулок было увеличено до трех, а затем и до четырех раз в неделю; и все же привилегия эта, весьма значительная, не принесла ему полного удовлетворения: «Мое здоровье требует, чтобы я дышал воздухом хотя бы по часу в день; именно этого я и добиваюсь», – пишет он жене[4]. 25 апреля 1780 года просьба его будет удовлетворена начальником полиции Ленуаром.

* * *

За исключением ряда ограничений, г-н де Сад устроен в Венсенне совсем неплохо – даже хорошо, хотя сам он и не желает этого признавать. Жена взяла на себя его материальное обеспечение: у него есть все необходимое; она заказывает ему платье у его постоянного портного

Карлье[5], в достатке снабжает нательным бельем и домашней одеждой, присылает тысячи мелочей, которые он у нее просит (точнее, требует, чаще всего с криком; он не выносит ни малейшей задержки): свечи, губки, «пилюли для желудка» (еще одна навязчивая идея), «головные повязки», «кельнскую воду», «ароматические пастилки для воскурения», «стаканчик в чехле», «подушечку для кресла, дабы было мягко сидеть» (из-за геморроя), песок, чтобы отмерять время, бумагу, перья и т. п. При необходимости он посылает за покупками своего тюремщика, славного малого, откликающегося на имя Лавизе[6]. Г-жа де Сад регулярно оплачивает предъявляемые ей счета — как из Венсенна, так и из Бастилии[7].

Меню господина де Сада

В тюрьме потребности маркиза сокращаются до самых элементарных: он хочет, чтобы было тепло, в достатке еды и не одолевали болезни. Когда все три условия соблюдены, его начинают захлестывать волны необузданного воображения.

В письмах, адресованных Рене-Пелажи, он подробно расписывает меню узника, которое, насколько нам известно, изрядно отличается от рациона свободного человека. Это различие должно оказывать двойное воздействие: с одной стороны, скрасить тюремные будни, с другой — посредством пищи символически восстановить нехватку всего, чего нет у заключенного. Мирабо, проведший несколько месяцев в том же узилище, что и Сад, так описывал трапезу заключенных:

> Вот что подавалось им в течение всего года. На обед закуска и жидкая каша; каждый четверг в качестве закуски подавали паштет; на ужин была закуска и жаркое; фунт хлеба и бутылка вина в день, два яблока на одну из трапез четверга и воскресенья. <...> Но в основном в тарелках плавает ужасная мерзость. Узники обедают в одиннадцать часов утра, ужинают в пять вечера. Этот распорядок не только смешон, но и вреден, ибо сначала между трапезами проходит восемнадцать часов, а затем — всего лишь пять[8].

Но благодаря продуктам, которыми его снабжает жена или покупает Лавизе, у Донасьена иной режим. Он имеет все, что пожелает. Вот, к примеру, меню на неделю, заказанное им главному повару бастильской кухни:

ПОНЕДЕЛЬНИК

Обед

Вкусный суп-потаж (далее я не стану повторять эту фразу, ибо суп-потаж всегда должен быть свежайшим и вкусным, как утром, так и вечером)
Две сочные телячьи котлетки в сухарях
Жидкая каша
Два печеных яблока

Ужин

Суп-потаж
Четыре свежих яйца

ВТОРНИК

Обед

Суп-потаж
Половинка птицы (непременно сочная)
Два маленьких горшочка с ванильным кремом
Два печеных яблока

Ужин

Суп-потаж
Мелко нарубленное мясо птицы, оставшейся от утра

СРЕДА

Обед

Суп-потаж
Телячьи почки
Шоколадный крем
Два печеных яблока

Ужин

Суп-потаж
Два горшочка бульона с яйцом

ЧЕТВЕРГ

Обед

Суп-потаж
Два крылышка рябчика в соусе
Шпинат тушеный
Две печеные груши

Ужин

Суп-потаж
Мелко нарубленное мясо рябчика, оставшегося с утра

ПЯТНИЦА

Обед

Суп-потаж
Рис, сваренный в молоке
Два печеных яблока

Ужин

Суп-потаж
Четыре свежих яйца

СУББОТА

Обед

Суп-потаж
Две сочные бараньи котлетки
Кофейный крем
Две печеные груши

Ужин

Суп-потаж
Небольшой сладкий омлет из двух яиц и свежего масла

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Обед

Суп-потаж
Разнообразные колбаски
Два нежных артишока в собственном соку
Две печеные груши

Ужин

Суп-потаж
Пирожок с яблоками

Как мы видим, в этом меню нет никаких излишеств: все гармонично, взвешенно, подчеркивается не столько необходимость количества пищи, сколько ее качество. Ужин и вовсе кажется необычайно легким — несомненно, чтобы избежать несварения желудка и бессонницы. Каждый день — печеные груши или яблоки, облегчающие пищеварение, особенно в условиях практического отсутствия движения. Еда простая (ни соусов, ни рагу, почти нет пряностей) и недорогая (стоимость трапезы никогда не превышает восьми су). Вино г-н де Сад потребляет умеренно, любым крепким напиткам предпочитает бутылку старого, выдержанного вина. Получив однажды бутылку ликера, которую он принял за сладкую ратафию, настоянную на цветах апельсинового дерева, он, ничего не подозревая, залпом проглотил добрую четверть кубка. Реакция не заставила себя дожидаться:

Ни слова больше; это же настоящая водка, какую потребляют только крючники, ибо никто, кроме них, не способен вынести эту крепость; такого я еще не пробовал! Ни разу за свою жизнь я не выпил ни капли чистой водки, так что можете себе представить, как я обжег себе нёбо, десны и грудь. Благодарю за любезность, Вы просто очаровательны! Теперь два или три дня буду кашлять кровью[9].

Спустя месяц новая передача от жены — и новый взрыв гнева:

Если бы в Париже чинили истинное правосудие, то поставщик этих ликеров давно бы болтался на виселице. Когда я пишу Вам эти строки, самочувствие мое ужасно — и все из-за того, что я выпил две ложки одного из тех ликеров, за которые мы платим по три франка за полбутылки. В его состав, несомненно, входят перец, окись свинца, графит, сера и все прочие снадобья, коими пользуются, изготовляя напиток Люциферу, когда хотят уморить его![10]

Помимо трапез, которые подаются ему прямо в камеру, он получает множество посылок с едой; жена передает ему излюбленные деликатесы: паштет из угря, жирных дроздов или мухоловок на вертеле с прослойками из сала и виноградных листьев, готовых к употреблению; паштет из маринованного лосося, окорок и т. п. Он требует, чтобы ему подавали масло исключительно из Бретани, и только то, которое там называют «маслом младенца Иисуса».

Садические услады

Наибольшее удовольствие доставляют маркизу де Саду паштеты и сладости; их он способен есть бесконечно: в молчаливом уединении камеры, мысленно предаваясь поистине фантасмагорическим оргиям, он в невероятном количестве поглощает меренги, бисквиты, печенье, варенья, мармелады, желе, сиропы, паты, свежие и засахаренные фрукты, каштаны в сахаре... Неудержимую страсть он питает к шоколаду, любит его во всех видах: в виде крема, в пирожных, в плитках:

Я просил Вас через две недели прислать мне то пирожное в сахарной глазури, что Вы присылали мне в прошлый раз, — пишет он жене. — Только мне бы хотелось, чтобы оно было все шоколадное, черное снаружи и внутри, словно закопченная задница дьявола. Глазурь также должна быть шоколадной[11].

В следующий раз он заказывает «большой бисквит с шоколадом; внутри должно быть много ванили; если бисквит окажется невкусным, я отошлю его обратно. Да, не забыть сверху покрыть его глазурью. А также прислать ванильных пастилок в шоколаде»[12]. К пирожным мадлен у него особых пожеланий нет, хотя при одном только упоминании о них у него слюнки текут:

Начиная с сегодняшнего дня и до 15 мая пришлите, и без напоминаний, новую партию сладостей, вкусных, свежих и разнообразных: тех маленьких пирожных в виде пирамидок, из песочного теста, которые, по Вашему мнению, *похожи на мадленки,* или же *больших* пирожных, о которых я просил Вас два года назад.

Ему также очень нравится провансальское варенье, именуемое *китайским,* — джем, сваренный на основе маленьких зеленых апельсинов, он часто заказывает его Рене-Пелажи. Для узника год имеет всего два времени: с 15 мая по 15 ноября, когда он раз в две недели заказывает себе фрукты; и с 15 ноября по 15 мая, когда он с той же регулярностью заказывает себе пирожные[13].

Надо ли говорить, что из-за своего пристрастия к сладкому в соединении с отсутствием физических упражнений и вынужденной неподвижностью он быстро набрал вес. За несколько лет он превратился в толстяка; процесс этот очень беспокоит его жену: «Он чувствует себя хорошо, однако сильно поправился», — пишет она Гофриди.

«Я страдаю...»

Эту фразу он повторяет всем, кто готов его слушать. Но, если верить ему, никто не принимает его жалобы всерьез. Даже жена, хотя в письмах к ней он постоянно убеждает ее в реальности своих страданий и жалуется на небрежение, с которым все к нему относятся.

Разумеется, сударыня, Вы считаете жалобы мои необоснованными, но я жалуюсь исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание. <...> Увы, сударыня, я поистине страдаю, и, самое худшее, что чем дальше — тем больше.

Жене нужен пример бесчеловечного обращения с ним тюремщиков? Пожалуйста. Несколько дней его мучит ужасный кашель.

Вот уже несколько дней как я дурно себя чувствую, — сетует он, — а вчера вечером мне стало совсем худо, и я написал записочку врачу (г-ну Фонтельо. — *М.Л.*) с просьбой прислать нового лекарства, рассчитывая получить от него облегчение. Я ложусь спать и засыпаю почти спокойно, уверенный, что мне принесут требуемое. <...> «Ну что же, — спрашиваю я, проснувшись, — вы принесли мне лекарство, которое я заказывал? — Разумеется, нет, — отвечают мне, — вам возвращают вашу записку. — Мою записку? — Да, сударь, вашу записку; вы адресовали ее врачу, а это нарушение <...> ее надо адресовать коменданту. — А лекарство? — О, лекарство <...> если комендант примет положительное решение по вашей записке. <...> Ну, что Вы на это скажете? Неужели по-прежнему станете утверждать, что он мил и любезен? Ах, говоря по справедливости, я понимаю, что вины тех, кто выполняет приказы, тут нет, проклинать надо неисправимую глупость тех, кто эти приказы отдает. <...> А хотите еще одно доказательство, можно сказать, еще тепленькое? Три или четыре дня назад из-за ужасного холода я не смог спуститься в сад. Но вот потеплело <...>. Я спускаюсь в сад <...>. Когда я гуляю в саду, мне сообщают, что пришел врач. «Прекрасно, — отвечаю я, — пусть он спустится в сад. — Сударь, — отвечают мне, — это невозможно; спускаться в сад ему категорически запрещено. Выбирайте, сударь: или осмотр врача, или прогулка в саду. — Увы, — отвечаю я, — и то, и другое пойдет мне на пользу. — Вполне возможно, сударь; но речь идет не о вашей пользе, а о правилах». <...> Вот видите, маркиза, каково мне приходится! Что Вы теперь на это скажете? Врач не смог осмотреть недужного в саду! <...> Наверное, только у умирающего есть право на осмотр врача! Какая низость! <...> Как только правительство терпит такие гнусности? И никто и не подумает отругать этих людишек, способных тиранить достойных людей, мучить их капризами, какие только может измыслить их глупое воображение! Неужели мир будет их терпеть? Если потребуется, я готов дать на отсечение обе руки, лишь бы разоблачить те низости, те гнусные интриги, те заговоры, которые плетутся исключительно из-за скупости и алчности! Теперь я знаю их все, все испытал на собственной шкуре; теперь надо, чтобы их знала вся Франция[14].

* * *

Маркиз де Сад всегда страдал от геморроя. Вынужденная неподвижность лишь усугубила эту болезнь; облегчение приносила мазь на основе масла какао, а также скипидарное масло. «После долгого сидения я встаю, крича от боли», — пишет он жене. Чтобы утихомирить его страдания, жена заказывает для него специальную кожаную подушечку в форме кольца: «Теперь тебе не придется касаться задом стула, это, надеюсь, уменьшит твои неудобства», — пишет она ему.

Больше всего он жалуется на зрение. В самом деле, долгие часы над книгой или над очередным письмом нисколько не улучшают зрение, которое начало ухудшаться еще до заключения в тюрьму. Чтобы защитить глаза от пыли, он велит жене прислать ему «то, что называют *очками*», однако речь идет не о тех очках, к которым мы привыкли, а о своего рода стеклянном забрале, смотровом отверстии, сделанном в кожаной полумаске. Как в Венсенне, так и в Бастилии Сад находится под наблюдением самых знаменитых окулистов своего времени — братьев Гранжан, старший из которых, Анри, является хирургом-окулистом короля, а также Демура-сына[15]. Несмотря на специальные глазные присыпки, глазные капли на основе цветов бузины, обливания морской водой, ножные ванны и кровопускания, пиявки и припарки из кервеля, «сваренного на манер шпината», воспаления учащаются, и это не может

не волновать маркиза; он боится потерять зрение. Если, к несчастью, ему придется в тюрьме перенести операцию, он требует, чтобы при нем непременно была сиделка. «Я просто умру, если прислуживать мне будет мужчина», — предупреждает он. Тем более что, случись такое, ему пришлось бы иметь дело с одним из тех старых вояк, которые обычно служат санитарами в военных госпиталях,

со старым солдатом, грязным и вонючим! А я привык к изысканным манерам, тонким запахам и мгновенному удовлетворению своих потребностей, ибо, когда я болен, для меня это просто необходимо! А при такой сиделке я умру уже через три дня[16].

Доктор Демур дает ему исключительно мудрый совет: не читать и не писать слишком много, и прописывает вязание, «дабы развлекаться, не утомляясь»; но сомнительно, чтобы маркиз променял свое перо на вязальные спицы...

Его отношения с уже названным доктором Лакостом и врачом Сабатье[17] почти столь же сложны, как и с тюремными сторожами. Первый выписал ему опийную настойку; маркиз нашел это средство слишком сильным и слишком дорогим. «Пусть в будущем господин доктор предлагает, коли ему так угодно, употреблять местное средство, менее дорогостоящее и более сильнодействующее, дабы произошло хотя бы частичное исцеление». Его познания в химии позволяют ему оспаривать распоряжения врачей-практиков.

Отвар из оспенного корня хорош при болях в груди,— замечает он, — однако не помогает при бессоннице, скорее наоборот: мешает заснуть, и не устраняет ветров. Отвар ромашки помогает против ветров; но как горячительный, он не помогает уснуть. Господин Сабатье, у коего просили отвар, подходящий сразу для избавления от трех недугов, просьбы не выполнил, предоставив больному два отвара на выбор: каждый из них исцеляет всего один недуг, а для других может даже оказаться вредным. <...> А посему его просят решить первый [вопрос] более приемлемо и в соответствии со своей славой блистательного практика и наипросвещеннейшего медика![18]

Читая переписку де Сада с врачами, невозможно не вспомнить комедии Мольера. Так, например, замечания, сделанные им аптекарю Лабори, вполне могли прозвучать в устах Аргана*.

Я прекрасно себя чувствую после Вашего успокаивающего порошка, — сообщает де Сад аптекарю. — Колики в желудке уменьшились. Надо ли продолжать его принимать? Не возникнет ли от его переизбытка каких-либо недомоганий? В груди у меня по-прежнему покалывает, однако не столь сильно, но мне хотелось бы, ежели покалывание усилится, продолжить понемногу принимать Ваш тыквенный сироп, слишком ценный, на мой взгляд, для каждодневного употребления. По вечерам я продолжаю выпивать стакан молока с настойкой из цветков мальвы и хотел бы, чтобы Вы прислали мне сироп с целью смягчения колотья в груди; но я хотел бы, чтобы сей сироп одновременно помогал мне заснуть, ибо просто невозможно, сударь, выразить, сколь ужасны для меня бессонные ночи. Но, надеюсь, в том сиропе не будет ни *нимфеи*, вредящей моему желудку, ни *макового сиропа*, действующего на меня как слабительное, да и вобще, прошу, чтобы снадобий сих в снотворном средстве не было. Хотелось бы также, чтобы средство сие нисколько не воздействовало на желудок, ибо мне неприятно ощущать малейшее желудочное

---

* Арган — персонаж комедии Мольера «Мнимый больной» (1673).

волнение; и не забудьте, сударь, средство должно усыплять меня, ибо я просто умираю от страшной бессонницы[19].

Когда Донасьен де Сад «подправляет» память старшего врача Венсенна Фонтельо, сходство его с героем «Мнимого больного», урезающим счета своего аптекаря, поистине поразительно. «Коли г-н Фонтельо желает, мы разольем камфарный спирт в шесть полбутылей, и, разумеется, более я его не использовал», — замечает, к примеру, маркиз, собственноручно исправляя счет врача. Вместо требуемых 123 ливров он выводит всего 37, то есть «86 ливров лишних; для ошибочной сумма эта кажется мне весьма существенной, так что вряд ли меня станут порицать за то, что я решил все перепроверить!» — пишет он на полях сохранившегося в семейном архиве счета[20].

Господин Пучок Колючек

Властный, гневный, вспыльчивый, легко впадающий в крайность, обладающий разнузданным воображением во всем, что касается нравов, однако в жизни не совершивший ничего, что совершал в воображении, — это я; поэтому повторяю: убейте меня или принимайте таким, каков я есть, ибо меняться я не собираюсь.

Вот точный портрет Донасьена, нарисованный им самим в одном из писем к жене. Зная о его повышенной возбудимости, нетерпеливости, о его придирчивой натуре, мы легко можем представить себе под маской узника черты лица человека, до крайности неудобного в общежитии. Лишение свободы еще больше обострило его повседневные недостатки и усилило его манию преследования. Мадемуазель де Руссе в шутку прозвала его Господин Пучок Колючек. Действительно, у него все может оказаться предлогом для раздора; ни в Венсенне, ни в Бастилии не проходило и дня, чтобы он не устроил скандала, зачастую по причине исключительно пустяковой. Так, 26 июня 1780 года, вообразив, что тюремщик совершил по отношению к нему «столь очевидную наглость, что настроение у него окончательно испортилось», с де Садом случился сильнейший приступ гнева, во время которого он надолго потерял сознание, а очнувшись, начал кашлять кровью; так продолжалось до следующего дня. По словам тюремщика, заключенный успел нанести ему несколько ударов, однако сей последний обвинения не признал, утверждая, что всего лишь угрожал тюремщику жестами. Как бы там ни было, комендант крепости де Ружмон запрещает маркизу прогулки и все мелкие послабления, которыми тот пользуется. После этого в письме к жене де Сад требует «подать жалобу министру на отвратительное обращение, которому подвергаются узники Венсеннской крепости»[21].

На следующий день, 28 июня, произошел другой инцидент, в который оказался замешан де Валаж, кавалер ордена Св. Людовика, капитан охраны Венсенна. Когда де Валаж пришел сообщить маркизу об отмене прогулок, тот обрушил на него поток ругательств, назвал его «негодяем» и пригрозил, что когда он выйдет из тюрьмы, то капитан вряд ли «заживется на этом свете». Когда же де Сад говорил об уда-

рах, нанесенных тюремщику, он сожалел только о том, что не убил несчастного на месте. «Подняв такой шум, что от него содрогнулся не только донжон, но и сама крепость», маркиз стал во весь голос взывать к узникам, беря их в свидетели «ужасного обращения» с ним, призывая их к восстанию и «поддержке друг друга»; при этом он успел многократно назвать себя: «маркиз де Сад, полковник кавалерии, подвергшийся гнусному издевательству тюремщика». Потом он принялся «произносить гнуснейшие речи, где не пощадил никого, даже самых уважаемых людей в королевстве». Внезапно услыхав в саду шум, он устремился к окну и увидел, как Мирабо колотит в ворота, требуя у привратника чистой воды; он обозвал Мирабо грязными словами, назвал его «подстилкой коменданта», послал его «поцеловать коменданта в задницу» и произнес «тысячу гнусностей подобного рода». «Эй, грязный похабник, — кричит он ему, — отвечай! Скажи свое имя, если, конечно, осмелишься! Когда я выйду на волю, я тебе уши отрежу!» Обернувшись к нему, Мирабо презрительно отвечает:

Мое имя — имя честного человека, который никогда не резал и не отравлял женщин; имя свое я напишу на вашей спине ударами своей трости, если только вас раньше не колесуют. Но можете быть уверены: увидев вас на Гревской площади*, я не стану надевать траур[22].

Это не первая выходка маркиза; он и прежде пытался подстрекать заключенных к мятежу. Заподозрив, что г-жа де Монтрей и его собственная жена хотят его отравить с помощью сладостей, он, ничтоже сумняшеся, проходя мимо камеры графа Вайта[23], во всю глотку заорал: «Товарищ, смотрите внимательно, что вы едите, вас хотят отравить!»

Помимо запрета на прогулки Ружмон полагает необходимым подвергать цензуре его переписку, о чем он и сообщает Ленуару:

Буду Вам очень обязан, сударь, ежели Вы одобрите мое поведение по отношению к этому узнику, в случае если он вновь начнет сеять беспорядки в крепости и призывать других заключенных к мятежу. Надеюсь также, что Вы согласитесь с тем, что я передаю ему только те письма (а все письма его к жене полны гнусностей, угроз и грязных выпадов в сторону тех, к кому следует питать почтение, ибо они *стоят у вершин власти*), где справляются о его здоровье, его потребностях и рассказывают о семейных делах, а прочих он не получает <...>[24].

Проходит месяц, но он по-прежнему лишен прогулок; тогда он жалуется жене, что ему не хватает воздуха, и на этом фундаменте возводит новые обвинения:

Я пребываю в грязи и нечистоте по самое горло, клопы, блохи, мыши и пауки изводят мёня, со мной обращаются как со свиньей — швыряют еду и стремительно бросаются вон из камеры, так что не остается времени ни вспомнить, ни потребовать необходимого; трое поваря́т трактирщика, едва откроют ко мне дверь, как уже готовы дать деру. Ах, как это мило, просто восхитительно! <...> Поистине, это так трогательно, так возвышенно!

В тюрьме у него стали выпадать волосы.

* Гревская площадь — место в Париже, где устраивали казни.

Об этом я уже не говорю, — добавляет он, — ибо, слава Богу, суетные заботы меня более не волнуют, а по выходе я, без сомнения, стану носить парик <...>. Да, решено <...>. Ах, дорогая моя, ведь я далеко не юн, не правда ли? <...> С иллюзиями покончено, мне уже исполнились те самые сорок лет, когда я навсегда обещал отречься от Сатаны и его мирских удовольствий <...> вот они, настали, и пора потихонечку примерять саван <...>[25].

Спустя два месяца майор сообщил ему, что запрет на прогулки отменен: король вновь дозволяет ему гулять.

Сударь, весьма обязан, — отвечает Донасьен, — благодарю вас, а также короля. — Но, сударь, — продолжает его собеседник, — это еще не все; вы не имеете права... — К чему все это, сударь, — прерывает его узник. — Вы хотите прочесть мне проповедь? Прошу вас, избавьте: все, что мне надо знать, я знаю уже давно. — Но, сударь, ведь... — Сударь, если человек, о котором вы мне говорите (то есть тюремщик. — *М.Л.*), будет честен, он найдет во мне саму покорность; когда же он перестанет быть таковым, он найдет того, кто весьма расположен исправить его поведение, ибо не намерен сносить наглость кого бы то ни было, а уж тем более мошенника-сторожа <...>[26].

Вывод: на сем беседа прерывается и вопрос о прогулках остается открытым; Сад снова выходит на прогулку только 9 марта 1781 года: последний раз ему было разрешено гулять тридцать шесть недель назад. Впрочем, это не помешает ему опять отколотить своего тюремщика, и, кажется, неоднократно или, по крайней мере, постоянно грозить ему побоями; и все возвращается на круги своя: наказания, рецидив, который влечет за собой ставшее обычным лишение прогулок, камеру перестают убирать, а его отказываются брить. С досады де Сад пишет на стене своей тюрьмы эпитафию Ружмону, лицу, на его взгляд, наиболее мерзостному:

Венсеннский страж, здесь погребенный,
Злой недоносок и рогач,
Ему блаженством были стоны
И жертв несчастных горький плач.

Теперь земля ему покровом.
Прохожий, мимо поспеши:
А о душе его — ни слова,
У недоебков нет души[27].

Школа ненависти

С самых первых месяцев пребывания в Венсенне маркиз де Сад испытал на себе обычное воздействие заключения: гипертрофировалось воображение, не покидало чувство одиночества, произошли психические сдвиги, началось раздвоение личности. В темнице у обвиняемого формируется особое видение мира, прекрасно известное всем, кто не понаслышке знает об одиночестве тюремного заключения; прежде всего он учится относить на сторону Зла все, что принадлежит — непосредственно или косвенно — обществу свободных или даже просто напоминает о нем. Мы уже знаем о его несдержанности на язык; его жесто-

кость нам тоже известна: свою ярость он вымещал на тюремщиках. Однако все это пустяки по сравнению с тем, что мы узнаем из его написанных в тюрьме писем, этих филиппик, где ненависть и омерзение возносят его на недосягаемые высоты красноречия. Подобных персонажей, черпающих энергию в проклятиях, нам будет суждено увидеть у Луи-Фердинанда Селина. Без удержу мешая ложь и правду, клевету и сплетни, возмущение и откровенную непорядочность, Сад со злорадством и сарказмом обрушивается на противника, превращает в мишень для града оскорблений, а затем наносит последний, смертельный удар. Приведем лишь один, на наш взгляд, весьма характерный, образчик эпистолярного стиля этого гения хулы и поношений, когда он в одном письме объединяет все излюбленные объекты своей ненависти: г-жу де Монтрей, Сартина, бывшего начальника полиции (ставшего в 1774 году министром военно-морского ведомства) и коменданта Ружмона. Впрочем, объектом «садической мизантропии» могут считать себя не менее сотни людей!

Ни порочности, ни ее непременному спутнику — ужасу не пристало стремиться изменить или покарать порок; это дело добродетели, причем добродетели наичистейшей.

Не пристало председательше де Монтрей, кузине, племяннице, родственнице, крестнице и куме маленького мерзкого банкрота, разорившегося в Кадисе и Париже, председательше де Монтрей, племяннице мошенника, изгнанного из Дворца инвалидов герцогом де Шуазелем за грабеж и взятки, председательше де Монтрей, у которой в семье ее мужа дед был повешен на Гревской площади, председательше де Монтрей, подарившей мужу семь или восемь бастардов и ставшей сводней для всех своих дочерей, так вот, говорю я, не пристало ей оскорблять, карать или устранять ошибки, совершенные темпераментом, коему мы не хозяева и который никогда никому не причинял вреда.

Не пристало это и дому С<арти>на[28], явившемуся в Париж неизвестно откуда, выросшему подобно тем ядовитым грибам, что неожиданно вырастают в лесной чаще, дому С<арти>на, оказавшемуся, как выяснилось, незаконнорожденным потомком отца Торквемады и еврейки, соблазненной вышеуказанным отцом в застенках возглавлявшейся им в то время мадридской инквизиции, дому С<арти>на, преумножившему во Франции свое состояние, используя для этого методы, в сущности, каннибальские, тому самому С<арти>ну, который, будучи докладчиком на суде, приказал колесовать уже упомянутого мною несчастного, ибо репутация выступающего требовала убедить всех и всем показать, что он не может ошибаться и не способен неправедно судить, дому С<арти>на, который, поднявшись на очередную ступеньку служебной лестницы, принялся измышлять утеснения и гнусные тиранства, дабы препятствовать обществу вкушать наслаждения, и поставлять *похотливые истории* к ужинам в Оленьем парке[29], С<арти>ну, который, желая подлизать каждую половинку королевской задницы, погубил, отправил на эшафот или в тюрьму более двух сотен невинных людей, и это только по подсчетам тех, кто сопутствовал его бесчестным поступкам. Так вот, этому дому С<арти>на, этому наиушлейшему и наигнуснейшему политическому мошеннику среди всех когда-либо существовавших под этим небом с тех пор, как к злоупотреблениям стали относиться терпимо, этому мерзкому изобретателю, который первым предложил содержать шлюх вместе с узниками, этому отвратительному созданию, воплотившему в себе образ самого преступления, не пристало ни устанавливать цензуру, ни карать, ни преследовать за заблуждения, в коих он сам черпает свои излюбленные удовольствия; нет, не ему стоять на страже добродетели, ибо он крадет у короля по пять-

сот тысяч франков в год и вдобавок получает еще миллион за поставку двору *похотливых подробностей*; он не только крадет, но еще и бесчестно злоупотребляет служебным положением, принуждая несчастные создания вступать на стезю того самого порока, который теперь он хочет перебороть.

Не пристало это и ничтожному бастарду Ружмону, этому омерзительному воплощению порока, этой жабе в кюлотах и рединготе, который заставляет свою жену заниматься проституцией, чтобы заполучить узников, а потом морит этих узников голодом, извлекая из сего прибавку в несколько экю для оплаты своих отвратительных прихвостней. Ведь не вмешайся капризница-фортуна, нередко унижающая тех, кто должен быть на вершине, и превозносящая тех, кто создан исключительно для того, чтобы ползать, так негодяй этот наверняка был бы безмерно счастлив, если бы я снизошел к нему и взял его к себе на службу хотя бы поваренком, и так было бы, ежели бы мы оба оставались на тех местах, для которых предназначило нас само небо. Так что не пристало прощелыге вроде него возвышаться подобно цензору и судить пороки, коими обладает он сам, да еще в большей степени, ибо один лишний удар — и тебя уже презирают, над тобой смеются, и, сколько бы ты ни разил, удары твои наносят вред прежде всего тебе самому, ибо не пристало колченогому смеяться над хромым, а слепому стремиться в поводыри к кривому.

Да будет так, и мое Вам почтение[30].

Самые убийственные эпитеты он приберегает для тещи, столь ненавидимой им председательши.

Не думаю, чтобы в мире было возможно найти создание более омерзительное, нежели Ваша недостойная мать, — пишет он жене. — Никогда еще ад не изрыгал подобного создания, и я убежден, что, именно столкнувшись с такими, как она, женщинами, воображение жрецов породило фурий <...>[31].

Нет, сударыня, нет, — восклицает он в другом письме, — я по-прежнему лишен прогулок. <...> И в тысячный раз повторяю Вам: прогулки эти мне совершенно необходимы для здоровья, ибо без свежего воздуха я не могу ни есть, ни спать. Мне совершенно ясно, что Вашей недоделанной мамаше этого не понять, ибо она никогда не могла оторвать свою жирную задницу от кресла, но, к счастью, далеко не весь мир на нее похож <...>. О, чудовище! Омерзительное создание! <...> Как я ее ненавижу! Как жаль, что она не может читать в моем сердце! Ну почему нет ни одного сильного выражения, кое смогло бы в точности выразить, как она мне омерзительна? <...> Доколе небо будет терпеливо взирать с вышины на эту Фурию?[32]

Со своей стороны бедная Рене-Пелажи делает все, чтобы прекратить эпистолярный поток брани, извергаемой мужем; она предупреждает его, что вся переписка его просматривается специальным полицейским чиновником, и подобного рода письма могут повлечь ужесточение наказания.

Мой дорогой друг, зачем ты с таким упорством постоянно мучаешь себя? — пишет она. — Успокойся, а главное, не пиши ничего, что могло бы тебе повредить. Не стану скрывать от тебя, что письма твои, где ты выражаешь свою досаду и горячность, где высказывания твои о многих вещах вовсе не соответствуют тому, что ты о них думаешь, производят впечатление отнюдь не благоприятное, настраивают против тебя министра, и в результате просьбы мои остаются неуслышанными. Напрасно я убеждаю всех, что ты думаешь вовсе не так, как пишешь, и только горе и отчаяние время от времени заставляют тебя забыться, но мне отвечают, что они составили представление о тебе на основании твоих писем, а учитывая, в каком тоне они составлены, мнение о тебе у них сложилось самое худшее. Так не пиши же, друг мой, тех фраз, кои вредят тебе. Последуй моему совету, внушенному мне исключительно страстным желанием поскорей соединиться с тобой[33].

Мартен Кирос

Однако не стоит полагать, что узник Сад постоянно пребывал в депрессии. Время от времени его охватывала неожиданная веселость, этакие приступы шалости, столь же непредсказуемые и крайние в своих проявлениях, как и его приступы ярости; хорошее настроение маркиза придавало письмам его необычайно жизнерадостный тон. Впрочем, минуты оживления никак не касаются г-жи де Сад: не она адресат веселых писем, они пишутся тем, кто сможет их понять и посмеяться над ними. Первым в очереди стоит Картерон, прозванный Юностью или Мартеном Киросом, прозвищем, с помощью которого маркиз ставит своего слугу в один ряд с челядью пикарескного романа. Хороший товарищ, Картерон также обладает незаурядным умом и пишет письма, где цитирует вперемежку Цезаря, Геркулеса, Вария и Дон-Кихота, чем ухитряется — и весьма часто — вызывать улыбку у своего томящегося в заключении хозяина. Действительно, ничто так не забавляет маркиза, как шуточки его лакея. Письмо, в котором тот рассказывает об извержении Везувия, случившемся 8 августа 1779 года, необычайно веселит его. Тем более что в нем лакей вспоминает некий пикантный эпизод, как, гуляя по склону вулкана, они встретили отшельника; присутствие в рассказе колбасы вполне отвечает скабрезным вкусам и хозяина и слуги. Не следует также забывать и о собственно землетрясении, обладающем в садической символике вполне определенным эротическим смыслом:

> Это и печально, и одновременно радостно, что землетрясение произошло уже после нашего там пребывания. Бедные монашки! О, уверен, многие из них были не слишком опечалены сим происшествием! А еще мне жаль беднягу отшельника, находившегося совсем рядом от того самого места, где мы с Вами, сударь, ели эту злосчастную колбасу, столь долго Вами приберегаемую; Вы еще не хотели, чтобы мы доели ее всю. Вспомните, вспомните-ка об этой чертовой колбасе!

В том же самом письме душка Картерон жалуется на отсутствие работы: хозяин должен позаботиться о нем и передать ему рукопись для переписки: «Умоляю Вас, пришлите мне какое-нибудь сочиненьице, иначе я вовсе отупею; у меня нет ни книг, ни письменных принадлежностей. Дураком Вы меня покинули, дураком и встретите»[34].

К сожалению, за неимением места невозможно процитировать прочие послания Картерона; скажем только, что они забавны, наивны и изрядно напоминают фарс или мистификацию, создают образ совершенно мольеровский. Ответы маркиза также весьма занимательны и знакомят нас с неведомой нам прежде стороной его словесного гения, и стороной отнюдь не самой худшей: с гротеском, фантазией, пародийностью. Возьмем, к примеру, его реплику, адресованную «шевалье Киросу», шутливый монолог, брызжущий площадным юмором и весельем, где автор, похоже, решает устроить для самого себя словесный праздник:

> Мартен Кирос <...> ты наглец, сын мой! Если бы я там был, я бы отколотил тебя <...>. Я бы содрал с тебя твой траханый парик, что ты каждый год подновляешь волосами из хвостов тех лошадок, что скачут по дороге из Куртезона в Париж. Как

же ты, старый шельмец, собираешься починять его? Ну-ка признавайся, что ты станешь делать? <...> Ну ладно, помолчи <...> заткнись хотя бы ненадолго, прошу тебя, мне обрыдло слушать, как такая каналья вот уже столько времени меня оскорбляет. Впрочем, я делаю так, как поступают доги, то есть, когда вижу всю эту свору шавок и щенят, что тявкают рядом со мной, я задираю ногу и писаю им на нос <...>.

Как же ты, старый обезьяний хрен, небритая морда, уделанная ежевичным соком, виноградная жердь в вертограде Ноевом, рыбья кость Ионова кита, старый трут из бордельной трутницы, свеча прогорклая по ливру за двадцать четыре штуки, гнилая подпруга козла моей жены <...>. Ах ты, старая тыква, вымоченная в клопином соке, третий рог на голове дьявола, тресковья морда, вытянутая, словно два уха устрицы, старый стоптанный башмак, сводница, грязное вонючее белье Милли Весны (мадемуазель де Руссе. – *М.Л.*), был бы ты рядом, уж я бы начистил тебе твое грязное рыло, похожее на вареное яблоко, напоминающее подгорелые каштаны, дабы отучить тебя завираться[35].

«Мой образ мыслей»

В промежутках между приступами ярости и отчаяния г-н де Сад сменяет гнев на милость и делится с г-жой де Сад плодами своих размышлений. Когда маркиз забывает о своем желании отомстить и, прекратив нытье, принимается философствовать о своей участи или же о различиях между нашим поведением, зависящим только от нас самих, и нашими желаниями, над которыми мы не властны, тут-то и следует держать ухо востро: в такие минуты герой наш высказывается откровенно.

Нравы от нас не зависят, они зависят от нашего устройства, от нашей организации. От нас зависит только научиться не выплескивать яд наружу, дабы окружающие не только не пострадали от этого, но даже вовсе этого не заметили <...>. Не стоит себе портить кровь из-за добродетелей, ибо во всем, что касается *этих вещей,* мы не властны выбирать, не властны иметь тот или иной вкус, и, следовательно, присоединяться к тому или иному мнению, как не вольны мы стать рыжими, коли природа создала нас брюнетами. Вот моя вечная философия, и я от нее не отступлюсь <...>[36].

Я уважаю любые *вкусы,* любые *фантазии,* – великодушно заявляет он ей в другом письме. – Сколь бы прихотливы они ни были, я считаю, что все они достойны уважения, не только потому, что мы над ними не властны, но и потому, что самая странная и самая невероятная фантазия, когда в ней хорошенько разберешься, всегда проистекает из утонченности. Обязуюсь доказать это в любое время: Вам известно, что никто не умеет анализировать вещи как я[37].

В еще одном письме к жене содержится гордый и надменный вызов всему миру, которому он стремится доказать свою уникальность:

Вы утверждаете, что мой образ мыслей не может быть одобрен. Но мне-то что до этого? Тот, кто намеревается мыслить так, как хотят от него другие, поистине сумасшедший. Мой образ мыслей – это плод моих размышлений, он порожден моим образом жизни, моей природой. И я не в состоянии его изменить; если бы я это сделал, это был бы уже не я. Сей образ мыслей, столь Вас во мне возмущающий, является единственным моим утешением; он облегчает мои страдания в тюрьме, доставляет мне все радости существования, и я дорожу им больше, чем собственной жизнью. Не мой образ мыслей делает меня несчастным, а образ мыслей других людей[38].

Значки и лимонный сок

И вот после разлуки, продолжавшейся четыре года и пять месяцев, 13 июля 1781 года маркизу позволили первое свидание с женой. Не наедине, как он надеялся, а в присутствии полицейского чиновника Буше, в зале совета, куда узника привели под конвоем[39]. Впрочем, вскоре он вновь будет лишен и свиданий и прогулок. При первой же выходке, при первом же неуместном слове, обнаруженном в его письмах, он лишается всего, чего добился; отсюда периодические воззвания г-жи де Сад к Ленуару:

Осмелюсь умолять Вас, сударь, не упорствовать в своем отказе и разрешить мне свидания с мужем. Не судите о нем по его письмам, но судите по делам его <...> немного кротости и терпения с Вашей стороны принесут узнику умиротворение, и поведение его изменится в лучшую сторону[40].

Разрешенные после долгого перерыва и вскоре вновь запрещенные по причине плохого поведения Донасьена, эти посещения повергают несчастную Рене-Пелажи в ужас, равный тому страху, в коем пребывает сам де Сад; поэтому разрешения эти являются самым эффективным оружием тюремщиков. С начала лета 1783 года полицейские власти ведут себя по отношению к узнику все более придирчиво[41]. Тем не менее с января 1784 года свидания г-жи де Сад с мужем становятся чаще: барон де Бретей, назначенный двумя месяцами раньше министром Королевского дома, отвечающим за Парижский департамент, принял близко к сердцу задачу смягчения тюремного режима. Донасьен усиленно воздает ему хвалу и выражает свое «безграничное уважение» к этому «почтенному со всех сторон» министру[42].

Но свидания — это еще не все. Есть также — и это главное! — переписка: письма, сотни писем, эпистолярный монолог, единственный в своем роде во всех литературах, монолог, ведущийся без перерыва в течение всех двенадцати лет его заключения.

Даже в краткие моменты веселья, наступающие у него время от времени, — доверительно сообщает мадемуазель де Руссе в письме к Гофриди, — мы предчувствуем грозу и уверены, что град обрушится на наши сердца со всех сторон.

Таков тон маркиза: ярость, отчаяние, саркастичность, жалобы и упреки — в этом регистре он стал поистине мэтром.

Но переписка разрешена ему только с женой и строго контролируется. Узник вынужден передавать каждое свое послание незапечатанным полицейскому чиновнику Буше, которому поручено «вымарывать» самые гневные пассажи, где критикуется администрация. Когда текст кажется чиновнику совершенно неприемлемым, он без колебаний собственноручно переписывает его, оставляя от оригинальной версии только практическую часть: например, просьбу прислать белья или свечей. Отсюда постоянные нападки Донасьена на Буше:

Цензор, соглядатай с пронзительным взором, коему дают кромсать мои письма, несчастный, прежде занимавшийся очисткой подошв от грязи, который иногда нарочно лепит фразы, дабы повеселиться, развлечься и показать, что у него в

голове ума столько же, сколько прежде было резвости в пальцах, когда у него были делишки на Новом мосту; и вот, сей бумагомаратель, как называет таких людей Вольтер, то и дело заставляет меня говорить миллион глупостей, подобных тем, что высказывает он сам[43].

В самую середину письма к жене он помещает предупреждение:

Кто бы вы ни были, господин бумагомаратель, презренное животное, прикормленное нашими палачами для умножения наших мук, вы хорошо спелись с Ружмоном, а посему изымаете письма, где разоблачаются его ужасные гнусности; однако если бы во Франции было правосудие, то вы вместе с ним заслуживали бы виселицы; если предыдущая хвалебная речь вам не нравится, прочтите ее хотя бы ради собственной пользы, вырежьте или вымарайте все что угодно, только передайте конец этого листа моей жене, чтобы я, по крайней мере, получил необходимое[44].

Ему случается писать по два письма сразу, «дабы облегчить ученую операцию *соглядатаев, цензоров, комментаторов, реформаторов* [его] стиля»[45]. Непосредственное следствие чтения писем с подтекстом то, что автор никогда не теряет из виду нескромного третьего, притаившегося на пути между ним и женой.

Первый адресат, проглядывающий через ославленного «Майора», — отмечает Филипп Роже, — это ненавистный коллектив надзирателей: губернатор, министры, сбиры, канцеляристы, одним словом, «тюремщики» (выйдя из Шарантона, Сад испытает еще большее чувство неуверенности и неудовлетворенности: по его словам, такой массовой перлюстрации писем, как при режиме свободы, еще не было никогда...). Следовательно, приходится писать и (в основном?) для тюремщиков, и гораздо больше, чем для *истинного* адресата[46].

Цензура заставляет обоих супругов прибегать к тысяче уловок, чтобы обмануть бдительность Буше. Симпатические чернила вошли в обиход. Изготовленные на основе лимонного сока, их используют то между строк, «в пробелах», то в конце письма. Еще один способ общения: крошечные записки, которые г-жа де Сад украдкой сует мужу в муфту во время свиданий[47]. Среди прочих приемов и хитростей — фразы с двойным смыслом, метафорические намеки, частое употребление условных имен: маркиз называет себя то *Моисеем*, то *Орестом*, Сартин именуется *Медведем*, а Юность — *Жаком*; «гнусный каналья» Альбаре, поступивший на службу к г-же де Монтрей, становится *Младшим Писарем*, а Милли Руссе меняет пол и получает имя *г-н Элен*, Ла-Кост же начинает называться *Нераком*.

Однако криптография де Сада этим не ограничивается: он начинает использовать странные «значки». На протяжении всех лет заключения — и только в этот период — письма его переполнены цифрами, которым он придает таинственное значение. Как только он выходит из тюрьмы, феномен сей мгновенно исчезает. Так, в течение одиннадцати лет, что он пробыл на свободе, с 1790 по 1801 год, в его переписке не было ни малейшего «значка». И словно по волшебству, они появились в Шарантоне — начиная с 1803 года. Многие задавались вопросом о происхождении этой странной арифметики. Взял ли их Сад из какого-то кабалистического трактата или он сам изобрел некий шифр? На настоящем этапе никому из исследователей не удалось разгадать эту загадку. Можно только предположить, что он приспособил для своих нужд

некую систему, обнаруженную им в каком-нибудь труде о тайнах тамплиеров или розенкрейцеров, к которым он всегда проявлял большой интерес[48]. На сегодняшний день это наиболее вероятная гипотеза.

В начале этой мании, превратившейся потом в настоящую одержимость, маркиз пытается угадать дату своего освобождения из-под стражи, интерпретируя цифры, содержащиеся в письмах своих корреспондентов.

Невозможность зашифровать деспотизм, — пишет Морис Эн, — приводит Сада к подсчетам на основе самых неожиданных отправных точек. Все кажется ему предупреждением судьбы или тайным указанием, которому удалось избежать цензуры. Разум его в отчаянии цепляется за число строчек в письме, за то, сколько раз повторено то или иное слово, даже за созвучие, напоминающее цифру[49].

Вскоре этот гадательный метод начинает применяться к малейшим перипетиям его жизни узника; он позволяет, например, высчитать день, когда ему вернут прогулки или когда к нему на свидание придет жена.

Рене-Пелажи, будучи единственным или почти единственным его корреспондентом, обладает опасной привилегией передавать, сама того не ведая, наибольшее количество значков. И хотя несчастная ничего не понимает в потаенных подсчетах своего супруга, когда вышеуказанные значки становятся носителями плохих предзнаменований, ее принимаются осыпать оскорблениями. В этих случаях (а именно так, увы, и бывает чаще всего) Донасьен поливает грязью г-жу де Монтрей с ее «клевретами», считая, что они побудили жену на мрачные пророчества.

Вот уж действительно мать твоя должна быть либо пьяницей, либо буйнопомешанной, — пишет он, — раз она уже двенадцать лет без устали рискует жизнью собственной дочери каждого девятнадцатого и четвертого или шестнадцатого и девятого. О! Какое цифровое несварение было у этой мерзкой женщины! Я убежден, если бы она умерла до вмешательства врачей, а после этого произвели бы вскрытие, то из ее чрева выскочили бы миллионы цифр. Просто невероятно, какой кошмар принесли с собой эти цифры, какую внесли неразбериху[50].

Тем не менее «ужас» нисколько не препятствует бреду, и он проецирует его даже на поступки, жесты и слова своих тюремщиков.

Двадцать шестого марта, — отмечает он, — [комендант] прислал взять у меня взаймы шесть ночных свечей; 6 апреля он прислал за шестью другими, из которых я дал только четыре. В четверг 6 января, через девять месяцев после того, как у меня одолжили свечи, то есть того же самого числа, мне вернули двадцать пять свечей вместо десяти, которые я одолжил, что, на мой взгляд, было хорошо, ибо означало, что в тюрьме мне осталось пробыть всего девять месяцев, а в целом время моего заключения будет равно 25 месяцам[51].

Ничто так не доказывает и не подтверждает скудость и бесплодность Вашего воображения, — возмущается он в письме к жене, — как непереносимая монотонность Ваших тоскливых значков. <...> Какая безвкусица, как мне стыдно за Вас! <...> В последний раз, когда Вам нужно было получить 23, пришлось отсечь прогулку, а всего-то к 2 прибавить 3, и вот вам 23. Но как это прекрасно! Как это возвышенно! Какая кротость гения! Какой огонь! <...>

По крайней мере, делайте их честными, Ваши значки, а не негодяйскими! Только палач мучает узника или дурно обращается с ним. Но разве Вы или Ваша семья обязаны исполнять сие ремесло? Неужели злобность и глупость мешают Вам повернуть значки в нужную сторону и избавить меня от сугубо отрицательных знаков?

<...> Вдумайтесь в этот маленький пример, и Вы поймете, как просто делать те же самые вещи честно, а не измышлять их с тщетою и со злобою.

Когда бы я захотел образовать некое число 16, потому что, по-Вашему, *seize* и *cesse** одно и то же[52], а значит, Вы присваиваете себе право извращать и язык, и идеи, так вот, говорю я Вам, когда бы мне захотелось образовать некое число 16 из тридцати или сорока совершенно смешных цепочек, кои имеет здесь г-н де С., я бы отнял одну, и вот уже получилось бы некое *cess-ation***. Он желает видеть дверь открытой: по случаю некоего числа 16 я бы ее открыл. Он находит плоским и глупым, чтобы ему, словно сумасшедшему, служили три человека: по случаю некоего числа 16 я бы заставил ***прекратить*** сию глупость[53].

Раздраженная этой алгеброй, смысл и правила которой от нее ускользают, бедная г-жа де Сад уже не в силах повторять ему, что она никаких дурных намерений в свои письма не вкладывает.

Что касается значков, — клянется она ему, — то я никогда ничего о них не ведаю. <...> Ты обещал мне больше не искать в моих письмах никаких значков, но, вероятно, забыл об этом. Будь уверен, дорогой друг, если бы я могла сказать тебе то, что ты хочешь услышать, я не стала бы употреблять значки. Я бы сказала все четко и ясно[54].

«Откажись, мой нежный друг, от уверенности, что я хочу досадить тебе, послать тебе какие-то значки», — умоляет она его в другом письме. Напрасный труд! Несмотря на все свои обещания положить конец «любым подсчетам и любым соединениям и сличениям», де Сад, несмотря ни на что, будет упорно пытаться найти скрытый смысл (почти всегда извращенный) в самых невинных записках, рискуя окончательно увязнуть в своих маниакальных вычислениях.

Впрочем, в письме от 15 декабря 1781 года он признает их очевидно патологический характер.

Мне кажется, я был охвачен приступом безумия, — заявляет он. — Черт побери, если я снова к этому вернусь, это будет означать, что я действительно сошел с ума. Впрочем, поразмышляв за это время кое о чем, я обнаружил, что окружающие были довольны, что я занимался подобным, и понял, какому подвергался риску, ибо все ожидали, что в результате это сведет меня с ума[55].

Тем не менее даже после этой вспышки прозрения он не оставляет свою загадочную цифровую эквилибристику. На этом основании нередко делали заключение об охватившем его «психозе», в то время как, напротив, речь шла о «защитной реакции его психики, бессознательной борьбе против отчаяния, когда разум его вполне мог бы помутиться, не изобрети он себе подобное отвлекающее средство»[56].

Диалог матери и дочери

Прежде чем снова вернуться к отношениям, установившимся между супругами де Сад, тем отношениям, которые предстают перед нами из их переписки, давайте бросим взгляд на то, что происходит по другую

---

* Оба французских слова близки по звучанию, но первое означает «шестнадцать», а второе «прекращать».

** Прекращение, остановка *(фр.)*.

сторону решетки: как уживаются между собой Рене-Пелажи и ее мать. Многочисленные письма дают нам гораздо более точное представление об их отношениях, нежели тюремные выпады маркиза. Одновременно они дают нам менее эмоциональное, но, несомненно, более точное представление о том, какие чувства питала председательша по отношению к зятю. Здесь впервые публикуются пространные выдержки из этих документов.

Письмо г-жи де Монтрей к г-же де Сад[57] от 5 декабря [1778 года]

Сударыня, мне известно, что Вы направляете прошения г-ну Ленуару и г-ну Амло, где добиваетесь для де Сада разрешения на прогулки; я присоединюсь к Вашим просьбам. Но Вы должны понимать — и он сам должен понимать, — что усилия мои будут весьма скромны; конечно, я могла бы приложить и больше стараний, однако меня могут упрекнуть, что в свое время я была к нему слишком снисходительна и просила (а также получала) все возможные послабления, кои были предоставлены ему в Миолане от имени посланника Сардинского короля; в результате же — побег , и все прочие дела, из-за которых до сих пор у нас куча неприятностей и беспокойства и вдобавок опасения за его личную безопасность. Так неужели Вы, сударыня, полагаете, что королевская власть, помогая несчастным семействам, станет поощрять беспорядок?

Он раскаивается, скажете Вы мне, и намеревается хорошо себя вести. Мне хотелось бы в это верить; я только этого и желаю. Но кто поверит нам? И станут ли нас слушать? Нет. Будущее провидят через прошлое, и, следовательно, не стоит сейчас говорить о свободе или, по крайней мере, следует быть готовыми к отказу. Когда же на основании Ваших рассказов я задумалась о будущем, то, поразмыслив, пришла к выводу, что ничего хорошего оно не сулит и все просьбы будут обречены. Именно на подобных впечатлениях основано мнение, высказанное мною Вам во вчерашнем письме. *Время* и *спокойная голова.* Добиться всех возможных послаблений, дозволенных тюремными правилами, не злоупотреблять ими, дабы не провоцировать новые строгости, и сделать заключение столь мягким, насколько оно может быть. Я дерзну воздать себе должное, чтобы в полной мере воздать и другим и не требовать от них невозможного. Ибо, сударыня, давайте наконец поговорим начистоту. Вы знаете много (быть может, даже все), а значит, знаете, что все, в чем его обвиняют, он действительно совершил. Если он сделал это совершенно осознанно и хладнокровно, он, разумеется, заслужил тюрьму — хотя бы для того, чтобы не иметь возможности начать все заново. Если же он сделал это под воздействием возбуждения, с коим не сумел совладать, под влиянием своего *неукротимого воображения*, как определил его состояние один крупный чиновник, оказавший нам большие услуги, необходимо (он сам более, чем кто-либо, в этом заинтересован), чтобы несколько лет заключения успокоили его кровь, охладили его воображение, одним словом, уберегли от тех опасностей, что поджидают его на свободе.

Я говорю с Вами, сударыня, как мать, как друг, хотя чужое влияние заставило Вас потерять те чувства по отношению ко мне, кои Вы обязаны испытывать. Кто станет давать Вам иные советы, погубит вас обоих.

Письмо г-жи де Сад к г-же де Монтрей[58] от 17 декабря 1778 года

<...> Чем больше времени проходит, тем сильнее становится моя тревога за г-на де Сада и тем отчетливее просматриваю я желание погубить его, отчего совесть гложет меня все более, убеждая, что я вела себя излишне доверчиво и позволила усыпить свою бдительность. Если ему желали только добра, то почему не предоставили возможность спокойно загладить свои ошибки, что он уже и начал делать? Ведь только поверив в доброжелательность своих близких, он стал вести себя хорошо; и все же его арестовали — самым подлым образом, посулив при всех вечное,

до конца дней его, заточение; разве это не повод заподозрить семью в желании его гибели? И как ему не прийти к подобным мыслям, если его вот уже два года содержат со всевозможными строгостями, и никто не выступил против сего бечестья? Разумеется, когда беда случится, все скажут: «Мы не могли этого предвидеть». Мысль об этом гложет меня и снедает; к несчастью, я больше ничему не верю. Только долгая череда благодеяний могла бы постепенно изжить мои страхи. Вот в какое положение меня поставили. Все хлопоты по поводу ареста моего мужа в Эксе, окажутся бессмысленны, ежели ему не позволят показать доброе поведение, коим он стал отличаться; а дети мои, достигнув возраста, когда они сумеют понять, что же случилось, получат обоснованный повод упрекнуть тех, из-за кого отец их утратил в тюрьме разум или даже саму жизнь, тех, кто помешал ему воспользоваться плодами вердикта в Эксе. Таким образом, в настоящее время менять свое поведение г-ну де Саду совершенно бесполезно.

Поймите же, заклинаю Вас, дорогая матушка, уясните эти истины. Побудите виновников моих несчастий понять их. Сколь сладостно будет мне ощущать себя обязанной Вам утешением всей моей жизни! Горечь, коей преисполнено мое существование, ежеминутно побуждает меня прервать течение дней моих. Заставьте, дорогая матушка, вернуть мне мужа, и тогда я буду дважды обязана Вам своей жизнью; с величайшим уважением остаюсь Вашей смиренной и покорной слугой.

Письмо г-жи де Сад к г-же де Монтрей[59] от 5 января 1779 года

<...> Разумеется, у меня слишком много хлопот, а посему пребывание в Париже обходится слишком дорого, ибо состояние, коим мы располагаем, крайне незначительно. Если Вас действительно интересует судьба Ваших внуков, поскорее пришлите мне мужа, дабы он повел экономно свое хозяйство, иначе у него ничего не останется, потому что каждый, воспользовавшись обстоятельствами, урывает и тянет к себе. В его владениях идет игра в ограбленного короля. Ему непременно надо появиться на месте, чтобы разобраться в делах и понять, что к чему. Моих слов не слышат, но, по крайней мере, дети мои не смогут упрекнуть меня в том, что я не довела этого до Вашего сведения или же не сделала всего, что должна была сделать. Жить мне осталось недолго, поэтому о своем обеспечении я не говорю. Пусть каждый встречный и поперечный растаскивает добро: с той минуты, как у меня отняли мужа, мне это совершенно безразлично.

Имею честь, дорогая матушка, выразить Вам свое глубочайшее уважение и остаюсь Вашей смиреннейшей и покорнейшей слугой.

Письмо г-жи де Сад к г-же де Монтрей[60] от 6 января 1779 года

Я нисколько не собиралась, дорогая матушка, упрекать Вас за доброту к моим детям. Напротив, я стремлюсь, чтобы щедроты Ваши не оскудели, и, коли Вы бы пожелали прочесть мое письмо внимательно, Вы бы увидели, что оно исполнено нежности к ним; однако нежность сия нисколько не исключает и нежности, испытываемой мною к мужу: все, что я имею честь сказать Вам, чистая правда. Так пусть же скорейшее освобождение супруга моего воспрепятствует разорению детей и их бесчестью! И пусть истины эти найдут свое место в Вашей душе.

Примите наилучшие пожелания от самой любящей и самой почтительной из всех дочерей Ваших <...>.

Письмо г-жи де Сад к г-же де Монтрей[61] от 24 января 1779 года

Дорогая матушка, прошу Вас принять от меня бочонок оливкового масла. В своих письмах де Сад беспрестанно о Вас говорит и желает, чтобы Вы и отец простили бы его и сжалились над его участью. Я сообщила ему, что горшочек абрикосового мармеладу, присланный ему мною, был подарен Вами, и вот что он ответил, слово в слово. Он пожелал узнать, посылали ли Вы его мне или же передали спе-

циально для него: «Я знаю, мне ничего нельзя передать напрямую. Впрочем, они правы, ведь ежели бы мне прислали всего лишь яйцо, то полагаю, даже эта посылка вскружила бы мне голову. Ты говоришь мне о примирении <...> но когда? Увы, если бы ценой сего примирения могли бы стать мое раскаяние и мои чувства, это случилось бы уже завтра. <...>

Примите, дорогая матушка, а также дорогой отец, мое искреннее к Вам почтение[62].

Ответ г-жи де Монтрей г-же де Сад[63] [от 30 января 1779 года]

Вчера я выходила, и как раз в то время, когда доставили Ваше письмо, сударыня, и бочонок масла, за который я благодарю Вас. Однако прошу более не присылать мне продуктов из Прованса: они дорого Вам обходятся, а я буду не менее Вам обязана за одно лишь желание это сделать.

Сударыня, можете заверить г-на де Сада, что я выслушала все, что Вы передали мне от его имени. Я искренне прощаю ему все проступки, в коих могла бы его упрекнуть, ибо он совершил их по отношению ко мне: ничто не заставит меня ни повредить ему, ни огорчить его, ибо я сочувствую его положению. Если бы я могла, я бы непременно сделала для него что-либо хорошее, как делала в те времена, когда он клеветал на меня в свое удовольствие; однако неизгладимые воспоминания о прошлом не дозволяют мне вступить с ним в прямую переписку. Если бы он смотрел на меня незашоренным взором, я бы вела себя по-иному и перед лицом всего мира поступала бы по отношению к нему иначе <...>[64].

Письмо г-жи де Сад к председательше де Монтрей[65], Жирное воскресенье [, февраль] 1779 года

Весьма Вам обязана, дорогая матушка, за то, что Вы вернули мне письмо [де Сада] для моих детей; я отправлю его по адресу, ибо они смогут почерпнуть из него только добродетельные чувства; именно для того, чтобы Вы могли в полной мере оценить это письмо, я и посылала его Вам[66]. К несчастью для него и для меня, Вы все еще сердитесь на моего супруга и не усматриваете ничего положительного в поступках его, не видите, сколь ужасно положение его, кое одно только и заставляет его творить зло, кое Вы замечаете и делаете все, дабы известия о нем дошли до моего отца. Позвольте же мне, дорогая матушка, почтительно Вам заметить, что надобно быть справедливой и не читать писем, продиктованных отчаянием, — раз уж Вы не хотите читать письма, где он раскаивается и раскрывает свое сердце.

Чем больше уверяюсь я в подлинности изменений, с ним происходящих, и чем больше усматриваю в нем привязанности к Вам и сожаления, что он когда-то оскорбил Вас, тем больше растет во мне неприязнь к тем, кто с легким сердцем губит человека, полностью отказавшегося от своих заблуждений; поведение его было бы истинным примером добродетели и доказало бы более, чем все аресты в мире, сколь публика дурно судит о его сердце. Отчего, дорогая матушка, говоря правду, приходится биться головой о стену, чтобы в нее поверили? Все оттого, что правда разрушила бы замыслы тех, кто намеревается погубить нас, оставив без средств к существованию, отплатить злом за зло, погубить детей его, ибо детям его придется всю жизнь со шпагою в руке отвечать клеветникам, которые дерзнут нагло утверждать, что отец их обесчещен, а арест его можно считать исключительной милостью, заслуженной прежде всего благодаря семье, полагающей его виновным, так как именно семья держала и продолжает держать его в заключении. Поэтому, дорогая матушка, не высказывайте своего неодобрения моему твердому решению, принятому после двух лет терпеливого ожидания, а именно решению отомстить за него, ибо единственными дверями, что широко распахнулись передо мной, стали двери отчаяния.

Де Сад не чинит препятствий для улаживания его дел; я одобряю его решение оставить за собой право отдавать только самые общие распоряжения, дабы творить добро без подписания лишних бумаг. Мы убеждены, что можем творить добро, и

он, и я, но при этом необходимо наше присутствие, дабы он сам мог судить и выносить свое суждение; разумеется, этого нельзя сделать, находясь на расстоянии в 200 лье от тех самых мест, где вот уже одиннадцать лет как приказы об аресте без суда и следствия препятствуют ему спокойно жить у себя и приводить в порядок свои дела. Если бы не действующий на настоящее время приказ об аресте без суда и следствия, побуждающий его остерегаться любого встречного и поперечного, можно было бы многое упорядочить или хотя бы уладить отношения с правосудием, равно как и все прочие дела, кои невозможно решить, пока де Сад находится в Венсенне. Все это нас не касается, — твердите Вы мне, дорогая матушка. Но к кому должны мы обращаться, если не к отцу и не к матери, нашим самым близким родственникам? Неужели же к чужим людям, у которых нет ни единой причины интересоваться нами или иметь к нам привязанность, но которые, напротив, относятся к нам с предубеждением, ибо семья наша хранит молчание? <...>

Я обещала прислать де Саду страницу, написанную Лорой, но я пообещала больше, чем могу исполнить. Сестра моя сказала, что учительница посчитала странным требование листка бумаги с каракулями малышки. Очевидно, она считает, что следует дождаться времени, когда девочка начнет писать как заправский учитель; она не понимает, какое удовольствие может находить отец, разглядывая каракули дочери. Так как вам, дорогая матушка, доверяют больше, чем мне, то раздобудьте для меня сей столь необходимый мне листок <...>.

«Хороший мальчик»

Письма из тюрьмы с точностью сейсмографа фиксируют ворчание и извержения вулкана по имени Сад. В них можно увидеть все колебания его натуры, пребывающей в бесконечном возбуждении; де Сад постоянно порождает грозы и вспышки молнии, рассекающие атмосферу вокруг него. Порой его охватывает безумная веселость, на смену которой тотчас являются черные мысли и подозрительность, доходящая до бредового исступления: он воображает себя мишенью изощреннейших махинаций в окружении всевозможнейших врагов. Его любовь исполнена ярости; желания снедают его, ночью ему нет покоя от снов и видений; он обречен на вечное одиночество — наглый, самоуверенный, не ведающий сомнений.

Рене-Пелажи отличается завидным постоянством: несмотря на его несправедливое и презрительное отношение, она всегда нежна и исполнена сострадания. Она изо всех сил старается примирить его с постигшим несчастьем и показать, что страдает вместе с ним.

Мой добрый друг, ты устал от тюрьмы, — пишет она ему в начале 1779 года — Заклинаю тебя, верь: я живо чувствую ужас твоего положения. Ах, почему не в моих силах изменить его? Я согласна со всеми твоими словами, однако другие обладают странным образом мыслей, жертвами коего мы стали. Они полагают, что после того, как тебя здесь подержат, ты станешь образцовым и примерным. Они не понимают, какое зло причиняют тебе, твоему состоянию и твоим детям. Так вот, когда мне делают глупые упреки, я прихожу в такой ужас, что готова взять моё семейство за голову и колотить этой головой об стену, пока они не изменят свой образ мыслей! Видишь, я не столь мягка, как ты, и желаю им таких же страданий, кои приходится терпеть тебе <...>[67].

Все усилия маркизы направлены на то, чтобы уверить мужа в своей верности, любви и сострадании. «Можешь рассчитывать на меня как на свое второе я», — уверяет она его[68]. А немного позже пишет:

Своими письмами я нисколько не желаю ни разъярить тебя, ни свести с ума; напротив, я хотела бы успокоить тебя, утешить и убедить, что ты глубоко заблуждаешься, сомневаясь во мне и предаваясь поэтому черным мыслям и тревогам; я собственной кровью готова заплатить за твою свободу, за сокращение сроков твоего заключения; и клянусь, что, ощущая себя твоим вторым я, разделяю все твои горести. Каждая фраза, где ты высказываешь сомнение в моем сердце, разит меня словно удар кинжала[69].

Милый друг мой, не сомневайся в моей дружбе и нежной к тебе привязанности, — повторяет она ему спустя три дня. — Ты ошибаешься относительно моего сердца, ибо оно не прекращало обожать тебя, и я буду в отчаянии, коли ты в этом усомнишься. Заклинаю тебя, не давай горю сгубить тебя и будь уверен, что я делаю и буду делать все, ничем не пренебрегая, ради нашего воссоединения[70].

Да, я люблю тебя, люблю так сильно, как только можно, и невозможно выразить мое чувство; а если я и попробую его выразить, это все равно будет неизмеримо меньше того, что я чувствую[71].

Донасьену она прощает все, даже оскорбительные замечания, отпускаемые в ответ на ее уверения в любви. Отвечая на очередную порцию сарказмов, смысл которых известен ему одному, она пишет:

На свете вряд ли найдется еще одна душа и сердце в точности такие, как у тебя. Если бы твоя бедная голова не побуждала тебя писать вещи малопристойные, ты был бы совершеннейшим созданием; впрочем, для меня ты всегда будешь таковым. Я всегда буду обожать тебя, даже если ты по-прежнему будешь писать мне письма, исполненные брани: ведь я уверена, что сердце твое никогда не бывает с ними согласно[72].

Письма г-жи де Сад поражают своим материнским тоном, материнской нежностью, потребностью утешить, придать уверенности, приласкать своего «хорошего мальчика», как она любит называть его.

«Шкатулочки» и «флакончики»

Преданность Рене-Пелажи своему супругу не ограничивается стремлением предоставить ему все, в чем он нуждается или чего желает, то есть одежду, белье, подушки, сладости, свечи, книги и т. д. Она готова исполнить любое желание супруга, отчего Донасьен без колебаний требует у нее прислать ему приспособления, для удовлетворения его эротических фантазий в одиночестве. Надо ли напоминать, что, попав в тюрьму в тридцать пять лет, он вышел оттуда только в пятьдесят, то есть провел самые плодотворные годы своей жизни под замком, лишенный сексуальных контактов и вынужденный удовлетворять свои желания исключительно путем мастурбации. Отсюда стремление обмануть желание посредством всяческих вспомогательных орудий: предметов, портретов, «коробочек» и «флакончиков».

Маркиза, наивнимательнейшим образом следящая, чтобы он не испытывал нехватки ни в чем, по его просьбе посылает ему то рукав своего платья, то портрет хорошенького молодого человека, получив который маркиз восклицает:

Вы послали мне красивого мальчишку, *дорогая голубка. Красивого мальчишку*! Как приятно звучит это слово для моего уха, привыкшего к нежной итальянской речи! «Un, bel, giovanetto, signor»*, сказали бы мне в Неаполе, а я бы ответил: «Si, si, signor, mandatelo, lo voglio bene»**. Вы обошлись со мной словно с кардиналом, *дорогая моя женушка* <...> но, к несчастью, это всего лишь портрет <...>. Значит, футлярчик, хотя бы футлярчик, ибо Вы пробудили во мне иллюзии!

Эти «футлярчики» и «флакончики», которые узник так торопится получить, являются не чем иным, как искусственными органами, предназначенными для симуляции содомского акта и осуществления того, что он называет то «достижением», то «колечком»[73]. Именно маркизе поручается заказать эти предметы по указанным размерам у мастеров-краснодеревщиков из Сент-Антуанского предместья. Разумеется, они встречают ее с многозначительными улыбочками.

Не знаю, где я смогу заказать футляр, – жалуется несчастная. – Когда я называю рабочим размеры, они принимают меня за сумасшедшую, смеются мне в лицо и не делают ничего. Они хотят, чтобы я заранее оплатила их работу, ибо боятся, что не смогут ее продать, и получается, что мне либо придется брать то, что они сделают, либо терять деньги[74].

Спустя два месяца она возвращается к этому несчастному футляру:

Уверяю тебя, мне и вправду пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить сделать такой, как сейчас у тебя, немного меньшего размера, чем ты заказал. Рабочие не хотят исполнять твой заказ, принимают меня за сумасшедшую и смеются мне в лицо. Будь столь любезен и поручи мне сделать другой, или же давай я закажу токарю модель из пихты. Рабочие уверяют, что у них нет таких больших кусков ни розового, ни черного дерева, чтобы можно было сделать выемку и отшлифовать ее[75].

«Избавь меня, пожалуйста, от этого поручения, и ты доставишь мне истинную радость», – умоляет она[76]. Просьба тем более законная, что де Сада удовлетворить не так-то легко, даже когда известно, чего ему хочется: он всегда требует скрупулезного исполнения своих требований.

Вы же видите, этот флакон никак не похож на карманный пузырек, – жалуется он жене. – Поэтому я отсылаю его обратно. Пусть он послужит образцом для флаконов, что я давно просил Авраама сделать мне на хрустальной мануфактуре. Если взять за основу размеры верхней части, а не нижней, тогда флакон окажется значительно меньше; если взять верхний размер, это было бы именно то, что мне надо. Я замерил именно это отверстие, и это то, что нужно. Однако горлышко необходимо сделать на три дюйма выше, хотя, честно говоря, основное – это окружность, и мне бы хотелось, чтобы он обратил на нее особое внимание. <...> Он уверял меня, что делал такой же размер для архиепископа Лионского; напомните ему об этом. Заплатите ему столько, сколько нужно, и договоритесь, чтобы он и дальше делал для Вас что потребуется. Такой же флакон вполне может пригодиться и тебе, если ты того захочешь; утром он стоит на твоем туалетном столике, а вечером – у меня на тумбочке возле кровати. Поэтому надо заказать у него два флакона. В ожидании пошли мне карманный флакон, который, будучи исключительно карманным и нисколько не пригодным для моих нужд, должен быть таких

* «Красивый мальчик, синьор» (*ит.*).
** «Да, да, синьор, присылайте, он мне нравится» (*ит.*).


FB·2005

размеров, чтобы умещаться у меня в кармане. Размеры я уже посылал тебе: семь дюймов в окружности на восемь или девять дюймов высоты[77].

В начале марта 1783 года он пишет жене:

Флакон, который я разбил, был в самый раз. Нужен точно такой же, а чтобы он не бился, для него надо футляр из розового дерева, но я хочу, чтобы в футляр можно было класть не только этот флакон, а посему размеры футляра должны быть немного больше размеров флакона, а именно: окружность его должна быть шесть дюймов, высота же соответствовать высоте флакона, то есть разбившегося флакона.

18 марта г-жа де Сад отвечает ему: «Как только флакон с футляром будут готовы, ты получишь их в первой же передаче; все уже заказано». 12 апреля: «Наконец твой футляр готов, посылаю его тебе, ты легко сможешь класть в него все, что захочешь, вместе с флаконом». На полях рукой маркиза сделана следующая помета: «И все это засунуть в твою задницу; к несчастью, это слишком просто»[78]. Когда в другом месте Рене-Пелажи замечает, что флакон длиной в шесть дюймов слишком длинен, чтобы класть его в карман, он отвечает: «Но я вовсе не кладу его в карман; а для того места, куда я его кладу, он еще и маловат»[79].

Подталкиваемый цифровой манией, он ведет бухгалтерию своим «достижениям», то есть мастурбациям, простым или с помощью аксессуаров, и записывает их в свой «Призрачный альманах»[80]. 1 декабря 1780 года, иначе говоря, после двух лет и трех месяцев после заточения его в Венсенн, он приходит к поистине феноменальной итоговой цифре: «3268+3268=6536, почти шесть тысяч шестьсот введений!»[81]

«Моя Лолотта»

Решительно, у этой адской парочки все непросто. Прежде всего это касается движений души. Особенно движений души Донасьена, постоянно подчиняющейся резкой смене настроений — от жесточайшей ревности к жесточайшей иронии, от ярости к болтливости, от доверительного отвращения к недоверчивой неприязни, от эротизма к ужасу.

Вот и снова я мысленно пребываю с тобой, моя дорогая подруга, — пишет он жене 14 декабря 1780 года. — С тобой, ибо тебя я буду любить несмотря ни на что, ты навсегда останешься для меня самой лучшей и самой дорогой подругой, коя когда-либо существовала у меня в этом мире. <...> Я получил все твои передачи; на этот раз, душа моя, все прекрасно, и я от всей души благодарю тебя: великолепная свеча, достойная появиться на столе любого *коменданта башни*, изысканный померанцевый цветок и превосходные варенья. Шутки в сторону, все восхитительно и прекрасно на вкус; пусть так будет всегда. <...> Уверяю тебя: стоит мне только помыслить о нашем союзе, как тотчас становится радостно на душе. Однако меня чертовски долго заставляют ждать. О! Слишком долго! Поистине невообразимо долго!

И менее чем через неделю после этих супружеских излияний он обвиняет ее в «отвратительной лжи» и награждает эпитетами следующего образца:

Вы настоящая дура, ибо позволяете водить себя за нос. <...> Если бы только можно было и Вас, и Вашу омерзительную семейку, и ее презренных лакеев — всех вас запихнуть в один мешок и бросить в воду! Тот миг, когда бы мне об этом сообщили, стал бы самым счастливым из всех, кои мне довелось пережить за всю жизнь[82].

Донасьен видит, что он не в силах разорвать узы, связывающие его жену с кланом Монтреев. Напротив, он убеждается, что с течением времени маркиза все больше сближается со своей матушкой, полагается на нее в воспитании детей и в управлении делами; мать становится для нее источником крепости духа, и мало-помалу Рене-Пелажи неминуемо окажется под абсолютным ее влиянием. Он предвидит, что в этой неумолимой борьбе влияний, где выигрышем является Рене-Пелажи, г-жа де Монтрей станет победителем. Отсюда его отчаянные усилия вырвать жену из проклятого круга, оскорбления, сарказмы и даже сентиментальный шантаж.

Умоляю, приходи ко мне на свидание, а пока приведи себя в порядок,— пишет он ей в декабре 1781 года, — ибо я люблю тебя несмотря ни на что. Я помню душу, которая была у тебя прежде: именно ее я обожаю; теперешняя душа твоя не настоящая, и я надеюсь, что, когда мы соединимся, ты вновь обретешь прежнюю свою душу. Ибо знай и будь уверена, что я воистину люблю тебя и желаю соединиться с тобой больше чем когда-либо, но я никогда не стану жить с женщиной лживой, кем бы она мне ни приходилась. А лживых женщин в мире очень много, и о многих из них я думал, что они любят меня, а когда обнаруживал у них этот отвратительный порок, то сам решал предать их или же обмануть[83].

Иногда он неожиданно пишет письмо ни о чем: ему просто хочется лишний раз поговорить о своей любви:

Дорогая моя подруга, целую тебя от всей души и хочу сказать, что пишу тебе просто так, оттого, что сегодня у меня веселие воображения, я чувствую себя хорошо и хочу попросить тебя прийти поскорее ко мне на свидание, ибо, когда я так долго не имею возможности обнять тебя, я начинаю тосковать[84].

В знаменитом письме от 23–24 ноября 1783 года, которое Жильбер Лели сравнивает с музыкой Моцарта, «вселяющей в нас великое человеческое достоинство», Донасьен приводит лучшие образцы «веселия воображения», время от времени охватывающего его при мысли о жене. Мы ограничимся перечислением милых и насмешливых прозвищ, коими он называет свою дорогую Пелажи: «Очаровательное создание», «мой ангел», «душенька», «моя маленькая женушка», «мой щеночек», «розовенькая свинка моих мыслей», «наслаждение Магомета», «дорогая голубка», «нежный блеск моих глаз», «червленые корабли моего сердца», «звезда Венеры», «душа моей души», «зерцало красоты», «жало моих нервов», «образ божества», «семнадцатая планета в пространстве», «квинтэссенция девственности», «проистекание ангельских духов», «символ стыдливости», «чудо природы», «голубка Венеры», «роза, украшавшая грудь Граций», «дитятко мое», «избранница Минервы», «амброзия Олимпа», «радость очей», «светоч моей жизни»[85].

Роль ревнивца

Эту маску маркизу де Саду примеривают в последнюю очередь. Однако он с удовольствием носит ее, вкладывая в исполнение роли ревнивца всю присущую ему страстность и воинственную энергию.

Первая вспышка ревности приходится на 13 июля 1781 года, на первое свидание с г-жой де Сад. Что тогда произошло между супругами? Неужели после многолетней разлуки Донасьен обнаружил, что Рене-Пелажи стала ему более желанна, чем прежде? Настолько желанна, что можно даже предположить, что он влюбился? Или же он, не зная, чем занять досуг, от безделья решил поиграть в ревнивца? Сама маркиза думает именно так, ибо несколько дней спустя доверительно пишет мадемуазель де Руссе:

С тех пор, как мне разрешили с ним свидания, я не могу отделаться от горестных мыслей, что он, не зная, чем себя занять, забивает себе голову всевозможным вымыслом; теперь он вообразил, что ревнует меня. Вижу, как Вы смеетесь, читая эти строки. — И к кому же он приревновал, спросите Вы? — К Лефевру (какая честь для меня, не правда ли?), потому что я сказала ему, что Лефевр приобрел для меня несколько книг, которые сам Сад и заказывал. Еще он ревнует к мадемуазель де Виллет, потому что она предложила мне пожить у нее. <...> Прошу Вас, скажите мне, откуда он берет все эти домыслы[86].

Уточним, что сей Лефевр был всего-навсего провансальским крестьянином, бывшим лакеем аббата де Сада, который научил его читать и писать; полученные знания позволили ему поступить на службу в контору к маркизу д'Альберта в Эксе, а затем приехать в Париж, где г-жа де Сад наняла его в услужение. Что же касается г-жи де Виллет, урожденной Рен Филиберт Руф де Варикур, то она приходилась Рене-Пелажи дальней родственницей;[87] Вольтер сосватал ее замуж за своего протеже маркиза де Виллета и наградил прозвищем Красивая и Добрая; репутация г-жи де Виллет ценилась гораздо выше, нежели репутация ее супруга, несмотря на эпитеты «большая шлюха» и «чуточку *Сафо*», коими наградил ее де Сад[88]. В Париже гомосексуальные наклонности Шарля де Виллета ни для кого секрета не составляли: даже карету, где дверцы были расположены сзади, называли «виллетов экипаж».

Разумеется, маркиза отвергает все обвинения в преступной связи со своим слугой, защищает добродетель г-жи де Виллет и, оправдываясь, опровергает все обвинения мужа:

О мой нежный друг, как же плохо ты меня знаешь, если можешь подозревать в столь ужасных вещах. Успокойся, заклинаю тебя. Для подозрений твоих нет ни малейшего основания. Да, именно ни малейших. <...> Я прошу у тебя прощения, однако, набрасывая эти строки, не могу удержаться от смеха, вспоминая, сколь нелепы твои подозрения; тем не менее я в самом деле чрезвычайно опечалена, что ты подозреваешь меня в подобных вещах и терзаешь себя несуществующими химерами.

Я всегда предпочитала одиночество. Прибыв в Париж, я вначале почти ни с кем не виделась, да и теперь редко с кем встречаюсь. Все меня сторонятся. И только с г-жой де Виллет я чувствую себя свободно, она моя подруга. <...>

Сбившись с ног в поисках заказанных тобою пьес, я решила обратиться к Лефевру и поручить ему эти поиски; он раздобыл для тебя несколько книг, но так как он работает в какой-то конторе, то не смог сразу принести их мне. Мне пришлось послать за ними Юность. Полагаю, тебя не затруднит обратиться к Юности, и, так как память у него лучше моей, он точно скажет тебе, сколько раз Лефевр приходил к нам в дом. Ты можешь проверять меня и перепроверять сколько тебе будет угодно. Какая я есть, такой и останусь. Сердце мое не изменилось, и оно по-прежнему обожает тебя. Единственная месть моя будет заключаться в том, что, когда ты выйдешь из тюрьмы, я попрошу тебя, после всяческих проверок и перепроверок, в присутствии свидетеля признать, что все, что ты измыслил за время заключения, есть самая что ни на есть нелепая чушь[89].

Через три дня она клянется ему не принимать приглашения своей кузины:

Еще раз даю тебе честное слово, что не перееду жить к г-же де Виллет, а начну искать монастырь, чтобы ты наконец перестал мучить себя, как ты это делаешь. Я привязалась к г-же де Виллет, она испытывает ко мне искреннюю дружбу и сочувствует моему положению, а значит, и твоему, но, ежели тебе эта дружба не по нраву, значит, я не стану за нее держаться. Разумеется, я найду причину, которая никак с тобой не связана, ибо не хочу, чтобы тебя стали обвинять в глупых выходках. Я порву с ней отношения совершенно естественно, она ничего не заподозрит[90].

После размышлений, какой из двух монастырей «сестер англичанок»[91] выбрать, ибо жилье надо было подобрать в таком месте, «где не было бы слишком дорого и людно», она оставнавливает свой выбор на монастыре Сент-Ор на улице Нев-Сент-Женевьев, там, где прежде останавливалась мадемуазель де Руссе[92]. Новое место пребывания не слишком ее устраивает, равно как и окружающие ее пансионерки, но тем не менее выбор сделан:

У меня квартира на втором этаже, со стороны булочной. Дом этот самый лучший на этой улице; у меня большая спальня, маленькая прихожая и кабинет. Соседка моя, в доверительные отношения с которой я вступать не собираюсь, — вдова торговца; она на три года старше меня, большую часть жизни провела в различных монастырях и, прежде чем перебраться сюда, жила в небольшом монастыре Сен-Шомон[93]; это изысканная особа, утонченная и крайне болтливая. Вторая соседка — дочь нотариуса, ей двадцать лет, она мила, однако не создана для монастыря и подвержена влияниям, как хорошим, так и дурным.

Хлеба здесь не едят, еды хватает, только чтобы не умереть с голоду[94]. Пансионерки, снимающие комнаты, с монахинями не общаются: казначейша[95], настоятельница и подавальщица — вот и все сестры, с которыми мы видимся. Мне досадно, ведь я думала, что Ваша матушка из обители Эспри-де-Жезю является настоятельницей, и поэтому сделала выбор в пользу этого дома. Здесь также есть некая мадемуазель Мартен, послушница; она общается с рабочими, разбирается в людях, в свое время была знакома с моей свекровью и в детском возрасте дала пощечину моему мужу, потому что он сильно разозлил ее. Полагаю, что здесь она исполняет роль шпионки <...>[96].

В Сент-Оре мне очень хорошо, — пишет Рене-Пелажи Донасьену. — Монастырь живет по уставу, пение в хоре требует немалых усилий. Не каждая женщина готова сюда поступить, и не всем здесь бы понравилось; но соблюдение правил меня не пугает, равно как и не пугает, если кто-нибудь узнает, чем я занимаюсь; все эти детские игрушки меня нисколько не беспокоят[97].

Спустя три года несчастная маркиза окончательно разочаруется в своем жилище. После того как сестры Сент-Ора решают превратить квартиры в кельи, ее переселят в «настоящую дыру», а именно в бывшую хозяйственную постройку. И это в то время, когда она является владелицей «трех замков, которые приходят в упадок, потому что в них никто не живет!»

Только Вам я намереваюсь сообщить о перемене жилья, — доверительно пишет она Гофриди, — ибо матушка моя хочет, чтобы я сняла другую квартиру, более дорогую. Мне же, помимо соображений экономии, дом этот нравится, потому что я в нем одна. Я пребываю вдали от неприятных мне разговоров, которые ни к чему не ведут. Всех, кого я хочу видеть, я принимаю в монастырской приемной; таким образом, никто не видит, где я живу. Конечно, обстоятельство сие мне досадно, но я готова вытерпеть еще десять тысяч подобных, лишь бы с мужем моим поступили по справедливости[98].

Поступок, очевидно, безобидный, однако проживание г-жи де Сад в Сент-Ор повлечет за собой тяжкие последствия в их будущих отношениях с Донасьеном. Полагая, что освобождает ее от дурного влияния маркизы де Виллет, он отдал ее в руки другого врага, гораздо более грозного, чем его воображаемые соперники...

«Моя маленькая зверушка»

Это одно из прозвищ, которыми де Саду угодно было награждать Милли Руссе; а еще он зовет ее Святой, Милли Весна или Фанни. С тех самых пор, когда она живым своим умом кружила ему голову во время их свиданий в Ла-Косте, эта независимая и чувствительная женщина постоянно присутствует в его мыслях. Он часто предается ностальгическим воспоминаниям о тех днях и с помощью Рене-Пелажи старается продолжить их прерванный диалог: жена служит посредником в их переписке. Видя в этих письмах всего лишь невинную болтовню, г-жа де Сад нисколько не ревнует к корреспондентке мужа. Однако из писем следует, что между де Садом и мадемуазель де Руссе завязывается настоящий любовный роман. «Милли Весна» является одной из редчайших особ, которую похождения маркиза, известные ей все до единого, нисколько не возмущают. Она не только не порицает его поведения, но и испытывает симпатию к нему и сострадание к его злоключениям.

Живя в тесной близости с г-жой де Сад, мадемуазель де Руссе становится ее доверенным лицом и подругой; она не просто поддерживает и наставляет г-жу де Сад, она ободряет ее, не позволяет опускать руки, всячески тормошит несчастную маркизу, стараясь придать ей бодрость духа и силу воли. По всем вопросам, будь то очередной демарш в министерской канцелярии или бытовая проблема, она может помочь или дать дельный совет. Надо собрать корзину «сластей» для заключенного? Приготовить ему одежду? Она подает идеи, берет на себя выполнение поручений, бегает по Парижу в поисках наилучшего миндального печенья или же сапог на меховой подкладке, таких, как он просил, «широких и длинных, чтобы можно было танцевать аллеман-

ду». Она всегда готова морально поддержать маркизу, которая от грубого обращения с ней капризного узника буквально теряет голову. Милли часто вмешивается в отношения супругов, и ее хладнокровие и ирония творят чудеса. Не принимая всерьез вспышки гнева и стенания маркиза, она отвечает на них именно так, как они того заслуживают: тактично, витиевато и в шутливом тоне, подавляя ярость маркиза и не пробуждая к себе ненависти.

Ваши выходки и дурное настроение выведут из себя даже статую капуцина! — пишет она ему в одном из писем. — Насколько же глупы женщины, если они связываются с таким брюзгой, как Вы! По первому Вашему слову мы бросаемся на поиски того, что должно доставить Вам удовольствие. Мы делаем все возможное, но господин никогда не бывает доволен[99].

Таков обычный тон писем Святой, решительно отвергающей сокрушенный тон писем г-жи де Сад:

Мадам говорит мне: «Прошу Вас, не браните его, он несчастен; напишите ему что-нибудь, что сможет его рассмешить, какой-нибудь вздор, какие-нибудь пустяки, все, что Вам будет угодно». Однако душа моя сегодня не расположена веселиться. Через Ваше дурацкое письмо мне передалось Ваше уныние. Если бы я захотела увидеть все в черном свете, я, быть может, зашла бы еще дальше Вас. Моя чувствительность и мое сердце подверглись слишком сильным испытаниям. Так что прощаюсь с Вами до лучших времен.

Два дня отдыха, и моя желчь потихоньку растворилась, исчезла вместе с дурным настроением, — пишет она спустя двое суток. — С моей стороны было бы жестоко выливать ее на Вас, хотя сами Вы просто спаиваете нас своею желчью[100].

Самое любопытное, что Донасьен, который обычно не переносит ни малейших выпадов в свой адрес (поистине, он совершенно лишен чувства юмора), безропотно сносит шуточки Святой; они, похоже, даже забавляют его: иногда он даже сам на них напрашивается. Только она могла называть его Пучком Колючек и подсмеиваться над его брюзгливым настроением, зная, что в ответ не последует даже хмурого взгляда. Воспринимая шуточки своей «зверушки», он тем самым доказывает, что признает за ней наличие определенных душевных качеств, незаурядного ума и недюжинный эпистолярный талант.

Да, зверушка моя, — пишет он ей, — подобно новому Дон-Кихоту, я хочу скрестить копья, чтобы все во всех четырех концах света знали, что моя зверушка самая лучшая из всех зверушек-самочек, что водятся между двумя полюсами, что она лучше всех пишет и милее всех на свете[101].

В конечном счете г-жа де Сад может доверять своей подруге: если Святая удерживает ее мужа в своих сетях, то не для того, чтобы соблазнить его, а с единственной целью заинтересовать неблагодарного судьбою жены, укорить его за грубости и, посреди забавных историй, адресовать ему несколько упреков.

Женщины в большинстве своем искренни, — неожиданно заявляет она ему. — У Вас есть обратные доказательства? Кто из Вас больше жалуется? Только г-н де Сад, который почему-то не желает, чтобы жена его считала себя его «вторым я». Однако подобные заявления милы и нисколько не обидны. Если бы у меня был

любовник или муж, я бы хотела, чтобы он говорил мне такие вещи по сто раз на дню. Но, слава Богу, Вы не станете ни тем, ни другим![102]

Узнав, что маркиза берет уроки игры на гитаре, Донасьен приходит в неистовство. Ту же следует реплика Милли Руссе:

Мои шутки Вам не угодны? Вы на них не отвечаете! Тогда окажите мне честь, г-н Пучок Колючек, сообщив, все ли содержание письма подверглось остракизму. <...> А если серьезно, то не стоит ревновать к учителю игры на гитаре. Это вполне порядочный человек, благомыслящий, добродетельный, скорее душевный, нежели умный, добрый друг и хороший собеседник; однако видимся мы с ним редко, потому что дела его не позволяют приходить к нам чаще. Я попросила его дать несколько уроков игры на гитаре также и мне — просто так, чтобы убить время. Когда я занята — пишу или делаю что-нибудь, мне приятно слышать, как мадам распевает сольфеджио; в этих случаях я, по крайней мере, уверена, что она не скучает[103].

«Прелестный друг мой»

Незаметно тон их посланий меняется, становится более галантным. И хотя Сад по-прежнему насмешлив, тем не менее в его письмах начинают проскальзывать нотки нежности, чувство сообщничества, оба то и дело впадают в сентиментальность и кокетство. В этой игре, где либертен постоянно хочет взять верх над острословом, «Святая Руссе» чувствует себя как рыба в воде: она, как никто иной, умеет уколоть противника, застать его врасплох, заинтересовать его, наконец, а затем одним щелчком сбить с него спесь. Если маркиз превосходит ее в дерзости, то она ни в чем не уступает ему по уму; «зверушка» совершенствуется: язычок ее становится все острее, насмешки все более едкими, а веселость все более кокетливой и утонченной.

Она также расставляет своему корреспонденту ловушки.

Я захотела посмотреть, получится ли из Вас ревнивец, — заявляет она ему. — Вам эта роль удалась, и поэтому я буду осторожна. Но да хранит Вас небо от того, чтобы начать изливать на меня свои капризы! Я пошлю Вас ко всем чертям! <...> Вы привыкли видеть меня ворчащей, постоянно читающей нравоучения, и Вам кажется, что я улыбаюсь только вдали от Вас. Взгляните на оборотную сторону медали, и Вы увидите нежное лицо, не лишенное миловидности, слегка плутоватое, разящее мужчин наповал, но так, что они даже не подозревают об этом. И Вы тоже попадете в мои сети![104]

Как только де Сад окончательно запутывается в этих сетях, он начинает разыгрывать галантного воздыхателя и, стремясь поразить юную провансальскую красавицу, исписывает страницы длинными мадригалами. Однако Руссе — тонкая штучка, она постоянно начеку.

Вы слишком много распространяетесь о ночи, — отвечает она ему. — Ах, как неуместно разбазариваете Вы свой талант... Впрочем, молчок! Я ошиблась, Вы на удивление последовательны в своих действиях. «Я знал многих женщин, у меня были самые разные женщины, — говорите Вы, — и этого достаточно, чтобы перестать их желать». Однако далее Вы утверждаете: «Решайте, готовы ли Вы, зная мои умонастроения, продолжать общаться со мной. Будьте уверены, Вы об этом пожалеете...» Вполне возможно, что я действительно стану о том сожалеть, однако я

никогда не признаю себя побежденной, и, желая провести меня, как бы Вам самому не оказаться на уготованном мне месте. <...>

Да, у всех нас есть свои слабые стороны; но они есть и у Вас! Кто окажется ловчее и сумеет подчинить себе другого? Это мы еще посмотрим. Не льстите себе, полагая, что в материях сих Вам нет равных. Женщины, которые у Вас были, любили и лелеяли Ваши страсти и Ваши деньги. Имея дело со Святой Руссе, ни то, ни другое Вам не поможет! Так с какой же стороны Вам к ней подступиться? Вы станете клясться в нежных чувствах и говорить красивые слова. О! Но я знаю все это, да и не только это. Поверьте мне и, пока еще не поздно, откажитесь от борьбы! Я уже вижу перед собой Тантала на берегу реки и обещаю: Вам не удастся испить воды![105]

Действительно, в мыслях у «Тантала» отнюдь не «деликатные чувства»: он воображает Святую в постели:

Когда Вы лежите в кровати, прикрывшись простыней, разведя бедра и правой рукой <...> ищете блох, вспоминайте иногда обо мне. Помните, что в таком положении необходимо, чтобы в согласии с Вами действовал еще кто-то, иначе удовольствие не будет полным[106].

Переписка их не прекращается, несмотря на стремление соблазнить, с одной стороны, и ничем не сдерживаемое острословие – с другой; письма их представляют собой смесь двусмысленностей и резонерства, наполовину серьезного, наполовину шутовского; они обмениваются суждениями о книгах, легкомысленными высказываниями, острыми словечками, фантазиями – словом, ведут веселый и многословный диалог. Они делают друг другу маленькие подарки – например, к Новому году Святая получила в подарок зубочистки:

Это мне подарок! О, Боже мой, отчего Вы лишили себя зубочисток? Сей подарок для меня дороже пятидесяти луидоров. Вы заронили мне в душу невообразимое смятение. Кто бы мог подумать, что зубочистки могут произвести подобный эффект?[107]

То тут, то там у мадемуазель де Руссе проскальзывает, что она могла бы уступить соблазну, если бы захотела, но не желает, а следовательно, все будет так, как понравится ей. Интересно, кокетничает она или нет, когда прямо заявляет:

Вы всегда утверждали, что я чрезвычайно чувственна: так вот, чувственность моя останется при мне! Резвиться я могу не хуже Вас, однако я себя сдерживаю, ибо раз и навсегда заявила себе, что разум должен преобладать над чувствами; к тому же меня мало заботит, хороша я или уродлива. Мои красные пятна на коже придают мне сходство с маленькой фурией[108].

Шутки ради, а также из пристрастия к зашифрованным посланиям некоторые из писем написаны на провансальском наречии. В этих письмах мадемуазель де Руссе позволяет себе открыто высказывать нежные чувства к узнику: употребление языка, понятного только им двоим, видимо, создавало интимность, способствующую расцвету этих чувств.

Мой дорогой Сад, сладость души моей, умираю от желания увидеть тебя, – доверительно пишет она ему, – мечтаю сесть к тебе на колени, обнять тебя, расцеловать, нашептать тебе на ухо кучу нежностей; а ежели ты решишь притвориться

глухим, то я прижмусь сердцем к твоему сердцу, дабы ты почувствовал, какой любящей и приветливой может быть моя душа и как твоя душа отвечает моей.

А в заключение она пишет:

Прощай, прелестный друг мой и нежное сердце; обнимаю тебя и целую: ведь прежде тебе нравились мои поцелуи и объятия. Я так люблю тебя, что не могу даже передать. <...> Жду, когда настанет счастливый миг и я тебя увижу. <...> Желаю, чтобы у тебя все было хорошо[109].

Поток нежностей сдерживает только незримое, хотя и ненавязчивое, присутствие г-жи де Сад; это о ней Святая пишет следующие строки:

Ваша жена достаточно хорошо понимает провансальское наречие; она растолковала мне почти все содержание Вашего письма; Ваши шуточки бесконечно ее порадовали. <...> Я отвечаю в том же тоне. Сударыня, мужайтесь, я начинаю писать на патуа, переворачивайте страницу.

«Вот так пишет тебе Святая, — делает приписку Рене-Пелажи. — Мне же при виде написанного на этом языке хочется браниться <...>»[110]. Вторжение, даже шутливое, г-жи де Сад в нежный дуэт, возможно, сдерживает свободу самовыражения «влюбленных», но никак не умаляет удовольствия, получаемого ими от этой игры.

«Нет, я не плачу»

Даже если бы Донасьен воспринял эту идиллию всерьез, она все равно не смогла бы длиться вечно: нежные, веселые (и невинные) отношения неминуемо должны были завершиться столь характерной для него вспышкой ярости. Спустя месяц после того послания на «провансальском наречии», о котором мы только что рассказали, Милли Руссе заявила «своему дорогому другу», что она намерена вернуться в Прованс и заняться делами. Как! Вот так, ни с того ни с сего бросить его? После того как ему обещано освобождение?

Если Вы уедете, не дождавшись моего освобождения, я больше не желаю Вас видеть, — гневается он. — <...> Друг, покидая меня, становится подголоском и марионеткой моих тиранов, и его честность и открытость превращаются в лживость и изворотливость. <...> Что ж, мне остается только пожелать Вам удачного и счастливого путешествия. <...> Если бы я не боялся повториться, я бы сказал Вам, что, уезжая без меня, несмотря на свое обещание, Вы убедительно доказали мне, что несчастья мои еще не исчерпаны.

В завершение письма он неожиданно пускается в воспоминания о времени, некогда проведенном вместе; рука его, выводящая слова прощания, заметно дрожит:

Уезжайте, мадемуазель... уезжайте... возвращайтесь к Вашим делам... После того, как Вы позаботились о друзьях, вполне резонно позаботиться и о себе... Вспоминайте иногда обо мне... даже посреди удовольствий, а в августе отправляйтесь в Ла-Кост и, заклинаю Вас, посидите на той самой скамейке... Вы ведь не забыли ту скамейку?.. Когда же Вы сядете на нее, то непременно скажете: «Год назад он находился здесь, рядом со мной... я тоже была здесь... он открыл мне свое сердце, был со мной откровенен и наивен... нельзя было не понять, с какой искренней нежно-

стью он ко мне относился... я заставляла его давать обещания... и он брал мою руку и говорил: «Мой дорогой друг, клянусь Вам...» — «Ах, вы непременно будете счастливы», — отвечала я, а он задавал вопрос: «О! Разве вы можете пожелать мне что-либо иное?..» Потом вы шли в маленькую зеленую гостиную... и теперь Вы пойдете туда... и скажете: вот здесь был мой стол... здесь я переписывала его письма, ибо он ничего от меня не скрывал... иногда он садился в это кресло... Вы же помните это кресло? Устроившись в нем, говорил: «Пишите... *мы сделаем*... — Как, сударь, *мы*?.. — Да, дорогая моя подруга, *мы*. Наши фразы должны быть как наши сердца...пишите *мы*...» Затем Вы отправитесь заводить настенные часы... несколько раз обойдете большой зал и скажете: «Если я потеряла его навсегда, тогда... и все равно, места эти будут мне бесконечно дороги!» Да, Вы сделаете все это, а я по-прежнему буду печалиться и грустить, постоянно балансируя между надеждой (быть может, пустой) и желанием покончить со своими несчастьями... я стану сопровождать Вас во всех прогулках, незримо присутствуя в Ваших воспоминаниях... быть может, я даже возьму Вас за руку... Вам же известно, сколь сильна власть иллюзий над душой чувствительной... Вам покажется, что вы видите меня, хотя это будет всего лишь тень... Вам послышится мой голос, но это будет голос Вашего сердца... Как знать, быть может, в ту минуту Вы даже ощутите робкие угрызения совести... Вспомните эти письма... да, именно эти жестокие письма, наедине с которыми Вы меня оставляете <...> Я же, оставшись с одними только письмами и уподобившись тем несчастным, коих нужда заставляет питаться любой пищей... стану их перечитывать, ибо написали их Вы... и стану любить их, ибо в них Вы были искренни... Прощайте, мадемуазель... да... прощайте... Я не плачу, по крайней мере, когда пишу эти слова... нет, в самом деле, я не плачу... посылайте мне весточки через г-жу де Сад, а она будет сообщать Вам новости обо мне... Надеюсь, Вы будете столь снисходительны, что перед отъездом набросаете мне еще пару слов... назовете мне день... да, тот самый день... Я непременно хочу его знать.

Прощайте, еще раз прощайте. Видите, я завершаю письмо, не выразив Вам своего почтения. Откройте... откройте Ваше сердце, и Вы увидите, какое чувство пришло на смену уважению[111].

Милли Руссе на время отложила путешествие[112], однако ее отношения с маркизом от этого не улучшились. Напротив, за те недели, что последовали за прощальным письмом, они сильно ухудшились. Обращаясь к Гофриди, Святая жалуется на то, что друг предал ее:

Написав мне кучу глупостей (я не говорю о тех глупостях, коими он каждодневно осыпает жену), он решил меня скомпрометировать, причем самым нелепым образом, сообщив чиновникам, что я состояла с ним в переписке и снабжала его секретными сведениями. За это на меня посыпались упреки. Я не смогла отрицать эти обвинения, ибо его ответы, проходившие через их руки, были полны оскорбительных высказываний. Меня простили и сняли с меня вину только потому, что намерения мои, равно как сердце, были чисты[113] <...>. Умы столь настроены против него, что вскоре мы не сможем более рта раскрыть. <...> Стоит только заговорить о нем, как тут же появляется опасность, что на голову вам кирпич свалится[114].

Язвительность обоих корреспондентов растет не по дням, а по часам, и вскоре оба одновременно решают положить конец этой переписке. Первый шаг делает Святая:

Довольно, сударь, перестаньте мне писать. Нет нужды говорить друг другу грубости, не стоит доставлять друг другу сердечные неприятности. Я ни к кому не испытываю ненависти. А Вы, полагаю, легко обо всем забудете. Без особых усилий. Со своей стороны, я постараюсь опередить Вас в этом[115].

В ответ Донасьен также отказывается от дальнейшего общения.

Наговорив мне кучу грубостей и оскорблений, он попросил меня более не писать ему, — сообщает Милли Руссе Гофриди. — Сами понимаете, что я как человек чуткий, разумеется, исполнила его просьбу. И вот уже шесть месяцев, как моя участь его более не интересует: он не желает знать, жива я или мертва. <...> Я не стану ему мстить, ограничусь тем, что заставлю его сожалеть об утраченном друге. Если заронить эту мысль ему в голову, она станет для него подлинным наказанием[116].

Затем последуют долгие месяцы взаимного молчания, самого необъяснимого и, без сомнения, наиболее трогательного из тех, что составляют вехи жизни маркиза де Сада. Несмотря на оскорбительные, а иногда даже жестокие строки, которые гнев заставил его написать столь преданному другу, каковой была Милли Руссе, он до последнего дня сохранял к ней искреннюю привязанность. Доказательство тому — знаменитое письмо от 17 апреля 1782 года, начинающееся словами: «Орел, мадемуазель <...>», где он возносит хвалы мадемуазель де Руссе; символическая судьба геральдической птицы сливается с его собственной:

Орел, мадемуазель, иногда вынужден покидать седьмую воздушную сферу, дабы опуститься на вершину горы Олимп, на древние сосны Кавказа, на холодные лиственницы Юры, на белые скалы Тавриды, а иногда и на Монмартрский холм <...>[117].

Еще одна похвала дорогой Святой, далекой и одновременно близкой, ибо воспоминания о ней не покидают его никогда, — это «Философические дары», которые в том же году преподносит ей автор «Ольховой рощи», *alias** Донасьен де Сад, «из Венсеннского курятника, сего 26-го января, после пятидесяти девяти с половиной месяцев постоянной, но безуспешной борьбы». Пять животрепещущих страниц, на которых узник несколькими штрихами очерчивает контуры предмета своего возмущения:

Гнусные создания, выброшенные на мгновение на поверхность этой маленькой кучки грязи, где сказано, что одна половина стада должна преследовать другую его половину? О человек, разве тебе принадлежит право судить, что хорошо, а что плохо? Неужели этому тщедушному созданию, сделанному по образу Твоему, суждено загонять в рамки природу, решать, что ей по нраву, а что нет? <...> Наслаждайся, друг мой, наслаждайся и не суди... наслаждайся, говорю я тебе, и предоставь природе заботу о том, чтобы ты мог жить в свое удовольствие, а Предвечному оставь право карать тебя. <...> Наслаждайся красками мира: ведь свет, благодаря коему глаза твои видят мир, служит, чтобы освещать занятия приятные, а не измышления и софизмы[118].

* * *

Мари Доротея де Руссе скончалась 25 января 1784 г. в замке Ла-Кост. Первые симптомы болезни, ставшей причиной ее смерти, она почувствовала пять лет назад. Еще в Париже, когда она жила вместе с г-жой де Сад, у нее начались приступы кровавого кашля, сопровождавшиеся несказанной слабостью.

Я еще жива, — писала она Гофриди 3 марта 1780 года, — но не обольщаюсь! <...> Завтра, по совету врача, я начну пить молоко ослицы и буду продолжать пить его

* Сиречь (*фр.*).

два месяца; в сентябре, ежели к тому времени я буду еще жива, возобновлю это питье, ну а потом, если я отправлюсь в Прованс, мы непременно встретимся. А коли мне ничего не поможет, то мы встретимся уже в долине Иосафата[119].

Несмотря на болезнь, мадемуазель де Руссе вместе с г-жой де Сад продолжала всевозможные демарши, стремясь добиться освобождения маркиза, и бдительно следила за тем, чтобы прошения и рекомендательные письма доходили до нужных чиновников. Все это делалось в обход главного заинтересованного лица, продолжавшего осыпать бранью жену и называть «шлюхой» несчастную Святую. «Надо иметь большое мужество, чтобы продолжать просить с прежним упорством», — вздыхала Святая, теряя терпение. Тем более что теперь она уже не надеялась на скорое освобождение узника.

Есть серьезные, чрезвычайно серьезные причины, — написала она однажды Гофриди, — заставляющие меня опасаться, что заключение будет долгим. Не знаю, истинны они или ложны, но они являются любимым коньком министра, который выдвигает их в качестве доводов всем честным людям. Де Морепа и его супруга, две принцессы крови и еще несколько уважаемых лиц, ознакомившись с обоснованием обвинительного заключения, сказали: «Прекрасно, что он находится там, где находится, а жена его либо сумасшедшая, либо виновна, как и он: иначе она не стала бы требовать его освобождения. Мы не желаем его видеть».

Полицейские чиновники, побывавшие в замке, дали поистине чудовищные показания. Эти люди крайне жестоки. Вся жизнь г-на де Сада описана на большом листе; да этого — не будем называть имени — повесить мало! Некоторые подробности, кои, как мне казалось, были известны чрезвычайно узкому кругу лиц, оказались обнародованы, равно как и многие другие вещи, требующие — о, великий Боже! — глубочайшего молчания; все это убеждает меня в том, что заключение будет долгим <...>[120].

Девятнадцатого мая 1781 года, превозмогая усталость, мадемуазель де Руссе садится в дилижанс, отправляющийся в Авиньон, куда, совершенно обессилев после длительного путешествия, и прибывает 28 мая: «Я совершенно разбита, передвигаюсь с трудом и чувствую себя так, словно только что перенесла тяжелую болезнь или же, наоборот, вот-вот свалюсь окончательно». Тем не менее она надеется, что после нескольких дней отдыха она будет в состоянии отправиться «проведать утесы Ла-Коста»[121]. Однако добраться до этих утесов она сможет только через год[122].

Обнаружив замок в еще большем запустении, чем прежде, она решает там обосноваться и в ужасных условиях проводит зиму 1782 года. Грозовые ветры задувают в щели и разбитые окна, сквозь дырявую крышу в комнаты льет дождь, как пишет она Гофриди, «каждые четверть часа что-то рушится» и «с шумом падают» черепица и штукатурка. Камин в комнате мадемуазель де Руссе провалился, ей было страшно ночевать там, она перетаскивала свой матрас на кухню, менее всего пострадавшую от разрушений, и устраивала себе постель прямо на каменном полу. Однако она не упивалась своими страданиями и смотрела в будущее с открытыми глазами. «Если бы я была англичанкой, я бы застрелилась, — писала она Гофриди, — но я француженка и потому боюсь умирать»[123]. Спустя шесть месяцев, не зная еще о смерти своей «зверушки», Донасьен написал жене: «Когда станете писать в

Прованс, напишите от моего имение Милли Руссе; хотя я не пишу ей, но она не должна на меня сердиться, ведь она прекрасно знает, отчего я так поступаю»[124].

Отзвуки из далекого мира

Время от времени лучи света, рассекая застывшеее время, врываются в вечную ночь узника. Из глухих отзвуков, доносящихся с воли, Донасьен формирует отчетливые образы, как будто слепота, поразившая узника в четырех стенах его камеры, удесятерила остроту его внутреннего зрения.

Так, вместе со свежими запахами пробуждающейся природы до него дошли известия о приходе в Ла-Кост весны 1779 года. Крестьяне подрезали и убирали отжившие виноградные лозы; вытянулись вверх молодые кипарисы; в ослепительно-белой дымке застыли вишни в цвету; топорщили во все стороны зеленеющие ветви сливы и яблони; любопытному солнцу больше не удавалось проникнуть нескромным взором сквозь густые кроны дубов, высаженных двумя небольшими аллеями; беседку починили, а вокруг нее посадили хмель и девичий виноград, превратившие ее в настоящий зеленый кабинет. «Только самая большая драгоценность Ла-Коста, — в приступе лиризма восклицает Готон, — все еще не заняла своего места: это наш хозяин, истинное украшение замка!» Какие новости? Самбюк и Шовен все еще судятся; камни, загромождающие большую аллею, убрали; вскоре сменят деревенского приора; жадность и ревность сеют ссоры между мадам Гранье, женой вигье, и некой Сотон; бравый Гийом «возделал поле» Мадлон, и она породила маленького Гийоме; аббат Гардиоль восторгается великолепными курами и индюшками Готон: «Приветствую вас, прекрасные куры, как вы хороши!»; собака ощенилась и принесла десяток малышей, и т. п.[125].

Время от времени до узника доходят новости о смерти дорогих для него людей. 27 октября 1781 года, спустя восемь дней после рождения сына, умирает от родильной горячки Готон, «славная Готрюш», как называл ее маркиз; мальчика будут крестить за счет сеньора[126]. Узнав эту печальную весть, Сад тотчас посылает мадемуазель де Руссе свои инструкции: если Готон оставила завещание, оно должно быть в точности выполнено; если ребенок остался жив, пусть о нем позаботятся. Маркиз берется оплатить долги покойной и просит Гофриди пожертвовать луидор на заупокойную службу[127]. Спустя полгода после смерти Готон он воздаст ей хвалу в следующих словах:

> Мне жаль Готон. Разумеется, у нее были недостатки, однако она искупала их своими добродетелями и достоинствами; а сколько в мире людей, обладающих одними лишь недостатками! <...> Готон была преданна, прислуживала легко, споро и приятно; она была эдакой чудесной племенной кобылой, что больше всего любит конюшню своего хозяина[128].

О другой потере ему никто не осмелился сообщить. 13 мая 1781 года, в час дня, в Париже внезапно скончалась Анн-Проспер: она стала

жертвой ветряной оспы, осложненной воспалением брюшины. Говорят, что г-жа де Монтрей была безутешна, оплакивая потерю любимой дочери, а г-жа де Сад не решилась известить об этом мужа. Спустя шесть лет де Сад, по-прежнему не зная о смерти Анн-Проспер, станет спрашивать о ней у Рене-Пелажи; в полученном им ответе не будет содержаться ни единого намека на смерть канонисы:

Молчание, кое я, мой нежный друг, положила себе за правило, когда ты заводишь речь о моей сестре, исключительно разумно: желая угодить тебе, я порвала с ней, ибо ты, узнав о ней что-либо, можешь разволноваться и сделать ошибочные выводы. Поэтому я говорю с тобой о ней в последний раз. Ты требуешь, чтобы я ответила на все твои вопросы, и тут же клянешься, что более ни разу не упомянешь о ней. Так вот, чтобы успокоить тебя, сообщаю:

«Какая причина побудила ее покинуть материнский дом?»

— Причина эта тебя не касается, она тебя не бесчестит.

«Является ли она моим врагом?» — спрашиваешь ты.

— Нет.

«Где она живет? Ни улицу, ни квартал можно не называть».

— Где бы она ни жила, тебе это не может повредить. Отвечать тебе на этот вопрос смысла не имеет[129].

Еще одна утрата: 24 мая после шестинедельной болезни умер милейший лакей по прозвищу Юность, о чем г-жа де Сад сообщает Гофриди: «Он скончался в полном сознании и примирившись с религией. <...> Несмотря на его недостатки, — добавляет она, — я очень сожалела о нем, ибо он умел быть преданным. Я пока не смогла найти ему замену и чувствую, что сделать это будет нелегко[130].

«Эти отвратительные сопляки»

Струны отцовства никогда особенно не дрожали в сердце маркиза де Сада (и это еще мягко сказано), тем не менее нельзя сказать, что он был вовсе равнодушен и совсем не проявлял интереса к своим детям. Напротив, во время тюремного заключения он постоянно интересуется их судьбой; но отзывается о них по-разному, в зависимости от того, о ком идет речь — о Клоде Армане, Луи-Мари или Мадлен Лор; или же в зависимости от собственного сиюминутного настроения. Подобное неровное отношение свидетельствует о том, что его родительские чувства крайне непостоянны и противоречивы: он то исполнен отеческого участия, то относится к детям с неподражаемым презрением; но, как бы там ни было, чувства его нисколько не напоминают привычное отношение отцов к детям.

Лучшую характеристику «трем отвратительным соплякам» дала сама г-жа де Сад в 1777 году, когда старшему было десять лет, среднему восемь, а младшей шесть. В трех фразах она набросала столь верный портрет каждого, что даже спустя двадцать лет, когда дети стали взрослыми, в них можно было узнать каждого из тех, о ком говорилось в написанных ею строках. Маленький шевалье, по ее мнению, будет похож на своего двоюродного деда: «Если нынешний характер его не изменится, он как две капли воды будет похож на командора, станет таким же рассудительным и действовать будет только после того, как

все хорошенько взвесит и обдумает». В столь кратких словах невозможно точнее охарактеризовать Донасьена Клода Армана, который действительно будет поступать согласно пророческим словам матери. Луи-Мари она описывает по-иному: «Старший очень хрупок, умеет себя держать, однако чрезвычайно резов и обладает живостью несравненной». Действительно, таким и предстанет перед нами любимый сын маркиза — мятущийся, с беспокойной душой. «Дочь моя ведет себя хорошо, — добавляет г-жа де Сад. — Она предусмотрительно заявляет мне, что очень рада меня видеть, но, заверяю Вас, она гораздо больше любит сестер-монахинь, чем меня»[131]. Мадлен Лор до конца своих дней останется набожной и не слишком умной; впрочем, последнее было заметно уже в детстве.

Де Сад не питает избыточной нежности к детям; в этом нет ничего удивительного, ведь ему кажется, что в первую очередь они — виновники его несчастий!

Ну ничего, — пишет он жене, — Вы еще раскаетесь в том, что заставили меня выстрадать из-за этих сопливых щенков, которых я ненавижу так же, как и Вас, как и все, что к Вам относится. В последнее время чувства мои не могут быть иными, ибо они порождены влиянием тюрьмы[132].

Письма детей, написанные под диктовку или с помощью матери, водящей их нетвердой детской рукой, его не волнуют, однако он постоянно интересуется их успехами, здоровьем и характером, о чем г-жа де Сад весьма подробно ему докладывает. Так, в 1780 году она извещает, что дети только что перенесли ветряную оспу, а Луи-Мари так и не избавился полностью от ее отметин. Но, несмотря на перенесенную болезнь, мальчик хорошо учится; особенно велики его успехи в латыни, он прекрасно разбирается в мифологии и начинает изучать греческий, легко усваивает грамматику и орфографию: «ошибки его происходят единственно от рассеянности». Он без труда пишет сочинения, хотя его латинские фразы скорее легки, нежели правильны; он прочитывает все книги, какие попадаются ему под руку, хочет знать все сразу, говорит слишком быстро, рано обнаружил задатки непомерного честолюбия и обостренного самолюбия. На вид он более симпатичен, чем его брат, обладает изяществом, открытым лицом и добродушным взором, «отчего все осыпают его ласками»; младший же проявляет себя лентяем, он менее одарен, чем брат, «хотя также не лишен живости ума»[133].

Естественно, дети не знают, где находится их отец. На их вопросы г-жа де Сад ответила раз и навсегда, что отец отправился в путешествие. А чтобы дети не забыли, как выглядит их отец, она показывает им его портрет:

Старший тебя узнал и долго разглядывал твой портрет, чем доставил мне большое удовольствие. Младший также смотрел долго, однако не уверена, что он тебя узнал, ибо он был слишком мал, когда ты с ним расстался. Они сказали, что хотели бы тебя видеть, а также высказали пожелание, чтобы мы жили все вместе. Я пообещала им, что, когда ты вернешься, мы непременно будем жить все вместе, но добавила, что пока не знаю, где это будет. Мои отец и мать обожают их. Дети уехали, удовлетворенные обещанием, что увидят тебя через два года; оба мальчика

считают, что ты путешествуешь слишком долго. Их чувства к тебе доставляют мне истинную радость[134].

Со своей стороны, маркиз также не намерен разрывать эмоциональные узы, связывающие его с детьми, хотя он их и не слишком любит. В конце 1780 года он желает получить в подарок их портреты и неоднократно требует от Рене-Пелажи образцы их почерка, дабы удостовериться, что они делают успехи. Считая, что освобождение не за горами, он желает провести год с женой и детьми,

<...> и никакие планы или замыслы не смогут помешать мне в этом, ибо я с *легкостью разрушу все преграды, если Вы посмеете выставить их у меня на пути*, — угрожает он, — дабы воспротивиться моему плану. Никто не смеет утверждать, что имеет право забрать у меня детей, прежде чем я с ними познакомлюсь; клянусь, такого я не допущу[135].

Подобные порывы нежности, на самом деле охватывающие его крайне редко, вызывают настоящую лихорадку; в этом состоянии любая мысль о детях повергает его в отчаяние.

От этих мыслей я схожу с ума, — пишет он в одном из писем к жене. — Если бы ты дозволила мне поговорить с ними наедине... Наверное, ты считаешь, что у меня просто помутился разум. И все же я каждую ночь мечтаю об этом[136].

Идеальная библиотека маркиза де Сада

Первыми шагами Мальзерба, возглавившего министерство Королевского дома, были меры, направленные на улучшение содержания узников. 27 августа 1775 года, месяц спустя после своего назначения, он выпустил большинство жертв, попавших в тюрьму без суда и следствия, на основании особых приказов, коими его предшественник, герцог де Лаврийер, явно злоупотреблял. Спустя некоторое время новый министр отправил коменданту Венсеннского замка следующие инструкции: «Не следует отказывать узникам ни в книгах, ни в письменных принадлежностях. Злоупотреблять данными послаблениями они не смогут, ибо находятся под замком и надежной охраной»[137]. Этим правом широко воспользуется Донасьен де Сад; впрочем, узникам больше не будут чинить препятствий в получении книг, а либерализация тюремного устава продолжится и после отставки Мальзерба: будут ликвидированы подземные камеры, разрешат получать газеты и книги с воли (а не только пользоваться тюремной библиотекой). В царствование Людовика XVI никому даже в голову не приходит отказать узнику в чтении сочинений Вольтера[138].

Чтение и сочинительство являлись излюбленными занятиями маркиза, спасавшими его от тоски и меланхолии[139]. В письмах Сада к жене содержатся длинные списки книг, которые она должна приобрести или же взять в кабинете для чтения; ему не терпится получить книгу так же, как не терпится получить результаты выполнения иных его просьб[140]. Рене-Пелажи не сразу присылает заказанные произведения? На нее тотчас обрушивается град упреков. Зато после прочтения сколько комментариев выходит из-под его пера! Автор их выказывает себя челове-

ком проницательным, с хорошим вкусом, способным на верное замечание, и вдобавок не лишенным чувства юмора! Тюремная администрация не отказывает ему практически ни в одном сочинении, ни в одной газете. Единственное исключение — «Исповедь» Руссо, первая часть которой выходит в 1782 году и которую он, начиная со следующего года, неоднократно требует. В первый раз требование это появляется в письме от 15 июня 1783 года, где добродетельный женевец оказывается в весьма странной компании:

«Исповедь» Жан-Жака Руссо. Несколько романов, достаточно вольных и немного... ну, в общем, вы меня понимаете. Это для того, чтобы я в своем одиночестве мог предаваться приятным размышлениям в духе «Картезианского привратника» или «Терезы-философа». Тюрьма действует на меня: я чувствую, как меняюсь на глазах[141].

Спустя несколько дней маркиза отвечает ему, что «Исповедь» «пропустить отказались»[142]. В июле новая попытка: «Не забудьте ночной колпак, очки, шесть брусков воска, «Исповедь» Жан-Жака Руссо и куртку, которая, как утверждает Ружмон, находится у Вас»[143]. Напрасные старания. Донасьен приходит в ярость:

Превосходно, они отказывают мне в «Исповеди» Жан-Жака! И это после того, как мне прислали Лукреция и диалоги Вольтера! Вот уж поистине свидетельство великого ума и глубины суждений ваших начальников. Увы, они оказывают мне честь, уверовав, что автор-деист может быть для меня дурным примером; как бы я хотел согласиться с ними! Ваши способы лечения не слишком умны, господа правители! Запомните, что именно точка зрения делает вещь плохой или хорошей, а не сама вещь. <...> Исходите из этого, господа, и, поразмыслив здраво, сообразите, что Руссо может быть опасным автором для таких святош, как вы, тогда как для меня его книга абсолютно безопасна, а посему пришлите мне ее. Для меня книга Жан-Жака является тем же, чем для вас «Подражание Иисусу Христу»[144].

Появление «Исповеди» вызвало скандал, и потому де Сад страстно желал прочесть ее. Однако было и другое основание, не ускользнувшее от Филиппа Роже[145]. В то время Сад серьезно задумывается над тем, чтобы написать собственные мемуары.

У меня есть желание писать, но, клянусь Вам, только для себя самого, — пишет он жене. — Я напишу «Записки о моей жизни». Но я хочу написать их для себя, и мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь — не важно кто — видел их. Вопрос в том, чтобы Ленуар, коему Вы об этом скажете, дал Вам честное слово, что запечатанная рукопись, кою мне, выходя из тюрьмы, придется предъявить тому, кто станет просматривать мои бумаги, не была бы ни просмотрена, ни задержана; чтобы все было именно так, а не иначе. Я требую, чтобы Вы получили и переправили мне надлежащим образом составленную расписку с подписью; образец расписки, без которой я к работе не приступлю, прилагаю[146].

Власти только делают вид, что смотрят сквозь пальцы на круг чтения заключенных; заключенный Сад не имеет права читать все, что ему вздумается, некоторые книги ему по-прежнему запрещены. Однако не столько потому, что они оскорбляют общественные нравы, а исключительно из-за индивидуальных особенностей читателя: начальство считает, что некоторые из заказанных книг могут «разгорячить» его. По-

этому г-жа де Сад обнаруживает, что часть отправленных ею книг возвращается обратно, не побывав в руках адресата.

Я пошла объясняться с Ленуаром, – пишет она, – и он мне сказал, что у тебя забрали все твои книги, потому что они горячили тебе кровь и побуждали тебя писать вещи недопустимые. <...> Сдерживайся, когда пишешь, заклинаю тебя! Давая волю своим чувствам, ты совершаешь большую ошибку; исправь ее, упорствуй в достойном образе мыслей, несомненно, находящем отклик в глубине твоего сердца, а главное, не говори и не пиши все те заблуждения, кои внушает тебе твой ум, ведь именно на их основании все выносят о тебе свое суждение[147].

* * *

Восстанавливая состав библиотеки маркиза де Сада, которая была у него в тюрьме, поражаешься как внушительным количеством книг, прочитанных маркизом, так и разнообразием его вкусов и пристрастий, о которых свидетельствует круг чтения. Некоторые книги из библиотечного списка, несомненно, призваны удовлетворять научное любопытство маркиза. Это: «Опыт о флюидах», «Наилучшие основы физики», «Естественная история» Бюффона. «Театральный альманах» и театральные пьесы, появившиеся за последний год, помогают ему быть в курсе новомодных течений в драматургии, его излюбленном жанре, где он стремится стать первым. Ряд книг, без сомнения, является источниковедческим материалом для Сада-романиста, и, в частности, исторические сочинения и путевые заметки: «пленительнейшее чтение» под названием «Французский путешественник» аббата де Лапорта, «Путешествия» капитана Кука, «История падения Римской империи», «История Ганноверских войн», «История войны в Бовэ» (возможно, для написания драмы «Жанна Лене»), «История Франции» (аббата Велли), «История Мальты», «Путешествие на мыс Доброй Надежды», «Путешествие Бугенвиля» и т. д. Романы относятся к книгам «отдохновения» или же «второстепенного чтения», как он их называет. В его камере на книжных полках можно найти «Жизнь Марианны» и «Удачливый крестьянин» Мариво, «Знаменитые французы» Робера Шаля, «Португальские письма» Гийерага), «Опасные связи» Лакло и большую часть тогдашних новинок. Но самое большое удовольствие доставляют ему повести Вольтера, он знает их буквально наизусть: «Сочинения такого человека можно перечитывать постоянно. Советую Вам почитать их, даже если Вы уже успели прочесть их тысячу раз, – пишет он жене, – ибо, читая эти сочинения, каждый раз испытываешь новое наслаждение»[148]. Разумеется, в библиотеке узника представлены все великие классики: Гомер, Вергилий, Лукреций, Монтень, Тассо, Ариосто. Широко представлены книги по философии: от «Логики» Николя до «Системы природы» барона Гольбаха и «Опровержения» аббата Бержье. Всегда жаждущий последних новинок, Сад велит приобрести для него двенадцать томов «Картин Парижа» Луи-Себастьяна Мерсье – по мере того как издатель будет их выпускать[149]. Какую бы книгу ни заказывал он прислать, в роли советчика г-жи де Сад всегда выступает аббат Амбле.

Прошу Вас, по поводу книг советоваться только с Амбле, – приказывает жене Донасьен, – спрашивайте его мнение всегда, даже о тех книгах, которые я прошу Вас прислать, потому что я прошу те книги, о которых сам ничего не знаю, а они могут оказаться очень плохими[150].

Некоторые авторы, такие как, например, д'Аламбер и Прево, вызывают у него бурные восторги: «Ах, что за человек! Что за перо! Вот каких людей хотел бы я видеть среди вершителей своей участи, среди своих судей, а не ту шайку дураков, что вздумала распоряжаться моей судьбой!»[151] Он так восхищается Масийоном, что, воспевая хвалы знаменитому проповеднику, невольно заимствует у него ритм:

Господи, подруга моя милая, как люблю я проповеди отца Масийона! Они окрыляют меня, восхищают, приводят в восторг. <...> Самому сердцу адресует он истины свои, самое сердце стремится заставить внимать словам его, самое сердце пленяет постоянно. <...> Какая безупречность! Какая нравственность! И какая потрясающая смесь силы и простоты![152]

Напротив, к Ретифу де ла Бретону он испытывает исключительно чувство презрения (и тот, как известно, отвечает ему тем же!).

А главное, ради всего святого, не покупайте ничего из сочинений г-на Ретифа! – велит он жене. – Это сочинитель с Нового моста, автор книжонок для Голубой библиотеки*, следовательно, у Вас даже мысли быть не должно прислать мне что-либо из его вещей[153].

«Крайняя непристойность»

Сад всегда считал себя писателем. Задолго до того, как он оказался на положении заключенного. Возможно, даже задолго до первых скандалов вокруг его имени. Он *был* писателем, так же, как были писателями его отец и друзья его отца, как был им его дядя-аббат. Подобно многим тогдашним дворянам, он занимался литературным трудом сам того не осознавая, или, скорее, никому об этом не сообщая. Он писал салонные комедии и играл в любительских спектаклях для удовольствия, как собственного, так и своих близких, то есть для слушателей и читателей, заранее осведомленных о его талантах; литературные таланты были присущи многим образованным людям того времени. Любовные и галантные послания, легкие комедии, куплеты, катрены, стихи, сочиненные по случаю и старательно переписанные верным Юностью, сохранили до наших дней драгоценные свидетельства литературных развлечений маркиза. Мечтал ли он с самого начала публиковать свои сочинения, как считают некоторые? Прямых доказательств таковых намерений не сохранилось, более того, подобное желание сомнительно, ибо оно совершенно не в духе времени и не соответствует понятиям де Сада о дворянской чести. До конца XVIII века ремесло сочинителя считалось унизительным для дворянина, и трудно себе представить, чтобы человек, столь ревностно относящийся к прерогативам своей касты, предался бы занятию, которое его собратья по классу полагали низменным. «Профессиональ-

* Голубая библиотека – дешевые издания в бумажных обложках.

ное» честолюбие де Сада проснется после его путешествия по Италии, совершенного в 1775–1776 годах, то есть когда он, по сути, окажется «деклассированным элементом» и вдобавок почти разорится; именно тогда он всерьез задумается об издании своих путевых заметок.

Таким образом, анонимным писателем, писателем без книги он стал еще до своего продолжительного заключения, растянувшегося с 1778 по 1790 год. Однако садическое письмо со всеми его длиннотами, с его нюансами и интонацией рождается именно в тюрьме. Только в тюремном пространстве (играющем роль покровителя и одновременно ограничителя свободы) Сад получает свободу творить и создавать свой собственный язык.

> Именно перед этим вынужденным одиночеством он испытывал подлинный ужас (двойной ужас: от одиночества как такового и от восприятия его как наказания); но этот ужас постепенно обернулся к нему своей притягательной стороной, породившей и взрастившей неумолимую необходимость писать, пугающую власть слова, которая с тех пор не отпускала его. Надо все сказать. Первейшая из свобод — это свобода слова[154].

Таким образом, узник Сад начал вживаться в то состояние, которое несравненный Морис Бланшо назвал «крайней непристойностью». «Войдя в тюрьму человеком, Сад вышел из нее писателем»,— замечает Симона де Бовуар. Как неизбежное следствие этого, тюрьма присутствует во всем творчестве де Сада. Крепость, подземелье, камера, монастырь, недоступный остров или осажденная цитадель: воображение де Сада беспрестанно воспроизводит замкнутое пространство заключения. Однако вскоре письмо, подобно прогулке или свиданию, письмо как инструмент свободы, становится для его тюремщиков средством принуждения: они то разрешают ему писать, то запрещают, лишая его, словно младенца погремушки, возможности «пользоваться карандашом, чернилами, пером и бумагой».

> Вынужденный подчиняться, он чувствует себя кастрированным, чернильная сперма больше не может изливаться; заключение превращается в воздержание; без прогулок и пера Сад *закупоривается,* становится евнухом[155].

В течение первых двух лет заключения узник в основном стремится переписать начисто свое «Путешествие по Италии», хотя оно уже представляет собой внушительную кипу листов, переписанных Юностью. Друг его, доктор Мени, от которого Сад скрыл свои несчастья, по-прежнему считает, что Сад на свободе, и продолжает посылать ему фактический материал, необходимый для сочинения. Именно в это время Сад начинает уделять особое внимание театру, этой всепоглощающей, требовательной страсти, коя уже не покинет его никогда. 24 декабря 1780 года он делает набросок комедии «Непостоянный» (впоследствии получившей название «Своенравный»), а с 8 января следующего года начинает переписывать ее в стихах. 5 апреля 1781 года он приступает к переписке «исправленной и дополненной» комедии начисто и завершает эту работу 14 апреля. Затем он переправляет ее жене, которая, вместе с аббатом Амбле, всегда будет его лучшим литературным советчиком.

Твоя пьеса превосходна, – пишет она. – Я, несомненно, ставлю ее выше двух других твоих пьес; впрочем, те также обладают определенными достоинствами. Характеры выписаны прекрасно. <...> Уверена, комедия будет иметь успех, а со стороны актеров Комеди Франсэз было бы крайне легкомысленно вносить в нее изменения; впрочем, я и не вижу, что там можно изменить[156].

Спустя год Рене-Пелажи получает пьесу «Недобросовестный» и окончательный рукописный вариант трагедии «Жанна Лене», за которой следует написанная верлибром короткая одноактная пьеса под названием «Безумное испытание, или Легковерный муж». Список комедий растет на глазах. За комедией «Сестры-близнецы», которую г-жа де Сад находит «вполне приличной и достойной быть поставленной даже в монастыре; немного холодной, однако вовсе не дурной», следует «Мизантроп из-за любви, или Софи и Дефран», вызвавшая нарекания аббата Амбле.

После прочтения он не пожелал высказать свою оценку письменно и честно признался, что не считает возможным это ставить; ежели занятие сие тебя забавляет, можешь продолжать его как забаву, но выносить плоды сего сочинительства на суд публики он возможным не считает. Ты хочешь, чтобы с тобой были искренни – так вот, он говорил совершенно искренне[157].

Всем, порицающим его за столь «ничтожное» времяпрепровождение, Сад отвечает, что драматический жанр всегда являлся привилегией «тех, кто более всех прославился в нашей литературе», и он выбрал его по той причине, что «он требует менее всего дополнительных усилий, а развлекает весьма приятным образом». Находясь в заключении, он мечтает увидеть свои пьесы на сцене Комеди Франсэз и, поверяя жене «сие причудливое желание», утверждает, что «я то уверен в его осуществлении, то напрочь его отбрасываю». Естественно, в конце концов он от него отказывается.

Так как его камеру часто обыскивают, он предпринимает тысячи предосторожностей, чтобы скрыть свои рукописи от взоров тюремщиков, а когда отсылает их жене, непременно пишет специальное уведомление, где заявляет, что тексты его не являются двусмысленными и не имеют подтекста, а любое сходство его персонажей с друзьями или родственниками является совершенно случайным и ни сейчас, ни в дальнейшем он не намерен подписывать их вымышленным именем.

Описывая заблуждения человека глубоко несчастного, после того как сам испытал всевозможные несчастья, я не мог не сгустить некоторые краски, – добавляет он, – но официально заявляю, что не намеревался ни писать о себе, ни выводить себя в качестве одного из персонажей <...>[158].

Арест черновиков приводит его в отчаяние.

Бессмысленно брать черновики того, что в чистовом варианте уже прошло цензуру, – совершенно справедливо замечает он, – а уж тем более бессмысленно забирать то, что еще не имеет никакой формы и, следовательно, неизвестно, какого – хорошего или дурного – качества получится; а ведь черновики мне особенно нужны. Если среди отобранных у меня бумаг найдут сочинения завершенные, не важно, плохие или хорошие, пусть хранят их сколько угодно, вплоть до моего освобождения, только – умоляю – пусть вернут мне черновики[159].

Нельзя сказать, что у него нет ни замыслов, ни проектов: мемуары, история, романы, путевые заметки... Постоянно томимый жаждой писания, возрастающей по мере того, как истощается надежда на освобождение, он стремится охватить все эти жанры. Во время работы над «Диалогом священника с умирающим» (лето 1782 года) он параллельно делает первые наброски романа «Сто двадцать дней Содома», который завершит уже в Бастилии. Кроме того, он мечтает написать книгу о метемпсихозе, что необычайно удивляет г-жу де Сад. «Мне кажется, что сюжет сей, воплощая собой одну из причуд человеческого разума, легче всего развить, ибо он дает возможность позабавиться, позабыв о рассудке»[160], — пишет она ему. Гораздо более любопытен и интересен обширный замысел де Сада, именуемый «Домом искусств», проект которого он разрабатывает в мае 1782 года, в то самое время, когда королевский архитектор Эртье строит новый зал для Итальянского театра, получивший название зала Фавар[161]. Речь идет о возведении монументального театрального здания, примерно восьмидесяти метров в диаметре, вокруг которого будут проложены двенадцать аллей, вдоль которых выстроятся павильоны с пристройками, посвященные различным музам; в каждом павильоне будет представлен свой вид искусства. Но хотя проект и привлек определенное внимание общественности, и, в частности, Рефле-Дюамо, он так и остался на стадии разработки, — по крайней мере его архитектурное воплощение. Но желание собрать все искусства в одном месте не покинет маркиза, и он осуществит его в драме под названием «Хитрость любви», позднее получившую заголовок «Союз искусств», пьесе со множеством вставных эпизодов, составленной из пяти одноактных драм, связанных между собой единой сюжетной линией.

Бастилия

В начале 1784 года тюрьма в Венсенне была по неведомой причине официально закрыта. Впрочем, в обществе все настойчивее раздавались протесты против государственных тюрем, к тому же в Бастилии вполне хватало места для размещения тех немногих узников, которые до сих пор содержались в обеих крепостях. 29 февраля 1784 года в Бастилию перевели трех остававшихся в Венсенне заключенных, чье пребывание в стенах крепости никак не могло нарушить спокойствие королевства: это были граф де Солаж, пребывавший в заточении по просьбе семьи, душевнобольной граф Вайт де Мальвиль и маркиз де Сад[162].

В Бастилии Донасьена разместили на третьем этаже башни, иронически именуемой Свободой; вместе с башней Бертодьерой она составляла Сент-Антуанское укрепление. На каждом этаже помещалось по одной восьмиугольной камере, от пятнадцати до шестнадцати футов в диаметре и от пятнадцати до двадцати футов высотой. Потолок и стены были побелены известкой, пол кирпичный. Три ступеньки вели к забранному тройной решеткой окну. Обстановка состояла из кровати с пологом из зеленой саржи, пары столиков, нескольких стульев, подставок для дров,

совка и щипцов. Однако узник заказывает привезти себе мебель по собственному вкусу, завешивает стены коврами и устраивается с максимальными для себя удобствами[163]. Он приказывает перевезти из Венсенна свои книги, картины и гравюры и получает их, хотя и со значительным опозданием, 29 апреля. А пока он жалуется на то, что его перевели

<...> силой, без уведомления, не предупредив, таинственно, с каким-то шутовским инкогнито, в суете и с быстротой едва ли простительной <...>. И зачем же меня похитили? Чтобы перевести в другую тюрьму, в тысячу раз худшую и в тысячу раз более тесную, нежели то несчастное место, кое мне пришлось покинуть. <...> Камера моя вполовину меньше той, где я был прежде, здесь я даже не могу ходить кругами, и мне придется довольствоваться редкими короткими прогулками в крохотном дворике, где невозможно дышать из-за кухонной и прочей вони; вдобавок меня туда выводит часовой, вооруженный не просто ружьем, а ружьем со штыком, словно я преступник, пытавшийся свергнуть Людовика XVI!

Более того, ему не позволили взять с собой ни одежду, ни подушку, ни даже «подушку для моего геморроя», ему запретили пользоваться ножами и ножницами и обязали самого застилать кровать и мести камеру.

Не имею ничего против первого, ибо кровать застилали из рук вон плохо; к тому же занятие это меня развлекает, — пишет он жене. — Но во втором я, к несчастью, ничего не понимаю; это вина моих родителей, не воспитавших во мне сей талант[164].

Мясо, которое мне здесь дают, настолько жестко, что невозможно проглотить ни куска, — возмущается он в другом письме. — Печь настолько раздражает меня, что, несмотря на здешний холод, мне приходится обходиться без огня; а прислуживать мне назначили самого наглого субъекта, коего только можно встретить в сем мире[165].

К тому же в трех футах от его изголовья поместили «человека, который целый день спит, но едва пробьет полночь, начинает скакать, крушить, бить, опрокидывать все вокруг, вопить и проделывает подобные милые штучки до восьми часов утра»[166].

Ах! Какая разница по сравнению с Венсенном! — восклицает он. — В Венсенне меня никогда не беспокоили по мелочам, не входили в мельчайшие подробности моей жизни, как это делают здесь. Нигде с таким упорством не стремились противоречить мне в каждой мелочи[167].

Однако довольно скоро Сад сможет вполне прилично обустроить свою бастильскую камеру: у него будет и обширная библиотека, и семейные портреты. Ему вернут всю его одежду в опечатанных мешках, и он подтвердит, что «ничего не утеряно и не попорчено»; также ему вернут подушки, бархатный колпак, стеклянный кубок в футляре и оловянную клистирную трубку в специальной коробке. В отдельной картонной коробке ему наконец возвратят его самое большое богатство: бумаги и рукописи[168].

Нетрудно догадаться, что переезд из одной тюрьмы в другую, пользующуюся еще более мрачной славой, нежели прежняя, нисколько не улучшил настроение маркиза. Де Лонэ, комендант крепости, горько жалуется начальнику полиции на узника, «крайне капризного и неукротимого», который то и дело устраивает сцены и взрывается из-за каждого пустяка, пишет «письма, полные гадостей, о собственной

жене, о своей семье и о нас», по любому поводу оскорбляет часовых и встречает супругу «потоком брани и глупостей». «По правде говоря, она боится за свою жизнь, — добавляет комендант, — ведь, если он хотя бы на один день выйдет на свободу, случиться может все». Действительно ли Рене-Пелажи считает, что муж может убить ее? Разумеется, Лонэ преувеличивает, но, воспользовавшись подвернувшимся предлогом, сокращает их свидания до одного в месяц; «это услуга его жене и его семье. <...> Если он не станет злоупотреблять своими послаблениями, потом можно будет разрешить более частые посещения». Впрочем, вскоре свидания действительно разрешили, и довольно частые: г-жа де Сад добилась позволения навещать мужа регулярно: раз в неделю.

Двадцать второго сентября 1788 года по просьбе супруги маркиза де Сада перевели в шестую камеру башни Свободы, где больше воздуха и света. К нему приставили для услуг инвалида, убиравшего камеру, исполнявшего мелкие поручения и ухаживавшего за узником, когда тот заболевал. Камеру заново оклеили обоями, поставили удобную мебель; новая обстановка стоит более тысячи ливров, и эту кругленькую сумму платит жена узника[169]. Словом, все устраивается, и даже вполне прилично — кроме одного: тюремщиком к де Саду приставляют

<...> мошенника Лосинота, самого *тупого* и самого *наглого* лакея, коего мне довелось видеть за всю свою жизнь, — возмущается маркиз. — Тип этот, уверенный, что все, что он ни делает, исключительно прекрасно, наглым фальцетом или идиотским блеянием сообщает об исполнении порученного ему дела, так что хочется рассмеяться, когда ты в настроении, а ежели ты страдаешь или грустишь, то тут же начинают чесаться руки. <...> Уверен, нет в мире более бездушного негодяя, более бессердечного, более глупого и более наглого, чем сей тюремщик[170].

Семейный совет

Пятого октября 1786 года, в одиннадцать часов утра господа Тома Жибер и Туссен Шарль Жирар, призванные командором де Садом, дядей маркиза с отцовской стороны, прибывают в Бастилию, в комнату для совета, где их уже ждет Донасьен де Сад; посетители намереваются «потребовать» у него передать доверенность либо дяде, либо комунибудь из родственников, кому он сочтет нужным, дабы тот

<...> во время пребывания в тюрьме вышеозначенного де Сада мог управлять, распоряжаться и руководить как его имуществом и делами, так и делами и имуществом графини де Сад, его супруги <...>, заботиться о содержании и воспитании его детей, а также об их устройстве, как посредством заключения брака, так и иными способами <...>.

На это граф де Сад ответил, что все доводы относительно сохранности его имущества исключительно убедительны; он, как и его дядя, чувствует крайнюю необходимость в лице, кое смогло бы заведовать его имуществом, однако полагает, что никто, кроме него, графа де Сада, не в состоянии это сделать, а причины, удерживающие его в тюрьме, не столь основательны, чтобы и далее его тут удерживать, ибо пребывание его в заключении наносит вред не только ему, но и его жене и детям. И как следствие, он просит командора де Сада составить записку министру, изложив в ней все доводы, перечисленные заключенным в личном письмен-

ном требовании об освобождении, дабы министр уяснил необходимость присутствия графа де Сада в его землях и снял с него обвинение, на основании которого он и пребывает в тюрьме по тайному распоряжению короля. После столь долгого заточения и столь основательных причин для освобождения министр, являя собой воплощение справедливости, не сможет отказать командору де Саду; наконец, ответ сей является последним, который граф де Сад дает по вышеозначенному поводу, и ежели просьба его не будет удовлетворена, то во избежание новых неприятностей он советует более не обращаться к нему с просьбами о выдаче доверенности, ибо он решил никаких бумаг не подписывать[171].

Решив обойтись без дозволения узника, семейный совет, собравшийся 21 июня 1787 года по приказу, подписанному в парижском суде Шатле, берет на себя полномочия по управлению его имуществом и воспитанию его детей. Памятуя о том, что главное «заинтересованное лицо» отсутствует с сентября 1778 года и что отсутствие это, длящееся восемь лет подряд, наносит «ощутимый ущерб его делам и состоянию», родственники маркиза решают сохранить Гофриди в качестве главного управляющего землями маркиза, однако действующего «в присутствии и с согласия» Ришара Жана Луи де Сада, бальи и великого командора Мальтийского ордена, великого приора Тулузы, дяди маркиза с отцовской стороны, который благодаря этому решению становится председателем семейного совета. Г-жа де Сад получает право взимать доходы с имущества, принадлежащего лично ей, а также право на ежегодное получение суммы в четыре тысячи ливров «в счет части пенсиона, который ей необходимо выплачивать». Наконец, совет единодушно решает, что за командором де Садом закрепляется обязанность «руководить образованием, устройством и поведением детей вышеуказанного маркиза де Сада совместно с маркизой де Сад, их матерью»[172]. Иначе говоря, Донасьен не только лишается права управлять собственными владениями, но и родительских прав.

На деле же этот официальный акт всего лишь подтвердил де-юре давно уже сложившуюся де-факто ситуацию. Само собой разумелось, что командор де Сад, почтенный старец восьмидесяти четырех лет, обязанный своим председательством в совете исключительно преклонному возрасту и заслугам перед Мальтийским орденом, на деле не исполнял ни одной из возложенных на него обязанностей и всю ответственность возложил на г-жу де Монтрей. Свои же намерения относительно исполнения им своей должности он излагает в недавно обнаруженном письме к председательше от 7 июля 1787 года. «Я намерен пользоваться своими правами крайне скромно, да и то только после того, как заранее сообщу Вам о своих шагах, — заверяет он. И тут же добавляет: — Я напишу мадам де Сад как только смогу. Было время, когда она шла на соглашение ради блага своих детей, и я не допущу, чтобы теперь ее принудили поступить им во вред»[173].

Рассказы и романы

После перевода в Бастилию литературная активность де Сада не только не снижается, но, напротив, становится еще более интенсивной. 22 октября 1785 года он начинает начисто переписывать черновики

«Ста двадцати дней Содома». Желая избежать ареста сочинения, он пишет микроскопическим почерком на 11-сантиметровых листочках, склеенных концами друг с другом и образующих ленту длиной в 12,1 м, исписанную с двух сторон. Этот крохотный *свиток* легко спрятать на дне кармана или в трещине стены. Работа выполнена за 37 дней, автор трудился с семи утра до десяти вечера и утром 27 ноября завершил ее. Тем не менее рукопись представляет собой незавершенную версию, которую автор скорее всего продолжил бы, если бы в 1789 году не потерял сей свиток окончательно.

Об этом загадочном романе, первом крупном произведении де Сада, написано много и весьма нелицеприятно. Начиная с Мориса Эна, который определил впервые опубликованную им в издательстве «Ше Стандаль э Компани» («Chez Stendhal et Compagnie») между 1931 и 1935 годами рукопись как труд по psychopathia sexualis*, сделав тем самым ее автора предшественником Крафт-Эбинга и Фрейда, и до Мишеля Делона, недавно издавшего роман в «Библиотеке Плеяды»[174], большинство комментаторов отмечают психопатологический или психоаналитический характер этого текста. Следом за Морисом Эном, Жан Полан видит в нем «гигантский каталог извращений», Жильбер Лели говорит о «медицинском трактате», хотя в то же время Жак Лакан решительно отвергает подобного рода определения:

> Утверждать, что сочинение де Сада предвещает Фрейда, пусть даже на уровне описания извращений, является несусветной глупостью, повторяющейся в высказываниях досужих литераторов, откуда эта ошибка обычно вновь возвращается в труды специалистов[175].

Доктор Энар подчеркивает онейрический аспект сочинения маркиза, проявляющийся

> <...> в конденсации эротических отклонений, в их постоянно возрастающей сексуальной усложненности, в арифметическом нагнетании драматизма амбивалентных событий, характеризующихся низостью и одновременно сладострастной притягательностью[176].

Со своей стороны, Жан Жилибер пишет:

> Садический ужас обрушивает на нас воспоминания... детские воспоминания, которые мы не раз переживали, возвращает нас к мифу о нашем детстве, где сексуальный опыт перемешался с подавлением сексуальности, ведет нас в сторону, где Фрейд советовал нам не останавливаться и где остановился он сам, призывая нас, приняв как должное невозможность отыскать первопричину в категориях грядущего, придумывать Прошлое с большой буквы, которое на самом деле является всего лишь тем, что случится сейчас[177].

Не выходя из роли биографа и не претендуя на новую интерпретацию «Ста двадцати дней Содома», скажу только, что сочинение это нельзя рассматривать в отрыве от сексуальной практики де Сада в тюрьме; «Сто двадцать дней» напрямую вырастают из фантазматического письма. За фасадом брызжущей фонтаном аллегории ритуальное дей-

---

* Сексуальная психопатия (*лат.*).

ство, осуществляемое посредством пера и чернил, сплавляет воедино процесс письма и осуществление желания.

Осенью 1786 года он работает над «Алиной и Валькуром» и собирает сведения о Португалии и Испании, где происходит ряд эпизодов этого романа[178]. 8 июля 1787 года он завершает 138 страниц своей философской сказки «Несчастья добродетели» и отмечает на полях последней страницы: «Когда я ее писал, у меня очень болели глаза». Через некоторое время он приглашает королевского наблюдателя Бастилии шевалье дю Пюже на читку «Жанны Лене, или Осады Бове», которая должна состояться в зале совета Бастилии в присутствии офицерского корпуса крепости:

Завтра состоится читка пьесы о трагедии Бове, той самой, о которой шла речь ранее; будут ли зрители снисходительны, явятся ли завтра в зал? И не изменит ли своего решения шевалье дю Пюже? Автор высоко оценил бы его присутствие, однако понимает всю дерзость своей просьбы. <...> Отказавшись от развлечений, проскучать целый день на чтении пьесы! Не знаю, как следует составлять приглашения на подобного рода спектакли, ведь я хорошо помню, как, будучи человеком светским, сам рассматривал такие приглашения как ловушки и, не утруждая себя, просил отвечать на них своего врача[179].

Первого марта 1788 года де Сад начинает писать повесть «Эжени де Франваль» и за шесть дней завершает ее;[180] 1 октября 1788 года он создает «Комментированный каталог» своих сочинений, составляющих к этому времени ни много ни мало как пятнадцать томов, не считая рукописей, хранящихся тайно[181].

Шарантон

Утром 2 июля 1789 года Донасьен Альфонс Франсуа де Сад нервно мерил шагами свою камеру. Жена сообщила ему о начавшихся в Париже народных волнениях. Несколько дней назад он заметил, что в крепости начались спешные приготовления к бою: усилили гарнизон, зарядили пушки, поставили на платформы бочки с порохом. Несомненно, все ожидали каких-то серьезных событий. Около полудня Лосинот пришел предупредить узника, что прогулка на смотровой площадке башни отменяется: приказ коменданта. Раздражение маркиза доходит до предела. Он грозит устроить грандиозный скандал, если запрет не будет отменен, и посылает Лосинота известить об этом коменданта. Тюремщик возвращается. Отмены не будет. Обезумев от ярости, Сад хватает длинную жестяную трубу с воронкой на конце, с помощью которой он опорожняет свой сосуд в сточную канаву, приспосабливает этот импровизированный рупор к оконной решетке и начинает изо всех сил кричать, что убивают узников Бастилии, что комендант крепости и тюремщики — убийцы. Собравшиеся зеваки, задрав головы, слушают, как де Сад рассыпается в оскорблениях в адрес тюремного начальства и призывает толпу проникнуть в эту цитадель преступлений и прийти к нему на выручку. Наконец неистового маркиза удалось успокоить; теперь самое страстное желание коменданта — любым способом, лишь бы

поскорее, сплавить неуживчивого арестанта. «Мы вздохнем спокойно только тогда, когда избавимся от этого субъекта, коего ничто и никто, ни один из офицеров, не может побудить вести себя должным образом», — пишет он министру де Вильдею[182].

На другой день, точнее ночью, через час после полуночи, шесть вооруженных людей врываются в камеру к Донасьену и стаскивают его с кровати. Не дав ему ни как следует одеться, ни взять самые необходимые вещи, они швыряют его в фиакр и везут «голым аки червь» в Шарантон, где и запирают, не сказав, сколь долго ему там томиться[183]. Той же ночью, пока г-жа де Сад спала спокойным сном, Шенон, комиссар Шатле, опечатал дверь бывшей камеры маркиза.

В те времена Шарантон был приютом для душевнобольных и содержался на средства монахов ордена Милосердных братьев. Луи-Себастьян Мерсье воздает должное умелому руководству, бдительности и заботам братьев, однако с горечью замечает, что в Шарантон принимают также арестованных по тайному королевскому приказу.

С сокрушением смотрю я, — пишет он в 1788 году, или, говоря иначе, за год до поступления в Шарантон де Сада, — как Милосердные братья превращаются в тюремщиков, а приют их — в маленькие бастилии. Они утверждают, что не могли отказаться исполнять распоряжение министра; но сколь удивительно видеть дом заключения, пребывающий в руках тех, кто перевязывает раны недужного и, следуя евангельским изречениям, поливает эти раны бальзамом доброго самаритянина. <...> Заведение Шарантон, — добавляет он, — имеет превосходное расположение и по природе своей нисколько не подходит для государственной тюрьмы; но оно стало таковой, ибо туда помещают узников, приговоренных без суда и следствия, по одному лишь секретному приказу короля. <...> Узники Шарантона — это умалишенные, имбецилы, либертены, развратники, транжиры[184].

У нас имеются подробные сведения об условиях содержания заключенных в Шарантоне: нашим свидетелем выступает сам Сад, отвечающий в своем письме на выступление адвоката Матона де Лаварена*.

Праздность, низость, распутство, сладострастие, чревоугодие, потребность скрыться от людей, в обществе которых ты замарал себя бесчестьем, — вот качества, определяющие поступки Милосердных братьев, — пишет маркиз. — Следовательно, нетрудно сделать вывод, что управление, осуществляемое подобными негодяями, являет собой исключительную опасность. Пусть проверят их деятельность; это все, чего я прошу

Умоляю Вас, сударь, хотя бы на миг направить сюда свой взор; снизойдите и вместе со мной, следом за мной отправьтесь в это смрадное логовище, служащее пристанищем несчастным, для которых скупость, алчность, честолюбие, мстительность и прочие пороки, царящие в Шарантоне, стали достаточным наказанием за их проступки; в эту минуту, когда я обращаюсь к Вам, наши добрые парижане, успокоившись, считают, что, разрушив Бастилию, они обезоружили деспотизм и уничтожили его застенки. Но последуйте за мной, и Вы убедитесь, что они заблуждаются!

Пред Вашим взором предстанет мрачное здание, вросшее в землю по самую кровлю, жуткое пристанище, куда никогда не проникает воздух, откуда рыдания и крики тех, кого там содержат, никогда не доносятся наружу, а посему не могут быть услышаны. Когда семь или восемь тюремщиков, сопровождаемые красноли-

* Полный текст письма см. в Приложении XII наст. изд.

цым толстым братом, этаким веселым здоровяком, откроют Вам калитку и из крошечного дворика на Вас повеет гнойными испарениями, Вы, быть может, не пожелаете проследовать дальше. Но если Вы все же ступите туда, то увидите около двух десятков несчастных, полностью пользующихся плодами разума, но которых много лет назад намеренно забыли в этом пристанище горестей; дабы удвоить ужас их положения, их содержат в опасной близости к умалишенным, а по сути вместе с ними, вместе с буйнопомешанными, с людьми, подверженными эпилептическим припадкам, кои заражают их, развращают и бьют; когда же несчастные дерзают жаловаться, в ответ они получают лицемерное дозволение удалиться к себе в камеры, ежели окружающее общество их не устраивает. Сможете ли Вы войти в эти ужасные камеры? Сырые, с голыми стенами, кишащие насекомыми, с прибитой к стене койкой, они являют собой пристанище клопов и пауков, чей покой вот уже сотню лет никто не тревожил; рядом с койкой стоят колченогий стул и прогнивший стол, а в дверное окошко, вернее, в жалкое отверстие, несчастным обитателям сего жилья просовывают еду, ибо надзиратели не обязаны заходить к ним в камеру; окошко справа, то, что выходит на улицу, почти никогда не имеет стекол, но из-за частой решетки дневной свет пропускает крайне экономно, отчего в кельях этих, стены которых имеют высоту шестьдесят футов, царит вечный полумрак. Вот какую картину Вы увидите[185].

«Наш начальник ждет нас в другом месте...»

Спустя десять дней после перевода де Сада в Шарантон, во вторник 14 июля, Бастилия была взята штурмом. Коменданта де Лонэ, майора Лом-Сальбрэ и полкового лекаря Мирэ приволокли на Гревскую площадь и там убили. Поваренку Дено удалось кухонным ножом отрезать коменданту голову, и он, нацепив на острие пики, в сопровождении беснующейся толпы долго таскал ее по улицам. Эти факты общеизвестны. Но мало кто знает, что чернь, захватившая крепость и перевернувшая ее вверх дном, не пощадила также камеру маркиза. Его библиотека в шесть сотен томов, среди которых находилось немало ценных изданий, одежда, белье, мебель, портреты, а главное, рукописи, были «разодраны, сожжены, украдены, разграблены»; в частности, в те же дни исчез и свиток «Ста двадцати дней Содома»; более де Сад его уже не увидит.

К несчастью, г-жа де Сад решила забрать вещи мужа, оставшиеся в опечатанной камере Бастилии, именно 14 июля. Роберт Дарнтон обнаружил подробное описание событий того дня, сделанное Жаном Шарлем Пьером Ленуаром.

В первых числах июля сего года, — пишет бывший начальник полиции, — граф де Сад был переведен из Бастилии в Шарантонскую обитель, находящуюся под покровительством Милосердных братьев. В Бастилии остались бумаги, принадлежавшие его семейству, и он попросил, чтобы их передали тому, кого он сам наделит полномочиями взять их. Тринадцатого числа сего месяца, находясь в Шарантоне, он поручил жене извлечь эти бумаги из Бастилии. Облеченная данной ей мужем властью, она утром 14 июля разыскала комиссара Шенона, назначенного начальником полиции на должность управляющего департаментом, ведавшим этой государственной тюрьмой. Они решили пойти туда вместе. Комиссар должен был составить протокол передачи бумаг, а мадам де Сад взять их; однако в квартале комиссара Шенона возник мятеж, заставивший комиссара остаться дома и вместе с мадам де Сад отложить поход в Бастилию на вечер. Это решение спасло комиссара

и, скорее всего, также и мадам де Сад. Однако на следующий день, то есть 15 июля, комиссар, проходя по аллее сада Пале-Рояль, подвергся нападению [мужчин и] женщин из простонародья, пожелавших повесить его на ближайшем дереве; при этом они выкрикивали: «Мы не успели укокошить тебя, когда брали Бастилию». Тогда он стащил с головы парик и явил им свою лысую голову. «Зачем вам моя старая голова?» — спросил он у черни. И тут одна из женщин сказала: «Оставьте его, наш начальник ждет нас в другом месте!» После чего женщины, успевшие накинуть ему на шею веревку и изрядно над ним поглумиться, расцеловали его и ушли[186].

Девятнадцатого июля г-жа де Сад, скрывающаяся в Сент-Орской обители, извещает комиссара Шенона, что снимает с себя ответственность за имущество мужа:

Если Вы еще не дали ход моему письму относительно оставшихся в Бастилии вещей маркиза де Сада, письму, в котором я прошу выдать их мне без соблюдения принятых в подобных случаях формальностей, то теперь я прошу Вас располагать этими вещами по своему усмотрению, ибо я перестаю считать себя ответственной за бумаги и вещи маркиза де Сада; на основании имеющихся у меня причин личного характера я более не желаю отягощать себя исполнением сего поручения[187].

На этот самостоятельный шаг — первый, который она предприняла наперекор мужу, — Шенон отвечает в письме, долгое время остававшемся неизвестным:

Если я не ответил ранее на Ваше письмо от 19-го числа сего месяца, то лишь потому, что не знал, где Вы проживаете, ибо Вы мне не указали Вашего адреса.

Вчера я был в Шарантоне, где и получил Ваш адрес. Г-н граф чувствует себя хорошо; также я узнал, что ему известно, что двери его бывшей камеры были опечатаны моими печатями, но, несмотря на это, во время трагических событий вторника 14-го их взломали и вещи его разграбили. Он намеревается пожаловаться председателю Национального собрания. Имею честь <...>[188].

«Хочу, чтобы он был счастлив...»

После знаменитых петиций Податного суда от 14 августа 1770 года, составленных Мальзербом, «Lettres de cachet» были подвергнуты общественному остракизму; тем не менее они по-прежнему сохраняли свою силу. Впрочем, Людовик XVI ими не злоупотреблял, и циркуляр барона де Бретейля, выпущенный в марте 1784 года, в сущности, положил конец данной мере наказания; во всяком случае, были отменены приказы, отданные королем по просьбе семей, то есть подавляющее большинство: именно они являлись орудием столь ненавидимого произвола. Требование отменить приказ об аресте без суда и следствия звучало почти во всех наказах депутатам; в своем заявлении от 23 июня 1789 года, которое можно рассматривать как завещание монархии, король сам поддержал неприкосновенность свободы личности и обратился в Генеральные штаты с просьбой

<...> изыскать и предоставить наиболее подходящее средство, примиряющее отмену приказов об аресте без суда и следствия и общественную безопасность; иначе говоря, назвать те необходимые меры предосторожности, на основании которых можно было бы, щадя семейную честь, подавлять зародыш бунта и гарантированно обезопасить государство от воздействия преступного разума.

Однако только 16 марта 1790 года Национальное собрание проголосует за декрет, санкционированнный королем 26-го числа того же месяца.

Самоуправные приказы, – читаем мы в статье X, – повлекшие за собой ссылку и прочие кары подобного рода, равно как и все тайные королевские приказы, отменяются, и в будущем их более не будет. Те, кто был арестован на основании этих приказов, теперь вольны идти куда им угодно.

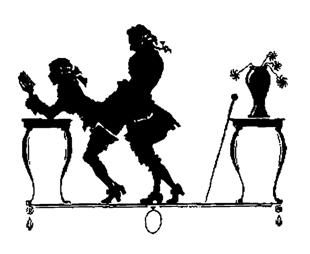
В течение шести недель после опубликования настоящего декрета, уточняет законодатель (ст. 1), все лица, заточенные в крепостях, монастырских обителях, смирительных домах, полицейских участках и прочих местах лишения свободы на основании повеления об аресте без суда и следствия или по приказу служителей исполнительной власти, кроме лиц, приговоренных законным образом и арестованных согласно закону, на основании поданной законным путем жалобы, где они обвиняются в преступлении, влекущем за собой тяжкое наказание, кроме заключенных по просьбе отца, матери, деда или других родственников, которые в состоянии предъявить серьезные основания для заключения, а также лиц, лишенных свободы по причине душевной болезни, все остальные лица будут выпущены на свободу[189].

Спустя два дня, 18 марта, Луи-Мари и Клод Арман прибыли сообщить отцу хорошую новость. В виде исключения Милосердные братья позволили маркизу гулять вместе с сыновьями без охраны и с ними же обедать. «Я желаю, чтобы он был счастлив, но сильно сомневаюсь, умеет ли он быть счастливым», – ответила г-жа де Монтрей внукам, когда они выразили желание отправиться сообщить новость узнику[190]. Она же задается вопросом, нельзя ли найти повод, чтобы, согласно декрету, семья могла оставить маркиза там, где он находится.

Формулировки декрета, – замечает она, – предполагают исключения. Если исследовать этот вопрос, наверняка можно найти обстоятельства, на основании которых семья может получить право требовать ареста. Сейчас же он пребывает там, где, на мой взгляд, власти должны были бы его оставить, или же предоставить администрации или государственному обвинителю решить, как с ним поступить. Это единственное, что можно сейчас сделать, дабы потом было не за что упрекнуть себя и быть готовыми к любому повороту событий <...>[191].

Десять дней спустя, в пятницу 2 апреля 1790 года, Донасьен Альфонс Франсуа де Сад вышел из Шарантона.

Свободен!



Часть вторая
ГРАЖДАНИН ЛИТЕРАТОР

Глава XVII
СВОБОДЕН!..

«Кровь отца», «лоно самки»

Итак, в Страстную пятницу года милостью Божией тысяча семьсот девяностого Донасьен очутился на парижской улице; багаж его состоял из трех ветхих матрасов, черной ратиновой куртки и завалявшегося на дне кармана золотого луидора; он не знает ни куда идти, ни где жить, ни где обедать, ни как раздобыть денег:[1] большинство его знакомых эмигрировали, а оставшиеся не спешат проявлять гостеприимство. Рене-Пелажи, отсиживающаяся в обители Сент-Ор, отказывается принимать его у себя в монастыре. Тогда он вспоминает о де Милли[2], прокуроре в Шатле, своем бывшем поверенном, удалившемся от дел и посвятившем себя чтению любимых книг; Милли жил в доме на улице Булуар, позади площади Виктуар. Почтенный старец приветливо принимает его, предоставляет ему кровать, стол и ссужает несколькими сотнями франков:[3] теперь де Саду есть на что продержаться неделю или даже две.

Вырвавшись на свободу, он торопится сообщить счастливую новость Гофриди:

> На Страстную пятницу я вышел из Шарантона (куда был переведен из Бастилии). Чудесный день, чудесное начало! Да, мой дорогой адвокат, именно в этот день я вновь обрел свободу; поэтому я решил, что буду отмечать этот день как праздник всю свою жизнь, только вместо концертов и легкомысленных прогулок, противных религии, но освященных безбожными обычаями нашей эпохи, вместо того, чтобы в духе времени вздыхать и лить слезы, вместо всей этой светской суеты, всякий раз, когда сорок пятый день Великого поста подводит нас к Страстной пятнице, я, преклонив колени, стану молиться, вознося благодарность... непременно постараюсь делать пожертвования и сдержу слово![4]

Впрочем, мы не обязаны верить маркизу...

Через три дня Сад вновь просит денег — на этот раз у Гофриди[5]. Ему немедленно нужно не меньше тысячи экю — до следующего лета. И очень срочно. Надо вернуть долги, обеспечить свое существование — гостиница, слуга, портной, поставщик и все прочее. Ура! — торжествует он, можно вновь пользоваться своим имуществом: секвестр с него снят. Теперь, как в старые добрые времена, Гофриди будет иметь дело только с ним. На самом деле маркиз несколько торопит события: только

семнадцатого, иначе говоря, через одиннадцать дней он направит в судебное ведомство Парижа прошение об аннулировании решения, вынесенного судом Шатле. Прошение будет удовлетворено мгновенно. Однако пока деньги не прибыли, приходится занимать. У Донасьена нет выбора: в отсутствие жены ему не к кому обратиться, кроме тещи. Теща выдает тысячу двести ливров, взяв с него обязательство возвратить деньги как можно скорее. Теперь он в состоянии погасить задолженность шарантонским монахам и вернуть часть аванса Милли[6]. Спустя несколько дней теща выдает ему еще двести ливров[7], позволяющие снять комнату в гостинице «Поварешка», рядом с домом Милли[8]. Желая отблагодарить г-жу де Монтрей, Сад пишет ей письмо (ранее не публиковавшееся), где сквозь витиеватость стиля и смиренный тон проглядывает неистребимая ирония:

Смиренно благодарю мадам де Монтрей, соблаговолившую сделать мне великое одолжение, а также вселившую в меня надежду на дальнейшее получение задатка в 300 ливров в конце сего месяца. Как только из Прованса прибудут деньги, сумма эта мне более не понадобится.

Однако хотелось бы испросить у мадам де Монтрей последнюю милость. В настоящее время мне приходится много тратить; потеря вещей в Бастилии обернулась огромным ущербом и теперь нужно буквально все, нужно одеть себя с головы до ног. Я намереваюсь завести маленькое хозяйство. Но сколь бы я ни был экономен, расходы в моем положении окажутся весьма значительными. Я стану приобретать все сам; обещаю, что не залезу в долги. Однако умоляю мадам де Монтрей не требовать невозможного, ибо из полученной суммы в тысячу экю пришлось выплатить сто пятьдесят ливров за судебное постановление, а также следовало уплатить долг в четыреста восемьдесят ливров шарантонским монахам. До подведения окончательных итогов нашим взаимным обязательствам прошу незамедлительно обратить внимание еще не один факт. Расходы зависели от моего пенсиона; его выплачивали; теперь я прошу незамедлительно прекратить его выплачивать. Эти кредиторы не станут тревожить мадам де Монтрей; она заставит их ждать столько, сколько понадобится, а если вспомнить все их мошенничества, все кражи, совершенные ими у меня, то я на месте мадам де Монтрей не стал бы платить им вовсе — никогда и ничего.

Жду сию последнюю милость со стороны мадам де Монтрей и имею честь заверить ее в моем к ней почтении[9].

* * *

В гостинице на улице Булуар соседкой Донасьена стала двадцативосьмилетняя девица, с тончайшей талией, которую, казалось, можно было обхватить двумя пальцами, хорошенькая и со вздернутым носиком, придававшим ее личику необычайно дерзкое выражение. Ее звали Теруань де Мерикур, она родилась в Голландии, откуда и прибыла в Париж. Бывшая девица для утех, она с приходом революции с головой окунулась в политическую борьбу: заткнув за пояс пистолеты, разгуливала по парижским улицам в наряде амазонки, участвовала во всех собраниях и празднествах, выступала в клубе кордельеров и якобинцев. Вместе со своими друзьями, математиком Жильбером Ромом (еще одним жильцом гостиницы «Поварешка») и врачом Лантена, она быстро организовала Клуб друзей закона для политического просвещения

народных масс. Вряд ли Донасьен поддержал бы ее в этой затее: подобные занятия ему были глубоко чужды, а в тот момент голова его тем более была заполнена иными заботами, нежели просвещение масс. Впрочем, ряд свидетелей утверждает, что некоторое время он все же состоял в близких отношениях с «прекрасной уроженкой Льежа». Через двадцать лет один из современников де Сада, обедавший с ним рядом за столом у директора Шарантонского приюта Кульмье, услышал, как Сад заявил, что единственной женщиной, какую он любил по-настоящему, была именно Теруань де Мерикур, собственноручно застрелившая утром 10 августа 1792 года журналиста Сюло. Восхищаясь ее «энергичным» характером, он рассыпался в похвалах сей красотке с весьма радикальными взглядами, в выспренних сравнениях своих добираясь до персонажей Писания. «Уверяю вас,— якобы заявил он, — в этой девушке было нечто возвышенное»[10]. Понимая, какого доверия заслуживают подобного рода признания, мы тем не менее сочли необходимым привести его.

Синдром трапписта*

Освобожденный из Шарантона узник нисколько не похож на того человека, которого 7 сентября 1778 года инспектор Марэ доставил в донжон Венсеннского замка. Двенадцать лет заключения сильно изменили его внешность. Фигура обрюзгла, лицо сделалось одутловатым: «Из-за отсутствия физических упражнений я настолько растолстел, что даже передвигался с трудом», — признавался он. Одновременно с полнотой пришли новые недуги и обострились старые. Особенно ухудшилось зрение. Несмотря на лечение Гранжана, у него постоянно болят глаза, а время от времени зрение затуманивается настолько, что это его пугает. Его мучают мигрени, терзают ревматизм и гастрит: он чувствует себя разбитым и изнуренным.

Мир также изменился, и Донасьен не без тревоги задается вопросом, сможет ли он устроиться в нем после столь долгого отсутствия. Время — особенно в последние месяцы — словно ускорило свой ход, заторопило историю, и та с головокружительной скоростью помчалась вперед. Нравы менялись быстрее, чем люди, и новые ценности стремительно вытесняли старые. Каждый день свергались прежние кумиры, суть происходящего опережала свое осмысление. Что ж тогда говорить о затворнике, живущем вдали от людей в застывшем времени! Восприятие, эстетические принципы, даже язык — все изменилось. В Венсенне, так же как в Бастилии, а затем в Шарантоне, до Донасьена долетали глухие отголоски назревающих событий, некие неясные слухи. Известия о крушении старого мира доносились в откликах его до смерти перепуганной жены или же в отдельных, подвергшихся строгой цензуре сообщениях, которым дозволялось проникать сквозь стены его оди-

* Траппист — член католического монашеского ордена, возникшего в 1664 г. и отличавшегося чрезвычайно суровым уставом.

ночки. В тюрьме, как и в монастыре или приюте, идет счет собственному, застывшему времени, ибо жизнь этих заведений подчиняется раз и навсегда установленному распорядку, заведомо медленному и повергающему в уныние. В таком безвременье Донасьен прожил более десяти лет, и оно притупило его способности. На протяжении десяти лет он пребывал в тюремной тишине, регулярно нарушаемой лишь скрежетом ключей тюремщика и скрипом замка... Мертвое время, тишина, одиночество: Саду было нужно то время, чтобы с блеском применить созданный им новый язык. Ему нужна была чистая страница, чтобы изложить на ней не слыханные прежде правила собственной риторики. Либертены, ставшие героями его романов, будут уединяться в неприступных замках (замок Силлинг, монастырь Сент-Мари-де-Буа), воздвигнув между собой и миром сложные системы запоров, чтобы гарантировать секретность своих ритуалов.

Но теперь приходится вернуться в городское время, в городскую суету. Найти в них свое место, сменить выдуманные химеры на повседневную реальность, столкнуться лицом к лицу с постоянно меняющимся миром. Покончив с вымышленными отношениями между выдуманными людьми, надо вновь учиться поддерживать отношения с окружающими. Пробуждение не из самых приятных. Тем более что привычка сочинять еще более отдалила его от реальности, выстроив между ним и действительностью целый ряд преград. Тюрьмы, замки стали местами мифического заключения, где в процессе игры в придуманную свободу приходят в движение импульсы и неосознанные стремления. Бастилия превратилась в театр теней: перестав быть убежищем для тела, она стала убежищем внутренним, бесплотной волшебной крепостью, где стены подобны зеркалам, отражающим сладострастные оргии.

Как только проходит первое опьянение свободой, его охватывает безмерное отвращение, сходное с тем чувством, которое испытывают заключенные, выздоравливающие или заложники, все те, кто слишком долго живет надеждой на свободу, а когда наконец двери перед ними распахиваются, их внезапно охватывает безмерная усталость.

> Мне ничего не хочется, — пишет он, — ни к чему не лежит душа, мир, о котором я столь опрометчиво сожалел, кажется сотканным из скуки... безмерной тоски!.. Бывают минуты, когда возникает неодолимое желание вступить в орден траппистов, и я не уверен, что в один прекрасный день не исчезну, и тогда никто не будет знать, что со мной произошло[11]. Никогда еще склонность к мизантропии не овладевала мной так сильно, как теперь, когда я вернулся к людям, но если я, вновь став членом их общества, кажусь им странным, они могут быть уверены, что производят на меня такое же впечатление.

Стремление бежать от людей, удалиться к траппистам (разумеется, это всего лишь слова, всерьез он никогда не мечтал ни о чем подобном) или, говоря иначе, исчезнуть, означает, что за оградой монастыря он надеется найти пустоту. Траппистская обитель выступает своеобразным аналогом тюрьмы: ограниченное, организованное пространство, которое у Сада всегда отождествляется с воображаемым царством сладострастия.

Разрыв

Жалобы его слушать некому, ибо рядом нет Рене-Пелажи: когда он вышел из Шарантона, она отказалась встречаться с ним. А когда он сообщил ей о своем желании жить вместе с нею в Сент-Ор, она в краткой записке отказала ему и, в свою очередь, сообщила, что намерена требовать раздельного проживания.

Она мечтала об этом и готовилась принять такое решение уже давно. Пока он находился в тюрьме, это было невозможно: он слишком нуждался в ее помощи. Сегодня, когда он на свободе, ничто более не мешает ей осуществить свою мечту. Сотни раз мать умоляла ее расстаться с ним. Сотни раз она отказывалась. Сотни раз она пыталась это сделать. И сотни раз отвергала эту затею. Порвать с Донасьеном; не видеть его больше, не слышать; не исполнять каждый день требования, капризы; не терпеть его приступы дурного настроения, его иронию; перестать жить, разрываясь между мужем и детьми, — разве такое возможно? Еще совсем недавно одна только мысль о возможном расставании приводила ее в ужас; она в страхе отталкивала ее, словно предательство, ее недостойное. Затем постепенно, под сильным давлением матери, она стала смотреть на разрыв как на вполне возможный, даже вероятный исход, наступление которого она, впрочем, откладывала со дня на день, хотя в глубине души была убеждена, что этого не случится никогда. Однако незаметно в ней происходил некий переворот. Если когда-то у нее не хватило мужества расстаться с этим человеком, то почему ей должно хватить его теперь, чтобы продолжать оставаться с ним вместе? Ведь речь шла не просто о ее собственном освобождении и освобождении ее детей, но о спасении ее души. Приближаясь к пятому десятку, Рене-Пелажи чувствовала потребность примириться с Господом. Сколько раз сестры в Сент-Орской обители повторяли ей, что только ценой расставания с этим ужасным человеком она сможет заслужить спасение; в противном же случае, если она по-прежнему будет разделять его жизнь, она будет проклята навеки! Таким образом, то, что еще вчера она рассматривала как позорное дезертирство, теперь казалось ей священным долгом. До последнего момента она пыталась увлечь мужа на стезю религии. В июне 1789 года она все еще надеялась обратить его.

Нежный друг мой, — писала она ему в те дни, — если ты уверуешь, Господь не лишит тебя своей милости. Убеди его, что ты уверовал в Него всем сердцем, и Он явит тебе свою милость. Господь милостив: Он требует только раскаяния, Он умеет читать в сердцах. Он принимал в лоно свое закоренелых грешников и преступников, коих с тобой не сравнить. Когда я увижу тебя счастливым, то тоже буду счастлива, но еще больше я буду счастлива, когда узнаю, что и в ином мире тебя ожидает прощение. Если буду в этом уверена, то просто умру от счастья.

Однако решающее воздействие оказали не материнские мольбы или уговоры священников, а — как это ни странно — события 1789 года. Увидев, как попирают ногами христианскую веру, как оскорбляют священников, как рушатся все ее надежды на спасение, Рене-Пелажи показалось, что под ногами разверзлась бездна. И тотчас орды людей,

поправших все самое для нее святое, неожиданно предстали перед ней в облике ее мужа. Для нее революция обрела лицо – лицо Донасьена, и она не выдержала. Эта революция, чьи первые громовые раскаты он радостно приветствовал, революция, в события которой он непременно вмешается, стоит ему только оказаться на свободе, эта революция готовилась погубить ее и ее семью, похоронить их под обломками старого режима. В ней говорило уже не оскорбленное самолюбие супруги, а некое более серьезное чувство, переполнявшее ее до краев, и она, не умея объяснить его природу, тем не менее прекрасно ощущала исходящую от него угрозу. Мир рушился, ее мир. И она испугалась. В образе Донасьена ей чудился нисповергатель ее мира: он желал ее смерти, он бросил на нее слепые силы, стремившиеся уничтожить ее, стереть в порошок, он указывал на нее палачу. И в конце концов там, где не помогли ни мольбы матери, ни увещевания Церкви, решающее слово сказала революция: Рене-Пелажи решилась отринуть Донасьена.

Однако ни влиянием матери, ни увещеваниями исповедника, ни стремительным ходом событий нельзя полностью объяснить бесповоротное решение маркизы. Разумеется, никакого разрыва не было бы, если бы он не совпал с концом большой любви. Страсть ее дошла до высшей точки: женщина недалекого ума, никогда особенно не жаждавшая плотских наслаждений, она была вынуждена любить сверх доступной ей меры, можно сказать, через силу. И как только любовь ее умерла, она тотчас стала обычной, приземленной женщиной, и супруг более не мог заставить ее разделять свои бредовые идеи.

Какую жизнь пришлось ей вести в течение двадцати семи лет! Не было ни единого дня, когда бы она не дрожала при одной только мысли об осаждавших ее угрозах: полиция, тюрьма, скандалы с самых первых месяцев семейной жизни, шантаж со стороны шлюх и юных жертв игрищ в Ла-Косте, приступы гнева Донасьена, его непомерные требования, жестокость. Ведь еще совсем недавно бастильские сторожа были вынуждены вмешаться, чтобы спасти ее от побоев узника! И так ли уж преувеличивал комендант де Лонэ, утверждавший, что, ежели муж ее окажется на свободе, ей придется опасаться за свою жизнь? В течение двадцати семи лет ей каждый день приходилось вести борьбу: с матерью, с кредиторами, с парижскими чиновниками, с откупщиками в Провансе... У этой женщины не осталось больше ни сил, ни терпения, она жаждет только покоя. Не забудем также и о возрасте: г-же де Сад вот-вот стукнет пятьдесят, однако испытания, перенесенные ею, прибавляют ей еще десяток лет. К тому же за последние десять лет дала о себе знать ее склонность к полноте. Как и Донасьен, она ужасно растолстела, походка стала тяжелой. Чувствуя, как силы покидают ее, она вынуждена была нанять лакея, сопровождавшего ее во всех передвижениях.

Ее решение порвать с мужем обусловлено еще целым рядом причин, и, в частности, стремлением спасти достояние детей и обеспечить их будущее. Как известно, вместе со свободой Донасьен вернул себе право безраздельно распоряжаться своим имуществом. Имея все основания сомневаться в его управленческих талантах, Рене-Пелажи пред-

полагала самое худшее: непредусмотренные расходы, долги, жизнь впроголодь и, наконец, полное разорение. И, разумеется, мысль о потомстве (этих маленьких *Монтреях*, воспитанных бабушкой) отнюдь не станет удерживать супруга от падения в бездну.

Была и еще более веская причина. Согласно новому законодательству, де Сад восстанавливался во всех гражданских правах, а следовательно, вновь становился законным отцом своих детей. Одна только эта перспектива приводила г-жу де Сад в ужас. Случай выдался на удивление подходящий, и председательша не могла им не воспользоваться. В этот решающий момент она, без сомнения, сумела найти убедительные доводы: разве Рене-Пелажи не чувствовала лежащей на ней ответственности? Разве не понимала, что будущее Луи-Мари, Клода Армана и Мадлен Лор зависело только от ее решения? Неужели у них в дальнейшем найдется повод упрекнуть ее? Неужели она готова обречь их на нищету и бесчестье? Подобная постановка вопроса могла бы растрогать душу гораздо менее чувствительную, нежели душа Рене-Пелажи.

Однако в решающую минуту, когда настало время сообщить мужу об окончательном разрыве, она внезапно ощутила полный упадок сил. Если он встретит ее слова обычным своим сарказмом, то неимоверно облегчит ее задачу; его оскорбления придадут ей силы, а его грубость станет оправданием в ее собственных глазах. А вдруг он будет нежен, как это с ним иногда случается, неужели и тогда у нее хватит сил сопротивляться? Кто знает, сумеет ли она устоять, не окажется ли смятение чувств сильнее тревоги за будущее? Ни оскорбления, ни богохульства ее не пугают — она еще и не такого наслушалась. Она боится не супруга, а самое себя, своей слабости, своей податливости, ставшей, по сути, ее второй натурой, боится своей любви к этому человеку, любви, ни разу не ослабевшей за все эти ужасные годы. Она знает — вероятно, ей об этом сказали, — что, стоит ей поговорить с ним хотя бы час, душа ее будет погублена навеки. И она спешно пишет ему письмо, где заявляет, что между ними все кончено и она намерена начать бракоразводный процесс. А если ему нужны деньги, то в дальнейшем он может обращаться к Гофриди[12]. Впервые за всю свою жизнь Рене-Пелажи не поддалась логике чувств.

Тринадцатого июня она подтверждает свое намерение поверенному: после «зрелых и взвешенных размышлений» она приняла решение требовать раздельного жительства с супругом. Что же касается мотивов, добавляет она, то г-н де Сад вполне может разглядеть их «в глубине собственного сердца», воздать им справедливость и понять, что иначе быть и не могло. Если он хочет скандала, он волен поступать как ему угодно: «Я стану говорить только в случае, если меня к этому принудят, и только в свое оправдание; повторяю еще раз: *я буду говорить, только ежели он меня к этому принудит*»[13].

* * *

Разрыв не слишком удивил Донасьена. В последние месяцы он чувствовал, как жена постепенно отдаляется от него:

Уже давно поведение г-жи де Сад вызывало у меня беспокойство; в тот период, когда она навещала меня в Бастилии, оно и вовсе повергало меня в тяжкую тоску. Я не мог обходиться без свиданий с ней, сам факт свиданий развеивал мою печаль, однако тревога моя не утихала. Я очевидно ощущал влияние, оказываемое на нее ее исповедником, и, честно говоря, был убежден, что стоит мне выйти на свободу, как расставание наше станет неизбежным[14].

Писал ли он это искренне? Разумеется, он знал, что Рене-Пелажи разрывается между ним и своим исповедником, однако был уверен, что его влияние всегда возьмет верх. Она никогда не осмелится ринуться в бездну неизвестности; да, конечно, у нее была романтическая душа, однако это был романтизм робкой и застенчивой буржуазки: ей не хватало дерзости, страсти, темперамента и ума. В ней не было ничего от таких целеустремленных, свободных от предрассудков женщин, как дю Деффан или Жофрен*. Разве за время долгих лет рабства она хотя бы раз на что-либо пожаловалась? Разумеется, время от времени она роптала, однако ропот ее был еле слышен...

Поэтому, получив письмо жены с сообщением о разрыве, Донасьен взревел от ярости. Опять эти Монтреи! Всюду Монтреи! Монтреи всегда и везде! Они все же сумели нанести последний удар! «Они заставили мою жену требовать раздельного проживания со мной. Она этого не хотела; чего только они ей не наговорили, каких только уловок не пустили в ход, чтобы убедить ее!» И снова он пылает ненавистью к этим «гнусным мерзавцам», способным на любые низости, творцам всех его несчастий. Им мало, что в свое время они обесчестили его, состряпав Марсельское дело и подкупив девиц дать против него показания (в этом он убежден: «бесчисленное множество людей» ему об этом сообщили), им было мало заставить его пуститься в бегство, а потом засадить в тюрьму только ради того, чтобы разлучить его с Анн-Проспер! А теперь они желают его разорения. Ибо помимо уязвленного самолюбия разрыв с Рене-Пелажи означает — и это главное! — весьма неприятную тяжбу о разделе имущества. Подавая прошение о раздельном проживании, она не только открывает шлюзы потокам клеветы, которые на него польются, не только прикрывает от позора детей, но и вынуждает его вернуть ее приданое: она буквально оставляет его ни с чем. И все это ради чего? Чтобы с комфортом угасать за стенами монастыря, «где, без сомнения, какой-нибудь проповедник утешит ее, уверив, что именно он очистит путь ее от преступления, страха и бесчестья».

«Демократические виселицы»

Едва обосновавшись на улице Булуар, Донасьен начинает мечтать отправиться в Прованс, дабы взять в руки бразды правления своим имуществом. Какими бы преданными ни были управляющие, они не

---

* Деффан Мари дю, маркиза (1697—1780), Жофрен Мари-Тереза Роде (1699—1777) — блистательные, высокообразованные светские дамы, обладали литературными, талантами обе содержали салоны, где собирались известные мыслители и писатели, вели переписку с тогдашними интеллектуальными знаменитостями — Вольтером, д'Аламбером, Уолполом.

могут все решать за него. Тем более в эти смутные времена. Он хочет забрать с собой детей: им пора приучаться управлять наследными землями. Однако идея эта ни у Луи-Мари, ни у Клода Армана энтузиазма не вызывает: красотам гор Воклюза они предпочитают кустарниковые заросли Нормандии, где прошло их детство.

«Я приеду умирать туда, куда стремится моя душа». В таких выражениях Сад сообщает о своем решении Гофриди. Этим он ясно дает понять, что его истинные корни именно в Провансе, а вовсе не в Париже, где он волею случая родился, но который никогда не любил. После двенадцати лет тюрьмы Донасьен как никогда испытывает потребность увидеть Ла-Кост, бескрайнее небо, раскинувшееся над старыми стенами его «поэтического замка», горную цепь Люберона и цветущие вишневые сады. Ла-Кост — место, где скрещивается множество дорог, место всеобъемлющее, место, ставшее для Сада местом Возвращения. Презрев опасности и позабыв об осторожности, Сад постоянно возвращался в Ла-Кост и, гонимый, находил там убежище — за стенами замка или же в окружавших крепость зеленых зарослях. Теперь бывший узник хочет отпраздновать там свое бракосочетание со вновь обретенной свободой. К тому же это прекрасный повод показать своим крестьянам, что он по-прежнему их господин.

Однако события, разворачивающиеся на юге Франции, отнюдь не располагают к увеселительным прогулкам. С 1789 года Прованс становится форпостом революции. Из центров революционного пожара — Марселя и Тулона — огонь стремительно перекидывается в провинцию: Пертюи, Риан, Пюилубье, Сен-Максимен, и так до самого Бриньоля. Затем искры летят на север — в Баржоль, Оп, Салерн, пересекают ворота Альп Верхнего Прованса. С началом смуты дворяне эмигрируют в Пьемонт. За несколько месяцев пустеет многолюдный город Экс, отчего недовольство ремесленников, трудившихся для самых богатых граждан, резко возрастает[15]. Крайне суровая зима способствует нарастанию революционных настроений. Ощущается нехватка зерна, стремительно дорожает хлеб, беднейшим слоям общества грозит полное обнищание. Видя, как ситуация катастрофически ухудшается, жители Конта, естественно, обращают свои взоры к папскому вице-легату, умоляя его прийти к ним на помощь. Ответ монсеньора Казони отличается изрядной лаконичностью: «Собирайте хворост повсюду, где найдете, и берите зерно там, где оно есть». Крестьяне следуют совету прелата; они рубят все деревья, до каких только могут дотянуться: начинают с ив, переходят на шелковицу, а потом добираются и до плодовых деревьев. Зерно также берут там, где оно лежит, а именно в монастырских закромах. И вот, когда повсюду воцаряется атмосфера недовольства и практически узаконенного бандитизма, из Парижа приходит известие о восстании и взятии Бастилии[16].

Особый статус Конта, папского анклава на территории Франции, провоцировал народные волнения гораздо более, нежели законы других регионов. Уже давно среди авиньонской буржуазии сформировалось прочное звено сторонников присоединения провинции к Франции;

чернь, задавленная экономическим кризисом и враждебно настроенная к папской администрации, была готова организовать вооруженные отряды городской милиции[17]. 2 августа 1789 года жители Папского государства, добившиеся от городского совета рассмотрения жалоб и наказов ремесленных корпораций, могли прочитать расклеенное на стенах домов воззвание, озаглавленное «Обращение доброго патриота к своим согражданам», где выдвигались требования созыва представительного собрания депутатов от ремесленников и почтенных отцов семейств, создания муниципальной милиции и проведения налоговой реформы.

Весной 1790 года, когда Донасьен мечтает уехать из Парижа, ситуация в Провансе резко ухудшается. Продолжают свирепствовать безработица и нищета, улицы городов наводнены бродягами, ведущими себя вызывающе и даже агрессивно, страх перед грабежами охватил все имущие слои населения. Постоянно насаждаемый ужас перед заговором аристократов, который надо то ли разоблачать, то ли, наоборот, смириться перед его угрозой, возбуждает разнузданное воображение и вызывает самые неожиданные реакции. На улицах Авиньона все чаще раздается призыв: «Аристократов на фонарь!» Маркиз де Ронь, опубликовавший опус, признанный контрреволюционным, вынужден бежать: в противном случае ему грозит виселица. Спустя месяц адвокат легата Пассери осажден в собственном доме беснующейся толпой, готовой в любую секунду устроить буйство и резню. Через несколько дней банда вооруженных людей окружила, взяла штурмом и разграбила кафе на площади Орлож только на том основании, что там, по слухам, собирались «заговорщики-аристократы»; хозяин кафе чудом избежал виселицы. Через день такая же участь постигла лавку аптекаря. 5 апреля, несмотря на папский указ, консулы провинции, по примеру всей остальной страны, добиваются созыва Генеральных штатов и первое заседание этого представительного собрания назначают на 17 мая[18]. В едином порыве народного гнева граждане формируют революционный муниципалитет и отряды Национальной гвардии. Видя, что события опережают его, монсеньор Казони пытается идти в ногу со временем, подписывая декреты, которых от него ждут, но вместе с тем упорно отказываясь признавать французскую конституцию и новые муниципальные власти. Тогда патриоты сажают его под домашний арест в его собственном дворце, а потом выгоняют из города. Однако Конта по-прежнему остается папским владением — впрочем, ненадолго[19]. Тем временем в провинции множатся аресты. В июне напряженность достигает своей высшей точки. «Патриоты» только и говорят о перевороте, якобы готовящемся врагами революции; повсюду распространяются панические слухи. В ночь с 7 на 8 июня толпа, состоящая из двух или трех сотен крестьян, вооруженных серпами и ружьями, проходит по улицам города, сея всюду страх. В четверг 10 июня, когда ожесточение народа достигло своего предела, горстка аристократов делает попытку захватить папский дворец; начинается стрельба, четыре пушки выдвигаются на огневую позицию, перестрелка, длившаяся четыре часа, уносит множе-

ство жизней. На следующий день, 11 июня, маркиз де Рошгюд, предполагаемый зачинщик штурма, вместе с шестью своими соратниками повешен под улюлюканье толпы. Повсюду воцаряется страх.

Двенадцатого июня горожан созывают на собрание, где им предлагается сделать выводы из недавних событий. Единодушно принятая резолюция с неприкрытым цинизмом констатирует, что папские власти не в состоянии обеспечить безопасность граждан, а потому присоединение Авиньона к Франции является мерой, принять которую необходимо в интересах общества и установления гражданского мира. Порвав с Римом и своими умеренными соседями из Конта Венэссена, Авиньону ничего не остается, как стремительным шагом идти вперед.

Беспорядки распространяются словно огонь по пороховой дорожке. В Апте, Карпантра, Кавайоне происходят кровавые мятежи. Аристократический Арль живет в постоянном страхе. А что происходит в деревнях Ла-Кост, Мазан и Соман? Как тамошние крестьяне намереваются встретить своего сеньора? В Мазане, колыбели рода де Сад и одном из главных семейных фьефов, неспокойно. Начиная с 19 июля 1789 года в совете местной общины то и дело раздаются голоса, ставящие под сомнение правомочность дворянских привилегий: на чем, интересно, эти привилегии основаны? В самых изысканных выражениях консулы адресуют маркизу де Козану, совладельцу тамошних земель и дальнему родственнику де Садов, письмо, где весьма настойчиво вопрошают, на каком основании сеньор решил освободить себя от налогов, взимаемых в пользу общества.

Постепенно все население Конта охватил «Великий страх лета 1789 года». Слухи о бандах грабителей, рыскавших по деревням, грабивших замки, поджигавших зерно, уничтожавших на корню будущий урожай и тем самым обрекавших крестьян на голод, сеяли ужас среди сельских жителей. В селениях в панике звонили в набат. Связав в узлы нехитрый скарб и погрузив его на телеги, люди снимались с насиженных мест и, гоня перед собою скот, бежали куда глаза глядят. Самые храбрые дерзали защищаться: вооружались ружьями, вилами, серпами, закупали порох и нанимали волонтеров охранять урожай на полях. Мятеж на селе вызревал с самой весны, ибо крестьяне так и не дождались принятия конкретных мер по их наказам и жалобам; в ответ на равнодушие правительства к их бедам многие селяне принялись грабить и разорять замки, уничтожать феодальные грамоты, нередко вместе с самими феодалами. С каждым днем нужда и безработица становились все острее, большая дорога кишела готовыми на все бродягами и нищими. Опасаясь, что аристократы воспользуются анархией и вновь захватят власть, «патриоты» повсюду кричали об измене. Горечь и злоба, копившаяся столетиями, наконец выплеснулась наружу: страх перерастал в мятеж, направленный против феодальных сеньоров. Не плетется ли вновь заговор против народа? И вот, когда провинция была охвачена коллективным психозом, в ночь на 4 августа случилось нечто невероятное: дворянство и духовенство неожиданно пожертвовало всеми своими привилегиями, возложив их на алтарь отечества...

В Ла-Косте же тем временем все было спокойно. Ни замок, ни земли маркиза не стали жертвой вандализма. Жители Ла-Коста даже не сочли нужным оспаривать привилегии маркиза. К чему, если они сами уже совершили свою маленькую революцию? Все произошло тихо, без шума и насилия[20]. Воспользовавшись отсутствием сеньора, они постепенно, путем самозахвата присвоили принадлежащие ему земли, участок за участком, и местные буржуа уже без всякого стеснения охотились в его парке. От феодальных поборов остался один шампар, все еще тяжким бременем лежавший на общине[21].

В остальном же селяне относятся к своему сеньору даже с некоторой симпатией, считая его жертвой деспотизма; между собой они фамильярно называют его «бабником». Действительно, маркиз никогда не уходил от прямого общения с крестьянами; разумеется, он помыкал ими, однако знал всех по именам и говорил на их языке. Поэтому он часто упрекает своих детей в том, что они совсем не любят деревню:

> Приехав в Ла-Кост, они, в отличие от меня, не отправятся в дом бедняка, дабы расспросить его о том, как идут дела, каковы виды на урожай, как поживает его семья, и поэтому крестьяне не станут их любить. С грустью вижу я, что они переняли надменность Монтреев, а мне бы хотелось, чтобы к ним перешла энергия Садов.

Донасьен по-прежнему чувствует здешние края своей родиной; в душе он никогда и не покидал их, как когда-то покинул его отец, променявший деревенскую жизнь на придворную. И хотя в деревне все знали об оргиях, устраиваемых маркизом, они никого особенно не пугали. Разумеется, о них судачили и в трактире, и на кухне, шепотом передавая друг другу, что в очередной раз происходило там, наверху... Однако никто не был на маркиза в обиде. Насмешливых крестьян похождения маркиза только развлекали. Все эти истории с девицами давали повод посмеяться, а кто в деревне не любит сальной шуточки, особенно когда в стаканах плещется молодое вино? Выходки Донасьена не вызывали возмущения еще и потому, что он предусмотрительно не выгонял девиц прямо на улицу, а всегда старался увезти их подальше от Ла-Коста. К тому же dolce vita*, которую вели многие аристократы Люберона, мало чем отличалась от проделок де Сада, и привычные к господским проказам крестьяне ничему не удивлялись и не возмущались. В соседнем селении Менерб датский барон-эмигрант Рантцау, окружив себя свитой, состоящей из повара и нескольких музыкантов, вел жизнь крайне распущенную[22]. Не лишним будет вспомнить и Мирабо, этот вполне завершенный образчик садического героя, чьи сексуальные похождения отличались крайним цинизмом и жестокостью. Духовные лица также не страдали от избытка нравственности: так, отец францисканец Бонье навлек на себя гнев начальства за то, что сделал деревенской девице ребенка; такой же проступок совершил и соседский викарий; а монастырь Святого Илария, принадлежавший ордену кармелитов и расположенный между Менербом и Ла-Костом, если верить Донасьену, стал поистине

---

* Сладкая жизнь (*ит.*).

<...> пристанищем для паршивых овец, изгнанных из расположенных по соседству общин кармелитов. Сюда ссылали тех, кто позорил монашеское звание, а посему сами можете догадаться, сколь почтенное общество собралось в стенах этого монастыря. Пьяницы, бабники, содомиты, шулера – таковы были обитатели сего достойного пристанища, где они в меру сил своих посвящали труды свои служению Господу, ибо в миру от них отказались <...>*.

В самом Ла-Косте, этой старой вальденской крепости, где большую часть населения составляли протестанты (около 55%, из которых 80% приходилось на людей состоятельных, а именно буржуа и домовладельцев), религиозные чувства стремительно угасают, уступая место разочарованию в христианских идеалах. Кюре, сменявшие друг друга последние полвека, не отличались ни добродетелями, ни набожностью. В 1727 году бессменный викарий Ла-Коста был обвинен в «духовном инцесте и святотатственном надругательстве» над своей прихожанкой Анн Гардиоль и приговорен к удушению и виселице; после позорной казни тело его было сожжено, а прах развеян по ветру[23]. В январе 1759 года граф де Сад, отец маркиза, направил Сен-Флорантену жалобу на кюре Ла-Коста, некоего Терасона, уличенного в недобронравии и дурном поведении. А так как епископ Апта полагал этого кюре способным на «весьма серьезные проступки», то служитель Церкви был сослан за двадцать лье от своей бенефиции. Подобные случаи обескураживают лучших представителей Церкви. Лишенные общественной поддержки, вынужденные отправлять службу в пустых церквях, ибо вокруг большинство населения составляют протестанты, священники не имеют возможности даже заработать себе на жизнь, получить знаменитый «прожиточный минимум», отчего им приходится интриговать в совете общины ради получения места в руководстве приходской школы или же выклянчивать деньги на приходские нужды, и процедура эта из-за отсутствия кредитов тянется годами. Несмотря на постоянные призывы к милосердию, в церковной чашке никогда не звенело ни лиара, выкатившегося из мошны маркиза де Сада. Не имея средств к существованию, кюре Ла-Коста начинает заниматься несвойственной ему деятельностью: свой дом он превращает в место выращивания шелковичных червей, запах которых обращает в бегство мадемуазель де Руссе; теперь, чтобы не потерять верный доход, достойный священник вынужден конкурировать с крестьянами за листья произрастающей в округе шелковицы.

В атмосфере всеобщего упадка религиозных чувств маркизовы «преступления против нравственности» давно вызывают лишь скрытые усмешки да заговорщические подмигивания. Даже самые набожные глядят на него с пониманием, почти с сочувствием. К тому же порок издавна является неписаной привилегией дворянства, и эту привилегию у маркиза в Ла-Косте никто оспаривать не собирается. Его более склонны упрекать в небрежении к бедным, в скупости, когда речь заходит о раздаче милостыни, а также в нежелании вершить правосудие сенье-

* *Маркиз де Сад.* Муж-священник // Маркиз де Сад. Насмешка судьбы. М., 2001. С. 347.

ра прямо в селении, отчего для решения любых юридических вопросов жители вынуждены отправляться в Экс.

Регулярно получая письма от Рейно с подробными отчетами о положении дел в Провансе, де Сад решает отменить поездку: в охваченном пожаром революции краю льется кровь, а маркиз отнюдь не желает угодить на «демократическую виселицу»[24]. «Валанс, Монтобан, Марсель превратились в огромные театры, где каннибалы ежедневно разыгрывают кровавые пьесы, от которых, словно от английских романов ужасов, волосы встают дыбом <...>» — пишет он адвокату из Экса, словно оправдываясь за свое решение[25]. «Разумнее будет отложить поездку на будущую весну, если только Господь и враги аристократов позволят мне дожить до нее...»

«Прекрасный вид, превосходный воздух...»

Но через несколько дней Донасьен совершенно забывает о Провансе. Он знакомится с очаровательной женщиной, и, чем теснее становятся их отношения, тем реже вспоминает он о предполагавшейся поездке.

Маргарита Фаяр Дезавеньер, родившаяся в 1745 году, живет отдельно от мужа, Камилла Жака Аннибала Кларе де Флерье, первого председателя Финансовой палаты Лиона[26]. Не будучи красавицей, председательша не лишена изящества и привлекательности: томные глаза под тяжелыми веками, мечтательный взор, маленький рот, чувственные губы, легко складывающиеся в насмешливую улыбку, противоречащую меланхоличному выражению лица, глубокий вырез платья, позволяющий созерцать округлое плечо и безупречную грудь. Женщина остроумная, талантливая, пишущая, она только что закончила работу над небольшой двухактной комедией в стихах под названием «Полина»; когда происходит ее знакомство с Донасьеном[27], она как раз мечтает о постановке своей пьесы в Комеди Франсэз. Она приглашает Донасьена за город, осыпает знаками внимания и сдает ему маленькую квартирку напротив своего дома, на улице Оноре-Шевалье, возле церкви Святого Сульпиция, на углу улицы По-де-Фер (сегодня улица Бонапарта). В новом жилье не так-то просто развернуться, зато обходится оно всего в сто экю в год: цена, назначенная дружбой или — скорее всего — любовью, ибо теперь все чувства — всерьез. Пора забыть о подозрительных, марающих честь связях прошлого! С прошлым покончено! Впрочем, и даме его уже сорок пять лет, а ему самому все пятьдесят. Следовательно, с этой стороны никакой опасности: «Осмелюсь утверждать, что отношения наши скреплены узами исключительно дружескими, ибо, даже когда мы вместе, я не в силах позабыть о былых своих несчастьях». К тому же он чувствует, что постарел, поизносился; его больше не привлекают былые оргии: «Все, что некогда разжигало мой темперамент, теперь глубоко безразлично». У него едва хватает сил переносить обрушивающиеся на него несчастья: «Я кашляю, у меня болят глаза, желудок, голова, меня мучает ревматизм и еще бог знает что; болезни окончательно подорвали мои силы, и, слава Богу, я больше ни о чем не могу думать, отчего и чувствую себя в четыре раза счастливее»[28].

Устроившись в новом жилье, он просит Гофриди прислать ему кое-какую мебель и одежду; несчастный управляющий по ошибке отправляет ему ящик с театральными костюмами, в которых некогда играли театральные постановки в Ла-Косте. Можно представить себе выражение лица маркиза, когда он вскрыл эту посылочку!

Постепенно к Донасьену возвращается вкус к жизни. Он быстро расстается и с черными мыслями, и с мизантропией. О том, чтобы стать траппистом, и речи быть не может — откуда, интересно, к нему в голову пришла эта безумная идея? Напротив, он чувствует неуемную тягу к слову, к общению. Ему необходимо разом выпустить на свободу все накопленные им за двенадцать лет тюрьмы молчаливые мысли, жаждущие обрести словесную оболочку, он даже ловит себя на том, что временами разговаривает сам с собой. К счастью, это случается редко, ибо недостатка в слушателях он не ощущает. Особенно в слушателях-женщинах, родственницах или подругах тех, с кем он не виделся со времени своего ареста и которые теперь осыпают его любезностями. Никогда еще окружающие не были с ним столь предупредительны. Он уже почти не вспоминает об отсутствующей Рене-Пелажи. Помимо блистательной г-жи де Флерье, расточающей ему нежные знаки внимания, он принимает у себя графиню де Соман, свою дальнюю родственницу и фрейлину Мадам Элизабет, сестры короля, и свою очаровательную молоденькую кузину Дельфину де Клермон-Тоннер. Ей двадцать четыре года, у нее самая хорошенькая фигурка в мире, прелестное личико и живой взгляд; она умна, остра на язык, дерзка, красива и вдобавок чрезвычайно мила в общении с престарелым родственником, коего она почтительно называет «дядюшкой». Ее шаловливость забавляет его, ее юность — утешает, а когда она появляется в его маленькой квартирке, в ней сразу становится светло, словно в окно заглянули лучи летнего солнца[29]. Муж Дельфины, Станислас, после смерти командора занял место председателя семейного совета, однако это нисколько не омрачает их дружбы. Одним словом, Донасьен счастлив, ему нравится такая жизнь, он получает удовольствие от окружающего его дамского общества, испытывая неведомое ему прежде тихое наслаждение. «Прекрасный вид, превосходный воздух, отличное общество. Я терпеливо ожидаю наступления весны».

Мрачная история о наследстве

Однако к концу мая блаженное спокойствие маркиза было нарушено появлением судебного исполнителя, вручившего ему крайне неприятный документ. Г-жа де Сад приступила к осуществлению своего замысла и подала в Шатле прошение о раздельном проживании. И теперь ему предстояло ознакомиться с этим актом. Донасьен буквально кипит от возмущения:

Сия отменная записка составлена на основании всех тех гнусных сплетен, что разводили обо мне в трактирах и караульнях, печатали в альманахах и бульварных газетенках; она полна ужасных непристойностей, выдуманных наглыми писаками

<...> клеветническими домыслами. Одним словом, это поистине собрание лжи и глупостей, грубых и нелепых, изложенных корявым и неуклюжим языком.

Вот, оказывается, на что способна «честная и чувствительная мадам де Сад». Вот какова «любезность» сей «небесной женщины», которая уже наполовину прикончила его, уничтожив — или позволив уничтожить — его бесценные рукописи, а теперь пытаясь уничтожить и его самого. Посоветовавшись с юристом, он решает не отвечать на эту «бесстыдную записку» и не являться в суд, позволив заочно вынести себе приговор.

Спустя десять дней, а именно 9 июня 1790 года суд Шатле объявил супругов проживающими раздельно. Донасьен читал и перечитывал бумагу с печатью, ругался, разбирая судейские каракули, но, увидев подпись прокурора, некоего Кеке, выступавшего от имени его жены, усмехнулся про себя. Как и следовало ожидать, все статьи были обращены против него: настоящая стрельба в одну точку. Одна статья привлекла его особенное внимание: «Как следствие, приговариваем его к уплате, возмещению и возврату основного долга суммой в 160 842 ливра, полученной им в качестве приданого, врученного ему на основании брачного контракта»[30].

Сто шестьдесят тысяч ливров: целое состояние! О возмещении подобной суммы и речи быть не может. Он и так с большим трудом сумел собрать кое-какие средства; чтобы выплатить такую сумму, ему пришлось бы продать часть своей недвижимости, продать себе в убыток, ибо дворяне, отправлявшиеся в изгнание, также продавали свои земли: никогда еще земля не ценилась столь дешево.

Как и во всех делах подобного рода, г-жа де Сад, а точнее, ее советчики, находившиеся, без сомнения, под влиянием г-жи де Монтрей, подняли планку слишком высоко, поэтому истица решилась пойти на уступки, стремясь выговорить наиболее выгодные условия для детей и обеспечить их будущее. Ход ее рассуждений был прост: прекрасно зная, что муж ее никогда не сможет вернуть ей приданое, г-жа де Сад соглашалась взять в ипотеку всю земельную собственность. Дабы таким образом обеспечить сохранность наследства. Ловкий расчет, который будет, почти полностью, реализован: вскоре де Сад обнаружит, что все его владения связаны ипотекой, и он не вправе продать ни одного из своих угодий; одним словом, он еще при жизни лишен принадлежащего ему имущества.

Но пока речь идет только о том, чтобы найти верного и компетентного посредника. Таковой находится в лице адвоката Рейно из Экс-ан-Прованса, который вот уже много лет занимается делами маркиза. Тем более что в первых числах августа Рейно намеревается приехать в Париж, чтобы забрать из коллежа ораторианцев племянника. В столице он намеревается пробыть два месяца, а значит, ему с лихвой хватит времени разобраться в бумагах. Адвокат, несомненно, умен, проницателен и как никто иной знает переменчивый характере своего клиента. В отличие от Фажа и Гофриди, Рейно всегда старался сохранять дистанцию между собой и своим подопечным. Он один сумел завоевать доверие

маркиза и даже его дружбу, хотя никогда не попадался на удочку его лести, не пребывал под впечатлением приступов его гнева и не поддавался жалости при виде его стенаний. Отказываясь участвовать в дьявольской игре в кошки-мышки, в которую Донасьен так ловко умел вовлекать всех вокруг, адвокат противопоставляет его истерическим припадкам спокойную уверенность, которая в конце концов оказывает на противника гораздо более обескураживающее воздействие. Он так же определил свою стратегию в отношениях с г-жой де Монтрей:

Мне иногда подсовывают письма, где я с сожалением вижу продолжение брожения, отрицательно влияющее на состояние дел. Сознавая, что беру на себя ответственность за последствия, я с уверенностью отвечаю, что за такими предложениями должно следовать. Я не льстец, и Вы, сударыня, собственным примером научили меня говорить начистоту с теми, кто ведет себя по отношению к Вам недостойно, так что если я иногда излишне сдержанно отзываюсь о Вас, то единственно с намерением и дальше пользоваться определенным доверием с Вашей стороны, кое доверие, просвещая меня, также побуждает высказывать горькие истины. И я нисколько не постесняюсь воспользоваться любыми средствами, способными облегчить положение семьи и послужить к ее пользе, коя и является целью моей деятельности. Вот каков мой символ веры[31].

Подобная, заботливо культивируемая позиция, порожденная необходимостью самозащиты от маркиза, нисколько не исключает искреннего восхищения адвоката своим клиентом как писателем. Будучи любителем изящной словесности, Рейно умеет наслаждаться прозой своего корреспондента, красочной, трепещущей, неукротимой и прекрасной. Даже Донасьен, обычно державший юристов за лакеев, признает за Рейно бесспорное превосходство. Совершенно очевидно, что адвокат правильно сумел себя с ним поставить: Донасьен ценит его сдержанность, хладнокровие, свободную речь и выслушивает от него вещи, которые ни за что не стал бы терпеть ни от кого другого: критические замечания, советы, нравоучения, и нисколько не обижается на письма, написанные в непринужденном, шутливом тоне, где адвокат именует его *господином из бывших маркизов* или же обещает, что *дело пойдет на лад* (знаменитый припев революционных куплетов «Ca ira»*). В случае необходимости Рейно не боится ни указать де Саду на его ошибки, ни отчитать его за недобросовестность. Не щадя своего клиента, он никогда не скрывает от него правды, сохраняя при этом полное спокойствие и присущее ему чувство юмора, коего порой не хватало его корреспонденту. В сущности, сей изощренный в зубоскальстве резонер симпатичен Донасьену. Ему нравятся люди с твердым характером, и он готов к ним прислушиваться, лишь бы только они были при этом наделены умом. Именно умом, позволяющим ему постоянно одерживать над де Садом верх, Рейно и привлекает маркиза. Флегматичный, уверенный в себе адвокат буквально зачаровывает его. И — редкий случай — де Сад признает за ним талант владения пером («Только Вам позволительно писать длинно, ибо читать каждую вашу фразу является истинным наслаждением»); Донасьен даже интересуется его мнением о своих

* «Дело пойдет» (*фр.*).

пьесах, которые ему посылает. Для человека, презирающего лесть, это является знаком особого доверия.

Без ведома де Сада, но не в ущерб его интересам, Рейно поддерживает постоянную переписку с г-жой де Монтрей, расположение которой ему удалось завоевать: доказательство его обходительности, но в еще большей степени осторожности, столь необходимой для ведения дел его клиента; по мнению Рейно, именно осмотрительность должна облегчить мучительные переговоры, которые он ведет с первых дней своего приезда в Париж. После трех недель тяжелых дискуссий ему удается привести обе стороны, отличающиеся равной подозрительностью, упрямством и неуступчивостью, к соглашению. Наконец, 23 сентября 1790 года достигнуто и подписано соглашение из пяти пунктов:

1. Маркиз де Сад заявляет, что он целиком и полностью подчиняется решению суда Шатле от 9-го числа июня месяца текущего года, согласно которому он впредь будет проживать раздельно со своею супругою.

2. Он признает, что его основной долг маркизе де Сад составляет сумму в 160 842 ливра, врученные ему в качестве приданого, о чем было записано в брачном контракте, вместе с процентами «согласно соответствующему положению».

3. Маркиза де Сад согласна при жизни супруга не требовать от него немедленного возмещения указанной суммы, равно как и полученных с нее процентов, при условии получения ею ипотечного права на все имущество, коим владеет маркиз де Сад. Маркиза де Сад готова дать свое согласие при непременном условии, что ей каждый год будет начисляться сумма в четыре тысячи ливров, свободная от налогов и выплачиваемая в два приема, то есть каждые полгода. Также она заявляет, что согласна не взимать процентов со своего капитала, учитывая, что недвижимость, принадлежащая маркизу де Саду, приносит крайне мало дохода.

4. Чтобы гарантировать выплату указанных четырех тысяч ливров, маркиз де Сад обязуется перевести на своих фермеров большую часть долга, дабы обеспечить регулярную выплату данной суммы.

5. Судебные процедуры относительно возобновления дела об определении суммы платежей и приданом маркизы де Сад прекращаются полностью и окончательно[32].

Донасьен может считать, что счастливо отделался. Ведь, в сущности, все обернулось не так уж плохо: с одной стороны, ему не нужно возмещать всю сумму долга, с другой стороны, проценты установлены минимальные (всего лишь 2,5% годовых со всей суммы).

Однако, едва соглашение подписано, как Донасьен тотчас решает, что его обвели вокруг пальца. Незадолго до начала переговоров Рейно попросил г-жу де Монтрей сообщить ему о состоянии доходов его клиента: об этом было известно только председательше, ибо именно она до сей поры осуществляла управление имуществом маркиза. Под ее началом доходы маркиза возросли до 14 000 ливров в год. Поверив ей на слово, Рейно решил, что, отдавая ежегодно четыре тысячи ливров г-же де Сад, Донасьену будет оставаться 10 000 ливров, которых вполне должно хватить для безбедной жизни. Однако спустя несколько дней выяснилось, что цифры эти не отличаются точностью. Гофриди, коему было поручено произвести подсчеты, не имел еще на руках ни сумм пенсионов и процентов с долгов, коими было отягощено наследство маркиза, ни сумм, расходуемых на его содержание, кои в общей сложности составили немногим более шести тысяч ливров.

Узнав об этом, Донасьен мечет громы и молнии и изобличает Гофриди, заключившего союз с «недобросовестностью, коварством, мошенничеством и высокомерием». Менее всего он винит в случившемся Рейно: «В том, как он вел это дело, я могу только воздать ему должное. Быть одураченными — такова участь всех честных людей; но лучше быть одураченным, чем мошенником». Самому же адвокату он пишет следующее:

Совершенно очевидно, что Ваше посредничество в деле моей жены не пошло мне на пользу; столь же очевидно, что мои поверенные сильно бранили меня за торопливость в этом деле, ибо, по их мнению, если бы я не был столь поспешен, моя жена никогда бы не смогла расстаться со мной, то есть разорить меня, ибо ясно, что раздельное проживание разоряет меня и губит. Ваша же ошибка, дорогой адвокат, заключалась в том, что Вы поступили излишне искренне, убедив себя, что действуете исключительно из дружеских побуждений.

Никогда еще маркиз не был столь снисходителен — и не проявлял столько уважения — к своему поверенному; Гофриди бы подвергли разносу за гораздо менее серьезную оплошность. Действительно, приходится признать, что Рейно поступил чрезвычайно легкомысленно: он был обязан доподлинно убедиться, каковы истинные доходы его клиента, а не верить кому-либо на слово. Впрочем, единственным заблуждением его было доверие: он верил словам, сказанным членами семейства Монтрей (он не мог даже представить себе, что г-жа де Монтрей способна манипулировать цифрами, что, впрочем, так и осталось недоказанным) и самим де Садом. Ибо по большому счету именно он, а не кто иной, обязан был знать точную долговую сумму, вычитаемую из суммы годового дохода.

Тем временем Донасьен полон решимости опротестовать принятое решение. Он подписал соглашение от 23 сентября только при условии, что его годовой прожиточный минимум не опустится ниже 10 000 ливров. Как только доходы станут меньше этой суммы, он тотчас перестает считать статьи договора, равно как и свою подпись под ними, действительными. В то же самое время он заявляет, что жена его никогда не давала ему отчета о судьбе наследства его матушки, г-жи де Сад, скончавшейся 14 января 1777 года, и решает действовать по этим двум направлениям.

Подобные речи нисколько не устраивают Рене-Пелажи.

Он не имеет права опротестовывать подписанное соглашение, — возражает она в письме к Гофриди. — Вместо того чтобы жаловаться, он должен был бы радоваться, что ему приходится выплачивать всего четыре тысячи франков, кои он мне должен, в качестве процентов с суммы в сто шестьдесят тысяч франков. Его земли не производят столько, чтобы он мог иметь ренту в десять тысяч франков, однако моей вины тут нет, равно как и нет вины в том, что мое приданое пошло на покрытие долгов. Мне надо содержать детей; я больше не могу ничем пожертвовать, ибо и так уже пошла на уступки в мировом соглашении[33].

По совету Рейно, уговаривающего своего клиента не начинать тяжбу, в доме Клермон-Тоннера, исполняющего обязанности председателя семейного совета, 9 июня 1791 года делается попытка примирить супру-

гов, но она оканчивается неудачей. Дело выносится в суд. Развязка наступает 12 декабря того же года: согласно принятому решению, Донасьен соглашается принять сумму в четыре тысячи восемьсот ливров в счет материнского наследства в качестве окончательного расчета, одобряет доходы и расходы, полученные и сделанные г-жой де Монтрей, коей на основании доверенности, полученной от г-жи де Сад, было поручено управлять имуществом де Садов, «вновь подтверждает полное и окончательное согласие» с вердиктом о раздельном проживании, вынесенном судом Шатле 9 июня 1790 года, и обязуется уважать документ, подписанный им 23 сентября, этот «окончательный и вынесенный ему высочайший приговор». В результате Донасьен получает скромную сумму в счет материнского наследства. В остальном все остается по-прежнему: сумма, которую он должен выплачивать жене, не меняется. Однако на что он намерен жаловаться? Он будет иметь доход значительно больший, нежели тот, который он имел бы, будь жена и дети у него на содержании. Именно это и пытается внушить ему Рейно.

> Вы один, – объясняет он, – Вас ничто не стесняет, Вы сам себе хозяин, и можете спокойно и без забот наслаждаться своим небольшим достатком, ругать других, не получая ответа, следовать своим вкусам и пристрастиям, окружать себя друзьями за столом и всюду, где Вам будет угодно, удовлетворять Вашу страсть к театру, и так далее. <...> Рано или поздно Вы поймете, что я прав[34].

И все же маркиз ухитрится не дать жене ни гроша из того пансиона в четыре тысячи франков, который обязался ежегодно ей выплачивать. Когда же она начинает требовать причитающихся денег, гневается и с возмущением пишет Гофриди:

> Черт меня побери, если я знаю, как это сделать! Когда мой бедный отец говорил: «Я заставил сына жениться на дочери сборщика налогов, чтобы он разбогател», бедняга не знал, что эти обиралы, эти грабители-банкиры примутся разорять меня <...>[35].

Он выдумывает самые разнообразные причины, лишь бы не платить: на его имущество наложен арест, земли не обрабатываются, имения оскудели, в деревнях царит нищета. Монтреи же достаточно богаты, чтобы содержать собственную дочь и его детей. Взамен он позволяет Гофриди бесплатно посылать жене заказанные ею бочонки оливкового масла. Ох, ну и причуды же у этих вельможных сеньоров!..



Глава XVIII
ТЕРЗАНИЯ ЛИТЕРАТОРА

«Трудно найти идею»

И хотя в историях с деньгами Донасьен позволяет своей природной раздражительности выйти наружу, помимо них его занимают еще сотни вещей. Выйдя из тюрьмы, этот человек, кажется, хочет прожить десять жизней разом. Он поглощает и проглатывает все, его дергает в противоположные стороны, он бежит, его лихорадит, он пребывает в состоянии неуемного беспокойства, словно метания эти могут возместить «слишком длинные антракты» его жизни, как именует он годы тюремного заключения. В нем постоянно происходят изменения, точнее, череда изменений, отчего периоды его пребывания на свободе не в силах восстановить даже кропотливый биограф. Несомненно, синоптическая таблица дала бы более точное представление о них, нежели последовательное повествование.

Донасьен ведет судебное преследование «презренного рода» Монтреев и одновременно наслаждается новой жизнью в кругу маленького, им самим избранного общества; так продолжается до тех пор, пока на него не кладет глаз мадам Политика, перед которой он не устоит, и вскоре честолюбие литератора призовет его вступить на путь, ведущий к славе. Дела, деньги, театр, любовь: он хочет всем заниматься разом, забывая о мелочах повседневности.

Несколько лет назад ему удалось примириться со своим небытием. Прежде, подобно многим знатным сеньорам своего времени, он испытывал постоянную нужду в деньгах (и постоянно влезал в долги), но даже не пытался заняться какой-либо деятельностью, направленной на добывание пропитания; теперь же он, в отличие от многих, понял, что в новом обществе необходимо иметь определенный статус. Опасаясь, что в нем распознают бывшего дворянина (а после 1789 года риск этого действительно был велик), он намеревается выбрать себе поприще, найти занятие. Но разве есть такое ремесло, которое подошло бы ему больше, нежели ремесло литератора? К тому же оно ему откровенно нравится, и он гордится своей принадлежностью к пишущему сословию.

В течение долгих лет заключения писательство являлось для него всем: бегством, убежищем, сублимацией жизни; оно заменяло ему тело, высвобождало чувства, раздвигало границы пространства и реконстру-

ировало время. И в Венсенне, и в Бастилии он не переставал писать: романы, новеллы, короткие истории, размышления, анекдоты, путевые заметки, исторические сочинения, литературно-философские рассуждения, которые он впоследствии назовет «Портфелем литератора», – и это не считая почти двух десятков пьес и почти двух сотен писем.

До боли привязанный к своим рукописям, Сад плакал от отчаяния, узнав об их пропаже во время штурма Бастилии. Он всегда горестно рассказывал об этой трагедии, обвиняя в преступном небрежении Рене-Пелажи, из-за которой были утеряны «готовые к печати пятнадцать томов». Нам известно, как произошла эта утрата: жена пришла забрать его вещи слишком поздно, когда уже случились известные всем события. Но, похоже, мы не знаем худшего. Если верить Донасьену, она также сожгла ту часть рукописей, которая хранилась дома.

Почему она не поспешила забрать мои вещи, мои рукописи, – стеная, вопрошает он Гофриди. – Мои рукописи, потерю которых я оплакиваю кровавыми слезами! Можно отыскать кровати, шкафы, столы, но нельзя отыскать утраченные идеи. Нет, друг мой, я никогда не сумею описать Вам отчаяние, в кое повергла меня сия утрата; она поистине невосполнима.

Спустя несколько дней он вновь, почти слово в слово, повторяет свои жалобы Гофриди, добавив очередное пламенное обвинение в адрес г-жи де Сад:

Я спрашиваю Вас, дорогой мой адвокат, как можно оправдывать жестокость г-жи де Сад, которая, имея в своем распоряжении десять дней, позволила ограбить меня <...> украсть мои рукописи, которые я по-прежнему оплакиваю кровавыми слезами <...> сочинения, написанные мною с таким тщанием <...> утешавшие меня в моем уединении, смягчавшие горечь моего одиночества, позволившие мне сказать: «По крайней мере, я не потратил время зря!» Простите меня, мой добрый, дорогой друг, если я недостаточно выразительно описываю свое несчастье; оно столь безжалостно терзает мое сердце, что мне лучше всего постараться забыть о нем и более никому не рассказывать о постигшем меня горе. Кое-что, впрочем, я отыскал в тех округах, куда свозили найденные в Бастилии бумаги, однако ничего серьезного я не нашел <...> обрывки, и ни одного целого произведения. <...> О, больше никаких поисков, никаких! Господь праведный! Это самое большое несчастье, кое только могло предуготовить для меня небо! <...> А знаете ли Вы, что сделала эта честная и чувствительная г-жа де Сад, дабы облегчить мою боль? У нее хранилось немало моих сочинений <...> рукописей, которые я тайно передавал ей во время ее посещений: так вот, она отказалась мне вернуть их. <...> Сказала, что, опасаясь, как бы эти сочинения (написанные достаточно откровенно) не повредили мне во время революционной смуты, она передала их надежным людям, и те сожгли их почти все! <...> Когда я слышу подобные ответы, кровь закипает у меня в жилах! <...> Но увы, мое положение не слишком прочно, потому мне остается только молчать <...>.

Среди пропавших сочинений числится и «Сто двадцать дней Содома»; о его утрате Сад сожалеет более всего. Пытаясь отыскать свои бумаги и прежде всего бесценный свиток, Донасьен даже обратится к начальнику полиции, вручив ему подробное описание утерянных тетрадей, но безуспешно. Но рукописи «Ста двадцати дней Содома» повезло: в бастильской камере маркиза ее подобрал Арну Сен-Максимен, вскоре передавший ее маркизу де Вильнев-Тран[1]. При жизни трех поколений

рукопись хранилась в семейном архиве, а в 1900 году была продана немецкому любителю старины; сначала он заключил ее в футляр в форме фаллоса, а затем, в 1904 году выпустил в свет; к изданию рукопись подготовил берлинский психиатр Иван Блох, автор первой биографии де Сада, опубликованной под авторским псевдонимом Евгений Дюрен. До января 1929 года рукопись находилась в Германии. В январе писатель и критик Морис Эн, бесспорный основоположник исследований творчества Сада, по просьбе виконта де Ноайль отправился в Берлин выкупать ее. До недавнего времени семья Ноайль демонстрировала рукопись желающим и даже позволяла фотографировать ее. Несколько лет назад рукопись была продана коллекционеру, проживающему в Женеве.

Не все рукописи Донасьена были потеряны безвозвратно. И хотя автор утверждает, что после освобождения ему удалось отыскать лишь четвертую часть утраченного, он, несомненно, преувеличивает. Ведь среди уцелевших текстов числятся и «Жюстина», и «Алина и Валькур», не менее дюжины пьес, новеллы, повести, короткие истории, наброски будущих произведений, «Портфель литератора», и т. д. Короче говоря, вполне достаточно для издания многих томов.

Оборотная сторона зла

Итак, де Сад сам награждает себя званием «литератора»: отныне это звание заменит титул «маркиза» в официальных бумагах и актах о гражданском состоянии — что весьма предусмотрительно в связи с грядущими временами.... Он уверен, что звание литератора очистит его от «первородного греха» — его принадлежности к сословию аристократов. «Я был кавалеристом во время войны в Ганновере. Почувствовав пристрастие к литературе, я, будучи еще совсем молодым, оставил военную службу ради писательского труда. Моя нынешняя профессия — литератор», — заявляет он в 1794 году перед Комитетом общественной безопасности, оправдываясь в своем аристократическом происхождении. Спустя некоторое время он заявляет о том же и членам народного трибунала:

> Меня обвиняют в том, что я аристократ; но это неправда; <...> почти все мои предки занимались почтенным ремеслом земледельцев. Отец мой был литератором; прослужив шесть или семь лет в армии <...>, я уже в молодости решил пойти по стопам отца[2].

По просьбе Донасьена его корреспонденты теперь адресуют свои письма «Г-ну Саду, литератору»; новый титул должен был компенсировать утрату частички «де». Даже если автор за все пятьдесят лет жизни ничего не опубликовал, никто никогда не мешал ему именоваться писателем. В своем стремлении так называться Сад не был одинок: сколько оказавшихся не у дел дворян использовали сие звание как алиби, стремясь спасти свою жизнь!

> Узурпировать звание литератора чрезвычайно просто, — заметил Луи-Себастьян Мерсье. — Никто не знает, кому его присуждать и у кого следует отнять; Па-

риж буквально наводнен никому не известными писателями, и хотя их патриотизм весьма сомнителен, все они в любую минуту готовы накропать республиканскую пьеску.

В случае с де Садом об узурпации — по крайней мере, о полной — речи не идет: вот его сочинения, полностью завершенные; остается только дождаться издателя, готового признать их гениальность. И какие это сочинения! Тысячи страниц, покрытых изящным, на удивление современным почерком, аккуратные, удобочитаемые, с небольшими помарками, с характерными удвоенными прямыми чертами, в которых угадывается буквально физическое удовольствие, доставляемое автору процессом вождения пером по бумаге. И эту литературную недвижимость он собирается пустить в оборот, дабы она принесла плоды: наконец-то двенадцать потерянных лет должны принести состояние, которое позволит ему безбедно существовать до конца дней своих...

* * *

Донасьен надеется на успех — но не романов, а своих драматических сочинений. Он наивно полагает, что и слава, и завтрашний день куются на сцене. Чтобы найти своего читателя, книге могут потребоваться годы, в то время как пьеса для театра оплачивается немедленно: к автору мгновенно приходит слава, то есть именно то, чего столь недостает нашему нетерпеливому герою. Еще одно преимущество: доходы, приносимые пьесой, гораздо больше доходов от издания книги, а мы знаем, сколь чувствителен наш герой к подобного рода аргументам. Наконец, театр нынче в моде. Вместе с революцией победу одержало звучащее слово, эмоциональная речь, патетическая декламация. Слово произнесенное возобладало над словом написанным, ораторское искусство торжествует на трибунах и на улицах, в кафе и в городских садах. Закон от 13 января 1791 года уничтожил монополию Комеди Франсэз: теперь каждый гражданин получил право открыть свой театр. В Париже процветали новые залы: театр Мольера, зал в Марэ, театр Господина брата короля (будущий театр Фейдо), театр мадемуазель де Монтансье, расположившийся на улице Закона, и т. д. Если в 1789 году в столице насчитывалось всего тринадцать театральных залов, то в 1793 году число их перевалило за тридцать пять. Проповедь свободы, облеченная в напыщенные речи, с успехом нашла себе отдушину на подмостках.

Увеличение числа театров отнюдь не служит повышению качества идущих в них спектаклей, зато отвечает желанию постоянно жаждущей зрелищ публики. Мерсье, наблюдательный хроникер того смутного времени, оставил нам следующее свидетельство:

Никогда еще, даже в самые благополучные времена, французы, как и представители какой-либо иной нации не жаждали столь страстно театральных зрелищ. Этот оголтелый, сорвавшийся с узды народ смиренно замирает на узеньких, неудобных скамьях зрительного зала, где царит полумрак и яблоку негде упасть; люди ведут себя смирно и переговариваются вполголоса. Когда же актеры разыгрывают

умилительные сцены торжества добродетели, зал взрывается бурными аплодисментами. Сердца зрителей трепещут от восторга, глаза наполняются слезами, все чувствуют великое духовное единение. Неужели это те же самые многотысячные толпы парижан, которые, подобно кровожадным тиграм, тащили на заклание своих соотечественников, смиренных, словно ягнята на бойне? Неужели они пришли сюда по тем же самым мостовым, по которым с грохотом катились телеги с шестью-семью десятками жертв, вина которых в большинстве своем состояла лишь в нежелании разлучаться со своими близкими: мужьями, детьми, друзьями?

Автор «Картин Парижа» был вправе удивляться подобной смеси сентиментальности и жестокости. Но читателей сочинений де Сада она не удивит, ибо в его произведениях мы одновременно находим зло и его оборотную сторону, искусство быть добродетельным и учебное пособие для негодяев.

Тяга Сада к театру возникла задолго до наступления революции: театр всегда был его страстью, быть может, единственной за всю его жизнь. Отец привил ему вкус к театральным зрелищам, иезуиты его развили, а сам он сделал первые шаги на сем поприще, сначала участвуя в театральных постановках в Эври, а затем устраивая спектакли в Ла-Косте и Мазане. Ему известен каждый винтик театрального механизма, все театральные ремесла. Он может быть — по очереди и одновременно — актером, режиссером, автором, декоратором; он способен поставить спектакль для одного актера, то есть для самого себя. Кроме того, в молодости его посвятили в тайны закулисной жизни, и ему прекрасно известны и ее очарование, и ее опасности. В одном из писем к аббату Амбле он рассказывает о своей неукротимой тяге к драматическому искусству:

Я совершенно не могу сопротивляться своему призванию; меня неумолимо притягивает театральное поприще, и, что бы ни произошло, я не смогу от него отказаться. В моем портфеле гораздо больше пьес, нежели написано большинством нынешних почитаемых авторов, а сюжетов в два раза больше, нежели пьес, уже мною написанных. Если бы меня оставили в покое, у меня после выхода из тюрьмы было бы готово пятнадцать комедий. Многие предпочитают смеяться над моими трудами: однако будущее рассудит, правы мои палачи или ошибаются.

В другом письме он рассказывает о том, как его, удобно устроившегося в кресле и окруженного дорогими его сердцу шедеврами, начинает охватывать страх, что его собственные сочинения никогда с ними не сравнятся: «Я сижу у себя в кабинете; меня окружают Мольер, Детуш, Мариво, Буасси, Реньяр; я смотрю на них с восхищением и сознаю, что никогда не смогу встать вровень с ними».

Его драматические сочинения, которые он полагает козырной картой своего литературного творчества, приводят в изумление читателя, привыкшего к его романам. Ни насилия, ни пыток, ни жестокостей; сладострастия нет и в помине. Порок упоминается только для того, чтобы вынести ему приговор; о религии говорится уважительно, об обществе почтительно. Иначе говоря, полная противоположность «Жюльетте» и «Ста двадцати дням Содома». Не будучи столь суров, как Жильбер Лели, назвавший некогда пьесы Сада «неудачной отрыжкой», автор может только удивляться, сколь глубокий ров отделяет эти,

пронизанные добропорядочностью и душевным комфортом, творения от великих романов де Сада, где бушует ураган неосознанных устремлений. Действительно, театр де Сада является прямой противоположностью его «запретных сочинений», так что даже начинаешь верить, что в маркизе прекрасно уживались две совершенно разные личности.

Драматургию де Сада нельзя расценивать как маргинальный аспект его творчества; напротив, именно благодаря наличию в его сочинениях двух полюсов он становится в один ряд с лучшими авторами эпохи. Во всяком случае, при необходимости драматургия Сада служит доказательством того, что творчество этого автора нельзя сводить к простому клиническому феномену. Сознание факта, что большинство своих сочинений он написал в тюрьме, ничего не изменит: оно позволяет рассуждать до бесконечности о его одержимости замкнутым пространством или же о происхождении его отшельнических фантазмов, однако нисколько не изгоняет другой одержимости, совершенно реальной и присущей многим его современникам: одержимости стратегией маски. Ибо кто из авторов XVIII века не пытается скрыться под маской? Что общего между дерзким материализмом «Сна д'Аламбера» и приторной чувствительностью à la Грез «Отца семейства»? Между едкими сарказмами «Кандида» и слезливой патетикой «Заиры»?* В романе, философской сказке или в очерке можно грызть противника и изрыгать оскорбления, но на сцене все притворяются смиренниками: прячут свои идеи, как кошка прячет когти. К тому же на сцену допускаются только высоконравственные произведения. Автор может появиться на сцене, единственно облачившись в одежды искренности и чистосердечия. Чтение, упражнение для одиночек и альковное занятие, поощряет любые капризы воображения. А публика требует приличных образов: перед тремя сотнями зрителей нельзя обнажать ни душу, ни тело.

Но хотя Сад-драматург надевает на себя маску моралиста, он тем не менее пытается сохранить узы, связующие его пьесы с его романами. Так, моралист Делькур из «Будуара» под тем же именем появляется в «Жюльетте». Отвратительному Окстьерну, стремящемуся заставить отца Эрнестины убить собственную дочь и цинично рассуждающему о женщинах и браке, найдется место в «Ста двадцати днях Содома». Граф де Версей является почти полным аналогом мучителя Жюстины графа де Вернея. Отдельные ситуации и образы повторяются и в пьесах, и в романах: например, узница-супруга. Впрочем, некоторая разница все же существует: в пьесе ее в конце концов спасают, в то время как в романах непременно убивают[3].

Однако в завораживающем контрасте двух частей садической литературы просматривается еще кое-что: это кое-что — экзорсизм наоборот, увиденный и обоснованный Жан-Жаком Брошье.

Театр Сада, — пишет он, — своим традиционализмом, своим подражанием комической опере и мелодраме может показаться наивному читателю сущей бездел-

* «Сон д'Аламбера» и «Отец семейства» — сочинения Дидро, «Кандид» и «Заира» — сочинения Вольтера.

кой. Несчастный Рульяк де Мопа, читая «Зачарованную башню», увидел в ней всего лишь скучную феерию и даже сожалел, что там нет обычных для маркиза призраков. Он ошибся. Их не было только потому, что они действовали в ином месте, а именно в романах.

Таким образом, все эти феерии и английские мелодрамы, все эти трагедии, написанные александрийским стихом, являются необходимым дополнением садического мира, его золотой легендой, без которой, возможно, не было бы и легенды черной: в этом правда той литературы, глубину которой создают неподражаемые толстые романы.

Жестокие уроки

«Мы еще посмотрим, кто кого, Париж!» Этот вызов, брошенный Растиньяком с высоты Монмартрского холма, Сад вполне мог бросить из окна своей крохотной квартирки на улице Оноре-Шевалье. Сад старше героя Бальзака на тридцать лет, но пылкой веры в свой гений у него ничуть не меньше. От своих пьес, благоговейно разложенных по папочкам из розового или мраморного картона, он ждет компенсации за потерянные годы: денег и славы.

Первым его шагом на поприще литератора, каковое звание он себе присвоил, стало вступление в Общество авторов, основанное Бомарше двадцать лет назад. Он еще ничего не напечатал, но какое это имеет значение! Ему верят на слово, а его рукописи выступают гарантией обоснованности его претензий. Седэн, председатель Общества, не возражает против его кандидатуры, и Сад поручает литературному агенту Фрамери защищать его авторские права «на всей территории Франции» и взимать доходы, которые будут поступать от постановок его пьес. С упорством неофита он регулярно посещает заседания Общества и, похоже, более усердно занимается защитой прав своих собратьев — и своих собственных — от всем известной алчности актеров, нежели заботится о продвижении своих пьес. Однако сей вопрос его не волнует только потому, что он уверен в их успехе. Ведь он сделал главную ставку на театральную карту!

У председательши де Флерье прекрасные отношения с актерами Комеди Франсэз: 27 октября 1790 года там была принята на «ура» ее пьеса «Полина». Она готова оказать своему другу протекцию. Познакомившись через г-жу де Флерье со знаменитыми актерами того времени: Моле, мадемуазель Дюгазон, мадемуазель Рокур, г-жой Вестрис, Сад тотчас пытается завербовать их в союзники. Его дебют на театральном поприще должен запомниться: первая же пьеса, бесспорно, должна вознести его на вершину славы. И такая пьеса у него есть: «Жанна Лене, или Осада Бовэ», трагедия в пяти актах, написанная александрийским стихом, которую он сочинил в 1783 года, сидя в Венсеннской крепости. Речь идет о широком историческом полотне, героиня которого, Жанна Лене, прозванная Жанной Секирой, в 1472 году во время осады Бовэ обратила в бегство войска Карла Смелого. На эту патриотическую (патриотизм — чрезвычайно модная тема) пьесу, напоминаю-

щую миф об Орлеанской девственнице, Донасьен возлагает большие надежды и не предпринимает никаких дополнительных усилий, чтобы подогреть энтузиазм публики: по его мнению, героические персонажи и патетические стихи должны разжигать любовь к отчизне, «кою каждый француз питает к своей стране». А если он не стал искать сюжет для пьесы в текущей действительности, как это в основном делают театральные авторы и либреттисты в Опере, то лишь потому, что «зритель никогда не станет проявлять такого интереса к событиям настоящего, какой он проявляет к событиям прошлого».

Он неоднократно перерабатывал пьесу, заставляя жену перечитывать каждый новый вариант.

Полагаю, теперь трагедия покажется Вам значительно лучше, – пишет он ей 26 мая 1783 года. – Я исправил все обнаруженные мною ошибки. <...> В остальном могу только повторить, что совершенно сознательно не пожелал вводить ни вымысла, ни аллегорий; также я без труда могу выправить то, что придется Вам не по нраву. Вычеркивание лишней сотни стихов пойдет тексту только на пользу: сами видите, сколько имеется возможностей для сокращения и урезания.

Сгорая от нетерпения увидеть, какое действие произведет трагедия на зрителей, Сад получил разрешение прочесть ее перед узниками и офицерами Бастилии, собравшимися для этого в зале советов в часы дозволенных свиданий. Желая узнать мнение шевалье дю Пюже, он пригласил его на читку пьесы. Нам неизвестно, как отнеслись заключенные к героическим подвигам освободительницы и что подумал о них лейтенант Пюже.

Выбор «Жанны Лене» не совсем бескорыстен. Сад пытается «примазаться» к исключительному успеху, который в 1765 году снискала пьеса драматурга де Беллуа «Осада Кале». Оба произведения имеют так много общего, что невольно напрашивается желание назвать творение Сада умелым *римейком*[4].

Начиная со 2 мая 1790 года, то есть уже через месяц после освобождения, Донасьен завязывает отношения с Моле, знаменитым актером и тогдашним модным человеком; знакомству с ним он обязан скорее всего рекомендации председательши де Флерье. Моле не трагик, а потому не может дать ему дельных советов относительно «Жанны Лене», однако он вводит де Сада в круг своих собратьев по профессии и, в частности, знакомит с мадемуазель Рокур, и та назначает автору-дебютанту свидание. Знаменитая трагедийная актриса принимает его наедине, внимательно слушает его пьесу и берет с него слово представить ее на литературный совет Комеди Франсэз. Желая отблагодарить ее, Сад обещает ей главную роль. Через несколько дней он советуется с Вестрис, сестрой Дюгазон, и дает ей такое же обещание. Эта оплошность дилетанта дорого ему обойдется. Вскоре он приглашает красавчика Сен-При, героя-любовника Комеди Франсэз, и его товарища Сен-Фаля к г-же де Флерье на читку пьесы. Сен-При высказывается совершенно ясно: представить пьесу в ее нынешнем виде на суд актеров Комеди Франсэз означает заранее обречь ее на провал. Помимо иных критических замечаний, он упрекает автора в наличии в пьесе «комических сти-

хов». Необходима доработка; Сад возражает: он уже столько раз переделывал эту пьесу! К мнению Сен-При присоединяется его любовница Вестрис. Сад сердится, актриса притворяется удивленной:

Не понимаю, отчего Вас так огорчило, что я присоединилась к мнению своего товарища Сен-При? При всех достоинствах, кои я справедливо нахожу в Вашей пьесе, я не имею причин скрывать, что считаю его замечания разумными; уверена, он столь же внимательно, как я, выслушал Вашу трагедию, и только на основании полученного впечатления высказал свое мнение. Не могу заверить Вас, сударь, что пьеса — в том виде, в каком она пребывает сейчас или после переработки — будет принята литературным советом Комеди Франсэз; подобные вещи нельзя предугадать, нечто определенное можно будет сказать только после самого совета[5].

Подгоняемый неуемным желанием увидеть свой шедевр на сцене, Сад еще раз пытается нажать на Вестрис, но та сухо ему отвечает:

Я уже говорила Вам, сударь, что польщена Вашим доверием, и с удовольствием готова это повторить; но судите сами — что я могу сделать? Сударь, досконально разбираясь в вопросах чести, вспомните: ведь Вы сами избрали Сен-При первым ценителем Вашего сочинения, а я искренне призналась, что разделяю его мнение и его замечания. Поэтому, сударь, обращаться надлежит именно к нему, дабы он организовал читку трагедии и представил ее в театре. Если Вы намерены рискнуть и устроить читку, не внеся должных изменений, я непременно приду и стану тем неравнодушным слушателем, который заинтересован в успехе как пьесы, так и ее автора; но большего я сделать не могу, ибо в противном случае поступлю несправедливо и недостойно по отношению к своему товарищу[6].

Это тупик. Тогда раздосадованный Донасьен обращается к Дорфею, одному из двух администраторов Комеди[7]. Однако тот сразу прячется за спину своего коллеги Гайара: это Гайар является настоящим вершителем дел, а сам он ничего не значит. А так как Гайар напоминает флюгер, готовый в любую минуту повернуться в выгодную для него сторону, то он не может предсказать даже его ответ:

Я держусь в стороне, ибо мне надоело говорить со стенкой; когда же мне удается улучить благоприятный момент, я пытаюсь поскорее обернуть дело в свою пользу.

...Как изменился здешний вид,
Когда на эти берега послали боги
Дочь Пасифаи и Миноса...[8]

На полях стихов Расина Донасьен пишет имя новой Федры: Вестрис. Она заправляет Гайаром и делает погоду в доме Мольера. Ее слушаются и боятся. Тогда Сад упрашивает Дорфея хотя бы ознакомиться с пьесой, но тот отказывается:

Вследствие ряда обстоятельств, изменить кои не в моих силах, я буду лишен удовольствия выслушать чтение Вашей пьесы: я полностью отказался от театрального руководства. В нем сейчас царствуют сумасброды, а я хочу сохранить свой разум в полном здравии. Решение мое твердо и непреклонно: я уверен, что репертуар необходимо составлять исключительно из добротных пьес, я хочу служить публике, литературе и искусству, хочу представить зрителям множество новых пьес, появившихся за последние полвека, но известных только любителям библиотечного чтения, да и то в основном по названиям. Свободу, воцарившуюся в театре, я хотел бы обернуть во славу самого театра: изгнать однодневки, а из новых пьес

принимать к постановке только те, что отличаются достойными суждениями и хорошим вкусом. Гайар посчитал мою систему ложной, ибо привык внимать чужим мыслям и людям, жаждущим постоянно появляться на сцене, раздувшимся от самомнения и непомерно гордым тем, что природа не полностью обделила их талантами. Простите за столь подробное отступление: хотелось бы оправдать свою позицию и объяснить, отчего я не могу выступить защитником Ваших интересов[9].

Донасьен начинает получать жестокие уроки ремесла драматического автора, ремесла, к которому он очевидно выказал себя менее всего способным. Не столько потому, что талант его проявился прежде всего в романном сочинительстве, а потому, что его неровный характер и грубая откровенность плохо приспособлены для существования в атмосфере уловок и интриг, царящих в театре. В самом деле, все в нем резко противостоит этой среде: он презирает лесть, в то время как актеры воистину живут ею; он не умеет скрывать своих намерений, ему претят интриги, низость возмущает его; наконец, он, как никто иной, умеет задеть чужое самолюбие. Короче говоря, его лучшие качества оборачиваются против него.

Однако мир кулис подарил ему несколько остроумных и фривольных сцен, подобных той, о которой он рассказывает Рейно:

Чертово ремесло – писать пьесы! Узнав, что для нее может найтись очаровательная роль в одной из моих пьес, которую будут давать у нее в театре, эта женщина тотчас является ко мне и умоляет дать ей эту роль. «Охотно, сударыня, но почему бы вам раньше на нее не согласиться?» Меня выслушивают, меня ублажают, я получаю все, что хочу <...> пожалуй даже, больше, чем мне нужно! <...> «Что ж, мадемуазель, вот вам роль, и, надеюсь, вы хорошо ее сыграете. – О сударь, вы только что разве не убедились, как я прекрасно играю комедию?»

Вспоминая прошлые похождения маркиза, Рейно советует ему не доверять закулисной жизни: «Это меня Вы уговариваете не доверять тому, что происходит за кулисами? Меня? <...> Что ж, отвечу Вам, что я ни капельки не доверяю! Стоит только познакомиться с тамошним отродьем, как тут же начинаешь заслуженно презирать его»[10].

Убедившись, что без переделок трагедия его не попадет на совет, он мужественно приступает к переписыванию. Однако в это время ему нужно на что-то жить; Донасьен торопит своих управляющих в Провансе: деньги не поступают, ему необходима такая-то сумма, и срочно, ему не на что пообедать, Гофриди обрек его на голод, а Льон высылает только ассигнаты, то есть бумажки, не имеющие никакой ценности! Его обкрадывают! Водят за нос! Убивают!.. Знакомый припев.

Неволя и величие драматического искусства

Занимаясь переработкой «Жанны Лене», он одновременно решает попытать счастья с другими пьесами: ящики его письменного стола просто ломятся от них! 3 августа 1790 года он читает в Итальянском театре небольшую одноактную комедию под названием «Соблазнитель»[11]. Экзамен сдан успешно. Пьеса принята, однако постановка намечена только на 1792 год. Слишком долго ждать. Он пытается добиться постановки дру-

гой, тоже одноактной, комедии под названием «Будуар, или Легковерный муж». Моле ходатайствует за нее перед своими товарищами из Комеди Франсэз, и 17 августа ее берут для чтения на совете. Совет, состоящий из тринадцати (дурное предзнаменование) членов, отвергает пьесу семью голосами против пяти и требует доработки[12]. Об этом автору сообщает актер Ноде, он же предлагает ему в течение следующей недели выступить с читкой еще одной пьесы. «Я от всего сердца желаю доказать вам, — заявляет он, — как высоко я ценю ваш литературный талант». Сад не заставляет себя упрашивать и 16-го вновь предстает перед театральным трибуналом с пятиактной комедией, написанной свободным стихом — «Мизантроп от любви, или Софи и Дефран». Победа! Пьеса принята единогласно. Вдобавок автор получает право бесплатного посещения театра в ближайшие пять лет. Остается только назначить дни репетиций.

Однако Сад не хочет мириться с провалом «Будуара»; он вернется к нему через три года, когда Комеди Франсэз будет переименован в Театр нации*. С помощью Сен-Фаля, любезно согласившегося поддержать его, он просит устроить новую читку и заявляет, что готов отказаться от гонорара, причитающегося автору, лишь бы пьеса была поставлена. «Мне известна щепетильность, проявляемая в этом вопросе у вас в театре», — неловко добавляет он. Никакого ответа. Через две недели Донасьен просит вернуть ему рукопись:

Если Комеди Франсэз не пожелала принять мой дар, заключавшийся в небольшой одноактной комедии, кою я имел честь вам послать, прошу вернуть мне сию рукопись. Я не мог представить себе, что *дары* ожидает та же участь, что и *продаваемые* вещи[13].

Актеры чувствуют себя уязвленными: у них нет привычки оставлять авторов без вознаграждения, — отвечают они. Правила запрещают вторично прослушивать однажды отвергнутую пьесу. Однако из уважения к своему товарищу Сен-Фалю актеры готовы сделать исключение. Но г-н де Сад должен дождаться своей очереди — сейчас они слишком заняты. В связи с этим Делапорт, «первый суфлер» и секретарь Комеди Франсэз, возвращает ему рукопись.

На дерзкую реплику актеров — явившуюся, впрочем, всего лишь ответом на высокомерие автора — Сад рассыпается в извинениях, просьбах и уверениях в дружбе. Ему так нужно расположение этих проклятых скоморохов, что он готов на любое унижение!

Узнал я, гражданин, — пишет он Делапорту, — что в Комеди Франсэз недовольны мною <...>, что там вызвала недоумение моя просьба дать скорейший ответ о судьбе подаренной пьесы. Если слух сей верен, то, согласитесь, гражданин, что это всего лишь печальное недоразумение, ибо нет никакого резона ссориться из-за стремления оказать любезность.

---

* В 1789 г. театр Французской комедии (Комеди Франсэз) был переименова в Театр нации, а в 1793 г. закрыт. Французский театр на улице Ришелье открылся в 1791 г., в 1792–1798 гг. назывался Театром республики. В 1799 г., после слияния с труппой бывшего Театра нации именовался Французским театром Республики. Сегодня это вновь Комеди Франсэз.

Не хочу, чтобы между нами навсегда пробежала кошка. Не хочу терять уважения Вашей труппы, ибо не заслужил этого: я люблю Вас, готов Вам служить и защищать Вас, и Моле может это подтвердить.

Прошу Вас, гражданин, поддержите меня перед труппой, и, уповая на ее беспристрастие, я со своей стороны заявляю, что никогда ни в чем ей не повредил; полагаю, сего достаточно. Я хотел, чтобы моя пьеса была прочитана, и продолжаю этого хотеть, я знаю, что она будет иметь успех, и прошу немедленной ее постановки. Это единственная услуга, которую я прошу театр оказать мне, и для таковой просьбы у меня есть веские причины, а чтобы меня не заподозрили в корыстных интересах, я отказался от получения вознаграждения за спектакли; однако щепетильность труппы воспротивилась этому условию. Что ж, я найду способ примирить бескорыстие актеров и свое собственное: я отдаю на военные нужды всю сумму от сборов, которые эта маленькая вещица может сделать, и умоляю сыграть ее. Прошу Вас, гражданин, непременно дайте ответ. <...> Мое почтение труппе Комеди Франсэз: надеюсь снискать ваше общее уважение и остаюсь с почтением

Ваш гражданин

Сад[14].

После многочисленных взаимных обид труппа соглашается на повторную читку пьесы — и снова ее отвергает.

Совет не обязан объяснять свое решение. Он и не стал этого делать, по крайней мере письменно. Но спустя несколько лет, когда «Будуар» был отвергнут театром на улице Фейдо, директор театра де Мирамон изложил Саду причины отказа:

Администрация театра Фейдо аплодировала элегантной легкости Вашего стиля и с величайшим удовольствием была готова дать положительный ответ на сочинение под названием «Будуар, или Легковерный муж», предназначенное Вами для постановки. Однако с сожалением приходится признать, что она не может принять пьесу, суть которой полностью противоречит правилам благопристойности, а все характеры непременно вызовут тревогу у друзей добронравия[15].

Подобный приговор звучит ошеломляюще, ведь сегодня эта пьеса де Сада показалась бы невинным пустячком по сравнению с другими его писаниями. Однако Мирамон был не единственный, кто произнес его. Актриса Жюли Кандей, известная как своей красотой, так и талантом, также напишет маркизу:

Маленькая пьеса, озаглавленная «Будуар», написана прелестно, но я сомневаюсь что сюжет сей, весьма вольный, может быть поставлен на сцене. Известно, что люди, собравшись вместе, судят о нравах, кои им представляют на театре, значительно строже, нежели в частной жизни. Мне кажется, что им не придутся по нраву уроки морали мадам де Долькур, и я искренне желаю, чтобы автор применил свои таланты, избрав иной сюжет[16].

В конце 1790 года Сад уверен, что две его пьесы будут поставлены: «Мизантроп от любви» и «Соблазнитель» — в Итальянском театре (это случится только в 1792 году). И это не считая надежды увидеть в репертуаре театра на улице Ришелье подвергшуюся переработке «Жанну Лене». Для дебютанта не так уж плохо.

Еще он предлагает Комеди Франсэз пьесу «Недобросовестный, или Судья былых времен», в пяти действиях, написанную александрийским стихом; комедия эта создана в тюрьме. Но тяжеловесная сатира на

судебную систему Старого порядка не убеждает актеров, и 13 февраля 1791 года они ее отвергают[17]. 28 февраля – еще один отказ, теперь из театра Фейдо: интрига кажется «не слишком понятной», стихосложение «отличается небрежностью», а стиль «излишне многословен». Через полгода он пробует счастья в театре Пале-Рояль и тоже получает вежливый отказ. Тогда он отправляется в Марэ. Директор Ланглуа возвращает ему рукопись со следующей припиской: «Все, что напоминает о прошлом, действует на публику угнетающе, и моя задача не допустить представлений, кои могут вызвать у нее сии гнетущие воспоминания». Тогда он стучится в двери театра Лувуа. Администратор Дюбюиссон не верит своим глазам: еще недавно этот самый Сад обвинял его в монопольном использовании театра и наводнении репертуара собственными пьесами![18] Сад снова попал впросак, нажив себе еще одного врага.

Сад постоянно лелеял в себе аристократический талант не нравиться окружающим. Его забавляло создавать себе новых врагов; он с наслаждением утолял жажду мести, рожденную в самых темных уголках его души. Подобное умонастроение всегда идет вразрез с литературными амбициями; теперь он получил жестокое тому подтверждение. И – величайшее несчастье! – качество его театральной продукции не восполняет недостатки его характера. В целом «Недобросовестный» будет поочередно отвергнут пятью театрами: настоящий рекорд!

Тем временем 24 ноября 1791 года «Жанна Лене», дополненная и исправленная согласно указаниям Сен-При, наконец предстает перед своими судьями. Итог: шесть голосов против, три – за, два – за внесение поправок. Это означает отказ[19]. Два члена совета отсутствовали, в том числе мадемуазель Рокур, его главная надежда. Несомненно, она не смогла простить ему, что он предложил роль де Вестрис. Расценив ее отсутствие как предательство, Сад пришел в ярость и стал горько упрекать ее за этот поступок: он убежден, что все было подстроено специально. Ответ был слащавым и лицемерным:

> Горько сознавать, сударь, что, как следует из Вашего письма, Вы посчитали мое отсутствие на чтении Вашей пьесы преднамеренным. За несколько дней до предстоящей читки я имела честь сообщить Вам, что болею вот уже целую неделю и вынуждена не покидать постели. В четверг утром я встала, охваченная желанием послушать Вас, однако уже в полдень мне пришлось снова лечь в постель. Предупреждать Вас об этом было поздно. Поверьте, мне самой крайне неловко.
>
> Жаль, что пьесу Вашу постигла такая участь; быть может, судьба ее сложилась бы счастливее, ежели бы Вы пожелали последовать моему совету и сократили бы ее до трех актов.
>
> Благодарю Вас за то, что, работая над ней, Вы думали обо мне: всегда приятно знать, что Вы верите в мои слабые силы[20].

Обескуражить нашего автора не так-то просто. У него в ящиках лежит еще столько пьес, что он в состоянии разорить все парижские театры. К тому же вскоре должны поставить «Мизантропа от любви». Но пока дела стоят на месте, Сада снедает нетерпение. В июле 1791 года его наконец просят переписать роли для актеров; это обходится ему

в 23 ливра 15 су, зато свидетельствует о том, что его не забывают: наверняка скоро начнутся репетиции.

* * *

Одиннадцатого июля 1791 года в Пантеон с великой помпой переносят прах Вольтера. Пользуясь случаем, Сад решает публично выступить с похвалой нации. Останки философа, помещенные на колесницу, запряженную двенадцатью конями, движутся по улицам в сопровождении многочисленных депутаций: от Национальной гвардии, от рыночных сторожей, от Якобинского общества, от выборщиков 1789 года; депутацию от секций и рабочих, принимавших участие в разрушении Бастилии, возглавляет патриот Паллуа; есть депутация от академиков и, разумеется, от Общества авторов. Совершенно очевидно, что Сад пожелал примкнуть к последней. И еще в мае подал соответствующее прошение Седэну.

Не сомневаюсь в Ваших чувствах, побуждающих Вас воздать почести останкам нашего учителя, — ответил ему председатель общества. — Мы ждем декрета и объявления дня, когда они смогут прибыть в Париж. Сегодня у меня соберутся господа драматические авторы (то есть комитет). Среди них будет г-н Фрамери[21]; я передам ему Ваше письмо, и есть все основания надеяться, что он не забудет сообщить Вам, когда нам выпадет честь участвовать в сей церемонии[22].

Нельзя сказать, чтобы Сад был преисполнен почтения к Фернейскому патриарху, но ему очень хотелось очутиться в одних рядах с театральными знаменитостями Парижа.

За несколько дней до указанных событий он представляет в театр Фейдо трехактную драму в прозе: «Граф Окстьерн, или Последствия распутства». Она написана не в тюрьме, а всего лишь прошлой весной; в сущности, это поспешная переделка его новеллы под названием «Эрнестина», жестокие сцены которой были смягчены, дабы их можно было представить в театре[23]. Но, видимо, смягчены недостаточно, ибо Мирамон заявляет, что не может поставить пьесу, «сюжет которой основан на отвратительных жестокостях». Спустя два месяца Бурсо-Малерб берет ее для театра Мольера, пообещав автору сделать все, чтобы обеспечить ей успех. Сад в восторге: приняты целых три пьесы! Жизнь прекрасна.

Недавно открытый театр Мольера, располагавшийся между улицами Сен-Мартен и Кенкампуа, тотчас стал специализироваться на пьесах патриотического и революционного репертуара. Но если верить парижскому «Театральному обозревателю», там дают пьесы исключительно «возбуждающие умы или же вздорные», изобилующие «кровавыми сценами смут и мятежей». Бурсо-Малерб и его театр, продолжает дерзкий хроникер, «позорят одновременно и хороший вкус, и здравый смысл», проповедуя «беспорядки, вседозволенность, убийство, ненависть и мятеж, причем делают это, прикрывшись именем свободы»[24]. Теперь понятно, отчего история знатного шведского сеньора, жестокого развратника, похитившего и изнасиловавшего Эрнестину, дочь графа

Фалькенейма, и бросившего в темницу ее возлюбленного, могла привлечь директора театра Мольера, яростного врага аристократов. Но какая разница, какой театр, главное, чтобы пьеса была сыграна!

Отмщенные актеры

Пока в театре Мольера репетируют «Окстьерна», Донасьен озабочен промедлением в Комеди Франсэз. Что станет с «Мизантропом из-за любви»? Три месяца назад он переписал все роли, но с тех пор о пьесе ни слуху ни духу. Он пишет письмо. Ответа нет. Он сердится, требует, протестует. Ему присылают клочок бумаги, без даты и подписи:

> Сочинение было принято в прежнем театре Комеди Франсэз, исключительно чтобы обеспечить автору бесплатное посещение спектаклей, а также в надежде, что он заменит его другой пьесой. Администрация Комеди Франсэз не может позволить себе постановку сомнительных сочинений <...>[25].

«Мизантроп из-за любви» — «сомнительное сочинение»? После того, как оно было единогласно одобрено? Донасьену кажется, что он видит сон. Разумеется, актеры могут включить пьесу в репертуар без обязательств сыграть ее, но так не бывает. Тем более год назад, во время читки, никто не называл его пьесу «сомнительным произведением»! Что же произошло? Долгое время этот вопрос оставался без ответа. Сегодня мы полагаем, что благодаря неизвестным прежде документам, сохранившимся в семейном архиве Садов, мы можем пролить на эту историю некий свет.

Сражаясь на всех фронтах за постановку своих пьес, де Сад, как мы уже видели, принимал активное участие в деятельности Общества авторов. 28 июня 1791 года, во время заседания, состоявшегося, как обычно, у председателя Седэна, присутствующие авторы бурно обсуждали вопрос о ежедневной компенсации, которую следовало выплачивать актерам Комеди Франсэз[26]. Одни предлагали сумму в 800 ливров; другие полагали, что будет достаточно 700. Когда протокол был опубликован, подпись Сада оказалась среди вторых. Актеры пришли в ярость. Донасьен содрогнулся: не примут ли его «друзья» из труппы по отношению к нему какие-либо меры, не станут ли бойкотировать его пьесы? Сад тотчас написал в театр письмо с намерением оправдаться: он стал жертвой досадной ошибки, у него никогда даже в мыслях не было повредить им, напротив, он всегда защищал их интересы и клянется, что всегда голосовал в их пользу, и даже представить себе не может, каким образом подпись его оказалась в стане их противников, и т. п. Его письмо, зачитанное на собрании труппы, похоже, убедило актеров, и 21 августа 1791 года секретарь Делапорт прислал ему ответ:

> Труппа Комеди Франсэз, выслушавшая письмо, кое Вы имели честь написать и адресовать на мое имя, поручила мне заверить Вас, что она нисколько не сомневается в порядочности Вашего поведения во время собрания господ авторов, что Ваше слово является для нее вполне надежной гарантией и что она не сомневается, что Вы искренне защищали ее интересы. Также, сударь, она поручила мне сообщить Вам, что она ценит избранный Вами честный и великодушный способ вы-

разить ей свое уважение и нисколько ему не удивлена, ибо столь галантный человек, коим Вы, сударь, являетесь, всегда действует по собственному разумению[27].

Однако это письмо не вселило в маркиза уверенности. Волнения, порожденные решением Общества авторов, получили свое продолжение. Несмотря на все оправдания де Сада, имя его продолжало стоять под соответствующим протоколом. Чтобы полностью обелить себя, ему требовалось предъявить бесспорное доказательство своей невиновности. Он попросил его у Седэна: только председатель мог засвидетельствовать, что во время заседания, состоявшегося 28 июня, он принял сторону актеров. Но старый солдат, закаленный в сражениях между авторами и актерами, отказывается поручиться за него и отвечает полусерьезно-полунасмешливо:

Уверяю Вас, сударь, я совершенно не помню, голосовали Вы за предоставление восьмисот или же семисот ливров труппе, которую не устраивает ни первое соглашение, ни второе.

Правда, сам я никогда не придавал этому вопросу особого значения, а посему весьма рассеянно внимал голосованию, выявившему столь великую разноголосицу мнений. Ведь я отнюдь не считаю, что всякий автор, нуждающийся в таланте актеров, должен бояться вызвать их недовольство.

Поэтому скажу Вам только, что все подписанные бумаги находятся у г-на де Бомарше, а я более ничего не знаю[28].

Чтобы окончательно положить конец слухам, выставляющим его противником актеров, он решает опубликовать в «Петит-Афиш» недвусмысленное официальное опровержение. Вот его текст, обнаруженный нами в субботнем приложении от 24 сентября 1791 года:

Редактору. Двадцатое сентября 1791 года. Прошу Вас, сударь, напечатать в Вашей газете мой официальный отказ от своей подписи внизу документа, озаглавленного «Сообщение, сделанное в присутствии драматических авторов, относительно содержания, выплачиваемого актерам театра Комеди Франсэз, и т. д.». Действительно, я присутствовал на заседании драматических авторов, когда они, после длительного обсуждения, приняли решение на этот счет, но совершенно неверно, что я поставил свою подпись вместе с господами авторами, выступавшими за выделение на расходы актерам Комеди Франсэз всего 700 ливров. Я утверждаю, что подписал только ту статью решения, где, исходя из особых соображений, актерам Комеди на расходы ежедневно присуждалось 800 ливров. Не знаю, по чьему небрежению подпись моя на решении, проверенная мною самим, оказалась напечатанной не среди тех, кто поддерживал выдачу 800 ливров, а их противников. Я бы не стал заботиться о публикации сего опровержения, если бы подобная оплошность не шла вразрез с особыми чувствами, питаемыми мною к зрелищу, сторонником и защитником которого я никогда не перестану являться.

Остаюсь <...>

де Сад.

Труппа Комеди не поверила ни единому его слову и пришла к выводу, что наглый маркиз заслуживает хорошего урока. Они не станут играть «Мизантропа из-за любви»! Саду оставалось утешаться тем, что право бесплатно посещать театр в течение пяти лет за ним по-прежнему сохранялось. Не имея возможности увидеть на сцене собственную пьесу, он мог аплодировать чужим, причем совершенно бесплатно!

«Опускайте занавес!»

Разочарование поистине жестокое; зато в театре Мольера продолжаются репетиции «Окстьерна», и это несколько утешает. Премьера назначена на 22 октября. В этот день утром он помещает в приложении к «Петит-Афиш» письмо-анонс, более всего напоминающее рекламную статью. Древние называли это *captatio benevolentiae* *. Он рассказывает, как, будучи в Швеции (где он никогда не был), он встретил героя своей пьесы и от него узнал о событиях, кои и решил показать на сцене. Он уверяет, что все в пьесе, за исключением развязки, чистая правда. Именно в этом, — пишет он, — и заключается основной интерес спектакля:

> Мне показалось, что история сия, необычная и волнующая, подлинная и ни на что не похожая, наверняка привлечет к себе внимание, ежели будет поставлена на сцене. Полагаю, трудно себе представить жертву более несчастную, равно как и негодяя более гнусного. Каков бы ни был успех сей пьесы, одна заслуга уже принадлежит ей: она подлинна, а я уверен, что *правда* в театре всегда вызывает больше интереса, нежели вымысел[29].

Вечером, во время генеральной репетиции, когда актер, исполнявший роль Окстьерна, произнес реплику: «Умрите, несчастная. Вам выпал жребий страдать, нам — властвовать», зрители, раздраженные речью, напомнившей им худшие времена Старого порядка, принялись кричать: «Долой! Довольно! Довольно!» Однако, несмотря на враждебную атмосферу, спектакль продолжался. Успех, видимо, был весьма относительный, ибо спустя несколько дней автор доверительно писал Гофриди:

> Наконец-то, мой дорогой адвокат, моя пьеса представлена публике. В субботу, двадцать второго числа текущего месяца, была сыграна моя пьеса, успех которой по причине интриг, проволочек, женщин, о которых мне довелось отозваться нелицеприятно, был *весьма сдержанным*. Теперь ее будут играть двадцать девятого, с небольшими изменениями. Молитесь за меня. Увидимся. Прощайте[30].

Обещанные изменения касались текста и актерского состава. В частности, Сад убрал реплику, вызвавшую взрыв недовольства во время премьеры. Он также попросил изменить костюмы, но директор воспротивился, ибо вопрос сей затрагивал бюджет спектакля. Заменили одного или двух актеров, что заставило отложить представление, так как новым исполнителям требовалось время для разучивания ролей. В конце концов спектакль состоялся не 29 октября, как предполагалось ранее, а 4 ноября.

В этот вечер все шло гладко почти до середины спектакля. Но в начале второго акта какой-то зритель, видимо, возмущенный цинизмом Окстьерна, вскочил и закричал: «Опускайте занавес!» Актеры продолжали играть, но мальчишка-подручный счел своим долгом подчиниться этому безапелляционному приказу и опустил занавес. Тогда половина зала накинулась на возмутителя спокойствия, и занавес поднимался под крики: «Вон из зала!» Однако вторая половина зрителей заставила вновь опустить его. Между сторонниками и противниками пьесы началась

---

* Снискание расположения (*лат.*).

потасовка. В конце концов на сцену потребовали автора, и под свистки и крики «браво» автор вышел и раскланялся.

На следующий день «Монитер», прежде не удостаивавший театр Мольера даже упоминанием, опубликовал отчет о спектакле, снабдив его следующим комментарием: «Пьеса отличается живостью и пробуждает интерес, однако образ Окстьерна возмутительно жесток. Герой сей более низок, более преступен, чем Ловлас, и еще менее обаятелен»[31]. Через несколько дней, рассказывая об этом памятном вечере Гофриди, Сад писал ему:

Ужасный скандал, который пьеса «Окстьерн» вызвала, привел к тому, что теперь ее играют под другим названием, а следующее представление отложено на неопределенный срок. Зрители буквально убивали друг друга. Стражникам и комиссару полиции ежеминутно приходилось быть начеку. Я предпочел отложить представление. Этой зимой мы возобновим спектакль[32].

Возможно, проект новой постановки обсуждался вполне серьезно, ибо после второго показа пьесы Бурсо-Малерб подписал с автором контракт:

Признаю, что получил от г-на де Сада трехактную драму под названием «Окстьерн, или Последствия распутства», кою тот обязался не отдавать ни в какой иной театр, кроме моего театра, что на улице Сен-Мартен; я же дал ему право год бесплатно посещать спектакли моего театра, начиная с 30 августа 1791 года, а также по шесть билетов в партер всякий раз, когда у меня в театре будет идти его пьеса — но только до Пасхи.

На самом деле Париж больше не увидел этой пьесы, ее показали в Версале, да и то почти через десять лет. Мы к этому еще вернемся.

Двадцать четвертого января 1792 года новый год принес с собой новые надежды. Итальянский театр наконец решил начать репетировать «Соблазнителя», одобренного после прочтения более двух лет назад. Уже через месяц спектакль готов, все актеры знают свои роли. Конечно, речь идет всего лишь об одном акте, да еще в стихах. Пьесу будут давать перед началом комической оперы Гретри «Испытание дружбы».

Премьера назначена на 5 марта. Когда в тот вечер подняли занавес и публика увидела декорацию: «Гостиную, в глубине которой виднеются апартаменты г-на де Понтака», партер, похоже, заволновался больше обычного. Первые реплики произносятся под гул зрителей, который не только не прекращается, но, по мере действия, лишь усиливается. К четвертой сцене шум начинает перекрывать голоса актеров, и те вынуждены удалиться. Тут посреди зала внезапно вскакивают сразу несколько патриотов и водружают на шест красный шерстяной колпак. Парижане в изумлении взирают на «фригийский» колпак. Один из возмутителей спокойствия карабкается на сцену и обращается к публике: «Граждане! Отныне все патриоты объединяются под нашим красным колпаком. Во всех театрах друзья свободы будут освистывать пьесы аристократов!» Когда зал наконец успокаивается, актеры заменяют пьесу и играют одноактную «Школу выскочек, или Продолжение истории маленьких савояров» с песенками Пюжуля и Девьена[33].

Седьмого апреля Сад в непривычно смиренном тоне повествует Гофриди о своих несчастьях:

В прошлом месяце якобинская фракция провалила мою пьесу в Итальянском театре — только потому, что она написана одним из «бывших». Они явились в театр в красных колпаках. Подобного раньше не видывали. Мода эта продержалась две недели, после чего мэр добился ее запрещения. Мне было суждено стать первой ее жертвой. Я рожден, чтобы быть жертвой[34].

«Жюстина», или искусство «сводить с ума дьявола»

К своим театральным детищам Донасьен относится поистине с отцовской нежностью (родители обычно больше любят детей, обделенных природою), но он не намерен пренебрегать и своим романным творчеством. Тем более что он лелеет заднюю мысль: извлечь из него кое-какой доход. Предвидя, что настанет день, когда он скорее всего лишится земельных владений, профессия литератора начинает казаться ему все более и более достойной заменой. «Я делаю все, чтобы получить немного денег за свои произведения», — доверительно пишет он Гофриди. Раз он сумел вернуть себе рукописи нескольких романов, сочиненных в Бастилии, то почему бы не попробовать их издать?

В начале марта 1791 года он обещает Рейно прислать ему к следующему лету четыре тома «философического романа», который рассчитывает опубликовать на Пасху. Речь идет об «Алине и Валькуре», единственном из всех его романов, за который ему не придется краснеть и который он будет демонстрировать с вполне законной гордостью. К несчастью, непредвиденные обстоятельства задерживают выход книги: она будет опубликована только через три года, то есть в 1795 году, — и к ней мы еще вернемся.

Двенадцатого июня 1791 года в очередном письме к Рейно он с прежним восторгом сообщает о скором выходе «Жюстины»:

Сейчас готовится к изданию мой роман, однако он слишком безнравственен, чтобы посылать его такому набожному, такому достойному человеку, как Вы. Мне были нужны деньги, мой издатель попросил у меня *чего-нибудь с перчиком*, и я сделал для него такую вещицу, которая способна свести с ума самого дьявола. Она называется «Жюстина, или Злоключения добродетели». Сожгите эту книгу и ни в коем случае не читайте ее, ежели она случайно попадет к Вам в руки: я отрекаюсь от нее. Надеюсь, вскоре выйдет мой философический роман, и я непременно пришлю вам экземпляр.

На самом деле «Жюстина» не является полностью «заказным» произведением, как это следует из письма к Рейно. Известно, что первый вариант романа Сад написал в Бастилии, в период с 23 июня по 8 июля 1787 года. Тогда это был всего лишь небольшой рассказ объемом в 138 страниц, предназначенный для сборника «Рассказы и фаблио XVIII столетия». На следующий год рукопись была дополнена новыми эпизодами, и Сад стал рассматривать «Несчастья добродетели» как самостоятельный роман. Когда он предложил его издателю Жируару, тот тотчас увидел, какую выгоду можно извлечь из подобного сюжета, и попросил автора добавить приключений. Сад не заставил себя упрашивать и умножил непристойные эпизоды, заставив их сменять друг друга на манер романа-фельетона. Приправленный таким вот *перчиком*, роман «Жюстина» стал выгодным издательским предприятием.

Жанр вошел в моду: розовая волна поистине захлестнула Францию, перемешав сладострастные картины с проклятиями трибунов и патриотической песенкой «Ça ira»! Эротические сочинения, абсолютно далекие от прославления гражданских добродетелей, пользуются неслыханным спросом. Никогда еще секс столь хорошо не продавался. Все без ума от сладострастных сцен и похотливых тел. Оргии не кажутся чрезмерными, шалости — жестокими, извращения воспринимаются как нечто новенькое, способное утолить жажду наслаждения. Никогда еще эротика и политика не были столь созвучны, как в это время; «трахомания» свирепствует, каждый день непристойные памфлеты высмеивают половое бессилие короля, сексуальную ненасытность Марии-Антуанетты, педерастию иезуитов (глагол «лойолизировать»* стал синонимом глагола «содомизировать», а аббат «Яйценос» превращает церковь в бордель). Эта литература не имеет ничего общего с фривольностью и сладострастием, царящими в Трианоне. В ней говорится все как есть. Грубый и искренний патриот, олицетворяющий чистоплотность и здоровье, разоблачает аристократических выродков.

Отнюдь не Сад положил начало этой лавине непристойностей. Но за исключением «Картезианского привратника» и «Терезы-философа», ничто не кажется ему достойным внимания: «жалкие брошюры, написанные в кафе или борделе и свидетельствующие только о том, что у их жалких авторов отсутствуют сразу два органа: голова и желудок». Стремясь, чтобы его горделивую концепцию порока ни с чем не спутали, он добавляет:

> Похоть — дитя роскоши, изобилия и превосходства, и рассуждать о ней могут лишь люди, имеющие для этого определенные условия, те, к кому Природа благоволила с самого рождения, кто обладает богатством, позволяющим испытать те самые ощущения, которые они описывают в своих непристойных произведениях. Как красноречиво свидетельствуют некоторые беспомощные попытки, сопровождаемые слабостью выражения, такой опыт абсолютно недоступен мелким личностям, наводнившим страну своими писульками**.

Вряд ли можно было лучше обозначить дистанцию между творениями маркиза и вульгарными однодневками. Не желая ничем омрачать образ своего героя (хочется даже сказать *своего божества*), Жильбер Лели даже не упоминал о меркантильных соображениях, посещавших Сада. Но ценой каких невероятных умозаключений! Если верить ему, Донасьен никогда не говорил о том, что нуждается в деньгах, а отрекался от своего романа с единственной целью не рассердить достойного Рейно, слишком благомыслящего, чтобы в нем разобраться, и скрыть от его взора «*неотъемлемую потребность в метафизическом рассуждении*», ставшем якобы основой структуры романа. Как будто бы Сад когда-нибудь задумывался о том, что может кого-то шокировать! Не будем себя обманывать: Сад *сознательно* выступил в роли порнографа, чтобы получить возможность опубликовать сочинения, которыми действительно

---

* Производное от имени Игнасия Лойолы, основателя ордена иезуитов. Намек на процветавший в иезуитских колледжах гомосексуализм.

** *Маркиз де Сад.* Жюльетта: В 2 т.: Пер. с фр. М., 1992. Т. I. С. 416.

дорожил: «Алину и Валькура» и пьесы[35]. Таковы его истинные мотивы, хотя, разумеется, на этот счет можно строить множество догадок.

Но даже если «Жюстина» была написана исключительно ради гонорара, это нисколько не умаляет ее значимости. Она все равно остается одним из наиболее впечатляющих и загадочных литературных произведений. В сущности, де Сад не признал ни одного из своих сочинений, воплотивших его отчаянное стремление к свободе, проповедь запретного образа жизни, постоянное упражнение в самоограничении, доведенный до исступления дух отрицания, словом, все, что способствует его превращению в неукротимого бунтаря. Ни «Новая Жюстина», ни «История Жюльетты», ни «Философия в будуаре» не подписаны его именем. Словно бы писатель стремился отмежеваться от второй своей ипостаси: своего тайного двойника-порнографа, чьи сочинения отвергают все общественные и литературные условности. Но разве мы тоже должны их отвергать? Не лучше ли, напротив, присмотреться к ним повнимательнее, проявить живой интерес, дабы понять, как далеко автор рассчитывает дистанцироваться от них? Не дает ли порожденное сном бессознательное больше материала для изучения, нежели реальность? И разве «метафизическое рассуждение», о котором говорит Лели, несовместимо со стремлением заработать денег? Упрощения в оценке творчества всегда опасны — и подводят к занятию сомнительной позиции (по причине ее полной оторванности от жизни) — равно как водружение барьера между доходами и творчеством. Возможно, Сад писал свои шедевры, сам не сознавая того, что он пишет. Но какая нам разница! Нельзя требовать от писателя, чтобы он всегда был на высоте своих сочинений.

Тем не менее втайне маркиз должен был испытать настоящую гордость, впервые увидев на прилавке два томика в переплете из телячьей кожи — «Жюстина, или Злоключения добродетели», издано Жируаром, 47, улица Бу-дю-Монд* (прежде эта улица называлась «проходом большой сточной канавы»: какая символика для тех, кто видит в де Саде золотаря своего века!). Разумеется, его имени на титульном листе не было, равно как и имени издателя, благоразумно заменившего его на традиционное указание: «Напечатано в Голландии Обществом книгоиздателей». Аллегория на фронтисписе первого тома, выполненная Шери, изображала Добродетель в окружении Сладострастия и Неверия. Спустя несколько дней «Жюстина» появилась на прилавках всех торговцев новинками по цене семь ливров десять су[36].

Благодаря статье, появившейся в 1791 году в «Фей де кореспондане дю Либрер», мы знаем о первом впечатлении, произведенном романом на читателя. Вот что писал тогдашний хроникер:

> Если для того, чтобы возлюбить добродетель, надо во всей полноте познать ужас порока и те жестокости, кои он может заставить совершить тех, кто не умеет обуздывать свои желания, тогда действительно чтение книги сей может стать полезным. Возможно, испуганные отвратительными картинами возмутительнейших преступлений, нарисованных автором, некоторые грязные развратники погрузятся, или — что

* Край света (*фр.*).

еще лучше — рухнут в пучину стыда, осознав, сколь отвратительным излишествам они предавались, и, подобно героине этого романа, вернутся на стезю добродетели, успев, впрочем, к этому времени не одну тысячу раз запятнать себя преступлениями порока. Но как может льстить подобного рода успех, когда давно доказано, что страшнее всего, когда развращена душа, ибо от душевной порчи лекарства нет.

Книга сия опасна, ибо если нам известна суть ее, то молодые люди, не имеющие жизненного опыта, могут быть введены в заблуждение ее названием и станут полною мерою пить сочащийся из нее яд. Поэтому мы обязаны предупредить лиц, ответственных за воспитание молодежи, дабы они заботливо убрали ее от юных глаз, а если юным впечатлительным созданиям необходимы эмоции сильные и отвращающие от порока, пусть наставники сами прочтут им наиболее благопристойные куски из нее[37].

Сколь бы отрицательной ни была критика, ставшая первым по хронологии обвинительным актом против садической прозы, она тем не менее признавала, что данное чтение может отвратить от преступления тех, кто готов поддаться его искушению. Разумеется, при условии осторожного его использования, как если бы речь шла об опасном лекарстве, которое в малых дозах излечивает, а при злоупотреблении может принести смерть. Во второй критической статье, появившейся год спустя в «Петит-Афиш», ему отказано даже в этой заслуге:

Все непристойности, кои только может выдумать наиразнузданнейшее воображение, все вычурное и отвратительное свалено в кучу в этом диковинном романе, название коего может ввести в заблуждение души честные и чувствительные. <...> Хотя книга эта крайне безнравственна, тем не менее надо признать, что воображение, породившее столь чудовищное сочинение, в своем роде богатое и блестящее. Автор сего романа щедр на измышление самых невероятных событий, описания самых удивительных мест, и, если бы он решил направить свой талант на пропаганду единственно верных принципов общественного и природного миропорядка, он без сомнения бы преуспел. Но его «Жюстина» отнюдь не соответствует сей похвальной цели, кою надлежит ставить перед собой каждому пишущему автору. Чтение этой книги утомляет и оставляет неприятный осадок. Иногда трудно удержаться, чтобы не закрыть ее от отвращения или же возмущения. Юноши, в коих разврат еще не пустил свои корни, бегите прочь от этой книги, опасной и для души, и для чувств. Зрелые мужи, умеющие благодаря опыту подавлять порывы страстей, знающие, как защитить себя от опасностей, прочтите ее, дабы убедиться, сколь далеко может зайти в бреду воображение человеческое, а затем швырните в огонь: ежели у вас хватит сил прочесть ее до конца, вы сами дадите себе такой совет[38].

Несмотря на реверанс в сторону «богатого и блестящего» воображения автора, нельзя без улыбки представить себе перепуганную физиономию критика. Конечно, Дюкре-Дюмениль, директор «Петит-Афиш» — точнее, «Афиш, анонс е ави дивер», как их тогда называли — не отличается храбростью, и газета его является зеркальным отражением конформизма ее читателей. Но не настолько же! Возмущаться «Жюстиной», когда на улицах распространяют памфлеты самого гнусного содержания, когда типографский станок работает на пополнение «ада» публичных библиотек*, когда «трахомания» царит во всем королевстве!..

* «Адом» во французских библиотеках именуется место, где хранятся книги непристойного содержания.

Да, Сад перешел последние границы эротического дискурса. Никогда еще никто не заходил столь далеко в описании преступления (родовой термин, которым обозначают садические страсти, *трансгрессии*), даже когда речь заходит о коллективной одержимости пороком. В своем стремлении к абсолюту Сад искорежил язык и не оставил камня на камне от привычной риторики альковных авторов. Его описания оргиастических наслаждений не имеют ничего общего с реальностью.

Садическая сцена, – замечает Ролан Барт, – быстро являет свой совершенно неправдоподобный характер: сложные комбинации, необычные позы партнеров, исступленность получающих наслаждение и терпеливость жертв – все это превосходит возможности человеческой природы[39].

Несомненно, «Жюстина» обескуражила любителей *эротики*, поклонников Нерсиа и Луве де Кувре, но навряд ли вызвала разочарование читателей Лакло, хотя метафоризация смысла «Опасных связей» весьма далека от «прямолинейных речей» де Сада. Однако современники без колебания швыряют обе книги в одно отхожее место.

Роман, именуемый «Опасные связи», – пишет Жозеф Рони в «Трибуналь д'Аполлон», – за несколько лет нанес нравственности ущерба больше, чем любая подобного рода продукция за целый век. Гнусный роман «Жюстина» – единственный, оспаривающий у него преступное превосходство по числу своих жертв[40].

Морис Эн также проводит параллели между Лакло и Садом, но только для того, чтобы указать, сколь мрачную славу снискали их сочинения:

<...> последние двадцать лет восемнадцатого столетия озарены мрачной славой величественной фигуры де Сада, по праву занимающей место рядом с Лакло. Основания для превосходства этих писателей следует искать прежде всего в философской системе пессимистического восприятия мира, базирующейся на знании человеческой природы и миропорядка[41].

Те же, кто рассматривает фривольное повествование как способ возбуждения сексуальной активности («книги, которые читаются руками», как говаривала одна великосветская дама XVII века), рискуют остаться разочарованными. «Жюстину» никак нельзя отнести к порнографии в общепринятом смысле этого слова. Импоссибилия, иначе говоря, немыслимости, доведенные до абсурда – или до иронии, – делают роман непригодным для роли возбудителя; нагромождение ситуаций уничтожает любое желание. Что же касается садического стремления низвергнуть все и вся, то оно осуществляется более на уровне языка, нежели намерений: намерения его скорее креативные, нежели провокационные; и именно поэтому творчество его можно считать революционным.

Величие Сада не в прославлении преступления и преступных извращений, не в использовании для этого совершенно специфического языка, а в том, что он стал создателем своеобразного безграничного дискурса, основанного на своих собственных (а не на чужих) штампах, разменянных на мелкие подробности, неожиданные поступки, путешествия, меню, портреты, собственные имена и тому подобное: одним словом, отталкиваясь от запретного, он создает романное[42].

«Жюстина», разумеется, вызывает возмущение, но прежде всего она пугает. Публикация ее произвела поистине панический эффект. Очень быстро многие поняли, что дело тут не только в оскорблении нравов, что подрывное влияние заключается не в непристойности, истинная опасность таится совсем в ином. Вот почему современники отказали Саду даже в минимально терпимом отношении, которым обычно пользовались сочинители скабрезных произведений. «Жюстину» отвергают всю разом, даже без разбирательства; ее хотят уничтожить; от нее бегут инстинктивно, как от варварского нашествия, стремясь остаться в живых.

Какова была реакция публики в момент выхода романа? По мнению Мориса Эна, поддержанного Жильбером Лели, роман выдержал не меньше шести изданий за десять лет, что для того временя могло считаться выдающимся успехом. Но все шесть «изданий» подряд, которые ни один библиограф вплоть до наших дней не удосужился собрать вместе, скорее всего являются простыми перепечатками, отличающимися друг от друга только датой выхода и форматом. В этом случае аудитория «Жюстины» значительно сокращается. Сегодня, похоже, уже невозможно определить подлинное впечатление, произведенное книгой, а уж тем более число ее читателей. Известно только, что полиция не дремала, а это заставляет предполагать, что книга широкого распространения не получила. Но спустя несколько лет, а точнее, в VIII год Республики (1800 г.), редактор «Трибуналь д'Аполлон» упрекал власти в недооценке ее успеха: «Где вы, быстрые и неуловимые полицейские наблюдатели? – восклицает он. – Вот вам повод проявить бдительность! *Вы считаете, что сочинение не продается? Заблуждаетесь*!»[43]

Только одно можно сказать точно: «Жюстина» не обогатила своего автора. Впрочем, и другие книги тоже. Несмотря на уверенность в своем таланте, Сад никогда не зарабатывал пером. Однако достижение финансового благополучия, выступавшее основной мотивацией, побуждавшей его писать, все-таки было не единственной его целью. И его письмо к младшему сыну подтверждает это предположение: у Сада была великолепная интуиция, он предчувствовал будущую судьбу своих сочинений, верил в бессмертие своего гения. Однажды, когда Донасьен Клод Арман со своим обычным лицемерием возмущался отцовскими писаниями, тот ему ответил:

> Но ведь когда Вы оставите меня, бросите умирать с голоду, мне придется работать, чтобы жить. Кстати, если мои сочинения хороши, то что тут плохого? Ах, не стоит так отчаиваться, коли имя Ваше обретает бессмертие. Мои труды, в отличие от Ваших добродетелей, приведут меня к бессмертию, а добродетели, хотя они и предпочтительнее, не приведут туда никогда[44].

* * *

Хотя «Жюстина» не принесла своему автору материальной выгоды, на которую он так надеялся, она обрела успех – пусть скандальный. Роман положил начало садической мифологии, слово «садистский» стало синонимом отвратительного, символом абсолютного зла.

Недавно мы обнаружили рукопись одноактной комедии, озаглавленной «Журналист, или Друг добронравия», принадлежащей перу некоего Ломбара де Ланrра; впервые комедия была сыграна 4 июля 1797 года и в том же году опубликована в издательстве Барба; текст Сада в этой комедии назван «омерзительным сюжетом развращенного века»[45]. Горький эпитет, без которого автор вполне мог бы обойтись, доказывает, что «Жюстина» сохранилась в памяти публики даже спустя шесть лет после ее публикации. Вот характерный отрывок из этой пьесы:

Сцена 4

Жерманс и Посыльный из типографии
(*у Посыльного в руке отпечатанный лист, а под мышкой несколько книжек*)

Жерманс

Что вам угодно?

Посыльный
(*показывая листок*)

Сударь, вот —
Страницу ваш типограф шлет.

Жерманс
(*берет листок*)

А-а! С пробным оттиском листок,
Чтоб я внести поправки мог.
Ваш мастер грамотен, искусен, без сомненья,
И нет нужды мне делать исправленья.

Возвращает листок.

Посыльный

Но, сударь, я б хотел добавить пару слов.

Жерманс

Мучитель! Видите, мне плохо, я умру!
Ну, говорите... Я страдать готов.

Посыльный
(*показывая книжки*)

Я ведь недорого беру.
Быть может, вам приобрести угодно
Новинки. Ну а вот — для тех, кто тайно купит.

Жерманс

О Боже, нет!

Посыльный

Взгляните, нынче это модно.

Жерманс нервным движением берет книгу.

Гравюры, если вы заметили...

Жерманс
(*читает*)

«Жюстина, или Злоключенья добродетели»!..
О юные сердца! Вот этим вас и губят!
Я б вмиг арестовал, когда бы только мог,
Мерзавца автора и бросил бы в темницу,
А книгу гнусную упрятал под замок.
Чья черная душа лежит тут на страницах?
О, извращенный век! О, что вокруг творится!
На набережных у торговцев, где ни глянь,
В любом лотке средь книг лежит вот эта дрянь.
Вовсю старается подпольная печать,
Забыв про стыд и срам, торгаш вручает юным
Такое, от чего б развратник в гневе плюнул.
Пусть мудрая заботливая мать
Убрать от юных глаз старается напрасно
Намек малейший, дуновение соблазна,
Что душу нежную увлечь способно за собой.
Бессильна мать: у нас на улице любой
Порок красуется, чтоб нанести удар.
Обложка броская, искусные гравюры,
При виде коих содрогается натура.
И простодушная невинность, – вот кошмар! –
Влекома только любопытством, на минуту
Наивный чистый взгляд бросает невзначай
На порождение руки беспутной.

Посыльный

Простите...

Жерманс

Как? Простить? Несчастный, отвечай:
Ты сам-то изучил развратные интриги?
Кому ты продал эти дьявольские книги?
Какой юнец купил? Иль чистое дитя?

И ты, распространяя сочиненья,
Ответишь вместе с ним за преступленья,
Что совершит юнец, сей труд прочтя.

Посыльный

Но никогда, вам честью поклянусь я...

Жерманс

О чести говоришь? Растлитель гнусный!
Вон!..

Отшвыривает книгу, и та летит в глубь сцены.



Глава XIX
ОТШЕЛЬНИК С ШОССЕ Д'АНТЕН

Чувствительная

Она – тридцатитрехлетняя актриса, хорошенькая, «кроткая, набожная, исключительно порядочная», с легким характером, умеющая вкусно готовить и устанавливать полезные связи. Ее зовут Мари Констанс Ренель[1], но она носит фамилию мужа, некоего Бальтазара Кене, бросившего ее с ребенком, дабы налегке отбыть в Америку и заняться там торговлей. Донасьен встретил ее скорее всего во время своих скитаний за кулисами. В точности это неизвестно. Впрочем, Констанс недолго выступала на сцене; специалисты по истории театра даже не упоминают ее имя. Зато точно известна дата ее встречи с де Садом: день 25 августа 1790 года Донасьен будет помнить до самой смерти[2].

В их связи нет ничего романтического. Если верить самому Саду, он связал свою жизнь с г-жой Кене, дабы избежать одиночества, ощущая потребность иметь подле себя кого-нибудь, кому можно доверять:

> По выходе из Бастилии я по вине мадам де Сад остался в одиночестве и вынужден был соединить свою жизнь с кем-либо, чьи заботы, заменили бы мне внимание семьи, коего я оказался лишен. Чтобы прочнее привязать к себе женщину, избранную мной в качестве спутницы жизни, и упрочить связующие нас узы, я заключил с ней договор, согласно которому она будет иметь 60 ливров ренты ежемесячно[3].

Таким образом, по словам Сада, Констанс – всего лишь компаньонка на жалованье (впрочем, весьма скудном), исполняющая его поручения, его доверенное лицо и даже, если хотите, домоправительница. Но как можно в это поверить, когда сохранилось столько неоспоримых доказательств его привязанности к ней? Сколько внимания он ей оказывает, какими заботами окружает, с каким уважением к ней относится! И если в их отношениях не было любви, то нежности хватало с избытком. Донасьен никогда не мог отделить заботы о собственных интересах от своих сердечных привязанностей. Его эгоизм, с редкостным бесстыдством выставляемый напоказ, почти всегда идет рука об руку с эмоциональным отношением к партнеру; бесстрастный цинизм ему неведом.

Во всяком случае, не оставляет сомнений, что Констанс растрогала его своей скромностью, своей прямотой и своими горестями. Свергнутый с пьедестала вельможа и брошенная супруга словно созданы для

того, чтобы никогда не расставаться; они шли друг к другу издалека, но отныне у них общая судьба: Констанс станет следовать за ним повсюду, вплоть до Шарантона, где будет рядом до тех пор, пока смерть не разлучит их. С самого начала Донасьен стал в шутку называть ее Сансибль — *Чувствительная*. Никакое иное прозвище не подошло бы ей больше, кроме, разумеется, ее собственного имени Констанс — *Постоянство*.

Дом мудреца

Поглощенный новой спутницей, Донасьен все больше отдаляется от председательши де Флерье; продолжая жить в ее доме на улице Оноре-Шевалье, он подыскивает себе новое жилище. 1 ноября 1790 года[4] Сад окончательно порывает с председательшей и поселяется в маленьком домике под номером 20, что на улице Нев-де-Матюрен (нынешняя улица Матюрен), в квартале Шоссе д'Антен; эта квартира обходится ему в тысячу двести франков в год[5].

Шоссе д'Антен — самый новый и самый шикарный квартал тогдашнего Парижа. В эпоху Людовика XVI там, рискуя разориться, строили роскошные дворцы финансисты и повесы, вельможи и модные щеголи. На улице Шоссе д'Антен стоит особняк д'Эпинэ, где, удалившись от света, в 1783 году скончалась подруга Жан-Жака Руссо; там же расположены особняк Некера, особняк Окара де Монфермея, построенный в 1789 году архитектором Леду, знаменитый особняк танцовщицы и куртизанки Гимар, более известный под названием Дворец Терпсихоры, также детище Леду, расписанный Фрагонаром и Давидом, делавшим в то время первые шаги на поприще живописи. Этот великолепный особняк, вмещавший театральный зал на пятьсот мест, в 1786 году был продан банкиру Перего. На самом оживленном участке Шоссе д'Антен живет Мирабо; Донасьен селится практически в двух шагах от него. Нельзя запретить воображению представить сцену случайной встречи двух врагов, питавших друг к другу ненависть еще со времен Венсенна!

Проложенная в 1778 году между улицами Шоссе д'Антен и Аркад, улица Нев-де-Матюрен протянулась на месте узенькой улочки, известной с 1652 года под названием Матюрен и пролегавшей вдоль фермы Марэ, которая с 1246 года принадлежала монахам из общины Сен-Матюрен. Среди ближайших соседей Донасьена числятся: певец Гара, некогда исполнявший арии для Марии-Антуанетты (проживает в доме под номером 1); маркиз Франсуа де Богарнэ, шурин будущей императрицы (живет в особняке под номером 32, построенном Обером в 1780 году); под номером 42 значится особняк, построенный Броньяром для танцовщицы Жюли Каро, которая обставила его на средства бывшего любовника, виконта Александра де Сегюра; особняк под номером 43 принадлежит графу де Лагранжу; под номером 46 — маркизу де Лувуа, потомку министра Лувуа, которого Людовик XVI отправил в ссылку за распутное поведение.

Рядом с этими величественными особняками фасад строения под номером 20 выглядит не в пример скромно. Он состоит из двух небольших корпусов, разделенных чахлым садиком. Выбраться из жилища Сада можно было двумя путями: через подъездные ворота — на улицу Нев-де-Матюрен, или сразу — на улицу Ферм-де-Матюрен. Дом имеет три этажа, два верхних отведены под жилые комнаты; еще есть подвал и садик с маленькой беседкой; также «не возбраняется пользоваться двором соседнего дома». До конца года он будет жить там один, «словно добрый толстяк-кюре в своей хижине», с домоправительницей, поварихой и лакеем. «Вот и вся моя челядь, вся моя свита, — пишет он Гофриди. — Надеюсь, Вам не кажется, что это слишком много?» В январе 1791 года, как и было договорено, Констанс переезжает к Саду и селится на первом этаже, обставив комнаты своей мебелью; у нее отдельный вход, выходящий на улицу Ферм-де-Матюрен. В дальнейшем два независимых входа очень пригодятся жильцам этого дома.

Устроившись, Донасьен тотчас просит своего «дорогого адвоката» прислать ему из Ла-Коста кое-какую мебель и некоторые вещи, дабы обустроить свое хозяйство. Небрежный, как обычно, адвокат медлит, маркиз свирепеет, но ничего не происходит. Наконец в марте прибывают ящики. Но в каком состоянии! Все требуемые вещи Гофриди затолкал в них вперемешку: мебель, книги, фарфор, стекло, занавески, античные вазы, присланные из Италии, благовония, чехлы, старые бумаги; не забыл управляющий также и про домашние сладости, мед и компоты. В результате: «фаянс и стекло вдребезги, «горшочек с вареньем опрокинулся на голубой гобелен, тушь вытекла и залила книги». — «Особенно досадно, — отмечает маркиз, — что варенье было отменное».

Но разве в этом дело! Донасьен в восторге от своего жилья, «маленького, но столь очаровательного, что даже в Париже, где взоры привыкли к роскоши, им невольно можно залюбоваться». Он водит знакомство с тремя или четырьмя домами, куда может прийти поужинать когда ему заблагорассудится; у него право бесплатного посещения спектаклей и он пользуется определенным уважением в литературных кругах. Если прибавить к этому «честную и заботливую» компаньонку и неплохое вино из подвала его дома, то получается картина совершеннейшего благополучия! Из этого укромного уголка жизнь кажется ему такой уютной, что он намерен прочно в нем обосноваться: «Здесь есть сад, и меня похоронят в этом саду; там уже строят мою усыпальницу», — пишет он полушутя-полусерьезно.

Окружив себя книгами, имея под рукой Констанс, Донасьен в пятьдесят один год стремится к мирной и размеренной жизни литератора. Единственное его занятие — продвижение на сцену своих пьес. Чувственность его наконец унялась и оставила его в покое; с этой стороны безумств более не будет; Чувствительной не придется терпеть грубого обращения, выпавшего на долю Рене-Пелажи. «О, друг мой, никогда не пытайся развратить человека, которого любишь, иначе последствия будут непредсказуемы», — якобы скажет Констанс ему однажды. А он,

пересказывая эти слова, добавит к ним похвалу своей подруге: «Чудная женщина, спустя малое время ты спасла жизнь этому человеку. Речи твои столь трогательно живописуют душу твою, что мне хотелось бы запечатлеть их дословно в храме Памяти, где добродетель твоя уготовила тебе уголок»*. Отныне разнузданное воображение служит де Саду только для написания романов; он ничего не станет требовать от Констанс – даже верности. Правда, и она от него ничего не требовала. Впрочем, кажется, либертен в нем действительно умер. Рейно, обеспокоенному его сожительством с актрисой, он отвечает:

> Наша пара – самая добродетельная в мире! Во-первых, ни о какой любви и речи нет; это всего лишь добрая и честная буржуазка, любезная, кроткая, умная; она <...> согласилась вести мой маленький дом. Она тратит на меня скудный пенсион, выплачиваемый ей мужем, я предоставляю ей жилище и стол. В настоящее время это единственное удовольствие, кое она имеет в своем положении. Ежели же она и в самом деле привяжется ко мне и согласится не покидать меня до конца дней моих, каждые пять лет я буду назначать ей небольшую ренту: я крайне заинтересован в сохранении настоящего положения, она из соображений эгоизма также станет его сохранять. О любовных шашнях не может быть и речи.
>
> Разве могу я жить один, в окружении двух или трех лакеев, которые вполне могут ограбить меня, а то и убить? А раз так, то не следует ли поставить между этими мошенниками и мною надежного человека? Разве могу я варить себе суп, разбирать счета от мясника? Ведь жизнь моя протекает в кабинете, в окружении Мольера, Детуша, Мариво, Буасси, Реньяра, я смотрю на них, изучаю, восхищаюсь ими и понимаю, что мне до них всегда будет далеко. К тому же мне нужен человек, чтобы я мог читать ему строки, выходящие из-под моего пера. А компаньонка моя отвечает всем моим требованиям. И да хранит ее Господь вопреки непонятным проискам, цель которых – отнять ее у меня! Более всего я опасаюсь, как бы все эти закулисные *монтрейские* маневры бедняжке не надоели, и она, преисполнившись отвращения, не потеряла бы терпения и не ушла бы из моего дома <...>[6].

Опасения его безосновательны: никто не собирается отнимать у него Констанс, а Констанс безмерно ему предана. Впрочем, подобные жалобы являются неотъемлемой частью его бредовых идей.

Итак, в своем маленьком домике затворник организует вполне уютную жизнь. «Он сладостно отращивает брюхо», – зло пишет Поль Бурден. Пусть будет так. Однако отчего мы отказываем ему в праве мечтать о жизни простого обывателя? После тринадцати лет заточения он вполне может стремиться к чему угодно. В конечном счете в этом уединенном уголке, в своем натопленном кабинете, среди книг и бумаг, он, взирая в окно на маленький садик, ищет не столько материального комфорта, сколько пытается реализовать свой идеал философа. Его жизненный идеал выстраивается на основании руссоистской модели; подражая Руссо, он восхваляет прелести домашнего очага; описывая свою жизнь с Констанс, он вспоминает об идиллическом союзе Жан-Жака и Терезы.

Как и Тереза, Констанс Кене не слишком образованна, однако ее чувствительность с лихвой искупает нехватку знаний. Как и Жан-Жак,

---

* *Маркиз де Сад.* Флорвиль и Курваль // Маркиз де Сад. Насмешка судьбы. М., 2001. С. 104.

Донасьен имеет привычку читать ей «еще горяченьким» все, что он написал; он прислушивается к ее замечаниям и иногда заносит их в свои «Литературные заметки». Так, по поводу «Преступлений любви»:

Моя подруга говорила, что, в сущности, в театре иногда представляют вещи отвратительные, однако спектакль гораздо менее опасен, нежели рассудочное чтение тех же самых ужасов, описанных в романе; именно поэтому она полагала мою книгу опасной. Впрочем, она находила мой стиль простым, приятным и нисколько не вычурным.

Нет сомнений, что он думает о Чувствительной, когда записывает свои размышления о только что полученном романе «Дельфина», где г-жа де Сталь* поет хвалу женщине у домашнего очага: «Домашние хлопоты накладывают на женщину отпечаток неизъяснимой изысканности. Самая очаровательная, самая остроумная и прекрасная не гнушается этими милыми и простыми заботами, следы коих столь отрадно видеть у нее в доме».

Констанс он посвящает «Жюстину»:

Да, Констанс, тебе я посвящаю свой труд, ведь ты остаешься украшением и честью женского пола, соединяя чувствительную душу с умом просвещенным и справедливым. Кто как не ты сможет оценить сладость тех слез, которые вызывает вид преследуемой несчастьями добродетели?**

Но, по его собственным словам, он никогда не признавался ей в авторстве «Жюстины», и, следовательно, она не могла прочесть это посвящение.

Г-жа Кене не могла обещать вам «Жюстину», — пишет он через несколько лет, — ибо она не только не располагает ни единым экземпляром, но и совершенно уверена, что сие сочинение мне не принадлежит. Она также прекрасно знает, что и у меня нет ни одного экземпляра[7].

Для завершения картины супружеской жизни Донасьен поселяет у себя сына Констанс, шестилетнего мальчика Шарля Кене[8], коего воспитывает в строгих принципах и внушает ему благоговейные чувства к матери.

Подумай, друг мой, — позднее напишет он ему, — что жизнь твоей матери поделилась, чтобы дать жизнь тебе: ту самую жизнь, которую ты так любишь и которая, собственно говоря, является всего лишь производной от ее жизни. <...> Подумай, друг мой, что дань уважения и нежности, коей ты ей обязан, ни в коей мере не пропорциональна тем заботам, кои она посвятила тебе. <...> Я часто говорил тебе, что мать является тем самым другом, которого природа дарует нам всего лишь раз, а когда мы имеем несчастье потерять этого друга, ничто не может вознаградить нас за эту потерю. Мы не можем найти никого, кто смог бы заменить ее: людское ожесточение, низость, клевета, злоба беспрепятственно пристают к нам.

---

* Сталь (по мужу — Сталь-Гольштейн) Анна Луиза Жермена де (1766—1817) — писательница, теоретик литературы, публицист, дочь Жака Некера, министра финансов (1777—1781), сыгравшего большую роль в подготовке созыва Генеральных штатов 1789 г.

** *Маркиз де Сад.* Жюстина, или Несчастная судьба добродетели: Пер. с фр. М., 1990. С. 63.

Мы ищем от них спасения в объятиях друга, супруги; но, дорогой мой Кене, как их участие отличается от бескорыстной материнской заботы, ее бесценного сочувствия, не омраченного никакими соображениями выгоды! Одним словом, друг мой, только материнские объятия воистину даруются нам самой природой[9].

Ностальгия по материнской ласке, которой он никогда не знал, приобретает в его творчестве поистине странное звучание. Во всяком случае, она противоречит тезису Клоссовски, согласно которому Сад одержим навязчивой идеей боязни задохнуться в материнском лоне: «Его поступки, его идеи являются сознательным проявлением его борьбы за освобождение самого себя из своей первоначальной оболочки», — пишет автор труда «Сад, мой ближний»[10]. Но отказ и сожаление необязательно исключают друг друга.

Собственные сыновья Сада находятся вдали от Парижа, но он постоянно видится с дочерью. Как ни странно, этот человек, которому отказывали в любых проявлениях родительских чувств, регулярно посещает монастырь Сент-Ор, пансионеркой которого является Мадлен Лор. Недоверчивая мать настоятельница присутствует при их свиданиях до тех пор, пока Сад, раздраженный ее присутствием, не стал заклинать ее оставить отца наедине с дочерью. «Я не стану больше сопровождать ее, когда вы придете на свидание с ней», — обещает ему монахиня[11]. Надо сказать, мадемуазель де Сад внешне отнюдь не привлекательна. В двадцать лет она выглядит вполне сложившейся старой девой. Не слишком высокая (1,65 м), грузная, с рыхлым невыразительным лицом и коротким, широким, приплюснутым носом. К тому же она косит. Описывая внешность дочери, отец не щадит ее:

Уверяю Вас, дочь моя совершенно безобразна; я уже не раз *описывал* ее. С тех пор я видел ее два или три раза и, успев как следует рассмотреть, подтверждаю, что и по уму, и по внешности она более всего напоминает толстую фермершу. Она живет с матерью, не передавшей ей ни внешности, ни ума. В остальном же она вполне соответствует своему нынешнему положению: но как знать, что ждет нас завтра?[12]

Без сомнения, в один из дней он наверняка столкнулся в коридоре с Рене-Пелажи. Но супругам больше нечего сказать друг другу. Правда, время от времени они продолжают обмениваться письмами, но это всего лишь деловые записки, обычно сухие, полные колкостей и относящиеся к продолжающимся между ними бесконечным распрям: старые долги, урегулирование вопросов о наследовании и т. п. Не говоря уж о ежегодном пенсионе, который Донасьен, несмотря на постоянные требования жены, упорно не желает платить.

* * *

В июне 1791 года Донасьен узнает, что 1 ноября полюбившийся ему дом будет продан с аукциона, и загорается желанием купить его. Он принял твердое решение поселиться в Париже, а потому сделка эта кажется ему выгодной. С одной стороны, он не теряет деньги, а вкладывает; с другой — если ему придется влезть в долги, приобретенная

недвижимость будет служить гарантией. Наконец, он перестанет бросать деньги в бездонную бочку, именуемую платой за квартиру. Покупку он оформит на себя и на своего старшего сына. И никто не сможет обвинить его в том, что он желает оставить этот дом г-же Кене. А дети его, несомненно, с гораздо большим удовольствием унаследуют красивый дом с обстановкой в Париже, нежели злосчастный кусок земли в Провансе. Чтобы приобрести вожделенную собственность, ему нужно как можно скорее получить 24 000 ливров. И он отдает распоряжение Льону немедленно продать большую часть земель Кабанна. Получаемая им с этого поместья рента равна 1200 ливрам в год, то есть стоимости квартирной платы; следовательно, после этой сделки благосостояние его останется прежним. Льон находит покупателя, но тот не намерен довольствоваться «клочками» и желает сам выбрать подходящий ему участок, получить право пользоваться водой и заплатить ассигнатами. Сад отказывается: никакой бумаги, только в золоте или в экю! Льон обещает вступить в переговоры, дабы полностью соблюсти выгоду продавца, но вскоре теряет интерес к делу. Хозяин гневается и в письмах называет его то «индюком», то «якобитом», то «дураком»! В то время как несчастный, в сущности, ни в чем не виноват. Это Гофриди, желая помешать разбазариванию земель, ставит тайные препоны.

Знаешь ли ты, что он захотел продать часть своей недвижимости в Арле за 24 000 ливров? – пишет он Рейно. – Сейчас мне удалось предотвратить сделку. Но смогу ли я делать это и дальше? О его замыслах толком ничего не известно, но я вижу, что он хочет нанести своим арльским владениям непоправимый ущерб. <...> Если я не могу делать добро, я должен хотя бы не допустить совершения зла; именно это я и делаю, борясь за сохранение недвижимости в Арле[13].

Однако Донасьен желает непременно получить эти 24 000 ливров, пусть даже придется влезть в долги: ему так хочется купить собственный дом!

Вынужденный отказаться от проживания в Провансе, – пишет он, – я понял, что мое счастье и мое спокойствие зависят от этого жилища. Я уже воспринимаю его как тот уголок, откуда душа моя отойдет в мир иной, как пристанище, где прах мой, который там похоронят, будет покоиться в мире подле наследников моих, что займут мое место[14].

Недостойная старая дама

Но хотя он – по крайней мере пока – отказывается жить в Провансе, он тем не менее продолжает поддерживать связь с землей своих предков. Он помнит, что там у него остались старые тетки-монахини, заточившие себя в монастырских стенах. Не забывает он и о г-же де Вильнев-Мартиньян, живущей попеременно то в своем доме в Карпантра, то в принадлежащем ей великолепном особняке в Авиньоне (сегодня в нем расположен музей Кальве). Вопреки растиражированному образу, он испытывает истинную нежность по отношению к этим старым одиноким женщинам, обломкам рухнувшего мира, при виде ко-

торых кажется, что они пережили ужасное землетрясение. Они смотрят на свою взбаламученную провинцию, и, ничего не понимая в происходящих событиях, предельно напуганные разгулом насилия, не смеют ни на что жаловаться и ждут смерти.

Говорят, что выгода — и только выгода — завставляет Донасьена не забывать тетушек. Но какое наследство может остаться после ничем не владеющих монахинь? Никакого; просто самое существование их вселяет уверенность, что где-то, среди бушующего урагана, мерцают слабые искорки приязни и доброжелательности. И, разумеется, не алчность заставляет его на двадцатый день после выхода из Шарантона написать добрейшей Габриэль Элеонор де Сад, аббатисе монастыря Святого Бенедикта в Кавайоне, а всего лишь желание поделиться своими горестями и в очередной раз обрушить громы и молнии на Монтреев — словом, возможность поплакаться в жилетку:

У меня почти не осталось средств к существованию, — стенает он. — Я женился исключительно для того, чтобы на старости лет дом мой был полон людьми, но в результате оказался брошенным, покинутым, одиноким и обреченным на печальную участь, постигшую моего отца, скончавшегося в полном одиночестве; именно такой одинокой старости я и страшился более всего на свете.

И если он пытается разжалобить старушку своими слезными переживаниями, если в который раз рассказывает ей о своих утраченных рукописях, то, разумеется, не в надежде получить вознаграждение: вряд ли старая дама смогла бы прийти ему на помощь в материальных вопросах. Нет, он ищет всего лишь сочувствия, морального утешения. У него всегда была потребность спрятаться под материнскую юбку, потребность в защите, ощутимая, даже когда он предает своих ближних анафеме. Подобная форма эмоциональной незрелости объясняет также его боязнь порвать со своими родными местами, постоянное стремление вернуться туда, будь то посредством переписки или благоговейной заботливости, с которой он относится к сохранению, классификации и приведению в порядок семейных бумаг.

Простите, моя дорогая, моя обожаемая добрая тетушка, — пишет он аббатисе в ее монастырь в Кавайоне. — Много тысяч раз прошу прощения, что столь долго утомлял Вас рассказом о себе. Но у меня так тяжело на душе, что я просто не могу не высказать все, что там накопилось, тем более столь дорогому другу, как Вы. Умоляю Вас, пишите мне, сообщайте о Вашем здоровье, скажите, любите ли Вы все еще меня, и будьте уверены, что никто, кроме меня, не питает к Вам столь нежную и почтительную привязанность[15].

Разумеется, такие слова не могут не растрогать сердце доброй монахини. Как можно сердиться на этого пропащего мальчика, многократно заверяющего вас в своей любви? Конечно, Донасьену выгодно иметь союзников в провинции, которые помогали бы ему сохранять добрую репутацию, тем более что новости разносятся там молниеносно. Его излияния в письме к Габриэль Лор быстро становятся известны г-же де Вильнев. Именно ее де Саду более всего хочется склонить на свою сторону. Так стоит ли сомневаться в его искренности? Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Действительно, отношения с теткой Вильнев у него достаточно противоречивые; впрочем, ее поведение также нельзя назвать однозначным. Она – богатая вдова, дочери ее, за исключением маркизы де Рауссе, подались в монастырь, и к чувствам, само собой разумеется, начинают примешиваться денежные мотивы[16]. Однако в этом нет ничего ни удивительного, ни шокирующего. Само время относится к этим вопросам без излишней щепетильности, иначе говоря, без надлежащего лицемерия, свойственного нашей эпохе: любить родственника и одновременно стремиться заполучить его наследство отнюдь не считалось зазорным. С этих позиций Донасьен такой же циник, как и его современники. Что же касается г-жи де Вильнев-Мартиньян, то она не принадлежит к тем особам, которых легко одурачить.

За свои семьдесят пять лет она успела узнать жизнь и разочароваться в мужчинах. Ее насмешливый скептицизм заставляет ее не доверять никому, кроме самой себя. Умеренно набожная, лишенная предрассудков, сверх меры ироничная, наблюдательная, волевая, с твердым характером, она вместе с тем полностью лишена типичного для женщин ее возраста умения устраивать громкие скандалы – короче говоря, стальная душа в хрупкой оболочке. Чувствуя в себе больше склонности к философии, нежели к материнству, она не признает сильных страстей, любит поворчать, но всегда с юморком; женщина с сильным характером и с великим чувством юмора, она советует племяннику следовать путем мудрости, ведущим к спокойствию, – и ничего более. Никаких громких слов, никаких клятв. Единственное теплое чувство, на которое она оказалась способна, она отдала этому шалопаю. Порицая его недостойное поведение, она тем не менее соболезнует его несчастьям и высоко ценит его характер. Зная его неукротимость, она усматривает в ней упорство и энергию де Садов. Не жалея для него ни упреков, ни советов, она тем не менее никогда не упрекает его в безнравственности. К чему? Будучи женщиной прагматичной, она предпочитает призывать его скорее к осмотрительности, нежели к добродетели, и умоляет выказывать искреннее раскаяние даже тогда, когда он такового не испытывает. Если он хочет обеспечить себе будущее, он должен заставить всех забыть о своем прошлом. Недавно найденные письма г-жи де Вильнев к маркизу де Саду обладают недюжинными литературными достоинствами и заслуживают, на наш взгляд, полной публикации. Чтобы дать представление о них, ниже мы приводим несколько отрывков:

Чтобы вернуть все, что Вы утратили, Вам необходимо восстановить Вашу репутацию, – пишет она Донасьену после его выхода из темницы. – Эта операция требует чрезвычайно пристального внимания. Ваше беспутство наделало шуму; теперь пусть всем станет известно о Вашем благоразумии, Вашей скромности и чистоте Ваших нравов. Сделайте так, чтобы слава о Вашей добродетельной жизни заставила забыть дурные слухи, ходившие о Вас во множестве. От горьких воспоминаний не должно остаться ни следа. Ежели Вы подверглись преследованиям, вините в этом только самого себя. Вы позволили страстям сделать Вас своей игрушкою, теперь Вам следует поставить на их пути прочный заслон, дабы снять с себя обвинение в распутстве, бросившее тень на всю Вашу семью. <...>

Ваша страсть к рефлексии должна помочь Вам. Вы, без сомнения, часто предаетесь размышлениям, так пусть же размышления эти будут плодотворными. Ум ваш завел Вас в дебри иллюзий. Зрелость суждений обязана их рассеять. Отныне Ваша жизнь должна служить свидетельством того, что порок не смог пустить корни в Вашей душе и она вновь возродилась во всей своей чистоте.

Постарайтесь не нажить себе новых врагов: любой враг может быть опасен. Мадам де Монтрей принадлежит к людям, с чьим мнением считаются: именно поэтому она сумела столь долго удерживать Вас в заточении. И, поверьте мне, влияния ее вполне хватит на то, чтобы отравить Ваше пребывание на свободе. Тут предоставьте действовать мне: я постараюсь извлечь из этого пользу. И не возражайте мне <...>[17].

Пером моим водит сердце, — пишет она ему в июле 1790 года. — Сей самый уязвимый орган предназначен для порождения чувств. И вы сумеете в них разобраться. Слова, пусть даже надлежащим образом соединенные, всегда двусмысленны. Они могут говорить о ложном как об истинном. Слова, единственный источник, позволяющий формулировать наши мысли, одновременно являются и источником заблуждений. Внешний блеск затмевает истину, не позволяя разглядеть ее.

Однако моему стилю сей недостаток не свойствен. Вы сами, дорогой племянник, могли убедиться, что я принимаю близко к сердцу все, что Вас волнует. Разумеется, положение Ваше не из приятных. Постарайтесь вести себя безупречно, дабы не ухудшить его. Бывайте на людях, пусть Вас все видят, однако будьте предельно осмотрительны в Ваших высказываниях и поступках. О Ваших делах будут судить те, кто их увидит, на основании того впечатления, кое поступки Ваши на них произведут. Следовательно, в Вашем положении Вам нужно быть чрезвычайно осмотрительным. Пусть месть Ваша будет благородной. Не воздавайте злом за зло. Обезоруживайте Ваших противников поступками, полностью противоречащими их представлениям о Вас, и победа Вам обеспечена. Когда любые гонения лишь будут умножать число Ваших защитников, тогда гонители прекратят свою работу. А когда своими безупречными, безукоризненными поступками Вы сумеете перетянуть на свою сторону даже самых предубежденных Ваших противников, считайте, Вы на верном пути. Вы обязаны обуздать Ваши страсти. Обязаны выносить суждения, являющиеся плодом зрелых размышлений: только они могут стать Вашими проводниками. Ум, не имеющий опекуна, сдерживающего его порывы, нередко уводит нас с торного пути. Вот и все советы, которые может дать Вам старая опытная тетушка[18].

Зная своего племянника, она опасается, как бы он снова не совершил чего-либо непристойного. Больше всего она боится разгула его страстей и старается умерить их. Сейчас для него главное — это спокойствие, ему следует отказаться от обманчивых иллюзий и вести жизнь философа.

Несчастья наши притупляют вкус к удовольствиям, — пишет она ему. — Лень имеет свои прелести, особенно в зрелом возрасте. Ты уже все испробовал и понял, что достичь совершенства невозможно. Поэтому не стоит затрачивать силы на погоню за призраками, чьи огоньки манят нас всегда только издалека. Из Вас получится прекрасный философ, Вы же так трезво рассуждаете о политике. Давайте вещам ту оценку, которой они заслуживают, не стоит их переоценивать. Самое главное для человека — оставаясь самим собой, научиться радоваться; в этом и заключается счастье[19].

Не то чтобы она была готова полностью извинить мятежный дух Донасьена, понять его и тем более разделить. Просто она догадывается, где искать истоки беспокойного характера племянника. Эта проницательная женщина, которую многие считали совершенно бесчувствен-

ной, единственная сумела понять, в какой эмоциональной пустыне прошло детство и отрочество Донасьена. «Да, излишней чувствительностью в нашей семье никто не страдал», — однажды написала она ему. Печальная истина! Она говорит об этом так, словно испытала на себе влияние семейного недуга, и это создает между ними дополнительную связь. «Вот мы и пришли к согласию, — пишет она ему в одном из писем. — Я верю Вам, люблю Вас. Мы не станем обманывать друг друга, как в свое время обманули нас». Она единственная, кто сурово осуждает поведение г-жи де Монтрей. Она искренне сочувствует племяннику, попавшему после освобождения в затруднительное положение, и, раздосадованная поступком Рене-Пелажи, решившей оставить мужа, пишет председательше, прося ее уговорить дочь изменить свое решение; ответное письмо, ранее не издававшееся, заслуживает полной публикации, ибо в нем наиболее полно раскрывается характер «железной леди». Оно написано в замке Лаверьер 22 мая 1790 года.

Чрезвычайно жаль, сударыня, что именно сейчас Вы в первый раз за всю мою жизнь оказали мне честь, вспомнив обо мне в тех обстоятельствах, когда я никак не могу, как бы того ни хотелось, уступить Вам и исполнить Ваше требование.

Выразив все свои сожаления по сему поводу, я, сударыня, смею тешить себя надеждою, что Вы будете ко мне справедливы, особенно учитывая те чувства, кои я питаю к Вам, и скорее посочувствуете мне, нежели станете порицать, ибо, поразмыслив о прошлом, Вы сможете заметить, что именно когда я соблюдала те самые правила, коим Вы теперь предлагаете мне следовать, мои доброта и снисходительность, коими неоднократно пренебрегали, привели к несчастьям, обрушившимся на нашу семью; воспоминание об этих несчастьях неизгладимо, и не только для меня, но и для других ее членов.

Сударыня, существуют незаживающие раны: такая рана нанесена и мне. Поэтому я никак не могу способствовать воцарению мира в душе известного Вам члена Вашей семьи. Я от всего сердца желаю, чтобы добронравное поведение, кое он некогда отверг, теперь бы вывело его на дорогу счастья. Но я нисколько не обязана помогать ему в этом. Если он способен переосмыслить свое поведение, а, судя по Вашим словам, это именно так, значит, со временем он исправится.

До сих пор мне не в чем было упрекнуть моих внуков. Рожденные в законном браке и воспитанные в добрых принципах, они воздали отцу то, что должны были воздать, и я никогда им в этом не препятствовала. Но если бы они оказались способны в один день забыть о той признательности, кою они обязаны питать ко мне или — беря шире — к их семье, то это было бы плохо прежде всего для них самих; мне было бы горько, но мне не в чем было бы себя упрекнуть, ибо им неизвестны все причины для сей признательности — осмотрительность обязывала нас умалчивать о них, дабы сердца их в нежном возрасте не преисполнились печалью.

Мое же сердце, сударыня, исполнено к Вам чувством уважения и признательности; засим заверяю Вас, сударыня, что имею честь оставаться Вашей смиренной и почтительной слугой.

Масон де Монтрей[20]

Разочаровавшуюся в ближних и не поддерживающую теплых отношений ни с кем из тех, кто ее окружает, тетушку Вильнев вполне можно обвинить в эгоизме. И не без основания, ибо, кроме Донасьена, которого она любит как сына, она мало кого удостаивает своим вниманием. Собственные дочери мало ее занимают: о поступивших в монастырь Анриетте и Жюли она вспоминает только тогда, когда хочет посетовать,

что после закрытия монастырей ей пришлось взять их на содержание. Конечно, она это делает, однако не столько из привязанности к ним, сколько из чувства долга. Единственную замужнюю дочь, г-жу де Рауссе, она судит столь строго, что ее становится трудно заподозрить в материнских чувствах. Даже начавшееся у г-жи де Рауссе размягчение мозга не вызывает у нее сочувствия, а смерть ее, случившаяся в октябре 1790 года, не выжала у г-жи де Вильнев ни слезинки. «Мы не обязаны любить настолько, чтобы утруждать себя имитацией чувств», — пишет она Донасьену в оправдание своего равнодушия.

Опытная и искушенная — и весьма этим довольная — вдова-аристократка видит, как рушится окружающий ее мир, от которого она уже ничего не ждет; неожиданно она оказывается заброшенной в мир совершенно иной, и там она никак не может найти свою нишу. Ей горько в этом признаваться, и на помощь приходит ее обычный юмор.

> Мне показалось, что я очутилась на другой планете, — замечает она.— Очевидно, это восьмая открытая планета из тех, что вращаются вокруг Солнца, и мы както незаметно перебрались на нее. Изменилось все. Если бы Вы на протяжении нескольких лет спали, то, пробудившись, Вы бы нашли, чему удивиться![21]

Натиск революционного насилия она встречает как подобает женщине ее возраста и положения. Став очевидицей кровавой резни, устроенной в Авиньоне 10–11 июня 1790 года, она, едва гроза миновала, задается вопросом, как ее бедная голова еще не утратила рассудок, когда вокруг творятся такие зверства. Оправившись от ужаса, она сообщает племяннику:

> Нет, я не стану говорить: *я мыслю, следовательно, существую*, а, напротив, скажу: *я чувствую, следовательно, существую**, и это будет истинной правдой, ибо я ощущаю себя совершеннейшим автоматом без всяких мыслей. В голове моей царит хаос. Я уже не знаю ни что я говорю, ни кто я есть вообще[22].

Деньги

Сад никогда не относился к деньгам спокойно. Начиная с 1790 года его отношение к ним начинает более всего напоминать одержимость. Стоит только поднять вопрос о деньгах, как тут же открывается клапан и начинает литься речь, где вопрос сей мусолится до бесконечности, где мольбы перемежаются угрозами, а оскорбления — прямым шантажом. Страстная, властная, пылкая речь, где Сад, словно террорист-одиночка, борется за сумму, кою ему должны раздобыть. Жертвами его, само собой разумеется, становятся его поверенные: эти подлые челядинцы, с которыми он обходится (за исключением Рейно) с надменностью вельможи, снизошедшего до общения с деревенским письмоводителем. В этой борьбе появляется и свой мученик: Гофриди.

Когда, к несчастью — а случается это часто, — сумма не прибывает немедленно или же ее оказывается недостаточно, Гофриди тут же

---

* Парафраз изречения французского философа Рене Декарта (1596–1650): «Cogito ergo sum» — «Я мыслю, следовательно, существую» (*лат.*).

приходится сносить унижения, оскорбления, проклятия, утеснения, пинки и хулу. Конечно, бывают и поцелуи, и комплименты, и уверения в дружбе, а иногда даже и детские воспоминания. Но эти пылкие интермедии редки и чаще всего являются предвестниками очередной бури. Требование прислать денег для Донасьена равносильно выражению его воли, его властного права: он давит на Гофриди, равно как и на других своих управляющих, в той мере, в какой, на его взгляд, он вправе давить на своего подданного. Повторять свои требования, — а всем известно, что нужда в деньгах является постоянным *лейтмотивом* его переписки, — означает неутомимое восстановление протокола взаимоотношений господина и слуги, постоянное потакание собственной страсти. Он наслаждается своим нетерпением, ибо благодаря ему чувствует себя властелином. Сад постоянно нуждается в деньгах и постоянно их требует, причем требует жестко и настойчиво, и то насилие (моральное), кое он при этом совершает, не идет ни в какое сравнение с парой жалких ударов розгой по ягодицам, из-за которых имя де Сада стало нарицательным: Сад, требующий денег, гораздо больший садист, нежели Сад, стегающий девиц.

В сущности, эти желания весьма сходны. Можно с уверенностью сказать, что в плоскости воображаемого стремление к деньгам — как и к писательству — является заместителем сексуального желания, теперь уже угасшего. Ведь несмотря на растасканное отцовское наследство, де Саду есть на что жить. Но для де Сада деньги никак не соотносятся с повседневными нуждами; более того, он не обладает ни скупостью, ни жадностью. Напротив, он расточителен до безумия, живет не по средствам и в любую минуту готов занять. Символическое расточительство — и, как неизбежное следствие, отсутствие денег. Растрата и желание сменяют друг друга в лихорадочной гонке-догонялке. Сад постоянно создает критические ситуации и в то же время вырабатывает некую хитроумную стратегию зависимости. Один и тот же сценарий повторяется до бесконечности в неизменном виде, что делает его сродни маниакальной деятельности; упорная борьба, ожесточенная погоня, как две капли воды напоминающая любовную охоту и отличающаяся от нее только тем, что она истощает самое себя.

Одержимость стремлением получить желаемые суммы в высшей степени контрастирует с полнейшим безразличием к реальному положению дел. Его ежегодные доходы, подобно ренте или пенсиону, начисляются ему поквартально. Но, так как их никогда не хватает на покрытие текущих расходов, он постоянно требует прибавки. И тут же ссылается на очередное непредвиденное обстоятельство: необходимость срочно возместить долг чести, выкупить какую-либо вещь из ломбарда, незапланированная, но крайне нужная покупка, убытки, понесенные из-за ассигнатов, необходимость удовлетворить требования фиска... Гофриди остается только удавиться. На счету ни гроша? Ерунда! Требуемые суммы превосходят доходы? Де Сада это не волнует. Есть срочные расходы, надо ремонтировать замок? Де Сад не желает об этом знать. Ему положено иметь многое, и он хочет иметь это многое. Ког-

да же адвокат пытается объясниться, де Сад обвиняет его в заговоре, утверждает, что тот желает его смерти. Когда речь заходит о невозможности удовлетворить его требование, он перестает внимать голосу разума. Малейшее возражение причиняет ему жестокие страдания.

Упорное безразличие ко всему, что относится к практике управления его собственным имуществом, приводит к постоянным недоразумениям между ним и теми, в чьи обязанности входит информировать его о состоянии дел. Его зерно продается дешевле, чем в прошлом году? Снизилось производство вина и оливкового масла? Но ему-то какое до этого дело! Он умоляет Гофриди никогда не утомлять его перечислением подробностей и посылает ему вот такой образец отчета, который он желает получать:

Ла-Кост должен принести *наличными* ....
Мазан ....
Арль ....
Соман ....
Всего: ....

<...> Главное, не отягощать отчет никакими рассуждениями, не входить ни в какие подробности. Я не хочу ни рассуждений, ни подробностей. Я хочу знать, каков мой годовой доход *наличными* и сколько *на деле* поступает в мой карман — *и все!* И более ни строчки, ни единого слова, выходящего за рамки данного образца[23].

Когда же его арльский управляющий, несчастный Льон, решает сообщить ему, что его бараны остались неостриженными, он приходит в ярость: «Милейший мой адвокат, да мне плевать на каких-то там баранов! Вы что, считаете, что мясник и булочник станут довольствоваться фразою: "Господа, мои бараны не острижены"?»

Неприятие реальности является одной из основных черт его характера. В денежных делах неприятие это доходит до исступления. Как только цифры перестают говорить о суммах, которые предстоит получить, а называют суммы к оплате, де Сад тотчас перестает их понимать. Они для него попросту не существуют; пусть ими занимаются его управляющие. Когда же они извещают его о своих затруднениях, он грубо их обрывает: проклятия заменяют ему арифметику. Гофриди об этом прекрасно известно, и он уже не пытается заставить де Сада прислушаться к голосу разума. Манера Донасьена требовать положенное (а ему *всегда* что-нибудь должны) неподражаема. Для достижения цели он использует весь запас пассионарного словаря. Если его ожидания не оправдываются, он вопиет о поруганной дружбе и заявляет, что его довели до нищеты или даже до самоубийства. Так неужели друг его детства позволит ему умереть? Он просит, требует, угрожает, призывает небо в свидетели нанесенного ему ущерба и отчаяния, до которого его довели. Но стоит ему получить переводной вексель, как он тут же обо всем забывает, обнимает «своего дорогого адвоката» и клянется ему в вечной дружбе. До следующего письма, в котором он вновь принимается терзать его, требуя новых финансовых поступлений. Образцовая садомазохистская игра, где непорядочность оспаривает победу у легкомыслия.

Дурной хозяин

В 1775 году Фаж, не в силах более терпеть тяжелый характер своего клиента, отказался от места. Гофриди этого не сделал; он будет терпеть все и останется с Садом до самого конца. Почему? От слабости? По глупости? Из-за безразличия? Нет, скорее от усталости, от природной апатии. Все, кто имели с ним дело — не только Донасьен, но и г-жа де Сад, и председательша, жалуются на его медлительность в улаживании даже простейших дел («он неповоротлив», замечает г-жа де Вильнев). Но никто никогда не уличал его в растрате. Разумеется, де Сад не лишает себя удовольствия поразмыслить о том, что адвокат наверняка злоупотребляет предоставленной ему свободой действий. Он часто намекает на злые языки, доносящие ему об упущениях управляющего. Но, следует признать, он тотчас сообщает об этом самому Гофриди, разумеется, воспользовавшись поводом лишний раз подосаждать ему своей риторикой, хотя в глубине души он абсолютно убежден, что ему не в чем упрекнуть своего поверенного. Тот же, закусив удила, с ходу принимается строчить речь на десять страниц в защиту своей чести. Выведенный из себя неудобочитаемыми каракулями, маркиз машет рукой и больше к этому не возвращается.

Несмотря на давние узы дружбы и взаимных услуг, давно уже запутавшиеся в клубке общих воспоминаний, на узы, с самого детства связавшие Гофриди с маркизом, управляющий отнюдь не обольщается на его счет. Ему известна врожденная несправедливость маркиза, его крайности, его эгоизм, его бесцеремонность, его вспыльчивый характер, и временами они начинают утомлять его. Однажды он доверительно сообщает своему коллеге Рейно:

> Мой дорогой, поведение маркиза мне не нравится так же, как и тебе; я вижу, он нисколько не изменился и, видимо, уже не изменится никогда. Ты и сам видишь, сколь тяжело пребывать поверенным в делах человека, который постоянно требует только того, чего жаждет сам, и не намерен прислушиваться к голосу разума[24].

За исключением Рене-Пелажи, Гофриди и Рейно являются единственными в мире людьми, которым известна вся подноготная повседневной жизни де Сада. Привилегия эта весьма печальна, ибо человек, с которым они ежедневно обмениваются письмами, не имеет ничего общего с тем персонажем, которого сегодня мы наделяем всеми демоническими чертами выходца из ада. Они видят в нем (прежде всего Гофриди) всего лишь невыносимого параноика, вдобавок наделенного алчностью и подозрительностью, мелкого дворянчика, причем абсолютно беспардонного. Его пренебрежение к данному слову граничит с бесчестностью. Приведем пример: переведя на Гофриди два аккредитива на сумму в 1000 ливров каждый и поклявшись, что не станет их трогать до тех пор, пока нотариус не получит эквивалентную сумму с его арендаторов, он нарушает слово и без предупреждения предъявляет их к оплате, вынудив, таким образом, Гофриди заплатить из своего кармана.

Маркиз сыграл со мной дьявольскую шутку, — жалуется тот Рейно. — Он поклялся, что не станет пользоваться аккредитивами без предупреждения, но в ноябре прошлого года поступил ровно наоборот. В начале января [1792 года] я переслал ему квартальный доход в сумме 3333 ливров, и теперь мне придется вычитать 1000 ливров из его дохода, ибо ни Мазан, ни Соман ничего не принесут. Посмотрим, что он мне ответит: я решился ему об этом написать, хотя и весьма обтекаемо. Ибо человек сей — первостатейный эгоист[25].

Разумеется, Гофриди и Рейно предпочли бы иметь дело с г-жой де Монтрей; они ностальгически вспоминают о том времени, когда она управляла поместьями своего зятя. Их переписка не оставляет в этом сомнений; оба, и один, и другой, относятся к председательше с огромным уважением. И действительно, в обращении с подчиненными маркиза, будь то арендаторы или управляющие, председательша была исключительно учтива и справедлива. Никогда с уст ее не сорвалось ни единого оскорбительного слова или необоснованного подозрения; она никогда не ущемляла ничьего самолюбия. С самого начала она строила свои отношения на безупречной вежливости. Это так выгодно отличало ее от г-на де Сада, предпочитавшего раздавать пинки под зад! Своим поведением г-жа де Монтрей быстро завоевала уважение и признательность людей маркиза; они сохранят их до конца жизни. Даже когда законный хозяин вновь взял бразды правления в свои руки, Рейно продолжал держать ее в курсе всего, что происходило во владениях ее зятя. Причиною тому вовсе не его двуличие — для этого он слишком честен и вдобавок, как мы уже говорили, привязан к маркизу,— а дельные советы и поддержка, кои он получает у нее. С болью в сердце взирает Рейно на разбазаривание поместий своим клиентом; он извещает об этом председательшу и с чувством выполненного долга становится на стражу интересов г-жи де Сад и ее детей. Даже интеллектуальное влияние, оказываемое на него маркизом, не позволяет ему забыть о маркизовых придирках, и, когда он отзывается о де Саде как о сущей каналье, признание это вполне можно считать искренним. Впрочем, он вполне может сказать это и в лицо маркизу.

Гофриди же, на чью долю достается большая часть проклятий маркиза, обращающегося с ним словно с мужланом, остается только мечтательно вспоминать о том времени, когда управление имуществом де Сада находилось в руках у г-жи де Монтрей. Он также помнит, что именно она за неделю предуведомила его, что зять ее выходит из тюрьмы. Ведь Гофриди с полным правом мог опасаться, что маркиз обвинит его в сговоре с его врагами. Председательша рассудила, что лучше будет предупредить управляющего заранее.

Убежденная в Вашей преданности ей (г-же де Сад. — *М.Л.*) и ее близким, — писала де Монтрей ему, — Вы вправе рассчитывать на мое уважение к Вам. Уважение мое осталось прежним и таковым будет и в дальнейшем. Желая доказать Вам истинность своих слов и избавить от любых неожиданностей, если таковые вдруг случатся, полагаю, что Вы, будучи человеком осмотрительным, предпримете все необходимые меры, чтобы тот, о ком идет речь [оказавшись на свободе], смог бы почувствовать, скольким он Вам обязан. Это будут оковы против непостоянства, кое непременно найдет себе место в краю поджигателей[26].

Не имея возможности самому засвидетельствовать г-же де Монтрей свои чувства, Гофриди поручает это сделать Рейно:

Так как я, к великому моему сожалению, не пишу более обеим сударыням, то прошу тебя засвидетельствовать им мое величайшее почтение и уважение и сообщить, сколь глубока моя к ним признательность; и сколь бы громко ни прозвучали твои слова, они будут верны[27].

Изолизм

У человека, убежденного, подобного Саду, в том, что природа преднамеренно родила нас одинокими (межчеловеческих отношений не существует, любит повторять он), у того, кто совершенно не постиг (знает плохо или знает мало), что такое дружба, отношение к управляющим в значительной степени отражает его отношение к *другим* людям. Переписка, которую Сад, выйдя на свободу, поддерживает с ними почти ежедневно, свидетельствует о нем как о социальном (или асоциальном) существе, которому в полной мере присущ экономический идеализм и врожденный эгоцентризм. В сексуальных отношениях, равно как и в отношениях социальных, Сад видит в *другом* всего лишь пригодный для него инструмент. Он даже придумывает слово «изолизм», намереваясь обозначать им те усредненные отношения, которые устанавливает с другими. «Все твари родятся одиночками и не ощущают никакой потребности в других», – пишет он в «Жюльетте»[28]. Либертен должен отвергать «химерические узы», соединяющие его с другими, ибо «так называемая братская привязанность была придумана существом исключительно слабым». Привязанность эта расслабляет здоровое тело и представляет угрозу для его знаменитой «садической энергии».

Не приспособленный к любой форме социума, отвергнутый обществом и добровольно ставший маргиналом, Сад приговаривает самого себя к одиночеству. Но, обобщая собственный случай, он придает ему экзистенциальное значение. В его глазах единственной ощутимой реальностью может быть только реальность субъекта, замкнутого в самом себе и враждебного любому другому субъекту, оспаривающему у него право превосходства. Подобное безразличие к ближнему неминуемо ведет к гедонизму одиночек: «Мы смеемся, глядя на страдания других. Разве нам есть дело до их страданий?» А вот еще:

Никак нельзя сравнивать ощущения других с нашими собственными ощущениями. Самая ужасная боль, которую испытывают другие, нас, разумеется, нисколько не волнует, а если она еще и доставляет нам хотя бы мимолетную радость, то мы ее приветствуем.

В этом отношении привычка к мастурбациям, к которым ему приходилось прибегать в тюрьме, похоже, наиболее полно соответствовала его взглядам, не хватало только одного: «глаза» другого, *глаза* зрителя, так отчаянно необходимого и столь трагически отсутствующего.

Имманентное одиночество человека Сад резюмирует в следующем пессимистическом признании: «Мой ближний мне безразличен: нас не связывает ничего».

Ястреб низкого полета

В стремлении захватить наследство жестокость Сада проявилась в полной мере. С инстинктом, присущим хищной птице, он травит свою жертву, обрушивается на нее, хватает своими стальными когтями и уже не разжимает их. Становится просто неловко, глядя на то, сколько ярости он вкладывает в эту далекую от благородства, а зачастую просто гротескную охоту. Но двойственный характер этого хищника еще не раз будет удивлять нас.

В октябре 1790 года г-жа де Вильнев сообщает ему, что у ее дочери, г-жи де Рауссе, начинает «трястись голова». Скорей всего, у несчастной опухоль мозга. Муж ее, принимавший участие в выступлении дворян в Авиньоне 10 июня этого года, посчитал благоразумным эмигрировать. Зная, что дочь уже не оправится, предвидя ее близкую кончину, мать хочет исхитриться заставить ее подписать завещание в пользу дорогого Донасьена, к которому она, как известно, испытывает поистине материнскую слабость.

Я пытаюсь настроить мадам де Рауссе в Вашу пользу, — пишет она племяннику, — но дочь моя уже не та, что была прежде. Она сильно изменилась, и более морально, нежели физически. Ничто ее больше не интересует, она ничем не дорожит, и ни на одно из ее обещаний нельзя рассчитывать. Сейчас, находясь подле меня, она к Вам расположена, однако я не уверена, что, если она соединится с мужем, настроение ее останется прежним[29].

Донасьен в восторге. Итак, кузина Рауссе предполагает оставить ему все свое имущество. Да еще следуя совету собственной матери! Он тут же сообщает об этом Гофриди. Разумеется, кузина еще жива. Но терпение, речь идет всего о какой-нибудь неделе. «Говорят, она купается в золоте, — пишет он адвокату. — Пришлите мне немного этого золота!»

Тем временем ему в голову приходит идея: почему бы ему не послать на место событий Клода Армана? Быть может, это ускорит радостное событие? Рауссе обожает мальчика. Впрочем, разве не она сорвала цветок его девственности? Это семейный секрет, но к чему теперь скрывать его? Тем более что он может пригодиться.

Мне кажется, мадам де Вильнев хотела бы видеть или его, или меня, дабы уладить все дела с наследством мадам де Рауссе. Тут ей решать, кто из двух поедет. Уверен, она поступает совершенно честно. <...> Не вижу иной кандидатуры, которую я мог бы направить к ней, кроме Клода Армана: он один сможет *во всем* разобраться на месте. Я предоставляю ему полную свободу действий: пусть *грабит* на свое усмотрение; уверен, он выделит мне достойную часть добычи[30].

Двадцать второго мая 1791 года он узнает печальную новость, грозящую отложить реализацию его планов на неопределенный срок. Возвращаясь из Карпантра в Оранж, г-жа де Вильнев была арестована и препровождена в тюрьму группой патриотов. Дочь тотчас платит выкуп и освобождает мать. Донасьен высказывает свое возмущение в письме к Гофриди: «Несчастная женщина, подвергнуться аресту в восемьдесят лет! Вот поистине омерзительное преступление, вполне достойное этих разбойников!» Он просит адвоката передать тетке пись-

мо и предложить ей погостить в его замке Ла-Кост, где она будет в большей безопасности, хотя Ла-Кост и не находится на папской территории. Из осторожности – или же по небрежности – Гофриди оставляет письмо к Вильнев у себя. Через несколько дней маркиз поздравляет его с этим разумным решением:

Вы правильно сделали, приняв необходимые предосторожности и сохранив у себя мое письмо к тетке, ибо мне кажется, что я *излишне* резко высказался о разбойниках: надо почтительно относиться к медведю, когда находишься в его когтях.

Престарелая дама переносит случившееся с присущим ей философическим спокойствием. 2 июня она пишет племяннику:

Философия мне весьма пригодилась во время моего заключения, кое я перенесла, не испытав никакого страха за свою участь. Сейчас, когда вся порочность человеческого рода, о которой я прежде понятия не имела, выплеснулась на поверхность, не стоит огорчаться из-за потери жизни. Прежде картина мира являла мне только свои достойные стороны. Теперь, когда иллюзии развеяны, пожертвовать жизнью очень легко: это уже оплаченный долг. Днем позже, днем раньше – последний час все равно настанет.

Твои изъявления дружбы согрели мне душу, смягчили горечь, коею прониклась я, оказавшись в окружении вооруженных людей, то есть в положении, о котором даже не могла помыслить, что когда-нибудь окажусь в нем, тем более что никакой причины для моего ареста не было. Подобных примеров не найдешь в истории ни одной из революций. Видимо, такие времена достались мне: эта революция не будет похожа ни на одну из предыдущих. Мое имя будет передано следующим поколениям; впрочем, ни за что нельзя ручаться[31].

Она благодарит Донасьена за приглашение пожить в Ла-Косте, но одна дама в Оранже уже предложила ей разделить с ней свою квартиру; она станет укрываться там до тех пор, пока умы не успокоятся, что, по утверждению сей почтенной дамы, произойдет довольно скоро. Завершая письмо, она сожалеет, что не может приехать в Париж пожить возле своего племянника: «Если бы нас не разделяло такое большое расстояние, я бы разделила с Вами свой небольшой доход, и мы бы стали жить вместе: я довольствуюсь малым, и, полагаю, мы бы договорились. Но хватит этих мыслей, это все химеры»[32].

Несмотря на случившееся с ней – а происшествие это, похоже, не слишком ее взволновало, – достойная тетушка не забывает об интересах племянника и по-прежнему рьяно борется за его выгоду.

***

В первые дни октября 1791 года г-жа де Рауссе заявляет, что хотела бы провести будущую весну в Ла-Косте. Ну как ей можно отказать? Однако Донасьену ее замысел не по душе. У него есть свои основания для возражений, и он под большим секретом поверяет их Гофриди. Если не принять мер предосторожности, – утверждает он, – то меньше чем за три месяца, замок будет опустошен от подвала до чердака.

Я по собственному опыту знаю, о чем говорю. <...> Раусс *увезет* все; хуже того, она все *испортит*. Ручаюсь, и двери, и окна, и стекла – все будет разбито, разломано,

расколото! <...> Рауссе очевидно натворит дел: станет занимать у арендаторов, а потом не вернет долги. Вы прекрасно знаете, я не люблю, когда спят в моих спальнях, будь то зимняя или летняя. Когда мадам Рауссе станет хозяйничать в замке, Вы мне напишете, прав я был или нет[33].

И еще одно — решающее — возражение: в мае маркиз сам собирается приехать ненадолго в Ла-Кост и не желает жить там вместе с кузиной.

Но если он жаждет наследства, кузину надо ублажать... Так что же делать? И он поручает Гофриди отвратить женщину от этой поездки. Пусть он расскажет ей, что в замке водятся привидения: это ее напугает. Пусть она едет в Мазан, в Соман; там ей тоже будет хорошо. Только не в Ла-Кост! Разумеется, адвоката просят сделать это в надлежащей форме, то есть так, словно отказ исходит от него, а вовсе не от ее родственника! Главное — побольше деликатности, такта, уважения, почтения!

А через несколько недель, точнее 7 октября 1791 года, все меняется. Г-жа де Рауссе внезапно умирает. Донасьен в отчаянии:

Я оплакал дорогую кузину и многое бы отдал, чтобы вернуть ее к жизни. Ах, дорогой мой адвокат, ведь она была подругой наших детских игр! В те времена ее называли Полиной, и она спускалась в нижний зал бабушкиного дома поиграть с нами. Что ж, друг мой, пусть это послужит нам предупреждением. Господу угодно, чтобы мое слово было первым. Не знаю ничего более страшного, чем пережить своих друзей.

И тут же добавляет реплику, в которой раскрывается весь и которая мгновенно являет его нам столь чуждым или, точнее, столь странным:

Если бы я был рядом с Вами, я бы разделил эту новость на две части, выделив из нее выгодную ее сторону, и сообщил бы их по отдельности, с интервалом в неделю. Но здесь... вдали от Вас, я вынужден валить в кучу и горе и выгоду[34].

«Горе», «выгода»: неужели Саду действительно нужно время, чтобы не перепутать их? Но разве он когда-нибудь умел различать их? Стремление к выгоде является неотъемлемой частью его переживаний. Даже его манера говорить о ней проистекает от чувства: любви — если стремления его удовлетворены, и ненависти — если в удовлетворении отказано. Мы сомневаемся в искренности его горя? Но перед Гофриди ему незачем притворяться. Но и выгода, ожидающая его, тоже совершенно реальна. Поэтому у нас есть основания не оспаривать ни одно, ни другое. В жизни, как и в творчестве, Сад использовал свой гений, чтобы переворачивать с ног на голову моральные ценности и придавать словам несвойственный им смысл; общечеловеческое понятие совести всегда было ему чуждо.

Впрочем, кончина кузины не доставила ему повода ни для восторгов, ни для исполненного признательности слезопролития, ибо вопреки всем ожиданиям бедняжка все завещала мужу, что, по замечанию Донасьена, доказывает, что «у этой женщины было не все в порядке с головой»[35]. Г-жа де Вильнев, напротив, узнав о решении покойной, не перестает негодовать:

Соблазнитель моей дочери [так она называет г-на де Рауссе] не утратил своих супружеских прав, и он извлечет из них всю выгоду, которую только можно извлечь, и заберет все, до последнего гроша. Теперь дело за Гофриди: он обязан защитить нас. Моя дочь обманула нас, обвела вокруг пальца, и это во много раз ослабляет горе, причиненное нам ее утратой. Ненавижу столь модное нынче лицемерие[36].

Более того, у дорогой кузины был любовник, похоже, обходившийся ей недешево: некий Вирет из Бонье, женатый на девице де Брос. Вот и еще один кусок наследства уплывает. «Спать пожалуйста, но урвать не позволю!» — скрежещет зубами Донасьен. А сколько шевалье и его старший брат простояли на коленях, молясь за выздоровление этой Рауссе! «Отвечаю: пошлю им сказать, чтобы они встали», — усмехается их отец. Пока он переживает свое разочарование, его кузина Рен де Мартиньян, одна из сестер де Рауссе, принявших постриг, обращается к нему со словами утешения:

Убеждена, дорогой кузен, что сердце у Вас доброе, а посему нисколько не сомневаюсь в искренности Ваших соболезнований по поводу потери, кою мы только что понесли. После трех дней болезни, никак не сулившей смертельного исхода, сестра моя скончалась у меня на глазах. Так пусть же пример ее, дорогой кузен, предостерегает нас; мы станем молиться за нее, но не стоит забывать и о себе. Смерть эта была ужасна, я тяжело ее переживала. Я удивлена ее забывчивостью или же сознательным поступком по отношению к Вам и Вашей семье и с радостью вижу, что матушка думает так же. Сегодня она может сделать для Вас много хорошего и, уверена, хочет это сделать. Поверьте, дорогой кузен, я всегда буду с самым живым интересом внимать всему, что относится к Вам, и буду очень рада, если матушке удастся представить Вам доказательства питаемой к Вам дружбы, доказательства, кои я бы предоставила сама, имей я таковую возможность.

Мне очень приятно еще раз выразить свои искренние чувства, связывающие меня с Вами; остаюсь, дорогой кузен, Вашей доброй и любящей кузиной

Рен де Мартиньян[37].

Подобное проявление солидарности со стороны монахини, прекрасно осведомленной о похождениях своего кузена, еще раз доказывает, что в кругу семьи Сад отнюдь не ощущает себя маргиналом, особенно когда в игру вступают материальные интересы. Понимая, что наследство готово уплыть в чужие руки, мораль умолкает и «клан» сплачивает свои ряды.

Меж тем дела Донасьена идут не слишком успешно: так как де Рауссе стал законным наследником своей жены, то с этой стороны надеяться ему особенно не на что. Во-первых, потому, что де Рауссе столь же молод (или столь же стар), как и он, а во-вторых, потому, что супруг покойной имеет право распоряжаться наследным имуществом по своему усмотрению и, само собой разумеется, предпочтет обогатить собственную семью.

Однако в соответствии с сохраняющимся законодательством г-жа де Вильнев наследует третью часть состояния дочери, равного примерно ста тысячам франков. Следовательно, ее доля равна немногим более тридцати тысяч франков, то есть сумме весьма значительной. Итак, ату ее! Охота на добрую тетушку началась! Прежде всего надо создать вокруг нее пустоту:

Вокруг де Вильнев постоянно кто-то вертится, как вертелись вокруг Рауссе. Мадам де Вильнев будет составлять завещание; она проест наличные деньги, свою треть наследства в тридцать тысяч франков, и я снова ничего не получу!.. Я ничего не получу, потому что на небесах записано, что от семьи мне никогда ничего не достанется; я не получил ни единого су из наследства матери, ни су из наследства аббата, ни гроша из наследства командора, и я ничего не получу ни от де Мюр, ни от <...>[38].

Вывод: «дорогого адвоката» просят приглядеть за тетушкой де Вильнев и сделать все, чтобы вокруг нее не было «ни души».

Если вдруг с тетушкой случится несчастье, Вы понимаете, как быстро надобно будет приказать все опечатать. К тому же необходимо будет послать к ней в дом нескольких смышленых верных людей, которые предупредят Вас о дарах, сделанных друзьям и подругам, окружавшим ее с целью отобрать мое наследство, кое, как Вы правильно говорите, может перейти только ко мне, хотя множество людей (Вы это увидите) попытаются меня обобрать. Например, она сообщила мне, что отправилась в Оранж, к своей близкой подруге; но что ей там делать? Разве ей так плохо в Карпантра?[39]

Напрасно Донасьен шлет Гофриди директивы, торопит его, требует, чтобы тот действовал почтительно, но проворно, и даже обещает ему – в случае успеха предприятия – вознаграждение: беспечность управляющего остается при нем, и Саду это прекрасно известно. И вот, вместо того чтобы сгорать от нетерпения в Париже, он решает отправиться улаживать свои дела самостоятельно: отъезд назначен на начало весны 1792 года. Однако положение в Провансе, а главное, в Конта, иначе как ужасным назвать нельзя. Грабежи и резня становятся привычным делом. События в Авиньоне предвосхищают события, которым через некоторое время суждено случиться в Париже. Пресса доносит лишь отголоски этих событий, и Гофриди со всем имеющимся у него даром убеждения упорно отговаривает маркиза ехать в Прованс. Донасьен видит, что ему действительно придется отказаться от путешествия, совершить которое он так стремится, имея для этого немало причин.

К несчастью, все предельно ясно – и из газет, и из Вашего письма, коему я доверяю гораздо больше, нежели газетам, и я вновь с прискорбием должен принять как должное, что в этом году моя поездка в Прованс не состоится, и, признаюсь Вам, вынужденное решение это я принимаю с глубокой горечью. Периодические смуты, кои Вам приходится переживать, нисколько не способствуют разумному решению дел, а риск вполне очевиден.

Тем не менее присутствие мое там кажется мне необходимым, и, если к концу апреля месяца сего года Вы увидите, что спокойствие восстанавливается, прошу Вас, тотчас сообщите мне, чтобы я быстро воспользовался моментом, ибо, к несчастью, совершить путешествие сие возможно только в течение четырех самых благоприятных месяцев в году, поэтому, если мне не удастся приехать в мае, значит, поездка вновь отложится на год[40].

Лучший способ прибрать к рукам наследство еще до смерти г-жи де Вильнев (смерти ее он не желает: «Я слишком к ней привязан, к тому же Вам прекрасно известно мое бескорыстие, а значит, можете быть уверены, что даже наследство нисколько меня не утешит в случае ее утраты», – пишет он Гофриди, не скрывая более или менее осознанной иронии) – это занять у нее много денег и по-умному разместить

их, чтобы получать с них проценты, «а после ее смерти ко мне перейдет все — и капитал, и проценты». Значит, почему бы не занять у нее необходимые для покупки дома 24 000 ливров? Тогда ему не придется дробить свои земли в Арле. Он даже готов завещать ей этот дом, если вдруг он уйдет из жизни раньше ее: быть может, так она скорее согласится исполнить его просьбу... Ну же, адвокат, за работу! «Не пренебрегайте этим маневром: он может оказаться решающим!»

«Ах, что за несносный человек!»

В начале февраля 1792 года наследство Вильневов снова грозит уплыть из рук: шевалье де Сад неожиданно покидает гарнизон в Лионе и приезжает к двоюродной бабушке. Отца его чуть удар не хватил: сомнений нет, маленький шалопай займется вымогательством и сделает все, чтобы завещание было составлено в его пользу, наложит лапу на всю наличность. В мгновение ока долгие месяцы трудов, надежд, терпения превратятся в ничто. А все из-за кого? Из-за этого дурачка? Необходимо во что бы то ни стало помешать ему. Сделать это любой ценой. Впрочем, бесценное дитя наверняка действует не в одиночку — он слишком боязлив, чтобы предпринимать подобные шаги. Наверняка им руководят. Но кто? Далеко ходить не надо: разумеется, Монтреи! Опять они!

Приехав в Прованс, Клод Арман отправится в отцовские владения и станет расспрашивать о конкретных доходах, которые они приносят, а затем подробно доложит обо всем своей драгоценной мамочке, чтобы та могла составить мнение о платежеспособности Донасьена: и снова эти четыре тысячи ливров пенсиону! Теперь она узнает, что у него есть средства их выплачивать. До настоящего времени ему удавалось убедить всех, что земли его захвачены, истощены, заброшены и он ничего с них не получает. А маленький негодяй все испортит! И Сад умоляет Гофриди: «Ради Бога, не подпускайте его близко!»

Гнев де Сада на сына не знает границ; он даже угрожает лишить его наследства: «Шевалье может быть уверен, что отныне и до конца дней своих я для него более не существую. Я не люблю ни мошенников, ни шпионов. Его брат не способен на такую подлость!» Он уже убедил себя, что у него «украли» предмет его особых забот, наследство г-жи де Вильнев... «Тем хуже для него!»

> Этот негодяй займет мое место; я же, *составляя завещание*, постараюсь причинить ему весь ущерб, какой только смогу; пусть он не сомневается. <...> Уже давно меня ничто так не озлобляло, как отвратительный и мерзкий маневр этого щенка![41]

Впрочем, «Монтреева» сторона в характере Клода Армана его всегда раздражала. Он ненавидит его невзрачный облик семинариста, воспитанного в благочестии и мечтающего о своем командорстве. Действительно, рядом с братом Луи-Мари, бедный мальчик, имеет жалкий вид; брат же его просто ослепителен: независимый, артистичный, дерзкий — словом, вылитый папочкин портрет.

Через две недели маркиз наконец вздыхает свободно. Его тревога была безосновательной: отправляясь в Прованс, шевалье не имел никаких задних мыслей; впрочем, дорогое дитя на них и не способно. Разумеется, он является игрушкой в руках Монтреев, однако его врожденная гордость помешала ему прислушаться к их клеветническим наветам (переводим: этот маленький дурачок не сумел ничего сделать!). Во всяком случае, он ничего не получил. Тетушка Вильнев опустила ему в карман триста франков, и он, довольный, уехал.

Я никогда не сомневался в сердце шевалье де Сада, — с издевкой замечает маркиз, — однако слишком много людей оказывают на него тлетворное влияние. Слабый, юный и постоянно контролируемый Монтреями, он мог наделать много мелких пакостей. <...> Мне даже досадно, что малец получил всего триста франков. Дорогая тетушка не слишком-то щедра! Его визит стоил большего: путешествие-то осталось неоплаченным[42].

Что же касается наследства, то маркиз постепенно утрачивает свои иллюзии и понимает, что с этой стороны ему надеяться не на что:

Я вижу, тетушка располагает только капиталами, так что придется распроститься с мыслью занять у нее денег на покупку дома. Также я вижу, что она намерена использовать свои капиталы для *приобретений*; владея *приобретенной* недвижимостью, она вполне может отказать ее мне по завещанию. Одним словом, мне совершенно ясно, что это наследство, подобно всем прочим, от меня уплывет. Поэтому самое мое искреннее и единственное желание — чтобы тетушка жила как можно дольше и пережила меня, дабы мне не пришлось печалиться вдвойне: из-за *утраты* тетушки и утраты *наследства*[43].

Хуже всего, что Сад весь в долгах. Обустройство дома на улице Матюрен совершенно разорило его, и в начале 1792 года сумма его долгов доходит до девяти тысяч франков. Он рассчитывал поправить свои финансовые дела с помощью наследства от матери. Но, как известно, оно составило всего четыре тысячи восемьсот франков, следовательно, остается еще более четырех тысяч франков долгу, и он не знает, откуда взять денег. Он не может надеяться расплатиться гонорарами от своих книг, потому что издатели покупают рукописи, расплачиваясь векселями, отсроченными на неопределенно долгий срок. Он пишет Гофриди, что болен, сидит без гроша, нуждается в лекарствах, впал в нищету, и умоляет вытащить его из этой ямы. Конечно, он сам во всем виноват. Что ж, пусть «дорогой адвокат» его ругает: «Ну же, скорее принимайте серьезный вид, морщите лоб, хмурьте брови и два или три раза произнесите: "Ах, ну что за несносный человек!" Но только, Бога ради, пришлите ДЕНЕГ!... ДЕНЕГ!»

Через несколько недель он узнает, что его милый дом куплен за 67 000 ливров некой девицей, гражданкой по имени Пальза: она заплатила за него сумму, в три раза большую, чем он предполагал. Он по-прежнему остается квартиронанимателем, однако разочарование его велико:[44]

Теперь, как, впрочем, и прежде, только шлюхи всегда при деньгах! <...> Я был в отчаянии. Вложить деньги в дом было бы гораздо выгоднее, нежели в арльские болота. Что ж, все кончено, однако это не означает, что мне больше не требуется 24 000 ливров. Мне придется искать их в другом месте[45].

Глава XX
ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ

Воображаемый портрет де Сада, выполненный Мэн Реем, известен многим. На фоне охваченной пламенем Бастилии виден грубо высеченный в кирпичной крепостной стене могучий профиль. Этот портрет хорошо передает отношение к макризу, бытовавшее на протяжении всего XIX и большей части XX века. Даже сегодня для некоторых Сад все еще является олицетворением революции, революцией во плоти. То ли мораль его, опережая события, в сущности, оправдывает реальные ужасы, то ли он сам черпает в действительности факты, оправдывающие насилие, царящее в его сочинениях. «Сад и Робеспьер — вот поистине достойная парочка!» — восклицает добродетельный Жюль Жанен. Но так как в последний момент Террор пощадил бывшего маркиза, то Жанен тут же добавляет: «Он навел ужас даже на палачей девяносто третьего года!»[1] Биограф Мишо открыто проводит параллели между гнусным развратником и кровавым патриотом:

> После того, как Сад был уличен во множестве бесчестных поступков, ему ничего не оставалось, как встать на сторону революции, которая в своем роде освятила принципы насилия или, по крайней мере, предоставила защиту их творцам. Однако он был слишком горд своим происхождением, слишком надменен, слишком деспотичен, чтобы открыто встать под знамена равенства санкюлотов[2].

Парадокс, который представляет собой этот дворянин, либертен и вместе с тем друг Террора — до тех пор, пока он сам не стал его жертвой, — очевидно смущает всех тех, кто, подобно Жанену или Мишо, одинаково ненавидят и либертинаж, и революцию и охвачены ностальгией по Старому порядку. А как относится к Саду прогрессивный историк Мишле? Жанен, Мишо и иже с ними не видели разницы между распутством и революционным насилием. Мишле считает распутство кастовым пороком.

> Самое существование людей, подобных де Саду, лучше всего подтверждало необходимость уничтожения отвратительного произвола старой монархии. Он жил, но когда в этот мир наконец вернулось правосудие, ему по праву следовало бы первым испытать изобретение доктора Гильотена. Будучи узником Бастилии, он выставил себя жертвой режима. В то время подобный обман легко сходил за правду. Говорят, он был хорошо принят Клермон-Тоннером и другими депутатами

Учредительного собрания; санкюлоты девяносто третьего года также оказали ему хороший прием и даже сделали его председателем одной из своих секций, а именно секции Пик или площади Вандом, секции Робеспьера. <...> К тому времени ему исполнилось пятьдесят лет, и он вполне мог считаться почетным профессором преступных наук;[3] опираясь на авторитет, предоставляемый возрастом, используя изысканный стиль речи, присущий человеку его происхождения, он учил, что природа, равнодушная и к злу, и к добру, представляет собой всего лишь непрерывную цепь уничтожений, что ей нравится убивать живые существа, чтобы вновь порождать тысячи таких же существ, и что мир — одно сплошное большое преступление. Каждый временной цикл, приближаясь к завершению, рождает чудовищ: Средневековье в конце своем породило знаменитого детоубийцу Жиля де Ре; Старый порядок, уходя в прошлое, дал миру де Сада, апостола преступления[4].

Сюрреалисты закрепили за Садом это звание. Элюар и Бретон освятили равенство Сада и Революции: отныне оно стало бесспорным. «Революция нашла в нем поклонника, преданного ей душой и телом. Он сумел сопоставить свой гений с гением целого народа, обезумевшего от силы и свободы», — написал Элюар[5]. В сущности, это равенство в основном и привлекало к Саду внимание сюрреалистов. Именно благодаря ему Сад, подобно Рембо и Лотреамону, был призван, чтобы сотрясать устои общества: «Существование Сада обусловлено исключительно Революцией»[6]. В этой компании ему отводится роль «изначального мифа», где сюрреалистам хотелось бы прочесть разгадку собственной тайны: отношение к сексуальности, к революции, к мысли[7]. Сад становится участником идеологической борьбы сюрреалистов с эстетическими принципами, господствующими в обществе. Более того, они насильственно привлекают де Сада для выработки своей собственной позиции по отношению к марксизму. К этому прибавляется столь же знаменитая диалектическая дихотомия Сад/Фрейд, оспоренная Лаканом, но тем не менее способствовавшая занесению имени де Сада в стан разрушителей. Некоторые сюрреалисты (например, Арагон) ценят своего героя не столько как идеолога, сколько как возмутителя спокойствия (это очень в духе сюрреалистов, особенно дадаистов). Имя Сада, так же как и Гегеля и Лотреамона, востребовано всеми, кто причисляет себя к поклонникам безграничной, неистовой, бесконечной свободы и проповедует «беспричинное нарушение спокойствия, подстрекательство и подрыв моральных устоев» одновременно с «безупречной и неукоснительной честностью, этой непременной составляющей каждого слова и каждого поступка»[8].

В самом худшем случае — пример тому, увы, имеется — портрет Сада как гения анархии попросту фальсифицируют. В 1927 году Арагон, Бретон, Элюар, Пере и Юник вступили в коммунистическую партию, дабы эффективнее творить революцию. Подобная массовая акция делает сложной, чтобы не сказать невозможной, ведение дискуссии «Сад и сюрреалисты». Остается только дискуссия с материалистами-атеистами: за исключением ряда исторических параметров, они вполне могли бы вступить в диалог с атеистом де Садом. В остальном же, то есть во всем, что касается политической мысли, объединение может происходить только по причине крайней наивности или плохого

знания сочинений маркиза. Посмотрим, что пишет сюрреалист Элюар, обуреваемый жаждой деятельности, присущей всем неофитам, в статье от 15 февраля 1927 года, которую он дерзнул опубликовать в коммунистическом журнале «Кларте». В ней Сад называется философом-материалистом, предшественником Прудона, Фурье, Дарвина, Мальтуса, Спенсера, а сверх того автор пытается представить его прародителем современной психиатрии. Чтобы привлечь публику, которую наверняка возмутили бы сексуальные посылки Сада, Элюар убирает насилие из текстов маркиза, заимствуя цитаты и диалоги исключительно из политических сочинений, целомудренно исключая все, что противоречит марксистской ортодоксии, доводя подчистку вплоть до умалчивания либо произвольного изменения некоторых деталей биографии. Подобное «отбеливание» приводит в ярость Жоржа Батая: «Разумеется, сюрреалистам наплевать <...>, что Сад, вероломно кастрированный своими апологетами, начинает приобретать облик идеального моралиста».

Андре Бретон высказывается более критично — или более прозорливо — о политических пристрастиях де Сада. Для него «Сад — это сюрреалист в садизме»; таким образом он возводит подлинную суть этого человека к мифу. В остальном же, чтобы понять уровень его скептицизма, достаточно прочесть короткий отрывок из «Сюрреалистической революции»:

В период всевластия Конвента совершил ли Сад хотя бы один контрреволюционный проступок? Стоит только задаться подобными вопросами, как сразу становится понятно, как следует оценивать свидетельства тех, кого больше с нами нет. Слишком много мошенников заинтересованы в успехе этого духовного ограбления, но я на их поле не игрок. Во всем, что касается мятежа, никому из нас не следует ссылаться на авторитет предков. Хочу уточнить: на мой взгляд, не следует доверять культу отдельных личностей, какими бы великими личности эти ни казались. Только один человек стоит особняком: Лотреамон, остальные же так или иначе совершали на своем жизненном пути неоднозначные поступки[9].

* * *

Сразу же после начала Второй мировой войны на автора «Ста двадцати дней Содома» обрушились гораздо более серьезные обвинения. Без всякого перехода его перебросили из лагеря воинствующих коммунистов на крайний правый фланг; некоторые отбрасывали его еще дальше, в стан нацизма, и без колебаний усматривали в нем теоретика газовых камер. В своей книге «Чтение для фронта» Раймон Кено пишет:

Несомненно, мир, созданный воображением де Сада по требованию его героев (почему же не самого автора?), является порожденным галлюцинациями прообразом мира, где с помощью пыток и концлагерей правит гестапо. Философия Сада также является составной частью сюрреалистической идеологии, хотя начиная с 1939 года Бретон неоднократно подчеркивал имеющиеся затруднения при толковании сочинений этого автора. Пусть Сад лично не принимал участие в терроре (причину этого прекрасно объяснил Деборд), пусть сочинения его имеют глубоко человеческий смысл (чего никто не может оспорить), однако это вряд ли удержит кого-либо из тех, кто в большей или меньшей степени поддержал тезисы маркиза и, отбросив лицемерие, стал рассматривать вопрос о реальных лагерях смерти со

всеми их ужасами, лагерей, существующих уже не в голове одного человека, а созданных на практике тысячами фанатиков. Как бы это ни было неприятно, философские постулаты дополняются горами трупов[10].

Дата публикации объясняет подобный текст: 3 ноября 1945 года. Полгода назад союзники освободили Бухенвальд, Дахау, Равенсбрюк.

С тех пор большинство интеллектуалов причисляет Сада к извергам Третьего рейха. В то время как Симона де Бовуар в газете «Ле там модерн» задается вопросом, стоит ли отдавать Сада на заклание[11], подобный вопрос задает себе и Сартр. Альбер Камю, не рискуя открыто осудить маркиза, напоминает об ответственности писателя. Низведя человека до состояния подопытного животного, изобретатель Общества друзей преступления вполне смог бы дать урок теоретикам власти, «как им следует организовать время рабов».

Вместе с ним начинаются подлинные история и трагедия современности, — продолжает Камю. — Он всего лишь верил, что общество, основанное на свободе преступлений, должно отличаться свободой нравов, ибо границы есть только у рабства. Наше время загадочным образом ограничилось тем, что переплавило мечту о всеобщей республике в одном горниле со способами унижения человеческой натуры. В конце концов, то, что он ненавидел более всего, а именно узаконенное убийство, присвоило себе те открытия, кои он хотел поставить на службу убийства стихийного, инстинктивного. Преступление, которое, по его мнению, должно было являться исключительно сладким плодом ничем не сдерживаемого порока, является сегодня всего лишь унылой привычкой добродетели, поступившей на службу в полицию. Таковы сюрпризы литературы[12].

С появлением в 1965 году пьесы Петера Вайса «Марат-Сад» началась новая переоценка философии де Сада; во всяком случае, в пьесе были поставлены — пусть лишь в зародыше — наболевшие вопросы, ответить на которые общество оказалось неспособным, что и привело к студенческим волнениям шестьдесят восьмого года. Однако образ самого Сада, автора, актера и зрителя психодрамы под названием Террор, по-прежнему не умещался в отведенные ему рамки и продолжал вызывать недоумение. Маркиз по-прежнему путал все карты. Пересадив Сада на почву Италии времен Муссолини («Сало», 1975), Пазолини также не устранил двойственности этого образа.

В 1966 году на страницах «Нувель Обсерватер» была напечатана дискуссионная статья «Надо ли сжигать книги божественного маркиза?»[13] Один из читателей, Пьер Фавр, автор вышедшей год спустя книги «Сад-утопист», решительно настроенный разрушить миф о Саде-революционере, удивлялся, отчего

Сад необъяснимым образом присутствует во всей левацкой литературе, хотя никто не может убедительно доказать, в чем состоит влияние его идеологии. Необходимо, — заключает он, — покончить с постоянным — то там, то здесь — присутствием Сада, которое становится не только назойливым, но и навязчивым, ибо из-за него у читателей может сложиться абсурдное впечатление, будто между Садом и мыслителями левого толка существует тесная связь.

Отталкиваясь от, мягко говоря, спорного постулата, выдвинутого левацкой интеллигенцией, пытавшейся отыскать в сочинениях де Сада

«руководство к действию» (утверждение, коего мы уже касались выше), Пьер Фавр выстроил против маркиза настоящую обвинительную речь, неожиданно вылившуюся в конце концов в заявление, что философия Сада ведет к нацизму и геноциду! Неприкрытый пафос, искусственность и изъяны Фавра не ускользнули ни от Жильбера Лели, ни от Мориса Бланшо, приглашенных ответить на выступление этого автора на страницах того же журнала. Мы не станем рассматривать аргументацию Фавра («свидетельствующую, – по словам Мориса Бланшо, – о неглубоком и невнимательном прочтении первоисточников»).

Не столь давно в журнале «Эспри» была опубликована статья Колетт «Капитан Петер», в которой проводятся параллели между «моррасизмом*, садизмом и нацизмом», так как в основе всех трех учений лежит «идея насилия»[14]. Филипп Роже блестяще доказал полную произвольность подобных сравнений и непоследовательность автора статьи, наивно признавшегося, что рассматриваемые ею «социально-политические концепции радикально отличаются друг от друга»[15].

В августе 1989 года к живучей дихотомии нацизм/садизм вновь обратилась Элизабет Бадентер[16]. От автора биографии Кондорсе можно было ожидать более тщательного подхода к литературным сочинениям или, по крайней мере, более точного определения мировоззрения де Сада в политической философии той эпохи. Во всяком случае, нам кажется, не лишним будет напомнить, что автор «Ста двадцати дней Содома» был также первым писателем, выступившим против смертной казни...

* * *

Политическая мысль де Сада бесконечно сложна и не поддается поверхностному анализу, она чрезвычайно изменчива, поэтому приходится выхватывать из нее отдельные застывшие определения. Политические взгляды де Сада подобны быстрой реке, изобилующей подводными течениями и камнями, с которыми всякий раз сталкивается пловец, дерзнувший в нее заплыть. Приходится постоянно помнить о непостоянстве маркиза, о противоречивости его натуры, о его колебаниях и заблуждениях, о его идефиксах. Только беспристрастный анализ его письменного наследия может пролить свет на этот вопрос. Естественно, при условии предварительного критического осмысления источников и их строгого отбора. Даже если в романах и письмах – своих собственных, а также в письмах близких – Сад выглядит меньшим конформистом, нежели в собственно теоретических текстах, тем не менее приходится учитывать еще целый ряд факторов, существенно влияющих на смысл, а именно: время написания или публикации, личность адресата, повторное написание, цензура, перлюстрация и т. п.

* Моррасизм – учение, название которого образовано от имени Шарля Морраса (1868–1952), в 30-е годы возглавлявшего французскую профашистскую организацию «Аксьон франсэз».

Имея дело с письменными источниками, представляющими собой особые кодированные послания, предназначенные для специфических целей, необходимо досконально проверять их происхождение.

Более или менее ясно одно: тот, кто станет исходить из одних только «речей», «петиций», «замечаний» и прочих политических заметок Сада, написанных чаще всего по случаю, ради самооправдания или с пропагандистскими целями, и предназначенных чаще всего для демонстрации его патриотического рвения, быстро увидит в нем певца революции. Однако он сам предостерегает нас от столь поспешных выводов, открыто признаваясь в своем оппортунизме в одном из писем к Гофриди:

> Вы спрашиваете меня, дорогой адвокат, каков мой образ мыслей, дабы Вы могли следовать ему. Разумеется, вопрос сей далек от утонченности, и я, к величайшему своему прискорбию, вряд ли смогу правильно на него ответить. Прежде всего, будучи литератором, я здесь каждодневно обязан работать то на одну партию, то на другую, что порождает определенную подвижность моих мнений и, несомненно, влияет на мои внутренние убеждения[17].

Потомок древнего рода

Сад никогда не стремился к придворной жизни. Его отец, прекрасно изучивший все западни, которые она готовит новичкам, сумел внушить ему отвращение к ее призрачным соблазнам, лжи, принуждениям и опасностям. Впрочем, внушение, очевидно, оказалось лишним, ибо независимая натура маркиза и скандал, постоянно окружавший его имя, в любом случае закрыли бы ему доступ ко двору. Особенно при Людовике XVI, государе гораздо более строгих нравов, нежели его предшественник[18].

Подобное презрение ко двору, обычно сопровождаемое плохо завуалированным недовольством режимом абсолютизма, было широко распространено среди старинного дворянства, и прежде всего — провинциального, которое никогда не бывало в Версале, но составляло большую часть дворянского сословия. Действительно, уже при Людовике XIV древность рода перестала быть главным компонентом для достижения социального превосходства. В ход были пущены другие критерии — богатство, культура, доступ к королевским щедротам, — позволившие лицам, недавно приобретшим дворянские титулы, занять самые высокие гражданские и военные должности. Не довольствуясь принижением роли исконного дворянства и умалением власти сеньоров, монархическое государство создало широкий слой новоиспеченного дворянства, пожаловав титулы цвету своих слуг из простонародья. Отсюда возникает система конкурирующих элит, в которой недавние простолюдины оказываются в более выгодном положении благодаря своему богатству. Отсюда ностальгия исконных дворян, выразителем устремлений которых является Сад, по тому феодальному раю, «когда сеньоры безраздельно властвовали в своих землях», и тем славным временам, «когда во Франции вместо тридцати тысяч холопов, пресмыкающихся перед

своим единственным сувереном, хозяйничали бесчисленные суверенные властители»*.

Один из главных конфликтов конца XVIII века — это оппозиция между сеньором из знатного древнего рода и недавно аннаблированным господином. Не доходя до прямых выступлений, родовитая аристократия тем не менее требует восстановления своих исконных прав при дележе власти. Если некоторые из ее представителей могут даже провозгласить себя противниками монархии, то, разумеется, не в пользу республиканских идеалов, а в поддержку той феодальной системы, которую они создали в своем воображении. В 1787–1788 годах идея аристократической революции даже начала пробивать себе дорогу. Старинное дворянство было единодушно в своем требовании «обезбурбонить Францию»[19].

До 1789 года Сад являет собой архетип родовитого сеньора, принадлежащего к «дворянству шпаги», гордого своими предками, ревниво относящегося к соблюдению данных ему от рождения прав и ностальгирующего по прошлому. Как и его «собратья по шпаге», он исполнен глубочайшего презрения к «дворянству мантии», чьи предки были выходцами из буржуазии. Однако он прекрасно знает, какую угрозу новое дворянство представляет для аристократии, ведь эти люди не только богаты, но и отличаются единством мировоззрения. Это презрение нашло свой выход в его отношении к Монтреям, «дворянам мантий», разбогатевшим на торговле: на них он изливал всю свою ненависть исконного дворянина к анноблированным нуворишам.

Скажите, прошу Вас, — писал он жене в июле 1783 года, — это моя кума *Кордье* или же мой кум *Фулуазо* не желает, чтобы у меня были новые рубашки? Отказывать в белье можно узникам приюта для бедных, но не мне. Ваша низость, низость Вашего происхождения, низкое происхождение Ваших родственников сказываются во всем! Душенька моя, когда я забылся до того, что решил продаться Вам, я сделал это для того, чтобы рубашек было много, а не для того, чтобы мне в них отказывали. Советую Вам и всей Вашей своре запомнить эту фразу, пока я не приказал отпечатать ее у Вас на лбу[20].

Его классовые предрассудки поистине безграничны. Пребывая в состоянии возбуждения, усиленного неврозом, он, словно оса, всегда держит наготове жало, чтобы атаковать власть, и пуская его в ход, повинуется исключительно причудам своего настроения, даже когда речь заходит об основных мишенях его гнева — министрах и начальниках полиции; так, например, в январе 1780 года он пишет Юности о Мопу и Сартине:

Можно дурно отзываться о правительстве, о короле, о религии: все сойдет с рук. Но шлюху, сударь мой Кирос, шлюху, черт побери, оскорблять не смей, ибо тотчас сбегутся все эти Мопу, Сартины, Монтреи и прочие бордельные приспешники и, как и *положено солдафонам*, встанут на защиту шлюхи и *бестрепетно* приговорят вас, дворянина, к тринадцати или пятнадцати годам тюрьмы — за какую-то шлюху[21].

---

* *Маркиз де Сад.* Насмешка судьбы. ... С. 518.

Когда шевалье дю Пюже намекнул ему, что не следует обращать внимания на то, кем были эти люди раньше, Сад не стал возражать.

Совершенно справедливо, — соглашается он, — когда добродетели заставляют забыть об их происхождении; их следует ценить гораздо выше, чем какого-нибудь бесполезного или глупого аристократа, который может предъявить обществу только древний пергамент с записью заслуг своих предков, дабы все могли понять огромную разницу, что существует между его предками и им самим. Но когда сын садовника из Витри (Лом. — *М.Л.*), сын лодочника из Авиньона (Мирэ. — *М.Л.*), сын надзирателя на галерах (Журдан де Сен-Север. — *М.Л.*)*, только что воспрявшие из подлости и грязи, тащат на места, занять которые им удалось бесчестным путем, все гнусные пороки своего происхождения, то, сами того не замечая, они погружаются в мерзкую липкую жижу, предназначенную для них самой природою, а когда они задирают нос, то, на мой взгляд, становятся похожи на омерзительных и грязных жаб, высунувших из грязи свои морды только затем, чтобы вновь нахлебаться этой грязи и раствориться в ней[22].

Столь удручающий портрет сумевших кое-чего добиться выходцев из простонародья датирован 1788 годом. Об этом еще придется вспомнить.

Такая же аристократическая надменность царит в отношениях сеньора Ла-Коста со своими вассалами, крестьянами и арендаторами, к которым, как ему кажется, он питает исключительную нежность. Строки, приводимые ниже, написаны на следующий день после выстрела папаши Трейе (21 или 22 января 1777 года):

Я убедился, что жители Ла-Коста — сплошь висельники, и, разумеется, настанет день, когда я скажу им все, что о них думаю, выскажу все свое к ним презрение. Уверяю Вас, если бы их всех, одного за другим, стали поджаривать на костре, я бы, не моргнув глазом, начал подбрасывать в сей костер хворост. Пусть не сомневаются, в урочное время и в урочном месте они у меня за все заплатят сполна. <...> Сегодня какой-то чужак, угрожая пистолетом, заявился требовать свою дочь, завтра какой-нибудь крестьянин, угрожая мне ружьем, явится требовать свою поденную оплату. Не слишком ли много им дано воли, коли одни могут ходить в лес на охоту, другие — в горы <...>?[23]

Старший сын дворянина с самого рождения предназначен для воинского ремесла. Для него нет иного способа выбраться из своей вотчины, которая не может толком прокормить его семью. Именно для него, несмотря на имевшиеся протесты, эдикт 1781 года зарезервировал офицерские чины. Граф Сен-Жермен открыл дюжину военных школ — в том числе в Бриенн-ле-Шато и Ла-Флеше, — чтобы шестьсот юных дворянских отпрысков могли подготовиться к военной карьере[24]. В этом вопросе маркиз де Сад также разделяет предрассудки своей касты. Его мало интересует образование младшего сына, образование дочери не интересует вовсе, зато он постоянно озабочен состоянием дел у Луи-Мари, этого украшения семьи и продолжателя рода. Негодуя при одной только мысли, что сын может служить в полку, недостойном его имени, он тотчас адресует горькие упреки жене:

Ничто не заставит меня смириться с тем, что сын мой будет служить младшим лейтенантом в пехотном полку, и он там служить не будет. Если Вы позволите ему

---

* Лом, Мирэ, Журдан — офицеры, служившие в гарнизоне Бастилии.

это сделать против моей воли, даю Вам слово чести, что заставлю его покинуть этот полк, и употреблю для этого все имеющиеся у меня средства. <...> Ваш сын мог бы служить в полку Субиза, но при условии, что у него в кармане будет лежать патент полковника, хотя даже в этом случае я бы этого не хотел. Уверен: он должен служить только в полку карабинеров[25]. Едва он встал на ножки, как я уже принял это решение и не собираюсь его менять. Если для этого нужно 20, 40 тысяч франков, я готов их дать. <...> Ради этой цели я готов продать все, занять, пообещать, а если потребуется, то и обойтись без самого необходимого[26].

В том же письме он требует от молодого человека, которому в ту пору исполнилось семнадцать лет, подчиниться его давно вынашиваемому решению:

У меня нет сына, способного против моей воли поступить в полк, где мне не хотелось бы его видеть. Такой сын может быть у председательши де Монтрей, но не у меня; и я уверен, сударь, что получу от Вас письмо, где Вы дадите мне честное слово, что станете служить только там, где велю Вам я. До тех пор, пока Вы не дадите мне такого слова, лучше мне не пишите[27].

Спустя несколько дней он вновь возвращается к этому вопросу и даже начинает угрожать:

Сударь, я только что узнал, что родственники Вашей матери прочат Вас в один из недавно сформированных пехотных полков в чине младшего лейтенанта. Запрещаю Вам, сударь, соглашаться на это предложение; Вы не созданы быть младшим лейтенантом в пехоте, я этого не переживу. Вы или не будете служить вовсе, или же будете служить под командованием г-на де Шабрийана, Вашего родственника, в корпусе карабинеров[28].

Если же я, сударь, узнаю, что, несмотря на мой запрет принять этот пост, Вы имели слабость подчиниться родственникам, от которых Вы, пока жив Ваш отец, нисколько не зависите, можете распрощаться со мною навсегда, ибо я больше не желаю Вас видеть[29].

* * *

Родовитый аристократ, насчитывающий многие поколения благородных предков, проникнутый кастовой гордостью, разделяющий все привилегии, чаяния и надежды своего сословия, маркиз де Сад тем не менее прекрасно понимает, каковы ставки в реальной игре. С проницательностью, отличающей его от его собратьев по касте, он знает, что партия проиграна, аристократия приходит в упадок, становясь жертвой внутренних противоречий экономики, основанной исключительно на владении землей. Он не строит иллюзий относительно своего будущего и предчувствует, что общественная динамика, все конвергентные силы прямо или косвенно работают на возвышение буржуазии.

Сознание принадлежности к обреченному классу способствует возникновению ностальгии. Не слишком расположенный к воспоминаниям, он все же не может сдержать волнения, когда в 1781 году пишет жене:

Знаешь ли ты, кому прежде принадлежал дом напротив Люксембургского дворца? О, разумеется, ты это знаешь не хуже меня. Это *особняк де Майе*. Там жили мои предки во времена Людовика XIII. Тогда в нем размещалось многочисленное семейство де Майе, а теперь вряд ли найдется даже какой-нибудь захудалый откупщик, который захотел бы сделать его своим домом[30].

Более прозорливый, чем остальные, Сад, несмотря на свое заключение, считал, что он предсказал революцию. Его роман «Алина и Валькур», вышедший в 1795 году, имел следующее указание: «Написано за год до революции во Франции». Указание абсолютно точное, потому что писать его он начал между 28 ноября 1785 года, датой окончания «Ста двадцати дней Содома», и 1 октября 1788 года, когда он упоминает о нем в «Комментированном каталоге» своих произведений, работа над которым была прекращена как раз в указанное время. Поэтому он на законных основаниях может гордиться — и он не лишает себя этого удовольствия — тем, что уже в 1788 году предвидел великий раскол французского общества. В «Предисловии издателя» мы читаем:

Самое необычное, что произведение это написано в Бастилии. Автор его, находясь во власти сил деспотизма, тем не менее разглядел грядущую Революцию; столь необычная прозорливость вполне закономерно пробуждает к сочинению его живой интерес[31].

Действительно, ряд персонажей его романа предсказывают падение Старого порядка и установление Республики[32]. Так, кюре де Берсей заявляет Детервилю:

Ваш нынешний Вавилон рухнет так же, как рухнул град Семирамиды, исчезнет с поверхности земного шара, как исчезли цветущие города Греции, причиной гибели которых, как и причиной гибели Вавилона, стала вызывающая роскошь; и государство, устав украшать сей новый Содом, так же, как и он, погибнет под его позлащенными руинами[33].

А ниже Заме предсказывает Сенвилю:

Настанет время, когда вы, французы, сбросите ярмо деспотизма и тоже станете республиканцами, потому что только республиканский способ правления достоин такой искренней, такой энергичной и гордой нации, как ваша[34].

А еще дальше мудрый старец, прощаясь со своим гостем, говорит ему:

О Сенвиль! У тебя на родине готовится великая революция; преступления ваших правителей, их поборы и бесчинства, их разврат и глупость утомили Францию; она больше не может терпеть деспотизм и вскоре разорвет его цепи. Став свободной, эта гордая страна Европы удостоит чести взять в союзники все народы, которые установят у себя республику[35].

В порыве прозорливости Сенвиль, воодушевившись, восклицает:

О Франция, уверен, настанет день, когда ты прозреешь: скоро граждане твои разобьют скипетр деспотизма и тирании и, повергнув к стопам твоим негодяев, прислуживающих и одному, и другой, поймут, что свободный народ по природе и гению своему должен доверять управление собой только самому себе[36].

Трижды в постраничных примечаниях автор выражает удовлетворение собственной прозорливостью: «Согласись, читатель, что заключенный в Бастилии должен был обладать недюжинными талантами, чтобы в тысяча семьсот восемьдесят восьмом году сделать подобное предсказание»; «Здесь, равно как и в ряде иных мест, мы просим читателя обратить внимание на то, что сочинение сие было написано за

год до Революции»; «Не стоит удивляться, что за подобные принципы, уже давно высказываемые нашим автором, его заставили томиться в Бастилии, где его и нашла Революция»[37].

Подобная настойчивость рождает подозрения. Ведь в ответ вполне можно было бы сказать, что, предугадывая в 1788 году события 1789 года и даже следующих лет, не нужно было обладать даром ясновидения: другие уже все давно предсказали. Ему же предсказывать было и того проще: ведь «плод многолетних трудов» «Алина и Валькур», вышел только в 1795 году, то есть через семь лет после начала Революции! К тому же нам известно, что в течение всех этих семи лет Сад постоянно дорабатывал свой текст, дабы, по его собственным словам, согласовать его «с повесткой дня» и придать ему «тот мужественный и суровый облик, который более всего пристал свободной нации»[38]. Без сомнения, он воспользовался этим сроком, чтобы украсить текст своими «пророчествами». Ибо пророчества его кажутся излишне точными, его заинтересованность добавить их постфактум совершенно очевидна, а его кивки в сторону читателей слишком нарочиты. Особенно настораживает его патриотическое рвение, ибо известно, что в 1788 году в других своих писаниях он без колебаний называл простолюдинов «жабами», «грязью» и «мерзкой слизью».

Накануне 1789 года идеология Сада отличается от идеологии других аристократов только разве что стремлением вернуться во времена феодализма. Нет, разумеется, он не уповает на возврат к классическому феодализму: он слишком хорошо понимает исторический процесс, чтобы желать возвращения в прошлое; поражение аристократов в «Алине и Валькуре» ярко свидетельствует об этом. Он прекрасно понял, что буржуазия, лучше приспособленная к новым экономическим требованиям, рано или поздно будет призвана занять место господствующего класса. Означает ли это, что дворянство должно признать себя побежденным? Нисколько. Но чтобы выжить, ему надо преодолеть свое отвращение к буржуазным ценностям и сделать их своими. Политический прагматизм должен волей-неволей привести его к созданию объективных условий для союза двух классов: такова цена его спасения. Это предполагает отказ от некоторых привилегий, а со стороны монарха — раздел власти. Иначе говоря, для спасения дворянства необходимо пересмотреть устои Старого порядка.

«Так вы поддерживаете короля?»

На следующий день после освобождения, а именно 19 мая 1790 года, в письме к Рейно Сад изложил свои чувства к революции:

Не вздумайте причислять меня к ее ярым сторонникам. Заявляю: я лицо беспристрастное, и понесенные мною утраты не могут не вызывать у меня досаду; но еще более я скорблю, когда вижу в цепях моего монарха и прихожу в смятение, кое Вы, сударь, в провинции пока еще не ощутили, ибо смятение мое порождено уверенностью, что невозможно сотворить и продолжать творить добро и одновременно ограничивать волеизъявления монарха при помощи тридцати тысяч вооруженных зевак

и двадцати пушек; впрочем, я не слишком жалею о Старом порядке. Решительно, он принес мне слишком много несчастий, и я не стану его оплакивать. Таков мой символ веры, и я заявляю об этом без всякой боязни[39].

Основное свидетельство, противоречащее утверждениям тех, кто до сих пор упорно считает Сада одним из первых санкюлотов, в то время как он с возмущением смотрит на то, как *его* короля лишают слова, а монархическую власть ограничивают с помощью силы взбунтовавшегося народа. Если он не слишком сожалеет о Старом порядке, то лишь потому, что не видит подлинного противоречия между аристократическим духом и либеральными требованиями. В принципе он не имеет ничего против конца абсолютизма: он слишком пострадал от этого режима, чтобы не аплодировать его падению. Признательность отнюдь не принадлежит к основным его добродетелям, но тем не менее он хорошо помнит, что своим освобождением обязан именно Революции, отменившей королевские приказы о заключении в тюрьму без суда и следствия. Будучи, без сомнения, монархистом и испытывая искреннюю симпатию к личности короля («Обожаю короля», — заявил он однажды), Сад тем не менее не раз обрушивается на политику, направленную на реставрацию старого порядка, иначе говоря, проявляет себя как «критический» монархист.

Политические взгляды Сада ближе всего ко взглядам сторонников английской монархии. Взяв за образец английскую монархию, группа депутатов Учредительного собрания, среди которых Мунье, Лалли-Толландаль, Малуэ и Станислас де Клермон-Тоннер, ратует за парламент по английской модели — двухпалатный и обладающий законодательной властью. Девиз «монаршьенов» (так по-французски именуются сторонники монархии английского образца) — Нация, Король, Закон. Их символ — Лафайет. Их теоретик — Мунье, этот, по определению г-жи де Сталь, «разумный пассионарий», сумевший собрать под знамена своих идей противников абсолютизма. Подозрительно относящиеся к любым политическим катаклизмам, исповедующие такие фундаментальные ценности, как прогресс и терпимость, «монаршьены» причисляют себя к проводникам идей философии Просвещения. Ведомые честолюбием, они требуют взвешенных реформ общественных институтов под эгидой просвещенного монарха, остающегося лучшим гарантом национального возрождения. Короче говоря, они мечтают о монархической революции, позволяющей примирить права принцев и права человека.

Эти люди разделяют одни те же мнения о политическом устройстве, не доверяют демократии и хотят заимствовать у англичан пример свободного правительства, опирающегося на исторические традиции, то есть на *наследные права*, гарантированные не заменой одной абсолютной верховной власти на другую, а посредством нового установления равновесия властей[40].

Такой язык Саду понятен. Противник «якобинской фракции», которую он всегда ненавидел, сторонник конституционной монархии по английскому образцу, уважительно относящийся к королевской власти, короче говоря, принадлежащий к так называемому «умеренному» крылу реформаторов, он, разумеется, занял свое место в клубе Беспри-

страстных, основанном его родственником Клермон-Тоннером вместе с Малуэ (в январе 1790 года) в противовес Якобинскому клубу.

Однако это не мешает Саду раздобыть себе 1 июля 1790 года карточку «активного гражданина» секции площади Вандом, будущей секции Пик, которая станет одной из самых радикальных секций Парижа. К этому времени он отказывается от частицы «де» и просит называть его Луи Сад, что кажется ему гораздо более демократичным. Почему *Луи*? Согласно семейной традиции это имя отец намеревался ему дать с самого рождения. Неудачный выбор, потому что с 1792 года многие будут менять его на другое, менее «монархическое».

Сознательный член секции, Сад регулярно посещает собрания, проходящие не реже одного раза в десять дней в церкви Капуцинов, однако активного участия в них не принимает. Он скрупулезно исполняет свой долг гражданина, стараясь при этом стушеваться как только возможно, что нисколько не соответствует его темпераменту. Стоит ли рассматривать его активность как определенную позицию? Разумеется, нет. Изначально муниципальные секции объединяют граждан различных сословий и убеждений, и умеренные имеют в них сильное влияние, особенно на западе столицы, где их численность превышает численность *бешеных*. Все, от крупного банкира до уличного разносчика, от владельца магазина до ремесленника и мелкого рантье, выстраивают практически непреодолимый барьер перед крайне радикальными мерами. В тот момент, когда в секцию площади Вандом записывается Сад, члены ее еще не охвачены экстремистской лихорадкой. Поэтому поступок его следует рассматривать как необходимую меру предосторожности, принятую перед лицом грядущих событий, и не больше. Это минимальный залог, который он согласен предоставить под натиском фактов. В ожидании, пока не настанет...

К тому же для многих революция уже завершилась: осталось только примирить ее с монархией и зафиксировать это примирение в конституции. Сад может этому только радоваться, ибо его карьера литератора во многом зависит от гражданского мира: для него сейчас мир этот необычайно важен. Его честолюбию нет дела до изменения основных законов королевства: он хочет видеть в театре свои пьесы. Ради этого он готов пожертвовать своим дворянством, готов предоставить новому режиму залог своей благонадежности. Вначале это ему ничего не стоит, ибо он согласен с идеями, господствующими в обществе. Но очень скоро развитие политической ситуации заставит его идти на новые уступки, постепенно, ежедневно уводящие его все дальше от его первоначальных убеждений и каждый день отгрызающие по кусочку его свободы, до тех пор пока он окончательно не скатится до положения заложника революции, рождение которой он с энтузиазмом приветствовал.

* * *

Четырнадцатого июля 1790 года, в первую годовщину взятия Бастилии, Сад отправляется на праздник Федерации. В первую очередь зре-

лище это привлекает его как любителя театра, и только во вторую — как гражданина. Надо сказать, действо и впрямь поставлено с размахом: на эспланаде Марсова поля оборудован огромный зеленый амфитеатр; по обеим сторонам высятся земляные насыпи, где разместили по тридцать рядов скамеек с каждой стороны. В глубине, перед Военной школой, воздвигнута крытая трибуна, предназначенная для офицерского корпуса и посланников. В центре углом выступает королевская трибуна — чтобы все могли видеть короля. На другом конце эспланады высится огромная триумфальная арка высотой 25 метров с тремя проемами; это лучшее место для наблюдения за представлением, и предназначено оно для привилегированных особ: они разместятся на ее вершине. Сад, скорее всего, наблюдает за парадом с трибун — затерявшись в толпе, скрывшись под одним из бесчисленных пестрых зонтиков, что раскрываются над головами, превращая скамьи амфитеатра в поле распустившихся пионов. С самого утра на город обрушились потоки воды. Но погасить энтузиазм 300 000 федератов, прибывших в Париж со всей Франции, не сумел бы даже настоящий потоп: несмотря на грозу, прибывшие осаждали зрительские трибуны.

Вот как Сад рассказывает об этом примечательном дне Гофриди:

Это зрелище описать в деталях невозможно, его надо видеть. Я находился на прекрасных местах, но тем не менее в продолжение шести часов дождь беспрестанно барабанил по моей спине. Это обстоятельство все омрачило, и многие утверждали, что таким образом Господь пожелал сказать, что он причисляет себя к *аристократам*. Никогда еще ни на одном празднике не царил такой порядок; и все же каждый праздник всегда сопровождается происшествиями. И в этот раз один человек был убит и двое ранены пушечным выстрелом — по неловкости. А в довершение праздник сей, предназначенный установить всеобщую любовь, породил раздор. Все пришло в еще большее смятение, чем прежде. Хотят, чтобы король принес присягу на алтаре... Какая низость! Где еще присяга будет более священной, облеченной в более возвышенные слова, нежели когда ее произносят среди представителей нации? Все это крючкотворство порождает партия орлеанистов, единственным желанием которой является развязывание гражданской войны. Если она восторжествует, мы погибли[41].

Нет никаких сомнений относительно состояния души Сада: он полностью принял этот праздник братства, символизировавший единение или, скорее, иллюзию единения вокруг завоеваний революции и желание народа продемонстрировать свой «патриотизм». Тем не менее его охватывает беспокойство. В дни, предшествовавшие собранию на Марсовом поле, по столице ходили безумные слухи, сеявшие панику в обоих лагерях: среди аристократов, содрогавшихся при одной только мысли увидеть Париж во власти революционных сил, и среди народных масс, опасавшихся, что во время торжества аристократы организуют переворот и захватят власть. Заговорщический психоз не пощадил никого. Даже маркиза де Сада, приписавшего мышиной возне герцога Орлеанского и его партии важность, которой те, разумеется, не имели, но которую им охотно приписывали сторонники Людовика XVI. Зато нет оснований сомневаться, что король втайне мечтает о восстановлении прежнего порядка и серьезно задумывается о контрреволюционном перевороте.

Что же касается ненависти Сада к орлеанской партии, то он никогда не делал из нее тайны: она является одной из редких путеводных нитей в лабиринте его политической мысли; с особой силой она найдет свое выражение в «Истории Жюльетты» (пятая часть), где персонаж по имени граф Браге, великий магистр шведских масонов и глава заговора против Густава III, чрезвычайно напоминает Филиппа Эгалите, великого магистра Французской ложи Великого Востока, записного развратника и профессионального провокатора. Для тех, кто сомневается в этом сходстве, внизу страницы имеется примечание: «Скажи, гений стокгольмской революции, не прошел ли ты нашу парижскую школу?»

* * *

К концу октября 1790 года клуб Беспристрастных, объединявших сторонников английской монархической системы, исчез, уступив место Обществу друзей монархической Конституции, полноправным членом которого стал Сад. В одном из сохранившихся отрывков письма к Гофриди можно прочесть, что, «нерушимо связанный узами крови и дружбы с графом де Клермон-Тоннером и его интересами, [он] не смог не стать членом монархического клуба, главой и основателем которого в своем роде является [Станислас]»[42]. Помимо привязанности, питаемой им к своему кузену, он ощущает полную идейную общность с членами клуба.

По примеру якобинцев, но с целью непременно нанести им поражение, новый клуб множит свои филиалы в провинции и благодаря раздаче хлеба местным жителям быстро завоевывает популярность. Члены его, чурающиеся как предрассудков Старого порядка, так и пылкости новаторов, делают девизом своим слова «Свобода и Преданность». Закон, с помощью которого правит король, по-прежнему остается для этих монархистов верховной властью. Национальное собрание провозгласило королевскую особу священной и неприкосновенной, трон — неделимым, а корону — наследственной, и все это согласно Конституции. Именно такую Конституцию эти люди и защищают. Они отвергают усилия, направленные на свержение монархии, порицают писателей, разжигающих пламя беспорядков, и людей, призывающих к подрыву монархических устоев. Оплотом борьбы с дурными декретами они считают законность. У них есть собственный печатный орган — еженедельная «Газета Общества друзей монархической Конституции», первый номер которой вышел в субботу 18 декабря 1790 года.

Якобинцы и их сторонники, прекрасно осведомленные об активности своих противников, очень быстро разоблачают демагогические маневры друзей монархической Конституции и начинают кампанию по разоблачению истинных целей общества. Так, в частности, их обвиняют в проповеди произвола и раздаче милостыни сомнительного происхождения, то есть полученной от двора или же из-за границы (что является правдой). Также их подозревают в тайном стремлении уничтожить Конституцию. И эти утверждения не лишены оснований. Нельзя отрицать, что за исключением самого Клермон-Тоннера, Малуэ, Буаж-

лена, Бергаса и некоторых других клуб на улице Сент-Антуан приютил главным образом тех, кто сохранил ностальгию по Старому порядку и убеждение, что дворянство всегда будет являться истинным украшением трона и опорой монархии. За конституционной вывеской скрывается подлинное гнездо контрреволюции.

Забавно, что самые яростные нападки происходят из секции Вандомской площади. 24 января эта секция энергично разоблачает махинации друзей монархической Конституции, «самое название которых является оскорблением для истинных друзей короля, которые всегда будут также и друзьями Конституции»[43]. Вскоре к ним присоединятся и другие секции, чтобы от имени «всего Парижа» потребовать уничтожения *любыми способами* этого «очага соблазна», где монархисты «отравляют жадную нищету аристократическим ядом». Споры обостряются, за ними следуют возмущения, вмешивается Национальное собрание, Клермон-Тоннер освистан уличной толпой, а на клуб совершается нападение: нападавшие были вооружены камнями и палками. 28 марта 1791 года парижский муниципалитет потребовал закрытия клуба. Донасьен, посещавший его заседания не слишком часто (если говорить начистоту, он записался в него, исключительно чтобы сделать приятное своему кузену), теперь поставлен перед необходимостью выбора между двумя лагерями. Он поворачивается на каблуках, оставляет супруга своей дорогой Дельфины и без колебаний присоединяется к членам своей секции.

Брат Донасьен

Неоднократно говорилось, что Сад принял масонское посвящение — в свое время некий любезный шансонье счел своим долгом посвятить этому вопросу небольшую вещицу. Причастность к масонам его отца, в которой никто не сомневается, способствовала поддержанию уверенности в том, что сын также был масоном. Историки масонства и составители масонских словарей единодушно причисляют Донасьена к «братьям», называя его не иначе как «брат Д.-А.-Ф. де Сад», и при этом опираются на свидетельства, говорящие о совершенно противоположном факте, нежели тот, который они пытаются доказать[44]. Речь идет об опубликованном в 1805 году «Втором дополнении к словарю атеистов» Жерома де Лаланда, бывшего венерабля ложи Девяти Сестер, великого оратора французской ложи Великого Востока. В этом издании можно прочесть:

> Мне хотелось бы иметь возможность цитировать г-на де Сада. Он весьма умен, рассудителен, образован, однако его непристойные романы «Жюстина» и «Жюльетта» побуждают вычеркнуть его из рядов организации, где говорят только о добродетели.

Подобное утверждение означает, что либертинаж несовместим с моралью масонов. Известно, что каждый вступавший в ложу должен был — и это условие сохраняется до сих пор — быть признан «свобод-

ным и благонравным» (как будто бы эти понятия не противоречат друг другу!). Так вот, Донасьен как никто иной соответствовал первому условию, но нисколько не отвечал второму. Те же самые историки пытаются утверждать, что его имя фигурирует в списках ложи Друзей Свободы, являвшейся частью Восточной ложи Парижа. Однако его имя ни разу не упоминается в архивах этой ложи, основанной 6 февраля 1791 года[45]. Некоторые делают выводы о причастности Сада к масонам на основании его знакомств в масонском мире. Но даже если верить, что г-н де Милли, у которого Сад нашел пристанище после выхода из Шарантона, принадлежал к ложе Объединенных братьев Святого Людовика Мартиникского, что Клермон-Тоннер состоял в военной ложе, именовавшейся Чистосердечие (членом ее был Шодерло де Лакло), что многие собратья Сада по секции Вандомской площади посещали масонские собрания, что Кульмье, будущий директор Шарантона, был масоном, достигшим высших ступеней, это все равно не дает оснований утверждать, что де Сад примкнул к масонам.

Но даже если не существует ни единого доказательства о вступлении Донасьена в члены братства, на мысль о причастности Донасьена к масонам наводит очевидное сходство некоторых духовных ценностей, исповедуемых и тем, и другими. Но как бы ни была его философия близка идеям членов братства, этот воинствующий атеист, несомненно, воспротивился бы исполнению обрядов, весьма напоминавших христианскую литургию. Несмотря на их «естественность», религия масонов, культ Великого Мирового Демиурга вряд ли пришлись бы ему по вкусу. Для Сада, как и для д'Аламбера, Дидро, Кондорсе, Тюрго и многих других, державшихся на отдалении от масонов, культ Разума не должен был сопровождаться обрядами, служение должно было проходить средь бела дня.

Наконец, трудно представить Сада членом тайного общества, держащего себя на равных с «братьями». Нет ничего более противного взглядам де Сада, нежели идеология, уничтожающая все различия по рождению и происхождению между людьми.

И хотя на только что изложенных нами основаниях Сад был весьма далек от масонства, тем не менее деятельность «сынов Света» довольно живо его интересовала. Описание Северной ложи, которое он приводит в пятой книге «Жюльетты», свидетельствует о прекрасном знании «королевского искусства» или же о превосходной начитанности по теме (в это время уже появилась многочисленная специальная литература о масонах)[46]. Его, совершенно очевидно, интересует ритуал посвящения в масоны, хотя развлечения ради он и выворачивает его наизнанку, наполнив всевозможными фантазиями либертена: проституцией, содомией, человеческими жертвоприношениями, оргиями и прочими жестокостями. Нет сомнений, что именно масонские ложи вдохновили его на описание всевозможных секретных обществ, которых так много в его сочинениях; братство членов этих обществ основано на потакании страстям друг друга и культе преступления. Легко догадаться, какое наслаждение он испытывал, когда, взяв за образец

храм общественной добродетели, принимался описывать алтарь служения пороку. В сущности, единственным тайным обществом, в которое садический герой всегда готов вступить, является Общество друзей преступления, название которого напоминает о столь дорогой сердцу масона ономастике*. В масонстве Сада привлекает не идеал, а строгость устава, четкое ведение протоколов, независимость от законов государства, а также методы, с помощью которых человеческие инстинкты подчиняют строгой обрядности.

Смерть Освободителя

Второго апреля 1791 года Париж с изумлением узнал о смерти Мирабо. Впрочем, когда 28-го числа прошедшего месяца он, сжав зубы, произносил речь в Законодательном собрании, смерть уже наложила печать на его лицо. В тот же вечер он слег и больше не встал. Его друг, доктор Кабанис, не отходил от его изголовья. Последнюю ночь Мирабо бредил, не отрывая помутневшего взора от окон, а в ночь на субботу, в два часа тридцать минут, скончался, о чем и было сообщено толпившимся у его дверей гражданам. Известие о смерти, настигшей Мирабо в возрасте сорока трех лет, с быстротой молнии облетело весь город; многим его скорая кончина показалась неестественной. На повестку дня встал вопрос об отравлении. Спустя несколько часов на стенах домов появились плакаты и афиши, где одни называли виновниками смерти трибуна братьев Ламет, а другие — Барнава. Чтобы раз и навсегда покончить с домыслами, общественный обвинитель 1-го округа приказал произвести вскрытие, выявившее наличие у покойного воспаления печени и желудка и ни следа яда. В тот же самый день его секретарь Комп попытался покончить с собой, нанеся себе пятнадцать ножевых ран; однако он выжил и даже опубликовал статью о собственном самоубийстве.

На следующий день Законодательное собрание приняло решение похоронить трибуна в церкви Святой Женевьевы, недавно превращенной в Пантеон; храм веры был переименован и стал алтарем Отечества. Мирабо первым удостоился чести быть погребенным в нем, хотя это и не всем пришлось по вкусу. Марат и члены клуба кордельеров выступили с разоблачением интригана, превратившегося после смерти в героя. Но на защиту памяти покойного встал Робеспьер. Сто тысяч парижан пришли отдать Мирабо последний долг, национальные гвардейцы почтили его торжественным залпом, за гробом шло несколько десятков присягнувших священников.

Маркиз быстро узнает о смерти давнего старого противника и соседа и тотчас сообщает об этом Гофриди:

> Ничто не сравнится с той реакцией, которую произвело здесь известие о смерти этого человека. Народ толпами устремился в театры и заставил прервать спектакли. Несколько человек, видимо никогда не приходивших в восторг от этого освободителя Франции, нашли такое поведение недопустимым и, схватив одного

---

* Ономастика — раздел языкознания, изучающий собственные имена.

из особенно рьяных поклонников, отвели его в Пале-Рояль; что с ним потом стало, я не знаю. В общем, переполох вышел большой. Вечером я отправился в сад Пале-Рояль; у всех, кто бы мне ни встречался, на лице была написана печаль. Царило угрюмое молчание, люди собирались группами. Смерть секретаря, нанесшего себе пятнадцать ударов ножиком, также весьма странная. Этого человека подозревали и продолжают подозревать в содействии гибели своего патрона. Не знаю, сумеет ли время прояснить эту загадку <...>.

5 апреля, вторник, утро.

Вчера, в семь часов вечера освободитель был похоронен, или, точнее, предварительно доставлен в приход Святого Евстахия, чтобы затем быть похороненным в церкви Святой Женевьевы, покровительницы Парижа, видимо, потребовавшей его к себе. У *покровительницы* должен быть свой *освободитель*, и это правильно. Процессия была неимоверно пышной; присутствовали все нынешние правители во главе с герцогом Орлеанским. Звонили все парижские колокола. А до того *освободитель* был вскрыт на предмет содержания яда в его внутренностях, и огромная толпа, что кишела возле его дверей, наугад выделила из своих рядов двенадцать человек, присутствовавших при этом вскрытии. Добрые парижане были очень довольны, что *освободитель* умер своей собственной смертью, и перестали грозиться уничтожить всех аристократов, в которых они подозревали виновников сего великого несчастья. <...> Улица, где скончался *освободитель*, меняет имя и отныне будет называться *улицей Мирабо*[47].

Письмо к королю

Двадцать четвертого июня 1791 года, потерпев фиаско в Варенне, королевская семья под плотным конвоем доставлена в Париж. Берлина Людовика XVI проезжает через изумленный, погрузившийся в мертвенное молчание город. Триста тысяч парижан молча выстроились по пути ее следования. Накануне на стенах столицы появились надписи, сделанные мелом: «Тот, кто станет аплодировать королю, будет бит палками. Тот, кто посмеет оскорбить его, будет повешен». В момент, когда кортеж выезжает на площадь Революции, какой-то человек кидается к королевской карете, бросает в нее письмо и исчезает в толпе. Этот человек — Донасьен де Сад. По крайней мере, он сам будет это утверждать спустя три года, 6 мессидора Второго года (24 июня 1794 года), после того, как семь месяцев отсидит в тюрьмах Террора — бойня Робеспьера требовала все новых и новых жертв, и речь могла идти только о спасении из этой страшной мясорубки.

Но даже если рассказ и является выдумкой, то письмо действительно существует; оно было напечатано Жируаром, его верным печатником, спустя несколько дней после возвращения короля из Варенна. Если верить свидетельству его автора, письмо это обошло весь Париж; по его словам, его даже публично читали в Тюильри и в театрах. Примечательно название письма: «Обращение гражданина Парижа к королю французов»[48]. Сад действительно адресуется не к «милостью Божьей» королю Франции, но к милостью нации «королю французов», связанному с нацией договором; именно эту идею он и развивает в тексте письма:

Если Вы желаете править, пусть подданными Вашими станут свободные граждане; нация избирает Вас, она называет Вас своим главой; она возводит Вас на трон, а не Господь, правящий миром, как имели слабость думать совсем еще недавно[49].

Его упреки не отличаются от упреков тех французов, кто все еще предан идее монархии, обновленной при помощи конституции, но уже разочарован поведением короля:

Судите сами, что можем думать мы о человеке, бестрепетно оскорбляющем и трон, где он восседал во время заключения федеративного договора, и алтарь, на котором он произносил священную клятву, связавшую его с нацией в ту самую минуту, когда в едином порыве любви и чувств нация соединилась с ним; зрелище это вызвало слезы у всей Франции, собравшейся в эту минуту на одном поле[50].

Основная претензия Сада к деспотизму — и о ней легко догадаться — это приказы об аресте без суда и следствия, продукт чистейшего произвола. Он не мог не вспоминать о собственной участи, когда писал следующие строки:

Вы жалуетесь на свое положение, стенаете, по словам Вашим, в цепях. <...> Полагая себя несчастным в положении, кое многие почли бы для себя за счастье, попробуйте хотя бы на миг вспомнить о страданиях бывших жертв Вашего деспотизма, о тех несчастных, которых одна только Ваша подпись, плод заблуждения или наговоров, вырывала из лона льющей слезы семьи, дабы навеки швырнуть в казематы ужасных бастилий, коими изобиловало Ваше королевство. <...> Когда, сир, позволяешь себе совершать великое зло, следует уметь терпеть зло малое[51].

Однако Людовик XVI не является единственным ответственным за несправедливости Старого порядка. Присоединяя свой голос к голосу многочисленных эмигрантов, равно как и к голосу якобинцев, Сад бесстрашно бросает упрек королевскому окружению и прямо указывает на пагубное влияние королевы:

Если это правда — а усомниться в этом действительно сложно, — то, значит, дурные советы подавала Вам спутница Вашей жизни; так пусть же на ее голову обрушится гнев французов; найдите в себе силы расстаться с ней; Вы вполне сможете обойтись без нее; отошлите ее на родину, где от нее отделались затем, чтобы она долго и упорно изливала на Францию губительный яд ненависти, постоянно в ней клокочущий. Мы с радостью воспримем ее отъезд; мы не нужны ей, но и среди нас не найдется ни одного, кто бы пожелал удержать ее. Мы готовы простить ее ради ее пола и ее страны. Принесите эту жертву, она необходима для Вашего счастья, для Вашего спокойствия; она вернет Вам любовь французов, кою Вы не утратите никогда, если станете поступать по собственному разумению <...>[52].

Речи эти весьма напоминают слова Нарцисса, уговаривающего Нерона расстаться с Октавией: «Отчего вы, сударь, медлите расстаться с ней?» Несмотря на свое отвращение к партии орлеанистов, Сад полностью согласен с содержанием листовок, ежедневно появляющихся в Пале-Рояле, а оттуда наводняющих весь Париж. Мария-Антуанетта является для него источником эротических фантазий и одновременно ненависти к Австрийскому дому. В «Истории Жюльетты» он обрушивается также и на ее сестру, Марию-Каролину Неаполитанскую, похотливую и жестокую лесбиянку:

Достойная сестрица той шлюхи, что вышла замуж за Людовика XVI, эта сварливая принцесса, по примеру остальных членов Австрийского царствующего дома, покорила сердце мужа для того лишь, чтобы властвовать над ним политически: не менее честолюбивая, чем Мария-Антуанетта, она думала не о супруге, а о троне.

Фердинанд, недалекий и туповатый, словом, настоящий король, воображал, будто обрел в жене верного друга, между тем как нашел в ее лице шпионку и опасную соперницу, которая, будучи такой же стервой, как и ее сестра, унижала и грабила неаполитанцев, заботясь только о выгоде Габсбургского рода*.

Однако, как и большинство французов, остающихся приверженцами монархического принципа, Сад по-прежнему доверяет суверену. Даже после Варенна еще ничего не потеряно, считает он, главное, чтобы Людовик XVI честно выполнял все правила конституционной игры и прислушивался только к советам нации. Таковы выводы его «Обращения к королю»:

Узнав о Вашем возвращении, все сердца преисполнятся надеждой; все пожелают простить Вас. Прислушайтесь к нашим голосам, сир: это не Вы обманули наши надежды, Вы сами были обмануты; Ваш побег — дело рук Ваших священников и Ваших придворных; Вас уговорили; без них Вы бы никогда не вздумали бежать. Примите эти доводы, сир, и верните себе доверие сердец, кои Вы опечалили: все говорит за то, что Вы сможете это сделать. <...> Никто в мире не убежден столь сильно, как я, в том, что империей французов может управлять только монарх. Однако монарх этот, избранный народом, должен в точности соблюдать законы... Законы, выработанные представителями нации, ибо только нация вправе издавать законы, именно в ней заключено все могущество, а власть, которой Вы обладаете, является властью, доверенной Вам, и Вы вправе использовать ее исключительно к славе и величию тех, кто Вам ее доверил[53].

Весьма довольный своим «Обращением», Сад посылает его Рейно, но тот воспринимает его с иронией:

Действительно, Вам удалось упрекнуть самого короля! Какой переход от низкого к высокому! Ваша пьеса сделана превосходно, действие разворачивается последовательно и энергично. Чувствуется рука мастера. Однако, когда Вы выводите характеры дурных советчиков, искусство Вам явно изменяет, и я готов привести пример! Автор не должен соразмерять их с собой. Вы расстались с женой и хотите, чтобы король поступил так же; но сегодня Вы произносите зажигательные речи и требуете, чтобы Вам вернули Вашу жену! Пожалуйста, согласуйте Ваши требования: мы часто слепо следуем за обстоятельствами. В похвалу же стилю Вашего сочинения скажу: забудем, что Вы поучаете делать то, чего не делаете сами[54].

* * *

После отказа членов Учредительного собрания сформировать двухпалатный парламент (с решающим голосом, принадлежащим королю), идея установить правление на манер английского была окончательно похоронена, а сторонники ее оказались в стане подозрительных. В то время как умы начали склоняться к идее республиканского правления, Сад все еще остается в стане монархистов, о чем и заявляет в своем «Обращении к королю». Вопреки всем и вся он упорно отказывается верить в успех республики, ибо предчувствует, что отказ от монархического правления, с его точки зрения единственно возможного способа правления, который он готов поддержать не кривя душой, ввергнет страну в пучину непредсказуемой анархии.

---

* *Маркиз де Сад.* Жюльетта. ... Т. 1. С. 298.

Четырнадцатого сентября ему приходится примириться с действительностью: партия окончательно проиграна; Конституция, на которой Людовик XVI только что принес присягу, не имеет ничего общего с английскими законами, и теперь роялисты с уверенностью заявляют, что их монарх одобряет преступления революции. «Ваше спасение заключается в отречении», — заявил королю Франции Берк. Но отречение короля означало бы дезавуирование политики, до сих пор проводимой умеренными. Во всяком случае, идея монархии по образцу английской была провалена заранее по той простой причине, что экономическое и социальное положение французской аристократии не имело ничего общего с положением аристократии в Англии. Нужно было обладать политической слепотой Клермон-Тоннера или наивностью де Сада, чтобы считать возможным установление во Франции английского способа правления.

Спустя два месяца, 5 декабря 1791 года, Сад пишет Гофриди:

Я против якобинцев, я их смертельно ненавижу; я обожаю короля, но ненавижу злоупотребления Старого порядка; многие статьи Конституции мне нравятся, но многие приводят в возмущение. Я хочу, чтобы дворянству вернули его былой блеск, ибо лишение дворянства его привилегий не приведет ни к чему хорошему; я хочу, чтобы король был главой нации; я не хочу никакого Национального собрания, а хочу двухпалатный парламент, как в Англии, парламент, определенным образом ограничивающий королевскую власть, поддерживаемую нацией, непременно разделенной на два сословия; третье сословие [духовенство] совершенно бесполезно, я не сторонник его существования. Таков мой символ веры. Так кто же я теперь? Аристократ или демократ? Пожалуйста, адвокат, скажите мне, ибо я сам уже ничего не понимаю[55].

Словно во сне, события стремительно сменяют друг друга. Только что приняли Конституцию 1791 года, а она, оказывается, уже устарела! Демократические идеи завоевывают умы, Робеспьер требует всеобщего избирательного права, Марат ведет агитацию, республиканские идеи у всех на устах, и только король замышляет войну, дабы повернуть события вспять. Корабль дает течь со всех сторон. А в это время г-н де Сад мечтает вернуть дворянству его былой блеск, отказывается признавать Национальное собрание и признается в своей «любви» к монарху. Можно подумать, что он живет во сне. Аристократ или демократ? Готов биться об заклад, Гофриди было несложно ответить на этот вопрос. Никогда еще де Сад не выказывал такого глубокого непонимания действительности. В его отрицании неизбежности есть даже нечто патетическое. Чего он ждет? Ничего. Как всегда, закрывает глаза, чтобы не видеть высящегося перед ним препятствия; заранее отвергает неприятный для него предмет, удаляя его из поля зрения. Однако маркиз слишком прозорлив, чтобы верить собственным выдумкам, он знает, что ужасный выбор делать придется: столкновение с действительностью неизбежно.

Глава XXI
ПОДХВАЧЕННЫЙ ВИХРЕМ

Эзопов язык

Либеральный аристократ де Сад, проживающий в Париже, открытый для реформ и готовый от многого отказаться, в глазах своих крестьян по-прежнему остается знатным и высокомерным феодалом, таким, каким они его всегда знали. Даже еще более надменным и презрительным, чем раньше, ибо всем своим поведением он нарочито подчеркивает свое отличие от них и делает это в то время, когда дедовские ценности стремительно девальвируются. Подобно большинству своих собратьев по сословию, он не принимает новых общественных отношений, рожденных революцией. Мазанский нотариус по имени Кониль посмел злословить насчет бывшего «сеньора» этих мест? Сеньор пишет Гофриди возмущенное письмо, где каждое слово обжигает, словно удар кнута:

> Декрет Национального собрания уравнивает людей, но он нисколько не уподобляет их друг другу и не объединяет людей с животными; Кониль обязан был чувствовать дистанцию, но он забылся, хотя на деле ему бы надо не писать мне, а *вернуться в конюшню, спросить себе овса и заткнуться* <...>.

Привыкнув к подобной логике, Сад с ужасом наблюдает, как революционные события разворачиваются прямо у него на глазах. Уже в цитированном выше письме к Рейно ясно ощутимо овладевающее им чувство отвращения, смешанное со страхом, когда он видит свирепые толпы народа:

> Ах, я давным-давно сказал, что эта прекрасная и кроткая нация, поджарившая и съевшая ягодицы маршала д'Анкра*, только и ждет повода показать, что, постоянно пребывая на перепутье между фанатизмом и жестокостью, она готова заговорить своим подлинным голосом, как только тому представится случай![1]

Действительно, он ничего не понимает и никогда ничего не понимал в народе. Аристократ, каковым он всегда ощущал себя, привыкший смотреть на народ как на безответное дитя, он страшится непредсказуемости его реакций. Он знает, что необъяснимый разгул народной ярости подвергает опасности само существование его класса. И хотя он

---

* В 1617 г. непопулярный фаворит Марии Медичи маршал д'Анкр был убит гвардейцами, после чего разъяренная толпа буквально разорвала тело маршала на части.

избегает прямого общения со своими вассалами, из года в год откладывая свою поездку в Прованс по причине «демократических виселиц», тем не менее он намерен оставаться для своих людей господином и в случе необходимости готов призвать их к порядку. Так, когда революционные власти Мазана обращаются к нему с просьбой восстановить стены его замка, он дает им понять, что не собирается исполнять приказы этих «глупых» мужланов.

Мой отец разурушил эти стены с дозволения монарха, — пишет он Гофриди. — Я не намеревался их восстанавливать и сделаю это только по приказу равного тому, кто дозволил нам их разрушить. Если этот ответ их не удовлетворит, можете от моего имени дать им позволение обрушить замок целиком, а если развалины его им пригодятся, пусть строят из них угодное им укрепление. Они могут быть уверены, что ни я, ни кто иной из моего рода не пожелают жить в краю, столь ужасно опозоренном и лишенном чести. Мы приедем по делам, посетим наши усадьбы, наши фермы, но дышать одним воздухом с этими бандитами! О нет! Никогда, никогда! Когда-то я любил их, теперь же ненавижу и смотрю на них как на дураков, кои, имея возможность обогатиться за счет случившейся во Франции революции, оказались настолько глупы, что позволили этой революции раздавить себя[2].

Однако Сад не только надменный знатный сеньор, привыкший разговаривать тоном заправского феодала, он, как ни странно, также принадлежит к тем, для кого революция может стать средством обогащения. Уместно даже задаться вопросом, не думает ли он в моменты, когда его финансовые дела обстоят особенно плохо, о возможности извлечь из создавшейся ситуации выгоду для себя. И хотя для некоторых сие звучит кощунственно, тем не менее ничего невозможного в этом нет. Не в первый раз — и не в последний — люди прагматические и не слишком щепетильные извлекали выгоду из смутных периодов: войны, революции, оккупации; к тому же, как известно, Сад, не смущаясь, всегда готов заниматься денежными делами. Он видел, как с самых первых дней революции начали обогащаться сотни разномастных спекулянтов — скупщиков национальных имуществ, банкиров, негоциантов, нотариусов или просто дельцов. Так почему бы не обогатиться и ему? Автор готов держать пари, что такая мысль непременно приходила ему в голову. И совершенно очевидно, он думает о том, как бы спасти свое состояние от конфискации, грозящей любому дворянину и родственнику эмигрантов.

Нам удалось вычислить двух управляющих имениями, с которыми Сад вел переговоры по этому вопросу. Речь идет о Туссене Шарле Жираре и Жане Франсуа Дюфулере, парижских нотариусах, чью контору Сад посещал с 1790 года; за услуги, оказанные дворянам, оба нотариуса поплатились жизнью: Дюфулер сложил голову на эшафоте в 1794 году за то, что, спасая имущество семьи Ледюк де Бьевиль, перевел его на подставное лицо[3]. Жирар, бывший председатель секции Друзей Отечества, виновный в том, что сохранил в целости имущество многих эмигрантов[4], был осужден в тот же самый день, что и его клиент, Донасьен де Сад (26 июля 1794 года). Однако в отличие от последнего, несчастный нотариус был обезглавлен со всеми сопутствующими

формальностями[5]. Сегодня доказано, что Сад поручил передать деньги г-же Кене — пятнадцать тысяч ливров, оформив их как возврат долга; это фальшивое обязательство было заверено мэтром Дюфулером[6].

И вот уже образ Сада-патриота, друга людей и якобинцев, изрядно потускнел, хотя некоторые и по сей день упорно пытаются увековечить этот образ. Рискуя разочаровать их, скажем прямо, что Сад не был ни первым, ни вторым, ни третьим: в его личной переписке имеется множество тому подтверждений, и у нас нет никаких оснований сомневаться в его словах, адресованных Гофриди или Рейно; перед ними у него нет нужды притворяться, вдобавок они разделяют его взгляды. Если же иногда дела у него расходятся со словами, а политические писания, именуемые им самим «гражданской продукцией», отличаются преувеличенно республиканским духом, то лишь потому, что они являются результатом определенных обстоятельств. Относящийся к людям весьма скептически, большой пессимист, абсолютно чуждый какой-либо политической морали, Сад сегодня не верит в революционный идеал так же, как вчера не верил в идеал христианский. Единственная подлинная революция, имеющая для него значение, единственная, в которую он когда-либо верил, уникальная, ибо восторжествует она за пределами воображаемого, — это революция написанного текста.

Административная промашка

В 1792 году большинство дворян бежали из страны. Эмиграция происходила последовательно, тремя волнами: первая пришлась на июль — август 1789 года, период после взятия Бастилии и Великого Страха; вторая — на 1790 год и была вызвана принятием декретов, окончательно покончивших с феодальным строем; и, наконец, третья — на сентябрь — октябрь 1791 года; причиной ее послужило неудавшееся бегство короля и его арест в Варенне. В целом в период с 1789 по 1800 год страну покинуло более ста пятидесяти тысяч человек[7]. Сад был в числе тех немногих, кто отказался уезжать. Ни угрозы, нависшие над его головой, ни его врожденный страх перед народными волнениями, ни крушение монархической революции, ни пример его собратьев по сословию не смогли побудить его уехать. Эмигрировать? Отказаться от постановки своих пьес? Испортить свою карьеру драматурга? Он даже не помышляет об этом. Честолюбие литератора преобладает над всеми остальными чувствами: что бы ни случилось, он останется во Франции.

Впрочем, чего ему бояться? В чем его можно заподозрить? Годы, проведенные в Бастилии, «Обращение к королю», карточка члена секции являются определенными свидетельствами его гражданской благонадежности. Что бы там ни говорили, «гражданин Луи Сад, литератор», не имеет более ничего общего с бывшим маркизом де Садом. А если кто-нибудь попробует усомниться в его обращении, он пойдет еще дальше. Дальше, чем находится сейчас! Не говоря уж о том, что на кон поставлено его состояние! Из всех своих владений де Сад сохранил только земли в Провансе. А так как согласно декретам от 31 октября

и 9 ноября 1791 года, приравнявшим эмиграцию к преступлению, а эмигрантов — к заговорщикам против государства, то, усмотри кто-нибудь в его поведении хотя бы намек на возможность отъезда, земли его незамедлительно оказались бы под секвестром.

Ко всем этим разумным доводам, удерживающим его в Париже, прибавляется еще и колдовское воздействие революции — несмотря ни на что — на его воображение. Действительно, какая-то часть его натуры вполне может узнать в ней себя; загадочное совпадение таинственным образом соединяет свободу его письма и подлинную свободу именно в тот момент, когда последняя вступает в период кризиса и временно освобождает свое место в истории. Совпадение не означает идентичность: мятежные порывы Сада нисколько не похожи на те, что вызвали революционную волну. «И все же, — отмечает Морис Бланшо, — без тех безумств, которые олицетворяют имя, жизнь и истину де Сада, Революция была бы лишена частички своего Разума»[8]. К тому же для де Сада эмиграция имела несколько иной смысл, нежели для кого-либо иного. Скиталец, узник, отшельник — он всегда был эмигрантом среди своих собратьев по классу и поэтому решает спокойненько жить у себя дома.

Однако в конце 1792 года в Марселе его имя появляется в списках тех, кто покинул пределы национальной территории, и списки эти расклеивают по городу. 13 декабря этого года имя «Луи-Альфонса (*sic*!) Донасьена Сада» появляется в списке эмигрантов департамента Буш-дю-Рон. Злой умысел? Ошибка? Его перепутали с сыном Луи-Мари? Изумленный Донасьен заявляет протест местным властям, посылает заявления, справки с места жительства, напечатанные в секции Пик, с его собственной подписью, всевозможные свидетельства, подтверждающие его пребывание в Париже... Все напрасно. Он в нетерпении, торопит Гофриди действовать, и в конце концов 26 мая 1793 года[9] протесты его удовлетворены. Принимая во внимание, что он «законным образом и в достаточной степени подтвердил свое постоянное пребывание на земле Французской Республики», центральная администрация постановляет вычеркнуть его из списков эмигрантов департамента и «полностью ввести во владения принадлежащим ему движимым и недвижимым имуществом»[10].

Однако месяц спустя дело разгорается с новой силой. 25 июня 1793 года Конвент, полагая, что департамент Буш-дю-Рон излишне «велик», делит его на два и голосует за создание нового департамента — Воклюз, к которому отныне приписан гражданин де Сад. Одному Богу известно, в силу какой бюрократической путаницы, каких макиавеллиевых административных интриг, какой чиновничьей небрежности его имя по-прежнему фигурирует в списках эмигрантов, переданных новому департаментскому начальству. И все приходится делать по новой. Начинается лихорадочная гонка: демарши, переписка, просьбы, изнуряющая погоня за свидетельствами, за рекомендациями. Весь этот процесс, чередующийся трагикомическими эпизодами, протянется никак не меньше десяти лет. Напрасно Сад будет копить доказательства своей благонадежности — он будет объявлен виновным против всякой логики: сначала его обвинят в том, что он эмигрировал, а

затем в том, что он тайно вернулся во Францию. И все это время над головой его будет занесен дамоклов меч гильотины. Как остроумно заметил Филипп Роже, «настоящая пьеса Куртелина, поставленная доктором Гильотеном»!

* * *

Госпожа де Сад и ее дочь также не отправятся в эмиграцию, но скорее по причинам экономического характера. Не считая кратковременного пребывания в их семейном поместье Ла-Верьер возле Шеврёза, они не покидают своих пенатов. После того как в 1792 году их монастырь Сент-Ор был закрыт, Мадлен Лор обосновалась у матери, в особняке Монтреев, на улице Мадлен (сегодня улица Буасси-д'Англа), в двух кабельтовых от улицы Нев-де-Матюрен. Таким образом, обе женщины зависят от администрации той же секции, что и Донасьен. Их справки с места жительства и свидетельства о том, что они никогда не были в эмиграции, подтверждают их пребывание в Париже или же в Ла-Верьере с 4 июня 1792 года по 18 декабря 1794 года[11]. На этих документах стоят подписи основных чиновников секции Пик (Сандрие, Бизуар, Демэ). Подпись Сада, сначала секретаря, а потом председателя секции, там, разумеется, не фигурирует, ибо он заботится о соблюдении нейтралитета (а вдруг его заподозрят в сочувствии?). Однако вполне можно предположить, что он защищал обеих женщин от еще больших напастей, которые могли с ними приключиться. Иначе трудно объяснить, каким образом они без всяких происшествий пережили самые мрачные дни Террора. В их официальных бумагах было указано: «из бывших», что вполне приравнивалось к клейму. В секции также составляли описание внешности, включая особые приметы, которое мы воспроизводим без изменений. Секционный писарь нисколько не польстил им!

Рене-Пелажи, проживающая раздельно с мужем Садом, 52 года, рост четыре фута десять дюймов [1,57 м], нос большой, рот средний, подбородок круглый, волосы каштановые, лицо круглое и полное, лоб низкий, глаза карие.

Мадлен Лор де Сад, 21 год, росту пять футов один дюйм [1,65 м], лицо круглое, глаза раскосые голубые, нос курносый, волосы каштановые, рот средний[12].

Впрочем, через несколько лет г-жа де Сад будет утверждать: «Я с дочерью была в изгнании, а изгнанники предназначались для заполнения тюрем, когда те начинали пустовать»[13]. Действительно, во время «великого Террора» и далее, а точнее с 22 апреля по 18 декабря 1794 года, она не будет покидать своего поместья Ла-Верьер[14]. Надо ли считать пребывание в нескольких лье от Парижа ссылкой? Для г-жи де Сад в этом сомнения нет: ей кажется, что она бросила отца и мать, вынужденных оставаться на месте как родственники эмигрантов, ибо все остальные их дети покинули пределы Франции[15].

Оба сына Донасьена высказались в пользу эмиграции. 13 июля 1791 года Луи-Мари подал в отставку в чине младшего лейтенанта 84-го пехотного полка, квартировавшего в Порнике; 11 сентября он уезжает из

Франции в Германию. Клод Арман, адъютант маркиза де Тулонжона, дезертировал 2 мая 1792 года и присоединился к брату. Эмиграция сыновей вскоре доставит бывшему маркизу огромные неприятности. Ему придется лгать, клясться, что он не знает, где они находятся, хотя он прекрасно осведомлен обо всех их перемещениях:

Мой сын шевалье сейчас находится неподалеку от Вас, — пишет он Гофриди 4 октября 1791 года. — Старший же, уйдя в отставку, покинул королевство; вот уже три недели, как он уехал, и у меня нет о нем новостей. Судя по виду, этого молодого человека снедает какая-то тайная печаль. Он беспокоен, неугомонен, хочет отправиться на край света; он ненавидит свое отечество; по правде говоря, совершенно неизвестно, что он задумал, но ясно, что он не в своей тарелке. Шевалье более спокоен, поведение его ровное[16].

Маркиз интересуется судьбой детей и жалуется на их молчание:

Вот уже три месяца, как он (Клод Арман. — *М.Л.*) не написал мне ни строчки, и я не знаю, что с ним сталось; старший тоже не пишет. Кажется, они сговорились держать меня в неведении. Старший находится в Германии, и если бы, как меня уверяют, он не вышел в отставку, то считался бы более виновным, потому что тогда его бы рассматривали как дезертира[17].

«Оставьте в покое мои старые лачуги!»

В марте 1792 года из Прованса приходят тревожные новости. В Апте происходят кровавые столкновения. Гофриди и его сын, примкнувшие к роялистскому заговору, бежали и укрылись в Лионе[18]. Маркиз тотчас приходит в страшное волнение и немедленно посылает депешу своему адвокату:

Моя тревога не уймется до тех пор, пока Вы не сообщите последние новости. Прошу Вас, ради всего святого, сообщите их как только будет возможно. Забудьте обо мне, о моих делах, о моих интересах: это вынужденная необходимость, и я на нее согласен. Только любите меня, сохраните себя, и будьте уверены, что в моем лице Вы имеете друга детства, который любит Вас и который предпочел бы, чтобы несчастье случилось с ним, а не с Вами <...>[19].

В порыве великодушия он предлагает своему дорогому адвокату погостить у него: почему бы ему не пожить в безопасности у него в доме? Дом его небольшой, но приятный. Если ему вновь придется бежать, то пусть он без лишних размышлений едет прямо в Париж, захватив с собой только самое необходимое, главным образом, что «можно положить в котелок бедняка, который будет счастлив принять сей дар». Садом движет не только чувство дружбы, но и прямая заинтересованность. В отсутствие Гофриди его собственные дела ускользают из-под контроля, арендная плата не собирается, замок приходит в запустение. Через несколько дней он с облегчением вздыхает: его поверенный вернулся в Апт. Предчувствуя возможность нового нападения, Гофриди окружает себя небольшим гарнизоном численностью в двадцать четыре человека. Маркиз тотчас предлагает взять часть расходов по их содержанию на себя, ибо чувствует определенную ответственность за положение, в котором оказался его управляющий.

Тревога проходит, однако Сад по-прежнему неспокоен. И для этого имеются основания. Среди мятежников Апта фигурировали его бывшие вассалы, прибывшие из Ла-Коста. Идет ли речь об отдельных персонажах, или же большинство жителей тамошних мест перешли к активным действиям? Есть ли основания опасаться нападения на замок? Он высказывает свое беспокойство Гофриди: «Все эти люди недовольны только священниками, не пожелавшими принести присягу, или же они выступают против землевладельцев?»[20] Ответ не заставляет себя ждать; Гофриди высказывает свои соображения, однако оптимизма эти соображения не внушают. В самом деле, он сообщает, что местные сельские якобинцы постановили сбить зубцы на стенах. В лихорадочной тревоге Сад подает протест председателю клуба Друзей Конституции, находящемуся в Ла-Косте. Ознакомив председателя клуба с искренними чувствами, которые он питает к революции и Конституции, он тотчас произносит пламенную речь:

Если вы тронете хотя бы камень в моем доме, в моих владениях в пределах вашей деревни, я пойду к нашим законодателям, пойду к вашим братьям — парижским якобинцам и попрошу, чтобы на этом камне выгравировали надпись: «Этот камень из дома человека, благодаря которому рухнули стены Бастилии; Друзья Конституции хотят отнять жилье у несчастной жертвы королевского деспотизма. Прохожие, впишите это оскорбление в историю человеческого непостоянства!»

Ах, господин председатель, оставьте в покое мои старые лачуги! Вглядитесь в мое сердце, откройте мои рукописи, прочтите мои письма, отпечатанные и распространенные по всему Парижу как раз в то время, когда король и вся его семья бежали из столицы, и Вы поймете, заслуживает ли их автор такого оскорбления, как разрушение его жилища. А может, Вам хочется узнать о его поступках? Спросите, и если они еще известны не всем, если о них еще не напечатано, то сведущие люди Вам расскажут о том, как я собрал целую толпу под окном своей камеры в Бастилии, а меня, как особо опасного, от этого окна оттащили, и как собравшиеся положили начало тому порыву возмущения, который в результате привел к разрушению сего монумента страха. Пусть министру вручат письма коменданта Бастилии: там можно прочесть следующие слова: «Если этой ночью не убрать г-на де Сада из Бастилии, я не отвечаю за сохранность крепости»; надеюсь, сударь, Вы убедитесь, тот ли я человек, коего надо утеснять. Я, сударь, никогда не собирался эмигрировать. Сама мысль об этом меня всегда приводила в ужас. Я активный гражданин своей секции. Я всегда плачу налоги и взносы. Я не требую иного титула, кроме звания *литератор*. Напишите руководству моего дистрикта, и Вам ответят, что они думают обо мне. <...> Чем не понравились вам зубцы моих стен? Что ж, успокойтесь, господа! Сейчас я обращаюсь ко всему обществу сразу; я прошу вас только об одном: оказать мне честь, дабы я сам принес их вам в жертву во время первой же поездки, кою я совершу в ваш департамент. С Конституцией в одной руке и с молотком в другой, я устрою на развалинах своего замка праздник для всех граждан. А пока, господа, давайте успокоимся и будем уважать собственность. Слова эти я беру из Конституции; уверен, вы чтите ее так же, как и я, и наверняка вспомните о том, о чем я написал вчера вашим господам муниципальным чиновникам, а именно что Брут и его сторонники, вернувшие Риму драгоценную свободу, похищенную тиранами, не были ни каменщиками, ни поджигателями[21].

Муниципалитет Ла-Коста ответил ему «братским» письмом, подписанным мэром Самбюком и муниципальными чиновниками Даниэлем Ба и Даниэлем Маланом. Они уверяют его в своем добром отношении и обещают, что с его постройками ничего не случится.

Сударь, мы возьмем Вашу собственность под нашу охрану, и никто не посмеет нарушить Ваше священное право владеть ею. Что Вас страшит, сударь? В этих краях каждый хотел бы увидеться с Вами. Ваши сограждане и друзья Вашего детства никогда Вас не забывали. И так же, как и мы, они скучают по Вас и ждут того мига, когда смогут обнять Вас.

Поэтому пусть он ни о чем не беспокоится: волнения, прошедшие в крае, не носили серьезного характера. Ла-Кост

<...> всегда был спокойным местом. <...> Поход патриотов на Апт и его окрестности привел ко всеобщему умиротворению. Он был противозаконен, однако обстоятельства потребовали совершить его. А патриоты вели себя столь разумно и осмотрительно, что их никак нельзя порицать. Частные владения остались в неприкосновенности, они удовлетворились тем, что разоружили врагов общественной безопасности <...>[22].

Убежденные, что именно Гофриди препятствует приезду Сада в его владения, они уговаривают его обойтись без согласия управляющего, приехать и самому убедиться в искренности их чувств. Со своей стороны, общество Друзей Конституции в Ла-Косте направляет ему «истинный анализ причин небольших мимолетных гроз, замеченных кое-где на горизонте», о которых маркизу было сообщено не совсем адекватно. Следовало убрать некоторые преувеличения, допущенные при рассказе о столкновениях с «идиотами» и фанатичными «женщинами», руководимыми мятежными священниками. Поход был организован вовсе не шайкой разбойников, как об этом сообщили де Саду, а регулярной воинской частью, вдобавок отличившейся примерным поведением. В остальном же двадцать членов общества Друзей Конституции клянутся, что его права собственника всегда будут свято соблюдаться, и заверяют его «в привязанности и братской и нерушимой дружбе всех граждан Ла-Коста»[23].

Все эти письма нисколько не успокоили Сада. Он привык не доверять людям, а клятвам и вовсе не придает никакого значения; он знает, что трусость и заинтересованность быстро заставляют забыть все клятвы. Лучше всего принять собственные предосторожности и быть готовым к любым неожиданностям. Поэтому он торопит своего поверенного поскорей вывезти из Ла-Коста мебель и без промедления отправить четвертую партию груза, обещанную ему несколько месяцев назад. Главное, пусть он не забудет присовокупить к ней «тысячу мелочей» из его кабинета естественной истории, как, например, золотые и медные монеты, медали с профилями римских императоров, «великолепный приап в кольце», письма отца, бумаги, относящиеся к судебным процессам, и самое важное — ящик с рукописями: «Умоляю Вас, не пренебрегайте этой посылкой, ибо я содрогаюсь при одной только мысли, что все эти вещи находятся в доме, коему грозит нашествие якобинских каменщиков и поджигателей»[24]. В это же время он обращается к маркизу де Монтескью-Фезансаку, главнокомандующему Южной армии, и, как сообщает он Гофриди, просит его «в память об их прежнем знакомстве оказать Вам помощь и поддержку в защите моих земель, сделать все, что от него будет зависеть, а также дать Вам охрану, ежели таковая понадобится»[25].

Богоборческая ярость провансальцев беспокоит его не меньше, чем поджоги замков. Не столько из-за религиозного чувства, сколько из-за преданности семейным традициям. Узнав, что монастырь Кордельеров в Авиньоне будет разрушен, он беспокоится о прахе *Лауры*, покоящемся в семейной усыпальнице.

Не будет ли достойнее предоставить сей знаменитой женщине нерушимое пристанище в одном из приходов, расположенных на моих землях? И не покажется ли нашим патриотам проект сей, на мой взгляд совершенно философический, излишне аристократическим? Прошу Вашего совета и прошу ответить мне непременно. Полагаю, у отцов целестинцев сохранились какие-нибудь бумаги или памятки относительно Лор. Не лучше ли будет их забрать? Мне кажется, у них должен сохраниться оригинал стихов Франциска I, посвященных Лор;[26] уверен, его следует забрать[27].

Неспокойно на всем Юге. Арль подвергся нападению со стороны отрядов трех департаментов, обрушившихся на город «с огромным количеством артиллерии». Льону вместе с семьей пришлось бежать[28]. В Мазане Рипер так запуган, что просит друга писать за него письма и даже не ставит под ними своей подписи. «Черт вас всех побери, да вы там в Провансе все с ума посходили!» — возмущается маркиз. И, обращаясь к «дорогому адвокату», добавляет:

Если с Вами вдруг случится новый приступ, умоляю, не раздумывая отправляйтесь в Париж на улицу Матюрен, № 20. Обещаю, за неделю Вы тут прекрасно обустроитесь. *Шесть порций Пале-Рояля* быстренько приведут Вас в чувство, это я гарантирую. Так что, заклинаю, приезжайте. Клянусь, буду искренне рад обнять Вас[29].

Несмотря на противоречивые ветры, дующие над Провансом, Донасьен убеждает себя, что на месте смог бы защитить себя лучше, нежели он это делает из столицы, особенно если вдруг кто-то покусится на его земли. На этот раз все решено: что бы ни случилось, в следующем мае (1793 года) он заказывает билет на дилижанс и едет в Авиньон вместе с Констанс. Там он пробудет не более трех месяцев. Надо еще продумать, где остановиться: вопрос нелегкий, несмотря на имеющиеся у него владения в окрестностях города: Мазан необитаем, Соман расположен слишком уединенно, и это внушает страх; о Ла-Косте лучше не думать: сейчас не время разыгрывать возвращение сеньора. Лучше всего было бы снять скромный домик в пригороде. Но что скажут люди? «Мною движут чувства равенства, добронравия и демократии, однако не будут ли меня порицать равные мне и не станут ли меня *злонамеренно разоблачать* стоящие ниже?» — тревожится он. В остальном он намеревается строго ограничивать свои расходы: кухарка и лакей на двоих, и обоих он наймет на месте. Никаких торжеств, никаких обедов, никаких гостей... Вскоре он меняет свое мнение. Во-первых, лучше будет остановиться в самом Авиньоне, у какой-нибудь почтенной супружеской пары лет сорока, а еще лучше у вдовы такого же возраста, которая смогла бы помогать по хозяйству. Квартал не имеет значения, лишь бы в доме было две спальни (Донасьен и Чувствительная спят в разных комнатах) с хорошими кроватями и гардеробом,

гостиной, примыкающей к спальням, и комнаткой для прислуги. Питаться они будут дома. Еда будет исключительно скромной: на завтрак маленькая булочка; на обед суп, закуска, какое-нибудь легкое блюдо, десерт, хорошее местное вино; на ужин овощное блюдо. При таком режиме Донасьен непременно скинет лишние килограммы, набранные за время заключения!

Однако грядущие события в очередной раз нарушат его планы.

«Бросьте все прочие дела!»

Девятнадцатого июня 1792 года по предложению Кондорсе Законодательное собрание издает постановление об отмене всех дворянских титулов. В тот же самый день на площади Вандом у подножия статуи Людовика XIV сжигают шестьсот томов, содержащих генеалогию дворянских родов. Донасьен напуган, он тотчас шлет указания Риперу:

> Особенно позаботьтесь о документах, содержащих поземельную роспись, а также о моих дворянских грамотах. Здесь, на площади Вандом, только что сожгли все дворянские регистры. Подобная фантазия вполне может прийти в голову и чиновникам Вашего кантона. Умоляю, сохраните мои бумаги, поместите их в надежное место, где ни одна живая душа их не найдет. Куда убрали большой архив в 20 или 22 томах, заботливо собранный в Сомане аббатом? Спрячьте получше все эти документы, не стану Вам советовать куда, и тотчас напишите Гофриди, чтобы и он сделал то же самое. Ввиду того, что творится вокруг, сейчас это самое важное. Заклинаю Вас, сразу же напишите об этом Гофриди: сейчас нет ничего более важного, поэтому бросьте все прочие дела![30]

И этот человек хочет прослыть яростным врагом своего класса? Какие мысли роятся в голове де Сада за три недели до 10 августа? Что его тревожит? О чем он думает? О том, чтобы получше спрятать свои дворянские регалии! «Бросьте все прочие дела!»

«Я один!»

Десятого августа 1792 года, в три часа утра, в Ратуше восставшие провозгласили создание Коммуны. Всю ночь, как некогда в ночь святого Варфоломея*, неумолчно бил набат. Колокола звенели, взывая к мятежу, и в глубокой ночи звук их казался похоронным звоном, оплакивавшим монархию. Около 6 часов делегаты секций левого берега и федераты, в частности марсельцы и бретонцы, без единого выстрела перешли мост Сен-Мишель. Вскоре они прибыли на площадь Карусель и остановились перед воротами, ведущими во двор Тюильрийского дворца. Отряды их пока еще малочисленны, поэтому прибывшие стояли, с удивлением глядя, какие основательные меры предприняли обитатели дворца для его защиты. Поверх стен они увидели швейцарцев

* Ночь с 23 на 24 августа 1572 г., во время которой в Париже была организована массовая резня протестантов.

в красных мундирах, многочисленных национальных гвардейцев, направленные в их сторону дула пушек, а также большой отряд конной гвардии. Всего четыре тысячи человек, к которым присоединились двести или триста верных сторонников монархии из числа бывшей личной гвардии короля и некоторое количество дворян, вооруженных кто чем. У некоторых были парадные сабли, а у других и вовсе каминные щипцы.

Пока восставшие ожидают подкрепления от других парижских секций, один батальон устраивает Людовику XVI бурную овацию, а на террасе, позади замка, в адрес короля летят проклятия и поношения; грубые нападки и дерзкие выходки вносят раскол в ряды канониров. Редерер, прокурор-синдик Парижа, уговаривает короля укрыться в Законодательном собрании и предпринимает усилия по защите королевской семьи. После часовых споров монарх вместе со всей семьей под охраной швейцарцев отправляется в Манежный зал; вслед им летят шуточки и улюлюканье толпы, собравшейся возле решеток забора со стороны террасы. Собрание встречает короля, как это положено по протоколу, и размещает его и его близких в ложе Стенографа.

Тем временем толпа повстанцев растет. К замку движется поистине весь Париж. Гражданские и военные, федераты и санкюлоты, члены секций, национальные гвардейцы, рабочие, буржуа, парижане, провинциалы: вот уже перед дворцовой решеткой толпится около десяти тысяч человек, вооруженных пиками и ружьями. Жандармы в высоких шляпах и со штыками братаются с народом; вскоре к ним присоединяются канониры из Валь-де-Грас: они вытаскивают свои пушки на площадь Карусель. Отряд под командованием Вестермана приказывает открыть дворцовые ворота. Восставшие врываются в эту брешь и бросаются на главную лестницу. В эту минуту из окна первого этажа раздается выстрел. Это сигнал. Швейцарцы открывают огонь; восставшие отступают, оставив на плитах двора 30 убитых. Однако из предместий Сент-Антуан и Сен-Марсо прибывает многочисленное подкрепление. Теперь отступают швейцарцы. Атака становится все яростнее. Восставшие почти прорвались к дворцовым дверям. Место сражения затянуто плотным дымом. В ход вступает артиллерия. В Собрании, узнав о начавшейся резне, Людовик XVI отдает приказ швейцарцам сложить оружие. Однако генерал д'Эрвийн, которому поручено передать этот приказ, в суматохе не выполняет поручения. К этому времени народ прорывается во дворец со стороны галереи Лувра, убивает большинство швейцарских гвардейцев и проникает в королевские покои. Начинается кровавая резня. С оставшихся в живых швейцарцев срывают одежду и отрезают им половые члены, а некоторым тут же отрубают голову; тех, кого выбрасывают в окна, разъяренная толпа тотчас подхватывает на пики. Как только дворец оказывается полностью в руках восставших, начинается вакханалия: все бьют, ломают и жгут. А пока в Париже толпа радостно свергает символы монархической власти, Законодательное собрание издает декрет о низложении короля и назначает Временный исполнительный Совет.

Чем занят в это время маркиз де Сад? Спустя два года, 24 июня 1794 года, представ перед Народной комиссией, он станет утверждать, что в славный день 10 августа к нему с утра пришел друг, и оба они отправились на площадь Карусель, где сражались вместе с марсельцами. Его друг даже был ранен. «Я негодовал, – добавит он, – оттого, что тиран и его недостойная супруга не сразу покаялись в свершенных преступлениях»[31]. Трудно верить столь запоздалому заявлению, сделанному в тюрьме, под угрозой гильотины, в ужасе от воспоминаний о трагической участи своего кузена Станисласа.

Клермон-Тоннер был заранее обречен толпой на смерть. Разве он не был защитником монархии, сторонником вето, агентом Папы? Он всегда выступал за конституционную монархию, поддерживал короля. Друг Лафайета, Малуэ, Монморена и Некера, он защищал Безанваля, выступал против Марата, Бриссо и Робеспьера. Этого было вполне достаточно, чтобы вызвать ненависть народа. К тому же его обвинили в заговоре, в сокрытии оружия, признали активным членом «австрийского комитета» и, как следствие, предателем нации. Разве такой человек мог избежать мести патриотов?

Десятого августа, около 10 часов, разъяренная толпа ворвалась к Клермон-Тоннеру в дом на улице Вьей-Тюильри (сегодня улица Сен-Жан-Батист-де-ла-Саль, что проходит между улицами Севр и Шерш-Миди). Его вырывают из объятий Дельфины, волокут в Круа-Руж, церковь премонстрантов, где беспрерывно заседает секция; его допрашивают, он опровергает обвинения; комиссары отпускают его и советуют скрыться. Однако потребность объясниться возобладала, он хочет обратиться с речью к толпе. Сначала ему аплодируют, но вскоре верх берут угрозы и враждебные выкрики. В первых рядах оказывается его бывший повар, выгнанный за кражу; он подбивает толпу отомстить своему бывшему хозяину. Станислас получает удар косой по голове; ему с трудом удается ускользнуть и добраться до дома своей подруги г-жи де Брассак, расположенного в Аббэ-о-Буа, у начала улицы дю Бак. Палачи преследуют его, на пятом этаже его настигают, хватают и вышвыривают в окно. Несчастный разбивается о мостовую. Тогда чернь устремляется к трупу, уродует его, кромсает на части, а затем тащит останки к нему домой. При виде изуродованного тела Дельфина падает в обморок. Станисласу де Клермон-Тоннеру не исполнилось еще и тридцати пяти...

Через две недели, все еще находясь под впечатлением этой жуткой смерти, Донасьен пишет Гофриди: «День десятого августа отнял у меня все: родных, друзей, покровительство, помощь; за три часа вокруг меня возникла пустыня. Я один!»[32]

Спустя десять лет он, вспоминая об этом трагическом дне, не мог не провести параллель с ночью святого Варфоломея:

> В своей пятьдесят второй книге де Ту рассказывает, как на следующий день после Варфоломеевской ночи придворные дамы Екатерины Медичи вышли из Лувра поглазеть на обнаженные тела гугенотов, убитых, раздетых и сваленных к стенам замка. – 10 августа парижские женщины явились глазеть на тела швейцарцев, сваленные в кучу во дворе Тюильри[33].

Мистификация

Возврата к прежнему не будет: Донасьен это знает. Отныне ему придется постоянно изыскивать весомые доказательства своей гражданской благонадежности и хитрить с местной властью, если он не хочет кончить так же, как несчастный Станислас. Его лояльность новому режиму будет казаться тем прочнее, чем больше он совершит неосторожных, однако вполне простительных проступков. Однако какие бы поступки ни совершал один из бывших, в наступившие времена жизнь его висит на волоске. Первой его ошибкой было вступление в общество Друзей монархической Конституции. В день, когда он попросил для себя и своих близких места в конституционной гвардии короля, он совершил ошибку гораздо более серьезную. Все эти проступки восходят к 1791 году. Командовавший в то время полком герцог де Коссе-Бриссак не пожелал иметь де Сада среди своих подчиненных — несомненно, из-за его дурной репутации, а также потому, что у того было «слишком много поводов быть недовольным королем». Но это не помешало ему внести имя Сада в список кандидатов, где оно и осталось[34]. Мучительней всего Саду сознавать, что оба сына его находятся в эмиграции; если об этом станет известно, меч закона обрушится на его голову. Этого нельзя допускать ни под каким видом; необходимо обмануть противника, подсунув ему весомые, бесспорные документы, ибо ни словам, ни видимости веры нет. Не имея возможности отрицать сам факт, он делает попытки публично выразить им свое неодобрение и таким образом снять с себя ответственность. Почему бы самому не сработать вещественные доказательства собственной благонадежности? И он пишет три письма, датированных 17 и 18 августа 1792 года, адресуя их, соответственно, председателю де Монтрею, Рене-Пелажи и своим детям. В первом Сад упрекает тестя за то, что тот заставил эмигрировать Клода-Армана и Луи-Мари. Прекрасная возможность очередной раз дать выход своей ненависти к «Монтреевой клике»! Нетрудно представить себе, какое он испытывает удовольствие, сочиняя такие вот строки:

Неужели только ради того, чтобы почувствовать себя *потомственным дворянином*, Вы повелели своим детям, своим племянникам отправиться по стезе *аристократов* и встать в их ряды? Я, сударь, никогда не обладал подобными смехотворными амбициями и желаю видеть своих близких исключительно ревностными патриотами и примерными гражданами. Эмигрировав, они утрачивают право на звание и первых и вторых, равно как и поступают против моей воли, ибо я всегда противился такому поступку, чему есть свидетели, коих Вы прекрасно знаете. Не секрет, что мадам де Монтрей, Ваша честолюбивая половина, всем жертвует и все предает ради того, чтобы вдохнуть жизнь в зачумленный скелет отвратительной юристократии и оживить министров, сжимающих своими зловонными когтями приказы о заточении без суда и следствия. А я, сударь <...> негодуя на позицию, которую Вы заставили занять моих сыновей, я должен был бы незамедлительно донести на Ваш дом как на очаг аристократического тупоумия, где зарождаются и, быть может, даже осуществляются и получают распространение ужасные замыслы. <...> Заявляю Вам, что если через две недели Вы не заставите детей моих исполнить их долг и вернуться (я этого сделать не могу, ибо их адрес от меня скрывают), так вот, повторяю, что если через две недели они не будут в Париже и, подобно своему отцу, не возьмут

> в руки оружие для защиты отечества, то никакие соображения не смогут остановить мое желание сообщить Законодательному собранию и всей Франции, что именно Вы преступно подтолкнули их к эмиграции <...>.

Забавный софизм! Чтобы разоблачить аристократические претензии Монтреев, санкюлотский подмастерье изъясняется на языке вельмож.

В письме к маркизе он возобновляет свои угрозы и добавляет следующее:

> Не нужно быть великим политиком, дабы понять, что выбор, который Вы заставили их сделать, совершенно абсурден и может только погубить их и обесчестить. <...> Хотелось бы знать, чем они теперь заняты в Германии. Неужели они служат тому государю, от которого можно ожидать только неблагодарности и презрения? Неужели они выступают на стороне того коварного предателя-короля, который по причине своей выдающейся трусости одновременно предал и народ, которому клялся помогать, и друзей, явившихся защищать его? Если сыновья мои оказались в тенетах этих людей, я немедленно готов разоблачить их. Сударыня, пусть сыновья мои возвращаются и пусть присоединятся к своему отцу. Я гражданин и патриот, сударыня, и всегда был таковым. Готовый вместе со своими братьями встать на защиту отечества и убежденный всей душой, что лучше потерять тысячу жизней, нежели увидеть, как во Франции возродился деспотизм и юристократия, я полагаю, что негоже детям моим выступать против меня с оружием в руках. Словом, сударыня, ежели через две недели они не вернутся, то предупреждаю Вас, я лишу их наследства.

И тут мы вполне можем представить себе, с каким удовольствием де Сад адресует эти строки своей жене. Да, сей добропорядочный де Сад наверняка при этом немало позабавился! А если и не сам де Сад, то его двойник-романист, автор писем, некогда написанных на имя вымышленной графини и повествующих о его путешествии по Голландии и Италии. Что ж, нам остается только восхищаться изощренности его риторики. Возмущение, патриотическая героика, санкюлотская язвительность: в этих письмах есть все! Не считая скрытого юмора, ненавязчивого и понятного только тем, кому известна подоплека всего дела.

Третье письмо адресовано самим сыновьям; осыпая их упреками, отец жаждет принудить их подчиниться и угрожает лишить их своего отеческого благословения:

> Дети мои, вы знаете, я всегда порицал занятую вами позицию, но знаю, что приняли вы ее по наущению семьи вашей матери, ставшей вам дороже родной семьи. <...> Я же хочу сообщить вам, что исполняю свою службу у себя в секции, а посему обстоятельства могут столкнуть нас напрямую, и негоже сыновьям выступать с оружием в руках против отца. Более того: постановление Законодательного собрания делает отцов ответственными за поступки их детей, и если дети не возвращаются, меч правосудия в любую минуту может обрушиться на отцовскую голову[35]. <...> Вы служите негодяю и предателю, который в славный день 10 августа предал свой народ, приказав в него стрелять, и своих друзей, собравшихся возле него, дабы его защитить: им он поклялся умереть вместе с ними. Только дураки могут продолжать служить делу этого проходимца. Одним словом, дети мои, приказываю вам немедленно возвращаться, а коли вы промедлите хотя бы один лишний день, то да пребудет с вами моя ненависть и проклятия.

Читатель уже все понял: письма эти никогда не были отправлены. Впрочем, и написаны они были вовсе не адресатам, а возможным

следователям, если таковым будет поручено выяснить, где находятся его дети. Заверения в своей гражданской благонадежности, постоянные нападки на деспотизм, оскорбления и упреки в сторону Людовика XVI, а также назидательный тон посланий должны создать убедительный портрет человека, безоглядно и искренне преданного новой власти.

Отметим, однако, что санкции, направленные против родственников эмигрантов — по крайней мере до 1792 года, — не подвергали опасности ни свободу, ни жизнь этих родственников. Речь шла в основном о санкциях экономических. Согласно декрету, опубликованному 30 марта 1792 года, на имущество, «неделимое с эмигрантом», налагался секвестр. Однако

> <...> во всех случаях, — как уточнялось в тексте, — женам, детям, отцам и матерям эмигрантов будет позволено временно пользоваться жилищами, где они проживают постоянно, а также мебелью и прочим движимым имуществом, которым они располагают. Тем не менее вышеуказанная мебель и движимое имущество, равно как и дом, будут описаны и выставлены на продажу во имя возмещения ущерба[36].

Это постановление было дополнено соответствующим приложением, разосланным по секциям:

> Законодательное собрание постановляет: отцы, матери, жены и дети эмигрантов должны проживать в своих муниципалитетах под неусыпным надзором, под покровительством закона и под наблюдением муниципальных чиновников, без позволения которых они не вправе никуда выехать; в противном случае они подвергаются аресту[37].

Сад опасался конфискации той части имущества, которой он владел нераздельно с детьми. Иначе говоря, ареста всех его источников доходов. Отсюда уловка с тремя поддельными письмами, оригиналы которых он потрудился зарегистрировать; свидетелями его стали граждане Макарель и Жируар, его издатель; они поставили свои подписи под следующим свидетельством:

> Мы, нижеподписавшиеся, заверяем, что три письма, переписанные и приложенные, слово в слово соответствуют письмам, зачитанным нам господином де Садом; письма сии будут им, по его утверждению, отосланы как можно скорее тем лицам, коим они адресованы. Также мы заверяем, что принципы, в них изложенные, соответствуют принципам, издавна исповедуемым самим этим гражданином. Поэтому мы подписали настоящий документ, дабы он при необходимости мог его представить в нужные инстанции. Париж, восемнадцатое августа Четвертого года свободы и Первого года равенства.
>
> *Макарель*, служащий на фабрике
> по изготовлению ассигнатов,
> улица Клери, на пересечении с улицей Монмартр, № 84[38]
> *Жируар*, Печатник-книгопродавец,
> Париж, Улица Бу-дю-Монд, № 47

Вот наш герой и защищен (по крайней мере, сам он думает именно так) на случай, если дела обернутся плохо...

Dies Irae*

На другой день после 10 августа революционное движение резко пошло на подъем. Миф о широкомасштабном заговоре аристократов, связанных с заграницей, пробудил былые страхи. В столице все начинают панически бояться предательства, и, как всегда, паника порождает репрессии. Коммуна становится провозвестником политики террора, во многом предвосхищая террор 1793 года. Под давлением санкюлотов умирающее Законодательное собрание концентрирует карательные меры: наказание «виновных» становится в повестку дня.

К концу месяца тревожные слухи нагнетают напряжение. 26 августа доходит известие о поражении при Лонгви. 2 сентября капитулирует Верден: дорога на столицу открыта. И тут Дантон, этот символ союза революционных сил, поднимается на трибуну Собрания и своим могучим голосом бросает знаменитый призыв:

> Повсюду зреет возмущение, все содрогается, все горят желанием сражаться. <...> Набат звучит, но это не сигнал тревоги, это звучная поступь, которая раздавит врагов отчизны. Чтобы победить их, господа, нам нужна смелость, еще раз смелость, одна лишь смелость, и Франция будет спасена.

Через два часа после этой речи, в воскресенье пополудни, 2 сентября, пока гудит набат и пушечные выстрелы призывают парижан на Марсово поле, экипажи, заполненные священниками, увозимыми в ссылку, остановлены и препровождены в тюрьмы Аббатства и в бывший монастырь кармелитов. И начинается страшная резня. Пять десятков убийц, среди которых ремесленники, сапожники, продавцы лимонада, торговцы уксусом, каретники, слесари, к которым присоединились несколько марсельских и бретонских федератов, устраивают пародию на народный трибунал: рубят «приговоренных» саблями и закалывают пиками. За два часа было умерщвлено сто пятнадцать священников — кровь лилась рекой. В основном это были бедные сельские кюре, бежавшие в Париж в надежде найти здесь укрытие.

С 25 августа по Парижу поползли страшные слухи: повсюду только и говорят о том, что предатели, сидящие в парижских тюрьмах, не унялись и продолжают плести заговоры против революции, что роялисты намереваются выпустить и вооружить всех узников, включая уголовников, и натравить их на патриотов. Народ охватывает паника. Мужчины отказываются идти на фронт, прежде чем их город не будет очищен от врагов нации. Пресса «указывает» на заговорщиков, стремясь обрушить на их головы народный гнев. Марат, а еще более Фрерон, подстрекают санкюлотов к немедленным расправам. «Тюрьмы переполнены негодяями, — пишет Фрерон в газете "Оратер дю пепль". — Необходимо избавить от них общество, и немедленно». 3 сентября в тюрьме Аббатства жертвой палачей становится принцесса де Ламбаль. Один из них взрезает ей живот, сдирает одежду, отрезает груди и половые органы и, ко

* День гнева (*лат.*).

всеобщему веселью патриотов, восклицает: «Глядите на эту шлюху! Теперь-то уж ее никто не отсношает!»[39] Затем ей отрезают голову, заставляют подвернувшегося под руку парикмахера причесать ее, насаживают на пику и долго разгуливают с ней под окнами Марии-Антуанетты. Массовые «казни» продолжаются весь следующий день и дальше, вплоть до 6 сентября. Во всех парижских тюрьмах убийцы, опьяневшие от крови, предаются самым разнузданным бесчинствам: в Сен-Фирмене, в Шатле, в Ла-Форсе, в Сальпетриер, в монастыре бернардинцев. Всего в эти трагические дни погибло больше тысячи двухсот человек, и среди них женщины и дети.

На следующий день после окончания резни Донасьен пишет Гофриди следующие строки:

> 3 сентября погибли десять тысяч узников. Ничто не может сравниться с ужасом сей резни. В числе жертв оказалась и бывшая принцесса Ламбаль; ее голова, насаженная на пику, была выставлена на обозрение королю и королеве, а тело несчастной восемь часов таскали по улицам, оскверняя его и, как утверждают, предавая всяческим непотребным надругательствам; всех неприсягнувших священников волокли в храмы и там убивали; среди погибших числится епископ Арльский, самый добродетельный и самый почтенный среди всех известных мне людей[40]. Дороги перекрыты, спектакли отменены, город каждый вечер озаряется сотнями огней, и, как меня уверяют, взят Верден...[41]

Однако, уже запечатывая письмо, он вдруг спохватывается: а не выразил ли он слишком много жалости к жертвам и отвращение к палачам? Если письмо попадет в надлежащие руки, не выдаст ли оно его? Тогда он сворачивает лист и между строк, после «Ничто не может сравниться с ужасом сей резни» своим изящным почерком добавляет: «*но она была справедлива*». Эта вставка говорит нам гораздо больше о его истинных чувствах, нежели все его политические речи.

«На душе у меня темно»

Словно огонь по пороховой дорожке, кровавое безумие, охватившее столицу, устремилось в провинцию. Авиньон охвачен ужасом. Угроза вражеского нашествия и новости, приходящие из Парижа, способствуют насаждению террора по всей округе. С недельным опозданием в провинции происходят свои августовские и сентябрьские события. Крестьянские волнения выливаются в варварский грабеж имущества земельных собственников: замки поджигают и разрушают, поля опустошают: словом, жакерия во всех своих проявлениях. В Апте и окрестностях вновь вспыхивают кровавые мятежи. Войска, которым поручено расстроить происки контрреволюции, арестовали агента принцев Лакаре и разоблачили его шпионскую сеть, которой он успел опутать юго-восток страны. Заговорщики-монархисты спешно эмигрируют. Скрываясь то в одной, то в другой деревне, Гофриди вместе с сыном Элеазаром и еще дюжиной подозрительных, среди которых и его коллега Фаж, бегут в Лион в надежде там укрыться. Быстро узнав об этом, маркиз не советует управляющему оставаться в этом городе. Разуме-

ется, на настоящий момент он является надежным пристанищем, однако если Сардинское королевство объявит Франции войну – а опасаться этого есть все основания, – то древняя столица галлов неизбежно пострадает. Почему, черт возьми, он не хочет приехать в Париж? Там, по крайней мере, его верный товарищ состарится в безопасности, под его присмотром:

Я обращаюсь к Вам как к другу и как друг предлагаю Вам все, что могу, не обещая ничего невозможного, – пишет он Гофриди 13 сентября. – Я уверен, что только так следует говорить с таким честным другом, как Вы. Я предлагаю Вам комнату в своем доме, достаточно большую, чтобы поставить в ней две кровати; там Вы и Ваш сын сможете спать. В комнате есть мебель, не хватает только кроватей, однако я помогу Вам взять на время две кровати по сходной цене; отопление и освещение я беру на себя; питаться *Вы* будете у меня, а сын Ваш станет питаться в том же доме всего за шестьдесят франков в месяц, так что в целом Вам придется расходовать примерно восемьдесят или девяносто франков в месяц. Уверен, Лион Вам обходится дороже. Возвращение Вам не будет стоить ничего; Вы подождете меня, и в апреле месяце мы поедем вместе <...>[42].

В этом же письме он просит управляющего в дальнейшем опускать все надлежащие формулы вежливости и не подписываться: осторожность никогда не бывает излишней. Приглашение действительно весьма великодушно, тем более известно, что «супружеская чета» живет в весьма стесненных обстоятельствах и каждодневно подвергается риску; однако Сад был многим обязан своему давнему слуге. Рвение, проявляемое Гофриди к делам бывшего сеньора, отчасти явилось причиной его собственных неприятностей, о чем позднее написал Рейно:

Его преданность Вашим интересам была одной из основных причин его бегства. Ему приходилось делать множество визитов к людям убеждений прямо противоположных, и его частые приезды в Апт возымели для него весьма неприятные последствия[43].

Нотариус даже получил секретное распоряжение расстаться со своим клиентом.

Тем не менее, прежде чем покинуть свой добрый город, Гофриди позаботился вселить тревогу в администрацию дистрикта, и та, в свою очередь, предупредила муниципалитет Ла-Коста, что начиная с 7 сентября есть основания ожидать серьезных волнений. Главы дистрикта просили чиновников из муниципалитета «тщательно проследить за тем, чтобы дом де Сада, не являющегося эмигрантом, не был бы разграблен»[44].

* * *

Спустя несколько дней в кабачке соседнего селения Лорис, что расположено на берегу Дюранса, какой-то селянин, хохоча во весь голос, разглагольствует о том, как эти «слабаки из Ла-Коста» боятся захватить замок своего бывшего сеньора. В Лорисе знак к штурму замка подал сам мэр, первым начавший швырять камни. Так чего ждут эти растяпы, почему не последуют их примеру? Под градом насмешек соседей жители Ла-Коста, вдохновляемые соседями из Лориса, реша-

ются на штурм. В воскресенье 16 сентября в селении только и говорят что о предстоящем штурме: идут последние приготовления. Большинство считает, что все начнется завтра. Как нарочно, мэр Самбюк выбрал именно завтрашний день, чтобы ехать на ярмарку в Бонье, а консьерж замка завтра занимается переездом.

Во главе нападавших будут два профессиональных «менеджера». Один из них, Анж Распай, бывший кондитер из Апта и нынешний член одной из народных комиссий этого города, слывет в округе записным оратором; он велит называть себя «комиссаром» и никогда никуда не ездит без рупора. В то утро вместе со своим соратником Франсуа Ру он уже руководил нападением на замок Борепор, жилище эмигранта Сапорта. Торопливость жителей Ла-Коста расстроила его планы.

На следующий день, 17 сентября, около десяти часов утра, несколько десятков нападающих (около восьмидесяти, по признанию свидетелей), мужчины, женщины, дети, вооруженные палками и пиками, врываются в ворота, а затем во внутренний двор замка. На предупредительный окрик подоспевшего национального гвардейца нападающие отвечают оскорблениями и угрозами. Толпа высаживает двери и устремляется внутрь. Все помещения подвергаются разграблению и разрушению. Наиболее тяжелую мебель выбрасывают в окна; то, что нельзя унести, дробится на мелкие кусочки; бьют стекла, высаживают перегородки, выламывают обшивку стен и паркет, двери разбивают о камни. Некоторые ополчились на голубятню и усиленно доламывают ее. Через час замок практически опустошен: в нем не осталось ничего, кроме осколков и обломков.

Прибывшие на место почти с часовым опозданием два куманька, Распай и Ру, утихомиривают самых разошедшихся. Знамение времени: именно коммуна поручила бандитскому главарю навести порядок и вернуть украденные предметы. Проникнувшись важностью своей миссии, Распай собирает вандалов, энергично их отчитывает, напоминает, что имущество бывшего сеньора принадлежит нации, и заставляет их сложить награбленное в доме священника.

Так как добро возвращают неохотно, коммуна предписывает всем жителям оставаться на местах и поручает десятку граждан обойти подряд все дома Ла-Коста и окрестностей в поисках разграбленной мебели. Все, что будет собрано, надлежит нести в дом священника. Перевозка мебели занимает весь следующий день, 18 сентября. Одновременно с этим Распай убеждает жителей Ла-Коста в необходимости разрушения жилища бывшего маркиза: от него надо оставить один лишь первый этаж. Прокурор коммуны и несколько нотаблей протестуют и даже едут в Апт, чтобы привлечь к происходящему внимание властей. Пока они отсутствуют, Распай, гордясь своим прозвищем Комиссар, приказывает каменщику снять в замке все оставшиеся двери и вынуть окна; разбирать крышу каменщик отказывается. Ночью отряд из восьми человек охраняет открытые всем ветрам подступы к замку.

Несмотря на принятые меры, на следующий день, 19 сентября, атака возобновляется. С пяти утра десятков пять мальчишек и взрослых

мужчин, явившись в замок, усиленно его обыскивают. Так как грабить там практически уже нечего, они набрасываются на дверные ручки и замки, разбирают камины и выковыривают уцелевший паркет. Призванный на помощь Распай возобновляет свои увещевания, на этот раз сопровождая их угрозами; ему удается заставить их вернуть добычу. В семь часов муниципалитет созывает всех граждан Ла-Коста, без различия пола и возраста, в приходскую церковь. На кафедру поднимается Анж Распай и держит долгую гневную речь, адресованную виновникам разбоя. Он напоминает им священные принципы Конституции и грозится сурово покарать рецидивистов. Наконец, он призывает их быть добрыми патриотами и вернуть все, что они растащили по домам. Судя по тому, что в течение дня многие вещи действительно были принесены в дом священника, красноречие его не пропало даром. Часть вещей нашли в сточной канаве: грабители, опасаясь наказания, побросали их там.

Наконец, к девяти часам мэр Самбюк, отсутствовавший с 16 сентября, то есть с самого воскресенья (скорее всего, он скрывался у кого-то из друзей, ожидая, чем окончатся волнения), возвращается к себе в коммуну. Узнав о событиях последних трех дней, он тотчас отправляется в дом, где заседает совет коммуны, и велит поставить часовых у въезда в деревню, приказав им никого не выпускать. Ночь проходит без происшествий. На следующий день, на рассвете, Самбюк вновь созывает всех граждан деревни и окрестностей в церковь,

> <...> где, собрав всех около восьми часов утра, мэр поднялся на трибуну и выразил свое глубокое удивление и возмущение тем, что, оставив край в полном спокойствии и уверенности, что граждане его служат образцом для всех соседей, вернувшись, узнал, какие бесчинства они натворили <...> все честные сердца содрогаются от ужаса <...>; еще он сообщил, какого наказания они заслуживают и каких неприятностей столь безрассудные действия могут навлечь на коммуну; он сурово приказал им вернуть все вещи, захваченные в замке, если они еще этого не сделали, и предупредил, что снарядит патрули для обхода домов и сельскохозяйственных построек, и тот, у кого найдут вещи из вышеуказанного замка, будет наказан по всей строгости закона <...>[45].

Для проведения обысков были назначены четыре комиссара (в числе которых был сам мэр), их сопровождал один офицер и четыре стрелка Национальной гвардии. Они притащили целую груду вещей, найденных во дворах, в садах и в окрестных гротах.

Через неделю, 28 сентября, два судебных исполнителя из Апта, Луи-Оноре Распо и Лоран-сын, привезли из департамента Буш-дю-Рон ордер на обыск; с тремя телегами они подкатили к муниципалитету Ла-Коста. Им поручено погрузить «белье, простыни и одеяла», захваченные в замке бывшего маркиза, и отвезти их в Апт, где они поступят в распоряжение Южной армии. Однако мошенники не довольствуются постельным бельем; они увозят всю мебель и все ценные вещи, сложенные в доме священника, оставив только хлам. А когда грузить становится некуда, они реквизируют четвертую повозку. Напрасно муниципальный совет протестует против такого «ужасного обращения» с имуществом гражданина, чей «пламенный патриотизм» никогда не ставился под сомнение: это не

помогает. Конвой направляется в Апт, а оттуда в Марсель, где следы его затерялись[46]. Что же касается оставшейся в доме священника мебели, опись[47] которой нам удалось найти, то 17 февраля 1793 года муниципалитет Ла-Коста приказал отвезти ее обратно в замок. Очевидно, погромщики пренебрегли сей кучей обломков, среди которых были сломанные предметы обстановки, разбитые зеркала, упряжь, седла, пустые бутылки и кухонные принадлежности.

На следующий день после этих событий муниципалитет Ла-Коста, собравшись в полном составе, обвинил одного из своих членов, а именно нотабля Жана Гардиоля, члена Генерального совета, в «содействии ужасным событиям, случившимся в последние дни в вышеуказанном замке, а также в участии в грабеже»; было решено сообщить об этом в администрацию департамента и добиться его смещения[48]. А спустя два месяца, 19 ноября 1792 года, те же самые муниципальные чиновники адресуют официальный протест избирательной ассамблее департамента Буш-дю-Рон с жалобой на «мошенничество», совершенное упомянутыми Лораном и Распо[49].

Истинные причины налета на замок так и остались покрыты мраком. Вызов, брошенный жителями Лориса, мог послужить детонатором, однако все им объяснить нельзя. По мнению верного Рейно, население Ла-Коста всего лишь следовало примеру соседей, однако он не исключает и мотива личной мести:

> Причиною стало распространившееся в этих краях стремление стереть с лица земли все господствующие над долинами крепостные замки. Начали с соседнего Лориса. Замок Тур-д'Эг и расположенные поблизости крепости постигла та же участь. Однако ко всеобщей страсти к уничтожению вполне могут примешиваться причины личного характера[50].

Со своей стороны Поле, муниципальный чиновник коммуны и доверенный человек Сада, списывает ответственность на «побуждения нескольких дурных жителей Лориса, которые, совершив подобные бесчинства у себя, явились продолжать вершить их у нас»[51]. С другой стороны, подозревать гражданина Сада в симпатиях к контрреволюции оснований не было: о его патриотических писаниях и ответственных должностях, исполняемых им в секции (как раз в то время, когда грабили его замок, он был назначен ответственным секретарем секции), в Ла-Косте и окрестностях было хорошо известно. Так в чем же дело? Некоторые считали, что в замке скупщики устроили склад зерна и таким образом навлекли на это место гнев крестьян. Под подозрение попал даже Гофриди. Однако Рейно быстро опроверг слухи и развеял все подозрения маркиза, которые могли зародиться у того в отношении своего поверенного[52].

На самом деле маркиз был убежден, что стал жертвой врагов, жаждущих его погубить, однако назвать их имена он не решился. Зная о его мании преследования, не стоит придавать слишком большого значения его утверждениям. «Друг мой, сомнений больше нет: против меня действует банда мерзавцев и мошенников», — сообщает он Гофриди в письме от 14 октября. А спустя два месяца (10 декабря) пишет: «Подоб-

ными способами пользуются враги, и враги вполне определенные... давние... установленные». Действительно, его вспыльчивая натура, его словесная неистовость, его замашки феодального сеньора, от которых он так никогда и не избавился, навлекли на него стойкую ненависть. Например, Льон-старший из Арля, с которым маркиз обошелся весьма несправедливо, обвинив его в растратах, или Рипер из Мазана, столь часто служащий ему козлом отпущения, или Пепен из Сомана, которого он тоже не щадит... Всем, кто работал на него, прекрасно известен его не терпящий возражений командный тон, которым он отдает приказания. Сколько они страдали молча, не осмеливаясь сказать об этом, от его писем, полных оскорблений и насмешек... Надо либо знать маркиза так, как знал его Гофриди, или отвечать ему в том же духе, как делал Рейно, чтобы спокойно сносить его выходки. Поэтому возмущение остальных вполне можно понять.

К этому характерологическому фактору добавляется, разумеется, политическое противостояние. Даже если его патриотические убеждения воспринимаются всерьез (А почему бы и нет? Пока еще никто не сомневается, что в Париже, где он, по его собственным словам, «работает», чтобы стать «самым известным человеком Революции», он действительно «на хорошем счету» у властей), слишком тесные связи с бывшим сеньором в узких рамках департамента могут оказаться компрометирующими — Гофриди это прекрасно известно! Не говоря уже о тех немногих неукротимых, для которых любой бывший, даже обращенный в новую веру, по-прежнему остается извечным врагом. В непосредственном окружении Донасьена таким человеком является якобинец Кенкен по прозвищу Вдовец, нотариус из Мазана, ставший к этому времени одним из поверенных маркиза. Никогда еще маркиз так не ошибался в выборе поверенного, как в случае с Кенкеном, коварным, не знающим удержу интриганом, — мы к нему еще вернемся.

В одном из писем маркиза де Сад утверждает, что по ее приказу было проведено расследование, в результате которого она поняла истинные причины несчастья, постигшего недавно ее супруга, однако сведения, собранные ею, она оставляет в тайне (осторожность обязывает!):

Мне известно, какие разрушения произошли в Ла-Косте и какой ему нанесен ущерб, однако причина вовсе не в том, как ему это кажется, — пишет она. — Чтобы убедиться, что там произошло на самом деле, я попросила выяснить истину на месте, и теперь я ее знаю[53].

* * *

В отсутствие Гофриди, скрывающегося в Лионе, известие о разграблении Ла-Коста Сад получает от одного из сыновей управляющего и от адвоката Рейно. Сначала он отказывается этому верить и заклинает Гофриди «посвятить его во все детали», так как подробности, сообщенные его сыном, кажутся Саду совершенно невероятными. Как можно было вытащить мебель, которую он сам передвигал только с помощью «журавля»?

Если такое случилось, то кем же должны быть эти люди? И зачем они это сделали? Почему никто не явился утихомирить личностей, пожелавших обокрасть меня, почему им не сказали, что действиями своими они оскорбляют жертву деспотизма, а следовательно, пламенного друга революции? Почему муниципалитет Ла-Коста, написавший мне: «Мы берем ваши владения под свою защиту», не защитил их? Все это, мой дорогой адвокат, весьма подозрительно, и я умоляю Вас во всем разобраться[54].

Спустя несколько дней он пишет новое письмо, где умоляет управляющего как можно скорее отправиться в Прованс. Просьба эта — истинный образчик эгоизма, упакованный в обертку самой искренней дружбы. Возвращаясь в Прованс, несчастный нотариус рисковал жизнью; ни в Арле, ни в Авиньоне для него не было надежного убежища. Тем более не было его в Париже. Однако маркиз притворяется, что не понимает этого. Он убежден, что Гофриди должен стоять на своем посту и спасать его имущество, жертвуя — если необходимо — своей жизнью. Под словом «друг» скрывается требовательный господин. Маркиз вновь шантажирует управляющего, угрожая совершить самоубийство, однако Гофриди слишком хорошо знакома эта риторика, чтобы принимать ее всерьез. Исчерпав все аргументы, он начинает предостерегать беглеца против вредного для его здоровья воздуха: «Люди, привыкшие к климату Прованса, с трудом переносят воздух Лиона», — совершенно серьезно пишет Сад.

Вот, дорогой мой Гофриди, самое важное письмо, которое я когда-либо Вам писал. Поэтому прошу Вас, будьте снисходительны и поразмыслите над ним как следует, а потом ответьте мне на каждую его фразу.

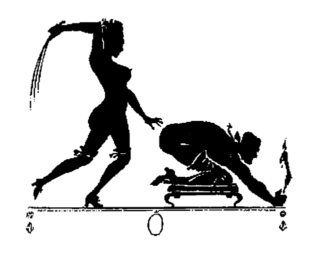
Мы с вами, добрый мой и дорогой друг, знакомы уже больше сорока лет. Мы, если можно так сказать, вместе выросли; я всегда питал к Вам самую искреннюю дружбу, и только чувство дружбы побудило меня обратиться к Вам с просьбой заняться моими делами после того, как с ними не справился Фаж. Вы согласились, и я с уверенностью могу сказать, что начиная с этого времени Вы, вдохновляемые тем же самым чувством дружбы и сохраняя его и по сей день, заботливо вели мои дела. Однако в самую важную для меня минуту, в то время когда Вам осталось потерпеть всего шесть месяцев, Вы буквально наносите мне удар, кровавый и безжалостный. Вы уехали; дела мои брошены, а я пребываю в ужасной тревоге и несказанном затруднении. В этих обстоятельствах я умоляю Вас приехать — хотя бы ко мне в Париж, но Вы отказываетесь. Из этого следует, что Вы хотите вонзить кинжал мне прямо в сердце. <...> При таком положении вещей, мой дорогой адвокат, любой другой на моем месте пустил бы себе пулю в лоб, и не скрою, что я уже несколько раз порывался это сделать.

Друг мой, я постоянно возвращаюсь к давнему моему чувству. Оно глубоко укоренилось в моем сердце. Ради всего святого, швырните в огонь все доверенности и поезжайте в Прованс сами. Со слезами на глазах молю Вас это сделать; не бросайте Вашего несчастного друга в несчастии. Неужели я обрел свободу только для того, чтобы умереть с голоду? Неужели мне придется сожалеть о застенках Бастилии? Нет, Вы не сможете этого допустить!.. Я отсюда вижу, как Вы, поторапливаемый моими мольбами, пакуете вещи и возвращаетесь! Пусть даже не к себе домой, а в окрестности Ла-Коста. Помните, что и Арль, и Авиньон могут стать для Вас не менее надежными убежищами, чем Лион. Черт побери, друг мой, Вы же не замешаны ни в одном преступлении! Речь идет всего лишь о том, чтобы вернуться ненадолго; большая ненависть обычно проходит за один день.

Маркиз собирается продолжать, однако его прерывают: пришла почта. В письме Рейно подробно изложены обстоятельства штурма замка; он даже представить себе не мог, сколь велики произведенные разрушения. Вновь взяв в руки перо, Сад дает выход своему горю:

Только что я получил ужасное письмо... Дрожащими руками я распечатал его... Увы! Вот оно, вестник моего несчастья!.. В нем содержатся ужасные подробности событий, случившихся в Ла-Косте!.. Для меня Ла-Кост более не существует!.. Какая утрата! У меня нет сил выразить свою скорбь. Мебели, что находилась там, хватило бы на шесть таких замков!.. Я в отчаянии! Если бы Вы не медлили так с вашими проклятыми посылками, мне бы удалось спасти свои вещи... Негодяи разбили и разломали все, что не смогли унести.

Он узнает, что все возвращенное имущество было отправлено в Марсель: «А по какому праву? Разве я эмигрант? Разве они не видели мой вид на жительство? Действуя подобным образом, эти мерзавцы вскоре заставят всех ненавидеть новый режим». Ему сообщают, что муниципалитет выступил на его стороне: он напишет ему благодарственное письмо. «Прощайте, прощайте! На душе у меня темно!»[55]



Глава XXII
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФАРС

Со дня своего создания все сорок восемь секций Парижа принимают все большее участие в делах нации. Не довольствуясь делами муниципальными, они активно вмешиваются в политику и решение вопросов, совершенно чуждых их компетенции. Уже с ноября 1790 года газета «Ле Монитер» возмущается подобным поведением, которое она расценивает как «недисциплинированное».

> Все, что порождено анархией, царящей в дистриктах, — пишет муниципальный чиновник Пеше, — вскоре возродится при режиме секций, если они, превысив границы своей власти, станут заниматься принятием решений, в то время когда закон предоставил им всего лишь отдельные, избирательные функции[1].

Первое предупреждение осталось незамеченным; все тот же Пеше продолжал жаловаться на незаконное присвоение секциями чужих ролей. Наконец, столкнувшись с угрозой диктатуры, всегда таящейся среди особенно яростно настроенных меньшинств, Национальное собрание решает принять меры. Декрет от 18–22 мая 1791 года вводит созывы секций в определенные рамки и позволяет принимать решения исключительно на муниципальном уровне. Речь идет об избежании намечающегося конфликта местной администрации с центральной властью. Однако секции подчиниться отказываются и требуют права собираться когда им угодно. Под давлением санкюлотов, а также ввиду нарастающей угрозы иностранного нашествия, Законодательное собрание в конце концов уступает: 24 июля 1792 года оно дает секциям разрешение проводить неограниченное число заседаний в любое время. Но это вовсе не означает, что теперь они станут собираться днем и ночью. За исключением чрезвычайных обстоятельств, заседания будут начинаться в пять или шесть часов вечера, а завершаться в одиннадцать; повестка дня определяется присутствующими на заседании.

Еще одно новшество: так как Собрание постановило с 1 июля 1792 года проводить исключительно открытые заседания администрации, то секции возводят свои трибуны в депутатском зале, где принимаются решения. Вскоре зал наводняют группы агитаторов, которые вмешиваются в выступления, нарушают порядок работы угрозами и оскорбле-

ниями. Результат не замедлит сказаться: умеренные устрашены и уступают под натиском экстремистов.

Не имея политической программы, секции тем не менее ясно формулируют свои требования. 3 августа 1792 года они, собравшись перед Собранием, требуют отрешения монарха от власти, «уничтожения первого звена контрреволюционной цепи» и созыва «Конвента».

Секция, называемая секцией площади Вандом, с самого начала насчитывала тысячу двести активных членов, проживавших в квартале Вандом-Мадлен, и заседала в церкви капуцинов, сегодня уже не существующей[2]. Будучи сначала одной из самых умеренных парижских секций, она в 1791—1792 годах претерпела такую же эволюцию, как и все остальные. Попав под влияние санкюлотов, секция пошла на поводу у своих экстремистски настроенных членов, довольно быстро превратилась в радикальную организацию и вскоре стала одним из «красных» бастионов столицы. Среди ее членов был сам Робеспьер; он стал одним из пяти комиссаров, которые 10 августа вошли в состав Генерального совета Коммуны[3]. В ней также числился знаменитый Франсуа-Николя Венсан, по прозвищу Хищник, неукротимый «бешеный», арестованный за бесчинства вместе со своим другом Ронсеном, таким же фанатиком как и он. Его подпись фигурирует на виде на жительство г-жи де Сад и ее дочери[4].

В сентябре 1792 года площадь Вандом была переименована в площадь Пик, и секция стала называться (гораздо более угрожающе!) секцией Пик[5].

Маркиз-санкюлот

Несмотря на свое происхождение — или, скорее, именно в силу своего происхождения, Сад не покидает лагерь сторонников насилия, а вступает с ними в союз. А впрочем, что ему остается? Если сегодня он выйдет из секции, его обвинят в предательстве народа. Он не только должен во что бы то ни стало оставаться на своем посту, но и, словно приговоренный, с повышенным рвением исполнять свои обязанности, ибо его статус «бывшего» делает его *априори* подозреваемым в отсутствии патриотизма. Он может сколько угодно менять свое имя, устранять частичку «де», клясться, что никогда не принадлежал к аристократии, никто в секции ему не поверит. Тем, кто сомневается в его искренности, он напоминает о своем пребывании в Бастилии («Здесь быть из числа бывших узников Бастилии считается великой честью; этим гордятся, об этом пишут, и это всегда вызывает уважение», — сообщает он Гофриди), громко и гордо называет себя жертвой «тирана», без устали рассказывает о своем подвиге, совершенном 2 июля 1789 года, отрицает свое прошлое, отрекается от предков, от жены, от детей и изо всех сил множит доказательства преданности республике.

Надо признать, что до сих пор Луи Сад действительно ведет себя как образцовый гражданин: усердно посещает заседания, всегда внимателен, дисциплинирован, исполнителен, тщательно выполняет все по-

рученные ему дела; словом, за все время он не совершил ни одной ошибки. Однако теперь этого уже недостаточно. Когда террор ставится в повестку дня, а санкюлоты захватывают все больше власти, климат внутри секций становится достаточно суровым; крайняя политизация всех дискуссий не терпит ни беспечности, ни равнодушия, ни умеренности; простой отказ исполнять какую-либо общественную обязанность приравнивается к контрреволюционности и может привести в тюрьму или даже на гильотину. Если Сад хочет выжить, ему непременно надо покончить с собственным нейтралитетом и начать «по-волчьи выть», иначе говоря, действовать. Он сам сунулся в это осиное гнездо и теперь должен идти до конца. Для такого человека, как он, это задача не из легких: он не склонен к заказному сочинительству и как никто другой питает отвращение к публичной деятельности «на благо народа». С санкюлотами у него нет ничего общего: ни рождения, ни состояния, ни образа жизни, и это само собой разумеется. Но главное, у них разный образ мыслей. Ничто так не противно его разуму, как идеология эгалитаризма и коллективизма. Ничто не вызывает у него большего отвращения, чем «равенство наслаждения», презрение к культуре, узаконенный терроризм. Но особую антипатию у него вызывает народное морализаторство; оно кажется ему совершеннейшим абсурдом. Санкюлот добродетелен; он считает, что распутство в частной жизни не может сочетаться с честной жизнью на публике. В одной из петиций санкюлоты требуют «заключить публичных женщин в специальные национальные дома, где воздух был бы полезен для здоровья и где они смогли бы заниматься свойственным их полу трудом»; в еще одной петиции требуют закрытия игорных и публичных домов.

Чтобы быть честным человеком, — объясняет французский республиканец гражданину Филадельфии <...>, — надо быть хорошим сыном, добродетельным супругом и достойным отцом, иначе говоря, обладать всеми общественными и частными добродетелями. <...> Только тогда человек может называться истинным патриотом[6].

Санкюлот ненавидит дворянина не столько за его происхождение или состояние, сколько за развращенный нрав.

Сколько отвращения надо преодолеть, сколько страстей подавить! Однако Саду это удается. Какой ценой? Он этого не говорит, однако мы вполне можем это себе представить. Речь идет не больше и не меньше как о самоуничтожении, так как на пути к садической идее мятежа стоят прискорбные предрассудки!

«Частичка Сада принадлежит Террору, равно как и частица Террора принадлежит Саду», — пишет Бланшо. И это действительно так. Однако что общего у повседневного террора, закон которого устанавливают санкюлоты, с роскошным садическим терроризмом? Что у него общего с той проницательностью, которой теперь проникнуты произведения Сада? С этим союзом ясности и тьмы, который так нас смущает? С его невероятными бесчинствами, ослепляющими нас до такой степени, что мы начинаем сомневаться в себе? С той неумолимой логикой зла, которая увлекает нас в бездну? Наконец, с той *энергией*, о

которой Сен-Жюст скажет, что «она не является силой», а Сад будет уверен, что без нее не сумеет обрести счастья?

Во все времена Сад мечтал о режиме без закона.

Под крылом закона царит произвол, — пишет он в «Истории Жюльетты», — таким образом, законодательный акт хуже, чем анархия. Красноречивым свидетельством этого служит тот факт, что правительство всегда стремится погрузить государство в пучину анархии, когда намеревается ввести новую Конституцию. Чтобы отменить прежние законы, оно устанавливает революционный режим, в котором вообще нет никаких законов, и из этого режима в конце концов рождаются новые законы. Но новое государство бывает хуже предыдущего, ибо вырастает из него, ибо, прежде чем достичь своей цели — *ввести конституцию*, ему приходится вначале установить *анархию**.

И далее:

Множество законов порождает множество преступлений. Перестаньте считать, что преступен тот или иной поступок, не создавайте законов, и преступления исчезнут**.

Или вот еще:

Пора уяснить раз и навсегда, что законы — это неэффективные и опасные установления, их единственная задача — умножать преступления или делать их более изощренными и хитроумными. Не благодаря законам и религии человечество достигло своего нынешнего величия и своей славы, трудно себе представить, насколько замедлили прогресс эти презренные путы***.

Таким образом, в его глазах *Революция* олицетворяет тот самый миг, когда будущность человечества оказывается на перепутье между старыми и новыми законами, когда индивид достигает истинного господства, когда «бытие является всего лишь движением бесконечности, устраняющей самое себя и беспрестанно рождающейся из собственного исчезновения» (Бланшо). В тишине умолкнувших законов проступает то единственное, чем стремится обладать человек, а именно власть бесконечного отрицания. А вместе с ней и лихорадочное наслаждение возможностью оскорблять все и вся. Таково время — виртуальное время распада — к которому Сад взывает во имя Мятежа. Но вместо этого реальность предлагает ему единственный спектакль, именуемый резонерствующим Террором, въедливую бюрократию, а в качестве оргии лирические бредни немытых санкюлотов. Нет, поистине это не он пренебрег революцией, это революция его предала.

Республиканские подмостки

Сознавая шаткость своего положения, Сад очертя голову бросается в популизм и ставит на службу нации единственный свой талант, который нации угодно признать: талант литератора. Имя пишущим отнюдь не легион, к тому же очень удобно всегда иметь под рукой того,

* *Маркиз де Сад.* Жюльетта: Пер. с фр. М., 1992. Т. II. С. 124.

** Там же.

*** Там же. С. 122.

кто владеет пером. К счастью, его непристойные писания, способные нанести оскорбление морали, санкюлотам неизвестны; в секции известна его вполне благовидная деятельность драматического автора.

Сменив сладострастные описания либертена на суровый административный стиль, он 28 октября 1792 года скромно дебютирует в качестве составителя доклада о состоянии парижских больниц, за который удостаивается похвалы коллег. Докладом его столь довольны, что его «Замечания» решают напечатать и разослать во все остальные сорок семь секций[7].

Спустя несколько дней, 2 ноября, его труд «Рассуждения о способе принятия законов» также встречен с одобрением; все единодушно голосуют за издание этой брошюры и рассылки ее по всем остальным секциям, с пожеланием «как можно скорее высказать свое мнение по столь важному поводу»[8]. Жильбер Лели считает эту речь самой содержательной и самой оригинальной из всех политических сочинений маркиза. «Каждый ее абзац дышит любовью к свободе», — замечает он[9]. О чем же идет речь?

После 10 августа встал вопрос о новой Конституции. Сад предлагает ввести своего рода прямую демократию, в основе которой лежит подлинный суверенитет всего народа, а не только его представителей. Здесь чувствуется влияние «Общественного договора», политические идеалы которого необычайно близки мелкой и средней буржуазии. Однако эта прямая демократия дает коллективу граждан всего лишь право *санкционировать* законы, иначе говоря, право принимать их или же отвергать; способность же составлять их и выдвигать остается привилегией выдвинутых народом депутатов.

Любопытно, что текст этот выступает в поддержку однопалатного парламента («суверенная власть едина, неделима, неотчуждаема»), в то время как менее года назад он активно поддерживал двухпалатную систему парламента по английскому образцу. Однако подобные виражи не должны вызывать удивления. А тем более его патетическое (и обманчивое) напоминание о своей верности революционному идеалу: «Я люблю народ, мои сочинения подтверждают, что я способствовал установлению нынешнего порядка задолго до того, как его провозгласили пушки, разрушившие Бастилию». Мы видели, как относился маркиз де Сад к народу до 1789 года — к тому самому народу, о котором он теперь столь заботится! Завершается его сочинение красивыми лирическими строками: «Самым прекрасным днем в моей жизни стал день, когда я увидел возрождение прекрасного равенства золотого века, увидел, как древо свободы покрывается благодетельной листвой, спрятав под нею обломки трона и скипетра». Не знаешь, чем больше восхищаться: его наглым лицемерием или же его чувством юмора!

Совершенно очевидно, что наш герой забавляется созданной им пародией (впрочем, очень удачной) и радуется своему обману:

Да будет Вам известно, что теперь я пользуюсь большим доверием в своей секции, — ликующе сообщает он Гофриди. — Ни дня не сижу без работы. Небольшая брошюрка, приложенная к сему письму, является тому доказательством[10]. А сейчас

секция направила меня в качестве комиссара присутствовать на собрании администрации парижских больниц. Участников собрания всего девяносто шесть. Речь идет о переделке всей больничной системы, и нам предстоит тяжелая работа. Надо изучать, работать, сравнивать; для своих дел у меня нет ни часу.

И в завершение — несколько указаний о том, как должен вести себя добрый патриот:

Вы можете составить небольшую записку и послать ее на мое имя, только не завершайте ее словами: «Так вас наверняка сочтут подлинным гражданином». За такую фразу, от составителя которой издалека разит аристократом, здесь можно угодить на фонарь. Собственно, понятно, что вы, господа из департаментов, там у себя еще не достигли ВЫСОТ революции. <...>

В остальном же, ожидая Вашего прибытия в Прованс, я пока не стану никому писать и буду ждать от Вас известий. Я понимаю, что поверенных в делах *сеньоров* не должны были оставить без внимания, однако я никогда не поверю, что станут беспокоить Вас, поверенного в *моих* делах, ибо я всегда играл в открытую, а мое чувство патриотизма, подтвержденное десятью годами Бастилии, ни у кого не должно вызывать сомнений, ибо совершенно ясно, что у меня нет никаких аристократических претензий и я душой и сердцем, до самых кончиков ногтей предан Революции[11].

Однако вряд ли подобный демарш кого-либо одурачит: вся эта республиканская риторика используется только для того, чтобы обмануть противника, если записка случайно попадет к нему в руки. «В письмах всегда необходимо соблюдать осторожность: словеса о свободе должны скрыть любые проявления деспотизма», — отмечает маркиз уже в 1790 году[12]. Его словам можно верить, ибо он уже не раз прибегал к этим маленьким хитростям. Получив определенное влияние в своей секции, он без колебаний начал вскрывать почту, адресованную г-же де Монтрей. Однажды, обнаружив обман, раскрывшийся из-за «утерянного» письма председательше, Рейно тотчас предостерег ее:

Я должен проверить, насколько верны мои предчувствия, бывшие до сего дня всего лишь подозрениями. <...> Сомнений больше нет, наши письма перехватывают. Я не обвиняю никого из работников почты; мне они кажутся людьми надежными; взоры мои устремлены на господина Даса (анаграмма, которой адвокат обычно обозначает маркиза.— *М.Л.*), проживающего в Вашей секции, <...>; если же я ошибаюсь, значит, меня намеренно ввели в заблуждение. <...> Оставляю за Вами вынесение суждения и принятие решения, как нам должно вести себя дальше, учитывая вскрывшиеся обстоятельства. Я буду сообразовывать свои действия с полученными от Вас указаниями[13].

Сад не такой человек, чтобы отступать от своих намерений из-за какой-то там щепетильности, и вполне можно предположить, что среди его жертв была не одна г-жа де Монтрей.

* * *

Став актером, играющим в спектакле своей жизни, маркиз вынужден без отдыха представлять комедию собственного сочинения. Впрочем, играет он великолепно: никто не подозревает его, и от этого он испытывает — и это чувствуется по тону его письма — необычайный

восторг. Революция, «прокатившая» автора де Сада 5 марта 1792 года, когда санкюлоты в красных колпаках прервали представление «Соблазнителя», теперь выталкивает его на республиканские подмостки и предлагает роль, которая вполне ему по силам[14].

Однако лучшим фарсом — и Сад это признает — является его назначение присяжным заседателем. 8 апреля 1793 года в результате одного из тех виражей, секрет которых известен одной лишь Истории, имя его оказывается в списке среди двадцати других граждан его секции, которым предстоит образовать специальную комиссию присяжных заседателей: им надлежит вынести решение по делу о фальшивых ассигнатах. Из разряда преступников он внезапно оказался в рядах судей. Эта новая маска приводит его в восторг:

> Сто против одного, что не угадаете, кто я теперь!.. Я — *судья*, да, именно *судья!* <...> *Член обвинительной комиссии!* Да раньше сама мысль об этом показалась бы невероятной! <...> Видите, сколько во мне величия и каким я стал мудрым... Так поздравьте же меня, черт побери, а, главное, не забудьте прислать господину *судье* денег, иначе я непременно *приговорю Вас к смерти*, и пусть дьявол меня заберет, коли я этого не сделаю! Расскажите об этом в наших краях, чтобы там наконец признали меня добрым патриотом, ибо, клянусь, я патриот всем сердцем и душой[15].

Спустя два месяца, а именно 16 июня, секция дает Саду официальное поручение: его делегируют в Конвент зачитать петицию, составленную им самим. От имени своих товарищей он требует отмены декрета, на основании которого в Париже размещаются внутренние революционные войска численностью шесть тысяч солдат, каждый из которых ежедневно получает содержание в сорок су. Этот декрет был утвержден сразу же после народных волнений 31 мая и 2 июня, повлекших за собой падение жирондистов, вынесших на гребень власти монтаньяров и придавших мощный импульс федералистскому движению, именуемому некоторыми «контрреволюционным». В период, когда разгорелась война в Вандее и обострилась борьба с коалицией европейских монархов, новое восстание только сгустило тучи, нависшие над Республикой. Сад раскрывает аполитичную, несправедливую и опасную суть этого декрета, который, по мысли Сада, размещает в столице преторианскую гвардию*, чем могут воспользоваться различные честолюбцы и узурпаторы, склонив ее на свою сторону. Кроме того, автор петиции убеждал в необходимости провести реформы, затрагивающие организацию армии. В свете новых взглядов на национальную оборону он предлагал ввести профессиональную армию, обходиться без наемников, а в случае необходимости воодушевлять народ браться за оружие.

> Только жителю Парижа принадлежит право защищать свой город, — восклицает он. — А город, где с первым сигналом тревоги под ружье могут встать сто пятьдесят тысяч человек, не нуждается в наемниках, которые уже тем, что за службу свою получают деньги, недостойны защищать его[16].

---

* Преторианская гвардия — гвардия римских императоров, обладавшая рядом привилегий по сравнению с другими войсками.



«Вот какова моя месть!»

В предыдущем, 1792 году, после тщательного обыска, который закон позволял производить в жилище подозрительных, дом Монтреев на улице Мадлен в отсутствие хозяев был опечатан. Вернувшись, хозяева потребовали снятия печатей.

А так как проживают они в моей секции, – рассказывает Донасьен, – а меня как раз назначили комиссаром, уполномоченным налагать и снимать печати, то я со всей ответственностью заявляю, что если обнаружу у себя в секции аристократа, то не сомневайтесь, не пощажу его.

Но тотчас он добавляет: «Полагаю, Вы хорошо посмеялись, адвокат?»[17] Разумеется, он шутил.

Шестого апреля 1793 года, вечером, когда ничто не предвещало грядущих событий, старый председатель де Монтрей лично явился навестить зятя в секцию Пик. Разумеется, по наущению жены, желавшей узнать намерения Донасьена и попросить его о помощи, если дела станут плохи. За последний месяц были учреждены наблюдательные комитеты и Революционный трибунал. Охота на подозрительных открыта: аристократов, родственников эмигрантов, неприсягнувших священников и всех, кого заподозрят хотя бы в малейшем недовольстве режимом, хватают и бросают в тюрьму. Супруги Монтрей не чувствуют себя в безопасности. Охваченные паникой, они пытаются найти поддержку где угодно и у кого угодно. Поэтому они и вспоминают о зяте, которого прежде стыдились и даже сумели запрятать в тюрьму, а теперь он занимает важную должность в секции, где они проживают. Значит, надо пойти к нему и сказать, что пора спасать деда и бабку его собственных детей и что трагизм нынешней ситуации должен заставить позабыть прежние обиды. Если потребуется, они станут взывать к классовой солидарности, к этому священному союзу; в самом деле, разве они не плывут в одной лодке, не сопротивляются одним и тем же палачам? Что ж, если потребуется, они станут унижаться перед ним. Когда приходится выбирать между стыдом и гильотиной, уж лучше стыд.

Председательша готова пожертвовать собой – разве не она глава семьи? В глубине души она даже довольна предстоящей ей миссией – это вполне в ее духе. Г-жа де Монтрей чувствует себя в своей тарелке, только когда видит перед собой достойного противника: тогда ее энергия, ее целеустремленность находят себе применение. Побежденная королева у ног своего врага: она будет великолепна! Ах, что это будет за сцена; она сыграет ее со всем подобающим такому случаю горестным величием. Однако сумеет ли она растрогать его? На этот счет у нее есть сомнения, поэтому вперед послан муж. Мирный, добродушный и бесхарактерный, старый председатель никогда не вступал в конфликт с Донасьеном. Значит, ему предстоит сделать первый шаг.

Так объясняется этот неожиданный визит. Мужчины не виделись почти пятнадцать лет, и вполне можно предположить, что смущены были оба. После всего, что Донасьену довелось пережить, следует

ожидать, что он выкинет старого увальня за дверь. Зная его вспыльчивый характер, мы готовы биться об заклад, что он сгорает от желания сделать именно это. Старик — вот он, и ничто не спасет его от маркизова гнева. К тому же сейчас Донасьен на коне — он, человек, долгое время находившийся вне закона и прослывший позором семьи. И что происходит? Быть может, его охватывает священный трепет? Он видит перед собой статую командора? Нет, он почтительно принимает тестя, и целый час они беседуют словно давние друзья после долгой разлуки. Вспоминали ли они о прошлом? Быть может, Сад даже покаялся? А может, Монтрей признал, что жена его заблуждалась? Этого уже никто никогда не узнает. «Встреча прошла как нельзя лучше, — рассказывает Донасьен вечером того дня, когда ему был нанесен столь неожиданный визит. — В какой-то момент я даже предположил, что сейчас он пригласит меня к себе»[18]. Все это больше похоже на сон, чем на реальность. Меньше месяца назад, а точнее 13 марта, г-жа де Сад холодно упрекала его за постоянные нападки на ее родителей:

Я уже имела честь, сударь, ответить Вам, что, не желая выплачивать то, что Вы мне должны, Вы освобождаете меня от обязательств расплачиваться за Ваши поступки. *Что же касается моей семьи, то она не имеет никакого касательства к Вашим делам; а если Вы пойдете в наступление, она ответит Вам как подобает, как мы всегда это делали*[19].

* * *

Вскоре после сентябрьской резни, в тот самый час, когда патриоты грабили его замок в Ла-Косте, Сад впервые был назначен секретарем своей секции. Меньше чем через год, 23 июля 1793 года, он стал ее председателем. Со второстепенными ролями покончено: отныне он играет главные. Впрочем, не следует преувеличивать важность его поста; председатели, которые вели заседания, назначались «в порядке очереди» и могли меняться еженедельно, даже ежедневно. Таким образом, в противовес тому, что сообщает де Сад Гофриди («вот я и поднялся еще на одну должностную ступеньку: я теперь председатель секции», — иронизирует он), речь не идет о подлинном повышении его статуса, а всего лишь о доверии и признательности за оказанные услуги.

Вступив в должность 1 августа, гражданин председатель сразу извещает жителей своей секции о наказах департамента города Парижа относительно празднования новой Конституции. Домовладельцам и постоянным квартиросъемщикам предписывается начертать на фасадах своих домов следующие слова: Единая — Неделимая — Республика — свобода — равенство — братство — или смерть; также необходимо нарисовать трехцветное пламя, а над ним фригийский колпак.

Но уже на следующий день происшествие, случившееся во время заседания секции, заставляет его подать в отставку. Соблюдая неписаные правила, он, нахлобучив на голову красный колпак, вел собрание; внезапно ему стало дурно, и пришлось срочно покинуть зал.

Я разваливаюсь, мне плохо, я кашляю кровью. Я написал Вам, что меня назначили председателем моей секции; я даже облачился в надлежащий костюм совер-

шенно кошмарного вида! Вчера я вынужден был надевать его дважды; впрочем, во время заседания мне пришлось уступить свое кресло заместителю председателя. Они хотели, чтобы голос мой звучал так же ужасно и бесчеловечно. Я этого никогда не хотел. Благодарение Богу, я более не занимаю этой должности![20]

О каком ужасе, какой «бесчеловечности» идет речь? Террор свирепствует, и «ужасы» царят повсюду: выбор поистине огромен! Вчера, к примеру, Конвент издал декрет, приказывающий 10 августа текущего года в честь первой годовщины падения монархии вскрыть гробницы королей, погребенных в Сен-Дени. На этом же самом заседании депутаты постановили раздавить мятеж в Вандее и перевести Марию-Антуанетту в Консьержери, где она будет ожидать своей очереди предстать перед революционным трибуналом. Станет ли секция Пик поддерживать эти меры? Выносить приговор «подозрительным»? На этот раз Донасьен не выдержал: нервы его сдали. Он готов проглотить и переварить всю революционную требуху, когда от него требуется что-нибудь сказать и написать; это его даже забавляет, потому что он любит маскарады. Однако зрелище, нет, даже сама мысль о гильотине вызывает у него тошноту. Это не единственный парадоксальный поступок автора «Ста двадцати дней Содома», который содрогается при виде тех действий, которые он сам с таким наслаждением описывает. События 10 августа, сентябрьская резня вызвали в нем глубокое возмущение. То же, чего требуют от него теперь, и вовсе выше его сил. Насколько его притягивает «убийство ради наслаждения», ибо оно льстит воображению, настолько убийство, совершаемое по закону, ему претит, ибо является ненавистным выражением абстрактных принципов. «Гильотина, — напишет он в письме к Гофриди от 21 января 1795 года (спустя два года после казни Людовика XVI, день в день), — гильотина, сооруженная прямо у меня на глазах, принесла мне в сотню раз больше вреда, чем все бастилии вместе взятые»[21]. Как отмечает Жан Пулен, «возможно, настоящим садистом является именно тот, кто отвергает легкость, с которой совершают садические преступления, и не может согласиться с тем, что кто-то готов воплотить его манию в жизнь»[22].

Во время памятного заседания от 2 августа он спасает жизнь родителям жены, зачислив их в список лиц вне подозрений. Отсюда, возможно, и его приступ дурноты. «Стоило мне произнести хоть слово, как их бы немедленно арестовали. Я промолчал: вот какова моя месть!»[23]

Надо плохо знать нашего героя, чтобы удивляться его поступку. Мстительный, необузданный, циничный как никто — он, однако, никогда не был трусом. Он не из тех, кто готов топтать поверженного врага. Впитав с молоком матери понятие о сословной этике, он наверняка полагал, что, поступи он иначе, он совершил бы поступок, недостойный дворянина. Особенно по отношению к этим «юристократам», которых он столь глубоко презирал! Перенеся свое превосходство по рождению на свое конъюнктурное превосходство, а именно должность председателя секции, он решает отомстить Монтреям самым жестоким образом: спасти их от ареста. Бесподобное милосердие или высшее презрение? Здесь надо вспомнить, что он писал год назад Гофриди:

«Монтреи – мои злейшие враги. Это известные мерзавцы и негодяи, и я мог бы погубить их одним только словом. Но я пощадил их; за все то зло, что они мне причинили, я отвечаю им презрением и безразличием». Можно также – или прежде всего? – подумать, что его страх перед эшафотом возобладал над злопамятством.

* * *

Тридцатого мая 1794 года председатель и г-жа де Монтрей, лишенные политической поддержки, были посажены в тюрьму как родственники эмигрантов[24]. Выйдя вместе с женой на свободу благодаря 9-му термидора, председатель через шесть месяцев, а именно 15 января 1795 года, умер в Париже, в возрасте восьмидесяти четырех лет.

«Мученики свободы»

Происшествие 2 августа, похоже, быстро позабылось. Во всяком случае, спустя месяц (29 сентября 1793 года) оно нисколько не помешало Саду представить на суд своих коллег «Воззвание к душам Марата и Лепелетье»*, составленное специально для предстоящей церемонии, посвященной памяти этих двух «мучеников свободы». Общее собрание «аплодировало приниципам, изложенным в речи, и заложенному в ней заряду энергии», было принято решение напечатать ее и отправить в Конвент, а также разослать во все департаменты, в армию, властям Парижа, в остальные сорок семь секций и в народные общества. На следующей неделе определяется порядок и маршрут шествия, которое состоится 9 октября[25]. О том, как проходило празднество, мы знаем из подробного доклада, составленного Пьером Муссаром, бывшим учителем, одним из наиболее экстремистских вождей секции.

В десять часов утра кортеж тронулся из сада бывшего монастыря капуцинов. Шествие открывали четыре барабанщика, за ними, развернув знамена, следовал взвод канониров во главе с офицерами; за ними два взвода пехотинцев. Потом шли юные новобранцы, «надежда родины, которым предстоит стать возлюбленными героями Республики»; они держали в руках дубовые ветви; над ними реяло знамя с начертанными на нем словами: «Вернись со славой или умри на поле боя». Затем шли депутации от народных обществ, среди которых были как мужчины, так и женщины, представители сорока семи секций Парижа, за ними гости из Бельгии и Льежа, «эти чистые сердцем преследуемые изгнанники, которых вынудили покинуть родные очаги, обвинив их в участии в борьбе за святое дело свободы». Потом шли слепцы «со своей музыкой». А вот появилась группа женщин, «нежных и чувствительных; именно им доверено оберегать домашние добродетели, детские души, первые шаги рода человеческого и его первые устремления ко благу». Одетые в бе-

---

* Лепелетье де Сен-Фаржо Мишель (1760–1793) – депутат Конвента, голосовавший за казнь короля. Убит одним из сторонников монархии.

лые платья и опоясанные трехцветными кушаками, женщины несли носилки, задрапированные трехцветным знаменем, где лежали произведения, написанные обоими мучениками. Юные девы, окружив носилки, держали кадильницы с курящимися благовониями. За ними двигались еще двое носилок, каждые из которых несли четверо мужчин, одетых в античные костюмы; на этих носилках высились бюсты Марата и Лепелетье. По обеим сторонам шествовали дети, одной рукой вознося к небу венки, а другой — орифламмы. Следом шли граждане, демонстрировавшие «окровавленные мечи, положившие конец дням наших друзей», а за ними двигались ораторы Муссар и Сад, «чьи взоры были обращены на предметы культа». Шествие замыкала группа музыкантов, «производившая звуки мрачные и зловещие, дабы настроить души на печальный лад». Кортеж сопровождало «бессчетное число народу» «с ветвями кипариса; наготове также были ветви дуба и цветы». Памятное торжество, устраиваемое в честь двух великих людей, обещала почтить своим присутствием депутация Национального Конвента, «наставника, возрождающего великую нацию».

Покинув территорию монастыря, процессия повернула налево, двинулась по улице Пик (бывшей улице Луи-ле-Гран*), пересекла бульвары, проследовала по улицам Монблан, Нев-де-Капюсен, Сен-Круа, повернула на улицу Тиру, а затем последовала по улице Комартен. До этого момента все участники шествия соблюдали образцовую дисциплину. Но когда процессия вывернула на бульвар Мадлен, возбужденная толпа нечаянно опрокинула носилки с бюстом Марата; изображение «друга народа» упало на дорогу и разбилось на тысячу кусков.

О, Марат! — восклицает достойный Муссар.— Горе охватило всех твоих друзей, узнать их можно было по выражению лиц. Собрав все до единого осколки твоего бесценного изображения, смятенные сердца исторгли горестный вздох, к небу вознеслись хвалы и героические песнопения в твою честь, и голоса твоих почитателей остановили надвигавшиеся тучи.

Реликвии мученика собрали, водрузили на носилки и торжественно доставили на площадь Революции (нынешнюю площадь Согласия). Прибыв на площадь, Венсан, председатель секции, и Сад, заместитель председателя, исполненные «возвышенных чувств и энтузиазма», заменили осколки на новый гипсовый бюст Марата. «Вот так, в мгновение ока, был воссоздан великий человек! — захлебывается от восторга Муссар. — Великий Марат! Ты воскрес, тебя размножили, весь народ видел, как возродился отец его, его освободитель, его светоч!» От имени юных новобранцев слово было предоставлено гражданину Жоливе. Однако зловещий стук расположенной рядом гильотины помешал присутствующим услышать его речь. «Таким образом, в один и тот же час и в одном и том же месте духовно обновленные французы хладнокровно карали преступления живых и увенчивали добродетель покойников». Не позволяя кровавому соседству омрачить праздник, церемония продолжалась в атмо-

* Людовика Великого

сфере всеобщего подъема и преданности идеалам Республики. Гражданка Лемэр прочла свои стихи, встреченные «с энтузиазмом и аплодисментами». Затем все запели посвященные мученикам куплеты, сочиненные гражданами Муссаром и Подевеном. А когда отзвучала «Марсельеза», процессия направилась на площадь Единства (нынешняя площадь Карусель), где планировалась вторая остановка, и замерла перед деревянным обелиском, у подножия которого в сооружении, более всего напоминающем часовню, разместили бюст, ванну, лампу и письменный прибор «друга народа». Подойдя к часовне, музыканты сыграли гимн, «исполненный грусти и печали о безвременно погибшем «друге народа», затем гражданин Муссар произнес надгробную оду, «начертанную горечью и болью». Наконец, кающиеся патриоты, сохраняя прежний «назидательный» порядок, достигли площади Пик, где ожидавшая их толпа быстро заполнила просторные пределы площади. «Печаль, спокойствие и чистота сердец» читались на всех лицах. Те, кто несли бюст, поставили его на небольшое, специально приготовленное возвышение и воздели вверх оливковые ветви. Гражданин Сад, с трудом взобравшись на этот пьедестал, занял место между бюстами героев. Его окружили женщины,

<...> в которых всё — отражение великодушных порывов; резво и с достоинством женщины эти устремились на возвышение, где разместились предметы нашего поклонения, и принялись венками из листвы и ветвей тополя украшать мучеников. Зрелище возвышенное и трогательное! Святая Гора! Новый Синай!

И тут, вынырнув из воскурений, клубившихся вокруг него, внушительный, величественный, с одутловатым лицом, исполненный сознания серьезности момента, Донасьен де Сад и начал речь. Голос его звучал в благоговейной тишине: «Граждане! Самый дорогой для сердца каждого истинного республиканца долг — долг признательности, коей мы обязаны этим двум великим людям»[26].

«Это небольшое сочинение едва ли не самое неприглядное из всех политических опусов де Сада», — категорически заявляет Лели. И все же маркизу нельзя отказать в красноречии. Не испытывая ни малейшего смущения — а вероятнее всего, втайне подсмеиваясь над собственными словесами, — Сад ударяется в разнузданнейший пафос, граничащий с напыщенностью, его патриотический лиризм разрастается до размеров карикатуры:

Марат! Лепелетье!.. Голоса грядущих веков лишь внесут свою лепту в те хвалы, кои по праву воздает вам сейчас наше ликующее поколение.

Непревзойденные мученики свободы, навеки занявшие место в Храме Памяти, пред вами благоговеют все человеческие существа, вы парите над ними, словно благотворные звезды, освещающие им путь, человечество не может обойтись без вас, ибо именно в вас оно видит ту сокровищницу, откуда черпает жизненную силу, откуда извлекает благодетельный образец всяческих добродетелей.

Автор «Ста двадцатии дней Содома» не мог всерьез произнести подобные нелепости и, как это свойственно только ему, саркастически усмехался — разумеется, про себя. Никто лучше Сада не умел скрыть насмешку, чтобы потом насладиться ею в одиночестве; можно только

догадываться, сколь велика была его тайная радость при виде бурных приветствий, выпавших на долю его пародии. Вот это настоящий розыгрыш! Аплодисменты, которыми разразилась толпа на обширных подмостках площади Вандом, являются настоящей наградой для освистанного автора.

Переходя от «жертвы» — именно так называет он кровавого вампира, развязавшего террор, — к его «палачу», Сад не меняет напыщенного стиля. Хотя в принципе тема должна была бы вдохновить его. Женщина, гордая свершенным ею преступлением*, — здесь есть над чем пофантазировать творцу «Жюльетты»! Однако он, без сомнения, смущен тем, что юная девушка, прижимающая к груди орудие убийства, существо вполне реальное, и ему остается только выстраивать напыщенные фразы, подражая велеречивости «санкюлотов»:

> Создание застенчивое и хрупкое, что побудило Вас своими нежными ручками схватить сей кинжал? <...> Варвар, убивший Марата, подобен существам, коих нельзя назвать ни мужчинами, ни женщинами; ад извергает их из своего чрева, повергая в отчаяние всех людей, и мужчин и женщин; ад изверг убийцу Марата. Так пусть же память набросит на него погребальный покров забвения, и пусть не смеют больше являть нам его изображение, уверяя, что именно оно — символ истинной красоты. Легковерные художники, легкомысленные скульпторы, разбейте, уничтожьте, перечеркните изображение этого чудовища или, по крайней мере, явите его нашим возмущенным взорам в окружении фурий Тартара[27].

За всеми этими словесами угадывается маниакальное стремление Сада к созданию иерархии отвратительного и подлинный страх перед андрогином. Утратив право принадлежать к своему полу, Шарлотта Кордэ оказывается выброшенной в зону отчуждения, туда, где обитают чудовища-гермафродиты.

Есть еще одна женщина, чей образ волнует и возбуждает его. Ровно через неделю после произнесения им его знаменитой речи, в среду 16 октября 1793 года на эшафот упала голова Марии-Антуанетты. Сидя в одиночестве у себя в кабинете, Сад делает пометку в блокноте:

> Слова Антуанетты в Консьержери: «Дикие звери, окружающие меня, ежедневно изобретают очередной способ унизить меня, дабы участь моя стала еще ужаснее; капля за каплей они вливают в мое сердце яд ожесточения, с наслаждением ловят каждый мой вздох, и, в ожидании, когда они наконец смогут насытиться моей кровью, они упиваются моими слезами»[28].

Надо ли говорить, что Мария-Антуанетта никогда не произносила этих слов? Вложив их в ее уста, Сад примерял их к своей собственной судьбе: он олицетворяет себя с униженной государыней, чью голову отсек топор палача.

* * *

После апофеоза 9 октября Донасьен убедился, что способен удерживать внимание публики, и окончательно уверовал — хотя и не вполне

---

* Имеется в виду Шарлотта Кордэ (1768—1793), убийца Марата.

обоснованно – в свой драматургический гений. Он так хорошо вошел в образ персонажа, которого сам же создал, что с удивлением обнаружил, как иногда, не замечая того, принимается играть его роль. Вместе с возросшей уверенностью он утрачивает необходимую бдительность. Поглощенный разыгрываемой им с подлинной страстью драмой собственной биографии, он день за днем увлеченно импровизирует, и от его внимания начинают ускользать некоторые детали. О, так, мелочи, однако в клетке с хищниками малейшее невнимание может дорого обойтись. Даже столь одаренному актеру, как он (а мы знаем о его страсти к театру), случается терять контроль над своими чувствами. Мы прекрасно помним, как во время заседания 2 августа ему пришлось покинуть председательское кресло. К счастью, случай этот не возымел последствий. По крайней мере, пока. Но с этого дня положение его стало более уязвимым, а сам он стал чаще совершать промахи. Разумеется, усталость берет свое, ему все труднее и труднее сосредоточиться, однако – и он это чувствует – надзор за ним становится все более пристальным. Робеспьер призывает народ усилить бдительность: «Граждане, для вас мир настанет только тогда, когда ни один изменник не сможет ускользнуть от вашего взора и рука ваша всегда будет наготове, чтобы покарать предателя». «Я призываю народ бдительно следить за своими врагами», – говорил он еще в начале 1793 года. Бдительность влечет за собой обязанность доносить, прознав про измену или заговор. С воцарением Террора донос становится первейшей обязанностью гражданина, его долгом, исполнять который обязан каждый, кто считает себя достойным этого звания. Тот, кто не донес на подозрительного, считается предателем. Секции кишат стукачами, готовыми за ассигнат в сто су продать и отца, и мать.

«Так возлюбим же Добродетель!»

Хотя большинство членов Конвента и членов Коммуны Парижа давно уже считали себя атеистами, а такие как Шомет, прокурор Коммуны, или Эбер, журналист и издатель газеты «Пер Дюшен», заявляли об этом открыто, ни одно из постановлений властей прямо не провозглашало атеизм. Примеры атеизма подавали прежде всего комиссары Конвента, отправленные в провинции. Впрочем, остальные граждане незамедлительно следовали их примеру.

В прошлом году еще была возможность участвовать в процессиях по случаю праздника Тела Господня и Святого Причастия, и процессии эти по-прежнему отличались пышностью. Статую Господа окружали народные представители. Ничто не предвещало стремительного уничтожения вековых традиций; народ в большинстве своем продолжал верить в Бога и соблюдать церковные обряды. Однако некоторые особенно горячие головы начинают открыто выражать свое недовольство Господом и с удивлением обнаруживают, что молния их не поразила; следовательно, стоит только столкнуть идола с пьедестала, как он тут же рассыплется в прах. Впрочем, поражает не столько дехристианиза-

ция, сколько жестокость, с которой ее проводят. Атеизм обрушивается словно ураган; за несколько недель он сметает все на своем пути.

Пятого ноября 1793 года в Конвенте зачитывается отчет, составленный вернувшимися из Ла-Рошели комиссарами Лэньло и Лекинио.

Восемь служителей католического культа и один служитель культа протестантского сняли с себя сан, — пишут комиссары. — Они поклялись отныне проповедовать исключительно великие принципы морали и священной философии, внушать ненависть к тирании и религии и, подняв факел разума, наставлять людей следовать дорогою, кою факел сей освещает. Народ принес им клятву позабыть о предрассудках прошлого и обо всех распрях, вызванных религиозными разногласиями, из-за которых земля столь долго орошалась людской кровью, проливаемой королями и священниками.

На следующий день каноник церкви Святой Женевьевы, поднявшись на трибуну Конвента, торжественно сложил с себя сан и отказался от содержания, выплачиваемого ему государством. Во время этого же заседания в зал вошла делегация жителей коммуны Менси (департамент Сена-и-Уаза); облаченные в церковные одежды члены ее заявили о своем отречении от суеверий: теперь у них нет иных святых, кроме Марата и Лепелетье, чьим изображениям, водруженным на место, где прежде стояли статуи святого Петра и святого Павла, они и намерены поклоняться. 7 ноября порвал с христианством архиепископ Парижский, Жан-Батист Гобель; после своего публичного отречения от католической религии он поклялся исповедовать единственный культ — культ Разума (тем не менее 13 апреля следующего года ему суждено взойти на эшафот, куда его доставят в одной телеге с Шометтом, одним из наиболее яростных противников религии). Тотчас все депутаты от духовенства с шумом бросились следовать его примеру, попутно заключая друг друга в объятия. И только аббат Грегуар* по-прежнему появлялся в своем епископском облачении, стоически выдерживая уговоры коллег, умолявших его отречься от сана.

В тот же день на Монетный двор относят раку с мощами святой Женевьевы. Во всех уголках Франции священники наряду с мужчинами и женщинами тысячами отрекаются от веры своих отцов. Повсюду уничтожаются христианские символы, их срывают со стен и используют для самых разных нужд; священные изображения, перед которыми еще полгода назад преклоняли колени, разбивают вдребезги, свергают с пьедесталов статуи святых, отбивают головы ангелам, оскверняют могилы, вышвыривают мощи, опустошают ризницы, превращают церкви в свинарники, продают дароносицы, подсвечники, золотые и серебряные подносы. Акты вандализма сопровождаются празднествами, буйством своим сравнимыми разве что со средневековыми праздниками в честь Осла или Дураков. 12 ноября жители Сен-Дени торжественно доставили в Конвент пышные убранства из своих церквей. Мужчины, входившие в состав депутации, совершенно пьяные, были наряже-

* Грегуар Анри, аббат (1750—1831) — депутат Конвента, выступавший за отмену привилегий и введение всеобщего избирательного права.

ны в ризы и прочие священнические облачения. Кое-кто натянул церковные облачения на ослов и, усевшись на них задом наперед, таким образом прибыл в Конвент. Во время церемонии передачи богатейшей церковной утвари делегаты продолжали пить, наливая вино в чаши и дароносицы. Когда выспренние речи были закончены, депутаты сплясали дьявольскую карманьолу прямо перед избранниками нации, подбадривавшими их восторженными возгласами.

Двумя днями раньше в соборе Парижской Богоматери торжественно отметили праздник Разума. Честь воплощать новомодное божество выпала гражданке Майар, актрисе из Оперы и «совершеннейшему творению природы». В красном колпаке и накинутом на плечи белом плаще, она восседала в кресле, увитом дубовыми гирляндами, и «поза ее была величественна и изящна и внушала почтение». Кресло несли на плечах санкюлоты, кортеж возглавляли девушки, одетые в белое, опоясанные трехцветными шарфами, с венками на головах; следом шли члены Конвента и многочисленные народные представители, по велению которых постоянно звучали революционные песни «Са ира», «Песнь расставания», «Марсельеза». Для нужд церемонии внутреннее убранство собора было изменено. В поперечном нефе установили миниатюрную гору, увенчанную греческим храмом; на фасаде храма заглавными буквами вывели надпись: Храм Философии. Хоры затянули громадными драпировками. Посреди декорации торжественно высились бюсты Вольтера, Франклина и Руссо.

Наконец, 15 ноября шесть парижских секций прислали своих представителей в Конвент, и те громогласно заявили, что, сорвав покровы мракобесия, отрекаются от всех культов, кроме культа Разума. Среди этих секций были и представители секции Пик. Честь составить петицию была оказана гражданину Саду. Более того, именно он возглавляет депутацию, состоящую из семи человек (Венсан, Арто, Бек, Бизуар, Жерар и Гийемар), и первым поднимается на трибуну, дабы зачитать ее[29]. Нацепили ли делегаты по такому случаю священнические рясы, как делали многие? Трудно представить себе, чтобы наш герой мог согласиться на подобный маскарад. Признанный мэтр разрушения, он лучше чем кто-либо знает, что при таких детских играх разрушение не имеет смысла. Насмешка — а он, как никто иной, знает, как не дать себя одурачить, — основана на соединении несоединяемого. Профанация сакрального лишь еще больше подчеркивает принцип сакральности, иначе говоря, нисколько не уничтожает самого принципа, против которого он борется постоянно. Следовательно, мы вполне можем представить, как он, в своем обычном костюме, в красном колпаке, держа в руках кипу исписанных листков, тяжелым шагом движется по огороженному с обеих сторон коридору, предназначенному для петиционеров. Он надевает очки, прочищает горло и, не обращая внимания на гул, постоянно царящий на трибуне для зрителей, начинает чтение. К счастью, текст короток. Через десять минут он под аплодисменты зрителей удаляется на свое место. Конвент присуждает его проекту оценку «похвальный» и решает включить в отчет. Проект отсылают в Комитет общественного образования.

Впервые за время своей политической карьеры он сумел публично высказать свои самые твердые убеждения. А так как речь шла об уничтожении религиозных предрассудков и дехристианизации, ему оставалось лишь свободно развить свои всегдашние мысли. Атеист, «доходящий в своем атеизме до фанатизма», как он сам любит говорить, он всего лишь позволил себе высказать свои истинные убеждения. Без всякого принуждения он заявил перед представителями нации:

Наконец-то царство философии уничтожит царство лжи. Наконец-то человечество устремится к просвещению и, разрушая одной рукой дурацкие игрушки нелепой религии, другой станет сооружать алтарь самого драгоценного его сердцу божества. Статуи богини Философии заменят в наших храмах статуи Богоматери, и благовония, воскурявшиеся у ног изменившей мужу жены, отныне будут куриться у ног Богини, разбившей цепи нашего рабства. <...> Уже давно философы тайно смеялись над кривляньями католических попов, однако тот, кто осмеливался высказать свои убеждения в полный голос, тотчас оказывался в Бастилии, где прислужники деспотизма быстро заставляли его замолчать. Вы говорите, деспотизм не поддерживал суеверия? И деспотизм и суеверие вышли из одной колыбели, оба они сыновья фанатизма, оба имели верных слуг в лице бесполезных для общества священников, обитавших в храмах, и деспотов, восседавших на тронах. И деспотизм и суеверие имеют общие корни, а потому, когда речь заходит об их уничтожении, они сопротивляются вместе[30].

Эти строки наглядно свидетельствуют об отношении Сада к религии. Отношение это никогда не менялось. Атеизм является одной из постоянных пружин, приводящих в движение его мысль. Уже в «Путешествии по Италии», то есть почти двадцать лет назад, он саркастически высмеивал набожность и поклонение святыням, насмехался над «святым вздором», «священными пустяками, которые суеверие осмеливается предлагать доверчивым и слабодушным». «Оставим эти жалкие игрушки и забавы народу, чью духовную пищу они составляют,— писал он, — и не станем простирать наше сострадание столь далеко, чтобы еще и жалеть его. Детям нужны погремушки!» В Италии, где еще действовала инквизиция, его антиклерикализм приобрел особый размах. «Все священники напоминают мне ящик Пандоры*, — замечает он. — Все видели, какое зло от них исходит, но никто никогда не видел, чтобы они несли с собой добро!» Да и сам Господь не лучше своих служителей:

Счастлив тот, кто не доверяет вторым и не имеет дела с первым! Когда мир, перестав заблуждаться относительно своего идола, уничтожит всех, кто ему служит, и разум, заняв свое место на алтаре, некогда принадлежавшем суеверию, восторжествует, то разве торжеством своим он не будет обязан единственно лишь своему благодетельному факелу?[31]

В ноябре 1793 года Сад вполне мог поверить, что время это настало.

Что касается другой его навязчивой идеи, а именно о слиянии королевской власти и религии, кою он столь гневно заклеймил в составленной им петиции, то она удостаивается ораторского пафоса в «Алине и Валькуре» (1795):

* Согласно преданию, Пандора выпустила из своего ящика всевозможные бедствия, оставив на самом дне надежду.

Теократические запреты всегда направлены на поддержку аристократии; религия — всего лишь инструмент в руках тиранов, она придает им силу. Первая обязанность свободного правительства, или правительства, желающего обрести свободу, состоит в том, чтобы полностью и безоговорочно разбить все цепи религии. Изгнать королей, но оставить религию и ее служителей означает отрезать у гидры лишь одну голову[32].

Любопытно отметить, что те редкие случаи, когда садическая мысль совпадает с революционными идеями, а именно с идеей установления конституционной монархии (в начале Революции) и с дехристианизацией, воплощения этих идей оказываются весьма кратковременными. Одна идея приводит к Террору, а вторая к культу Верховного существа.

Впрочем, вторая часть его петиции полностью противоречит его убеждениям, так как языческие культы вызывают у него такое же отвращение, как и религия христианская, которую Террор намеревается заменить культом языческим. После празднества в честь «мучеников свободы» начинаются торжества в честь богини Разума и Морали. И вновь, преодолев отвращение, автор «Ста двадцати дней Содома» принимается за работу и закладывает основы новой религии, посвященной... Добродетели. И снова речь идет о фарсе.

Прославим же Добродетель, — восклицает он перед трибунами Конвента. — Пусть торжествует почитание родителей, величие души, равенство, благонравие, любовь к отечеству, благотворительность и т. п., пусть все эти добродетели, изображения которых будут воздвигнуты в наших храмах, станут единственными объектами нашего поклонения: поклоняясь им, мы научимся им подражать и следовать их путем[33].

Не довольствуясь учреждением догм, он добавляет и порядок служения:

Пусть каждую декаду с трибуны наших храмов, которые в этот день будут открыты для всех, станут звучать хвалы Добродетели, почитаемой в этом храме, а также имена тех граждан, которые отличились усердным ей служением. Пусть там исполняются гимны в честь Добродетели; пусть курится фимиам у подножия алтарей, возведенных в честь Добродетели; и пусть каждый гражданин, выходя из храма после этой церемонии, ощущает себя достойным такого правительства, как наше, и с еще большим рвением исполняет веления Добродетели, кою он только что чествовал. И пусть супруга его и дети следуют за ним по пути Добродетели, всеобщего счастья и пользы. Таким образом человек сделается чист, а душа его, открытая для истины, проникнется добродетелью, в то время как прежде она питалась исключительно пороками, коими ее отравляли религиозные шарлатаны[34].

В атеистическом угаре и стремлении упрочить свое положение Донасьен совершает огромный промах. Сам того не желая, он идет наперекор правительству. В то время, когда члены Комитета общественного спасения во главе с Робеспьером стараются воспрепятствовать нарастанию атеистических настроений и положить конец стремительному распространению языческих культов, он не находит ничего лучшего, как воодушевленно предрекать конец религиозных предрассудков и славить рождение богини Разума. Большего раздражения вызвать у властей не может никто. Ни преследования религиозных сue-

верий, ни осквернение церквей не уничтожат религиозных предрассудков, полагают они, истреблять их следует постепенно, благодаря неустанному распространению Просвещения. Стремительное же разрушение, напротив, может натолкнуться на противодействие, порожденное чувствами народа, ибо народ, по их мнению, глубоко религиозен, и не следует таким образом давать оружие противникам Республики и раздражать Европу. Кстати, не скрывается ли за этой яростной антиклерикальной пропагандой заговор против Революции, подстрекаемый эбертистами?* Менее чем через неделю после выступления Донасьена, 21 ноября 1793 года, Робеспьер велит приостановить кампанию по дехристианизации.

Конвент не отменил католическую религию, заявляет Неподкупный с трибуны Якобинского клуба; правительство никогда не предпринимало и не станет предпринимать столь дерзкого шага. Напротив, оно намеревается уважать свободу совести и подавлять тех, кто станет ею злоупотреблять и тем самым наносить ущерб общественному порядку. Конвент не позволит преследовать мирных служителей культа. Священникам не дают служить мессу? Что ж, если им будут мешать, служба от этого лишь затянется:

> Тот, кто хочет помешать служить мессу, является еще большим фанатиком, чем тот, кто эту мессу служит. Он принадлежит к тем, кто стремится зайти еще дальше и под предлогом уничтожения суеверий создает собственную религию атеизма.

А в заключение произносит и вовсе неслыханные слова: «*Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать*».

Сегодня мы знаем, каковы были последствия того выступления. Современники усмотрели в нем только мудрые политические советы. Но тем, кто полагал, что последний час католицизма пробил, было над чем задуматься. Через пять дней Дантон, придя к согласию с Робеспьером в этом важном вопросе, выступил в Конвенте с аналогичной речью.

> Я требую прекратить антирелигиозные маскарады в недрах Конвента, — заявил трибун. — А те, кто желает возложить на алтарь отечества останки храмов, пусть перестанет превращать эту церемонию в игру, а останки — в трофеи. Всему есть предел, даже ликованью. Я требую положить этому конец[35].

Читая эти громогласные, словно пушечные выстрелы, заявления, неоднократно повторенные, Сад должен был понять, что ветер изменил направление и теперь дует явно в неблагоприятную для него сторону. Во всяком случае, ему стало очевидно, что его петиция пришлась не ко времени. Разумеется, Конвент ей аплодировал, однако это нисколько не уменьшило его опасений. Напротив: чем больше народ, поддерживаемый Коммуной и секциями, демонстрировал свой антиклерикализм, тем больше решимости бороться с ним демонстрировало пра-

---

* Эбертисты — группа депутатов Конвента, активно поддерживавшая Террор и антицерковную политику; название образовано от имени Жака Рене Эбера, издателя газеты «Отец Дюшен», выражавшей настроения плебейских масс и изъяснявшейся нарочито грубым, площадным языком.

вительство. Дошло до того, что Конвент, на первых порах поощрявший движение дехристианизации и охотно принимавший у себя в зале шутовские депутации, пародировавшие католические обряды, перестал пускать эти депутации в зал заседаний. Возмущенные вандализмом и беспардонностью делегатов, участвовавших в этих манифестациях, депутаты стали от них уставать. Донасьену следовало бы это знать. И быть настороже, так как всего через двадцать дней после его собственного выступления Комитет общественного спасения в тех же самых словах осудил революционное насилие Андре Дюмона:

Нельзя давать противникам революции повод говорить, что мы нарушаем свободу вероисповедания и объявляем войну религии. Надо карать мятежных и чуждых гражданского долга священников, но нельзя объявлять вне закона самое слово «священник»[36].

Де Сад должен был бы поинтересоваться настроениями своих «товарищей» по секции, официально поручивших ему выступить перед представителями нации. Не исключено, что таким образом они хотели отправить его на эшафот, ибо иных способов у них не было...

Ощущал ли он нависшую над собой угрозу? Похоже, да, ибо все последующие дни занимался тем, что подбирал материалы для защиты, и, словно чувствуя неминуемое приближение грозы, заранее собирал все доказательства, подтверждающие его преданность Революции. Он просит министра внутренних дел Паре прислать ему копию письма от 3 июля 1789 года, в котором комендант Бастилии де Лонэ сообщал государственному министру о его неповиновении и мятежных призывах, обращенных к народу[37]. В переписке с Гофриди он удваивает осторожность:

Непременно употребляйте в письмах обращение «гражданин», ведь если их вскроют, и Вы, и я тотчас попадем в списки «подозрительных», чего ни Вам, ни себе я, разумеется, желать не стану[38].

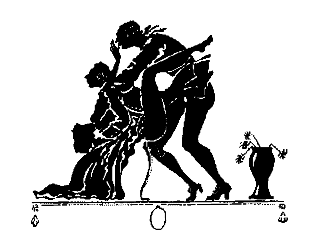
«Я вам наделаю новых!»

Через несколько дней, узнав о готовящемся новом законе, направленном против родственников эмигрантов, он тут же посылает «дорогому адвокату» текст петиции, предназначенной для законодателей из Конвента: с ее помощью он хочет избежать применения предполагаемых мер. Текст этой петиции более всего напоминает защитительную речь. Напомнив в сотый раз о своей дерзкой выходке 2 июля 1789 года, он обставляет ее столькими подробностями, что поистине превращает в героическое деяние. Если верить всему, что он пишет, можно подумать, что он в одиночку взял Бастилию, используя для этого трубу для опорожнения ночного горшка:

Я раскрыл всем глаза на измену, разоблачил заговор, вызревавший в стенах Бастилии и направленный против жителей Парижа. Лонэ решил, что я слишком опасен; у меня имеется его письмо, где он просит министра Вильдея убрать меня из крепости, ибо мое присутствие мешает заговорщикам осуществить свои коварные

замыслы. Меня перевели в другую тюрьму, а именно в Шарантон, где после знаменательного дня, когда народ разбил цепи всех узников деспотизма, я просидел еще девять месяцев. Долгое время я ничего не знал. Но они не сумели спрятать от меня Революцию; я вышел на свободу. До сих пор чувство признательности является главным чувством, обуревающим мою душу. И я готов отдать Отечеству, вернувшему мне свободу, всю свою кровь, кровь моих детей. У меня было двое сыновей, и я хотел посвятить их Отечеству. <...> Я призываю их... Хочу, чтобы они разделили со мной чувство величайшей признательности. Напрасные призывы!.. Я в отчаянии!.. Какое горькое разочарование! Чудовища... они покинули меня; отреклись от отца; любовь и признательность для них ничто![39]

Следует вывод. Что делать, когда тебя предали собственные дети? Наделать новых! И Донасьен совершенно серьезно обещает депутатам Национального Конвента нарожать новых детей, чей патриотический пыл искупит дезертирство детей уже имеющихся! Даже папаша Убю* вряд ли сумел бы придумать лучше!



* Убю — гротескный персонаж пьес писателя Альфреда Жарри (1873–1907). Известен случай из жизни самого Жарри, когда тот палил из ружья в саду, и соседка, пытаясь остановить его, воскликнула: «Месье! Там же дети!» На что Жарри ответил: «Случись вдруг такая беда, мы наделаем новых!» (см.: *Rachilde A.* Jarri. P., 1928. P. 140–141).

Глава XXIII
ТЮРЬМЫ СВОБОДЫ

Арест

Восемнадцатого фримера II года (8 декабря 1793 года), в десять часов утра, двое мужчин, у одного из которых в кармане лежит мандат на задержание гражданина Сада, являются на улицу Нев-де-Матюрен, 20, и застают указанного гражданина дома, в обществе гражданки Кене. Похоже, он ожидал их прихода, ибо, когда комиссар Жюспель и член Революционного комитета секции Пик Мишель Лоран предъявили ему скрепленный печатями приказ об аресте, он нисколько не удивился. «Граждане, — ответил он им, — я не ведаю большей доблести, чем подчинение законам. Исполняйте ваши обязанности».

Он открывает ящики, выгребает из них бумаги и сносит их к себе в кабинет, расположенный на втором этаже; он просит только позволить ему оставить при себе кое-какие документы. Пробежав содержание этих документов, Жюспель убеждается, что они служат исключительно доказательством патриотизма гражданина Сада, и разрешает оставить, не забыв завизировать их должным образом своей подписью. Затем Сад просит его передать печатнику Жируару три рукописных листка «Алины и Валькура», романа, переработкой которого он в настоящее время занимается. «Это сочинение написано три года назад и требует обновления», — поясняет он. Полицейский не возражает, однако прежде ему надо снестись со своим начальством. Затем его спрашивают, состоит ли Сад в браке с гражданкой Кене. «Нет. Она живет этажом ниже меня и только пользуется моей мебелью». Однако оба представителя не столь глупы: видя искреннее горе несчастной женщины, они не сомневаются, что с арестантом ее связывают гораздо более нежные узы, и решают провести обыск заодно и у нее. Не обнаружив ничего подозрительного, они оставляют ее квартиру в покое, опечатывают кабинет Донасьена и его спальню, дверь которой находится как раз напротив кабинета, и препровождают арестованного в тюрьму Мадлонет[1].

На следующий день клерк делает в тюремном реестре следующую запись:

> Восемнадцатое фримера Второго года Республики, единой и неделимой.
> Франсуа Десад, пятидесяти трех лет, уроженец Парижа, литератор, проживающий по адресу: улица Ферм-де-Матюрен, № 8 [адрес гражданки Кене].

Рост пять футов два дюйма, волосы и брови светлые, с проседью, лоб высокий, открытый, глаза светло-голубые, нос средний, рот маленький, подбородок круглый, лицо овальное и полное.

Арестован как подозрительный и доставлен в тюрьму на основании постановления, датированного сегодняшним днем; будет содержаться в тюрьме до поступления дальнейших распоряжений.

Подписано: *Эссе и Массе*, служащие департамента полиции Коммуны Парижа.

Запись сделана мною, секретарем-привратником вышеозначенного заведения, подписано девятнадцатого числа вышеуказанного месяца и года.

Вобертран-отец.
Поставил подпись за своего сына[2].

Тюрьма Мадлонет

Бывший монастырь Дочерей Магдалины, расположенный по адресу: улица Фонтен-дю-Тампль, № 6, был превращен в тюрьму совсем недавно. До апреля 1793 г. он все еще служил пристанищем для раскаявшихся публичных женщин. В 1785 году настоятельница монастыря, расхваливая подотчетное ей заведение, говорила, что предоставляет

<...> достойное пристанище девицам всех сословий, вступившим по слабости характера на дурную стезю, и помогает семьям, желающим надежно скрыть от глаз общества свой позор, дабы он не был выставлен на всеобщее порицание, и таким образом способствует поддержанию в столице добрых нравов.

Автор «Жюстины», пребывающий в заточении в бывшем монастыре раскаявшихся публичных девок: в этом стечении обстоятельств, несомненно, что-то есть...

Став государственной тюрьмой, монастырь Мадлонет сначала пришел в запустение, но затем, в связи с массовыми арестами, произведенными осенью 1793 года, вслед за изданием «закона о подозрительных», численность узников резко возросла. По обеим сторонам четырех коридоров, длиной в 50 шагов каждый, были оборудованы камеры, однако вскоре их стало очевидно не хватать. Изначально монастырь был рассчитан на 200 человек, но уже в октябре в нем было 280 узников, размещенных буквально во всех свободных щелях.

Когда 8 декабря после полудня в тюрьму прибыл гражданин Сад, камеры для него не нашлось вовсе. Пришлось отвести его в отхожее место, расположенное в конце коридора. Уголок этот был столь зловонным и распространял такие ароматы, что держать в нем дверь открытой было невозможно: омерзительный смрад мгновенно распространялся повсюду. В этой клоаке Саду придется провести шесть недель.

Как и все прочие узники, он обрел утешение в гуманном отношении привратника Вобертрана, тюремщика только по названию, а в душе человека глубоко сентиментального и доброжелательного, который пользовался любой возможностью смягчить участь «подозрительных». Разумеется, Саду было приятно встретить среди арестантов знакомые лица. Среди тринадцати актеров Комеди Франсэз, оставшихся верны-

ми монархии, в Мадлонет попали его друзья Моле, Сен-При и Сен-Фаль (актрис поместили в Сент-Пелажи). Приятные воспоминания пробуждал у него и узник по имени Шарль Пьер Кларе де Флерье, шурин его прежней покровительницы, бывший при Людовике XVI министром морского флота. Легко представить себе, с каким удовлетворением он увидел среди товарищей по несчастью некоторых из своих прежних гонителей: семидесятивосьмилетнего графа Анграна д'Аллере, бывшего судью по гражданским делам в Шатле, и последнего начальника полиции Тиру де Крона; оба они окончили свои дни на эшафоте.

Как и во всех тюрьмах во времена Террора, в Мадлонет собралось изысканное общество, состоявшее почти сплошь из аристократов, сторонников Старого порядка. Поэтому если забыть про убогую обстановку, вполне можно было подумать, что очутился в одном из салонов Сен-Жерменского предместья. Там можно было встретить таких выдающихся особ, как аббат Бартелеми, нумизмат и археолог, член Французской академии и автор «Путешествия юного Анахарсиса в Грецию»; маркиз де Буленвилье, последний прево Парижа; маркиз де Латур дю Пен-Гуверне, бывший в 1789 году военным министром; Сен-При, брат бывшего министра внутренних дел; генерал Лану и т. д. В ожидании казни узники музицировали, играли в буриме. Сегодня вечером исполняли квартет Плейеля, на другой день пели куплеты в честь любезной г-жи Вобертран и ее сыночка, очаровательного четырехлетнего малыша. Так как в Мадлонет не было женщин, то появления супруги тюремщика расценивали почти как явления ангела. Вспоминали общих знакомых, счастливые дни, обсуждали научные труды, писали, рисовали, сочиняли стихи — словом, в этих источавших влагу стенах пытались воссоздать жизнь, какой она была в дореволюционную эпоху.

* * *

В день своего заточения Донасьен обращается с посланием к секции Пик:

Граждане!

Меня арестовали, даже не пожелав сообщить, на каком основании; поэтому я обращаюсь к своим согражданам в надежде, что они, зная меня как истинного патриота, не пожелают оставить меня томиться в оковах. Десять лет я был жертвой деспотизма тиранов; я встретил Революцию как свою освободительницу. Так неужели же нация, та самая, которая три года назад разбила мои оковы, теперь вновь наденет их на меня? Нет, граждане, вы этого не допустите. Конечно, я прошу вашей защиты только на тот случай, если я ни в чем не виновен. Если я виновен, пусть меня покарает закон: это будет справедливо. Но ведь я действительно ни в чем не виновен, клянусь вам в этом, и полагаю, что, убежденные в моей невиновности, вы не откажетесь выступить в защиту вашего несчастного согражданина.

Сад. 18 фримера [8 декабря 1793 года][3]

Общее собрание секции приняло решение отослать его письмо в Наблюдательный комитет, который констатировал, что «гражданин

Сад был арестован согласно распоряжению департамента полиции», а затем занялся решением других вопросов[4].

Нужно было обладать изрядной долей наивности, чтобы ожидать помощи с этой стороны. Совершенно очевидно, что именно Наблюдательный комитет его собственной секции и донес на него. Можно даже утверждать, что гражданин Сад уже несколько недель находился под наблюдением, не придавая этому особого значения. Теперь он избрал другую тактику. Не является ли его письмо хитроумным ходом, прибегнув к которому он хочет еще раз подтвердить свою лояльность? Не написать – значит признать себя виновным и проиграть.

Не получив ответа (чего и следовало ожидать!) от своих дорогих сограждан, он делает вторую попытку и направляет письмо в Комитет общественной безопасности, иначе говоря в полицию Робеспьера, самый грозный комитет времен Террора. 29 декабря он сочиняет длинное послание, где в очередной раз выражает свою признательность и преданность Республике. Он вновь возвращается к своему подвигу 2 июля 1789 года («одному из наиболее убедительных доказательств моей благонадежности, которое сможет предоставить далеко не каждый республиканец») и выдвигает на первый план свои заслуги в качестве активного участника секции:

> Всегда удостаиваясь первых мест в своей секции, исполняя поручения по составлению петиций, которые секция адресовала представителям нации, то есть ревностно, усердно и тщательно исполняя свой гражданский долг, я с изумлением обнаруживаю, что существует приказ о моем аресте, на основании которого 18 фримера текущего месяца меня препровождают в тюрьму Мадлонет, не удосужившись даже объяснить причину столь сурового со мной обращения. <...> Сердцем я чист, и, если Республика потребует, я готов пролить кровь за ее благополучие. Поэтому заклинаю вас, назначьте кого-нибудь произвести расследование моего поведения. Я готов понести наказание, если его заслуживаю, но если я ни в чем не повинен, верните мне свободу <...>.

Он просит дозволения снять печати и представить на рассмотрение все свои бумаги, дабы после прилежного их изучения его либо признали виновным, либо оправдали[5].

Проходит не менее десяти дней. Ответа нет. Все остается без изменений. Полнейший произвол. Как и многие тысячи своих сограждан, Донасьен был арестован на основании пресловутого «закона о подозрительных», принятого Конвентом 17 сентября 1793 года по предложению депутата Мерлена из Дуэ. Преступного закона, подобных которому история прежде не знала. В чем его суть? В том, что все враги Революции, чья вина доказана, или же только подозреваемые в коварных умыслах, должны быть арестованы и содержаться в заключении до наступления мира. Законодатели позаботились придать слову «подозрительный» весьма расплывчатое значение, чтобы под это определение можно было подвести как можно больше людей. «Подозрительными» признавались эмигранты и все их родственники, «которые не могут представить убедительных доказательств своей преданности революции». Закон был направлен против общественных деятелей, смещен-

ных со своих постов, а также всех тех, кто не обзавелся свидетельством о благонадежности. Под действие закона подпадают также «те, кто поведением, связями, речами или писаниями выказал себя сторонником тирании или федерализма и врагом свободы». Иными словами, закон положил конец свободе слова и свободе мнений. Наконец, *подозрительными* считались «те, кто не сможет подтвердить соответствующими документами свою гражданскую благонадежность и... свои источники существования».

* * *

Не зная ни сроков своего заточения, ни вынесенного ему приговора, Сад проявляет нетерпение; он не намерен покоряться своей участи и не порывает связей с внешним миром. Если он не может действовать сам, значит, он отправит добрейшую Констанс, единственное в мире существо, которому доверяет полностью, выступить в роли его официального представителя. Согласно документу, составленному 22 декабря 1793 года в тюрьме Мадлонет нотариусами Дюфулером и Тионом, явившимися туда специально для этого дела, он поручает г-же Кене стать «поверенной, ведущей его дела, как гражданские, так и уголовные, по генеральной доверенности», дабы принимать причитающиеся ему суммы, оплачивать его долги, получать письма, приходящие на его имя, и использовать принадлежащие ему средства «так, как ей покажется необходимым». В случае если должники откажутся платить, она вправе от его имени

<...> обращаться в мировой суд, являться туда и решать дела миром, если будет таковая возможность, обжаловать, договариваться, ходатайствовать и добиваться любых официальных решений, любых обжалований, а при необходимости добиваться ареста имущества должников[6].

Восьмого января 1794 года де Сад узнает обескураживающую новость: его печатник-издатель Жируар сложил голову на эшафоте. Он не считал нужным скрывать свои монархические убеждения и из-под полы распространял роялистские листовки, а на клейме его гордо красовалась королевская лилия. Он печатал подрывную газету «Газетт де Пари» журналиста Дю Розуа, угодившего на гильотину в 1792 году[7]. Узнав о его казни, Донасьен не мог не встревожиться, ибо именно в типографии несчастного Жируара лежали гранки его романа «Алина и Валькур»: там, на улице Бу-дю-Монд, новая редакция романа должна была увидеть свет...

Наконец вечером 12 января 1794 года Сада выпустили из Мадлонет и доставили домой, дабы он присутствовал при снятии печатей и обыске, произведенном в его бумагах. Процедура продолжалась несколько часов. Изъяли четырнадцать писем из провинции (вероятнее всего, письма Гофриди), а самого Сада отправили в тюрьму монастыря кармелитов, расположенную на улице Вожирар. Прибыл он туда далеко за полночь.

Сен-Лазар

Монастырь кармелитов на улице Вожирар хранит воспоминание об одном из самых кровавых эпизодов в истории Революции. Здесь во время сентябрьской резни, а именно 2, 3 и 4 сентября 1792 года, было зверски убито сразу 115 священников. С тех трагических дней в здании монастыря, в часовне и в садах практически ничего не изменилось — крыльцо, возле которого происходили казни, колодец, куда сбросили большинство тел несчастных жертв (он находится между домом 4 по улице Ассас и домом 102 по улице Ренн).

Во времена Террора этот монастырь, подобно многим другим обителям, был превращен в тюрьму. За это время узниками монастыря стали 700 человек, среди которых были Александр Богарнэ и его жена Жозефина, граф де Суайкур, г-жа де Кюстин... Донасьен пробыл там всего восемь дней, время, достаточное лишь для того, чтобы заметить зловонные коридоры, замызганную трапезную, узников, блуждающих словно тени, «грязные, с голыми ногами, головы обвязаны платками, нечесаные, бородатые». Его поместили в келью вместе с семью другими узниками, страдавшими от злокачественной лихорадки; двое из них умерли сразу после его отъезда[8].

22 января 1794 г. его перевели в Сен-Лазар, здание, бывшие обитатели которого теперь имели все шансы вновь занять в нем место.

Этот старинный лепрозорий, некогда высившийся на улице Фобур-Сен-Дени, на месте дома № 107, сначала был превращен в монастырь братьев миссионеров, а затем, во время Старого порядка, в нем оборудовали тюрьму, куда заключали священников, ведущих излишне веселый образ жизни, и сыновей, разорявших своих родителей пристрастиями к игре и разврату или же возомнивших себя вправе жениться по собственному выбору. Здесь содержали только «привилегированных» узников, чьи родные могли выплачивать поистине огромные суммы на их содержание. В январе 1794 года монастырские здания с их кельями, трапезными, галереями и внутренними двориками были превращены устроителями Террора в самую большую тюрьму в Париже. Питание в ней было особенно нездоровым: несъедобный хлеб и отвратительное вино часто становились причиной смерти заключенных. Сад пробыл в ней не слишком долго, всего два месяца, и не успел свести знакомство с Андре Шенье, попавшим туда 9 июня, но зато встретил там поэта Руше, посвящавшего все свободное время писанию писем жене, в которых он в мельчайших подробностях расписывал жизнь узников (в качестве курьеза отметим, что эта любимая жена, некая г-жа Ашет, была прямым потомком героини Бовэ, вдохновившей де Сада на написание его трагедии «Жанна Лене»). Среди множества заключенных аристократов Донасьен нашел одну из своих родственниц, г-жу де Майе, и ее шестнадцатилетнего сына Франсуа.

Художник Юбер Робер попал в Сен-Лазар на неделю позже Сада, в ночь с 30 на 31 января 1794 года, вместе со своим другом Руше. Затем обоих перевели в Сент-Пелажи и поместили в одну камеру. Сад мог только удивляться дерзким манерам новоприбывшего, вечно кутавше-

гося в огромное шелковое пальто, подбитое ватой, с карандашом в руках и блокнотом для эскизов под мышкой. Быть может, Донасьен все еще находился в этой тюрьме, когда художник рисовал свой знаменитый коридор «Жерминаль» — галерею, где узники могли погреться возле поставленных там жаровен; эту картину сегодня можно увидеть в парижском музее Карнавале. Быть может, он даже останавливался у художника за спиной, восхищаясь игрой света и тени на его полотне. А быть может, в одном из сумрачных силуэтов, похожих на блуждающие тени, он узнавал самого себя.

Обвинение

Только через три месяца после своего ареста, день в день, 8 марта 1794 года, Наблюдательный комитет секции Пик решается наконец передать Комитету общественной безопасности свой «Доклад о политической благонадежности гражданина Сада». После его прочтения оказывается, что главных статей обвинения всего две:

1. В 1791 году он пытался получить место в полку Бриссака, бывшего в то время командующим королевской гвардией[9].

2. Это во всех отношениях человек крайне безнравственный, крайне подозрительный и крайне недостойный член общества, особенно если верить тому, что пишут о нем в III томе сочинения под названием «Английский шпион» или же в труде, именуемом «Список так называемых бывших дворян» [составленный Дюлором]. С. 89, № 28[10].

Невероятно! Против него не сумели сфабриковать никаких обвинений и были вынуждены прибегнуть к сплетням, напечатанным в «Английском наблюдателе» (за 1778 год!), и пасквилю Дюлора, основанному на Аркейском деле двадцатипятилетней давности![11]

Что же касается прошения по поводу места в полку конституционной гвардии, то оно, похоже, является самым тяжким обвинением. Разумеется, можно было приговорить человека к смерти и за менее тяжкую провинность: примеров тому достаточно. В частности, вспоминают случай Бернара Маргерита Декура, угодившего на гильотину только за то, что он служил адъютантом в пресловутом полку Бриссака. Но, с одной стороны, Донасьен в том полку никогда не служил (мы уже говорили почему), с другой стороны, он не раз приводил своей секции самые убедительные примеры своей благонадежности; так что, как бы там ни было, его нельзя было причислять к рядовым гражданам. Всего за три недели до ареста он представлял своих товарищей в Конвенте. Но именно тогда — и сегодня нам это известно — члены секции убедились в его двойной игре и поклялись погубить его. Каким образом можно избавиться от человека, которому столько раз оказывали самое высокое доверие? Делать нечего, откопаем дело Бриссака, пороемся в выцветших газетенках и извлечем на свет давние истории, оскорбляющие нравы. Немножко подтасуем факты — и доказательства готовы.

Продолжение доклада прольет еще больше света на истинные причины его немилости. Выдвинутые здесь аргументы годятся разве что

для подкрепления основного обвинения, это означает, что их нельзя было выдвинуть в качестве основного обвинения, иначе процесс превратился бы в процесс о намерениях. Однако не станем заблуждаться: именно на намерениях — и только на них одних — и базируется обвинение в начавшемся против него процессе. Разумеется, будь на его месте кто-нибудь другой, вряд ли стали бы прибегать к стольким уловкам. Мягко говоря, правосудие Робеспьера не утруждало себя тщательным исследованием правовых вопросов. Однако в лице Сада оно имело весьма опытного противника, до получения новых приказаний рассматриваемого как союзника, бывшего секретаря и председателя секции, который не только умел, но и имел все основания защищаться. В его случае секция слишком далеко зашла в своей доверчивости, да к тому же шла по этому пути излишне долго, чтобы теперь иметь возможность нападать на основании хрупких (на первый взгляд) свидетельств, одним из примеров которых является следующее:

> <...> на заседаниях секции, начиная с 10 августа, он постоянно прикидывался патриотом. Однако истинных патриотов ему одурачить не удалось. *Во-первых*, он разоблачил себя, составив петицию, противоречащую революционным принципам и направленную против формирования революционной армии, создание которой было провозглашено Конвентом. <...> Враг республиканских принципов в целом, он в частных беседах постоянно приводил примеры для сравнения из греческой и римской истории с целью доказать невозможность установления во Франции республиканского правления[12].

Недоразумение смешное... и трагическое! В то время как де Сад играл роль санкюлота, его товарищи разыгрывали роли наивных простачков. Что ж, вот она, настоящая комедия дель арте.

Но если оставить в стороне все подобного рода измышления, то что же, в сущности, ему инкриминируют, кроме разврата и желания вступить в гвардию короля? Оппортунизм и модерантизм. Обвинение абсолютно обоснованное (мы это знаем), если подходить к нему с точки зрения Наблюдательного комитета. Если же говорить о петиции, направленной против революционной армии, то Сад составил ее исключительно по поручению секции, которая, впрочем, его же и отправила зачитывать ее в Конвент.

Перейдем теперь к коварным намекам на аристократическое воспитание, позволяющее приводить примеры из греческой и римской истории; они превосходно характеризуют извечное недоверие санкюлотов по отношению к «интеллектуалам». Более серьезное обвинение: его откровенно скептическое отношение к республиканской системе правления. Он достаточно отчетливо высказал его тремя годами раньше в своем «Обращении к королю»: «Я, как никто в мире, убежден, что государством французским может управлять только монарх».

* * *

Через несколько месяцев прокурор Фукье-Тенвиль в своем заключении напомнит также о «сговоре и переписке с врагами Республики».

Действительно, обвинение строится на восьми или десяти письмах Гофриди, захваченных при обыске в доме Сада, «которые эти дураки из революционного комитета сочли подозрительными». В течение двух последних лет отношения между Садом и его поверенным и полномочным представителем, действительно приняли опасный политический оборот. В то время как первый разыгрывал патриотическую карту, второй долгое время оставался верен роялистским убеждениям, потом постепенно перешел на сторону жирондистов, а затем федералистов.

После 10 августа Гофриди развил бурную деятельность: нотариус лично принял участие в монархическом заговоре в Апте, который возглавил маркиз Монье де Лакаре; заговор был направлен против коалиционного правительства жирондистов и монтаньяров. Когда Монье арестовали в Гренобле, нотариус благоразумно решил уйти со сцены и со старшим сыном Эльзеаром удалился в Лион. Как мы уже знаем, именно в то время Сад великодушно предложил ему гостеприимство у себя в Париже. Нет никакого сомнения, что он с вечной своей бестактностью посчитал своим долгом сердечно поблагодарить благодетеля, рискуя при этом скомпрометировать его окончательно многословным выражением почтения; письма его, несмотря ни на какие предупреждения, продолжали изобиловать формулами вежливости, принятыми при Старом порядке. При слове «гражданин» перо его начинало так царапать бумагу, что корреспондент его вынужден был призвать его к порядку. Однако без особого успеха.

В результате парижских волнений 31 мая и 2 июня жирондисты были отстранены от власти, Эльзеар Гофриди завербовался в полк, сформированный в его департаменте. Спустя месяц, 25 июля, генерал Карто, разбив наголову отряды федералистов, во главе армии Конвента вступил в Авиньон. Вместе со своим собратом по ремеслу Фажем и еще несколькими жителями Апта Эльзеар перебрался в Тулон, цитадель федерализма в Провансе, и встал под белые знамена, украшенные королевскими лилиями. В это же время Тулон провозгласил Людовика XVII подлинным правителем Франции, сдал свои форты англичанам, чьими войсками командовал адмирал Гуд, призвал к себе графа Прованского, регента Франции, и вернулся к прежнему, дореволюционному законодательству. Однако 19 декабря Дюгомье при содействии юного артиллерийского капитана по имени Бонапарт освободил Тулон; республиканская армия одним пинком разворошила роялистский муравейник. Узнанные двумя своими земляками, Гофриди и его товарищи из Апта были арестованы и избежали гильотины только благодаря снисходительности местных муниципальных властей, выдавших им фальшивые виды на жительство.

Несмотря на вышеозначенные обстоятельства, нотариус через одного из своих друзей в Апте продолжал переписываться с маркизом. И само собой разумеется, письма столь видного роялиста не могли не привлечь к себе внимания Комитета общественной безопасности. Полагая, что поступает как лучше, Сад выдавал своему поверенному свидетельства о благонадежности, наподобие вот этого, датированного

13 октября 1793 года; свидетельство это, совершенно очевидно, было составлено исключительно для властей:

> В Вашем патриотизме, дорогой адвокат, никто не сомневается; чувства Ваши давно проверены. Отчего же Вы ищете покоя на стороне, а не обретете его у себя дома? Когда *таким людям, как Вы*, не в чем себя упрекнуть, лучше оставаться дома. Те, кто уезжает, всегда вызывают больше подозрений, поэтому уверяю Вас, для Вас самого будет лучше, ежели Вы будете поменьше ездить. Оставьте переезды тем, чья благонадежность не столь признана, как Ваша[13].

Эта наивная бумага компрометировала Сада и нисколько не обеляла его корреспондента.

Другие «ошибки» также сыграли против него: его вмешательство в пользу Монтреев, а возможно, и других аристократов, его недомогание 2 августа, когда ему пришлось уступить кресло председателя секции; наверняка были и другие промахи, о которых мы уже не узнаем: непроизвольная реакция, опасное словцо, случайно оброненное во время беседы, перехваченное письмо, неуместная усмешка или гримаса — в то время этого вполне хватало, чтобы навлечь на себя обвинение в «подозрительности».

Максимилиан и Донасьен

Но даже если подобных доводов кажется достаточно — а их действительно вполне достаточно, — они объясняют далеко не все. Арест Сада 8 декабря 1793 года имеет причины, лежащие гораздо глубже; они менее заметны, однако значительно более важны. Во-первых, — и этого нельзя исключить — речь идет о нравственности. Опубликованный во втором году памфлет Дюлора, повествующий о событиях давно минувших, достиг своего результата, а именно привлек внимание к скандальной жизни Донасьена, оживил события в памяти тех, кто был их свидетелями, и поведал о них тем, кто ничего не знал. Дюлор не щадил противника:

> Этот человек, которого тюрьма спасла от эшафота, который тюремные оковы должен был расценивать как милость, каким-то образом сумел причислить себя к несчастным жертвам, заточенным на основании судейского произвола. Этот отвратительный мерзавец живет среди цивилизованных людей и безнаказанно причисляет себя к числу граждан <...>[14].

Его быстро назвали автором опубликованного анонимно в 1791 году романа «Жюстина». Наблюдательный комитет секции Пик не мог не знать, что Сад является его автором, а при режиме, насквозь проникнутом пуританской моралью своего вождя, подобное обвинение стоило всех остальных. Ничто не вызывало у Неподкупного такого отвращения, как развращенные нравы. Именно распущенность казалась ему главным признаком загнивания аристократии — он полагал, что сей порок совершенно не свойствен народным массам.

Робеспьер и Сад! Первый, исполненный добродетелей, всегда в накрахмаленном галстуке и наглухо застегнутом сюртуке, мог только

презирать своего тучного сотоварища по секции. С самой первой встречи этот образец сладострастника внушал ему глубокое отвращение. Ибо они, без сомнения, встречались. Как могли они ни разу не видеть друг друга, если в течение двух лет бывали в одних и тех же местах? Сад считал себя видным драматургом, а бывший директор Академии изящной словесности города Арраса, почитатель Руссо, автор литературных сочинений (к тому времени прочно забытых) претендовал на остроумие. По забавной случайности, первое эссе Максимилиана, рассуждение, написанное в 1784 году для ежегодного конкурса в Метце, было посвящено раскрытию причин, отчего позор наказания падает на членов семьи виновного. Г-н де Сад, бывший в то время узником Бастилии, вполне мог бы дать ему немало ценных советов на эту тему.

Антипатия Робеспьера должна была смениться ненавистью, когда он ознакомился с петицией, зачитанной Садом 15 ноября с трибуны Конвента. Спустя неделю с трибуны Якобинского клуба он дал ответ не только ему, но и всем тем, кто, подобно Саду, думал, что Бог умер. Слова его прозвучали похоронным звоном. Особенно одна фраза – в ушах бывшего маркиза она просвистела словно нож гильотины: «Атеизм – удел аристократов». А дальше оратор своим спокойным и четким голосом продолжал: «Мысль о существовании Верховного существа, покровительствующего угнетенной невинности и карающего торжествующий порок, принадлежит исключительно народу». Таким образом в своем знаменитом «Докладе об отношении религиозных и нравственных идей к республиканским принципам и о национальных празднествах» от 18 флореаля Робеспьер возвел культ Верховного существа на уровень государственной религии.

Атеизм оказался вне закона. Худшими врагами нации стали приверженцы «секты» энциклопедистов, которые «исподтишка нападали на религию, дабы одним ударом уничтожить ее и, расчистив место, самим занять его, выступив в роли фанатичных проводников атеизма, новых апостолов ничтожества». Следовательно, отныне свободомыслие в сфере религии также отменяется? Ответ страшен своей расплывчатостью: «Горе тому, кто осмелится загасить священный энтузиазм!» Единственное стремление, дозволенное человеку новой национальной религией – это стремление к общественному благу. «Стремитесь к победе, – заявляет Робеспьер, – но, главное, уничтожьте порок. Развратники – вот истинные враги Республики».

Так кто же эти люди, которых обвиняют в воинствующем атеизме? Шометт, один из инициаторов культа Разума; Гобель, епископ, присягнувший Конституции, обвиненный в «желании уничтожить саму идею божества и создать французское правительство на основе атеизма»; бывшие генералы; последние уцелевшие эбертисты: все они встретятся – и друзья, и заклятые враги (какими были Шометт и Гобель) – в одной телеге. А Сад не только принадлежит к партии этих злоумышленников, но и вдобавок является одним из тех «развратников», с которыми постоянно сражается Робеспьер и от которых он решил навсегда освободить Республику. Из-за своего нрава, своих сочинений, но

главным образом из-за своего неукротимого, воинствующего атеизма, всегда бывшего его неизменным убеждением, его пылкой страстью, его мерой свободы, Сад становится подозрительным.

«Если атеизм хочет мучеников, пусть скажет: я готов пролить за него свою кровь», – пишет он. Робеспьер поймает его на слове.

«Исповедь» г-на де Сада

Восемнадцатого марта 1794 года, иначе говоря, спустя десять дней после доклада секции Пик «о политической благонадежности гражданина Сада», Донасьен доводит до сведения членов Комитета общественной безопасности текст своей защитительной речи. Она представляет собой своеобразный вопросник с готовыми ответами, где истина перемешана с ложью, с ошибками вольными или невольными, с умолчаниями и отрицаниями.

Имя заключенного, его адрес, возраст, число детей, их местонахождение, вдовец ли он, холост или женат

Мое имя Альдонс Сад, проживаю на улице Ферм-де-Матюрен, № 871. Мне пятьдесят четыре года. У меня два сына и дочь; старшему сыну должно быть 28 лет, младшему 26, дочери 24 года. Дочь проживает вместе с матерью, гражданкой Монтрей, на улице Мадлен.

Последний раз я видел своих сыновей в 1772 году. Старшему было тогда шесть лет, младшему – четыре года. С 1772 по 1777 год я путешествовал по Италии; дети воспитывались в Париже.

В 1777 году началось мое тюремное заключение; в заточении я провел тринадцать лет и два месяца, сменив за это время три королевские тюрьмы: Венсенн, Бастилию и Шарантон; разумеется, будучи в тюрьме, я не мог видеться с детьми; они подрастали в доме моего тестя, в двадцати лье от Парижа. Меня освободили только 3 апреля 1790 года.Тогда сыновья мои находились в полку. Расставшись с женой, поссорившись с ее родственниками, не вмешиваясь в жизнь детей, я использовал первые дни своей свободы, чтобы привести в порядок дела; однако в письмах просил родственников жены вызвать, как только станет возможным, сыновей в Париж, потому что мне хотелось повидать их. В то время я даже предпринял некоторые шаги, дабы найти им в Париже достойное занятие. Но мне сказали, что в полку их больше нет, и никто не знает, где они сейчас. И как же это могу знать я, когда силою обстоятельств все время пребывал вдали от них? Я, можно сказать, не видел их с колыбели, а ведь даже те, кто не разлучался с ними с самого рождения, сейчас не знают, где они находятся <...>.

Я женился тридцать один год назад, но вот уже пятнадцать лет проживаю с женой фактически раздельно; юридически наше раздельное проживание было оформлено четыре года назад, и сейчас я жду, когда, выйдя из тюрьмы, смогу оформить полный развод, после чего я намерен жениться на дочери портного, одной из наиболее пламенных патриоток Парижа.

Место, где он пребывает в заключении, с какого времени, на какой срок, по чьему распоряжению, по какой причине?

Я пребываю в тюрьме Сен-Лазар с 18 фримера, то есть вот уже почти четыре месяца*. Распоряжение о моем аресте было отдано полицейским управлением, основанием для него послужило (как мне сказали) письмо, написанное в 1791 году

* На самом деле только с 3 плювиоза, иначе говоря пятьдесят пять дней: Сад ведет исчисление со дня своего заключения в Мадлонет.

Бриссаку. В этом письме, насколько я могу вспомнить, я прошу Бриссака предоставить мне место в гвардии, указ о создании которой был издан Учредительным собранием. Говорили, что для службы в этой гвардии требуются патриоты; будучи патриотом, я решил туда вступить; я хотел служить не тирану, но нации. Бриссак отказал мне, ссылаясь на то, что у меня слишком много поводов быть недовольным королем. И очевидно, что я хочу вступить туда не для того, чтобы влиться в ряды придворных, но только ради служения Отечеству. Откуда я тогда мог знать, что полк тот состоит сплошь из людей недостойных? Но когда я об этом узнал, я был благодарен Бриссаку за его отказ, ибо не создан для службы бок о бок с подобными людьми! Неужели три с половиной месяца тюрьмы не искупили тот досадный, однако вполне простительный промах? Разве законы имеют обратное действие?

Занятия до и во время Революции

Я воевал в Ганновере в кавалерийском полку. Однако, ощущая в себе пристрастие к литературе, в юном возрасте променял службу на кабинетное уединение. Моя нынешняя профессия именуется литератор. В своей секции я записан как полковник кавалерии, ибо именно такое звание имел в армии. Семья моя родом из маленького городка, расположенного в бывшем графстве Авиньонском, где предки мои были попеременно то земледельцами, то негоциантами. Я никогда не был дворянином и в любую минуту могу это доказать.

Только крайнее отчаяние могло подтолкнуть маркиза де Сада столь трусливо предать свое сословие. Всем диктатурам присуще стремление довести человека до такой крайности, что он начинает отрекаться от своего происхождения; увы, современная история по-прежнему дает множество тому примеров...

Его источники дохода до и во время Революции

До Революции я получал от шести до семи тысяч ливров ежегодной ренты, однако в то время был молод, проел часть приданого жены, и теперь мне необходимо выплатить ей определенную сумму. Сейчас годовой доход мой едва ли составит две тысячи ливров, мои труды приносят мне еще почти столько же — разумеется, когда я нахожусь на свободе. Заключение весьма меня удручает, однако должен сказать, что я не претерпел от Революции никакого ущерба; ей я лишь благодарен.

Его связи. Его знакомые

Я живу одиноко, много занимаюсь литературной работой, знакомых имею исключительно в своей секции; еще я общаюсь с издателями, с представителями различных театров, куда направляю свои пьесы, а также имею своего агента в департаменте Буш-дю-Рон. Гражданка Кене, у которой я проживаю на полном пансионе, образцовая патриотка, составляет мое единственное общество; мне нравится воспитывать ее сына и внушать ему патриотические принципы, о чем вы можете сами его расспросить; все это доказывает, что благонадежность всегда царила в нашем доме, и так будет всегда. Истинный патриот умеет безропотно переносить страдания, когда того требует благо отчизны.

Донасьен ловко использует свои два адреса (улица Нев-де-Матюрен, 20 и улица Ферм-де-Матюрен, 87, вход с которой был предоставлен в распоряжение г-жи Кене), чтобы на этом основании утверждать, что он проживает у Констанс «на пансионе». Это сделано на случай, если захотят наложить секвестр на его имущество.

Характер и политические убеждения, которые он высказывал в мае, июле и октябре 1789 года; 10 августа, после побега и смерти тирана, 31 мая и в периоды военного кризиса; подписывал ли он петиции или указы, губительные для свободы

Когда собрались Генеральные штаты, я находился в Бастилии; оттуда я предвидел благотворные последствия созыва этого собрания и даже наступление Революции, о чем свидетельствует одно из моих сочинений «Алина и Валькур.

Однако мы знаем цену его «пророчествам», кои увидят свет только в 1795 году[15].

И так далее. Все остальное нам известно. Сад переделывает рассказ о призыве, брошенном им 2 июля, о своем пребывании в Шарантоне, о своем освобождении. Он вновь клянется в любви к свободе, в ненависти к тиранам, в своей верности нации, составляет подробный список услуг, оказанных им секции, не забыв упомянуть и свой звездный час, наставший, когда он произносил речь, посвященную памяти Марата и Лепелетье, и посреди защитительной речи умело вворачивает некую фразу, своеобразное обращение к самому себе, которое, с точки зрения ретроспективы, обретает двойной смысл: «Сад, помни об оковах, надетых на тебя деспотами, и лучше тысячу раз умри, нежели дай согласие вновь жить при правительстве, которое заставит тебя вернуться в прошлое».

«Лучше умри». Он и не думал, что выразился столь точно.

Заведение Куаньяра

Седьмого жерминаля Второго года (27 марта 1794 года) гражданина Сада перевели из Сен-Лазара в Пикпюс. В указе о переводе стоит «по причине болезни»; более никаких уточнений нет.

Расположенный на углу нынешнего бульвара Дидро и улицы Пикпюс, дом этот, некогда принадлежавший Нинон де Ланкло, был арендован неким Эженом Куаньяром, открывшим там платную лечебницу, что в то время было делом весьма прибыльным. Там же неподалеку, на улице Шарон, бывший зеркальщик по имени Жак Белом еще раньше — а именно в 1769 году — основал подобное заведение. Первые шаги давались ему с трудом, заведение не процветало, а число больных с каждым днем сокращалось; в конце концов их осталось всего тридцать семь. Настал Террор. И тут начался наплыв народу: «больные» прибывали, комнаты брались штурмом; вскоре мест перестало хватать, пришлось снять соседний особняк. Жак Белом нашел поистине золотую жилу: он предоставлял комнаты состоятельным «подозрительным», направленным в различные тюрьмы Парижа, которым удавалось добиться признания себя больными. За непомерную плату большинству этих привилегированных особ удавалось избежать гильотины; те же, кому не удавалось избежать исполнения приговора, по крайней мере, пользовались перед смертью относительным комфортом.

Лечебница Белома располагалась в удобном особняке, окруженном садом, где не было ни заборов, ни решеток и где можно было принимать посетителей. Разумеется, за переговоры с властями о переводе своих клиентов в эту лечебницу посредники брали непомерно дорого[16]; подозревают, что в этой контрабандной торговле заключенными принимал участие сам Фукье-Тенвиль, но доказательств тому не обнаруже-

но. Достоверно только, что коррупция процветала на всех уровнях революционного правосудия; она затрагивала всех без исключения членов Комитета общественной безопасности, их агентов, их осведомителей, судей и присяжных Революционного трибунала, полицейских чиновников[17]. Переговоры эти происходили почти всегда один на один, в обстановке глубокой секретности, и отыскать письменные свидетельства практически невозможно; поэтому история этих лечебниц во время Террора по-прежнему полна белых пятен. Впрочем, в коррупции нет ничего нового; свое влияние члены революционного правительства использовали также для защиты попавших в тюрьму друзей. Лечебница Белома могла гордиться тем, что «пациентами» ее были люди наиболее состоятельные: вдова Филиппа Эгалите герцогиня Орлеанская; советник по оккультным наукам Людовика XVI Радис де Сент-Фуа, Порталис; вдова Петиона, мадемуазель Ланж, исполнительница роли Памелы в одноименной пьесе; актриса Комеди Франсэз Мари Антуанетта Мезрэ; графиня дю Рур и т. п.

Решив основать заведение на улице Пикпюс, Эжен Куаньяр мечтал составить конкуренцию лечебнице Белома. И ему это вполне удалось. Открывшись в конце 1793 года, его дом процветал[18]. 28 декабря в нем помещалось сто шестьдесят шесть узников, то есть гораздо больше, чем он мог вместить. В январе следующего года Куаньяру пришлось арендовать соседнее здание, принадлежавшее гражданину Рьедену; это был бывший монастырь, располагавшийся на месте теперешнего дома № 35 по улице Пикпюс; в прошлом монахини этого монастыря занимались воспитанием юных девиц. Среди первых узников нового филиала Куаньяр с радостью узрел своего соперника и соседа с улицы Шарон Белома собственной персоной, приговоренного к шести годам тюрьмы за некоторые допущенные им злоупотребления[19]. Узникам было запрещено выходить за ворота, в остальном же они могли вести привычный для них образ жизни: дышать воздухом, гулять в большом саду, жить в комфортабельных условиях, нормально питаться — словом, пользоваться относительной свободой. Они получали газеты и были в курсе последних новостей; на последней странице «Монитер» каждый день печатали списки казненных. Благодаря заботам «доброго доктора» Куаньяра и нескольких посредников немало «бывших» сумели сохранить голову на плечах: герцог де Бранка-Виллар и его жена, оба весьма преклонного возраста, маркиз де Буасси, философ Вольней, автор сочинения «Руины, или Размышления о революциях в империях»; Шодерло де Лакло и, разумеется, маркиз де Сад. Добавим небольшой штришок: в те времена, когда домом на улице Пикпюс заправляла г-жа де Сент-Коломб, в нем содержался никому в те времена не известный подследственный по имени Сен-Жюст. В октябре 1786 года, когда ему было всего девятнадцать лет, он попался на краже украшений и столового серебра у своих же родственников. Его бедная мать выбивалась из сил, чтобы оплачивать его содержание, и шила ему рубашки, которые он тут же и перепродавал. Беспечный и беззаботный, он сочинил тогда эротическую поэму в двадцати песнях под названием «Органт в Ватикане».

Под видом домов предварительного заключения эти скромные заведения давали «подозрительным» единственный шанс укрыться от взоров бдительных граждан, предоставить санкюлотам возможность позабыть про них — разумеется, при условии, что у них достаточно средств для оплаты посредников и собственного проживания. Для Донасьена вопрос оплаты стоял со всей остротой. К счастью, об этом помнила Мари-Констанс; безгранично преданная и неутомимая, она свернула горы, пустила в ход свои связи в Конвенте, где у нее было несколько знакомых депутатов, в частности Гупийо де Монтегю, сумела занять требуемую сумму и «по причине ухудшения здоровья» перевести своего друга из Сен-Лазара в Пикпюс. Позднее Сад воздаст по заслугам этой «восхитительной женщине», которая с «невероятным мужеством и энергией» спасла ему жизнь, вырвав его из лап «лживых революционеров».

Прибыв в дом Куаньяра, Сад почувствовал себя в своей стихии. Здесь ничто не напоминало ни Мадлонет, ни Сен-Лазар. Узники «свободы» почему-то мало чем отличались от узников «тирании», и нашему герою понадобилось немало времени, чтобы разобраться во всех существовавших там подводных течениях. Впрочем, он был прекрасно знаком с тюремной жизнью; это его единственное преимущество перед своими товарищами по несчастью, однако оно приподнимало его над ними. По крайней мере, извечные страхи впервые оказавшихся в заключении ему более не грозили.

После зловонного Сен-Лазара первые дни в Пикпюсе показались поистине райскими. Тюрьма Пикпюс — это просто «рай земной: прекрасный дом, превосходный сад, избранное общество, очаровательные женщины»[20]. Посещения не возбраняются. И он каждый или почти каждый день может видеться со своей дорогой Сансибль. От улицы Матюрен до улицы Пикпюс путь неблизкий, но преданная женщина готова преодолевать любые препятствия. Прикрепив к волосам трехцветную кокарду (после 21 сентября ношение ее обязательно) и прижимая к себе корзинку, полную сладостей, она отважно проделывает пешком это расстояние (наемная карета слишком дорога).

Донасьен быстро знакомится с новыми товарищами и встречает старых знакомых, например, Леонара Лепикара, бывшего председателя секции площади Вандом, признанного «опасным», поскольку тот в прошлом был «талантливым адвокатом». Разумеется, есть великое искушение предположить, что он познакомился с Лакло, ибо с 27 марта по 15 октября они оба пребывали в заведении Куаньяра. Однако Сад нигде не упоминает об авторе «Опасных связей», которые, как известно, прочел в Бастилии, а Лакло не оставил никаких свидетельств о знакомстве с автором «Жюстины». Они не имели ничего сказать ни друг другу, ни друг о друге. Но стоит ли этому удивляться? К распутнику, наделенному, по слухам, всевозможными порочными страстями, к участнику громких скандалов Шодерло де Лакло — человек порядка и долга, хороший муж, образцовый отец, обладающий твердыми убеждениями в вопросах морали — мог испытывать только отвращение. Возможно, узнав о том, что у него имеется неприятная, но вполне реальная возможность столкнуться с Садом,

Лакло, политический узник, арестованный на основании норм общего права, решил просто не замечать его. Впрочем,

<...> переписка его оставляет впечатление, что автор ее находился в одиночном заключении, которое разделяли с ним несколько товарищей, поглощенных отнюдь не светскими развлечениями, а исключительно научными беседами или серьезными штудиями[21].

Со своей стороны, Донасьен не испытывал никакого интереса к этому худому и желчному офицеру с суровым взором и холодными рассудительными речами, с которым он иногда сталкивался в коридоре. Да и что могло быть общего между беспутным провансальцем и инженером из Пикардии, между жуиром-себялюбцем и защитником прав женщин, между человеком настроения и человеком расчета? Да, такой встречи не было!..

Увлекся ли Сад той салонной жизнью, что царила в то время в Пикпюсе? Свободы в доме Куаньяра было значительно больше, чем в других государственных тюрьмах, и там, поистине, возрождались нравы Старого порядка. Возвращались привычные манеры, игры, концерты, изысканные ужины, любовные интриги, словом, все то, что считалось отмененным навсегда. Хорошенькие актрисы, попавшие сюда сразу или же перебравшиеся из дома Белома, пробуждали, как и прежде, страсти и соперничество. Как известно, тюрьмы Террора часто становились домами любви; когда смерть стучалась в дверь, люди предпочитали предаваться сладострастию, нежели молиться. Автор «Ста двадцати дней Содома», уверенный в том, что страх лишь обостряет желание, теперь мог лично убедиться в своей правоте. Однако у нас нет оснований утверждать, что он проверил это на собственном опыте. Мысли его были заняты Мари-Констанс, и воспоминания об их совместной жизни вполне скрашивали его одиночество.

Независимо от того, доставались на его долю чувственные удовольствия или нет, пребывание его в Пикпюсе было исключительно умиротворяющим. Однообразное течение времени, нарушаемое только посещениями Сансибль, неприхотливые трапезы, прогулки по саду, выполнение неприятных работ: уборка постели, подметание комнаты, опорожнение бачка с нечистотами. Все оставшееся время он посвящал чтению и писанию писем.

Братская могила в Пикпюсе

В одно прекрасное июньское утро пансионеры Куаньяра увидели прибывших к ним двух чиновников, отвечавших за общественные работы; чиновники обошли сад и отбыли, так ничего и не сказав. На следующий день, когда все активно обсуждали возможные причины этого визита, во двор вошел отряд землекопов — тридцать четыре человека, вооруженных заступами. Они пробили брешь в монастырской ограде, срубили фруктовые деревья и выкопали два широких рва, отделив их от остальной территории сада лишь невысокой изгородью. На

месте проделанной в стене бреши соорудили широкие двустворчатые ворота с задвижкой, засовом и замком, запиравшимся на три оборота. А потом все с ужасом узнали, что согласно муниципальному постановлению от 26 прериаля (14 июня) ров этот предназначается для обезглавленных тел казненных. Рьеден, которому принадлежала эта земля, выказав известное мужество, попытался опротестовать это решение сначала у заместителей, а потом и у главных начальников квартала и даже дошел до канцелярии Конвента; однако усилия его были напрасны: решения не отменили. Накануне в двух шагах от улицы Пикпюс, возле заставы Трон, называемой также площадью Поверженного Трона (сегодня – площадь Нации), поставили гильотину. Жители улицы Сент-Оноре больше не могли выносить шум вереництелег, вывозивших трупы с площади Революции на кладбище Мадлен. Была попытка установить гильотину на месте, где прежде стояла Бастилия, однако тамошняя почва оказалась не способной впитывать льющуюся с эшафота кровь. После трех дней гильотину переместили оттуда на площадь Поверженного Трона.

Пансионеры не могли не заметить, что за последние недели число казней неизмеримо возросло; террор принимал поистине Неронов размах. Отправив на гильотину эбертистов, своих противников «слева», и дантонистов и снисходительных, своих противников «справа», Робеспьер в законе от 22 прериаля (10 июня 1794 года) расширил и без того расплывчатое понятие «подозрительный» и упростил до крайности процедуру Революционного трибунала, призванного отныне быть еще более расторопным: никаких допросов, никаких свидетелей, никаких защитников. Отныне приговор сводился к единственной альтернативе: оправдание или смерть. Двумя днями раньше на Марсовом поле Франция чествовала Верховное Существо, иными словами, короновала Робеспьера.

Когда за оградой установили гильотину, а в саду сделали ров, куда сбрасывали трупы, мирная жизнь обитателей дома на улице Пикпюс превратилась в кошмар. Каждый вечер с наступлением сумерек новые ворота пропускали скрежетавшую своими двумя колесами тачку, с которой капала кровь, а затем за изгородью, при свете факелов, начиналась зловещая процедура раздевания[22]. В искусственном гроте, некогда превращенном монахами в часовню, помощники Сансона устраивались составлять опись одежды: башмаки, чулки, платья, рединготы, куртки, белье тщательно сортировали, а потом передавали администрации; после стирки предметы эти предназначались для повторного использования. Драгоценности и ценные предметы у приговоренных забирали еще до казни, во время их последнего «туалета». Чтобы смягчить смрад, исходивший от трупов, возле рва жгли тмин и можжевельник.

И все же корабль-призрак, позабытый внешним миром, продолжал плыть в неизвестность. Днем все выглядело безмятежным, таким, как раньше: похоже, пансионеры, несмотря ни на что, по-прежнему сохраняли душевный покой. Но если внимательно приглядеться, кое-что

изменилось: черты лиц заострились, разговоры стали скупыми, под сводами перестал звучать смех молодых женщин. Пока смерть правила свой бал вдалеке, все делали вид,что ее не существует вовсе. Сегодня она была везде. И каждую ночь справляла свой шабаш за садовой изгородью. Попрятавшись по комнатам, выжившие в этой бойне тревожно вслушивались в скрип ворот, шуршание листвы, потрескивание факелов на ветру, голоса могильщиков, вдыхали сочившийся сквозь оконные ставни одуряющий запах можжевельника и крови. Стараясь не дышать, они ждали, когда створки ворот с шумом захлопнутся и скрип стучащих по булыжной мостовой колес смолкнет вдалеке. Тогда можно было предаться сну.

С 13 июня атмосфера в доме Куаньяра с каждым днем становилась все более удушливой. Ночные визиты вызывали смутное чувство страха и отвращения. Раймон де Сез, защитник Людовика XVI, писал семье: «До моей тюрьмы доносятся омерзительные запахи, исходящие из рва Пикпюс, куда свозят трупы казненных». Сад писал Гофриди: «Гильотину водрузили почти под нашими окнами, а кладбище, куда свозят гильотинированных, – в центре нашего сада!»[23] В одну из ночей его «близкий друг», «несчастный Дольчи, сын дворянина из свиты папского вице-легата в Авиньоне», очутится в этом рву вместе с сотней других жертв гильотины. Пансионеры больше не чувствуют себя в безопасности; теперь об их убежище известно слишком многим, начиная с рабочих, вырывших рвы, и кончая могильщиками, что вперемешку закидывают туда трупы. Одно лишнее слово может привлечь к их хрупкому убежищу внимание Революционного трибунала. Куаньяр принимает меры, чтобы скрыть присутствие своих пансионеров. 17 июня он запрещает получать газеты. В конце месяца запрещает посещения и ограничивает переписку исключительно семейными новостями: письма должны быть незапечатанными, краткими и написаны понятным почерком. Поставщики великой бойни внезапно вспоминают об уединенных лечебницах и начинают к ним приглядываться. Тех, о ком позабыла смерть, охватывает страх: палач уже близко, он совсем рядом, за дверью, малейший звук может привлечь его внимание. Уверенный в своей скорой гибели, Донасьен убеждает себя, что ему нечего терять, однако, пока он пребывает среди живых, он станет защищать себя до последнего. Последние надежды избежать смерти он возлагает на очередную защитительную речь.

Двадцать четвертого июня он направляет народной комиссии отчет о своем политическом поведении, снабдив его двумя десятками оправдательных документов, предлагая воспользоваться ими при первом же допросе; среди этих документов копия письма Вильдей к коменданту Лонэ и «Воззвание к душам Марата и Лепелетье». В постскриптуме он отмечает, что его арест 18 фримера был санкционирован «бывшим управлением полиции, все члены которого сегодня либо в тюрьме, либо гильотинированы». Наконец – и это самое главное – он вновь отрекается от своего происхождения и в подтверждение гордо сообщает, что предки его всегда были разночинцами:

Меня обвиняют в том, что я аристократ, однако это неверно: когда семья покупает земельное владение, приносящее владельцу ее дворянский титул, это еще не значит, что она начинает принадлежать к аристократии. А так как у меня есть такое земельное владение, то некоторым прислужникам Старого порядка было угодно, не поинтересовавшись моим мнением, приписать мне титул, коего у меня никогда не было, и моей вины тут нет. Титул этот даже не принадлежал тому владению, которое дед мой купил, чтобы все забыли, что его дед был слугой, а я никогда не придавал этому титулу никакого значения и никогда и нигде им не подписывался. Предки мои в большинстве своем занимались почтенным ремеслом земледельцев. Отец мой был литератором; я пошел по его стопам, после того как в юности шесть или семь лет прослужил в армии. Из армии я уволился двадцать шесть лет назад; я никогда не бывал при дворе, никогда не получал ни пенсий, ни должностей, ни наград, ни милостей. Одним словом, я готов бросить вызов каждому, кто сможет мне доказать, что я имею право хотя бы на один титул, привести хотя бы одно доказательство, которое бы подтверждало мою принадлежность к аристократам, кою я отрицал и продолжаю отрицать[24].

Наконец, чтобы застраховать себя от случайностей, он поручает некоему Филиппу-Огюстену Лоду отдать свое завещание на хранение нотариусу Шарпантье[25].

В день, пришедшийся на середину июля, когда двое пришли и увели восьмидесятилетнего старца, гражданина Магона де Лаблинэ, страх в Пикпюсе достиг своего апогея. Перед тем как проститься с товарищами, старик отдал Куаньяру оставшиеся у него деньги: 1200 ливров купюрами по 400 франков. 1 термидора (19 июля) он взошел на эшафот, и в тот же вечер тело его вновь оказалось в стенах монастыря: его привезли на тачке, с которой медленно стекали струйки крови.

У подножия эшафота

Спустя пять дней обвинительное заключение по делу Сада, составленное секцией Пик, было передано из канцелярии Комитета общественного спасения в Революционый трибунал в сопровождении записки следующего содержания:

«Альдонс Сад, бывший аристократ и граф, литератор и кавалерийский офицер, уличенный в заговоре против Республики»[26].

8 термидора (26 июля) Фукье-Тенвиль составляет обвинительное заключение против двадцати восьми обвиняемых, среди которых фигурирует Донасьен, его племянница, тридцатидевятилетняя г-жа де Майе, его нотариус Туссен-Шарль Жирар, и сорокасемилетний Жан-Пьер Бешон д'Аркьен, «бывший граф <...>, бывший лейтенант мушкетеров, бывший кавлер ордена, полученного из рук тирана», пансионер дома Куаньяра. Строчки, относящиеся к Саду, содержат следующее обвинение:

Сад, бывший граф, в 1792 году бывший капитаном в гвардии Капета*, поддерживал связи и переписку с врагами Республики. Выступал против республиканского правительства, утверждая перед членами своей секции, что правительство это не

* Прозвище Людовика XVI, происходившего из рода Капетингов.

способно справиться со своими обязанностями. Выказал себя сторонником федерализма и пылким сторонником Ролана. Наконец, есть основания утверждать, что доказательства патриотизма, которые он привел, были с его стороны лишь уловками и стремлением избежать расследования, кое наверняка уличило бы его в причастности к заговору тирана, чьим омерзительным пособником он являлся[27].

На следующий день, 9 термидора, судебный исполнитель Трибунала, которому было поручено собрать всех осужденных, числом двадцать восемь, совершает обход парижских тюрем, чтобы лично присутствовать при отборе. Пятеро из приговоренных не отзываются при перекличке, и среди них «Альдонс Сад». Остальные двадцать три под конвоем отправляются в зал суда второй секции, где председательствует Селье. После непродолжительных дебатов все приговариваются к смерти, за исключением земледельца по имени Авья-Тюро, которому выносится оправдательный приговор, и г-жи де Майе, у которой во время заседания случилась истерика. Тремя днями раньше ее семнадцатилетний сын Франсуа поднялся на эшафот как участник так называемого заговора в Сен-Лазаре. При виде людей, пославших на смерть ее сына, зала, где сын ее произнес свои последние слова, скамьи, где он сидел, — быть может, той самой, на которой теперь сидит она, — несчастная мать забилась в таких конвульсиях, что председатель Селье не осмелился вынести ей приговор и приказал вывести ее из зала. Переведенная в Консьержери, она была освобождена после падения Робеспьера.

Таким образом, к смерти приговорили двадцать одного человека. Сразу же после приговора всех посадили в телегу и отвезли к заставе Трон.

Рано утром 9 термидора по Парижу поползли слухи: Робеспьер арестован и препровожден в Комитет общественной безопасности вместе со своим младшим братом Огюстеном, Сен-Жюстом, Леба и Кутоном. Шквал слухов захлестывает Париж. Предупреждают Фукье-Тенвиля: с минуты на минуту большинство в Конвенте готово изменить курс; не следует ли в таком случае отложить казни? Не станет ли очередное кровавое зрелище сигналом к возмущению пресыщенного кровью народа Парижа? «Ничто не должно мешать свершиться правосудию», — отрезает общественный обвинитель. Конвой продолжает свой путь. Около пятнадцати часов телеги выезжают за ограду Дворца Правосудия и направляются на юго-восток Парижа. На улице Фобур-Сент-Антуан, где еще вчера вслед осужденным летели оскорбительные выкрики, толпа осмеливается выказывать свое недовольство. Телеги с несчастными окружают плотным кольцом, самые дерзкие начинают выпрягать лошадей. Жандармы, сопровождающие узников, в нерешительности переглядываются, склоняясь к тому, чтобы пойти на поводу у толпы. Теснящихся на телегах приговоренных охватывает безумная надежда, они чувствуют, как кровь вновь начинает струиться в их жилах. В этот момент на улицу галопом врываются четыре всадника во главе с полупьяным Анрио, главнокомандующим Национальной гвардии, мечущимся по улицам города в стремлении поднять народ на восстание в поддержку Робеспьера. Под ударами сабель толпа рассеи-

вается, а жандармы получают приказ продолжать свой путь. И вновь колеса стучат по мостовой, несчастные прибывают на место казни, где приговор немедленно приводится в исполнение.

В эту ночь, как и во все предыдущие, де Сад слышит скрип тачки, въезжающей в ворота монастыря. Подойдя к окну, он видит в пляшущем свете факелов могильщиков. Когда, сжимая в руках огромные лопаты, они приступают к разгрузке бездыханных тел, он чувствует, как его охватывает холодная дрожь: небытие задело его своим черным крылом.

* * *

Ему удается избежать своей участи, однако этим он не обязан ни некоему неведомому замыслу Провидения, ни «переполненности многочисленных тюрем», ни «нечетко составленным документам», как утверждает Жильбер Лели, ни небрежности судебного исполнителя, собиравшего узников, который, не найдя его в Сен-Лазаре, «забыл» посмотреть в Пикпюсе. В Пикпюсе он находился уже четыре месяца, вполне достаточно для того, чтобы дело его извлекли на свет. Когда пришли за его товарищем по заключению в доме Куаньяра, графом Бешоном д'Аркьеном, он должен был бы составить ему компанию; но в последний момент его не нашли. Точнее, не искали. Дежурный тюремщик даже не стал выкликать его. На листе возле имени САД он просто написал: *отсутствует*. Впрочем, при неразберихе, царившей в те дни месяца термидора в Революционном трибунале, такое было вполне вероятно; во всяком случае, это было превосходное объяснение, если, разумеется, не докапываться до истинных причин.

Ни случайность, ни ошибка: Донасьен избежал смерти, потому что так захотели наверху. Почему? Во-первых, потому что, как нам известно, он дорого заплатил за свой перевод в Пикпюс. «Мое заключение разорило меня», – писал он Гофриди[28]. По выходе из тюрьмы он оказался «осажденным со всех сторон теми людьми, которые ему одалживали деньги, пока он сидел в тюрьме»[29]. Он признается в долге в две тысячи экю, иначе говоря, в шесть тысяч ливров: сумма весьма значительная, и, надо полагать, передана она была выкупившим его посредникам. С другой стороны, Констанс изо всех сил старалась добиться его помилования. У нее, как мы знаем, были друзья в Конвенте, а также в Комитете общественной безопасности, от которого Донасьен спустя несколько месяцев станет льстить себя надеждой получить то, что он хочет. «Я вполне уверен в правосудии и признательности этого Комитета», – напишет он в Ла-Кост своему арендатору Одиберу. А говоря о Гофриди, по-прежнему пребывавшем в сложных отношениях с властями, Сад будет писать: «Теперь я могу быть ему полезен в Комитете общественной безопасности; пусть он скажет мне, в чем его надобность, чтобы я мог действовать и предпринимать шаги»[30]. Не будем обольщаться: только Сансибль, ей одной он обязан своим спасением; именно она провела переговоры и сделала необходимые займы; суме-

ла пустить в ход все свои связи; наконец, получила бумагу о его освобождении. Сад этого никогда не забудет.

В тот же день во всех тюрьмах стало известно о падении Робеспьера. На следующий день, 10 термидора, заключенные с облегчением узнали, что голова Неподкупного скатилась к подножию гильотины. Теперь, когда кошмар закончился, Донасьен вправе надеяться вскоре выйти из Пикпюса. 18 термидора (5 августа) Конвент постановляет: все граждане, арестованные на основании причин, не обозначенных в законе о подозрительных, будут освобождены; все наблюдательные комитеты обязаны сообщить заключенным и их родственникам причины заключения. Через двадцать дней секция Пик направила в Комитет общественной безопасности свидетельство о благонадежности, адресованное своему коллеге; по тону и по содержанию оно весьма далеко от того, которое было направлено 8 марта этого же года туда же:

Мы, нижеподписавшиеся граждане секции Пик, удостоверяем, что знаем гражданина Сада, доверяли ему выполнять различные обязанности как в самой секции, так и в лечебницах, и он исполнял их с рвением и усердием; мы удостоверяем, что за все то время, пока мы его знаем, поведение его всегда было поведением истинного патриота и не давало основания сомневаться в его благонадежности.

Париж, 8 фрюктидора Второго года Французской Республики, единой и неделимой[31].

Полный поворот произошел спустя едва ли не через месяц после смерти диктатора: ветер задул в другую сторону, и секция изменила свое мнение. Как и вся Франция, она вступила в термидорианскую эпоху.

Тем временем неутомимая Констанс бегала по Парижу, усердно напоминая своим друзьям о необходимости как можно скорее освободить Донасьена. 11 октября депутат Бурдон пообещал ей похлопотать за Сада; спустя два дня Комитет безопасности и бдительности Конвента издал постановление о его немедленном освобождении, и 15-го, после триста двенадцати дней тюремного заключения, Сад наконец покидает Пикпюс и прибывает к себе домой на улицу Нев-де-Матюрен[32].

Как и четырьмя годами раньше, первым о своей радости он сообщает Гофриди:

Наконец-то мучения мои кончились, и Комитет общественной безопасности, воздав мне справедливость и, более того, высоко оценив, оставил меня в Париже, хотя я и бывший дворянин, и это по причине моих патриотических сочинений, ибо Комитет желает, чтобы я и дальше питал умы общества[33].

Но не забывает он и воздать хвалы женщине, поддерживавшей его все это время, женщине, благодаря которой он получил возможность написать:

И вот имя мое было внесено в список; я уже числился в нем под номером одиннадцатым, когда меч правосудия наконец опустился на шею новоявленного французского Суллы. С этой минуты режим начал смягчаться, и заботами, как пылкими, так и поспешными, любезной моей подруги, вот уже пять лет разделяющей мою жизнь, двадцать четвертого вандемьера последнего месяца я наконец был освобожден[34].

Глава XXIV
АТУ ЕГО...

Две сироты

Все шесть с половиной месяцев, что он провел в тюрьме, де Сад старательно убеждал своих управляющих в Провансе, что живет у друга в деревне. Следуя его инструкциям, письма ему направляли на адрес гражданки Кене, улица Ферм-де-Матюрен. В конечном счете это было вполне оправданно, ибо при малейшей оплошности на его имущество могли окончательно наложить секвестр, а его самого — уже навсегда — внести в списки эмигрантов. Однако, несмотря на предпринятые предосторожности, в Воклюзе распространился слух, что он в тюрьме и выйдет из нее нескоро. Он поспешил опровергнуть слухи, заявив, что не только не пребывает в немилости, но, напротив, стал официальным поэтом власти.

Гофриди известил меня о слухах, что ходят о моем аресте, — пишет он Кенкену. — На это я могу ответить только одно: будь я в тюрьме, разве смог бы я всем Вам послать виды на жительство, как сделал только что? Разумеется, нет, и, поразмыслив, Вы сами придете к такому же выводу. Будь я в тюрьме, я бы не занимался тем, чем занят сейчас, а именно не сочинял бы пятиактную патриотическую комедию в стихах, заказанную мне Комитетом общественного спасения; когда я завершу эту работу, комедия сия будет поставлена в Театре Республики[1].

Положению Гофриди, преследуемому за свои убеждения, тоже не позавидуешь. Поскольку он оказался вне закона, ему вместе с сыном Эльзеаром вновь пришлось бежать и издалека управлять владениями маркиза, письма которого он получал регулярно благодаря Рейно, служившему Донасьену почтовым ящиком. Отсутствие поверенного раздражает Донасьена. Что за манера убегать при первых же признаках грозы! А главное, тогда, когда управляющий ему так нужен! Совершенно необходимо вернуть его, ведь благодаря своим новым связям он может вступиться за него перед Комитетом общественной безопасности; пусть он только скажет, что нужно сделать, и Сад предпримет все требуемые шаги.

В середине ноября, как раз к обеду, к Саду является человек, только что прибывший из Авиньона, и сообщает, что «Гофриди сейчас очень далеко от Апта, и, похоже, Вы его еще долго не увидите». Донасьен в отчаянии. В это время слуга приносит письмо, распечатав которое Сад

радостно восклицает: его друг Гофриди, собственной персоной, наконец-то вернулся в родные пенаты и просит у него помощи. Речь идет о том, чтобы Сад попросил Гупийо вступиться за поверенного. В письме также содержится печальное известие: умер Рейно.

Без промедления — ведь речь идет о свободе нотариуса — Сад связывается с Гупийо, именуемым также Монтегю, бывшим делегатом от Воклюза, нынешним депутатом Конвента и личным другом Констанс, через которую Сад и передает прошение, где убеждает депутата похлопотать в Комитете общественной безопасности, членом которого тот является. Со своей стороны, гражданка Кене также предпринимает ряд мер. Через месяц Донасьен может гордиться победой: отныне никто больше не будет беспокоить Гофриди.

До сих пор неизвестно, какова была цена, уплаченная за спокойствие нотариуса. Свет на это проливает одно из неизданных писем: Гупийо де Монтегю получит в качестве вознаграждения двух юных сирот из окрестностей Апта. Их бабку быстро убедили, что в городе, «на глазах у их покровителя», воспитать девочек будет гораздо легче, чем в провинции. «Они будут осыпаны милостями, на кои несчастья их дают им все права», — лицемерно добавляет Сад[2]. Вряд ли Гофриди смог бы отказать в такой маленькой услуге своему благодетелю. В конце концов, к этому уже все привыкли: Гупийо всегда получает вознаграждение натурой[3].

Новый Париж

Оказавшись на свободе, Сад, похоже, окончательно отказывается от политической деятельности; в письмах он также избегает касаться забот политических и только время от времени скупо намекает на происходящие вокруг изменения. Собственные дела волнуют его значительно больше: арендаторы не платят, доходы поступают нерегулярно, земли не удается сдать в аренду, цены на продукты повышаются, а ассигнат девальвируется. Единственной маниакальной идеей Сада становится мысль о деньгах. Но по мере того, как доходы его уменьшаются, а угроза секвестра становится все отчетливее, управление землями начинает казаться ему поистине непосильным бременем. Он с удовольствием переложил бы его на Гофриди: нотариус лучше, чем кто-либо, знает состояние его дел и пользуется его безграничным доверием; Сад давно мечтает сделать его своим генеральным откупщиком. Гофриди всегда отказывался от этой должности под предлогом, что на руках у него слишком много дел, а по сути опасаясь — и его можно понять! — оказаться в рабстве у своего клиента. Ему слишком хорошо известен деспотизм де Сада, чтобы позволить себе целиком, душой и телом, попасть в зависимость от капризов маркиза.

Политика практически уходит из жизни Сада, место ее занимает литература; довольно быстро литературные занятия начинают поглощать все его время. Лишившись общественных обязанностей, став простым членом секции, отные он может беспрепятственно предавать-

ся сочинительству. Освободившись от забот по поддержанию в порядке собственных дел, он пишет новые романы и завершает те, которые начал писать еще до своего ареста. В течение 1795 года увидят свет две из наиболее значительных его книг: «Философия в будуаре», и «Алина и Валькур»; первая во многом будет написана под впечатлением недавних событий.

Открыто разоблачая бесчинства режима Робеспьера, приговорившего его к смерти, Сад начинает искать компромисс с термидорианской реакцией. Несмотря на свои антибуржуазные предубеждения, установившаяся власть денег кажется ему в конечном счете более сносной, нежели Террор. Без особого энтузиазма, однако и без отвращения, следит он за выработкой Конституции Третьего года, один из творцов которой, Буасси д' Англа, так определяет ее основополагающие принципы:

> Вы должны наконец гарантировать богатому его право собственности <...>. Гражданского равноправия – вот чего следует требовать здравомыслящему человеку <...>. Управление нами следует доверять лучшим: лучшие являются самыми образованными и более других заинтересованы в соблюдении законов. Но за немногими исключениями, вы найдете таких людей только среди тех, кто, обладая собственностью, питает любовь к стране, где он эту собственность имеет, к законам, которые ее охраняют, и к спокойствию, которое ее преумножает[4].

Санкюлоты и народные массы устранены со сцены. Франция, все еще пребывающая под гнетом пережитого за два страшных последних года, испытывает потребность в возрождении общественной и частной жизни. Париж облегченно вздыхает. Веселье и стремление к развлечениям стремительно берут свое, политический облик столицы претерпевает разительные изменения. Секции, одна за другой, переходят на умеренные позиции. Члены секции Пик, некогда считавшиеся непримиримыми якобинцами, совершают поистине удивительный идеологический вираж. Вместе с королевской властью исчезла высшая аристократия, дворяне рассеялись по заграницам; те, кто не захотел или не смог эмигрировать, в большинстве своем обезглавлены во время Террора; те, кто остались в стране, уверены, что отныне им до конца жизни придется скрывать свои имена; лишившись собственности, они теперь хотят лишь одного: чтобы о них забыли. Буржуазия открыто провозглашает свои цели, которых она, впрочем, никогда не теряла из виду: экономическая свобода, неприкосновенность частной собственности, избирательный ценз. Так Термидор «вновь напоминает о 1789 годе»[5]. Распахиваются двери салонов, необычайно популярными становятся балы, толпы осаждают театры, роскошь выставляется напоказ, женщины без удержу меняют наряды: Тальен вводит в моду античный стиль, Амлен и Рекамье, окутанные полупрозрачными, ниспадающими тончайшими тканями, соперничают в элегантности, мюскадены* красуются в Пале-Рояле, свежевыбритые, надушенные, в перчатках, длинных редингтотах с широкими обшлагами, с тростью в руке и волосами, не-

---

* Мюскадены – щеголи из высшего общества.

бережно заплетенными в косу; у наших сограждан пробуждается поистине волчий аппетит. «Основой нынешнего общества является обжорство», – отмечает Мерсье в «Новом Париже».

Места, власть, мысли – все изменилось буквально в мгновение ока. И в то же время никогда еще в обществе не было столь глубоких контрастов. Парвеню и биржевые игроки наслаждаются своими капиталами, повсюду свирепствует спекуляция, сундуки набивают нечестно нажитыми деньгами, а нация прозябает в ужасающей нищете. Падение стоимости ассигната повлекло за собой головокружительный взлет стоимости продуктов первой необходимости: порции хлеба продолжают уменьшаться, стоимость мяса растет день ото дня, прилавки на рынках пустеют. Часто случается наблюдать поистине душераздирающие сцены: очереди перед булочными начинают занимать в час ночи, несчастных, упавших от голода на тротуар, никто не думает поднимать, число самоубийств не поддается определению: матери бросаются в Сену вместе с детьми. Зима и весна 1795 года влекут за собой разорение мелких лавочников, рантье, государственных служащих.

Господин де Сад ищет работу

Едва выйдя из Пикпюса, де Сад затягивает прежнюю песню: он на пределе, разорен, обременен долгами, здоровье его непоправимо расшатано. В начале зимы, стуча зубами от холода в собственной постели, осажденный со всех сторон кредиторами и не имея более ничего, что можно было бы отдать в залог, он в отчаянии умоляет Гофриди прислать ему средства к существованию: «Если Вы незамедлительно не придете мне на помощь, мне остается лишь одно: застрелиться». Впрочем, маркиз не в первый раз угрожает самоубийством, и нотариус не собирается волноваться из-за его угроз. Проходит месяц: все безрезультатно; Донасьен начинает проводить горькие параллели между поспешностью, которую проявил он, когда надо было спасать своего друга, и «летаргией», в которую впадает Гофриди, когда он просит у него денег.

Пожалуй, это единственный раз, когда маркиз не слишком преувеличивает; без сомнения, положение его плачевно. Дождавшись наконец, когда государство прекратило руководить экономикой, он с удивлением обнаружил, что это пошло на пользу только «торговой аристократии» и спекулянтам. Не умея извлечь прибыли из нового режима, Донасьен терпит его последствия. Причина этого весьма проста: с одной стороны, все его имущество во время заточения находилось под секвестром; но даже когда секвестр был снят, часть земель по-прежнему остается отчужденной. С другой стороны, урожаи его поступали на национальные склады дистрикта, где оценивались по самой низкой цене: так, за квинтал* сена ему платили всего шесть ливров, в то время как в действительности он стоил сорок[6]. Наконец, несмотря на его постоянное требование платить в звонкой монете, доходы практиче-

* Квинтал – сто фунтов.

ски постоянно поступали к нему в ассигнатах. А бумажные деньги неумолимо падали в цене: по отношению к номиналу, стоимость их понизилась с 31 процента в июле 1794 года до 20 процентов в декабре, а в марте 1795 года и до 8 процентов. Луидор рос в цене день ото дня: от 700 ливров в июне до 1200 ливров в сентябре и 1800 в октябре. Галопирующая инфляция повлекла за собой повышение цен на продукты питания; подвоз продуктов в Париж сократился, запасы иссякали, процветал черный рынок.

В этот период глобальной экономической разрухи Сада постигла та же участь, что и всех мелких землевладельцев, живших доходами со своих земель: теперь в качестве платежей они получали исключительно обесцененные бумаги. Положение маркиза становится поистине драматическим.

Я пишу в комнате, где относительно тепло, но при этом холод, царящий у нас (такого на моей памяти не было никогда), таков, что в чернильнице замерзают чернила; приходится держать ее на водяной бане. Дров нет вовсе; раз в два месяца удается раздобыть вязанку стоимостью в сорок франков. Впрочем, не хватает всего: вынужденный тратить в день всего двадцать пять франков, рискуешь умереть с голоду[7].

К тому же зима 1795 года выдалась особенно холодной: такой давно уже никто не помнил; на несколько недель Сена покрылась непробиваемым льдом, затруднив и без того скудный подвоз продовольствия: «Мы давно уже опустились до уровня 1740 года и даже 1709 года. Сложно себе представить, как долго продержатся такие морозы; нет буквально ничего. Вода теперь стоит дороже, чем прежде стоило вино»[8]. В этом же письме он сообщает о смерти г-жи де Монтрей, угасшей неделей раньше, 15 января 1795 года.

Видя, как ресурсы его стремительно иссякают, и не имея новостей от Гофриди, Сад решает поискать работу и отсылает *curriculum vitae** члену Конвента Жаку Антуану Рабо-Помье, бывшему некогда одним из самых яростных противников Марата[9]. Бывший апологет *Друга народа* перечисляет все свои способности: умение вести переговоры, «ибо отец его двадцать лет состоял на дипломатической службе», знание европейских стран, литературные таланты. Он мог бы быть полезен, добавляет он, «при написании или редактировании сочинений любого рода, при составлении библиотеки, мог бы заведовать библиотекой или кабинетом естественной истории или музеем». И делает следующее заключение:

Одним словом, Сад, обладающий многими талантами, просит вас подыскать ему место. Истинный патриотизм, который всегда являлся его кредо, постоянное стремление быть полезным отечеству и служить ему во благо – все это свидетельствует о том, что он станет достойно и умело исполнять обязанности, которые вы пожелаете ему доверить. Революция, с которой он связан двойными узами, была дорога ему всю жизнь, в своих сочинениях он предсказывал ее наступление, а потому можно не сомневаться, что сердце его, этот очаг всяческих добродетелей, присущих истинному республиканцу, преисполнится благодарности[10].

* Биография, жизнеописание (*лат.*)

Ответа не пришло... Но стоит ли удивляться? Возраст — пятьдесят шесть лет, никогда в жизни не работал, в прошлом судимый, сделал весьма двусмысленную политическую карьеру, с тяжелым характером: анкета гражданина де Сада может обескуражить любого, даже самого расположенного к нему доброжелателя. Что же касается его литературных талантов, то результатом их на сегодняшний день являются непристойный роман, несколько пьес, отвергнутых или освистанных, и несколько написанных по случаю речей. Вдобавок дети его являются эмигрантами, жена проживает с ним раздельно, а сам он вроде бы живет с сожительницей: нет, все это не внушает никакого доверия.

Возвращение в литературу

Потерпев неудачу в театре, де Сад имеет все основания уповать на успех своих романов. Действительно, после известных перипетий, восемь томов «Алины и Валькура» наконец-то вышли из типографии. Написанный в Бастилии между 1785 и 1788 годами, и переработанный автором после освобождения, роман должен был выйти в 1791 году. 6 марта того же года автор посулил, что в продаже он появится уже на Пасху. 12 июня он утверждал, что книга выйдет обязательно. Спустя два с половиной года роман все еще не был завершен. Мы помним, что 8 декабря 1793 года Сад просил комиссаров, явившихся проводить у него обыск, передать три листа романа Жируару. К несчастью, через несколько месяцев издатель взошел на эшафот.

Пятого декабря 1794 года маркиз требует у администрации вернуть ему из кабинета Жируара «все, что найдется отпечатанного и относящегося к этому роману». За рукопись ему заплатили, но он также «имеет право на экземпляры». Впрочем, ему хотелось бы внести в роман кое-какие поправки, дабы наконец придать ему «облик мужественный и суровый, какой пристало иметь свободной нации». Сочинение это является «плодом многих лет бдений, но я никогда не испытаю радости увидеть его напечатанным, если мне не вернут его и не предоставят условий для его публикации»[11]. Только в августе 1795 года он наконец увидит вышедшие из типографии вдовы Жируара восемь элегантных томиков, иллюстрированных офортами.

Первые экземпляры будут отосланы Гофриди. 26 августа Сад пишет ему:

> Прошу Вас указать мне способ, как можно послать Вам, с оплаченной доставкой, два экземпляра восьмитомного труда, который я наконец сумел издать; один экземпляр для Вас, один для Вашего лучшего друга. Это сочинение, выхода которого, судя по слухам, ожидают многие, возможно, Вас заинтересует. Жду Вашего ответа <...> и обнимаю Вас[12].

Разумеется, Сад очень ждет выхода этого романа. Не только, чтобы укрепить свою репутацию писателя, но и чтобы улучшить условия своего существования. В конце концов, почему бы ему не жить своим пером, если другие ремесла ему заказаны? Через два дня он отсылает

Льону рекламное сообщение, адресованное тамошним книготорговцам, и просит распространить его. Разумеется, он считает, что его известность в Провансе поможет продать книгу:

Сообщаем вам, гражданин, о выходе сочинения под названием «Алина и Валькур, или Философический роман»; восемь томов, прекрасный шрифт, отличные гравюры. Обращаться в Париж, к вдове Жируара, дом Эгалите. Отпускная цена: 100 ливров, экземпляры сброшюрованы.

Тираж расходится столь быстро, что следует поторопиться. В случае, ежели вы захотите приобрести книгу, обращайтесь через Льона к вашему корреспонденту в Париже, и ему будет переслано столько экземпляров, сколько вы закажете.

Если хотите приобрестии книгу, делайте заказ как можно скорее.

11 фрюктидора Третьего года [28 августа 1795 года][13].

Правда ли, что тираж «Алины и Валькура» разлетелся мгновенно? Разумеется, де Сад несколько преувеличивает. Тем не менее библиографы насчитывают не менее трех следующих друг за другом переизданий, что свидетельствует об определенном успехе. К тому же у романа появляются подражатели, что также является признаком успеха. Некий подозрительный писака по имени Менего, взяв за основу «Историю Сенвиля и Леоноры», создает подделку, списанную почти слово в слово, под названием «Вальмор и Лидия» и повторно издает ее под названием «Альзонд и Корадем»[14]. Речь идет об одном и том же сочинении, которое, слово в слово, является пересказом обширного эпизода из «Алины и Валькура», эпизода, занимающего примерно три тома романа Сада. Впрочем, плагиатор имеет в своем активе еще несколько мошенничеств, которые будут стоить ему исправительного суда и тюрьмы[15].

* * *

В том же 1795 году выходят два небольших томика под соблазнительным названием «Философия в будуаре», с подзаголовком: «Посмертное сочинение автора “Жюстины”». Смысл его ясен: безоговорочно причислить «Философию» к непристойному жанру, сделать из нее «опасную» книгу; и сделать это исключительно с целью привлечения покупателей. А чтобы еще больше завлечь читателя, Сад удостаивает ее вот таким эпиграфом: «Мать предпишет дочери прочесть ее». Но, как и в случае с «Жюстиной», автор преследует не только коммерческую цель (разумеется, ее отрицать нельзя), замысел книги выходит далеко за пределы ожидаемой выгоды. Несомненно, в ней множество эротических сцен; герои ее, Дольмансе и г-жа де Сент-Анж, то и дело изрекают непристойности. Подстегиваемые вопросами своей юной воспитанницы Эжени, они предаются настоящей эротической вакханалии: кто дальше зайдет в своих извращениях, как в речах, так и в поступках. Теория наслаждения, эта основа и цель всех вещей, предоставляет возможность для развернутых умопостроений, иллюстрированных практическими упражнениями исступленного разврата. Все движется по нарастающей, кульминацией становится появление зараженного

сифилисом лакея по имени Лапьер, который овладевает г-жой де Мистиваль, матерью Эжени, «традиционным» способом, а затем содомизирует ее, дабы наверняка заразить. А для того, чтобы зараза не вышла наружу, наши либертены, вооружившись ниткой и иголкой, принимаются зашивать отверстия половых органов женщины.

Подобного рода «подвиги» являются своеобразными дивертисментами между семью назидательными диалогами, в которых бессистемно, но зато не стесняясь в выражениях, рассуждают о религии, природе, нравах, преступлении и революции. Вклинившийся достаточно произвольно в корпус текста памфлет под названием «Французы, еще одно усилие, если вы хотите быть гражданами республики!», вложенный Садом в уста Дольмансе, нисколько не опровергает иронии, содержащейся в его названии. Речь идет ни больше ни меньше, как о доведении до абсурда революционной теории, о язвительнейшей насмешке над якобинской философией. Сад использует ее, чтобы начать яростное наступление против своих извечных врагов: христианства и смертной казни. Рассуждая о христианстве, он вновь, только теперь с гораздо большей яростью, обрушивается на Бога христиан, а заодно и на теизм Робеспьера.

Мы не хотим Бога, «без конца и без края», который якобы заполняет все своей безграничностью; не хотим всемогущего Бога, который никогда не исполняет желаемого; не хотим вседобрейшего существа, которое плодит лишь недовольных; не хотим друга порядка, в правительстве которого все в полном беспорядке. Нет, мы не желаем Бога, который беспокоит природу, является отцом смятения, взбаламучивает человека, ввергая его в ужасы. Такой Бог заставляет нас дрожать от негодования, и мы отправляем его в забвение, откуда мерзкий Робеспьер захотел его извлечь*.

Приговоренный к смерти год назад примерно за такие же речи, Сад, очевидно, берет здесь посмертный реванш.

Рассуждая о смертной казни, Сад использует тезис «второстепенных» утопистов, которые также выступают против нее, и, в частности, положение Морелли, который в своем труде «Кодекс природы» (1755) предлагает заменить казнь пожизненным заключением. Смертная казнь кажется Саду абсолютным преступлением потому, что в законе, обрекающем человека на смерть, не предусмотрено оправдательных причин, таких как страсть, гнев или желание. Государство совершает убийство после здравых размышлений и таким образом становится виновным в преступлении институционном, совершенном абсолютно хладнокровно, а такому преступлению оправдания нет. Тем, кто утверждает, что наказание служит примером для других, он отвечает:

Второе основание для отмены смертной казни заключается в том, что угроза казни никогда и никому не мешала каждодневно совершать преступления даже у подножия эшафота. Поэтому, если говорить коротко, надо отменить смертную казнь, ибо нельзя казнить человека за то, что он убил другого человека, ибо в результате вместо одного человека из мира нашего исчезнут двое, а только дураки или палачи могут довольствоваться подобной арифметикой[16].

---

* *Сад Д.-А.-Ф.* Философия в будуаре / Пер. И. Карабутенко. М., 1992. С. 144.

Сад не скрывает своего стремления повлиять на законодателей, которые в то время занимались разработкой законодательства Четвертого года. Разумеется, опубликовать эти строки после Термидора было гораздо менеее опасно, нежели во времена Террора. Тем не менее весьма пикантно наблюдать, как «недостойный маркиз» единственный выступает против смертной казни, в то время как ученики Руссо и благодатной Природы отрубают головы во имя добродетели.

Благотворительный суп

Действительно ли он надеялся поправить свои дела с помощью книг? Вряд ли. Скорее всего, он ожидал получить немного денег, которые могли бы отсрочить неумолимо надвигавшуюся нищету, чей призрак уже давно маячил на горизонте. Цены мчатся вверх столь стремительно, что он уже не может за ними угнаться; то, что еще вчера стоило пятнадцать су, сегодня обходится в пятнадцать франков. К тому же каждый хам норовит швырнуть свой товар тебе в лицо.

Большая часть продуктов питания стоит непомерно дорого, — жалуется он. — К примеру, варенье, оливковое масло и свечи, которых я у Вас прошу, стоят здесь <...> дороже раз в тридцать. Одно только вино подорожало в три раза; цены на предметы роскоши просто непомерны: собака стоит шесть тысяч франков; лошадь тридцать, сорок и даже пятьдесят тысяч; если прежде нанять фиакр обходилось в двадцать пять су, то теперь это стоит сто франков; за суконное пальто просят тысячу экю.

Ему приходится сократить свои расходы до минимума: «Суп из котелка секции, хлеб, что раздают в секции, пять дней в неделю овощи, никакого театра и никаких развлечений, друг мой, только я и кухарка»[17].

Его видавшему виды сюртуку уже пять лет, на ногах он носит сабо. Однако это не мешает ему держать кухарку (чтобы разогревать суп или вчерашнюю фасоль). День ото дня положение его становится все хуже и хуже.

Гофриди буквально засыпан требованиями денег; маркиз сердится; однако ответа нет. Он начинает угрожать г-же Гофриди: если супруг ее упорно хранит молчание, он явится к ним в дом и станет жить у них: и вот тогда им придется его кормить! По-прежнему никакого ответа. Но нотариуса нельзя винить в небрежении: он только что потерял старшего сына Эльзеара и не в состоянии заниматься делами, а потому не подает признаков жизни. Узнав печальную новость, Сад отвечает вполне в своем духе:

Я разделяю Вашу печаль, Ваши сожаления и Ваше горе по поводу понесенной Вами тяжкой утраты. Но, дорогой мой и любезный друг, оплакивая умерших, не следует доводить до смерти живущих, а Ваша преступная небрежность скоро доведет меня именно до смерти. Деньги, мои деньги, заклинаю Вас[18].

Известие еще об одной смерти его радует: умер его престарелый родственник де Мюр, о чьем наследстве он давно мечтал. К радости

примешивается священный гнев, обрушивающийся на голову Гофриди, не известившего его об этом:

> Вот уже пять месяцев, как де Мюр умер, и я по закону, должен стать его наследником, а Вы мне ничего не говорите! <...> О друг мой, это просто непостижимо, я не узнаю Вас, не узнаю чувств, кои Вы всегда ко мне питали! <...> О, великий Боже, неужели Вы проворонили это дело? Не может быть! Торопитесь, заклинаю Вас; вооружитесь законами; мы имеем право на все его наследство! Если Вы станете медлить, нация все заберет себе и я не получу ничего[19].

В принципе он прав. После того как старик эмигрировал, искать завещание напрасно, а его прямые наследники, девицы Шабриоль, согласно закону утратили права на это наследство: когда дело касается других, г-н де Сад тут же становится изощреннейшим крючкотвором. Что из того, что он, отец, чьи сыновья пребывают в эмиграции, стремится ограбить дочерей эмигранта? Это так естественно! Однако он зря старается: состояние покойного Мюра не попадет к нему в лапы. Решительно, его цинизм оказывается бесполезным, или, скорее, он не знаком с искусством извлекать из него выгоды. Жаль, ибо, в сущности, у него были задатки биржевого игрока; он мог бы, как все эти бесчисленные тюркаре* эпохи Директории, сколотить состояние на народном голоде; для этого ему не надо было занимать ни наглости, ни бесчувственности, ни эгоизма — ни единого качества, необходимого для спекулянта и игрока. Будь у него побольше лицемерия и ловкости, он уже разъезжал бы по Бульварам в собственной карете, румяный, с упитанным брюшком. Однако для подобного рода деятельности он слишком презирает деньги; впрочем, знай он, как можно отхватить кусок добычи пожирнее, сделал бы это безо всякой оглядки.

Чтобы как-то выкрутиться, у него остается единственное средство: продавать свои земли.

Отец и сын

Не только материальные трудности вызывают его озабоченность: он по-прежнему сохраняет статус отца, чьи сыновья находятся в эмиграции. На основании декретов от 25 брюмера и 12 флореаля [15 ноября 1794 года и 1 мая 1795 года] эмигрантов, вернувшихся во Францию, и их сообщников ждет скорый суд. И те и другие подлежат смертной казни: приговор приводится в исполнение в двадцать четыре часа и обжалованию не подлежит. Сад знает, что его старший сын Луи-Мари вернулся в Париж, в то время как младший по-прежнему находится на Мальте, где, будучи мальтийским рыцарем, «возится» с делами ордена. Как обычно, Донасьен быстренько сочиняет импровизированный сценарий и в соответствии с ним пишет письмо Гофриди, содержание которого просит предать самой широкой огласке:

* Тюркаре — герой одноименной комедии (1709) А. Лесажа, беспринципный выскочка-финансист.

Однажды, кажется месяц назад, ко мне в комнату вошел мой сын. Полагаю, не стоит говорить, сколь смешанное чувство меня охватило: я испытал страх, изумление и радость одновременно.

— Отец, — начал сей молодой человек, обнимая меня, — ни я, ни брат мой никогда не эмигрировали. Брат мой вот уже пять лет находится на Мальте по делам ордена, а закон об эмиграции не распространяется на рыцарей этого ордена. А я, влекомый теми же причинами, что и брат мой, ибо ни он, ни я не знали, какую сторону между Вами и матушкой нам следует занять, я, отец, оставил службу. Я люблю искусства и столь преуспел в их изучении, что теперь зарабатываю на жизнь изготовлением гравюр и своими познаниями в ботанике. Я проехал всю Францию, побывал в горах, видел множество живописных мест; словом, я работал. Теперь я вернулся, и вернулся, имея все бумаги и свидетельства, которые должны убедить Вас в правоте моих слов. Я проживаю в секции Тюильри, работаю днем и ночью в музее, оказываю немало услуг моей секции. Так что, если кто-нибудь посмеет назвать меня эмигрантом, он получит достойный ответ. Завтра я сам напишу гражданину Гофриди, дабы убедить его и сообщить, что, если кто-нибудь осмелится обвинять меня в том, что я был в эмиграции, я готов доказать обратное и рассеять все подозрения.

А если сомнения все еще существуют, если в присутствии нотариуса еще осмеливаются напоминать о декретах Конвента, нотариус с полной уверенностью может ответить: «К счастью для гражданина де Сада, его дети никогда не были в эмиграции».

— Но как же так? Ходили слухи, что оба его сына отправились в эмиграцию!

— Слухи эти ложны, и я смело берусь утверждать, что их нет ни в одном эмигрантском списке. Младший находится на Мальте, но он, рыцарь Мальтийского ордена, пребывает там по долгу службы, а потому не является эмигрантом. А старший проживает в столице вместе с отцом. Он путешествовал по Франции, приобрел познания в ботанике, обучался рисованию и теперь талантами этими зарабатывает себе на жизнь. Он член секции Тюильри и в любую минуту готов предоставить все необходимые доказательства[20].

В будущем из предосторожности Сад станет называть детей своих Vogel (что по-немецки означает «птица»). Многие будут задаваться вопросом, отчего он выбрал именно это слово...

* * *

Известно, что из всех троих детей Сад всегда отдавал предпочтение Луи-Мари. Он меньше всех «Монтрей», ближе всех ему по вкусам и пристрастиям. Недурной рисовальщик, музыкант, писатель, не обиженный внешностью, он обладает многими чертами характера, присущими его отцу: вспыльчивый, нетерпеливый и беспринципный, как и его родитель, он наделен талантом поставить всех на уши, начиная с собственной матери, которую это раздражает в высшей степени; его брат питает к нему тайную ревность, его дядья и тетки упрекают его за излишне грубые и фривольные речи, равно как и за чрезмерную вспыльчивость. Многочисленные письма Луи-Мари к семье в период дележа наследства председателя де Монтрея по своему тону и характеру поразительно напоминают письма Донасьена, адресованные его нотариусу. Подобно отцу, сын охотно швыряет деньги на ветер, что наводит г-жу де Сад на весьма печальные размышления: «Если он и дальше будет так себя вести, его придется кормить, как и его отца». Подобно отцу в молодости, сын ве-

дет жизнь либертена, посещает празднества, балы, играет в карты, и его любовным победам несть числа. Ему даже случилось переспать с прежней любовницей отца, прекрасной креолкой Рейналь де С***, по прозвищу Мими, актрисой, художницей и женщиной легкого поведения[21], и это к великой ярости маркиза, который станет использовать все доступные ему средства, чтобы разлучить любовников.

Самым близким другом Луи-Мари является юный офицер из Карпантра по имени Александр Кабанис; он выслушивает рассказы о любовных похождениях молодого человека, пытается увести его с кривой дорожки, уговаривает вновь поступить на военную службу, а главное, вернуться в Авиньон и завоевать расположение своей двоюродной бабушки Вильнев. Тем более что та давно усиленно зовет его к себе; она даже высказывала желание сделать его своим наследником, ибо, по ее собственным словам, отдает ему предпочтение перед всеми остальными детьми Донасьена. Время торопит: г-же де Вильнев далеко за восемьдесят. Однако угар разгульной жизни манит сильнее: одна ночь в Париже стоит наследства. Но все же он берет себя в руки и отправляется к старухе, вызывая тем самым новый приступ гнева у г-на де Сада: сын опять становится его соперником, только теперь уже в денежных делах.

Отношения отца и сына запутаны до крайности, что, впрочем, вполне можно понять: у них слишком много общего и они не способны легко приходить к согласию; стычки бывают часто, и весьма жестокие. Но в промежутках между ссорами Донасьен не скрывает, что Луи-Мари ему нравится. Даже — и, наверное, в основном — его бесшабашный характер, склонность к необдуманным и рискованным поступкам.

Я очень люблю его. И я уверен, что сколько бы я ему ни оставил, он всем будет доволен, кроме той страны, где я оставлю ему его достояние. Необычайно энергичный, обожающий искусство, поглощенный музыкой и рисованием, сей молодой человек не стал скрывать от меня, что, как только мир будет заключен, отечеством его станет весь мир. Ему хотелось бы — разумеется, если я не стану его удерживать — тотчас отправиться в Новую Англию[22].

Тринадцатое вандемьера*, в этот кровавый для роялистов день, маркиз, зная, что Луи-Мари находится в войске Бонапарта, дрожит от страха за его участь и, не имея никаких известий, поверяет свои страхи Гофриди. Но когда опасность миновала, Сад после очередной сумасбродной выходки молодого человека посылает его ко всем чертям. Таковы их отношения: страстные, безжалостные, где любовь то и дело сменяется ненавистью.

Хитроумная комбинация

Уже давно, с самого своего выхода из Пикпюса, Донасьен мечтает продать участок под названием Гран-Бастид в Сомане. Момент кажется ему вполне подходящим, так как после неоднократного повышения цен

* Тринадцатого вандемьера Четвертого года (5 октября 1795 г.) в Париже произошел монархический мятеж, подавленный правительством.

«земли теперь продаются на вес золота». Он хочет получить тридцать или даже тридцать пять тысяч франков и поручает Гофриди начать переговоры. Через некоторое время нотариус находит покупателей, готовых заплатить сорок тысяч франков; речь идет о его родственнике Аршиасе, негоцианте из Экса, и его партнере по имени Арно. В качестве задатка Сад получает 22 476 ливров в виде двух векселей. До этого момента все идет хорошо.

Через некоторое время Сад получает предложение от некоего Виллара, из Л'Иль-сюр-Сорг: тот готов заплатить сорок пять тысяч франков. И тотчас Сад решает все переиграть. Если господа Аршиас и Арно так хотят заполучить этот участок, значит, они хотят нажиться на сделке. А он обещал не трогать векселей до тех пор, пока сделка не будет завершена. После размышлений он решает, что требования его слишком умеренны, так как недвижимость растет в цене и одновременно увеличивается число желающих ее приобрести, поэтому с его стороны будет глупо этим не воспользоваться. И он сообщает Аршиасу, что только что продал участок за шестьдесят тысяч франков, и посему немедленно отсылает ему его первый вексель на малую сумму в 9022 ливра. Второй вексель, стоимостью в 13254 ливра, он предпочитает оставить у себя, «дабы избежать расходов и риска, связанных с возвратом векселей»; сумму эту возместит ему Гофриди из тех доходов, которые поступают непосредственно к нему.

> Я в отчаянии, — добавляет этот лицемер, — что не могу заключить эту сделку с вами. Если бы речь шла не о тысяче экю, то доверие и дружба, которую я питаю к Гофриди, несомненно, возобладали бы, но пятнадцать, а то и все двадцать тысяч ливров стоят того, чтобы за них похлопотать <...>[23].

Вранье, ложь! Сад не продал свою землю; он просто-напросто блефовал, чтобы поднять цену. А в ожидании попросту присвоил наличные деньги.

Через три дня он возвращается к этому вопросу и совершенно серьезно пишет Гофриди:

> В Париже уже нет ни одного провансальца, который бы не явился ко мне с предложением одно выгодней другого, и я клянусь Вам и торжественно заявляю, что предложения эти доходят до шестидесяти пяти тысяч ливров, но ради Вас, дабы не доставлять Вам хлопот, я не стану на них соглашаться, и Вы можете продавать участок Вашим покупателям.

Таким образом, получается, что он согласен продать землю Аршиасу и Арно исключительно из сострадания. Однако не менее, чем за шестьдесят одну тысячу ливров. И при условии, что 13 254 ливра задатка отныне будут считаться займом. Следовательно, он не намеревается их возвращать: нотариус вернет их из будущих доходов. Разумеется, займ этот беспроцентный; в обмен на него маркиз разрешает продать на корню будущий урожай. Цинизм, бесстыдство и ложь: впрочем, г-н де Сад всегда ими отличался! Покупатели же его, растерявшись от подобной беспринципности, сначала делают кислый вид, но в конце концов принимают его условия. 31 марта 1795 года в присутствии мэтра Форе, нотариуса из Апта, происходит подписание акта о продаже[24].

Тут Гофриди понимает, какую злую шутку сыграл с ним маркиз, нисколько не подумавший о том, в сколь затруднительное положение он поставил своего управляющего перед его шурином: как обычно, Сад заботился только о собственной выгоде. И хотя достойный нотариус давно знает своего клиента и знает, чего можно от него ожидать, тем не менее он не в силах сдержать горький упрек. «Не ожидал, что Вы сможете столь отяготить мое и без того печальное положение», — пишет он. Еще не сняв траур по погибшему три месяца назад сыну, Гофриди вдвойне острее воспринимает предательство друга. Тот же, напротив, довольно потирает руки. В восторге от того, какую шутку он сыграл с кумовьями, убежденный, что ловко обвел обоих вокруг пальца, Сад бесстыдно пишет о своей радости нотариусу. Удостоив его дружеского похлопывания по плечу, он заявляет:

Ну же, мой дорогой гражданин, улыбайтесь и оставьте Ваши обвинения, кои Вы столь обильно расточаете мне, полагая, что я лишил Вас своего доверия <...>. Вспомните, каким веселым Вы умеете быть, вспомните, как мне дороги Ваша дружба и доверие, а главное, не лишайте меня Вашего попечения[25].

Но наиболее совестливые читатели могут быть спокойны: господа Аршиас и Арно все-таки совершили удачную сделку, в то время как Донасьен все же остался в дураках. В связи с галопирующей инфляцией бумажных денег от всей наличности у него вскоре не осталось ни единого су.

* * *

Если говорить о сентиментальной стороне дела, то продажа Гран-Бастид не стоила Саду ничего; в его глазах владение это являлось всего лишь одним из источников дохода и не более. Расположенное возле Сомана, оно тем не менее никак не связано с замком. Иначе он бы с ним никогда не расстался, ибо теперь более чем когда-либо Соман является для него местом детских воспоминаний. Мысленно он любит возвращаться в эту старинную крепость, под ее высокие своды, в ее сумрачные подземелья. Ему достаточно закрыть глаза, чтобы вновь увидеть себя, пятилетнего, продирающегося сквозь заросли можжевельника или карабкающегося по широкой каменной лестнице с резными кессонами, чтобы со всего размаху броситься в объятия аббата. Соман... Иногда он мечтает удалиться на эту высокую уединенную скалу, где царит вечная тишина:

Я хочу жить в Сомане. Я влюблен в это место. И если бы я мог, я бы непременно уехал туда, чтобы там завершить свой жизненный путь; я Вам чрезвычайно рекомендую этот дом, лучшего вы не найдете. В Париже у меня работы еще на четыре года, а потом, если Господь отведет мне времени, я непременно вернусь умирать в Соман[26].

«Пощупайте у нее пульс»

Постоянно ощущая безденежье, Сад подумывает отделаться от Мазана, с которым его, в сущности, ничего не связывает. Если говорить начистоту, идею эту ему подала тетка Вильнев. В феврале 1795 го-

да она предлагает ему сдать замок в пожизненную аренду за твердую, раз и навсегда определенную цену в пятнадцать тысяч ливров, с условием единовременной выплаты авансом. Авиньон утомляет ее, ей требуется покой. Возмущенные вопли маркиза: пятнадцать тысяч франков? Она шутит! Ему надо, по крайней мере, семьдесят тысяч. Давайте поразмыслим: Мазан в зависимости от года — плохого или хорошего — приносит ему четыре тысячи франков. Надо предполагать, что, прожив там четыре года, престарелая дама получит соответствующую сумму обратно. Разумеется, он готов уступить Мазан даже за восемь тысяч франков. Но его тетушка проживет наверняка еще лет десять: вот и посчитайте. Семьдесят тысяч, и никак не меньше! Но если она станет платить в золоте, он готов снизить стоимость до тридцати тысяч и даже до двадцати пяти, но это последняя цена. Пусть решает, платить ей или нет. Впрочем, тетушка де Вильнев может сделать еще лучше. Она богата, у нее две дочери. Пусть она купит Мазан «навсегда»: тогда после ее смерти он достанется дочерям, а он удовольствуется ста тысячами франков в звонкой монете или двумястами пятьюдесятью тысячами в ассигнатах; и он обещает своему управляющему Кенкену вознаграждение в две тысячи экю золотом, если тот проведет эту сделку. А вдруг почтенной старушке осталось жить всего два года? Тогда, если не поторопиться, все его надежды рухнут. И он без промедления пишет Гофриди: «Немедленно поезжайте, *пощупайте у нее пульс* и, если увидите, что она и двух лет не протянет, быстро заключайте сделку»[27]. Если двадцать пять тысяч франков кажутся ей слишком большой суммой, он готов опустить цену до двадцати тысяч. Если она отказывается, пусть продают замок, двор и парк по лучшей цене. Но при этом пусть заботливо оберегают фруктовый сад: «Это настоящее золотое дно». Если покупателя не найдется, он прикажет разобрать замок по камушку, чтобы извлечь крупные глыбы и деревянные и железные детали. Продав весь этот строительный материал, он надеется получить миллион франков, который позволит ему оплатить долги и купить домик неподалеку от Парижа. Еще одна утопия!

Гофриди умывает руки

Время идет, Мазан никто не собирается покупать. Г-жа де Вильнев от аренды отказалась. В довершение неприятностей она отказалась даже передать племяннику серебряную посуду, доставшуюся ей от аббата. Донасьену приходится проглотить обиду — в противном случае от него уплывет наследство — и вновь начать охоту: ему во что бы то ни стало надо достать денег, любыми путями. Погоня за деньгами превращается в идефикс. Действительно, день ото дня положение его становится все хуже и хуже; стоимость жизни возрастает, а падение курса ассигната превращает его доходы в ничто. В довершение всего Гофриди больше не отвечает на его письма — интересно, берет ли он на себя труд хотя бы их читать? Неблагодарный пренебрегает им, своим

другом, в то время как он умирает с голоду у себя в постели, терзаемый лихорадкой, и не имея даже су, чтобы позвать врача! Просьбы, упреки, оскорбления, угрозы лавиной обрушиваются на контору адвоката. Как будто бы в мире нет ничего, кроме г-на де Сада! Словно у него нет иных клиентов, кроме него! Однако де Сада это не заботит: те, кто имеет честь служить ему, должны заниматься его делами двадцать четыре часа в сутки. Это не просто обязанность: это священный долг!

Чтобы высвободить себе время, Гофриди, обремененный многочисленными делами, берет в помощники своего второго сына Шарля и для начала поручает ему заняться доходами де Сада. Облегчение для отца, ужас, охвативший молодого человека перед ожидающим его испытанием, наконец, досада г-на де Сада, который сначала делает недовольную физиономию, а потом начинает обговаривать с учеником нотариуса новые расходы. Однако у Гофриди-сына спина менее гибкая, чем у отца; он прекрасно знает, с кем имеет дело, и не дает оседлать себя. Не намерен он терпеть и поношения маркиза. При первом же выпаде маркиза неоперившийся птенец кидается в контратаку и тут же получает великолепный урок:

> Ради Бога, не сердитесь, когда сержусь я, ибо если мы оба будем сердиться, кто же станет нас примирять? Я хочу иметь право кричать, бушевать, словно с меня живьем снимают кожу, когда Вы не шлете мне денег, а Вашим единственным ответом на это всегда должен быть вексель[28].

Для г-на де Сада приступы гнева являются чем-то вроде умственных гигиенических процедур: он сердится, чтобы выпустить наружу свои чувства.

Если оскорбления не помогают, то почему бы не прибегнуть к шантажу? Самоубийством он уже угрожал — не подействовало. Остается болезнь; это гораздо более тонкий ход — действует на людей практически безошибочно, во всяком случае, гораздо сильнее, чем угроза самоубийства. Его врач, заявляет он, сказал ему, что малейшее волнение может свести его в могилу. Однако юный Гофриди не собирается волноваться из-за таких пустяков. Тогда г-н де Сад с помощью некоего Гастальди, уроженца Авиньона, врача секции Фонтен-де-Гренель, фабрикует справку следующего содержания:

> Я, нижеподписавшийся служащий медицинской службы города Парижа, подтверждаю и заявляю, что являюсь лечащим врачом гражданина де Сада, страдающего от тяжкой малоизвестной болезни, длительность которой определить невозможно; однако природа ее симптомов, равно как и застарелый их характер, предполагают продолжительное и дорогостоящее лечение; полагаю, об этом следует известить преданных ему людей, особенно тех, кто управляет его имуществом, дабы они без опозданий присылали ему его доходы, иначе они нанесут огромный вред здоровью вышеозначенного гражданина, подвергнув его лишениям или волнениям, в его положении весьма опасным[29].

Но отношения между де Садом и Гофриди-сыном от этой справки лучше не становятся. Гофриди-младший не склонен вредить маркизу, однако весьма жестко отвечает на его сумасбродные выходки, а однажды даже намекает на его прошлые «злоключения». Ответная реплика звучит звонко, как пара пощечин:

Не такому молокососу, как Вы, напоминать о моих несчастьях. Злоключения мои, делающие меня достойным почтения и уважения в глазах всех честных людей, не должны быть Вам известны, ибо, когда они случились, Вы еще под стол пешком ходили. А посему окажите мне любезность и умолкните по этому поводу <...>. Вы мне неприятны, и я прошу Вас более мне не писать. Ограничьтесь посылкой мне денег: вот уже месяц я не получаю от Вас ни единого су[30].

Продажа Ла-Коста

Продать Ла-Кост... Конечно, он об этом подумывал, но никогда всерьез. Сегодня же он чувствует себя загнанным в угол. С начала 1796 года его материальное положение неизмеримо ухудшилось. Деньги, полученные за Гран-Бастид, растаяли словно снег на солнце, исчезли меньше чем за год. В марте ему пришлось покинуть свой уголок отшельника на Шоссе-д'Антен: плата за него стала слишком тяжким бременем для его бюджета; вместе с г-жой Кене он снял сельский домик в Клиши-Ла-Гарен, на улице Реюньон, напротив замковых конюшен. От Парижа далековато, зато стоит всего триста ливров в год.

Девятого сентября 1796 года, никого не предупредив, он подписывает вполне компромиссный договор о продаже Ла-Коста и прилегающих к нему земель с Жозефом-Станисласом Ровером, членом Совета старейшин; сговорились на 58 400 ливров плюс еще 16 000 наличными без договора. К тому же новый владелец обязуется предоставить управление поместьем Гофриди, чьи заслуги де Сад изо всех сил расхваливает, надеясь таким образом завербовать себе на месте союзника. Однако расчет неверен: адвокат не тот человек, который готов изображать слугу двух господ.

Странный персонаж этот Ровер. Родившийся 16 июля 1748 года в Бонье, в семье адвокатов и врачей, недавно получившей дворянский титул, Станислас Жозеф Франсуа Ксавье де Руаер де Фонтвьель, именуемый Ровер, скомпрометировал себя в запутанной истории по захвату наследства. С помощью отца ему удалось буквально пленить восьмидесятитрехлетнего дальнего родственника, г-на де Сен-Марка, только что составившего завещание в пользу другого члена семьи. В сущности, отец и сын вырвали у старика составленное по всей форме завещание, которое наследник тотчас принялся оспаривать. Королевский Совет принял решение не в пользу отца и сына Руаеров. В качестве утешения Жозеф Станислас присвоил себе титул маркиза, на который Сен-Марк имел весьма отдаленные права, и принялся утверждать, что является потомком знаменитого семейства делла Ровере из Урбино, к которому принадлежал папа Юлий II. В те времена его частенько можно было видеть в конторах нотариусов, где он последовательно истреблял хвостик у буквы Y в собственной фамилии. Спустя немного времени он женился на богатой наследнице, мадемуазель де Кларе, и стремительно растратил ее состояние. Расставшись с женой, он по-прежнему сорил деньгами и в конце концов 22 мая 1789 года был арестован за долги.

Революция спасла его. Дворяне Прованса отказались выдвинуть его депутатом Генеральных штатов, однако ему удалось получить место в

Законодательном собрании, где он заседал в качестве депутата от Воклюза; затем выбился в депутаты Конвента от департамента Буш-дю-Рон. Он голосует за казнь короля, выполняет специальные поручения на Юге и попутно улаживает некоторые старые дела. Уверенный в своей политической непогрешимости, он пускается в сомнительные финансовые операции, позволяющие ему сколотить состояние. В 1793 году он покупает монастырь целестинцев в Сорге, возле Авиньона, постройку, всегда вызывавшую восхищение чужестранцев, и платит за него ассигнатами в два раза меньше его реальной стоимости. Ободренный столь многообещающим началом, он вместе с остальными членами «черной шайки», грабившей край, пускается в оголтелые спекуляции национальным имуществом, пока наконец наглость его не вызывает гнев Конвента. Вступив в коалицию, свалившую Робеспьера, он становится одним из инициаторов термидорианской реакции и в жестокости превосходит самых крайних правых депутатов. Скомпрометировав себя во время мятежа 13 вандемьера, он тем не менее добивается избрания депутатом от Воклюза в Совет старейшин.

Так как депутатские обязанности удерживают его в столице, он поручает своему младшему брату, Симону Стилиту, бывшему конституционному епископу, отправиться в Прованс и на месте обсудить условия продажи замка Ла-Кост[31].

Предупрежденный о решении продать Ла-Кост, Гофриди тотчас сообщает де Саду о трудностях, которые могут возникнуть при заключении сделки: Ла-Кост опутан ипотечными долгами; одно только поручительство г-жи де Сад на все его владения составляет сумму в 199 000 ливров, иначе говоря, стоимость ее приданого, увеличившаяся за счет процентов, из которых за все шесть лет супруг ее не заплатил ни лиара[32]. Таким образом, договор о продаже должен непременно включить в себя обязательство о приобретении новой недвижимости на деньги, которые будут уплачены Ровером, дабы г-жа де Сад могла сделать новую запись об обременении ипотекой вновь приобретенной собственности. Для Донасьена это великое разочарование: он-то хотел получить деньги наличными.

Акт о продаже подписывается в Париже, 13 октября, после тщательного изучения его мэтром Делошем, и содержит весьма прискорбный пункт, озаглавленный «Обещание по использованию средств», предусматривающий, в частности, следующее:

> Настоящая статья обязывает гражданина Сада во имя обеспечения законных прав его супруги пустить вырученные в результате настоящей сделки деньги на приобретение недвижимости, приносящей доходы, и во всех расписках заявить об источнике денег, коими будет оплачена вновь приобретенная собственность <...>[33].

Маркиза является главным, но не единственным кредитором собственного мужа. Все долги Донасьена, некоторые из которых он унаследовал еще от своего отца, от дядюшки-аббата и даже от своего деда, являются предметами записи об обременении недвижимости ипотекой. Одна из наиболее старых записей сделана маркизой де Крийон, родственницей Гаспара де Сада, которому по ее завещанию отошел замок

Ла-Кост; также перед смертью маркиза завещала выплачивать постоянную ренту в 90 франков беднякам селения Ла-Кост[34]. Эта рента, выплата которой прекратилась уже в 1710 году, в 1796 году представляла собой небольшой капитал в 2250 франков, из которых 1800 франков составляют основной капитал, который теперь требует у Донасьена имеющийся в Ла-Косте приют для бедных. Когда Ровер обнаруживает существование этой ренты, тщательно скрываемой от него Садом, он без лишних разговоров соглашается платить ее (погоня за голосами на выборах обязывает!), но за счет продавца. Таким образом, из последнего платежа он удерживает капитал, необходимый для выплаты этой ренты, то есть 1800 франков. Маркиз в ярости:

> Из-за того, что сумасшедшая старуха, что никогда не была моей родственницей, а если и была, то очень дальней, в страхе перед дьяволом завещала деньги местному кюре, который не признает верховенства нации, я, не боясь ни дьявола, ни церкви, ни уж тем более кюре, не собираюсь исполнять ее волю![35]

Теперь уже злится Ровер; он пишет брату:

> Де Сад является самым гнусным мошенником, которые только были и есть во Франции <...>. Это самый низкий, самый мерзкий, самый отвратительный тип, какого я когда-либо знал <...>. Когда вы ему нужны, он будет вас обхаживать и прогибаться перед вами; он напоминает трусливого тигра, который делает грозный вид только тогда, когда видит перед собой более слабого противника <...>[36].

Согласно принятым им на себя обязательствам, Сад через некоторое время становится владельцем двух ферм в Босе, одна из которых называется Мальмезон; общая площадь ее земель равна 104 гектарам, там есть хозяйственные постройки, фермерский дом, участки, пахотные земли, лес и два пруда; ферма эта расположена в коммуне Эмансе, между Рамбуйе и Эперноном. Вторая ферма, называемая Гранвилье, расположена в департаменте Эр-и-Луара, на территории коммуны Виабон, возле Шартра, и состоит из усадьбы, окруженной пахотными землями, сдаваемой в аренду мызы, хлева, овчарни, трех сообщающихся прудов и т. п., и «все обнесено стенами». Оба владения, принадлежавшие прежде эмигрантам, обходятся ему в 73 тысячи и взяты в аренду за четыре тысячи. В актах о продаже, как и условлено, указан источник средств, на которые они приобретены, и ипотечные долги.

Тем не менее, несмотря на повторное целевое использование средств, г-жа де Сад выступает против продажи Ла-Коста и отказывается от снятия ипотечной опеки. Более того: она посылает Луи-Мари в Карпентра, дабы возобновить ипотеку. Маркиз тотчас обвиняет сына в том, что тот расстроил его сделку: «Гнусный негодяй, заслуживающий вечно гореть в аду!» Впервые за много лет нарушив молчание, г-жа де Сад сообщает Гофриди причину своего отказа: «Целью моей является сохранить как можно большее состояние для моих детей, поэтому я не хочу потерять ни крохи из того, что мне причитается», — объясняет она адвокату, обращаясь с просьбой сообщить ей о демаршах Донасьена. «Вы можете это сделать без всякого для Вас ущерба, — добавляет она, — ибо детям моим крайне важно сохранить Ваше расположение как человека

честного и как достойного доверия поверенного в делах их отца».

Некоторые назовут это попыткой подкупа. Но у Рене-Пелажи нет выбора. 190 тысяч ливров из ее приданого, сумма, увеличившаяся за счет процентов, должна быть возвращена ей по праву, и она не может ее лишиться, не затронув при этом интересов детей. В противоположность жене, маркиза никогда не заботило состояние его наследников; ему наплевать, что станет с его имуществом после его смерти: дочь его по-прежнему пришпилена к материнской юбке и в наследстве не нуждается; младший сын находится на Мальте и не поддерживает отношений с отцом. А старший, наделенный недюжинными художественными способностями, ведет кочевую жизнь и мечтает о дальних путешествиях: он промотает все, сколько ему ни оставь. Так зачем же тогда стеснять себя?

Зная непреклонность жены, упорно желающей сохранить за собой имеющиеся у нее закладные на Ла-Кост, Донасьен содрогается при одной только мысли, что Ровер расторгнет сделку, а Гофриди, который теперь служит у Ровера, предаст его.

Именно сейчас Вы сможете оказать мне услугу, важнее которой для меня нет, — пишет он ему. — Поступив на службу к Роверу, не старайтесь погубить меня и нанести мне ущерб, действуя в интересах своего нового клиента. Разумеется, и речи нет о том, чтобы заставить Ровера платить дважды; тем не менее нельзя допустить, чтобы он платил еще кому-либо, кроме меня, ибо я продал замок исключительно для того, чтобы расплатиться с кредиторами <...>. Если же по каким-либо причинам Ровер откажется от сделки, мне останется, как я вам уже и сообщал, только броситься в реку[37].

Впрочем, все могут быть спокойны: ни в какую реку он бросаться не собирается. Со всей очевидностью, по совету Гофриди, который вот уже некоторое время ведет двойную игру, г-жа де Сад в конце концов снимает свои возражения и переносит ипотеку на обе фермы в Босе, оцененные, впрочем, выше, чем Ла-Кост.

Сент-Уэн

Четырнадцатого октября 1796 года, а точнее, ровно через двадцать четыре часа после продажи Ла-Коста, Констанс Кене, заплатив 15 тысяч франков, становится собственницей дома № 3 в Сент-Уэне, на площади Свободы[38]. В этом нет ничего удивительного: на самом деле это де Сад вкладывает в покупку дома деньги, полученные на основании компромиссного соглашения, подписанного 9 сентября прошлого месяца, а чтобы не дать жене взять власть над новым приобретением, покупает дом на имя своей преданной подруги[39]. Отсюда и несогласие г-жи де Сад, которая, будучи держательницей ипотечных закладных, долгое время отказывалась избавить от ипотеки Ла-Кост.

Дом этот, точного местоположения которого нам узнать не удалось, составлял часть огромных сент-уэнских владений, принадлежавших принцу Субизу. Де Сад внес деньги в два приема: семь тысяч в момент подписания контракта, а через полгода, 14 апреля 1797 года, оставшую-

ся сумму[40]. 20 апреля де Сад и гражданка Кене обосновались в своем новом жилище вместе с сыном Констанс. Отныне маркиз станет получать письма именно на этот адрес.

Когда 16 мессидора Десятого года (5 июля 1802 года) Констанс станет продавать дом вместе с мебелью, нотариус Норман составит подробную опись всех находившихся в нем вещей. Автору удалось отыскать эту опись; благодаря ей мы впервые можем восстановить обстановку, среди которой Донасьен вместе со своей дорогой Сансибль провел последние три года жизни на свободе[41].

Войдя в ворота, расположенные между двумя флигелями, пересекаешь двор, обсаженный фруктовыми деревьями; большая часть двора засеяна газоном, в дальней части располагается птичий двор. На первом этаже находится столовая, оклеенная обоями; в ней расположены: камин в нише, в центре круглый стол орехового дерева на двенадцать приборов; шесть стульев с плетеными сиденьями; плетеное кресло; «служанка», также из орехового дерева, с ведерками из жести;[42] несколько шкафов, за одним из которых спрятана складная кровать для прислуги, которую при желании можно разложить, на окнах тяжелые занавески. Из столовой переходим в гостиную: голубые обои, мраморный камин, желтое канапэ, шесть стульев с плетеными сиденьями, канделябр с двумя рожками, каминные совок и щипцы, три вазы с цветами, два серебряных настенных подсвечника, по паре штор на каждом окне, два больших шкафа, консоль красного дерева с мраморной столешницей и четыре кресла одного цвета с софой. В кухне бросается в глаза большой «песчаный источник»[43], стоят кухонный стол, невысокий буфет, четыре стула, приспособление для вращения вертела «со всеми необходимыми принадлежностями, в хорошем состоянии», кухонная плита, обитая жестью, «яблочница»[44], два кофейника, две подставки для дров с совком и щипцами, два подсвечника, бочонок с солью и маленькая ступка. Еще на первом этаже есть ванная комната с двумя ваннами, два канделябра, две цветочные вазы, два стула.

На втором этаже находятся три комнаты. Стены в комнате Шарля Кене обиты крапчатым муаром, занавески в тон обивки стен, камин, обложенный дорогим мрамором, ночной столик орехового дерева с мраморной столешницей и под ним ночной горшок, столик для игр, кровать, двухрожковый канделябр, совок и щипцы, четыре стула. Констанс и Донасьен имеют собственные апартаменты, состоящие из прихожей, стены которой затянуты ситцем «с изображенными на нем колоннами»; тут же примостился угловой полированный столик с мраморной столешницей, на котором стоит статуя; шкаф, за который, как и на первом этаже, убирается кровать прислуги, четыре стула с изогнутыми спинками и плетеными сиденьями. Далее следует спальня Констанс, обтянутая голубой тканью, с тяжелыми занавесками на окнах, украшенными бахромой с шишечками. В спальне имеются полированный угловой столик с мраморной столешницей, камин, два стула с изогнутыми спинками и шкаф. Рядом со спальней Констанс — маленький будуар, затянутый полосатым ситцем, на окнах драпри с

бахромой и кисточками, канапэ, обтянутое ситцем, с мягким тюфяком; кресло с тростниковым сиденьем и два стула. Спальня Донасьена оклеена глянцевыми обоями «с орнаментом», в ней имеется камин с «раздвижным экраном», две цветочные вазы, кровать с двумя спинками, подушка в виде валика, четыре пуховых подушки, шесть стульев, полированный комод с мраморными накладками, маленький шкафчик, полированный секретер. К спальне примыкает туалетная комната, оклеенная обоями; из мебели в ней — большой двустворчатый шкаф, туалетный столик орехового дерева, зеркало, биде из орехового дерева и плетеное кресло. Наконец, деревянная обшивка стен рабочего кабинета маркиза является одновременно одним сплошным книжным шкафом: его Констанс сохранит и не станет продавать.

Сад довольно большой, ибо помимо конюшни и каретного сарая там имеется сторожка садовника и голубятня, не говоря уж о собачьей будке. Дополняют ансамбль погреб и сарай. Усадьба обнесена стеной, одна сторона которой выходит на площадь Свободы, а другая на Сену.

Разумеется, говорить о роскоши не приходится, однако в целом — впечатление вполне комфортабельного буржуазного жилища. Внутреннее убранство, наполовину городское, наполовину сельское: в те времена Сент-Уэн еще не был парижским пригородом.

Возвращение сеньора

Приобретя два новых поместья и дом, маркиз тем не менее испытывает нужду в самом необходимом. Вынужденный пустить деньги, полученные за Ла-Кост, на приобретение новой недвижимости, он не сумел сохранить из них ни единого су для себя, а приобретение дома в Сент-Уэне пробило в его финансах новую брешь. Каким образом можно извлечь наличность из оставшейся у него недвижимости? Все его владения обременены долгами, ему необходимо продать хотя бы одно из них без обязательства вложить полученные от продажи деньги в новую недвижимость; иначе говоря, проскользнуть между рогатками ипотеки. А это непросто.

Неожиданно его осеняет! Он нашел хитрый ход, с помощью которого можно продать недвижимость, не заключая договора о продаже. Но для этого необходимо получить три тысячи франков до 1 мая. Только друг Гофриди может выручить его. Нельзя терять ни секунды. Потом будет поздно. Три тысячи франков ему необходимы как воздух. Как только дело будет сделано, он оставит адвоката в покое, он готов поклясться, что больше не попросит у него ни сантима. Он также утверждает, что деньги эти он не собирается использовать для поездки на Юг, как о том упорно ходят слухи: «Нет, нет, тысячу раз нет, что бы там ни говорили досужие сплетники, я не собираюсь ехать в Прованс». Спустя две недели он неожиданно высаживается из кареты у дверей Гофриди; за ним, не отставая ни на шаг, следует г-жа Кене. Нотариус нисколько не удивлен: Ровер предупредил его о прибытии маркиза.

Маркиз не был в Провансе ровно девятнадцать лет – со дня драматических событий 26 августа 1778 года, завершившихся его арестом. Семья Гофриди вся в сборе; г-жа Гофриди и ее сестра г-жа Аршиас, Шарль и Франсуа, девицы Бенуат и Готон и даже старая бабка оказывают маркизу горячий прием. Нотариус падает в объятия давнего друга; конечно, они с трудом узнали друг друга, однако эмоции присутствуют, это несомненно.

Как только излияния оканчиваются, де Сад берет быка за рога. Для большего удобства – и во избежание пересудов – он оставляет Констанс у нотариуса, а сам в одиночестве уезжает в Соман. Соман – первый этап его путешествия, и там возникает первое препятствие, несущественное, но в мгновение ока ставшее причиной настоящего скандала. Сколь бы пустяковым ни было дело, в котором принимает участие Донасьен, оно тотчас начинает принимать поистине фантасмагорические масштабы. На этот раз речь идет о совершенно ничтожной сумме в 29 франков 14 су, которые один из его должников, согласно закону об эмигрантах, передал Ноэлю Перену, сборщику податей с национального имущества, чтобы тот внес их в общественную казну. Разгневанный маркиз шлет одно за другим, два негодующих письма несчастному Перену, обвиняя его в воровстве и требуя немедленно вернуть деньги. Иначе он напишет жалобу в Директорию. Однако чиновник не собирается позволять собой командовать и вызывает обвинителя в уголовный суд Авиньона, где истца объявляют «лжецом и клеветником» и напоминают ему, что «действия исполнителя обязанностей сборщика податей с национального имущества не должны подвергаться критике, а сам сборщик не должен сносить подобные обвинения»; гражданина Сада приговаривают к штрафу в полторы тысячи франков, которые ему следует внести в копилку пожертвований города Авиньона, дабы возместить издержки по напечатанию судебного решения и прочие расходы. Как мы видим, Республика не намерена шутить с теми, кто позволяет себе оскорблять чиновников нации при исполнении служебных обязанностей. Особенно когда оскорбителем является один из «бывших».

Вынесенный приговор де Сада нисколько не волнует (к чему только его не приговаривали!). Больше всего его занимает вопрос, где достать полторы тысячи франков, которые надо заплатить. Худшей ситуации не придумаешь даже нарочно. И Сад пытается уладить дело, написав и нотариально заверив документ, где он отказывается от своих слов, высказанных в адрес гражданина Перена, и признает, что гражданин Перен является «честным и порядочным человеком, всегда добросовестно исполнявшим свои обязанности». Вышеозначенный Перен готов согласиться забрать свою жалобу из суда, но при условии, что противник оплатит судебные издержки и пожертвует 24 франка на больницу в Карпантра. Де Сад соглашается. Однако полученный урок не идет ему впрок. Воспользовавшись обстоятельствами, он вновь громогласно заявляет, что никогда не был в эмиграции и что фамилия его вычеркнута из списков эмигрантов департамента Буш-дю-Рон, хотя все

еще присутствует в списке эмигрантов Воклюза. Отсюда — совершенно понятное презрение к нему сборщика податей, исполняющего свои обязанности[45]. Дело привлекает внимание властей, и спустя несколько месяцев они направляют нотариусу Кенкену из Мазана порицание, упрекая его за то, что тот не подверг секвестру недвижимость маркиза, расположенную в подведомственном ему селении. В самом деле, Мазан ведь расположен в Воклюзе, где Сад официально считается эмигрантом. Путаница всеобщая. Однако власти стремительно исправляют положение: все сводится к тому, что Сад теперь не вправе продать ни единого участка, расположенного на территории коммуны. Разумеется, такое решение является делом рук Перена, ставшего «движущей силой» этого процесса. Впрочем, не важно: в качестве «подарка» в честь приезда г-н де Сад мог рассчитывать и на большее.

Прибытие в Мазан бывшего маркиза и в самом деле вызывает волнения. Некий «мошенник» заставляет его заплатить выкуп в 25 луидоров, а вскоре после отъезда маркиза мошенник сей будет убит, и тело его найдут погребенным под кучей камней. Муниципальная полиция является к бывшему сеньору и поселяет у него своего агента, призванного надзирать за злостными неплательщиками налогов. Оппортунист в глазах одних, «террорист» в глазах других, нежеланный для всех, де Сад не может не заметить, что в Провансе, где еще ничто не улеглось, где сталкиваются тысячи противоположных веяний, присутствие его, прямо скажем, неуместно. Если он и ожидал, что его встретят как блудного сына, то жители быстро развеяли его надежды; прием их даже отдаленно не напоминал восторженный. Тем не менее он пользуется случаем, чтобы на место Кенкена, прозванного Вдовцом (родственника Кенкена предыдущего), утвердить Ру, племянника Гофриди, сделав его «своим полномочным поверенным». Этот Вдовец, ярый якобинец, делавший вид, что усердно управляет имуществом маркиза, постоянно проделывал за его спиной различные махинации. Вдобавок он навел своеобразный порядок в семейных архивах, тех, что удалось спасти после разграбления Ла-Коста: теперь их истребляли уже в Мазане.

А что же Ла-Кост? О нем Сад умалчивает. Если даже он и совершил туда паломничество, то никаких письменных свидетельств об этом не оставил. Скорее всего потому, что описание переживаний отнюдь не является его коньком и он боится не справиться с этой задачей. Не исключено, что он просто не стал навещать навсегда утраченные для него места, чтобы не бередить душу излишними воспоминаниями. Но вправе ли мы приписывать ему страх перед собственным прошлым? Неужели чувствительность этого человека выродилась до такой степени, что мы даже не можем представить себе, как он, совсем один, стоит перед обрывистым холмом, где высятся полуразрушенные стены, и, устремив взор к небу, размышляет о превратностях судьбы? Действительно, странное молчание.

Постепенно, по мере того как путешествие его продолжается, де Сад начинает сталкиваться со множеством трудностей, о которых он даже

не подозревал. Из Парижа положение казалось ему вполне ясным. Ему нужны деньги? Он требовал их во что бы то ни стало, и дело Гофриди было найти их. Кредиторы требуют вернуть долги, арендаторы не платят? Ерунда. Издалека препятствия казались ему легко преодолимыми, даже пустяковыми. Но вблизи реальность оказалась совсем иной: кредиторы перестали быть существами мифическими, а арендаторы больше не кажутся ему бесплотными тенями; все эти Риперы, Одиберы, Кенкены обрели свои лица, а счета больше не представляют собой цепочки написанных на бумаге цифр. Очутившись во враждебной среде, столкнувшись с проблемами, о которых прежде знал только понаслышке, он без поддержки противостоит одним, ведет переговоры с другими, идет на компромиссы с третьими, ввязывается в бесплодные дрязги и теряет время в бессмысленных трепыханиях.

Лотерея г-на де Сада

Наконец он решает ехать на ярмарку в Бокэр, главную цель своего путешествия, дабы там осуществить хитроумный замысел, сложившийся у него в Париже; ради его осуществления ему и потребовалось три тысячи франков. Мысль очень проста. Так как ему мешают продавать его земли, он сделает из них призы в лотерее. Никто никого не видел, никто никого не знает, все шито-крыто! Ферма Кабанн, расположенная в департаменте Буш-дю-Рон, под секвестр не попадает, значит, с нее он и начнет. Но ему совершенно необходима помощь Гофриди, и он умоляет адвоката сопровождать его; однако престарелый адвокат отказывается, ссылаясь на усталость. Тогда пусть его сопровождают хотя бы его сыновья, Шарль и Франсуа. Адвокат заставляет себя упрашивать, но потом уступает. Шарль едет вперед, чтобы уладить формальности, а 23 июля, на следующий день после официального открытия ярмарки, туда в сопровождении юного Франсуа прибывает г-н де Сад. Итак, все препятствия устранены. Он покинет ярмарку с карманами, полными золота, поправит свое положение, восполнит ущерб, нанесенный покупкой дома в Сент-Уэне. Результат: ни единого билета не продано. Разочарование его вполне соизмеримо с его иллюзиями.

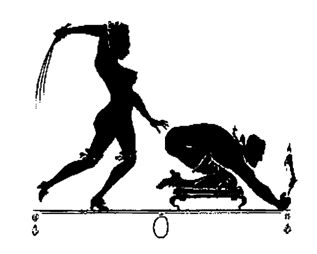
Тем не менее странно, что публика не прельстилась на столь крупный выигрыш! Не приложил ли к этому руку Гофриди? Нотариус, как известно, не намерен более потакать сумасбродным выходкам де Сада. Он полагает себя облеченным высокой миссией: вырвать маркиза из лап осаждающих его демонов и удержать на наклонной плоскости, по которой тот неумолимо скатывается в бездну. А главное, спасти семейное достояние, которое должно перейти к детям. Г-жа де Сад умеет воодушевить нотариуса, побудить его исполнить свой «долг», и Гофриди без малейших колебаний приносит в жертву интересы своего клиента. Ему ничего не стоит подсказать Шарлю, что нужно сделать, чтобы провалить лотерею в Бокэре. Через несколько месяцев он с такой же легкостью воспрепятствует продаже Кабанна.

Однако на сей раз Сад все предусмотрел: сделка совершится в полнейшей тайне, Рене-Пелажи о ней ничего не узнает. Впрочем, она никогда не поручала землемерам определить подлинные размеры владения, и дети ее не знали истинной его стоимости; что же касается остальных кредиторов, то от них вполне можно обезопасить себя заранее. Достаточно изменить на договоре дату, а затем раздобыть подставное лицо, якобы кредитора, который остановит сделку, положит в карман деньги, а затем тайно вернет их де Саду. В Париже для такой роли вполне подходила г-жа Кене. В Провансе эту роль вполне мог бы сыграть Гофриди. Но нотариус отказался. Под прямым влиянием г-жи де Сад, продолжающей издалека дергать за ниточки, он разоблачает маневр де Сада и потрясает дюжиной ипотечных закладных: да, есть от чего шарахнуться даже самому отчаянному покупателю! Ему даже удается, заплатив компенсацию, вернуть несколько полей, приобретенных у маркиза фермером Ломбаром. За этот подвиг он удостаивается похвалы маркизы:

Надеюсь, что сумею выразить Вам свою признательность за то, что Вы расторгли сделку, наносящую ущерб де Саду и его детям. Особенно удивляет меня упорство, с которым человек сей, скупивший чуть ли не половину недвижимости в Арле, не желал отказываться от этого приобретения, хотя на деле Вы оказали ему огромную услугу, ибо ему пришлось бы платить условленную цену дважды, так как я совершенно не собираюсь ни давать согласие на снятие ипотеки, ни отказываться от своей доли в имуществе де Сада. Невероятно, как де Сад все еще находит покупателей. Можете быть уверены, я нисколько Вас не скомпрометирую, а Ваша преданность интересам моих детей всегда вызывает во мне чувство признательности, а также уважения и почтения, с коими я и остаюсь, и проч[46].

Поистине, этот вельможа-либертен и примостившийся рядом с ним его осмотрительный стряпчий составляют очаровательную парочку, можно сказать, вполне архетипическую! Вельможа тянет на роль Дон-Жуана, в то время как стряпчий вполне мог бы исполнить роль Сганареля!

К концу путешествия де Саду сообщают, что группа молодых людей захватила замок Мазан и требует его разрушения. Решительно, ему пора уезжать. В минуту расставания Донасьен и Гофриди обнимаются со слезами на глазах. Несомненно, оба сознают, что видятся в последний раз: Донасьен больше никогда не приедет в Прованс.



Глава XXV
НЕСЧАСТЬЯ Г-НА ДЕ САДА

В сущности, Донасьен рад возвращению. Планы его пошли прахом, и вдобавок он остро ощутил откровенную враждебность к себе со стороны жителей края. Решительно, за истекшее время его добрые крестьяне здорово изменились; теперь они видят в нем классового врага, и не более того. Стоило ли разыгрывать санкюлота в Париже, чтобы увидеть, как на земле твоих предков к тебе относятся как к тирану? К тому же он начал тосковать по Сансибль, которая все время, пока он совершал свои переезды, жила в доме у Гофриди; теперь он предвкушает радость встречи с «преданной подругой, чья жизнь ему дороже его собственной».

Однако по дороге в Париж в карете между маркизом и Сансибль разыгрывается отвратительная сцена. По крайней мере, так отзывается о ней некий Бонфуа, бывший землемер из Коломба, одолживший им деньги для этого путешествия и ехавший в той же самой карете. Рассказ Бонфуа противоречит многочисленным свидетельствам о необычайно нежных отношениях, установившихся между маркизом и Констанс Кене, но тем не менее мы полагаем необходимым привести его:

> Разумеется, дорога не прибавляет хорошего настроения, однако я никогда не думал, что она настолько может вывести из себя. Они сказали мне в один голос, что ни за что на свете не станут жить вместе, и все, что я узнал после своего приезда, подтверждает, что я не ослышался. Полагаю, завтра я увижу их в последний раз. Действительно, для де Сада было бы лучше расстаться с ней, равно как и ей расстаться с ним. Это самая отвратительная женщина, которую я когда-либо знал; она коварна, как змея, однако меня это не удивляет. Когда большую часть жизни ты провела в театре, будь то в Париже или в провинции, привыкаешь играть комедию в любых обстоятельствах. Полагаю, что, расставшись с ней, де Сад уже не будет прежним. Боюсь, он недосчитается многих своих вещей; она хитра, и у нее есть знакомые молодчики, блюдущие ее интересы. К тому же у нее, что в Париже, что в провинции, одинаково дурная репутация[1]..

Преданный Роверу душой и телом, профессиональный клеветник, впоследствии предполагаемый автор анонимных писем, направленных против Сада, словом, законченный подлец и вдобавок во всем подражающий своему патрону, вышеуказанный Бонфуа преследует определенную цель: любой ценой, даже ценой самой гнусной лжи, дискреди-

тировать маркиза и его подругу в глазах Гофриди. Отсюда это источающее яд письмо, адресованное нотариусу. В противоположность тому, что он утверждает, возвращение прошло без сучка и задоринки. Среди неизданных бумаг маркиза мы нашли письмо, где он рассказывает Гофриди о своей поездке, и оно полностью противоречит предшествующему рассказу:

Прекрасная погода, прекрасная дорога, великолепное настроение Сансибль; никаких тревог, никаких треволнений со стороны сей милой женщины, лишь изредка хмурящей брови, дабы произнести: «О, как мне жаль покидать Прованс! Какого почтенного, милого, нежного друга теряю я в лице г-на Гофриди. Неужели я больше никогда не увижу его очаровательную семью?» А после она начинает строить планы, как через два года мы вновь приедем к Вам. Словом, как Вы сами видите, путешествие прошло как нельзя лучше <...>[2].

В самом деле, никогда еще письма Донасьена не дышали такой любовью и нежностью к Констанс, как в эти трудные для него минуты. Он не устает повторять, что она — его единственное утешение. Разумеется, как и в любой семье, у них случаются ссоры, однако ни о каких скандалах и речи нет. Узы, связующие их, день ото дня становятся все крепче, так что говорить о разрыве нет оснований.

Что же касается желчного землемера и кредитора, то поведение его вполне согласуется с его речами:

Бонфуа ведет себя по отношению к нам совершенно по-свински. Он расстался с нами у заставы, при въезде в Париж, и с тех пор не удостоил нас своим появлением. Но увидите, по истечении срока кредитного письма, наступающего 15 нивоза, он проходу мне не даст. Умоляю, сделайте все, чтобы к тому времени у меня были деньги[3].

Сразу же после приезда Сад направляет благодарность семье Гофриди за их заботу о Констанс. В свою очередь, г-жа Кене прониклась такой любовью к маленькому семейству, что даже пообещала найти мужа дочери Гофриди, мадемуазель Бенуат. Донасьен также переполнен добрыми чувствами. Если верить ему, они только и думают что о своем «дорогом адвокате»:

Мы с Сансибль следуем за Вами повсюду, входим вместе с Вами в кабинет, спускаемся в гостиную, выходим погулять в поле и всякий раз говорим себе, сколь это прекрасно — мысленно переноситься в те края, где у тебя есть друзья. Как радостно представлять, что делают они в этот час, какое наслаждение мысленно следовать за ними повсюду.

Обнимаем вас обоих от всего сердца, а также всю вашу милую и почтенную семью. Вчера мне очень хотелось, чтобы Вы присутствовали у нас на обеде. Спрятавшись в уголке, Вы наверняка бы оценили, с каким пылом, с какой страстью она расхваливала мадемуазель Бенуат тому человеку, который обедал у нас вчера: на ее взгляд, он очень ей подходит <...>[4].

Стиль маркиза просто не узнать; быть может, обольстительная Констанс диктовала ему эти нежные строки? Вполне возможно, ибо влияние этой дамы ощущается во всей его переписке. Даже просьбы прислать денег теперь облачаются в ласковые увещевания (заблуждаться не следует: эволюция эта временная, проклятия вскоре возьмут

верх). Госпожа Кене завоевала сердце адвоката, и Донасьен беззастенчиво использует ее, чтобы разжалобить Гофриди:

Долго ли нам еще по Вашей милости есть салат, приправляя его гвоздичным маслом? А Сансибль, беджняжка Сансибль, которая столь Вас любит, сколь долго еще ужин ее будет состоять всего лишь из стакана подслащенной воды? Бедняжка Сансибль, вернувшись вчера из полицейского участка, куда ей, несмотря на ужаснейшую погоду, пришлось идти пешком, сказала: «Я ходила туда, так как по этому делу хлопочет и выступает г-н Гофриди; я это сделала вовсе не ради Вас...» Ну, что Вы на это ответите? Как долго еще Вы будете оставлять без юбки и без ужина это нежнейшее, добрейшее существо, которое так Вас любит?[5]

И через несколько дней:

Прочел Ваше письмо: Вы правы, лучше писать, как пишут друг другу друзья, не выплескивая на бумагу свой гнев, как мы это делали прежде. Забудьте все мои заблуждения и не лишайте меня ни Ваших забот, ни Вашей дружбы. Я никогда не забуду, что Вы обещали мне в ту жестокую минуту, которая разлучила нас, а обещания надо исполнять <...>[6].

Новые угрозы

Государственный переворот 18 фрюктидора Пятого года (4 сентября 1797 года) сметает с политической арены правые партии и заменяет их новой Директорией. Через несколько дней шестьдесят пять новых подозрительных приговорены к высылке в Гвиану: бывший директор Бартелеми, Пишегрю, около сорока депутатов Совета Пятисот и тринадцать депутатов Совета старейшин, среди которых и Жозеф Ровер, которому суждено умереть через несколько месяцев в тамошнем тяжелом климате, так и не увидев свой новый замок Ла-Кост.

Францию захлестывает новая волна якобинства. Уже на следующий день, 19 фрюктидора, Директория проводит через советы целую серию законов, направленных против эмигрантов, против роялистской прессы, против священников; последним, в частности, вменяется в обязанность всячески внушать своей пастве ненависть к королевскому правлению. Г-н де Сад вновь оказывается под угрозой. На его имущество, пока еще пребывающее в его распоряжении, вновь могут наложить секвестр, а ему самому грозят кары согласно статьям XV и XVI закона об эмигрантах, гласящих, что каждый внесенный в эмигрантские списки и не вычеркнутый оттуда окончательно обязан покинуть территорию Республики; в противном случае ему грозит арест и военный трибунал. Со дня на день маркиз может вновь оказаться вне закона.

Плохие вести настигают его в пути, по дороге в Париж.

Все, — пишет он, — шло прекрасно до самого Косна, маленького городка в Бурбоннэ. До Парижа оставалось всего два дня пути на почтовых; остановившись в гостинице, Сансибль, по-прежнему преисполненная печальных предчувствий, спросила у хозяйки, что слышно в Париже. «Все замечательно, сударыня, просто замечательно, — ответила эта мегера. — Наконец-то мы избавились от дворян, их всех выслали за границу, и теперь они не имеют права приближаться к ней ближе, чем на пятьдесят лье. А еще конфисковали их имущество!» — «Прекрасная новость, сударыня», — ответила Сансибль, едва не упав в обморок. — «Еще бы, сударыня,

давайте-ка поторопитесь, мы устроим прекрасный ужин, ведь не каждый день издают такие превосходные декреты, и нам хотелось бы отпраздновать это событие». Как только мы остались вдвоем... впрочем, оставляю Вам вообразить себе чувства, охватившие бесценную душу моей дорогой подруги <...>[7].

Сразу же по возвращении в Сент-Уэн Донасьен направляет министру полиции гражданину Дудро обстоятельный рассказ о недоразумении, вследствие которого имя его фигурирует в списках эмигрантов Воклюза, и предъявляет в канцелярию министерства досье, содержащее пятьсот письменных подтверждений его непрерывного проживания в Париже: выписки из тюремных списков, повестки и протоколы заседания секции Пик, виды на жительство и справки, свидетельствующие, что он не покидал департамента города Парижа, не был в эмиграции и т. п.[8] Однако труды его напрасны: через несколько дней Дудро снимают с поста. И Сад решает обратиться в более высокие инстанции.

Ошибочный расчет

После государственного переворота новой сильной личностью в государстве, бесспорно, становится виконт де Баррас. Выходец из старинной провансальской семьи, этот бывший депутат Конвента в свое время голосовал за казнь короля. Быстро разбогатевший благодаря умению давать взятки, он снискал неприязнь Робеспьера и принял сторону противников Террора. Однако по-настоящему его политическая карьера началась только после 9 термидора. 13 вандемьера Третьего года (5 октября 1795 года) он при поддержке своего друга Бонапарта подавил восстание роялистов и вскоре стал одним из пяти директоров, которые на основании положения статей Конституции Третьего года сосредоточили в своих руках исполнительную власть. После этого он начинает вести образ жизни восточного сатрапа, окруженный доступными женщинами и выскочками, никто из которых благонравием отнюдь не отличается. «Король Баррас», как часто его называют, ведет шикарную жизнь в замке Гробуа, обставленном с поистине королевской роскошью, и выступает в роли расточительного и великодушного владыки. На следующий день после 18 фрюктидора он оказывается во главе триумвирата, куда помимо него входят Ребель и Ларевельер-Лепо.

И такого человека Донасьен хочет заинтересовать своей участью! Но ведь человек этот одного с ним происхождения, оба аристократы, оба из Прованса и вдобавок имеют много общего: если верить тому, что говорят о Баррасе, то, как и Сад, он отнюдь не отличался благонравным поведением и проделал сходную политическую карьеру, только на ином уровне. Поэтому вполне резонно, если кто-нибудь из друзей представит на рассмотрение великого человека записку, составленную в пользу несправедливо причисленного к эмигрантам земляка. Разумеется, человеком этим станет Сансибль, ибо она является его «полномочным поверенным». Внезапно Донасьена охватывает страх. Баррас, ко-

торого он считает уроженцем Авиньона, в то время как тот родился в Варе, разумеется, в курсе его прежних похождений: в свое время в крае их обсуждали все. Захочет ли он выступить в его защиту?

И снова тревоги, снова отчаяние, и все потому, что я столь заметен. Что известно обо мне Баррасу, этому уроженцу Авиньона? Он наверняка меня знает, но с какой стороны? Не зная, какое впечатление произвели на него ходившие обо мне слухи, я не могу предсказать заранее, как он поступит по отношению ко мне. Впрочем, кем бы он ни был, я имею все необходимые доказательства своей невиновности, а также свидетельства о моей исключительной революционной благонадежности, а потому могу ходить с гордо поднятой головой. <...> Конечно, мои прежние похождения... но ведь мы с ним земляки!.. Тем более что во времена Робеспьера я все время находился на виду, и с прошлым было покончено. Надо полагать, теперь он вряд ли захочет его ворошить[9].

Чтобы знать о похождениях нашего героя и создать о нем свое мнение, Баррасу вовсе не нужно быть уроженцем Авиньона, и опасения Сада имеют под собой все основания. В своих «Воспоминаниях» директор посвящает нашему просителю почти целые две страницы, ярко свидетельствующие о том, что худшего выбора покровителя Сад сделать просто не мог:

Если и были вещи, которые оправдывали существование государственных тюрем, таких, как Бастилия, то я полагаю, что не слишком отступлю от принципов законности, если скажу, что маркиз де Сад полностью заслужил заточение. <...> Разумеется, здесь не место рассказывать историю этого субъекта, столь экстраординарного, что его вполне можно считать выродком рода человеческого. Системе, кою он не побоялся установить в своих сочинениях, действительно отличающихся определенным талантом, предшествовала установившаяся в различных странах отвратительная практика, вызывавшая всеобщий ужас, хотя закон ни разу никого не преследовал за нее. <...> Согласно этой системе, чувственные удовольствия должны заключаться не во взаимности приятных чувств, а, напротив, строиться на самых ужасных страданиях избранного объекта, мучениях, причиняемых ему исключительно ради удовлетворения страсти. Насилия и жестокости, коим подвергаются лица в его сочинениях, ему было мало, они казались ему невыразительными, и он стал утверждать, что для утоления страстей необходимы кровопролитие и зверские убийства. Он хотел, чтобы наслаждение и горячечное похотливое исступление не ограничивались муками жертв, он требовал смерти этих жертв <...>. Г-ну де Саду мало было распространить свою порочную и извращенную систему на мир чувственный, и он подчинил ей последнее утешение нашей жизни и уничтожил все ограничения, налагаемые законами нравственности. А чтобы привлечь прозелитов, заманить их на преступный путь и утвердить там, он, используя всеобщую тягу к романам, всю притягательность краноречия и логических умозаключений, попытался убедить нас в том, что все несчастья мира уготованы тем, кого мы называем добродетельными, а венец счастья принадлежит людям порочным, и так повелось со времен Адама и будет всегда <...>[10].

Но виконт Баррас, распутник и безнравственный политикан, явно не мог причислить себя к тем, кто был вправе читать нотации маркизу де Саду. А это еще одно основание, чтобы отказать маркизу в поддержке: защищая подмоченную репутацию других, вряд ли улучшишь собственную.

Баррас довольствовался тем, что наложил на просьбу маркиза обычную резолюцию: «Срочно доложить». Затем из полиции поступила

бумага, где говорилось, что различное написание имен, имеющееся в справках просителя, является серьезным препятствием для того, чтобы его вычеркнули из соответствующих списков. Без подлинного документа, удостоверяющего его истинные имена и прозвища и подтверждающего, что именно его администрация департамента Буш-дю-Рон 26 мая 1793 года постановила вычеркнуть из эмигрантских списков, министр не вправе представить Директории доклад, на основании которого она могла бы удовлетворить просьбу ходатая.

В самом деле, труднее всего добиться, чтобы тебя вычеркнули из списка эмигрантов, даже в том случае, если проситель предоставляет неоспоримые доказательства, что он никогда не покидал родной почвы: государству необычайно выгодно сохранять секвестр. Случай Сада далеко не единственный: сотни граждан неправедным образом числятся эмигрантами, и среди них несчастный Монж, занесенный в список департамента Кот-д'Ор в то самое время, когда он в Париже исполнял обязанности министра по делам морского флота!

Последняя карта

Не имея возможности ни продать землю, ни отслеживать поступления платежей, ни прибегнуть к хитрости, так как Гофриди упорно отказывается принимать участие в его махинациях (положение самого нотариуса как бывшего участника роялистского заговора крайне уязвимо), схваченный за горло, парализованный, Сад вспоминает о Рене-Пелажи. В сущности, почему бы ему не продать ей всю недвижимость без права получения с нее доходов? Этот замечательный шаг решил бы все его проблемы, освободил бы его от управления собственным имуществом и обеспечил регулярное поступление ренты. Он направляет свое предложение Боньеру, адвокату, бывшему депутату и управляющему делами его жены. Нисколько не собираясь выступать в роли просителя, он соблазняет выгодами, которые его клиентка извлечет из этой операции, и даже допускает явные дерзости, как, например, хвалебные слова в адрес Констанс:

> Гражданка Кене, у которой я проживаю, имеет кое-какие документы, дающие ей право на меня и принадлежащее мне имущество. Когда во времена Робеспьера на мою собственность был наложен секвестр, она в течение года оплачивала все расходы по дому. Одиночество, в кое ввергла меня собственная супруга де Сад сразу после моего выхода из Бастилии, вынудило меня соединить жизнь с той, кто взяла на себя заботы обо мне, ибо семья моя лишила меня оных[11].

Однако Рене-Пелажи слишком хорошо знает его и не позволяет себя одурачить; она догадывается, что Донасьен в нужде, и уверена, что он пытается разыграть свою последнюю карту.

Она дает себе сорок восемь часов на размышление, а затем сообщает свой ответ Боньеру. Ответ этот – «нет». Она опасается, что «не сможет извлечь ни из доходов с его земель, ни из наследства ее покойного отца, г-на де Монтрея, достаточных средств к существованию». Тогда Донасьен обращается к ней напрямую, без посредников. На этот раз

он более не притворяется. Сделка, которую он ей предлагает, является для него буквально вопросом жизни и смерти, и он этого не скрывает. Просительный тон его письма, недавно обнаруженного в семейном архиве, как всегда, отличается напыщенностью:

Сударыня, де Боньер сообщил мне, что Вы отказываетесь от той единственной сделки, коя может помочь мне выбраться из ужасно затруднительного положения, в котором я оказался; отказ Ваш обусловлен тремя причинами, я дословно выписал из его письма, поместив под каждой свой ответ:

Сложно раздобыть деньги в звонкой монете.

О сударыня, я же не прошу Вас платить в звонкой монете.

Крайне скромная доходность Ваших земель.

Я прошу у Вас только свою долю. При чем здесь Ваши скромные доходы?

Наконец, опасения, что Вы не в состоянии в точности исполнить обязательства, которые Вам придется взять на себя вместе со мной.

Но, сударыня, Вы не берете на себя никаких обязательств; Вы заплатите мне, когда получите деньги. Если Ваши платежи будут запаздывать, значит, будут запаздывать и мои.

Таким образом, соображения, высказанные Вами Боньеру, не имеют под собой никаких прочных оснований, и я заклинаю Вас, сударыня, прийти к соглашению, кое нисколько Вас не побеспокоит, а отказ с Вашей стороны поистине поставит меня на грань нищеты и ввергнет в отчаяние.

Все можно свести к следующему.

Я передам Вам или своему сыну все принадлежащие мне владения в Провансе, без права пользования ими по своему усмотрению всего лишь на двух условиях: Вы или он предоставите мне на протяжении всей моей жизни возможность пользоваться доходами с них, и Вы или он даете мне разрешение располагать приобретенным мною национальным имуществом, дабы вознаградить тех, кто станет заботиться обо мне в последние годы моей жизни.

К душе Вашей, к чувствам Вашим я взываю. Неужели мне суждено получить отказ?

Сад[12]

Рене-Пелажи хотелось бы уйти от подобного начала диалога, намеренно переведенного Донасьеном в сферу чувств. Этот язык она больше не понимает, отказывается понимать и поэтому поручает составить ответ Боньеру, который обрушивает на несчастного водопад цифр, откуда следует, что на настоящий момент его клиентка имеет долговых обязательств на сумму в 367 000 ливров: эта сумма включает в себя сам капитал и проценты, куда входят и долги ее свекра, и возмещение ее приданого, и содержание, определенное ей мужем. Иначе говоря, капитал, который де Сад задолжал, значительно превосходит его активы. Тем не менее он «может ни минуты не сомневаться в том, что, вступив с ним в переговоры, мадам де Сад более желает составить его благоденствие, нежели соблюсти собственную выгоду», а посему она, в свою очередь, делает ему предложение, имеющее целью своей ни больше ни меньше, как общипать его вовсе: он действительно мог бы передать ей свои земли в *полную* собственность и пользование, оставив за собой право пользоваться чистым доходом, тем, что остается после вычетов процентов по закладным, выплаты налогов на недвижимость и т. п.

На этом переговоры прекратились.

Порнографический монумент

Ежедневно обеспечивать пропитание себе и Сансибль: отныне это становится главной заботой де Сада. Лишившись основных источников дохода, он вынужден зарабатывать на жизнь, каждый месяц сводить концы с концами, короче, работать. Маркиз не имеет ничего против работы: в этом вопросе он нисколько не разделяет предрассудков своего сословия. Как мы видели, он и раньше пытался устроиться на работу, однако безуспешно. К тому же он умеет только писать, и ничего больше. И он пишет без остановки.

Несмотря на всевозможные неприятности, обрушившиеся на него сразу после выхода из Пикпюса, он ни на день не оставляет своих занятий. Он пишет сразу начисто, то есть почти без помарок; листы, заполненные убористым почерком, складываются в стопки, из них образуются тома, объем которых постоянно увеличивается, пока наконец и тома тоже не начинают складываться друг на друга. Зачем ему останавливаться? Он чувствует, что будет писать до последнего дня, до последнего вздоха. Наконец, в один из дней, гонимый нуждой, он относит все свои рукописи на улицу Гельвеция и отдает их издателю Массе, который, радостно потирая руки, забирает все, что принес господин маркиз. Радость издателя вполне понятна.

Десять томов описаний самого безудержного разврата, иллюстрированных сотней непристойных гравюр! Самое объемное порнографическое издание, которое когда-либо видело свет! И называется это все «Новая Жюстина, или Злоключения добродетели», с приложением «Истории Жюльетты, ее сестры»; книга выходит в течение 1797 года, точный месяц издания установить не удалось.

Монумент сей (во всех смыслах этого слова) является также (или в основном?) финансовым проектом книготорговца. Он востребован временем: с приходом к власти Директории в моду вошли сиюминутные наслаждения, безудержные, разрушительные. Ни один из периодов истории Франции, кроме, быть может, эпохи Регентства, не знал подобной распущенности нравов, возрождаемой Директорией с еще большей жестокостью и цинизмом. Кажется, никогда еще женщины не были столь доступны. Пример подает высший свет: в нем правит бал не только чрезвычайно серьезная г-жа Кондорсе или верная г-жа Рекамье, но и множество женщин, недавно ставших свободными благодаря разводу, которые живут, потакая исключительно собственным капризам, и переходят из рук в руки, меняя правителей на денежных воротил, а денежных воротил на законодателей. На всех ступенях общественной лестницы процветает проституция, ставшая привычным явлением повседневной жизни.

Никто так ярко и точно не описал процесс слияния политики, порока и денег, как Талейран, рассказывая про парижскую жизнь в письме к одному из своих американских друзей:

На смену тюрьмам и революционным комитетам пришли балы, спектакли, фейерверки <...>. Придворные дамы исчезли, место их тут же заняли жены нуво-

ришей, следом за которыми, как это было и прежде, потянулись шлюхи, соперничающие с ними в роскоши и вычурности нарядов. Вокруг этих коварных сирен жужжит целый рой легкомысленных созданий, называвшихся прежде петиметрами, а теперь именующихся «инкруаяблями»; субъекты эти во время танцев говорят о политике, вздыхают о королевской власти, поедают мороженое и зевают, глядя на огни фейерверков[13].

Десятого сентября 1796 года Малле дю Пан, воссоздавая картины парижской жизни, высказался еще более нелицеприятно:

Картина Парижа вызывает все больший и больший ужас: это тридцать Содомов, вместе взятых; все пороки идут в нем рука об руку с преступлениями, все друг друга ненавидят и стараются обокрасть: нет больше ни друзей, ни родных, ни родственных уз, ни чувства долга; пятьдесят тысяч оборванцев и побирушек, которым еще пять лет назад подавали милостыню, обогатились благодаря Революции и теперь являются верхушкой общества, в то время как остальным гражданам едва хватает денег на заплесневелый хлеб. Легкомыслие и беспечность идут рука об руку с развращенными нравами, царящими в обществе; все думают только о развлечениях, и ни у кого нет ни гроша за душой. Капитал поделен между безумцами и мошенниками[14].

Париж – а в Париже Пале-Рояль – стал местом, где роскошь бесстыдно выставляется напоказ. Причины всеобщего упадка нравов? Нехватка полицейских... и прискорбное влияние маркиза де Сада! Во всяком случае, именно так утверждает гражданин Пикнар, комиссар на службе у исполнительной власти, в своем докладе Мерлену из Дуэ, председателю исполнительной Директории:

Гражданин председатель,

Париж наслаждается благодетельным покоем, однако невозможно избавиться от мысли, что покой этот дорого обходится Республике, ибо царит он только благодаря полиции нравов. Невозможно даже представить себе, сколь велики испорченность и развращенность общества. <...> Дворец, официально именуемый Эгалите*, хотя все называют его по-прежнему Пале-Рояль, вот уже две недели как стал местом встречи всех тех, кто поведением своим подает пример самой дерзкой и возмутительной распущенности. Его избрали для свиданий педерасты, и около десяти часов вечера они под сенью цирковых навесов, на глазах у всех начинают творить свои отвратительные грязные мерзости. Полагаю, гражданин председатель, нет необходимости скрывать от Вас, что недавно в главное управление полиции были доставлены несколько зараженных венерическими заболеваниями малолетних детей мужского пола, старшему из которых едва исполнилось шесть лет. Эти маленькие несчастные создания, рассказы коих невозможно слушать без содрогания, были приведены в Пале-Рояль собственными матерями, дабы там их использовали в качестве инструментов для самого гнусного и омерзительного разврата. Уроки мерзопакостного романа «Жюстина» осуществляются на практике с поистине беспримерной дерзостью, и сторожа практически бессильны в стремлении своем призвать к порядку этот зловонный сброд <...>.

Проституция среди женщин процветает как никогда. Даже старейшие сотрудники полиции никогда не видели такого количества публичных женщин <...>[15].

Лучшего момента для издания «Новой Жюстины» и «Жюльетты» и быть не может. И, естественно, в арках Пале-Рояля книги эти станут

* Egalité (*фр.*) – равенство.

расходиться лучше всего. Как и в 1791 году, после выхода «Жюстины», писатель яростно открещивается от своего авторства, хотя никто не собирается привлекать его к ответственности. Аресты тиражей начнутся только спустя год после появления в продаже означенных сочинений.

Мы не нашли в тогдашней прессе никаких критических отзывов, за исключением единственного упоминания или, скорее, разоблачения, сделанного пером сатирическим – и ядовитым – некоего Кольне дю Равеля, книготорговца, автора, журналиста, памфлетиста... и полицейского осведомителя:

Если вы прочли «Жюстину, или Злоключения добродетели», то, без сомнения, полагаете, что самая извращенная душа и самое разнузданное воображение уже не могут изобрести ничего, что настолько оскорбляло бы разум, стыдливость и человечность. Но вы ошибаетесь. Сей шедевр развращенности превзойден тем же автором, выпустившим в свет «Новую Жюстину», еще более отвратительную, чем первая.

Я знаю этого гнусного автора, однако имя его не осквернит моего пера. Я также знаю книготорговца, взявшегося продавать сие омерзительное сочинение: пусть же и он краснеет и разделит тот позор, который окружает негодяя, при упоминании одного только имени которого сразу вспоминаешь о всем том ненавистном, что влечет за собой преступление:

Quo non mortalia pectora cogis
*Auri sacra fames!**

Я ставлю в один ряд непристойные сочинения, подобные тому, кое я только что разоблачил и вынес на суд публики, и сочинения, направленные против правительства, ибо если мужество создает республики, то добрые нравы сохраняют их. Разрушение добрых нравов влечет за собой падение империй[16].

Ложные слухи о смерти предполагаемого автора...

В номере от 11 вантоза Шестого года (1 марта 1798 года) газета «Серкль» публикует объявление о смерти литератора по имени Жан-Мари Жером Флерио, именуемого также маркизом де Лангль, автора сочинения под названием «Путешествие Фигаро по Испании» (1785), вызвавшего в свое время настоящий скандал. Сатира на иберийских соседей была столь едкой, что едва не привела к дипломатическому скандалу. На следующий год, в качестве искупления, один экземпляр этого сочинения, признанного нечестивым, богохульным, наносящим ущерб нравственности и религии, был прилюдно сожжен палачом. Такое аутодафе вполне отвечало тайным желаниям Лангля, написавшего в предисловии: «Мое сочинение, без сомнения, будет сожжено дотла: тем лучше! Тем лучше! Тысячу раз тем лучше! Такие вещи приносят счастье. Да здравствуют сочинения, которые сжигают! Публика любит сожженные сочинения».

Введенный скорее всего в заблуждение подобным адским панегириком, ответственный за некролог редактор «Серкль» без колебаний

* Проклятая страсть к богатству, / Куда только ты не заводишь души смертных! (*лат.*)

приписал покойному роман «Жюстина»[17]. Спустя два месяца друзья писателя опубликовали в «Журналь де Пари» двойное опровержение:

В № 9 газеты «Серкль» мы только что прочли две статьи, посвященные гражданину Ланглю. В одной из них сообщается о его смерти, в другой памяти его наносится весьма существенное оскорбление[18]. Гражданин де Ланглъ жив и здоров, а сочинение, ему приписанное, а именно непристойная книга под названием «Жюстина, или Злоключения добродетели» ему не принадлежит. Всем известно, что автором ее является некий де Сад, для которого Революция 14 июля распахнула двери его камеры в Бастилии. <...> Если бы автор статьи просмотрел хотя бы несколько страниц «Путешествия по Испании», если бы дал себе труд сравнить мораль сей книги с принципами и максимами, изложенными в «Жюстине», то наверняка сказал бы, что произведения эти, без сомнения, принадлежат двум разным авторам[19].

Спустя три дня в той же самой газете появляется новое опровержение, на этот раз со стороны де Сада, написанное в крайне возмущенном тоне:

Редакторам газеты

Граждане, в статье, напечатанной в вашем листке от 26 жерминаля, меня называют автором некоего сочинения, нанеся мне тем самым личное оскорбление, а посему я полагаю возможным использовать страницы той же газеты <...>, дабы просить вас опубликовать сообщение, что статья та лжива, лжива насквозь, и я вовсе не являюсь автором книги, именуемой «Жюстина, или Злоключения добродетели». Так как в последнее время клевета с удовольствием мечет в меня свои отравленные стрелы, возводя мерзкие обвинения, то я предупреждаю, что, переполнившись презрением, кое до сих пор питал к пустым слухам, распространяемым дураками и глупцами, я отныне стану собирать эти слухи, дабы использовать их как оружие нападения по всем направлениям, по коим правосудию дозволительно действовать против клеветы, и воспользуюсь сим оружием против первого же, кто посчитает возможным еще раз назвать меня автором сей ужасной книги.

Сад[20]

Распродажа

Auri sacra fames!* Но не жажда золота заставляет нашего маркиза бегать повсюду, а, увы, всего лишь вечная проблема добывания хлеба насущного. «Новой Жюстины» даже в сопровождении сестры ее «Жюльетты», похоже, недостаточно, чтобы прокормить их автора. Оплатив наиболее неотложные долги, он вновь оказывается с пустым кошельком. Никогда не страдая от нехватки идей, Донасьен разрабатывает хитроумный план обращения в деньги своих театральных пьес, по-прежнему пылящихся у него в картонках. Да, разумеется, Париж либо отвергал их, либо принимал дурно. Но ведь есть еще провинция! Он никогда не пытался поставить их в провинции! Разумеется, их гораздо лучше примут в Нанте или в Безансоне, нежели в Париже, тамошняя публика гораздо менее избалована. Там люди нечасто ходят в театры... И конечно, побегут смотреть новинку.

Он тут же берется за перо и составляет циркулярное письмо к директорам десяти провинциальных театров, где предлагает двенадцать

* Проклятая жажда золота! (*лат.*)

«новых» пьес, часть которых, по его словам, «были особо отмечены администрацией первых парижских театров, а автор их удостоился долговременной привилегии бесплатного посещения представлений этих театров». Подобные заверения не приносят успеха ни на грош, но тем хуже для них! После «captatio benevolentiae»*, где неуклюже превозносятся «великие и великолепные города Франции, славные своими богатством и роскошью, а также изысканным вкусом и удивительным умом своих граждан», он наконец приступает к сути дела. Все двенадцать пьес, насчитывающих в общей сложности тридцать пять актов, он предлагает объединить в один пакет и продать на следующих условиях: во-первых, он получает сто экю на дорогу в тот город, который купит его пьесы; во-вторых, ему будут выплачивать по пятьсот франков за представление (из расчета два спектакля в месяц), и еще сто экю он получит по возвращении в Париж. За эту цену он берется поставить все мизансцены, провести репетиции, словом, «сделать все, что поможет успеху сочинений сих на сцене». Затем следует маленькая, но весьма завлекательная рекламка каждой пьесы: «картины свежие и сладострастные, однако вполне приличные» — «превосходная главная роль и очаровательные второстепенные роли» — «комедия волнующая и поистине театральная» — «превосходный спектакль, прекрасная музыка» — «величайшая трагедия» — «превосходный вкус, утонченные шутки» — «драма, исполненная истинного трагизма и возвышенных чувств. Женщины падают в обморок при одном лишь прочтении» и т. п.

Итак, «гражданин-директор» станет полным и полномочным (за исключением права издания) обладателем двенадцати шедевров «за скромную цену в 6600 ливров, что в целом составит не более 550 франков за каждую»[21]. Для «фестиваля Сада» вполне неплохо!

Однако никто не отважился устроить этот фестиваль.

«Проклятая жестокая супруга!»

Весной 1798 года положение маркиза продолжает ухудшаться. С октября 1796 года он никак не может заплатить 6000 франков за приобретенные им земли в Гранвилье и Мальмезоне. Чтобы помешать делопроизводителям своих продавцов, гражданам Реску и Пэра, приступить к процедуре наложения ареста на имущество, он быстро делает ипотечную запись на имя Констанс Кене. Оба делопроизводителя, подобно хищным птицам, начинают биться за право получения доходов с этих ферм, и в начале мая 1798 года добиваются своего, лишив, таким образом, де Сада последнего источника дохода. Маркиз пребывает под действием интердикта, запрещающего ему проживание во Франции, земли, ему принадлежащие, отягощены многократной ипотекой, доходы его секвестрированы, на земли в Босе наложен арест и их нельзя пустить в продажу, мебель отдана в заклад, Констанс, распродавшая все свои платья, более не в состоянии делать долги; словом, он

* Снискания расположения (*лат.*).

оказывается на краю пропасти, и вдобавок ему грозит потеря одного глаза.

Пишу Вам в полном отчаянии. Не удовлетворившись захватом доходов, приносимых мне владением в Босе, недавно описали мою мебель, а мне самому пришлось несколько дней скрываться. Смотрите сами, нужны ли мне в таком положении Ваши заботы.

Роковое путешествие! <...> Изменники дети! Проклятая жестокая супруга! Состояние мое, равно как и отчаяние, неизмеримо больше отчаяния тех несчастных, что мучаются в аду.

Я Вас обнимаю.

Денег, во имя Господа, денег!

В довершение всех своих несчастий вчера я перестал видеть одним глазом; я с трудом различаю, что пишу Вам[22].

У него остается еще ферма Кабанн, единственная недвижимость, на которую не наложен секвестр и которую он может выгодно сдать в аренду. Он умоляет Гофриди приехать на ферму и именно там заключить сделку. Но жена адвоката упорно отказывается отпустить мужа в дорогу. Маркиз напрасно стенает, грозит, мечет громы и молнии, взывает даже к религиозным чувствам друга, которых, видимо, «у несчастного совсем не осталось»: управляющий остается на месте. Действительно, этому отцу семейства есть что терять: ему шестьдесят пять лет, и он едва не угодил в тюрьму, в частности, в тюрьму города Арля, где по-прежнему помнят о его контрреволюционном прошлом. Сад же, совершенно очевидно, нисколько не боится скомпрометировать старого друга и даже послать его на смерть, лишь бы тот вытащил его из затруднительного положения. Более того: он обвиняет Гофриди в нарушении священных законов дружбы:

Проще всего на свете, – дерзает он написать ему, – переметнуться на сторону противника. Прошли те благословенные века, когда дружба, не подверженная никаким превратностям судьбы, торжествовала, побуждая друзей бескорыстно оказывать друг другу услуги. Успехи эгоизма затмили рыцарство; оно было признано абсурдным, и теперь каждый живет только для себя. Все прекрасно; более того, я бы сказал: все вполне естественно. Пусть Бог сохранит для меня мою единственную подругу, которая думает так же! Это единственная милость, которую я прошу у неба, и я каждодневно ощущаю, что оно дарует мне ее. Это мое единственное утешение[23].

«Несколько морковок и бобы...»

Между тем Сансибль добивается частной аудиенции у министра полиции Лекартье и уговаривает Барраса выступить в защиту ее друга. Закон от 19 фрюктидора обязывает каждого, чье имя занесено в эмигрантский список, немедленно покинуть Францию; в противном случае эмигранту грозит тюрьма. С помощью врачей Гастальди и Девити Донасьен раздобывает справки, согласно которым состояние его здоровья таково, что любые перемещения ему противопоказаны. Эскулапы пишут, что у него случилось «внезапное высыпание, сопровождающееся болезненными подкожными кровоизлияниями, возникшими по

причине многочисленных повреждений», а Гастальди добавляет, что «его тяжкие недуги» требуют особого режима, при котором «любые поездки ему противопоказаны»[24]. Через некоторое время благодаря хлопотам Констанс он получает разрешение на проживание под «наблюдением» комиссара из муниципальной администрации кантона Клиши, чиновника по имени Казад, который выдает ему вид на жительство и свидетельство о благонадежности. Эта мера позволяет не оказаться на положении живущего вне закона.

Однако проблема вычеркивания из эмигрантского списка остается. Вооружившись беспримерным терпением, Сансибль бегает из одной канцелярии в другую и со справками в руках доказывает, что Донасьен Альфонс Франсуа де Сад и Луи Сад — одно и то же лицо. Хлопоты изматывающие и бесплодные. Со своей стороны Сад посылает одну бумагу за другой, где упорно настаивает на своей непричастности к эмиграции. Напрасный труд. На этот раз в департаменте Буш-дю-Рон ему отказывают в нотариально заверенном акте, с просьбой о котором к ним обращается сам министр, под тем предлогом, что в декрете о вычеркивании из списков от 26 мая 1793 года был указан гражданин *Луи* Сад, а данное имя, не фигурирующее в свидетельстве о рождении искомого гражданина, тем не менее соседствует рядом с именами *Альдонс Донасьен* в списках эмигрантов. Результат: департамент не может выдать документ, удостоверяющий его личность. И хотя коммуна Ла-Коста официально подтверждает, что речь идет об одном и том же гражданине, документ этот силы не имеет, так как Ла-Кост находится в Воклюзе. Короче говоря, дело зашло в тупик.

* * *

Десятого сентября 1798 года совместные ресурсы Сада и г-жи Кене подошли к концу, им приходится покинуть Сент-Уэн и, в ожиданнии лучших дней, расстаться друг с другом. Констанс отправится жить к друзьям в Париж, а Донасьен удалится в Бос, к одному из своих арендаторов. Ненадолго, ибо его «рьяный кредитор» Пэра (зловещая угроза!) рвется наложить лапу на доходы с его ферм. Арендатор, не будучи должником землевладельца, тут же заявляет, что не может поселить его у себя. Тогда Сад перебирается в Версаль, один из наиболее дешевых городов близ Парижа, где без труда находит кредит и устраивается по адресу: улица Сатори, № 32, дом Буржа, «в глубине амбара», вместе с Шарлем Кене, которому уже исполнилось четырнадцать лет, и служанкой.

> Меню наше состоит из моркови и бобов, а согреваемся мы (не каждый день, а только когда появляется возможность) несколькими охапками хвороста, которые берем в кредит. Нищета наша столь ужасна, что Констанс, приходящая навестить нас, приносит нам в кармане еду, взятую у друзей[25].

Через некоторое время Сад перебирается на пансион к ресторатору Брюнелю, проживающему в доме № 100 по этой же улице. К нача-

лу зимы он все еще живет там, не имея «ни дров, ни свечей, ни еды, вынужденный ютиться в каморке у милосердного трактирщика, который из милости уделяет [ему] в день тарелку супа». Чтобы избавиться от кредиторов, а также не решаясь назваться собственным именем (прекрасно известным в Версале, где он когда-то жил, причем на той же самой улице Сатори, где умер и похоронен его отец), он называет себя «гражданином Шарлем».

Весь доход его составляет сорок су в день, которые он зарабатывает суфлером в городском театре; на эти деньги он должен еще кормить и воспитывать сына своей доброй Констанс, что, по его словам,

> <...> лишь самое малое, что он может сделать для нее, дабы вознаградить за все труды, заботы и расходы, выпавшие на долю несчастной матери, которая в непогоду, пешком, бегала по инстанциям, пытаясь утихомирить кредиторов и добиться вычеркивания его из списка эмигрантов. Воистину, — добавляет он, — женщина эта — настоящий ангел, посланный мне небом, дабы я выстоял во всех тех бедствиях, куда ввергли меня мои враги[26].

Дракон и «сранькюлот»

Нищета его такова, что он, отбросив самолюбие, делает новую попытку разжалобить жену. Через Боньера он не без труда устраивает свидание Рене-Пелажи с г-жой Кене. Констанс как никто иной сможет разжалобить г-жу де Сад, описать ей нищету, в которую он впал. Однако об этом узнает Луи-Мари; он бросается к посреднику, которого с налета «обвиняет во всех тяжких», а затем мчится к матери и уговаривает ее отказаться от свидания.

О последствиях нетрудно догадаться. Донасьен мечет громы и молнии: сын хочет его смерти, это «чудовище», «дракон», «самый большой эгоист и самый большой мошенник, который когда-либо существовал». Да, а что сей недостойный отцеубийца делает в Провансе? Разумеется, интригует, плетет заговоры. А Гофриди принимает его у себя в доме!

Вскоре из Прованса приходит добрая весть. Благодаря заботам гражданина Буржа, доверенного лица де Сада, 16 плювиоза Седьмого года (4 февраля 1799 года) администрация департамента Воклюз приняла постановления о снятии секвестра с его владений и о «возмещении доходов, кои во время секвестра получали сборщики податей с национального имущества». Но при этом его обязывали

> <...> не отчуждать никакими способами свое недвижимое имущество и не требовать возмещения доходов, поступавших с этого имущества, до тех пор, пока имя его не будет окончательно вычеркнуто из эмигрантских списков, а также по день настоящий, то есть день издания указа, оплатить расходы по охране и управлению недвижимостью и внести залог за движимое имущество[27].

Это решение, сколь бы положительным оно ни было, по-прежнему не дает ему наличных денег — кредиторы уже намереваются наложить арест на его владения в Конта, — однако это первый шаг к окончательному вычеркиванию его из проклятых списков. Впрочем, депутаты Воклюза относятся к нему весьма благосклонно, равно как и часть

депутатов из Буш-дю-Рон, его поддерживает друг Гупийо, а Баррас сделал необходимую приписку на полях его прошения; короче говоря, осталось дождаться только нотариально заверенного акта, который администрация Буш-дю-Рон по-прежнему отказывается выдать[28].

Все может уладить только Гофриди. А для этого ему надо бросить все дела и немедленно мчаться в Экс. Пока этот чертов секвестр наложен на его земли в Буш-дю-Рон, ему придется влачить свои дни в нищете. Нотариус же, как обычно, медлит. Сад вопит в голос, обвиняет его в «непростительной и жестокой апатии», грозит броситься в объятия своего сына Луи-Мари и отдать ему все земли в обмен на регулярную пенсию. Тогда адвокату придется иметь дело с его сыном. Тут-то он узнает, почем фунт лиха. «Все зависит только от Вас, от Вас, и ни от кого более!..»

Ответа нет. Через три месяца поступает новое воззвание, составленное в еще более грозных выражениях. Чего он ждет, этот «санькюлот», как собирается исправлять свою «преступную» небрежность? И где деньги? Злодей, трус, лицемер, лентяй, эгоист: поток брани обрушивается на несчастного нотариуса. А в конце следует ультиматум: если через месяц он не получит денег, то он сам, лично, явится к нему с двумя пистолетами: по одному на каждого!

Гофриди ждет, когда гроза минует, — ждет молча. Тогда Донасьен, пребывая на грани нервного срыва, решает, что ему терять нечего, а дружба потеряна уже давно, отправляет Гофриди самое ужасное письмо, которое когда-либо ему писал. Адвокат прочитывает его со слезами ярости на глазах. На этот раз маркиз перешел все границы. Никогда еще он не осмеливался заходить столь далеко:

> Пришлите мне средства к существованию, или же Вам придется упрекать себя за те несчастья, кои непременно вскоре случатся. И вина за эти несчастья падет на Вас. Верховное Существо справедливо, оно обрушит на Вас те же несчастья, в кои Вы повергли меня; я уповаю на это и каждодневно молю об этом Господа. Ваш сын Франсуа мошенник; он смеется над моими бедами. <...> Я прекрасно знаю, что негодяи и предатели выкрадут у Вас мое письмо. О, сколь презренны, сколь отвратительны эти мошенники, достойные исключительно мести общества, эти мерзавцы, способные задавить мои жалобы! <...> Вы лишь усугубляете мои несчастья, а сами храните спокойствие и безмятежность. Так пусть же небо в своей справедливой мести заставит Вас страдать так же, как страдаю я... и оно это сделает... и я узнаю об этом и скажу: «Я отомщен!» <...> Вы настоящий палач[29].

Впервые престарелый нотариус по-настоящему разозлился. Он давно привык к проклятиям, обрушивающимся на его голову; но когда речь заходит о детях... Нет, решительно, это слишком. И в сущности, раз ему представляется прекрасная возможность порвать с маркизом, возможность, о которой он мечтает уже много лет, никогда не осмеливаясь даже заикнуться об этом, почему бы не использовать ее сейчас? И он пишет некий сумбур на восемь страниц, в конце которого сообщает о своей отставке; и отсылает письмо.

Донасьен мгновенно понимает, что зашел слишком далеко, и просит г-жу Кене уладить дело. Добросердечная Констанс умоляет адвоката отказаться от своего решения: «Простите человека, пребывающего

на грани отчаяния: за два года жесточайшей нужды он исчерпал все свои источники существования», — пишет она ему. Ведь, в конце концов, он раскаивается в своих заблуждениях; письмо его действительно было «излишне строгим», и он это признает, однако он писал его головой, а не сердцем.

Неужели Вы считаете, что он действительно полагает найти нового друга, с которым его связывала бы сорокалетняя дружба? Это невозможно; если Вы перестанете считать его своим другом, то повергнете в отчаяние. Поэтому от своего имени заклинаю Вас, дорогой мой гражданин, не порывайте с бедным де Садом; он слишком несчастен и не перенесет этого[30].

Гофриди позволяет себя разжалобить и соглашается взять дела в свои руки. Во всяком случае, отныне ими станут заниматься его сыновья, Шарль и Франсуа, ибо сам он, можно сказать, наполовину ушел в отставку. Донасьен получает его прощение «со слезами радости». «Начните вновь любить меня и писать мне, умоляю Вас, — пишет он своему *дорогому и старинному* другу, — и примите мои самые живейшие извинения за нанесенные Вам оскорбления, а также заверения в моей самой искренней дружбе»[31]. В первый — и в последний — раз в своей жизни маркиз приносит извинения. Впрочем, это всего лишь временное улучшение погоды: ссоры вскоре возобновятся, и поводом для них будет все и ничто. С возрастом и с наступлением нищеты маркиз становится еще более желчным; во всяком случае, успокаиваться он явно не собирается.

«Я не умер»

Открыв «Ами де луа» от 29 августа 1799 года, Донасьен с удивлением читает следующую статью:

Уверяют, что де Сад умер. Одно лишь имя этого отвратительного писателя исторгает трупное зловоние, убивающее добродетель и внушающее ужас: он автор «Жюстины, или Злоключений добродетели». Самая порочная душа, самый испорченный ум, самое причудливое и непристойное воображение не могут изобрести ничего подобного, что столь оскорбляло бы разум, стыдливость и человечность <...>[32].

Автор этого надгробного слова, Франсуа-Мартен Пултье, именуемый также Пултье д'Эльмот, бывший бенедиктинский монах, подвизающийся на поприще журналистики, в 1796 году основал ежедневную газету «Ами де луа». По его собственному признанию, он не гнушался никакой клеветой, лишь бы продать свой листок.

Уже на следующий день Сад разослал в ряд газет краткое опровержение:

Не знаю, гражданин, отчего Пултье было угодно убить меня, равно как и назвать меня автором «Жюстины». Полагаю, лишь укоренившаяся привычка к уничтожению и клевете могла побудить его напечатать столь чудовищную ложь. Прошу опубликовать в Вашей газете это опровержение, доказывающее и мое существование, и мое официальное отречение от постыдного сочинения «Жюстина». Я Вас приветствую.

Сад[33]

Примерно через месяц, или же немного позже, тот же самый Пультье (или кто-то в том же роде) вновь, слово в слово, перепечатал заметку из «Ами де луа»; следом за ней появился на редкость злобный памфлет, опубликованный в журнале под названием «Трибюналь д'Аппо-лон», издании глупом и злобном, один только подзаголовок которого заслуживает полной публикации: «Пасквиль оскорбительный, пристрастный и клеветнический. Выпущенный Обществом литературных пигмеев». На пяти страницах на Сада обрушивается буквально поток ненависти. «Пигмей», которому поручено исполнить эту грязную работу, доходит в своей низости до того, что предлагает выдать автора «Жюстины» властям:

Уверяют, что де Сад умер, – пишет он, – однако сторонники его живы. Говорят, в Париже организовано общество развратников того же пошиба, что и он, члены которого на практике осуществляют ужасные предписания, содержащиеся в его книге. Соглядатаи, столь необходимые и полезные полиции, вот за кем вам надо следить! Вы уверены, что сочинение это не продается? Ошибаетесь. Уничтожьте сочинения де Сада, и пусть постыдный приговор увенчает память о нем: он заслуживает колеса.

В той же самой статье приводится выдержка из «Тайных записок» Башомона, датируемых 1783 годом, где рассказывается о Марсельском деле[34]. Простое напоминание об этой истории, которую Сад всеми возможными способами старается затушевать, чтобы все наконец позабыли о ней, грозит ему новым наложением секвестра, снять который уже не представится возможности. Нападки слишком серьезные, чтобы оставить их без ответа. Поэтому в том же «Ами де луа» он публикует язвительный ответ своему желчному зоилу:

Нет, я не умер и готов, вооружившись крепкой палкой, запечатлеть на твоих клейменых плечах каторжника бесспорное доказательство того, что я еще жив. И я это непременно сделаю, не побоявшись заразиться от твоего зловонного трупа. <...> Я не являюсь автором «Жюстины», это ложь. Кому-нибудь иному, не такому глупцу, как ты, я, быть может, даже привел бы доказательства правоты своих слов, но все, что исторгает твой смрадный зев, столь глупо, что оправдываться перед такими типами, как ты, еще позорнее, нежели выслушивать твои обвинения.

Разумное существо, облаянное хамом вроде тебя, плюет на тебя и идет дальше. Так тявкай же, реви, вопи, разбрызгивай свой яд: в бессилии своем ты напоминаешь жабу, что не видит дальше собственного носа; ты изрыгаешь нечистоты, кои падают на тебя самого; и весь твой яд, которым ты хотел отравить других, выплескивается на тебя самого[35].

Возвращение «Жанны Лене»

Пока полемисты в запале обмениваются отнюдь не комплиментарными репликами, происходит событие, косвенно связанное с упоминанием в печати имени де Сада. 30 августа 1799 года министр полиции, предупрежденный, что в театре под названием «Непритязательный театр» намереваются дать драму в пяти актах в прозе, под названием «Жюстина, или Злоключения добродетели», просит директора театра, актера и драматурга Огюстена Прево[36], прислать ему рукопись пьесы.

Исполняя приказ, он в качестве приложения отсылает также подробный разбор пьесы, из которого следует, что она вполне благонравна: «Ни разу еще, вплоть до сегодняшнего дня, на театральных подмостках не появлялось пьесы, где бы добродетель и нравственность были представлены во всей своей чистоте». Пьеса, о которой идет речь, подчеркивает он, не имеет ничего общего с романом того же наименования, законным образом запрещенного, хотя «все уже знают его наизусть». Но, напуганный пресловутым названием, которое все еще продолжает мусолить пресса, министр тем не менее приказывает снять пьесу из репертуара: она запрещена к постановке. Так как рукописи не сохранилось, мы не можем определить, чьему перу — Сада или Прево — она принадлежала. Прево пишет о ней как о *своей* пьесе, однако это вовсе не означает, что именно он является ее автором: он вполне мог приобрести на нее права. Во всяком случае, о простой переработке романа не может быть и речи: ни действие, ни персонажи не напоминают роман де Сада (более того, сценическую версию романа представить себе довольно сложно). Под завлекательным названием скрывается, скорее всего, ничем не примечательная мелодрама, в которой добродетельная сиротка, жертва «коварного друга» и алчного дядюшки, в конце концов с помощью благородного поверенного выходит замуж за любящего ее молодого человека. Для оживления действия устраивается ложное похищение и ряд недоразумений. Одним словом, ничего оскорбительного для общественной нравственности. Более того, ничего — и в этом надо признаться! — что напоминало бы гений де Сада. Есть основания полагать, что имя героини обладало достаточной притягательной силой, чтобы зритель валом валил в театр — что в целом подтверждает скандальный успех истинной «Жюстины»[37].

* * *

Сад так никогда и не сумел полностью оправиться от своих неудач на поприще драматургии, казавшихся ему полнейшей несправедливостью, и время от времени предпринимал попытки изменить положение дел. К примеру, 1 октября 1799 года он просит Гупийо де Монтегю использовать свое политическое влияние и «приказать кому следует во Французском театре», чтобы распорядились начать репетиции «Жанны Лене», пьесы, играть которую следует «немедленно». К этому времени он успел довольно близко познакомиться с представителем народа по имени Гупийо, тем самым, кого он не раз принимал у себя в Сент-Уэне и который, как мы помним, оказал ему немало мелких услуг. Похоже, время для постановки некогда отвергнутой театром Комеди Франсэз трагедии выбрано удачно. В последние месяцы своего правления агонизирующая Директория всеми средствами старается оживить республиканский дух, используя для этого, в частности, драматические произведения и пытаясь превратить театр в школу патриотизма. В одно из последних полицейских донесений сообщается об успехах, достигнутых в этом направлении: «Здоровая нравственность и хороший вкус,

похоже, вновь вернулись на сцены наших театров. Почти все новые постановки могут похвастаться и первой, и вторым». В циркулярном письме, адресованном театральным антрепренерам, предлагается принимать к постановке «сочинения драматические, более всего способствующие возбуждению ненависти к королям и приверженности республиканским идеалам»[38].

В предшествующем году Сад попытался извлечь из забвения свою пьесу, опубликовав в «Журналь де Пари» небольшую статью, где с гордостью заявлял, что первый обнаружил, что героиня осады Бовэ никогда не носила прозвища Секира, как утверждают все, а звалась просто *Жанна Лене*, дочь Матье. В качестве доказательства он приводил жалованные грамоты Людовика XI, с которыми, по его словам, ознакомился в Бовэ, где «тщательно их переписал»[39]. Заметка осталась без ответа (для прессы были интересны только нападки на маркиза). Тогда он решился написать своему другу Гупийо. Делая вид, что склоняется перед предписаниями Директории, он представлял свою пьесу как сочинение

> <...> наиболее способное воспламенить в сердцах любовь к отчизне; а, как Вы сами признаете, именно театр более, чем что-либо, призван вновь разжигать почти угаснувший огонь любви к своей стране, кою питать обязан каждый француз. <...> Таким образом, сочинение мое становится истинной школой чистейшего и бескорыстнейшего патриотизма. Любой, будь то республиканец или роялист, увидит в ней именно эту идею, и любой скажет: патриотизм всегда был главной добродетелью французов; так не будем же противоречить собственному характеру[40].

Без сомнения, Гупийо предпринял несколько вялых шагов, но безрезультатно. Спустя месяц автор «Жанны Лене» вернулся к этому вопросу:

> Сад имеет честь заверить гражданина Гупийо в своем к нему уважении. <...> Он ждет дня, когда будет назначена читка «Осады Бовэ». Читку должен проводить сам автор. Сад будет весьма признателен, если гражданин Гупийо соберет сегодня вечером у себя несколько человек, способных, подобно гражданину народному представителю, вынести свое суждение о пьесе. Если пьеса понравится, надо, чтобы правительство властью, ему данной, предписало сыграть ее как патриотическую пьесу. Иначе проволочки будут бесконечны, и удачный для ее постановки момент будет упущен <...>[41].

На дне бездны

В то время как пресса развязывает настоящую кампанию травли, а Гупийо заставляет себя упрашивать, Донасьен продолжает умирать с голоду в Версале; Шарль Гофриди упорно не присылает ему ни единого су. Конечно, кое-какие деньги у него есть, однако они нужны, чтобы платить налоги, потому что земли, на которые наложен секвестр, не приносят ровным счетом ничего. В качестве извинения юный ветреник посылает ему столь же сумбурное послание, как и его отец, и, перед тем как подписать его, ставит нежное «Ваш дорогой сын». «Мне кажется, я не имел чести спать с Вашей матушкой, дорогой Шарль», — сухо отвечает маркиз.

Когда театр в Версале закрывает перед ним свои двери, Донасьен лишается последних средств к существованию. Ему удается перехватить несколько су, «составляя прошения для всех желающих», однако на жизнь этого не хватает. Констанс, которая «уже продала последнюю рубашку» и теперь работает в Париже, неожиданно заболевает. Нужда заставляет его совершать «низости», сообщает он Гофриди.

<...> да, самые настоящие низости. Хотите, приведу пример? <...> Вы содрогнетесь <...> Узнав о них, Вы наверняка придете в отчаяние, ибо они вызваны исключительно Вашей медлительностью! <...> Так вот, друг мой <...> мой дорогой адвокат <...> я вынужден был вынести мебель и продать ее вместе со всеми остальными вещами, принадлежавшими моему сыну, потому что мне надо было купить хлеба! <...> *Я обокрал моего мальчика!*[42]

Иных упоминаний об этой краже не имеется (мы даже не знаем, идет ли речь о его старшем сыне или же о младшем, Армане, а также когда и где кража эта была совершена...), и есть все основания задаться вопросом, не является ли эта история очередной уловкой, призванной разжалобить адвоката и заставить его поторопиться. Скоро зима, и Сад рискует остаться без крыши над головой, так как он вот уже больше года не платит за жилье. Чтобы не «умереть на улице», он ищет пристанища в ночлежке, и в первых числах декабря 1799 года его помещают в приют вместе с больными, нищими и бездомными; отныне он живет там за счет общественной благотворительности[43].

Будучи уже в приюте, он узнает, что постановлением от 19 фримера (10 декабря 1799 года) администрация департамента Буш-дю-Рон в конце концов сняла секвестр с его имущества. Теперь нельзя терять ни секунды. Он снова принимается тормошить юного Гофриди. Тот без промедления едет в Арль, однако возвращается оттуда ни с чем. Прежний и нынешний откупщик должны им 6600 ливров, но они не дали ни су. Впрочем, ему так и не удалось их увидеть: он умирал от холода и спешил поскорее вернуться.

Бедный маленький аббат Шарль! — иронически замечает маркиз. — Сразу видно, что солдат из него никудышный! Еще бы, коли он не выходит на улицу при плохой погоде! А обо мне Вы подумали? Разве мои жалобы не весомее Ваших? Я остался без крыши над головой, домом моим стал приют, а пищею служит похлебка для бедных! Поистине, мне Ваши доводы смешны!

Однако среди череды черных дней ему выпадает маленькая радость. Тринадцатого декабря он получает возможность увидеть на сцене свою драму «Окстьерн», переименованную им в «Окстьерн, или Несчастья распутства»: намек на его собственную судьбу? Если говорить точно, речь идет не о возобновлении постановки, а всего лишь о единственном спектакле, который намеревается дать труппа «Драматического товарищества» Версаля; на его долю выпадает сыграть роль трактирщика Фабриса.

Славы этот спектакль ему не приносит. «Драматическое товарищество» Версаля, основанное в Четвертом году, в течение года снимало помещение маленького дворцового театра, того самого, который по велению Людовика XIV был сооружен между двориком Принцев и Юж-

ным цветником, непосредственно под залом Ста Швейцарцев. Актеры, все сплошь любители, под руководством некоего Дамарена, играли ради удовольствия собственного и своих друзей. Выручку, за вычетом накладных расходов, сдавали в благотворительную контору на нужды неимущих коммуны. Без сомнения, представление «Окстьерна» было дано в пользу автора пьесы. Акт милосердия, возможно, приправленный некой толикой почтительности: словом, особенно гордиться нечем. И тем не менее г-н де Сад забьет в фанфары: «Неслыханный успех»![44]

* * *

Тысяча восьмисотый год: Революция окончена, начинается новый век, а с ним приходят и новые надежды. 18 брюмера становится концом Директории и рождением Консульства. В этот день Наполеон Бонапарт отпраздновал свое бракосочетание с нацией: отныне судьба Франции воплощена в человеке, которого Шатобриан впоследствии назовет «роковым чудом». Вместе с Итальянской армией Стендаль открывает для себя Милан; семнадцатилетний Бетховен завершает свою первую симфонию. Кювье публикует свои первые «Лекции по сравнительной анатомии»; в Туре делает свои первые шаги пухлый младенец по имени Оноре де Бальзак.

Старик, проживающий в версальском приюте, встречает XIX век с полнейшим безразличием. И век воздаст ему презрением. Правда, следует сказать, что и республиканское летоисчисление также не желает признавать новый век: согласно официальному календарю мы по-прежнему пребываем в Восьмом году Республики! В период «значков» эта смена столетий наверняка заворожила бы нашего маркиза, и он, без сомнения, извлек бы из нее всякого рода предсказания. В те времена он был поистине поэтом цифр, их жрецом-гаруспиком;* он заставлял их разговаривать, приписывал им особый, тайный язык, известный только ему одному. Теперь те же самые цифры приобрели горький вкус ипотечных закладных и неоплаченных векселей. И если тогда они казались ему посланцами свободы, то теперь — несут с собой картины разорения и упадка.

Не имея достойной одежды, нуждаясь буквально во всем, больной, с трудом поднимающийся с постели, г-н де Сад умирает от голода и холода. А тем временем «эта мокрая курица» Шарль Гофриди кормит его обещаниями.

Фразы лживые, лицемерные, витиеватые, противоречивые и т. п. Господин аббат простудился, его конь оступился, он боится, как бы матушка не нашлепала его по возвращении, а друзья не отругали бы. «А деньги? Злой и бездарный человек, где деньги, деньги где?» — «Ах, они у откупщика!» — «Исчадье ада, разве ты не мог взять их у него? Поехать оттуда в Марсель, передать их банкиру, дабы тот со всей возможной скоростью перевел их на мое имя?» — «О нет! Было слишком холодно, отец мой об этом писал». И как только молния не поразит предателей и злодеев, злоупотребляющих доверием и нищетой других! Гофриди-сын, Гофриди-отец! Последний раз говорю вам: я в отчаянии![45]

---

* Гаруспики — жрецы в древнем Риме, предсказывавшие будущее по внутренностям жертвенных животных (гаруспициям).

«Обнимите меня, дорогой адвокат!»

Разумеется, он намеренно выставляет все в черном свете: как мы уже знаем, мелодрама ему отнюдь не чужда. И тем не менее состояние его финансов (а тем более здоровья), похоже, действительно оставляет желать много лучшего. И как следствие — характер его делается все более желчным, требования становятся поистине тираническими, а отношения с Гофриди все больше обостряются. Последняя ссора оставила глубокий след в душе нотариуса и обоих его сыновей. Несмотря на полученное прощение, шрам так и не зарубцевался и в любую минуту может начать кровоточить. А насколько нам известно, подобные вещи за маркизом не задерживаются: он всегда готов на провокации. Драма разыгрывается 20 февраля 1800 года

В этот день комиссар Казад, которому поручено «надзирать» за маркизом и который проникся симпатией к своему подопечному, прибыл сообщить ему , что в доме в Сент-Уэне разместили двух чиновников, чьей обязанностью является взимание не уплаченных вовремя налогов. В этот же самый момент является судебный исполнитель с постановлением об аресте на основании жалобы трактирщика, с которым проживавший у него маркиз так и не сумел рассчитаться. К счастью, Казад успевает сам получить это постановление и добиться отсрочки его исполнения на неделю. Бедной Констанс, присутствовавшей при этой сцене, становится плохо, и она возвращается к себе спустя два часа, «в ужасной лихорадке, которая удерживает ее в постели, в то время как я не могу раздобыть ей не только необходимых лекарств, но даже горячего бульону». Так Донасьен жалуется Шарлотте Аршиас, родственнице Гофриди, «душе благочестивой и чувствительной», и добавляет: «Ужасная тюрьма станет моим пристанищем, холодная могила возьмет к себе мою достойную и нежную подругу!»

И вот, в порыве безотчетной ярости, он хватает перо, бумагу и в первый раз осмеливается прямо обвинить Гофриди в воровстве:

> Судя по тому, как Вы изъясняетесь, мне совершенно ясно, что деньги мои угодили к Вам в лапы, и Вы используете их для собственной выгоды. <...> И я во всеуслышанье заявляю, что те, кто отправятся к Вам и Вас отыщут, заставят Вас вернуть награбленное.

А так как спустя две недели ответа по-прежнему нет, он грозит папаше Гофриди тем, что сам, лично, приедет в город Апт и вызовет его на дуэль! Ничего себе зрелище: два старца, скрестившие шпаги на рыночной площади! Дон Дьего против дона Гормаса!* «И заявляю Вам, что, несмотря на возраст (о котором Вы обычно напоминаете), я, несомненно, буду соизмерять свои силы с Вашими, а потому Вы непременно должны дать мне удовлетворение»[46]. Это нелепое предложение не вызывает у его старого друга даже улыбки, слишком, несомненно, слишком возмущенного намеками «старого друга».

---

* Намек на ссору отца Родриго, старого дона Дьего, и отца Химены, графа Гормаса, из трагедии П. Корнеля «Сид».

И снова дело идет к разрыву; де Сад торопится довести начатое до логического конца. Первого мая следующего месяца он направляет Шарлю уведомление, составленное в следующих выражениях:

Если в соответствующее время я не получу указанной суммы, то я намереваюсь возбудить иск против Вашего отца, ибо отец Ваш, коему я поручил всего лишь следить за аккуратной уплатой ренты моими арендаторами, а не растрачивать полученное в ущерб мне, не задерживать мои выплаты, словом, делать все, чтобы создать благоприятные условия мошенникам, которые, несомненно, вознаграждают его за это <...>[47].

Подобных обвинений Гофриди более терпеть не может. Оскорбленный до глубины души, он тотчас пишет маркизу письмо о своей отставке, заявляя при этом, что чрезвычайно рад уступить свое место кому угодно, ибо «убежден, – пишет он, – что более мне не придется читать столь оскорбительные и несправедливые послания, которые не только не побуждают к скорейшим действиям, но и вовсе отбивают охоту что-либо делать». Пользуясь случаем, адвокат наконец-то высказывается начистоту. Впервые он осмеливается сказать о своем «отвращении», кое подступало к самому горлу, когда он открывал послания своего клиента. «Я стал бояться наступления дня, когда приносили почту, и брань, кою я прочитывал в первых же строках Ваших писем, заставляла меня прерывать чтение и откладывать их в сторону. Так было прежде. Теперь наконец все сказано»[48]. Нет, еще далеко не все, потому что Донасьен, полагая, что это всего лишь неуместное возмущение, приступает к очередной операции по обольщению нотариуса:

Умоляю Вас, останьтесь главным управляющим моих дел. <...> Обнимите меня, мой дорогой адвокат, и от чистого сердца, как обнимаю Вас я, и обещаю Вам, что в дальнейшем ни единое облачко не омрачит нашу дружбу.

Он прекрасно знает своего Гофриди: тот не устоит, когда с ним заговорят на языке сердца. В октябре 1799 года он уже писал ему: «Я люблю Вас, мой дорогой адвокат, да, люблю Вас, и очень давно; и что бы мне ни говорили, никогда никто не сумеет поссорить меня с Вами»[49]. И все же дело сделано. На этот раз Гофриди не вернется. Тем более что ему уже семьдесят и он мечтает только о покое. Тогда Сад нанимает взамен некоего Этьена Лалуби, лицо, о котором нельзя сказать, что оно нам вовсе неизвестное. Под этим именем скрывается гражданин Казад, бывший уполномоченный чиновник Директории при администрации Клиши и «надзиратель» маркиза. Исполнившись поистине страстными чувствами к своему подопечному, он решил покинуть государственную службу и перейти на службу к маркизу. Крайне неосторожный поступок!

Ученик

По правде говоря, Лалуби отличается от всех прочих управляющих. Между ним и Садом сразу завязываются очень тесные отношения, возможно, не лишенные некоторой двусмысленности. Во всяком случае, маркиз, похоже, совершенно ослеплен этим предприимчивым

молодым человеком, отважно устремившимся на разборку его счетов; он объезжает всех его арендаторов в Провансе, улаживает конфликты и в конце концов представляет ему отчет, вполне внушающий оптимизм. Этим он отличается от мрачных пророчеств Гофриди. И Сад прощает ему и фатовство, и бахвальство, и маниакальное стремление все переделать, списывая эти качества на юный возраст. Со своей стороны, Лалуби открыто восторгается старым либертеном. Помимо материальной выгоды, извлекаемой им из должности управляющего его имуществом, он извлекает из общения с маркизом философские и моральные принципы, ценимые им чрезвычайно высоко. Их отношения более всего напоминают отношения учителя и ученика. Станут ли они еще более близкими? Об этом достаточно уверенно поговаривают в их окружении, и в этом нет ничего невозможного. Впрочем, либертен учит молодого человека жить, не обращая внимания на рогатки, расставляемые обществом, на предрассудки, в нем царящие, короче говоря, воспитывает его на свой лад. В благодарность за полученные уроки ученик выражает ему в своих письмах чувства нежной почтительности. Жизнерадостные, доверительные, они свидетельствуют о большой свободе в отношениях его с тем, кого он дружески называет «мой генерал».

В конце концов, *мой генерал*, все обошлось хорошо, — пишет он ему, — я охотно принимаю Ваши доводы, ибо, на мой взгляд, они продиктованы настоящей дружбой. Буду с Вами откровенен, а потому скажу, что долгое время меня водили за нос некоторые личности, опутывая бессмысленными речами и предложениями; видимо, они во что бы то ни стало желали возвыситься и выступить в качестве критиков по отношению ко всем — и против всех, наперекор здравому смыслу и всем законам как природы, так и человеческого общества.

Однако забудем навсегда этих критиков, этих склочников, лжецов и т. п. Пусть себе злословят как им угодно, на этот раз я обещаю, что отнесусь к их болтовне, как она того заслуживает. Да и, в сущности, какое мне дело до их речей, до злобных наветов этих ханжей? Согласен, я слишком долго позволял дрянным глупцам морочить себе голову всяким вздором. Теперь сердце мое гораздо лучше ощущает, что ему необходимо для счастья. Порыв, рожденный самой природой, не до́лжно гасить.

Так что, дорогой и почтенный друг мой, можете быть уверены, что, подобно Вам, отныне я сумею отшить всех этих краснобаев, столь ревниво относящихся к тесной дружбе, коя им чужда вовсе. Поверьте, как гласит пословица, они сумеют завлечь меня в свои сети разве только когда рак свистнет, ибо отныне я решил действовать только по собственному разумению или же на основании советов моих истинных и добрых друзей.

Я рассчитываю посетить Вас завтра, после полудня или даже еще позже, и мы будем иметь удовольствие побеседовать вволю обо всем, что может Вас заинтересовать. А пока прошу Вас передать тысячу поклонов моей обожаемой кумушке, которую я обнимаю от всего сердца точно так же, как и Вас.

Лалуби

Преступления любви

Пятого апреля 1800 года г-н де Сад и Сансибль вновь вступили во владение своим домом в Сент-Уэне, что подтверждает изрядный приток финансов, ставший возможным благодаря прежде всего изданию

его сочинений. Во-первых, в Версале у Блезо вышла драма «Окстьерн»[50]. А во-вторых — и это главное — издатель Массе опубликовал сборник из одиннадцати новелл, написанных в Бастилии между 1787 и 1788 годами, под общим названием «Преступления любви». Новеллам предпослано короткое эссе о жанре романа, озаглавленное «Размышления о романе»; в целом издание включает в себя четыре томика в сопровождении гравюр[51], перекликающиеся с «трагическими историями» в стиле барокко, каковыми прославились Франсуа де Россе, Жан-Пьер Камю, Клод Маленгр и прочие конкуренты Банделло. Сад полностью угодил вкусам эпохи — черный роман, действие, не связанное ни со временем, ни с пространством: время — где-то с XV по XVIII век, пространство — от Арденн до Черного Леса, от Англии до Италии и от Швеции до Испании. В новеллах Сада представлена совершенно особая Европа, близкая и одновременно далекая, раздираемая войнами и соперничеством, Европа, где и в обществе, и в семейном кругу постоянно разыгрываются кровавые драмы. Убийства, инцест, насилие, казни, совращения, подземные казематы, таинственные замки, невинные жертвы складываются в сложные сюжетные перипетии рассказов, разных по стилю и неравных по исполнению, но объединенных единым чувством ужаса. Не будем их здесь анализировать, для этого есть специальные комментарии и статьи. Скажем только, что читатель «Жюстины» или «Ста двадцати дней Содома» не найдет в них ни дьявольского величия, ни поэтического гения, присущего романам этого автора.

Впервые Сад выпускает сочинение под своим именем. На титульном листе «Алины и Валькура» указаны только его инициалы: «Сочинение гражданина С***». На титульном листе «Преступлений любви» уточняется: «Сочинение Д.-А.-Ф. Сада, автора “Алины и Валькура”. В то время, когда пресса, несмотря на все его пламенные опровержения, разворачивает против него настоящую кампанию травли и упорствует в желании приписать ему авторство «Жюстины», он во весь голос требует признания своего авторства этих двух произведений. Причину угадать легко. Сад больше чем когда-либо жаждет литературной респектабельности и мечтает наконец избавиться от репутации порнографа, чтобы с полным правом именоваться литератором. С самых первых страниц он воздерживается от какой бы то ни было распущенности, будь то содержание или язык повествования: кровавые истории, и героические и трагические, вписываются в рамки вполне приемлемой морали. Он не только не выступает апологетом зла, но и разоблачает злодеяния и преступления порока: его великие негодяи, Франваль и Окстьерн, искупают вину страданиями. Однако благоразумная мораль, служащая ему основанием для вынесения суждений, — всего лишь великая двусмысленность, ибо «она предполагает, что и человеческое сознание, и свобода в любую минуту готовы стать игрушкой темных сил»[52]. Впрочем, при внимательном прочтении почти на каждой странице становится видно, как автор наслаждается заведомым нарушением всего и вся и утверждает всемогущество желания.

Удар тростью

Не все современники Сада позволили ввести себя в заблуждение. В частности, некий журналист по имени Вильтерк не увидел разницы между «Преступлениями любви» и «Жюстиной», которую он в очередной раз приписал все тому же автору, и «опустил» сочинение, подвергнув его поистине беспримерному разносу:

Книга отвратительная, принадлежащая перу человека, подозреваемого в авторстве сочинений еще более ужасных. <...> К чему все эти картины торжествующего преступления? У человека безнравственного они пробуждают все его низменные наклонности, у человека добродетельного и твердого в принципах порождают негодование, а у человека слабого и добросердечного исторгают слезы отчаяния. Эти ужасные картины преступления нисколько не делают порок еще более отвратительным, а посему они совершенно бесполезны и опасны; эти губительные принципы столь очевидно ложны, что даже тот, кто их проповедует, сам их и разоблачает. <...> Я не мог без возмущения прочесть эти четыре тома возмутительных жестокостей; даже красоты стиля не искупают вред, нанесенный нашему вкусу прочтением сих сочинений; авторский стиль в них жалок, в них нет чувства меры, большинство фраз отличается дурным вкусом, не говоря уж о многочисленных несуразностях и банальных рассуждениях <...>[53].

Задетый за живое, Сад отвечает небольшим 20-страничным трудом, озаглавленным «Автор “Преступлений любви” обращается к газетному писаке Вильтерку»[54]. Как совершенно справедливо – и изящно – пишет Жильбер Лели, это «тросточка вельможи, которая с удвоенной силой обрушилась на спину наглого лакея». И удары ее весьма ощутимы. Впрочем, судите сами:

Я уже давно убедился, что оскорбления, продиктованные завистью или какой-либо иной низменной причиной, те, что доходят до нас в виде зачумленного дыхания какого-нибудь писаки, не должны беспокоить литератора больше, нежели собачий брех на задворках беспокоит разумного и мирного путешественника. <...>

Я требую от Вильтерка <...> Доказать, что именно я являюсь автором этой еще более Ужасной книги! Только клеветник способен просто так, не имея ни единого доказательства, набросить тень на репутацию честного человека. <...>

Вильтерк <...>, бумагомаратель Вильтерк, где, по-твоему, преступление торжествует в этих повестях? Если в них и можно увидеть сие торжество, то только по причине твоего ужасающего невежества и твоей подлой клеветнической натуры! <...>

Вильтерк, Вы несете вздор, Вы громоздите клевету на глупости, нелепости на вранье, и делаете это из мстительности, присущей бездарным авторам, в разряд которых Вас по справедливости помещают Ваши скучные компиляции. Я дал Вам один урок, но готов дать и еще, если Вам вдруг взбредет в голову вновь оскорблять меня.

В примечании он добавляет:

Слава Богу, мы прекрасно знаем этого бумагомарателя, чьи «Бдения», названные им *философическими*, на деле являются *снотворными*; отвратительное, монотонное, скучное скопище листков, где сей наставник, пыжась изо всех сил, пытается убедить нас, что мы столь же глупы, как и он, а посему примем его болтливость за изящество слога, его выспренный стиль за остроумие, а его плагиат за воображение. Но, к несчастью, читая его, находишь всего лишь пошлость, когда он пишет сам, и дурной вкус, когда он обкрадывает других авторов[55].

Как мы видим, несмотря на годы и страдания, перо маркиза нисколько не утратило своей язвительности.

Глава XXVI
ШАРАНТОН

Ловушка

Шестого марта 1801 года полиция ворвалась в контору издателя Никола Массе, расположенную на улице Гельвеция. Явившийся к издателю для переговоров Сад присутствовал при этом обыске. Среди захваченных бумаг были и некоторые его рукописи: «Французский Бокаччо», «Развлечения либертена, или Девятины Киферы», «политическое» сочинение «Мои причуды, или Всего понемножку», а также уже отпечатанные тома, дополненные и исправленные его собственной рукой: один экземпляр «Новой Жюстины» и последний том «Жюльетты».

В то же самое время происходит обыск у одного частного лица, «который, как известно, состоит с ним в интимной близости», уточняется в протоколе, однако имени этого лица не приводится. Скорее всего, речь идет об Этьене Лалуби[1]. Впрочем, у него не находят ничего подозрительного.

Завершив работу у Массе, полиция предъявляет маркизу постановление об аресте и везет в Сент-Уэн. По дороге он просит завернуть на улицу Труа-Фрер (сегодня это улица Тетбу), чтобы забрать ключи; увидев его в окружении жандармов, смертельно напуганная Констанс клянется сделать все, что будет в ее силах, чтобы вызволить его. Не задерживаясь, маленький отряд следует на северную окраину Парижа. В Сент-Уэне после тщательного досмотра полиция забирает несколько непристойных гипсовых фигурок, три картины и один гобелен, «изображающие сцены пренепристойнейшие, взятые в большинстве своем из омерзительного романа "Жюстина"». Все эти вещи доставляются в полицейскую префектуру, куда приводят маркиза и Массе. В префектуре их разлучают: видимо, опасаясь скандала, Сада помещают в секретную камеру[2].

На следующий день обоих арестованных вызывают на допрос к комиссару Мутару, бывшему книготорговцу, перешедшему на службу в полицию. Допросы продолжаются весь день 8 марта. Донасьену предъявляют рукопись «Жюльетты», и, хотя он узнает свой почерк, тем не менее он продолжает отрицать свое авторство и утверждает, что всего лишь выступил в роли переписчика, и ему за эту работу заплатили. Тогда его спрашивают, где находится оригинал рукописи; на этот вопрос он не отвечает. Полицейский чиновник, очевидно, плохо осведомленный, удивляется, как человек его сословия занимается «за день-

ги перепиской столь отвратительного сочинения»[3]. Конфисковав весь тираж «Жюльетты», Массе через сутки отпускают. Таково условие его освобождения из-под стражи. Тысяча экземпляров сочинения уничтожены, десятки арестованы, равно как и томики «Новой Жюстины». В последующие недели книготорговцы, печатники и переплетчики постоянно подвергаются обыскам и строжайшему надзору[4].

«Мышеловка»

Отделение при префектуре, часто именуемое просто «отстойником», или «мышеловкой», представляет собой нечто вроде мрачной и сырой крипты, покрытой соляными отложениями; но более всего это помещение напоминает клоаку. Днем и ночью туда поступают все городские отбросы; там их разделяют по половозрастной принадлежности и распределяют по трем резервуарам, именуемым «залами»; пока задержанные ожидают своей участи, полиция выясняет, в чем их вина, кому суждено перейти на положение арестантов и подсудимых. Низкая дверь, более всего напоминающая вход в склеп; каменный мешок, настоящая могила, расположенная на пятнадцать футов ниже уровня земли, почти на уровне Сены; массивные колонны, кирпичные перегородки, каменные скамьи; сводчатые потолки, пересеченные стрельчатыми арками, под которыми эхом отдаются звуки, производимые на набережной Орлож.

В такой клоаке Сад пребывает в ожидании суда. С ним обращаются вполне прилично, даже «с определенным уважением и почтением», но посетителей к нему не допускают. Г-жа Кене, как в одиночку, так и в сопровождении Лалуби, неоднократно пытается к нему прорваться: все напрасно. На восьмой день он узнает, что дело его префект отправил министру полиции. Наконец 16 марта, то есть через десять дней после ареста, ему сообщают, что через сутки дело его будет решено. На следующее утро никаких результатов. По совету Констанс он обращается к адвокату, мэтру Жайо из Версаля. 21 марта он по-прежнему пребывает в «мышеловке», где его переводят в общий зал. 30 марта его снова допрашивают и предъявляют письмо, авторство которого он отрицает. При возвращении с допроса ему удается обнять Констанс. Наконец, 2 апреля, после многочисленных совещаний с министром полиции, префект Дюбуа, сознавая, что возбуждение дела, несомненно, «вызовет скандал, который нисколько не будет способствовать примерному наказанию преступника», решает «определить» маркиза де Сада в Сент-Пелажи, «дабы подвергнуть административному наказанию» как автора «непристойного романа "Жюстина", а также сочинения еще более омерзительного, под назвнаием "Жюльетта"».

«Золоэ»

Несомненно, Сад стал жертвой разнузданной кампании, развязанной против него несколько месяцев назад в прессе. Упорно настаивая на его авторстве «Жюстины», газеты в конце концов привлекли к нему

внимание властей, ставших после установления Консульства особенно чувствительными к вопросам морали. Хотя скорее всего, существует и иная причина, о которой власти предпочитают умалчивать; впрочем, нетрудно понять почему.

В июле 1800 года в Париже без указания имени автора был издан небольшой по объему роман под названием «Золоэ и две ее приспешницы», ядовитое жало сатиры которого было направлено против Жозефины (Золоэ), Тальен, прозванной «Богоматерью Термидора» (Лореда), Висконти, жены итальянского дипломата, Бонапарта (*Орсек*, анаграмма *Корсе*), Тальена (*Фессино*) и Барраса (*Сабар*). На фронтисписе издания три героини: Жозефина, Тальен и Висконти, в прозрачных туниках, снимали маски перед гением Истории[5]. Памфлет открывался этаким кисло-сладким портретом Жозефины:

> В преддверии грядущего сорокалетия Золоэ нисколько не претендует на привлекательность, коею обладают в двадцать пять. Однако опытность ее притягивает к ней толпы поклонников, что в какой-то мере восполняет увядшую свежесть юности. Обладая утонченным умом, характером — в зависимости от обстоятельств — то мягким, то надменным, вкрадчивой манерой говорить, скрытностью, лицемерием и ловкостью, она готова соблазнять всех и ничем не гнушается; ее неуемная тяга к наслаждениям во много раз превосходит пылкость Лореды; тяга эта сочетается у нее с ростовщичеством, но, подобно игроку, она с легкостью проматывает деньги, а ее безудержная страсть к роскоши поглощает доход десяти провинций.
>
> Золоэ никогда не была красива; но уже в пятнадцать лет она отличалась утонченным кокетством, этим цветком юности, служащим пропуском в страну любви, а великие богатства приковали к ее колеснице целый рой обожателей.
>
> Брак ее с графом де Бармоном (Александром Богарнэ), бывшим при дворе в большом фаворе, был удачен; оба супруга поклялись, что ни один из них не составит несчастье другого, и Золоэ, чувствительная Золоэ, не могла допустить, чтобы их супружеские узы были разрушены. От этого союза родились сын и дочь, сегодня пользующиеся всеми благами фортуны, кои может доставить им знаменитый отчим.
>
> Золоэ родом из Америки. Владения ее в колониях поистине огромны. Однако волнения, опустошившие эти богатые месторождения для европейцев, лишили ее огромных доходов от ее владений, столь ей необходимых для поддержания пристрастия к расточительству и роскоши.

Неужели автор и вправду, как утверждали многие, полагал, что Бонапарт увидит в «Золоэ» всего лишь дружеское предупреждение восторженного поклонника, единственным желанием которого является открыть глаза Первому Консулу на предательство его окружения? Неужели ожидал признательности, похвал, милостей и отличий? Вряд ли. А вот слух о том, что автором этим является не кто иной, как маркиз де Сад, распространился очень быстро. Полиция начала следить за ним, не оставляя без внимания ни одного его шага, ни одного поступка, и делала это так ловко, что он ничего не замечал.

Тем временем издатель Массе, введенный в заблуждение префектурой, назначает ему встречу у себя в конторе 6 марта 1801 года якобы для того, чтобы поговорить о возможном переиздании «Жюстины» и «Жюльетты», и просит принести с собой рукопись. Ничего не подозревая, Сад попадает в ловушку. Последствия известны.

Является ли Сад автором «Золоэ»? Да, утверждают Аполлинер, доктор Кабанес и Жан Деборд. Нет, если верить Жильберу Лели, который не узнает в этом памфлете «манеру де Сада»:

Структура фраз и словарь, равно как и ритм речи, и построение рассказа, не имеют ничего общего со стилем писателя Сада; крайняя небрежность и вялость слога постоянно выдают в нем профессионального памфлетиста; появлением подобных пошлых сочинений отличается литература эпохи Французской революции.

За исключением финального утверждения (Лели никогда не упускает возможности предать анафеме революцию), мы вполне расположены принять его доводы. «Золоэ» в самом деле недостойна пера де Сада; она изобилует непристойными намеками и грязной клеветой, вовсе не в стиле Сада.

Следовательно, полиция Консульства должна была бы посадить в одиночку только автора «Жюстины» и «Жюльетты». Но в таком случае почему бы не привлечь его к суду как обычного обвиняемого? Посадив его в тюрьму без суда и следствия, власть рискует превратить его в политического заключенного и подтвердить положение об интернировании за инакомыслие. Ответ имеется у префекта полиции Дюбуа:

Я имел честь представить его превосходительству устное заключение, и он, прекрасно осведомленный обо всех преступлениях, совершенных Садом до революции, убежден, что наказание, вынесенное Саду судом, будет явно недостаточным и нисколько не соразмерным совершенному преступлению, а посему необходимо подвергнуть его наказанию забвением и, как следствие, поместить в Сент-Пелажи[6].

Таким образом, лично министр юстиции отдает приказ о заточении Сада. И это за роман, который вот уже четыре года свободно продается в галереях Пале-Рояля, который и видеть, и купить мог каждый, ибо, если верить Ретифу и Мерсье, продавали его по цене булочек. Почему же гнев правосудия не обрушился на сочинителя раньше? На этот вопрос есть единственный, сам собой напрашивающийся ответ: тогда еще не появилось пресловутое сочинение «Золоэ». Именно эта книга вызвала гнев Первого Консула и жестокие репрессии по отношению к предполагаемому автору со стороны властей. Пусть даже она не принадлежала перу де Сада — в чем мы лично совершенно убеждены, — это дела не меняет: достаточно того, что ее ему приписали. В те времена полиция не видела особой разницы между незаконным арестом и судебной ошибкой. Впрочем, официально Саду так и не предъявили обвинения, а название «Золоэ» не вышло за стены министерских кабинетов.

Ex officis imperatoris*

Вот так маркиз де Сад становится жертвой внесудебного произвола и беззакония, которыми отмечено правление Наполеона. Начиная с эпохи Консульства тюрьмы превратились в колонии илотов, людей, живущих, подобно прокаженным, вне общества, пораженных граждан-

* Согласно императорским обязанностям (*лат.*).

ской смертью и лишенных прав. Раз власть назначает наказание, значит, она признает состав преступления. Однако она отказывается от любой формальной юридической процедуры: ни приговора, ни улик, ни обсуждения, ни следствия. Участь недовольных решается без шума, без скандала, без публичных дебатов; их провозглашают умственно неполноценными и запирают в лечебницы до конца жизни. Превосходное средство... В одно время с Садом Наполеон упек в Шарантон поэта Дезорга всего лишь за невинное двустишие:

...Наполеон,
Тот еще хамелеон.

Говорят также, что Дезорг, сидя в кафе «Ротонда», якобы отказался от мороженого с лимоном по причине того, что он «не любит кожуру»*. Неудачная игра слов и жалкие стишки стоили ему пожизненного заключения в приюте для умалишенных, где он и умер в 1808 году.

Еще одна жертва произвола: Лааж, бывший начальник лесного ведомства, слишком рьяно защищавший своего земляка генерала Моро во время суда над генералом. Спустя несколько дней он был признан сумасшедшим и посажен в Бисетр. Подобное несчастье приключилось с аббатом Фурнье, изрекавшим максимы против Бонапарта. В 1801 году префект полиции Дюбуа приказал арестовать его. Препровожденный в Бисетр, обритый и помещенный в одиночную камеру для буйнопомешанных, он оставался там вплоть до 1804 года, затем благодаря заступничеству кардинала Феша вошел в милость и был назначен капелланом императора. В 1806 году он стал епископом Монпелье и исполнял эту должность до самой смерти. Неплохая карьера для «буйнопомешанного»...

Сотни других людей, известных и неизвестных, наполнят тюрьмы, переименованные в лечебницы для душевнобольных, хотя ни один врач-психиатр не обнаружит у них ни малейших симптомов умопомешательства. В общем, система строилась на простой, чтобы не сказать упрощенной, логике: чтобы иметь право не заискивать перед императором, надо быть сумасшедшим.

Сент-Пелажи

При Старом порядке монастырь Сент-Пелажи принимал пропащих девиц, которых придворные дамы, такие как г-жа де Мирамион или герцогиня д'Эгийон, пытались направить на путь истинный. Здание монастыря представляло собой обширное четырехугольное строение, окруженное улицами Батуар, Пюи-де-Лермит, Ласепед и Лаклеф. Названием своим монастырь обязан актрисе из Антиохии, которая долгое время изумляла современников неслыханным развратом, а потом внезапно обратилась к религии. В 1790 году ворота монастыря Сент-Пелажи, как и многих других религиозных общин, распахнулись: монахиням и «рас-

* Французское слово «ecorce» («кожура») созвучно со словом «Corse» («Корсика»), названием острова, где родился Наполеон.

каявшимся» пришлось покинуть свои кельи. Спустя два года Коммуна Парижа устроила в помещении бывших монастырей тюрьмы. Тогдашние тюремщики, некто Бушар и его жена, оказались не робкого десятка и во время сентябрьской резни устроили заключенным побег, а потом связали сами себя, дабы все поверили, что в тюрьме произошел мятеж. Начиная с сентября 1793 года Сент-Пелажи была превращена в одну из главных тюрем для политических заключенных. В сырых камерах теснилось более трехсот пятидесяти узников. Именно здесь г-жа Ролан, в ожидании, когда ее, как и многих других, отправят на эшафот, торопливо записывала свои неповторимые «Воспоминания».

Когда 2 апреля 1801 года за Донасьеном закрылись решетчатые ворота, выходящие на улицу Лаклеф, само здание монастыря оставалось прежним, но в нем уже веяли другие ветры: смерть опустошила его кельи, и теперь в них сидели молодые смутьяны и несостоятельные должники. С самого начала Саду разрешили свидания с Констанс. Она получила право приходить к нему три раза в декаду.

Двадцатого мая 1802 года неутомимый проситель адресует прошение министру юстиции; он хочет предстать перед судом, выступить в свою защиту перед судьями. Или пусть ему вернут свободу! Он в тысячный раз открещивается от авторства «Жюстины», клянется всем самым для него святым:

> Вот уже год и три месяца, как я страдаю в самой ужасной тюрьме города Парижа, в то время как, согласно закону, без предъявления обвинения человека вправе задержать всего на десять дней. Я прошу, чтобы мне предъявили обвинение. Я хочу понять, доказано ли, что я написал ту книгу, авторство которой мне вменяется в вину. Если меня смогут в этом убедить, я готов принять вынесенный мне приговор. В противном случае я требую освободить меня.
>
> Откуда этот произвол, эта пристрастность, разбивающая цепи виновного и подавляющая невинного? Неужели ради этого мы в течение двенадцати лет приносили в жертву наши жизни и наше состояние? Столь жестокое обращение совершенно несовместимо с теми добродетелями, которыми в Вашем лице восхищается Франция. Поэтому я умоляю Вас прекратить наконец мои страдания.
>
> Я хочу быть *свободным* или *предстать перед судом*. И я имею право говорить так. Мои несчастья и законы дают мне это право, и у меня есть все основания полагать, что я правильно обращаюсь с моей просьбой именно к Вам. Привет и почтение[7].

Иов и Товия

В один прекрасный день жандармы приводят нового узника: неунывающего весельчака и анархиста. При Старом порядке он был священником, а во время Революции скинул сутану и стал уличным певцом. В душе убежденный монархист, он во всю глотку распевает антиреспубликанские куплеты под самым носом у санкюлотов. Его пятнадцать раз сажают и пятнадцать раз отпускают, и он продолжает плевать на любую власть. 18 фрюктидора его отправляют в Кайенну. Консульство выдает ему помилование. Вернувшись в Париж, он высмеивает Бонапарта и попадает в Сент-Пелажи. Без сомнения, его бы наверняка позабыли, если бы Александр Дюма не обессмертил его имя в названии своего романа

«Анж Питу» (впрочем, не имеющего к нему никакого отношения) и если бы он не оказался сокамерником Сада в тюрьме на улице Лаклеф.

Достигнув зрелого возраста, неугомонный весельчак решил запечатлеть свои воспоминания в книге, которая, несмотря на название «Рассмотрение несчастий и гонений, коим я подвергался на протяжении двадцати шести лет», исполнена юмора и безудержной фантазии. Рассказывая о своем пребывании в Сент-Пелажи, он вспоминает о встрече с Садом и яркими красками живописует его портрет, столь далекий от реальности, что неумолимо приходишь к мысли, что это просто шарж. Действительно, речь идет именно о карикатуре. Возможно, в рассказе этом нет ни слова правды. Однако он интересен нам совсем другим. Далекий от реальности, он в точности соответствует образу маркиза, сочиненному современниками, — они напялили на него гримасничающую личину, которую многие и сегодня принимают за правду.

За те полтора года, что я провел в Сент-Пелажи в ожидании помилования, а было это с 1802 года по 1803 год, я пребывал в том же коридоре, что и знаменитый маркиз де Сад, автор самого омерзительного романа, когда-либо выдуманного человеческой испорченностью. Этот ничтожный человек был настолько запятнан проказой самых немыслимых преступлений, что власти причислили его к сумасшедшим, кои, как известно, стоят ниже преступников и даже ниже животных. Правосудие не пожелало ни пятнать свои архивы именем этого существа, ни позволить палачу нанести ему решающий удар, добыв нечестивцу тем самым славу, которой тот так жаждал; правосудие отвело маркизу угол в тюрьме, предоставив каждому заключенному дозволение избавить его от бремени существования. Честолюбие и стремление заполучить известность в литературных кругах стали причинами испорченности этого человека, отнюдь не родившегося негодяем. Не имея возможности достичь высот, доступных первостатейным высоконравственным писателям, он решил броситься в бездну кошмаров, опуститься на самое ее дно, дабы вынырнуть из нее, на крыльях гения зла обессмертить себя, обожествив публично все пороки.

Однако в нем еще были заметны остатки некоторых добродетелей, как, например, желание заниматься благотворительностью. Этот человек содрогался при мысли о смерти и падал в обморок при виде собственных седых волос. Иногда в порыве раскаяния, не имевшего, впрочем, продолжения, он восклицал: «Ну, почему я такой ужасный?.. Почему преступление так притягательно? Оно приведет меня к бессмертию, надо добиться воцарения его во всем мире».

У этого человека было состояние, и он не испытывал нехватки ни в чем. Время от времени входя ко мне в комнату, он видел, что я смеюсь, пою и всегда в хорошем настроении, даже во время обеда, который, казалось бы, нельзя есть без отвращения: я же, нисколько не печалясь, ел свой кусок черного хлеба или тюремный суп. И в эти минуты лицо его полыхало от гнева.

— Так, значит, вы счастливы? — удивлялся он.

— Да, сударь.

— Счастливы!

— Да, сударь.

Затем, положив руку на сердце, я продолжал шутливо отвечать ему:

— Когда у человека ничего нет, его ничто не угнетает: я сам себе господин, сударь мой маркиз. Вот, смотрите, — кружевной галстук и носовой платок, обшитый кружевами! Модные манжеты, которые обошлись весьма недешево. А вместо шитья я решил ввести в моду украшать и обшивать одежду бахромой.

— Вы сумасшедший, господин Питу.

— Да, господин маркиз. Я живу в нищете, но это позволяет сохранять душевный покой.

Потом он подходил к моему столу, и беседа наша продолжалась.

– Что за книгу вы читаете?

– Библию.

– Этот Товия вполне добродушный человек, а вот Иов рассказывает сказки!

– Сказки, сударь, которые для вас и для меня являются реальностью.

– Что? Какой реальностью, сударь? Вы верите в подобные бредни и при этом улыбаетесь?

– Мы оба сумасшедшие, господин маркиз, и вы, и я: вы – потому что боитесь собственных *фантазий*, я – потому что смеюсь над тем, что считаю *реальностью* <...>[8].

Тайны тюрьмы Сент-Пелажи

Некий заключенный по имени Юрар Сен-Дезире, рифмоплет и обладатель весьма сомнительной литературной репутации, в один прекрасный день вместе с двумя товарищами по несчастью решил основать в стенах тюрьмы литературное общество. Едва идея стала приобретать отчетливые очертания, как трое шутников постановили привести ее в исполнение и поручили Юрару составить соответствующий циркуляр, дабы затем разослать его тщательно отобранным обитателям соседних камер.

Сударь!

Как известно, каждый, оказавшийся здесь, пребывая в уединении и предаваясь размышлениям, испытывает порой скуку. Вы приглашены сегодня вечером, ровно в шесть часов, в комнату № 9, что на четвертом этаже, дабы присутствовать на обеде, где, как мы предполагаем, будет положено начало создания дружеского союза.

Лица, допущенные на эти дружеские обеды, так же, как и вы, сударь, наделены литературными талантами; иные допускаться не будут[9].

Ограничившись девятью членами, по числу муз, они дали своему обществу название «Обеды в Сент-Пелажи». Де Сад не только вошел в число участников, но и вскоре стал председателем, за что и удостоился следующего иронического катрена:

А слух распространяется упорный:
С седою головой, с душою черной
Де С***, когда поверить той молве,
Вновь в учрежденье новом во главе[10].

Едва заняв свой пост, Донасьен тотчас дал товариществу своеобразную конституцию, а один из самых молодых его членов, некий Оливье, коему сравнялся всего двадцать один год, изложил в стихах ее основные принципы:

Собранье наше пожелало
Порядок утвердить в началах,
Своим главой того избрав,
Чей строгий всем известен нрав.
И оный, слов истратив мало,
Нам предписал такой устав:

Свободный дух, терпимость, лад.
Постановляем – нашу встречу
Пусть никогда не омрачат

Ни холодность, ни терпкий яд
Насмешки или злобной речи.
И каждый, муки претерпев
И женской ласки здесь лишенный,
Возьмет одну из славных дев.
И станем зваться мы, как жены,
Их имена на щит воздев[11].

Неизвестно, имя какой музы принял сам Сад, однако все аплодировали «столь мудрому уставу», и единогласно было решено, что раз в пять дней члены общества будут собираться за обеденным столом, и во время трапезы каждый станет читать одно из своих новых произведений*[12].

От Юрара Сен-Дезире, оставившего небольшую пикантную книжечку воспоминаний под названием «Обеды в Сент-Пелажи», мы узнаем, что «Музы» весьма торжественно принимали новоприбывших:

Одна из Муз, – рассказывает он, – предложила план церемонии приема, который следует оказывать узникам, прибывающим, подобно нам, на жительство в сию крепость. При единодушной поддержке всех девяти Муз было постановлено, что мы также объединим всех музыкантов, что к нам присоединятся друзья, проживающие с нами в одном коридоре, и что сами мы дружно отправимся на поиски новых товарищей, заглядывая во все смотровые окошечки. Был разработан порядок церемонии, назначена Муза вводящая, а Музе, бравшей в тот день бразды правления, поручалось приносить новичку сответствующие соболезнования и комплименты, после чего тот посвящался в пелагианские таинства. <...> После всеобщей беседы Муза, исполнявшая обязанности председателя, завершала прием импровизированной речью, адресованной к принимаемому <...>[13].

Но, как пишет Юрар, в тюрьме, как и повсюду, «фанфары славы пробуждают зависть».

Вскоре, – продолжает он, – на дверь общества стали приклеивать листочки с памфлетами, язвительными шуточками, эпиграммами, каламбурами, куплетами и т. д. <...> Появились подслушивающие под дверью, каковые имеются повсюду, особенно из числа тех, кто не в состоянии организовать ни кружок, ни модную вечеринку, а также плагиаторы, известные своими кражами, ибо были пойманы на месте преступления. Все эти господа пожелали излить на нас свои насмешки. <...> Комната, где мы собирались, находилась в углу коридора, который в этом месте являл собой нечто вроде перекрестка, ибо возле двери располагалась равносторонняя восьмиугольная площадка; на дверь нашей комнаты мы вешали табличку: «МАРФОРИО – к ПАСКИНО», а на двери напротив – «ПАСКИНО – к МАРФОРИО»** отчего место это стали называть Римской площадью.[14]

* * *

Увы! Активность нашей Музы не ограничивалась составлением стихов для поэтической компании. По причине своих маниакальных сек-

---

* В Приложении XII наст. изд. опубликованы стихи, сочиненные де Садом в Сент-Пелажи.

** В Риме существовала традиция: на площади возле дворца Браски, вокруг статуи речного божества, найденной на форуме Марса (в просторечии Марфорио), и далее, до мастерской Паскино, по ночам вывешивали листовки антиправительственного содержания и разнообразные пасквили.

суальных наклонностей он был уличен в приставании к молодым людям, посаженным за различные мелкие грешки, студенческие шествия, непристойное поведение в общественных местах и т. п. В один из мартовских дней 1803 года он принялся обхаживать юных ветреников, повинных в учинении дебоша в Комеди Франсэз, за что их на несколько дней отправили в Сент-Пелажи, где разместили в комнатах, двери которых выходили в тот же коридор, что и дверь комнаты Сада. Как далеко зашел он в своих предложениях? Делал ли он неприличные телодвижения или же успел перейти к прикосновениям, к угрозам? Как бы там ни было, но на этот раз его решили перевести в Бисетр. В полицейском рапорте содержится масса косноязычно изложенных подробностей, присущих стилю крючкотворов из охранки: «В его комнате был найден огромный инструмент, который он сам сделал из воска и которым он сам и пользовался, ибо инструмент этот сохранил следы его преступного введения»[15].

Видение

Покидая Сент-Пелажи, Донасьен поймал взгляд молодого человека, пристально вглядывавшегося в него и словно пытавшегося навеки запечатлеть его черты. Спустя тридцать лет Шарль Нодье (ибо это был он) создаст удивительный по своей выразительности портрет:

> Одного из этих господ предупредили, что его переведут в другую тюрьму, а потому он поднялся очень рано. Сначала я не увидел в нем ничего примечательного, кроме излишней грузности, весьма затруднявшей его движения и не позволявшей ему показать себя во всем своем изяществе и утонченности, следы которых сохранились в его облике и речи. Утомленные глаза его каким-то образом сохраняли свой блеск, время от времени вспыхивавший, словно затухающая искра на раскаленном угольке. Это не заговорщик, никто не смог бы обвинить его в том, что он ввязался в политику. <...> Я не совсем ясно себе представляю, что он там написал, я только мельком видел его книги, скорее, вертел их в руках, нежели листал, однако этого было вполне достаточно, чтобы заметить, что и справа, и слева, и отовсюду они источали преступление. От его чудовищных гнусностей у меня сохранилось смутное воспоминание, смешанное с изумлением и ужасом. <...> Я уже сказал, что этот узник всего на миг задержался у меня перед глазами. Помню только, что он был вежлив до угодливости, любезен до слащавости и говорил уважительно обо всем, к чему мы питаем почтение[16].

Никогда не стоит ловить писателей на слове, особенно когда они вспоминают о прошлом. Так, только что прочитанные строки, в которых Жильбер Лели увидел «дрожащие переливы всех цветов радуги, отражающие призрак реальности», являются чистым вымыслом. Нодье никогда не встречался с Садом. Если верить автору «Смарры», он должен был переступить порог Сент-Пелажи в ноябре 1803 года, куда его посадили за изданную в Лондоне сатирическую оду «Наполеонша», направленную против Бонапарта. Однако к этому времени маркиз уже восемь месяцев как покинул дом на улице Лаклеф. Более того, мы даже не уверены, что юный Нодье привлек к себе внимание имперских властей. Скорее всего, бывший ораторианец Фуше, друг отца Нодье,

ограничился выговором за вышеуказанную оду. Однако поэту было угодно убедить себя, что император преследовал его, и он постоянно сочинял об этом разнообразные истории. А так как его воображаемый мир был для него гораздо более реальным, нежели подлинный мир его памяти, то его видение де Сада можно считать гораздо более правдивым, нежели самый достоверный портрет.

«Безумие либертена»

Ужасная язва на политическом теле; язва обширная, глубокая, сочащаяся сукровицей, на нее невозможно смотреть без содрогания и тотчас хочется отвести взор. Уже за сотню туазов чувствуешь миазмы, исходящие от этого места, все говорит о том, что вы приближаетесь к тюрьме, пристанищу нищеты, упадка и несчастья.

Таким Луи-Себастьян Мерсье увидел в 1783 году Бисетр — «Бастилию для сброда». Будучи одновременно лечебницей, приютом для умалишенных и тюрьмой, Бисетр собирал в своих стенах все отбросы человеческого рода. Безумие и сифилис соседствовали в нем с нищетой и преступлением. Старики, калеки, эпилептики, шелудивые, умственно отсталые, страдающие венерическими заболеваниями, нищие, бродяги содержались там вместе с ворами, мошенниками, жуликами, проститутками, убийцами, напоминая кишащих в подземелье крыс. Убогие строения, предназначенные для содержания узников, состояли из узких клетушек, теснившихся друг над другом, а некоторые из них уходили в землю футов на двадцать и были погружены в вечный мрак.

Закрытый в 1790 году, в период упразднения религиозных орденов, Бисетр вновь распахнул двери в период Директории, когда его стали использовать как приют для буйнопомешанных. С тех пор условия содержания пациентов претерпели изменения к лучшему. Благодаря психиатру Пинелю подземные камеры исчезли, однако заведение попрежнему пользовалось дурной репутацией.

Попав в Бисетр 15 мая 1803 года, маркиз там долго не задержался. Опасаясь, как бы заключение в таком месте не навлекло позора на семью, г-жа де Сад и ее дети умолили префекта Дюбуа вытащить его оттуда. Некоторое время полицейский чиновник полагал поместить маркиза в форт Ам или в темницу на Мон-Сен-Мишель, но в конце концов отдал распоряжение направить его в Шарантон. Так как сомневаться в здравом уме де Сада не было никаких оснований, пришлось припомнить его сексуальные навязчивые идеи. «Этот неисправимый человек, — пишет Дюбуа, — постоянно пребывал в безумии либертена». В то же самое время г-н де Кульмье, директор заведения, получил особые инструкции, касавшиеся предотвращения любой попытки побега. Расходы по выплате содержания «ненастоящего сумасшедшего» были определены в три тысячи франков в год, семья выплачивала ее по триместрам; за эти деньги пансионеру оказывали необходимые услуги, заботились о его пище и жилье, стирке белья, а также оплачивали труд надзирателей.

Накануне отъезда из Бисетра Донасьен написал Кульмье письмо с уверениями в своем будущем примерном поведении; он обязывался

заслужить его уважение и убедить его в том, что сам – нисколько не заслуживает своей дурной репутации. 27 апреля 1803 года исполнительный чиновник по имени Бушон препроводил Сада в Шарантон.

Франсуа Симоне де Кульмье

«Отчего нация не создаст у себя лечебницы, достойной своего величия, а главное, величия человечества, лечебницы, где бы все способствовало восстановлению разума?» В докладной записке, представленной в 1790 году в парижский муниципалитет, эти пожелания относятся к клинике в Шарантоне[17]. Для реализации этих пожеланий понадобится несколько лет. В 1795 году старинный приют Милосердных братьев был упразднен. Спустя два года, а именно 15 июня 1797 года, Директория решила передать его помещение клинике для лечения умственных расстройств, иначе говоря, вернуть Шарантону его изначальное предназначение. В помещениях были созданы все условия для содержания больных обоих полов; клиника была передана в ведение Министерства внутренних дел, а управление ею поручили г-ну Кульмье. 22 сентября 1797 года Кульмье приступил к исполнению своих обязанностей. С этого дня он становится полновластным хозяином Шарантона; сначала управляющим, а затем директором.

* * *

Давайте уделим немного времени этому управляющему, ибо он более чем достоин нашей признательности. Его разумное руководство и благородные чувства скрасили последние годы жизни маркиза, и этого вполне достаточно, чтобы мы сохранили о нем добрую память. Но это еще не все. Его новаторские методы в лечении умственных расстройств, подвергшиеся обвинениям и клеветническим наветам современников, требуют реабилитации. Сегодня мы по справедливости помещаем доктора Кульмье в один ряд с создателями современных психиатрических клиник.

Уроженец Бургундии, он принадлежал к почтенной буржуазной семье, разбогатевшей сначала на торговле, а затем на финансовых операциях и в конце концов получившей дворянский титул. Франсуа Симоне получил от своего деда с отцовской стороны фамилию Кульмье (от названия поместья Кульмье в департаменте Верхняя Марна). Он родился в Дижоне 29 сентября 1742 года и с самого детства не отличался крепким здоровьем. Маленький, хилый, возможно, даже слегка горбатый, ставший жертвой испытаний, выпавших на долю его семьи, он должен был вступить в один из монашеских орденов. Девятнадцатого февраля 1764 года он ушел в обитель премонстрантов в Шамбрефонтене.

Похоже, он быстро сделал карьеру на церковном поприще, ибо в 1783 году мы застаем его уже в ранге аббата-коадъютора и исполняющего обязанности управляющего монастырем Нотр-Дам в Аббекуре,

близ Пуасси. Во время созыва Генеральных штатов он становится депутатом от духовенства и сразу же занимает позицию в поддержку беднейших слоев населения. 6 июня он, потрясая черствым куском черного хлеба, агитирует в пользу подписания петиции о дороговизне зерна и обнищании народа. 21 числа того же месяца он присоединяется к депутатам третьего сословия. Полагают, что одновременно с этим он вступил в одну из масонских лож, однако ни одного документа об этом не сохранилось[18], хотя и идеи и язык масонов ему были не чужды. Четырнадцатого января 1791 года он даже выступает с речью в Народном обществе Девяти Сестер, где, в частности, говорит о том, что принес присягу Гражданской Конституции духовенства, и дает обоснование этому поступку[19]. В 1797 году благодаря разнообразной деятельности в различных милосердных организациях и приютах он был назначен управляющим «приюта для умалишенных». Ему пятьдесят шесть лет, то есть на два года меньше, чем Донасьену.

Прибыв в Шарантон, Кульмье сразу же сталкивается с ужасающей разрухой: постройки обветшали и стали непригодными для жилья, двери и окна сорваны с петель, деревья выкорчеваны, две трети сада сдано частным лицам. В дортуарах наличествует только шестнадцать кроватей, а в кассе — всего 264 франка. Ни одного пансионера. Следовательно, самой насущной задачей становится приведение в порядок помещений; и Кульмье с присущей ему энергией приступает к ее выполнению. За три года он добивается от государства субсидий на ремонт всего лишь на сумму в 43 000 ливров, что заставляет его вкладывать в реконструкцию собственные средства, и она идет полным ходом. В 1800 году площадь, занимаемая постройками, увеличилась в три раза по сравнению с первоначальной. Так же как и в Аббекуре, он сам, без помощи архитектора, составляет проекты, а каменно-строительные работы поручает одному из местных жителей. Однако все работы находятся под постоянным надзором архитекторов Пейра, Васло, Муше и Жалье.

Первоначально нехватка помещений позволяла принимать в Шарантоне только местных больных, присылаемых префектом полиции (всего пятнадцать пансионеров), а также больных, переведенных из бывшего приюта Санлис. Но Кульмье очень быстро расширяет площади для приема и лечения значительного числа страждущих; он сооружает новые отделения и для мужчин, и для женщин, распределяет пациентов по их заболеваниям (ипохондрия, меланхолия, безумие, мании, слабоумие), изолирует «буйных, беспокойных и шумных» в специально отведенных для них помещениях. Число пансионеров постоянно возрастает: если с 1797 по 1800 год в лечебницу поступило 202 больных, то в период с 1800 по 1805 год — уже 434, а между 1805 и 1810 годами — 1007 больных[20].

Увеличение потока пациентов и связанное с ним число исцелений создают репутацию заведения, которое из «приюта для сумасшедших» постепенно превращается в «дом безумцев», а затем в «клинику Шарантон». Министры Шапталь и Шампаньи посещают дом и приносят свои поздравления его директору. Иностранные врачи перенимают опыт

обустройства помещений и методы лечения. Вскоре Кульмье за свою деятельность получает орден Почетного легиона.

Именно в лечении больных главный директор Шарантона проявил себя новатором и гуманистом. Однако это не избавило его от критики, а его великодушие и либерализм далеко не всем оказались по душе. Медицинский факультет скопом обрушился на священника-расстригу, ставшего «администратором» психиатрической лечебницы, не имея медицинского образования[21].

Честно говоря, он никогда не смог бы применить свои методы, если бы не главный врач, доктор Гастальди, бывший психиатр из психиатрической лечебницы «Провиданс» в Авиньоне, той самой, где в свое время маркизу де Саду выдали незаконную справку.

Жан-Батист Жозеф Гастальди принадлежал к старинному провансальскому роду, где профессия врача передавалась от отца к сыну. Он родился в Авиньоне в 1741 году и фактически был ровесником Кульмье. Оба они разделяли одни и те же, исключительно современные, взгляды на лечение психических заболеваний и во всем полностью доверяли друг другу. Так как Гастальди жил в Париже и приезжал в Сен-Морис два раза в неделю, то Кульмье приходилось наравне с ним разделять ответственность главного врача. Для человека, и без того поглощенного административными заботами, подобная концентрация власти была не только тяжела: она порождала множество завистников и недоброжелателей. Особенно в политических и медицинских кругах, ибо в самом Шарантоне он благодаря человечности и уму сумел снискать всеобщие симпатии; те, кто работал в этом заведении, равно как и его пациенты, относились к нему с превеликим уважением.

Кульмье также помогал главный хирург Дегиз, бывший ученик Гастальди, проживавший неподалеку от лечебницы, и главный надзиратель, исполнявший обязанности эконома. На этот пост он пригласил человека, которому вполне мог доверять, а именно присягнувшего священника по имени Дюмустье, бывшего приора аббатства Аббекур.

Образцовая клиника или лагерь смерти?

Вдохновляясь идеями Пинеля, используя методы, весьма сходные с теми, что применял знаменитый психиатр, в терапии Кульмье и Гастальди предпочитали «нравственные методы» диетам, кровопусканиям, очистительным процедурам и антиспазматическим средствам, которыми злоупотребляли в те времена, применяя их без учета конкретного заболевания и причин его возникновения. В Шарантоне каждому больному назначалось лечение как в соответствии с природой его заболевания, так и в согласии с принципами обещечеловеческого гуманизма. Шарль Франсуа Жироди, помощник главного врача в Шарантоне, свидетельствует об этом в своем описании лечебницы, составленном им в 1804 году, то есть спустя год после поступления туда де Сада:

Национальная лечебница в Шарантоне является первой во Франции, предназначенной исключительно для страдающих психическими недугами, первая, где

присутствие неисцелимых больных нисколько не вредит тем, у кого есть надежда вылечиться, где на любых больных смотрят как на людей, обладающих определенными правами, где они не подвергаются ни жестокому обращению, ни насмешкам, ни надеванию кандалов, ни прочим бесчеловечным способам лечения; где изначально нет никакой рутины, из-за которой многие привыкли слепо полагаться исключительно на эмпирические методы лечения; здесь ни у кого нет никаких предрассудков; одним словом, это первая клиника, где на практике применяются наисовременнейшие методы лечения психических заболеваний. <...> По природе своей и своему положению этому заведению суждено стать одним из самых прекрасных памятников благотворительности в Европе[22].

Многие найдут нарисованную картину излишне радужной. И это неудивительно. Жироди сделал свой отчет по заказу министра внутренних дел, которому он и вручил его 5 апреля 1804 года, во время официального посещения министром Шарантона. Разумеется, реальность была далеко не столь блестяща. Однако стоит ли впадать в противоположную крайность и выставлять дом в Сен-Морисе этаким лагерем смерти?

А именно таким его рисует бывший офицер кавалерии по имени Ипполит де Колен, отправленный в 1810 году в Императорскую ветеринарную школу в Альфоре для прохождения курса по лечению лошадей. Сгорая от любопытства узнать, что происходит за стенами расположенной по соседству лечебницы Шарантон, он сумел войти в доверие к персоналу и, по его собственным словам, в течение нескольких недель осматривал все ее углы и закоулки, после чего изложил свои впечатления в записке, составленной им в июне 1812 года и отправленной министру внутренних дел, тому самому, кому подавал свой доклад Жироди, однако с совершенно противоположными намерениями и гораздо менее оптимистическими выводами.

По его словам, Шарантон являлся настоящей каторгой, богадельней и местом пыток. К примеру, он указывает на бесчеловечное содержание больных, помещаемых по двое или даже по трое в камеры шириной не более трех метров. «Камеры первого этажа, – пишет он, расположены на метр ниже уровня пола»; охранники набивают туда несчастных, без различия пола и возраста, тех, кого признали «нечистоплотными» или же решили подвергнуть наказанию.

Там, – продолжает офицер, – все спят на соломе, почти ни у кого нет одеял. <...> Второй и третий этажи организованы также отвратительно, и если даже в тамошних комнатах нет сырости, все равно они столь грязны, что пребывание в них вредно для здоровья. Стены грязные, в потеках, успевших за многолетнее там пребывание намертво присохнуть. Воздух нездоровый, зараженный запахами, исходящими от больных; в этой удушливой атмосфере никогда не бывает сквозняков. К больничным запахам прибавляются запахи отхожих мест, размещенных в основном в конце коридоров; при малейшем изменении погоды места сии распространяют поистине невыносимый запах[23].

Также Колен разоблачает лечение при помощи душа, «сильной струи воды, низвергающейся с изрядной высоты и вызывающей у больного сильнейшее потрясение, остановку дыхания и чаще всего обострение болезни». В дополнение к уже нарисованной картине он в подроб-

ностях расписывает одну, еще более устрашающую пытку, именуемую «внезапным купанием».

Больного с завязанными глазами сажают на край бассейна, затем берут за волосы, резко дергают назад, чтобы он свалился в холодную воду, и в течение нескольких секунд удерживают в этой воде. После чего пациента вытаскивают из бассейна и на пять или шесть минут сажают в кресло под душ[24].

Возможно, врачи уповали на целительное действие шока, происходившего из-за внезапного погружения в воду, однако их коллега Эскироль считал такой метод бессмысленным: по его мнению, наоборот, «ванны ужаса» только травмируют больного.

Несмотря на свою тенденциозность, доклад Колена, стал предметом для разбирательства. Согласно доктору Рамону, назначенному в Шарантон в 1814 году (о нем мы поговорим позднее), означенный офицер был связан с одним из служащих лечебницы, через которого раздобыл документы, подтверждавшие сделанные в записке выводы. Со слов того же Рамона, оба субъекта старались произвести в лечебнице «потрясение», именно поэтому записка Колена была тайно доставлена в бюро министра внутренних дел Монталиве. Но, в конце концов, Колена учили лечить лошадей, а вовсе не душевнобольных: он совершенно не разбирался в психиатрии. И вполне естественно, что некоторые вещи вызвали у него возмущение. Если бы он посетил другие лечебницы, например, Сальпетриер или Отель-Дье, он обнаружил бы, что там применяют те же методы лечения, ибо иные тогда просто не были известны. Некоторые из этих методов, как, например, помещение пациента под струю ледяной воды, с высоты низвергающейся ему на голову, сегодня кажутся варварскими, однако до изобретения нейролептиков, то есть немногим более пятидесяти лет назад, они были еще в ходу. И тогдашние душевые для буйнопомешанных, действительно напоминали камеры пыток. Но, бесспорно, записка Колена отмечена недоброжелательностью, если не сказать клеветой. Более того, доклад пестрит неточностями, сплетнями, сведениями, полученными из вторых рук, от лиц ненадежных, включая недовольных охранников и бредящих параноиков: а в Шарантоне было немало пациентов, страдавших манией преследования! Поэтому к свидетельствам его следует относиться весьма критически. Великий психиатр Эскироль, в чьи руки попала записка Колена, решил воспользоваться ею для составления собственного доклада о Шарантоне[25]. Его выводы оказались гораздо более сдержанными. Если он и упрекает Кульмье в отсутствии системы в руководстве, в пристрастии к секретности и, главное, в страсти к спектаклям, то в методах лечения усматривает не слишком много недостатков. Помимо пресловутых «ванн ужаса», ни один из применяемых способов лечения не вызывает его возмущения, каким бы странным или жестоким он ни казался: ни полый манекен, сплетенный из ивовых прутьев, куда помещают буйнопомешанных, ни деревянный ящик, куда закладывают меланхоликов, страдающих манией самоубийства (чтобы привить им отвращение к гробу). А когда через несколько лет подобные способы лечения исчезают, он просто радуется, видя в

этом необратимую поступь прогресса; «нам хватает одной смирительной рубашки», — заявляет он. Самой суровой критике подверглись те методы и приемы, которые показались ему непоследовательными, в частности, театральные спектакли, в целительной действенности которых он сильно сомневается. И все же после прочтения его заметок остается впечатление, что, несмотря на все свои недостатки, Шарантон по тем временам являл собой самое современное заведение, предназначенное для пребывания и лечения душевнобольных. Человек исключительной честности и поразительной скромности, доктор Рамон характеризует административную систему Кульмье следующим образом:

Господин де Кульмье осуществлял единоличное, поистине деспотическое правление, однако деспотизм его не имел ничего общего ни с жестокостью, ни с суровостью, и можно с уверенностью сказать, что Кульмье был любим всеми, кем руководил, как служащими, так и пациентами. Это было отеческое правление, допускавшее множество дисциплинарных послаблений[26].

Заметки доктора Рамона о лечебнице в Шарантоне не отличаются ни особой снисходительностью, ни излишней желчностью. Но, как и в докладе Эскироля, в них нет озлобленности, присущей докладу Колена. Оба говорят с позиций практикующих врачей, что, бесспорно, придает вес их высказываниям — по сравнению с путаными рассуждениями кавалерийского офицера. Как и его собрат, Рамон практически не предъявляет претензий к терапевтическим методам, считая их вполне удовлетворительными; основной объект его критики — атмосфера, царящая в Шарантоне. Он возражает против излишней, на его взгляд, снисходительности со стороны Кульмье, упрекает его в попустительстве и даже поощрении легкомысленных нравов, полагая их «не совсем уместными» в таком заведении, как лечебница для душевнобольных.

Там проходили собрания, балы, концерты, театральные представления. <...> Сплошные торжества, балы, концерты, театральные постановки, на которые приглашалось множество иностранцев, литераторов и театральных знаменитостей, в основном из актеров и актрис бульварных театров[27].

Вот уж поистине удачный момент для выхода на сцену г-на де Сада...

Обустройство г-на де Сада

Маркиз де Сад, значащийся согласно своеобразной административной формулировке «полицейским больным», поступил в Шарантон в возрасте шестидесяти трех лет. Лечебница эта ему уже знакома: в ней, как мы помним, он провел первые восемь месяцев после революции. Похоже, симпатия между Кульмье и новым пансионером возникла необычайно быстро. Оба имели склонность к дамскому полу и либертинажу, обожали удовольствия и были страстными поклонниками театра и всего, что с ним связано: концертов, балов, всевозможных зрелищ. Не забывая, разумеется, о хорошеньких актрисах и интимных ужинах после спектаклей. Завязавшаяся дружба была отнюдь не безоблачной. Да и как могло быть иначе? Тиранический характер де Сада, ставший

еще более желчным из-за лишения свободы, его нетерпимость, вечные сетования, и, наконец, паранойя с возрастом лишь усилились. И положение Кульмье было достаточно щекотливым: он разрывался между требованиями своего любимого пансионера и бдительным надзором министра-попечителя. В 1805 году он открыто вступил в борьбу с главным врачом Руайе-Коларом, категорически возражавшим против присутствия в Шарантоне печально знаменитого автора «Жюльетты». А если прибавить к этому доносы и интгриги, вызревавшие в этом маленьком сообществе за высоким забором, легко понять, что довольно часто настроение Кульмье было далеко не безмятежным[28].

* * *

С самого начала Сад, безусловно, пользовался рядом привилегий. Ему предоставляют жилье в правом крыле больничного здания, на третьем этаже, где он занимает небольшую, но приятную комнату с примыкающей к ней маленькой библиотекой, окна которой, как и окна комнаты, выходят на зеленый берег Марны. Имеется даже крохотная прихожая, откуда дверь ведет в кабинет. Обои и мебель обычные и особого интереса не представляют: свидетельство о равнодушии жильца к подобного рода вещам. В спальне стоит дешевая кровать на низких ножках, завешенная пологом из «плохонького ситчика»; кресло «бержер» обито желтым утрехтским бархатом, с подушкой; есть старый почерневший письменный стол, комод из наборного дерева с мраморной столешницей, зеркало в деревянной раме серого цвета, старая ширма, два плетеных стула, камин с подставкой для дров, совком и щипцами; на окнах белые с красным занавески из бумажной материи, на стенах портрет его отца, Жан-Батиста Франсуа-Жозефа де Сада в доспехах, написанный Наттье, и четыре миниатюры: его мать Элеонор Майе; столь им любимая Анн-Проспер де Лонэ, его старший сын Луи-Мари и мадемуазель де Шаролэ в рясе монаха-кордельера. В кабинете, дверь которого выходит в прихожую, стоят: чемодан, маленький столик, два плетеных стула, три шерстяных тюфяка, «покрытых холстом в белую и синюю клетку». В комнате, где расположена библиотека, имеется «дурной письменный стол», кресло, две «старые занавески из бумажной материи», такие же, как и в спальне, и три принадлежащие больнице полки, где разместились около двухсот пятидесяти томов: семьдесят томов сочинений Вольтера, вышедшие в издательстве Келя[29], «Принцесса Клевская», «Дон Кихот», «Дух Сенеки», «Сочинения» Тацита, «Мемуары» кардинала де Реца, «Завещание» Ришелье, сочинения Жан-Жака Руссо и Кондильяка, «Порнограф» Ретифа де Ла Бретона, «Основы Ньютоновой физики». А также его собственные произведения — те, авторство которых он признает: «Алина и Валькур» и «Преступления любви».

Господин де Сад охотно гуляет в парке, держит открытый стол, принимает у себя некоторых больных и сам отдает визиты, одалживает книги. У него есть все для спокойной жизни — кроме свободы. Ему даже дозволена семейная жизнь: с августа 1804 года вместе с ним, на

основании специального разрешения Кульмье, живет прибывшая в Шарантон Констанс; недавно обнаружено письмо, где директор сообщает об этом Клоду Арману:

Отец Ваш чувствует себя прекрасно и, похоже, весьма доволен моим согласием на проживание в доме в качестве пансионерки мадам Кене. Я готов уладить возникающие в связи с этим трудности, полагая таким образом смягчить участь г-на де Сада, который, как мне кажется, очень желал этого приезда. Рад, что могу оказать ему услугу, и надеюсь, он не станет злоупотреблять ею <...>[30].

Принятая в качестве «вольной пансионерки», Констанс поселится в комнате, соседней с апартаментами Донасьена, и тот станет выдавать ее за свою внебрачную дочь.

«Разрушенный Содом»

Несмотря на многие преимущества, которыми он обладает по сравнению с товарищами по несчастью — душевнобольными или такими же, как и он, больными «политическими», Сад постоянно пребывает под бдительным надзором. К нему в комнаты часто наведываются полицейские, готовые арестовать любую рукопись непристойного содержания, если таковая будет обнаружена. А 1 мая 1804 года префект приказывает произвести обыск в его бумагах и сообщить ему, что, «ежели он продолжит бунтовать, его переведут в Бисетр». Также префект просит Кульмье «в случае неисполнения данным больным Ваших распоряжений наказывать его одиночным заключением»[31].

В принципе, маркиз не имеет права выходить за пределы лечебницы. Однако в 1805 году, в день Пасхи Кульмье разрешает своему пансионеру вкусить освященного хлеба и помолиться в приходской церкви Сен-Мориса (странное занятие для закоренелого атеиста!). На следующий день директор получает от префекта полиции весьма суровое предупреждение:

Этот человек не был переведен в Бисетр, где ему суждено было провести остаток дней своих, исключительно ради его семьи, дабы способствовать ей в улаживании дел. <...> У Вас он находится на правах узника, и Вы ни в коем случае и ни под каким предлогом не можете и не должны позволять ему покидать стены Вашего заведения без специального и официального моего разрешения. Неужели Вы забыли, что присутствие подобного субъекта внушает непомерный ужас и возбуждает волнение среди публики?

Ваша крайняя снисходительность по отношению к г-ну де Саду чрезвычайно удивляет меня, ибо Вы сами — и неоднократно! — горько жаловались мне на его поведение, а в особенности на его неповиновение.

Напоминаю Вам, сударь, распоряжения, данные относительно сего субъекта, и предлагаю отныне строго их соблюдать <...>[32].

Пятого июня 1807 года — на этот раз по приказу самого министра — к Саду вновь являются полицейские, дабы

<...> проверить, не сочиняет ли г-н де Сад, заключенный в лечебницу Шарантон, очередной непристойный роман, где он с преступными намерениями выводит всем известных лиц, а также ведет речь о событиях, связанных с внешней политикой[33].

Полицейские ищейки обнаруживают у него «множество бумаг, а также приспособления для самого отвратительного либертинажа»; это доказывает, что он все еще не отказался от мастурбации. В неизданном до настоящего времени докладе префекта Дюбуа, адресованном министру полиции, должность которого в то время занимал Фуше, говорится:

Меня известили, что некая женщина по имени Кене, являющаяся, по всей видимости, дочерью и любовницей де Сада, проживает пансионеркой там же, где и сам де Сад. Поэтому я приказал провести обыск также и у нее в апартаментах. Именно у нее была найдена рукопись, из которой должно было бы получиться десять печатных томиков. Рукопись эта озаглавлена: «Беседы в замке Флорбель», сочинение нравственное и философическое, за которым следуют «История святого блаженного аббата Модоза» и «Благочестивые записки Эмили де Вальроз», сопровождаемые назидательными гравюрами[34].

На первом томе стоит дата — 1799 год, однако из других источников известно, что Сад только что завершил работу над этим сочинением, а окончательное название было дано только 29 апреля 18007 года («Дни в замке Флорбель, или Разоблаченная природа»), то есть примерно за месяц до ареста рукописи.

Содержание сей рукописи поистине возмутительно, — продолжает Дюбуа. — Похоже, де Сад пожелал превзойти ужасы «Жюстины» и «Жюльетты». Можно бесконечно подбирать самые кошмарные эпитеты, их все равно не хватит для характеристики этого адского сочинения. Невозможно читать подряд все десять томов, наполненных жестокостями, богохульствами и нечестивыми речами. В них царят непристойность и самый утонченный разврат, любая выходка персонажей находит свое обоснование, но, к счастью, мало кто из людей способен на подобные поступки[35].

Этот литературный памятник, игриво названный Жильбером Лели «посрамленным Содомом», был доставлен в префектуру полиции вместе с кипой тетрадей, исписанных той же самой рукой. Сад больше никогда не увидит этих рукописей: после его смерти «Дни в замке Флорбель» будут преданы огню по приказу префекта полиции Делаво и по просьбе собственного сына маркиза Клода Армана, который будет лично присутствовать на этом аутодафе[36].

Во время того же обыска в спальне маркиза будут найдены рукописные комедии, письма, «отрывки из сочинений нечестивых и развратных», семейные бумаги, а главное, «рукописные дневники, куда он ежедневно скрупулезно заносил все, что он делает, и все, что ему говорят по поводу состояния его домашних дел». Два фрагмента из этого «Дневника» обнаружены нынешним графом де Садом (они опубликованы в 1970 году Жоржем Дома). Первый фрагмент относится к периоду с 5 июня 1807 года по 26 августа 1808 года, второй охватывает отрезок времени с 18 июля по 30 ноября 1814 года, то есть завершается за два дня до смерти Донасьена[37]. Эти бесценные листки сообщают нам подробности о последних годах жизни Донасьена в Шарантоне.

Доклад Дюбуа, недавно обнаруженный в Национальном архиве, также содержит удивительное для нас открытие. В числе писем, полученных маркизом с начала его заточения,

<...> имеются, – как отмечает префект, – весьма примечательные, написанные одной и той же рукой, что доказывает наличие у него учеников, столь же ужасных, как их наставник. Ему шлют описания сцен безудержного разврата, якобы происходившие совсем недавно, похваляются тем, что посредством некоего напитка сумели уморить медленной смертью многих женщин, успев прежде насладиться ими всеми возможными способами, истерзав их и нацедив из них три огромных бутыли крови. Надеюсь, я сумею найти автора и этих писем, и этих преступлений. Полагаю, ему не удастся скрыться от моих ищеек, коих я уже пустил по следу.

Сумел ли Дюбуа найти таинственного адепта маркиза, остается загадкой. Шансов отыскать эти письма крайне мало, и потому автор их скорее всего навсегда останется для нас анонимным.

Что же касается «отрывков из сочинений нечестивых и развратных» самого Сада, то Дюбуа ограничивается одним примером. Не имея возможности прочесть рассказ в изложении де Сада, нам придется удовлетвориться его полицейской версией:

Там есть один отрывок, где автор рассказывает о первой ступени либертинажа, на которую он, по его собственным словам, ступил, прежде чем окончательно свернул на сию стезю, где вскоре чрезвычайно быстро преуспел. Он рассказывает, что, после того как заставил содомизировать себя с пяти утра и до восьми, он, руководствуясь внушенным ему приницfolгипом, согласно которому следует сочетать либертинаж с нечестием, отправился к исповеди и причастию, дабы затем остаток дня предаваться самому наиразнузданнейшему разврату[38].

Несколько невыразительных строк, вышедших из-под пера префекта полиции, заставляют нас еще больше сожалеть об утрате оригинала, исчезнувшего скорее всего навсегда.

«Я вас умоляю»

Отличаясь поистине маниакальной страстью писать петиции, вероятно, Сад, стремясь вырваться на свободу, не оставлял своего любимого занятия. До самого конца, вплоть до 1814 года, он не пренебрегал ни единым способом, чтобы выразить протест против заключения его в темницу. Спустя год после прибытия в Шарантон он через Констанс Кене обратился к министру юстиции, полагая, видимо, что наивный стиль изложения и неуверенная орфография его нежной подруги способны смягчить главного судейского чиновника:

От имени де Сада умоляю Вас предоставить ему свободу, которой он лишен вот уже три года по одному простому подозрению, а потому он просит у Вас справедливости, а заключен он сейчас в Шарантонский дом. Прошу вас, гражданин Главный Судья, навести справки об этом деле, и коли Вы это сделаете, то очень обяжете Вашу почтительнейшую слугу

23 жерминаля в 12 часов [13 апреля 1804 года], *Кене.*
бульвар Сен-Мартен, № 166,
дом мэтра обойщика[39].

«Главный Судья» остался холоден как мрамор.

Однако вскоре рождается новая надежда. 18 мая 1804 г. Сад узнает о создании комиссии из семи человек, назначенных Сенатом из числа

своих членов, для выяснения статуса лиц, арестованных, но не представших перед судом в десятидневный срок со времени ареста. Она носит название Сенатской комиссии по свободе личности, и все нуждающиеся могут в нее обратиться. Если комиссия признает, что заключение сроком более десяти дней не оправдано государственными интересами, она предлагает соответствующему министерству либо освободить заключенного, либо подготовить все необходимые бумаги для представления их в гражданский суд. Если после трех последовательных запросов, сделанных в течение месяца, узника по-прежнему обнаружат в заточении, Сенат провозгласит его тюремное заключение актом произвола.

Комиссию едва успели создать, она функционирует всего несколько дней, а де Сад уже обращается к ее членам с резким протестом: «Уже три года и четыре месяца, как я несправедливо пребываю в цепях, стеная от жесточайшей несправедливости, допущенной по отношению ко мне», — пишет он. Стремясь определить причины этого заключения, он продолжает следующим образом:

Причину заточения своего я вижу в ужасном сговоре родственников, чьи поступки и мнения я не пожелал разделить во время революции. <...> Они ловко воспользовались тем скудным кредитом доверия, который им удалось получить после своего возвращения во Францию, дабы погубить того, кто, хотя и принадлежал к их среде, тем не менее не пожелал последовать за ними.

Это уже нечто новое. Впервые он доносит на собственных детей (ибо речь идет именно о них), называя их своими угнетателями. После смерти Монтреев они становятся для него козлами отпущения. Прошение свое он завершает на поистине лирической ноте:

Сенаторы, новый порядок вещей делает вас судьями и арбитрами моей судьбы. С этой минуты я молю вас; и с этой минуты я спокоен, ибо теперь судьба моя, сколь бы несчастна она ни была, находится в священных руках гения, мудрости, правосудия и разума[40].

Вряд ли Сад был безоговорочно уверен в «гении» имперских сенаторов. Скорее автор «Жюстины» мог рассчитывать на отказ, причем без всяких объяснений. И все же сенаторы решили произвести следствие. Тогда префект Дюбуа подал в форме докладной записки удручающий отчет о поведении маркиза, начиная с ареста у Массе и до заключения в Шарантон, завершив его такими словами: «Я полагаю, следует оставить его в Шарантоне навсегда; семья оплачивает его содержание и, желая сохранить свою честь, стремится оставить его там». Именно благодаря этому документу мы смогли восстановить жизненный путь де Сада с 1801 по 1803 год[41].

Видя безразличие сенатской комиссии, Донасьен решается обратиться напрямую к министру полиции Жозефу Фуше:

Сударь!

Уже *четые года*, как меня без всякого на то *законного основания* лишают свободы; только благодаря имеющейся у меня склонности к философии я до сего дня мог терпеть различные притеснения, чинимые под предлогами либо легковесными, либо просто смешными.

Никогда еще законы и постановления, касающиеся свободы личности, столь грубо не попирались, как это происходит в моем случае; меня упорно держат под замком *без суда* и даже *без какого-либо законного постановления*, всего лишь на основании утверждения, что я якобы являюсь автором некоего непристойного сочинения, а также по причине неких историй, якобы заимствованных из моей частной жизни, однако ни одна из них *не имеет под собой оснований*.

Поэтому, сударь, стремясь вернуть себе свободу, я вынужден обращаться к Вам и к Вашему чувству справедливости, ибо в моем случае попраны все законы и доводы разума, а ведь *и те и другие неопровержимо требуют моего освобождения*.

Смею надеяться, сударь, что Вы удовлетворите просьбу *шестидесятилетнего старца*, который будет обязан Вам всем самым для него дорогим на этом свете.

Имею честь <...>[42].

Спустя три месяца узник опять пишет прошение тому же самому министру, дабы тот разрешил ему съездить в Париж в связи с необходимостью привести в порядок дела. При этом он не забывает напомнить, что порядок, заведенный в Шарантоне, отнюдь не тюремный: формально дом этот не рассматривается как место заключения[43]. Очередной отказ. Донасьен не отчаивается, и в 1806 году предпринимает новый демарш: просит разрешения два раза в неделю покидать Шарантон для «осуществления надзора за своими делами» и дает слово непременно возвращаться к вечеру и пользоваться полученным разрешением только в случае крайней необходимости. На что министр пишет краткий ответ и направляет его Кульмье:

Бывший маркиз де Сад слишком известен, равно как и его отвратительные сочинения, поэтому я не имею никакого желания изучать подробности его дела. Той свободы, которой он пользуется в пределах лечебницы, для него и так слишком много. А если его вдобавок еще станут встречать на улицах, тогда скандала точно не избежать[44].

Неудобный пансионер

Хотя ему созданы поистине исключительные условия, г-н де Сад с самых первых дней проявляет себя как совершенно невозможный пансионер. Его вечные жалобы, требования, вспышки гнева постоянно подвергают испытанию терпение Кульмье, питающего к маркизу добрые чувства. А тот уже через два месяца начинает яростные нападки на методы руководства, используемые директором, и пишет ему одну из своих записок, на составлении которых он «съел собаку», завершает ее такими словами: «В остальном же, полагаю, Вам известно, что Ваше поведение по отношению ко мне ставит Вас на один уровень с самыми низменными лакеями»[45]. В первый раз г-на Кульмье смеют называть «лакеем».

Менее чем через год, в апреле 1804 год, начинается новый скандал, однако на этот раз он обходится маркизу довольно дорого. Вот как рассказывает о нем Кульмье в своем письме, недавно найденном и адресованном Клоду Арману де Саду:

Как бы ни неприятно было мне, сударь, однако я полагаю необходимым предупредить Вас, что в результате ужасной сцены, устроенной мне г-ном де Садом, я вынужден был призвать префекта полиции и попросить его увести г-на маркиза,

ибо говорить с ним, а тем более обсуждать какие-либо дела было невозможно: он пребывал в состоянии поистине невменяемом. <...> На предъявленные ему вполне умеренные требования он отвечал необычайно гневно, сказал, что я <...> мерзавец, клеветник и вор, и осыпал меня еще более ужасными оскорблениями, воспроизводить кои не стану, ибо не желаю пачкать ими бумагу.

Полагаю, сударь, что при всем моем желании оказать услугу столь почтенной семье, я более не вправе и не намерен подвергаться подобным оскорблениям, и прежде всего по причине занимаемого мною поста. Не стану напоминать Вам ни об оказанных ему услугах, ни о моем желании смягчить его участь. В заведении, предназначенном для лечения несчастных, лишившихся разума, невозможно содержать лицо, препятствующее использованию методов, направленных на их исцеление, тем более если лицо это по поведению своему также нуждается в самом пристальном надзоре. Поэтому я направил в префектуру полиции бумагу, где настойчиво прошу забрать из вверенного мне заведения г-на де Сада. Я счел своим долгом известить Вас о сем прискорбном случае, дабы Вы могли предпринять соответствующие меры[16].

Находящийся в это время в Эшофуре Клод Арман умоляет директора забрать жалобу и не предпринимать никаких мер до его возвращения; они вместе рассмотрят создавшуюся ситуацию. Кульмье соглашается придержать записку, но при этом пишет:

Я не ставлю своей целью делать людей несчастными, но я не способен хладнокровно терпеть людские глупости, тем более глупости жестокие. <...> Я не стремлюсь, — добавляет он, — убедить всех в правоте своих методов, но тем не менее нисколько не заслуживаю подобного обхождения. До Вашего возвращения я не стану предпринимать никаких шагов, можете на меня положиться. Однако замечу, что отныне вышеуказанное лицо будет содержаться исключительно в отведенных ему апартаментах. Осторожность требует соблюдения сей меры, и она будет исполняться неукоснительно[17].

Будучи человеком незлобивым, через пять месяцев Кульмье согласится поселить в Шарантоне Констанс Кене.

* * *

Все эти ссоры и раздоры — недолговечные, ибо оба их участника довольно быстро мирятся, чтобы спустя несколько недель разругаться вновь — не должны заставить нас забыть о том, что в Шарантоне Сад пользуется особым уважением и относительной свободой. В лице Кульмье он имеет скорее союзника, нежели противника, а посему часто злоупотребляет его терпением, что, впрочем, он умеет делать виртуозно. Со своей стороны директор Шарантона питает к беспокойному пациенту противоречивые чувства. То и дело впадая в отчаяние от его тиранического поведения, он тем не менее даже испытывает некую гордость от того, что в подведомственном ему заведении содержится такая персона. Пребывая под впечатлением репутации литератора и дворянских манер Сада, он находил в его обществе, подчас столь грозном, очарование светской беседы, утолял свою страсть к парадоксам, к изысканному полету мысли, наслаждался широтой его культурных интересов, словом, получал все то, чего так не хватало ему самому, чиновнику с весьма посредственным образованием, попавшему на должность директора лечебницы. Одним словом, сей нераскаявшийся пациент в конце

концов стал ему необходим; его провокационные выходки, оскорбления и неукротимая натура приворожили директора окончательно.

* * *

А из того общего, в чем их взгляды на лечение душевнобольных совпадали, родилось содружество, хотя и совершенно иного рода. Кульмье всегда верил в благотворное влияние зрелищ на лечение больных с умственными расстройствами. Прибытие в Шарантон де Сада предоставило ему неожиданную возможность на деле проверить правоту своих концепций. Подобно маркизу, всю жизнь питавшему неистребимую страсть к театру, он быстро стал распорядителем зрелищ, надолго приковавших к себе внимание современных хроникеров.

«Невинные забавы»

Если практика устроительства театральных зрелищ прекрасно вписывалась в проект «моральных методов лечения», определяемых Кульмье, то, когда речь заходит о практической их реализации, нельзя не подчеркнуть решающую роль главного врача Гастальди.

> Именно в школе этого опытного медика, — пишет Кульмье в своем «Кратком описании лечебницы Шарантон», примечательном памятнике эпохи, к сожалению, до сих пор не изданном, — благодаря его советам, исходящим из богатого опыта, искали мы способы лечения. Исполнившись филантропическими размышлениями, он говорил мне: «Мой дорогой директор, четверть часа радости, которые мы подарим нашим больным, удвоит наши гонорары и станет для нас самым сладостным вознаграждением». Мы вместе приложим старания, чтобы рассеять их мрачное настроение наивными играми, концертами, танцами, театральными постановками, где роли будут исполнять сами пациенты, что, несомненно, пробудит среди них истинный дух соревнования, желание сделать так же, заслужить такие же аплодисменты, которые заслужили их товарищи по несчастью. Эти занятия поддержат их стремление вести активную жизнь, развеют меланхолию, столь часто порождающую безумие. <...> Такой моральный способ лечения одобрен самыми почтенными лицами, а также иностранцами, с нетерпением ждущими своей очереди на получение входного билета, дабы стать свидетелями воздействия искусства как на моральное, так и на физическое здоровье больных; методы эти снискали лечебнице в Шарантоне совершенно особую репутацию[48].

И все же есть имя, которое Кульмье предпочитает замалчивать, хотя именно на этом человеке и держится все его театральное здание: это маркиз де Сад. Автор, актер, директор труппы, режиссер-постановщик, декоратор и «пресс-атташе» в одном лице, Сад станет подлинным «художественным руководителем» постановок и будет оставаться им вплоть до 1813 года, когда на устройство спектаклей в Шарантоне наложат запрет.

* * *

Для организации сеансов такой коллективной терапии требовалось соответствующее помещение. По указаниям маркиза Кульмье соорудил

непосредственно над женским залом настоящий театр, с подмостками, кулисами, ложами, оркестровой ямой, зрительским партером. Прямо напротив сцены, выше уровня партера, была сооружена парадная ложа для директора и его гостей. С каждой стороны этой ложи поднимались ступени, предназначенные с одной стороны для двух десятков мужчин, а сдругой — для такого же количества женщин, отбиравшихся среди наиболее смирных душевнобольных. Г-жа Кене также имела в своем распоряжении ложу на семь мест. Всего зрительный зал вмещал в себя двести человек; попасть на спектакли можно было только по приглашению. Первые представления состоялись в начале 1805 г.[49]

Новость о спектаклях в Шарантоне стремительно распространилась по Парижу. Сначала ее встретили скептически, однако затем любопытство возобладало; некоторые интеллектуалы воспылали желанием ознакомиться с подобного рода зрелищами. И вскоре среди великосветской публики стало особым шиком посещение спектаклей в Шарантоне. Аристократы оспаривали честь получить приглашение, пели хвалы дерзкому маркизу, впервые рискнувшему выпустить на подмостки сумасшедших. Великосветские дамы толпами хлынули на представления.

Маркиз ликовал. Набрав основной состав труппы среди пациентов лечебницы, на главные роли он все же пригласил профессиональных актеров и актрис; вести репетиции ему помогала Сент-Обен, актриса из Опера Комик. По необходимости он мог исполнять обязанности машиниста сцены или даже суфлера: в театре ничто не было чуждо его таланту. В день премьеры он суетился, словно кастелян замка перед приемом высокопоставленных гостей. И пока Сансибль занимала приглашенных, он раздавал входные билеты, не забывая при этом оказывать всяческие знаки внимания своим звездам сцены и участникам балета. После спектакля он приглашал на ужин самых хорошеньких актрис.

Представления устраивали раз в месяц; обычно в один вечер давали по две пьесы: оперу и драму или комедию. Иногда показывали еще балет, а вечерами устраивали праздник с фейерверком.

Сохранился список привилегированных лиц, получивших приглашения на эти необычные вечера. Среди них фигурирует дама из окружения королевы Гортензии, Луиза Кошле. Сад адресовал ей вот такое письмо:

Представление состоится 23 мая 1810 года.

Интерес, проявленный Вами к драматическим постановкам, сделанным силами пансионеров *моего дома*, обязывает меня дарить Вам билеты на каждый спектакль.

Такие зрительницы, как Вы, сударыня, обладают поистине могущественным воздействием на самолюбие актеров, кои, стремясь завоевать Ваше внимание и понравиться Вам, обретают все необходимое, что требуется для вдохновения, пробуждения их воображения и питания их таланта.

В ближайший понедельник, 28 числа текущего месяца, они дают пьесы «Противоречивый ум», «Мартон и Фронтен» и «Два савояра».

Жду Ваших приказаний относительно отправки билетов, дабы согласовать число их с Вашими желаниями, и прошу выразить все мое почтение придворным

дамам двора Ее Величества королевы Голландии, принцессы, чьи редкостные и бесценные качества пленяют сердца французов, пробуждая в них признательность к тем, кем она правит.

Сад

Разумеется, привлекает внимание выражение «пансионеров моего дома»: словно маркиз рассказывает о своем замке Ла-Кост и актерах, которых некогда нанимал для развлечения общества. Отметим также, что ни одна из названных пьес ему не принадлежит: все три написаны весьма посредственными литераторами, сегодня прочно забытыми. Комедия «Противоречивый ум» вышла из-под пера Дюфрена, ее постановка в Комеди Франсэз датируется 1700 годом, одноактная комедия в прозе «Мартон и Фронтен, или Лакеи осаждают» написана Жан-Батистом Дюбуа и была поставлена в 1804 году в театре Лувуа. «Два маленьких савояра», комическая опера Далайрака на либретто Марсолье, впервые увидела свет рампы на сцене Итальянского театра 14 января 1789 года. Она скорее всего пробуждала у маркиза не слишком приятные воспоминания: именно «Продолжение маленьких савояров» Пюжуля и Девьена безо всяких на то веских причин вытеснило из репертуара его пьесу «Соблазнитель», представление которой прервали санкюлоты в 1792 году.

Праздник дружбы

Сад написал много пьес для театра в Шарантоне. Сохранилась из них всего одна. Даже если его взгляды на целительное воздействие театра совпадали со взглядами Кульмье, было бы, по крайней мере, неправомерно делать из этого вывод, что именно он явился создателем психодрамы, как нынче утверждают многие. Вплоть до наших дней аналитическая психодрама применяется исключительно для лечения неврозов. И речь идет не о том, чтобы больные играли пьесы, написанные кем-либо, а всего лишь о спонтанной импровизации, проигрывании конфликтной ситуации, случившейся у больного, и связанных с ней эмоций, прошлых или настоящих, и непременно под контролем лечащего врача, который потом дает увиденному свою интерпретацию.

В этом заключается отличие психодрамы от театра в Шарантоне; однако и та, и другой имеют в основе общий принцип: раньше говорили, что зло порождают страсти; теперь выражаются более мудрено, утверждая, что аффективные состояния патогенетического толка способны повернуть развитие психики в аномальное русло. Заставляя больного вновь пережить эмоции, испытанные им в прошлом, чувства горестные, а главное, ставшие источником горестей, можно надеяться понять причину их губительного воздействия[50].

В целом Сад вряд ли когда-нибудь писал или выбирал пьесы для постановки в Шарантоне с учетом психических заболеваний своих актеров. Мы далеки от видения, данного Петером Вайсом в его драме «Марат-Сад», ставшей причиной настоящего скандала, разразившегося в 1960-е годы; в тогдашней постановке роль Шарлотты Кордэ исполняла больная, страдавшая кататоническим возбуждением, роль Жака

Ру — сексуальный маньяк, роль Марата — параноик, словом, каждый актер был выбран по принципу своего психического заболевания.

Единственной дошедшей до нас пьесой из написанных Садом для своего театра в Шарантоне является небольшая двухактная комедия, «этакая смесь стихов, прозы и водевиля» под названием «Торжество дружбы». Эта аллегория, включившая в себя «Хвалу признательности», была поставлена в честь дня рождения Кульмье. Сам Кульмье выведен в пьесе под анаграммой Мьельку, в доме которого и разыгрывается действие; г-жа Кене и Сад, очевидно, представлены под именем г-на и г-жи Бленваль. Единственный намек на умственное состояние пансионеров весьма скромен: Сад ловко вводит его в образе Момуса, римского бога безумия, и его узников, чье исцеление и грядущее освобождение должно случиться благодаря мудрому и гуманному лечению сьера Мьельку/Кульмье. В этом коротком отрывке ясно видно, каким образом Сад прославляет добродетели почтенного директора:

Момус
(*к Орфанис*)

Торопясь вернуться на Олимп, я вчера не сумел дослушать до конца рассказ о ваших приключениях; сегодня мне было бы особенно желательно узнать конец, ибо он весьма интересен. Угрозы, кои вам пришлось вытерпеть из-за молодого человека, которого вы предпочли тому, чью руку вам предлагала скупость, повредили ваше здоровье настолько, что вас пришлось поместить в Афинскую лечебницу, где, полагаю, подобного рода болезни лечат успешно.

Орфанис

Я пробыла там три месяца, и любезный утешитель, коего я там обрела, испробовал на мне многие мудрые методы лечения, воздействие которых направлено не столько на мое тело, сколько на мой разум, и здоровье мое с каждым днем крепло... Ах, я расскажу вам, сколько чувств испытала душа моя во время лечения. <...>
Вам известно, что в этом доме находятся лица обоих полов, но во время лечения они не видятся и не общаются друг с другом. О, ничто, что могло бы оскорбить их стыдливость, не ускользает от бдительного взора администратора. Когда же дело очевидно идет на поправку, доброта его позволяет им встречаться, дабы ускорить выздоровление, однако проходят эти встречи под просвещенными и строгими взорами мудрых надзирателей, принимающих участие в этих нечастых и пристойных собраниях, нравственной целью коих является совместное вкушение честных радостей, всегда идущих на пользу выздоравливающим. Недолгие танцы, спектакль, сыгранный самими выздоравливающими, прогулки... Вот развлечения, подкрепляющие воздействия медицинских процедур и приводящие нас в то состояние, в каком вы видите меня теперь.

Через несколько сцен персонаж по имени Нимфея также возносит хвалы достойному Кульмье:

О, покровитель наш любезный,
Будь славен, чудо доброты!
Тебе залогом безвозмездным
Мы дарим все свои мечты.
Тебе принадлежат по праву
Сердца, чьи помыслы чисты,

Коль более тебе по нраву
Слова хвалы, а не цветы.

Того, кто почитаем ныне
За добродетельную суть,
Ведет к сияющей вершине
Прямой и достославный путь.
Тебе с любовью и почетом
Достичь желаем высоты.
Ведь нежную о нас заботу
Хранишь в глубинах сердца ты[51].

Сей букет, поднесенный Кульмье, не может не вызвать улыбку, особенно когда вспоминаешь о его ссорах с маркизом. Впрочем, «Торжество дружбы» написано между 1810 и 1812 годами, то есть в то время, когда конфликты эти, похоже, поутихли. Известно также, что церемония по случаю дня рождения Кульмье происходила каждый год и традиционно сопровождалась стихотворными куплетами и гимнами в его честь, что свидетельствовало о существовании некоего культа личности директора.

Танец сумасшедшего

Психическим больным отводилось не слишком много ролей, большую часть персонажей исполняли либо профессиональные актеры, либо опытные любители, такие как сам де Сад или же Мари-Констанс Кене, бывшая актриса, игравшая на сценах различных парижских театров. Известно, например, что она исполняла роль Маринетты в «Любовной досаде»*, излюбленной пьесе всех любительских театров; роль Гро-Рене, лакея Эраста, исполнялась настоящим актером, а роли Маскариля и двух влюбленных, Люсили и Эраста, играли душевнобольные.

Среди больных, приглашенных играть на сцене, был некий танцовщик по имени Трениц; прежде чем утратить рассудок, он успешно выступал на сцене. Этот Трениц, знаменитый на весь Париж своим изяществом и совершеннейшим мастерством танцовщика, по свидетельству Эскироля, был

<...> одержим манией величия. Во время путешествия по Италии с неким русским господином он поссорился с ним из-за дамы; ревность довела Треница до безумия. Его препроводили во Францию, где у него развилась навязчивая идея: он возомнил себя знатным и богатым сеньором; позднее он стал воображать себя королем и императором. Жизнь его текла вполне мирно, он упивался своим величием и переделывал собственные костюмы, дабы они соответствовали его высочайшему положению, подбирал все блестящие вещицы, которые ему удавалось найти, и украшал ими свой костюм; он любил поговорить о своем величии и своем счастье[52].

Однажды Треница попросили станцевать на сцене Шарантонского театра менуэт королевы.

В это время, — рассказывает Ипполит де Колен, — больной сей, известный всему Парижу, уже считался неизлечимым; однако он не был буйным; каждый вечер у него

* Комедия Мольера.

наступало просветление, и только по утрам бред его возобновлялся во всей своей силе. Чтобы уговорить его станцевать на сцене, использовали его манию величия: явились к нему с просьбой от имени принца, вручили ему расшитый золотом костюм и приложили к нему шпагу. Восхищенный Тренiц сделал все, о чем его просили: танец его был легок и грациозен и снискал бурные и продолжительные аплодисменты. Однако радость его была недолгой. Ему показалось, что блистательная ассамблея, в центре которой он оказался, собралась исключительно ради него и составляет его собственный двор. Подобные восторги, которые она ему выражала, по его мнению, были всего лишь свидетельствами любви и почтения его подданных к его особе. И когда пришло время лишить его воображаемого королевства, забрать врученные украшения и знаки отличия и вернуть в келью, ту самую, где он находился прежде, он впал в буйство. Чтобы отобрать у него шпагу и шитый золотом камзол, пришлось прибегнуть к силе; но гнев его не стихал. Санитары, пытаясь утихомирить его, обошлись с ним не слишком любезно, он же увидел в них взбунтовавшихся подданных, осмелившихся поднять руку на своего монарха, и мысль эта окончательно вывела его из себя. С этого времени состояние его неизмеримо ухудшилось, бред стал более продолжительным, и если прежде была еще хоть какая-то надежда на выздоровление, то теперь отчаяние, в кое он погрузился, сделало болезнь его необратимой[53].

Отведя несчастному Треницу роль государя, они дали ему дополнительный повод укрепиться в своем безумии. Но даже эта ошибка в распределении ролей вряд ли смогла бы поставить под сомнение терапевтическую пользу драматической игры при умственных заболеваниях.

Анни Лебрен, известная своими работами, посвященными сочинениям де Сада, недавно сумела идентифицировать еще нескольких больных, участвовавших в труппе маркиза. В кабинете эстампов Национальной библиотеки Франции сохранился альбом с эскизами, озаглавленный «Портреты душевнобольных, нарисованные Жоржем-Франсуа-Мари Габриэлем для неопубликованного сочинения г-на Эскироля, посвященного умственным расстройствам». В альбоме девяносто один портрет в фас и профиль, выполненных, скорее всего, в различное время и изображающих больных Шарантона. Среди них она отыскала игравшего в труппе Сада Лажона, одержимого, считавшего себя великим художником. В том же альбоме имеется и портрет Треница, а также очень красивого молодого человека, «сошедшего с ума от любви»; его вполне могли приглашать на роли первых любовников[54].

«Какой преступный бред!»

Большинство сведений, об этих спектаклях, и в частности, о репертуаре и актерах, известны нам от зрителей, свидетелей мимолетных и непостоянных. Некоторые из них оставили захватывающие строки о маркизе де Саде как об авторе пьес, импресарио и исполнителе главных ролей.

Справедливо позабытый поэт Огюст де Лабуис-Рошфор, в свое время именовавшийся «певцом брака» из-за своего пристрастия к восхвалению брачных радостей, оставил весьма пикантное воспоминание об одном из спектаклей, состоявшемся 15 июля 1815 года, на котором он имел возможность присутствовать. Зал был не слишком велик, — отмечает он, — и сцена вполне ему соответствовала.

Заняв свое место в партере, я оказался вблизи стайки дам и молодых людей, ведущих разговор оживленный, но сумбурный. <...> Они одинаково весело щебетали о философии, моде, изящных искусствах, о ревнивцах, об обманутых мужьях. <...> Но тут по сцене застучали маленьким молоточком. Это знак, что представление начинается. Актеры предупреждены: звук этот служит им вместо свистка. Фартук, развевавшийся над авансценой вместо занавеса, подняли с помощью прицепленной к нему веревочки, и представление началось. Тишина!

Лабуис присутствует на представлении «Грубияна», одноактной пьесы Демаи, написанной свободным стихом, светской притчи, вполне подходящей для постановки в гостиной, с ширмами вместо декораций. Пьеса эта, «относящаяся к жанру легкому, требует крайнего мастерства от актеров, особенно от исполнителя главной роли». Увы, тот, кто играл «Грубияна»,

Он в мастерстве игры проигрывает много
Флери — о, тот был грацией известен.
Я с кресла чуть не крикнул строго:
«Месье Дамис! Заткнитесь, ради Бога;
Умерьте блеск свой — пусть другое место
Оценит глупость слов, нелепость жеста».
Актер сей неуклюж, фальшь забивает душу,
Мал ростом, но зато тяжел, как туша,
И глуп до пяток с головы.
Но дураки его приходят слушать
И даже хлопают, увы,
Хотя триумф его не раз порушен.

Вы уже догадались: этот неловкий и толстый актер, толком не выучивший текст своей роли, не может быть никем иным, кроме как маркизом де Садом. Действительно, роль эта ему не по возрасту, да и тучность его мало соответствовала облику светского хлыща. И все же Лабуис явно преувеличил его недостатки как актера. Когда же в конце спектакля ему сообщили имя исполнителя, он испустил вопль ужаса: «О Небо! Осмелюсь ли я произнести его имя?... Это был... да.. Это... был... граф де Сад!.. Граф де Сад! Безбожный негодяй!» Сохраняя возмущенный тон, он продолжает:

Шутки, комплименты и почести на празднике расточали тому, чье присутствие должно бы заставить всех негодовать! <...> А если бы он замыслил побег?.. а если бы, воспользовавшись обстоятельствами, решился на новое преступление?.. а если бы сбежал, смешавшись с толпой и став, таким образом, невидимым для глаз надзирателей, столь сострадательных и столь к нему расположенных? <...> А ведь некоторые завсегдатаи бесстыдно аплодировали ему!.. И среди них были даже женщины! <...> Какой прискорбный пример! Какая пагубная терпимость! Какой преступный бред![55]

После «Грубияна» показывают «мрачную драму» в трех актах под названием «Новый старейшина Киллерина»; автор пьесы, Луи-Себастьян Мерсье, с трудом находит себе место в переполненном зале. Уж он-то тем более не склонен проявлять снисходительность к маркизу: «Вложите перо в когти Сатаны, или злейшего врага человечества, и то

он не сможет сочинить хуже», – отозвался он в свое время о «Жюстине». После сего «шедевра, но отнюдь не возвышенного, а исключительно ничтожного», публика, все еще не насытившаяся и готовая переварить все, присутствует на представлении зловредной пьесы в трех действиях, озаглавленной «Глухой, или Переполненная гостиница»; автор ее, некий Дефорж, ставший после многих лет разгульной жизни актером, из актера переквалифицировался в драматурга, из драматурга в романиста, и в конце концов стал журналистом. Беспомощность реплик ни с чем не сравнима, а игра актеров ничего, кроме отвращения, не вызывает. «На этот раз, – отмечает Лабуис, – я нашел, что игра, постановка и диалоги пребывают в полной гармонии».

Наверное, это все? Увы, нет! «Сей злополучный вечер» завершается балетом, исполненным под звуки оркестра, состоявшего из флейт и скрипок, а также юными девицами одиннадцати и двенадцати лет, которых мать их, поощряемая Кульмье, захотела выставить на обозрение любопытной публике. «Девицы эти проявляли незаурядное честолюбие и сообразительность <...> высоко задирая ноги», – отмечает Лабуис, в то время как Сад с позиций знатока наслаждается этим восхитительным блюдом.

* * *

Нередко после спектаклей, равно как и в иные дни, в апартаментах маркиза де Сада устраивались изысканные ужины. Хозяин здешних мест приглашал на эти вечера самых знаменитых в Париже актеров и актрис. Все смеялись, пили, соревновались в галантном обхождении и острословии. Королевой этих празднеств становится прекрасная Сент-Обен, прозванная «бриллиантом Опера Комик»; обычно она появляется на них в сопровождении дочери, двадцатилетней Сесили, блистающей красотой молодости. Однажды Сент-Обен находит у себя под салфеткой катрен, который любезный маркиз позаботился сочинить в ее честь:

Сент-Обен, муз любимица и избранница,
Когда ты на сцене – душа в огне!
Что ж дивиться, когда оба дара нравятся
Всем – ум и сердце ее – вдвойне?[56]

Несомненно, в надежде встретить Сент-Обен, в Шарантон явилась мадемуазель Флора, дебютантка в театре Варьете. Честолюбивая мадемуазель мечтала выступать в Опера Комик и желала заручиться поддержкой певицы. Театр на улице Фейдо нисколько не подходил для нее, и она вовремя это поняла. Обладая очаровательной мордашкой и притягательной улыбкой, она блистала исключительно в роли субреток. Спустя тридцать лет она все еще помнила о вечере, проведенном среди сумасшедших, и о незабываемом впечатлении, произведенном на нее грозным маркизом. Ее «Мемуары», приписываемые двум авторам, Дюмерсану и Габриэлю, которым она поручила их написать, были опубликованы еще при ее жизни, в 1845 году. Точность в деталях и

именах собственных свидетельствует о том, что составлены они были на основании ее рассказов. Несмотря на некоторые неточности в датах[57], они, бесспорно, являются самым богатым и самым значительным источником наших сведений о театре в Шарантоне. К тому же мадемуазель Флора являла собой редкостный образец очевидца, не считающего себя обязанным, как это делало большинство авторов мемуаров, впадать в транс, как только речь заходила о де Саде. Используемые ею эпитеты, хотя и вполне традиционны, тем не менее отличаются завидной умеренностью. А так как ее повествование непосредственно и не лишено привлекательности, мы решили привести его полностью.

Мадемуазель Флора

Госпожа Сент-Обен с несколькими близкими друзьями отправилась в Шарантон смотреть комедию, которую играли сумасшедшие. Мы с Жоли быстро собрались в дорогу и прибыли в Шарантон почти одновременно с ними.

Я не могла поверить, что сумасшедшие способны заниматься искусством, требовавшим долгого обучения и работы даже со стороны тех, кто вполне сохранил разум. Но мне сказали, что такого рода занятием их отвлекают от навязчивых идей и переключают мысли и внимание на предметы забавные, дабы способствовать их исцелению. Если результат не всегда достигается, все же спектакли эти доставляют им ряд приятных минут, что само по себе весьма полезно.

Комедия, дававшаяся в тот раз в Шарантоне, являлась частью праздника, устраиваемого в тот день в заведении в честь его директора, звавшегося, как мне помнится, Кульмье. Когда мы вошли в зал, начали играть «Любовную досаду», излюбленную комедию всех слоев общества. Не все роли исполняли умалишенные; устроители позаботились отдать часть их людям вполне разумным, а также профессиональным актерам, дабы поддержать равновесие. Роль Гро-Рене исполнял Стоклейт-сын из Амбигю-Комик, молодой актер, сделавший там себе имя и затем выступавший и в Амбигю, и в Одеоне: спустя немного времени после Июльской революции он отправился играть на сценах Перу, где и умер, вместо того чтобы обогатиться. Роль Маринетты исполняла мадам Кене, женщина почтенного возраста, однако сумевшая передать и обаяние, и кокетливый задор юности. <...> Эта дама состояла в связи с одним из пансионеров заведения, не умалишенным, но таким, кому следовало бы радоваться, что его не приговорили к другой тюрьме и не упекли туда только потому, что хотели избежать скандальных разоблачений.

Человек сей, на которого я взирала словно на какую-то диковинку, на одного из тех ужасных монстров, что выставлены в клетках на всеобщее обозрение, был знаменитый маркиз де Сад, автор многих книг, которые невозможно назвать, ибо заглавия их уже являются оскорблением общественному вкусу и морали, что должно навести вас на мысль, что я их не читала. Сама внешность его была своеобразной характеристикой и ума его, и характера. Образ его по-прежнему стоит у меня перед глазами, а у меня хорошая память и на лица, и на имена. У него была довольно красивая голова, немного удлиненный орлиный нос, широкие ноздри, узкий рот с выдающейся вперед нижней губой. Уголки рта опущены в презрительной усмешке. Его маленькие блестящие глазки прятались под выдающимися надбровными дугами с густыми бровями; глаза его, как у кошки, почти не имели белков; овальный лоб был прикрыт волосами. Прическа была сделана из его собственных волос по моде времен Людовика XV: пучок, а по бокам волосы слегка завиты, и вся голова тщательно напудрена; несмотря на семьдесят четыре года, у него не было ни одного накладного волоска[58]. Фигура его была стройна, он не сутулился, а манера двигаться выдавала в нем человека, принадлежащего к высшей аристократии.

Полагаю, мне простят, что я столько времени уделила описанию портрета человека, пользующегося постыдной славой. Он сохранил свои великосветские манеры и ясный ум. Именно он являлся автором дивертисмента и куплетов, исполненных в честь дня рождения Кульмье.

Однако вернемся к комедии, разыгранной сумасшедшими. Роль Эраста исполнял молодой человек весьма примечательного вида; если верить тому, что мне рассказали, он в результате несчастного случая потерял ту, на которой собирался жениться, и сошел с ума от любви. Если бы он потерял ее после свадьбы, быть может, он бы и не сошел с ума[59]. Умалишенная, игравшая Люсиль, была хорошенькой блондинкой, живой, изящной, и прекрасно исполняла сцены досады и кокетства. Небольшую роль Маскариля весело сыграл другой умалишенный, имя которого было довольно известно в литературных и театральных кругах. Он сын спиритуала Ложона, нашего старейшего песенника[60]. Этот бедный молодой человек был одержим навязчивой идеей, что он великий художник. Он рисовал на клочках бумаги дома, деревья и людей и посылал свои картины мадам Сент-Обен, предлагая купить их у него за 40 000 франков[61].

Первая пьеса была сыграна без сучка и задоринки. В антракте Кульмье, желая лично поприветствовать Сент-Обен и ее друзей, встал с места, но едва он встал, как тотчас исчез из моего поля зрения. Я поискала его в толпе, но обнаружила рядом с нами только тогда, когда опустила взор. Как же я была удивлена! Ведь судя по большой голове и широким плечам, человек этот, на мой взгляд, должен был быть очень высок, а он, оказывается, просто сидел на приподнятом сиденье. Встав же на пол, он смотрелся карликом, коротконогим и кривоногим, с огромным торсом; росту в нем было не более четырех футов. Вот почему мы зачастую перестаем узнавать великих людей, когда они сходят со своего пьедестала. Представление продолжалось.

Вторая пьеса прошла не столь удачно, как первая. Сумасшедший, исполнявший роль слуги, неплохо произнес свои слова; затем тот, кто играль роль господина, передал ему письмо и попросил отнести его по адресу. Но тут игравший слугу, позабыв о роли, вдруг воскликнул: «За кого вы меня принимаете? Разве я ваш слуга? Выполняйте сами ваши поручения». И с гордым видом покинул сцену. Вернуть его больше не смогли. Другой больной, выступавший в роли благородного отца, не пожелал надеть парик, а так как все настаивали, он притворился, что согласился, однако, едва выйдя на сцену, тотчас сорвал с себя ненавистный парик и швырнул его в суфлерскую будку. Пришлось опускать занавес.

Представление завершилось наивной комической оперой под названием «Два маленьких савояра», за которой должен был последовать дивертисмент. Сент-Обен дала себе труд прорепетировать его. Пьеса была сыграна в милой манере, главные похвалы снискала очаровательная особа, к сожалению, душевнобольная – молодая испанка, которую все называли мадемуазель Урбистондос. Эта ослепительная брюнетка с волосами цвета черного дерева, огромными миндалевидными глазами и меланхолическим выражением лица великолепно сыграла роль Хозе, снискав восторги всех зрителей, а затем прекрасно исполнила сочиненные маркизом де Садом куплеты, посвященные герою празднества – директору сего заведения. Меня поразило, что куплеты, сочиненные человеком, чьи нравы все считали ужасными, были милы и восхваляли добродетель! <...> Я вышла из зала с тяжелым сердцем, у меня до сих пор неприятный осадок от этого вечера[62].

Шарантон посещает сочинитель водевилей

Арман де Рошфор, журналист, шансонье и автор многочисленных водевилей, также получил приглашение в Шарантон по случаю чествования Кульмье, которого он называет Куломье и описывает как гнома

на кривых ногах. Визит Рошфора пришелся на 6 октября 1812 года; в то время журналисту было двадцать два года. Перед спектаклем его пригласили на обед, где присутствовало никак не менее шестидесяти персон. По левую руку от него сидел «старец со склоненной головой и огненным взором. Седые волосы, изрядно его красившие, придавали лицу почтенное выражение, внушающее уважение». Арман де Рошфор продолжает:

Он неоднократно обращался ко мне; речь его была остроумна, а взгляды столь разносторонни, что довольно быстро он сумел внушить мне искреннюю симпатию. Когда все встали из-за стола, я спросил у своего соседа справа имя этого любезного человека, и он ответил, что это был маркиз де С***. После его слов я в ужасе отшатнулся от старца, словно меня укусила ядовитая змея. Я знал, что сей несчастный был автором кошмарного романа, где во имя любви совершались самые невероятные преступления. Скажу больше: я прочел эту мерзкую книгу, от которой осталось такое же впечатление, какое остается после казни на Гревской площади, однако я не мог знать, что однажды увижу ее автора, допущенного к столу директора общественного заведения.

Когда обед завершился, приглашенные направились в театр смотреть «Ложные признания» Мариво. Перед поднятием занавеса звучала музыка в безупречном исполнении, хотя играли ее умалишенные. <...>

Госпожа Л*** (не хочу называть ее имени полностью, так как полагаю, что у нее осталась семья) вышла на сцену в роли, исполнением которой прославилась госпожа Марс; безумица произнесла свои слова с изяществом, без единой запинки, вызвав тем самым изумление зрителей. Роль любовника, которую тоже поручили сумасшедшему, была исполнена не столь блистательно, однако и он не ошибался с подачей реплик. Наконец все благополучно завершилось под бурные аплодисменты, возгласы удивления и восхищения. <...> После увиденных чудес, я почувствовал потребность покинуть сей дом, дабы удостовериться, что сам сохранил свой разум[63].

Удивление и неловкость — с такими чувствами покидали спектакли большинство приглашенных, и прежде всего те, кто искал здесь неведомых впечатлений. Увлечение это вряд ли можно назвать здоровым, однако насколько завораживающе вечное столкновение реальности настоящей и реальности призрачной! Задолго до Ницше Сад показал, что драматическое искусство не только порождение Аполлоновой ясности: оно много взяло также и от Диониса, бога опьянения, ярости и ubris, то есть чрезмерности.



Глава XXVII
СУМЕРКИ

Волк в овчарне

Доктор Жозеф Гастальди имел репутацию гурмана; он возглавлял знаменитое «Жюри дегустаторов», и Гримо де Лареньер упоминает его в своем «Альманахе гурманов». Страсть к хорошей еде стала для него роковой. 20 декабря 1805 года, после обеда у парижского архиепископа кардинала де Беллуа, во время которого ему четырежды приносили жареную осетрину, ему стало худо, он слег и через десять дней скончался.

Несварение желудка со смертельным исходом имело тяжкие последствия как для администрации лечебницы, так и для де Сада. Кульмье и Гастальди разделяли одни и те же идеи относительно методов лечения умственных расстройств; они вместе поощряли организацию спектаклей и вместе снискали всеобщее уважение. Теперь будущее заведения зависело от нового главного врача. Согласно закону, кандидатуру его должен был предложить Кульмье.

Министр внутренних дел желал видеть на этом посту Руайе-Колара, заслуженного психиатра, брата известного политического деятеля. Кульмье сей выбор нисколько не улыбался; ему было прекрасно известно о прямолинейном характере этого врача и о том доверии, которым он пользовался в высоких сферах; он решил посоветоваться с директором медицинской школы Туре, однако тот от встречи уклонился. Министерство торопило, и Кульмье решился поддержать кандидатуру Руайе-Колара, но при условии, что ему в качестве помощника будет придан «врач на месте», хирург Дегиз, бывший ученик Гастальди, живший неподалеку от лечебницы и, следовательно, при необходимости всегда готовый прибыть на место. Министерство с этой оговоркой согласилось.

Трудности начались немедленно. Руайе-Колар сразу же стал жаловаться, что гонорары покойного Гастальди теперь делятся на двоих. Кульмье согласился выделить ему дополнительное ассигнование в тысячу франков, но при этом потребовал, чтобы главный врач приезжал в Шарантон не два, а три раза в неделю. Руайе-Колар пообещал все, что от него требовали, принял дополнительное вознаграждение и продолжил по-прежнему наезжать два раза в неделю. Более того, он решил начинать свой обход не в шесть утра, а в десять, что вносило сумятицу в обслуживание больных, ибо им не успевали раздавать ле-

карства и лишали прогулки. В то же самое время он начал притеснять своего коллегу, назначал свои публичные консультации на вторник, зная, что именно в этот день Дегиз также вел прием, упрекал хирурга за то, что тот использует при лечении «целый ряд методов активного воздействия», и угрожал принять строгие меры...

Дело о картотеке

Серьезный конфликт между новым главным врачом и Кульмье разгорелся из-за картотеки пансионеров. Правота в нем была в общем-то на стороне главного врача. Он потребовал у администрации личную карту каждого больного, заполненную надлежащим образом: имя, место рождения, возраст, профессия, семейное положение, имущественный уровень, природа заболевания, длительность пребывания в лечебнице, развитие заболевания, предписанные лекарства, результаты их применения и т. п.,

> <...> одним словом, — продолжает врач, — все, что может прояснить их положение и помочь применить наиболее верное лечение. Именно в этом и состоит задача, порученная мне моим министерством. Если я этого не стану делать, мне следует отказаться от этой должности[1].

Вполне справедливое требование врача-психиатра, стремящегося составить собственное представление о каждом больном. Однако генеральный директор увидел здесь происки полиции и ответил категорическим отказом.

> Как Вам известно, существуют весьма опасные предрассудки, связанные с болезнями, которые лечат в Шарантоне, — объяснил он Руайе-Коллару. — Прискорбно, но это факт <...>. Поэтому с моей стороны было бы большой неосторожностью, будучи облеченным доверием правительства и хранителем семейных секретов, заносить в журнал указанные сведения относительно частных лиц, ибо в случае смерти данного лица записи эти могут стать достоянием любопытствующей публики, его родственников и слуг. Нет, сударь, подобная идея слишком опасна и не отвечает интересам общества, поэтому я надеюсь, что Вы откажетесь от своих несбыточных претензий, ибо долг мой, моя честь и моя совесть призывают меня отказать Вам[2].

Кульмье привык полновластно царить в своем заведении, однако на этот раз он превысил свои административные полномочия. В сущности, сотрудничество, коего столь желал его главный врач, казалось ему вполне нормальным, и в конце концов оно бы и установилось между ними, если бы директор не испытывал стойкой неприязни к избранной на эту должность кандидатуре; со временем неприязнь эта лишь возросла. С самого начала он стал видеть в Руайе-Коларе врага. И по-другому воспринимать его не будет.

Привилегированный пациент

Надо признать, главный врач действительно не располагал к себе. Любитель черного юмора, суровый и добродетельный, он критически относился ко всему, что происходило в Шарантоне. В первые дни по-

сле приезда его тощую фигуру часто можно было видеть в коридорах лечебницы; он ходил от одной службы к другой с маленькой записной книжкой в руках, отмечая злоупотребления, беспорядки, небрежности. Больше всего его выводили из себя две вещи: привилегии, коими обладали некоторые пансионеры, и театр, где выступали душевнобольные. И естественно, излюбленной мишенью его нападок вскоре стал де Сад.

Честно говоря, присутствие маркиза в Шарантоне вызывало у него тошноту. Ему, с его поистине твердокаменными моральными устоями, был противен даже вид старого либертена, активного и подвижного, с независимыми манерами, руководившего театром, делавшего погоду во всем заведении и пользовавшегося многочисленными привилегиями, дарованными ему снисходительным директором. Не говоря уж про его связь с г-жой Кене, которую он выдавал за свою дочь (откуда возникло обвинение в инцесте, некоторое время бытовавшее в Шарантоне), его заигрывания с молодыми парижскими актрисами, приезжавшими играть в спектаклях, его ужины для избранных, его поведение, зачастую весьма двусмысленное и неуместное по отношению к некоторым больным или персоналу, казались весьма опасными.

Подобного рода факты возмущали не только главного врача. Другие пансионеры также были не в восторге от надменности Сада. Став с возрастом еще более нетерпимым к любым возражениям, он обращался с окружающими как с собственными лакеями. Один из пациентов, некто Тьерри, бывший повар, погрузившийся в безумие и игравший небольшие роли в театре, однажды осмелился даже пожаловаться Кульмье:

Сударь!

Позвольте мне, как я и обещал Вам, оправдать свое поведение в сцене, кою имел я с де Садом.

В присутствии господина Вейе он велел сделать мне кое-какие необходимые вещи для оформления [спектакля], а когда я повернулся к нему спиной, дабы пойти исполнять его просьбу, он резко схватил меня за плечи и произнес: «Господин нахал, извольте выслушать меня до конца». Тогда я спокойно ответил ему, что он не имеет никаких причин разговаривать со мной подобным образом, ибо я как раз намереваюсь исполнить его указания; но он сказал мне, что я лгу, что я повернулся к нему спиной исключительно из наглости и что я мошенник, которому следовало бы отвесить никак не менее пятидесяти ударов палкой. Тут, сударь, терпение мое лопнуло, и я ответил ему в том же тоне. Должен сообщить, что вот уже несколько дней я не бываю у господина де Сада, ибо устал от его бесконечных грубостей; признаю, он сделал для меня доброе дело, однако рвением своим, своим стремлением сделать все, что могло бы ему понравиться или быть ему полезным, я за все заплатил сполна.

В обществе люди постоянно оказывают друг другу услуги, и я осмелюсь сказать, что оказал их господину де Саду столько, сколько он мне никогда не оказывал; ибо, в сущности, он всего лишь несколько раз приглашал меня к обеду. Я устал исполнять роль его лакея и терпеть его отношение ко мне как к лакею; я оказывал ему услуги исключительно как друг.

Очевидно, теперь господин де Сад не даст мне более роли в комедии <...>[3].

Для человека с умственным расстройством написано недурно.

Как свидетельствует цитируемое ниже письмо, адресованное министру внутренних дел и найденное в архивах Шарантона, покровительство директора, которым пользуется маркиз, заставляет скрежетать

зубами многих пациентов заведения. Автором письма является забавный субъект по имени Эд Гайон, бывший супрефект департамента Эр, подверженный сначала «утрате чувств», а потом «приступам бреда», как сам он называет свое состояние. Попав в лечебницу Кульмье на основании той репутации, которой она «пользовалась еще в давние времена», Гайон провел в ней вполне мирно первые месяцы, пока не узнал, что его сосед этажом ниже является не кем иным, как знаменитым маркизом де Садом. И тотчас его охватило безудержное отвращение:

Я был не в силах сдерживать чувства, возникавшие у меня при одном только его виде, — пишет он. — Каково же было мое удивление, когда я узнал, что подобный человек поддерживает тесные отношения с г-ном Кульмье. Но вскоре я получил тому доказательство. Однажды у себя в кабинете директор спросил меня, отчего я не играю на сцене вместе с де Садом, и настоятельно посоветовал мне этим заняться. Я ответил, что господин сей приветствует меня, и я всегда отвечаю на его приветствия, однако я не способен пребывать в его обществе. Он разгневанно заметил, что некоторые не видят бревна в своем глазу, тогда как в глазу соседа видят даже соломинку. Я ушел, сказав на прощание, что такие рассуждения приносят гораздо больше вреда ему, нежели мне. Спустя несколько дней, гуляя в саду, я был оскорблен г-ном де Садом, после чего написал жалобу на имя г-на Кульмье и был принят им, однако весьма прохладно. С тех пор пребывание в Шарантоне стало для меня невыносимым, так что я даже написал своей семье, чтобы они перевели меня в другое место <...>[4].

Не исключено, что и другие больные испытывали такую же досаду, глядя, какими милостями осыпает Кульмье своего пансионера. Многим казалось оскорбительным его поведение, более всего напоминающее поведение капризного и грубого хозяина. Разумеется, старея, маркиз уживчивее не становился. Его тираническая натура проявляла себя везде, особенно по пустякам. К тому же его апартаменты в лечебнице являлись предметом постоянных раздоров и скандалов. Ему не прощали ни привилегий, ни надменности. К примеру, не было ни дня, чтобы он не принимал у себя к обеду гостей, и это возбуждало ревность. Казалось, он полностью свободен от каких-либо обязательств, а так как в довершение всего он никак не мог считаться умалишенным, врачи также не имели над ним никакой власти. Это уж слишком. Руайе-Колар решил навести порядок — и слово сдержал. Меж тем непредвиденное событие оказало необратимое влияние на все существование узника.

Вынужденная женитьба

Тридцать первого мая 1808 года Клод Арман неожиданно явился к отцу и сообщил ему о своем намерении жениться. Его избранницей является молоденькая дальняя родственница из рода Эгийеров, Луиза-Габриэль-Лор де Сад, дочь Жан-Батиста Жозефа Давида де Сада д'Эгийера и Мари-Франсуазы Эмили де Бимар[5]. Донасьен не питает никаких теплых чувств к этому родственнику, в 1778 году унаследовавшему его должность генерального наместника Бюже и Бреса. Однако обстоятельства вынуждают его делать хорошую мину при плохой игре. Не так-то просто найти жену (мужа), когда носишь такую фамилию. А тем более, когда отец твой находится в Шарантоне. В начале XIX века

многие полагают, что безумие передается по наследству, поэтому не только дети душевнобольных, но даже их дальние родственники (осторожность никогда не помешает!) почти никогда не женятся и не выходят замуж. Это, в частности, стало одной из причин, на основании которой Кульмье отказался сообщить главному врачу все тайны своих пациентов. Тем самым он отчасти исполнял

<...> просьбу большинства родственников, которые небезосновательно страшатся досадного предрассудка, согласно которому безумие является болезнью наследственной; факт сей часто становится препятствием для браков, даже когда речь заходит о весьма дальних родственниках[6].

Старший сын, Луи-Мари, до сорока лет так и не сумевший найти себе жену, в это же время тоже принялся умолять отца раздобыть «справку о выздоровлении», чтобы жениться на мадемуазель, которую г-жа де Моран и Дельфина де Таларю, вдова Станисласа Клермон-Тоннера, вновь вышедшая замуж, отыскали для него. Молодая особа обладала приданым в пять тысяч ливров ренты: о лучшей партии невозможно было даже мечтать. Родители ее сказали: «Отец находится в Шарантоне. Если он действительно безумен, мы не желаем иметь дело с его сыном. Если же он сидит там за какую-то книгу, то нас это не касается»[7]. Впрочем, Луи-Мари суждено было умереть холостяком (надо сказать, он по-настоящему никогда и не стремился жениться). Что же касается Мадлен Лор де Сад, «святой Лор», как называла ее г-жа Бимар, то претендентов на ее руку до сей поры не было. Неизвестно даже, были ли у нее любовные приключения. Она провела жизнь в служении Господу, не знала света, попала под каблук к собственной служанке и скончалась в 1844 году в возрасте семидесяти трех лет.

Если Донасьен не видит никаких препятствий для женитьбы сына, то ему остается только подписать бумаги. Клод Арман хочет, чтобы это было сделано немедленно, в присутствии шарантонского нотариуса. Однако Кульмье не разрешает своему пансионеру даже на время покидать лечебницу. Не важно! Давайте пригласим нотариуса в дом и все подпишем на месте. «Невозможно, — отвечает нотариус, — подобного рода документы могут быть подписаны только в надлежащем месте». Вновь бросаются к директору, и тот в конце концов уступает, предупредив, что пациент может покинуть стены лечебницы только ночью, после двадцати трех часов. В ожидании вечера маркиз и его сын принимаются изучать контракты. Тут приходит срочное письмо от Луи-Мари, который просит отца принять его завтра. Донасьен назначает ему встречу и возвращается к изучению документов, принесенных младшим сыном. Внезапно приезжает старший сын. Он так торопился увидеть отца, что не смог дождаться ответа. Ему немедленно, срочно надо поговорить с отцом наедине. Они удаляются, оставив Армана одного. Тут Луи-Мари объясняет, что готовящаяся женитьба — ловушка; как только маркиз все подпишет, его увезут из Шарантона и поместят в крепость. Он слышал раговоры про форт Ан... но, возможно, его отправят в тюрьму на Мон-Сен-Мишель... Маркиз возвращается к себе в комнату и дает понять Клоду Арману, что сегодня вечером он ниче-

го подписывать не станет: ему надо подумать. Пусть приходит завтра, а там посмотрим...

На следующий день, 1 июня, Арман приходит снова. Отец его одобряет брак и готов дать свое согласие, но при одном условии: ему нужен нотариально заверенный акт, согласно которому ему гарантируется пребывание в Шарантоне и выплата средств, достаточных для его содержания. Он настаивает, чтобы документ с обоими условиями был составлен немедленно. Захваченный врасплох, Клод Арман пишет под диктовку отца:

Я обещаю, что ни я, ни кто-либо из моих родственников не станет покушаться ни на свободу, ни на спокойствие моего отца. Напротив, я уверяю, что сделаю все возможное, чтобы он спокойно пребывал там, где сейчас находится, если только мне не удастся отыскать ему более приятное местопребывание, кое я ищу неустанно, соответствующее желаниям и потребностям, его возрасту и здоровью; а так как в любом случае я через несколько дней собираюсь завершать дела о доходах, которыми мы владеем совместно, дабы я получил возможность полновластно распоряжаться его имуществом в обмен на ежегодную ренту в 5400 ливров, выплачиваемых сразу же и не облагаемых налогом, из которых 1200 ливров после его смерти отойдут к мадам Кене, и она сможет пользоваться ими вплоть до самой смерти, без каких-либо налогообложений, тихо и мирно, в том месте, где ей угодно будет поселиться. Рента мадам Кене также будет пожизненной и неотчуждаемой. Написано и составлено в <...>.

Арман поднимает голову, полагая, что выкрутасы окончены. Однако отец заставляет его сделать следующую приписку:

Это все, что может сделать г-н де Сад. Ему прекрасно известно, что сын его, если пожелает, может поступить как ему заблагорассудится. Однако подобная манера решать дела пробудила подозрения г-на маркиза де Сада-отца, и он откроет их без промедления своему старшему сыну, а также тем родственникам, какие у него еще остались, громко и энергично умоляя их оградить несчастного старца от всепоглощающей печали, коей хотят окружить его могилу, и способствовать тому, чтобы проклятия и ненависть публики обрушились на авторов столь коварного проекта[8].

Естественно, Клод Арман не может подписать такое. «Я сообщу обо всем своим новым родственникам», — сухо отвечает он отцу и горько жалуется на «злобу» брата, на его «ложь»... 2 июня он вновь является в Шарантон, дабы развеять «все страхи, что были накануне»; прежде всего это относится к переводу маркиза из Шарантона. Он торопится прибыть в Эшофур раньше, чем Луи-Мари[9].

В действительности же разочарование его огромно. Нельзя сказать, что для женитьбы ему требуется отцовское согласие: ему тридцать девять лет, и он давно совершеннолетний. Однако оно необходимо для того, чтобы получить подарок, который мать обещала сделать ему к свадьбе. Этот подарок беспокоит старшего брата, и именно этим объясняется его странный демарш. Как мы помним, Луи-Мари был ребенком, которого г-жа де Сад любила меньше остальных детей, зато у отца он числился в любимчиках: впрочем, это была всего одна из причин, отчего Луи-Мари прибыл в Шарантон. Он не сомневается, что мать при определении доли наследства отдаст предпочтение младшему сыну. Отсюда старания помешать отцу дать согласие на брак.

Но поведение его может иметь и иную причину, до сих пор неизвестную: ее существование мы обнаружили лишь недавно. Его престарелая тетушка де Вильнев при жизни (она умерла в 1798 году, в возрасте восьмидесяти трех лет) мечтала женить его на этой же самой Габриэль Лор, которую Клод Арман хочет взять себе в супруги. Это следует из письма его друга Александра Кабаниса, гостившего в то время у старой дамы в Авиньоне:

Она сказала мне, что шесть лет назад решила женить тебя на твоей кузине де Сад д'Эгийер, о которой ты спрашиваешь. Отец, мать и дочь сейчас находятся в эмиграции, поэтому пока я больше ничего не могу тебе сказать. Через несколько дней я, быть может, узнаю больше[10].

Со своим обычным небрежением Луи-Мари не стал продолжать эту историю и не жалел об этом. Но теперь, после стольких неудач, смотреть, как его младший братец, этот гнусный лицемер, собирается увести у него из-под носа такую партию! Ну уж нет! Он решает порвать с прежним образом жизни и вновь вступить в армию. В сорок один год ему больше не на что надеяться. Милейший Кабанис, которому он поверяет свои печали, пытается развеять их:

Я вместе с тобой переживаю все твои невзгоды, и мне горько сознавать, что твой младший брат женится раньше тебя. Но мне кажется, отчасти ты сам в этом виноват; ты никогда не решался довести до конца ни один из своих планов относительно женитьбы, никогда не мог сделать окончательный выбор, выбирал ли ты сам или же выбирали за тебя. Не знаю, дорогой мой, правильно ли ты поступаешь, вновь отправляясь в армию. Ты уже дважды поступал на военную службу и дважды покидал ее, стоило только тебе найти новое занятие. Тебе уже сорок лет, и мне кажется, в этом возрасте уже трудно рассчитывать сделать военную карьеру; для того чтобы воевать, нужны молодость, здоровье и силы[11].

Однако решение принято: спустя три месяца Луи-Мари вступает в ряды Великой Армии и 25 января 1809 года получает патент лейтенанта 2-го Ингеборгского батальона.

Тем временем в замке Конде-ан-Бри в ожидании ответа маркиза томится будущая теща, де Бимар; она буквально с ума сходит от беспокойства.

Сейчас голова моя занята одной лишь мыслью, — пишет она Клоду Арману, — мысль эта заполняет мою душу, я вся поглощена ею и позабыла про все остальные дела; я смогу прийти в себя только когда все будет кончено[12].

Она дрожит при одной только мысли, что свадьба может сорваться. Ибо сия почтенная дама желает ее, пожалуй, еще больше, чем сам Клод Арман, и мечтает сыграть как можно скорее. Спешку ее понять можно, стоит только взглянуть на портрет ее дочери. Тридцати шести лет от роду, сварливое выражение лица, вдавленный подбородок и большие навыкате глаза — Габриэль-Лор де Сад столь же сложно найти партию, как и ее кузену, хотя и по иным причинам. Поэтому как для одной, так и для другой стороны партия эта была наилучшей. Впрочем, де Бимар в полном восторге от будущего зятя. Она могла составить о нем впечатление во время его пребывания в Конде-ан-Бри, где он гостил прошлой

весной: «Он довольно долго гостил у нас в деревне, и мы с радостью убедились, что от своего отца он унаследовал только имя, а от матери – все ее добродетели. Поэтому мы очень к нему привязались»[13].

Представьте себе, каково было их разочарование, когда они узнали об отказе маркиза подписать бумаги. И все из-за происков этого негодного Луи-Мари! Г-жа де Бимар тотчас написала Клоду Арману:

Уверяю Вас, дорогой кузен, происки Вашего братца нисколько меня не пугают. Меня не так легко запугать. Я взволнована, встревожена, однако не сломлена. Лор согласилась расстаться с отцом, чтобы тот мог поддержать меня в трудную минуту. Письмо Ваше я получила еще до его приезда и тотчас приняла надлежащие меры, дабы побудить брата Вашего раскаяться в затеянной им интриге вокруг Вашего отца. Но, пожалуй, я была неправа. К такому выводу я пришла после долгих размышлений. Я никогда не должна забывать, какой замечательный человек его мать. Тогда я сделала все необходимое, чтобы предупредить возможную вспышку, кои столь свойственны сей горячей голове <...>[14].

Отныне г-жа Бимар берет дело в свои руки. Энергичная, хитрая, неугомонная и въедливая, иными словами, образцовая «садическая» теща, она пускает в ход свои связи в высших кругах, рассказывает о предполагаемом браке некоему «могущественному другу из судейского ведомства» по имени Пуарье, который «знаком с председателем и всеми судьями первой инстанции», советуется с одними, консультируется у других, собирает сведения, обдумывает различные способы, как сломить сопротивление де Сада-отца. В первую очередь речь идет о том, чтобы избежать процесса, ибо никто не знает, пишет она, «как он поведет себя во время слушания дела и не навлечет ли он в своем сумасбродном запале на них неприятности»[15]. Главное – избежать скандала.

Наконец, по зрелому размышлению, ей в голову приходит мысль, которой она вполне может гордиться. «Меня осенило!» – восклицает она, и Пуарье поздравляет ее с «удачной находкой». О чем же идет речь? Все очень просто. Ведь маркиз де Сад не был вычеркнут из эмигрантских списков, а следовательно, не амнистирован и по-прежнему поражен в гражданских правах. Мораль (если это можно так назвать!): согласие его необязательно, ибо «оно ничего не значит». Как видим, все элементарно. Надо было только до этого додуматься.

Да они просто с ума сошли! Из всех, кто носит одно с ним имя, Донасьен Альфонс Франсуа де Сад – единственный, кто не покидал Францию за все годы революции. Г-жа де Бимар была в эмиграции, ее муж, де Сад Эгийер, также эмигрировал, эмигрировал и Клод Арман. Все отправились в эмиграцию, кроме него. А теперь, когда это понадобилось им для достижения собственных целей, они решают напомнить о его так называемом эмигрантском прошлом! Еще хуже: эти аристократы, бежавшие от Террора, чтобы избежать его карающих законов, теперь хотят направить карающее острие тех же самых законов против него! Вот уж действительно все они просто с ума посходили! Впрочем, некоторая нелогичность подобного шага не ускользает и от г-жи Бимар.

Нам вполне могут напомнить, – пишет она будущему зятю, – что революционные законы уже канули в Лету. К тому же нам более чем кому-либо не пристало

прибегать к этим законам; и все же, если они по-прежнему действуют или существуют в обновленном виде, нам следует подчиняться им и не бояться порицаний.

Слащавые лицемерные слова, подразумевающие, что цель оправдывает средства.

Циничная и беспардонная, однако — надо признать — изобретательная выдумка г-жи Бимар встречает согласие Клода Армана и его матери. Остается только привести ее в исполнение. Сначала в главном полицейском управлении они получают подтверждение, что маркиз по-прежнему находится в списках эмигрантов, «что до сего времени он не был оттуда ни вычеркнут, ни устранен, ни исключен на основании амнистии», а затем г-жа де Сад подписывает прошение к министру юстиции, где излагает суть дела. Ответ приходит 21 июня. Его нельзя назвать справедливым, однако он вносит в дело полную ясность:

Сударыня, тот, кто числится в эмигрантских списках и кто не был оттуда ни вычеркнут, ни исключен на основании амнистии, является пораженным в гражданских правах и, следовательно, лишен прав, которые Кодекс Наполеона предоставляет всем французам. Жена этого лица, получив развод, более не нуждается в его разрешениях, а дети, если они пожелают вступить в брак, могут поступать так, как если бы отца у них не было[16].

Путь свободен: Клод Арман может поступать как ему угодно, а его мать вправе распоряжаться собственным состоянием по своему усмотрению.

Однако Донасьен еще не сказал своего последнего слова. 20 июня он решает опротестовать женитьбу сына. 24 июня акт опротестования, составленный судебным исполнителем, доводится до сведения Клода Армана, Габриэль-Лор и мэрии Конде, где проживает невеста. 9 июля г-жа де Бимар извещает префекта полиции, что ее будущий зять намерен обратиться к правосудию, чтобы оспорить правомерность действий маркиза,

<...> однако вместе со своей почтенной матушкой и семьей, членом которой он хочет стать, он не желает, чтобы имя его отца звучало в суде, дабы никакой скандал не разворошил ненужных воспоминаний. Поэтому все они, вдохновленные единым чувством, просят: нельзя ли познакомиться с людьми, руководящими поступками несчастного г-на де Сада, и помешать им влиять на него, а его самого убедить в единственно правильном решении, коему ему надлежит следовать, а именно: забрать назад протест, который он столь неосмотрительно составил[17].

Иными словами: «Удалите от него старшего сына и заставьте его забрать протест».

Предупреждение было услышано: 20 июля по поручению префекта Дюбуа полицейский комиссар прибыл к маркизу де Саду в лечебницу и препроводил его к мэтру Фино, нотариусу в Шарантоне, дабы тот засвидетельствовал снятие протеста. А что оставалось делать? Согласно мнению Министерства юстиции, выиграть процесс шансов было мало. Но в любом случае будущие супруги могли обойтись и без его разрешения, ибо приговор, произнесенный 23 июля судом первой инстанции, предоставлял г-же де Сад полномочия сделать своему младшему сыну «такой подарок, который она сочтет нужным», а другое постановление, от 29 июля, провозглашало протест де Сада-отца «не-

действительным и не имеющим силы», «ибо он сделан лицом *неправомочным*». Следовательно, свадьба могла состояться, несмотря на «выдвинутые требования, кои истец вправе не принимать во внимание»[18].

Донасьен должен был признать свое поражение. 2 августа он подписал им же составленное и им же написанное согласие на брак сына[19]. Спустя немногим более месяца, 7 сентября, брачный контракт поступил к мэтру Бурсье, парижскому нотариусу с улицы Гренье-Сен-Лазар. Г-жа де Сад-мать подтвердила полномочия своего поверенного, мэтра Корбена. В качестве приданого будущему супругу она отдавала «голое» право собственности на треть своих долговых обязательств и владений, полностью распоряжаться которыми он сможет только после ее смерти[20]. Г-жа де Сад оставляла за собой пожизненное право пользования и право узуфрукта, и при этом назначала Клоду Арману пособие в три тысячи ливров в год, свободное от удержаний и налогообложения[21]. Таким образом, того, чего так боялся Луи-Мари, не произошло: мать не лишила его наследства в пользу младшего сына. Она отписала младшему всего лишь треть своего имущества; две оставшиеся трети должны были отойти к Мадлен-Лор и ее брату.

Гражданский брак Клода Армана и Габриэль-Лор состоялся в мэрии местечка Конде 15 сентября 1808 года, и в тот же день союз их был благословлен в заново отреставрированной замковой часовне[22].

Тайны

Мы попытались восстановить обстоятельства, связанные с этим браком, на основании семейного архива, где содержатся необычайно богатые материалы. И все же без темных пятен не обошлось: возник ряд вопросов, ответы на которые автор пока найти не может. Пример: спустя три дня после ночного посещения де Садом нотариуса Фино префект Дюбуа прислал Кульмье вот такое загадочное предупреждение:

Париж, 23 июля 1808 года

Я узнал, сударь, что 20 июля сего месяца в подчиненную Вам лечебницу *от моего имени* явился некий полицейский комиссар и *извлек* из него г-на де Сада, содержащегося под строгим надзором на основании моих приказаний; комиссар сей отвел его к нотариусу, где заключенный составил некую бумагу и подписал ее.

Меня удивляет, сударь, что Вы столь легкомысленно поверили незнакомому Вам комиссару и запросу, сделанному от моего имени, не попросив предъявить ни поручения, ни письменного распоряжения относительно *человека, который находится под полной Вашей ответственостью и который не вправе покидать заведение ни под каким предлогом.*

Подобная снисходительность может иметь весьма тяжкие последствия, ибо таким образом Вы можете доверить г-на де Сада незнакомому человеку, целью которого будет *освободить Вашего подопечного от Вашей опеки.*

Поэтому предостерегаю Вас, сударь, от каких бы то ни было способов, кои могут быть избраны, чтобы застать Вас врасплох, а также от исполнения приказов, переданных от моего имени, если они не изложены в письменной форме и не имеют моей подписи.

Имею честь приветствовать Вас.

Государственный советник, префект, граф Империи *Дюбуа*[23]

Так кто же был тот пресловутый комиссар, явившийся к маркизу ночью 20 июля? Мы знаем только, что его звали Пессоно; он оплачивал услуги мэтра Фино, и тот выдал ему расписку в получении гонорара[24]. От чьего имени он действовал? Возможно, его послала семья. Напомним, что к этому времени она еще не получила бумагу, аннулирующую протест. Следовательно, надо было заставить маркиза отозвать этот протест. Каким образом? Угрозами или обещанием скорого освобождения? Никто не знает. Откуда взялся этот Пессоно? Откуда префект Дюбуа узнал, что де Сад покидал стены лечебницы? Мы этого не знаем. Тем не менее в связи с этим хочется еще раз вспомнить черновик письма г-жи де Бимар, где она умоляет префекта полиции убедить Сада «принять единственно разумное решение и последовать ему». Была ли она услышана? Позволили ли ее связи в высших кругах добиться вмешательства полиции, дабы убедить упрямого маркиза? Загадка.

Есть и другие странности. Так, 2 августа 1808 года, день в день, когда Сад наконец дал согласие на брак своего сына, доктор Руайе-Колар направил министру полиции пространный доклад о непрекращающемся скандале в Шарантоне, причиною которого является присутствие там некоего субъекта, отличающегося чрезвычайной испорченностью, и требовал перевести сего субъекта в «тюрьму или крепость». Его следует поместить

<...> в строгую изоляцию, – писал врач, – чтобы оградить остальных от приступов его ярости и удалить от него любые объекты, способные возбудить его или пробудить в нем отвратительные страсти. Шарантонская лечебница не удовлетворяет ни одному из этих двух условий. Де Сад пользуется слишком большой свободой. Он имеет возможность общаться со многими людьми обоего пола, принимать их у себя, а также посещать комнаты других пансионеров. Ему дозволено прогуливаться в парке, где он часто встречается с больными, обладающими такими же привилегиями. Некоторым из них он излагает свои ужасные доктрины, дает читать свои книги. Наконец, по лечебнице ходит слух, что он живет с женщиной, которую называет своей дочерью. Но и это еще не все. В этом заведении имели неосторожность организовать театр и привлекли к участию в нем душевнобольных, не подумав о том, сколь плачевно отразится столь бурное предприятие на их воображении. Директором этого театра является де Сад. Именно он отбирает пьесы, распределяет роли и проводит репетиции. Он обучает актеров и актрис декламации и делает это по всем правилам сценического искусства. В день, когда проводятся открытые репетиции, у него в запасе всегда имеются пригласительные билеты, и, выйдя на сцену вместе с участниками спектакля, он принимает аплодисменты зрителей. Во многих случаях он сам выступает автором текстов, сочиненных в основном по случаю праздеств; например, ко дню рождения директора он всегда старается написать в его честь аллегорию или по меньшей мере несколько хвалебных куплетов. <...>

Надеюсь, Ваше превосходительство найдет эти причины достаточно обоснованными, дабы распорядиться перевести де Сада из лечебницы Шарантон в иное место заключения. <...> Я не прошу, чтобы его вновь отправили в Бисетр, где он находился прежде, однако не могу не сказать Вашему превосходительству, что тюремный замок или крепость подошли бы ему гораздо больше, нежели заведение, предназначенное для лечения больных, за которыми требуется самый тщательный уход и к которым необходим подход чрезвычайно деликатный <...>[25].

Содержание этого письма странным образом напоминает угрозы, о которых сообщил отцу Луи-Мари; а спустя месяц у маркиза начался

конфликт с семьей. Совпадение? Может быть. Однако ничто не запрещает усматривать определенную связь между демаршем главного врача и желаниями семьи. Донасьен же высказывается без всяких колебаний: он открыто обвиняет Клода Армана и г-жу де Бимар в том, что они просили перевести его из Шарантона.

Призрак крепости Ан

Министр полиции Фуше приказывает произвести расследование и выяснить, как ведет себя в Шарантоне вышеуказанный узник. Исполнителем распоряжения он назначает префекта Дюбуа. Префект подтверждает, что де Сад поддерживает отношения с некоторыми обитателями лечебницы и «даже с посторонними лицами». Однако разве может быть иначе в заведении, не являющемся тюрьмой? «Также правда, — добавляет он, — что он обучает сценической речи актеров и актрис, играющих комедии в театре, устроенном директором в руководимом им заведении». Когда же директора об этом спросили, г-н де Кульмье

> <...> согласился, что во всем, что касается театра, он многому обязан де Саду, ибо, рассматривая комедию как целительное средство при умственных расстройствах, он счастлив найти у себя в лечебнице человека, способного побудить больных, коих он полагает вылечить, выступать на сцене, дабы они скорее исцелились.

Завершает Дюбуа свое послание следующим образом:

> Если пребывание де Сада в Шарантоне провоцирует скандал, влекущий за собой почти неизбежные злоупотребления, то, полагаю, наилучшим местом для него станет крепость Ан или иная государственная тюрьма; содержание его станет оплачивать его семья. Человек этот, развративший общественную нравственность своими нечестивыми и бессовестными писаниями, человек, на счету которого имеется немало преступлений, не может вернуться в общество, для которого он представляет определенную угрозу[26].

Получив это письмо, министр отдает приказ о переводе Сада в крепость Ан[27]. Дюбуа немедленно сообщает об этом решении семье. Арман должен вот-вот подписать брачный контракт; обвинительная речь Руайе-Колара поступила слишком поздно, как и доклад Дюбуа, как и решение министерства. Старик из Шарантона больше не сможет ничего опротестовать. К чему теперь отсылать его столь далеко? Это доставит всем слишком много хлопот. К тому же, с точки зрения общества, лечебница для «безумного либертена» является гораздо более почтенным и лучшим местом, нежели крепость, где содержатся узники, осужденные на основании гражданских законов. И семья вручает префекту петицию, где напоминает «о недугах и возрасте заключенного», и утверждает, что, «обосновавшись в Париже, ей будет трудно оказывать ему необходимые заботы, а так как его собственное состояние не слишком велико, то в ином месте он может оказаться без надлежащего ухода». К этой бумаге прилагается соответствующая справка, выписанная Кульмье. 9 сентября Дюбуа отсылает все документы министру, сопроводив их собственным комментарием:

Доводы, приведенные семьей, показались бы мне совершенно убедительными, если бы речь шла об ином человеке, нежели де Сад. Однако если он не будет помещен под замок, если ему не будет запрещено общение с другими пациентами и посетителями лечебницы или, иными словами, со всеми, кроме своих родных, если у него не отберут бумагу, чернила и перо, то, на мой взгляд, решение от 2 сентября должно остаться в силе.

На полях секретарь Фуше отмечает: «Оставить в силе»[28]. Следовательно, Саду предстоит отправиться в крепость Ан.

Через несколько дней к префекту Дюбуа приезжает Арман. У нас имеется черновик его письма, в котором г-жа де Бимар исправила орфографические ошибки. Он умоляет префекта отозвать приказ министра. Если сделать это невозможно, то пусть, по крайней мере, узнику дадут спокойно перезимовать в Шарантоне, а переезд отложат на ближайшую весну[29].

Проходит месяц, а решение все еще не принято. Семья де Сада вновь пишет прошение, умоляя отложить перевод, и прилагает медицинское заключение, сделанное 22 октября доктором Дегизом, где сказано, что у пациента

<...> обострился ревматизм, дающий осложнения, особенно на сердце. Это обнаруживается при пальпировании, и т. п.; также наличествуют заболевания головы: головокружения, от которых походка становится нетвердой. К тому же у пациента опухает правая нога, особенно вечером. Излишняя полнота также вредит здоровью г-на де Сада. Состояние его требует особого ухода, и, если ему придется резко менять привычки и образ жизни, возникнут серьезные опасения за его жизнь[30].

Можно подумать, что и на этот раз это всего лишь уловка, очередной шантаж. Но теперь мы склонны ей верить. В шестьдесят восемь лет здоровье маркиза значительно пошатнулось, особенно за последние месяцы. Он сам составил полный перечень всех своих недугов — возможно, по просьбе доктора Дегиза. Нам кажется, что публикация такого рода документа будет отнюдь не лишней:

Регулярно, каждый день, между четырьмя и пятью часами дня у меня в животе начинаются ужасные боли, и вскоре мне кажется, что болит уже все тело. Боль тянется к горлу, к зубам, к голове и повергает меня в состояние, когда я с трудом могу произносить слова. Начинаются спазмы, по всему телу пробегает дрожь; начинается зевота, тошнота, полный упадок сил. Кровь приливает к голове, голова кружится, в ушах звенит, мне трудно держаться на ногах, тысячи других неприятных ощущений, свидетельствующих о сильном напряжении в мышцах, охватывают меня, нервная система приходит в крайне раздраженное состояние. Все это иногда проходит в кровати. Но чаще — боли лишь усиливаются, и меня ожидает ужасная ночь; когда же удается заснуть, начинают мучить кошмары. Утром, после вчерашнего приступа, дает о себе знать желудок, и в результате на протяжении целого дня у меня почти нет времени, когда можно наслаждаться покоем. Мне пришлось ограничить себя в пище, и аппетит мой изрядно поубавился. Зато все чаще воспаляются глаза, а левым глазом я почти ничего не вижу; правая нога опухла и болит почти не переставая, особенно когда я ее натружу[31].

При вмешательстве г-жи де Бимар и ее высокопоставленных знакомых прошение наконец удовлетворено. 11 ноября 1808 года министр полиции дал согласие на отсрочку и назначил переезд маркиза в крепость Ан на первую половину апреля 1809 года.

Но за месяц до наступления срока министра снова, с двух сторон, просят оставить узника в Шарантоне до конца его дней. Инициатор первого демарша известен: это г-жа де Таларю, маленькая кузина Дельфина, любимица маркиза, супруга несчастного Станисласа Клермон-Тоннера, вновь вышедшая замуж в 1802 году за Луи-Жюстена Мари, маркиза да Таларю, состоящего в родстве со знатнейшими фамилиями Франции[32]. Утром 9 марта она лично является к министру Фуше и просит

<...> поскорее приказать навечно оставить г-на де Сада в Шарантоне, там, где он находится уже восемь лет и где за ним имеется надлежащий уход, такой, какого требует состояние его здоровья; тамошние надзиратели, — добавляет она, — просто в восторге от его поведения[33].

К прошению она прилагает очередную справку доктора Дегиза, датированную 26 февраля; согласно этому документу, состояние здоровья г-на де Сада «по-прежнему вызывает серьезные опасения. <...> У него постоянно случаются приступы подагры, и я, — пишет врач, — могу всего лишь прописать ему прогулки и посильные упражнения; любые нагрузки больному противопоказаны»[34].

Инициатором второго демарша — о котором лишь недавно стало известно — выступает неутомимая г-жа Бимар. 19 марта, спустя десять дней после г-жи Таларю, она посещает министра полиции, и мы узнаем, что именно благодаря ей переезд Донасьена вновь отложен. На этот раз она просит, чтобы приказ о переводе был аннулирован:

Вам, сударь, я обязана переносами сроков перевода г-на де Сада в крепость Ан. Но если Вы окончательно отмените сей приказ, я буду Вашей вечной должницей! Это распоряжение причиняет ему несказанное горе, и он обвиняет в нем своего младшего сына; меня же он упрекает в том, что я этого приказа добилась, хотя Вам известно, как я сострадала и переживала о том, сколь ужасное впечатление сей приказ произвел на моего зятя, с какой болью он воспринял укоры отца и в какую от этого впал печаль. Отец его утверждает, что министр вряд ли станет настаивать на исполнении приказа, врученного лицам, назвавшимся родственниками г-на де Сада. Полагаю, это проистекает оттого, что его обманули или ввели в заблуждение. Причиной его несчастий является хаос, царящий у него в голове, и он часто не ведает, что творит, а теперь не ведает даже, что говорит. Тем не менее сыну крайне печально видеть, как отец упрекает его за суровость своего режима, в то время как сын делает все, чтобы режим ему облегчили. Вам, сударь, как никому иному, известно, сколько трудов претерпела я ради бракосочетания дочери. Мой скорый отъезд препятствует мне вручить Вам это прошение лично. Я оставляю его и уповаю на Вашу прежнюю дружбу. Моя признательность, сударь, равна чувству искренней привязанности, коя на всю жизнь связала меня с Вами[35].

Двадцать первого апреля Фуше отозвал приказ о переводе и разрешил Саду до конца его дней пребывать в Шарантоне[36].

«Наша адская семейка»

Через несколько недель после описываемых событий маркиз узнает, что его старший сын нашел смерть на одной из дорог Италии. 9 июня 1809 года лейтенант Луи-Мари де Сад держал путь к Отранто, где был расквартирован его корпус. Добравшись до Меркульяно, что в провин-

ции Авеллино, он наткнулся на засаду неаполитанских мятежников, и те застрелили его. Возле его тела нашли портфель, набитый бумагами, его паспорт, вексель, выданный г-жой де Сад на его имя на сумму в 1200 франков и женский портрет. Бумаги были в полнейшем беспорядке: его свидетельство о крещении, приказ полковника ехать на Корфу, список вещей, помещенных перед отъездом на хранение к супругам Моро, содержателям гостиницы Майанс на улице Сент-Оноре, где он проживал, семейные финансовые документы, записки поставщиков и т. п. Содержимое портфеля сначала было отослано полковнику, командовавшему Ингеборгским полком, а затем военному министру, переправившему их отцу жертвы. Де Сад разобрал бумаги и вложил их в большой серый конверт, на котором крупными буквами дрожащей рукой написал: «Бумаги, найденные у моего сына после его смерти».

О смерти Луи-Мари он узнал только через десять дней, ибо 17 июня в прошении к императору еще упоминал о своем сыне, «отличившемся на воинской службе». Нам неизвестно, как он встретил печальное известие. За неделю до трагического события, 2 июня 1809 года, он отпраздновал свое семидесятилетие. Нередко случается, что с возрастом эмоции притупляются, особенно те, что связаны со смертью, словно приближение собственной кончины делает человека нечувствительным к смерти других, в том числе и собственных детей. Справедливо ли это утверждение применительно к Донасьену? Никто не смог бы сказать с уверенностью. События, причинявшие ему боль — будь то смерть отца или продажа Ла-Коста, — он обычно встречал молча; вероятно, он и тут предпочел хранить молчание. Сад всегда проникался жалостью к себе исключительно из интереса или из страсти к игре (что, в сущности, почти одно и то же). Произнося напыщенные слова, он всегда заговорщически подмигивал или же иронически улыбался. Никаких жалоб — кроме гневных. Никакой жалости — кроме как к самому себе. На этом уровне равнодушие приравнивается к стоицизму денди.

Таким образом, маркиз не пролил ни единой слезинки. Не сделал ни единой уступки дурному вкусу или слабости. Ничего, что сделало бы его похожим на всех. Ни единого намека на случившееся, только яростные упреки Клоду Арману за то, что тот слишком рано сообщил матери о гибели Луи-Мари:

> Неужели Вы не понимаете, что поступаете совершенно недостойно, и от этого известие, что Вы принесли, стало еще более ужасным; неужели Вы не могли потянуть год и только потом известить Вашу мать о смерти ее сына? Нет, Вы захотели сразу же убить и отца и мать, одного нищетой, а другую горем. Терпение <...> терпение, Ваш сын отмстит за нас. Помните, что подобного рода жестокости никогда не остаются безнаказанными[37].

Как мы уже говорили, из двоих сыновей Луи-Мари был его любимцем, он видел в нем свое подобие. И это несмотря на самые серьезные расхождения, несмотря на любовное соперничество. Можно вспомнить, как маркиз сделал все, чтобы помешать его женитьбе на Рейналь де С***, знаменитой Мими, бывшей любовнице самого маркиза. Когда 15 августа 1808 года, перед отъездом в армию, сын пришел с ним проститься

(«намереваясь вернуться довольно скоро, если вопрос о моем пребывании так и не будет благополучно разрешен», – отмечает маркиз в своем «Дневнике»), отец выдал ему разрешение, оформленное по всем правилам, согласно которому сын мог жениться по своему выбору, но при условии, что «он никогда не будет забывать ни о своем происхождении, ни о состоянии, полученном от своих предков», предполагая таким образом создать повод для воспрепятствования браку. Бумага эта была найдена в кармане Луи-Мари.

Отношения между отцом и сыном были весьма натянутые, практически на грани разрыва; единственное, в чем нельзя было обвинить ни того, ни другого, так это во взаимном презрении или равнодушии. Хотя и воспитанный бабушкой, Луи-Мари сумел ничего не взять от «этих Монтреев». Как свидетельствует его обширная переписка, он, несомненно, мучился от «жестоких страданий», которые причинял ему отец. И задним числом не раз соглашался с действиями председательши, как, например, следует из письма к брату от 29 апреля 1801 года:

Не беспокойся об образе мыслей твоего отца; тебе он не передался. Скажу тебе, что бабушка моя была во всем права, а мы совершили великую ошибку, так как в свое время противодействовали ей. Сегодня надо вернуться к тому, что она сделала, и мы теперь работаем над этим[38].

Однако противодействие отцу было скорее на словах, чем на деле; оно проявлялось в тех случаях, когда начинался конфликт интересов, но крайне редко по существенным вопросам. В целом их отношения напоминали отношения самого Донасьена с его отцом. Холодный ум, никаких нежностей: либертен по нраву и по состоянию души, Луи-Мари умел держать себя в руках. Эгоизм отца, слабость матери, глупость сестры, лицемерие брата, алчность дядей и теток с материнской стороны: сии качества в полной мере отличают «нашу адскую семейку» – так однажды определил Луи-Мари своих родственников.

Узник императора

Шарантон, 17 июня 1809 года

Сир!

Де Сад, отец семейства, в лоне которого он обретает утешение в лице сына, отличившегося на военной службе (Луи-Мари умер неделю назад, но отец еще об этом не знает. – *М.Л.*), вот уже девять лет скитается по тюрьмам, успев за это время сменить целых три, и влачит жизнь самую несчастную в мире. Ему семьдесят лет, он почти ослеп, страдает подагрой, болями в груди и еще более ужасными болями в желудке. Справки от врачей лечебницы Шарантон, где он пребывает в настоящее время, свидетельствуют о правдивости его слов и дают ему основание требовать освобождения, равно как и утверждать, что никому не придется раскаиваться, если ему наконец вернут свободу. И он дерзает утверждать, Ваше Величество, что питает к Вам, Сир, глубочайшее уважение, и пребывает Вашим смиреннейшим и почтительнейшим слугой и подданным.

Де Сад[39]

Жильбер Лели справедливо негодовал, видя, как «повелитель слов» вынужден смиряться перед «кровавым обманщиком». «Вульгарность,

отличающая наполеоновские летописи», вызывает в нас такое же отвращение. Сад разыгрывал свою последнюю карту, единственную, по его мнению, способную изменить решение императора. Он рассчитывал не на сострадание, а на стыд при виде непристойного зрелища больного и немощного старца, содержащегося в цепях. Наполеон запрашивает мнение частного совета по государственным узникам, и 12 июля совет направляет ему следующую записку:

Де Сад: Снискал печальную известность романом «Жюстина», автором коего был признан. Хотел опубликовать еще один подобный роман, гораздо более отвратительный, но в Девятом году полиция арестовала и рукопись и тираж. Его хотели судить, однако испугались возможного скандала и оставили в тюрьме.

Мое уважение к Вашему Величеству не позволяет мне входить в подробности его поведения сначала в тюрьме Сент-Пелажи, а затем в лечебнице Шарантон, где он находился под надзором. Человек этот, похоже, постоянно пребывает в состоянии ярости и буйной похоти, что является причиною его чудовищных мыслей и поступков. В речах своих и писаниях он прославляет преступление. Это настоящий выродок, и его необходимо держать вдали от общества.

Комиссия придерживается единого мнения, кое я и сообщаю Вашему Величеству, а именно: его необходимо содержать в заключении и не позволять общаться с внешним миром[40].

Итак, его не только будут продолжать держать в заключении, но и намереваются полностью лишить контактов с внешним миром. Именно таков смысл записки, полученной Кульмье от министра внутренних дел Монталиве 18 октября 1810 года:

Г-н де Сад должен быть отправлен в совершенно изолированное помещение, чтобы не допускать его общения ни с внешним миром, ни с пациентами лечебницы, ибо любое общение ему запрещено, и никаких причин для нарушения этого запрета быть не может. Следует также позаботиться, чтобы ему не давали ни карандашей, ни чернил, ни перьев, ни бумаги <...>[41].

Раздраженный инструкцией министра, Кульмье решительно отвечает, что его лечебница не является тюрьмой, а потому у него нет возможности полностью изолировать де Сада, превратив его апартаменты в одиночную камеру.

К тому же, – добавляет он, – мне кажется бесчестным преследовать человека, который, без сомнения, виновен, но вот уже долгое время поведением своим стремится заставить всех забыть свои ошибки. <...> Рождение мое, должности и знаки отличия, коими я был отмечен, позволили мне встать во главе дома гуманности, но теперь я вижу, что меня хотят унизить, превратив в тюремщика. <...> Имею честь всего лишь заметить Вам, что г-н де Сад несчастлив вдвойне, ибо, следуя дурным примерам, дозволил детям своим оставить его без средств к существованию, и те, воспользовавшись его заключением, ограбили его окончательно[42].

По просьбе маркиза г-жа Таларю отправляется к Монталиве просить его смягчить последние распоряжения, отданные относительно ее «дяди». Она напоминает о его расстроенном здоровье, о необходимости для него прогулок, общения с другими людьми. Она также заверяет министра относительно публикаций произведений де Сада в Лейпциге: это всего лишь слухи, об этом никогда и речи не шло. Министр соглашается на прогулки заключенного по саду, однако так, чтобы они не совпадали с

прогулками других заключенных; даже г-жу Кене он может посещать, только когда та будет одна. Спустя немного времени де Сад добивается позволения общаться с тремя лицами по его выбору, обещая взамен не пытаться вступать в разговоры с другими. Наконец, от одной уступки к другой, он при поддержке Кульмье добивается смягчения распоряжения от 18 октября и постепенно обретает прежнюю свободу.

* * *

Подписывая постановление, согласно которому Сад продолжает оставаться взаперти, Наполеон, в сущности, не выносил никакого законодательно оформленного постановления. Автор «Жюстины» не являлся для него анонимом, ему была известна и его книга, и его репутация, и обе они были ему одинаково ненавистны. Даже живя на острове Святой Елены, бывший император французов никак не мог избавиться от этой ненависти:

> [Наполеон] сказал, что, будучи императором, он приказал доставить ему, а затем пролистал омерзительнейшую книгу, порожденную самым разнузданным воображением: роман, который, как говорили, даже во времена Конвента настолько возмутил общественное мнение, что автора его вынуждены были посадить под замок, где он по сю пору и остается и, надо думать, все еще жив[43].

Но вот что любопытно. Сад и Наполеон, «повелитель слов» и «кровавый лжец», оба были жертвами одного и того же фантазма. По крайней мере, именно так считал Баррас, сей новоявленный Плутарх, проводивший параллели между их судьбами: император, по его мнению, был Садом воинственным:

> На протяжении всей истории нашего мира не раз появлялись люди, именовавшиеся завоевателями; однако сами они называли себя вождями и избранниками фортуны <...>; когда же мы видим человека подобного рода, предназначенного судьбою превзойти всех завоевателей и в официальных сводках хладнокровно сообщать, как только что у него на глазах по его приказу погибли тысячи ему подобных <...>; когда на этих ужасных страницах, где, на его взгляд, высятся памятники его победам, мы читаем о том, сколь прекрасно зрелище, когда кровь и мозг множества зарубленных людей растекаются по снегу, а с появлением солнца картина эта делается еще восхитительней, разве тогда не позволительно предположить, что сия свирепость завоевателя является в глазах философа и физиолога не чем иным, как замаскированным выражением жестокой, но потаенной системы г-на де Сада, и применением ее еще более дерзким и в более широких масштабах? Разве тот, кто <...> осмелился официально заявить в своей газете «Монитёр»: «Мои наклонности влекут меня к войне», не обладает той же самой натурой, что и де Сад?[44]

Последнее лето госпожи де Сад

Седьмого июля 1810 года, в Нормандии, в своем замке Эшофур, в десять часов утра испустила последний вздох разведенная супруга маркиза де Сада Рене-Пелажи Кордье де Монтрей. Ей было шестьдесят девять лет. Глухая и беспомощная, она постепенно теряла зрение из-за катаракты. Мы отыскали одно из последних описаний состояния

ее здоровья, сделанное 14 октября 1808 года хирургом Ори. Г-жа де Сад страдала от «весенней лихорадки», которую врач приписывал «воспалению селезенки», причины которой «было бы интересно выявить».

На мой взгляд, — пишет он далее, — она происходит из-за содержимого протоков поджелудочной железы, повлиявшего на возникновение катаракты, а также от ее образа жизни, как прошлого, так и настоящего, от ее постоянных бдений и пристрастия к чтению, от сидячего образа жизни, мучительных мыслей, ее одолевавших, и от частых приступов меланхолии. <...> Физическое состояние г-жи де Сад неудовлетворительно, она слаба, у нее расшатанная нервная система, она легко раздражается, и малейшие волнения оказывают отрицательное влияние на ее здоровье <...>[45].

Так как состояние здоровья не позволило ей присутствовать на свадьбе сына, она отправила представлять ее своего поверенного. Она не стала принимать участие в нескончаемых дебатах, предшествовавших этому событию, а сразу же подписала доверенность, а затем следовала во всем за г-жой де Бимар. С января месяца 1807 года она снимала квартиру в монастыре на набережной Турнель, где останавливалась во время своих кратких наездов в Париж. Большую часть года она проводила у себя в Эшофуре вместе с дочерью. Когда в 1844 году Мадлен-Лор умерла, она завещала похоронить себя рядом с матерью. Сегодня прах их покоится на маленьком сельском кладбище. На могильной плите все еще можно прочесть выбитые имена Рене-Пелажи и Мадлен Лор де Сад и надпись: «Обе были добродетельны и любили творить добро».

Последние строки

В бумагах маркиза больше ни разу не появится упоминания ни о смерти жены, ни о гибели сына. Его волнуют другие заботы, более насущного характера: как оплатить свой пансион, раздобыть чернил и бумаги и начать писать, неутомимо испещряя листы бумаги своим почерком, то по-прежнему твердым и четким, то крупным и дрожащим, с трудом узнаваемым, когда его охватывает усталость, а из глаз вытекает липкая жидкость, склеивающая ресницы.

Вот уже три года, как он ведет свой «Дневник» в маленьких тетрадках. Когда одна из них, согласно постановлению от 18 октября 1810 года, была конфискована, он направил протест Кульмье, требуя, чтобы ему вернули тетрадь и все остальное, «как бумагу, так и перья». Ему не вернули ничего. Хуже того: в 1814 году у него изъяли еще одну тетрадь[46]. Впрочем, ничего предосудительного в этих маленьких листочках, исписанных наспех и без всякого порядка, не было. Рубленые, усеченные фразы; старческий почерк, усталый, неровный. Много инициалов и прозвищ. Но главное — цифры, сотни цифр, щедро рассеянных повсюду между словами и выстроенных в колонки: даты, часы, денежные суммы, тщательный подсчет дней, проведенных в заключении, перевод этих дней в недели и месяцы... Бесконечные зацепки, отчаянные усилия одолеть время, страх перед бесконечностью, пустым временем без памяти, без сущности, без вчера и без завтра.

«Дневник» этот, читаемый с невероятным трудом, являет собой настоящее эзотерическое сочинение, столько в нем всевозможных шифров и пропусков. С самого своего поступления в Шарантон Сад вновь одержим безумием «значков». Снова, как и прежде в Бастилии, для него цифры говорят языком оракула, смысл которого от нас ускользает: вот уж поистине вызов, брошенный проницательности современных семиологов. «Значки» не только предсказывают будущее или выявляют добрые или дурные намерения ближних. Некоторые группы благоприятных значков имеют власть стимулировать и даже вызывать в нем эротические желания.

Эта мания истолкования вполне способна оправдать его присутствие среди душевнобольных, хотя г-н Дюбуа и предпочел ей диагноз «безумие либертена». Де Сад признает, что его увлечение многим кажется странным.

Я понял, что независимо от возмутительно бессмысленной цифровой системы, которую круглые дураки употребляют против меня, есть еще одно неудобство: они повсюду выставляют меня на посмешище, ибо им кажется, что надо мной можно смеяться безнаказанно; надеюсь, детям моим этого переживать не придется. В сущности же это всего лишь триумф глупости над разумом; а так как у них, кроме глупости, ничего нет, то пусть она им и остается[47].

Единственное настоящее развлечение – это театр, который занимает огромное место в его жизни, хотя Руайе-Колар изо всех сил старается запретить его. Если у Сада не получается поставить чужую пьесу, он перерабатывает свою, а затем отдает ее больным на переписку. Он по-прежнему жаждет славы драматурга и никогда не откажется от возможности снискать эти лавры. До самой смерти он будет с неизменным пафосом добиваться постановок своих пьес на парижских сценах. В 1813 году он вновь отошлет в театр Комеди Франсэз свою трагедию «Жанна Лене» под предлогом, что двенадцать лет назад она была возвращена ему «на доработку», что, как нам известно, не соответствует действительности. Члены труппы напишут поистине беспощадный критический анализ пьесы, где укажут на множество исторических неточностей, нелепиц, на мелодраматические эффекты, на низкий уровень александрийского стиха (приводятся цитаты) и придут к заключению, что пьесу нельзя даже направить в комитет по читке. Поставить подпись под этим заключением вовсе не означает нанести оскорбление гению де Сада. Пьеса изначально была непригодна для постановки; таковой она и осталась.

Слабое утешение: он по-прежнему пишет маленькие шутовские пьески на испанский манер или же пьесы в стихах по случаю празднеств, устраиваемых в Шарантоне. Так, 6 октября 1812 года он в честь приема кардинала Мори, архиепископа Парижского, сочиняет кантату на мотив одной известной в те времена песни; вот ее главный куплет:

Добра его исполнен нрав,
И он сравнится с Сыном Божьим,
Что, облик смертного приняв,
Приходит утешать ничтожных.

Одетый в пурпур кардинала,
В величье душу облачив,
Со всеми тверд и справедлив,
Но полон состраданья к малым.

Неизвестно, остался ли прелат доволен сочиненным в честь него стихом. Во всяком случае, дирекция предпочла скрыть от епископа подлинное имя автора, приписав его одному из пансионеров дома[48].

* * *

Первого сентября 1812 года он начинает набрасывать «героический» роман под названием «Аделаида Брауншвейгская», основой которого служит подлинная история, случившаяся в XI веке; 4 октября роман окончен. Восемь дней – как, с присущей ему точностью, он сам свидетельствует – он правит роман, затем 13 октября начинает писать начисто и завершает работу 21 ноября: «Тридцать девять дней на переписывание. 4 декабря все завершено полностью, и я выбрасываю черновик. Вся работа заняла три месяца и четыре дня».

Девятнадцатого мая 1813 года он начисто пишет «Тайную историю Изабеллы Баварской», королевы Франции, супруги короля-безумца Карла VI, и завершает ее 24 сентября. 20 ноября он еще вносит в нее исправления. Атмосфера в лечебнице весьма подходящая, чтобы «питать высший интерес», внушенный ему «этим необычным царствованием». 22 января 1814 года он передает рукописи «Изабеллы Баварской» и «Аделаиды Брауншвейгской» своему лакею Паке, чтобы тот отнес их к издателю. Впрочем, безуспешно: оба романа выйдут соответственно в 1953 и 1964 годах[49].

В течение 1813 года в лавках книгоиздателей появляются без указания имени автора два томика «Маркизы де Ганж», исторического романа, вдохновленного трагической судьбой Мари-Элизабет де Россан, маркизы де Ганж, прозванной в период царствования Людовика XIV Прекрасной Провансалкой; маркиза была злодейски убита братьями собственного мужа[50]. Невинность героини, жестокий сюжет, атмосфера черного эротизма, пронизывающая некоторые эпизоды, – история просто просилась на перо романиста. Уже в XVII веке продолжатели Франсуа де Россе поместили написанную на соответствующий сюжет новеллу в сборник «Трагических историй», а затем Гайо де Питаваль включил ее в свои «Знаменитые истории». Романисты, поэты, драматурги друг за другом эксплуатировали эту тему. Всего за три года до выхода романа де Сада, в 1810 году, появилась новая версия истории де Ганж, принадлежавшая перу авиньонского писателя Форсиа д'Юрбана.

Как известно, сыновья маркиза не испытывали никакой гордости за отцовские сочинения; если они и говорили о писательском даре отца, то лишь смущенно и вполголоса. Однако достойная жалости судьба Прекрасной Провансалки сумела растрогать сердце Клода Армана: «Я с большим удовольствием прочел “Маркизу де Ганж”», – признается он в письме к отцу[51] от 17 ноября 1814 года. Через две недели Сад покинет мир живых.

«Ты слишком долго жил!»

«Поистине, это особое удовольствие, – писал Жильбер Лели, – воображать де Сада, впервые листающего пять томиков “Гения христианства”». Сегодня призывать на помощь воображение необязательно. Благодаря архивным поискам нам достоверно известно, что Донасьен своевременно ознакомился с произведением Шатобриана. По его специальной просьбе г-жа де Бимар 2 мая 1811 года отправила ему искомый экземпляр, в сопровождении записки, которую мы публикуем ниже. Интересно отметить, что достойная женщина оставляет пробел вместо слова «кузен»: кто знает, а вдруг кто-нибудь ненароком раскроет ее родство с этим чудовищем!

Вы, кажется, хотели получить “Гения христианства”, мой... [кузен]: вот он, книги Ваши. Уже исходя из историй про Атала и Рене Вы поймете, что только пылкая и страстная душа могла написать, как добродетель и религия перебороли чувства, вводившие в заблуждение сердце и разум. Хотелось бы, чтобы сочинение это произвело на Вас должное впечатление.

Наш маленький Рене вчера уехал вместе с отцом; надеюсь, это ангельское дитя вырастет счастливым.

Примите мои уверения в искреннем моем участии в Вашей судьбе. От Вас зависит, мой ... [кузен], пущу ли я в ход свои связи. Будьте постоянно таким, каким нам бы хотелось Вас видеть, чтобы мы могли сказать: «Он таков, каким должен был бы быть всегда. Верните ему свободу, верните его семье». Со всей откровенностью, коей отличается мой характер, и с искренней душой я заканчиваю, мой...[кузен], и выражаю Вам свои пожелания, продиктованные искренней к Вам привязанностью.

В Париже, 2 мая 1811 года[52] *Б.С.*

Ответ не заставил себя ждать. Спустя два дня Сад адресовал г-же де Бимар одно из самых длинных и самых прекрасных писем, которые когда-либо писал. Окрашенное черным юмором, оно стало последним свидетельством сочинительской активности шарантонского старца, его духовным завещанием, до сегодняшнего дня остававшимся не опубликованным.

Шарантон, 4 мая 1811 года

Могу Вас только искренне поблагодарить, дорогая кузина, за прекрасный подарок. Уверяю Вас, я отнесусь к нему с должным вниманием, и «Гений христанства», прибывший ко мне на крыльях добродетели, ума и грации, произведет исключительно достойное впечатление, на которое Вы и рассчитываете. А какими выражениями, дорогая кузина, Вы сопровождаете сей прелестный подарок! Несмотря на чрезвычайно любезные и необычайно возвышенные слова, то, что Вы пишете, буквально означает: *Вы выйдете отсюда, когда поумнеете.* Но разве, осмелюсь я Вас спросить, можно адресовать такие слова несчастному старику, обремененному недугами и годами заключения? Согласно первой части дилеммы (единственно верной), если я таков, каков должен быть, а я таков и есть, тогда зачем заставлять меня страдать так долго? А если следовать второй ее части, то к чему мучить меня и дальше, если все равно надежды на исправление нет? Получается, что жестокость совершенно бесполезна. Так неужели разум, мораль и религия позволяют использовать подобные методы? Когда Христос умер за нас с Вами, не искупил ли он тем самым все наши грехи? Следовательно, он не хотел, чтобы мы страдали напрасно, ибо сам потерял жизнь, спасая нас от ада. Тогда почему гонители мои говорят мне

о Господе, которому они не желают подражать? И как могу я не жаловаться еще больше, когда вижу, что основания для химерических страхов, кои питают относительно меня, имеют в основе своей лишь клевету? Начинают с того, что заставляют меня страдать как автора книги, от которой я отрекся не одну сотню раз во всех своих сочинениях, в двадцати газетах и на пяти допросах. Не зная, каким еще образом легитимизировать поистине абсурдную *продолжительность* столь скандального тюремного заключения, *продолжительность*, заставляющую подозревать другие преступления и позорящую одновременно и меня, и мою семью. Я, говорят, продолжаю писать. Как будто бы никто не знает, что все, написанное мною в Шарантоне, никогда не стало книгой и не было опубликовано! Я руководил спектаклями, поставленными в этом заведении, и спектакли эти стали рассадником ужаса. Однако, если бы так было на самом деле, стали бы их посещать в течение шести лет? Разве смогли бы более пятидесяти больных получить выздоровление в результате этих спектаклей? Пришли бы управители хвалить меня и благодарить за проделанный труд, если бы развлечение это было непристойным? Ах, я соблазнял молодых людей обоего пола... Кто эти люди? Где они? Пусть сами об этом скажут; я готов выслушать от них любые ужасы. Пусть поверят хотя бы директору заведения, где, судя по слухам, произошли все эти преступления, и мы посмотрим, что он ответит.

Так что же я такого совершил, что должен столь долго страдать? – Эй, несчастный, что ты такого сделал? Разве ты не видишь? *Ты слишком долго жил.*

Так вот, дорогая моя кузина, пусть преследователи мои потерпят; горе и отчаяние отроют мне могилу, и я скоро сойду в нее, ибо, разумеется, не проживу еще столько лет, сколько прошло с тех пор, когда они стали меня терзать. Так пусть же они не усугубляют свое варварство и не заговаривают о том, чтобы дать мне умереть в ином месте, нежели в сем пристанище безумия, эпилепсии, бешенства, пусть они больше не боятся человека, чье великое истощение, моральное и физическое, должно полностью успокоить их страхи. С какой страстью устремился бы я в лоно той религии, которая бы не стала вести себя со мной как тиран и палач, а явилась бы мне в образе утешения и добродетели. Да, дорогая моя и любезная кузина, нас надо убеждать примерами, а не пытками. Тех, кто плохо с нами обходится, мы ненавидим так же, как и их взгляды. А наших благодетелей любим, почитаем и готовы разделить их взгляды. Существо чувствительное, одной рукой утирающее нам слезы во имя Господа, а другой раздающее приказания от Его имени, всегда имеет шанс убедить нас. Если же запоры и змеи оберегают того, кто дает нам утешение, мы отдаляемся от него, отталкиваем его, ненавидим и начинаем оплакивать человечество <...>[53].

Так каково же было его мнение о «Гении христианства»? Взял ли он на себя труд прочесть его? Во всяком случае, автор не внушает ему особого почтения; он причисляет его к «богомольной толпе» всяких там Жоффруа, Жанлис, Легуве, Люс де Лансиваль и прочих «столпов тонзуры»[54].

Маленькие неприятности повседневной жизни

Тем временем в Шарантоне течет жизнь – горькая, полная обид и несчастья. Повседневная борьба опустошает. Ни дня не проходит без жалоб: он хочет свободно распоряжаться ключом от своей комнаты, прогуливаться в одиночестве, без сопровождения, когда этого ему захочется, беседовать с тремя пансионерами по своему выбору – тогда, когда будет удобно ему; в обмен на выполнение этих требований он

обязуется «не говорить ни с кем иным»; также он требует, чтобы ему вернули бумагу и перья, которые у него постоянно изымают. Его соседи сверху слишком шумят, зимой ему не хватает дров, у него мало свечей; под предлогом, что он развращает собственного лакея, у него забрали Маньяра и теперь отказываются вернуть его, хотя тот необходим ему совершенно[55], ибо он не хочет, чтобы его обслуживал какой-нибудь «безумец, доносчик или же рохля»; его откупщики в Провансе о нем забыли, ему нечем заплатить даже цирюльнику... Впрочем, ему не хватает всего. И все из-за того, что сын постоянно забывает оплатить его пансион. Неизданные письма де Сада к Клоду Арману являют собой бесконечный список жалоб, из которого следует, что шарантонский старец упрекает владельца замка Конде-ан-Бри во всех смертных грехах:

Вы виноваты в том, что мне никто ничего не платит, — заявляет он однажды сыну. — Вы с непростительной жестокостью закрываете глаза на мои страдания. А если в двух словах, К<ульмье>, не получая более денег, готов отказаться кормить меня; я уж не говорю о том, что у меня совершенно износились и чулки, и панталоны, и башмаки. Я болен, мне нужны лекарства, а больница в них отказывает. Мне приходится страдать, и ничто не может облегчить моих страданий, ибо я не могу купить себе лекарств. Понравится ли Вам, если Ваш ребенок, коего жена Ваша носит в своем чреве, однажды обойдется с Вами точно так же? Так вот, заявляю Вам, что именно так и будет <...>[56].

Видите, сударь, — пишет он как-то сыну, — как дурно идут мои дела, пока Вы преспокойно почиваете в лоне гименея посреди всяческого изобилия! И Вы полагаете, что никто о Вашем поведении не узнает? О, тут Вы ошибаетесь, я постараюсь сделать все возможное, чтобы разгласить его!

Одним словом, сударь, Вы прекрасно знаете, что я полностью лишен средств к существованию. Кульмье не поступают деньги ни из Арля, ни из Боса, ни из Мазана. А все из-за Вашего неумения вести дела, из-за Вашего идиотского упрямства или, скорей всего, по причине целой системы оскорблений, разработанной этими отвратительными Монтреями, от которых Вы ее унаследовали. Но разве пристало Вам перенимать подобные гадости и становиться палачом собственного отца? Так пусть же настанет день, когда Ваши собственные дети станут терзать и мучить Вас так же, как терзаете и мучаете меня Вы. В остальном же хочу сказать Вам, что большое зло излечивается только с помощью сильнодействующих лекарств, и вскоре Вы познакомитесь с моими методами, кои я полагаю применить против Вас и Ваших сообщников[57].

Напрасные угрозы бессильного старика...

Впрочем, эти вопли отчаяния не должны вводить нас в заблуждение; действительность гораздо менее трагична, чем рисует ее де Сад. Как обычно, он находит злобное удовольствие в преувеличении своих несчастий, желая тем самым вызвать к себе сострадание; его забавляет расписывать собственные беды, он буквально наслаждается ими. Особенно сознавая, что это чрезвычайно злит его сына. Жалость, которую стремится вызывать этот старец, Клод Арман воспринимает как личное оскорбление; вот почему, несмотря на все свое бессердечие и эгоизм, он никогда не допускает, чтобы отец нуждался в самом необ-

ходимом. Отнюдь не из сыновней любви и не из-за соображений гуманности, просто дабы соблюсти декорум. Его письма к нотариусу Бурсье, также не опубликованные, свидетельствуют о пристальном внимании к нуждам отца, начиная с подписки на газеты «Журналь де Пари» или «Курье де л'Эроп э де спектакль» и кончая дополнительными вязанками дров в суровую зиму. Не считая подарков на Новый год персоналу лечебницы и ежегодного взноса размером в четыре луидора ко дню рождения Кульмье. Кроме того, Арман ежемесячно выделяет отцу 150 франков в месяц на карманные расходы. Немного, но для его нужд вполне достаточно. Это не мешает маркизу плакаться на нищету и тем самым (отнюдь не случайно!) позорить собственного сына. Арман, обычно весьма скрытный во всем, что касается его личных дел, однажды бросает Корбену, бывшему поверенному матери: «Мой отец, сударь, поведением своим и своими назойливыми просьбами о деньгах, с которыми он обращается буквально ко всем, хочет рассорить меня со всем миром»[58]. Он не преувеличивает: маркиз не только занимает деньги направо и налево, но вдобавок публично обвиняет сына в скупости и всюду рассказывает, как сын хочет уморить его голодом. «Из всех правил арифметики ему лучше всего известно вычитание», — пишет он все тому же Корбену. Можно представить себе смущение Армана, постоянно озабоченного тем, что о нем говорят, и более всего страшащегося прослыть палачом собственного отца.

Воспитанный матерью в уважении к буржуазным добродетелям, Клод Арман всего лишь послушно следует предписаниям, усвоенным в семье Монтрей. Боязливый, не отличающийся ни остротой ума, ни богатством воображения, чурающийся всяких фантазий, ревностно стремящийся поддерживать облик человека респектабельного, он никак не может понять, что жизнь не всегда бывает приятной, размеренной и обеспеченной, иными словами, такой, какую вел он сначала в Эшофуре, а затем в Конде-ан-Бри. Отсюда и непроизвольная неприязнь, постоянно испытываемая к отцу. Ничто, кроме случайности рождения, не связывало этого посредственного человека с великим авантюристом. И если Арман согласился заботиться о нем, то только для того, чтобы тот не угодил в Бисетр, запятнав тем самым репутацию семьи. И 150 франков на карманные расходы он выдает ему, чтобы не мучила совесть. Ибо, по сути, он ничем ему не обязан. Разве не он унаследовал от матери долговые обязательства де Сада? Отныне пресловутое приданое отец обязан вернуть ему, да еще и уплатить набежавшие проценты с суммы. В общей сложности около 200 000 ливров. Иначе говоря, маркиз до конца своих дней останется должником собственного сына, как прежде был должником собственной жены.

* * *

Несмотря на относительную свободу, которой он пользуется в Шарантоне, в глазах закона Сад по-прежнему остается узником, а потому жилище его постоянно подвергается обыскам. Кроме визитов

полиции, нарушающих привычный ритм жизни лечебницы и вызывающих недовольство больных, его подвергают допросам; все даты полицейских мероприятий маркиз тщательно фиксирует, сопровождая каждую запись комментарием. 31 марта 1811 года его «слегка тревожит» государственный советник Жоливе. 14 ноября того же года новый допрос, учиненный графом Корвьето, генеральным инспектором государственных тюрем; инспектор был «необычайно кроток и почтителен». 31 марта 1813 года его посещает граф Апелиус, «хотя не исключено, что зовут его несколько иначе». Де Сад находит графа «весьма суровым», но отмечает, что «визит его не затянулся»[59].

«Я обделен счастьем...»

Маркиз не из тех, кого легко обескуражить; перед лицом несчастья он начинает проявлять недюжинную энергию. Однако бывают дни, когда он чувствует, как силы покидают его и меланхолия, сия постыдная слабость, незаметно овладевает его душой. В такие минуты он мысленно уносится в места, где прошло его детство: в Ла-Кост, Соман... Он ловит себя на мысли, что с нежностью вспоминает даже о товарище своих былых дней Гофриди.

Старый нотариус по-прежнему живет у себя дома в Апте; ему уже семьдесят лет, и он наслаждается заслуженным покоем. После письма, знаменовавшего их разрыв, он не получил от маркиза ни единой вести и даже не знает, что тот угодил в Шарантон. Только Клод Арман по-прежнему ведет дела с его двумя сыновьями, Шарлем и Франсуа. Поэтому представьте себе волнение Гофриди, когда однажды ему вручают конверт, надписанный рукой его старого друга! Этот почерк!.. Разве он мог забыть его? Прежде один только вид его уже вызывал у него содрогание. Впрочем, сегодня г-н де Сад не вздыхает, не бушует, не расточает угрозы. Он всего лишь просит его проследить, чтобы были соблюдены интересы Констанс Кене, ибо она имеет «полное право» на часть его имущества. Ему также хотелось бы, чтобы его бывший поверенный помог ему выпутаться из процесса, затеянного его женой против вдовы Ровера с единственной целью — изъять у него приобретения, сделанные на деньги, вырученные от продажи Ла-Коста. Он также просит его прислать ему рукопись своих собственных записок, «крайне неточных и написанных исключительно начерно», которую он когда-то видел в руках Франсуа Гофриди, не пожелавшего отдать ее. «Я никогда не признаю себя автором этой рукописи, а посему прошу Вас передать ее мне», — добавляет он.

И только в конце письма он переходит к личному. Впервые он позволяет себе быть откровенным и признается в своих печальных мыслях:

Как поживают Ваши родные? Хорошо ли Вам в семье, сумели ли Вы найти места для Ваших мальчиков, выдать замуж Ваших дочек?

Как поживает добрейшая и почтеннейшая мадам Гофриди? И вы, милейший мой адвокат, спутник моей жизни, товарищ моего детства, как Вы поживаете? <...>

Несколько слов о Ла-Косте, о тех, кого я любил, о Поле и проч. Правда ли, что

мадам Ровер оставляет за собой замок? В каком он сейчас состоянии? Как там мой бедный парк, напоминает ли в нем хоть что-нибудь обо мне?

Как поживают мои родственники в Апте?

Быть может, теперь Вам будет интересно узнать новости и обо мне? Так вот, *я обделен счастьем*, но прекрасно себя чувствую. Это все, что я могу ответить другу, ибо надеюсь, задает мне сей вопрос именно он.

Ваш навечно

Сад[60].

Гонения на театр

Годы, последовавшие за смертью Гастальди, были самыми тяжелыми в жизни Кульмье. Его отношения с Руайе-Колларом ухудшились до такой степени, что они общались только в письменной форме; не лучше было и финансовое положение лечебницы; а вскоре наступил подлинный финансовый кризис. После визита Монталиве, состоявшегося в июне 1810 года, несчастный директор смог в полной мере оценить немилость, в которую он попал; на лице министра все время читалось откровенное недовольство[61].

В январе 1812 года Монталиве поручает аудитору Государственного совета Фруадфону де Белилю провести проверку бухгалтерии Шарантона. Известно, что бывший управляющий Аббекура всегда держал бухгалтерские книги лечебницы у себя «под рукой», как некогда держал книги аббатства. Инспектор требует от Кульмье полного отчета и расписки всех расходов по главам, начиная с Одиннадцатого года и до 1809 года. Необходимо восстановить записи за пятнадцать лет: непростая задача для старика семидесяти одного года от роду, которому даже помочь некому: его бухгалтер внезапно скончался. Однако он справляется с задачей и получает полную очистку счетов за пятнадцать лет своего директорства.

Остается весьма существенный вопрос о театре. Несмотря на враждебность главного врача, префекта полиции, министра внутренних дел, политических и медицинских светил и прочих недовольных, в один голос твердящих о «недопустимости» подобного предприятия, Кульмье выдерживает их натиск. Верный теориям Гастальди и собственным убеждениям, он отражает нападки, избегает полемики и продолжает устраивать спектакли. Более того, рискуя прослыть ослушником, оставляет главой театра де Сада. В 1810 году маркиз показывает ему список приглашенных, свидетельствующий, что публике эти спектакли нисколько не наскучили. В нем можно найти имена г-жи де Кошле (постоянная зрительница, резервирующая за собой 8 мест), шарантонского нотариуса Фино (2 места), хирурга Дегизе (3 места), мэра города Шарантон (2 места), г-жи Кене (7 мест) и т. д.; еще семь мест резервирует за собой сам Кульмье. Неудивительно, что в списке нет ни Руайе-Колара, ни чинов из Министерства внутренних дел. В целом заранее заказано 90 мест, и это не считая 36 мест, предназначенных для персонала лечебницы, и 60 мест для больных, что в сумме составляет 186 мест[62].

Несмотря на упорство Кульмье и повышенный интерес, который попрежнему вызывают спектакли в Шарантоне, ясно, что в скором времени театр закроют: этого добиваются лица исключительно могущественные. Врачи-психиатры в целом отзываются о театре как о любопытном эксперименте, однако к применению его в лечебных целях относятся весьма скептически. Великий Эскироль, ученик Пинеля, ставший его преемником в Сальпетриере, отмечает успокоительный эффект после некоторых спектаклей, однако полностью отрицает их терапевтическое воздействие. Его суждения о театре в Шарантоне особенно строги, однако он высказывает их со знанием дела, так как сам пробовал устроить нечто подобное со своими больными, и пришел к следующему выводу:

Я водил на спектакли различных душевнобольных, доверенных моему попечению: одержимых тихими маниями, маньяков, не склонных к буйству, и меланхоликов. Я выбирал смешные пьесы, вызывавшие исключительно приятные впечатления и не способные пробудить опасные мысли либо идеи. Я справлялся о вкусах каждого больного и старался устроить так, чтобы каждый достаточно долго ждал этого зрелища. Но я не видел, чтобы после спектакля кто-нибудь излечился[63].

Он упрекает устроителя шарантонских празднеств, «слишком хорошо известного де Сада» в обмане, от которого больные впадают в еще большее безумие.

Спектакль этот — фальшивка, — напишет он позднее, — это не душевнобольные играют комедию, а директор смеется над публикой. Обмануты все: большие и маленькие, ученые и невежды, все, кто желал присутствовать на спектаклях, разыгрываемых сумасшедшими из Шарантона; несколько лет подряд на них съезжался весь Париж: одни прибывали из любопытства, другие — чтобы взглянуть, как столь замечательное средство способствует исцелению безумцев. Но истина состоит в том, что средство сие не излечивает.

Душевнобольные, присутствовавшие на этих спектаклях, становились объектами внимания и любопытства легкомысленной публики, непостоянной, а временами даже злой. Нелепые позы этих несчастных, их поведение на сцене вызывали насмешки и оскорбительную жалость зрителей. Этого вполне хватало, чтобы задеть самолюбие и чувствительность больных, расстроить разум и рассудок тех немногих, кто еще сохранил способность воспринимать отношение окружающих. Участники спектаклей пользовались особыми привилегиями, что порождало ревность, ссоры и зависть. Отсюда неожиданные припадки ярости, обострение умственных расстройств и еще большее помрачение рассудка[64].

К несчастью, знаменитый психиатр получал свои сведения из вторых рук; сегодня нам известно, что он черпал их у Ипполита Колена. Именно вслед за Коленом он обрушивается с нападками на театральные представления, устраиваемые в лечебнице. Кавалерийский офицер Колен убеждал, что Кульмье попустительствовал этому ловкому мошенничеству исключительно для того, чтобы к нему в заведение сбегались зеваки со всего Парижа. Именно Колен первым заявил о порочном воздействии театральных зрелищ на больных. Эскироль не только повторяет ход мысли шпиона, но беззастенчиво заимствует у него целые фразы. Ни Лели, ни Дома, издавший мемуары Колена, ни доктор Рамон, державший их в руках, не выявили шокирующие совпадения между двумя текстами; а совпадений этих вполне хватило бы для дискредитации выводов психиатра[65].

Власти, встревоженные пресловутым докладом Руайе-Колара, разоблачающим «плачевные последствия» воздействия театра на воображение больных, неоднократно направляют запросы Кульмье, а также его пансионеру, исполняющему роль руководителя труппы. Надо полагать, каждый раз маркизу удавалось находить убедительные доводы в пользу существования театра. Ведь написал же он в упомянутом выше письме к г-же де Бимар, что «исцелил около пятидесяти больных», и что власти явились высказать свое восхищение его деятельностью и поблагодарить за труды.

Вчера прибыли два члена правительства <...>, — продолжает он. — Кажется, они взирали на все благосклонно; и даже спросили, в чем у меня нужда, и согласились принять мои прошения, <...> *похвалили меня за стремление исцелить больных посредством комедии.* Они хотели, чтобы я непременно показал им свои безделушки для театра, они им понравились, и они даже попросили подарить им некоторые из них, что и было сделано[66].

Последний сезон

Любопытно, что закрытию театра более всего способствовали не власти, не врачи, не грозный Руайе-Колар, а сами больные, точнее, некоторые из них, возмущенные балами и празднествами, устраивавшимися в лечебнице, тогда как они проживали там в условиях, далеких от идеальных. Один из этих больных (имя его неизвестно) однажды решил пожаловаться самому министру внутренних дел. Мы отыскали его взволнованное прошение, которое — скорее всего — передает настроение остальных пансионеров лечебницы.

Сударь!

Что скажете Вы о лечебнице, где два или три раза в неделю устраивают балы и концерты и время от времени дают шикарные обеды, тогда как с несчастными больными обращаются как с преступниками? Большинство из них спят, как собаки, на соломе, прикрываясь клочками драных одеял. Но и подобное состояние не защищает их от оскорблений зрителей. Судите сами, сударь, какие настроения сии факты порождают. Увы, если бы мертвые умели разговаривать, сколько бы людей явилось подписать мое прошение! <...>[67]

Датированная 29 января 1812 года, бумага эта была присовокуплена к пухлому министерскому досье, где хранились письма с просьбами закрыть спектакли г-на де Сада. Это не могло продолжаться долго. Театр существовал семь лет, и все семь лет канцелярию Монталиве засыпали жалобами на это учреждение. Решение напрашивалось само собой. Обличительный текст Ипполита Колена, оказавшийся в поле зрения министра, способствовал рождению решения сугубо отрицательного. Кавалерийский офицер безоговорочно приговаривал любые развлечения подобного рода, по его мнению, гораздо более способствующие возбуждению воображения душевнобольных, нежели их исцелению.

Неужели театр может служить лекарством для женщин, подверженных истерическим припадкам? — вопрошал он. — Способен излечивать меланхоликов, впавших

в безумие по причине неразделенной или преданной любви? Как могут воздействовать эти приступы веселия на людей, снедаемых черной меланхолией? Что можно сказать о драмах, где страсти, накаленные сверх всяческих пределов, напрягают душу, а постоянные преувеличения, похоже, вполне согласуются с привычным состоянием меланхоликов, всегда готовых воспринимать вещи в их крайних проявлениях. <...> Не говоря уж о тех живейших впечатлениях, что производят на выздоравливающих развязки, неожиданности и прочие театральные эффекты, танцы, сладострастные позы, звуки музыки, то нежной, то воинственной, то исполненной пылких страстей, некогда обуревавших их самих! А если я начну вспоминать о всех рецидивах, о всех приступах ярости, порожденных спектаклями беспечных устроителей, если расскажу обо всех плачевных событиях, причиною коих спектакли сии стали? <...>[68]

Потрясенный таким коварством, но главным образом резкими критическими отзывами Колена, 6 мая 1813 года Монталиве издает указ, запрещающий «на время, до тех пор, пока не будет издано соответствующее разрешение, устраивать балы и концерты в лечебнице Шарантон»[69], и в тот же самый день направляет пояснительную записку Кульмье:

На основании полученных мною отчетов я убедился, что представления и балы, устраиваемые в Шарантоне с целью развлечь больных, могут оказывать на них воздействие скорее вредное, нежели полезное, ибо возбуждают их чувства и будоражат ум, и мне показалось уместным временно прекратить подобного рода мероприятия[70].

* * *

На этой сцене, где в последний раз опускался занавес, де Сад в полной мере познал счастье театральной иллюзии. Приют для умалишенных, случайные подмостки, публика, состоящая из душевнобольных и любопытных, безумные актеры — все это театр, целиком отданный в его распоряжение. Не общественное развлечение, не игра масок, но потребность телесная, настоятельная, «принцип переодевания».

Новый порядок

Кульмье попытался — но тщетно — отменить распоряжение министра. Запрет спектаклей он воспринимал как оскорбление памяти Гастальди: он написал об этом Монталиве и даже самому императору, но ответа не получил[71].

Спустя год, в апреле 1814 года, в Фонтенбло Наполеон подписал отречение. 3 мая в Париж торжественно въехал король Людовик XVIII; 5 мая он сформировал свое первое правительство, где портфель министра внутренних дел был предоставлен аббату Монтескью, яростному защитнику монархии в период Революции и Империи. 31 мая новый министр назначил генеральным директором Шарантона Рульяка де Мопа, занявшего место Кульмье, отправленного в отставку с небывалым вознаграждением в 35 589 франков 19 сантимов, предназначенным для возмещения затрат Кульмье как по авансированию строительства, так и «принимая во внимание неоднократные затраты, кои ему пришлось совершать»[72]. На первый взгляд эти события между собой не связаны, однако на самом деле имеют связь самую прямую. Несмотря

на преклонный возраст (ему было семьдесят три года), Кульмье вполне в состоянии был справляться со своими обязанностями; он — жертва политических катаклизмов, случившихся весной 1814 года. Режим, установленный Людовиком XVIII, не мог допустить, чтобы во главе «королевской лечебницы» в Шарантоне стоял бывший присягнувший священник, то есть священник-расстрига, бывший депутат Учредительного собрания и человек весьма вольных нравов.

Назначение на должность Рульяка де Мопа также не случайно. Бывший адвокат, не обладавший особыми талантами, своим назначением был обязан выгодному брачному союзу: он женился на Анриетте Руайе-Колар, старшей дочери главного врача шарантонской лечебницы! Для «малой» истории также следует отметить, что брат главного врача, Пьер Руайе-Колар, яростный монархист, долгое время был правой рукой аббата Монтескью. Так что все объясняется просто.

Едва вступив в должность, а именно 17 сентября 1815 года, новый директор направляет аббату Монтескью длинный, на целых шесть страниц доклад, посвященный своему знаменитому пансионеру. Напомнив обстоятельства и цель его заключения, а также планы его перевода в форт Ан, вмешательство г-жи Таларю и преступную снисходительность своего предшественника, он переходит к изложению настоящей ситуации:

Сейчас ему семьдесят четыре года; каждый день после завтрака у него начинаются ужаснейшие колики в желудке, о чем он сообщил мне сам, а также мадам Кене; потому не могу не признать, что прогулки и физические упражнения ему крайне необходимы.

Но является ли это основанием для получения им права общаться с обитателями здешнего дома, для приобретения перьев, чернил и бумаги, для права писать, делать копии и отсылать их за пределы лечебницы?

Мне кажется, монсеньор, что подобная свобода не входит в Ваши планы.

Однако так неизбежно будет, если г-н де Сад останется в этом доме. Совсем недавно я узнал, что он не только гулял в саду в то время, которое сам себе назначил, время, совпадавшее с часами прогулок тихих душевнобольных и выздоравливающих, но и продолжал принимать у себя в апартаментах или же в апартаментах мадам Кене, под предлогом, что ему требуется помощь при чтении газет. Также я узнал, что он нанял одного из пациентов, человека прямолинейного, однако простодушного, переписывать его рукописи, позволив ему также нанимать для этой переписки других больных, проживающих в дальнем коридоре; переписывали они различные театральные пьесы его собственного сочинения <...>[73].

С другой стороны, директор отмечает, что сын заключенного, «внешне совершенно честный человек, всеми силами стремящийся поддерживать такую же славу», отказался платить задолженность по пансиону в сумме 8934 франка и даже дерзает требовать отсрочки или сокращения означенной суммы, «ибо сия сумма совершенно нереальна», в то время как сам он лишил отца владений, являвшихся гарантией выплаты ему приданого, завещанного ему его покойной матерью. Он утверждает, что ничего не должен кредиторам отца под тем предлогом, что все долговые обязательства сделаны позже имеющейся у него ипотеки, и полагает сумму пансиона в три тысячи франков в год завышенной.

Так как в Шарантоне нет возможности поместить де Сада под постоянное наблюдение, а возраст его и здоровье не позволяют упрятать его в тюрьму, Рульяк де Мопа видит единственный выход: сменить местопребывание заключенного. На полях доклада, на первой его странице, министр карандашом пишет следующие слова: «Если есть таковая возможность, неплохо было бы отправить его в замок Иф». Вот уж действительно, маркиз де Сад, идущий по стопам аббата Фариа!

Письмо директора свидетельствует об уме недалеком; но хотя его нельзя заподозрить в широте взглядов, он отнюдь не бессердечен и действительно озабочен поддержанием нравственных устоев. Он намеревался заключить Сада в отделение для буйных, однако, видя перед собой страдающего многими недугами старца, отказался от этой мысли. «Человеколюбие протестует против подобной меры, — говорит он, — ему действительно необходим воздух и физические упражнения. И я нисколько не желаю лишать их его, а посему не намерен подвергать столь суровому заключению».

Двадцать первого октября 1814 года аббат-министр Монтескью предлагает графу Беньо, начальнику главного управления королевской полиции, принять решение относительно де Сада,

> <...> в настоящее время пользующегося свободой, последствия чего весьма плачевны. Он пишет; отдает пациентам переписывать свои сочинения, достойные, как мне говорили, тех трудов, кои снискали ему весьма печальную известность. Рукописи его вполне могут распространяться среди больных, и нетрудно догадаться, какое впечатление они могут оказать на экзальтированное или, напротив, ослабленное воображение. <...>
>
> Прошу Вас, господин граф, рассмотреть возможность как можно более скорого перевода г-на де Сада из Шарантона в иное место, где он не смог бы более приносить вред обществу[74].

Менее чем через два месяца вопрос сей будет решен — окончательно и навсегда.

Последняя авантюра господина де Сада

На многих страницах «Дневника» де Сада можно заметить таинственный значок, состоящий из маленького круга, пересеченного диагональю, примерно вот такого: ∅. Догадка проста: речь идет об эротическом символе, обозначающем содомизацию. Иногда он соотносится с лицами, иногда с мастурбационными фантазиями, но чаще всего появляется вместе с числами. Так, дата 29 июля 1807 года: «Вечер, идея ∅ имеет число 116, 4-я часть года». 15 января 1808 года: «Проспер явился с идеей ∅ ∅. Это 3-й его визит и 2-й визит его служанки, которая впервые образует ∅». 4 марта 1808 года: «Идея ∅ ∅ кажется v от 9-ти месяцев)». В 1814 году знак соотносится исключительно с одной очень юной особой, часто посещающей де Сада; он обозначает ее инициалами «Мгл». Девицу зовут Мадлен Леклерк.

Мы стоим на пороге наименее блистательного периода жизни «божественного маркиза». Это уже не элегантный джентльмен из Аркея



и не дерзкий либертен из Марселя. Даже не неукротимый узник из Венсенна или Бастилии, подсчитывающий свои «достижения», а дряхлый старик, возбуждающий свою чувственность при помощи шестнадцатилетней девчонки. «Нескромность убивает миф», справедливо замечает Жорж Дома и тут же добавляет:

Когда интимная связь раскрыта, она обретает свои истинные масштабы; в настоящем случае они измеряются обоюдной нищетой и посредственностью: деньги, обманы, ссоры, детские иллюзии, и все это приправленное жалким продлением эротизма, в тесном замкнутом мирке, тусклом и удушливом[75].

Мадлен Леклерк была дочерью одной из сиделок лечебницы; сама она также работала в лечебнице, обучаясь ремеслу прачки и белошвейки. Когда 9 января 1808 года, во время болезни г-жи Кене, старый пансионер Шарантона впервые заметил ее, девчонке не было еще и двенадцати. Благодаря нелепой мании «вычислений» маркиза, Дома полагает, что в первый раз девчонка пришла к нему в комнату 15 ноября 1812 года. Но если верить одному из имеющихся письменных свидетельств, это случилось значительно раньше, до 31 марта 1811 года, то есть до визита Жоливе. В самом деле, на следующий день после проведенного государственным советником опроса, маркиз составил, вернее продиктовал сыну (почерк именно его), ответ на выдвинутые против него обвинения. В частности, он отвергал обвинение в том, что поддерживает отношения с неким юношей и некой юной девицей:

Клеветнические измышления относительно молодого человека полностью лживы, он ничего не получал от меня, кроме добрых советов, а если его и удалили из дома, то исключительно потому, что директор уличил его в связи с одной из пациенток.

Девочка же является дочерью одной из сиделок лечебницы; мать поместила ее в услужение к мадам Кене, и она прислуживает ей, а вовсе не мне[76].

Юноша — это Маньяр, речь о котором шла выше и который был в услужении у Донасьена до тех пор, пока Кульмье не выставил его за порог. Искомой девочкой может быть только юная Мадлен Леклерк, которой в ту пору исполнилось пятнадцать лет.

Отрывочные записи в «Дневнике», сделанные с 18 июля по 30 ноября 1814 года, подробно излагают историю отношений этих необычных любовников. Со своей всегдашней скрупулезностью де Сад ведет учет «комнат» девицы (кодовое обозначение сексуального сношения), часто сопровождая описание пикантными деталями. К примеру, он отмечает:

Мгл. была чрезвычайно взволнована, она так и не сумела прийти в себя и оставалась холодной во время всего ∅, было начато, но так и не получило завершения (21 июля).

2 сентября:

Мгл. только что сделала 88-е упражнение из общего числа и свою 64-ю «комнату»; было нетрудно заметить, что она была больна и еще полностью не оправилась от болезни. Она подстригла волосы у себя на лобке.

Нисколько не смущаясь создавшимся положением, мамаша Леклерк поощряет дочь удовлетворять старческие потребности маркиза,

ибо тот за них платит (дает «фигурки», как он сам выражается). Едва прикрытое сводничество, позволяющее сколотить немного деньжат к концу месяца. И дополнительный стимул для закоренелого либертена, привыкшего оплачивать удовольствия наличными. Любопытно, что скромные суммы нисколько не мешают возникновению с обеих сторон чувства, отдаленно напоминающего нежность. Девица привязывается к своему покровителю, проникается к нему приязнью и снисхождением, обычно питаемым к старым дядюшкам, которые любя щиплют за попку. Впрочем, маркиз ревнует свою юную подругу, бдительно следит за ее знакомствами, запрещает ей покидать пределы лечебницы, посещать балы и бани. Постепенно в нем просыпается наставник, и он начинает обучать подростка основам чтения, письма и пения[77].

А как смотрит на это г-жа Кене? После нескольких «бурных сцен» и скандалов кроткая Констанс, похоже, мирится с присутствием девицы, однако не собирается ни в чем уступать узурпаторше. Она знает, что никто не может занять ее место в сердце Донасьена, и уверена, что новая девица – последняя его интрижка. Она не собирается лишать его иллюзий, хотя и считает всю эту историю смехотворной. Де Сад строит планы на тот день, когда наконец окажется на свободе, в чем он не сомневается ни секунды. Тогда он коренным образом изменит свою жизнь и создаст семью из трех человек: он поселит у себя Мадлен вместе с Констанс, а когда у него в распоряжении будут целых две женщины, он наконец-то сумеет объединить нежность и удовольствия! Он говорит об этом с мамашей Леклерк, которая в принципе согласна, однако на определенных условиях. Во-первых, девочке надо приискать какое-нибудь занятие. Тогда почему бы ей не поступить в театр? Ведь у него остались там связи! – убеждает ее Донасьен. Г-жа Леклерк делает кислую мину: там мало платят. Тем хуже, значит, она останется в Шарантоне, пока он не подыщет ей что-нибудь подходящее.

В глубине души он понимает, что мамаша Леклерк и ее дочка хотят его обмануть: получить свое, а потом бросить его. Быть может, он иногда даже задается вопросом: а сумеет ли он сам когда-либо вырваться за пределы лечебницы? Но вскоре его кипучая жизненная энергия берет свое, и он вновь с прежним упорством принимается строить планы на то время, когда окажется на свободе и станет строить новую жизнь.

«Мое завещание...»

Донасьен де Сад не принадлежит к людям, позволяющим событиям опережать себя. Мы помним, что первое свое завещание он составил уже во времена Террора, полагая, что имеет все шансы угодить на республиканскую гильотину. Через двенадцать лет, предвидя быстрое наступление старости, он не хочет быть захваченным врасплох. А уж о том, чтобы она поглотила его целиком, и речи быть не может. 30 января 1806 года, в возрасте шестидесяти шести лет, он пишет свои последние распоряжения, кладет их в конверт, запечатывает личной печатью крас-

ного воска и надписывает сверху: «Мое завещание, кое я вручаю мэтру Фино, дабы тот хранил его у себя. *Д.-А.-Ф. Сад*».

Три первые статьи завещания посвящены Сансибль.

Желая по мере своих слабых сил засвидетельствовать сей даме свою величайшую признательность за ее заботы и искреннюю дружбу, кою она питала ко мне с двадцать пятого августа тысяча семьсот девяностого года и до моего последнего дня, за ее деликатные и бескорыстные чувства, равно как и за ее мужество и энергию, ибо именно она, как это всем известно, спасла меня во времена Террора от нависшей над моей головой национальной бритвы, я, на основании вышеперечисленного, дарю и завещаю вышеуказанной Мари-Констанс Ренель, в супружестве Кене, сумму в двадцать четыре тысячи турских ливра в звонкой монете, имеющей хождение во Франции в день моей кончины. Также желаю и повелеваю, чтобы сумма эта была выделена из полностью свободных и очищенных от долгов средств, которые я оставляю после себя, и поручаю детям моим вручить ее в течение месяца, считая со дня моей кончины, мэтру Фино, нотариусу в Шарантон-Сен-Морис, коего я назначаю исполнителем моего посмертного волеизъявления, с тем чтобы он по своему усмотрению поместил эту сумму в верное место с наибольшей выгодой для мадам Кене, дабы обеспечить ей доход, достаточный для пропитания и существования. Доход сей должен ей выплачиваться поквартально, то есть каждые три месяца, а также должен быть оформлен таким образом, чтобы никто не смог его отобрать, а также чтобы потом и сумма, и доход с нее перешли бы к Шарлю Кене, сыну вышеуказанной мадам Кене, который станет их владельцем на тех же условиях, но только после кончины своей почтенной матушки <...>.

Кроме того, Донасьен завещает своей верной подруге «всю мебель, вещи, белье, одежду, книги и бумаги», которые будут найдены у него в день смерти, за исключением бумаг его отца, «которые легко узнать по наклеенным на связки ярлычкам»; эти бумаги следует передать его детям.

В четвертом параграфе он завещает Фино кольцо стоимостью 1200 ливров «за труды и старания, кои он приложит для исполнения сего завещания».

В пятом, и последнем, параграфе изложена его последняя воля. Де Сад запрещает проводить вскрытие его тела, как то предписано правилами Шарантонской лечебницы[78], и подробно расписывает детали своего захоронения, что свидетельствует о той важности, которую он придает тому, что станет с его бренной оболочкой.

И, наконец, *в-пятых*: я категорически запрещаю подвергать вскрытию мое тело, под каким бы предлогом ни захотели это сделать; также я настоятельно прошу, чтобы в той комнате, где я встречу свой последний час, оно бы пробыло ровно двое суток, положенное в деревянный гроб, который бы заколотили только по истечении указанных выше двух суток. За это время следует сообщить о смерти моей Ленорману, лесоторговцу, проживающему в Версале, на бульваре Эгалите, в доме номер сто один, и попросить его прибыть лично, вместе с телегой, дабы он сам на этой телеге отвез мое тело в лес, расположенный в моем поместье в Мальмезоне, в коммуне Эмансе, что близ Эпернона. Я хочу, чтобы гроб мой без всяких церемоний выгрузили в первом же густом пролеске, который встретится, когда подъезжаешь к лесу со стороны бывшего замка по большой аллее, делящей лес пополам. Могилу в этом пролеске под присмотром Ленормана выроет арендатор Мальмезона, а Ленорман проследит, чтобы гроб с телом моим был опущен в эту яму;[79] если ему будет угодно, он может найти себе сопровождающих среди моих родственников или друзей, тех, кто без всякой помпы пожелают в последний раз выразить мне свою привязанность. Когда могила будет засыпана, поверх следует посеять желуди, чтобы со вре-

менем сей клочок земли вновь покрылся растительностью и пролесок снова стал бы таким же густым, как был прежде, а следы моей могилы исчезли бы с лица земли, как, смею надеяться, и воспоминания обо мне изгладятся из памяти людей, кроме, быть может, тех немногих, которые любили меня вплоть до последних дней моих и нежные воспоминания о которых и я уношу с собой в могилу.

Составлено в Шарантон-Сен-Морис, в здравом уме и твердой памяти, тридцатого января тысяча восемьсот шестого года.

Д.-А.-Ф. Сад[80]

Последний взлет орла

Одиннадцатого ноября 1814 года девятнадцатилетний студент-медик Л.-Ж. Рамон прибыл в Шарантон, где получил место врача-интерна. Во время посещения больных ему не раз случалось встречать в коридорах массивную фигуру старца, прогуливавшегося в одиночестве и избегавшего сближаться с кем-либо; встречи эти он будет вспоминать всю жизнь:

> Я часто встречал его: шаркающей, тяжелой походкой он одиноко бродил по коридорам, примыкавшим к его апартаментам. Я никогда не замечал, чтобы он с кем-нибудь разговаривал. Проходя мимо него, я всегда здоровался с ним, но на мое приветствие он отвечал с такой убийственно холодной вежливостью, которая заставляет выбросить из головы саму мысль о возможности общения. <...> Ничто не могло заставить меня заподозрить в нем автора «Жюстины» и «Жюльетты»; мне он казался всего лишь старым дворянином, надменным и угрюмым[81].

В тот самый день, то есть 11 ноября, де Сад пишет письмо некоему Пепену, своему управляющему в Сомане; он хочет узнать, закончена ли вырубка леса Гарриг. Если нет, то управляющему следует поторопиться, а также постараться извлечь из этого предприятия «всю возможную выгоду». Часть выручки от продажи леса пойдет на покрытие неотложных расходов, необходимых для поддержания замка. Остаток же он ожидает с превеликим нетерпением: «Я даже передать не могу, сколь мне нужны эти деньги»[82].

Скорее всего, это последнее деловое письмо де Сада. Итак, последнее его послание адресовано в Соман, единственный оставшийся у него замок, где на каменных сводах по-прежнему можно видеть выбитый герб де Садов: увенчанный короной орел, раскинувший крылья, растопыривший когти, сжавший клюв. Так старец протягивает руку ребенку, некогда обитавшему под сводами Сомана. Срубленный лес, деньги, управляющий... Язык, используемый для обозначения привычных вещей, не подвластных великому забвению: закрытые ставни, защищающие от летнего пекла, маленький дворик, окруженный стенами с нависшей над землей дозорной галереей, большие мрачные залы замка, кессонная лестница, огромный парк, откуда в светлое время можно видеть укрепления Конта, пик Сен-Лу, Эгуаль и даже Севенны...

* * *

В дни, последовавшие за прибытием юного медика, здоровье маркиза начало резко ухудшаться. Острые боли внизу живота и в мошонке

потребовали соблюдения определенного режима. Ему запретили пить выдержанное вино. 26 ноября он попросил «помощника врача» Рамона заново наложить ему поддерживающую повязку. Он мучается ужасными болями в половых органах, особенно вечером, а также при малейшем к ним прикосновении. Воскресенье, 27 ноября: Мадлен Леклерк наносит ему свой девяносто шестой визит и проводит у него два часа; он подробно расписывает ей свои боли, так как ему кажется, что она ему «чрезвычайно сочувствует».

Она не была ни на одном балу, пообещала и в дальнейшем не посещать подобные мероприятия, строила планы на будущее, напомнила, что 19 числа следующего месяца ей исполнится девятнадцать лет, согласилась, как и обычно, заниматься нашими милыми играми, пообещала вновь прийти в ближайшее воскресенье или в понедельник, поблагодарила меня за все, что я для нее сделал, и я прекрасно видел, что она меня не обманывает и не имеет никакого желания обманывать[83].

Среда, 30 ноября: «Мне впервые надели кожаный бандаж». Это последние слова, начертанные рукой маркиза де Сада.

Четверг, 1 декабря: состояние его ухудшается; де Сад больше не может ходить; у него случается приступ «гангренозной лихорадки, сопровождающейся полным упадком сил». Его переводят в двухкомнатное помещение, несомненно более удобное, и доверяют его охрану одному из слуг.

Пятница, 2 декабря: во второй половине дня навестить отца приезжает Клод Арман. Видя, в каком тот пребывает состоянии, сын просит доктора Рамона позаботиться об отце. И хотя в его обязанности «первого помощника» не входит постоянное наблюдение за больными, он тем не менее обещает не оставлять его своим вниманием. На исходе дня он навещает своего пациента. На пороге его комнаты он сталкивается с выходящим оттуда аббатом Жоффруа, священником лечебницы. Святой отец кажется вполне удовлетворенным своим визитом; умирающий назначил ему очередную встречу на завтра, на утро. Интерн устраивается у изголовья маркиза, чье дыхание становится все более шумным и затрудненным. Рамон уговаривает его проглотить несколько глотков травяного настоя и напитка, употребляемого против «легочной недостаточности с астматическим компонентом». Неожиданно к десяти часам вечера, вскоре после того, как больному дали пить, врач перестал слышать его дыхание. Удивленной этой тишиной, он подошел к кровати и склонился над стариком. Донасьен де Сад завершил свой путь земной: орел достиг «седьмой небесной сферы».



ЭПИЛОГ

Третьего декабря 1814 года, на исходе утра, пока бренные останки де Сада покоятся в больничной часовне[1], эконом Дюмустье и служащий Дюбюиссон отправляются в мэрию оформить надлежащим образом кончину маркиза. Когда бьет полдень, они вместе с нотариусом Фино, исполнителем последней воли покойного, успевшим к этому времени стать мэром Шарантон-Сен-Мориса[2], ставят свои подписи под соответствующим актом.

В тот же самый день Рульяк де Мопа сообщил о кончине узника главному начальнику полиции и отдал надлежащие распоряжения:

> Мне кажется, что согласно гражданскому законодательству, сыну его, г-ну Арману де Саду, необязательно присутствовать при опечатывании имущества. Что касается мер, необходимых для поддержания общественного порядка, Ваше превосходительство могут сами судить, следует ли предпринимать какие-либо особые предосторожности, и, если сочтут необходимым, пусть соблаговолят отдать мне соответствующее распоряжение. Насколько мне известно, порядочность де Сада-сына не подвергается сомнению, и мне кажется, что он сам уничтожит опасные бумаги, если отец его таковые оставил[3].

Однако, несмотря на это, 5 декабря по настоянию мэтра Фино[4] комнаты де Сада были опечатаны.

Маркиз был похоронен на больничном кладбище Шарантона со всеми подобающими *церковными обрядами*, справа, в восточной оконечности, почти на самом берегу реки Со-дю-Лу, отделяющей кладбище от Венсеннского леса; на могиле поставили плиту, однако имени на ней не написали, а выбили всего лишь простой крест[5]. Похороны обошлись в 65 ливров, из которых 10 пошло на гроб, 6 на заупокойные молитвы, 9 на свечи, 6 на милостыню, 8 на носильщиков, 6 на рытье могилы, 20 на крест[6]. Дата погребения нам неизвестна (вероятнее всего, — 6 декабря), равно как и имена тех, кто на нем присутствовал. Недавно обнаруженная книга счетов Армана де Сада дает нам следующие сведения:

Поездка в Шарантон	3
Двум сиделкам	20
Поездка в Шарантон	3
Экипаж	2
Парикмахеру Шарантона	10

Наемная карета ... 17
На похороны ... 5
Траурный креп ... 15
Черные гетры ... 5
Заупокойная служба в шарантонской часовне ... 50[7]

Обычно говорят, что после смерти маркиза никто и не подумал исполнить его последнюю волю. Многие сразу возмущенно заявляют о предательстве. Поэтому нам кажется, имеются все основания внести в этот вопрос некоторую ясность:

1. Усадьба в Мальмезоне, избранная де Садом местом своего упокоения, была продана за четыре года до его смерти – 23 июня 1810 года. С этого времени исполнить это его распоряжение было практически невозможно[8].

2. Согласно его желанию, тело его не стали подвергать вскрытию, нарушив тем самым установленный регламент. Клод Арман лично проследил, чтобы тело его отца не подверглось вскрытию. Свидетельство о смерти доктор Рамон составил достаточно формально: «Труп де Сада, – отмечает он, – был, пожалуй, единственным, который в период с 1814 по 1817 год не подвергся вскрытию»[9]. Только спустя несколько лет, «точную дату я назвать не могу», продолжает тот же очевидец, «могилы на кладбище были потревожены, и среди них могила де Сада; была произведена эксгумация тела, и я присутствовал при ней <...>[10].

3. Церковные похороны, явившиеся посмертным реваншем Церкви, крест, установленный на могиле, где упокоилась мятежная душа, стали единственными грубыми нарушениями посмертной воли маркиза. Так пусть же слова автора «Жюстины» смоют это оскорбление:

> Давайте отречемся от смешной системы, утверждающей бессмертие души, она создана исключительно для того, чтобы ее презирали так же, как и существование некоего Бога, такого же ложного, такого же смешного, как и она сама. Отринем мужественно и одну и другого, обе эти абсурдные слабости, плоды страхов, невежества и суеверия.

* * *

Встает вопрос: исполнил ли Арман де Сад обязательства своего отца по отношению к г-же Кене? «Сумела ли она получить то, что полагалось ей по завещанию и что она заслужила по праву?» – задается вопросом Жильбер Лели.

Относительно двадцати четырех тысяч ливров, упомянутых в завещании, необходимо напомнить, что сумма эта должна была быть передана не самой Констанс, а мэтру Фино, чтобы тот поместил ее «в верное место с наибольшей выгодой для мадам Кене, дабы обеспечить ей доход, достаточный для пропитания и существования. Доход сей должен ей выплачиваться поквартально, то есть каждые три месяца <...>» (Завещание маркиза.) Следовательно, речь шла не о капитале, а о ренте. Основные же активы, а именно владение Соман, было заложено и перезаложено. «После его продажи сумма осталась бы поистине ни-

чтожная», – отмечает Лели. По этой причине Клод Арман и его сестра 25 января 1815 года отказались от отцовского наследства.

Исходя из этого, Жильбер Лели строит одну из своих поэтических гипотез, основываясь на фактах, зачастую с трудом поддающихся аутентификации.

> Если бы земли и замок Соман, священное наследство маркиза де Сада, не были опутаны ипотекой, этот скупой святоша (разумеется, речь идет о Клоде Армане. – *М.Л.*) наверняка бы стал оспаривать завещание отца в суде[11].

И вновь интуиция поэта (или, точнее, страсть вводить в заблуждение). Со всей очевидностью Лели мечет громы и молнии против персонажа, который ему глубоко несимпатичен, и потому стремится приписать ему исключительно дурные намерения. Автор сам неоднократно подчеркивал мелочность Клода Армана, поэтому хотя бы в этом вопросе он обязан воздать ему должное. Хотя Клод Арман и отказался от наследства, тем не менее, не выделяя капитала, ежемесячно выплачивал г-же Кене ренту в размере 50 франков, которую та получала до самой смерти. Действительно, сумма эта была более чем скромной, однако милейший Арман никогда не отличался чрезмерным великодушием. Тем не менее деньги выплачивались регулярно, а иногда даже заранее. В семейном архиве мы обнаружили расписки, выдаваемые г-жой Кене мэтру Бурсье, исполнявшему роль поверенного в делах Мадлен и Клода Армана де Садов до 1 марта 1824 года[12]. Мари-Констанс пережила своего друга на семнадцать лет; она угасла в Шарантоне 19 июля 1832 года, в возрасте семидесяти пяти лет[13].

Что касается завещанных ей «мебели, вещей, белья, одежды, книг и бумаг», находившихся в комнатах де Сада в день его смерти, здесь дело обстояло иначе. Обстановка, одежда, библиотека и различные вещи были проданы с торгов 22 января 1815 года. Общий доход от этой продажи не превысил 537 франков 85 сантимов. Дороже всего были проданы «Сочинения» Вольтера в девяносто одном томе, за которые книготорговец Мекиньон, приглашенный на торги в качестве эксперта, уплатил 91 франк 5 сантимов[14]. Рукописи же были упакованы в чемодан и доставлены в префектуру, согласно указу начальника Главного управления королевской полиции от 9 и 10 декабря прошлого года, чтобы они прошли цензуру и из них были бы извлечены материалы, «касающиеся нравов и религии». В кабинете уполномоченного парижскй полиции следователя Ривьера составили опись этих рукописей. Часть из них была оставлена на хранение в префектуре: речь идет о

> <...> десяти томах различных сочинений, названия которых по требованию сторон здесь не упоминаются, и о двадцати четырех рукописных тетрадях, озаглавленных «Дневники». Все они были переданы г-ну Ривьеру, который, узнав руку, затребовал их к себе и обязался представить их по первому же требованию[15].

Позднее по приказу префекта полиции Делаво тетради эти в присутствии Клода Армана были сожжены вместе с рукописями, найденными в комнатах маркиза 1 мая 1804 года и 5 июня 1807 года[16]. Рукописи, авторство которых Сад признавал, были выставлены на вторые торги, организованные через неделю после первых, а именно 29 января 1815 года. Клод

Арман приобрел все оставшиеся вещи, объединив их в один лот и заплатив за него сумму в 1815 франков; подробности будут изложены ниже:

Торги от 29 января 1815 года

Дебет графа де Сада по результатам продажи имущества его отца:

Арт. 56. 31 брошюра	3, 95
Арт. 57. 21 рукопись	500, 00
Арт. 58. 1 чемодан	11,05
Итого	515, 00

Оплачено

К.-М. Декалон,
секретарь мирового суда Шарантона[17]

Таким образом, г-жа Кене оказалась лишенной и мебели, и вещей, и книг, и бумаг, завещанных ей маркизом де Садом. Сделали еще больше: устроили так, что она оказалась в стороне от всех законнных операций, связанных с похоронами; ее имя не присутствует ни в одном официальном акте, и ее даже не ознакомили с завещанием. Таким образом, получается, что она даже не узнала, какие чувства питал к ней Донасьен незадолго до смерти.

Выше мы видели, что доктор Рамон лично присутствовал при эксгумации тела, произведенной в то время, когда могилы на кладбище Шарантонской лечебницы «были потревожены». Воспользовавшись выпавшим на его долю случаем, он затребовал себе череп Сада; сомнений в подлинности данной реликвии у него не закралось ни разу[18]. Впрочем, на кладбище он был в сопровождении лиц, которые столь же хорошо, как и он, знали как маркиза, так и место его захоронения.

В то время френология переживала настоящий бум; теории знаменитого доктора Галла произвели сенсацию во всем мире. Яростный сторонник этих революционных идей, равно как и теории магнетизма, также бывшей в то время в моде, молодой Рамон стал готовить череп маркиза для проведения требуемых исследований; неожиданно к нему в гости явился его друг, доктор Шпурцгейм, немецкий ученик Галла, в начале века прослушавший его курс в Вене. Шпурцгейм упросил друга доверить ему бесценный предмет. В конце концов Рамон уступил его уговорам, и друг ушел, унося с собой череп и пообещав вернуть его вместе с несколькими муляжами, которые он собирался с него сделать. Шпурцгейм отправился читать лекции в Англию, Германию, Америку, а потом умер. Рамон больше никогда не видел череп маркиза де Сада. Однако в течение тех нескольких дней, которые череп находился в его распоряжении, он успел как следует изучить его, после чего сделал следующие выводы:

Прекрасно развитый черепной свод (теософия, доброжелательность); ни сзади, ни над ушами нет излишне выдающихся выступов (точка задиристости — органы, если судить по черепу, чрезвычайно развитые у Дюгесклена*); мозжечок умерен-

* Дюгесклен Бертран (ок. 1320–1380) — рыцарь, прославившийся многочисленными воинскими подвигами.

ных размеров, никакого увеличенного расстояния от одного мастоидного отростка до другого (то есть никаких излишеств в любви физической).

Одним словом, если при виде прогуливающегося тяжелой походкой де Сада ничто не напомнило мне об авторе «Жюстины» и «Жюльетты», исследование его черепа тем более не подтвердило его авторство подобного рода произведений; череп его во всех отношениях напоминал череп одного из Отцов Церкви[19].

Подлинный череп Сада можно считать утерянным навсегда, хотя одни полагают, что он находится в Германии, другие – в Америке. Тем не менее Тибо де Сад, всегда чрезвычайно внимательный ко всему, что относится к его предку, отыскал в антропологической лаборатории Музея человека одну из копий, выполненных для Шпурцгейма; на левой стороне копии красными буквами сделана надпись: «Маркиз де Сад. Собрание Дюмутье, № 529»[20]. Дюмутье этот исполнял обязанности распорядителя в аудитории и готовил материалы для лекций Шпурцгейма. Следовательно, именно этому немецкому доктору принадлежит описание черепа, сохранившееся в Музее человека среди списков душевнобольных:

Церебральная организация маркиза де Сада, рассматриваемая с точки зрения френологии, являет собой один из многих примеров сочетаний разительных контрастов. Чрезмерное развитие ряда органов, выполняющих совершенно разные функции, позволяет говорить о том, что функции эти получили максимально возможное развитие и должны были бы породить наиболее блистательные стороны характера этого своеобразного человека. Под влиянием мудрой и просвещенной воли, страсти, рожденные в нем, должны были бы производить воздействие наиблагороднейшее и наивеликодушнейшее. Но все оказалось наоборот: гармония, служащая основой совершенного сочетания интеллектуальных способностей и человеческих чувств, у него постепенно улетучилась. И то ли по причине изменений, произошедших в организации его мозга, то ли из-за воздействия внешних обстоятельств случилось так, что мораль и философия маркиза де Сада стали отличаться изрядной испорченностью, составились из самого что ни есть бесформенного конгломерата пороков и добродетелей, благодеяний и преступлений, ненависти и любви[21]. Исторгнутая страстями наипостыднейшими, отмеченная смрадным дыханием позора и подлости, неслыханная концепция маркиза столь чудовищна, что если бы творцом ее не был безумец, она сделала бы своего автора недостойным звания человека и навеки заклеймила бы память о нем для потомства[22].

Эпитафия Д.-А.-Ф. де Сада,
сидевшего в тюрьме при всех режимах

Путник,
Колена преклони
Здесь в память о несчастном человеке,
Что в прошлом веке начал дни,
А умер в наступившем веке.
Но деспотизм с уродством на челе
Всегда его терзал рукою злобной.
Сей монстр еще при короле
Жизнь сделал гибели подобной.
Не отменил его Террор –
Страдалец был на грани Ада –
При Консульстве цветет он до сих пор
И жертвой вновь избрал де Сада[23].

ПРИМЕЧАНИЯ

Список сокращений

AD — Archives départementales (Департаментские архивы)
AN — Archives Nationales (Национальный архив)
Ars. — Bibliothèque de l'Arsenal (Библиотека Арсенала)
B — Bibliothèque (Библиотека)
BM — Bibliothèque municipale (Муниципальная библиотека)
BN — Bibliothèque nationale (Национальная библиотека)
BHVP — Bibliothèque historique de la Ville de Paris (Парижская историческая библиотека)
FF — Fonds français (Французские фонды)
LML — *Sade D.-A.-F. de*. Lettres et mélanges littéraires. P.: Borderie, 1980.
Lely. Vie. — *Lely G*. Vie du marquis de Sade, avec un examen de ses ouvrages: En 2 vol. P.: Cercle du livre précieux, 1962.
Ms — Manuiscrits (рукопись)
NAF — Nouvelles aquisitions françaises (Новые поступления)
OC — *Sade D.-A.-F. de*. Œuvres complètes: En 8 vol. P.: Cercle du livre précieux, 1966–1967.
АС — Архив семьи де Сад
НД — Неизданный документ
НП — Неизданное письмо
НТ — Неизданный текст

Пролог

[1] Об этом см.: *Marmottan N*. Le Pont d'Avignon, le petit pâtre Bénézet. Cavaillon: Imprimerie Mistral, 1964; *Clebert J.-P*. Guide de la Provence mystérieuse. P.: Sand, 1986.

[2] См.: *Remerville J.-F. de*. Histoire de la ville d'Apt: Manuscrit. B. Mazarine. 1690. Ms. 3442–3445.

[3] В XV в. семья де Сад владела несколькими домами на улице, носившей их имя. В XVI в. улица эта стала называться улицей Гадэнь (Gadaigne), от имени флорентийских менял Гадань (Gadagne), в XV в. прочно обосновавшихся в Лионе, а затем улицей Доре (или Дорад). В XVII в. «дом Гадань» становится «домом Ледигьер». В 1647 г. Ж.-Б. де Сад приобретает у Мари де Трефор, вдовы герцога Ледигьера, большой дом, расположенный на улице «Гадэнь, иначе именуемой Дорад». Отныне улица Доре вновь называется улицей де Сад. В 1741 г. Жан-Батист Франсуа Жозеф де Сад, отец маркиза, продает свой дом Анри-Эжену Жозефу де Вилларди, графу де Кенсону, а тот в 1766 г. перепро-

дает его братьям из Христианской школы. В XIX–XX вв. бывший особняк Гадэнь, именовавшийся также де Сад, использовался то как административное здание, то как учебное заведение. Недавно отреставрированный, сегодня он принадлежит Генеральному совету Воклюза. Его адрес: улица Доре, дом 5 (см.: *Girard J.* Evocation du vieil Avignon. P.: Minuit, 1958. P. 253–254).

[4] Приводим этот текст в оригинале на латыни: «Laurea, propriis virtutibus illustris et meis longum celebrata carminibus, primum oculis meis apparuit, sub primum adolescentiae meae tempus, anno domini M.CCC.XXVII, die VI mensis Aprilis, in Ecclesia Sanctae Clarae Avenione, hora matutina. Et in eadem civitate, eodem mense Aprili, eadem die VI, eadem hora prima, anno autem M.CCC.XLVIII, ab hac luce lux illa substracta est, cum ego forte tunc Veronae essem, heu fati mei nescius <...> Corpus illud castissimum atque pulcherrimum in loco Fratrum Minorum repositum est ipso die mortis ad vesperam...».

[5] Даже если бы Лор была его дочерью, она все равно состояла бы в родстве с де Садами через свою мать Лор, дочь де Сада, первым в роду носившим имя Юг. Лор де Сад стала женой Анри де Шабо, сеньора де Кабриер. Согласно семейным архивам, у супругов был всего один ребенок, дочь по имени Луиза, мужем которой стал Луи де Монжуа, камерарий папы Климента VII. Велутелло, живший в начале XVI в., сделал свои выводы на основании записи о крещении в регистрационной книге кюре из Кабриера; согласно этой записи дочь Анри де Шабо окрестили 4 июня 1314 г., дав при крещении имя Лор. Следовательно, 6 апреля 1327 г., в день встречи с Петраркой, ей исполнилось тринадцать, тогда как поэту в это время было никак не меньше двадцати трех лет. Но, по словам самого поэта, он появился на свет всего несколькими годами раньше Лауры: «Paucorum numerus annorum quo illam praecedis». Таким образом, Петраркова Лаура родилась примерно в 1307–1308 гг. Что же касается Лор де Шабо, она скорей всего умерла во младенчестве, ибо никто из авторов о ней не упоминает, а ее отцу Анри приписывают всего одну дочь по имени Луиза (см. «Генеалогию дома де Сад»).

[6] И до сих пор жители Нова с законной гордостью демонстрируют приезжим дом прекрасной Лор. Этот дом расположен в квартале Буриан, в начале Гранд-Рю, на левой стороне, у ворот Ажель. Раньше его украшала огромная дверь в готическом стиле и большие окна с переплетами. На сегодняшний день сохранилось только одно такое окно. Дом, стоящий у подножия живописного холма, где некогда высился замок Иоанна XXII, на берегу ручья, столь же прозрачного, как и воды Сорга, соответствует описанию сельского жилища Лауры, сделанного Петраркой.

Настоящий текст вышел из-под пера Гюстава Бейля в 1882 г. С тех пор правдивость предания не раз подвергалась сомнению. Даже личность воспетой Петраркой Лауры еще предстоит установить!

[7] *Pithon-Curt Jean-Antoine de.* Histoire de la noblesse du Comtat Venaissin, d'Avignon et de la principauté d'Orange, dressée sur les preuves: En 3 vol. P.: Veuve de Lormel et fils, 1750. T. III. P. 168–173.

[8] Этот бесценный документ обнаружен и опубликован аббатом де Садом в четвертом томе семейных архивов, после подтверждения его подлинности наиболее компетентными лицами Авиньона в присутствии нотариусов Понсе и Имонье (см.: *Sade.* Mémoires François Pètrarque. [s. l., s. d.] T. III. P. 83–85).

[9] История о вскрытии склепа Морисом Севом сегодня оспаривается многими исследователями. Они полагают, что Сев всего лишь обнаружил захоронение Петрарковой Лауры, и это открытие подтолкнуло его избрать поэтическую стезю.

[10] *Lely.* Vie. T. I. P. 8–9.

[11] См. результаты последних исследований в статье: *Giudici E.* Bilancio di una annosa questione: Maurice Scève e la scoperta della tomba di Laura // Quaderni di filologia e lingue romanze: Ricerche svolte dall'Università di Macerata. [s. l.]: Edizione dell'Ateneo, 1980. Vol. II. P. 3–70, где автор всерьез ставит под сомнение родство Лауры с семейством де Сад.

[12] В мире садического воображаемого мифическая Лаура сливается с тенью Жюстины и прочих девственниц, населяющих романы маркиза. «Упомянув о девственнице, – пишет Пьер Клоссовски, – Сад тотчас видит перед собой картины жесткости, возвещаемые и порождаемые этой девственницей». Будучи существом парадоксальным, девственница является предметом вожделения, исключающего обладание, и поэтому обостряет мужское влечение, направляя его против инстинкта воспроизведения потомства. Таким образом, в садическом эксперименте ее функция определяется как своего рода изнанка религиозной аскезы, где чистота помогает мужской силе преодолеть стремление к продолжению рода и приобщиться к Божественной любви. Девственная чистота, боготворимая Донасьеном в ускользающем облике Лауры, белого призрака, выпорхнувшего из глубин семейной памяти, будет им поругана, явившись в облике мадемуазель де Лонэ, юной свояченицы и вдобавок канонисы. В надругательстве над ее девственной чистотой одновременно воплотятся два садических фантазма: богохульство и инцест.

[13] Вот текст этой жалованной грамоты на латыни:

Sigismundus Dei gratia Romanorum Rex semper augustus, ac Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Romaniae, Serviae, Galiciae, Lodomeriae, Comaniae, Bulagariaeque Rex, ac Marchio Brandeburgensis, nec non Bohemiae et Lucemburgensis haeres. Nobili Elzeario de Sado, Comdomino castri de Issartis, Avenionensis dioecesis, nostro et sacri imperii fideli dilecto gratiam regiam et omne bonum.

Nobilis fidelis dilecte, a claro lumine throni caesarei, velut e sole radii nobilitates aliae legitimo jure procedunt, et omnium nobilitatum insignia ab imperatoria majestate dependent, ut non sit dare alicujus generositatis insigne, quod a gremio non proveniet caesareae claritatis. Sane attendentes multiplicia merita strenuitatis, ac expertae constantiae fideique merita quibus progenitores tui, ac tu similiter apud nos atque sacrum romanum imperium diligentibus studiis ac indefessis hactenus claruisti, quotidie clares et in antea eo quidem studiosius clarere poteris, quo te singularibus honoribus gratiis senties decoratum, animo deliberato, non rep errorem, aut improvide, sed sano Principum, Comitum, Baronum, et procerum nostrorum et sacri imperii fidelium dilectorum accedente concilio, ac de nostra certa scientia, tibi et omnibus fratribus, consaguineis et haeredibus tuis legitimis naturabilis ad arma tua antiqua Aquilam nigram auctoritate romana regia concedimus ac virtute praesentium elargimur, nec non de abundantiori plenitudine specialis gratiae nostrae ad majorem gloriam tuae noblitatis eadem arma innovamus, de novo concedimus et confirmamus, ut tu et iidem fratres, consanguinei et haeredes tui arma hic depicta sicut in praesentibus figuris oculis subjecta visidilibus pictoris magisterio distinctius sunt depicta in proeliis, hastiludiis, torneamentis, et in omni exercitio militari gestare valeatis, pariter et deferre. Gaudeat igitur favore regio, ac de tanto singularis gratiae antidoto tua progenies merito exultet, tantoque fideliori studio ad honorem sacri Romani imperii earum in antea solidetur in praejudicio quanto ampliori favore praeventos se conspiciunt munere gratiarum. Nulli ergo omnio hominum liceat hanc nostrae concessionis, elargitionis et confirmationis paginam infringere, aut ei quovis ausu temerario contrarie; si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignatiomen nostram gravissimam se noverit incursurum, praesentium sub nostrae majestatis sigilli appensione testimonio litterarum.

Datum Avenione, anno domini millesimo quadringentesimo sextodecimo, undecimo die januarii, regnorum nostrorum anno Hungariae regni vicesimo nono, Romanorum electionis sexto, coronationis vero secundo.

Ad mandatum domini regis.

Joannes Praepositus de Strigonio, vicecancellarius

Приводим его перевод:

Сигизмунд, милостью Божией Римский августейший император, король Венгрии, Далмации, Хорватии, Румынии, Сербии, Галиции, Владимира, Кумании и Булгарии, а также наследный владетель Бранденбургской Марки, Богемии и Люксембурга, [шлет] благородному Эльзеарию де Саду, совладельцу Эссартского замка в Авиньонской провинции, нашему и Священной империи верноподданному и возлюбленному [другу] королевскую милость и [пожелания] всего доброго.

Благородный верноподданный и возлюбленный мой, от ясного света цезарского трона, как лучи солнца, прочие знатные титулы исходят законным путем, и инсигнии всех титулов зависят от императорского величества, так что нельзя жаловать инсигнии чьего-либо великодушия, которые не происходят от цезаря. Наблюдая многочисленные заслуги усердия и заслуги испытанной стойкости и верности, коими твои родители, а равным образом и ты отличились передо мной и Священной Римской империей благодаря неустанным и усердным трудам, а ты ежедневно отличаешься и сможешь в будущем тем усерднее отличаться, что почувствуешь, какими ты награжден исключительными почестями и милостями, мы, тщательно все взвесив, не заблуждаясь и не опрометчиво, но посовещавшись с нашими князьями, графами, баронами и другими знатными лицами и возлюбленными верноподданными Священной империи, а также исходя из моего собственного знания, тебе и всем твоим родственникам и законным и природным наследникам даруем своей римской императорской властью к твоему древнему гербу черного орла и доблести присутствующих воздаем, а также из высшей полноты нашей особенной благодарности для вящей славы твоего благородства заново даруем, возобновляем и подтверждаем тот же герб, чтобы ты и те же братья, родственники и наследники твои, имели бы право носить в сражениях, на турнирах и в поединках и во всяком военном ополчении герб, изображенный здесь, как и изображены предметы в представленных видимых образах, явленные глазам по указанию художника. Итак, да возрадуется твое потомство императорской милости и да возгордится заслуженно таким ответным даром исключительной благодарности, и тем более укрепится в верном служении во славу Священной Римской империи, поняв и увидев, сколь милостив я был, превзойдя их дарами благодарности. Никому из людей да не позволено будет эту грамоту нашего дарения, возобновления и подтверждения повредить или как-либо дерзко переиначить; если же кто вознамерится сделать это, то он столкнется с нашим самым тяжким негодованием; свидетельством подлинности служит подвешенная к настоящей грамоте печать нашего величества.

Дано в Авиньоне, в год Господень 1416, в одиннадцатый день января, двадцать девятый год нашего венгерского царствования, в шестой год римского избрания, а коронации – во второй год.

По поручению короля

Иоанн, архиепископ Эстергома, вице-канцлер

(АС, НД. *Пер. с лат. А.В. Подосинова*).

[14] Согласно отцу Менестрие, двуглавый орел символизирует две римские империи: Восточную и Западную (см.: *Ménestrier*. Le Véritable art du blason et l'origine des armoiries. Lyon, 1671). Когда крест трансформировался в скипетр христианских императоров, а на один трон воссели сразу два императора, они приказали изобразить их обоих на одном троне по обе стороны от креста с двойной поперечной перекладиной, который каждый держал рукой. Так же поступили и с орлами, изображенными на знаменах и гербах: двух орлов совместили, наложив их друг на друга, и дали птице две головы: одна смотрела на восток, другая – на запад. Напомним также, что в языке французской геральдики слово «орел» женского рода.

Часть первая
Глава I

[1] AC, HT.

[2] См.: *Klossowski P.* Sade, mon prochain P.: Le Seuil, 1947. P. 189–201; *Mendel G.* La Révolte contre le père. 4-e éd. P.: Petite Bibliothèque Payot, 1974. Ch. VII: Sade et le sadisme. P. 102–110.

[3] OC. T. XIV. P. 368–369.

[4] Сын Кома де Сада и Элизабет де Ногаре де Кальвисон, Гаспар Франсуа де Сад (родился в Мазане 26 ноября 1669 г., умер там же 25 ноября 1739 г.) был первым в роду, кто взял себе титул маркиза. Он приказал называть себя маркизом де Мазан, сеньором Сомана, Борегара и прочих владений. 25 сентября 1699 года он заключил брачный контракт с Луизой-Альдонсой д'Астуо де Мюр, дочерью маркиза Жана де Мюр, барона де Романиля, сеньора Седерона, и Мари Тезан де Венаск. Написание имени д'Астуо (d'Astouaud) как д'Асто (d'Astoaud) или даже (как в оригинале брачного контракта) д'Эстюар (d'Estuard) привело к ошибочному выводу о родстве семьи с шотландскими Стюартами.

[5] Бракосочетание состоялось 10 мая 1733 г. в часовне особняка де Садов в Авиньоне. Жозефу Игнасу де Вильневу едва исполнилось двадцать лет; его супруге было восемнадцать. От их брака родилось три девочки: Полина в 1760 г. вступит в брак с шевалье де Козаном, а затем повторно выйдет замуж за маркиза де Раусse-Сумабра, Жюли и Анриетта постригутся в монахини.

Так как отец Вильнев-Мартиньяна отказался от титула маркиза, сын украсил себя титулом графа дю Сент-Ампир, приобретенным бог знает какими путями. Помимо всего прочего, он наградил себя большим крестом ордена Святого Михаила Его Высочества Светлейшего Курфюрста Кельнского, вел роскошную жизнь, покупал породистых лошадей и великолепные экипажи, завел карету для выездов, модный фаэтон и почтовый экипаж. Человеком он прослыл безрассудным, а о его «гении» никогда не упоминали без иронии. С возрастом его стремление выделиться обострилось еще сильнее и сопровождалось буйными приступами мании величия. Однако поначалу карьера его складывалась блестяще. Избранный в двадцать два года в Городской совет, в двадцать пять ставший первым консулом (так в Южной Франции называли городских муниципальных советников. — *Примеч. пер.*), а в двадцать шесть — вигье города Авиньона, он занимал самую высокую должность, какую только мог занимать дворянин. Однако из-за чрезмерной приверженности к дворянским прерогативам, непреклонности в вопросах старшинства и этикета он вскоре лишился поддержки городской буржуазии, хотя в частной жизни по-прежнему оставался «прекрасным малым».

Опьяненный первыми успехами, Вильнев начал перестраивать свой старый особняк на улице Мас, пригласив руководить работами знаменитого авиньонского архитектора Жан-Батиста Франка. (Особняк Вильнев-Мартиньяна стал настоящей жемчужиной городской архитектуры. Сегодня в нем находится музей Кальве; на фронтоне здания соединены гербы де Садов и де Вильнев-Мартиньянов.) Тем временем мадам де Вильнев, устав от бесконечных выходок супруга, попросила полюбовного развода, который и состоялся в 1744 г.

К тому моменту состояние господина де Вильнева значительно уменьшилось. Строительство особняка почти разорило его, мания величия разрушила карьеру, и жизнь потекла уныло и одиноко. Он решил путешествовать, уехал в Рим, некоторое время пробыл во Флоренции, но затем вернулся в Авиньон,

где заделался заядлым и вдохновенным кляузником, испытывавшим от сего занятия безмерное удовольствие. Утомив всех непредсказуемыми демаршами, он на некоторое время успокоился и в 1764 г. снова был избран консулом. Но одержимый демоном тщеславия, не к месту ввязался в бесплодную дискуссию о соблюдении правил этикета вигье и вице-легатом и едва не лишился вновь обретенной должности. Умер он в следующем году, а именно 23 сентября 1765 г., в возрасте пятидесяти двух лет. Но тщеславный дух его не угомонился даже после кончины: в первый день тело умершего было выставлено в большой итальянской гостиной, на следующий день — с большой помпой перевезено в церковь Святой Агриколы, а затем на кладбище Августинцев, где находился склеп семьи Вильнев. Процессию, состоявшую из «восьми больших колесниц», украшенных одиннадцатью дюжинами гербовых щитов, сопровождали одетые в белое монахи из ордена кающихся (*см.*: *Girard J.* Évocation du vieil Avignon. P.: Minuit, 1958. P. 203 sq.).

Анриетта де Вильнев, несомненно, сыграла определенную роль в жизни Донасьена, особенно в последние свои годы. Не испытывая теплых чувств к дочерям, она всю любовь перенесла на племянника, к которому, несмотря на его скандальное поведение, сохранила искреннюю привязанность.

[6] От сестры Маргариты-Фелисите де Сад (г-жи де Ла-Кост), монахини в монастыре Святого Бернара в Кавайоне, к маркизу де Саду (АС, НП).

[7] Письмо от 18 сентября 1721 г. (АС, НП).

[8] Представители семьи Конде играют не последнюю роль в нашем повествовании, поэтому будет не лишним привести краткую генеалогию этого дома (см. далее табл. на с. 697; публ. по изд.: *Duchesne G.* Mademoiselle de Charolais. P.: H. Daragon, 1909. P. 106–107).

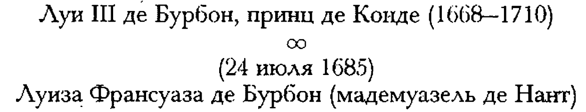
[9] В галерее замка Ла-Кост висел портрет работы художника Наттье, на котором мадемуазель де Шаролэ изображена в монашеском облачении. Во время разграбления замка в 1792 г. портрет исчез, однако нам, похоже, удалось его найти. Известны и несколько других портретов мадемуазель де Шаролэ в том же костюме, и среди них — миниатюра из коллекции Ксавье де Сада, работы художника школы Наттье, хранящаяся в Музее изобразительных искусств города Безье (из хранилища Лувра); портрет, приписываемый кисти Натуара, в музее Версаля; и миниатюра, находящаяся в настоящее время в нашем распоряжении. Впервые в монашеском облачении мадемуазель де Шаролэ, видимо, нарисовал королевский художник Пьер Гобер.

[10] «Сборник Морепа» («Recueil Maurepas») содержит и другие, еще более вольные, куплеты на ту же тему, предполагаемым автором которых является Лериже де Лафей:

Брат де Шаролэ, вот ловко
Нам показаны примеры:
Францисканскою веревкой
Подпоясана Венера
Тра-ля-ля,

Толстый кордельер-монах,
Жадно поглядев на это,
Облизнулся с грустью: «Ах!
Жаль, что видим лишь портреты!
Тра-ля-ля

А послушники смирились,
Принесли такой обет:
Если бы к ним модель явилась,
От...ть ее как след.
Тра-ля-ля.



Луи-Анри (1692–1740)
∞
1. Мари-Анн де Конти (ум. 1720)
2. Каролина-Шарлотта Гессен-Рейнфельд

Шарль, граф де Шаролэ (1700–1760)

Луи, граф де Клермон (1709–11771)

Мари-Анн, аббатиса де Сент-Антуан (1690–1760)

Луиза-Элизабет
∞
Луи-Арман де Конти

Луиза-Анн (мадемуазель де Санс, затем мадемуазель де Шаролэ) (1695–1758)

Мари-Анн (мадемуазель де Клермон) (1697–1772)

Анриетта (мадемуазель де Вермандуа), аббатиса де Бомон-ле-Тур (1703–1772)

Элизабет-Александрин (мадемуазель де Жекс, затем мадемуазель де Санс) (1705–1765)

Луи-Жозеф де Конде (1736–1818)
∞
Шарлотта де Роган-Субиз

Луи-Анри Жозеф (1756–1830)

Герцог Энгиенский (1772–1804)

Луи-Франсуа де Конти (1717–1776)
∞
Мадемуазель де Шартр, дочь Регента

Луиза-Анриетта (мадемуазель де Конти) (1726–1759)
∞
Луи-Филипп Орлеанский, герцог Шартрский

[11] АС, НТ.

[12] АС, НТ.

[13] Антуан де Жюсье, врач и ботаник (1686–1758), автор «Трактата о свойствах растений». Став в 1708 г. профессором ботаники в Королевском саду, он не прекращал заниматься медицинской практикой; среди его пациентов было множество высокопоставленных особ. Мадемуазель де Шаролэ направила Жюсье к своему заболевшему любовнику, страдавшему растяжением связок.

[14] АС, НП.

[15] АС, НП.

[16] АС, НП.

[17] *Voltaire*. Correspondance. P.: Gallimard, [s. d.]. T. I. P. 123. (Bibliothèque de la Pléiade)

[18] Мари Виктуар Ортанс де Латур д'Овернь, урожденная Буйон, вышла замуж за Шарля Армана Рене, герцога де Латремуя, первого дворянина королевской опочивальни (умершего 23 мая 1741 г. от оспы в возрасте тридцати трех лет). В Версале герцогиня де Буйон занимала апартаменты непосредственно над апартаментами королевы, рядом с комнатами епископа Мирпуа (см.: *Luynes*. Mémoires... T. III. P. 440–441).

[19] АС, НП.

[20] Видимо, намек на герцога де Латремуя, командовавшего этим полком.

[21] Мари-Анн де Бурбон-Конде, мадемуазель де Клермон (1697–1741), четвертая дочь Луи III де Бурбона и сестра мадемуазель де Шаролэ.

[22] АС, НП.

[23] Ars., Ms. Bastille 10255, НД.

[24] О преследованиях гомосексуалистов при Старом порядке см.: *Lever M*. Les Bûchers de Sodome. P.: Fayard, 1985.

[25] АС, НП.

[26] *Voltaire*. Op. cit. P. 385–386.

[27] АС, НП.

[28] Каролина-Шарлотта родилась18 августа 1714 г.; в 1729 г. она вышла замуж за принца Конде.

[29] В то же самое время особняк Сассенажей посещал и Вольтер. В 1733 г. там была впервые поставлена его драма «Смерть Цезаря».

[30] АС, НТ.

[31] Краткая генеалогия рода де Майе (см. далее табл. на с. 699).

[32] *Voltaire*. Op. cit. P. 433 et 1389.

Глава II

[1] АС, НП.

[2] АС, НП.

[3] Мари-Элизабет де Дони, родившаяся в 1697 г., в июле 1717 г. вышла замуж за Поля де Сейтра, маркиза де Воклюз. Родственные связи с графом де Садом можно проследить на следующей схеме (см. далее на с. 700).

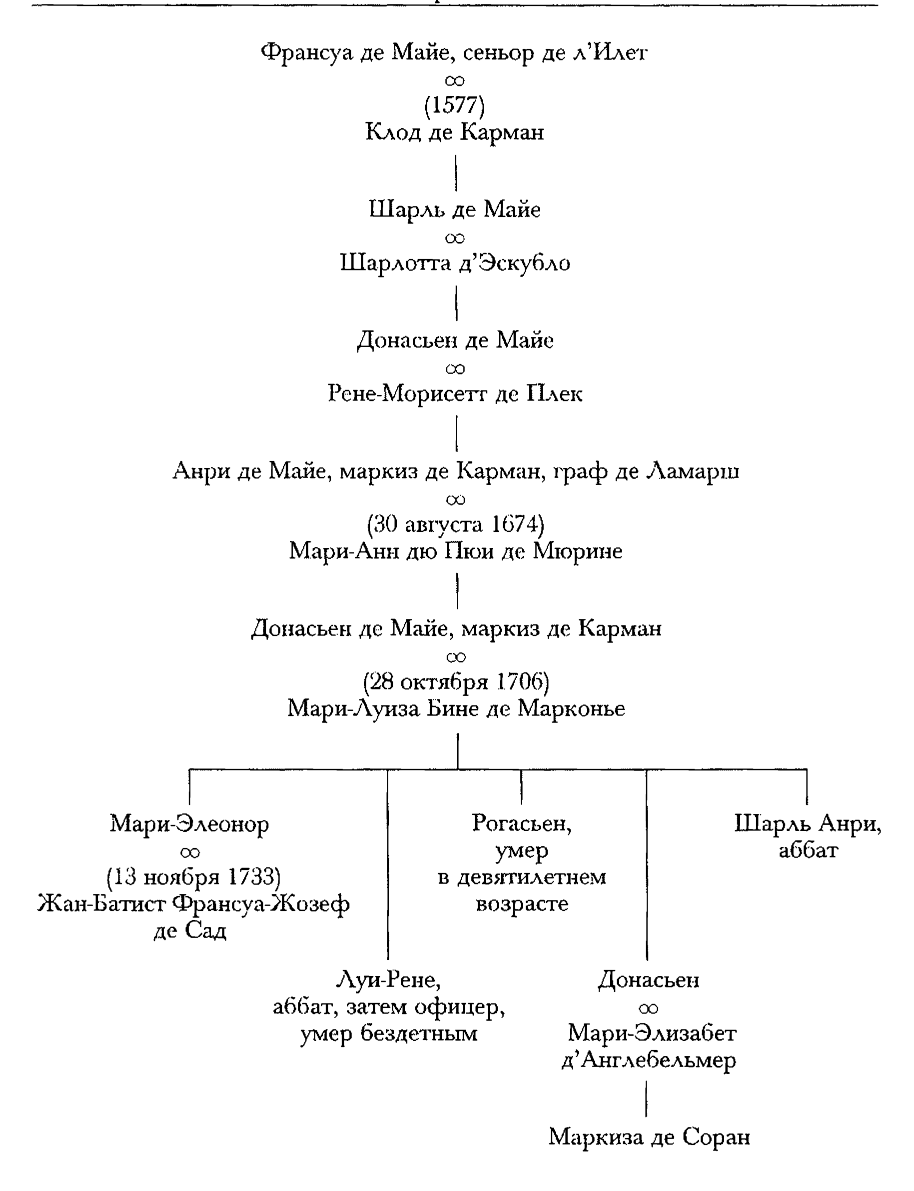
[4] О посвящении де Сада и Монтескье сообщает «Бритиш Джорнал» («British Journal») в номере от 16 мая 1730 г. О миссии графа де Сада см. также: *Chevalier P*. La première profanation du temple maçonnique. P.: Librairie philosophique Vrin, 1968. P. 31–32.

[5] Граф де Сад поблагодарил кардинала в следующем письме:

Париж, 9 сентября [1738 г.]

Монсеньор, я полагал уже в среду принести свою благодарность Вашему преосвященству за ту милость, кою Ваше преосвященство пожелали мне оказать, назначив меня генеральным управляющим провинции Брес. Но, узнав, что Ваше преосвященство еще несколько дней пробудет в Исси, я решил долее не задерживать выражение своей признательности.

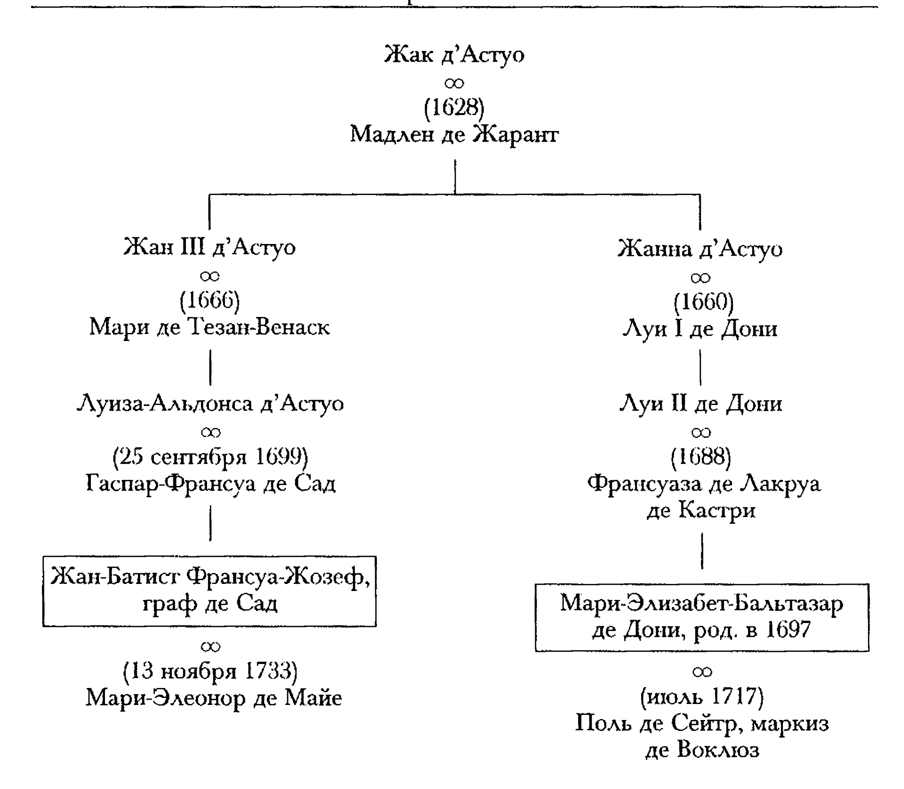
Покорнейше прошу Ваше преосвященство соизволить сообщить мне, должен ли я ждать его преосвященство в Версале, дабы засвидетельствовать свою благодар-



ность королю, или мне лучше отправиться к Его Величеству раньше, так как господину де Ласэ заплачено дней восемь — десять назад.

Мне было бесконечно приятно узнать, что здоровье Ваше улучшилось. Здоровье Вашего преосвященства беспокоит меня совершенно искренне, а не потому, что Вы осыпали меня своими милостями. Имею честь, монсеньор, оставаться исполненным глубочайшего почтения к Вашему преосвященству, а также Вашим смиренным и почтительным слугой.

Сад (АС, НП)



[6] Доходы эти распределялись следующим образом:

I — при разовой выплате за три года

БРЕС	Денежное содержание	10 000 ливров
	Оплата жилья	1080
	Секретарь	300
БЮЖЕ	Денежное содержание	6000 ливров
	Оплата жилья	720
	Секретарь	300
ЖЕКС	Денежное содержание	1500
	Секретарь	100
Всего		20 000
Или		6666 ливров в год

II — при ежегодной разовой выплате

	От генерального сборщика Бургундии	1800 ливров
	От генерального казначея, ведающего чрезвычайными военными расходами в Париже	1800 ливров
Всего		3600 ливров в год
Общий итог:		10 266 ливров в год

(по тексту документа: «Право на получение выплат, даруемое королем исполняющему должность наместника». АС, НД).

[7] Вот текст этого выступления:

Господа, в эту минуту я доподлинно ощутил, сколь велика милость, оказанная мне королем. Ибо я нахожусь среди высокого собрания, члены коего, умело сочетая повиновение монарху с покровительством народу, достойно исполняют свои обязанности и сумели внушить уважение к себе и к правосудию.

Приобщившись к благородным сим трудам, я был бы счастлив, если бы сумел с таким же рвением разделить их! Внимая вашим наставлениям, следуя вашим примерам, я бы научился исполнять все обязанности гражданина и судьи.

В этих стенах оскорбленное человечество всегда находит гарантированную защиту. Здесь силы зла узнают о существовании священных и нерушимых прав. Здесь интрига и коварство умолкают и склоняются перед величием законов. Такова власть добродетели. И она в ваших руках, господа. В руках доблестного председателя, руководящего вами. Избранник по рождению, он является таковым также благодаря своей просвещенности, преданности долгу и рвению во благо общего дела.

И если такое же рвение может соединиться с талантом, если любовь к родине и почтение к священной персоне лучшего из монархов могут способствовать достойному исполнению высокой должности, я льщу себя надеждой стать достойным места, на которое вы меня избрали (АС, НД).

[8] АС, НП.

[9] В том же акте имя Альдонс д'Астуо де Мюр также изменено на Альфонс. Перед автором лежат две записи о крещении, одна от 3 сентября 1765 г. (BM. Avignon, collection Requien), и другая, аналогичная первой, с незначительными расхождениями, от 31 января 1811 г. (см. АС). Ни в одной из них имя Альдонс не фигурирует ни у ребенка, ни у бабушки.

[10] *Voyer R.-L. de,* marquis d'Argenson. Journal et Mémoires: En 9 vol. / Publiés par E.-J.-B. Rathery. P., 1859–1867. T. III. P. 260.

[11] См.: *Tapié V.-L.* L'Europe de Marie-Thérèse, du baroque aux Lumières. P.: Fayard, 1973. Ch. II. P. 27 sq.; Recueil des instructions aux am bassadeurs et ministres de France. P.: CNRS., 1963. Vol. XXVIII: États allemands. T. II: Électorat de Cologne. P. 159 sq.

[12] Mémoires de la vie galante, politique et littéraire de l'abbé Aunillon Delaunay du Gué, ambassadeur de Louis XV près le prince électeur de Cologne: En 2 vol. P., 1808. T. II. P. 131, 136.

[13] Ibid. P. 124.

[14] Recueil des instructions... P. 221.

[15] АС, НД.

[16] Письмо к королю начиналось следующими словами: «Сир, граф де Сад сообщил мне, что Ваше Величество приказывает ему вернуться. Я очень сожалею <...>» (АС, НД). Через несколько месяцев граф де Сад отошлет эту отзывную грамоту (так именуются письма, переданные сувереном послу для вручения государю, отзывающему этого посла) секретарю Боме, оставшемуся в Бонне.

[17] См.: Mémoires de l'abbé d'Aunillon... T. II. P. 106–109.

[18] *D'Argenson.* Op. cit. T. IV. P. 244.

[19] В письме от 12 января князь-архиепископ просто отвечал на новогодние пожелания графа. Приводим его текст:

Бонн, 12 января 1745 г.

Чрезвычайно признателен, сударь, за Ваши добрые пожелания по случаю наступления Нового года. Любой повод будет для меня приятен, ежели я могу исполь-

зовать его, сударь, для выражения моей к Вам привязанности. Любящий вас курфюрст Климент-Август (АС, НП).

[20] АС, НП.

[21] Жан-Жак Амло де Шайу (1689–1749) был назначен государственным секретарем по иностранным делам 21 февраля 1737 г. Подал в отставку 26 апреля 1744 г.

[22] Записка, адресованная в 1747 г. государственному секретарю по иностранным делам де Пюизье (АС, НД).

[23] АС, НП.

[24] АС, НП.

[25] АС, НП.

[26] Приведем, к примеру, хотя бы это письмо:

Льеж, 28 апреля 1744 г.

Сударь, я восхищен. Вместо того чтобы пенять мне, Вы, наоборот, выражаете убеждение в питаемых мною к Вам чувствах уважения и дружбы, кои я сохраню навсегда. Также весьма Вам обязан за новости и желал бы продолжать поддерживать с вами переписку.

Не скрою, я удивлен теми сведениями, кои Вы сообщили относительно того, как я обошелся с двумя министрами из Бонна, равно как и об их поведении по отношению ко мне. Действительно, я хорошо заплатил за те мелкие услуги, которые они мне оказали, однако не могу сказать, чтобы из-за этого стал пользоваться большим расположением тамошнего двора. Будем надеяться, что время смягчит суровое отношение ко мне Бонна и даст мне повод быть им более довольным.

Графиня Седлицки все еще во Франкфурте, но так как ей приходится постоянно приезжать сюда, окажите милость: как можно скорей перешлите мне все, что у Вас есть для нее, присоединив к этому все необходимое для игры в каваньоль. Вы разрешили мне обременить Вас кое-какими поручениями; в свою очередь, буду рад, ежели смогу оказаться Вам полезным, а также заверяю Вас, сударь, в своем искреннем к Вам расположении.

Иоганн-Теодор, епископ (АС, НП).

[27] Следственные документы по делу Боме сохранились в Бастильском архиве библиотеки Арсенала (см.: Arch. préf. de Police. Aa V. Pièce 566. НД). Приводимые ниже признания обвиняемого взяты из этих документов:

Боме просит отвести его к девице Люрси и в особняк Сент-Антуан, чтобы забрать оставленные там бумаги, где содержатся сведения, оправдывающие его, а также забрать и поместить в надежное место принадлежащие лично ему вещи. Он написал [министру иностранных дел] господину де Пюизье, что болен, а там, где он сейчас пребывает, он не имеет возможности принимать лекарства, и, чтобы спасти ему жизнь, его необходимо поместить в Бисетр или иное такое же место, дабы там его вылечили, иначе он умрет.

В другом письме к де Пюизье он просит забрать всю его посольскую переписку, оставленную им у любовницы и в особняке Сент-Антуан. В «большой докладной записке», адресованной также де Пюизье, Боме

<...> доказывает, что у него не было недостатка в деньгах, ибо он имел 1000 экю жалованья от господина де Сада, вознаграждения, получаемые от двора, а также доходы от торговли; в частности, недавно он получил 9000 ливров наличными, из которых 1200 истратил на девицу Люрси. При дворе в Бонне он пробыл пять лет. Свою опалу объясняет ревностью к нему аббата Онийона, потому что он, Боме, зная все ходы и выходы, сообщил их аббату, дабы облегчить ему вступление в должность, показал ему всех тайных агентов, а также весьма важных лиц, служивших

Франции. Он утверждает, что получил приказ министра следить за аббатом; приказание он исполнил, но его предали. <...> Он передал аббату королевский шифр <...>. У него было 8000 ливров жалованья сверх тех 2000 ливров наградных, кои он получал в подобающих случаях, а также в качестве компенсации за то, что господин де Сад давал ему всего 6 ливров в день <...>, что у аббата [Онийона] жалованье доходит до 32 000 ливров, не считая наградных <...>, что он вернулся в Бонн <...> и что аббат плохо принял его, спросив: «Зачем вы сюда вернулись? Я найду способ отослать вас обратно, дабы по прибытии во Францию вас упрятали в Бастилию». Вернувшись в Париж незадолго до того, как маркиз д'Аржансон попал в немилость, он раз двадцать являлся на прием к этому министру, дабы дать объяснения, однако ему ни разу не удалось этого сделать, равно как он не сумел передать ему свою переписку. Едва маркиз д'Аржансон ушел в отставку, он, Боме, направил в Бонн просьбу прислать ему рекомендательные письма для господина де Пюизье и ожидал у оного господина под дверью; однако ему сказали, что он сможет поговорить с министром, только когда де Пюизье окончательно выздоровеет. Услыхав такой ответ, он решил написать господину де Пюизье служебную записку и, разыскивая необходимые для этого бумаги, с удивлением обнаружил запечатанный пакет, адресованный ему, Боме. <...>

Пакет этот связан с происшествием совершеннейше непонятным. Боме рассказал, как, переодевшись в ливрею господина де Сада, отправился в места, где хозяйничали австрийцы, и там отыскал одну немецкую даму, у которой хотел забрать бумаги, касавшиеся де Сада и которые дама соглашалась отдать только в том случае, если господин де Сад сделает ей подарок. У Боме было при себе всего 12 или 15 луидоров, он отдал их ей, и та с недовольным видом швырнула ему пакет с бумагами, который он запечатал, не проверив, и передал отцу Дюперману, монахуякобинцу из предместья Сен-Жермен, опасаясь, как бы в меблированных комнатах, где он остановился, их у него не украли. Бумаги эти находились у отца Дюпермана, пока он не решил написать докладную записку де Пюизье; затем он написал вышеуказанному якобинцу и вручил это письмо ризничему, чтобы тот передал его отцу Дюперману, но в это время сам заболел, что помешало ему забрать вышеозначенный пакет; а во время болезни его арестовали. Он никогда не сообщал и не разглашал никаких шифров, и он не знает, что в пакете, переданном немецкой дамой.

С тех пор он успел заявить, что в означенном пакете находился шифр, но он никогда не злоупотреблял этим шифром, что во время болезни ему шесть раз пускали кровь, что он отдал пакет якобинцу на сохранение, чтобы шифр находился в безопасном месте, и что лучше бы уж он его сжег. Что ему выплачивались 22 500 ливров жалованья и наградных, и это помимо тех доходов, которые он получал как посредник при торговле товарами для Боннского двора.

В другом месте он утверждает, что шифр, о котором идет речь, он скопировал, но никогда не использовал эту копию для дурных целей (Ars. Ms. Bastille. 11636. Pièce 6. НД).

Имеются и другие документы, в частности, переписка, относящаяся к болезни молодого Боме и ухудшению его состояния; к нему часто приходили врач и отец Гриффе, священник Бастилии. К документам приложены письма сестры Боме и некоего Жираля, касающиеся домашних дел (см.: Ars. Ms. Bastille. 12492. НД).

[28] В письме от 23 ноября 1744 г. д'Аржансон предлагал Онийону принять Боннское посольство.

Я заметил ему, что граф де Сад был рекомендован двору Его Величеством, — пишет Онийон в своих «Записках». — Маркиз д'Аржансон ответил, что граф де Сад, находившийся в Париже уже больше года, не выказывал никакого стремления вернуться в Бонн и даже не явился к нему на прием. При дворе еще не было извест-

но, да и я сам тоже не знал, что пятнадцать месяцев тому назад граф де Сад лично поссорился с курфюрстом, получил отпуск в обход королевского разрешения и отзывные грамоты, кои потом не вручил Его Величеству. Таким образом, здесь никто ничего не знал, а он продолжал использовать выгоды своего положения и получать жалованье, пока в марте 1745 г. об этом не стало известно. Узнав, что графу де Саду поручено вернуться в Бонн, дабы передать соболезнования короля по случаю кончины императора Карла VII, курфюрст направил к Его Величеству курьера с просьбой не присылать к нему более графа де Сада и одновременно с извинениями за то, что не примет графа у себя, даже ежели просьба эта опоздает и граф будет уже в пути. Действительно, когда курьер прибыл, граф уже выехал. Потом все узнали, что граф де Сад задержан отрядом гусар у деревни Зинциг, в четырех лье от Бонна, и препровожден в крепость Анвер. Отправляя эту почту, курфюрст также поручил мне отослать королю копии отзывных писем, которые были им вручены графу де Саду в 1743 г., что мне и пришлось исполнить (*Aumillon*. Op. cit. T. II. P. 107–109).

[29] Граф де Сад подробно описал свой арест в письме к неизвестному нам адресату:

Хотите знать историю моего заключения, сударь? Она очень проста. Приняв многочисленные предосторожности, дабы не проезжать по землям королевы Венгрии, я полагал, что на землях соседних с ней князей мне нечего бояться; и все же на берегу Рейна, в крохотном городишке Зинциге, что во владениях курфюрста Пфальцского, я был задержан; задержал меня капитан Бетюн, командовавший отрядом из ста человек. Когда мы прибыли на почтовую станцию сменить лошадей, я заметил зеленые кокарды, — предвестницы грядущего несчастья. Я отдал портфель одному из своих людей, тому, кто еще не спешился, и приказал отвезти моему секретарю в Бонн, от коего мы находились всего лишь в шести лье. Пришлось приложить немало трудов, объясняя нашему человеку, что пора спасаться бегством: он твердил, что его лошадь устала; наконец он подчинился. Тем временем солдаты окружили дом и капитан потребовал у меня шпагу. Мне приказали подняться в комнату, где ко мне приставили бдительный караул. Слуга прибыл в Бонн, передал бумаги моему секретарю, и тот тотчас отправился к графине Меттерних сообщить о случившемся несчастье. Эта дама, всегда дружески ко мне расположенная, приказала заложить карету и в сопровождении подруги и служанки немедля отправилась в Зинциг в надежде спасти меня. Она прибыла в трактир, поговорила с хозяином, привлекла его на свою сторону и уговорила напоить офицеров, дабы потом вызволить меня. Пока офицеры сидели за столом, часовой, карауливший мою дверь, заснул, и трактирщик решил, что настала благоприятная возможность вывести меня из комнаты и проводить к графине Меттерних: увидев ее, я не мог сдержать радости и принялся благодарить за то, что она для меня сделала. «Прекратите, — не дала мне договорить графиня, — успеете поблагодарить меня в Бонне. Я привезла вам женское платье: наденьте его, и едемте». Я подчинился и принялся выполнять ее распоряжение; тут мне в голову пришла мысль об опасности, которой подвергается сейчас эта женщина, и мне стало стыдно. Я снял уже надетое платье и заявил, что не желаю, чтобы она рисковала из-за меня; еще я сказал, что капитан Бетюн настоящий зверь, и, если ее хитрость раскроется, ей придется плохо. Едва я это произнес, как к нам в комнату вошел капитан — не застав меня на месте, он пришел сюда. Напугав своими речами дам, он отвел меня обратно, а женщинам приказал немедленно уезжать, невзирая на ночь и отвратительную погоду. И хотя после отъезда графини Меттерних меня стерегли еще бдительней, ее великодушие навечно осталось у меня в памяти.

На следующий день меня доставили в лагерь герцога Аренберга, направившего меня в замок, где проживал его сын; там меня приняли с большим почтением. Адъютант сопроводил меня в Лувен, где меня встретил адъютант графа Кауница,

который и препроводил меня в Анвер, крепость, служившую тюрьмой. В обмен на данное мною слово мне позволили отлучаться в город. Королева предоставила в мое распоряжение карету и право заказывать обед на четыре-пять персон; однако офицеры крепостного гарнизона были столь дурными собеседниками, что я предпочитал обедать в одиночестве (АС, НП).

[30] От Вольтера графу де Саду, июнь 1745 г. (см.: АС, НП).

[31] АС, НП.

[32] Вот текст этого письма:

Брюссель, 23 ноября 1745 года.

Сударь, с глубоким удовлетворением могу наконец сообщить долгожданную новость. Его Величество позволяет Вам вернуться во Францию. Вместе с этим письмом направляю Вам своего адъютанта, капитана Майе, который вернет обязательство, подписанное вами в Лувене, и доставит бумагу, подписав которую Вы сможете ехать куда Вам будет угодно. Как только Вы поставите свою подпись, Вы сможете по своему усмотрению распорядиться разрешением, данным Вам Его Величеством.

Рад, что смог хоть чем-нибудь помочь Вам в этой истории, и прошу Вас принять мои уверения в том, что с удовольствием сделал бы больше, если бы таковое было в моих силах. Прошу Вас не предавать забвению нашу встречу и имею честь выразить Вам свое глубочайшее уважение. Ваш покорнейший и почтительнейший слуга

граф В.А. Кауниц-Ритберг (АС, НП).

[33] АС, НП.

[34] Аббат де Сад и маршал Ришелье давно знали друг друга, совместно предавались разврату и разгулу. Говорят даже, что аббату де Саду приходилось утешать г-жу де Лапоплиньер и уговаривать закрыть глаза на измены маршала. В декабре 1744 г. маршал действительно находился в Монпелье, где заседал парламент Лангедока.

[35] АС, НП.

[36] АС, НП.

Глава III

[1] Общий план дворца Конде и прилегающих к нему строений см.: AN. № IV. Seine 21.

[2] Description nouvelle de la ville de Paris et Recherche des singularités les plus remarquables qui se trouvent à présent dans cette grande ville... 5-e éd. P., 1706. T. II. P. 291. Принцы Конде занимали этот дворец до 1764 г.; потом Луи-Жозеф де Конде продал его Людовику XV за 4 168 107 ливров 15 су. Король приказал снести дворец до основания, дабы расчистить место для постройки нового квартала.

[3] *Barbier E.J.-F.* Chronique de la Régence et du règne de Louis XV. P.: Charpentier, 1885. T. I. P. 275.

[4] См.: *Marais M.* Journal et Mémoires sur la Régence et le règne de Louis XV: En 4 vol. P., 1868. T. III. P. 18–19.

[5] Mémoires du maréchal-duc de Richelieu: En 2 vol. P.: Firmin-Didot, 1889. T. I. P. 278.

[6] *Luynes.* Mémoires: En 17 vol. P.: Firmin-Didot, 1860–1864. T. IV. P. 20; T. VII. P. 385.

[7] *Sade.* Aline et Valcour // Sade. Œuvres / Éd. établie par Michel Delon. P.: Gallimard, 1990. T. I. P. 403. (Bibliothèque de la Pléiade)

[8] Из представления, сделанного первым консулом Дума, стало известно, что сын здешнего сеньора графа де Сада прибудет в Авиньон; хотя мальчику всего четыре года, уместно отрядить представителя нашей общины в Авиньон, чтобы засвидетельствовать вышеуказанному сеньору наше почтение и радость по случаю его прибытия и пожелать долгих и счастливых лет жизни, а также пожелать после кончины господина графа, коему мы желаем жить долго, <...> унаследовать здешние владения. А еще мы хотим обратиться к нему с просьбой о покровительстве и обещаем всевозможные выгоды, кои будет в нашей власти ему доставить, ежели он станет защищать в нашем краю права и интересы каждого жителя и всей общины в целом. Поэтому все единодушно, при добром согласии его превосходительства, отрядили господ консулов и меня, секретаря, в Авиньон поздравить маркиза де Сада, сына господина графа, сеньора здешних мест, с благополучным прибытием в Авиньон и пожелать будущему наследнику долгих и счастливых лет жизни, дабы после смерти вышеуказанного господина графа, коему мы желаем долгой жизни и процветания, он стал защитником интересов жителей общины в решении дел как частных, так и затрагивающих всю коммуну (Archives de la commune de Saumane. Registre BB 6 (1743–1761) – copie. Собрание М. Левера. НД).

[9] *Sade.* Aline et Valcour. ... P. 403.

[10] Назначенный королевским указом от 26 января 1744 г. и папской буллой от 7 декабря того же года, подтверждавшей этот указ, 24 января 1745 г. аббат де Сад вступил в должность настоятеля указанного аббатства.

[11] Аббат – графу де Саду, 26 января [1745 г.] (АС, НП).

[12] Надеюсь, читатель не станет возражать, если автор поделится с ним собственными воспоминаниями. Несколько лет назад я посетил эти подземелья; вместе со мной туда спустились и туристы – супружеская пара с маленькой девочкой. Внезапно девочка исчезла в темноте, и тотчас раздался жуткий вопль. В ужасе мать с электрическим фонариком в руках стала метаться по сторонам, призывая дочку, и гулкое эхо разносило под глухими сводами имя девочки: «Жюстина!!!»

[13] *Voltaire.* Correspondance. P.: Gallimard, [s. d.]. T. I. P. 443.

[14] Письмо к Франческо Альгаротти от 27 августа [1738 г.]. Lettres de la marquise du Châtelet / Publiées par Besterman. Genève: Institut et musée Voltaire, [s. d.]. T. I. P. 250 (Les Delices).

[15] В Сомане и Эбрее мы отыскали любопытное описание аббата де Сада, сделанное маркизом де Ласэ, чей труд в последний раз издавался в 1756 г.; вот какими предстали перед автором замок и его владелец:

Начавший появляться в свете аббат де Сад владел всего одним замком, высящимся на отвесной скале; местность вокруг была дикая; крышу замка венчали несколько флюгеров, вертевшихся от резких порывов ветра во все стороны и производивших невообразимый шум. Внутри замок был убран более чем странно; войдя, вы попадали в комнаты, расписанные сценками с участием Амуров: один Амур посылал стрелы, летевшие мимо цели, едва касаясь сердец; другой натягивал лук и целился в богато разодетых людей, а позади него стояло Безумие и протягивало ему стрелы.

Однако, несмотря на промахи, Амуры улыбались, отчего смотреть на эти картины было весьма приятно. За комнатами с Амурами располагалась зала, где хозяин дома принимал гостей. С видом рассеянным и отсутствующим он ходил среди приглашенных, зачастую не внимая обращенным к нему словам и не давая никаких ответов. Начиная говорить об одном, он без всякой связи перескакивал на другое, и хотя речи его были исполнены ума, в них совершенно не звучало ни интереса к собеседнику, ни любезности, словом, всего того, что составляет очарование светской беседы. Многие покидали гостиную, недовольные и собой, и аббатом.

Избранные переходили в маленький кабинет, поистине очаровательный уголок. Великие художники украсили его изображениями богини Дружбы со всеми ее подопечными: Верностью, Правдой и Благородством. Мало кому довелось увидеть этот кабинет; хозяин дома тоже нечасто заходил туда; ему больше нравилось проводить время в иных комнатах. Но содержание замка требовало огромных расходов, а доходов, достаточных для того, у хозяина не было, и он, дабы не умереть с голоду, вынужден был покинуть его и отправиться в дальние края на поиски нового жилья. В тех краях он теперь и проживает: дом его необычайно печален, даже мрачен. Здесь царит тоска во всех возможных ее проявлениях; по комнатам бродят подозрительные желчные личности в черном и рассуждают о вещах, недоступных их пониманию. Единственным сносным местом является кабинет со множеством книг, где можно обрести утешение в обществе мертвых, дабы избежать скуки, уготованной живым. Вокруг дома произрастают исключительно репейники и колючки; ничто не радует глаз. Желающему усладить взор надо подняться на чердак. Оттуда с помощью увеличительной трубы вы увидите раскинувшиеся вдалеке прекрасные луга, где мирно пасутся тучные коровы и овцы, изнывающие от лени и бремени обильной пищи. Возможность полюбоваться этими великолепными пастбищами помогает перенести смертельное занудство хозяина здешних мест; искушение покинуть сие жилище подстерегает вас повсюду, однако у двери вам преграждает путь огромная тощая и бледная фигура, именуемая Нищетой, и смиренно просит вас запастись терпением (*Lassay de Madaillan de Lesparre, marquis de.* Recueil de différentes choses. Château de Lassay, [s. d.]; BN. Rés. 21163; 1-re éd. 1727; réed. en 1756, 3 parties en un vol. 3-e partie. P. 53–54).

Далее маркиз де Ласэ отмечает: «В письмах аббат де Сад гораздо более остроумен, нежели в беседе: его рассеянный вид и блуждающий взор портит впечатление от того, что он говорит» (Ibid. P. 48).

[16] Когда во время Революции замок Мазан подвергся разграблению, собрание грамот было разодрано в клочья. В семейном архиве сохранилась его опись, составленная аббатом; она представляет собой толстую тетрадь в серой обложке с надписью: «Опись, или Общий список грамот, договоров и прочих документов дома де Сад, собранных и переплетенных в шесть толстых томов и размещенных в хронологическом порядке». Справа от заголовка, на полях, рукой маркиза приписано: «Составлено аббатом де Садом, работавшим над этим трудом всю жизнь». А ниже указано:

Сей важный сборник был переправлен в Мазан во время революции 89, 90, 91 и т. д. годов, и сделано это было по живейшей просьбе Пелажи де Монтрей, супруги Луи-Альдонза Донасьена де Сада. Было приложено множество усилий для спасения этих документов от ярости разбойников, разорявших в те годы дворян, но все труды оказались напрасны: в Мазане бумаги были захвачены и уничтожены. Когда наступили более спокойные времена, Донасьен де Сад приехал в Прованс, собрал все уцелевшие клочки и приказал запереть их в ящик в архиве селения Соман; там он их оставил, в надежде привести в порядок, когда позволят обстоятельства. Приписка сделана в Сомане 26 июля 1797 года. Донасьен де Сад (АС; см. также: *Lely.* Vie. T. I. P. 10–11).

[17] Сад упоминает аббата Буало и Майбаума в «Истории Жюльетты» (см.: ОС. Т. IX. Р. 288).

[18] Письмо 1765 г. к тетке Габриэль-Элеонор, аббатисе обители Святого Бенедикта в Кавайоне (цит. по: *Desbordes J.* Le Vrais visage du marquis de Sade. P.: Editions de la Nouvelle Revue Critique, 1939. P. 42).

[19] В архиве Бастилии мы отыскали полицейское досье. Полагаем, читателю будет интересно с ним ознакомиться:

Донесение инспектора Деларвье

25 мая 1762 г.

Господин Поль Альдонс де Сад, священник из диоцеза Авиньон, аббат-коммендатарий аббатства Эбрей, обнаруженный у развратной женщины по прозвищу Гусенок, проживающей на улице Шантр.

Комиссару Мютелю

Сударь,

Сегодня, в половине седьмого вечера, узнав, что в квартире у развратной женщины по прозвищу Гусенок, что проживает на улице Шантр, находится духовное лицо, я с разрешения господина де Сартина отправился туда вместе с комиссаром Мютелем. И действительно, мы обнаружили там господина Поля Альдонса де Сада, пятидесяти лет от роду, уроженца Авиньона, священника из диоцеза вышеназванного города, аббата-коммендатария аббатства Эбрей, что в Оверни близ Клермона, постоянно проживающего в Авиньоне, а на настоящий момент живущего в Париже, на улице Университе, возле Заставы, в меблированных комнатах. Давая мне показания, он заявил, что пришел к этой женщине по доброй воле и у нее в доме занимался плотскими утехами вплоть до полного соития с некой Леонор, девицей легкого поведения. Вышеозначенный комиссар, проверив имена, звания и место проживания вышеуказанного господина де Сада, составил о случившемся протокол. Господин де Сад был отпущен.

Деларвье

Протокол, составленный комиссаром Мютелем

25 мая 1762 г.

Протокол, где говорится о развратных действиях господина Поля Альдонса де Сада, священника диоцеза Авиньон и аббата-коммендатария аббатства Эбрей, что в Оверни близ Клермона. Составили: комиссар Мютель, господин Деларвье

Во вторник, 25 мая 1762 года, в семь с половиной часов вечера мы, Юбер Мютель, адвокат Парламента, королевский советник и комиссар парижского Шатле, в сопровождении господина Альфонса Гаспара Деларвье, заменявшего отсутствующего инспектора полиции Луи Марэ, исполняя полученные нами распоряжения, сделанные на основании имеющегося обвинительного акта, прибыли на улицу Шантр, что в приходе Сен-Жермен-л'Оксеруа, вошли в дом с маленькой дверью, нижний этаж которого занимает зеленщик по имени Леблан, и поднялись на второй этаж, в комнату, выходящую окнами во двор и занимаемую некой Муассон по прозвищу Гусенок, особой, предоставляющей жилище свое для разврата. Там мы нашли Мари-Франсуазу Терезу Дье, по прозванию Леонор, женщину легкого поведения, и вместе с ней частное лицо в священническом облачении, у коего мы спросили имя, прозвание, возраст, титул, место проживания и нынешнее жительство, а также почему он находится в этом месте, где правит разврат, и что он здесь делает. Священник назвался Полем Альдонсом де Садом, пятидесяти лет от роду, уроженцем Авиньона и тамошним аббатом; он пребывал в Париже уже месяц и проживал на улице Университе, в приходе Св. Сюльпиция. Также он сказал, что пришел в это место разврата по собственному желанию и здесь забавлялся с вышеуказанной Леонор, имея с ней плотские сношения вплоть до полного соития. На основании рассказа господина де Сада мы составили протокол, который в нашем присутствии подписали вышеуказанный господин де Сад и вышеуказанный господин Деларвье.

Копию подписал

Мютель (Arsenal. Ms. Arch. Bastille. 10265. НД).

[20] *Bidet Dr. Ch.* D'Ebreuil à Châteauneuf: La ville de la Sioule, Ebreuil et son abbaye. Clermont-Ferran: G. de Bussac, 1973. P. 93–94, 115.

[21] *Sade.* Œuvres... T. I. P. 403.

[22] Двадцать третьего июня 1746 г. граф де Сад купил имение в Глатиньи, что возле Версаля. В 1753 г. он захотел продать его герцогине де Мирпуа за шестьдесят тысяч ливров, «но моя жена, – пишет он, – тайком уговорила ее не делать покупку, что меня изрядно огорчило». 14 мая 1750 г. он сдал имение в аренду маркизу де Ростэну, а спустя два года, 30 мая 1761 г., наконец продал его графу де Бетюну за тридцать четыре тысячи ливров, к которым были добавлены еще шесть тысяч за «мебель и обстановку». Продавец также взял на себя обязательство составить бумагу об отказе от этого имения и заверить ее подписью своего единственного сына, маркиза де Сада (см.: АС, НД; *Porquet Ch.* Le Château de Bethune // Revue d'Histoire de Versailles. 1909. P. 142 sq.).

[23] Должность наместника в Бресе, Бюже, Жексе и Вальроме.

[24] То есть с аббатом де Садом.

[25] Письмо графа де Сада дяде, Жан-Луи де Саду, приору Сент-Круа де Мольсан и прево церкви Л'Иль-сюрр-ла-Сорг, от 11 ноября 1752 г. (АС, НП).

[26] По случаю бракосочетания графа де Сада (23 ноября 1733 г.) отец Турнемин направил ему поздравление:

> Сударь, полагаю, Вы не сомневаетесь, что я как никто был взволнован известием о Вашем счастливом бракосочетании, свидетельствующем о том уважении, кое питает к Вам безмерно почитаемый принц [Луи-Анри де Конде], в коем истина, прямота, справедливость и доброта обрели пристанище с самого детства. С ранних лет он испытывал ко мне теплые чувства, которые я, надеюсь, заслужил, ибо обладаю душой чувствительной. Зная Вас достаточно хорошо, отвечу Вам, что благоволение принца будет таким же долгим, как Ваша жизнь.
>
> Заверяю Вас, сударь, в своем почтении, уважении и истинной привязаности и всегда имею честь оставаться Вашим смиренным и покорным слугой.
>
> *Турнемин, иезуит* (АС, НП).

[27] Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на величественные декорации к трагедиям, созданные в коллеже Людовика Великого и запечатленные на гравюрах Лемэра и Буле (см.: BN, estampes); эти декорации воспроизведены в книге: Petits et grands théâtres du marquis de Sade. P.: Art Center, 1989. P. 36–37.

[28] *Boysse E.* Le Théâtre des jésuites. P.: Henri Vaton, 1880. P. 63–80.

[29] Приведем названия семнадцати спектаклей, показанных в коллеже Людовика Великого с августа 1750 г. по конец 1753 учебного года (см: *Lely.* Vie. T. I. P. 49–50; *Idem.* Petits et grands théâtres du marquis de Sade. P. 36–38):

1750, 5 августа – «Давид признан царем Израильским», трагедия отца Дюпарка.

1751, 17 февраля – «Недоучка», комедия.

26 мая – «Мнимый покойник», комедия отца Кербефа; «Кур, пастушеский царь», музыкальная пастораль.

4 августа – «Юстиниан, первый император Константинопольский», трагедия отца Ж.-Б. Жоффруа; «Гений», балет.

1752, 17 мая – «Человек чести», комедия; «Опасности свободы», комедия; «Филомела», маленькая камерная кантата-аллегория.

2 августа – «Маврикий-мученик», трагедия отца Дюпарка; «Власть насмешки», балет отца Ж.-Б. Жоффруа.

1753, 3 марта – «Василид», трагедия; «Мизантроп», комедия; «Давид и Ионафан», трагедия отца Брюмуа; «Стеклянный человек», комедия; «Мидас», героическая комедия.

[30] Расписание занятий в коллеже Людовика Великого (см.: *Lely*. Vie. T. I. P. 49):

	Утро		День
5 ч. 30 мин.	Подъем	1 ч. 15 мин.	Урок и работа в классе
6 ч. 00 мин.	Молитва	4 ч. 30 мин.	Полдник и перемена
6 ч. 15 мин.	Урок Священного Писания	5 ч. 00 мин.	Урок и работа в классе
7 ч. 45 мин.	Завтрак и перемена	7 ч. 15 мин.	Ужин и перемена
8 ч. 15 мин.	Урок и работа в классе	8 ч. 45 мин.	Молитва
10 ч. 30 мин.	Месса	9 ч. 00 мин.	Отход ко сну
11 ч. 00 мин.	Урок		
Полдень	Обед и перемена		

[31] Instructions pour les maîtres des écoles chrétiennes. P. 27.
[32] *D'Argenson*. Op. cit. T. I. P. 18.
[33] Более подробно см.: *Lever M*. Les Bûchers de Sodome... P. 322–333.

Глава IV

[1] Отрывок из церковной книги регистрации крещений прихода Сен-Мартен де Базак в Сентонже гласит, что Роже де Раймон, сын Шарль-Жозефа Франсуа де Раймона, шевалье, сеньора дю Брейля, и Жанны д'Эпине, его жены, был крещен 15 ноября 1672 г. Крестного отца звали Роже д'Эспарбес де Люссан, граф де Люссан, сеньор де Сен-Кантен де Шено де Пиюманго, крестную мать — Изабо Жубер де Сен-Велэ, она была супругой Жан-Пьера де Лакропта, шевалье, сеньора де Шассань. В мае 1694 г. Роже де Раймон именуется «конюшим, сеньором д'Англ, проживающим в приходе Сен-Морис в Пуату, жандармом Королевской гвардии».

Третьего мая 1698 г. Франсуа де Раймон, конюший, сеньор де Вилланьон, Анри де Ливен, шевалье, сеньор де Ломон, и Филипп де Созе, шевалье, сеньор де Брей-Меро, а также Жозеф де Лемери, шевалье, сеньор де Шуази, «кузены и ближайшие родственники со стороны отца и матери Роже де Раймона», свидетельствуют, что «знакомы с вышеуказанным сеньором Роже де Раймоном с малолетства, то есть двадцать три года и более <...>». Совсем молодым Роже де Раймон поступил на службу жандармом в Королевскую гвардию, а затем стал адъютантом принца Субиза.

Выдержка из книги записей смертей прихода Св. Сюльпиция в Париже гласит, что его мать, Жанна д'Эпине, умерла 13 мая 1701 г. в доме Тринадцати Кантонов на улице Катр-Ван. Книга записей смертей прихода Бланзак в диоцезе Пуатье свидетельствует, что отец его, Жозеф де Раймон д'Англ, последовал за супругой спустя несколько месяцев, а именно 21 января 1702 г. (см.: BN. Ms. Cabinet des Titres. Carré d'Hozier. 525).

[2] Постановление, датированное 1722 г., сообщает, что жертвой убийства стал некий Жан Арно, «поручик из Ангулема», которому покойный отец Раймона некогда продал имение с правом выкупа назад в установленные сроки; согласно договору, деньги были собраны, однако Арно отказался возвращать имение. По дороге из Парижа в Ангулем между Арно и Раймоном произошла яростная перебранка, Арно упорствовал, противники схватились за пистолеты, прозвучали выстрелы. Раймон был ранен в правую руку, и следы этого ранения сохранились у него на всю жизнь. Арно получил несколько пуль: одна из них пронзила грудь, другая — левую руку, третья — бедро; спустя два часа он скончался от полученных ран. Расследование производил сначала королевский

судья из Мюи, а затем, «ибо случай был особый», следователь уголовной полиции из Орлеана. Приговоренный 4 октября 1698 г. к смертной казни гражданским и уголовным судом, Раймон бежал в Баварию.

В 1701 г. он вступил в армию герцога Баварского, Максимилиана II Иммануила, где вскоре сделал блестящую карьеру. Начав драгунским капитаном, он быстро стал кастеляном герцога, а затем гвардейским подполковником в полку карабинеров; получив звание бригадного генерала, он был удостоен чести исполнять специальные поручения во Франции. Раненный в первом сражении при Хохштадте (20 сентября 1703 г.), он попал в плен к герцогу Мальборо при Хейлиссен-Ванге (18 июля 1705 г.); всюду выказав себя доблестным воином, он снискал милость своего повелителя. О его личной жизни в Баварии известно только, что он вечно нуждался в деньгах и был опутан долгами, из-за чего на его офицерское жалованье часто накладывали арест. Когда в 1722 г. он стал ходатайствовать перед королем Франции, герцогиня д'Эглантье, урожденная Раймон, и шевалье де Раймон, уроженец Ангумуа, по неизвестным причинам выплатили ему сумму в 6000 ливров (см.: *Staudinger K.* Geschichte des kurbayerischen heeres uter Kurfürst Max II-Emmanuel. München, 1905. S. 982, 1095; см. также: Bayerisches Hampstaatsarchiv. München. Ms. Op. 74811, 81345). Действительно, в 1722 г. Роже де Раймон направил юному Людовику XV прошение «об отмене приговора, помиловании и прощении». Его Величество согласился удовлетворить просьбу, «принимая во внимание его добрую славу», а также вернул ему имущество, которое, впрочем, «не было конфисковано» (см.: BN. Ms. Cabinet des Titres. Carré d'Hozier. 525).

[3] Точнее, между 1747 и 1753 гг. 7 августа 1747 г. де Раймон был еще жив: этим числом датировано приглашение присутствовать на представлении

> <...> грамоты о помиловании, которую по доброте своей пожаловал ему король; оная грамота будет зачитана в означенный день во время аудиенции, которую Его Величество дает в Большой палате, в восемь часов утра (BN. Ms. Cabinet des Titres. Pièces originales. 2441).

Однако 10 ноября 1753 г. он был уже мертв, ибо именно в этот день г-жа де Раймон присутствует в качестве крестной матери при освящении колоколов в церкви в Дравиньи. Из записей в приходской книге следует:

> Мари де Блэ де Монрозье, вдова знатного и могущественного сеньора, мессира Роже, графа де Раймона, бывшего при жизни губернатором Ингольштадта, бригадным генералом, командиром кирасиров Его Высочества курфюрста герцога Баварского (AD. Aisne: 1 E 298/1).

Роже де Раймон был похоронен в церкви Св. Маврикия в Ингольштадте; еще в 1943 г. там можно было видеть его надгробие.

[4] У нее также была квартира в Париже, на улице Шерш-Миди, «прямо напротив площади Премонтре», в доме, принадлежавшем Франсуа-Мари Пейренку де Мора, генеральному контролеру финансов, где она и умерла 23 июня 1765 г. Наряду с ее единственной дочерью, баронессой Прейзинг, претендентами на наследство выступили ее брат шевалье Брис Камий де Бед де Блэ де Монрозье и сестра Сесиль-Женевьева де Бед де Блэ де Монрозье, вдова Рулена де Бельдо (см.: AN. Y 13774).

[5] Автор исполняет приятную обязанность и благодарит Пьера Мае, нынешнего владельца фермы Лонжевиль, за теплый прием, оказанный ему в тех краях, где Донасьен провел самые счастливые дни своего детства.

А вот сведения, которые автору удалось собрать о замке Лонжевиль:

1116 г. Лонжевиль принадлежит Андре де Бодиману;

1152 г. Самсон, архиепископ Реймсский, подтверждает, что настоятель аббатства Отвилье отписал в дар принадлежавшие аббатству земли в Лонжевиле за ежегодный ценз, равный восемнадцати денье;

1307 г. Иоанн II, владетель Дре, жалует Жану де Бару землю Лонжевиль, которую отец владетеля, Робер IV, держал от графа де Брена и барона де Понтарси;

1354 г. Лонжевиль принадлежит Роберу V, владетелю Дре;

1515 г. В замке проживает Жан де Пюи; его кузен, Пьер де Лувен, желая захватить замок, начинает осаду и в конце концов добивается успеха;

12 декабря 1517 г. Монахи из обители Иньи и сеньор Лонжевиля обмениваются анклавными землями, расположенными в соседних владениях;

август 1650 г. Поджог Лонжевиля солдатами эрцгерцога Леопольда (немцами и — в основном — лотарингцами), расквартированными в Базош-сюр-Вель. После восстановления замок вновь становится собственностью монахов Иньи; настоятель монастыря в их число не входит. В монастырских владениях находится мельница для выжимания масла, а монахи облечены правом решать любые уголовные и гражданские дела и выносить любые приговоры, вплоть до смертных;

1683 г. Опись владений аббатства Иньи, составленная Франсуа Доленкуром, нотариусом;

1684 г. Шарль Кольбер де Террон, маркиз де Бурбонн, государственный советник, назван «сеньором Лонжевиль и Дравеньи»;

1689 г. Раздел монастырского имущества между аббатом и монахами. К аббату переходят земли и имение Монтаон;

25 июня 1710 г. В замке Лонжевиль в возрасте семидесяти семи лет умирает г-жа Анкен;

30 октября 1712 г. Замок покупает г-жа де Раймон;

10 ноября 1753 г. Графиня де Раймон в качестве крестной матери присутствует на освящении колоколов церкви в Дравеньи;

23 июня 1765 г. В Париже умирает графиня де Раймон.

Накануне Революции замок принадлежал Мари-Максимилиане Франсуазе, графине де Лонжевиль, дочери Роже де Раймона и Мари де Блэ де Монрозье; муж ее — баварский дворянин Сигизмунд Фридрих, барон Прейзинг, министр баварского курфюрста. У них родились две дочери, впоследствии вышедшие замуж за высокопоставленных чиновников, служивших при Баварском дворе. Супругом старшей стал Мария-Карл Хаймхаузен, государственный советник и особый депутат парламента Баварии. Младшая вступила в брак с Пьером Мари д'Андреоли, полковником на службе курфюрста Баварского Карла Теодора, сменившего в 1778 г. на троне правителя из династии Виттельсбахов и правившего до 1799 г.

В 1791 г. обе вдовы, баронесса Прейзинг и ее старшая дочь, живут в замке. Они не эмигрируют, а, напротив, пользуясь обстоятельствами, расширяют свои владения. Г-жа де Лонжевиль покупает ферму Монтаон, выставленную на торги 3 марта 1791 г. и оцененную в 155 500 ливров. Ее дочь, г-жа Хаймхаузен, 14 июня 1791 г. приобретает ферму Рарэ, оцененную в 71 000 ливров. 11 июня 1791 г. мать и дочь совместно покупают в Дольском лесу два участка: Ле-Фо и Буа-Шене, за 39 140 ливров. Г-жа Хаймхаузен также приобретает ферму Важиссон. Все эти владения, ранее принадлежавшие аббатству Иньи, были провозглашены национальным имуществом и выставлены на торги.

В январе 1792 г. вдовствующая графиня Лонжевиль, вдова барона Прейзинга, занимавшая апартаменты на втором этаже замка, умерла; дочь ее в то время занимала первый этаж. Так как вторая дочь и наследница проживала в Баварии, имущество покойной было описано и опечатано; автор ознакомился с описью ее движимого имущества: особого интереса оно не представляет.

30 августа 1890 г. Ферму и замок Лонжевиль приобрела семья Лебоди;

1991 г. В наши дни имение Лонжевиль принадлежит земледельцу Пьеру Мае.

Подробнее см.: AN. Y 13774; Archives départementales de l'Aisne; Justice de Paix de Coulonges-Cohan (1790–1802); *Matton.* Dictionaire topographique de l'Aisne. 1871; *Melleville (Maximilien).* Dictionnaire statistique et historique du département de l'Aisne: En 2 vol. P., 1857. *Péchenard (Abbé P.-L.).* Histoire de l'abbaye d'Igny. Reims, 1883; *Hériot de Vrail.* Étude historique sur L.-J. Levesque de Puoilly, 1878; *Genet (Abbe Jean-Vincent).* Etude sur la vie, l'administration et les travaux littéraires de L.-J. Levesque de Puoilly // Une famille rémoise au XVIII siècle. Reims, 1880; Gothaisches Genealogisches Tachenbuch der Gräflischen Haüser. 1911. S. 712.

[6] АС, НП.

[7] Жан Левек де Бюриньи (1692–1785), уроженец Реймса, автор множества трудов, среди которых «Жизнь Эразма» (1757) и «Жизнь Боссюэ» (1761), принадлежал к древнему дворянскому роду. Владения его брата, Луи-Жана Левека де Пуйи, виконта д'Арси-ле-Понсар, соседствовали с владениями г-жи де Лонжевиль (см.: *Mercier P.M.R.* Précis statistique et historique de la commune d'Arcy-le-Ponsard et de l'histoire de l'abbaye d'Igny. P., 1871; Reims: Fismes, 1874).

[8] Анн-Шарлотта де Салабери, маркиза Роме де Вернуйе, пикантная красотка, удостоившаяся особого внимания маршала Ришелье. Ему приписывают авторство куплета, посвященного этому очаровательному созданию:

Чтоб, верно повторив натуру,
Де Вернуйе лицо с фигурой
Изобразить миниатюрой,
Возьми одновременно
Корсаж, что к стану нимф приник,
И Грации подобный лик,
И достойный Муз язык
И голосок Сирены.
(Nouvelles à la main /
Éd. E. de Barthélemy. 1879. 7 juin 1737)

Граф де Сад не избежал ее чар и также писал стихи «любезной Вернуйе».

[9] Письмо г-жи де Раймон к графу де Саду, июль, 1753 г. (АС, НП).

[10] Спустя некоторое время г-жа де Раймон замечает небрежение Донасьена по отношению к окружающим, однако приписывает его юношеской застенчивости:

Что вы скажете о нашем мальчике? О его холодности? Я в отчаянии: нелюбезное поведение юноши вряд ли придется кому-то по душе, этим он может навредить себе. Однако надеюсь, что, глядя на Вас, он наберется опыта, а застенчивость, свойственная юности, быстро пройдет. (Письмо г-жи де Раймон к графу де Саду от 16 июля 1756 г. АС, НП.)

[11] Письмо г-жи де Раймон к графу де Саду от 8 сентября 1753 г. (АС, НП).

[12] *Beauvoir S.* Faut-il brûler Sade? P.: Gallimard, [s. d.]. P. 33.

[13] Письмо г-жи де Раймон к графу де Саду от 8 сентября 1753 г. (АС, НП).

[14] Письмо г-жи де Раймон к графу де Саду от 22 сентября 1753 г. (АС, НП).

[15] По крайней мере, сначала; однако впоследствии в их отношениях появляется холодок. К этому выводу нас подводят строки из письма, датированного 1757 г.: владелица замка Лонжевиль обращается к отцу Донасьена:

Похоже, мадам де Сен-Жермен освободила Вас от обязанностей посредника. Но я об этом ничуть не жалею. Мы с ней никогда не были близкими подругами. Наши отношения всегда оставались крайне сдержанными. Для меня она слишком моло-

да, слишком подвижна, и я никогда не знала ее другой. Мамина восторженность также прошла; надо сказать, на этот раз она была более продолжительной, нежели обычно (АС, НП).

[16] Письмо г-жи де Сен-Жермен к графу де Саду (АС, НП).

[17] LML. Т. III. Р. 71.

[18] Письмо [от 3 февраля 1784 г.] (LML. Т. III. Р. 177).

[19] Намек на связь графа де Клермон со знаменитой танцовщицей, ставшей затем любовницей Грембергена.

[20] Письмо от 1 октября 1753 г. (АС, НП).

[21] Письмо графа де Сада к маркизу де Сюржеру от 24 февраля 1754 г. (АС, НП).

[22] Письмо графа де Сада к маркизу де Сюржеру от 1 февраля 1755 г. (АС, НП).

[23] Примеры малолетних офицеров: виконт де Ноайль, в двенадцать лет начавший свою карьеру в качестве телохранителя в роте шотландцев; тринадцатилетний подпоручик Вимпфен. Александр де Монбарей, не имевший за плечами ничего, кроме блистательной славы длинной вереницы предков, в двенадцать лет получил патент поручика Лотарингского полка. Для завершения образования за ним в армию последовал гувернер. Также следовало бы упомянуть совсем юного «полковника в подгузнике», которого при штурме Порт-Магона один из гренадеров нес на руках.

[24] «Место, где молодых людей обучают верховой езде, фехтованию, танцам, вольтижировке» (Encyclopédie. Т. I. Р. 57. Col. A).

[25] *Sade.* Aline et Valcour. ... Т. I. Р. 403.

[26] В 1498 г. король Людовик XII создал несколько кавалерийских отрядов, которым впоследствии было присвоено название легкой кавалерии. Спустя сто лет, в 1599 г., Генрих IV в награду за мужество, проявленное солдатами из легкой кавалерии во время Итальянских и религиозных войн, включил их корпус в свою гвардию. В период царствования Людовика XIII легкие кавалеристы составляли особую роту; в качестве защитных средств в ней использовались нагрудные панцири и круглые железные шапочки; боевым наступательным оружием служили пистолеты и шпаги или сабли. В 1745 г. Людовик XV предписал своим кавалеристам иметь еще и ружья.

В XVIII в. мундир легких кавалеристов был одним из самых пышных и изысканных в армии: кафтан пунцового цвета, отороченный белой шелковой каймой, белое шитье, накладные карманы, серебряные бутоньерки, золотые и серебряные пуговицы, нашивки, золотые бранденбуры, белый, расшитый золотом поясной ремень; белая куртка с галунами и золотыми кантами; белые шелковые штаны до колен с серебряными пуговицами и золотыми подвязками; шляпа с золотыми галунами, белым султаном и кокардой; сапоги-ботфорты.

У легких кавалеристов было четыре квадратных штандарта из белой, шитой золотом и серебром тафты, древко штандартов оканчивалось золотым цветком лилии. На каждом углу стяга были вышиты молнии, а в центре — девиз: «Sensere gigantes» («Чувствовать себя исполинами» (*лат.*)). Стяги и цимбалы, извлекавшиеся по случаю торжественных построений, парадов или смотров, хранились в королевской спальне.

[27] Письмо аббата к графу де Саду от 20 октября [1754 г.] (АС, НП).

[28] Письмо г-жи де Раймон к графу де Саду от 11 октября 1755 г. (АС, НП).

[29] Специальный выпуск «Газетт» («Extraordinaire de Gazette») от 27–28 июня 1756 г. Имя де Сада упомянуто также в «Отрывке из письма маршала Ришелье

от 28 июня 1756 г., доставленного де Фронсаком, прибывшим в Компьень утром 10 июля» (см.: *Luynes*. Mémoires. T. XV. P. 155 sq.).

[30] *Sade*. Aline et Valcour. ... T. I. P. 404.

[31] Письмо маркиза де Пуайяна к графу де Саду от 23 сентября [1756 г.] (АС, НП).

[32] Письмо г-жи де Раймон к графу де Саду от 3 августа 1756 г. (АС, НП).

[33] АС, НП.

[34] АС, НП.

[35] Письмо г-жи де Раймон к графу де Саду, [апрель] 1757 г. (АС, НП).

[36] АС, НП.

[37] Антуан де Па, маркиз де Фекьер (1648–1711) известен как автор «Военных мемуаров», впервые опубликованных в 1731 г. и сразу отнесенных к разряду лучших трактатов по стратегии того времени. Впрочем, автор снискал немало упреков за обилие в тексте излишне «вольных» выражений. Книга переиздана в Париже в 1770 г.

[38] Письмо маркиза де Пуайяна графу де Саду от 18 мая [1758 г.] (АС, НП).

[39] АС, НП.

[40] АС, НП.

[41] Каким образом сей придворный справлялся с ролью землевладельца, нам не известно. Некоторое представление об этом дает единственное свидетельство – черновик письма графа де Сада к соманскому кюре: «Нищета, вызванная многолетними неурожаями, внушает опасения, что мои крестьяне в Сомане не переживут эту зиму, и я преисполнился сострадания к ним. Однако милосердие мое не распространяется на тех, кто предпочитает бездельничать и больше любит просить милостыню, нежели работать. Я хочу облегчить жизнь тем, кто впал в нищету, потому что не смог найти работу, а посему прошу Вас, когда все соберутся на проповедь, сообщить, что я готов дать работу всем, кто пожелает трудиться, довольствуясь за свой труд разумной платой; также скажите, что, ежели они найдут работу в ином месте, где им будут платить больше, они вольны в любой момент прекратить работать у меня. Работами будет ведать Планшон, с ним им и надлежит разговаривать. Остаюсь, сударь <...> (АС, НП).

[42] Письмо графа де Сада к г-же де Раймон от 31 декабря 1758 г. (АС, НП).

[43] См.: *Luynes*. Mémoires... T. XVI. P. 481, n. 1; *Barbier*. Op. cit. T. VII. P. 72–734; Gazette de France. 28 juillet. 1758. № 29.

[44] Письмо от 4 августа 1758 г. (АС, НП).

[45] Письмо от графа Зоннинга к графу де Саду от 20 октября 1758 г. (АС, НП).

[46] Письмо маршала де Бель-Иля к графу де Саду от 20 октября 1758 г. (АС, НП). Несколько месяцев подряд граф де Сад хлопотал о назначении сына командиром кавалерийской роты в каком-нибудь полку; об этом свидетельствует письмо де Кремия, старшего офицера, назначенного королем в помощь маршалу де Бель-Илю:

> Хотя господин маршал оставил за собой исключительное право распоряжаться всеми назначениями, я тем не менее искренне желаю, чтобы Ваши хлопоты относительно возможности получения Вашим сыном назначения командиром в кавалерийскую роту в этом году увенчались успехом. Буду рад сделать для Вас все от меня зависящее и заверяю в готовности оказать Вам любое содействие, лишь бы оно доставило Вам удовольствие (АС, НП).

[47] АС, НП.

[48] ОС. T. XVI. P. 34.

[49] Письмо к мадемуазель де Руссе [12 мая 1779 г.] (LML. T. I. P. 69).

Глава V

[1] BN. Ms. NAF. 24384. F. 305. Опубл. в изд.: *Lely*. Vie. T. I. P. 58–59. С неверными прочтениями и оставшимися нерасшифрованными словами.

[2] BN. Ms. NAF. 24384. F. 304–305. Почерк явно не принадлежит Донасьену. Приписка, сделанная рукой его отца, гласит: «Письмо, адресованное проживающему у меня аббату, меня возмутило, ибо мне не хотелось, чтобы все знали о его похождениях» (цит. по: *Lely*. Vie. T. I. P. 57–58).

[3] АС, НП.

[4] В ответ на эту просьбу граф де Сад получает письмо от Сен-Флорантена.

Версаль, 10 февраля 1760 г.

Смею заверить Вас, сударь, что дело Ваше вызывает у меня живейший интерес. При первой же возможности я с удовольствием изложу королю Ваше желание передать свои обязанности наместника провинции Брес сыну, расскажу о Ваших заслугах на этом посту, а также о причинах, побуждающих Вас желать этой замены.

Засим, сударь, остаюсь Вашим смиренным и почтительным слугой.

Сен-Флорантен (АС, НП).

[5] Письмо графа де Сен-Флорантена к графу де Саду от 6 марта 1760 г. (АС, НП).

[6] Письмо графа де Сен-Флорантена к графу де Саду от 8 апреля 1760 г. (АС, НП).

[7] Письмо Монморийона от 6 августа 1759 г. (АС, НП).

[8] Письмо графа де Сада к Монморийону, август 1759 г. (АС, НП).

[9] Письмо от Обана де Лафейе к графу де Саду от 8 октября 1759 г. На полях приписка, сделанная рукой Донасьена: «Эта партия подходила мне как нельзя лучше» (АС, НП).

[10] Письмо герцога Шуазеля к графу де Саду от 20 мая 1761 г. (АС, НП).

[11] Письмо герцога Шуазеля к графу де Саду от 6 июня 1761 г. (АС, НП).

[12] Письмо от г-жи Бово-Бассомпьер к графу де Саду от 21 июня [1761 г.] (АС, НП).

[13] Знаменосцу жандармерии поручалось нести знамя роты; должность считалась особенно почетной и стоила очень дорого. Анри д'Альмера, а следом за ним Лели относят этот эпизод к 1762 г.

[14] Письмо г-на де Ларонса к графу де Саду от 7 апреля 1761 г. (АС, НП).

[15] Письмо от графа де Сада к г-же де Раймон от 16 августа 1761 г. (АС, НП).

[16] Письмо герцога Шуазеля к графу де Саду от 12 ноября 1761 г. (АС, НП).

[17] Письмо герцога Шуазеля к графу де Саду от 7 декабря 1761 г. (АС, НП).

[18] Письмо от Луи-Жозефа де Конде к графу де Саду от 15 декабря 1761 г. (АС, НП).

[19] Рукой маркиза сделано примечание: «Как показала проверка, и в этом случае тоже».

[20] Œuvres diverses. Ms. АС. Опубл. в изд.: *Lely*. Vie. T. I. P. 59–62.

[21] BN. Ms. NAF. 24384. F. 2790280.

[22] Письмо герцога де Коссе к графу де Саду. Эсден,1 июля 1762 г. (АС, НП); см. также письмо графа де Сада к его брату-аббату от 24 [сентября 1762]: BN. Ms. NAF. 24384. F. 294–280.

[23] По этому поводу в Париже появилась песенка, в которой участь офицеров сравнивалась с судьбой иезуитов, роспуск организаций которых шел полным ходом как в столице, так и в провинциях.

Тут капитаны без призыва
Твердят на все лады,
Что армия несправедливо
Проредила ряды.
Ах, не видали вы беды:
Я сказать не побоюсь,
Всех как ударом хватит,
Потому что сам Иисус
Воинство свое утратил.

[24] Мы нашли список, куда граф де Сад собственноручно занес все расходы, связанные с пребыванием сына в армии. Из него мы узнаем, что в период службы Донасьен совершил поездку в Прованс, однако дату ее выяснить не удалось.

Покупка роты	13 000 ливров
Экипировка	1000
Пенсион за два года	4000
Два вьючных мула, посланных из Авиньона	1000
Жалованье камердинеру, плюс тридцать луидоров, которые тот передал г-ну Понсону	1200
Дорожные расходы	1000
Расходы, понесенные в Авиньоне	1000
Долг г-ну де Пуайяну	360
Столовые приборы и прочие вещи, присланные с мулами	1000
Лошадь	300
Еда для слуг и лошадей	1000
Отправлено г-ну Понсону	1200
	25 860

(Ошибка: 26 060 ливров)

За пожалование патентов	5000
и принятие присяги	3000
А также дополнительные расходы	6617
Оплата экипировки	1000
За принятие присяги	3000
Покупка роты	13 000
За лошадь	300
	23 917 ливров
Отослано майору	3000
	26 917 ливров (АС, НД).

[25] АС, НП.

[26] BN. Ms. NAF. 24384. F. 287–288.

[27] Подчеркнуто в тексте.

[28] BN. Ms. NAF. 24384. F. 279–280.

[29] Этот Жан Парсье тридцать восемь лет занимал пост торгового атташе Франции в Кадисе и Мадриде; должность свою он унаследовал от отца. Во время службы оказал важную услугу в деле судна «Пантьевр», которое оказалось неважной добычей и, несмотря на активное ходатайство английского посла, было отдано Индийской компании. В июле 1758 г. умер де Жалэ, исполнявший обязанности управляющего Дворцом инвалидов, и Парсье получил его

должность (см.: *Luynes*. Mémoires. ... Т. XVII. P. 16–17). Именно на этого Жана Парсье намекает Донасьен в письме жене от 21 мая 1781 г.:

Не пристало председательше де Монтрей, кузине, племяннице, родственнице, крестнице и куме маленького мерзкого банкрота, разорившегося в Кадисе и Париже, председательше де Монтрей, племяннице мошенника, изгнанного из Дворца инвалидов герцогом де Шуазелем за грабеж и взятки, той самой председательше де Монтрей <...> (ОС. Т. XII. Р. 323).

[30] В действительности шестеро (см.: генеалогическое древо Монтреев).

[31] Граф де Сад хочет сказать «отца невесты». Жак-Рене Кордье де Лонэ в год бракосочетания своего сына с Мари-Мадлен Масон де Плиссэ (22 августа 1740 г.) купил у маркиза де Пон-Сен-Пьер землю Эшофур в Нормандии, дававшую владельцу право на баронский титул, а также имение Монтрей-Ларжиле. Клод Рене принял имя де Монтрей. Приобретение этого имения действительно принесло ему дворянский титул, но не само дворянство, право на которое давала ему его должность.

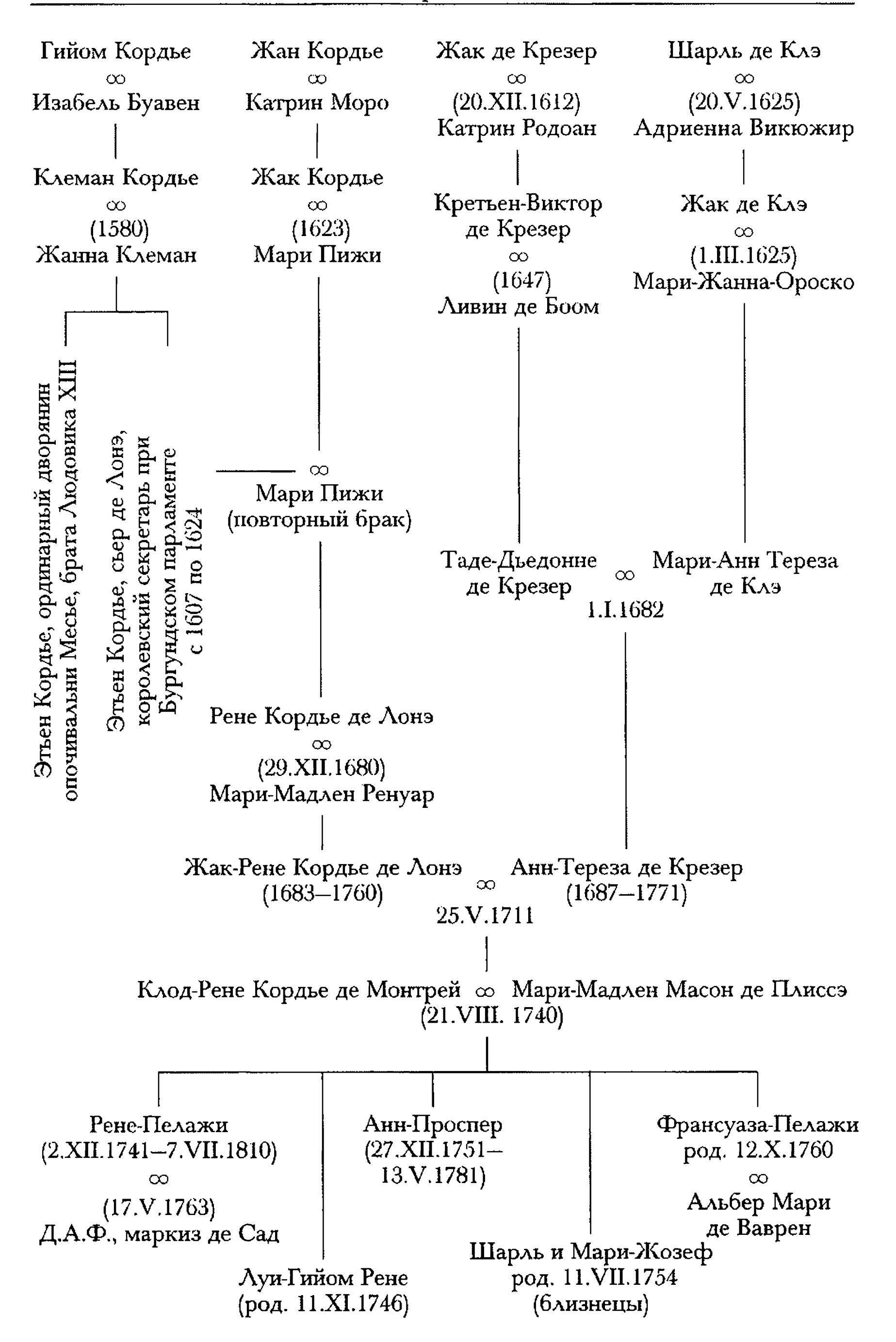
[32] Многие женские монастырские общины, основанные в первые годы образования ордена госпитальеров-иоаннитов, находились в ведении Мальтийского ордена. В эти общины принимались девушки исключительно из дворянских семей. Во Франции самые крупные общины мальтийцев находились: одна в Тулузе, а две другие в провинции Лот – в Мартеле и Болье. Члены этих общин именовались *мальтийскими канонисами*.

[33] Письмо от графа де Сада к аббату от 17 марта 1763 г. (BN. Ms. Fr. 24384. F. 281).

[34] На эту должность он был назначен 24 мая 1743 г. и занимал ее до 17 июля 1754 г., когда его на этом посту сменил Жак Шарпантье де Буажибо. В период обручения дочери с маркизом де Садом он обладал только званием почетного председателя.

[35] Родившаяся в 1720 г., Мари-Мадлен Масон де Плиссэ была дочерью судейского чиновника, анноблированного по должности в конце XVII в. Семья обладала значительным состоянием, сколоченным на торговле с заморскими колониями. Приобретение фабрик в Орлеане также упрочило ее достояние. Семейный трехчастный гербовый щит являл собой «лазурное поле с золотым стропилом, с двумя звездами в двух верхних частях и полумесяцем в третьей, нижней части; звезды и полумесяц были серебряные». Отец Мари-Мадлен Масон де Плиссэ был секретарем-советником королевской семьи и короны Франции; 4 июня 1719 г. в соборе Кадиса (Испания) он сочетался браком с Мари-Пелажи Парсье, родившейся в 1694 г. и скончавшейся в 15 июня 1788 г.; жена родила ему четверых детей: сына Шарля Фостена и трех дочерей: Мари-Мадлен, вышедшую замуж за Клода-Рене Кордье де Лонэ; вторую дочь, сочетавшуюся браком с Филибером, бароном де Шамусе, и третью, супругом которой в 1750 г. стал маркиз Брюне д'Эври, бывший в то время офицером Королевской гвардии. У председателя де Монтрей было три сестры: Луиза-Катрин, замужем за Анри-Луи, маркизом д'Ази, проживавшим в Ниверн э; Тереза-Шарлотта, вышедшая в 1730 г. замуж за Пьера Шарля, маркиза де Виллета, отца знаменитого маркиза де Виллета, состоявшего в «свойстве» с Вольтером; Анн-Проспер, 30 августа 1736 г. ставшая супругой Жана д'Экера де Тулонжона (а не Тулонжо, как иногда ошибочно пишут), графа де Шамплита.

[36] Приводим генеалогию семьи Монтрей, как она дана в «Семейном дневнике» председателя Кордье де Монтрея. Ее нам любезно предоставил и позволил воспроизвести Франсуа Муро. Пометки, сделанные рукой самого председателя, сообщают сведения, доселе неизвестные, например, дату рождения Анн-Проспер де Лонэ: 27 декабря 1751 г.


Гийом Кордье
∞
Изабель Буавен
Клеман Кордье
∞
(1580)
Жанна Клеман
Этьен Кордье, ординарный дворянин опочивальни Месье, брата Людовика XIII
Этьен Кордье, сьер де Лонэ, королевский секретарь при Бургундском парламенте с 1607 по 1624
Жан Кордье
∞
Катрин Моро
Жак Кордье
∞
(1623)
Мари Пижи
∞
Мари Пижи
(повторный брак)
Рене Кордье де Лонэ
∞
(29.XII.1680)
Мари-Мадлен Ренуар
Жак де Крезер
∞
(20.XII.1612)
Катрин Родоан
Кретьен-Виктор де Крезер
∞
(1647)
Ливин де Боом
Шарль де Клэ
∞
(20.V.1625)
Адриенна Викюжир
Жак де Клэ
∞
(1.III.1625)
Мари-Жанна-Ороско
Таде-Дьедонне де Крезер
∞
1.I.1682
Мари-Анн Тереза де Клэ
Жак-Рене Кордье де Лонэ
(1683–1760)
∞
25.V.1711
Анн-Тереза де Крезер
(1687–1771)
Клод-Рене Кордье де Монтрей ∞ Мари-Мадлен Масон де Плиссэ
(21.VIII. 1740)
Рене-Пелажи
(2.XII.1741–7.VII.1810)
∞
(17.V.1763)
Д.А.Ф., маркиз де Сад
Луи-Гийом Рене
(род. 11.XI.1746)
Анн-Проспер
(27.XII.1751–13.V.1781)
Шарль и Мари-Жозеф
род. 11.VII.1754
(близнецы)
Франсуаза-Пелажи
род. 12.X.1760
∞
Альбер Мари
де Ваврен

[37] *Heine M.* Marquis de Sade. P.: Gallimard, 1950. P. 335–336.

[38] Де При в 1754 г. женился на второй дочери маркиза де Виллета и Терезы-Шарлотты Кордье де Лонэ, сестры председателя де Монтрея. Таким образом посредством брачных уз он оказался в родстве с Рене-Пелажи, будущей маркизой де Сад.

[39] Племянник председателя де Монтрея и кузен Рене-Пелажи.

[40] BN. Ms. NAF. 24384. F. 310–311.

[41] Пари де Монмартель, хранитель королевской казны и банкир короля.

[42] То есть Жака Рене Кордье де Лонэ, казначея, ведавшего экстренными военными расходами в городах Берг и Фюрн, отца председателя де Монтрея.

[43] Бабушки Рене-Пелажи (будущей госпожи де Сад) с отцовской стороны.

[44] Тетка Рене-Пелажи с отцовской стороны.

[45] Письмо графа де Сада к аббату де Саду (BN. Ms. NAF. 24384. F. 310–311).

[46] Письмо графа де Сада к аббату де Саду от 15 [мая 1763 г.] (BN. Ms. NAF. 24384. F. 302–303).

[47] BN. Ms. NAF. F. 314–315.

[48] BN. Ms. NAF. 24384. F. 310–311.

[49] BN. Ms. NAF. 24384. F. 306–307.

[50] Речь идет о венерическом заболевании Донасьена.

[51] *Sade.* Œuvres diverses: Ms. AC. Полностью письмо опубликовано в изд.: *Lely.* Vie. T. I. P. 68–71.

[52] BN. Ms. NAF. 24384. F. 277–278.

[53] BN. Ms. NAF. 24384. F. 448–449.

[54] АС, НД. Портретов г-жи де Сад, как, впрочем, и портретов самого маркиза (за исключением известного портрета Ван Лоо, выполненного карандашом), не сохранилось. Гравюра, хранящаяся в Кабинете эстампов Национальной библиотеки и нередко выдаваемая за изображение маркизы (в частности, в книгах Анри д'Альмера (см.: *D'Alméras H.* Marquis de Sade. P. 1906. P. 160.) и Жана Деборда (см.: *Desbordes J.* Le vrai visage du marquis de Sade. P., 1939. P. 23), несомненно, таковым не является. Это изображение на медальоне, выгравированное в XIX в. весьма топорно, которое, на взгляд автора, идентификации не поддается. Автор полагает, что подлинный портрет маркизы долгое время находился в распоряжении семьи Поле, жившей в Ла-Косте. Местный эрудит Мариус Гарсен по поручению графа Альфреда Бежи отыскал его, а потом попытался приобрести для своего заказчика. Гарсен действовал через мэтра Буайе, нотариуса в Эгийере и друга семьи Поле; но семья решительно отказалась расстаться с портретом:

> Портрет хранится у г-на Поле, однако он и слышать не хочет о том, чтобы расстаться с ним: для него и его семьи портрет является предметом семейной гордости, и убедить их продать его мне не удалось; по их мнению, портрет этот свидетельствует о дружеских отношениях, существовавших между двумя семьями, и напоминает о былом процветании их предков (АС, НД).

[55] От графа де Сада к настоятельнице монастыря Святого Лаврентия [ок. 15 мая 1763 г.] (BN. Ms. NAF. 24384. F. 262–263).

[56] От графа де Сада к Габриэль Лор де Сад, 2 [мая 1763 г.] (BN. Ms. NAF. 24384. F. 267).

[57] Приданое Рене-Пелажи состояло из следующих частей: со стороны отца к ней отходило 80 000 ливров, из которых 10 000 «наличными, которые г-н де Монтрей обязуется выплатить вышеуказанному маркизу де Саду накануне свадьбы», и 1500 ливров ренты, которые после смерти г-жи де Лонэ, бабушки

будущей супруги, возрастут до 3500. Со стороны матери после смерти оной ей предстоит унаследовать 50 000. Со стороны бабушки – мадам де Лонэ – она получит 120 000 ливров, с которых при жизни мадам де Лонэ ей будет выплачиваться ежегодная рента в 6000 ливров; еще 25 000 ливров из бабушкиного наследства отойдет к ней после кончины г-на де Монтрея. Наконец, от тетки с отцовской стороны, маркизы д'Ази, ей после смерти вышеуказанной дамы достанется 25 000 ливров. (Согласно копии брачного контракта от 12 июня 1819 г., нотариально заверенной и подписанной Тирионом, «непрямым наследником сьера Форсье, парижского нотариуса» (AD. Vaucluse. J. 87.) Оригиналы, датированные 1 и 15 мая 1763 г., исчезли из конторы Форсье, находившейся в помещении центральной нотариальной конторы (см.: AN. Et. XXXI/175).

[58] См.: *Lely*. Vie. T. I. P. 87.

[59] *Heine M.* Op. cit. P. 336–337.

[60] BN. Ms. NAF. 24384. F. 406–407.

[61] Из Книги регистрации бракосочетаний за 1763 г. Копия от 28 сентября 1810 г. (АС, НД). Брак действительно был заключен в церкви Святой Магдалины в предместье Виль-Левек, а не в церкви Святого Роха, как утверждает Жильбер Лели (см.: Vie. T. I. P. 88). Выстроенная в 1660 г., церковь эта быстро стала тесна для возросшего населения квартала. В апреле 1746 г. началась ее реконструкция, однако она часто прерывалась; в результате работы в общей сложности продолжались семьдесят восемь лет. В 1842 г. здание церкви Святой Магдалины наконец обрело свои нынешние очертания.

Глава VI

[1] Замок Эшофур, владельцем которого сегодня является генерал Пьер де Лекан, находится в департаменте Орн, на возвышенности, у подножия которой расположена деревня, носящая то же название, что и замок. В 1740 г. отец председателя де Монтрея купил Эшофур у Мишеля де Роншероля из Пон-Сен-Пьера; одновременно он приобрел также фермы Френ, Ла Бовезиньер и Лонэ-о-Саж и несколько лесных массивов. Семья Роншероля в замке не проживала, поэтому г-н де Монтрей получил здание в полуразрушенном состоянии. Новый владелец отреставрировал и отчасти отстроил его заново, установил в каждой комнате каменные или мраморные камины с чугунными досками для гербов (следы от которых можно видеть до сих пор), прорубил несколько больших окон в северном фасаде (их можно легко узнать по кирпичной обвязке), отчего замок стал выглядеть менее суровым; также улучшилась его внутренняя освещенность. Вокруг здания был разбит парк во французском стиле, с длинными прямыми аллеями, образовавшими звезду, и широким проспектом, обсаженным деревцами, которые регулярно подстригались. Еще он обустроил плодовый сад, обнес его стеной и сделал узорчатую решетку ворот (в 1767 г.). Опись замкового имущества, составленная 11 плювиоза Шестого года (30 января 1798 г.) после смерти председателя де Монтрея, свидетельствует, что капитальные перемены замок не затронули. Замковый комплекс сохранился до наших дней примерно в том же виде, в каком его скорей всего увидел Донасьен после свадьбы (этими сведениями мы обязаны распечатанной на ротаторе монографии генерала Пьера де Лекана, о которой нам любезно сообщил граф Ксавье де Сад).

[2] Письмо графа де Сада к аббату де Саду, 2 [июня 1763 г.] (BN. Ms. NAF. 24384. F. 308–309).

[3] Письмо графа де Сада к его сестре Габриэль-Лор, 9 [июня 1763 г.] (BN. Ms. NAF. 24384. F. 275–276).

[4] Письмо графа де Сада к аббату де Саду, 16 [августа1763 г.] (BN. Ms. NAF. 24384. F. 289–290).

[5] Письмо г-жи де Монтрей к аббату де Саду, 20 октября 1763 г. (BN. Ms. NAF. 24384. F. 410–412).

[6] Письмо графа де Сада к аббату де Саду, 2 [июня 1763 г.] BN. Ms. NAF. 24384. F. 308–309).

[7] В брачном контракте действительно записано:

> <...> доходы и вознаграждения от искомой должности должны принадлежать уже упомянутому сеньору [Донасьену де Саду], *будущему супругу, начиная с настоящего дня, 4 марта 1760 г.* (AD. Vaucluse. J. 87).

[8] Письмо председательши де Монтрей к аббату де Саду от 14 сентября 1763 г. (BN. Ms. NAF. 24384. F. 414–415).

[9] Письмо председательши де Монтрей к графу де Саду от 24 октября 1763 г. (АС, НП).

[10] Письмо мадемуазель де Руссе к Гофриди от 27 ноября 1778 г. (цит. по: *Bourdin P.* Correspondance inédite du marquis de Sade. P., 1929. P. 129). Слова эти написаны через пятнадцать лет после женитьбы Донасьена, что является верным доказательством того, что и в пятьдесят пять лет председательша не утратила своего очарования.

[11] Дневник г-на де Монтрея – это небольшая по размеру рукопись in-folio в переплете из веленевой бумаги. Сегодня она является собственностью профессора Муро из Дижона, великодушно позволившего нам использовать ее. На первой странице обложки можно прочесть: («Рукопись, содержащая заметки о семье де Кордье де Лонэ де Монтрей и семье Крезер, сделанные в разное время и в связи с разными событиями: выдержки для чтения, и т. п.») Надпись на титульном листе гласит: «Ex manu scriptis codicibus Claudii Renati Cordier de Launay de Montreuil».

[12] В семейном архиве семьи де Сад сохранился «Список визитов» молодой пары. Он свидетельствует о резком увеличении светской активности в последние две недели мая 1763 г. Однако 17 мая, непосредственно в день свадьбы, присутствует всего тридцать семь приглашенных, не считая членов семьи; учитывая важность события, эта цифра кажется несколько заниженной.

[13] Об этом свидетельствует письмо г-жи де Таларю, придворной дамы дофины, к графине де Сад, датированное 4 июня 1763 г.:

> Я с мадам де Беранже (сестрой г-жи де Таларю. – *М.Л.*) были бы рады и счастливы представить Вашу невестку ко двору, ибо мы, как ни посмотреть, имеем честь принадлежать к Вашему дому. А потому чрезвычайно огорчены тем, что не можем оказать этой услуги. Мадам де Беранже беременна, ее все время рвет, а у меня наступили месячные; к тому же не могу покинуть дофину. Во время Вашего здесь пребывания я постараюсь улучить время и лично принести Вам свои извинения и извинения мадам де Беранже, которую буду иметь честь представить Вам (АС, НП).

[14] Письмо графа де Сада к аббату де Саду от 2 [июня 1763 г.] (BN. Ms. NAF. 24384. F. 308–309).

[15] BN. Ms. NAF. 24384. F. 414–415.

[16] BN. Ms. NAF. 24384. F. 410–412.

[17] *Sade.* Aline et Valcour. ... T. I. P. 397.

[18] *Prince de Ligne.* Mémoires, Lettres et Pensées. P.: François Bourin, 1989. P. 696.

[19] L' Aigle, Mademoiselle... P.: Georges Artigues, 1949. P. 101.

[20] BN. Ms. NAF. 24384. F. 410–412.

[21] В этом рассказе мы тщательно следовали оригинальному тексту показа-

ний Жанны Тестар, обнаруженному библиофилом Жаном Помаредом и воспроизведенному Жильбером Лели (OC. T. XII. P. 643–650). По любопытному совпадению, тот же самый комиссар Юбер Мютель производил опрос свидетелей по делу о дебоше, учиненном 25 мая 1762 г. аббатом де Садом (см. примеч. 19 к гл. III).

[22] На этой площади несколько лет спустя маркиз встретит Розу Келер.

[23] AC, НП. Жильбер Лели опубликовал отрывок из этого письма, извлеченный из каталога распродажи от 23 марта 1848 г. (см.: *Lely.* Vie. T. I. P. 109).

[24] Ibid.

[25] L'Amateur d'autographes. 1866. P. 355–356.

[26] BN. Ms. NAF. 24384. F. 312. Письмо датировано 15, а не 16 ноября, как это указано у Лели, который воспроизвел его вместе с возникшей при прочтении ошибкой (см.: *Lely.* Vie. T. I. P. 114).

[27] Письмо от 21 января 1764 г. (BN. Ms. NAF. 24384. F. 416–417).

[28] AN. Op. 406, n. 361.

[29] Этот замок, восстановленный в XVI в. из камня и кирпича и перестроенный в 19-м столетии, отличался красивыми слуховыми окошечками и тремя круглыми башенками. В 1858 г. он по-прежнему принадлежал потомкам семейства д'Эври.

[30] *Lely.* Vie. T. I. P. 118.

[31] Ibid. P. 148–149.

[32] Ibid. P. 149–150.

[33] Ibid. P. 150–151.

[34] Цит. по: *Piton C.* Paris sous Louis XV. P.: Mercure de France, 1911–1914. T. II. P. 206–207.

Около 1760 г. чета Бриссо была в большой моде среди любителей продажной любви; муж и жена содержали два разных дома: один у заставы Бланш, а другой на улице Тир-Буден; этот дом потом переехал на улицу Франсэз. Бриссо имел репутацию человека вкрадчивого и красноречивого, умеющего расположить к себе хорошеньких женщин; он постоянно заботился о здоровье пансионерок и всегда приглашал приписанного к заведению врача для их осмотра, пусть даже беглого. Женой своей он гордился, ибо прозвище Президентша она получила от одного из своих клиентов; по определению Марэ, это была одна из самых развратных особ, умевшая заниматься своим делом, соблюдая все положенные приличия. Тогдашние прожигатели жизни высоко ценили супругов Бриссо; эти последние часто устраивали интимные ужины, на которых присутствовали барон Ванген, г-н де Клозель, граф де Шаролэ, герцог де Граммон, весь цвет дворянства (*Veze R.* [*pseudo Hervez J.*] La galanterie parisienne au XVIII^e siècle. P.: Daragon, 1905. P. 272).

[35] BN. Ms. NAF. 24384. F. 454–456.

[36] *Lely.* Vie. T. I. P. 153–154.

[37] Ibid. P. 120–121.

[38] *Piton C.* Op. cit. T. II. P. 147–148.

Глава VII

[1] Цит. по: *Piton C.* Op. cit. T. II. P. 196.

[2] Ibid. T. II. P. 208.

[3] Тринадцатого декабря 1765 г. инспектор Марэ записывает: «Девица Бовуазен недавно оправилась от родов», что при нормальных сроках означает, что ребенок был зачат приблизительно 15 марта.

[4] Собрание М. Левера, НП.

[5] Письмо г-жи де Монтрей к аббату де Саду от 20 мая [1765 г.] (BN. Ms. NAF. 24384. F. 442–443).

[6] *Piton C.* Op. cit. T. III. P. 61.

[7] AC.

[8] Текст в скобках вымаран.

[9] Письмо г-жи де Монтрей к аббату де Саду от 17 июля [1765 г.] (BN. Ms. NAF. 24384. F. 452–453).

[10] Цит. по: *Desbordes J.* Op. cit. P. 42; см. также: *Lely.* Vie. T. I. P. 126.

[11] Письмо маркиза к аббату де Саду от 18 октября 1766 г. (цит. по: *Desbordes J.* Op. cit. P. 43).

[12] Письмо г-жи де Монтрей к аббату де Саду от 8 августа [1765 г.] (BN. Ms. NAF. 24384. F. 454–456).

[13] Письмо г-жи де Монтрей к аббату де Саду от 26 августа 1765 г. (BN. Ms. NAF. 24384. F. 459–460).

[14] В общем списке долговых обязательств маркиза на 1 июля 1772 г. Бовуазен значится в числе его кредиторов и имеется такая расписка: «Дано девице Бовуазен на основании векселя, выданного для выкупа шкатулки с драгоценностями: 2760 ливров» (AC, НД).

[15] Цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 131–132.

[16] Письмо г-жи де Монтрей к аббату де Саду от 7 ноября [1765 г.] (BN. Ms. NAF. 24384. F. 457–458).

[17] Цит. по: *Piton C.* Op. cit. T. III. P. 61–62, 70–71.

[18] См.: Ibid. P. 72–73, 305.

[19] Цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 136–137. Настоящее письмо включено в состав переписанных и заботливо переплетенных маркизом текстов, составляющих его «Разрозненные сочинения». Это доказывает, что он полагал их скорее литературными произведениями, нежели автобиографическими заметками.

[20] Кажется, только г-жа де Монтрей и аббат де Сад были в курсе этой идиллии.

Четыре дня он провел в Мелэне, где живет та, в которую он теперь влюблен, — пишет аббат председательше. — Он заверил меня, что раскрыл Вам свое сердце — поведал об этой страсти и даже написал Вам из Лиона о своем пребывании в Мелэне. Я хотел бы знать, правда ли это, ибо доверие, которое он Вам оказывает, меня радует и позволяет питать виды на будущее (письмо аббата де Сада к председательше де Монтрей от 1 июня 1766 г.; цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 137–139).

[21] Эти сведения заимствованы из великолепного документального издания, снабженного многочисленными пояснениями и зарисовками (см.: *Fauville H.* La Coste: Sade en Provence. Aix-en-Provence: Edisud, 1984. Ch. IV. P. 55–69).

[22] Письмо аббата де Сада к председательше де Монтрей от 1 июня 1766 г. (цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 137–139).

[23] Ibid.

[24] Цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 156.

[25] Ibid. P. 157–158.

[26] Цит. по: *Piton C.* Op. cit. T. III. P. 145–146, 252.

[27] Ibid. P. 74.

[28] AC, НД. На полях рукой маркиза приписано: «Очаровательное рассуждение».

[29] Согласно указу Людовика XVI, приход Монтрей был присоединен к Версалю только 1 января 1787 г.

[30] Собрание документов Ф. Муро (НД), а также «Извлечение из книги погребений прихода Св. Симфориана в Версале за 1767 г., представленное в муниципалитет этого города и исполненное “в сответствии с оригиналом” 14 марта 1793 г.»

(АС, НД). Собор Св. Симфориана в Гран-Монтрей находился на улице Вьей-Эглиз в Версале (сегодня улица Эколь-де-Пост), напротив коллежа Св. Женевьевы. Разрушен ок. 1770 г. Строительство нынешней церкви Св. Симфориана, находящейся в квартале Монтрей, было начато в 1764 г., а закончено в 1770 г. (освящение состоялось 22 марта 1771 г.); могила графа де Сада не сохранилась.

[31] АС, НД.

[32] Письмо графа де Сада к Габриэль-Лор де Сад от 20 июня 1765 г. (АС, НП).

[33] Письмо г-жи де Монтрей к аббату де Саду от 30 января 1767 г. (BN. Ms. NAF. 24384. F. 418–419).

[34] Письмо г-жи де Монтрей к аббату де Саду от 19 апреля 1767 г. (цит. по: *Lely*. Vie. T. I. P. 141–142).

[35] См.: *Heine M.* Op. cit. P. 234.

[36] Будет отмечено, что по такому случаю консулы Ла-Коста восстановили все имена маркиза — без сомнения, по его просьбе.

[37] Цит. по: *Fauville H.* Op. cit. P. 72.

[38] BN. Ms. NAF. 24384. F. 461–462.

[39] Цит. по: *Fauville H.* Op. cit. P. 72.

[40] Цит. по: *Piton C.* Op. cit. T. III. P. 243–244.

[41] Показания Жана-Франсуа Валле, фискального прокурора в Аркейском бальяже, сделанные 16 апреля 1768 г. (см.: *Heine M.* Op. cit. P. 166, 182–183).

[42] Еще один пример неадекватно жестокой реакции де Сада, недавно обнаруженный Арлетт Фарж во время изысканий в судебных архивах XVIII в.:

> Восемнадцатого января 1766 г. в суд была подана жалоба, где излагалась ссора, случившаяся на площади Виктуар между неким господином и кучером фиакра, чья лошадь получила удар шпагой. Кучер Поль Лефевр увидел «кабриолет, запряженный одной лошадью; в кабриолете сидел господин, именуемый, как он потом узнал, маркизом де Садом, и его слуга»; кучер остановился, чтобы пассажир из его кареты смог выйти, и тем самым помешал кабриолету продолжать путь. Эта задержка стала причиной ссоры: выпрыгнув из кабриолета, маркиз де Сад принялся колотить шпагой чужих лошадей и одну из них пырнул в живот (*Farge A.* Le Goût de l'archive. P.: Seuil, 1989. P. 84–85).

Дело завершилось полюбовно: маркиз де Сад — а речь, несомненно, идет о нем — отдает 24 ливра в «уплату за нанесенную лошади рану» и ее содержание во время выздоровления. Внизу судебного документа имеется подпись маркиза. Столь неожиданная встреча на площади Виктуар с разгневанным Садом, втиснувшимся между кучером и собственным кабриолетом, поистине незабываема: словно мы застали на месте преступления персонажа, традиционно принадлежащего вымышленному миру литературы. Вот он, маркиз, увиденный в один из тех моментов, из которых сложилась его репутация: бессмысленная жестокость, острие шпаги, погруженное в брюхо лошади, — чего же более.

Глава VIII

[1] Этот деревенский дом, прозываемый Омонри, был расположен на краю селения; его главный вход смотрел на улицу Ларденэ, а черный — на улицу Фонтен. Одна из стен дома тянулась вдоль улицы Мулен-де-Ларош, отделявшей его от Ирландского парка. Существуют почтовые открытки первых лет XX в. с изображением этого дома (см.: AD. Val-de-Marne: 15 Fi P. F. 8718). Сад снял Омонри 4 ноября 1766 г. у некоего Лестаржета, который, в свою очередь,

арендовал его у Галье. С 1 февраля 1768 г. Галье сдал дом маркизу напрямую, за 8000 ливров в год.

[2] Факты, воспроизведенные в настоящем рассказе, почерпнуты из показаний Розы Келлер и свидетелей, в той форме, в какой были впервые опубликованы Морисом Эном (см.: *Heine M.* Op. cit. P. 158–203). Знакомству с ними автор обязан Жильберу Лели, однако мое собственное изложение отличается от изложения Лели рядом деталей. Для сравнения версий см.: *Lely.* Vie. T. I. P. 170–196.

[3] Об этой попытке к бегству см.: «Recueil d'anecdotes littéraires et politiques 1768 24 avril. (Mazarine B. Ms. 2383). Впоследствии (23 мая) была сделана попытка опровергнуть эту информацию.

[4] Письмо маркиза к аббату де Саду, отправленное из Жуаньи (Бургундия), от 12 апреля 1768 г. (цит. по: *Desbordes J.* Op. cit. P. 53–54).

[5] *Sade.* Aline et Valcour. ... T. I. P. 863 (note).

[6] Письмо к г-же де Сад [июль 1783 г.] (ОС. T. XII. P. 393).

[7] Письмо г-жи де Сен-Жермен к аббату де Саду от 18 [апреля 1768 г.] (цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 224–225).

[8] АС, НП.

[9] В семейном архиве сохранились его расписки.

[10] Эрика-Мари Бенабу пишет об узницах тюрьмы Сен-Мартен:

> Всех или почти всех женщин, осужденных или представших перед судом, судьи приписывали к какому-либо сословию или записывали как занимавшихся тем или иным ремеслом. В 1765, 1766, 1777 гг. такое классифицирующее определение получили 97,7% судимых женщин, иначе говоря 2041 из 2069. <...> Упоминание «без определенных занятий» или «не приписана к сословию», без каких-либо комментариев, имели только 0,6% женщин: их без особого риска ошибиться можно рассматривать как всем известных профессиональных проституток; разумеется, их не следует смешивать с теми, кто получили определение «ищет работу», «без определенной профессии», «безо всякой работы» и на этом основании были официально классифицированы как безработные, численность которых составила 5,9% (*Benabou E.-M.* La Prostitution et la police des moeurs au XVIII[e] siècle. P.: Perrin, 1987. P. 267–277).

[11] *Piton C.* Op. cit. T. III. P. 124.

[12] Цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 228.

[13] Сад использует этот эпизод из своей жизни в «Алине и Валькуре». Валькуру, убившему на дуэли Сенваля, грозит суд, но его спасает офицер М***, комендант крепости Пьер-Ансиз, «куда он пожелал меня направить, дабы спрятать и создать приятные условия пребывания» (*Sade.* Aline et Valcour. ... P. 410).

[14] Цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 229.

[15] Письмо инспектора Марэ к графу де Сен-Флорантену, министру Королевского дома, от 30 апреля 1768 г. (BM Reims. Ms. Collection Tarbé: XVIII, 222; см. также: *Lely.* Vie. T. I. P. 230–231).

[16] Оправдательные письма не давались ни в случае дуэли, ни в случае предумышленного убийства, ни в случае похищения. После вручения письма дворянин должен был представить его в верховный суд бальяжа или сенешальства. Письмо «отменяло» преступление и после утверждения в суде освобождало обвиняемого от судебного преследования.

[17] Письмо г-жи де Монтрей к аббату де Саду от 13 июня 1768 г. (BN. Ms. NAF. 24384. F. 420–421).

[18] Письмо к аббату де Саду от 19 ноября 1768 г. (BN. Ms. NAF. 24384. F 438–439).

[19] Расписки от 18 апреля и 30 июля 1767 г., заверенные в присутствии нотариуса Жибера (АС, НД).

[20] Письмо г-жи де Монтрей к аббату де Саду от 2 марта 1769 г. (BN. Ms. NAF. 24384. F. 424–427).

[21] Lettres de la marquise Du Deffand à Horace Walpole. Londres: Methuen et Cie, 1912. T. I. P. 417–419, 443.

[22] Письмо от 18 апреля 1768 г. (цит. по: *Lely*. Vie. T. I. P. 225).

[23] Recueil d'anecdotes littéraires et politiques. B. Mazarine. Ms. 2383. 20 avril 1768.

[24] BHVP. Ms. 627. 12 juin 1768. Эта газета, написанная от руки, была послана полковнику, графу Ассолински, проживавшему в Порт Сен-Дени.

[25] См.: *Moureau F.* Sade avant Sade // Cahiers de l'U.E.R. Froissart: Université de Valencienne, 1980. № 4. Hiver. P. 19–28. Не менее пяти статей, посвященных этому делу, см. в газете: Courrier du Bas-Rhin. 1768. 20 avril. P. 250; 23 avril. P. 257; 27 avril. P. 265; 22 juin. P. 394; 25 juin. P. 402. Единственная подборка этого периодического издания за 1768 г. хранится в Мюнхене (в Баварской государственной библиотеке). Чтобы ознакомиться с рукописными новеллами, придется обратиться к собранию Марена, бывшего в 1768 г. цензором указанной газеты (см.: BHVP. Ms. 627. 1768. 17, 25 avril, 12 juin.), а также к «Сборнику литературных и политических анекдотов» (см.: B. Mazarine. Ms. 2383. 1768. 17, 25 avril, 12 juin.).

[26] Цит. по: *Lely*. Vie. T. I. P. 231–232. Старая графиня, скорее всего, имеет в виду «Gazette de Leyde», написавшую о деле с упоминанием множества жестоких подробностей в своем приложении от 29 апреля 1768 г. (см. Приложение IV наст. изд.).

[27] *Moureau F.* Op. cit. P. 22.

[28] Courrier du Bas-Rhin. 1768. 20 avril. P. 250.

[29] Recueil d'anecdotes littéraires et politiques. B. Mazarine. Ms. 2383. 1768. 13, 17, 20 avril, 23 mai.

[30] Gazette d'Utrecht. Supplément. 1768. 3 mai.

[31] Courrier du Bas-Rhin. 1768. 20 avril.

[32] *Hardy S.-P.* Mes Loisirs, ou Journal d'événements tels qu'ils parviennent à ma connaissance. BN. Ms. FF. 6680.

[33] *Restif de La Bretonne*. Les Nuits de Paris ou le Spectateur nocturne. [s. l.], 1788–1794. Nuit 194. Со своей стороны де Сад никогда не скрывал презрения к этому автору с Нового моста, поставлявшему сочинения для «Голубой библиотеки»:

> Публика захлебывается писаниями Р<етифа>; ему в изголовье надо поставить печатный станок; к счастью, только этот механизм будет стенать от его ужасных сочинений; низкий, раболепный стиль, гнусные истории, почерпнутые от его омерзительных приятелей; никаких иных заслуг, кроме необычайной плодовитости... за которую ему будут благодарны разве что торговцы перцем.

И выше:

> Ты не имеешь права дурно владеть слогом: всегда можно найти подходящие слова для того, что хочешь сказать, – разумеется, если ты, подобно Р<етифу>, не пишешь *о том, что известно всем*; а коли тебе, как и ему, надобно выдавать по четыре тома каждый месяц, то нет нужды и браться за перо (*Sade*. Les Crimes de l'Amour: Idée sur les romans // OC. T. X. P. 14, 17).

Не удовлетворившись фантазиями на темы Аркейского и Марсельского дел, Ретиф де ла Бретон прибавил к ним описания вымышленных жестокостей (194 и 284 ночи), беззастенчиво сделав маркиза де Сада героем совершенно неправдоподобных скандальных историй в «Пражских ночах, или Ночном наблюдателе» (118, 119 и 157 ночи). Он выводит омерзительный образ «чудовища-автора» в «Ножке Фаншетты», «Господине Никола» и, разумеется, в «Анти-

Жюстине», где Ретиф намеренно противопоставляет жестоким сценам маркиза описание инцестуальной идиллии между отцом и дочерью.

Никто так не возмущался грязными сочинениями гнусного Сада, как я, – сообщает он в своем предисловии. – <...> Этот мерзавец пишет, что любовное наслаждение доступно для мужчины исключительно посредством мучений или даже смерти, причиненных женщине. Моя задача состоит в том, чтобы написать книгу более пикантную, чем его писания, и которую супруги смогли бы рекомендовать прочесть своим мужьям, дабы те лучше их удовлетворяли, книгу, где чувства говорили бы во весь голос, где либертинаж не был бы сопряжен с мучениями слабого пола и нес бы ему жизнь, а не смерть, где любовь, доведенная до естественного состояния, избавленная от щепетильности и предрассудков, являет собой картины сладострастные и радующие взор. Читая ее, вы преисполнитесь любовью и не только удовлетворите страсть, но и станете обожать женщину. И проникнетесь еще большим отвращением к этому живодеру, которого 14 июля 1789 г. вместе с его отросшей белой бородой вытащили из Бастилии. Так пусть же мое чарующее сочинение напрочь затмит его вымысел.

[34] *Dulaure J.-A.* Collection de la liste des ci-devant ducs, marquis, comtes, barons, etc. P.: De l'Imprimerie des ci-devant nobles, l'an second de la liberté, 1790. T. XXXI. P. 5–8; T. XXXII. P. 1–4.

[35] OC. T. XIV. P. 208.

Глава IX

[1] Письмо к мадемуазель де Руссе от 17 апреля 1782 г. (OC. T. XII. P. 349).

[2] Письмо г-жи де Монтрей к аббату де Саду от 4 марта 1769 г. (BN. Ms. NAF. 24384. F. 440–441).

[3] Цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 242–243.

[4] BN. Ms. NAF. 24384. F. 446–448.

[5] Письмо г-жи де Монтрей к аббату де Саду от 29 июня 1769 г. (BN. Ms. NAF. 24384. F. 422–423).

[6] Эти замечания будут сравнивать с политическими заметками его отца, графа де Сада, которые тот написал, будучи в заключении в крепости Анвер:

Я вижу, как голландцы, некогда мудрые и сдержанные, правдивые, прямодушные, скромные, вполне удовлетворенные тем, что сохранили свободу своих провинций и своей торговли, приобрели благодаря безупречной честности уважение всех наций. Уважение это оберегало их более, нежели граница, кою они только что утратили, потому что чрезвычайно плохо ее защищали. Так вот, я вижу, как эти самые голландцы стали хитрыми, расчетливыми и честолюбивыми, преисполнились лжи и фальши, принялись обманывать население провинций, преуменьшать свои потери и преувеличивать крохотные выгоды. Теперь они объявляют о призрачных соглашениях, которые никогда не заключались, и о поддержке войск, существующих только на страницах их газет, потчуют союзников обещаниями и не имеют никакого желания эти обещания выполнять, так что придется понуждать их к этому силою. Они восстанавливают против себя союзников, вызывают презрение врагов и сами куют цепи, кои вскоре и будут на них надеты (письмо от 1 ноября 1745 г. AC, НП).

Рукопись «Путешествия в Голландию» входит в состав уже цитированных «Первых произведений» (собрание Ксавье де Сада). Впервые она была опубликована Жильбером Лели (см.: OC. T. XVI. P. 85–108).

[7] Письмо Сен-Флорантена к председательше де Монтрей, 24 марта 1770 г. (цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 245).

[8] Маргарита Сюзанна Фио де Ламарш, во втором браке супруга Антуана-Рене де Вуайе д'Аржансона, маркиза де Польми, родилась в семье судейского

чиновника: ее отец, Клод-Филибер Фио де Ламарш, был сначала советником, затем председателем с правом ношения бархатной шапки с галуном, а потом первым председателем Дижонского парламента; следовательно, в прошлом он был коллегой председателя Кордье де Монтрея.

[9] Дядя маркиза де Польми, бывший военный министр Пьер-Марк де Вуайе де Польми, граф д'Аржансон, умер пятью годами ранее, 22 августа 1764 г.

[10] Председательша, несомненно, выдает мечту за действительность, ибо пять месяцев назад, 24 марта 1770 г., Сен-Флорантен объяснил ей, что присутствие ее зятя при дворе нежелательно. Если, конечно, отношение короля к этому вопросу за истекшее время не изменилось...

[11] Архивы семьи д'Аржансон (письмо, переданное графом Ксавье де Садом).

[12] Спустя восемь лет де Сад напишет жене из донжона Венсеннского замка:

Заинтересованные лица могли бы припомнить кое-какие обстоятельства, пусть и отличные от этих, но в которых также были поставлены на карту моя честь и жизнь, и убедиться, что я не дорожу жизнью, если задета честь.

Так пусть же помнят об этом времени, о написанных ранее письмах, вполне убедивших всех, что я останусь. Вы скажете, что я лукавил?.. А почему? Потому что того требовала моя честь (письмо к г-же де Сад [20 мая 1778 г.], АС, НП).

[13] Вряд ли стоит принимать на веру предположение эрудита Бенжамена Фийона, утверждающего, что в Фонтене Сад редактировал «Жюстину», а гарнизон оставил из-за дуэли с сыном одного из чиновников сенешальства (см.: *Fillon B.* Poitou-Vendée // Fontenay-le-Comte. 1861. Niort. P. 81). Р. де Тиверсе (псевдоним Рене Валетта) повторит эту гипотезу, прибавив, что в Фонтене Сад проживал в «примечательном по своим архитектурным достоинствам особняке Пейрат, построенном в эпоху Ренессанса» (*Thiversay R. de.* Chronique du Bas-Poitou. 1929–1930. T. XXIV. P. 145).

[14] См.: *Artarit J.* Sade et la Vendée // Annuaire de la Sociéte d'émulation de la Vendée. 1985. P. 111–121.

Одно письмо от де Сада к Жаллэ сохранилось в муниципальной библиотеке города Нанта (collection Dugast-Matifeux 216). Вот его текст:

20 [октября или ноября 1770 г.], Париж

Удивлен, мой дорогой Жаллэ, что Вы до сих пор не написали мне. Неужто полагаете, что чтение Вашего письма не доставит удовольствия, или же что я так быстро позабыл своего друга из Фонтене? Не будьте несправедливы. Поверьте, я не забуду ни Вас, ни тех, кто близок Вам, коим я, пользуясь случаем, прошу передать мое почтение. Никто еще не вернулся ни из деревни, ни из Фонтенбло. Будьте уверены, как только все начнут возвращаться, я займусь Вашим делом и непременно сообщу о нем во всех подробностях. Получив это письмо, прошу Вас, поскорей отыщите хозяина почтовых лошадей и передайте ему мое удивление по поводу неотправления на мой парижский адрес пакета, который должен был прибыть спустя три дня после моего отъезда и, без сомнения, прибывший в Фонтене, ибо те, кто адресовали его из Парижа, уверены, что пакет отправлен. Без лишних слов и церемоний прошу принять уверения в искренней моей привязанности.

Сад

Существует еще одно письмо к Жаллэ – от г-жи де Сад, датированное 15 мая 1773 г.; оно значительно менее загадочно:

Вернувшись из Савойи и пробыв дома всего несколько дней, г-н де Сад, пристрастившийся к путешествиям и решивший теперь отправиться в Испанию, дабы ознакомиться с ее доселе неведомым ему климатом, передал мне, сударь, письмо,

которое Вы имели честь мне написать. Также он сообщил все необходимые сведения для большего ознакомления с предметом Вашего письма. Сударь, я с превеликим удовольствием постараюсь быть полезной Вашим дочерям. Окажите мне честь сообщить в Вашем ответе на это письмо, располагаете ли вы возможностью проводить их до Лиона, или же я найду, кого за ними прислать. Такое решение вопроса меня бы совершенно устроило. Но если оно не устраивает Вас, я сама возьму на себя труд прибыть за обеими Вашими девочками, только это произойдет не раньше августа или сентября. Не беспокойтесь, сударь, они не будут мне в тягость, напротив, я с удовольствием позабочусь о них: старшая не расстанется со мной и станет мне подругою; только в таковом звании я могу взять ее к себе. Младшую я помещу в монастырь, имеющий прекрасные рекомендации, дабы там усовершенствовали ее образование, и заберу тогда, когда она сможет заменить при мне свою старшую сестру. Для той же мы тем временем, надеюсь, подберем партию. На все вышеозначенные вопросы, сударь, я жду Вашего ответа в замке Ла-Кост, что возле Апта: Апт, Прованс. Остаюсь Вашей смиренной и почтительной слугой.

15 мая 1773 г. (Archives municipales de Fontenay-le-Comte. 2. II. 27. Dossier Jallays; опубликовано в изд.: *Artari J.* Op. cit. P. 113–114).

[15] Автор своими глазами видел подписанный Людовиком XVI и Монтейнаром (государственным секретарем по военным вопросам) оригинал патента, датированный 13 марта 1771 г. (АС).

[16] От г-жи де Монтрей к аббату де Саду, 27 апреля 1771 г. (BN. Ms. NAF. 24384. F. 448–449).

[17] Цит. по: *Desbordes J.* Op. cit. P. 90.

[18] Эти сведения, до недавних пор неизвестные, почерпнуты из дневника председателя де Монтрея, о котором уже упоминалось в наших примечаниях (собрание Ф. Муро); на страницах этого дневника можно прочесть: «Анн-Проспер Кордье де Лонэ, родилась 27 декабря 1751 г., канониса в аббатстве Аликс в Божоле».

Приорство Аликс, находившееся под покровительством св. Дионисия Ареопагита, было расположено в департаменте Рона, в 8 км от Вильфранша и в 27 км от Лиона. Предание гласит, что оно основано одновременно с монастырем в Савиньи, то есть в VIII в. Во всяком случае, оно, несомненно, находилось под юрисдикцией аббата Савиньи, руководил им назначаемый аббатом приор, а обитатели его следовали уставу св. Бенедикта. Самый старый документ, сохранившийся в архивах аббатства, является феодальной присягой, принесенной в марте 1258 г. Анри де Марзе, сыном Анри де Бриенна, за дворянскую ренту, поступавшую из Аликс, Шарнэ и Тезе.

Чтобы попасть в Аликс в качестве постриженной монахини, требовалось как минимум четыре поколения благородных предков; впрочем, как и везде, и в XVI в., и в XVII в. правила при поступлении нарушались. 6 ноября 1723 г. Луиза де Мюзи де Веронен, которую предание упорно называет побочной дочерью Людовика XV, хотя она была старше своего предполагаемого отца, взяла в свои руки управление святым местом, выказав при этом недюжинную энергию и умение. От Бенедикта XIV она получила право превратить своих подданных в светских канонис, и по ее настоятельным просьбам король пожаловал им восьмиконечный эмалевый крест, увенчанный графской короной; носить его следовало на пунцовой ленте, перекинутой через плечо подобно перевязи. Число обитательниц аббатства, числившихся пребендариями, увеличилось до восемнадцати, столько же было и почетных обитательниц; для каждой был выстроен отдельный уютный домик; похожие друг на друга домики были окружены садиками; внутри круга, образованного этими постройками, высилась величественная церковь. Первый камень ее был заложен в 1768 г., работами руководил архитектор Декренис.

Накануне революции капитул третью своего состава утвердил передачу во владение аббатства секуляризированного имущества монастыря Савиньи, но попользоваться им в аббатстве не успели: декреты Национального собрания распустили пансионерок и выставили монастырское имущество на торги.

[19] До недавнего времени дата эта оставалась неизвестной (Лели предположительно определял ее между 1743 и 1745 гг.); теперь она установлена благодаря «Дневнику» де Монтрея (см. примеч. 18). Из этого же источника узнаем, что Анн-Проспер была крещена в церкви Мадлен в Виль-Левеке. Председатель де Монтрей уточняет: «<...> при крещении ей было дано имя Жанна-Проспер».

[20] Собрание М. Левера. НП.

[21] Бабушка Анн-Проспер с отцовской стороны, Анн-Тереза де Крезер скончалась 23 октября 1771 г. в возрасте восьмидесяти четырех лет.

[22] BN. Ms. NAF. 24384. F. 473–474.

[23] Слова, взятые в кавычки, в рукописи подчеркнуты.

[24] Здесь, равно как и везде, где в этом письме заходит речь об Оверни, возникает определенное недоразумение. Если верить аббату, мадемуазель де Лонэ долгое время прожила в этой провинции, а именно в Клермоне, что побудило некоторых биографов (в частности Жильбера Лели и Анри Фовиля) расположить в этом городе и монастырь канонисы. Сегодня мы знаем, что монастырь назывался Аликс и находился в Божоле. Может быть, в неизвестное нам время она сменила обитель? Нынешнее состояние наших изысканий не позволяет выдвинуть иную гипотезу.

[25] BN. Ms. NAF. 24384. F. 324–325.

[26] Œuvres diverses. F. 125. R. 130 v. Опубл. в изд.: *Lely.* Vie. T. I. P. 280–282.

[27] BN. Ms. NAF. 24384. F. 595 sq. Частично опубликованное Бурденом (*Bourdin P.* Op. cit. P. 9–12), это прошение написано рукой Гофриди и сохранилось в черновом виде. На обороте надпись: «Личное дело». Прошение начинается следующими словами:

> Благородная дама Рене-Пелажи Кордье де Монтрей, супруга Луи-Донасьена-Адольфа (*sic*!), маркиза де Сада, шевалье, сеньора Ла-Коста, Мазана, Сомана и иных мест, от имени и как управляющая (*sic*!) делами своих детей, испытывая смиренную потребность прибегнуть к защите законов, дабы наконец избыть самое вопиющее оскорбление, кое когда-либо ей наносилось, излагает следующее. Безвинная жертва самой святой привязанности, она по праву требует защиты человеческого достоинства, столь долгое время попираемого.

[28] Сведения получены из инвентарной описи Ла-Коста, сделанной в 1769 г. (см.: *Fauville H.* Op. cit. P. 86).

[29] Документы, относящиеся к этим работам, имеются в фонде Жув (Ms. 6600), сегодня хранящемся в Библиотеке Чеккано в Авиньоне. Они содержат множество записок, начертанных собственной рукой маркиза де Сада и адресованных каменщикам и столярам. Изначально жилище де Садов в Мазане располагалось в центре деревни, возле церкви Святого Назария. В 1634 г. Жан-Батист де Сад перебрался в представлявший собой громоздкое строение дом Эспри Бутена, сеньора де Валуз на улице, ныне называемой Берню. Это жилище и стало новым замком. После покупки его в 1924 г. муниципалитетом Мазана в нем расположился дом престарелых. Идея провести в Ла-Косте и Мазане фестиваль (несомненно, первый во Франции фестиваль драматического искусства) будоражила тихий городок Мазан всю первую половину 1772 г.; в подготовительные работы были вовлечены ремесленники, местный совет и виґье, делавшие все для удовлетворения капризов знатного сеньора (см.: *Fayot P., Tiran C.* Mazan: Histoire et vie quotidienne d'un village comtadin à travers les siècles. Carpentras: Le Nombre d'or, 1978. P. 477–483).

[30] См.: *Sade*. Théâtre de Sade / Ed. J.-J. Brochier [s. l., s. d.]. T. I. P. 82–83.

[31] Контракт, заключенный в Марселе в письменной форме, см.: *Lely*. Vie. T. I. P. 252–253. Бурдэ – известный актерский род, к которому принадлежат Батист и г-жа Дорваль. В 1792 г. был известен Бурдэ, прозванный молодым, а также Бурдэ-отец, Бурдэ-брат и Мари Бурдэ, ставшая супругой Батиста-старейшего и давшая жизнь Батисту-старшему и Батисту-младшему, деду г-жи Дорваль с материнской стороны.

[32] Имеется список обязательств, которые Бурдэ берет на себя по отношению к маркизу совместно с неким Берню, ответственным за ремонтные работы и поддержание порядка в театральных помещениях:

Я, нижеподписавшийся, обещаю маркизу де Саду и обязуюсь доставлять на каждое представление, которое состоится в городе Мазане, сальные свечи в количестве восьмидесяти штук, которые стану размещать на сцене, в фойе, оркестре и ложах, равно как и двенадцать восковых свечей, восемь из которых предназначены для зрительного зала, а четыре для лож; обеспечивать присутствие двух конных жандармов на случай, если начнется паника; обогревать фойе, если будет таковая потребность; ставить в фойе две бутылки с сиропом; также обязуюсь поставить в указанном фойе два стола, графины с водой и стаканы в количестве, необходимом для дюжины персон, и один чайник с водой, чтобы кипел на огне; обязуюсь иметь под рукой двух мальчишек-подручных, которые будут менять декорации, если это потребуется; и с помощью необходимых приспособлений снимать нагар со свечей; приглашать цирюльника, дабы в течение дня он оказывал при необходимости услуги членам труппы; содержать зал в чистоте и отвечать за все, что там происходит; также отвечать за ключи, и все это за семьдесят ливров во французских деньгах, помимо расходных, покрытия ущерба и процентов. Данная сумма будет выплачиваться мне указанным маркизом де Садом после каждого представления.

Подписано в Мазане, сего 1 апреля 1772 г.: *Берню – Бурдэ* (B. Ceccano. Avignon. Fonds Jouve. Ms. 6600. F. 64).

[33] Анри Лионе отмечает, что в 1764 г. в труппе Комеди Франсэз был некий Дютийоль (см.: *Lyonnet H.* Dictionnaire des comédiens français. [s. l., s. d.]).

[34] См.: *Fauville H.* Op. cit. P. 86.

[35] Заискивающий тон приводимого ниже письма маркиза к Жирару де Лурмарену от 15 января 1772 г. свидетельствует о настоятельной потребности завлечь зрителей любой ценой:

Последний раз, сударь, когда у меня играли комедию, я поручил нескольким господам из Ла-Коста и Лурмарена засвидетельствовать Вам то удовольствие, кое Вы доставите мне своим приездом. Я еще не имел счастья видеть Вас у себя в доме, хотя страстно этого желаю. Могу ли я надеяться, что поставленная мною комедия, коя будет даваться в понедельник 20 текущего месяца и о которой суждение Ваше мне особенно ценно, наконец доставит долгожданную радость свести с Вами знакомство? Просвещенные, подобно Вам, зрители и судьи, сударь, всегда бесценны, и не стану от Вас скрывать, что буду опечален чрезвычайно, если Вы откажетесь прибыть, презрев мои старания заполучить Вас в этот день. Если бы не дурная погода, я бы сам приехал уговаривать Вас. Надеюсь, что погода, которая вскоре должна стать менее суровой, позволит ближе познакомиться с Вами и исправить ошибку, кою совершил я, не сделав прежде попытки насладиться Вашим приятным обществом.

Всегда остаюсь, сударь, Вашим смиренным и покорным слугой.

Сад

15 января 1772 г. (впервые опубликовано в изд.: Petite Gazette Aptésienne. 1911. 11 décembre; воспроизведено Аполлинером в изд.: Œuvres du marquis de Sade / Ed. G. Apollinaire P., 1909. P. 33. (Collection des classiques galants).

[36] Список пьес, которые предполагалось сыграть за время фестиваля:

3 мая	в Ла-Косте	«Гордец» и «Нравы нашего времени»
10	в Мазане	«Гордец» и «Нравы нашего времени»
17	в Ла-Косте	«Беверлей» и «Неожиданное возвращение»
24	в Мазане	«Беверлей» и «Неожиданное возвращение»
7 июня	нет спектаклей	
12 июня	в Ла-Косте	«Дезертир» и «Сомнамбула»
15	в Мазане	«Дезертир» и «Сомнамбула»
22	в Ла-Косте	«Женатый философ» и «Так удачно»
29	в Мазане	«Женатый философ» и «Так удачно»
9 июля	в Ла-Косте	«Аделаида Дюгесклен» и «Любовник-автор»
13	в Мазане	«Аделаида Дюгесклен» и «Любовник-автор»
26	нет спектаклей	
30	в Ла-Косте	«Меланида» и «Молодая индианка»
3 августа	в Мазане	«Меланида» и «Молодая индианка»
13	в Ла-Косте	«Отец семейства» и «Пари»
17	в Мазане	«Отец семейства» и «Пари»
27	в Ла-Косте	«Дюпюи и семья Ронэ» и «Нанни»
31	в Мазане	«Дюпюи и семья Ронэ» и «Нанни»
10 сентября	в Ла-Косте	«Гувернантка» и «Зенеида»
14	в Мазане	«Гувернантка» и «Зенеида»
24	в Ла-Косте	«Злодей» и «Ложные измены»
28	в Мазане	«Злодей» и «Ложные измены»
8 октября	в Ла-Косте	«Философ поневоле» и «Противный»
12	в Мазане	«Философ поневоле» и «Противный»
22	в Мазане	«Женваль» и «Молочница и два охотника»

[Приписано другой рукой:]

Пьесы, представленные на театре поместий Ла-Кост и Мазан, принадлежащих маркизу де Саду. Представления были прерваны по причине Марсельского дела, случившегося 27 июня 1772 г., за которое 2 сентября того же года маркиз был приговорен к смерти (B. Ceccano. Avignon. Fonds Jouve. Ms. 6600. F. 97).

[37] B. Ceccano. Avignon. Fonds Jouve. Ms. 6600. F. 82; *Fauville.* Op. cit. P. 89.

[38] Письмо г-жи де Монтрей к аббату де Саду от 29 мая 1772 г. (BN. Ms. NAF. F. 428–429).

[39] Распространено мнение, что он знатного происхождения, быть может, даже незаконнорожденный сын герцога Баварского.

Глава X

[1] Последующий рассказ составлен на основании судебных документов. Оригиналы протоколов исчезли из архивов департамента Буш-дю-Рон, там теперь находятся только тексты постановлений; копия, найденная Мариусом Гарсеном для законоведа и коллекционера Альфреда Бежи, который откомментировал ее, хранится в архивах «Общества любителей философского романа» (см.: Cote d'inventaire 13. 46 p.). Морис Эн, которому мы обязаны открытием этого важного документа, опубликовал его в журнале *Гиппократ* (см.: L'affaire des bonbons cantharidés du marquis de Sade — 27 juin — 12 septembre 1772 // Hippocrate. 1933. № 1. Mars), а Жильбер Лели поместил в подготовленном им издании книги Эна (см.: *Heine M.* Le Marquis de Sade. Gallimard, 1950. P. 120–154).

[2] Цит. по: *Heine M.* Op. cit. P. 132.

[3] Ibid. P. 133.

[4] Ibid. P. 133–134.

[5] AD. Bouches-du-Rhône. Police: Ordres du roi. C. 4156. Письмо герцога де Лаврийера от 15 июля 1772 г., равно как и немедленный ответ де Монтиона (вместе с черновиками), помещены в книге Мориса Эна (см.: *Heine M.* Op. cit. P. 121–122).

[6] «Размышления и заметки по поводу искомого прошения», адресованные г-же де Сад 21 апреля 1777 г. (ОС. Т. XII. P. 124–130).

[7] *Sade.* Historiettes, contes et fabliaux // ОС. Т. XIV. P. 196. В новелле «Обманутый председатель» Сад вновь возвращается к волнующему его делу:

В 1772 г. молодой человек из провинции, хорошего роду, пожелал, забавы ради, отомстить куртизанке, наградившей его дурной болезнью, и как следует высечь ее. Но недостойный тупица председатель превратил шутку в преступление; он стал кричать об убийстве, отравлении, заставил всех поверить в свою смехотворную выдумку, погубил молодого человека, разорил его и из-за этой шутки юноше был вынесен смертный приговор, правда, заочно, ибо обвиняемого нигде не смогли найти (Ibid. P. 206).

[8] Письмо г-жи де Монтрей к Гофриди от 12 марта 1776 г. (АС, НП).

[9] *Sade.* La Nouvelle Justine // ОС. Т. VII. P. 318 (note).

[10] Внушительный юридический механизм, запущенный в средние века для борьбы с содомскими «преступлениями» (гомосексуальными или гетеросексуальными) и не менявшийся на протяжении веков, не должен никого вводить в заблуждение. Суровые кары служили не столько для наказания, сколько для устрашения и предотвращения преступления. Совокупность законодательных актов — они будут действовать до конца XVIII в. — воистину выглядит списком репрессивных мер, отличающихся чрезмерной суровостью; однако результат, напротив, оказывается на удивление умеренным. Из семидесяти трех процессов по делу о содомии, известных на сегодняшний день, только тридцать восемь завершились казнями обвиняемых, среди которых было две женщины. Помимо этого, десять человек были приговорены к изгнанию, галерам, тюремному заключению, каторжным работам и лишению свободы — временному или пожизненному, восемь казней было совершено заочно по причине бегства виновных, двоих приговорили к уплате штрафа (одна из них — женщина); было вынесено десять оправдательных приговоров с последующим освобождением или признанием отсутствия состава преступления (в том числе для трех женщин), совершено одно самоубийство и четыре приговора остались неизвестными. Тридцать восемь смертных казней за содомию в период с 1317 по 1789 г. Немного, особенно если сравнить с числом ведьм и всякого рода шарлатанов, казненных во Франции за указанный период. Также следует уточнить, что среди тридцати восьми казненных примерно дюжина были вдобавок насильниками, ворами и убийцами (см.: *Lever M.* Les Bûchers de Sodome. P.: Fayard, 1985).

[11] Прошение г-жи де Сад (BN. Ms. NAF. 24384. F. 595 sq.).

[12] Соман, 17 июля 1772 г.

Сударь, удалось изыскать возможность сделать заем в 4000 ливров для мадам де Сад, однако требуется поручительство. Надеемся, Вы не откажете нам в этой просьбе. Главное, чтобы мадам де Сад сумела уехать как можно быстрее, и в этих обстоятельствах мы рассчитываем на рвение, кое Вы всегда проявляли.

Остаюсь, сударь, Вашим смиренным и почтительным слугой.

Аббат де Сад

25 июля 1772 г.

Я в восторге, сударь, от сделанного Вами открытия. Если бы Вы, сознавая, что ничем не рискуете, отказались выступить поручителем, Ваш отказ вызвал бы крайнее неудовольствие. Теперь же я тотчас же сообщу о Вашем согласии в Ла-Кост.

От всего сердца выражаю Вам свою признательность, сударь, и остаюсь покорным и почтительным слугой.

Аббат де Сад (BN. Ms. NAF. 24384. F. 328–331)

[13] Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des Lettres en France, depuis 1762 jusqu'à nos jours, ou Journal d'un observateur: En 36 vol. Londres, 1771–1787. T. VI. 1772. 25 juillet.

[14] Через шесть лет в романе «Английский шпион» будет дана своя версия этих событий, явно подсказанная Башомоном:

По этому случаю Председатель рассказал мне о злодействе графа де Сада, знатного дворянина, снискавшего печальную славу своим жестоким обращением с женщинами; оставаясь безнаказанным, он совершал все новые и новые жестокости. Несколько лет назад он дал в Марселе бал, где угостил приглашенных отравленными конфетами, и скоро женщины, сгорая от бешеной утробной похоти, и мужчины, уподобившиеся Геркулесу, превратили этот праздник в *Луперкалии*, а бальный зал в место общественной проституции. Не могу сказать с точностью, что после такого разгула похоти все остались живы, но знаю достоверно, что многие мужчины после были сильно больны. Хотя, как вы догадываетесь, их мужские способности нисколько не пострадали. Устроитель этого милого празднества, воспользовавшись всеобщим безумием, насладился женщиной, которую давно вожделел, и вместе с ней бежал; и хотя против него возбуждено второе дело, он вполне способен через некоторое время замыслить очередное галантное предприятие подобного рода (*Mairobert P. de.* Observateur anglais ou Correspondance secrète entre Milord All'Eye et Milord All'Ear // Mémoires secrets. L.: J. Adamson, 1778. T. III. P. 66–68).

Под пером революционного памфлетиста и полемиста Жак-Антуана Дюлора Марсельское дело принимает отчетливо политическую окраску: маркиз де Сад фигурирует в нем как представитель разложившегося класса, уверенный в своей безнаказанности по причине классовых привилегий:

Выйдя из тюрьмы, он отправился в Константинополь, а вернувшись во Францию, остановился в Марселе; этот город стал сценой нового жестокого спектакля, теперь уже иного рода. Действуя заодно со своим лакеем, он собрал у себя нескольких молоденьких куртизанок, угостил их сладким вином и шпанской мушкой, то есть сделал все, чтобы возбудить их темперамент. Он до такой степени разжег у них в крови похотливый огонь, что их обуяла болезненная нимфомания, и наслаждение стало для них не только потребностью, но и необходимым лекарством от подлинного и опасного недуга. Но вместо того, чтобы предоставить им это лекарство, гнусный развратник только поманил их, дабы заставить вожделеть еще больше, а затем утолил свое желание с лакеем. Девицы умерли. Лакей, сообщник его жестоких развлечений и нечестивых мерзостей, был повешен в Эксе. Злодей же, по причине *благородной крови*, что текла в его венах, был избавлен от строгости законов; чтобы спасти его от правосудия, его заключили в донжон Венсеннской крепости.

В третьем выпуске «Бастилии без секретов» читаем, что «этот маркиз был арестован за бесчеловечные *опыты*, которые он, как гласило обвинение, проделывал над живыми людьми» (Collection de la liste des ci-devant ducs, marquis, comtes, barons etc. // A Paris, de l'Imprimerie des ci-devant nobles, l'an second de la liberté. № XXXI. P. 8).

Дело продолжало будоражить воображение авторов мемуаров и в следующем веке. В своих воспоминаниях (апокрифах) маркиза де Креки утверждает,

что генеральный прокурор парламента Прованса направил министру Королевского дома ноту следующего содержания:

Потомственный дворянин из Прованса по имени де Сад, согласно изданному постановлению, был задержан по обвинению в похищении и насилии. Он бежал через Ниццу. Арендаторы, воспользовавшись его отсутствием, спустили воду из пруда, причинявшего им неудобства, ибо в нем запрещалось ловить рыбу. На дне нашли тела юноши и девушки, нашпигованные точно рябчики: девушка салом, а юноша — кусочками тонкой шелковой ленты. Они были привязаны друг к другу широкой розовой лентой. Установить личность несчастной девушки не удалось. Юноша был родом из Монако, и ему было не более семнадцати лет. Ведется розыск (см.: *Créqui Marquise de.* Souvenirs: En 10 vol. P.: Delloye, 1840. T. III. P. 111–112).

Сам этот документ отыскать не удалось.

Надо ли говорить, что нафаршированные салом и перевязанные ленточками трупы являются порождением авторского воображения? Этот автор, бумагомаратель по имени Кузан, называвший себя графом де Куршамом, действительно писал по преимуществу собственные измышления. Сочиненные им мемуары маркизы де Креки, изобилующие невероятными фактами, неточностями и анахронизмами, в целом представляют собой фельетон чрезвычайно дурного вкуса. Но, несмотря на грубейшие ошибки, мистификация была всерьез воспринята некоторыми эрудитами того времени.

Ни в чем не уступает предшественникам по буйству фантазии и Поль Лакруа, прозванный «библиофилом Жакобом». Его рассказ — явное подражание Башомону — еще более неправдоподобен, чем образец и из-за обилия несуразностей невольно вызывает смех:

Вот какой необычный план задумал, а затем и осуществил маркиз де Сад. Приехав в Марсель, в самый разгар июня, в сопровождении преданного слуги, коего обучил всему, что потребно для самого преступного распутства, маркиз запасся шоколадными пастилками, в состав которых в больших дозах входила шпанская мушка, ужасный и опасный стимулятор, производящий невероятные потрясения нервной системы. Оба заговорщика отправились в публичный дом и там угостили всех вином, сладкой настойкой и своими пастилками. Действие пастилок оказалось невероятным. Они вызвали дикий смех, спровоцировали непристойные танцы, сопровождавшиеся отвратительными симптомами истерии: одна из несчастных, приведенная снадобьем в состояние античной вакханки, бросилась в окно и смертельно поранилась, в то время как остальные, полуголые, предавались самой позорной проституции на виду у собравшегося перед домом народа, привлеченного исступленными криками и песнями, доносившимися из окон. Маркиз де Сад и его лакей успели бежать, но нашлось множество свидетелей, указавших на них как на виновников происшествия; тем временем городские советники, присоединившись к врачам, принялись выявлять обстоятельства этого эротического сговора. Две девицы умерли от своего постыдного бешенства, вернее, от ран, которые эти несчастные причинили себе в устрашающей свалке (*Lacroix P.* Curiosités de l'histoire de France. P.: Adolphe Delahay, 1858. P. 240–241. (2-e série: Procès célèbres)).

[15] Прошение г-жи де Сад (BN. Ms. NAF. 24384. F. 595 sq.).

[16] Эта ревность отчетливо проявляется в следующей фразе из «Прошения мадам де Сад»: «Все, включая мадемуазель де Лонэ, объединились, дабы пробудить в ней (т. е. в г-же де Монтрей. — *М. Л.*) озлобление» (BN. Ms. NAF. 24384. F. 595 sq.).

[17] В семейном архиве есть расписка на эту ссуду:

Я получила от отца сумму в три тысячи ливров, кою обещаю вернуть по первому требованию, или же вычесть из того, что причитается мне в счет приданого,

а следовательно, обещаю получить одобрение этого займа у г-на де Сада, ибо вышеуказанная сумма была мне необходима на случай возникновения срочных расходов, касающихся его дела.

Составлено в Ла-Косте, двадцать пятого августа 1772 г.

Лонэ де Сад (НД)

[18] Если верить Донасьену, его тесть не остался равнодушным к чарам Готон Дюффе, горничной в Ла-Косте.

Председатель де Монтрей, приведенный в Прованс лет десять назад делами чрезвычайной важности (с коими он, разумеется, успешно справился), не смог, однако, в минуты досуга отказаться от сладостного созерцания этого славного светила, <...> самой прекрасной задницы, которая за последний век спускалась с гор Швейцарии. <...> Магистрат, о котором я говорю, – был тонким знатоком сей части тела, ибо имел возможность ознакомиться со множеством дивных красот такого рода в столице, и, разумеется, был вполне способен и расположен вынести правильное суждение об этом предмете (письмо от 17 апреля 1782 г. к г-же де Руссе: OC. T. XII. P. 351–352).

[19] Livre de raison du président de Montreuil (collection François Moureau). НД.

[20] Ibid.

[21] Речь идет об акте милосердия, позволяющем несчастным избежать сожжения заживо. Эта мера была оговорена в специальном разрешении, позволявшем палачу удавить приговоренного на виселице и предоставить огню уже мертвое тело. Многочисленная публика, всегда собиравшаяся поглазеть на смертную казнь, не замечала уловки из-за густого дыма, поднимавшегося над костром, когда не было видно ничего, кроме огня.

[22] См.: *Heine M.* Op. cit. P. 146–147.

[23] «Никакое наказание за содомию не может считаться слишком суровым, даже смерть в огне, где сгорают оба прелюбодея, чей прах затем развеивают по ветру; казнь эта – всего лишь искупление преступления, заставляющего краснеть природу», – пишет юрист Антуан Брюно в 1715 г. «Наказанием за столь великое преступление может быть только смерть», – вторит его коллега Мюйар де Вуглан в самый разгар века Просвещения. В этом вопросе судебное законодательство берет на вооружение моральный интердикт Церкви и статьи позднего римского законодательства, иначе говоря, Кодекс Юстиниана «О прелюбодеянии» («De Adulteriis»), закон о мужеложестве (cum vir, XXXI). Откажется оно от них только после Революции.

В принципе, каждый гражданин, мирянин или церковнослужитель, благородный или простолюдин, уличенный в «чудовищном преступлении», должен был быть наказан «живым огнем». «Это наказание, – комментирует Мюйар де Вуглан, – применяется как к мужчинам, так и к женщинам, как к малолетним, так и к великовозрастным». Но на практике все было иначе. Невозможно было отправить на костер всех виновников, не рискуя запалить все королевство. К тому же обилие костров вместо желаемого воспитательного воздействия наверняка вызвало бы возмущение толпы. Да и судов не хватало. Таким образом, к смертной казни в соответствии с ритуалом приговаривали только тех, у кого содомский грех сопутствовал какому-нибудь другому преступлению, например, насилию, похищению или убийству (см.: *Lever M.* Les Bûchers de Sodome. P.: Fayard, 1985. P. 190–193).

[24] Окончательное заключение подписано Жоаннисом, а постановление парламента – председателем Мазно, чиновниками, которых четыре дня назад посетил тесть Донасьена. Не исключено, что именно Шарля-Александра Мазно, председателя Счетной палаты, а затем временного парламента Прованса, де Сад вывел в образе г-на де Фонтаниса:

Мало кто представляет себе, как выглядит председатель парламента Экса. Об этом своеобразном животном часто говорили, но его самого толком никто не видел: суровый в силу своего положения, мелочный, легковерный, упрямый, суетный, малодушный, болтливый и глупый в силу своего характера; неуклюжий, словно гусь, если говорить о манерах; картавый, словно полишинель; и вдобавок тощий, длинный, худой и зловонный, словно труп... Как будто вся желчь и косность судебного ведомства королевства избрали своим пристанищем храм провансальской Фемиды, дабы всякий раз, когда французскому суду требуется проучить или погубить гражданина, они могли бы выплеснуться оттуда и утопить несчастную жертву. Г-н де Фонтанис не шел ни в какое сравнение со своими собратьями по сословию. Помимо тщедушного телосложения и сутулой фигуры, кою мы только что описали, господин сей обладал конусообразной головой, затылочная часть которой отстояла излишне далеко от шеи; лобная кость, обтянутая желтой кожей, в основном была прикрыта замысловатым париком, фасон коего был явно незнаком парижским модникам; две кривоватые ноги достаточно уверенно поддерживали сию ходячую колокольню, из груди которой, не без некоторого неудобства для окружающих, исторгались тявкающие звуки, наполовину французские, наполовину провансальские, складывающиеся в длинные напыщенные приветствия, которые г-н де Фонтанис сопровождал подобающей случаю улыбкой. При этом он столь широко — до самого язычка — открывал рот, что всем становился виден черноватый зев, расцарапанный в некоторых местах, и напрочь лишенные зубов десны, что делало сей рот чрезвычайно похожим на дырку в некоем сиденье, кое, принимая во внимание несовершенное устройство человеческой натуры, часто становится троном как королей, так и пастухов. Помимо физической привлекательности г-н де Фонтанис претендовал на остроумие. А после того, как однажды ему приснился сон, будто он поднялся на третье небо вместе со святым Павлом, он стал считать себя величайшим астрономом Франции. Он рассуждал о законодательстве, как Фаринаций и Кюжас, и часто слышали, как он следом за этими великими людьми, а также за своими отнюдь не великими собратьями повторял, что жизнь любого гражданина, его состояние, его честь, его семья, словом, все, что общество считает священным, превращается в ничто, едва только речь заходит о раскрытии преступления, и что лучше рискнуть жизнью пятнадцати невиновных, нежели, на беду свою, спасти одного виновного, ибо если парламентская справедливость и небезупречна, то небо, несомненно, справедливо, и единственное неудобство в наказании невиновного состоит в том, что душа его чуть раньше попадет в рай; спасение же виновного означает приумножение преступлений на земле. Единственный класс индивидов мог смягчить облаченную в броню душу г-на де Фонтаниса; индивиды сии именовались шлюхами. Нельзя сказать, чтобы он часто прибегал к их услугам: обладая изрядным пылом, способности он имел норовистого конька, не привыкшего к изнурительной скачке, а посему желания его простирались гораздо дальше его возможностей. Поэтому г-н де Фонтанис главным образом тщился передать свое знаменитое имя потомству. Снисходительность к жрицам Венеры сей знаменитый магистрат проявлял потому, что, по мнению его, никакие иные гражданки не были столь полезны государству, как сии особы, ибо их лицемерие, отсутствие щепетильности и склонность к болтовне способствовали раскрытию множества тайных преступлений, что не могло не вызывать радости у г-на де Фонтаниса, ибо магистрат сей был записным врагом всех тех качеств, которые философы именуют человеческими слабостями (*Sade*. Le Président mystifié // OC. T. XIV. P. 172–173).

[25] Заочное вынесение приговора преступникам, находящимся в бегах, было весьма распространено, однако приведение приговора в исполнение над изображениями преступников практиковалось только в случаях смертной казни. На виселицу вздергивали чучело, изображавшее преступника, и писали, к какой казни он приговорен. Иногда преступники, розыск которых велся достаточно

вяло, даже присутствовали на собственной заочной казни; свидетелем своей заочной смерти стал, например, маркиз де Канийак, историю которого Флешье рассказывает в «Воспоминаниях о Великих днях*»: «Из соседнего окна он наблюдал за собственной казнью и нашел весьма забавным отдыхать в то время, когда на площади тебе отрубают голову, и, сидя дома в добром здравии, смотреть, как ты умираешь на улице». Вопрос о том, порадовал ли подобный спектакль нашего маркиза, если бы у него хватило дерзости явиться на собственную казнь, остается спорным. Разумеется, фиктивная казнь не отменяла приговор, вынесенный преступнику, и получить помилование он мог только по истечении тридцати лет — на основании срока давности.

[26] Срок давности в тридцать лет

<...> в уголовном законодательстве действовал только в том случае, когда над виновником, приговоренным к телесному или иному физическому наказанию, приговор был приведен в исполнение заочно. <...> Суровость нашего правосудия по отношению к приговоренным заочно заключается в том, что если виновного заочно приговорили к какому-либо виду наказания, влекущему за собой *гражданскую смерть*, и осужденный заочно преступник в течение пяти лет не предстал перед правосудием, то после истечения тридцати лет, то есть срока давности, он получает прощение только в части наказания, но не гражданской смерти, обряд которой будет совершен над ним по всем правилам, вне зависимости от срока давности <...> (*Vouglans M. de.* Les Lois criminelles de France. P., 1780. Art. «Prescription». VI. 4).

[27] OC. T. XIII. P. 279–280.

[28] Об этой личности см.: *Lever M.* Op. cit. P. 335–381.

[29] *Peuchet J.* Mémoires tirés des archives de la police de Paris: En 3 vol. P., 1838. T. I. P. 289.

[30] Любопытно отметить, что отец маркиза некогда оказал значительную услугу председателю Рене-Шарлю де Мопу, отцу канцлера, раздобыв для одного из его сыновей, Луи-Шарля Александра, должность бригадира пехотного полка (производство состоялось 15 марта 1740 г.), за что и получил вот такое благодарственное письмо:

Париж, 20 марта 1740 г.

Милости, оказанной сыну, я, сударь, желал более всего на свете, а участие, кое Вы соблаговолили в нем принять, делает мое удовлетворение еще более полным. Теперь я имею поистине бесценное доказательство Вашего постоянного дружеского участия.

А посему заверяю, что отныне и навеки я Ваш должник, всегда готовый подтвердить свою искреннюю и почтительную привязанность, с коей имею честь, сударь, оставаться Вашим смиренным и почтительным слугою.

Мопу

Могу ли я уже отправить ему патент, коего он удостоился благодаря Вам? Позвольте мне заранее присоединиться к той благодарности, кою он не замедлит Вам принести (АС, НП).

[31] Курсивом выделены слова, подчеркнутые маркизом (частное собрание, НП). Еще один вполне достоверный документ также свидетельствует в пользу венецианской идиллии. Речь идет о письме графа де Латура, губернатора герцогства Савойского, к шевалье Муру, чиновнику внутренней Государственной канцелярии Турина, где упоминается «о похищении мадемуазель де Лонэ, свояченицы маркиза де Сада, которую оный маркиз увез в Венецию и дальше в

* Великие дни — выездная судебная сессия.

Италию, выдавая за свою жену, со всеми вольностями, вытекающими из этого звания» (письмо от 17 марта 1773 г.; цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 44). Следовательно, фразу маркиза, сказанную Картерону, надо рассматривать как шутку: «Ну что ты мне все твердишь о Венеции! Никогда я не был в Венеции, это единственный город в Италии, которого я не знаю, но куда надеюсь когда-нибудь попасть» (письмо от [4 октября 1779 г.], ОС. T. XII. P. 220). В целом тон письма исполнен разнузданного шутовства, вполне позволяющего подобные розыгрыши. Маркиз забавляется, отрицая то, что его лакею и ему самому прекрасно известно, но известно только им одним.

[32] Мы нашли расписку:

Рукой г-на де Милли: «Признаю, что г-н де Милли вручил мне два свертка с луидорами, по 50 в каждом.

Написано в устье Роны, 16 октября 1772 г.».

Рукой маркиза: «Чек на две тысячи четыреста ливров. *Маркиз де Сад»* (АС, НД).

[33] *Lely.* Vie. T. I. P. 283.

[34] Дневник председателя Монтрея (собрание Франсуа Муро, НД).

В письме Фажа к Риперу, написанном предположительно в октябре 1772 г., уточняется, что дети маркиза остались в Ла-Косте:

Мадам де Сад и ее сестра уехали в Париж: в замке остались только дети, коих я отправлю в Париж при первой же возможности. Теперь надо как можно скорее решить, кому будет доверено управление имуществом этой семьи. Полагаю, что его доверят мадам де Сад. Пока решение не вынесено, она дала мне генеральную доверенность представлять ее интересы в Провансе: следовательно, в настоящее время вы по-прежнему можете обращаться ко мне со всеми вопросами, относящимися к этой семье. Я обязан предупредить Вас, что до назначения управляющего все дела временно прекращены, так что, если у Вас имеется какое-либо дело, Вам придется ждать новых распоряжений <...> (BN. Ms. NAF. 24384. F. 551–553).

[35] Письмо графа де Ла Мармора к графу де Ласкари, министру иностранных дел в Турине, от 20 ноября 1772 г.; цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 364.

Глава XI

[1] См.: *Dufour A.*, *Rabut F.* Miolans, prison d'État. Chambery: Société savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, Botters, 1879. T. XVIII; *Serieux P. dr.* L'internement du marquis de Sade au fort de Miolans // Hippocrate. 1937. Sept.-oct. P. 385–401, 465–482; *Heine M.* Op. cit. P. 346–349.

[2] Письмо маркиза де Сада к графу де Латуру от 10 декабря 1772 г. (цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 373–374).

[3] Цитируется на основании оригинала рукописи из собрания М. Левера. Частично (с большим количеством ошибок) документ опубликован в изд.: *Desbordes J.* Op. cit. P. 115–116.

[4] Статья 29 ордонанса 1670 г.

[5] Первая трудность, с которой пришлось столкнуться «опекунше» на следующий же день после своего назначения, состояла в получении вознаграждений, причитавшихся ее мужу как наместнику провинций Брес, Бюже, Жекс и Вальроме. 27 февраля 1773 г. она получила от Генерального сборщика финансов Бургундии записку относительно этих выплат:

Сударыня!

Я имел честь получить Ваше письмо <...> из коего с большим сожалением узнал о том, что приключилось с маркизом де Садом. После всего, что ему было сказано,

в том числе и мною, мне никак не понять, какая роковая случайность навлекла на него сии беды, ведь по природе своей он очень добр. Разделяю Вашу печаль по поводу случившегося, а также печаль мадам де Монтрей.

Король пока не отдал распоряжение сделать выплаты за 1771 г. Тем не менее постараюсь заплатить причитающуюся Вам сумму за этот год. Но прежде Вы должны ввести меня в курс дел, иначе говоря, сообщить каково нынче положение Вашего мужа и позволено ли Вам получить то, что задолжал ему король.

Прошу дозволения в этом же письме заверить председательшу де Монтрей в моем к ней уважении, с коим я и остаюсь, сударыня, Вашим смиренным и почтительным слугой.

Кареле (АС, НП)

Тем временем г-жа де Монтрей, взявшая в руки управление делами, также получила письмо от Кареле, где были выражены его сомнения относительно выплаты соответствующего вознаграждения. Напомним, речь шла о регулярных и весьма существенных доходах. Было найдено письмо с замечаниями Генерального сборщика относительно злоключений маркиза:

Дижон, 4 мая 1773 г.

Сударыня!

Получив письмо, кое Вы имели честь мне написать, я был весьма озадачен и даже не знаю, что ответить. После выплат Вашему зятю за 1770 г. о задолженности ему можно вести речь, имея в виду только 1771 г., однако распоряжения выплачивать вознаграждения за этот год пока нет. Так как Королевские штаты всегда платят заранее, то меня останавливает не наличие денег, а то несчастное дело, о котором знает вся Франция, ибо сведения о нем просочились в печать. Вам лучше меня известно, что смертный приговор влечет за собой если не конфискацию, то, по крайней мере, приостановление выплат или же передачу их посредникам, коими могут быть как откупщики, так и сам король. Вы сообщаете, что дочь Ваша согласно принятому родственниками постановлению назначена управительницей имуществом и доходами своего мужа. Будьте столь добры прислать мне копию этого постановления, дабы я смог взглянуть на нее и решить, могу ли я исполнить ее просьбу. Что же касается вознаграждения, то его выплатить проще, ибо эти выплаты осуществляет сама провинция, а не король. Не сочтите за труд повидать находящихся в Париже г-д синдиков; г-н Амло, наш интендант, сообщит, где их найти.

Дочь Ваша заключила брак, уже принесший Вам немало горя; примите мое искреннее сочувствие. Всякий раз, когда я вспоминаю об этом, меня охватывает глубокая печаль. Полагаю, родственники г-на де Сада поступили правильно, отправив его в Прованс. Однако, на мой взгляд, лучше бы они держали его все время под надзором. Я всегда буду утверждать, что г-н де Сад — не злой человек, и ошибки его являются всего лишь следствием легкомыслия и безумств, свойственных юности.

Имею честь, сударыня, изъявить Вам свое величайшее почтение, Ваш смиреный и покорный слуга

Кареле (АС, НП).

[6] Вероятно, письма мадемуазель де Лонэ.

[7] Собрание М. Левера, НП.

[8] Записка, составленная семьей маркиза де Сада, от 21 декабря 1772 г. (цит. по: *Lely*. Vie. T. I. P. 380–382).

[9] Ответ графа де Латура на записку от 21 декабря (Ibid. P. 387–389).

[10] Письмо де Лонэ к графу де Латуру от 1 января 1773 г. (Ibid. P. 392–393).

[11] Письмо председательши де Монтрей к графу Ла Мармора от 10 января 1773 г. (Ibid. P. 399–401).

[12] Письмо маркиза де Сада к графу де Латуру от [14 или 15 января 1773 г.] (Ibid. P. 404–405).

[13] Письмо маркиза де Сада к графу де Латуру от 17 января 1773 г. (Ibid. P. 406–407).

[14] Письмо г-жи де Сад к коменданту де Лонэ от 21 января 1773 г. (Ibid. P. 407).

[15] Письмо де Лонэ к графу де Латуру (Ibid. P. 412–413).

[16] Цит. по: *Dufour*, *Rabut*. Op. cit. P. 308–312.

[17] Спустя неделю, 20 февраля 1773 г., этот монарх скончался, оставив трон сыну, Виктору-Амедею III.

[18] Письмо маркиза де Сада к графу де Латуру от 14 февраля 1773 г. (цит. по: *Lely*. Vie. T. I. P. 417–418).

[19] К королю (Ibid. P. 418–419).

[20] Письмо де Лонэ к графу де Латуру от 27 февраля 1773 г. (Ibid. P. 427–429).

[21] Письмо маркиза де Сада к графу де Латуру от 27 февраля 1773 г. (Ibid).

[22] Письмо графа Ла Мармора к графу де Латуру от 1 марта 1773 г. (Ibid).

[23] Спустя несколько лет маркиз, узнав, что Альбаре был нанят г-жой де Монтрей, даст ему следующую характеристику:

С содроганием вспоминаю я негодника, поначалу взятого мною на службу исключительно из милости, ибо, будучи уличенным в жульничестве, воровстве и других мерзостях, кои приличия не позволяют называть, он из-за поведения своего остался без места и средств к существованию; я прогнал его, когда он позволил себе злословить о Вашей матушке и людях, что ее окружают, и сделал это в присутствии более двух десятков человек, которые в случае необходимости могут это подтвердить. Привеченный затем той самой женщиной, чью репутацию, равно как и репутацию ее семьи, он пытался очернить, он стал ее конфидентом, доверенным лицом ее сына, домашним цербером и советником, Вашим провожатым в чрезвычайно важной поездке, человеком, коему предстояло навести порядок в моих землях, быть может, даже стать наставником моих детей; но вряд ли можно представить себе, что я с этим смирюсь; о, с каким содроганием узнаешь, что подобных негодяев назначают на должности! Воистину, чтобы взирать на великую глупость, совершаемую Вашим семейством, на его великое ослепление, надо быть философом (письмо маркиза к г-же де Сад [апрель 1778 г.]. АС, НП).

[24] См.: *Lely*. Vie. T. I. P. 429, n. 2.

[25] Прошение г-жи де Сад от 18 марта 1773 г., адресованное королю Сардинии (Ibid. P. 443).

[26] Письмо графа де Латура к шевалье де Муру от 17 марта 1773 г. (Ibid. P. 440–441).

[27] Письмо маркиза де Сада к графу де Латуру (Ibid. P. 445–448).

[28] См. письмо г-жи де Сад к Гофриди от 29 июля 1774 г. в изд.: *Bourdin P.* Op. cit. P. 14. Этот брак не состоялся. Антуан-Франсуа де Бомон был старше мадемуазель де Лонэ на восемнадцать лет. Родившись 3 марта 1733 г. в замке Ларок в Перигоре, он был сыном Армана де Бомона, шевалье, графа де Ларока, сеньора дю Репера, и Мари-Анн де Лафори. В 1751 г. он стал гардемарином, а в 1755 г. – лейтенантом флота. В период созыва Генеральных штатов он на дворянской ассамблее в сенешальстве Ажен произнес пророческие слова: «Господа, пора проникнуться ужасной истиной: смешение сословий непременно приведет к их упразднению и, как следствие, к уничтожению монархии». Когда Законодательное собрание упразднило дворянские титулы, виконт де Бомон от имени дворян своей провинции внес протест против этого постановления. Малле дю Пан, опубликовавший его протест в «Меркюр де Франс», замечает: «Революция не смогла породить личность более гордую, более деятельную и более достойную свободы, чем дворянин». Конституционные власти направили Бомону письмо, где велели представить формальное обоснование запроса.

Запрос этот, – ответил он, – исходит от меня. Меня разорили, но никто не услышал от меня ни единой жалобы. Теперь меня хотят лишить благородства, присущего французскому рыцарю; но никто не сможет убедить меня, что приобретенное исключительно благодаря добродетелям дворянское звание может быть упразднено посредством преступления.

После заседания Законодательного собрания виконт де Бомон удалился в Англию, а потом в Россию. Вернувшись во Францию около 1802 г., он обосновался в Тулузе, где и умер 15 сентября 1805 г., так и не примирившись с Новым режимом.

[29] Письмо графа Ла Мармора к графу де Латуру от 26 марта 1773 г. и письмо председательши де Монтрей к г-ну де Лонэ от 26 марта 1773 г. (цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 456–458).

[30] Письмо коменданта де Лонэ к графу де Латуру от 21 марта 1773 г. и показания барона де Лалле (Ibid. P. 448–451).

[31] Письмо маркиза де Сада к графу де Латуру от 1 апреля 1773 г. (Ibid. P. 460–461).

[32] Письмо графа де Латура к шевалье де Муру от 17 апреля 1773 г. (Ibid. P. 468).

[33] Письмо маркиза де Сада к де Лонэ от 30 апреля 1773 г. (Ibid. P. 470–472).

[34] Из описи вещей, оставленных в Миолане (Ibid. P. 473–475).

Глава XII

[1] Письмо маркиза де Сада к графу де Латуру (цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 475–476).

[2] Позднее нотариус Фаж (см. примеч. 16 к наст. гл.) станет утверждать, что это он предупредил де Сада о плетущемся против него заговоре; утверждение кажется маловероятным, тем более что Фаж принимал участие в налете на Ла-Кост.

[3] О своем прибытии к Риперу маркиз извещает следующим образом:

Мой дорогой Рипер, я, несомненно, приеду к Вам завтра ночью, то есть в ночь с субботы на воскресенье. Прошу приютить меня на неделю; видите, я приезжаю ночью, а следовательно, все должно оставаться в глубокой тайне. Поэтому устройте так, чтобы никто не знал, где я нахожусь. От всего сердца обнимаю Вас. По прибытии все объясню. Постарайтесь выделить мне такой уголок, куда обычно никто не заглядывает, дабы лучше сохранить тайну. Прощайте, мой дорогой Рипер (*Lely.* Vie. T. I. P. 536).

[4] Письмо маркиза де Сада к Риперу от 2 марта 1774 г.; печатается с любезного разрешения Тьери Бодена.

[5] Инспектор Гупиль сам снискал дурную славу. Унаследовав от Жозефа д'Эмери должность «инспектора книжных лавок», он в марте 1778 г. был тайно арестован и препровожден в донжон Венсеннского замка, его жену, исполнявшую обязанности чтицы королевы, заключили в Бастилию. Их обвинили в торговле книгами, изъятыми по приказу Гупиля, которого вдобавок подозревали еще и в том, что

<...> пользуясь замешательством тех, кого он намеревался арестовать, беспорядками, чинимыми у них в доме, а также сведениями, полученными при допросах, учинять кои вменялось ему в обязанности, он похищал золото, деньги, драгоценности и вещи задержанных.

Через два месяца распространился слух, что г-жа Гупиль поставляла Марии-Антуанетте «омерзительные книги». Предполагали также, что Гупиль и его жена приняли участие в создании «мерзкого» рукописного сочинения, направ-

ленного против Его Величества; впрочем, потом они направили чиновников в условленное место, где те выкупили эту рукопись, дабы она не могла быть издана. Спустя шесть лет, в октябре 1784 г., стало известно, что Гупиль, отчаявшись когда-либо выйти из темницы, бросился в колодец (см.: *Bachaumont*. Mémoires secrets: pour servir à l'histoire de la République des lettres en France, depuis 1762 jusqu'à nos jours ou journal d'un observateur: En 36 vol. L., 1777–1787. T. VIII. P. 247; T. XI. P. 172; T. XI. P. 22; T. XXV. P. 238).

[6] На основании оригиналов документов, сохранившихся в Бастильских фондах библиотеки Арсенала, Жан Деборд опубликовал подробности этого рейда (см.: *Desbordes J.* Le Vrai visage du marquis de Sade. P.: Éditions de la Nouvelle Revue Critique, 1939. P. 136–138).

[7] Черновик письма г-жи де Монтрей к г-же де Некер (АС, НД).

[8] Письмо Фажа к г-же де Монтрей от 9 декабря 1773 г. (АС, НП).

[9] Письмо Фажа к г-же де Монтрей от 21 декабря 1773 г. (АС, НП).

[10] Письмо г-жи де Монтрей к Фажу от 1 января 1774 г. Опубликовавший его Ж. Деборд (см.: *Desbordes J.* Op. cit. P. 130) считает, что оно адресовано Гофриди, и это позволяет ему обвинить последнего в предательстве. Мы переписали письмо с факсимильного воспроизведения (см.: Ibid. P. 132), ибо в расшифровке Деборда имеется ряд ошибок.

[11] Письмо Фажа к г-же де Монтрей от 21 декабря 1773 г. (АС, НП).

[12] Письмо Фажа к г-же де Монтрей от 3 января 1774 г. (АС, НП).

[13] В оригинале эта фраза зачеркнута.

[14] В тексте подчеркнуто.

[15] Письмо г-жи де Монтрей к Фажу (черновик) от 12 января 1774 г. (АС, НП).

[16] Письмо Фажа к г-же де Монтрей [от 7–8 января1774 г.] (АС, НП).

[17] Фаж попытался снять с себя эти обвинения в записке от 1797 г. (через двадцать три года!), где требовал от де Сада уплаты 6156 ливров 4 су 2 денье. О полицейском десанте от 6 января 1774 г. было написано следующее:

> В январе месяце 1774 г. офицеры парижской полиции прибыли в Ла-Кост арестовать г-на де Сада. Фаж по приказу интенданта провинции был обязан присутствовать при сей печальной операции, дабы надзирать и обеспечивать сохранность обстановки и прочих ценностей, находившихся в замке. Предупрежденный де Садом, он не посмел отказаться от участия в обыске, а спустя несколько дней принялся оправдываться перед де Садом, который, похоже, остался им доволен, что доказывает ответное письмо Фажу.
>
> Меж тем единственная причина, заставившая последнего терпеть выходки г-на де Сада, коего он продолжал и продолжает оправдывать и по сей день, состоит в том, что переписка Фажа с тещей сьера де Сада ни к чему не привела. Впрочем, очевидно, что Фаж <...> выражает живейшее неодобрение поступков этой женщины и что эта переписка всегда имела единственную цель — выгоду г-на де Сада, интересы его семьи, и осуществлялась главным образом, дабы уладить дела с кредиторами. После ряда демаршей он уже был близок к цели, и если все же цель сия оказалась не достигнута, то только из-за самого де Сада, что и будет доказано <...> (AD. Vaucluse. Étude Geoffroy. Apt. Divers 81).

[18] АС, НП.

[19] Эти строки переписаны рукой Фажа и адресованы г-же де Монтрей со следующей припиской: «Я послал копию этого письма мадам де Сад. Мое письмо осталось без ответа. К каким только размышлениям и выводам оно не подталкивает! Но я стараюсь не поддаваться им» (АС, НП).

[20] См.: BN. Ms. NAF. 24384. F. 55.

[21] Отметим в качестве анекдота: церковные власти простили нотариусу зачисление в свои клиенты столь сомнительной личности, как маркиз де Сад, и 27 февраля 1777 г. епископ города Апта, Фелисьен Бокон де Ламерльер, назначил Гофриди папским нотариусом всего Аптского диоцеза (НД, любезно предоставленный в наше распоряжение г-ном Франсуа Муро).

[22] Письмо маркиза к Риперу «из Ла-Коста, 2 марта 1774 г.»; дата, скорей всего, вымышленная, ибо Сад заявляет, что приедет 1 марта 1774 г. Письмо печатается с любезного разрешения Тьери Бодена.

[23] См. письмо г-жи де Сад к Риперу от 19 марта 1774 г. и письмо маркиза к Риперу от 29 мая 1774 г. (BN. Ms. NAF. 24384. F. 11, 58).

[24] Письмо г-жи де Сад к Риперу. Ла-Кост, 12 мая 1774 г. (BN. Ms. NAF. 24384. F. 64–65).

[25] Письмо г-жи де Сад к Риперу. Ла-Кост, 18 мая 1774 г. (BN. Ms. NAF. 24384. F. 66).

[26] См. письмо г-жи де Сад к Риперу. Ла-Кост, 29 мая 1774 г. (BN. Ms. NAF. 24384. F. 68–69).

[27] Письмо маркиза де Сада к Риперу от 29 мая [1774 г.] (BN. Ms. NAF. 24384. F. 11).

[28] Из письма, опубликованного Эмилем Лизе (A travers les chiffons d'Alexis Rousset // Revue d'Histoire littéraire de la France. 1978. № 3. P. 439–440).

[29] BN. Ms. NAF. 24384. F. 595 sq.

[30] Цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 540–541.

[31] Письмо герцога де Лаврийера к Сенаку де Мейлану от 21 октября 1774 г. (Arch. Sade. Fonds Bégis, НП).

[32] Письмо герцога де Лаврийера к Сенаку де Мейлану от 26 февраля 1775 г. (Ibid.)

[33] Цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 14.

[34] Письмо де Сада к Гофриди, без даты (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 13–14).

[35] Письмо г-жи де Сад к Гофриди, без даты (Ibid. P. 14–15).

[36] Письмо г-жи де Сад к Гофриди, без даты (Ibid. P. 5).

[37] Письмо г-жи де Сад к Гофриди от 3 сентября 1774 г. (Ibid. P. 15–16).

[38] Десятого октября 1774 г. де Сад пишет Риперу письмо, свидетельствующее о том, что он находится уже в Ла-Косте:

> Вот, мой дорогой Рипер, Вам и предоставилась возможность оказать мне чрезвычайно важную услугу. Пероте, который передаст сие письмо, подробно поведает Вам о моих новых злосчастьях. Меня отовсюду гонят, повсюду преследуют. Заклинаю, изыщите средства, чтобы я мог избавиться от своих врагов. Близится момент, когда, как все меня уверяют, настанет тишина и покой. Теперь же мне нужно сто луидоров. Я оставлю, если Вы их примете, вещей на сумму вдвое большую, а Пероте желает поручиться и отвечать за меня. Ради всего святого, избавьте меня поскорей от горестей, вновь нависших над моей головой, и снабдите как можно скорее деньгами, дабы я смог этих горестей избежать. Продайте, заложите: что бы Вы ни предприняли, все будет приемлемо.
>
> Обнимаю Вас
>
> *Де Сад* (BN. Ms. NAF. 24384. F. 1).

Глава XIII

[1] Анн-Маргарита Майфер, супруга Дюффе, именуемая Готон, дочь Пьера Исаака Майфера (из Баленя, что в бальяже Ивердон, в романской Швейцарии), родилась ок. 1771 г. в Ивердоне, в семье протестантов. Нанятая в качестве

горничной к маркизе де Сад еще до августа месяца 1772 г. (когда председатель де Монтрей, по словам Донасьена, покусился на это «славное светило»), она впоследствии стала экономкой, и даже пользовалась в этой должности определенным уважением. Незлобливая и жизнерадостная по характеру, Готон щедро делится своими прелестями. К многочисленным обожателям, по очереди вкушавшим ее прелести, принадлежат несколько «секретарей»; один учитель музыки, так же, как и она, протестант; некий г-н Ив, почитаемый в селе за остроумца, чьи речи заставляли «умирать со смеху» г-жу де Сад; Картерон, который ради нее бросит жену и детей (см. примеч. 2); местные нотабли, такие как Тома Поле, и т. д. В начале 1780 г., будучи беременной, но не зная от кого, она, приняв католическую веру и отринув протестантскую, вторично выходит замуж за молодого человека, уроженца Ла-Коста, столяра Жака Грегуара. 16 ноября 1781 г. она родила второго ребенка, мальчика, которого назвали Жак-Альдонс. «Могущественный и высокопоставленный сеньор Луи-Альдонс Донасьен, маркиз де Сад, и высокопоставленная могущественная дама Рене-Пелажи де Монтрей» фигурируют как его крестные родители, что надлежащим образом записано в акте о крещении. Следующих родов бедняжка Готон не переживет: она умрет 27 октября 1781 г. от послеродовой горячки, в возрасте сорока лет (см.: *Fauville H.* Op. cit. P. 139).

[2] В семье де Сад сохранились любопытные документы, свидетельствующие о неблаговидном поведении Картерона: речь идет о двух письмах г-жи де Сад к Гийому, кюре Ролампона (округ Лангр), мест, откуда сей молодой человек родом, а также о двух письмах Журдель де Вильберни к председательше де Монтрей на ту же тему, откуда становится ясно, что Картерон был сыном садовника, служившего у г-жи де Вильберни:

От г-жи де Сад к кюре Ролампона
Ла-Кост, 6 марта 1775 г.

Сударь!

Дабы сразу поставить Вас в известность о предмете моего письма, скажу, что несколько месяцев назад я оставила вышеназванного Картерона, прозванного Юностью, в Лионе, с деньгами, коих ему должно было хватить на шесть месяцев, то есть на время, за которое ему следовало выполнить в этом городе несколько порученных ему дел. Сейчас я узнаю, что его там нет уже примерно месяц, и не могу обнаружить, куда он отправился. Я распорядилась начать тщательнейшие поиски. Не сообщайте пока ничего ни его жене, ни семье, чтобы они зря не волновались, однако прошу Вас, сообщите мне, если услышите о нем что-либо. Возможно, он станет искать убежище у жены, в чем я, признаюсь, сильно сомневаюсь, ибо он не высказывал намерения съездить к ней, и мне, несмотря на уговоры, не удалось переубедить его.

Имею честь, сударь, оставаться Вашей почтительной и смиренной слугой.

Монтрей де Сад (АС, НП)

Г-жа де Сад беспардонно лжет: она прекрасно знает, что в это время Картерон крутит любовь с Готон в Ла-Косте, и придумывает это алиби, чтобы объяснить его молчание. Следующее письмо не оставляет надежды, что Картерон когда-нибудь вернется к жене и детям.

От г-жи де Сад к кюре Ролампона
Ла-Кост, 14 марта 1775 г.

Спешу, сударь, развеять Ваше беспокойство, в кое Вас ввергло мое последнее письмо по поводу Картерона. Я узнала, что он находился в Форезе, возле Сент-Этьена; верный человек рассказал мне о причинах его бегства. Пока же не тревожь-

те его семью и знайте, что не в моих силах воздействовать на его разум и изменить его отношение к жене. Я сделала все, что в моих силах, и еще буду делать, дабы оказать услугу им обоим, но этот человек упрям и обладает дурными наклонностями, а его теперешнее поведение это подтверждает.

Монтрей де Сад (АС, НП)

От г-жи де Вильберни к г-же де Монтрей
[Лангр, 21 апреля1775 г.]

Сударыня!

Я необычайно растрогалась, вспоминая о мадемуазель де Лонэ и о Вашей заботе о детях моего садовника. Оба письма от маркизы де Сад, которые я имею честь Вам направить, ясно свидетельствуют об ошибках, совершенных этим молодым человеком по отношению к Вам, сударыня, к Господу и к нему самому. В отношении Вас его поведение особенно непростительно, ибо именно благодаря Вашим благодеяниям, воздействие коих ощутили они оба, я имела честь, сударыня, познакомиться с Вами, и, памятуя об этом, теперь осмеливаюсь также просить Вашего снисхождения для трех бедных покинутых крошек, уделив им то, что Ваше доброе сердце хотело уделить тому, кто оказался этого недостоин.

Как мне хотелось бы, сударыня, уберечь душу, подобную Вашей, от зрелища молений, возносимых этой молодой женщиной Господу и повергаемых к стопам свекра и свекрови, дабы они не бросили ее, помогли ей простить мужу его заблуждения и, щадя детей, не открывали бы им глаза на поведение их отца. Христианские чувства этой несчастной маленькой женщины и примерное поведение, отличающее ее в отсутствие мужа, оживили и сосредоточили на ней одной интерес, проявляемый мною к семье моего бывшего примерного слуги, ни разу не подавшего повода побранить его. Эта маленькая женщина, сударыня, просит меня сообщить то, что, я полагаю, не имеет никакого отношения к изложенным Вами сведениям, т. е. о теперешнем местонахождении ее мужа (она об этом прекрасно знает), а также о том, что может поспособствовать возвращению его к хозяевам, супругам де Сад.

Девять месяцев он спокойно провел с женой и даже занялся сельскими работами; мы же, его отец, его маленькая жена и я, приняли некоторые меры, кои, кажется, возымели действие; мы даже предоставили ему некоторый выбор, и, когда он сделал его, мы сочли это хорошим предзнаменованием. Все, похоже, налаживалось. Но когда у нас проездом побывала мадам де Сад, он отправился проводить ее и вернулся только через день. Именно тогда планы наши потерпели крах; он сообщил жене, что ему необходимо вернуться в Прованс, и, заверив ее в Вашем, сударыня, покровительстве, пообещал, что Вы не оставите ее своими заботами. Затем он увез с собой три луидора, остававшиеся у нее от благодеяний мадам де Сад и мадам де Лонэ, и с тех пор она не имеет ни помощи, ни писем от этого бесчестного человека, коего она все еще имеет глупость любить и желать.

Вот, сударыня, каково истинное положение дел, о котором мне весьма прискорбно сообщать Вам, равно как и отягощать Вас жалобами. Но его жена нижайше просит дозволения представить Вам своего двенадцатилетнего сына; если мальчик не переменится, он станет самым совершенным творением природы. Что до меня, сударыня, то я уповаю на Вашу доброту и сострадание к несчастной женщине.

Имею честь с почтением оставаться, сударыня, Вашей смиренной и покорной слугой.

Журдель де Вильберни

Позвольте, сударыня, заверить сию совершеннейшую девицу, кою я имею честь принимать у себя, в моей почтительной признательности и привязанности (АС, НП).

Рукописная помета г-жи де Монтрей: «Из Лангра, 21 текущего месяца, возле монастыря урсулинок. Ответ отправлен 12 мая».

От г-жи де Вильберни к г-же де Монтрей
[Лангр, circa* 15–16 мая 1775 г.]

Сударыня!

Не утомительно ли для Вас вновь читать о наших бедных крошках? Мне показалось необходимым отправить Вам последнее письмо мадам де Сад, ибо Вы, сударыня, определенно хотите знать, где находится наш молодой человек. Его маленькая женушка хотела бы получить от Вас распоряжения, следует ли посылать посылку, которую требует мадам де Сад; бедная женщина полагает, что удерживая у себя ливреи супруга, она тем самым заставит его приехать за ними, ибо их утрату ему вряд ли возместят, если он останется служить прежним господам. Следовательно, ему надо приехать за ними лично. Я не разделяю ее уверенности, и мне ясно, что в конце концов она выполнит, что от нее требуют. Ужасное состояние, в которое эта женщина ввергнута, должно побудить Вас, сударыня, помочь ей, разумеется, ежели Вы решите заняться ею и прийти к ней на помощь в качестве советчика.

В последнем письме мы нашли решение загадки, заданной приездом мадам де Сад. Молодой человек был прав, когда вновь поступил к ней на службу, так как очевидно, что он еще необходим г-ну маркизу. Таким образом, сударыня, дела обстоят именно так; впереди есть время, которое работает на этих молодых людей. Вот с какой точки зрения я стараюсь внушить этой женщине необходимость позаботиться о будущем уже сейчас. На деле мне очень хотелось бы, чтобы будущее у них было. Помогите нам, сударыня, руководить этой маленькой женщиной: как и должно, она питает к Вам величайшее почтение, а наше влияние — беднягу-кюре и мое — на ее ум ослабевает, потому что мы постоянно обещаем ей возвращение мужа; она же, ясно видя, что срок его возвращения в который раз откладывается, наверное, полагает речи наши за хвастовство.

Примите, сударыня, все возможные извинения. Я хотела бы подарить Вам все свое бесконечное уважение под иным титулом.

Имею честь, сударыня, быть Вашей смиренной и послушной слугой.

Журдель де Вильберни

Позвольте, сударыня, мне вновь вспомнить о том очаровательном существе, кое я видела и кое находится подле вас (АС, НП).

Пометка г-жи де Монтрей: «Получено 18 мая, ответ дан 21 мая 1775 г.».

[3] Письмо маркиза де Сада к Гофриди, без даты (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 16).

[4] Письмо г-жи де Монтрей к Гофриди от 8 апреля 1775 г. (см.: Ibid. P. 31).

[5] Цит. по: *Fauville H.* La Coste, Sade et la Provence. ... P. 105–106.

[6] Решив, что последующие строки компрометируют его, аббат де Сад их вымарал. Из отдельных каракулей, которые удалось разобрать Лели, следует, что аббат сделал ребенка некой девице по имени Роза.

[7] Цит. по: *Lely.* Vie. T. I. P. 552–554.

[8] Письмо аббата де Сада к Гофриди от 28 марта 1775 г. (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 29).

[9] Письмо г-жи де Монтрей к Гофриди от 11 февраля 1775 г. (Ibid. P. 26–27).

[10] Письмо г-жи де Монтрей к Гофриди от 9 марта 1775 г. (Ibid. P. 27–28).

[11] Письмо г-жи де Сад к Гофриди от 14 марта 1775 г. (Ibid. P. 28).

[12] Письмо аббата де Сада к Гофриди от 28 марта 1775 г. (Ibid. P. 29).

[13] Письмо г-жи де Монтрей к Гофриди от 8 апреля 1775 г. (Ibid. P. 32).

[14] Письмо маркиза де Сада к Гофриди, без даты (Ibid.).

[15] Письмо г-жи де Монтрей к Гофриди от 29 апреля 1775 г. (Ibid. P. 33).

[16] Цит. по: *Heine M.* Op. cit. P. 239. Жильбер Лели полагает (см.: *Lely.* Vie. T. I. P. 559, note 2), что председатель Брюни д'Антрекасто был не вправе осуж-

* Приблизительно (*лат.*).

дать нравы Донасьена де Сада, ибо его изображение также было подвергнуто казни на площади Прешер за дело гораздо более серьезное, нежели дело маркиза. Однако он путает этого почтенного магистрата с его сыном, коему в то время было двадцать шесть лет. 1 января 1784 г., когда все жители Экса отправились за город смотреть на запуск воздушного шара, сын этот, оставшись дома (по адресу: 10, бульвар Мирабо), бритвой перерезал горло своей жене, матери трех малолетних дочерей. Он бежал, добрался до Женевы, оттуда уехал в Лиссабонн, там был схвачен и посажен в тюрьму. Но несмотря на настойчивые запросы парламента Экса, Португалия отказалась выдать его; отказ этот до сих пор не находит своего объяснения. Преступник был осужден заочно и приговорен к отсечению кистей обеих рук и раздроблению членов на колесе, каковое наказание на глазах у многолюдной толпы понесло его чучело из дерева и бумаги. Вскоре Антрекасто-сын умер у себя в камере. Уже потом стало известно, что он состоял во внебрачной связи с женщиной по имени Сен-Симон, которая, судя по всему, подбила его на преступление. Тут же вспомнили, что еще в детстве председательский сын находил удовольствие, шпигуя булавками живых птичек; узнали также, что во время последней беременности жены он разбрасывал на лестнице вишневые косточки, надеясь, что падение избавит его от надоевшей супруги. Говорят, когда во время родов она попросила стакан лимонаду, Антрекасто сам приготовил ей напиток, однако несчастная его выплюнула, так как он оказался чрезвычайно горьким.

[17] Письмо г-жи де Монтрей к Гофриди от 26 июля 1775 г. (цит. по: *Bourdin P.* Op. cit. P. 39).

[18] *Heine M.* Op. cit. P. 239; см. также: *Lely.* Vie. T. I. P. 560.

[19] *Bourdin P.* Op. cit. P. 20.

[20] Письмо г-жи де Сад к Гофриди от 21 июня 1775 г. (цит. по: Ibid. P. 35–36).

[21] *Heine M.* Op. cit. P. 240.

[22] «Большое письмо», адресованное г-же де Сад [20 января 1781 г.] (OC. T. XII. P. 272–273).

[23] В «Истории Жюльетты», многим обязанной «Путешествию по Италии», героиня также берет в Италию своего лакея:

> Из предметов, предназначенных для утоления вожделения, я взяла с собой только огромного лакея с приятным лицом, по имени Зефир, чьей Флорой я так часто бывала, и горничную по имени Огюстина, восемнадцати лет от роду, прекрасную, словно ясный день.

Зефир является своего рода романным двойником Юности, так же как Жюльетта – женским двойником Сада.

[24] В архиве де Садов мы отыскали счета ежедневных затрат, подтверждавшие существование третьего спутника.

[25] *Sade.* Voyage d'Italie // OC. T. XVI. P. 122.

[26] Об этом см. в письме маркиза к маркизе де Сад, [март 1785 г.] (LML. T. I. P. 83–86).

[27] См.: *Cochin Ch.-N.* Voyage pittoresque d'Italie, ou Recueil de notes sur les ouvrages de peinture et de sculpture qu'on voit dans les principales villes d'Italie. P., 1756 (reéd. Paris, 1758 et 1769 en 3 vol.); см. также: *Richard* (*abbe Jérémie*). Description historiques et critiques d'Italie, ou Nouveaux mémoires sur l'état actuel de son gouvernement, des sciences, des arts, du commerce, de la population et de l'histoire naturelle: En. 6 vol. Dijon, 1766; *La Lande* (*Joseph-Jérôme Le Français de*). Voyage d'un François en Italie fait dans les années 1765–1766, contenant l'histoire et les anecdotes les plus singulières de l'Italie et sa description, les moeurs, les usages, le gouvernement, le commerce, la littérature, les arts, l'histoire naturelle et les antiquités: En. 8 vol. Venise; P., 1769.

[28] *Sade.* Voyage d'Italie. ... P. 184.

[29] Ibid. P. 188.

[30] Это дальнее родство восходит к браку Жанны д'Астуо с Луи I Дони, состоявшемуся в 1666 г. Выходцы из семьи флорентийских патрициев, Дони (Doni, ставшие во Франции писать свою фамилию как Donis) унаследовали владения в Гуле и великолепный дом в Авиньоне (9–11, ул. Доре), расположенный по соседству с домом де Садов; в доме Дони находилась великолепная картинная галерея, где на почетном месте висели портреты предков – Анджело Дони и Маддалены Строцци, работы Рафаэля. Представители семейства Дони играли важную роль в муниципальной и светской жизни Авиньона. В 1659 г. Людовик XIV сделал земли Дони в Бошане маркизатом; титул достался Жан-Батисту Дони, владельцу Гуля. Однако в глазах де Сада титул отнюдь не возвысил ни семейство, ни его членов. Говоря о шевалье де Дони, он отмечал: «Его манерам недостает сердечности; он никогда не предложил мне даже стакана воды». К маркизе де Дони он отнесся еще более сурово, выведя ее в романе «Маркиза де Ганж» (см.: ОС. Т. XI. Р. 326 sq.).

[31] После того как великое герцогство попало под управление Франца Лотарингского, супруга Марии-Терезии (1783 г.), в Тоскану приехало множество уроженцев Лотарингии.

[32] *Sade.* Voyage d'Italie. ... P. 160.

[33] Письмо де Сада к Гофриди от 10 августа 1775 г. (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 39–40).

[34] *Sade.* Voyage d'Italie: Ms. Premier volume de Rome. P. 162 (АС, НД).

[35] Между 9 и 19 декабря, когда Кьяра Молдетти еще не родила, доктор Мени написал маркизу де Саду:

> Вы поздравляете меня с рождением очередного внука и делаете это в столь изысканных выражениях, что доставляете мне неизъяснимое удовольствие. Надеюсь, Господь наделит его более тонкими чувствами, нежели человека, ставшего причиною появления его на свет. От меня скрыли, кто будет представлять Вас. Это меня удивляет, ибо я никак не мог предположить, что Вы согласитесь принять участие в таком деле (АС, НП).

[36] Возможно, Донасьен поведал об этом романе жене, ибо спустя четыре года он писал ей о Кьяре:

> Я никогда не утверждал, что дочь доктора была красавицей, а всего лишь говорил, что она недурна собой и волосы имеет светлые. Разве исходя из этого замечания можно сделать вывод, что она красавица? (Письмо к г-же де Сад, [22 марта 1779 г.]: ОС. Т. XII. Р. 195.)

[37] Недавно нами опубликовано четыре ранее неизвестных письма Анжа Гудара к маркизу де Саду: Dix-huitième siècle. 1991. № 23.

[38] *Casanova.* Mémoires / Éd. R. Abirached. [s. l., s. d.] T. III. P. 281. (Bibliothèque de la Pléiade).

[39] Ibid. P. 841–842.

[40] Хотя на титульном листе издания 1769 г. указано «Амстердам. Издано за счет автора», брошюра скорее всего отпечатана в одной из типографий Неаполя. Вот ее полное название: «Неаполь. О том, что требуется сделать для процветания сего королевства. О выгодах, кои может извлечь правительство из плодородия его земель, изобилия ввозимых товаров, благоприятных возможностей для совершенствования искусств и его выгодного положения, способствующего развитию торговли с чужеземными странами, и т. д.» («Naples. Ce qu'il faut faire pour rendre ce royaume florissant. Où l'on traite des avantages que le gouvernement peut retirer de

sa fertilité, de l'abondance de ses denrées, de facilités pour perfectionner les arts, de sa position favorable poru s'emparer des premières branches du commerce étranger, etc»). Сразу же после выхода в свет сочинение вызвало бурный гнев аббата Галиани; 18 декабря 1769 г. в письме из Неаполя к г-же д'Эпине он писал:

Некий г-н Годар (*sic*! – *М.Л.*), знаменитый писатель и экономист, только что опубликовал у нас ужасно оскорбительное сочинение под названием «Неаполь», направленное против нашего правительства, и остался безнаказанным (*Galiani*. Lettres. P.: Asse, 1882. T. I. P. 22).

На самом деле Гудар в весьма сдержанных выражениях изложил в нем комплексный план экономического развития; возможно, он и затронул самолюбие неаполитанцев, однако труд его основательный и документально обоснованный.

[41] Беранже, французский поверенный в делах при дворе короля Обеих Сицилий, в депеше от 17 сентября 1774 г. излагает подоплеку этого аутодафе:

Джунта* (Giunta) злоупотреблений 13-го числа сего месяца приказала палачу сжечь анонимное сочинение, озаглавленное «Неаполь»; сочинение это издано лет шесть назад. В нём рекомендуется провести некоторые реформы, критикуются нравы и много места уделяется сельскому хозяйству, искусствам и промышленности, хотя написано оно развязным, язвительным и дурным слогом. Несмотря на наличие в нем нескольких дерзких мыслей и бесконечных общих мест, содержащих намеки, которые бдительная полиция призвана пресекать, я не уверен, что опасность, кою может представлять это произведение, явилась истинной причиной осуждения его и высылки автора за пределы королевства. Автором этим является французский авантюрист по имени Гудар, известный своим сочинением «Интересы Франции, которые плохо поняты» (Les Intérêts de la France mal entendus), а также некоторыми другими сатирическими и фривольными опусами. Вот уже несколько лет, как он возит по Италии свою молодую жену, уроженку Англии, на красоте которой, как с укоризной замечают ему, он пытается создать состояние. Публика, убежденная, что критика, наводимая людьми низменными, кои по причине своих низменных страстей становятся презренными орудиями других критиканов, людьми, которые вносят смуту и раздор во дворцы сильных мира сего и позор и отчаяние в лоно семей, льстила тщеславию и честолюбию этой юной иностранки и поощряла ее дерзкое желание вступить в борьбу с самой могущественной и самой почитаемой женщиной этого королевства, а именно с принцессой, обожаемой как за свой высокий ранг, так и за свои достоинства и добродетели. Полагают, Монсеньор, мужа осудили, дабы способней было удалить жену. Я искренне восхитился мудрости такового поступка, а посему не придал значения жалобам, кои сьер Гудар, будучи французом, направил в мое ведомство с целью добиться отсрочки высылки его из страны, где ему необходимо было еще уладить кое-какие дела; я ответил ему, что не могу и не имею ни малейшего желания ходатайствовать за него (Arch. Affaires étrangères. Correspondance politique: Naples 97, f. 186).

[42] На любовную связь между Сарой и Донасьеном содержатся намеки в неизданных письмах доктора Мени к маркизу де Саду (собрание Ксавье де Сада), которые мы публикуем в приложении VII наст. изд.

[43] *Sade*. Voyage d'Italie. ... P. 164. Возможно, одна из этих двух очаровательных англичанок, леди Купер или Сара Гудар, стала прообразом г-жи де Клервиль. Мы склоняемся к тому, что это, скорей всего, была Сара. Действительно, автор «Путешествия по Италии» хвалит ее фигуру и широту ума. Г-жа де Клервиль высока ростом, хорошо сложена и наряду с изысканными и властными

* Административный исполнительный орган.

манерами наделена многочисленными талантами: танцует «как Терпсихора», пишет «как Севинье»*, сочиняет очаровательные стихи, знает историю, музыку, географию, умеет рисовать. А из двух англичанок, встреченных Донасьеном в Италии, Сара Гудар единственная, кто владеет пером столь же хорошо, сколь и искусством любви. Ей, в частности, приписывают «Замечания о музыке и танце» («Remarques sur la musique et la danse»), опубликованные в Венеции в 1773 г., и «Памятную записку об осенних развлечениях в Тоскане» («Relation historique des divertissements de l'automne de Toscane») (1775). Острая, но объективная критика музыкального и хореографического искусства полуострова вызвала, используя излюбленное определение Стендаля, раздраженную реакцию итальянских «казенных патриотов». С другой стороны, известно, что Сара превосходно пела и торговала своим очаровательным голосом с такой же легкостью, как и прелестями своего тела. Что же касается либертинажа, то здесь женщинам не в чем завидовать друг другу: очаровательная Сара выглядит неопытной послушницей разве что на фоне великой жрицы порока г-жи де Клервиль. Именно Клервиль вводит Жюльетту в Общество друзей преступления, и оргии, устраиваемые ею при неаполитанском дворе, принимают поистине гомеровский размах. На наш взгляд, стоит отказаться от гипотезы, выдвинутой Отто Флаке, согласно которой прототипом Клервиль является леди Гамильтон, действительно блиставшая при неаполитанском дворе, однако несколькими годами позже (см.: *Flake O.* Le marquis de Sade / Tr. P. Klossowski. P.: Grasset, 1933, P. 134).

[44] *Bourdin.* Op. cit. P. 23.

[45] Перу Коллини, среди прочих трудов, принадлежат: «Размышления об истории Германии» (1761) и «Рассуждения о горах вулканического происхождения» (1781), посмертное сочинение, где можно прочесть любопытные мысли о пребывании Вольтера в Германии.

[46] Письмо доктора Мени к маркизу де Саду от 12 марта 1776 г. (АС, НП).

[47] Письмо Анжа Гудара к маркизу де Саду от 5 декабря 1775 г. (цит. по: *Lever M.* Ange Goudard: quatre lettres au marquis de Sade // Dix-huitième siècle. 1991. № 23).

[48] Преемник Климента XIV, Джованни-Анджело Браски, взошел на престол святого Петра 14 февраля 1775 г. под именем Пия VI, однако официально понтификат его начался только в декабре. Сад присутствовал на инаугурации.

[49] Письмо доктора Мени к маркизу де Саду от 19 декабря 1775 г. (АС, НП).

[50] См.: *Bourdin.* Op. cit. P. 58.

[51] Цит. по: *Lever M.* Ange Goudard...

[52] *Sade.* Histoire de Juliette // OC. T. IX. P. 101–102. Была ли интрижка между Донасьеном и красавицей Онориной де Грилло? Во всяком случае, г-жа де Сад, похоже, в это верит и, иронизируя над мужем, утверждает, что эта герцогиня, должно быть, похожа на его кузину Полину де Вильнев-Мартиньян. На что тот, уязвленный, отвечает:

> Что касается герцогини, то знайте, она не имеет ничего общего с нарисованным вами портретом: она так же похожа на Мартиньянов, как я на Сикста Пятого. Та Мартиньян, о которой вы говорите, просто шлюха, она выступает одной из моих гонительниц, потому что я не захотел оказать ей особое внимание во время моих первых поездок в Прованс. Она кривляка, низенькая, невзрачная, тогда как герцогиня любезна, имеет благородное лицо и внешность *Минервы* (письмо к г-же де Сад [22 марта 1779 г.]: OC. T. XII. P. 195).

---

* Маркиза де Севинье (1626–1696) – признанный мастер эпистолярного жанра, прославившаяся своими «Письмами».

[53] Сообщение об этом аресте появилось в «Газетт де Франс» в понедельник 14 октября 1776 г.: «Из Рима, 11 сентября 1776. В субботу вечером [7 сентября] г-н Жозеф Иберти, выходя из дома римского сеньора герцога де Грилло, был препровожден в тюрьму святой инквизиции».

[54] *Lely.* Vie. T. I. P. 571.

[55] Эти сведения почерпнуты из двух неизданных писем доктора Мени: в первом, от 19 декабря 1775 г., врач удивляется, что его зять Тьерс, живущий в Неаполе, не ответил на письмо маркиза, все еще пребывающего в Риме. Второе письмо, от 5 января 1776 г., начинается словами: «Надеюсь, это письмо застанет Вас в добром здравии уже в Неаполе; это одно из моих Вам пожеланий, наряду с остальными, к Новому году» (АС, НП).

[56] Письмо доктора Мени к маркизу де Саду от 21 ноября 1775 г. (АС, НП).

[57] Маркиз де Сад создает свой труд на протяжении многих лет, начав его во время путешествия и продолжив после возвращения во Францию. В 1777 г., находясь в донжоне Венсеннской крепости, он продолжал получать сведения от своих корреспондентов в Италии, в частности от доктора Мени и Джузеппе Иберти. 2 мая 1777 г. Иберти с радостью сообщает ему, что он наконец нашел рисунок «Венеры с красивыми ягодицами». В марте 1778 г. г-жа де Монтрей сообщает д-ру Мени, что «отныне бесполезно посылать г-ну де Саду сведения для его книги о городах Италии, ибо он не сумеет найти им применения». Сад просит своих итальянских друзей адресовать ему письма на имя жены, дабы они не проведали о его положении, однако просьбы эти даются ему нелегко.

Мне очень тяжело писать им письма, — признается он Рене-Пелажи. — Рассуждения о труде, который, быть может, я так никогда и не напишу... порождают во мне смутные воспоминания и разрывают мне сердце, и мне приходится по пять-шесть раз начинать одно и то же письмо, и в конце концов я все же пишу глупость (неопубликованное письмо к г-же де Сад от 8 декабря [1777 г.], АС).

В 1779 г. он упорно работает над книгой. «Юность начал переписывать заметки, необходимые для твоей книги», — сообщает ему маркиза 19 февраля 1779 г. Спустя несколько недель, а именно 6 марта, она повторяет: «Я найду все материалы, которые могут тебе понадобиться <...>. Я написала доктору, чтобы он сообщил новости о нашем юном римском эскулапе» (LML. T. II. P. 181–184).

Сад долго колебался, не зная, как назвать свое произведение. Ему надо было отмежеваться от путеводителей и рассказов его предшественников, показав оригинальность собственного творения, написанного в критическом и философском духе.

Не ожидайте найти здесь точных и подробных описаний всех красот этого удивительного, отгороженного от остального мира края, — рассуждает он в своеобразном прологе, предваряющем его сочинение. — Столько людей до меня уже успели рассказать о них, что мне пришлось бы лишь повторить их описания. К тому же, чтобы поведать обо всем подробно, мне понадобилось бы гораздо больше времени, нежели то, которое я уделил сему труду. А потому он являет собой всего лишь путевые заметки, где я позволю себе бегло упомянуть о тех удивительных красотах, кои нельзя обойти молчанием вовсе, и сосредоточусь на наблюдениях над нравами.

Эти предваряющие текст рассуждения отнюдь не соответствовали его подлинным честолюбивым замыслам. Делая выбор между пятью различными названиями, он наконец остановился вот на каком — оно датировано 15 августа 1776 г.: «Путешествие по Италии, или Рассуждения критические, исторические и философические о городах Флоренции, Риме, Неаполе и Лорето, а также дорогах, к сим четырем городам ведущим. Сочинение, целью коего является описание обы-

чаев, нравов, законодательства и т. д., как древних, так и нынешних, исследование подробное и досконалыное, выполненное в духе, в коем до сих пор никто материи сии не описывал» («Voyage d'Italie ou Dissertations critiques, historiques et philosophiques sur les villes de Florence, Rome, Naples, Lorette et les routes adjacentes de ces quatre villes. Ouvrage dans lequel on s'est attaché à développer les Usages, les Mœurs, les formes de Législation, etc., tant à l'égard de l'antique que du moderne, d'une manière plus particulière et plus étendue qu'elle ne paraît pas l'avoir été jusqu'ici»). Издано в Женеве, 1776 г. В одном из отвергнутых названий местом издания была указана Гаага. Если маркиз думал об одном из этих городов (выходные данные чаще всего были фиктивными), значит, он считал книгу слишком опасной, чтобы ее могли согласиться издать во Франции.

Жильбер Лели, впервые опубликовавший «Путешествие по Италии», думал, что у Сада не было времени довести произведение до конца, а Жорж Дома, который переписывал текст (342 печатные страницы в издании 1967 г.), сравнивал его с «кучей мусора или, скорее, с заброшенной стройкой». Для всех «Путешествие по Италии» было книгой неоконченной. Недавно Ксавье де Сад нашел у себя в архиве рукописное дополнение к «Путешествию по Италии», объем которого в пять раз больше, нежели известная до сей поры рукопись. Это величайшее открытие дает новый стимул для исследователей-садоведов и побуждает пересмотреть ряд эстетических и философских положений маркиза, а также его литературное творчество в целом. Жорж Феста посвятил вновь найденной рукописи свою диссертацию.

[58] В письме от 9 апреля 1776 г. г-жа де Сад станет благодарить председательшу за предоставленную сумму:

Дорогая маменька, приношу Вам свои извинения за то, что вовремя не отправила расписку, удостоверяющую получение 1200 франков, переданных Вами для отправки г-ну де Саду. Буду иметь честь переслать Вам расписку, удостоверяющую получение 1800 франков, которые, согласно Вашему извещению, Вы, по доброте своей, ему послали, а он пока не имел возможности сообщить Вам об их получении. Я вновь и вновь благодарю Вас за подобное внимание: Вы умеете затронуть самые глубокие мои чувства; теперь я Ваша должница. Этот Ваш поступок обеспечивает Вам право на мое сердце. А как будет доволен он, узнав, что Вы для него сделали! (АС, НП)

[59] Письмо к г-же де Сад (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 54—55).
[60] Письмо д-ра Мени к маркизу де Саду от 6 февраля 1776 г. (АС, НП).
[61] Письмо к г-же де Сад от 16 июня 1777 г. (АС, НП).
[62] См.: *Sade*. Voyage d'Italie // OC. T. XVI. P. 439 sq.

[63] Ты прекрасно знаешь, я ни разу не разлучался с тобой больше, чем на год, — напишет он Рене-Пелажи 11 февраля 1778 г., — а если ты ради сохранения нашей любви не делаешь того, что делаю в подобном случае я, это станет для меня самым дурным предзнаменованием, ибо тебе известно, что я только ради этого вернулся из Италии, хотя Богу было угодно, чтобы я никогда оттуда не возвращался (АС, НП).

Немного позже он повторит: «Нежные чувства к Вам и к детям заставили меня вернуться, пусть даже на свою погибель» (письмо к г-же де Сад от 16 июня 1778 г.: АС, НП).

[64] Цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 49.
[65] Ibid. P. 50.
[66] Судя по найденному в семейном архиве детальному описанию пути, которое мы воспроизводим ниже, обратная дорога из Неаполя до Куртезона заняла пятьдесят семь дней, из которых тридцать пять пришлось на передвижение, а двадцать два — на остановки.

[Написано рукой Юности:]

Описание пути из Неаполя в Гренобль

Мы выехали из Неаполя в воскресенье, 5 мая; половину дня находились в пути и наконец прибыли в Капую	10
Из Капуи выехали 6 мая, пообедали в Сант-Агате и переночевали на молу Гаэта	1
Выехали из Гаэты 7 мая, обедали и ночевали в Фонди	1
Выехали из Фонди 8 мая, обедали в Террачино, ночевали в Пиперне	1
Выехали из Пиперны 9 мая, обедали в Сермонете, ночевали в Веллетри	1
10 мая провели в Веллетри	1
Выехали из Веллетри, обедали и ночевали в Риме 11 мая	1
Провели в Риме 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 мая	7
19 мая выехали из Рима, обедали в Кастельнуово, а ночевали в Чивита-Кастеллана	1
Выехали из Чивита-Кастеллана, 20-го обедали в Отриколи, заночевали в Нарни	1
21 мая выехали из Нарни, обедали в Терни, а ночевали в трактире, что находится на горе Сомма	1
Выехали из трактира, что на Сомме, 22-го, пообедали в Сполето и переночевали в Фолиньо	1
23-го выехали из Фолиньо, обедали в Серавелле, ночевали в Валеймаре	1
24-го выехали из Валеймары, обедали в Мачерате, ночевали в Лорето	1
Провели в Лорето два дня, 25-го и 26-го	2
Выехали 27-го и отправились в Анкону, где пообедали и заночевали	1
Всего	23
Выехали из Анконы, пообедали в Сенигаллии и переночевали в Фано	1
Выехали из Фано 29-го, обедали в Каттолике, ночевали в Римини	1
Выехали из Римини, обедали в Чезене 30-го, ночевали в Форли	1
Выехали из Форли 31-го, обедали в Имоле, ночевали в Болонье	1
Провели в Болонье 1-е, 2-е, 3-е и 4-е	4
5-го выехали из Болоньи, обедать и ночевать пришлось в Модене	1
Выехали из Модены 6-го, обедать пришлось в Реджо, а ночевать в Парме	1
Выехали из Пармы 7-го, обедали в Борго-Сан-Донино, ночевали в Пьяченце	1
Выехали из Пьяченцы 8-го, обедали в Лоди, ночевали в Мариньяно (Меленьяно)	1
Выехали из Мариньяно 9-го, обедали и ужинали в Милане	1
Провели 10-го числа в Милане	1
Выехали из Милана 11-го, обедать пришлось в Буффалоре, а ночевать в Новаре	1
Выехали из Новары, 12-го пообедали в Сан-Джермано и заночевали в Чильяно	1
Выехали 13-го из Чильяно, обедали в Кивассо, ночевали в Турине	1
Выехали из Турина, 14-го пообедали в Сан-Амброджо, заночевали в Бussолено	1
Выехали из Буссолено, 15-го пообедали в Новалезе, а заночевали в Ланслебурге; в этот день перешли через гору	1
Всего	42
Выехали из Ланслебурга, 16-го обедали в Модане и заночевали в Сен-Жан-де-Морьен	1

Выехали 17-го из Сен-Жан-де-Морьен, обедали в Эгбеле, ночевали в Планезе, в гостинице «Прекрасная трактирщица»	1
Выехали 18-го из Планеза, обедали в двух лье от Туве и ночевали в Гренобле	1
Пребывание в Гренобле	3
От Гренобля до Куртезона, пять дней	5
Всего	53

Общий итог

Пребывание в Неаполе	4
Пребывание в Риме	7
Пребывание в Веллетри	1
Пребывание в Лорето	2
Пребывание в Болонье	4
Пребывание в Милане	1
Пребывание в Гренобле	3
	22

Дни в пути:

Из Неаполя в Рим	6
Из Рима в Лорето	6
Из Лорето в Болонью	5
Из Болоньи в Милан	5
Из Милана в Гренобль	8
Из Гренобля в Куртезон	5
	35

Остановки	22
Дни в пути	35
	57

Счет Луи Шарвена в связи с вышеприведенной таблицей

Согласно договору о найме, подписанному Шарвеном, ему оплачивались все дни до 1 мая, следовательно, на моем содержании он стал находиться с вышеозначенного времени, то есть с 1 мая. С этого времени до 26 июня, дня, когда ему надлежит прибыть к себе, проходит пятьдесят семь дней, что можно проверить как по календарю, так и по прилагаемому списку расходов.

Пятьдесят семь дней по двенадцать ливров в день составляют 684 ливра

В Риме он одолжил мне	240 ливров
Я дал ему наградных или чаевых на сумму	72 ливра
	996 ливров

Шарвен представит этот счет мадам де Сад, и та вручит ему банковский билет на вышеозначенную сумму, которая уже у нее имеется; с этой суммой на руках Шарвен исполнит повеление мадам де Сад и получит свои деньги в сумме 996 ливров точно в назначенное время, а именно 20 июля.

Если он здесь сможет раздобыть для меня семь золотых луидоров, необходимых мне для завершения путешествия, я дам ему письмо к г-ну Гофриди, на основании которого ему по приезде будут выплачены все деньги сразу, а если он доставит мне удовольствие, то я, дабы возместить ему убытки, вместо того чтобы возвращать ему семь луидоров банковскими билетами, составлю вексель на 200 ливров, что для него будет означать получение еще 32 ливров наградных за свою услугу.

[*Написано рукой де Сада:*]

Продолжение пути

От Гренобля до Гапа	2 дня
От Гапа до Систерона	1 день
От Систерона до Сереста	1 день
От Сереста до Ла-Коста	5 дней

(АС, НД).

Глава XIV

[1] Г-жа де Сад сообщила матери, что ее сильно беспокоит Нанон, и попросила мать помочь заткнуть несчастной рот:

Дорогая матушка, Вы правильно делаете, что не дозволяете Нанон отвечать на присылаемые ей письма; не стоит доверять обещаниям этой девицы. Не спросив Вашего мнения, я тем не менее предложила бы Вам направить письмо настоятельнице монастыря в Арле, дабы упрекнуть ее за невыполнение королевского приказа, который, очевидно, не выполняется, раз вышеуказанная девица имеет возможность поддерживать переписку и т. д., и т. п.; это произвело бы большее впечатление, нежели ежедневные рекомендации, кои раздаю я (АС, НП).

[2] После того, как кюре Ла-Коста запретил содержательнице местной школы вести обучение, не имея на то разрешения епископа, и заставил местные власти исполнить свое распоряжение, г-жа де Сад сочла это нарушением своих сеньориальных прав.

[3] Цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 46–47.

[4] Согласно описанию маршрута, сохранившемуся в архиве семьи де Сад.

[5] См.: Mémoire de Treillet. Arch. Bégis // *Lely*. Vie. T. I. P. 588–590.

[6] Письмо г-жи де Сад к Гофриди от 27 декабря 1776 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 59–60).

[7] Письмо маркиза де Сада к Гофриди (Ibid. P. 60).

[8] Ibid. P. 64–65.

[9] См.: *Lely*. Vie. T. I. P. 590. На полях листа, хранящегося в архиве Bégis, возле этой последней фразы рукою Сада приписано: «Если дочь успела вложить ему в руку 12 ливров, значит, у них было время поговорить; следовательно, все, что написано в этих строках, ложь».

[10] Письмо от де Сада к Гофриди, без даты (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 60–63).

[11] BM. Reims. Ms. Collection Tarbé XVIII. Pièce 224, НП.

[12] Письмо де Сада к Гофриди, без даты (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 60–63).

[13] Письмо Муре к Гофриди. Экс, 30 января 1777 г. (см. Ibid. P. 78–79).

[14] Не исключено, что так оно и было, ибо 29 января 1777 г. г-жа де Сад действительно отпустила свою кухарку, выплатив ей причитающееся жалованье, о чем свидетельствует расписка с подписью Катрин Трейе (см.: *Lely*. Vie. T. I. P. 594, n. 1).

[15] Ее похоронили на следующий день, 15 января, на кладбище прихода Сен-Жак-дю-О-Па.

[16] Г-жа де Сад продолжит там жить и после ареста маркиза, о чем свидетельствует адрес на конверте хранящегося в архиве письма, которое маркиз направил ей 8 марта 1777 г. (см. АС). Гостиница эта, располагавшаяся на месте нынешнего дома № 39 по улице Жакоб, скорее всего та самая, где семейство Аншпах, младшая ветвь Бранденбургского дома, в 1772 г. принимало короля Дании Кристиана VII; отсюда и название гостиницы.

Сад описал свой арест 13 февраля в «Алине и Валькуре»; ниже мы воспроизводим этот автобиографический эпизод, предварив его ядовитыми высказы-

ваниями автора против семейства Монтрей и парламента Прованса. Впоследствии будет отмечено, что имя героя созвучно имени Мазан, которым де Сад именовал себя во время путешествия по Италии:

Г-н де Мезан, на которого парламент Экса завел дело, возбудителем коего явилось семейство его жены... и дело это сей парламент, один из самых мудрых, самых неподкупных и самых ответственных в королевстве*, посчитал возможным уладить только посредством длительного заключения г-на де Мезана. Как я уже говорил, г-н де Мезан, коему вот уже несколько лет приходилось скрываться, влекомый *дурацкой чувствительностью*, решил приехать в Париж отдать последений долг умирающей матери; невзирая на опасности, он исполнил свое решение, но стоило ему переступить порог квартиры покойной, как полиция, подстрекаемая семейством его жены, схватила его за шиворот; он стал протестовать... ему рассмеялись в лицо, а потом отправили в Бастилию, где в темной камере он мог *сколько угодно* оплакивать и потерю свободы, и смерть матери, и бессмысленную жестокость родственников. Мне кажется, ежели государство дает нам пример подобного отношения к людям, мы имеем полное право подражать ему.

— О сударь, все, что я сейчас узнал, приводит меня в ужас, — сказал я. — Человек, о котором вы мне рассказали, должно быть, повинен в государственной измене, коли его подвергли подобному обращению.

— Нисколько; конечно, он высмеял кое-кого... не исключено, что даже и короля, что-то там предсказал, совершил какие-то неосмотрительные поступки, свойственные молодости и вполне простительные в двадцать семь лет; словом, он делал все то, что мы делаем ежедневно, но при этом не хотим, чтобы это делали другие.

— В таком случае, сударь, полагаю, вы согласитесь со мной, что заурядное преступление нисколько не заслуживает столь возмутительно жестокого обращения. Добродетель вряд ли выиграет от такого бессердечного наказания, а к количеству неправедных деяний, совершенных государством***, добавится еще один отвратительный поступок.

[17] АС; опубл. в изд.: *Lely*. Vie. T. I. P. 599.

[18] Письмо г-жи де Монтрей к Гофриди от 13 августа 1778 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 121).

[19] Письмо г-жи де Монтрей к Гофриди от 21 января 1777 г. (Ibid. P. 77).

[20] Письмо Рейно к Гофриди от 8 февраля 1777 г. (Ibid. P. 79—80).

[21] Письмо от 6 апреля 1777 г. (Ibid. P. 83).

[22] Письмо аббата де Сада к Гофриди (Ibid. P. 80).

---

* На основании исследования архивов данного парламента за последние сто лет следует, что парламент сей совершил два десятка убийств, подобных убийству Каласа** Во времена Франциска I по его (т. е. парламента. — *Е.М.*) приказу в Провансе было сожжено восемь десятков селений; в ту эпоху активность судей парламента стоила жизни восьмидесяти тысячам человек; за время своего существования он трижды распахивал городские ворота перед врагом; именно он сегодня (1787 г.) стал причиной смуты в провинции. Поэтому нет ничего удивительного, что подобное собрание заслуживает похвал чудовища. — *Примеч. к тексту «Алины и Валькура»*.

** Калас Жан (1698—1762) — протестант, торговец из Тулузы. Его старший сын покончил жизнь самоубийством. Отец, обвиненный в убийстве сына, готового перейти в католичество, был приговорен к колесованию и казнен. При поддержке Вольтера и общественности в 1765 г. семье удалось доказать судебную ошибку и добиться реабилитации Каласа.

*** «Чудовища, способные на такие злодеяния, вы бледнеете при виде вашей жертвы... успокойтесь, она вас прощает; даровать прощение — вот первая радость, кою она вкусила, освободившись от ваших оков» (ОС. T. I. P. 1064—1065).

[23] Письмо г-жи де Монтрей к Гофриди от 25 февраля 1777 г. (Ibid.).

[24] Письмо г-жи де Сад к Гофриди от 19 марта 1777 г. (Ibid. P. 82).

[25] Письмо от [15 февраля 1777 г.] (LML. T. II. P. 101).

[26] AC.

[27] Письмо г-жи де Сад к Гофриди, без даты (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 90).

[28] Письмо к г-же де Сад от 14 [марта] 1777 г. (AC, НП).

[29] Письмо к г-же де Сад [начало января 1778 г.] (AC, НП).

[30] Перепечатанные на машинке и откомментированные Жильбером Лели, опубликовавшим выдержки из них в своей работе «Жизнь маркиза де Сада» («Vie du marquis de Sade»), письма эти никогда не были изданы полностью. Среди них имеется также документ, именуемый «письмом с большими полями» (см. также Приложение XXI наст. изд.).

[31] AC, НП.

[32] Письмо г-жи де Сад к Гофриди от 4 июня 1777 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 86–87).

[33] Письмо г-жи де Монтрей к Гофриди от 3 июня 1777 г. (Ibid. P. 86). Несомненно, председательша намекает на механизмы, предназначенные для насилия, бывшие в большом ходу среди либертенов того времени; Сад описывает их в «Истории Жюльетты»:

Плотские труды распутника (Минского. — *М.Л.*) облегчало одно хитрое приспособление, это было нечто вроде высокого железного стула с неуклюже вывернутыми ножками; на него укладывали жертву лицом вверх или вниз в зависимости от того, какое отверстие облюбовал хозяин; к четырем ножкам стула крепко привязывали четыре конечности жертвы, таким образом, в распоряжении жреца оказывалась широко раскрытая вагина, если девочка лежала на спине, или раздвинутые ягодицы с зияющим отверстием, если она лежала на животе*.

[34] Письмо г-жи де Монтрей к Гофриди от 3 июня 1777 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 86–87).

[35] Письмо г-жи де Монтрей к Гофриди от 20 декабря 1777 г. (Ibid. P. 93).

[36] Двумя днями раньше, 24 сентября 1777 г., г-жа де Монтрей в поисках снисхождения обратилась к де Вержену, министру иностранных дел, у которого также испрашивала аудиенции:

Сударь!

Не имея чести быть знакомой с Вами лично, я тем не менее дерзаю уповать на Ваше правосудие и доброту и полагаю, что Вы благосклонно отнесетесь к ходатайству, кое должно быть представлено королю в его Кассационный совет в ближайшую пятницу; надежду на это представление от имени маркиза де Сада, моего зятя, подал мне г-н Амло. Вам небезызвестна одна из ветвей семьи де Сад, а глава эскадры, носящий это имя, имел честь доставить Вас в Константинополь на борту своего корабля; он, равно как и его брат, прево капитула Сен-Виктор в Марселе, вместе со мной взывают к Вашей доброте, ибо дело это весьма близко их касается. Так как сейчас они отсутствуют, мне поручено представлять их интересы и действовать от их имени, которое также стало именем и моей дочери, и моих внуков. Кто больше матери может быть растроган их несчастьем, кто более заинтересован трудиться ради того, чтобы дело поскорее получило завершение? Их возраст, их невинность, их рождение, их родство с августейшими особами, с принцами крови — все говорит в их пользу; тем более остро чувствуется несправедливость, учиненная по отношению к их отцу.

Прилагаю здесь же, сударь, краткий отчет по делу, где все, от первого слова до последнего, чистая правда. Умоляю проявить благосклонность и даровать мне

* *Маркиз де Сад*. Жюльетта: В 2 т.: Пер. с фр. М., 1992. Т. 1. С. 534.

краткую аудиенцию в пятницу утром, в Версале; тороплюсь вновь воззвать к Вашей доброте и вновь выразить все свои почтительные чувства, кои прошу Вас принять и с коими имею честь, сударь, оставаться Вашей смиренной и покорной слугой.

Масон, председательша де Монтрей

Накануне, 23 сентября, г-жа де Сад представила такое же ходатайство министру:

Сударь!

Многочисленные несчастия, преследующие меня со всех сторон, не позволяют мне предстать перед Вашим взором. Но, оставаясь затворницей, я осмеливаюсь взывать к Вам и, уповая на Вашу доброту, надеюсь, что правосудие восстановит честь и моего мужа, и моих детей, столь несправедливо ошельмованных решением суда, об отмене коего мы сегодня молим, преклонив колени у подножия трона.

Имею честь, сударь, быть почтительнейшей, смиреннейшей и покорнейшей Вашей слугой

Кордье де Монтрей, маркиза де Сад.

Написано в монастыре Кармелиток, на улице Анфер (Ministère des Affaires étrangères. Mémoires et Documents. France 1741. F. 147–152).

[37] «Краткий очерк событий и выдержки из протоколов судебных заседаний, постановления которых оспаривают маркиз де Сад и его семья». Эта записка, представленная адвокатом Симеоном в Кассационный совет, была тщательным образом просмотрена г-жой де Монтрей; на полях остались поправки и уточнения, внесенные ее рукой. Впервые записка опубликована доктором Кабанесом (см.: Cabinet secret de l'histoire: Quatrième serie. P.: A. Maloine, 1900. P. 266–272); оригинал хранится в архиве Министерства иностранных дел Франции (Ministère des Affaires étrangères. Mémoires et Documents. France 1741. F. 148–151); автор также ознакомился с этим оригиналом.

[38] Этот отказ Сад прокомментировал в следующих словах:

Следовательно, Совет не желает отменять решение суда в кассационном порядке. Означает ли это, что дело рухнет само собой от одного лишь моего присутствия, без каких-либо действий со стороны Совета, или же, когда я явлюсь, дело будет слушаться заново? Какие такие препятствия встретило в Совете мое ходатайство? Каковы причины, из-за которых Совет поступил иначе, чем мне было обещано? Если бы он отменил судебное постановление в кассационном порядке, присутствие мое было бы бессмысленным. В своем письме от 5 июля сего года мадам де Монтрей писала, что парламент пожелал, чтобы Совет отменил судебное постановление до того, как дело будет пересмотрено, что совершенно естественно, когда отмена решения суда предшествует пересмотру дела. А что мы имеем сегодня? Откуда столько противоречий в столь важном деле? И не созданы ли они специально, чтобы породить недоверие? («Замечания, размышления и требования, сделанные по случаю дела, о коем сообщил мне г-н Бонту 18 мая 1778 г.», АС, НД, полный текст документа см. в Приложении XI наст. изд.).

[39] См.: *Bourdin*. Op. cit. P. 101–102 (письмо г-жи де Сад к Гофриди от 16 февраля 1778 г.).

[40] Неизданное письмо г-жи де Монтрей к Гофриди (АС, Fonds Bégis, НП; подробней см. Приложение IX, № III наст. изд.).

[41] Согласно арендному договору, заключенному между маркизом де Садом и его дядей 7 марта 1760 г., аббату принадлежала лишь малая часть вещей, находившихся в замке.

[42] Письмо к г-же де Сад от 20 [января 1778 г.] (АС, НП).

[43] Письмо к г-же де Сад [февраль, 1778 г.] (АС, НП).

[44] Письмо к г-же де Сад [март 1778 г.] (АС, НП).

[45] Письмо к г-же де Сад, написанное в начале января 1778 г. (АС, НП).

[46] Письмо к г-же де Сад [март 1778 г.] (АС, НП).

[47] Похоже, идентифицировать загадочного Бонту не удастся. Сведения, сообщаемые о нем маркизом де Садом, крайне противоречивы: сначала маркиз обвиняет своего лакея Альбаре в том, что тот написал ему два письма от имени Бонту, однако сам Бонту эти домыслы решительно опровергает (см. письмо к г-же де Сад от 4 октября 1778 г.: ОС. Т. XII. Р. 164–165). Спустя несколько месяцев Сад – также в письме к жене – заявляет следующее:

Я по-прежнему настаиваю на том, что среди парижских адвокатов нет господина по имени *Бонту*. Мне хотелось бы убедить в этом Симеона, который, желая заставить меня поверить в существование этого мифического господина, привез мне отпечатанный в Париже список имен и адресов всех парижских адвокатов, среди которых я, разумеется, этого имени не увидел. Так что не напоминайте мне более об этой скотине. Если же говорить о неблагодарном субъекте, выступившем в роли этой мрачной скотины, которую мне представили под именем Бонту, то пусть он зовется как ему будет угодно, хоть *Хиварукмарбарбармароксакромминекпанти,* если ему так нравится, мне все равно, только Боже его упаси остаться со мной наедине (письмо к г-же де Сад [от 22 марта1779 г.]: ОС. Т. XII. Р. 195–196).

Свои впечатления о посещении его в Венсенне 18 мая 1787 г. вышеуказанным г-ном Бонту маркиз уже на следующий день изложил на бумаге:

Как утверждает в своем письме мадам де Монтрей, я обязан полностью доверять ее советам. Все, что ее посланец сказал мне и что мне довелось от него выслушать, несомненно, должно служить этой цели. Но сколь неубедительны ее верительные грамоты! Некое лицо, которое я прежде не видел и не знал, некая «Записка» из Экса, которую не хотят мне предъявить, некое письмо, под которым нет ни одной подписи тех, кого я люблю или к кому питаю бесспорное уважение (аббата Амбле. – *М.Л.*), а лишь подпись лица, всегда меня обманывавшего, и даже это письмо не желают отдать мне в руки; еще два послания, присланные мне от имени сего посланца, хотя сам он авторство их отрицает, то есть две ужасные фальшивки, с помощью которых он решил обмануть меня <...>: вот каковы его верительные грамоты; и они хотят, чтобы на их основании я подставил свою голову? Да если бы я поддался на эту удочку, я бы точно заслужил звание сумасшедшего, коего столь упорно добивается для меня г-н Симеон! («Замечания, размышления и требования, сделанные по случаю дела, о коем сообщил мне г-н Бонту 18 мая 1778 г.» (АС, НД; подробнее см. Приложение XI наст. изд.)).

[48] Дегалуа де Латур, шевалье, первый председатель парламента в Эксе.

[49] Приложение XI наст. изд.

[50] Полностью текст этого письма воспроизводится ниже:

Разрешительное письмо для маркиза де Сада,
с надлежащими предписаниями

Мы, Людовик, Божьей милостью король Франции и Наварры, граф Прованский, Форкалькье и прилегающих земель, приветствуем наших возлюбленных и преданных советников Большой палаты нашего парламентского суда в Эксе. Наш дорогой и возлюбленный Луи-Альдонс-Донасьен, маркиз де Сад, довел до нашего сведения, что согласно постановлению, изданному 11 сентября 1772 года каникулярной палатой в Эксе, вышеуказанная палата приказала привести в исполнение приговор, вынесенный заочно 3-го числа того же месяца главным судьей по уголовным делам в сенешальстве Марселя, приговорившим означенного де Сада к смерти на основании имевшихся подозрений в совершении преступлений – отравления и педерастии; однако требуемых законом доказательств этих преступлений не сущест-

вует; к тому же, согласно общественному мнению, во время ведения дела было допущено множество нарушений процедуры, совершены неправильные действия, а потому, пересмотрев дело на суде по всем надлежащим правилам, вердикт того суда, несомненно, должно было бы отменить. Однако со времени постановления 11 сентября 1772 года об исполнении приговора, вынесенного 3-го числа того же месяца, прошло более пяти с половиной лет, а потому для апелляции с целью аннулирования и предания забвению решения того суда ему необходимо предоставить на рассмотрение суда наше разрешительное письмо, кое означенный де Сад смиренно у нас испросил, уповая на наше правосудие и нашу доброту. Желая проявить благосклонность к вышеуказанному маркизу де Саду, мы посылаем Вам это собственноручно подписанное нами письмо, дабы Вы в присутствии Вашего генерального прокурора приняли у вышеуказанного маркиза де Сада это разрешительное письмо и предоставили ему все необходимые для защиты возможности, такие же, какими он мог бы располагать прежде, до вынесения вышеуказанного приговора, произнесенного генеральным судьей по уголовным делам в сенешальстве Марселя в день третьего сентября 1772 г., и оглашения постановления, принятого в каникулярной палате в Эксе вышеуказанного одиннадцатого числа сентября месяца, о приведении приговора в исполнение. И мы, не ставя ему в вину названный приговор и постановление, равно как и то, что он не предстал перед судом в течение 5 лет согласно правилам и установлениям нашего королевства, мы нашей милостивой волею и отпущенной нам полнотой королевской власти дозволяем ему подать ходатайство, при условии, что он вручит Вам настоящее письмо и предстанет перед Вами в течение трех месяцев. Мы желаем, чтобы Вы не направляли вышеуказанного маркиза де Сада к судье по уголовным делам в Марселе; Вы рассмотрите его дело, как если бы оно рассматривалось в первой и последней инстанции. Для этого мы наделяем Вас всеми необходимыми полномочиями, в том числе и теми, коих, по нашему повелению, не имеют иные судьи, а также приостанавливая действие всех прочих законов и ордонансов, этому повелению противоречащих. Настоящим письмом мы освобождаем вышеозначенного маркиза де Сада от внесения денежной суммы штрафа и от уплаты издержек по заочному рассмотрению, приостановив действие имеющих к этому отношение ордонансов и постановлений, однако с той оговоркой, что это не должно создать прецедента. Также мы станем требовать от любого из наших судебных исполнителей по данному ходатайству осуществлять оповещение через суд, составлять бумаги для вызова в суд и прочие акты, кои потребуются и станут необходимы для правосудия, причем действовать по всему нашему королевству, в краях, землях и сеньориальных владениях, нам подчиняющихся, без специального испрашивания на то нашего разрешения, дозволения, одобрения или же указа об исполнении. Ибо такова наша воля.

В год Божьей милостью 1778 и пятый год нашего правления (AN. Op. 1. 305. F. 227, НД).

[51] Письмо г-жи де Сад к маркизу от 22 июня 1778 г. (АС, НП).

[52] Письмо г-жи де Сад к маркизу от 30 июня 1778 г. (АС, НП).

[53] Маркиз ошибочно указывает на субботу (которая приходилась на 18 июня) (см.: *Sade.* Histoire de ma détention // *Lely.* Vie. T. I. P. 648–650). Также известно, что дорожные расходы были полностью оплачены председательшей, о чем свидетельствует расписка, выданная полицейским чиновником Буше:

Получена от мадам де Монтрей сумма в четыре тысячи двести ливров на расходы по препровождению г-на маркиза де Сада в Экс, где состоится процесс, назначенный на основании ходатайства означенного маркиза, добивающегося своего оправдания. Париж, 6 августа 1778 г.

Буше (АС, НД).

[54] См.: *Bourdon.* Op. cit. P. 104–105.

Глава XV

[1] Письмо инспектора Марэ к начальнику полиции Ленуару (BM Reims. Coll. Tarbé XVIII, 222–228).

[2] Письмо командора де Сада к председателю Дегалуа де Латуру от 25 июня 1778 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 106–107).

[3] Письмо командора де Сада к судьям парламента Прованса от 28 июня 1778 г. (Ibid. P. 108).

[4] Благодарим доктора Люка Бельтрандо, любезно передавшего нам оригинал этого письма, полностью воспроизведенного в изд.: *Bourdin*. Op. cit. P. 107, и частично в изд.: *Desbordes J*. Op. cit. P. 189.

[5] Цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 97.

[6] Письмо г-жи де Монтрей к Гофриди от 14 июля 1778 г. (Ibid. P. 108–109).

[7] Маршрут следования восстановлен Жильбером Лели на основании показаний Луи Марэ (см.: Ars. Ms. 12456. F. 797–804) и рассказа самого де Сада, изложившего его в «Истории моего заточения» (см.: *Sade*. Histoire de ma détention. ... P. 627, 643–650).

[8] *Lely*. Vie. T. I. P. 628.

[9] Согласно версии, сообщенной Гофриди маркизом, инспектор Марэ сам облегчил ему побег.

Расставшись с Вами, – пишет Сад адвокату, – мы переночевали в Пон-Сент-Эспри. В первый день спутники мои стерегли меня особенно усердно. На следующий день мы ужинали в Валансе, и я заметил, что, чем дальше мы от Экса, тем больше они теряют бдительность. К концу второго дня инспектор, отвечающий за меня, намекнул достаточно прозрачно, что мое возвращение в Венсенн – всего лишь формальность, и если я захочу сбежать, сумев обставить дело так, чтобы никто не заподозрил между нами сговора, то я волен это сделать; он же со своей стороны организует все необходимые после побега шаги, в том числе и настоящую погоню. Причиною подобного предложения было мое поведение, полностью соответствовавшее тому, кое я должен был иметь после всех несчастий, выпавших на мою долю; разговор этот уничтожил мои последние страхи <...>

(письмо к Гофриди, написанное «18 июля, в восемь часов утра», цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 109–112).

Однако следом за Жильбером Лели мы полагаем, что это письмо, дата которого расходится с указанными событиями, по крайней мере, на двое суток, является плодом вымысла, «специально сочинено» и, по собственному признанию его автора, представляет собой прежде всего «защитительную речь, уловку, призванную обезоружить врагов великодушием, которое он им приписывает» (*Bourdin*. Op. cit. P. 109, note 2). Копии этого письма он отсылает семье, друзьям и, разумеется, г-же де Монтрей, «дабы обезоружить председателя и министра и побудить их проявить великодушие». Таким образом, единственными заслуживающими доверия свидетельствами побега, совершенного маркизом в Валансе, остаются показания инспектора Марэ и «История моего заточения», составленная де Садом в форме автобиографической памятной записки, не предназначенной для чужих глаз.

[10] Согласно показаниям Луи Марэ; см: *Lely*. Vie. T. I. P. 647.

[11] *Sade*. Histoire de ma détention. ... P. 649.

[12] Письмо от маркиза де Сада к Гофриди, без даты (надпись рукой Гофриди на обороте письма: «Получено 18 июля»); цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 109.

[13] АС, НП.

[14] Письмо Рейно к маркизу де Саду от 23 июля 1778 г. (АС, НП).

[15] АС, НП.

[16] Письмо Габриэль Элеонор де Сад к маркизу де Саду от 29 июля 1778 г. (АС, НП).

[17] Письмо Анриетты де Вильнев к маркизу де Саду от 18 августа [1778 г.] (АС, НП).

Моя бедная тетушка, аббатиса монастыря Святого Лаврентия, находится при смерти. Совсем недавно она попросила меня написать и отправить через мою кузину письмо Вам, исполненное добрых слов и пожеланий (письмо к г-же де Сад [написано между 7 и 27 сентября 1778 г.] (ОС. Т. XII. Р. 153–154)).

[18] Речь идет об аббате де Саде, скончавшемся 31 декабря 1777 г.

[19] Письмо сестры Габриэль-Лор, аббатисы обители Святого Лаврентия в Авиньоне, к маркизу де Саду [10 августа 1778 г.] (АС, НП).

[20] АС, НП.

[21] А г-жу де Сад больше всего возмутило, что супружеская измена случилась на ферме, принадлежащей сеньору.

[22] Цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 113.

[23] Письмо маркиза де Сада к Гофриди от 1 сентября 1778 г. (Ibid. P. 124).

[24] АС, НП.

[25] Письмо от Рейно к маркизу де Саду [конец июля – начало августа 1778 г.] (АС, НП).

[26] Спустя четыре года г-жа Бодуэн напомнила о себе в письме, отправленном ею из Нима 12 февраля 1782 г.:

Дорогой маркиз!

Неужели после четырех лет стараний мне вновь не удастся узнать, что с Вами стало? Меня уверяют, что Вас приговорили пожизненно. Если это несчастье не подкосило Вас вовсе, постарайтесь без промедления ответить; я готова к любым известиям, любая новость дорога моему сердцу, она избавит меня от мучений, причиняемых неизвестностью; чрезвычайно хотелось бы знать, что с Вами сталось. Вы не можете отказать мне, ибо любопытство мое продиктовано признательностью и желанием разделить Ваше несчастье или Ваше счастье; с нетерпением жду ответа и остаюсь и буду пребывать всю свою жизнь самым искренним из Ваших друзей. Мой дорогой маркиз, Ваша смиреннейшая и покорнейшая слуга

Дуайан де Бодуэн (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 184).

[27] Это не помешало нотариусу влюбиться в мадемуазель де Руссе, которая с презрением отвергла все его ухаживания. Нам повезло: мы обнаружили переписку между влюбленным нотариусом и насмешливой поклонницей эпистолярного жанра; ниже мы приводим отрывки из нескольких писем, свидетельствующих об установившихся между ними отношениях:

От мадемуазель де Руссе к Гофриди
12 числа сего года (1778. – *М.Л.*)

Можете писать мне, когда Вам заблагорассудится: днем рассказывайте о своих бедах, а ночью пересказывайте свои сны. На первые я стану отвечать, что Вы сошли с ума, а на вторые – пожелаю спокойного сна. А собственно говоря, чего еще Вы хотите? Советов? О! Разумеется, я согласна раздавать советы, но черт меня побери, ежели в Вашем случае возможно дать хотя бы один, ибо, на мой взгляд, даже самый умелый портной не сошьет красивое и удобное платье из дурной ткани. Так какого же черта Вы хотите от меня? Не могу и не хочу писать длинное письмо, ибо мелочей оказалось бы слишком много, да еще противных, досадных и... Прошу Вас, оставьте меня в покое... Я действительно Ваш друг, хотя и с некоторыми оговорками. Настоящим другом меня может считать кое-кто другой, хотя, быть может, я и ошибаюсь. Но оставим это <...>.

От мадемуазель де Руссе к Гофриди
[ноябрь 1781 г.]
Вы были неправы, сударь, отказавшись выспаться в моей кровати: какие замечательные мысли, какие прекрасные сны, какие сладостные чувства Вы бы испытали! Если бы Вы приняли мое предложение, то сейчас были бы с нами, ибо такова добродетель и чародейство, которые я оставляю после себя в тех кроватях, где доводится спать шесть недель подряд. Ах, бедная мадам Гофриди, как мне было бы жаль Вас, если бы Вы побывали здесь! Ведь если бы Вы вздумали приревновать меня, возможно, Вы бы не слишком заблуждались. Нельзя же вечно преодолевать желания. Когда Ваш муж рядом со мной, я думаю о посте или о воздержании не больше, чем о [слово неразборчиво]; совершенно верно, Вы поступили бы так же. Да, так же, несмотря на все Ваши достоинства. Вам известно, что все его мелкие страстишки одолевают его так же неудержимо, как желание чихнуть; двое безумцев способны на многое. Кто из нас двоих более способный? Думаю, не нам судить о нас самих. Непогрешимая и очаровательная Готон, придите к нам на помощь! Это дело в Вашей компетенции. Решите, кто из двоих более сошел с ума и более влюблен: г-н Гофриди или я. Видите, вот какова моя преамбула, она вовсе не двусмысленна. Вы также можете посмотреть и решить, любят меня или нет. Кто более сошел с ума, вот к чему сводится весь вопрос.

От Гофриди к мадемуазель Руссе
Апт, 1 декабря 1781 г.
Это моя вина, и я должен быть наказан. Я сунулся в воду, не зная броду; это непростительно; я пошел запросто, я сказал то, что думал, прислушиваясь только к голосу девицы Природы. Вы смеетесь надо мной, парите над моими простыми и наивными словами, смеетесь над ними. Что ж, тем хуже для меня, я это заслужил. Откуда столько искренности в моем возрасте, при всем том опыте, который мне довелось приобрести, который я должен был бы накопить? Смейтесь же опять над моим письмом, издевайтесь над ним! В Ла-Косте я сумею отомстить, а так как Вы имели неосторожность определить меня в судьи, я проучу Вас, доказав, что нельзя играть с чувствами томных воздыхателей. Я черпаю свои суждения из постановлений древних судов любви, некогда известных во всем Провансе: я стряхну пыль с книг, стоящих у меня в библиотеке, отыщу в них соответствующие прецеденты и стану судить и мстить, как велят нам предки, и уверен, насмешкой дело не ограничится. По крайней мере, в тех книгах не сказано, что дозволено оскорблять воздыхателя и насмехаться над ним. Можно обороняться, приносить извинения за невозможность ответного чувства, но никогда не следует забывать о чувстве признательности (частное собрание, НП).

[28] Цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 119.

[29] Письмо к г-же де Сад [написано между 7 и 27 сентября 1778 г.] (ОС. Т. XII. Р. 153–154).

[30] Письмо от г-жи де Сад к Гофриди [написанное между 1 и 17 сентября 1778 г.] (ОС. Т. XII. Р. 153–154).

[31] Письмо от 27 июля 1778 г. (Ibid. P. 114).

[32] Ibid. P. 112. Хотя даты на письме нет, оно должно быть написано после письма от 27 июля, цитированного выше.

[33] Письмо г-жи де Монтрей к Гофриди от 1 августа 1778 г. (Ibid. P. 116).

[34] Письмо г-жи де Монтрей к г-же де Сад от 13 августа 1778 г. (Ibid. P. 121).

[35] Письмо маркиза де Сада к Гофриди от 8 августа 1787 г. (Ibid. P. 118).

[36] В Ла-Косте и окрестных деревнях издавна разводили шелковичных червей.

[37] Письмо к г-же де Сад [написано между 7 и 27 сентября 1778 г.] (ОС. Т. XII. Р. 158).

[38] Эта должность перешла к графу де Саду д'Эгийеру несколько месяцев

назад, так как оригинал приказа о новом назначении с подписью Людовика XVI и Амло датирован 30 апреля 1778 г. (см.: АС, НД). Протеже принца Конде давно стремились получить эту должность, пребывавшую вакантной с самого 1773 г.; министров торопили принять решение, кому ее пожаловать. Желая сохранить должность за де Садом, председательша совершила буквально невозможное, «уповая на скорую отмену вердикта суда и законного оправдания г-на де Сада». Она дошла до Морепа и Амло, министра королевского дома и союзника Монтреев. И все же ответ был не совсем такой, какого ей хотелось:

<...> *даже если дело примет достаточно положительный оборот, на который она рассчитывает и которого ей желают, нет никакой возможности и никаких оснований продолжать тешить себя надеждой на сохранение этой должности за г-ном де Садом или его детьми*, но, желая уладить дело миром, она вполне может рассчитывать на передачу должности кому-либо из членов семьи. <...> Все понимали, что нельзя терять ни минуты, а потому предложили кандидатуру графа де Сада д'Эгийера. Граф носит то же имя, принадлежит к тому же роду, и таким образом можно было предъявить публике незапятнанное имя де Садов. Второго числа прошлого мая месяца король предоставил соискателю искомую должность (письмо к Гофриди, цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 116–117).

[39] Письмо к Гофриди от 1 сентября 1778 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 123). В письме к жене, написанном между 7 и 28 сентября, Сад, сетуя об утраченной им должности, вполне сдержан:

Вы сообщили о продаже моей должности; для меня это сильнейший удар, я даже представить себе не мог столь ужасного развития событий, да еще накануне того дня, когда мне готовятся нанести удар еще более страшный; но хотя я и лег спать опечаленный, тем не менее почувствовал в себе новые силы для борьбы (ОС. Т. XII. Р. 155).

[40] Отрывок из письма мадемуазель де Руссе к г-же де Монтрей от 28 августа 1778 г., которое, в свою очередь, г-жа де Монтрей цитирует в своем письме к Гофриди от 15 сентября того же года (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 126). Намек Марэ на «мертвые тела» – дань слухам, распространившимся после постановки мрачной пьесы Дюплан. Председательша разделяет возмущение свидетелей не поддающимся объяснению поведением Марэ; но прежде всего ее беспокоит, откуда Марэ в курсе столь жутких секретов.

Хотя бы намекните мне, – просит она Гофриди, – говорил ли Вам Марэ во время Вашей с ним встречи в Эксе об этих вещах и через кого он мог о них узнать. Все это мне кажется крайне странным. 28 августа девица Руссе написала мне, что г-н М<арэ> кричал ему при аресте: «Отвечай, отвечай, несчастный, иначе тебе придется коротать век в темном сыром подвале, в подземной темнице, такой же, как у тебя в замке... где... где... где... нашли ме<ртвые> тела!» Он вполне мог это сказать, ибо слухи о подземной темнице ходят давно, тем более что в качестве свидетелей называют каноника Видаля, кюре, консула и жандармов. Вероятно, он был пьян, а, значит, дискуссия о том, что в его речах правда, а что ложь, смысла не имеет. И все же делать такие заявления в подобных обстоятельствах непростительно. Я с горечью узнала об этом происшествии, мы тщательно проверим, в каком он был состоянии, и если он действительно был пьян и сказал то, что сказал, он будет наказан, поскольку нарушил свой долг, подвергнув арестованного оскорблениям, а также забыв про умеренность, рекомендованную министром, поручившим ему исполнение королевского приказа <...> (Ibid. P. 126–127).

Марэ действительно получит взыскание от начальства, и ему не возместят дорожные расходы.

[41] «Более всего меня опечалило, — напишет маркиз жене, — что именно в это время моя бедная тетушка, аббатиса монастыря Святого Лаврентия, отдавала Богу душу» (письмо к г-же де Сад, [написанное между 7 и 28 сентября 1778 г.]: ОС. T. XII. P. 159). Узнав об аресте племянника, престарелая монахиня испытала больше удивления, чем горечи. На следующий день она написала Гофриди:

Я только что узнала, что вчера был арестован мой племянник. Будьте столь добры, сударь, сообщите все подробности этого дела, кое, естественно, не может меня не затронуть; впрочем, оно нисколько меня не удивило. Побег его не был рядовым поступком; после пересмотра дела следовало ждать отмены королевского приказа об аресте без суда, полного аннулирования этого приказа. <...> Меня заверили, что племянник живет тихо в Ла-Косте и ни в чем предосудительном не замечен; письма его также свидетельствовали о его достойном поведении, однако я им не верю, ибо привыкла, что слова его всегда прекрасны, но лживы и не соответствуют ни его поведению, ни тем последствиям, которые они имеют (письмо от 26 августа 1778 г. (скорее всего, в дате ошибка — от 27 августа. — *М. Л.*), цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 122)).

[42] Письмо к г-же де Сад [написанное между 7 и 28 сентября 1778 г.]: ОС. T. XII. P. 152. На следующий день после ареста маркиза г-н Кино из Авиньона, у которого де Сад нашел пристанище после своего побега, писал Гофриди:

Авиньон, 27 августа 1778 г.

Сударь!

С глубокой печалью я узнал, что г-н де Сад сегодня утром был арестован и препровожден в Париж. Я тотчас отправился в гостиницу в надежде повидаться с ним, когда он остановится там по дороге, однако надежды мои были напрасны. Позавчера его арендатор передал мне письмо от него, где он сообщал, что вокруг его жилища рыщут подозрительные личности. Он просил разузнать что-нибудь на сей счет. Однако было поздно: когда я получил это письмо, несомненно, полиция уже прочесала окрестности его замка; тем не менее я не терял надежды что-нибудь узнать. Все собранные мною сведения я передал с его арендатором, который сегодня утром должен вернуться в Ла-Кост и которому я передал посылку, содержащую шесть локтей желтой материи, стопку голландской бумаги и шесть палочек сургуча; но так как посылка эта теперь без надобности, прошу переправить ее обратно, я отдам содержимое торговцам, те заберут его, и мне не придется выбрасывать деньги на ветер. Обращаюсь к Вам совершенно конфиденциально. Так как я не помню имени побывавшего у меня арендатора, то надеюсь, что эту любезность окажете мне Вы.

Еще скажу, что, когда г-н де Сад был в Ла-Косте, он передал мне кусок веерной бумаги, попросив натянуть ее на спицы, дабы получился зонтик; на это он предполагал потратить 30 ливров. Через Кавайона он сообщил мне, что, исполнив это поручение, мне надо отослать зонтик мадемуазель Руссе в Сен-Сатюрнен. Но мне кажется, что тот, кому я поручил изготовить сей зонтик, не выполнил поручения как должно, поэтому прошу сообщить мне, находится ли мадемуазель Руссе в настоящее время в Сен-Сатюрнене. Прошу Вас также вернуть мне письмо, написанное мною г-ну де Саду и отправленное вместе с посылкой; коли Вы исполните сию просьбу, я стану Вашим вечным должником. Я рад, что предоставился случай засвидетельствовать Вам живейшую мою привязанность.

Располагайте мною, давайте любые поручения, исполнение которых, на Ваш взгляд, мне удается особенно хорошо, и Вы навсегда сделаете Вашим должником того, кто воистину имеет честь, сударь, быть Вашим смиренным и покорным слугой.

Кино-сын (частное собрание, НП)

[43] Четвертого ноября Гофриди приступит к составлению данной описи. Жильбер Лели опубликовал обширные выдержки из нее (см.: *Lely*. Vie. T. I. P. 262 sq.).

[44] Письмо г-жи де Сад к мадемуазель де Руссе от 7 сентября 1778 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 125).

[45] Письмо от 5 сентября 1778 г. (см.: Ibid. P. 124–125).

[46] Письмо мадемуазель де Руссе к Гофриди от 27 ноября 1778 г. и письмо г-жи де Монтрей к нему же от 8 декабря (Ibid. P. 128–130).

[47] Письмо мадемуазель де Руссе к Гофриди от 27 ноября 1778 г. (Ibid. P. 129).

[48] АС, НП.

[49] Анриетта де Вильнев, монахиня монастыря Святого Лаврентия в Авиньоне.

[50] Письмо от 29 апреля 1779 г. (АС, НП).

Глава XVI

[1] Сад очень любил собак; в Ла-Косте у него было много собак; вспоминают и о его привязанности к двум легавым щенкам в Миолане, «один из которых совершенно черный, а другой – черный с белым». Упомянув об этом пристрастии де Сада, Ролан Барт замечает: «По какому такому закону морали (или, что еще хуже, закону мужской силы) величайший ниспровергатель устоев не имел права на маленькую слабость – привязанность к животным?» (*Barthes R.* Sade, Fourier, Loyola. P., [s. d.]. P. 184).

[2] *Sade*. Monsieur le 6. ... P. 83.

[3] Мирабо, заключенный в Венсеннскую крепость в одно время с Садом, так описывает эту знаменитую прогулку:

> Счастливчики (коих крайне мало) получили дозволение час в день прогуливаться в тюремном саду, имеющем тридцать шагов в длину; компаньоном их является только тюремщик <...>. Узник и его страж идут рядом; если арестант заговорит, страж не имеет права ему отвечать. Если раздается звонок, значит, пора возвращаться в камеру. Сторожу подобные прогулки претят, потому крайне сложно добиться разрешения на увеличение их числа или продолжительности. К тому же Ружмон посчитал возможным доверить одну из должностей тюремщика своему лакею, и тот теперь исполняет ее против собственной воли, продолжая нести лакейскую службу, а потом не имея времени исполнять и половины своих обязанностей, отчего два его товарища перегружены работой. Впрочем, гуляющие и их сторожа вполне могли бы не смущать друг друга, ибо сад со всех сторон просматривается тюремными привратниками, высота окружающей стены равна пятидесяти футам, а по другую ее сторону находятся уже описанные мною рвы, и таким образом несчастный, получивший дозволение на прогулку, не сможет преодолеть ни один из этих барьеров, если только какой-нибудь добрый ангел не одолжит ему своих крыльев (*Mirabeau*. Des lettres de cachet et des prisons d'Etat.: Ouvrage posthume compose en 1778. Hambourg; [Paris], 1782. P. 53–54).

[4] *Sade*. Monsieur le 6. ... P. 83.

[5] Мы нашли записи портного Карлье, сделанные им в 1778–1784 гг., где указано, какую одежду он поставлял маркизу:

1778 г.	*12 мая*	штаны из этамина розового цвету;
	2 сентября	фрак орехового цвету, обшлага зеленые, на шелковой подкладке, и штаны из тонкого черного сукна;
	2 октября	ночная кофта из белого ратина;
	26 октября	штаны черные из хлопчатого бархата;
1779 г.	*29 апреля*	серый полотняный жилет;
	7 мая	штаны из черной римской саржи;

	16 июня	ратиновый сюртук блошиного цвету, с отделкой трилистниками;
	13 июля	жилет с полотняными рукавами из тонкой хлопчатой ткани;
	24 октября	ратиновый сюртук коричневого цвету и шесть ночных кофт с рукавами из тончайшего полотна;
	4 ноября	ночная кофта из белого ратина с рукавами;
1780 г.	*15 апреля*	штаны черные прюнелевые;
	13 октября	жилет и штаны из пикейного миткаля и жилет из белого ратина;
1781 г.	*12 мая*	сюртук шерстяной, куртка и штаны из хлопчатого сукна;
	22 октября	сюртук ратиновый угольного цвету, жилет и штаны миткалевые и штаны цвета иммортелей;
1782 г.	*16 июля*	сюртук суконный цвету светло-коричневого;
	6 августа	12 ночных кофт из тонкого хлопкового полотна;
	30 сентября	жилет и штаны миткалевые и жилет белый ратиновый;
	23 ноября	сюртук коричневый ратиновый и штаны из черной римской саржи;
	декабрь	второй сюртук из темно-коричневого ратина, цвету как у миноритов;
1783 г.	*13 октября*	жилет и штаны миткалевые набивные;
	13 января	штаны из черной римской саржи;
	19 апреля	штаны атласные английского фасона (АС, НД).

[6] В качестве примера приводим счета, найденные в семейном архиве и прежде не публиковавшиеся:

Список расходов, сделанных Лавизе,
тюремщиком в донжоне Венсеннского замка, для
узника камеры № 6

1783 г.	*2 ноября*	за груши	1 ливр	4 су
	7-го	за груши	1 ливр	2 су
		за стопку бумаги	7 ливров	
	9-го	за печеные яблоки		12 су
	12-го	за груши		10 су
	13-го	за фаянсовое блюдо	1 ливр	10 су
		за две порции паштета		10 су
		за четыре маленьких пирожных		18 су
	5 декабря	за два фунта пудры	1 ливр	4 су
		за стопку серой бумаги		7 су
	24-го	за кусок кровяной колбасы и сосиски	1 ливр	8 су
1784 г.	*5 января*	за два фунта пудры	1 ливр	
	6 января	за сладкое мясо	1 ливр	
	10-го	за четыре маленьких пирожных	1 ливр	4 су
		за сотню булавок		8 су
	15-го	за два листа мраморной бумаги		4 су
	18-го	за стопку серой бумаги		7 су
		за четыре маленьких пирожных	1 ливр	4 су
	22-го	за два горшочка из темного фаянса и одну миску	1 ливр	14 су
	9 февраля	за окорок весом в двенадцать фунтов	12 ливров	
		комиссионные расходы		8 су
	10-го	за починку 6 пар чулок и 2 рубашек	1 ливр	4 су
	19-го	за сотню булавок		4 су
	23-го	за стопку серой бумаги		7 су

Расходы на портного

1783 г.	*28 октября*	за два с половиной локтя ратина, за ночную кофту с рукавами из материи по 6 ливров	15 ливров	
		за бумазею для отделки		15 су
		за крой	2 ливра	10 су
		за пол-локтя с полчетвертью зеленого мельтона по 5 ливров	3 ливра	12 су
	15 декабря	за починку штанов из римской саржи		5 су
1784 г.	*8 января*	за починку миткалевых штанов	1 ливр	8 су
1784 г.	*8 января*	за пару башмаков	3 ливра	10 су
			61 ливр	6 су

[рукой Сада приписано:] Настоящий счет закрывается на шестидесяти одном ливре шести су.

Де Сад (АС, НД)

В Бастилии его поручения берется исполнять повар Франсуа, о чем свидетельствует счет, написанный рукой маркиза:

За последнюю зиму, мой дорогой Франсуа, истрачено:

на 13 порций печеных яблок по 6 су, за мой счет,	3 ливра	18 су
Также на 6 порций груш по 8 су, за мой счет,	3 ливра	4 су
Также на 5 порций свежих яблок по весне, которые я с Ваших слов записал по 30 су каждое, за мой счет,	7 ливров	12 су
Всего	14 ливров	12 су

К этой сумме присоединяю сумму в пятнадцать ливров 8 су, которые попрошу жену вручить Вам за заботы и усердие, кои Вы по собственной воле положили себе за труд исполнять, что в целом составит тридцать ливров; она и вручит Вам их по предъявлении сей записки, когда Вам будет угодно это сделать (АС, НД).

[7] Записки, в которых де Сад приказывает жене расплатиться за сделанные для него покупки, выглядят следующим образом:

1780 г.	*12 января*	37 ливров	6 су
1781 г.	*1 февраля*	27 ливров	10 су
1781 г.	*17 июня*	51 ливр	8 су
1781 г.	*16 сентября*	55 ливров	7 су
1781 г.	*12 декабря*	88 ливров	9 су
1783 г.	*8 февраля*	37 ливров	6 су
1783 г.	*28 февраля*	61 ливр	6 су
1783 г.	*31 августа*	5 луидоров	
1783 г.	*12 ноября*	65 ливров	1 су
1785 г.	*16 октября*	72 ливра	13 су

(АС, НД)

[8] *Mirabeau.* Op. cit. P. 13–16.

[9] Письмо к г-же де Сад [от 20 ноября 1782 г.] (LML. T. III. P. 119).

[10] Письмо к г-же де Сад [декабрь, 1782 г.] (LML. T. III. P. 124).

[11] Письмо к г-же де Сад от 9 [мая 1779 г.] (LML. T. I. P. 61).

[12] Письмо к г-же де Сад [от 15 июня 1783 г.] (LML. T. III. P. 147).

[13] Сохранились бланки счетов с фирменной шапкой кондитера, являвшегося поставщиком г-жи де Сад (АС, НД):

У СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

Улица Ломбар, третья кондитерская налево,
если идти со стороны улицы Сен-Дени

Ленуар, кондитер, постоянный поставщик
двора Его Величества

Изготовляет и продает всевозможные драже и варенья; сласти для крестин; шоколад, королевскую лакрицу для приготовления рома, сахарные букеты, букеты из сластей, а также анисовые водки для десерта. И все, что положено изготовлять кондитеру

[14] Письмо к г-же де Сад [от 2 декабря 1779 г.] (ОС. Т. XII. Р. 225–228).

[15] Родившийся в 1725 г. в Блене, что неподалеку от Льежа, и скончавшийся в Париже в 1802 г., Анри Гранжан был сыном хирурга. Медицину изучал в Париже, под руководством окулиста Давьеля специально занимался глазными болезнями. При Людовике XV получил звание королевского хирурга-окулиста; при Людовике XVI упростил операцию катаракты и первым извлек хрусталик, не трогая его оболочку. Его брат, Гийом Гранжан (1730–1796), также занимался операциями на глазах. Антуан-Пьер Демур (1762–1836), сын знаменитого Пьера Демура, в будущем окулист Людовика XVIII и Карла X, впервые провел хирургическую операцию по формированию зрачка, что вернуло зрение нескольким слепорожденным. Автор труда «О глазных болезнях» (см.: *Demours A.-P.* Traite des maladies des yeux: En: 3 vol. P., 1818).

[16] Письмо к г-же де Сад [от 4 марта 1783 г.] (LML. Т. III. Р. 128–130).

[17] О докторе Лакосте известно, что он был врачом графа Артуа и жил на «улице Нев-дю-Люксамбур, возле заставы, в доме каретника, квартал Сент-Оноре». Рафаэль-Бьенвеню Сабатье (1732–1811), в 21 год получивший звание доктора медицины, хирург при Дворце инвалидов, затем член Академии наук (1733) и королевский цензор, он стал профессором медицинского факультета в Париже, членом Французской академии, а при Наполеоне получил должность хирурга-консультанта. Автор многочисленных трудов, среди которых наиболее значительным считается работа по оперативной хирургии (см.: *Sabatier R.-B.* De la medecine operatoire: En: 3 vol. P., 1796).

[18] LML. Т. I. Р. 466–467.

[19] Письмо к Лабори [август–октябрь 1786 г.] (LML. Т. II. Р. 471–472).

[20] Мы воспроизводим документ полностью:

СЧЕТ ЗА ЛЕКАРСТВА, ПОСТАВЛЕННЫЕ Г-НУ МАРКИЗУ ДЕ [САДУ] МНОЮ, ФОНТЕЛЬО, СТАРШИМ ВРАЧОМ ЗАМКА И ДОНЖОНА ВЕНСЕННСКОЙ КРЕПОСТИ

Поставлено:
1783 г.
Октябрь

	6-го: полбутылки камфарного спирту	1 ливр	4 су
	20-го: того же	1 ливр	4 су
	24-го: того же	1 ливр	4 су
Ноябрь			
	9-го: полштофа того же	– // –	
	26-го: того же	– // –	

Декабрь

8-го: баночку бальзама Фиораванти*	2 ливра	8 су
за услуги		15 су

1784 г.
Январь

9-го: бутылка камфарного спирту	2 ливра	8 су
10-го: мазь-бальзам	3 ливра	
16-го: полбутылки камфарного спирту	1 ливр	4 су
23-го: капли по предписанию Гранжана	2 ливра	

Февраль

9-го: пузырек сиропа из алтейного корня	1 ливр	10 су
в течение ста семидесяти двух дней ежедневно поставлялось молоко и производилось *бритье* по оговоренной цене в 12 су; всего получилось	103 ливра	4 су

[После пересчета рукой маркиза начертано:]

Всего	123 ливра	13 су
Уплачено	37 ливров	13 су

(реальная стоимость того, что выставлено в счет)

Остаток: .... 86 ливров лишних; для ошибочной сумма эта кажется мне весьма существенной, так что вряд ли меня станут порицать за то, что я решил все перепроверить! См. на обороте листа.
[Внизу счета рукой мадам Фонтельо приписано:]
Получила в качестве аванса по предъявлении настоящего счета тридцать семь ливров.

Вдова Фонтельо

На обороте рукою маркиза приписано:

ЗАМЕЧАНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СЧЕТУ

Начиная с 13 сентября 1783 г. была лишь одна одноразовая поставка молока, о которой мы только что говорили, поэтому ни о каком договоре о 12 су в день за молоко не может быть и речи (тем более что я не пил этого молока). Следовательно, необходимо разделить оба предмета, вставленные в счет вместе, и исключить молоко, коего не существует. Поэтому считать следует так, и только так:

с 13 сентября 1783, то есть с того дня, когда старый счет закрывается и открывается новый:

24 бритья по четыре су, всего .... 4 ливра 16 су

за время *фруктовых* месяцев потребление сладостей обходится мне не более двух ливров в месяц, а в другие месяцы — по одному ливру в месяц; Лавизе может это подтвердить. Также я тщательно отмечал, когда совершал оплату помесячно. Соответственно, речь идет об оплате сладостей за два *фруктовых* месяца — сентябрь и октябрь, соответственно, о четырех ливрах и о четырех ливрах на сладости на следующие четыре месяца, что вместе составит 8 ливров; положим еще на удорожание 24 су, хотя на деле вряд ли оно превысит 22 су; во всяком случае, прибавим эту цифру — и получим всего: .... 9 ливров 12 су

---

* Бальзам Фиораванти — бальзам итальянского врача-самоучки и алхимика XVI в. Леонардо Фиораванти, состоявший, по словам изобретателя, из экстракта смолы лиственницы, гальбана, живицы, ладана, мирра, алоэ, козлятника, левкои, окопника, корицы, цитварного корня, имбиря, левантского мускуса и амбры. Все субстанции тщательно измельчались, а потом смешивались с небольшим количеством оливкового масла. Смесь настаивали на очищенной водке и затем дистиллировали.

Бальзам Фиораванти	2 ливра	8 су
Услуги		15 су
Капли по рецепту	2 ливра	
Во время насморка в феврале г-н Фонтельо доставлял мне то пинту, то полторы молока; распределим это молоко по две пинты на день, чтобы не ошибиться, — и получим всего	6 ливров	8 су
Мазь-бальзам	3 ливра	
Сироп из алтейного корня во время насморка	1 ливр	10 су
Коли г-н Фонтельо желает, мы разольем камфарный спирт в шесть полбутылей, и, разумеется, я его не использовал. 84 ливра, возникшие при подсчетах, являются совершеннейшим вымыслом, и вот доказательство моей правоты: 2 или 3 февраля у Лавизе заболела нога, и я предложил ему полбутылки камфарного спирту, которая у меня оставалась, ибо я уже давно им не пользовался. Он взял его и, разумеется, обратно не вернул. Он может это подтвердить. Итак, шесть полбутылок камфарного спирту по 1 ливру 4 су за полбутылки — всего	7 ливров	4 су
Итого	37 ливров	13 су

Помимо ошибки, а также замечаний, которые может высказать мне г-н Фонтельо, к коим обещаю отнестись с величайшим вниманием, я готов пересчитать все вновь, если вышеуказанный господин найдет рассуждения мои несправедливыми, хотя сам я уверен в их точности. Следовательно, уплатить по этому счету следует сумму в тридцать семь ливров тринадцать су, кои я и прошу жену мою выплатить.

Де Сад (АС, НД).

[21] Цит. по *Lely*. Vie. T. II. P. 69.

[22] Если верить письму Мирабо к де Ружмону от 28 июня 1780 г. (BM. Reims. Ms. Coll. Tarbé, XVIII, 222–228). Не в первый раз Мирабо разоблачает де Сада перед властями. Уличенный в похищении и соблазнении, заочно приговоренный к смерти и заочно же казненный (как и Донасьен), сей «благородный либертен» был заключен в Венсенн 8 июня 1877 г., в возрасте двадцати семи лет. Не зная, что его соседом по крепости является его «кузен», он 1 января 1778 г. написал начальнику полиции Ленуару:

Во Франции есть множество негодяев, прославившихся своими омерзительными преступлениями; для них пожизненное заключение является поистине милостью, дарованной добрым нашим монархом скрепя сердце и исключительно из расположения к их семействам. Так вот, говорю я, множество негодяев подобного рода заключены в тюрьмы, где у них есть возможность пользоваться своим состоянием, они окружены весьма приятным обществом и могут приобретать всевозможные средства против неудобств своего положения и скуки, неотъемлемых спутников жизни в заточении. <...> Стоит ли мне называть имя одного из них, пусть даже и собственного родственника? А почему бы и нет? Ведь стыд — чувство сугубо личное. Маркиз де Сад был дважды приговорен к смертной казни, из них второй раз — к четвертованию заживо; маркиз де Сад был казнен заочно; маркиз де Сад, чьи сообщники окончили свои дни на колесе, чьи проступки вызывают чувство возмущения даже у самых закоренелых негодяев; маркиз де Сад имеет чин полковника, бывает в свете, вернул себе свободу и наслаждается ею, если только какое-нибудь новое преступление не лишит его оной. <...> Вы наверняка станете порицать меня, сударь, если я опущусь до сравнения г-на де Рейли, г-на де Сада и меня; однако в ответ я задам простой вопрос: в чем моя вина? Разумеется, я совершил немало ошибок; но кто посмеет упрекнуть меня в нарушении законов чести? <...> Меж тем как отлично мое положение от положения тех чудовищ, имена которых я только что упомянул! (Lettres originales de Mirabeau écrites du donjon de Vincennes pendant les années 1777

a 1780 et contenant tous les détails de sa Vie privée, ses malheurs et ses amours avec Sophie de Monier, recueillies par P. Manuel, citoyen francais: En: 4 vol. P.: Garnery, 1792. T. II. P. 1–5).

На следующий день после случившегося Мирабо поделился своими впечатлениями от ссоры с де Садом с полицейским чиновником Буше:

Вчера я подвергся нападкам со стороны г-н де Сада, и, как вы догадываетесь, без малейшего повода с моей стороны; весь донжон был возмущен поведением сего господина, наговорившего мне кучу всяких гадостей. В наиболее из приличных своих тирад он назвал меня подстилкой де Р<ужмона> и утверждал, что я вступил с ним в противоестественную связь исключительно ради разрешения на прогулки, коих он, де Сад, лишен. В конце концов он спросил, как мое имя, дабы, как он выразился, потом, *на свободе, отрезать мне уши.*

Терпение мое лопнуло, и я ответил ему: «Мое имя — имя честного человека, который никогда не резал и не отравлял женщин; имя свое я напишу на вашей спине ударами своей трости, если только Вас раньше не колесуют, но можете быть уверены: увидев Вас на Гревской площади, я не стану надевать траур».

Он умолк и с той поры не осмеливается разевать пасть в моем присутствии. Если Вы считаете нужным пожурить меня, журите, но, Бог мой, издалека легко советовать быть терпеливым, на деле же весьма печально пребывать под одной крышей с таким вот монстром (L'Amateur d'autographes. 1909. Mars; *Apollinaire G.* L'Œuvre de marquis de Sade. P., 1909. P. 12).

Мирабо дважды намекает на свое родство с Садом. Действительно, они родственники, только очень дальние. В декабре 1551 г. некий Жан де Сад, предок Донасьена, женился на Сибилле де Жарант, дочери Клода де Жаранта, сеньора де Сенас, советника парламента Прованса, и Маргариты де Понтевес. А 27 сентября 1620 г. Тома де Рикетти, предок Мирабо в десятом колене, женился на Анн де Понтевес, дочери Помпея де Понтевес, прозванного Большим, сеньора де Бюу, и Маргариты де Лабом де Сюз. Это единственная линия родства, которую нам удалось проследить, сравнив оба генеалогических древа наших маркизов. Но если их кровное родство действительно весьма отдаленно, то в близком родстве их умов сомневаться не приходится; об этом родстве говорилось столь часто, что нет необходимости к нему возвращаться. Несомненно, все запомнили, что оба пылко исповедовали эротизм как в личной жизни, так и в своих сочинениях. Однако Сад презирал в своем «кузене» и человека, и писателя.

Все остальные найденные нами книжонки являли собой образчики тех удручающих и куцых памфлетов, какие встречаются в дешевых тавернах и публичных домах и обнаруживают скудость ума сочинителей — балаганных шутов, подстегиваемых голодом и ведомых шершавой рукой дешевой музы бурлеска. Похоть — дитя роскоши, изобилия и превосходства, и рассуждать о ней могут лишь люди, имеющие для этого определенные условия, те, к кому Природа благоволила с самого рождения, кто обладает богатством, позволявшим им испытать те самые ощущения, которые они описывают в своих непристойных произведениях. Как красноречиво свидетельствуют некоторые беспомощные попытки, сопровождаемые слабостью выражения, такой опыт абсолютно недоступен наводняющим страну своей пачкотней мелким личностям, о которых я веду речь, и я не колеблясь включил бы в их число Мирабо, ибо он, натужно пытаясь сделаться значительным хоть в чем-то, притворялся распутником и в конце концов так ничем и не стал за всю свою жизнь. — Ничем, даже законодателем. Убедительнейшим доказательством непонимания и глупости, с какими во Франции судили о 1789 годе, является смешной энтузиазм, отличавший этого ничтожного шпиона-монархиста. А кем нынче считают

эту недостойную и в высшей степени неумную личность? Ее считают подлецом , предателем и мошенником*.

[23] Граф де Вайт де Мальвиль, ирландский джентльмен, повредившийся рассудком, которого семья не хотела отдавать в приют для умалишенных, был одним из трех последних узников, остававшихся в Венсенне вместе с графом де Солаж и маркизом де Садом; в феврале 1784 г. всех троих должны были перевести в Бастилию. Граф был освобожден 14 июля 1789 г.: ликующая толпа вынесла его из крепости на руках. Однако он не долго пользовался свободой: уже на следующий день его пришлось отправить в приют для умалишенных в Шарантоне.

[24] Ружмон к начальнику полиции Ленуару, 30 июня 1780 г. (BM. Reims. Coll. Tarbe XVIII, 222–228). В самом начале письма приводятся инструкции, данные Ленуаром:

> Проследите, чтобы вышеозначенный де Сад не нарушал порядок своими криками; только благоразумным поведением своим он сможет вновь получить разрешение на прогулки, коих он был лишен из-за своей непристойной выходки. Полагаю, Вам также известно, что вся без исключения переписка его должна поступать ко мне, и я буду решать, какие письма можно передавать адресатам.

[25] Письмо к г-же де Сад [от 27 июля 1780 г.] (ОС. Т. XII. Р. 252).

[26] Диалог, полностью взятый из письма де Сада к жене от [17 сентября 1780 г.] (ОС. Т. XII. Р. 253).

[27] В письме к жене от 31 мая 1780 г. (LMT. Т. III. Р. 41).

[28] Антуан Раймон Жан Галбер де Сартин (крещен в Барселоне 12 июля 1729 г., умер в Таррагоне 7 сентября 1801 г.), последовательно занимал должности: советника в парижской тюрьме Шатле (1752 г.), королевского судьи по уголовным делам (1755 г.), а затем начальника Парижской полиции (1759–1774 гг.), Государственного секретаря по вопросам мореплавания (1774–1780 гг.); 6 июля 1775 г. он стал министром, а 16 октября 1783 г. – ординарным государственным советником. Именно по его приказу инспектор Марэ в 1763 г. установил наблюдение за де Садом. В ответ поднадзорный написал следующие строки:

> Сар<тин> – мой самый заклятый враг на всем белом свете. Ему я обязан всеми несчастьями своей жизни. В то время, когда даже тигр сжалился бы надо мной, то есть когда мне *было двадцать лет, когда я только что женился, когда я, успев проделать шесть кампаний, направлялся в Фонтенбло, где министр обещал дать мне полк,* так вот, тогда – и я нисколько не боюсь об этом сказать, ибо в том положении даже тигр выказал бы мне сочувствие, – тогда этот человек арестовал меня, сломал, словно ветку, препятствующую его восхождению по ступеням карьерной лестницы, погубил меня, пожертвовал мною исключительно ради того, чтобы все вокруг говорили: «Какой замечательный у нас начальник полиции, он никого не щадит!» (письмо к мадемуазель де Руссе [от 20–25 апреля 1781 г.]: ОС. Т. XII. Р. 306).

[29] Людовик XV любил читать полицейские донесения, где говорилось о разнузданном поведении его подданных.

[30] Письмо к г-же де Сад от 21 мая 1781 г. (*Sade*. L'Aigle, Mademoiselle... P. 67–70).

[31] Письмо к г-же де Сад от 3 июля [1780 г.] (LML. Т. III. Р. 47–48).

[32] Письмо к г-же де Сад [сентябрь 1780 г.] (LML. Т. III. Р. 59–60).

[33] Письмо г-жи де Сад к мужу от 31 декабря 1781 г. (LML. Т. II. Р. 308–309). См. также ее письмо от 18 июня 1783 г., опубликованное в изд.: *Lely*. Vie. Т. II. Р. 132–133. С 1778 г. Сад сам стал причислять собственные «излишне эмоцио-

---

* *Маркиз де Сад.* Жюльетта. ... Т. 1. С. 416.

нальные письма» к числу своих ошибок и видеть в них источник многих несчастий (см. письмо к г-же де Сад 1778 г.: ОС. Т. XII. Р. 153). Надо было всегда писать «как малюсенький человечек», признает он, однако он на это не способен. Эта «пытка письмами» станет постоянной мукой на протяжении всех лет, проведенных им в Венсенне и Бастилии. А так как никакая осторожность никогда не возьмет над ним верх, он отрекается от Лилипутии. Лучше вопить и взывать, пусть даже в пустыне:

Вот поистине великое письмо, и именно оно, возможно, до тебя не дойдет, потому что его писал *не житель Лилипутии*. Впрочем, не имеет значения, его все равно будут просматривать, и, как знать, среди всех тех, кто должен его прочесть, не тебе ли я адресую его напрямую? (*Roger Ph.* Sade épistolier // La Fin de l'Ancien Regime: Manuscrits de la Revolution: Sade, Retif, Beaumarchais, Laclos. Vincennes: Presses universitaires de Vincennes, 1991. P. 51.)

Вряд ли можно выразить более туманно, кому же предназначается сие послание.

[34] Письмо Юности к де Саду от 14 сентября 1779 г. (Ars. Ms. 12455. F. 558–563).

[35] BM. Avignon. Ms. Requirn 11886. Адрес: «Сиятельному господину, а именно господину шевалье Киросу, у мадам де Сад в Париже, с примечанием, что письмо сие предназначено только для Юности». 8 октября 1779 г. мадемуазель де Руссе, для которой содержание письма не было секретом, напишет Гофриди: «Господин маркиз чувствует себя превосходно; я сужу об этом по совершенно сумасшедшему письму, написанному им Юности» (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 148).

[36] Письмо к г-же де Сад [1782 г.] (*Sade*. Monsieur le 6. ... P. 225–226).

[37] Письмо к г-же де Сад от 23–24 ноября 1783 г. (ОС. Т. XII. Р. 412).

[38] Письмо к г-же де Сад, начало ноября 1783 г. (*Sade*. L'Aigle, Mademoiselle. ... P. 117).

[39] Вот что писал Донасьен жене незадолго до того, как ей разрешили свидания:

Прежде всего отвечаю на содержащееся в Вашем письме предложение посетить меня. Разумеется, это самое приятное, что Вы можете сделать, чтобы в моем плачевном положении доставить мне хотя бы капельку утешения. Настоятельно призываю Вас исполнить сей замысел. Ясно, что помимо удовлетворения, кое доставит мне Ваше посещение, оно будет способствовать скорейшей доставке передач, ибо Вы сможете сами понаблюдать за ними. Если Вам позволят свидания, постарайтесь сделать так, чтобы нам разрешили видеться без свидетелей, ибо свидания в присутствии третьего лица весьма затруднительны и смертельно утомительны; да Вы и сами понимаете, насколько глупо выглядит фигура свидетеля. В эти минуты человек сей сам должен понимать, сколь он становится ненавистен, и скорее я позволю дьяволу зацапать меня к себе, чем заставлю себя играть подобную роль. Впрочем, я не собираюсь делиться с Вами государственными секретами. *Правительство*, вопреки утверждениям Вашей матери, в этом деле никакой роли не играет. Поэтому я не вижу, зачем проявлять такую жестокость по отношению к мужу и жене и ставить их во время посещений в неловкое положение: ведь разговаривают они о делах исключительно домашних. Если Вам удастся добиться разрешения на свидания, Вам придется снять домик в Венсенне (LML. Т. III. Р. 74–75).

[40] AC; *Lely*. Vie. T. II. P. 116–117.

[41] Пятнадцатого июня г-жа де Сад писала мужу:

Я постоянно прошу дозволить мне свидания с тобой, а ты письмами своими постоянно этому препятствуешь. Напрасно я пытаюсь всех убедить, что, если бы ты был на свободе, то изменил бы свои взгляды; мне не верят, и это приводит меня в отчаяние; когда же я напоминаю, что в твоих письмах есть и добрые слова, мне

отвечают, что они проскользнули совершенно случайно. <...> Они говорят, что белья у тебя достаточно, и поэтому отказываются принимать еще одну посылку с бельем (LML. T. II. P. 336).

30 сентября маркиза сообщает, что все остается по-прежнему:

Я вновь обратилась с прошением разрешить мне свидание с тобой, но мне ответили, что недавно ты написал письмо, где выразил свои взгляды, за которые тебя полагается держать в тюрьме до тех пор, пока ты их не изменишь. Меня это все крайне огорчает (Ibid. T. II. P. 340).

12 ноября она опять пишет ему:

Очень огорчена, что ты продолжаешь вести переписку в выражениях, ясно свидетельствующих о твоем образе мыслей, что является бесконечным заблуждением с твоей стороны и становится препятствием для исполнения всех твоих пожеланий (Ibid. T. II. P. 344).

[42] Письмо к г-же де Сад [после 10 января 1748 г.] (OC. T. XII. P. 424). 7 декабря 1783 г. барон де Бретей в сопровождении лейтенанта полиции посетил узника в его камере. Именно к Бретею узник адресовал из Бастилии свои просьбы об улучшении условий его содержания и просил вновь разрешить ему прогулки (ср.: LML. T. I. P. 127, 130).

[43] Письмо к г-же де Сад [начало ноября 1780 г.] (LML. T. III. P. 65). 13 июля 1786 г. барон де Бретей вновь проявил участие и разрешил г-же де Сад свидания с мужем; во исполнение сего разрешения он отправил начальнику полиции письмо следующего содержания:

Сударь, я получил Ваше письмо, касающееся маркиза де Сада. Не вижу никаких неудобств в том, чтобы дозволить мадам де Сад раз в месяц видеться с мужем, ежели, разумеется, узник не станет дозволением этим злоупотреблять; также посоветуйте мадам де Сад не настаивать на более частых посещениях (цит. по: *Ginistry P.* La Marquise de Sade. P.: Charpentier, 1901. P. 78).

[44] Письмо к г-же де Сад от 20 мая [1780 г.] (АС, НП).

[45] Письмо к г-же де Сад от 25 июня 1777 г. На письме рукою маркиза написан следующий адрес: «Мадам маркизе де Сад, или Подручному Паяца. В Париже» (АС, НП).

[46] *Roger Ph.* Op. cit. P. 50–51.

[47] В семейном архиве мы отыскали десятка три записок, выполненных микроскопическим почерком.

[48] См.: *Lacombe R.G.* Sade et ses masques. P.: Payot, 1974. Deuxieme partiem chap. I–IV.

[49] *Heine M.* Op. cit. P. 215.

[50] LML. T. I. P. 44.

[51] *Sade.* Histoire de ta Létention // *Lely.* Vie. T. I. P. 648–650.

[52] Возможный намек на дефект произношения Рене-Пелажи.

[53] Письмо к г-же де Сад [после 21 апреля 1781 г.] (OC. T. XII. P. 234–236).

[54] Письмо г-жи де Сад к мужу от 6 марта 1799 г. (LML. T. XII. P. 182).

[55] Письмо к г-же де Сад [от 15 декабря 1781 г.] (LML. T. III. P. 102–103).

[56] *Lely.* Vie. T. II. P. 31.

[57] Черновой автограф (АС, НП).

[58] АС, НП.

[59] АС, НП.

[60] Адресовано: «Председательше де Монтрей. В Париже» (АС, НП).

[61] Адресовано: «Председательше де Монтрей. В Париже». На обороте кон-

верта рукой председательши написано: «Интересно. 24 января 1779 г., и копия моего ответа от 30» (АС, НП).

[62] Это письмо имеет много общего с письмом, адресованным маркизом жене тремя месяцами раньше:

Я неустанно вопрошаю твою матушку, видела ли она то письмо, показала ли ты ей его (если нет, то настоятельно предлагаю тебе это сделать), дабы она могла убедиться, что исключительно страх оказаться недостойным ее милостей и забот побудил меня заподозрить, что она питает ко мне чувство, противное ее человечности. Самым счастливым моментом в моей жизни станет тот, когда я доподлинно смогу убедиться в своем заблуждении, а следовательно, в том, что она поистине заменила мне мать. Но только скорейшее возвращение свободы, утраченной мною из-за нее, только оно одно сможет меня в этом убедить. И тогда, сменив подозрения, составляющие несчастье всей моей жизни, на живейшую признательность, я бы использовал остаток жизни исключительно для исправления всех причин несчастья, кое я невольно ей причинил, а также для того, чтобы побудить ее сменить, если таковое возможно, ее законный гнев на чувства, кои она дарила мне во времена оны (октябрь 1777 г. АС, НП).

[63] Черновик (АС, НД).

[64] Написав эти строки, г-жа де Монтрей потом вычеркнула их:

Сударыня, можете заверить того, о ком Вы пишете, что я от всего сердца прощаю ему все то зло, кое он мне причинил. Однако трудно поверить в искренность его раскаяния, ибо в ту минуту, когда ему следовало хотя бы осознать, что оказанная ему честь является делом моих рук, стиль его письма совершенно далек от сего понимания. Но как бы то ни было, сударыня, единственный барьер, коий разделяет нас ныне и будет разделять впредь, заключается в моих обязательствах перед самой собой. Однако обязательства сии нисколько не препятствуют его свободе <...>.

[65] Адресовано: «Председательше де Монтрей. В Париже» (АС, НП).

[66] Речь идет о письме маркиза к детям; само письмо не найдено.

[67] Письмо г-жи де Сад к мужу от 1 января 1779 г. (цит. по: *Lely*. Vie. T. II. P. 26).

[68] Письмо г-жи де Сад к мужу от 28 сентября 1778 г. (LML. T. II. P. 147).

[69] Письмо г-жи де Сад к мужу от 23 октября 1778 г. (LML. T. II. P. 155).

[70] Письмо г-жи де Сад к мужу от 26 октября 1778 г. (LML. T. II. P. 156).

[71] Письмо г-жи де Сад к мужу [ноябрь 1782 г.] (LML. T. II. P. 327).

[72] Письмо г-жи де Сад к мужу от 11 июля 1781 г. (LML. T. II. P. 285).

[73] См.: La Vanille et la Manille, lettre inédite à Madame de Sade écrite au donjon de Vincennes en 1783 [en réalité fin 1784]: Cinq eaux-fortes originales de Jaques Hérold. [P.], 1950. –28 p. (Collection Drosera); *Sade*. Monsieur le 6. ... P. 215–219. В этом загадочном тексте, где многое лишь подразумевается, *manille* обозначает акт мастурбации, *arc* – хлыст, а *flèche* – семяизвержение.

[74] Письмо к де Саду от 30 сентября 1783 г. (LML. T. II. P. 340).

[75] Письмо к де Саду от 23 ноября 1783 г. (LML. T. II. P. 344).

[76] Письмо к де Саду от 13 декабря 1783 г. (LML. T. II. P. 346).

[77]Соответственно, около 15 см в окружности и от 20 до 23 см в длину.

[78] Письмо к г-же де Сад [начало марта 1783 г.] (LML. T. III. P. 131, 222).

[79] LML. T. II. P. 283, n. 17.

[80] LML. T. I. P. 275–294.

[81] LML. T. I. P. 279.

[82] Письма к жене от 14 декабря и [30 декабря 1780 г.] (OC. T. XII. P. 254–262).

[83] Письмо к г-же де Сад [15 декабря 1781 г.] (LML. T. III. P. 104).

[84] Письмо к г-же де Сад от 3 июля 1783 г. (LML. T. III. P. 152). Рене-Пелажи отвечает ему в письме от 8 июля:

Мой добрый друг, твоя записочка, датированная 3 июля, доставила мне такое удовольствие, что я даже передать его не могу. Хотя она и короткая, я не жалуюсь, ведь в ней ты пишешь мне о том чувстве, завоевание которого является единственной целью моего сердца (Ibid. T. II. P. 337).

[85] Письмо к г-же де Сад [23–24 ноября 1783 г.] (ОС. T. XII. P. 412–417).

[86] Письмо от г-жи де Сад к мадемуазель де Руссе от 27 июля 1781 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 172–173).

[87] Отец маркиза де Виллета, Пьер Шарль, маркиз дю Плесси-Виллет, королевский секретарь, казначей военного ордена Святого Людовика, генеральный сборщик налогов во Фландрии и Эно в 1747 г., главный казначей по экстренным военным расходам, в 1730 г. женился на Терезе Шарлотте Кордье де Лонэ, сестре председателя де Монтрея, умершей в 1757 г.

[88] Письмо маркиза к г-же де Сад [предположительно от 15 июля 1781 г.] (LML. T. III. P. 94).

[89] Письмо г-жи де Сад к мужу от 21 июля 1781 г. (LML. T. II. P. 288–289).

[90] Письмо г-жи де Сад к мужу от 24 июля 1781 г. (LML. T. II. P. 293).

[91] До революции в Париже было несколько монастырей Английских сестер, и тогдашние авторы их часто путали. «На улице Шапон я видела обитель Английских сестер, – пишет г-жа де Сад. – Если я не смогу найти у них комнаты, придется поискать у других англичанок или же в монастыре Сент-Ор» (письмо к мадемуазель де Руссе от 18 августа 1781 г., цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 173). Монастырь на улице Шапон, обитель кармелиток Сент-Мер-де-Дье, был основан в 1617 г. Катериной де Гонзаг и де Клев, вдовой Анри Орлеанского, герцога де Лонгвиля. Постройки и сад располагались на месте нынешнего дома № 13 (следы их еще можно обнаружить) и простирались до № 10 и далее, вплоть до № 28 по улице Монморанси. Также монастырем «сестер англичанок» мог называться монастырь Дев Непорочного зачатия по улице Шарантон (устава св. Франциска), монастырь (устава св. Августина) на улице Фоссе-Сен-Виктор (сегодня улица Кардинала Лемуана) и монастырь (устава св. Бенедикта) на Шан-де-Лалуэт (сегодня улица Танри).

[92] Женский монастырь Сент-Ор был основан в 1687 г. неким аббатом Гардо, кюре из прихода Сент-Этьен-дю-Мон, пожелавшим предоставить пристанище и средства к существованию «нескольким юным девицам из своего прихода, которых нищета бросила в пучину разврата». Община эта, избравшая своим покровителем св. Теодора, поначалу разместилась на улице Пуль, возглавил ее удачно назначенный на эту должность аббат Лабит, набожный и просвещенный, «ему первому пришла мысль об основании сего заведения». Тем не менее парижский архиепископ монсеньор де Арлэ посчитал нужным сместить его с этой должности и вместо него назначил духовным руководителем общины аббата Николя Лефевра, будущего второго наставника детей короля Франции. Однако сестры замену не одобрили, потребовали вернуть им Лабита и в конце концов разбежались. Нескольких беглянок удалось схватить, к ним присоединили еще несколько раскаявшихся девиц, и в 1690 г. изрядно поредевшее стадо удалось водворить в строения на улице Нев-Сент-Женевьев (сегодня дом № 18 по улице Турнефор). Патронессой новой общины стала св. Ор, в честь которой в 1700 г. была построена часовня, освященная новым кюре прихода Сент-Этьен-дю-Мон, аббатом Доткуром.

Когда в 1753 г. община стала приходить в упадок, дофин, сын Людовика XV, и архиепископ Парижский активно взялись за ее восстановление: ей был дан устав св. Августина, а духовным руководителем назначен аббат Гризель. Основным занятием новых августинок, именуемых сестрами Сент-Ор, стало покло-

ние Святым Дарам и телу Христову; сестры носили белые рясы, алые нарамники и черные плащи, на груди — медальоны в виде сердечка. Заведение стало процветать и расширяться, и в 1763 г. оно уже занимало обширную территорию между улицами По-де-Фер, Нев-Сент-Женевьев (Турнефор), Пию-ки-Парле (Амио) и Почтовой (Ломон).

При монастыре Сент-Ор имелся также пансионат для девушек. Так, в 1753 г. в него поступила десятилетняя девочка по имени Жанна Бекю; ее привел туда отчим г-н Дюмонсо, который оплачивал ее содержание, по тем временам достаточно высокое (от 450 до 500 ливров в год), и снабжал непременными двумя парами простынь и шестью салфетками. Монахини попытались обучить рисованию ту, кому вскоре предстояло стать графиней Дюбарри, однако девочка была непослушна, и в неполных пятнадцать лет ее отослали из монастыря. Годы ее ученичества в Сент-Ор пришлись на то время, когда во главе обители стоял аббат Гризель, и она принимала участие в празднествах, ежегодно устраиваемых в честь св. Иосифа, покровителя директора; во время этих торжеств она вместе со своими товарками пела куплеты в честь аббата:

Вам, наш любимейший святой отец,
Мы дарим все свое почтенье,
Все целомудрие своих сердец,
Готовых слушать ваши повеленья.
Мы преданность хранить навечно рады,
Ведь мы — его возлюбленные чада.

Строения бывшего аббатства Сент-Ор сохранились до наших дней почти в неизменном виде. Фасад трехэтажного здания, воздвигнутого в глубине сада на улице Ломон, по-прежнему украшают скульптурные изображения дароносиц; скульптуры, украшавшие вход со стороны улицы Турнефор, были разбиты. Окна часовни, выходившие в сторону одного из садов, впоследствии заделали. Убранство часовни, восходящее к эпохам Людовика XIV и Людовика XV, было утрачено. От первоначального убранства к 1790 г. сохранился только главный алтарь с четырьмя мраморными колоннами. Запрестольное пространство украшено изображениями монахинь здешнего монастыря, распростершихся перед Святым сердцем Иисусовым. Алтарь украшали четыре полотна, исполненные художником по прозванию Живописец. В свое время картины эти были официально заказаны аббатом Гризелем. Вознесшийся над алтарем Христос из белого мрамора, скорее всего, также был приобретен аббатом. Скиния была выполнена «из дерева, покрытого гипсом, имитирующим мрамор; ворота скинии были покрыты серебряным листом». В часовне имелось еще «три других алтаря, очень маленьких и очень скромных». Справа на хорах находились места для монахинь; там на стенах висели два полотна работы Живописца; на хорах слева располагались места для пансионерок; там были сооружены две трибуны, обнесенные деревянной решеткой, скрывавшей пансионерок от нескромных взоров прихожан. Монастырские хоры были обшиты панелями и также защищены деревянной решеткой; там стояло шестьдесят простых стульев с высокой спинкой, небольшой органный корпус и железный пюпитр.

Второго марта 1790 г., когда г-жа де Сад с дочерью проживали в Сент-Ор, Мари Куран, монахиня, отвечавшая «по поручению настоятельницы» за сношения сестер с внешним миром, подписала «Декларацию об имуществе». Из этого документа, найденного нами в Национальном архиве, следует, что к этому времени в общине проживали 48 монахинь, две послушницы и две пансионерки. Имя настоятельницы было Франсуаза Поре, но ее прозвали сестрой Марией

Энкарнасьон. В инвентарной описи, составленной в Сент-Ор 15 июля 1790 г., в частности, указано:

Помимо строений, где размещены кельи, имеются еще три постройки, в том числе одна в глубине сада, трехэтажная, с пятью апартаментами, предназначенными для пансионерок. <...> В настоящее время занято всего два помещения, в совокупности приносящие доход в триста ливров. Во втором здании имеется множество апартаментов для пансионерок, где сегодня проживают трое; плата за них в общей сложности составляет четыреста пятьдесят ливров (AN. S 4511; S 4641; 4651; F 1032).

[93] Начиная с 1685 г., особняк Сен-Шомон по улице Сен-Дени занимали сестры Единения Христова, называемые также сестрами Сен-Шомон; теперь на его месте находятся дома № 224 и 226.

[94] Г-жа де Сад платила 200 ливров за жилье и 300 за питание. Юность и служанка Агата проживали в собственных комнатах.

[95] Монахиня, исполнявшая обязанности хранительницы вкладов, документов и ценных бумаг пансионерок.

[96] Письмо г-жи де Сад к мадемуазель де Руссе, без даты (цит. по: *Bourdon.* Op. cit. P. 174–175).

[97] Письмо г-жи де Сад к маркизу от 10 сентября 1781 г. (LML. T. II. P. 298–299).

[98] Письмо г-жи де Сад к Гофриди от 12 сентября 1784 г. (цит. по: *Bourdon.* Op. cit. P. 206).

[99] Письмо мадемуазель де Руссе к маркизу де Саду от 26 декабря 1778 г. (LML. T. I. P. 320).

[100] Ibid. P. 321.

[101] Ibid. P. 63.

[102] Ibid. P. 329

[103] Ibid. P. 324

[104] Ibid. P. 322.

[105] Ibid. P. 329.

[106] OC. T. XII. P. 323.

[107] LML. T. I. P. 323.

[108] Ibid. P. 322.

[109] Ibid. P. 338.

[110] Ibid. P. 337–338.

[111] Письмо от мадемуазель де Руссе [май 1779 г.] (OC. T. XII. P. 212–218).

[112] Она купила билет на дилижанс до Авиньона только на 19 мая 1781 г.; сопровождать ее вызвался некий Дювине, выказавший себя в пути «беспечным и совершенно неучтивым» (*Bourdin.* Op. cit. P. 163).

[113] В свое время Жильбер Лели попытался снять со своего героя это обвинение, отнеся его проступок на счет «неосторожности». Мы не согласны с этим утверждением, так как знаем, что маркиз де Сад, охваченный параноидальным бредом, вполне был способен на подобную низость.

[114] Письмо мадемуазель де Руссе к Гофриди от 29 мая 1779 г. (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 143).

[115] Письмо мадемуазель де Руссе к г-ну де Саду от 11 мая 1779 г. (LML. T. I. P. 355).

[116] Письмо мадемуазель де Руссе к Гофриди от 9 ноября 1779 г. (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 148–149).

[117] OC. T. XII. P. 349.

[118] Цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 181–184; см. также: *Lely.* Mon arrestation du 26 aout P.: Jean Hughes, 1959.

[119] Цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 157.

[120] Письмо мадемуазель де Руссе к Гофриди от 23 октября 1780 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 160).

[121] *Lely*. Vie. T. II. P. 91.

[122] Она согласилась жить там весной 1782 г., да и то по настоянию маркиза. Маркиз считал неуместным предоставить Готон и ее мужу, который, по его мнению, разыгрывал из себя «сеньора», исключительное право распоряжаться в замке (см.: *Bourdin*. Op. cit. P. 164, 185).

[123] Цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 194.

[124] Письмо к жене [от 3 февраля 1784 г.] (LML. T. III. P. 178).

[125] См. письма Готон, Поле и каноника Видаля: LML. T. I. P. 410–419.

[126] Известия об этом содержатся в письме, адресованном три месяца спустя отцом Готон к г-же де Сад:

Линьероль, 4 января 1782 г.

Сударыня!

Смерть дочери, служившей экономкой в доме г-на маркиза, была для меня тем более чувствительна, что долгое время я был лишен о ней известий, а те новости, что до меня доходили, были чрезвычайно огорчительными. Горе, испытываемое мною, дает мне право обратиться к Вам, сударыня, и милостиво просить Вас соблаговолить сообщить мне о том, что могло бы способствовать облегчению моих страданий. Мне бы хотелось узнать, что за характер имеет Жак Грегуар, коего называют моим зятем, какое место занимает он в обществе и каким образом и как он собирается давать образование ребенку, произведенному на свет моей дочерью за десять дней до смерти, о чем сообщил мне в своем письме от 10 ноября прошедшего месяца г-н Гофриди. Для меня это было бы большим утешением. Смиренно благодарю Вас за доброту и заботы, проявленные Вами по отношению к моей дочери, и дерзаю (*sic*!) без обиняков обратиться к Вам, сударыня, со своей просьбой, ибо пребываю в полном убеждении, что никто лучше не захочет и не сможет сказать мне правду.

Что же касается ее вещей и того имущества, что она могла скопить более чем за восемнадцать лет, прожитые ею на службе вдали от меня и безо всяких со мной сношений, хотя я и употребил все возможные старания, дабы хорошо воспитать ее, то мне кажется, что она все передала в руки моему зятю.

Простите мне, сударыня, мою дерзость и родительские чувства. Уповаю на милость Вашу и тешу себя надеждой на ответ; имею честь оставаться Вашим, госпожа маркиза, почтительнейшим и смиреннейшим слугою.

Пьер Исаак Майфер (частное собрание, НП)

[127] См. письмо к мадемуазель де Руссе, без даты, опубликованное в изд.: *Bourdin*. Op. cit. P. 176.

[128] Письмо к мадемуазель де Руссе от 17 апреля 1782 г. (ОС. T. XII. P. 350–351).

[129] Письмо г-жи де Сад к мужу от 18 апреля 1787 г. (LML. T. II. P. 371).

[130] Письмо г-жи де Сад к Гофриди от 24 мая 1785 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 212).

[131] Письмо г-жи де Сад к Гофриди от 2 июня 1777 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 85). Согласно распискам, найденным в семейном архиве, Мадлен-Лор в то время была пансионеркой обители Дочерей Креста (орден Святого Доминика), в предместье Сент-Антуан (в настоящее время дом № 26 по улице Сент-Антуан и дом № 4–6 в тупике Гемене). Она оставалась там до 1784 г., а затем перебралась к матери в монастырь Сент-Ор.

[132] Письмо к г-же де Сад [ок. 15 июня1777 г.] (LML. T. I. P. 59).

[133] Письмо г-жи де Сад к мужу от 30 октября 1780 г. (LML. T. II. P. 253–254).

[134] Письмо г-жи де Сад к мужу от 16 октября 1778 г. (Ibid. P. 150).

[135] Письмо к г-же де Сад [январь 1784 г.] (LML. T. III. P. 174).

[136] Письмо к г-же де Сад [от 22 марта 1779 г.] (OC. T. XIII. P. 196).

[137] Инструкция от 11 сентября 1775 г. опубликована Фанк-Брентано в журнале: Revue historique. 1890. Mars. P. 289–290.

[138] См.: *Roger Ph.* Rousseau selon Sade ou Jean-Jacques travesti // Dix-huitiéme siécle. 1991. № 23. P. 381–403.

[139] «Ваша страсть к чтению восхищает меня, – пишет ему аббат Амбле. – В Вашем положении это настоящий источник утешения» (письмо от [конца апреля 1779 г.]: LML. T. I. P. 420). Напомним, что эти строки принадлежат бывшему наставнику маркиза, советовавшему г-же де Сад, какие книги следует посылать узнику (см.: Ibid. T. III. P. 57).

[140] В семейном архиве сохранилось множество счетов книготорговца Пишара (см.: АС, НД), дополняющие наши сведения о круге чтения Сада в период между 1783 и 1788 гг. Так как счета эти, представляющие большой интерес, нигде не публиковались, ниже мы воспроизводим их полностью. Среди сочинений, приобретенных г-жой де Сад за указанный период, следует отметить «Опасные связи» Шодерло де Лакло, «Картины Парижа» Мерсье, а также несколько весьма неожиданных сочинений, например, «Иисус на Голгофе», и несколько молитвенников.

1783 г., 1 февраля

Продано мадам де Сад Пишаром, книготорговцем:

«Освобожденный Иерусалим», 2 т. в перепл.	5 ливров	
Шесть комедий по 1 ливру 4 су	7 ливров	4 су
Девять комедий и трагедий по 1 ливру 10 су	13 ливров	10 су
	25 ливров	14 су

[рукой г-жи де Сад:] Настоящий счет ограничен суммой в двадцать пять ливров четырнадцать су.

Монтрей де Сад

Продано маркизе де Сад слугой ее Пишаром, книготорговцем, 28 апреля 1783 г.:

«Как опасно любить чужестранца», 4 т., сброшюров.	4 ливра	16 су
«Анна Ростре <...>», 2 т., сброшюров.	3 ливра	
«Любовники-республиканцы», 2 т.	6 ливров	
«Исповедь графа де***», 2 т.	3 ливра	
«Дольбрез, или Сын своего времени», 2 т.	6 ливров	
«Последнее приключение в сорок пять лет»	3 ливра	12 су
«Мольер в новом зале»	1 ливр	4 су
«Мнимые поэты»	1 ливр	10 су
«Близнецы»	1 ливр	4 су
«Ловушка»	1 ливр	4 су
«Изречение о вымысле»	1 ливр	10 су
«Аделаида, или Записки маркизы де***»	3 ливра	
	37 ливров	

[рукой г-жи де Сад:] Настоящий счет ограничен суммой в тридцать семь ливров. 30 апреля 1783 г.

Монтрей де Сад

1783 г. 27 сентября

Продано маркизе де Сад Пишаром, книготорговцем:

«Французские анекдоты», 1 т.	4 ливра	
«Маргарита Анжуйская», 2 т., в перепл.	4 ливра	10 су
«Заметки о нравах Туссена», 1 т.	4 ливра	1 су
«Записки графа де Вордака»	2 ливра	
«Система природы», 8 т., в перепл.	5 ливров	

«Времена года», поэма	1 ливр	10 су
«Георгики», Вергилия	2 ливра	5 су
«Сады», поэма	1 ливр	10 су
	25 ливров	5 су

[рукой г-жи де Сад:] Настоящий счет ограничен суммой в двадцать пять ливров пять су. 27 сентября 1783 г.

Монтрей де Сад

1783 г. 30 декабря

Книги, проданные Пишаром маркизе де Сад:

«Театральный альманах»	1 ливр	14 су
1784 г. 1 января		
«Королевский альманах»	6 ливров	
«Военный альманах»	3 ливра	5 су
24 апреля		
«Путешествие Кука», 7 т.	29 ливров	
«Неизвестный остров», 4 т.	8 ливров	
«Молитвенник»	3 ливра	
8 июня		
«Времена года», Сен-Ламбера	12 ливров	
комедия, сброшюрована	1 ливр	4 су
21 того же месяца		
«Георгики», Делиля	3 ливра	
поэма, того же автора	3 ливра	15 су
2 т. сочинений Фожаса де Сен-Фона	7 ливров	4 су
«Жизнь Микеланджело»	3 ливра	14 су
переплет в 2-х т.	18 ливров	
18 августа		
Прихожанин	1 ливр	16 су
«Иисус на Голгофе»	1 ливр	10 су
3 ноября		
переплет в 4-х т.	2 ливра	
	88 ливров	
За вышеуказанное получено	54 ливра	
Оставшаяся сумма	34 ливра	

Расписка получена *Пишар*

1786 г. 26 декабря

Книги, проданные Пишаром маркизе де Сад:

1 «Жилищный альманах»	2 ливра	4 су
1787 г. 2 января		
1 «Королевский альманах», в перепл.	6 ливров	
1 «Театральный альманах», в перепл.	1 ливр	16 су
1 «Военный альманах», в перепл.	3 ливра	5 су
Восемь комедий по 1 ливру 10 су	12 ливров	
1 комедия по 1 ливру 16 су	1 ливр	16 су
8 комедий по 1 ливру 4 су	9 ливров	12 су
Всего	36 ливров	13 су
А также еще два альманаха в раскрашенном картоне	3 ливра	
	39 ливров	13 су

Расписка получена *Пишар*

1787 г. 14 декабря

Книги, проданные Пишаром маркизе де Сад:

«Да надоели вы», опера Бомарше	1 ливр	16 су
«Описание Мессины», 4 т.	2 ливра	8 су
Тома с 5 по 10 «Сказок» г-на де Кейлюса, 6 т., сброшюров.	21 ливр	12 су
	25 ливров	16 су

1787 г. 10 ноября

«Письма Жюстины», 2 т.	4 ливра	
письма «Мирабо», 2 т.	8 ливров	
	37 ливров	16 су

1787 г. 14 декабря

Книги, проданные Пишаром маркизе де Сад:

«Размышления о поэзии»	7 ливров	10 су
«Опасные связи», 4 т.	6 ливров	
«Проверка чувств»	15 ливров	
«Королевский альманах»	6 ливров	
«Театральный альманах»	1 ливр	10 су
	36 ливров	

Расписка получена *Пишар*

1787 г. 15 марта

Книги, проданные Пишаром маркизе де Сад:

Шестнадцать комедий	21 ливр	12 су
«Словарь здоровья», 3 т.	12 ливров	15 су
«Анна», 4 т., сброш.	7 ливров	4 су
«Делия», 3 т.	5 ливров	
«История графини ***», 3 т.	4 ливра	10 су
«Эмма», 2 т.	3 ливра	12 су
«Клара», 2 т.	2 ливра	8 су
«Луиза», 2 т.	2 ливра	8 су
	59 ливров	9 су

Расписка получена *Пишар*

1788 г. 10 июля

Книги, проданные Пишаром маркизе де Сад:

«Путешествие на мыс Доброй Надежды», 3 т.	15 ливров	
«Ошибки молодости»	5 ливров	10 су
«Жорад», 3 т.	4 ливра	10 су
«Маркиза де Б***»	3 ливра	
«Опасности кокетства»	2 ливра	8 су
2 августа		
«Картины Парижа», 8 т.	21 ливр	
«Год две тысячи четыреста сороковой», 3 т.	7 ливров	10 су
«Рассуждение о флюидах», 2 т.	10 ливров	
«Картина переворотов», 1 т.	3 ливра	12 су
	72 ливра	10 су
Полученный задаток	48 ливров	
Долг, оставшийся по счету	24 ливра	10 су
«Опасные связи», 4 т.	6 ливров	
[неразборчиво]		12 су

продолжение «Картин Парижа», 4 т.	12 ливров	
	43 ливра	2 су
Вычесть за «Развлечения чувствительного человека» г-на д'Арно	18 ливров	
	25 ливров	2 су
1 подписка на газету «Меркюр де Франс»	30 ливров	
	55 ливров	2 су

Получено всего по вышеуказанному счету *Ф. Пишар, 8 января 1789 г.*

[*Без даты*]

«Великодушные любовники», проза, 4 акта, Рошона	1 ливр	10 су
«Бармакиды», трагедия Лагарпа	1 ливр	10 су
«Школа мужей», комедия в 5 актах, Фенуйо	1 ливр	16 су
«Ирина», трагедия Вольтера	1 ливр	10 су
«Мнимый несчастный», Дора, 4 акта в стихах	1 ливр	10 су
«Прекрасная Арсена», Фавара, 4 акта в стихах	1 ливр	10 су
«Феликс, или Обретенное дитя Седена»	1 ливр	10 су
	10 ливров	16 су

В том же архиве мы отыскали расписку на 24 франка, выписанную г-же де Сад читальным залом «Магазин литтерер», расположенным на улице Кристин, «за годовую подписку на чтение», с 7 января 1783 г. по 7 января 1784 г.

[141] Письмо к жене [от 15 июня 1783 г.] (LML. T. III. P. 147).

[142] Письмо г-жи де Сад к мужу от 28 июля 1783 г. (Ibid. T. II. P. 338).

[143] Письмо к жене [июль 1783 г.] (OC. T. XII. P. 395).

[144] Ibid. P. 396–397. См. также: *Roger Ph.* Art. Cite // Dix-huitiéme siécle. 1991. № 23. P. 389–390.

[145] См.: Ibid. P. 391.

[146] Письмо к г-же де Сад [от 15 сентября 1783 г.] (LML. T. III. P. 159). Однако дальше замысла этот автобиографический проект не продвинулся. Только в 1803 г. он вновь упомянул о нем в общем каталоге своих произведений, из чего, впрочем, не следует, что автор возобновил над ним работу. Позднее, в одном из писем, которое Жильбер Лели датирует 1806 г., Сад требует у Гофриди некий текст, а именно

> <...> рукопись «Записок о моей жизни», незавершенные, небрежные наброски, которые я увидел в руках у Вашего младшего сына и которые он не пожелал мне вернуть. Я полностью отрекаюсь от этой рукописи, но умоляю Вас позволить мне взглянуть на нее (OC. T. XII. P. 602).

[147] Письмо к г-же де Сад от 6 августа 1782 г. (цит. по: *Lely.* Vie. T. II. P. 122).

[148] Письмо к г-же де Сад [от 20 сентября 1780 г.] (LML. T. III. P. 57).

[149] В библиотеке Арсенала (см.: Ars. Ms. 12456. F. 793–794) существует общий каталог книг де Сада, находившихся с ним в Бастилии; каталог написан неизвестным почерком; рукой маркиза внесен ряд дополнений и исправлений; составлен он, судя по всему, во второй половине 1788 г. (там значатся «Опасные связи», счет за которые выписан на г-жу де Сад 14 декабря 1787 г. (см. примеч. 40); см. также: LML. T. I. P. 222–224.

[150] Письмо к г-же де Сад [от 20 сентября 1780 г.] (LML. T. III. P. 57).

[151] Письмо к г-же де Сад [от 27 июля1780 г.] (OC. T. XII. P. 250).

[152] Письмо к г-же де Сад [предположительно 28 марта 178 г.] (OC. T. XII. P. 282–283).

[153] Письмо к г-же де Сад, от 23 ноября 1783 г. (ОС. Т. XII. Р. 416).
[154] *Blanchot M.* L'Inconvenance majeure. P.: J.-J. Pauvert, 1965. P. 19–20. (Liberté)
[155] *Barthes R.* Op. cit. P. 186.
[156] Письмо г-жи де Сад [от 18 мая 1781 г.] (LML. Т. II. Р. 278–279).
[157] Письмо г-жи де Сад от 6 июля 1782 г. (LML. Т. II. Р. 321).
[158] LML. Т. III. Р. 140–141.
[159] Письмо к г-же де Сад [от 3 февраля 1784 г.] (LML. Т. III. Р. 178).
[160] Письмо к г-ну де Саду от 30 октября 1780 г. (LML. Т. II. Р. 255).
[161] В марте 1783 г. Сад велит прислать ему план нового зала, желая оценить его с точки зрения театральной техники, в которой он считал себя специалистом.
[162] См.: *Bournon F.* La Bastille. P.: Imprimerie nationale, 1893. P. 103, 124, 193.
[163] Описание камеры заимствовано у Жильбера Лели (см.: *Lely.* Vie. Т. II. Р. 153). Нам также удалось отыскать две расписки поставщиков Сада:

Подтверждаю, что получил от майора из Бастилии сумму в десять ливров четыре су за три куска богемского стекла, приобретенных для трех картин, за уборку и за раму для еще одной картины. В чем имеются расписки. В Париже, 13 мая 1784 г.

Пети

Я получил от Лосинота [бастильского тюремщика] сумму в сто восемь ливров за семь больших ковров и несколько маленьких ковриков, приобретенных мною для камеры в одной из башен.

Расписка составлена в Париже одиннадцатого декабря тысяча семьсот восемьдесят шестого года.

[Другой рукой:] Вышеуказанную подпись подтверждаю.

Карре (АС, НД).

[164] Письмо к г-же де Сад от 8 марта 1784 г. (цит. по: *Lely.* Vie. Т. II. Р. 159–163).
[165] Письмо к г-ну Ленуару от 21 марта 1784 г. (LML. Т. I. Р. 77).
[166] Письмо к г-же де Сад [март или апрель 1784 г.] (LML. Т. I. Р. 80).
[167] Письмо к г-же де Сад [сентябрь 1784 г.] (LML. Т. III. Р. 192–193).
[168] Опись вещей де Сада, отосланных из Венсеннской крепости 22 апреля 1784 г. г-ном де Ружмоном маркизу де Лонэ, коменданту Бастилии; опись подписана комиссаром Шеноном в присутствии г-на де Сада, в Бастильской крепости, в зале совета, в понедельник, 6 апреля 1784 г. (BM. Reims. Ms. Coll. Tarbé, XVIII–228).
[169] С помощью сохранившегося в архивах документа (см.: АС, НД), который мы воспроизводим ниже, нетрудно представить себе интерьер камеры нашего узника; документ полностью написан рукою маркиза.

Список расходов на обстановку, сделанных мною, дабы обставить камеру номер шесть в башне Свободы, в октябре месяце 1788 г.

Каменщику	1 ливр	4 су
Оранжевые занавески	57 ливров	15 су
Дополнительные ковры, приобретенные с помощью совершенных мною обменов и продаж	18 ливров	
Оранжевое покрывало на кровать	84 ливра	9 су
За деревянные части кровати и изготовление покрывала уплачено Пьону, обойщику	120 ливров	
Волос и шерсть для двух имеющихся матрасов и трех подушек, для дополнительной набивки двух матрасов	20 ливров	
Изготовление пяти занавесок	19 ливров	16 су

Изготовление новых матрасов, перенабивка двух матрасов и трех подушек	20 ливров	
Ткань для матрасов по 2 ливра 15 су локоть; 10 локтей	27 ливров	10 су
Тик и вощанка для отхожего места	11 ливров	16 су
Оранжевая ткань для подушек по 3 ливра 10 су локоть	6 ливров	10 су
Колечки для занавесок	8 ливров	14 су
Посуда фаянсовая, стеклянная, глиняная и т. д.	20 ливров	4 су
Чаевые, дополнительные расходы, комиссионные и т. п.	30 ливров	6 су
За покрасочные работы в камере	18 ливров	
Столяру, который под моим руководством доставил, расставил, приспособил, разместил и подогнал основные предметы обстановки	72 ливра	
Бюро	42 ливра	
Книжный шкаф и обеденный стол, в каждом из которых по четыре ящика	60 ливров	
Кресло, что при бюро	24 ливра	
Лампа с ламповым зонтиком, с отделкой из тафты	1 ливр	
Туалетное зеркало	18 ливров	
Укоротить ножки туалетного столика, ночного столика и сделать в них ящики	10 ливров	
Позолоченные кольца для ящиков	6 ливров	
Оклейка обоями отхожего места и проемов, подоконных досок и т. п.	138 ливров	
Подставки для дров	14 ливров	
Всего	954 ливра	14 су

[На самом деле 964 ливра 14 су; в своих подсчетах маркиз ошибся на десять ливров]

[Перенесено на оборотную сторону] Еще раз на обороте	954 ливра	14 су
Два стула	7 ливров	
Метла, метелка из перьев и экран	11 ливров	6 су
Валик, набитый волосом, чтобы подкладывать под матрасы, стоимость приблизительная, ибо счет еще не представлен	15 ливров	
Работа двух слесарей, оценивается пока также приблизительно, так как счет от них еще не пришел	18 ливров	5 су
Общая стоимость	1006 ливров	5 су

Для уплаты этой суммы мадам де Сад имела удовольствие послать господину майору в три приема:

в первый раз	192 ливра	
во второй раз	336 ливров	
и в последний	150 ливров	
Общая сумма	678 ливров	
Однако общий расход, как это следует из приложенной записки, равен сумме в	1006 ливров	5 су
Следовательно, остается еще	328 ливров	5 су,

которые ее смиренно и незамедлительно просят соблаговолить принести, дабы полностью со всеми расплатиться. После чего ей будет дано слово, что все платежи совершены и завершены и она более не услышит ничего, что могло бы ей напомнить о сем переезде.

Де Сад

Итоговый счет

Всего следует заплатить	1006 ливров	5 су
Мадам послала	678 ливров	
Она обещает прислать	328 ливров	5 су
Всего	1006 ливров	5 су

[170] Письмо к майору де Лом [конец сентября или начало октября 1787 г.] (LML. T. I. P. 117).

[171] АС, НД.

[172] Постановление, принятое судом парижского превотства Шатле, о порядке управления имуществом де Сада в его отсутствие.

Всем, кто увидит настоящий документ, Анн-Габриэль Анри Бернар де Буленвилье, прево города Парижа, привет.

Извещаем, что в год тысяча семьсот восемьдесят седьмой, в среду, тринадцатого июня, в три часа пополудни, в нашем особняке, перед нами, Дени-Франсуа Анграном д'Аллерэ, шевалье, государственным советником, главным судьей в парижском Шатле, предстали нижеперечисленные родные и друзья мессира Донасьена Альфонса Франсуа, маркиза де Сада, шевалье, графа де Ла-Кост и де Мазан, сеньора Сомана и прочих мест, а именно:

– Мессир Жан-Батист Жозеф Давид, граф де Сад-Эгийер, сеньор д'Эгийер, граф де Монбрен, генеральный наместник провинций Брес, Бюже, Вальроме и Жекс, проживающий в Париже на улице Кассетт, в приходе Сен-Сюльпис, выступающий от своего имени в качестве кузена с отцовской стороны, а также по доверенности от имени мессира Жозефа Гаспара Бальтазара де Сада, бальи и великого командора Мальтийского ордена, гражданина города Авиньона, а с недавнего времени великого приора Тулузы. Означенная специальная доверенность в присутствии свидетелей была оформлена Ложье, нотариусом из Мазана, 19 декабря 1786 г.; и выдача ее на руки разрешена Барийоном, вице-ректором провинции Конта-Венэссен 22 числа того же месяца декабря; доверенность была приложена к черновику настоящего документа после того, как вышеуказанный граф де Сад д'Эгийер заверил ее по всем правилам, и на ней имеются подпись и параф вышеуказанного бальи де Сада, дяди с отцовской стороны вышеуказанного маркиза де Сада.

– Мессир Клод Рене Кордье де Монтрей, шевалье, советник, заседающий в королевских советах, председатель Высшего податного суда в Париже, тесть вышеуказанного маркиза де Сада.

– Мессир Шарль Луи Франсуа де Поль де Барантен, шевалье, королевский советник, заседающий в Государственном совете и первый председатель в королевском Податном суде, кузен вышеупомянутой г-жи де Сад, через г-жу Анн-Альбертин-Антуанетту Масон де Мелэ, свою супругу.

– Мессир Антуан Оноре Масон, шевалье, дядя вышеуказанной маркизы де Сад.

– Мессир Жозеф Мулен-Брюне, маркиз д'Эври, бригадный генерал королевской армии, кузен вышеупомянутой г-жи де Сад через Мари-Эсперанс Масон, свою супругу.

– И мессир Пьер Огюстен Робер де Сен-Венсан, шевалье, советник короля в Большой его палате Парламента, кузен вышеупомянутой маркизы де Сад через Элизабет Жак, свою супругу.

Все эти лица, после того как они принесли требуемую в таких случаях присягу, сделали заявление, оглашенное вышеуказанным графом де Садом д'Эгийер как от своего имени, так и от имени вышеуказанного бальи де Сада; заявили же они следующее.

Вышеуказанный Донасьен Альфонс Франсуа, маркиз де Сад, отсутствует с сентября месяца 1778 г.; отсутствие сие, длящееся восемь лет подряд, принесло и про-

должает приносить ощутимый ущерб его делам и состоянию. Его родовое имущество состоит из четырех имений, два из которых расположены в Провансе и два в Конта, что в совокупности приносит доход от девятнадцати до двадцати тысяч ливров; вот уже долгое время эти земли по разным причинам пребывают в небрежении из-за различных обстоятельств, следовавших друг за другом. Земли маркиза де Сада не повысили своей стоимости и не преумножились, в отличие от других владений в тех же провинциях, несмотря на заботы сьера Гофриди, адвоката при парламенте, назначенного маркизом де Садом задолго до отсутствия оного маркиза управляющим его землями и делами в Провансе, однако без выдачи ему составленной специально для такого случая доверенности *ad hoc,* равно как и без генеральной доверенности. По просьбе семьи вышеуказанный Гофриди постоянно управлял вверенным ему имуществом, однако, не имея достаточных полномочий, он не мог ни должным образом собирать доходы вышеуказанного маркиза де Сада, ни защищать его права и владения от ущерба, наносимого вассалами и соседями маркиза, ни возобновлять арендные договоры так, чтобы должники и арендаторы не беспокоились о своих платежах, а арендаторы спокойно распоряжались угодьями, взятыми ими в аренду.

Маркиз де Сад, в 1763 г. сочетавшийся браком с мадемуазель Кордье де Монтрей, следуя обычаю города Парижа, где был подписан брачный контракт и где маркиза де Сад проживает вот уже около десяти лет, осуществил обобществление имущества супругов. Получив в приданое за маркизой де Сад сто шестьдесят тысяч ливров, он, имея на это полное право, поместил их в недвижимость, принадлежащую ему в Провансе и в Конта; однако доходы с части имущества, имеющегося в Париже и принадлежащего собственно маркизе де Сад при отсутствии у нее полномочий от маркиза де Сада, скопились в руках должников, среди которых имеются лица, желающие полностью расплатиться с долгами, однако они не имеют юридической возможности сделать это, ибо никто не уполномочен принять у них означенные платежи; многие даже готовы заплатить по обязательствам и передать эти деньги на хранение, ибо они имеют на это право; но подобная операция сопряжена с финансовым риском для маркиза и маркизы де Сад.

Проживая у себя в поместьях, маркиз де Сад совершал расходы и задолжал значительную сумму; он отбыл, оставшись должен посредникам, рабочим и поставщикам; счета бывшего управляющего не были надлежащим образом оформлены маркизом де Садом по причине ряда сложностей, долгое время остававшихся нерешенными, но которые постепенно, по мере возможности были преодолены благодаря содействию арендаторов. В течение восьми лет все долги были уплачены, равно как и прочие сборы. Г-н Гофриди готов и хочет дать в этом отчет как для собственного удовлетворения, так и желая обезопасить себя. Для пользы маркиза и маркизы де Сад отчет сей должен быть сделан. К отчету будут приложены соответствующие документы; они являются гарантиями, подтверждающими уплату долгов, как произведенных за время управления вышеуказанного Гофриди, так и оставшихся после бывшего управляющего, вышеозначенного Фажа, его предшественника.

В этих обстоятельствах вышеуказанный граф де Сад д'Эгийер от своего имени, равно как и от имени бальи де Сада, просит собравшихся здесь родственников и друзей обсудить между собой меры, которые необходимо принять для сохранения за вышеуказанными маркизом де Садом и маркизой де Сад, его супругой, их владений и прав, ибо за время отсутствия вышеуказанного маркиза де Сада права сии могут быть оспорены, а владения прийти в упадок. Вышеуказанные родственники и друзья, посовещавшись между собой о вышеназванном предмете, пришли к единому решению, согласно которому означенный Гофриди, адвокат при парламенте в Эксе, проживающий в Апте, что в Провансе, и облеченный маркизом де Садом во время присутствия оного в своих владениях полномочиями управлять и заведовать его землями, останется и будет обязан продолжать управлять, распоря-

жаться и руководить имуществом и делами означенного маркиза де Сада в Провансе и в Конта во время отсутствия означенного маркиза; получать со всех, с кого нужно, арендную плату и рентные платежи, ценз и земельную ренту как деньгами, так и зерном, и мелкой живностью, и другими доходами и плодами, собранными и которые в дальнейшем будут собраны на землях, принадлежащих маркизу де Саду. Он будет получать сборы с перехода цензив и другие сеньориальные сборы, предлагать любые цены, утверждать любые контракты, вести расчеты с любыми арендаторами и должниками, подтверждать или же оспаривать вышеназванные расчеты полностью или частично, определять суммы неустойки и получать их, равно как и неустойки, оставшиеся после прежнего управителя; требовать оправдательные документы на производство расходов и заверять их; производить необходимые и нужные ремонтные работы строений и построек, расположенных во владениях вышеуказанного маркиза, использовать для этого тех рабочих, которых он сочтет нужным; утверждать ведомости о долгах и производить по ним оплату; сдавать в аренду вышеозначенные земли и имущество, однако делать это в присутствии и с согласия бальи де Сада, дяди по отцовской линии маркиза де Сада, тем лицам и на такое время, за такую цену и на таких условиях, которые вышеуказанный бальи де Сад сочтет уместными; получать арендную плату и заключать и подписывать любые арендные соглашения. За все поступления, кои означенный Гофриди соберет в силу настоящих полномочий, он будет давать расписки и подтверждать уплату; если должник не платит, означенный Гофриди получит полномочия начать против него судебное преследование или иные необходимые действия, получит право добиваться любых постановлений и строгого их исполнения. Также он получит право добиваться наложения секвестра на имущество должников, как движимое, так и недвижимое, и заключения сих должников под стражу; получит право вступать с ними в соглашения, договариваться о снятии секвестра и отказе от всякого рода претензий; принимать векселя третьих лиц, предъявлять их ко взысканию и получать по ним деньги; вести любые процессы, возбуждать любые иски и защищаться от исков, могущих быть возбужденными против вышеуказанного маркиза де Сада. Для успешного выполнения сей задачи он получает право выбирать любых поверенных и адвокатов, отзывать их, заменять другими, вести переговоры и заключать мировые соглашения, решать спорные вопросы; однако все это он станет делать, прислушиваясь к мнению и советам бальи де Сада. Из тех доходов, которые вышеуказанный Гофриди сумеет извлечь на основании врученной ему вышеуказанной власти, ему также будет разрешено платить по долговым обязательствам, налогам, кои маркизу де Саду требуется и может потребоваться заплатить, а оставшееся использовать на нужды и содержание как маркизы де Сад, так и ее детей, в зависимости от потребностей и обстоятельств, а также отдавать маркизе де Сад четыре тысячи ливров в год из этих доходов в счет части пенсиона, который, как полагает семья, ей необходимо выплачивать на указанных условиях. Также ему будет дано право использовать излишки недвижимости во владениях вышеуказанного маркиза де Сада к наибольшей выгоде означенного маркиза, или же использовать их для полного выкупа наиболее обременительных земельных или конституированных рент, и все это с совета и согласия бальи де Сада. Что же касается доходов полученных или же тех, которые будут получены с собственности и долговых обязательств, принадлежащих лично маркизе де Сад, вышеуказанные родственники и друзья заявляют, что согласно их мнению маркиза де Сад остается и будет оставаться вправе получать под простую расписку доходы настоящие и будущие с вышеуказанного имущества и долговых обязательств; и она будет получать суммы, идущие на погашение долгов, выдавая в том квитанции, независимо от того, на кого перешел данный долг, и возвращая все относящиеся к нему документы; оформив надлежащим образом возврат долга, должники будут законно и надлежащим образом считаться свободными от лежавших на них обязательств и от ответственности за судьбу возвращенных ими денег. При этом должно быть соблюдено

условие, что деньги, выплаченные в погашение основных долговых сумм, будут помещены на хранение, при выдаче соответствующей квитанции, у мэтра Жильбера-старшего, нотариуса, финансовый же риск от этого помещения будет возложен на вышеозначенную маркизу де Сад; и эти деньги будут находиться у нотариуса до тех пор, пока не будет решен вопрос об их новом вложении, что должно произойти по решению родных и друзей означенных маркизы и маркиза де Сад, надлежащим образом заверенному. Означенной маркизе вменяется в обязанность из выделенных ей, как указано выше, доходов, во исполнение обязательств маркиза де Сада, ее мужа, выплачивать пожизненную ренту в триста ливров, которую он определил некоему человеку по имени Ланглуа, проживающему в Париже; еще двести ливров пожизненной ренты, которую маркиз назначил некой Лурде, проживающей в Париже, и восемьдесят ливров ренты за долг в 1600 ливров необходимо выплачивать некоему Лаэ, проживающему в Нантерре. Затем присутствующие заявляют следующее: вышеозначенный граф де Сад д'Эгийер, в качестве доверенного лица вышеуказанного бальи де Сада, обратился к родственникам и правосудию с просьбой дать согласие на то, о чем он сейчас скажет; и все собравшиеся здесь пришли к единодушному согласию, что вышеуказанный бальи де Сад руководит и будет и дальше руководить образованием и устройством и поведением детей вышеуказанного маркиза де Сада совместно с маркизой де Сад, их матерью; он примет отчет вышеуказанного Гофриди обо всех поступлениях и расходах, сделанных им для маркиза де Сада за время его управления, начиная с тех расходов, которые могли быть сделаны в присутствии вышеуказанного маркиза де Сада и им же утверждены до его отбытия; засчитает в расход платежи вышеуказанного Гофриди на уплату больших долгов, существовавших тогда и в предшествующие годы на основании документов и бумаг, которые тот представит; равным образом засчитает в расход те суммы, которые Гофриди до сих пор передал маркизе де Сад для нее и для ее детей на основании расписок, которые она ему давала, а также прочие выплаты, которые окажутся произведенными Гофриди, если они будут одобрены вышеуказанным бальи де Садом; зафиксирует оставшуюся после всех выплат сумму чистого дохода и определит ее назначение; получив все бумаги и расписки о расходах, совершенных согласно этому отчету, освободит от ответственности за них вышеуказанного Гофриди; поместит эти документы на хранение в место, которое бальи де Сад сочтет наиболее надежным для заинтересованных сторон; наконец, означенному бальи де Саду будет поручено определить размеры доходов и расходов, которые вышеуказанный Гофриди будет производить для маркизы де Сад и ее детей; и вообще, дозволение на любые расходы, кои будут совершаться для блага семьи, будет давать означенный бальи де Сад по соглашению с председателем де Монтреем, отцом вышеуказанной маркизы де Сад; он же будет утверждать или же опротестовывать эти счета, полностью или частично, фиксировать оставшуюся сумму чистого дохода и определять ее назначение, а также выбирать место, куда будут помещены на хранение оправдательные документы по данным счетам, как было сказано выше. И собравшиеся подписали черновик настоящего документа.

И мы выдали собравшимся документ об их явке, клятвах, заверениях, речах и решениях; и прежде чем принято наше решение, постановили, что указанная маркиза де Сад предстанет перед нами в первый же приемный день в нашем особняке, в три часа пополудни, дабы ознакомиться с содержанием настоящего протокола и высказать свое мнение и свои претензии к этому документу, дабы затем мы вынесли наше решение, каковое будет исполняться, несмотря на возможную подачу апелляции. Настоящий черновик подписан: Ангран.

И в субботу, 16 числа указанного месяца июня 1787 г., в три часа пополудни, в нашем особняке перед нами, Дени-Франсуа Ангран д'Аллерэ, шевалье, государственным советником, главным судьей в Парижском Шатле, предстала вышеозначенная Рене-Пелажи Кордье де Монтрей, супруга вышеозначенного маркиза де Сада, коя заявила нам, что явилась, желая исполнить наше распоряжение, записан-

ное в протоколе собрания родственников и друзей ее самой и означенного маркиза де Сада, ее мужа, протоколе, составленном в нашем особняке и в нашем присутствии 13 июня настоящего месяца, о чем было ей сообщено председателем де Монтреем, ее отцом. И после того, как означенная маркиза де Сад ознакомилась со всеми решениями, занесенными в протокол, она сказала нам, что во всем полагается на указанных родственников и друзей и на нашу рассудительность, что и было удостоверено подписанием ею черновика документа.

Выдав указанной маркизе де Сад документы, подтверждающие явку и решения названных родственников, мы решили, что указанный Гофриди, коему маркизом де Садом было поручено управление и распоряжение его землями, является и остается уполномоченным с правом управлять и вести дела во время отсутствия указанного маркиза де Сада, распоряжаться его имуществом и делами в Провансе и в Конта <...>.

Все это было решено согласно с мнением означенных родственников и друзей, решение которых мы официально утвердили. В удостоверение чего к сему документу была приложена печать. Дано нами, вышеназванным судьей, в вышеуказанный день и год.

Подписано: *Фурнье*, сверщик; подписано: *Моро*, с парафом ниже; написано и скреплено печатью 21 июня 1787 г. Подписано: *Отри* (АС, НД).

[173] АС, НП.

[174] Основной материал, относящийся к «Ста двадцати дням Содома», мы черпаем из изд.: *Sade*. Œuvres de Sade. P.: Gallimard, 1990. (Pléiade), которое рассматриваем как окончательное и поэтому отсылаем читателя именно к нему.

[175] *Lacan J.* Kant avec Sade // Critique. 1963. Avril.

[176] OC. T. XIII. P. XXIII.

[177] Ibid. P. LXXV.

[178] См.: *Sade*. Œuvres de Sade. ... T. I. P. 1196–1213.

[179] LML. T. I. P. 126.

[180] См.: *Lely*. Vie. T. II. P. 186.

[181] Полностью она воспроизведена в изд.: *Lely*. Vie. T. II. P. 263–272.

[182] AN. F. 4954. Piece 9.

[183] Запись в реестре о прибытии де Сада в Шарантон гласит:

4 июля 1789 г.

Луи-Альдонс Донасьен, граф де Сад, в возрасте 48 лет, уроженец города Парижа, прихода Св. Сюльпиция, сын Франсуа, графа де Сада и Элеонор де Майе, своих отца и матери, женатый на Рене-Пелажи де Монтрей. Прибыл в указанный день на основании приказа короля, отданного в Версале 3 июля 1789 г. Подписано: Людовик, а ниже: Лоран де Вильдей.

Содержание г-на де Сада оплачивает его супруга (AD. Val-de-Marne. AJ[2]95, F. 61).

Упоминание о переводе де Сада в Шарантон см. также: La Bastille dévoilée. T. I. Livraison 3. P. 12.

[184] Tableau de Paris. 1778. T. XII. P. 35–40.

[185] АС. Fonds Bégis, НД.

[186] BM. Orléans. Ms. 1423. Об этой рукописи упоминает Робер Дарнтон в своей статье «Бумаги маркиза де Сада и взятие Бастилии» (см.: *Darnton R*. Les papiers du marquis de Sade et la prise la Bastille // Annales historique de la Revolution française. 1970. № 202. Octobre–décembre. P. 666.

[187] *Desbordes J.* Op. cit. P. 244–245.

[188] Письмо комиссара Шенона к г-же де Сад от 27 июля 1789 г. (АС, НП).

[189] *Moniteur*. 1790. 15, 18 marg. L. I. 609; B. 2, 200.

[190] *Lely*. Vie. T. II. P. 282.

[191] Письмо от г-жи де Монтрей к Гофриди от 23 марта 1791 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 262).

Часть вторая
Глава XVII

[1] Сам маркиз именно так рассказывает о своих первых часах свободы. В действительности он прекрасно знал, где ему остановиться, так как в день выхода из Шарантона его жена дала Гофриди адрес г-на де Милли (см. письмо от 2 апреля 1790 г. в изд.: *Bourdin*. Op. cit. P. 262).

[2] Пьер Антуан де Милли, адвокат при парижском парламенте, прокурор Шатле и известный библиофил, родился 24 апреля 1728 г. в Париже и умер там же 23 марта 1799 г.; супругой его была племянница Мерсье, аббата в монастыре Сен-Леже, вместе с которым Милли разделял страсть к библиографии. Каталог библиотеки Милли, составленный Шайу, предваряет статья о владельце библиотеки; эта же статья вошла в изд.: Magasin encyclopedique. 5e année. T. III. P. 242. На протяжении двадцати шести лет Милли вел парижские дела де Сада.

[3] Лукавя, Сад утверждает, что получил всего шесть луидоров:

Де Милли, прокурор в Шатле, вот уже двадцать шесть лет ведающий в столице моими делами, сразу же предложил мне ночлег, стол и шесть луидоров. На четвертый день, когда от моих шести луидоров осталось только три, мне пришлось, чтобы не быть в тягость, искать гостиницу, лакея, портного, поставщика и т. п., имея на все про все три луидора (письмо к Гофриди от 12 апреля 1790 г., цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 263; см. также расписку в примеч. 6).

[4] Цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 263.

[5] В тот же день он подписывает доверенность на своего сына Луи-Мари, дабы тот вывез его мебель и вещи, оставшиеся в Шарантоне. Ниже приводим выдержки из этого документа:

Поручаю своему сыну, графу де Саду-старшему, забрать у святых отцов в Шарантоне мебель и вещи, кои я там оставил, и дать им в этом расписку.
В Париже, 6 апреля 1790 г.

Де Сад

Я, нижеподписавшийся Луи, граф де Сад, в силу полномочий, переданных мне моим отцом, признаю, что отец попечитель Шарантона, принадлежащий к ордену Милосердных братьев, передал мне мебель, вещи, белье и одежду, которые имелись в комнатах, занимавшихся моим отцом в этом заведении, равно как и записи о расходах, сделанных по просьбе моего отца, в чем и подписуюсь.
В Шарантоне, 6 апреля 1790 г.

Граф де Сад

Я, нижеподписавшийся доктор права, прокурор Шатле и мировой судья дистрикта Сент-Оноре, от имени графа де Сада утверждаю и ратифицирую настоящую доверенность.
В Шарантоне, 6 апреля 1790 г.

Де Милли (B. Avignon, autographes «Requien»)

[6] Сохранилась расписка маркиза, подтверждающая данный заем:

Я, нижеподписавшийся, признаю, что получил от председательши де Монтрей, моей тещи, при посредничестве мэтра Милли сумму в тысячу двести ливров, из которых тысяча ливров ушла на оплату части долга шарантонским монахам, и

двести ливров были возвращены мэтру де Милли для покрытия части суммы аванса, который он имел любезность мне выдать по моему прибытии в Париж.

17 апреля 1790 г.

Де Сад (АС, НД)

[7] См.: расписку от 1 мая 1790 г. (АС, НД).

[8] В те времена на улице Булуар (в настоящее время – улица Булуа в I-м округе), неподалеку от которой располагалась главная почтово-пассажирская контора, многие дома были превращены в гостиницы, где постояльцам сдавались меблированные комнаты. Дом, где снял комнату де Сад, находился на месте нынешнего дома № 5. Построенный в 1769 г., он был снесен в 1860 г.

[9] АС, НП.

[10] *Baumont-Vassy E.-F., vicomte de*. Mémoires du XIX siècle. P., 1874. P. 136–137.

[11] Любопытно сравнить порыв отчаяния Сада с тем, который тридцать лет назад охватил его отца. И у отца, и у сына одно и то же стремление к уединению:

> Я рассчитываю удалиться куда-нибудь в укромный уголок, дабы жить там вдали от шума света и предаваться мыслям о предстоящей кончине. Вскоре я скажу Вам последнее прости и буду просить простить мне все то зло и все те горести, кои я Вам причинил (письмо графа де Сада к сестре Габриэль-Лор от 30 июля 1762 г.: BN. Ms. NAF. 24384. F. 319).

[12] К сожалению, эта записка не сохранилась. Г-жа де Сад намекает на нее в письме к Гофриди от 2 апреля 1790 г. (см.: *Bourdin*. Op. cit. P. 262).

[13] Цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 272. О предстоящем разрыве Гофриди узнал на несколько дней раньше Донасьена – из строго конфиденциального письма, датированного 23 марта 1790 г., где г-жа де Монтрей в завуалированной форме сообщала о решении дочери управляющему: «Уверена, Вы не станете советовать ей продолжать подвергать себя тем испытаниям, кои ей приходится терпеть вот уже двадцать лет» (частное собрание, НП). Согласно Полю Жинисти, Донасьен сам явился инициатором разрыва (см.: *Ginisty P.* La Marquise de Sade. [s. l., s. d.]. P. 86–87). Отто Флаке также совершенно безосновательно приписывает данное решение Донасьену и добавляет, что маркиз давно хотел избавиться от «состарившейся» супруги (см.: *Flake O.* Le Marquis de Sade. [s. l., s. d.]. P. 78). Последнее сочинение являет собой великолепный образчик садических нелепостей.

[14] Цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 269.

[15] См. примеч. 26, неизданное письмо Рейно к Саду от 5 июня 1790 г.

[16] См.: *Fayot P., Tiran C.* Mazan: Histoire et Vie quotidienne d'un village comtadin à travers les sieces. Carpentras: Le nombre d'or, 1978. P. 346 sq.

[17] Требование присоединения к Франции проистекало не только — как принято считать – из патриотического рвения. Выращивание табака и успешное производство окрашенных тканей, на которых держалось процветание края, в Папском государстве было запрещено конкордатом 1734 г. Таким образом, для жителей Конта уход из-под власти Рима был обусловлен еще и экономическими интересами.

[18] Состав собрания формировался следующим образом: пятнадцать представителей от духовенства, пятнадцать — от дворянства и шестьдесят представителей от третьего сословия.

[19] Восемнадцатого августа 1791 г. большинство общин Конта высказались за присоединение к Франции; 14 сентября 1791 г. Учредительное собрание ратифицировало решение местных органов власти.

[20] См.: *Vovelle M.* De la cave au grenier. Québec: S. Fleury, 1980. T. II. P. 187–208.

[21] С сентября 1791 г. революционный муниципалитет станет взимать налог с этой сеньориальной подати.

[22] Барон Ранцау, оказавшись замешанным в заговор Штруензее, навлек на себя гнев короля Дании и вынужден был бежать из страны. Переодевшись нищенствующим монахом, он прибыл в Менерб вместе со своей любовницей, поваром и танцовщицей. Там он нашел пристанище в богатом особняке мадемуазель де Тэнгри. В 1781 г. он окончательно обосновался в крепости, сбросил рясу и стал задавать роскошные пиры. Из Л'Иль-сюр-Сорг он выписал ученого музыканта-инструменталиста и вместе с ним сочинял музыку и занимался поисками секрета философского камня. У него за столом подавали самые изысканные блюда: мясо люберонского кабана, трюфеля из Ванту, раки из Сорга, сыры из Банона. Но вскоре его скрутила подагра, и он вынужден был передвигаться в инвалидном кресле. Говорят, когда пришел его смертный час, он попросил похоронить его на месте кончины, в кресле, с трубкой в зубах и газетой в руках. Его могилу до сих пор можно видеть в крепостном саду.

[23] B. Lacoste. 2180. Archives de Haufe Provence.

[24] Письма Рейно к де Саду являются ценными свидетельствами революционных событий в Провансе. Вот отрывок из одного письма, где рассказывается о революционных событиях в Эксе:

В этой провинции вовсю идет работа по определению границ дистриктов и департаментов. Иногда Экс подвергается набегам простонародья из Марселя. Совсем недавно муниципалитет Марселя призвал их остановить. Провинция пребывает в постоянном волнении. Лихорадит то в одном, то в другом месте. Тем не менее похоже, что в целом нынче можно ожидать наступления спокойствия. В Марселе прекратили разрушать форты. Говорят, чтобы возместить нанесенный ущерб, не хватит даже четырех миллионов. Нам совершенно необходимо создать трибуналы правосудия, ибо прежние суды бездействуют. Последние отголоски революционных событий докатились и до Авиньона; в результате семь человек, двое из которых священники, посажены в тюрьму. Надеюсь все-таки, что вскоре во всех частях королевства воцарится мир. Значительное число жителей Прованса эмигрировали в Пьемонт. Город наш почти опустел. Это не идет на пользу работе. Зато со всех сторон прибывает множество пришлого люда (письмо от 5 июня 1790 г.: АС, НП).

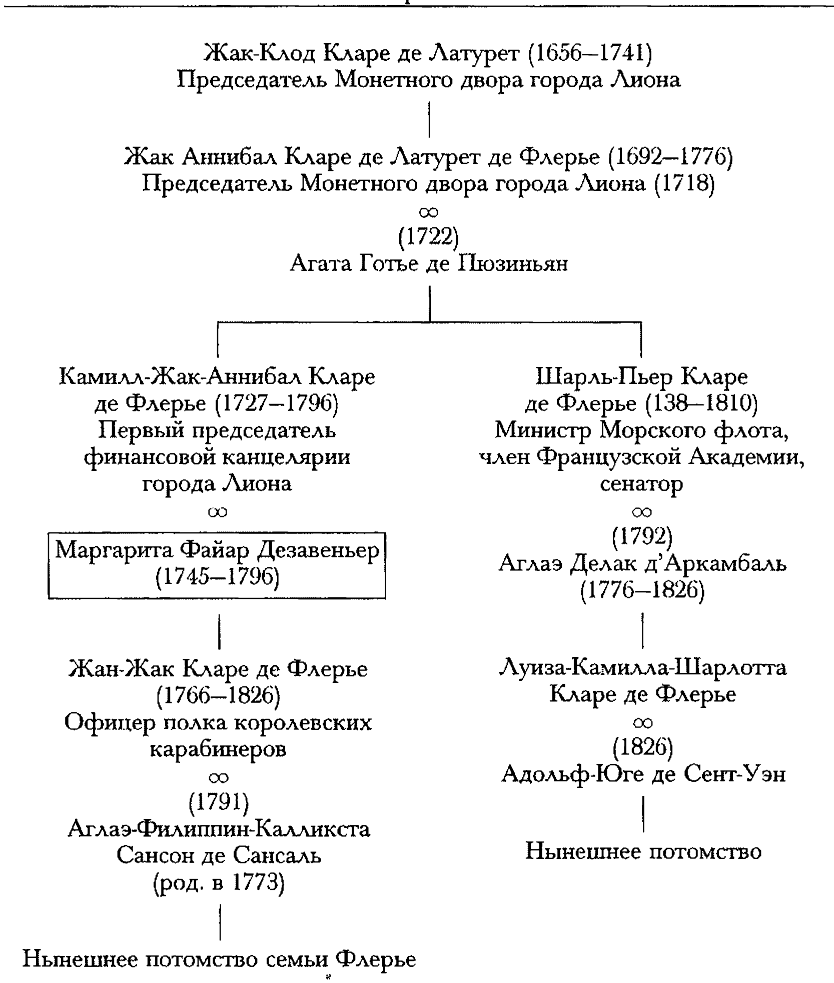
[25] Письмо к Рейно от 19 мая 1790 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 267).

[26] В письме к Гофриди Сад ошибочно присуждает ему звание Председателя парламента Гренобля (см.: *Bourdin*. Op. cit. P. 271). Ниже мы приводим краткую генеалогию семьи Флерье, составленную на основании материалов, любезно предоставленных автору нынешним графом Кристианом де Флерье (см. с. 797).

[27] Двадцать седьмого октября 1790 г. пьеса «Полина» получила единодушное одобрение художественного совета (о чем свидетельствуют сохранившиеся в архивах театра Комеди Франсэз документы, где автор именуется Председателем Флерье, что подтверждает наши предположения). Впервые «Полина» была поставлена на сцене Комеди Франсэз 2 июля 1791 г. вместе с «Семирамидой» Вольтера. В спектакле были заняты актеры:

Г. де Люмей	Сен-Фаль
Шевалье	Сен-Фар Дюнан
Раймон	Ларошель
Мартен	Маршан
М-м Мийе	Лашассень
М-м де Люмей	Пти
Полина	Шарлотта

Пьеса была сыграна еще дважды (4 июля 1791 г. вместе с «Метроманией» Пирона и 29 августа 1791 г. – с «Оптимистом» Колена д'Арлевиля), и на этом показ ее завершился (см.: архивы Комеди Франсэз).



А вот что писал парижский обозреватель «Журналь де Пари» на следующий день после премьеры:

Сюжет короткой комедии «Полина», премьера которой состоялась вчера, заимствован из немецкого театра.

Узнав, что у мужа имеется внебрачная дочь, молодая жена втайне делится своим горем с другом мужа, отчего муж начинает ревновать ее к другу. Он вызывает мнимого соперника на дуэль и хочет развестись с женой. Жена берет девушку к себе в дом, намереваясь выдать ее замуж; раздобыв бумаги, удостоверяющие рождение девушки, она кладет их на стол и запирает в кабинете; муж отпирает кабинет и читает оставленные на столе бумаги, из коих узнает, что девушка — его дочь, и исправляет совершенные им ошибки.

Автор, который, как нам известно, является женщиной, намеревался выступить против печального предубеждения, питаемого обычно к внебрачным детям. Многие сцены, направленные на раскрытие основного замысла, были встречены аплодисментами. Однако в целом пьеса успеха не имела (см.: Journal de Paris. 1791. 3 Juillet).

В том же 1791 г. «Полина» была напечатана. Библиограф Барбье, а следом за ним и Каталог Национальной библиотеки, ошибочно приписали авторство этой пьесы родственнице председательши де Флерье, Аглаэ Делак д'Аркамбаль (1776–1826), вышедшей замуж за Шарля-Пьера Кларе де Флерье (1738–1810), министра Морского флота, а затем за Эсеба де Сальверта (в 1812 г.). В 1790 г. ей было всего четырнадцать лет и она не была замужем.

Перу председательши де Флерье также принадлежит и небольшой сатирический опус под названием «Век воздушных шаров, новая сатира» («Le Siècle des ballons, satire nouvelle») (1784).

Впрочем, ей также хотели приписать роман, озаглавленный «Стелла, английская история, написанная г-жой де Ф***» («Stella, histoire anglaise, par Mme de F***»; 1800). Автором его, обозначенным инициалами Аглаэ Д*** Ф*** может быть как Аглаэ Делак д'Аркамбаль (гипотеза, поддержанная Барбье), так и Аглаэ Калликста Сансон де Сансаль, то есть супруга Жан-Жака Кларе де Флерье, родственница нашей председательши. В романе, действие которого происходит в Англии, рассказывается о злоключениях юной сироты по имени Стелла Гейтенби.

[28] Цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 271.

[29] Луиза-Жозефина-Мари-Дельфина де Розьер-Соран, родившаяся в декабре 1766 г., была дочерью маркиза де Сорана и Мари-Луизы-Элизабет де Майе де Карман, двоюродной сестры матери Донасьена; ее крестным отцом был Луи-Жозеф де Бурбон, принц Конде. В 1782 г. она вышла замуж за графа Станисласа де Клермон-Тоннера, ставшего вместе с Малуэ основателем клуба Беспристрастных; 10 августа 1792 г. граф был убит во время Террора. Ниже мы приводим краткую генеалогию семьи Розьер-Соран по данным Шарля Дюбюса (см.: *Du Bus Ch.* Stanislas de Clermont-Tonnerre et l'échec de la Révolution monarchique. P.: Alcan, 1931).

Следовательно, Дельфина была троюродной сестрой Донасьена, однако по причине большой разницы в возрасте (Донасьен был примерно одних лет с ее матерью) она обычно называла его «дядюшкой».

[30] Согласно данному контракту в случае расторжения соглашения об общности имущества

<...> означенная девица будущая супруга и дети, которые родятся в результате указанного брака, будут иметь право отказаться от совместного владения имуществом и забрать все то, что означенная девица будущая супруга принесла в качестве приданого, а также все то, что ей придется и достанется за время этого брака, как движимого имущества, так и недвижимого, кое перейдет к ней по наследству, дарению, завещанию или же иными путями (AD. Vaucluse. J. 87).

[31] Письмо Рейно к г-же де Монтрей от 12 августа 1791 г. (АС, НП).

[32] AD. Vaucluse. J. 87.

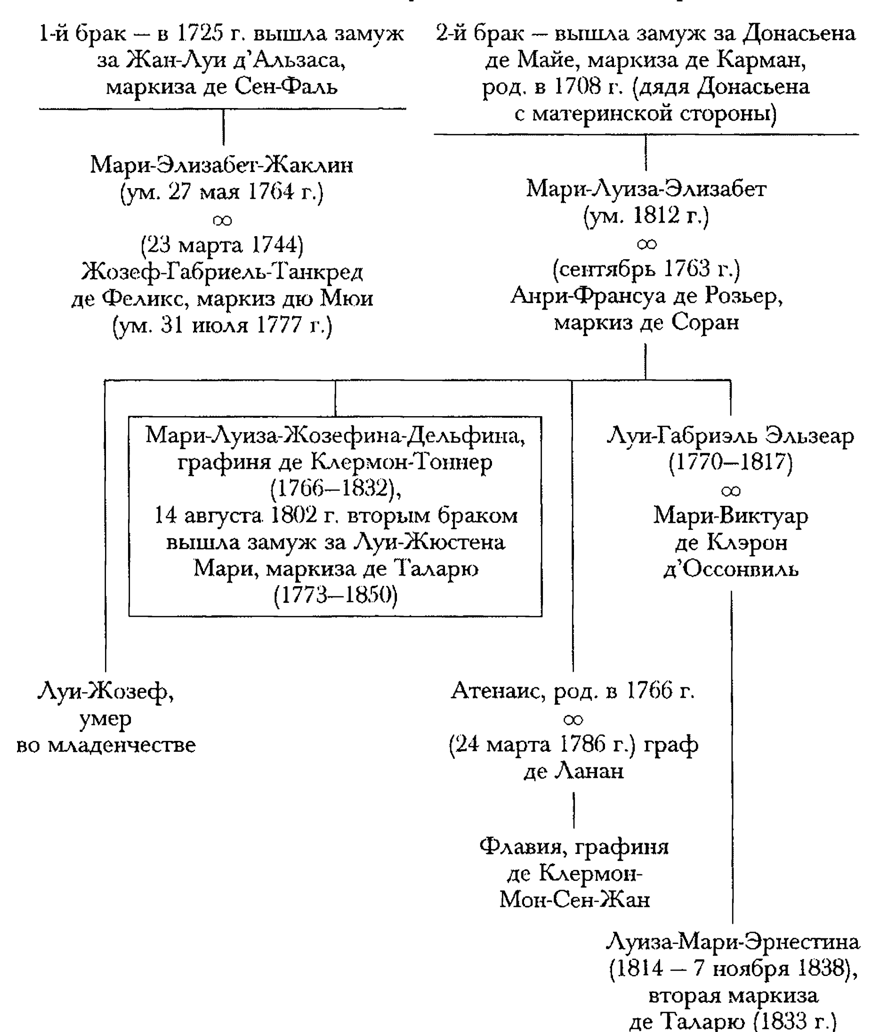
[33] Письмо от 15 марта 1791 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 285–286).

[34] АС, НП.

[35] Письмо от 6 февраля 1792 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 310).

Глава XVIII

[1] Археолог и историк Луи-Франсуа, маркиз де Вильнев-Тран, родился в Сент-Альбане в 1784 г., умер в Нанси в 1850 г. Исполнял должность королевского камер-юнкера при дворе Людовика XVIII, всю жизнь занимался исследовательскими изысканиями. Его перу принадлежат: «История Рене Анжуйского» («Histoire de René d'Anjou»; 1825), «Капелла герцога де Нанси» («Chapelle



ducale de Nancy»; 1826), «Памятники великих магистров в храме Святого Иоанна Иерусалимского» («Monuments des grands maîtres de Saint-Jean de Jérusalem»; 1829), «История Людовика Святого, короля Франции» («Histoire de Saint-Louis, roi de France»; 1836).

[2] Цит. по: *Lely*. Vie. T. II. P. 406 et n. 2.

[3] См. предисловие Жан-Жака Брошье к изд.: *Sade D.A.F.* Théâtre de Sade: En 4 vol. P.: Pauvert, 1970. T. I. P. 11–33.

[4] Триумф «Осады Кале» вошел в театральные анналы. Автор был удостоен золотой медали, которую вручил ему сам король, и внушительного денежного вознаграждения. Город Кале наградил Беллуа званием почетного гражда-

нина, а во всех городах страны были сыграны бесплатные спектакли для простонародья и солдат.

Без сомнения, создавая «Жанну Лене», Сад мечтал повторить подвиг Беллуа. Отрывок из его письма к жене, написанного в апреле 1784 г., показывает, что он надеялся, что пьесу оценят не со стороны ее литературных достоинств, а как произведение, возбуждающее национальный дух и патриотизм:

> Эта трагедия вне всякой критики. Даже если она будет отвратительно написана, один лишь жанр ее заслуживает похвалы, кою она найдет везде, где ее увидят честные люди и добрые патриоты. Если в ней имеется несколько стихов, вызывающих раздражение, я готов убрать их; полагаю, более мне нечего добавить. Если же недовольство вызывает сюжет, мне остается только досадовать, хотя удивления это у меня не вызовет, ибо мне прекрасно известно, что не следует говорить о *патриотизме* с *подстрекателями дня баррикад.* Однако пьеса моя написана не для людей, представляющих нашу *судократию*, и не им судить о ней. Как только я выйду из тюрьмы, я почту своим долгом сделать четыре копии этой трагедии. Первая будет принесена *к стопам короля*, вторая — отдана на суд *маршалу Франции*, третья передана для вынесения приговора *министру де Бретей*, а четвертая, с соответствующим посвящением, будет отослана *дворянскому собранию города Бовэ* (АС; опубл. в изд.: LML. Т. III. Р. 189).

К тому времени на данную патриотическую тему уже было написано немало драматических сочинений, среди которых стоит выделить пьесы: «Жанна Секира, или Осада Бовэ» дю Руссе и «Осада Бовэ, или Жанна Лене», трагедия в стихах, в пяти актах, сочиненная Жан-Луи Арэньоном (см.: *Araignon J.-L.* Le Siège de Beauvais ou feanne Laisné. P.: Michel Lambert, 1766).

[5] АС; *Sade.* Théâtre... P. 119–120.

[6] Ibid. P. 121.

[7] Поль-Пьер Гобе, по прозвищу Дорфей (1745–1806) — актер и драматург. В содружестве с Гайяром, бывшим директором Лионского театра, в 1787–1790 гг. руководил сооружением театрального здания на улице Ришелье, строившегося по проекту архитектора Виктора Луи. Это здание Комеди Франсэз занимает и поныне.

[8] АС; *Sade.* Théâtre... P. 122–123.

[9] Ibid. P. 123–124.

[10] Цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 283, 288–289.

[11] В действительности «Соблазнитель», которого Сад впоследствии переименует в «Аморального, или Ложного друга», извлечен из «Союза Искусств», спектакля, составленного из пяти связанных между собою одноактных пьес: «Эуфемия де Мелен, или Осада Алжира», трагедия, написанная александрийским стихом; «Соблазнитель», комедия, написанная двусложным стихом; «Несчастная девушка», драма в прозе; «Азелис, или Наказанная кокетка», комическая феерия, написанная свободным стихом; «Зачарованная башня», комическая опера с музыкой и уличными песенками, и, наконец, балет-пантомима, венчающая представление. Понимая, что единовременно показать спектакль, где актерам предстоит произнести 6000 строк в стихах и прозе, невозможно, так как такое представление продолжалось бы более пяти часов, Сад решил ставить каждую пьесу самостоятельно.

[12] См. архив Комеди Франсэз: Registre 124[14] (feuilles), НД.

[13] Письмо от 15 марта 1793 г. (*Sade.* Théâtre... T. II. P. 92–93).

[14] Ibid. P. 94–95.

[15] Ibid. P. 89–90.

[16] Письмо, опубликованное Жильбером Лели в его Предисловии к изд.: *Sade.* Monsieur le 6. ... P. 46.

[17] Восемью голосами против пяти (см. архив Комеди Франсэз: Registre 124[14] (feuilles)).

[18] *Дюбюиссон* Поль-Ульрик (1746—1794) — активный участник революции, совмещал революционную деятельность с интенсивными занятиями драматургией. Написал несколько трагедий, драм, комедий и целый ворох либретто, имевших успех благодаря композиторам, сочинявшим к ним музыку: Паизиелло, Чимароза, Гайдн... Одно время возглавлял театр Лувуа, расположенный в доме № 8 на одноименной улице, в здании, построенном по эскизам Броньяра.

[19] Архив Комеди Франсэз: Registre 124[14] (feuilles), НД.

[20] АС; *Sade*. Théâtre... T. I. P. 119.

[21] *Фрамери* Никола-Этьен (1745—1810) — драматург и композитор, литературный агент Общества авторов, композиторов и драматургов.

[22] АС, НП.

[23] В повести автор встречает графа Окстьерна в Швеции на каторге, где тот отбывает наказание в рудниках Таперга; там граф и рассказывает свою историю. Эрнестина погибает от руки собственного отца, который в конце повествования привозит Окстьерну подписанный королем приказ об освобождении.

[24] Театр Мольера открылся 11 июня 1791 г. Во главе его стоял Жан-Франсуа Бурсо-Малерб, который сам иногда играл на сцене. «Этот театр, — пишет «Монитёр» от 11 ноября 1791 г., — отличается патриотизмом и любовью к революции». Антреприза оказалась неудачной, и год спустя театр закрылся. Вскоре он вновь открылся, но уже под другим названием, и вновь провал. И так раз за разом. Определенный успех театр снискал постановкой пьесы «Лига фанатиков и тираны» Ронсена. Бурсо играл в ней роль депутата. В ней звучали такие слова:

Во глубину времен проникни взглядом верным,
Последним был Луи там, где был Цезарь первым.
Пусть о грехах владык История ответит:
И если был один, чья славна добродетель,
То тысячи других из злобы и коварства
Кровавою волной свои залили царства.

Были поставлены также «Смерть Колиньи, или Ночь святого Варфоломея» Бакюляра д'Арно, «Охота Генриха IV» Вильмена д'Абанкура, «Возрожденная Франция», комическая опера Шоссара на музыку Сио; приведенные ниже строчки дают представление об общем тоне оперы:

Прелат. Ах, все встало с ног на голову с тех пор, как обо всем позволено писать.
Кюре. Прежде Разум правил только там, где то, что написали, умели прочитать.

[25] АС; *Sade*. Théâtre... T. IV. P. 10—11.

[26] После издания закона от 13 января 1791 г., провозгласившего свободу выбора пьес и разрешавшего всем театрам играть классический репертуар, актеры Комеди Франсэз посчитали себя ограбленными и направили петицию в Учредительное собрание с просьбой компенсировать ущерб: по мнению труппы, это был единственный способ продолжать ставить великие драмы прошлого и выплачивать пенсию актером, вышедшим в отставку. Общество авторов живо отреагировало на этот демарш, посчитав его неоправданным. Однако принцип ежедневной компенсации все же восторжествовал, оставалось только определить сумму. Именно по этому вопросу и разгорелись наиболее жаркие дебаты между авторами и актерами.

[27] АС, НП.

[28] Архив Комеди Франсэз. Неизвестное письмо от 20 сентября 1791 г.

[29] Дюкре-Дюмениль, директор «Петит-Афиш», не питавший никаких симпатий к театру Мольера, тем не менее опубликовал анонс де Сада, и даже совершенно бесплатно.

Не говорите мне об оплате подобного рода материалов, – писал директор драматургу, – и поверьте, я искренне желаю успеха Вашей пьесе. Не обещаю, что пойду ее смотреть, так как подобного рода зрелища мне, в сущности, чужды, тем более что мое одобрение в данном случае ничего не решает; только поддержка публики определяет, чего заслуживает сочинение, только публика указывает драматургу место, коего он заслуживает, и тем самым определяет его карьеру (АС, НП).

[30] Цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 298.

[31] На второй странице рукописи «Окстьерна» под заголовком: «Статья из "Монитер", опубликованная на следующий день после второго представления настоящей пьесы в театре Мольера», помещен совершенно другой текст, исполненный похвал и сочинению, и его автору; текст этот без колебаний можно приписать самому Саду. Возможно, он пытался опубликовать его в вышеуказанном журнале или же передать его хроникеру, отвечающему за рубрику, дабы тот почерпнул из него и материал, и вдохновение.

[32] АС. Fonds Bégis; *Lely.* Vie. T. II. P. 322.

[33] Пьеса, написанная 8 февраля 1792 г. В своем театре в Шарантоне Сад поставит «Двух маленьких савояров» Далерака и Марсолье.

[34] Цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 313.

[35] По этому вопросу, равно как и по многим другим, мы согласны с Жан-Жаком Брошье (см. предисловие к изд.: *Sade.* Théâtre... T. I. P. 11–33).

[36] Цена, указанная в «Фей де кореспонданс дю Либрер» за 1791 г. Второе издание того же года стоило всего шесть ливров – скорее всего, из-за разности форматов.

[37] Feuille de correspondance du libraire... P.: Aubry, 1791. № 1968. P. 406.

[38] Affiche, annonces et avis divers, ou Journal général de France. 1792. 27 septembre.

[39] *Barthes R.* Sade, Fourier, Loyola. [s. l., s. d.]. P. 140. (Coll. Points/Seuil)

[40] Le Tribunal d'Appolon. T. II. P. 12.

[41] *Heine M.* Le marquis de Sade... P. 229.

[42] *Barthes R.* Sade... P. 130.

[43] Le Tribunal d'Appolon. P. VIII (1800). T. II. P. 193.

[44] АС. Обширные выдержки из настоящего письма, опубликованные г-ном Тибо де Садом, см.: Libération. 1986. 23 mai.

[45] Любопытно отметить, что, несмотря на вид оскорбленной добродетели, Ломбар де Лангр сам является автором непристойных рассказов; к примеру, его перу принадлежит новелла «Берта, или Несравненный пук», опубликованная в 1807 г. в издательстве Дидо.

Глава XIX

[1] Согласно обнаруженному нами свидетельству о смерти, Мари-Констанс Кене умерла в 1832 г. в возрасте семьдесяти пяти лет, из чего следует, что она родилась в 1757 г. (см.: AD. Val-de-Marne. Tables décennales. Charenton-décès. 1792–1859: SE 19).

[2] Он вспомнит об этом дне в своем завещании, составленном в Шарантоне 30 января 1806 г.: «Желая по мере своих слабых сил засвидетельствовать сей даме свою величайшую признательность за ее заботы и искреннюю дружбу, кою она питала ко мне с 25 августа 1790 года и до моего последнего дня <...>».

[3] «Предложения, сделанные мадам де Сад» (АС, НД; см. также: Приложение XIV наст. изд.).

[4] Третьего сентября 1790 г. домовладелица подписала расписку в получении 225 ливров, суммы, составлявшей плату за квартиру за девять месяцев, с Пасхи до 15 января (см.: ANF[7] 4954[3]. Pièce 130 bis.).

[5] Мы отыскали арендный договор, заключенный 6 ноября 1790 г. с владельцами дома, наследниками обойщика Леже. Вот основные статьи этого документа:

Вышеуказанные и присутствующие здесь лица заключили арендный договор и сдали внаем на 3 года дом со всеми вытекающими последствиями с 1 января следующего года <...> А.-Д. де Саду, бывшему маркизу де Саду, <...> проживающему ныне в Париже в доме, указанном ниже, в приходе Мадлен-Лавиль-Левек <...>.

Настоящий арендный договор подразумевает сумму в 800 ливров в год, которая выплачивается раз в полгода, то есть в два приема <...>.

Вышеуказанный наниматель обещает <...> сохранять и оберегать дом с имеющейся в нем мебелью и прочей утварью, делающей его вполне пригодным для жилья, поддерживать в нем порядок <...> и вернуть его в хорошем состоянии по истечении срока аренды, а также проводить капитальные ремонтные работы, если таковые потребуются <...>, платить налоги, каковые берутся с не имеющих собственности, а также совершать все прочие выплаты, буде городское управление таковые назначит.

Вскоре арендная плата поднялась до 1200 ливров в год, и в качестве приложения к договору об аренде было составлено дополнительное соглашение:

<...> Альдонсу Донасьену де Саду <...> во исполнение условий договора, заключенного им с наследниками и представителями интересов покойного Мориса Леже, обойщика <...>, относительно аренды, договор о которой был заключен в присутствии мэтра Дюфулера <...> на три года <...> при условии ежегодной платы в сумме 800 ливров. Теперь присутствующими лицами заявляется, что де Сад по причине увеличения стоимости вышеуказанной аренды обязан выплачивать вышеуказанным наследникам дополнительную сумму в 400 ливров каждый год до тех пор, пока действует срок аренды; данная выплата должна совершаться также два раза в год, то есть каждые шесть месяцев, в те же самые сроки, в кои вносится арендная плата, указанная в основном договоре <...>.

Для обеспечения исполнения данного договора де Сад устанавливает ипотеку на все свое движимое и недвижимое имущество <...> (AN. Minutier Central. Et. XVI, 885. НД).

[6] Письмо от 12 июня 1791 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 289).

[7] Письмо от 20 фрюктидора VII года (6 сентября 1799 г.) анонимному адресату (см.: АС. Transcr. Bégis).

[8] Когда в 1832 г. умерла его мать, Шарлю Кене было сорок восемь лет (AD. Val-de-Marne. Tables décennales. Charenton-décès. 1792–1859: SE 19).

[9] Письмо без даты [1803 г.] (ОС. Т. XII. P. 598–599).

[10] *Klossowski*. Sade, mon prochain. [s. l., s. d.]. P. 192.

[11] Письмо сестры Марии Энкарнасьон к маркизу де Саду от 21 апреля 1791 г. (АС, НП).

[12] Письмо к Гофриди от 18 августа 1790 г. (цит. по: *Lely G*. Vie. T. II. P. 298).

[13] Письмо Гофриди к Рейно от 4 февраля 1792 г. (АС, НП).

[14] В двух письмах к Льону (от 20 июня и 8 сентября) де Сад излагает свои доводы относительно покупки дома. Ниже приведены наиболее значимые выдержки из этих писем:

Сударь, я собираюсь обосноваться в Париже, а потому намерен приобрести дом, где сейчас проживаю. Для совершения этой покупки необходимо что-либо про-

дать, а посему я решил продать свою недвижимость в Арле, дабы получить сумму в двадцать четыре тысячи ливров, совершенно необходимую для осуществления моего желания. Прошу без промедления заняться этим делом сразу по получении сего письма, одновременно поручаю Вам определить, какой участок из земельных угодий, принадлежащих мне в Кабанне, можно было бы продать, а также подыскать человека, который мог бы его купить (АС, НП).

Прошу Вас, сударь, совершить эту продажу без малейшей задержки, ибо дом, который я хочу купить, будет выставлен на торги не позднее 1 ноября. Это обстоятельство вынуждает иметь деньги наготове к назначенному дню, а именно к 15 октября. Поэтому как можно скорее совершите данную продажу, сразу же, как только получите сие письмо. С настоящей почтой, как Вы и просите, я извещу Гофриди, что ему необходимо выехать в Арль для оказания Вам содействия в проведении этой сделки (АС, НП).

Сам Рейно расценивал желание де Сада приобрести дом как сиюминутный каприз:

Г-н *** хочет сделать заем или продать принадлежащую ему в Арле недвижимость за 24 000 ливров и на эту сумму купить дом, где он сейчас проживает в Париже. Но как только дом будет куплен, он тотчас ему разонравится (письмо к г-же де Монтрей от 12 августа 1791 г. (АС, НП)).

[15] BN. Ms. NAF. 24384. F. 438—439.

[16] Из трех дочерей Анриетты-Виктуар де Сад, родившихся у нее в браке (заключенном 10 мая 1733 г.) с Жозефом-Игнасом де Вильневом, двое постриглись в монахини. Одна лишь Полина вступила в брак. 23 сентября 1760 г. она вышла замуж за Жозефа-Луи-Венсана де Молеона, шевалье де Козана, отставного полковника, служившего в полку Конти; муж был старше ее на сорок пять лет! Шевалье умер через десять лет — 1 февраля 1770 г. 20 марта 1774 г. Полина де Вильнев второй раз вышла замуж — за Этьена-Жозефа де Рауссе-Сумабра, капитан-лейтенанта Королевского военно-морского флота. Ее второй супруг был столь беден, что, согласно брачному контракту, ей пришлось выплачивать ему ежегодный пенсион в тысячу двести ливров; также она гарантировала ему стол и кров, при условии, что он будет проживать вместе с ней. В 1777—1778 гг. маркиз де Рауссе-Сумабр исполнял должность вигье в Авиньоне.

[17] АС, НП.

[18] АС, НП.

[19] АС, НП.

[20] АС, НП.

[21] АС, НП.

[22] АС, НП.

[23] Частное собрание, НП.

[24] Письмо Гофриди к Рейно от 4 февраля 1792 г. (АС, НП).

[25] Письмо Гофриди к Рейно от 4 февраля 1792 г. (АС, НП).

[26] Письмо г-жи де Монтрей к Гофриди от 23 марта 1790 г. (частное собрание, НП).

[27] Письмо Гофриди к Рейно от 4 февраля 1792 г. (АС, НП).

[28] ОС. Т. VIII. Р. 173.

[29] АС, НП.

[30] Цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 274—275.

[31] АС, НП.

[32] АС, НП.

[33] Письмо от 4 октября 1791 г. (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 294).

[34] Ibid. P. 295.

[35] В семейном архиве сохранилась копия завещания г-жи де Рауссе (отданная на хранение мэтру Годиберу, нотариусу в Авиньоне), выполненная рукой Клода Армана де Сада. Вот его основные пункты:

Я желаю, чтобы мой наследник, указанный ниже, продолжал выплачивать моей матери все, что ей причитается согласно брачному соглашению, так, как было оговорено. Кроме того, призываю дорогую матушку пользоваться всеми правами, кои она может иметь на мое имущество, согласно закону и обычаю этого края, и называю ее своей особой наследницей.

Назначаю и завещаю двум своим сестрам-монахиням ежегодный пожизненный пенсион – и это кроме причитающейся им доли – в триста ливров каждой, свободно переводимый от одной сестры к другой и выплачиваемый по простой расписке каждые полгода.

В том случае, если моя матушка умрет прежде меня, прошу де Садов, сыновей моего двоюродного брата, принять в дар по кольцу стоимостью в шесть тысяч ливров, кои могут быть выплачены после смерти моего наследника, ибо мне хотелось бы оставить им что-либо на память о себе <...>.

Основой и фундаментом института наследования является правильно составленное и надлежащим образом оформленное завещание; посему я провозглашаю, называю и назначаю своим главным наследником и легатарием всего моего имущества, что имеется в настоящем и будет приобретено в будущем, Этьена-Жозефа, графа де Рауссе, бывшего капитан-лейтенанта Королевского флота, моего дорогого и любимого супруга, обязуя его исполнить все вышеуказанные пункты [и] условия, а также заплатить все мои долги; также предоставляю ему полную свободу в провозглашении и назначении наследника моего имущества, коего он может выбрать как среди моих родственников, так и среди своих, словом, кого он сочтет нужным; он может быть уверен, что с настоящего момента я даю свое одобрение его выбору, каким бы он ни был <...>. Составлено в Авиньоне, 20 февраля 1789 г.

Заявляю, что составленное выше завещание было продиктовано мною и полностью соответствует моему волеизъявлению, и я полностью его одобряю и подтверждаю его подлинность как документа, выражающего мою последнюю волю.

Подписано: *графиня де Вильнев-Рауссе* (АС, НД)

[36] АС, НП.

[37] АС, НП.

[38] *Bourdin*. Op. cit. P. 296.

[39] Ibid. P. 296–297.

[40] Частное собрание. Неизданный фрагмент.

[41] *Bourdin*. Op. cit. P. 310.

[42] Ibid.

[43] Ibid. P. 310–311.

[44] В обоих видах на жительство, выданных секцией Пик, копии которых сохранились в регистрационных книгах дистрикта Апт, его именуют как жильца «гражданки Пальза» (AD. Vaucluse: 2 L. 44 № 65 et 2 L. 47).

[45] К Гофриди (АС, НП).

Глава XX

[1] *Janin J.* Le marquis de Sade // Revue de Paris. 1834. Novembre. P. 321–322.

[2] Biographie Michaud. [P.], 1825. T. XXXIX. P. 476. Во втором издании (1863 г.) последняя фраза опущена и заменена следующей: «Впрочем, поначалу де Сад не выказывал себя сторонником революции».

[3] Выражение повторено у Тэна: «Де Сад, *профессор преступления*, теперь стал оракулом своего квартала <...>» (*Taine*. Les origines de la France contemporaine. P.: Hachette, 1885. T. III. P. 307–308). Любопытно, что ту же самую мысль находим и у Камю, называющего Сада «профессором пытки». (*Camus*. La négation absolue: un homme de lettres // L'Homme révolté. P.: Gallimard. P. 59. (Coll. Folio-Essais)).

[4] *Michelet J.* Histoire de la Révolution française. P.: Laffont, [s. d.]. T. II. P. 784–485 (Bouquins); см. также: Histoire de France. P.: Lévy, 1889. T. XIX. P. 294: «В Венсенн был заключен ужасный безумец, зловредный де Сад, писатель, надеявшийся "развратить грядущие времена". Вскоре его выпустили. В крепости оставили Мирабо».

[5] См.: Révoluton surréaliste. 1926. № 8. 1 décembre. P. 8–9.

[6] L'Intelligence révolutionnaire: Le Marquis de Sade (1774–1814) // Clarté. № 6. P. 138.

[7] См.: *Laugaa-Traut F.* Lectures de Sade. P.: Arman Colin, [s. d.]. P. 182 sq. (Prismes)

[8] Le surréalisme au service de la Révolution. № 3. P. 32.

[9] *Breton A.* Manifestes du surréalisme. P.: Jean-Jacques Pauvert, 1962.

[10] Bâtons, chiffres et lettres. P.: Gallimard, 1965. P. 216. (Idées)

[11] См.: Les Temps modernes. 1951. № 74. Décembre; 1952. № 75. Janvier; см. также: Privilèges. P.: Gallimard, 1955.

[12] *Camus*. Op. cit. P. 70.

[13] См.: Nouvel Observateur. 1966. № 68. 2–8 mars; № 69. 9–15 mars; № 70. 16–22 mars.

[14] См.: *Colette*. Capitan Peter // Esprit. 1972. № XL. Fevrier. P. 184–192.

[15] *Roger Ph.* Sade et la Révolution // L'Ecrivain devant la Révolution: 1789–1820. Grenoble: Presses de l'Université de Grenoble, 1990.

[16] Передача, прошедшая на французском телевизионном канале «Антенн-2» 4 августа 1989 г.

[17] Письмо от 5 декабря 1791 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 301).

[18] Граф де Сад достаточно хорошо знал о настроениях сына, чтобы предвидеть его отрицательное отношение к придворной карьере.

Я не удивлен Вашим отвращением ко двору, – написал он ему, – однако я огорчен, ибо, ежели Вы хотите продвинуться, Вам придется часто там бывать: именно там происходит раздача наград, там их, нисколько не заслужив, получают. Когда во мне еще рождались честолюбивые желания, мне нравилось бывать при дворе. Сегодня я не знаю ничего более неприятного, нежели иметь дело с двором. Идти и унижаться перед человеком, зачастую не превосходящим вас ни по рождению, ни по уму, ни по своим талантам, ни по манерам; ждать в прихожей по три часа одного лишь взгляда того, чье искусство заключается единственно в том, чтобы с вызывающей вежливостью давать нам двусмысленные ответы, – все это для человека мыслящего и чувствующего является исключительно неприятным, для честолюбца же это привычное состояние. <...> Одно из великих умений придворного – умение сгибаться; сомневаюсь, чтобы у Вас это когда-либо получилось (*Сад Жан-Батист де*. О царствовании Людовика XIV и Людовика XV. AC. Неизданная рукопись).

[19] См.: *Harouel J.-L.* De l'Ancien Régime à la Révolution // Histoire des Institutions, de l'époque franque à la Révolution. P.: PUF, 1987. P. 509–555.

[20] OC. T. XII. P. 392–393.

[21] Ibid. P. 229.

[22] Ars. Ms. 12456. F. 700–701.

[23] Цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 67–68.

[24] См.: *Furet F., Richet D.* La Révolution Française. P.: Fayard, P. 33. (L'Histoire sans frontières) 1973.

[25] Элитный полк, которым командовал брат короля граф Прованский.

[26] Письмо к г-же де Сад [начало января 1784 г.] (ОС. Т. XII. Р. 420).

[27] Письмо к Луи-Мари де Саду [начало января 1784 г.] (Ibid. Р. 422).

[28] Маркиз де Моретон де Шабрийан был дальним родственником де Сада по линии его бабушки с отцовской стороны Луизы Альдонсы д'Астуо де Мюр. Незадолго до смерти де Мюра Донасьен попытался перехватить его наследство в ущерб Шабрийану:

Если Вы хотите, чтобы это наследство перешло ко мне, надо, чтобы де Мюр сделал меня своим наследником еще при жизни; а это означает, что следует забыть о Шабрийанах и держать их во втором ряду. Необходимо сделать так, чтобы можно было сказать: «Сад ему гораздо ближе, чем Шабрийан. Сад даже не думал эмигрировать, следовательно, имущество отходит ему». Без этого я не получу ничего. Ради Бога, проследите за этим делом! (письмо к Гофриди; цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 348).

[29] Письмо к Луи-Мари де Саду [ок. 10 января 1784 г.] (ОС. Т. XII. Р. 422).

[30] Письмо к г-же де Сад [от 30 апреля 1781 г.] (Ibid. Р. 315).

[31] «Алина и Валькур». *Sade.* Aline et Valcour // Sade. Oeuvres. ...T. I. P. 388.

[32] См.: *Goulemont J.-M.* Lecture politique d'Aline et Valcour. Remarques sur la signification politique des structures romanesques et des personnages // Le Marquis de Sade: Actes du colloque organisé par le Centre aixois d'Études et de recherches sur le XVIII[e] siècle. P.: A. Colin, 1968. P. 115 sq.

[33] *Sade.* Œuvres. ... T. I. P. 447.

[34] Ibid. P. 640.

[35] Ibid. P. 701.

[36] Ibid. P. 541.

[37] Эти три заметки находятся соответственно в примечаниях к предсказаниям Заме, кюре Берсея и Сенвиля (Алина и Валькур).

[38] Во время своего ареста 8 декабря 1793 г. Сад попросил комиссаров Лорана и Жюспеля передать его издателю Жируару три листа из своего романа, «те листы, которые гражданин Сад забрал у него, дабы внести в них правку, так как произведение это, написанное три года назад, больше не соответствовало повестке дня» (*Lely.* Vie. T. II. P. 489).

[39] Цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 267.

[40] *Halevy R.* Monarchiens // *Furet F., Ozouf M.* Dictionnaire critique de la révolution française. P.: Flammarion, 1988. P. 398.

[41] BHVP. Ms. 773. F 215–216; цит. по: Bourdin. Op. cit. P. 272–273.

[42] *Lely.* Vie. T. II. P. 316. Имени маркиза нет в адресованном патриотам «Списке аристократов всех мастей», живущих на улице Сент-Антуан. Если только он не скрывается под псевдонимом Глатиньи (Glatigny), выбранным по названию бывшей усадьбы возле Версаля, некогда принадлежавшей его отцу. Правда, список этот далеко не полон. Однако в нем можно обнаружить некоторых родственников Донасьена: здесь Луи-Габриэль Эльзеар де Розьер-Соран, молоденький брат Дельфины, который потом поступит на службу в армию Конде; его дядя с материнской стороны, Донасьен де Майе, маркиз де Карман, а также сын его старого врага Шарль Мари Антуан де Сартин, которому суждено погибнуть на эшафоте 13 июня 1794 г. («Список аристократов всех мастей, входящих в монархический клуб – Продолжение списка аристократов всех мастей , входящих в монархический клуб, расположенный теперь на улице Сент-Антуан» («Liste des Aristocrates de toutes les couleurs composant le club monarchique – Suite de la liste

des Aristocrates de toutes couleurs composant le club monarchique, actuellement rue Saint-Antoine». [P.]: l'Imprimerie patriotique, [1790] (BN. Lb[39] 3592))).

[43] Extrait des registres des délibérations de l'assemblée générale de la Place-Vendôme. [P.]: Imp. V Desaint. – 3 p. [1791. 24 janvier]. (BN. Lb[40] 2061).

[44] См.: Dictionnaire universelle de la franc-maçonnerie, sous la direction de Daniel Ligou. P.: Éditions de Navarre, 1974. T. II. P. 1170; *Soulages M. G. de, Lamant H.* Dictionnaire des Franc-Maçons français. P.: Albatros, 1980; *Campion L.* Sade franc-maçon. P.: Cercle des amis de la bibliothèque initiatique, 1972.

[45] Его имени нет ни в одном из двух списков этой ложи (1790–1793 гг.), сохранившихся в Национальной библиотеке (см.: F.M.[2] 36), нет его и в архивах ложи Объединенных Братьев святого Людовика Мартиникского (см.: F.M.[2] 105 bis, 106, 107), в 1796 г., вошедшей в состав ложи Друзей Свободы, равно как нет и в списках Совершенной Точки* (см.: F.M.[2] 95–96), как с 1797 г. стала называться ложа Друзей Свободы. Имени Сада нет и в исчерпывающем списке Алена Лебиана (см.: *Le Bihan A.* Franc-Maçons parisiens du Grand Orient de France à la fin du XVIII[e] siècle. P.: BN, 1966).

[46] Основным и бесспорным источником шведского эпизода в «Истории Жюльетты» является пасквиль Каде-Гассикура (см.: *Cadet-Gassicourt.* Le Tombeau de Jacques Molay ou le secret des conspirateurs. P., 1795. – 31 p.; *Lacombe R.* Sade et ses masques... P. 71 sq.).

[47] Цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 286. Через несколько лет Сад станет преследовать Мирабо своими сарказмами. Разоблачая бездарность авторов непристойных брошюр, наводнивших книжные лавки, он добавляет:

> Как красноречиво свидетельствуют некоторые беспомощные попытки, отличающиеся крайней слабостью выражения, такой опыт абсолютно недоступен мелким личностям, наводняющим страну писульками, о которых я веду речь; в число этих личностей я бы без колебаний включил Мирабо, ибо он, пыжась предстать значительным хоть в чем-то, притворялся распутником, но в конце концов так ничем и не стал за всю свою жизнь.

[48] Paris, [1791. Juin.]. – 8 p. Girouard, imprimeur, rue du Bout-du Monde; см. также: OC. T. XI. P. 69–74.

[49] OC. T. XI. P. 72.

[50] Ibid. P. 69.

[51] Ibid. P. 70–71. Здесь де Сад отвечает Людовику XVI, жалующемуся на оскорбления, нанесенные лично ему. Эти жалобы опубликованы в «Обращении ко всем французам», составленном монархом накануне бегства; председатель Богарнэ зачитал это «Обращение» перед Национальным собранием.

[52] Ibid. P. 74.

[53] *Sade.* Adresse d'un citoyen de Paris au roi des Français // OC. T. XI. P. 73–74.

[54] Письмо Рейно к Саду от 29 августа 1791 г. (AC, НП).

[55] Цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 301–302.

Глава XXI

[1] Письмо от 19 мая 1790 г. (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 267).

[2] Письмо от 9 июля 1791 г. (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 291–292). В конце августа Сад вновь возвращается к делу о крепостных стенах; на этот раз он напоминает Гофриди о понесенных им расходах и о позиции Национального собрания.

---

* Точка является для масонов знаком-символом.

Видите, я выступаю против расходов на стену, которую хотят соорудить в Мазане, и на то у меня есть вполне веские причины. Впрочем, настоятельно прошу Вас не переживать, коли меня приговорят к этой трате, потому что декрет Национального собрания по этому вопросу формальный и текст его в мою пользу (частное собрание, НП).

[3] См.: *Foiret F.* Une corporation parisienne pendant la Révolution: les notaires. P.: Champion, 1912. P. 281–285. Оливье Блан опубликовал предсмертное письмо Дюфулера к жене (см.: La derniere lettre. P.: Lafont, [s. d.]. P. 231–232 (Pluriel)).

[4] С его помощью граф Мерси-Аржанто, желая избежать конфискации, продал принадлежавший ему сельский дом в Шеневьере вместе со всей мебелью своей любовнице, мадемуазель Левассер (акт составлен 28 декабря 1790 г.; см.: Correspondance secrète du comte de Mercy-Argenteau. P.: Imprimerie nationale, 1889. T. I. P. XXIV).

[5] В обвинительном заключении, составленном Фукье-Тенвилем, Жирара обвиняют в том, что

<...> он был в числе голосовавших за цивильный лист и распространявших петицию Двадцати тысяч, которую затем сжег. Сторонник Байи и Лафайета, он показал себя врагом патриотов и Революции. Похоже, что и на заседаниях своей секции он появлялся только тогда, когда требовалось поддержать прислужников деспотизма (*Foiret F.* Op. cit. P. 288–290).

[6] Гражданин Луи-Александр (*sic!*) Донасьен де Сад, полковник кавалерии, проживающий в Париже по улице Нев-дю-Матюрен <...>, признан присутствующими свидетелями должным <...> Мари Констанс Ренель, покинутой супруге негоцианта Бальтазара Кене <...>, сумму в 15 000 ливров, по причине того, что одолжил у нее вышеназванную сумму, которую она предоставила ему наличными <...> и каковую сумму в 15 000 ливров де Сад обещает и обязуется вернуть <...> [акт составлен 1 марта 1793 г.] (AN. Minutier central: Et. XIV (Dufouleur), 900. НД).

[7] См.: *Godechot J.* La contre-révolution. P.: PUF, 1984. P. 151. (Quadrige).

[8] *Blanchot M.* L'Inconvenience majeure // Français, encore un effort... P.: J.-J. Pauvert, 1965. № 28. P. 25 (Liberté).

[9] Двадцать первого мая 1793 г. Сад пишет Гофриди:

Попытаюсь прислать Вам четыре новых свидетельства, выправленных в соответствии с законом от 28 марта. Пока же вот Вам свидетельство, выданное в департаменте и подтверждающее, что я не эмигрировал; меня уверяют, что, ежели к Вам будут придираться, оно сможет помочь. Непременно отметьте, что свидетельство это точно такое же, какое мне надо получить из департамента Буш-дю-Рон <...>. Сделайте мне его и пришлите как можно скорее.

Спустя два дня он вновь обращается к Гофриди:

Посылаю копию ответа мэра города Арля на мое письмо. <...> Он, однако, не сообщает, вычеркнули ли меня из списка или нет; Вы тоже молчите, что не может меня не беспокоить. Прошу Вас покончить наконец с этим очень важным делом (частное собрание, НП).

С другой стороны, в семейных архивах сохранился рукописный документ, свидетельствующий о шагах, предпринятых де Садом для того, чтобы имя его было вычеркнуто из списка эмигрантов:

Список бумаг, представленных Садом в полицию и числящихся под номером 11 496, среди которых имеется подлинное свидетельство, подписанное всеми добрыми патриотами его муниципалитета, а также два других документа, и все в его

пользу; в одном подтверждается, что в ноябре 1792 г. он действительно был внесен в список эмигрантов, но затем был оттуда вычеркнут; в другом — управление дистрикта этого департамента, где у него имеется собственность, подтверждает, что он никуда не выезжал из Парижа. Какие, однако, противоречивые бумаги!

Имена подписавших петицию, представленную Садом в полицию

Монталье (секция Пик)	Лекутелье
Манжен (секция Пик)	Лемуан
Тибо (секция Пик)	Муссар (секция Пик)
Гуане	Форкюи
Руссе	Буайе
Виро	Фижо
Трубе	Дюдийе
Рембо-старший	

К этому документу приложена записка, написанная рукой Сада:

Копия нужного документа должна находиться среди бумаг под моим номером 11 496; она запечатана красной восковой печатью и начинается следующими словами: «*На основании прошения...*» Там имеются подписи членов департамента Буш-дю-Рон, и этот документ является доказательством того, что имя мое вычеркнуто из списка эмигрантов этого департамента 26 мая 1793 г. (АС, НД).

[10] AN. F. 4954. Pièces 161, 106.

[11] В семейном архиве мы обнаружили вид на жительство, действительный с октября 1783 г. по 4 июня 1792 г. и выданный секцией Обсерватории, к которой принадлежали Рене-Пелажи и ее дочь, проживавшие в монастыре Сент-Ор.

[12] АС, НД.

[13] Письмо к Гофриди от 5 марта 1797 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 402). Любопытно, Донасьен сам станет утверждать, что жена его была в эмиграции; это следует из записки от 1 декабря 1806 г., которую мы воспроизводим полностью в Приложении XIV наст изд.:

Разве вы не знаете, что отец ваш по злой воле собственной семьи был внесен в список эмигрантов, и причины этого раскрываются только сегодня? Разве не знаете, что ваша собственная эмиграция, эта глупость, совершенная вами всеми, повлекла за собой шестилетний секвестр и что в течение этих шести лет отец ваш был лишен куска хлеба?

Странное утверждение, ибо сохранились все заверенные по всей форме виды на жительство г-жи де Сад и ее дочери, свидетельствующие о том, что они никуда не эмигрировали (АС, НД).

[14] Мы, нижеподписавшиеся, мэр и муниципальные чиновники и члены Генерального совета коммуны Ла-Верьер, удостоверяем <...> что Рене-Пелажи Кордье, жена Сада, проживающая раздельно с супругом, пятидесяти трех лет от роду, постоянно проживала <...> в Ла-Верьере, в доме, принадлежащем гражданину Рене Кордье с третьего числа последнего месяца флореаля и до двадцать восьмого числа нынешнего месяца фримера.

Составлен настоящий документ в помещении коммуны, двадцать второго фримера (*sic*!) Третьего года Французской республики [12 декабря 1794 г.] <...> (выдержка из Протоколов заседаний муниципалитета коммуны Ла-Верьер. АС, НД).

Также имеется пропуск, выданный той же самой коммуной Ла-Верьер г-же де Сад и ее дочери,

<...> которые обычно проживают в Париже и которые с третьего числа последнего месяца флореаля [22 апреля] проживали в вышеозначенной коммуне до двадцать восьмого числа настоящего месяца фримера [18 декабря] безвыездно <...>.

Под текстом документа стоят подписи Рене-Пелажи, Мадлен-Лор, Юбера, мэра Ла-Верьера и Венсана, комиссара секции Пик (его подпись датирована 29 фримера Третьего года Республики), а также печати муниципалитета Ла-Верьера и секции Пик (см.: АС, НД).

[15] В письме маркизы де Режкур к маркизу де Бомбелю от 20 сентября 1792 г. упоминается о присутствии среди эмигрантов некой де Сад и ее дочери.

Наши маленькие племянницы, – пишет она, – были вынуждены покинуть Клермонский монастырь, потому что оттуда выгнали всех монахинь; теперь они (т. е. племянницы. – *М. Л.*) в Марселе <...>. Мадам де Сад и ее дочь постигла та же участь <...> (Correspondance du marquis et de la marquise de Raigecourt avec le marquis et la marquise de Bombelle pendant l'émigration 1790–1800 / Publiée par Maxime de La Rochetterie. P.: Société d'Histoire contemporaine, 1892. P. 370).

Вероятнее всего, здесь речь идет о г-же де Сад д'Эгийер и ее дочери Габриэль Лор, будущей супруге Клода Армана.

[16] Цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 295.

[17] Письмо от 14 ноября 1791 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 300).

[18] Речь идет о заговоре, душой которого был маркиз Огюст Монье де Лакаре, неутомимый агент принцев, действовавший на юго-востоке Прованса. В 1792 г. контрреволюция готовила большое наступление, в подготовке которого Монье де Лакаре принимал непосредственное участие с 1791 г.; в его задачу входило обеспечить условия для возвращения и успешной деятельности маркиза д'Аллена, находившегося в то время в эмиграции; восстание намечалось на весну. Однако по инициативе марсельских якобинцев были проведены предупредительные операции, в результате которых все центры контрреволюции, на поддержку которых надеялись заговорщики, а именно организации в Арле, Апте, в районах среднего течения Дюранса и Со, оказались разгромлены. Именно из-за этого Гофриди вместе с сыном вынуждены были бежать в Лион.

[19] Письмо от 26 марта 1792 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 312).

[20] Письмо от 7 апреля 1792 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 313).

[21] Письмо от 19 апреля 1792 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 314–315). Это письмо было отправлено к Гофриди со следующей припиской:

Я не решаюсь просить Вас ни сохранить это письмо, ни сжечь его, ибо в том веке, в котором мы живем, обстоятельства меняются каждые двадцать четыре часа. Не забудьте известить меня, какая его постигнет участь (АС. Fonds Begis, НП).

[22] Письмо от 3 мая 1792 г. (AN. F^7. 4954^3. Pièce 122).

[23] Письмо от 11 мая 1792 г. (Ibid. Pièce 121).

[24] Arch. Bégis; (см. также: *Lely*. Vie. T. II. P. 332; *Bourdin*. Op. cit. P. 305).

[25] Письмо к Гофриди (АС, НП).

[26] См. Пролог наст. изд.

[27] Письмо к Гофриди (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 317).

[28] Письмо Льона к Саду от 29 марта 1792 г. (АС, НП).

[29] Письмо к Гофриди от 28 апреля 1792 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 315).

[30] Письмо, написанное 18–19 июня 1792 г. (BN. NAF. 24384. F. 16).

[31] AN. F 4775. Pièce 22.

[32] Письмо от 25 августа 1792 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 322).

[33] *Sade*. Notes littéraires [cahiers personnels 1803–1804] // OC. T. XIV. P. 16.

[34] См.: AN. F. 4775. Pièce 17 (копия от 24 термидора II года).

[35] В 1792 г. Национальное собрание приняло ряд постановлений, отсносящихся к родственникам эмигрантов: *30 марта* – «Декрет об имуществе эмигрантов», ст. 17 и 18; *15 августа* – «Декрет об отцах, матерях, женах и детях эмигрантов, проживающих в округах, подвластных соответствующим муниципалитетам»; *9 и 12 сентября* – «Декрет об отцах и матерях, чьи дети эмигрировали»; *30 октября* – «Декрет, определяющий формальности, которые необходимо соблюдать чиновникам, проводящим в пользу нации конфискацию имущества, принадлежащего эмигрантам, как недвижимого, так и движимого». Ст. 4.

[36] Декрет от 30 марта – 8 апреля 1792 г., ст. 17.

[37] Декрет от 15 августа 1792 г.

[38] Фабрика, где печатали ассигнаты, находилась в бывшем монастыре капуцинов, рядом с церковью, где проводились заседания секции Пик. Скорее всего, Сад именно там встретил человека по имени Макарель, являвшегося, несомненно, членом секции.

[39] *Lenotre G.* La captivité et la mort de Marie-Antoinette. P.: Perrin, 1902. P. 69.

[40] Жан-Мари Дюло, сто тридцатый и последний архиепископ Арля, прозванный Мучеником. Родившийся 30 октября 1738 г. в замке Кот (диоцез Периге), 2 марта 1775 г. по велению Людовика XVI он был назначен архиепископом Арльским (оглашение – 25 апреля, миропомазание – 1 октября). Став в 1789 г. депутатом Генеральных штатов, он, в отличие от своего коллеги, архиепископа Экса, поддерживал принципиальные решения, не придавая значения деталям. Арестован в Париже 11 августа 1792 г., заключен в тюрьму кармелитов, зверски убит 2 сентября.

[41] Письмо от 6 сентября 1792 г. (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 323).

[42] Письмо от 13 сентября 1792 г. (цит. по: Bourdin. Op. cit. P. 323–324).

[43] AC, НП.

[44] Анри Фовиль пользуется материалами архива Андре Буэра, откуда мы также почерпнули сведения о разграблении Ла-Коста (см.: *Fauville H.* La Coste: Sade en Provence. Edisud, 1894. P. 177).

[45] Extrait du procès-verbal de ce qui s'est passé à La Coste le 17 septembre 1792 [et jours suivants]. L'an IV[e] de la liberté et le I[er] de l'égalité // *Lely.* Vie. T. II. P. 342, n. 1.

[46] Недавно в Сен-Тропезе мы случайно обнаружили портрет мадемуазель де Шаролэ в костюме францисканского монаха, предположительно работы Наттье; происхождение портрета сомнений не вызывает. Благодаря инвентарной описи 1778 г. известно, что в замке Ла-Кост было около дюжины картин (немного для главного замка сеньора), и среди них портрет мадемуазель де Шаролэ в костюме «сестры-кордельерки», подаренный скорее всего самой мадемуазель графу де Саду, отцу маркиза, бывшему одним из ее многочисленных любовников (см.: *Champarnaud F.* La Galerie du marquis de Sade au château de La Coste // Dix-huitième siècle. 1989. № 21. P. 439–444). В Марсель картина, видимо, попала вместе с остатками мебели, вывезенной из замка. А так как предметы обычно склонны к «оседлому существованию», то неудивительно, что спустя два века мы обнаружили ее у одного из жителей Сен-Тропеза.

[47] См.: BN. Ms. NAF. 18880. Archives Bégis. F. 131–133; см. также: *Fauville.* Op. cit. P. 185.

[48] Протокол заседания собрания от 23 сентября 1792 г. (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 329).

[49] См.: *Fauville.* Op. cit. P. 181.

[50] Письмо Рейно к г-же де Монтрей [ноябрь 1792 г.] (AC, НП).

[51] Копия письма Поле от 11 ноября [1792 г.] (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 335).

[52] Что же касается пресловутого склада зерна, устроенного в замке, – писал Рейно г-же де Монтрей, – то это ложь, которую вышеназванный г-н [де Сад] быст-

ро распознал. Никакого зерна там не нашли. Агент [Гофриди] всего лишь попросил одного из арендаторов продать ему двенадцать мер пшеницы, а арендатору этому с перепугу показалось, что зерно это у него отнимают. Арендатор пустил к себе покупателей и продал им восемь мер; когда обыск в замке был окончен, все пошли к этому фермеру. У него нашли зерно и сделали вид, что конфискуют его, за исключением тех четырех мер, которые, по словам фермера, уже были проданы одному частному лицу; покупатель потом забрал их. Но в конце концов у фермера ничего не взяли. Об этом даже и речи не было. Так что г-н Дас (Сад. – *М.Л.*), узнав об этом, отрекается от сказанного им прежде и смиренно просит прощения» (письмо Рейно к г-же де Монтрей [ноябрь 1792 г.] (АС, НП).

[53] АС. Информацию г-жа де Сад получала от собственной матери, которой Рейно сообщил все, что ему было известно о разграблении замка.

[54] Письмо от 10 октября 1792 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 330).

[55] *Bourdin*. Op. cit. P. 331–333. Полное отчаяния письмо Рейно не найдено. В нашем распоряжении имеется написанное спустя несколько дней второе письмо, в котором адвокат пытается ободрить своего клиента, убеждая, что ущерб, нанесенный Ла-Косту, не является непоправимым, как это показалось сначала. Вот наиболее примечательные выдержки из этого письма:

Дорогой мой сударь, как жаль, что я поторопился написать Вам столь горестное письмо. Однако избранная мною роль летописца обязывает ничего не утаивать. К тому же сведения мои были получены от очевидца и изложены с его слов. Второй же очевидец рассказал все совсем по-иному. Честно говоря, получив Ваше письмо, я сразу не понял, какую позицию надлежит занять. Если попытаться заглянуть в будущее, то вряд ли местные власти станут чинить Вам препятствия, да и препятствий этих, на мой взгляд, в сущности, нет. Ваше предложение отправить письмо с нарочным, наделив его полномочиями полновластно представлять бывшего сеньора, на мой взгляд, не слишком удачно, ибо сему доверенному лицу придется столкнуться с организаторами беспорядков, которые, убоявшись расплаты, могут вновь учинить бесчинства. Думаю, расследование надо поручить кому-то из местных; мне кажется, я смог бы найти здесь надежного человека и снабдить его надлежащими указаниями. Отчет его я бы постарался отправить по почте.

Судя по рассказам, замок разграблен до последней нитки, унесено все, вплоть до дверей и окон, разрушены даже зубцы на стенах. Да и как один, или двое, или даже шестеро могут помешать целой толпе? Помните чулан, где Вы некогда скрывались? При перечислении ущерба был указан разрушенный дровяной сарай; так вот, речь идет всего лишь о сломанной перегородке, отделявшей сей чулан. Не слишком пострадал и Ваш кабинет естественной истории. В нем сохранилась превосходная античная урна и несколько столь же ценных предметов. После увещеваний ряд ценных вещей вернули, а в кабинете даже восстановили дверь. Без сомнения, это сделали те же люди, которые ухитрились спасти часть Вашего имущества.

Если хотите получить протокол, обращайтесь к гражданину Поле в муниципалитет Ла-Коста; меня уверяют, что Поле – ваш друг. Никто, кроме него, не сможет лучше обрисовать детали тех событий, которые Вас интересуют.

Разрушено несколько террас. Основной корпус замка не пострадал. Не пострадали также деревья и парк. Похоже, матрасы и тому подобные вещи, украденные из замка, будут оплачены. Говорят, есть такое указание. Все, что удалось спасти, хранится либо в домике священника, либо в означенном чулане. Поле наверняка расскажет об этом гораздо обстоятельней; непременно напишите ему, дабы узнать все подробности, ибо часть их могла от меня ускользнуть, и уточните факты, дошедшие до меня в искажении.

Сами видите, что причиненный ущерб не столь велик, как мы полагали поначалу. Ваш арендатор Одибер болеет уже три недели и нигде не появляется.

Если Вы по-прежнему питаете расположение к нашему общему другу [Гофри-

ди], постарайтесь не упоминать его имени в разговорах и стремитесь, чтобы он не ввязывался сейчас в Ваши дела. Пусть пройдет гроза и наступит затишье <...>.

Через несколько дней в письме к г-же де Монтрей, с которой, как известно, Рейно никогда не прерывал переписку, он сообщил еще некоторые подробности происшедшего:

Терраса разрушена, комнаты разграблены, бо́льшая часть мебели украдена, хорошее вино из подвалов выпито, а матрасы и прочие постельные принадлежности отправлены в Марсель для нужд войска, двери и окна унесены. Говорят, виновниками бесчинств являются местные жители, а также люди из ближайшей округи. Причиною грабежа стала охватившая край сей маниакальная идея, что все высокие и укрепленные замки надо разрушить. Сначала разграбили соседний Лорис. Замок Тур-Эг и другие постигла та же участь. Остался ли там кто живой, мне неизвестно. Вот и все, но, на мой взгляд, этого достаточно.

Вещи, увезенные в Марсель, были переписаны. Список этот уже в коммуне. Меня уверяют, что кое-что удалось вернуть. Часть мебели находится под охраной в домике священника, часть — в замке, запертая в чулане. Ни в парке, ни в иных местах разрушений нет. Все за пределами замка осталось нетронутым <...> (АС НП).

Глава XXII

[1] Le Moniteur. 1790. T. VII. P. 85.

[2] Административные границы секции проходили по следующим улицам:

Улица Мадлен, направо, начиная с улицы Сент-Оноре; улица Аркад, направо; улица Полонь до улицы Шоссе д'Антен; улица Сен-Лазар, направо, начиная с улицы Полонь до улицы Шоссе д'Антен, улица Шоссе д'Антен, направо до бульвара; улица Луи-ле-Гран, направо, от бульвара и до улицы Нев-де-Пти-Шан; с улицы Луи-ле-Гран направо, до площади Вандом; с площади Вандом направо до улицы Сент-Оноре; с улицы Сент-Оноре, направо, с площади Вандом до улицы Мадлен и все, что находится в этих пределах (*Mellier E.* Les Sections de Paris pendant la Révolution francçise. [P.], 1898. P. 24–25).

Церковь Капуцинов располагалась на том месте, где теперь проходит улица Мира (на уровне домов № 2 и 6), с северной стороны, и органично завершала архитектурный ансамбль площади Вандом. Построенная в 1688 г., одновременно с монастырем Людовика XIV по чертежам Орбэ, церковь эта служила усыпальницей известным личностям того времени, и, в частности, мадам де Помпадур, которую похоронили там 16 апреля 1764 г. подле ее дочери, Александрин Ленорман д'Этиоль. К началу революции в монастыре оставалось 42 монахини, в распоряжении которых находился собственно монастырь и библиотека в 800 томов. В монастырских службах располагались мастерские Монетного двора, где печатались ассигнаты (там было напечатано почти 50 миллиардов ливров). В церкви несколько лет заседала секция Пик, затем располагался демонстрационный зал, где физик Гаспар Робер, более известный как Робертсон, в присутствии зрителей устраивал разнообразные физические опыты. Во время Первой империи монастырские сады стали местом публичных гуляний, со множеством кафе, цирком Франкони, концертными площадками и т. д. В 1806 г. архитектурный ансамбль монастыря был продан за 32 лота. В том же году его пересекла вновь проложенная улица Наполеона, ставшая впоследствии улицей Мира. Комитет по гражданским делам, мировой суд и прочие административные подразделения секции Пик занимали трехэтажное здание: по пять комнат на третьем и втором этажах и две комнаты на первом

этаже; во дворе во флигеле располагался военный комитет. С июля 1791 г. общие собрания секции проходили в церкви Капуцинов. За пользование помещениями секция не платила (см.: *Meillet E.* Op. cit. P. 55).

[3] Четырех других звали Мулен, Дювейрие, Пирон, Лэньло. После их выдвижения в Генеральный совет коммуны на их место были назначены Артюр, фабрикант, проживавший на улице Пик, № 20 (затем Морель), Френар (затем Борийон) и Оргелен (затем Трефонтэн).

[4] Секция Пик составила аттестацию в пользу гражданина Венсана, которого другие секции отказались избрать членом муниципалитета. В частности, в аттестации было сказано, что «при любых обстоятельствах он исполнял свои обязанности доброго и верного гражданина и никогда не утрачивал доверия секции» (см.: La Section des Piques aux quarante-sept autres sections, au Corps électoral et aux sociétés populaires. [P.]: De l'Imprimerie de la section des Piques, [s. d.]. – 3 p. (BN. Lb[40] 2046)).

[5] С 1790 по 1792 г. секция именовалась «секцией площади Вандом», затем, до 5 прериаля III года (23 мая 1795 г.) – «секцией площади Пик» (от нового названия площади), после чего обрела прежнее название.

[6] *Igonnet P.* Sans-culottes // *F. Furet, M. Ozouf.* Dictionnaire critique de la Révolution française. P.: Flammarion, 1988. P. 420.

[7] «Замечания, представленные в Администрацию больничного собрания» («Observations présentées à l'Assenblée administrative des hôpitaux»). Ни одного экземпляра этой записки до наших дней не сохранилось; Жильбер Лели опубликовал «Замечания» на основании двух корректурных оттисков, исправленных рукою Сада и сохранившихся в Национальном архиве (см.: *Lely.* Vie. T. II. P. 353, n. 1; OC. T. IX. P. 77–79).

[8] См.: Section des Piques: Idées sur le mode de la sanction des lois, par un citoyen de cette section. [P.]: De l'Imprimerie de la rue Saint-Fiacre, [1792. 2 novembre]. № 2. – 16 p. (BN. Lb[40] 487).

[9] Адвокат Рейно, которому Сад отправил свою речь, высказался о ней следующим образом:

Я прочел предложение, направленное Вами в секцию Пик. Хотя оно и прекрасно составлено, не стану скрывать, что иные Ваши произведения производят гораздо более сильное впечатление. Когда Вы пишете о чувствах, язык Ваш, несомненно, более энергичен: Вы умеете и истерзать душу, и растрогать ее, знаете, как взволновать ее настолько, что она, не выдержав, целиком отдается на волю обуявших ее неясных, но сильных ощущений (письмо от 26 ноября 1792 г. (АС, НП)).

[10] Несомненно, речь идет о «Рассуждении о способе принятия законов».

[11] Письмо к Гофриди от 30 октября 1792 г. (цит. по: *Bourdon.* Op. cit. P. 334).

[12] Когда Людовик XVI, всегда питавший отвращение к «черному кабинету», решил закрыть это постыдное учреждение, все бросились убеждать его, что государственные интересы требуют его сохранения, и он уступил. Только Национальное собрание утвердило закон, запрещающий перлюстрацию переписки. Взойдя на трибуну, Мирабо произнес проникновенную речь, направленную против «постыдного пережитка инквизиции». Декрет от 10 июня 1790 г. прекратил финансирование «тайной почтовой службы». Однако провинциальные чиновники, не обладавшие особой щепетильностью, долгое время продолжали свое привычное занятие, и в Национальное собрание поступало немало жалоб на нарушение тайны переписки.

С приходом к власти Конвента и провозглашения лозунга «Отечество в опасности» священный принцип тайны переписки вновь стал нарушаться. Со всех сторон начали поступать протесты против перехвата писем. Один из про-

тестов, датированный 5 января 1793 г., был направлен секцией Пик. Резонно предположить, что гражданин Сад принял участие в его составлении, ибо как никто другой имел основания жаловаться на перлюстрацию писем. Почтовое ведомство довольствовалось тем, что отвергло обвинения, переложив ответственность за перехват и перлюстрацию на административные и муниципальные службы:

С прискорбием признаем, – пишет это ведомство, – что нас не сочли нужным поставить в известность о том, что вот уже почти шесть месяцев депеши и письма вскрываются административными и муниципальными должностными лицами, и, как следствие, дальнейшее следование писем и газет зависит от мнения этих учреждений или же лиц, которым они поручают вскрывать и проверять депеши. Почтовое ведомство исполнило свой долг, передав, согласно закону, отчет о принятых им мерах министру (Réponse des Administrateurs des Postes aux plaintes contenues dans l'arrêt de la Section des Piques du 5 janvier 1793. P.: Imp. Pierre, 1793. – 8 p.; см. также: *Vaille E.* Cabinet Noir. P.: PUF., 1950. P. 250).

[13] Письмо от Рейно к г-же де Монтрей, ноябрь 1792 г. (АС, НП).

[14] См. также: *Roger P.* Les Bastilles de Sade // Le Monde de la Révolution française. 1989. № 7. Juillet. P. 16.

[15] Письмо к Гофриди от 13 апреля 1793 г. (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 340).

[16] Обращение секции Пик ко всем остальным сорока семи секциям Парижа. [Подписи:] *Пирон*, председатель комиссии; *Сад*, секретарь (см.: BN. Lb[40] 490; ОС. T. XI. P. 99–103).

[17] Письмо к Гофриди от 30 октября 1792 г. (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 333–334).

[18] Письмо к Гофриди от 6 апреля 1793 г. (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 339).

[19] АС, НП (подчеркнуто мной. – *М.Л.*).

[20] Письмо к Гофриди от 3 августа 1793 г. (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 342).

[21] *Bourdin.* Op. cit. P. 365

[22] *Paulhan J.* Le marquis de Sade et sa complice. Bruxelles: Complexe, 1987. P. 71.

[23] Письмо к Гофриди от 3 августа 1793 г. (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 342).

[24] Согласно выдержке из протокола заседания от девятнадцатого флореаля (8 мая. – *М.Л.*) сего года, проведенного администрацией департамента Ионны, нет сомнений, что дети гражданина Кордье признаны эмигрантами, а вышеуказанный Кордье, их отец, подпадает под действие закона от семнадцатого фримера.

После прочтения данного документа Совещательный комитет постановил, что двое его членов отправятся к вышеозначенному Кордье, дабы выяснить у него местопребывание его детей, а в случае если он не сможет представить доказательства их пребывания в пределах Франции, то [представители комитета] обязаны поступить с ним по закону, гласящему, что отцы и матери, чьи дети именуются подозрительными и пребывают в эмиграции, должны быть подвергнуты аресту. [В этом случае] дом его будет опечатан <...>; для исполнения сего постановления назначаются граждане Филиппон и Лоран, которые после исполнения порученной им миссии дадут отчет комитету о проделанной работе.

Заседание проходило в половине одиннадцатого утра.

Креспен, председатель
Вайан, секретарь

(Протокол Наблюдательного комитета секции Пик от 11 прериаля II года [30 мая 1794 г.]: ANF[7] 4778. НД).

[25] Section des Piques: Ordre et marche de la pompe funèbre qui aura lieu mercredi 9 octobre 1793, pour l'inauguration des bustes de Marat et Le Peletier. [P.]: De l'Imprimerie de la section des Piques, [s. d.]. – 3 p. (BN. Lb[40] 2053). В октябре 1793 г. Речь Сада была отпечатана в типографии секции (без указания даты)

под следующим названием: «Секция Пик. Речь, произнесенная на празднестве, организованном секцией Пик, дабы почтить память Марата и Лепелетье» (см.: «Section des Piques: Discours prononcé à la fête décernée par la section des Piques aux mânes de Marat et de Le Peletier, par Sade, citoyen de cette section et membre de la Société populaire. [P.]: De l'Imprimerie de la section des Piques, [s. d.]. – 8 p. (BN. Lb[40] 2052)). Ее перепечатку можно найти в приложении к изд.: Zoloé et ses deux acolytes. Bruxelles, 1870; см. также: OC. T. XI. P. 117–122.

[26] См.: Description de la pompe funèbre décernée par la section des Piques aux mânes de Marat et Le Peletier, le 18 vendémiaire an II[e] de le République, rédigée par le citoyen Moussard, imprimée par ordre de l'Assemblée générale (B. de la ville de Lyon. Collect. du Pr. Lacassagne). («Описание посмертных почестей, воздаваемых секцией Пик душам Марата и Лепелетье 18 вандемьера II года Республики, составленное гражданином Муссаром и отпечатанное по распоряжению всеобщей Ассамблеи»).

[27] OC. T. XI. P. 212. «Альманаш де Мюз» («L'Almanach des Muses») за 1794 г. напечатал катрен, сочиненный гражданином Садом в честь «друга человечества»:

Стихи, обращенные к бюсту Марата

Республиканец верный, кумир наш навсегда!
Тебя мы потеряли, но жив ты на века.
Великий гражданин, пример твой вдохновляет,
Сцеволы пепел Брутов порождает.

[28] *Sade*. Notes Littéraires // OC. T. XIV. P. 15.

[29] См.: Pétition de la section des Piques aux représentants du peuple français. [P.]: De l'Imprimerie de la section des Piques, 1793. 15 novembre. – 7 p. (BN. Lb[40] 2054).

[30] OC. T. XI. P. 129.

[31] OC. T. XVI. P. 426.

[32] *Sade*. Œuvres... T. I. P. 590, n***. (Pléiade).

[33] OC. T. XI. P. 130.

[34] OC. T. XI. P. 131.

[35] Le Moniteur. 1793. T. XVIII. P. 525.

[36] Recueil des actes. 1793. T. VIII. P. 59.

[37] Cf. ANF. 16 105.

[38] Цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 348.

[39] Цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 348–349.

Глава XXIII

[1] См.: *Lely*. Vie. T. II. P. 390–393.

[2] AN. F^7 4775^9. Pièce 35. P. 393.

[3] AN. F^7 4775^9. Pièce 36. P. 393–394.

[4] AN. F^7 4778. НД («Секция Пик – Революционный комитет – Протоколы заседаний (18 июля 1793 – 30 вантоза II года), документ 31, заседание от 18 фримера II года (8 декабря 1793 г.)»).

[5] AN. F^7 4775^9.

[6] AN. Minutier central. Et. XVI, 908. НД.

[7] Барнабе Фармиан из Розуа, именуемый Дю Розуа (имя присвоено самовольно; предки его, скромные ремесленники из Пикардии, носили фамилию Кошон), основал газету откровенно монархического толка в 1789 г. После ареста короля ему в голову пришла великодушная, но абсолютно нереальная

мысль: организовать группу пламенных сторонников Людовика XVI, которые предложат правительству заключить их в тюрьму вместо арестованного монарха. Многие ответили на его благородный призыв, и журналист, рискуя отправить добровольцев на смерть, опубликовал их список в своей газете.

[8] См. письмо к Гофриди от 29 брюмера III года [19 ноября 1794 г.] (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 360).

[9] Декретом Учредительного собрания от 3 сентября 1791 г. для охраны Людовика XVI была создана конституционная гвардия численностью в 1200 пехотинцев и 600 всадников; гвардейцев набирали из числа преданных сторонников короля и платили им из сумм цивильного листа. 29 мая 1792 г. по указанию Законодательного собрания гвардия была распущена, и монарх остался без личной охраны. В списках под названием «Регистрация прошений об оставлении королю личной охраны» имя Сада не значится (см.: AN. O[1] 3996, dossier 1).

[10] AN. F[7] 4775[9].

[11] Приведем последние строки памфлета Дюлора:

> Отвратительное преступление, совершенное маркизом в Аркее, известно всему Парижу; за всю историю злодеяний, совершенных аристократами во времена анархии и безнаказанности, едва ли мы сможем найти подобные примеры. Пожалуй, лишь поступки Робера де Белема, бастарда Бурбонского, Жиля де Лаваля и им подобных по жестокости своей могут сравниться с жестокостью этого дворянина XVIII века. Последний среди вышеназванных злодеев, Жиль де Лаваль, сеньор де Ре и маршал Франции, своими чудовищными пристрастиями отчасти напоминает маркиза де Сада. Этому извергу из всех подвластных ему земель доставляли мальчиков, дабы он мог удовлетворять свои зверские наклонности. Он наслаждался тем, что заставлял их умирать в своих объятиях, а наивысшим удовольствием для него было наблюдать за предсмертными конвульсиями своих невинных жертв. И хотя он был очень знатным сеньором, состоял в родстве с домами *Руси, Краонов* и *Монморанси* и жил во времена, когда дворяне могли безнаказанно совершать любые преступления, он не смог избежать правосудия, и 25 октября 1450 г. был заживо сожжен в Нанте. А маркиз де Сад, повинный в тех же жестокостях, спокойно живет среди нас (*Dulaure*. Collection de la liste des ci-devant ducs, marquis, comtes, barons, etc // A Paris, de l'Imrimerie des ci-devant nobles, l'an segond de la liberté. № XXXI. P. 5–8; № XXXII. P. 1–4).

[12] Цит. по: *Lely*. Vie. T. II. P. 402.

[13] Частное собрание, НП.

[14] *Dulaure*. Op. cit.

[15] Этот важнейший документ (см.: AN. F[7] 4775[9]. Pièce 29) был обнаружен Жильбером Лели, который и воспроизвел его полностью в своей книге (см.: *Lely*. Vie. T. II. P. 404–409).

[16] Описан случай, когда некий Деленвиль обратился в полицейское управление с просьбой перевести в лечебницу для душевнобольных одного управляющего лотереей и одного банкира (см.: *Blanc O*. La Dernière lettre. P., [s. d.]. P. 46. (Pluriel)

[17] См.: *Blanc O*. Op. cit. P. 114.

[18] В парламентских архивах Пикпюс о лечебнице первые упоминается 8 января 1793 г., что противоречит дате ее открытия (март 1794 г.), указанной Ленотром (см.: *Lenôtre*. Le Jardin de Picpus. ... P. 134–137) и последовавшим за ним Жильбером Лели (см.: *Lely*. Vie. T. II. P. 409).

[19] Арестованный 28 января 1794 г., Белом был припровожден в дом предварительного заключения Пикпюс (бывший монастырь), а 28 марта переведен в «лечебницу Эжена Куаньяра», т. е. в первое здание (см.: Arch. de la préfecture de police: Aa 28).

[20] Письмо к Гофриди от 29 брюмера III года [19 ноября 1794 г.] (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 360).

[21] *Poisson G.* Choderlos de Laclos ou l'obstination. P.: Grasset, 1985. P. 372.

[22] Ibid. P. 376.

[23] Письмо от 29 брюмера III года [21 января 1795 г.] (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 361).

[24] AN. F^7 4775^9. Pièce 22.

[25] Поиски автора в Центральном нотариальном архиве оказались безрезультатными, текст не сохранился. Однако удалось отыскать два прежде неизвестных важных документа, касающихся непосредственно данного завещания.

Расписка Шарпантье, составленная на гербовой бумаге:

Господин Филипп-Огюстен Лод вручил мне запечатанный пятью печатями пакет с надписью: «Мое собственноручное завещание, оставленное в руках гражданина Шарпантье, нотариуса, площадь Эколь». *САД*. Париж, 2 мессидора II года [20 июня 1794 г.].

На обороте рукой Сада приписано: «Документ, оставленный (*sic*!) у Шарпантье (*sic*!), проживающего в Париже на площади Эколь».

Подтверждение, написанное рукой де Сада и составленное следующим образом:

Удостоверяю, что у гражданина Шарпантье, нотариуса с площади Эколь, имеется мое собственноручное завещание, содержащее мою последнюю волю. Прошу взять его у нотариуса и в точности исполнить все, что в нем указано. Написано в Париже, двадцать пятого фримера IV года свободы [16 декабря 1795 г.].

Сад

На обороте также рукой Сада приписано: «Важный документ» (АС, НД).

[26] AN. F^7 4775^9. Pièce 3.

[27] AN. Serie W. Cart. 434. Dossier 474, II, 87; см. также: *Fleischmann H.* Requisitoires de Fouquier-Tinville. P., 1911. P. 144–157.

[28] 2 фримера III года [27 ноября 1794 г.] (Частное собрание, НП).

[29] Письмо к Гофриди от 10 фримера III года [30 ноября 1794 г.] (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 362).

[30] Письмо от 22 брюмера III года [12 ноября 1794 г.] (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 359–360).

[31] AN. F^7 4775^9. Pièce 13.

[32] По просьбе Комитета общественного образования и согласно решению, принятому 5 брюмера [26 октября], ему было дозволено вернуться в свое прежнее жилище, ибо хотя он и «бывший», но «является автором множества патриотических сочинений».

[33] Цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 359.

[34] Письмо к Гофриди от 29 брюмера III года [19 ноября 1794 г.] (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 361).

Глава XXIV

[1] Письмо к Кенкену от [4 июля 1794 г.] (BN. Ms. NAF. 18312. F. 26–27 (Mf. 3090)).

[2] Письмо к Гофриди от 22 нивоза III года [12 января 1795 г.] (частное собрание, НП).

[3] Спустя четыре года, когда Саду вновь придется обратиться к услугам Гупийо по делу, связанному с сыном Гофриди, он пойдет проторенным путем: «В последний раз, обращаясь к Вам с просьбой прислать новые бумаги, я писал:

“Лук натянут, и я готов употребить его в дело”. Нужен Гупийо. В первый раз он отказал мне; но я послал к нему хорошенькую женщину, и бумаги мои были подписаны» (письмо к сыну Гофриди от 27 плювиоза [VII года] (BN. Ms. NAF. 18313 [Mf. 3090]).

[4] Речь Буасси д’Англа, произнесенная при обсуждении проекта Конституции 5 мессидора III года [23 июня 1795 г.], цит. по: *Soboul A.* Précis d’histoire de la Révolution française. P.: Éditions sociales, 1975. P. 379–380.

[5] См.: *Furet F.*, Richet D. Op. cit. Chap. VIII.

[6] Письмо Ру к Саду от 16 марта 1795 г. (см.: АС, НП).

[7] Письмо к Гофриди от 17 нивоза III года [6 января 1795 г.] (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 363).

[8] Письмо к Гофриди от 2 плювиоза III года [21 января 1795 г.] (Ibid. P. 365).

[9] Родившийся в Ниме 24 октября 1744 г., Жак-Антуан Рабо, именуемый Рабо-Помье, сначала, как и его отец, был пастором. Затем, став офицером муниципальной милиции в Монпелье, был избран депутатом Конвента, голосовал за изгнание короля и за предание суду Марата. После падения жирондистов подвергся аресту, чудом избежал гильотины, а после 9 термидора вновь занял место в Конвенте. Вплоть до мая 1798 г. заседал в Совете старейшин, поддержал переворот 19 брюмера и умер в Париже 16 марта 1820 г. Его брат, Жан-Поль Рабо, именуемый Рабо Сент-Этьен, был гильотинирован 5 декабря 1793 г.

[10] BN. Ms. NAF. 24390. F. 495.

[11] Прошение от 15 фримера III года (15 декабря 1794 г.) (опубликовано в изд.: D’Alméras H. Le Marquis de Sade: l’homme et l’écrivain. P.: Albin Michel, 1906. P. 283–284.

[12] Цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 377.

[13] BN. Ms. NAF. 24390. F. 409.

[14] Полное название: «Вальмор и Лидия, или Кругосветное путешествие двух влюбленных в поисках друг друга» (см.: *Ménégault A.-P.-F.* Valmor et Lydia ou Voyage autour du monde de deux amants qui se cherchaient: En. 3 vol. P.: Pigoreau et Leroux, [s. d.]). Это сочинение является сокращенной версией примерно одной трети истории Леоноры и Сенвиля, разбитой на коротенькие главки (всего их 99) и списанной почти дословно. Ниже приводим краткую характеристику этой литературной поделки.

Что было устранено: Наряду с многими примечаниями научного характера почти полностью устранены отступления на философские, религиозные и политические темы, коими изобилует текст. Другие отступления, вычеркивание которых могло повредить смыслу или связности повествования, значительно сокращены, вплоть до кратких резюме. Изъято несколько кратких эпизодов (не имеющих принципиального значения), к примеру, некоторые этапы путешествия Вальмора (Сенвиля), эпизод, где цыгане приобщают Леонору к культу Люцифера, и, разумеется, излишне откровенные эротические описания. Повествование облегчено за счет устранения эпитетов, уточнений, дополнительных деталей. В целом история «Вальмора и Лидии» — рабское подражание, сохранившее все необходимые эпизоды истории Леоноры и Сенваля (вплоть до вставных) и реплики слушателей.

Что было изменено: Наряду с заменой имен главных действующих лиц (Президентша стала мадам д’Аликур, граф де Вальмон — графом де Вальвилем, Сармьенто – Ранисио, король Заме — королем Зелоэ, Клементина — Розиной и т. д.) внесены небольшие изменения в словарный состав (тенденция к упрощению), вставлено несколько реплик самого автора. Единственно оригинальным (и необходимым) дополнением является введение (гл. I). Изменено несколько эпизодов: в одних случаях, чтобы смягчить их неприличное содержа-

ние, в других – чтобы сократить рассказ. К примеру, Вальмор не совершает побег из тюрьмы Инквизиции, а выходит оттуда совершенно свободно – после того как сообщает инквизиторам, что привез золото с целью пожертвовать его на добрые дела святых отцов; опущен эпизод о том, как в застенках Инквизиции он встречает Лидию. Лидия и ее подруга Розина (Клементина) ускользают из рук Бенмаакоро, но не воспользовавшись его растерянностью, а потому что тот был пьян (ср.: *Sade*. Valmor et Lydia. ... T. II. P. 100; см. также: *Ménégault A.-P.-F.* Alzonde et Koradin: En 2 vol. P.: Céioux, Moutardier, Ouvrier et Versailles, Blaizot, [1799].

А.-П.-Ф. Менего, родившийся ок. 1770 г. и умерший после 1830 г., был любителем изящной словесности и содержал в Париже письмоводительскую контору; затем занялся коммерцией. Под своим именем, а также под многочисленными псевдонимами, и, в частности, под псевдонимом Можене, издавал всевозможные произведения, среди которых роман «Дельфина, или Влюбленный призрак» (см.: *Maugenet.* Delphina ou le Spectre amoreux: En 2 vol. P., 1798); комедия в стихах «Юноша, переодетый девушкой» (см.: *Idem.* Le Garcon fille. P., 1801); поэма «Заслуга человечества» (см.: *Idem.* Le Mérite des Hommes. P., 1801); под псевдонимом Роз-Анж-Гаэтан были изданы: поэма «Наполеида» (см.: *Rose-Ange-Gaétan. La Napoléide*. P., 1806); «Литературный мартиролог, или Критический словарь семи сотен здравствующих авторов, составленный пока еще живущим отшельником» (см.: La Martyrologe littéraire ou Dictionnaire critique de sept cente auteurs vivante, par un ermite qui n'est pas mort. P., 1816) и т. п.

Пятнадцатого фримера VII года [5 декабря 1798 г.] Сад, обнаружив плагиат, напечатал в «Журналь де Пари» за подписью своего издателя следующее предупреждение:

Гражданину Пигоро, книгоиздателю.

Гражданин, только что в «Журналь де Пари» от 10 фримера я прочел объявление о выходе печатающейся у вас книги под названием «Вальмор (*sic*!) и Лидия, или Путешествие двух влюбленных вокруг света в поисках друг друга».

Наряду со всеми заслугами, кои произведение сие может иметь, автор, полагаю, не надеется, что представил на суд читателей нечто новое. Если содержание сочинения сего соответствует заглавию, тогда, бесспорно, он является одним из самых дерзких литературных плагиаторов; однако мне кажется, что время для плагиата отнюдь не подходящее, ибо в наше время публика жаждет новшеств, и главная задача автора – ежели он хочет, чтобы его читали, – дать ей эти новшества.

Потрудитесь открыть «Алину и Валькура, или Философический роман», напечатанный у Жируара. Вы увидите, что из восьми томов сего произведения четыре содержат именно описание кругосветного путешествия, совершенного двумя влюбленными в поисках друг друга.

Будучи издателем сего романа, заявляю Вам, что ежели Ваш автор добровольно не признается в плагиате, я разоблачу его перед всей Францией.

Привет и братство.

Издатель «Алины и Валькура» (Journal de Paris. 1798. T. 75. P. 318–319).

[15] «Этот Менего, укравший мой эпизод из "Алины" и разоблаченный мною в "Журналь де Пари", недавно был привлечен уголовным судом за гнусное мошенничество и приговорен к тюремному заключению и выплате издержек», – пишет Сад в своих «Литературных заметках» (OC. T. XVI. P. 31–32). В «Журналь де Деба» от 4 вантоза XII года [пятница, 24 февраля 1804 г.] можно прочесть следующее:

Некто по имени Менего-Дюфрен, испробовавший множество ремесел и обладающий внешностью, свидетельствующей об образованности и знании света, заме-

чен в мошенничестве, в результате которого поистине огромное число людей осталось в дураках, хотя ловушка, устроенная им, была весьма проста. Суть ее состояла в том, что господин сей напечатал в «Петит Афиш» объявление, где утверждал, что является главой солидного предприятия и ему требуются опытные литераторы для составления совершенно нового словаря под названием «Журналь де Спектакль» и т. п., а также кассир и бухгалтер. Желающие приходили толпами, и всех их по отдельности принимали на работу после вполне серьезного на первый взгляд экзамена, который устраивал сам Менего; однако для поступления на работу требовалось еще и внести денежный залог, и многие оказались столь доверчивы, что отдавали по 1200 и даже 1500 франков залогу. Когда же наступала пора приступать к работе, более не было ни словаря, ни кассы, ни журнала; и только тут люди понимали, что их обманули, однако было поздно.

На основании жалоб одураченных людей Менего был привлечен к ответственности уголовным судом. Сначала его арестовали, но потом выпустили под поручительство; однако он счел благоразумным бежать еще до начала разбирательства. Суд приговорил его к тюремному заключению, штрафу и возмещению убытков истцам. Поручителей обязали выплатить изрядную сумму. 21 вантоза на Менего и его сообщников поступили новые жалобы. Но самое поразительное, что, даже находясь под следствием, Менего продолжал мошенничать тем же способом, помещая объявления в газеты, но подписываясь только инициалами.

Ниже мы увидим, что спустя два года Сад встретится с Менего в тюрьме Сент-Пелажи (см. примеч. 13 к гл. XXVI наст. изд.).

[16] Ibid. P. 494.

[17] Письмо к Гофриди от 18 термидора III года [5 августа 1795 г.] (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 375).

[18] Письмо к Гофриди от 12 плювиоза III года [31 января 1795 г.] (Ibid. P. 365).

[19] Ibid. P. 367.

[20] Ibid. P. 373.

[21] Ее полное имя до нас не дошло, но его переписка, хранящаяся в архиве семьи де Сад, не оставляет никаких сомнений о характере отошений указанной дамы и с Донасьеном, и с Луи-Мари.

[22] Письмо к Гофриди от 30 жерминаля IV года [19 апреля 1796 г.] (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 388).

[23] Копия письма к Аршиасу от 17 жерминаля [6 апреля] (Ibid. P. 369–370).

[24] По материалам архива де Садов, и, в частности, на основании выдержки из акта, подписанного в присутствии мэтра Форе. В 1811 г. наследники г-жи де Сад сделают попытку опротестовать эту продажу, требуя возмещения вдовьей части наследства.

[25] Письмо к Гофриди от 12 флореаля III года [1 мая 1795 г.] (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 370).

[26] Письмо к Гофриди от 18 термидора III года [5 августа 1795 г.] (Ibid. P. 376).

[27] Письмо от 4 вантоза [22 февраля 1795 г.] (Ibid. P. 369).

[28] Ibid. P. 393.

[29] Письмо от 6 мессидора IV года [24 июня 1796 г.] (Ibid. P. 391).

[30] Письмо к Шарлю Гофриди от 12 нивоза V года [1 января 1796 г.] (Ibid. P. 402).

[31] О Ровере и его брате Симоне Стилите см.: *Fauville H.* Op. cit. P. 203–205.

[32] На основании «Исковой декларации против гражданина Луи-Альдонса Донасьена Сада» от 1 вантоза IV года [20 февраля 1796 г.], и выписки о недвижимом имуществе де Сада, сделанной Ипотечным бюро в Карпантра, запись от 6 вантоза IV года [27 февраля 1796 г.]. В доверенности, составленной г-жой де Сад, указано:

Возмещение приданого	160 842 ливра
Проценты	38 195 ливров 12 су 6 денье
Общая сумма	199 037 ливров 12 су 6 денье

(АС, НД).

[33] Выдержка из акта о продаже имения Ла-Кост гражданину Роверу от 22 вандемьера V года [13 октября 1796 г.] (AD. Vaucluse. J. 87).

[34] Согласно документу, представленному Мари Элизабет де Симиан, маркизой де Крийон, мэтру Флассани, нотариусу в Торе (Воклюз) 6 мая 1710 г.

[35] Письмо к Гофриди от 13 марта 1797 г. (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 403).

[36] *Laval V.* Lettres inédites de J.-S. Rovere à son frère Simon-Stylite. P.: Champion, 1908. P. 227, 265.

[37] Письмо к Гофриди от 24 вандемьера V года [15 октября 1796 г.] (цит. по: *Bourdin*. Op. cit. P. 401).

[38] Площадь будет носить это название до 1818 г. К этой дате пристрастившаяся к занятиям литературой графиня Луиза Александрин Гибер, вдова генерала, убитого при Абукире, проживающая в Малом дворце Субизов в Сент-Уэне, в обмен на уступку земельного участка, преподнесла в дар коммуне 200 франков, чтобы на них посреди маленькой площади Свободы установили крест, после чего площадь получила название площади Голгофы; впоследствии, во времена июльской монархии, площадь переименовали в площадь Оружия. Позднее крест был заменен фонтаном.

[39] См. письмо Дюре, начальника мэтра Делоша, к Роверу, датированное 23 фрюктидора IV года [9 сентября 1796 г.], 9 часами утра:

> Итак, я вынужден <...> спросить Вас, не будете ли Вы утром располагать суммой в 8000 ливров; сумма сия требуется гражданину Саду и гражданке Кене. Если Вы таковой располагаете, постарайтесь тотчас предоставить им ее, чтобы они смогли приобрести дом, расположенный в коммуне Сент-Уэн, ибо им это чрезвычайно желательно (*Peise L.* Rovére et le marquis de Sade // Revue historique de la Révolution française. 1914. P. 71).

[40] Большой дворец Субизов в Сент-Уэне изначально состоял из множества строений, окруженных парками и газонами. Торжественное открытие его состоялось во вторник 11 октября 1750 г. в присутствии Людовика XV и мадам де Помпадур. В честь короля устроили великолепный фейерверк, запускавшийся с острова Шателье (теперь остров Сен-Дени); для освещения использовали «большие станины из белой жести, уставленные светильниками»; специальный персонал следил, чтобы светильники не задувало, и освещение удалось на славу, хотя порывы «нескромного ветра» в тот вечер были весьма сильны и изрядно подпортили праздник. С террасы замка герцога де Жевра торжества созерцали придворные дамы, «петиметры и петиметрессы», не представленные Его Величеству, а народ Парижа, примчавшийся получить свою долю зрелища, ликовал вместе с местными виноделами на площади Эглиз и на лугах Сальсэ (см.: *Barbier*. Op. cit. T. III. P. 156—159).

В 1787 г., после смери Шарля де Рогана, принца Субиза, его наследники поделили поместье и стали распродавать его частями, равно как и Малый дворец. Интересующую нас часть «с садом, оградой и воротами, являющимися частью ограды, фаянсовыми вазами, мраморными скульптурами, статуями и стенами ограды, всего за сумму в 4500 ливров» (Arch. de la Seine. Domaine. Carton 1447) приобрел хирург Клод Франсуа Дюзийе, помощник главного врача коммуны Сент-Уэна, на основании договора, заключенного в присутствии мэтра Гандуэна 22 марта 1789 г. Но затем на Дюзийе обрушились разного рода неприятности, «ибо ему не удалось получить ратификационные грамоты» от наследников

Роган-Субизов (см. Ibid.). Вскоре титул собственника у него был оспорен, и 3 июля 1793 г. он продаст свою часть поместья Пьеру Арману Лепти, бывшему торговцу лимонадом, и Мадлен Виржини Донте, его супруге. Затем поместье переходит к Луизе Элеоноре Дорво, вдове Жана Дени Пюжоля, которая 2 брюмера IV года [24 октября 1795 г.] в присутствии парижского нотариуса, мэтра Дрюжона, уступает его Александру Мишелю, торговцу шелком, и его жене, Элизабет-Луизе Дюма. Именно у этой последней пары Донасьен покупает его на имя Мари Констанс Ренель, «разведенной, как заявляет она, с Бальтазаром Кене, негоциантом, проживающим в настоящее время в Санто-Доминго», 23 вандемьера V года [14 октября 1796 г.]. Мы отыскали акт о продаже, заключенный в присутствии мэтра Шарпантье; имя де Сада в нем ни разу не упомянуто (см.: AN. Munitier central. Et. XXIV. Liasse 1065. НД).

Об истории владений Роган-Субизов в Сент-Уэне см.: *Perraudeau H.* Saint-Ouen pendant la Révolution. P., 1912. – 191 p. Строения, некогда занимаемые маркизом де Садом и г-жой Кене на площади Свободы, можно было видеть еще в 1910 г.; в то время здания принадлежали семье Берту.

[41] См.: AN. Minutier Central. Étude VII. Liasse 560 (Vente de Renelle au citoyen Brillemont), НД.

[42] *Служанка* – маленький столик, помещаемый возле большого, на него ставили блюда и приборы; часто имел два или три углубления для ведерок с мороженым.

[43] *Песчаный источник* – сосуд для фильтрования воды с помощью песка.

[44] *Яблочница* – кастрюля для тушения яблок на пару.

[45] Об этой подробности см.: *Bourdin.* Op. cit. P. 404; *Fauville H.* Op. cit. P. 211–212.

[46] Письмо к Гофриди от 21 нивоза VI года [10 января 1798 г.] (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 418).

Глава XXV

[1] Письмо Бонфуа к Гофриди от 6 брюмера VI года [27 октября 1797 г.] (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 416).

[2] Письмо де Сада к Гофриди от 27 октября 1797 г. (АС, НП).

[3] Письмо де Сада к Гофриди от 16 брюмера VI года [6 ноября 1797 г.] (частное собрание, НП).

[4] Письмо к Гофриди от 26 брюмера VI года [6 ноября 1797 г.] (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 417).

[5] Письмо к Гофриди от 7 декабря 1797 г. (Ibid. P. 417–418).

[6] Письмо к Гофриди от 27 нивоза VI года [16 января 1798 г.] (Ibid. P. 420).

[7] Письмо де Сада к Гофриди от 27 октября 1797 г. (АС, НП).

[8] Все эти документы в том числе и письмо к Дудро, см.: AN. F[7] 4954[3]. Pièce 34, 153.

[9] Письмо к Гофриди от 27 нивоза VI года [16 января 1798 г.] (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 418–419).

[10] Mémoires de Barras / Éd. G. Duruy. P.: Hachette, 1895. P. 56–57.

[11] Письмо де Сада к Боньеру [конец декабря 1797 г.] (АС, НП).

[12] Письмо де Сада к жене [начало января 1798 г.] (АС, НП).

[13] Письмо от 5 июля 1797 г. (цит. по: *Furet F., Richet D.* Op. cit. P. 463).

[14] *Tulard J., Fayard J.-F., Fierro* A. Op. cit. P. 238.

[15] BN. Ms. NAF. 3533. F 351–352.; см. также: *Lever M.* Les Bûchers de Sodome. P.: Fayard, 1985. P. 398–399.

[16] *Colnet du Ravel Ch.-Jos.* Les Etrennes de l'Institut national ou la Revue littéraire de l'an VII. P.: Chez les Marchands de Nouveautés, [1799]. P. 79–80.

[17] И все же однажды придется умереть. Жестокая и страшная истина! Есть люди, которые оставляют после себя память совершенными добрыми делами! Есть, впрочем, и иные... Но давайте уважать прах покойных. Никому не дозволено тревожить их. Однако, когда речь заходит о произведениях литературы, все обстоит по-иному. Даже когда автор умирает, сочинения его продолжают жить, и любой имеет право высказать о них собственное суждение. Г-н Делангль, автор «Путешествия по Испании», недавно отдал свой последний долг природе. Хотелось бы, чтобы с его кончиною окончились и разговоры вокруг его сочинения, но истина не позволяет умолчать о том, что он также является и автором «Жюстины, или Злоключений добродетели». Если бы нужны были какие-либо доказательства существования Сатаны, то сие развратное и отвратительное сочинение, проповедующее самые невероятные извращения, наверняка оказалось бы среди них. Невозможно породить на свет подобную книгу и остаться человеком. Но более всего следует порицать издателя, не постыдившегося замарать свои печатные машины этими уродливейшими отбросами природы, и книгопродавца, взявшегося продавать сей опус (Le Cercle. Du 1er ventôse an VI [1er mars 1798]. № 9. P. 66).

[18] В сохранившемся экземпляре имеется всего одна статья с сообщением о смерти Лангля; одновременно ему приписывается авторство «Жюстины».

[19] Journal de Paris. Du 26 germinal an VI [15 avril 1798]. № 206. P. 860.

[20] Journal de Paris. Du 29 germinal an VI [18 avril 1798]. № 209. P. 872; см. также: Revue independante. 1885. Janvier. P. 219.

[21] АС, НП.

[22] Письмо к Гофриди от 14 флореаля VI года [3 мая 1798 г.] (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 421).

[23] Письмо к Гофриди от 12 прериаля VI года [31 мая 1798 г.] (Ibid. P. 422).

[24] AN. F^7 4954^3. Pièce 137; F^7 7339. Pièce 6.

[25] Письмо к Гофриди от 5 плювиоза VII года [24 января 1799 г.] (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 429).

[26] Письмо к Франсуа Гофриди от 25 плювиоза VII года [13 февраля 1799 г.]. BN. Ms. NAF. 18312 [Mf. 3090]. F. 28–29 (частично опубл. в изд.: *Bourdin.* Op. cit. P. 430).

[27] Выдержка из «Книги регистрации постановлений бывшей центральной администрации Воклюза, принятых на основании прошений, касающихся эмигрантов» (АС).

[28] См.: «Неблагоприятный отзыв Ревизионного бюро по докладу исполнительной Директории департамента Буш-дю-Рон <...>» (AN. F^7 4954^3. Pièce 18).

[29] Письмо к Гофриди от 15 термидора VII года [2 августа 1799 г.] (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 433).

[30] Письмо г-жи Кене к Гофриди от 17 термидора VII года [4 августа 1799 г.] (Ibid. P. 433).

[31] Письмо к Гофриди от 19 фрюктидора VII года [5 сентября 1799 г.] (Ibid. P. 435).

[32] Ami des lois. 12 fructidor, an VII [29 août 1799]. № 1462. P. 3. Выводы, сделанные в статье, основаны на воспроизведенных почти дословно строках из цитированной выше критической статьи Кольне дю Равеля: «Если мужество создает республики, то добрые нравы сохраняют их. Разрушение добрых нравов влечет за собой падение империй».

[33] АС. См. также: *Lely.* Vie. T. II. P. 464.

[34] См.: Le Tribunal d'Appolon u le Jugement en dernier ressort de tous les auteurs

vivants. Libelle injurieux, partial et diffamatoire: Par une société de Pygmées littéraires: En 2 vol. P.: Marchand, An VIII [1800]. T. II. P. 193–197 («Суд Аполлона, или Суд в последней инстанции, выносимый всеми здравствующими ныне авторами. Пасквиль оскорбительный, пристрастный и клеветнический. Выпущенный Обществом литературных пигмеев»). Библиографы приписывают «Суд Аполлона» содружеству авторов: Луи-Себастьяну Мерсье, Феликсу Ногаре и Жозефу Рони. Входил ли в их число Пултье, неизвестно. Статья против Сада подписана загадочными буквами: «J. E... Y.» Альфред Бежи полагает, что ее написал драматург Жан-Батист Бонавантюр де Виоле д'Эпаньи, однако тот родился только в 1793 г.

[35] L'Ami des Lois. 2 vendémiare, an VIII [24 septembre 1799].

[36] *Прево Жак-Огюстен* (1753–1830) – начинал как антрепренер ярмарочных спектаклей; в 1788 г. стал учителем географии королевских детей, но через год учительской карьере предпочел ремесло актера, а затем оформителя; в 1797 г. сменил Сале на посту директора Театра товарищества, располагавшегося на бульваре Тампль, и дал своему театру новое скромное название – «Непритязательный театр». Был одновременно драматургом, актером, суфлером, режиссером, оформителем, машинистом сцены, осветителем, продавцом билетов и т. д. и т. п. Пьесы его, не отличаясь особой изысканностью, в то же время не оскорбляли общественные нравы. Ненавидел Руссо и числил себя среди противников Вольтера. Не боялся театральной цензуры, умел сражаться за свои постановки до последнего. Ему приписывают слова, произнесенные в ответ на императорский декрет, согласно которому все мелкие театры Парижа подлежали закрытию: «Наполеон обманул меня. Что ж, посмотрим, чем кончится его авантюра!»

В 1809 г. Непритязательный театр был переоборудован в кафе «Аполлон», а потом в Театр акробатов (1816); Затем его уступили семье Саки.

[37] AN. F^7 3492. Dossier VIII. Pièces 46–47, НД.

[38] См.: *Lumière H.* Le Théâtre français pendant la Révolution. P.: Dentu, [1894]. P. 358–360.

[39] Journal de Paris du 3 thermidor, an VI [12 juillet 1798].

[40] Письмо к Гупийо от 9 вандемьера VIII года [1 октября 1799 г.] (цит. по: *Apollinaire.* Op. cit. P. 45–48).

[41] Письмо к Гупийо от 8 брюмера VIII года [30 октября 1799 г.] (Ibid. P. 48).

[42] Письмо к Гофриди от 5 брюмера VIII года [27 октября 1799 г.] (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 440).

[43] В списках больных Версальского приюта, хранящихся в архивах департамента Ивлин, имени де Сада нет – вероятно, потому, что ему предоставили пристанище не как больному, а как «неимущему».

[44] AM. Versailles R^2 2170^2.

[45] Письмо к Шарлю Гофриди от 12 плювиоза VIII года [1 февраля 1800 г.] (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 442).

[46] Письмо де Сада к Гофриди от 28 вантоза VIII года [19 марта мая 1800 г.] (АС, НП).

[47] Письмо к Шарлю Гофриди от 12 флореаля VIII года [2 мая 1800 г.] (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 444).

[48] Письмо Гофриди к де Саду от 27 флореаля VIII года [17 мая 1800 г.] (АС, НП).

[49] Письмо к Гофриди от 5 брюмера VIII года [27 октября 1799 г.] (цит. по: *Bourdin.* Op. cit. P. 440).

[50] См.: Oxtierne ou les malheurs du libertinage: Drame en trois actes et en prose, par D.-A.-F. S. Representé au théâtre de Molière, à Paris, en 1791; et à Versaille, sur

celui de la Société dramatique, le 22 frimaire, l'an 8 de la République. A Versaille, chez Blaizot, libraire, rue Satory. An huitième. – 48 p.

[51] Les Crimes d'Amour: Nouvelles héroïques et tragiques, précedées d'une Idée sur les romans et ornées de gravures, par D.-A. F. Sade, auteur d'«Aline et Valcour»: En 4 vol. P.: chez Masset, éditeur-propriétaire, rue Helvétius, An VIII. № 580.

[52] *Klossowski P.* Sade mon prochain. ... P. 115.

[53] Journal des Arts, des Sciences et de Littérature. 30 vendemiaire an IX [22 octobre 1800]. 2e année. № 90. P. 281–284.

[54] См.: Paris. P.: Massé, An IX. – 20 p. Вильтерк Александр Луи (1759–1811) – до революции служил офицером, оставил службу в 1789 г. и полностью посвятил себя литературе. Автор двух одноактных комедий: «Люсинда, или Великодушные советы» (см.: *Villeterque A.-L.* Lucinde ou les conseils généreux. Brest, 1791) и «Ревнивый муж, соперник самого себя» (см.: *Idem.* Le Mari jaloux et rival de lui-même. P., 1793), а также драмы «Ангерран, сьер де Розмон, или Отшельник в Арденнском лесу» (см.: *Idem.* Enguerrand, sieur de Rosenmont, ou le solitaire dans la forêt des Ardennes. P., 1793). Один из основных сотрудников «Журналь дез Ар, де сьянс е де Литератор» и «Журналь де Пари». В период основания Французской академии (Institut de France), вобравшей в себя академии уже существовавшие, стал членом-корреспондентом отделения гуманитарных наук. Большинство его произведений посвящено проблемам нравственности и морали. Выступая против теорий Жан-Жака Руссо и Бернардена де Сен-Пьера, утверждал, что счастье состоит в выполнении обязанностей, продиктованных подлинной любовью к самому себе, чувством, не имеющим ничего общего со слепым личным интересом. Вот названия некоторых из его работ: «Некоторые соображения по поводу теории о влиянии полярных льдов на приливы и отливы, или Письма к Б.-А. де Сен-Пьеру» (см.: *Idem.* Quelques doutes sur la théorie des marées par les glaces polaires ou Lettres à B.-H. de Saint-Pierre. P., 1793), «Философические бдения, или Опыты по экпериментальной морали и систематической физике» (см.: *Idem.* Veillées philosophigues ou Essais sur la morale expérimentale et la physigue systématique: En 2 vol. P., 1795), «Афинские письма, переведенные с английского» (см.: *Idem.* Lettres athéniennes, traduites de l'anglais: En 3 vol. P., 1803).

* * *

«Журналь де Пари» отнесся к автору «Преступлений любви» более справедливо.

Если новеллы кажутся вам длинными, – объясняет анонимный обозреватель, – то это вполне можно приписать богатству воображения писателя. По крайней мере, именно его воображением рождается такое многообразие картин. Последняя повесть этой серии [«Эжени де Франваль»] весьма мрачна. В том веке и в той стране, где царят неиспорченные нравы, такого рода картины только иссушили бы душу. Однако автор, несомненно, полагал, что подобные краски для нас пока вполне подходят, ибо в том, что касается любви, реальность в нашем обществе продолжает превосходить вымысел (Journal de Paris. 6 brumaire an IX [28 octobre 1800]).

Спустя два месяца отклик на книгу де Сада появился также в «La Décade philosophique»; автор статьи – в слегка завуалированной форме – поддержал обвинение Вильтерка:

Верный принципам, выдвинутым в «Алине и Валькуре», Д.-А.-Ф. Сад продолжает приписывать любви почти все преступления, позорящие человеческий род. Такое уже было сделано (я не говорю *он сделал*) в некоем произведении, которое нашему веку было предназначено произвести на свет, в произведении постыдном, название которого мы

даже не осмеливаемся написать, хотя с виду оно и кажется пристойным. Автор «Преступлений любви» от подобного рода адских сочинений *торжественно отрекся*. К несчастью, во всех его произведениях речь постоянно идет о *преступлениях любви* — как в тех, от которых он отрекается, так и в тех, которые он признает своими. В его сочинениях всегда говорится о *преступлениях любви*! Вот отчего первые уверенно приписываются автору вторых. Когда сталкиваешься с пропагандой тех же самых принципов и той же самой морали, с тем же стилем, то имеешь все основания вынести такое суждение. Мне искренне жаль Д.-А.-Ф. де Сада; ему была предоставлена возможность оправдаться (La Décade philosophique, littéraire et politique. 30 frimaire an IX [21 décembre 1800]).

[55] Ibid. Спустя некоторое время Вильтерк станет утверждать, что, опубликовав этот памфлет, Сад направил ему письмо с извинениями:

Автор сего двадцатистраничного пасквиля, оклеветавший меня за критический разбор его сочинений, гражданин САД письменно отрекается от тех страниц, которые я держу в руках, страниц, где собрано все, что является для меня оскорбительным. Те, кому известен сей отвратительный памфлет, быть может, посчитают подобное возмещение ущерба недостаточным; но те, кто знают его автора, без сомнения, понимают, что иного я вряд ли смог бы от него добиться. Не стану напоминать здесь ни названия, ни содержания пасквиля, полагая, что те, кто читал его и разделяет всеобщее мнение, должны со мной согласиться.

Вильтерк,
бывший офицер, член-корреспондент Французской академии
(Journal des Arts. 15 nivôse an IX [5 janvier 1801].

Глава XXVI

[1] В рассказе о своем аресте инициалами Э.Л. Сад обозначает Этьена Лалуби. Факсимиле протокола обыска см.: *Desbordes J.* Le Vrai visage du marquis de Sade. [s. l., s. d.]. Pl. XXXVIII–XXXIX. P. 296.

[2] Это объясняет, почему имя его не фигурирует в «Описи ежедневных донесений в префектуру полиции», хотя там упоминается имя Массе и рядом дата: 15 вантоза IX года (см.: AN. F^{16} 112; см. также: *Sade*. Notes littéraires // OC. T. XV. P. 22–23).

[3] «Рабочая записка его превосходительству сенатору-министру полиции», 21 фрюктидора XII года [8 сентября 1804 г.] (частное собрание; опубл. в изд.: *Lely*. Vie. T. II. P. 544–546).

[4] Досье 2452 полицейской канцелярии содержит сведения о конфискации у брошюровщика Барба 2000 экземпляров напечатанной в VII году «Жюстины», отданных Дюссару, книготорговцу с улицу Нуайе, по протекции Мутара, его бывшего собрата-книгопродавца, ставшего к тому времени начальником полицейской канцелярии в администрации Центрального округа Парижа (см.: AN. F^7 6294. Pièce 3).

[5] См.: Zoloé et ses deux acolytes ou Quelques décades de la vie de trois jolies femmes: Histoire véritable du siècle dernier, par un contemporain. A Turin. Se trouve à Paris chez tous les marchands de nouveautés: De l'Imrimerie de l'auteur, Messidor an VIII. — 42 p. («Золоэ и две ее приспешницы, или Несколько декад из жизни трех хорошеньких женщин. Подлинная история, случившаяся в веке ушедшем, написанная современником».)

[6] См. выше, примеч. 3.

[7] La Revue rétrospective. 1833. T. I. P. 256.

[8] *Pitou L.-A.* Analyse de mes malheurs et de mes persécutions depuis vingt-six ans. P.: Chez L.-A. Pitou, Pelicier, Delaunay, 1816. P. 98–100.

[9] [*Saint-Désiré H.*] Mes Amusements dans la prison de Sainte-Pélagie. P.: De l'Imprimerie d'Everat, rue du Bout-du-Monde, № 142; Se trouve à Paris, chez Sombert, libraire, boulevard Saint-Martin, № 11, en face de l'ancien Opéra, et chez les marchands de nouveautés. An X – 1801. VI ff. n.-chiff. – 145 p. – 1 f., (BN. Y[e] 10350). P. 6.

[10] Ibid. P. 17

[11] Ibid. P. 7–8.

[12] Из девяти членов общества нам удалось установить имена семи: Юрар Сен-Дезире, Оливье, Сен-Перн, Эгрон, Биже, сам Сад и, наконец, его давний враг, плагиатор, списавший у него «Алину и Валькура», пресловутый Менего.

[13] *Saint-Désiré H.* Op. cit. P. 55–58.

[14] Ibid. P. 9–10.

[15] AN. F[7] 6294. Pièce 8; F[7] 3119.

[16] *Nodier Ch.* Souvenirs, Episodes et Portraits de la Restauration et de l'Empire: En 2 vol. P., 1831. T. II. P. 52.

[17] По письму Барера от 22 декабря 1790 г. Комитет по отмене королевских приказов об аресте без суда и следствия при Национальном собрании поручил муниципалитету города Парижа посетить дом Милосердных братьев в Шарантоне, узников, которые там содержались, и тщательно разузнать, как обращались с этими несчастными. После нескольких посещений вышеуказанного заведения Этьен Леру, Можи и Реньо сделали доклад Коммуне Парижа в самых благоприятных выражениях. Текст доклада см.: *Esquirol.* Mémoire historique et statistique sur la maison royale de Charenton. P.: P. Renouard, 1835. P. 25–26.

[18] Ни в одних списках ложи его нет; нет его также и в списках, опубликованных в изд.: *Lamarque P.* Francs-Maçons aux États-Généraux de 1789 et à l'Assemblée Nationale. P.: Edimaf, 1981.

[19] После 1789 г. знаменитую ложу Девяти сестер постигла участь почти всех масонских организаций: она превратилась в народный клуб. Клуб, изменив устав, стал Народным обществом Девяти сестер. Общество разместилось на набережной Мирамион, в бывшем особняке Клермон-Тоннеров, и заседало каждое воскресенье. Некоторые заседания объявлялись открытыми, и тогда члены общества принимали гостей, в числе которых могли быть и женщины; разговоры велись прежде всего о политике, однако литературные беседы также не возбранялись. Девизом общества стало двустишие Вольтера, самого знаменитого члена ложи Девяти сестер, куда он вступил незадолго до смерти, в 1778 г.

Да будет партия у нас всего одна –
Для пользы общества и чтоб цвела страна.

(Подробнее об этом см.: *Amiable L.* La loge des Neuf-Soeurs, augmenté d'un commentaire et de notes critiques de Charles Porset. P.: Edimaf, 1989. P. 180 sq.)

[20] См.: AD Val-de-Marne. AJ[2] 100 («Выписка из реестров больных, поступивших в правительственную лечебницу в Шарантоне и там же исцелившихся, с 1 вандемьера VI года и по 31 августа 1812 г.»); см также: *Esquirol.* Op. cit. P. 57.

[21] Большую часть сведений о Кульмье мы почерпнули из работы: *Louis P.-Y.* A propos de François Simonet de Coulmier, régisseur de la maison de Charenton (colloque du 150[e] anniversaire de la reconstruction de l'hôpital, novembre 1988, AD. Val-de-Marne. 1 J 244).

[22] *Giraudy Ch.-Fr.* Mémoires sur la Maison nationale de Charenton, exclusivement destinée au traitement des aliénés. P., an XII [1804]. Данный текст мы цит.

по: *Pinon P.* L'Hospice de Charenton, temple de la raison ou folie de l'archéologie. Liège: Margada, 1989. P. 7–8.

[23] *Colins H.* Notice sur l'hospice de Charenton. P.: Callimard, 1970. P. 123–124. (Idées).

[24] Ibid. P. 152.

[25] См.: *Esquirol.* Op. cit.

[26] *Ramon L.-J.* Notes sur Monsieur de Sade // Cahiers personnels du marquis de Sade / Textes inédits, établis, préfacés et annotés par G. Lely. P.: Correa, 1953. P. 118.

[27] Ibid. P. 118–121.

[28] См.: *Sade.* Journal inédit / Préface de Georges Daumas. ... P. 21.

[29] А также еще около двух десятков разрозненных томов; в опубликованной Жильбером Лели «Описи вещей, составленной после кончины», указано: «Издание 1785 г., восемьдесят девять томов» (*Lely.* Vie. T. II. P. 624), а в «Протоколе о торгах», обнаруженном Николь Фелькэ, речь идет о девяносто одном томе (см.: *Felkay N.* Documents sur le marquis de Sade aux Archives de Paris // Annales d'Histoire de la Révolution française. 1971. Janvier–mars. P. 141). Следовательно, издание Келя (Kehl), выходившее с 1784 по 1789 г., именно то, которое было в библиотеке маркиза; оно насчитывало семьдесят томов.

[30] Письмо Кульмье к Клоду Арману де Саду от 2 фрюктидора XII года [20 августа 1804 г.] (АС, НП).

[31] Из префектуры полиции к господину де Кульмье, 11 флореаля XII года [1 мая 1804 г.] (BM d'Avignon. Coll. Requien).

[32] Archives de la Maison Nationale de Charenton / Publié par le Dr. Cabanès // Le Cabinet secret de l'Histoire. № 1. P. 474. (Troisième série)

[33] «Рабочий доклад; докладчик — государственный советник Дюбуа (12 июня 1807 г.)» (AN. F^7 3126, НД).

[34] Окончательное название было «принято за неизменное 29 апреля 1807 г., по завершении произведения», и должно было звучать следующим образом: «Дни в замке Флорбель, или Разоблаченная природа, сочинение, дополненное записками аббата де Модоза и приключениями Эмили де Вольнанж, кои служат доказательством справедливости высказанных постулатов» («Les Journées de Florbelle ou la Nature dévoilée, suivies des Mémoires de l'abbé de Modose et des Aventures d'Émilie de Volnange servant de preuves aux assertions»). В промежутке между двумя заголовками героиня изменила имя: теперь ее звали *Вольнанж*, а не *Вальроз*. Сочинение предполагалось сопроводить двумя сотнями гравюр и эпиграфом, заимствованным у Сенеки и вполне подходящим для девиза самого де Сада: «Истинная свобода в том, чтобы не бояться ни людей, ни богов».

[35] AN. F^7 3126. Суждение достаточно суровое; подобное высказывание см. также: AN. F^7 6294. Pièce 8.

[36] От «Дней в замке Флорбель» сохранилась только тетрадь с заметками, сделанными рукой автора, и озаглавленная: «Последние заметки и последние замечания о сем объемном произведении». Тетрадь эта, принадлежавшая сначала эрудиту Монмерке, а затем виконту Шарлю де Ноайлю, который передал ее Морису Эну, а затем Жану Делаборду, пропала во время Второй мировой войны. К счастью, Морис Эн позаботился сделать фотокопии и ее описание, а также расшифровать почти половину слов и фраз, написанных крайне неразборчиво. Фотокопии страниц и критический аппарат хранятся в Национальной библиотеке (отдел рукописей). Жильбер Лели опубликовал их в изд.: ОС. T. XV. P. 51–76; о «Днях в замке Флорбель» см. также: *Lely.* Vie. T. II. P. 601–607.

[37] См.: *Marquis de Sade.* Journal inédit. Deux cahiers retrouvés <...> suivis d'une Notice sur l'hospice de Charenton par Hippolyte de Colins <...>. P.: Gallimard, 1970. (Idées)

[38] AN. F^7 3126, НД.
[39] AN. F^7 6294. Pièce 27.
[40] AN. O^2 1430.
[41] См.: Revue retrospective. 1833. T. I. P. 258.
[42] Письмо от 24 термидора XII года [12 августа 1804 г.] (AN. F^7 6294. Pièce 24).
[43] См.: AN. F^7 3123.
[44] Записка от 10 июня 1806 г. (AN. F^7 6294. Pièce 20; F^7 3123).
[45] Письмо от 20 июля 1803 г. (Catalogue d'une collection d'autographes vendus le 26 mars 1887. P.: Charavay, 1887). На полях этого письма Кульмье приписал: «Переписка с де Садом. Потом станет понятно, каким терпением мне пришлось запастись».
[46] Письмо Кульмье к Донасьену Клоду Арману де Саду от 26 жерминаля XII года [16 апреля 1804 г.] (АС, НП).
[47] Письмо Кульмье к Донасьену Клоду Арману де Саду от 7 флореаля XII года [23 апреля 1804 г.] (АС, НП).
[48] AD Val-de-Marne. AJ^2 100, НД.
[49] Дату можно установить на основании неизданного письма де Сада к его кузине Бимар от 4 мая 1811 г.; помимо всего прочего в письме этом, в частности, говорится: «В доме, где я пребываю сейчас, я занимаюсь постановкой спектаклей. <...> Пришлось мучиться, добывать разрешение, и теперь вот уже шесть лет на них ходят <...>» (АС, НП).
[50] *Gourevitch M.* Le Théâtre des fous: avec Sade, sans sadisme // Petits et grands théâtres du marquis de Sade. P.: Art Center, 1989. P. 97.
[51] *Sade.* La fête de l'Amitié // Œuvres complètes. P.: J.-J. Pauvert, 1970. T. XXXV. P. 432—442.
[52] *Esquirol.* Op. cit. P. 47—48.
[53] Notice sur l'hospice de Charenton // *Sade.* Journal inédit. P.: Gallimard, 1970. P. 30—31. (Idées).
[54] См.: *Le Brun A.* Spectateurs et acteurs à Charenton // Petits et grands théâtres du marquis de Sade. P.: Art Center, 1989. P. 87—94.
[55] *Labouisse-Rochefort A.* Voyage à Saint-Léger, campagne de M. le chevalier de Boufflers, suivi du voyage à Charenton et des notes contenant des particularités sur toute la famille Boufflers <...>. P.: C.-J. Trouvé, 1872. P. 149—170.
[56] Цит. по: *Lely.* Vie. T. II. P. 571.
[57] Мадемуазель Флора полагает, что празднество в Шарантоне, на котором она присутствовала, происходило в 1814 г.; однако известно, что во исполнение правительственного постановления спектакли были прекращены 6 мая 1813 г. Следовательно, воспоминания юности ее подвели и она ошиблась на год или на два.
[58] Мадемуазель Флора прибавила де Саду несколько лет: он умер в возрасте семьдесяти четырх лет в Шарантоне и перед смертью театром не занимался.
[59] Речь, без сомнения, идет о красивом молодом человеке, который «сошел с ума от любви»; Анни Лебрен отыскала его портрет работы Габриэля: молодой человек с потупленным взором выглядит весьма подавленным (32-й рисунок из первой тетради).
[60] Бывший секретарь графа Клермона и принца Конде, драматург и шансонье, Пьер Ложон (1727—1811) оставил после себя множество опер, комедий и дивертисментов, а также несколько сборников песен; однако ни одно из его сочинений большого интереса не представляет.
[61] Габриэль нарисовал голову этого человека в фас (вторая тетрадь, 7-й рисунок: «Ложон-сын, слабоумный».

[62] Mémoires de Mlle Flore: Artiste du théâtre des Variétés: En 3 vol. P.: Comptoir des Imprimeurs-unis, 1854. T. II. Chap. VI. P. 172–184. Переиздано в одном томе в 1903 г. Приведенная выдержка содержится в гл. XIV на с. 226–232.

[63] *Rochefort A. de* Mémoires d'un vaudevilliste. P.: Charlieu et Huillery, 1863. P. 238–241.

Глава XXVII

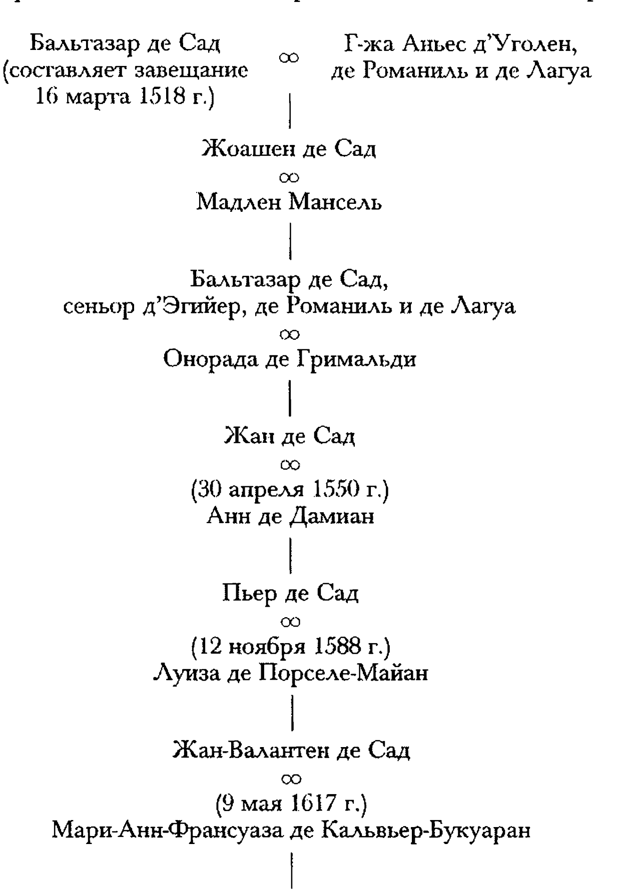
[1] Письмо Руайе-Колара к Кульмье от 29 января 1807 г. (AD Val-de-Marne. A J^2 100, НП).

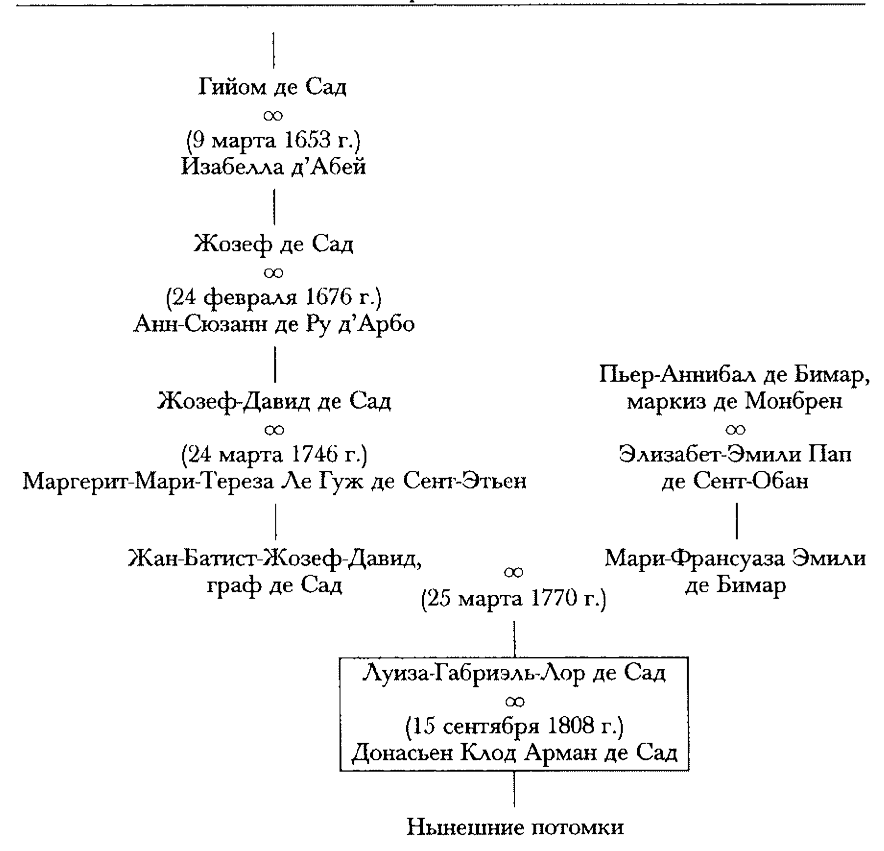
[2] Ответ Кульмье Руайе-Колару от 31 января 1807 г. (AD Val-de-Marne. A J^2 100, НП).

[3] Fonds Bégis (AC); см. также: *Cabanès.* La Prétendue folie du marquis de Sade // Le Cabinet secret de l'histoire. P.: A. Maloine, 1900. P. 304.

[4] Письмо к министру внутренних дел от 1 августа 1807 г. (AN. F^{15} 2607, НП).

[5] Ветвь, носящая имя де Сад д'Эгийер, образовалась в восьмом поколении, в конце XIV в.; родоначальником ее был Бальтазар де Сад. Ниже приводится краткое генеалогическое древо семьи де Сад д'Эгийер.





[6] *Coulmier M.M.* Précis sur la maison de sauté le Charenton. ... (AD Val-de-Marne: AJ[2] 100, НД).

[7] *Sade.* Journal inédit / Éd. Daumas. ... P. 62.

[8] АС. Почерк Клода Армана, но внизу листа – приписка, сделанная рукою маркиза: «Подтверждаю написанное выше. В Шарантоне, сего 1 июня 1808 г. *Сад*». Следовательно, верная дата 1 июня, а не 20, как ошибочно указал доктор Кабанес (*Cabanès.* Op. cit. P. 316), а следом за ним и Жильбер Лели (см.: *Lely.* Vie. T. II. P. 554). В архиве семьи де Сад имеется копия этого документа, сделанная рукою г-жи де Бимар.

[9] Этот рассказ в точности соответствует записи, сделанной де Садом в его «Дневнике» (см.: *Sade.* Lettre inédite. ... P. 70–72.

[10] АС, НП.

[11] Письмо Александра Кабаниса к Луи-Мари де Саду от 16 сентября 1808 г. (АС, НП).

[12] Письмо от г-жи Бимар к Клоду Арману де Саду от 28 мая 1808 г. (АС, НП).

[13] Письмо г-жи де Бимар к г-ну де Валери, дяде Клода Армана с материнской стороны, от 14 июля 1808 г. (АС, НП).

[14] Письмо г-жи Бимар к Клоду Арману де Саду от 5 июня 1808 г. (АС, НП).

[15] Ibid.

[16] Судебное ведомство. Департамент гражданских состояний (№ 2123. В. 8). Бракосочетание (АС, НД).

[17] Подлинный автограф г-жи де Бимар (АС, НП).

[18] АС, НД.

[19] Я, нижеподписавшийся Донасьен Альфонс Франсуа де Сад, проживающий в Шарантоне, изъявляю свое согласие на брак между Донасьеном Клодом Арманом де Садом, моим младшим сыном, и Луизой Габриэль Лор де Сад, дочерью Жан-Батиста Жозефа Давида де Сада и Мари Франсуазы Эмили де Бимар, его супруги, и даю настоящим документом требуемое в данном случае согласие, необходимое для исполнения должных формальностей, позволяющих совершить оглашение брака, и согласен признать недействительными все препятствия, предъявляемые до сего дня от моего имени, равно как и препятствующие сему браку документы, кои могут быть извлечены на свет в будущем, в силу доверенности, кою я выдал в присутствии Фино, государственного нотариуса, 26 июля 1808 г.

Написано в Шарантоне, сего 2 августа тысяча восемьсот восьмого года.

Де Сад

[другой рукой:]

Удостоверяю поставленную выше подпись г-на де Сада. Лечебница в Шарантон-Сен-Морисе, сего 4 августа 1808 г.

Бюран, мэр (АС, НД)

Согласно «Неизданному дневнику» (см.: *Sade.* Journal inédit. ... P. 84), Сад должен был подписать этот акт только 3 августа; следовательно, он пометил его задним числом.

[20] Долговые обязательства содержали: с одной стороны, 160 842 турских ливра (или 158 850 франков 28 сантимов), сумму ее приданого, обеспечением коего являлись земли маркиза де Сада, а с другой стороны 41 812 ливров (или 41 295 франков), которые был должен ей Тулонжон. Земельные владения состояли: из поместья Эшофур, где имелись жилой дом, две хозяйственные постройки, пахотные земли, леса и пастбища, расположенные в департаменте Орн (округ Аржантан); из поместья Валери, где имелись жилой дом, две мельницы, пахотные земли, луга, леса и прочие угодья, расположенные в департаменте Йонна; из различных земель, принадлежавших г-же де Сад в тех же самых департаментах.

[21] АС, НД.

[22] От этого брака родилось пятеро детей:

1. Рене, родился в июле1809 г.; утонул в Санлисе в мае 1820 г.

2. Лор-Эмили, родилась 16 нобря 1810 г.; вышла замуж за Луи-Мари Гастона де Грэндорж д'Оржевиль, барона де Менильдюрана.

3. Альфонс-Игнас, граф де Сад, родился 16 июня 1812 г.; 15 февраля 1842 г. женился на Анн-Анриетте де Шоле и продолжил род.

4. Пелажи-Габриэль-Матильда, родилась 4 сентября 1814 г.; умерла в 1875 г.; в брак не вступала.

5. Мари-Антуан-Огюст, родился 12 октября 1818 г.; 1 июня 1844 г. вступил в брак с Шарлоттой-Жермен де Мосьон.

(АС).

[23] BM. Avignon. Coll. «Requien».

[24] Получил от г-на Пессоно, полицейского комиссара города Парижа, сумму в двенадцать франков: 1) в качестве оплаты и гонорара за снятие протеста, выдвинутого на сегодняшний день г-ном де Садом против женитьбы его младшего сына: составление оригинала, изготовление копии и черновика; 2) предварительное состав-

ление согласия на брак и связанные с этим разъезды. Шарантон, 20 июля 1808 г. Подписано:

Фино (АС, НД)

[25] Revue rétrospective. 1883. T. I. P. 255 sq.

[26] AN. F[7] 3129.

[27] Крепость Ан, построенная в XV в. в Пикардии (департамент Сомма), в двадцати пяти километрах от Перонна, с XVIII в. служила государственной тюрьмой.

[28] AN. F[7] 3129.

[29] Господин граф! Семья маркиза де Сада, содержащегося по приказу правительства в лечебнице в Шарантоне, просит Вас незамедлительно, принимая во внимание возраст маркиза и его недуги, дозволить ему остаться на прежнем месте и не переводить его в крепость Ан. Если же Вы, господин граф, не в состоянии отменить данное распоряжение, семья просит Вас отсрочить перевод, позволив маркизу пробыть на прежнем месте всю зиму до наступления весны.

Пребываем с глубочайшим уважением <...> (АС, НП).

[30] Рукой де Сада написано. «Копия свидетельства, выданного мне Дегизом, соответствует оригиналу» (АС, НД).

[31] АС, НД.

[32] После смерти жены, случившейся 25 октября 1832 г., маркиз де Таларю вступил во второй брак, на этот раз с племянницей покойной жены, урожденной Розьер де Соран.

[33] В этот день г-жа де Таларю выступила в защиту еще двоих: некоего Макрема, бывшего офицера, арестованного за дуэль, и некой г-жи де Реш, семидесяти пяти лет, находившейся шесть лет в изгнании и просившей разрешения вернуться в Страсбург (см.: AN. F[7] 6294. Pièce 10–11; см. также: Revue rétrospective. 1833. T. I).

[34] AN. F[7] 6294. Pièce 11.

[35] АС, НП.

[36] См.: AN. F[7] 3130, 6294. Pièce 9.

[37] Письмо маркиза де Сада к Донасьену Клоду Арману от 5 декабря 1809 г. (АС, НП).

[38] АС, НП.

[39] Цит. по: *Lely*. Vie. T. II. P. 567.

[40] AN. AF IV 1236. Pièce 33. F. 4–5, НД.

[41] Предписания, направленные Кульмье министром внутренних дел Монталиве 18 октября 1810 г. (BM. Avignon. Coll. «Requien»).

[42] Цит. по: *Heine M*. Op. cit. 357–358.

[43] Mémorial de Sainte-Hélène: En 2 vol. [P.]: Flammarion, [s. d.]. T. II. P. 598.

[44] Mémoires de Barras / Éd. G. Duruy. P.: Hachette, 1895. P. 58.

[45] «Записка относительно состояния здоровья г-жи де Сад» (АС, НД).

[46] Из четырех тетрадей его «Дневника» будут найдены только две; их опубликует Жорж Дома.

[47] *Sade*. Journal inédit. ... P. 68.

[48] См.: Fonds Bégis (АС). Сад считал кантату вполне достойной собственного пера, а потому предпринял некоторые шаги, чтобы она была напечатана. Ее полное название: «Куплеты, исполненные в честь его преосвященства монсеньора кардинала Мори, архиепископа Парижского, 6 октября 1812 г, в больнице возле Шарантона» (см.: *Sade*. Couplets qui ont été chantés à Son Éminence Monseigneur le cardinal Maury, archevêque de Paris, le 6 octobre 1812, à la maison de Santé près de Charenton. P., 1812).

[49] Десятого ноября 1814 г. тот же самый Паке по просьбе маркиза принес ему копию рукописи «Изабеллы Баварской», чтобы тот мог внести в нее правку. Паке сообщил, что ему удалось договориться с издателем Пигоро, тем самым, который в VII году опубликовал украденную у де Сада историю Сенвиля и Леоноры, извлеченную из «Алины и Валькура», опубликовать «Аделаиду Брауншвейгскую». Однако замысел этот не удалось воплотить в жизнь.

[50] См.: La Marquise de Gange: En 2 vol. P.: Béchet, 1813.

[51] Письмо Клода Армана де Сада к отцу от 17 ноября 1814 г. (АС, НП).

[52] АС, НП.

[53] АС, НП.

[54] См.: ОС. Т. XV. Р. 28.

[55] АС, НП.

[56] Письмо маркиза к Клоду Арману от 18 мая 1810 г. (АС, НП).

[57] АС, НП.

[58] Письмо Клода Армана де Сада к Корбену от 23 августа 1810 г. (АС, НП).

[59] *Desbordes J.* Op. cit. P. 326–327.

[60] Письмо к Гофриди, без даты (Лели относит его к 1806 г., что вполне вероятно) (*Bourdin*. Op. cit. P. 447–450).

[61] Оригинал письма к министру внутренних дел от 20 июня 1810 г. по поводу его посещения Шарантона: (см.: AD Val-de-Marne. AJ² 100).

[62] См.: *Revue anecdotique*. 1860. T. I. P. 104–106. (Nouvelle série)

[63] *Esquirol*. Op. cit. P. 48–49.

[64] Ibid. P. 46.

[65] К примеру, Колен пишет:

Представьте себе четыре десятка душевнобольных, состоящих наполовину из меланхоликов и наполовину из пребывающих на пути к выздоровлению; их разместили в амфитеатре как *достопримечательность, выставили перед жадными взорами легкомысленной публики, непостоянной, а иногда даже злой* (*Sade.* Journal inédit / Ed. Daumas. ... P. 143).

Под пером Эскироля строки эти приобрели следующий вид: «Душевнобольные, присутствовавшие на этих спектаклях, становились объектами внимания и *любопытства легкомысленной публики, непостоянной, а временами даже злобной*» (*Esquirol*. Op. cit. P. 46). Подобные сходства можно приводить и далее. Так, Эскироль заимствует у Колена драматическую историю танцовщика Треница и т. п.

[66] АС, НП.

[67] AN. F¹⁵ 2608, НД.

[68] *Colins H.* Op. cit. P. 143–144.

[69] AD Val-de-Marne AJ² 100, НД.

[70] Ibid.

[71] См.: AN. F¹⁵ 1946.

[72] Ibid.

[73] *Heine M.* Op. cit. P. 359–364.

[74] Ibid. P. 364–365.

[75] *Colins H.* Op. cit. P. 35.

[76] АС, НД.

[77] См.: *Daumas G.* Op. cit. P. 34.

[78] Ни для кого не было секретом, что все, кто умирал в лечебнице Шарантон, подвергались вскрытию; среди врачей-интернов я был отличником, а потому провести эту операцию поручили мне. Признаюсь, исследовать череп и мозг де Сада

было бы чрезвычайно интересно. Но вот что произошло: г-н де Сад-сын, который попросил меня сохранить тело его отца, явился и стал настойчиво уговаривать директора сделать исключение из правил, то есть захоронить тело его отца без вскрытия и какого-либо иного исследования. Труп де Сада <...> был, пожалуй, единственным, который в период с 1814 по 1817 г. не подвергся вскрытию (*Ramon L.-J.* Notes sur M. de Sade // OC. T. XV. P. 42).

[79] Ленорман был генеральным откупщиком во владениях маркиза в Мальмезоне и Гранвилье.

[80] BN. Ms. NAF. 24384. F. 599—602. Впервые завещание было полностью опубликовано Жильбером Лели (см.: *Lely*. Vie. T. II. P. 629—632). Текст воспроизводился по «копии, полученной благодаря содействию нотариальной конторы в Шарантон-ле-Пон, принадлежащей мэтру Анри Кро, нынешнему преемнику мэтра Пьера Фино, нотариуса маркиза». Издательство «Каллиграм» в 1987 г. опубликовало факсимиле завещания, сопроводив его вступительной статьей Жан-Пьера Гийона и выпиской из «Представления завещания маркиза де Сада», состоявшегося 14 декабря 1814 г. и произведенного представителем канцелярии гражданского суда первой инстанции департамента Сена.

[81] *Ramon L.-J.* Op. cit. T. XV. P. 41.

[82] BN. Ms. NAF. 24390. F. 428—430.

[83] *Sade*. Journal inedit. ... P. 110—111.

Эпилог

[1] Пятого декабря, когда производилось опечатывание комнат маркиза де Сада, останки его еще находились в часовне (см.: *Felkay N.* Quelques documents sur le marquis de Sade aux Archives de Paris // Annales d'Histoire de la Révolution Française. 1971. Janvier—mars. P. 131).

[2] Согласно выдержке из свидетельства о смерти, датированного 16 декабря 1815 г. (AC).

[3] Цит. по: *Lely*. Vie. T. II. P. 627, n. 5.

[4] Именно Фино призвал мирового судью Анри Бретона, направив ему уведомление, датированное 4 декабря 1814 г., где сообщалось о смерти маркиза. Протокол об опечатывании личного имущества маркиза (см.: *Felkay N.* Quelques documents sur le masrquis de Sade aux Archives de Paris // Annales d'Histoire de la Révolution française. 1971. Janvier—mars. P. 132—133).

Данная процедура была мерой предосторожности, предпринимаемой по требованию кредиторов или на случай отсутствия у покойного наследников. На сей раз к ней пришлось прибегнуть из-за того, что выехавший в Шарантон Клод Арман задержался в пути.

[5] См.: *Ramon L.-J.* Notes sur M. de Sade // OC. T. XV. P. 42.

[6] См.: *Cabanès*. Op. cit. P. 312.

[7] AC, НД.

[8] На недвижимость в Гранвилье и Мальмезоне был наложен арест, и 23 июня 1810 г. она была выставлена на торги. Полностью продажа была произведена 23 июля, то есть в следующем месяце (AC).

[9] OC. T. XV. P. 42.

[10] Ibid. P. 42.

[11] *Lely G.* Vie du marquis de Sade. P., 1982. P. 667. Здесь Жильбер Лели в противоречит тому, что писал ранее: «Есть основания полагать, что г-жа Кене вступила во владение своим наследством, ибо продажа Сомана с лихвой покрывала завещанные ей суммы» (*Lely*. Vie. T. II. P. 633). Учитывая финансовое положение

маркиза перед смертью, а также ипотеку на Соман, вторая гипотеза кажется более вероятной. В связи с этим вспомним, что г-жа Кене сама распоряжалась ипотекой на все имущество маркиза де Сада, равное сумме в 28 200 франков, что следует из актов, завизированных мэтром Дюфулером 27 августа 1790 г., 29 августа 1792 г., 30 августа 1792 г., 5 сентября 1793 г. (запись от 21 флореаля VII года [10 мая 1799 г.], АС).

[12] Выполняя договор, заключенный с отцом, с 1812 г. Клод Арман де Сад ежегодно выплачивал г-же Кене пенсию в 600 ливров.

[13] В архивах Валь-де-Марн автор обнаружил свидетельство о смерти Констанс Кене:

Ренель, вдова Кене

В 1832 г., в четверг 19 июля, в 11 часов утра, в мэрию, к мэру <...> явились г-да

Бонавантюр Шарль Бальтазар Кене, сын покойной, 48 лет, живописец, проживающий в Париже, на улице Фобур-Монмартр, № 4, и

Симфорьен Сартуа, рантье, 52 лет, проживающий в коммуне Шарантон ле Пон, на улице Гран-Рю, № 47,

и заявили, что сегодня, в 2 часа утра, у себя дома скончалась мадам Констанс Мари Ренель, 75 лет, вдова Бальтазара Кене. Кончина была засвидетельствована.

Копия подлинная, заменяет оригинал, сгоревший при восстании 1871 г. (AD Val-de-Marne. Tables décennales — Charenton — Décès, 1792—1895. 5 E 19, НД).

[14] См.: *Felkay N.* Op. cit. P. 137—142.

[15] Опись, составленную после смерти маркиза де Сада, см. в изд.: *Heine M.* Op. cit. P. 366 sq.

[16] Есть основания полагать, что некоторые не слишком щепетильные полицейские чиновники, понимая, какую выгоду они могут извлечь из продажи этих рукописей, без колебаний изъяли их, обманув бдительность начальства, и таким образом спасли от сожжения. По крайней мере, к такому выводу можно прийти на основании двух рукописных заметок, обнаруженных в Национальном архиве, которые мы воспроизводим ниже:

Выдержка из книги регистрации корреспонденции главной канцелярии

I

Восемнадцатого мая 1814 г. шевалье де Ривуар приводит ряд подробностей о некоторых рукописях, сочиненных и написанных рукою маркиза де Сада, которые Бранзон купил у Лакорда, инспектора службы снабжения армии продовольствием.

Ему хотелось бы, чтобы рукописи эти были отправлены в Министерство полиции и там опечатаны.

Отправлено в 1-й дивизион префектуры.

II

17 декабря 1814 г.

Записка относительно рукописей маркиза де Сада, скончавшегося в Шарантоне; речь пойдет о том, чтобы изъять эти рукописи у неких Ривуара и Вижера, высказавших намерение напечатать их в Лондоне.

Просьба вернуть рукописи семье, дабы они были сожжены.

Отправлено в полицию города Парижа (AN. F^7 6296, НД).

Разумеется, речь идет только о рукописях, найденных в комнате маркиза перед его смертью; прочие были сожжены на глазах Клода Армана. В осталь-

ном этот документ, важность которого подчеркивать нет необходимости, ставит ряд вопросов, на которые у автора, принимая во внимание нынешнее состояние исследований, ответа нет. Во-первых, потому что лица, чьи имена приведены в документе, нам совершенно неизвестны, а роль, сыгранная в этом деле неким Ривуаром, кажется нам и вовсе сомнительной, ибо английских изданиий произведений де Сада этого времени не обнаружено. Продолжение следует...

[17] АС, НД.

[18] На основании этих фактов Викторьен Сарду в письме к доктору Кабанесу предлагает абсолютно вымышленную (но зато какую романтичную!) версию:

Эксгумацию совершали ночью, в полной тайне, три человека, одним из которых был (по крайней мере, он сам уверял меня в этом) мой старый друг доктор Лонд, ученик Галла; он и стал хранителем черепа, который вскоре был у него украден, так что я не имел удовольствия, уподобившись Гамлету, обратиться к маркизу и сказать ему, насколько я одобряю действия и монарха, и императора, посадивших его под замок как злоумышленника и безумца; мне показалось забавным, что Революция вознаградила его гражданские добродетели, сделав секретарем Народного общества секции Пик! (*Cabanès*. Cabinet secret de l'Histoire. 1900. T. III. P. 366).

[19] *Ramon*. Op. cit. P. 43.

В качестве анекдота приведем версию Жюля Жанена, отличающуюся прежде всего безудержностью полета фантазии ее автора. По его мнению, ученики Галла накинулись на череп Сада

<...> как на вожделенную добычу, которая, несомненно, должна была раскрыть им тайну устройства самого загадочного человека. Череп этот, соответствующим образом обработанный, ничем не отличался от черепов прочих стариков. Он нес на себе следы своеобразной смеси пороков и добродетелей, благодеяний и преступлений, ненависти и любви. Этот маленький аккуратный череп сейчас находится у автора перед глазами. На первый взгляд его можно даже принять за женский, тем более что шишки материнской нежности и любви к детям на нем столь же выступающие, как и на голове Элоизы*, являющей собой подлинный образец нежности и любви (Revue de Paris. 1834. T. XI. P. 358.)

[20] В 1988 г. был изготовлен новый слепок. Автору был сделан сюрприз: этот слепок водрузили к нему на письменный стол среди писем маркиза и документов из его семейного архива. Незабываемое мгновение!

[21] Примечательно, что здесь почти дословно воспроизводятся выводы Жюля Жанена, цитируемые выше в примеч. 19.

[22] Текст впервые опубликован автором (см.: *Lever*. Richelieu, Voltaire, Sade... Pas de repos pour les dépouilles illustres! // L'Histoire. 1988. № 109. Mars).

[23] «Литературные заметки» (*Sade*. Notes littéraires. AC).

---

* Элоиза (1101–1164) – возлюбленная философа Абеляра; вынужденная удалиться в монастырь, она сохранила на всю жизнь верность своей любви.

Приложение I

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ПАСТОРАЛИ, ИСПОЛНЕННЫЕ СЕЛЯНАМИ ЛА-КОСТА В ЧЕСТЬ ПРИЕЗДА СЕНЬОРА, МАРКИЗА ДЕ САДА

I

Пастораль — приветствие от селян Ла Коста по поводу приезда маркиза де Сада
(исполняется по-провансальски)

1 куплет

Первый пастух

Нынче нету равнодушных,
У нас прошел веселый слух,
Что наш пастух
Со своею встретился пастушкой,
Кто же знает этих двух?

Второй пастух

Эй, овечки,
Вот, овечки,
Наш пастух вернулся издалече!

2 куплет

Оба пастуха дуэтом

Что за счастливое известье
И какой для нас сюрприз,
Дарида,
Свою красавицу-невесту
К нам сюда привез маркиз!
Куси-куса,
Тра-ля-ля,
Надо нам поздравить их!

3 КУПЛЕТ

Выборный от пастухов, он держит на руках овечку, украшенную лентами и цветами:

Мы юных девушек позвали,
И они пустились в пляс,
Дарида,
Так чтоб подметки отлетали
И чтобы радовать наш глаз.
Сей куплет —
Наш привет.
Сегодня грусти места нет.

4 КУПЛЕТ

Все хором

Трубы пусть и барабаны
Пусть играют неустанно,
Пусть гремят.
Гобоев и волынок звук
Пусть наполнит все вокруг,
И пусть каждый
Нам покажет,
Как он рад.

5 КУПЛЕТ

Первый пастух

О любезный наш сеньор,
От души тебя поздравить
Мы пришли сейчас.
Будь же с нами щедр и добр,
Радуйтесь же с нами вместе.
Стало нам огромной честью
Пожелать вам счастья
И поздравить вас.

II

Приветствия маркизу и здравицы в честь графа де Сада

Наш маркиз прелестный —
Ах, счастливый час! —
Прибыл в свое поместье,
Чтобы увидеть нас!
Ах,
Споем мы хором —

Ура, ура! –
Ах,
Споем мы хором:
Долгих лет! – и вторим.

Добро тебе пожаловать,
Наш будущий хозяин,
Тебя здесь с нетерпеньем
Всегда мы ожидаем.
Ах,
И т.д.

Дорогою отцовой
Наш маркиз идет,
И вскоре, безусловно,
Он свой прославит род.
Ах,
И т. д.

И сын нас уверяет,
Что вновь здоров отец,
И вдвое возрастает
Радость всех сердец.
Ах,
Споем мы хором,
Нас не покинул граф,
Ах,
Споем мы хором,
Господин наш здрав.

Он умер, нам сказали,
И от такой угрозы,
Все женщины в печали,
Все девы лили слезы.
Но
Порадуемся вместе,
Душа пусть воспарит!
Но
Порадуемся вместе
Счастливому известью!

Мы знали и боялись,
Что смерть не пощадит,
Неведома ей жалость
И сердца нет в груди.
Но
Не смеет подступиться
Даже смерть к нему,
Но
Но смерть не подступится
К тому, кто не боится.

Мы трепетали робко,
Рыдали и страшились,
Мы стали как сиротки,
Что вдруг отца лишились.
Ах,
Как мы боялись,
О смерти говоря,
Ах, как мы боялись!
Но оказалось зря.

Пускай сердца ликуют,
Споемте же сейчас,
Что радость вот такую
Принес сей день для нас!
Ах,
Споем мы хором
О том, как все мы рады,
Ах,
Еще повторим:
Да здравствуют де Сады!

Приложение II
СПИСКИ И АДРЕСА ЛИЦ, НАНОСИВШИХ МНЕ ВИЗИТЫ, А ТАКЖЕ МОИХ ЗНАКОМЫХ[1]

I

[ИЮНЬ—ИЮЛЬ—АВГУСТ 1769: ЛИЦА, ПОСЕТИВШИЕ МЕНЯ][2]

27 июня 1769

Мадам д'Ази, мадам де Тулонжон, мадам де Лашатенрье

28

Мадам д'Ази, мадам де Тулонжон, месье и мадам Бертен, месье и мадам де Буассак

29

Месье Ламбер, месье и мадам Ламбер, месье Лоран

30

Месье и мадам де Бланьи, месье и мадам де Роман, месье и мадам де Лашапель

1 июля

Маркиза дю Мениль, месье и мадам Бертен, месье и мадам де Буассак

2 июля

Маркиза де Вальбель, маркиза де Граммон

3

Месье Милли, месье аббат д'Эври, маркиза де Сен-Совер, месье и мадам де Бланьи

4

Маркиза дю Мениль, мадам де Фонпертюи, маркиза де Вальбель, месье и мадам де Лааж, месье и мадам Летурнер

5

Мадам д'Одри, мадам де Куаньи

6

Месье и мадам Руссо де Телон, месье и мадам де Тулонжон. Месье и мадам Бертен, месье и мадам де Буассак, маркиза де Жуан. Маркиза дю Мениль, мадемуазель Атис, графиня дю Верни, графиня де Менар

7

Месье и мадам де Бланьи, месье и мадам Бертен, мадам де Буассак

---

[1] Надпись, сделанная рукой Донасьена де Сада на конверте, содержащем публикуемые в настоящем Приложении документы. Ниже, на том же самом конверте, еще одна надпись, сделанная также рукой Донасьена: «Ящик "Поручения", записки и т. п.» (АС, НД).

[2] Перечень составлен рукой г-жи де Сад.

9

Маркиза де Жуан, месье и мадам де Дюфур, мадам де Парабер, мадам де Бернаж, мадам де Тулонжон

11

Месье и мадам Бертен, маркиза де Буассак

13

Месье и мадам де Телон

14

Вдовствующая маркиза де Вальбель. Месье и мадам Бертен, мадам де Буассак

15

Месье и мадам Бертен, мадам де Буассак; месье и мадам де Шамбре

16

Месье и мадам де Шамбре, маркиза де Лашапель, месье и мадам Жоке, мадам де Бернаж

18

Мадам де Бланьи, месье и мадам Бертен, мадам де Буассак

20

Мадам де Бланьи, мадам де Мелэ, г-жи де Куаньи, графиня де Бей

22

Месье и мадам Бертен, мадам де Буассак

23

Мадам де Бе, мадам де Бланьи, г-жа маркиза де Шамбре.

24

Месье и мадам Бертен, мадам де Буассак, месье и мадам де Лавьевиль, месье де Бово, месье и мадам де Мелэ

26

Месье и мадам Бертен, маркиза де Буассак

28

Маркиза де Граммон

29

Месье де Мора, мадам де Мондран, графиня де Мерль

2 августа

Месье и мадам де Вреньи

3

Мадам де Бланьи

6

Маркиза де Жуан, маркиза де Граммон, шевалье де Тулонжон

7

Графиня де Куаньи

8

Графиня де Брей

9

Мадам де Фонпертюи, Председательша де Мелэ

10

Маркиза де Граммон

II

Визиты, сделанные повторно, вместе с женой, туда, где хорошо принимали, с 1 января 1770 г.[1]

К мадам де Лонэ
К мадам де Плиссэ
К мадам де Лэгль
К месье и мадам де Пуайян
К мадам д'Ази
К м-ль де Жерент
К мадам де Шамуссе
К мадам де Сен-Жермен
К мадам де Казобон
К мадам де Ламбер
К мадам Пажо де Жювизи
К мадам де Суайкур
К вице-канцлеру[2]
К мадам де Мерль
К мадам Оливье
К мадам де Верну
К мадам Барантен
К мадам де Вальбель
К мадам де Мондран
К мадам де Лаверди
К мадам де Водезир
К мадам де Шалю
К мадам де Се
К мадам де Бельмон
К мадам де Кабриер и де Дамиан
К мадам де Ламот
К мадам де Жуан
К мадам де Мальзи
~~К графу де Сен-Флорантен~~
К мадам де Ланжак
~~К мадам де Фурнэз~~
К мадам де Кромос
К мадам де Моро
К мадам де Козан
К мадам де Монбуасье, площадь Рояль
К мадам Глатиньи
К мадам Жоке
К мадам де Шамбре

Визиты к мужчинам

К месье де Сен-Флорантену
К графу де Спару
К графу де Монтеклеру
К аббату де Саду
К графу де Крийону
К графу де Монтеклеру

III

Ответные визиты, а также люди, посетившие нас с 1 января 1770 г.[3]

Мадам де Казобон +
Мадам де Буррон и ее муж
Шевалье д'Арк ++
Мадам де Лэгль ++
Граф де Монтеклер ++
Аббат де Сад ++++
Мадам де Кабриер ++
Мадам де Бельмон +
Мадам Пажо де Жювизи +
Мадам де Дамиан ++ ~~и ее сестра~~
Мадам де Ланжак ++
Мадам де Пуайян ++
Мадам де Сен-Жермен и ее брат +
Месье де Лантенэ +
Мадам Ламбер + и ее муж ++
Мадам де Созе +
Мадам Моро +
Месье де Бузонвиль ++++

---

[1] Заголовок, список и вычеркивания сделаны рукой маркиза.
[2] Рене Шарлю де Мопу.
[3] В заголовке и списке легко угадывается рука маркиза. Крестики после имен означают, вероятно, число визитов.

Мадам Оливье ++
Мадам де Бельмон + и ее муж
~~Месье де Бузонвиль~~
Месье де Мелэ, отец +
Мадам де Шамусе +
Мадам де Вальбель, вдова +
Мадам де Ври +
Мадам де Фонпертюи ++
Месье и мадам Жоке +
Месье де Суайкур ++
Месье де Милитерни +
Герцог де Монпеза ++
Мадам де Шалю и ее племянница +
Мадам де Барантен +
Мадам де Фурнэз, ее дочь и ее сын +
Мадам де Мондран
Аббат де Лашапель
Мадам д'Обон
Мадам де Шабанэ + и ее муж ++
Мадам де Гранпре +
Месье де Мелэ, сын ++
Мадам де Плиссэ +
Месье де Нормон +++
~~Мадам де Сен-Жермен~~
Мадам де Буате +
Месье граф де Спар ++++
Граф де Крийон +
Мадам де Верну +
Шевалье де Монтеклер +
Месье и мадам де Пронлеруа +
Мадам де Мерль и ее муж +
Мадам д'Ази +
Мадам де Шамбре и ее муж
Аббат де Буйе
Мадам де Мелэ

IV

СПИСОК ЛИЦ, КОТОРЫМ МАДАМ ДЕ САД ДОЛЖНА ОТДАТЬ ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ[1]

Мадам Парсье
Графиня де Вальбель
Мадам де Готе
Виконтесса де Рошуар
Мадам де Гуффье
Мадам Бертен
Мадам де Бланьи
Мадам де Сомери
Мадам де Вериньи
Мадам де Говиль
Мадам Шевалье
Мадам д'Эсклиньяк
Мадам д'Обиньи
Мадам д'Эспаньяк
Графиня де Вуасси
Мадам Беррье и мадам де Ламуаньон
Мадам де Гренэ и мадам де Латур дю Пен
Мадам де Турни
Мадам де Роман и мадам де Лашапель
Мадам д'Оже
Мадам де Ламюзажер
Виконтесса де Монбуасье
Мадам де Лапорт и мадам де Мельфор
Мадам де Марбеф и мадам де Леви

V

ВИЗИТЫ, НАНЕСЕННЫЕ МАРКИЗОМ И МАРКИЗОЙ ДЕ САД[2]

Мадам и месье д'Эври
Месье и мадам Оливье +
~~Месье д'Арнонкур~~, покойный
Мадам д'Ази +
Месье и мадам Парсье + месье и мадам де Ласер
Месье и мадам де Мондран +
~~Месье и мадам де Сантиньи~~

---

[1] Составлено на таком же двойном листе, как и предыдущий список, только незнакомой рукой (возможно, секретаря).

[2] Заголовок и список выполнены рукой маркиза. Крестики после имен (в оригинале приписаны карандашом) означают, вероятно, число визитов.

Мадам де Тулонжон +
Герцог и герцогиня де Косе +
~~Месье де Виллет отец~~ покойный
Месье и мадам де Пуайян +
Месье и мадам де Мелэ +
Месье и мадам дю Террай
Месье аббат д'Эври
Месье и мадам де Нуанвиль +
Месье де Вернон +
Мадам де Грамон +
Месье де Фонпертюи +
Месье де Гуфье, виконтесса
Мадам Жокее
Месье маркиз де Шабрийан
Месье принц де Конти
Месье де Прали
Мадам де Майе
Месье и мадам де Тюлэ
Месье и мадам Бертен
Месье и мадам Бертье +
Мадам де Сен-Симон +
Мадам де Лонэ
Мадам и месье де Плиссэ + и мадам де Шамуссе
Герцог д'Ансезен и месье де Вальбель
Месье де Виллет-сын
Месье и мадам де Барантен +
Месье и мадам Зоннинг +
Месье и мадам д'Анже
Месье де Лавьевиль
~~Месье де Шамуссе~~
Месье и мадам Ламбер +
Месье и мадам де Лааж +
Месье и мадам графиня де Бар
Месье и мадам де Ласер
Месье Бурневиль
Мадам графиня д'Ази
~~М-ль де Санс~~, покойная
Месье принц де Конде
Мадам графиня де Ламарш
Месье и мадам де Мольен
Месье и мадам де Совиньи +
Месье и мадам де Лаверди

Приложение III
ПОРОШОК ИЗ ШПАНСКОЙ МУШКИ ВО ВРЕМЕНА МАРКИЗА ДЕ САДА[1]

Порошок из шпанской мушки, известный со времен античности, содержит вещество, обладающее местным раздражающим действием, и высокотоксичное возбуждающее вещество кантаридин. Порошок получается из толченых сушеных насекомых отряда жесткокрылых, или жуков, а именно из шпанской мушки (*Lytta vesicatoria*), нарывников (*Mylabres*, *Mylabris cichorii*) и разнообразных видов жуков маек (*Meloe, Meloe majalis*).

Кантаридин составляет примерно 1% сухого веса жуков. Этот состав, являющийся основным активным веществом порошка из шпанской мушки, представляет собой ангидрид кислоты, которая при контакте с влагой слизистых оболочек освобождает едкую двухосновную кислоту, вызывающую сильное местное раздражение[2].

Гидролиз
Освобождение воды H_2O
на уровне слизистых оболочек

COOH
Активный продукт
COOH

Кантаридин

Кантаридная кислота, обладающая разъедающим и афродизиатическим действием

[1] Автор благодарит своего друга, доктора Пьера Флотта, за ценный вклад в расследование Аркейского дела.

[2] См.: Ziegler K. et ses collab. [s. l.], 1942. T. 551. P. 179.

Чтобы изготовить порошок из шпанской мушки, надо растолочь в ступке мертвых высушенных насекомых. Аптекарский порошок шпанской мушки содержал 4 грамма кантаридина на килограмм вещества. Только с 1884 г. кантаридин стали извлекать с помощью органического растворителя, а именно хлороформа.

Порошок из шпанской мушки можно было использовать в двух видах:

- В виде драже, чаще всего ароматизированных, с добавлением аниса (эссенции или порошка) и сахара. Эти драже содержали 25 мг порошка, или 1/10 мг чистого кантаридина.

Известно, что максимальная доза, допускавшаяся в европейской фармакопее (в том числе и французским Кодексом), 0,2 мг на прием за двадцать четыре часа; следовательно, пациент не должен был принимать больше двух драже в день.

- В виде мази; в этом случае порошок из шпанской мушки смешивался в ступке с каким-нибудь индифферентным веществом животного происхождения, например, с ланолином, с которым кантаридин (гидрофобный) соединяется полностью (ланолин – жировой выпот у овец), из расчета 50 мг порошка на 1 кг ланолина.

В зависимости от способа употребления, различают два способа отравления кантаридином:

1. *Через полость рта.* Отравление происходит несмотря на предохранительную оболочку, которую имеет кантаридин, принимаемый в форме драже; описаны несколько типов *острых* и *хронических* отравлений.

а) *Острое отравление per os.* В этом случае отмечается выраженное расстройство пищеварительного тракта.

- Слабое отравление: эзофагит, гастрит, колит, стул именуемый милена (жидкий черный стул, вызванный кровоточивостью слизистых пищеварительных оболочек), язва желудка или двенадцатиперстной кишки с кровавой рвотой.
- Сильное отравление: перитонит со смертельным исходом, так как происходит перфорация кишечника (в настоящее время излечивается).

б) *Хроническое отравление*, возникающее при повторяющемся употреблении кантаридина, чаще всего дает гастрит с черным поносом, колит с коликами, тошноту, рвоту, которые после долгой экспозиции приводят к возникновению клинических признаков острой интоксикации.

При хроническом отравлении через несколько недель появляется почечная патология, так как прохождение кантаридина через большой круг кровообращения приводит к повреждению почек на уровне первичных канальцев, начинается гематурия, альбуминурия, повышается артериальное давление. Все это приводит к почечной недостаточности и смерти от анурии. Также были описаны случаи сердечно-сосудистого коллапса.

2. *Отравление посредством наложения мазей, в состав которых входит порошок из шпанской мушки.* В этом случае отмечаются:

- тяжелые кожные некрозы на слизистых оболочках в местах аппликации мази.
- локальные ожоги 2-й степени.

Вскрытие погибших от принятия больших доз (то есть больше 1 мг в день, иначе говоря пять драже сразу) показало:
- на уровне пищеварительной системы – кровоточивость слизистых облочек, эзофагит, гастрит, колит;
- в почках – некроз сосудов, повреждения мочевого пузыря с тенезмами гладкомышечной мускулатуры стенки;
- на общем уровне (у мужчин) – тромбоз кавернозных тел, вызывающий приапизм; (у женщин) – кровотечение слизистых оболочек стенок матки и иногда повреждение яичника.

* * *

Если говорить о том, зачем в принципе употребляли шпанскую мушку, то есть о ее действии как возбуждающего средства, необходимо отметить, что она оказывает раздражающее воздействие на уровне урогенитальных и анальных слизистых облочек. Спазмы провоцируются прямым воздействием кантаридина и вторичным воздействием вышеуказанных токсинов, возникающих очень быстро, особенно у лиц преклонного возраста.

Пьер ФЛОТТ,
доктор медицины, доктор фармакологии,
госпитальный биолог,
эксперт кассационного суда по клинической
и аналитической токсикологии

Приложение IV
АРКЕЙСКОЕ ДЕЛО В ГЛАЗАХ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

I. Рукописные издания

«Сборник литературных и политических анекдотов» (1768)

13 апреля 1768 г.

Граф де Сад, сын маркиза, носящего это же имя, только что препровожден в замок Сомюр. Причиной его заключения является поступок весьма пикантный и одновременно необычайно жестокий, совершить который можно было, лишь пребывая в состоянии безумия. В день Пасхи он притворился, что хочет нанять служанку, и якобы для этого пригласил к себе в загородный дом бедную женщину, а когда она пришла, он, прибегнув к ужасающему насилию, принудил ее лежать смирно и стал делать ей надрезы на ягодицах, а затем приложил к ним новоизобретенное лекарство, которое, по его словам, должно было исцелить ее за несколько часов. Несчастная, вынужденная подчиниться силе, сумела, после того как операция была проделана, найти способ бежать и принести жалобу судье, дабы оградить себя от дальнейшего насилия. Семье удалось получить приказ короля о заключении графа в крепость, а пострадавшей стороне была выплачена компенсация.

17 апреля 1768 г.

Дело графа де Сада относится к делам наиболее громким. Оно было принято к рассмотрению парламентом, и судьи приказали держать их в курсе, ибо вопрос требовал непосредственного вмешательства со стороны генерального прокурора. Так как граф имеет честь принадлежать к высшему дворянству и уже находится в распоряжении короля, то нет сомнений, что Его Величество также признает его безумцем, коего следует посадить под замок, а так как это уже сделано, то остается лишь убедиться, что он там и останется навсегда.

20 апреля 1768 г.

Публика, громко протестующая против жестокостей графа де Сада, побуждает преувеличивать умственные отклонения, имеющиеся у сего графа по причине слабости рассудка, и о нем начали сочинять разного рода небылицы. Чтобы правосудию не в чем было себя упрекнуть, оно дотошно исследовало всю его жизнь, а также распорядилось произвести тщательный обыск в его загородном доме, дабы убедиться, нет ли там еще следов его жестокого обращения с женщинами, ибо не исключено, что обвинения, возводимые на него, не имеют под собой основания.

24 апреля 1768 г.

По дороге в Сомюр граф де Сад сумел сбежать от своего сопровождающего, однако утверждают, что его удалось схватить, и теперь местом его заключения из-

брана крепость Пьер-Ансиз, куда он и направится. Парламент продолжает расследовать его дела в уголовном порядке, и уже вынесено постановление о его задержании.

23 мая 1768 г.

Прошел слух, что граф де Сад в Сомюре, однако говорят также, что он сбежал. Ясно лишь одно: в настоящее время он находится в крепости Пьер-Ансиз, в секретной камере. Дело приобретает для него благоприятный оборот, что вполне объяснимо, так как он человек скорее вздорный, исполненный сумасбродств, нежели негодяй. Говорят также, что он очень умен и водит знакомство с людьми выдающимися.

13 июня 1768 г.

Следствие по делу графа де Сада было продолжено; расследование, проведенное в связи с последним его проступком, показало, что преступные действия, совершенные им, столь серьезны, что, дабы предупредить суровое наказание, коему он должен был быть подвергнут, король вынужден был дать ему специальное оправдательное свидетельство. Это свидетельство позавчера было представлено в Большую палату, равно как и в палату Турнель. Обвиняемый предстал перед парламентом, и тот подшил сие свидетельство в дело, а Его Величество смягчил наказание и приговорил его к пожизненному заключению в крепости Пьер-Ансиз.

4 декабря 1768 г.

Граф де Сад, о котором столько говорили и который был заключен по приказу короля в крепость Пьер-Ансиз, только что получил разрешение удалиться в свои земли, где он теперь и находится.

Выдержки из рукописной газеты за 1767–1768 и 1769 гг. Издатель Марен (8-й год издания)

17 апреля 1768 г.

Случилось нечто невероятное. Некий г-н де Сад сумел завлечь к себе бедную женщину, связал ее, сделал на коже ее надрезы, а затем залил их расплавленным воском. Женщине этой удалось спастись, выскочив в окно, и она подала жалобу судье. Де Сад уехал, однако его удалось догнать и арестовать. За определенную сумму женщина забрала свою жалобу, однако только что сообщили, что данное уголовное дело принято к рассмотрению парламентом и начинается следствие.

25 апреля 1768 г.

Я уже рассказывал о необычной истории, приключившейся с г-ном де Садом, и говорил, что он был арестован. Дело его только что рассмотрено в уголовном суде палаты Турнель; все оказалось очень серьезно.

13 июня 1768 г.

Я уже рассказывал вам о страшном и мрачном деле графа де Сада; оно слушалось в Большой палате; граф был приговорен к смертной казни, однако король направил в суд грамоту о помиловании и смягчении наказания; грамота эта была зачитана подсудимому, в то время как он стоял на коленях посреди Большой палаты, где было чрезвычайно много народу; теперь он до конца дней своих будет заключен в крепость Пьер-Ансиз.

Материалы из архивов Карлсруэ[1]

16 апреля, суббота, 1768 г.

Еще одно печальное происшествие, случившееся в день Пасхи. В это святое время, когда все заботятся о своем спасении, есть люди, которые не думают о нем вовсе, проводят время в праздности, а потому подвергаются искушениям диавола. И таким образом сей святой день способствовал совершению преступления!

Маркиз де Сад, владелец загородного дома в Аркее, что неподалеку от Парижа, встретив на одной из парижских улиц женщину, просящую подаяния, расспросил ее, а затем предложил ей отправиться к нему в загородный дом, где ему якобы требуется привратница. Женщина эта, в прошлом состоятельная галантерейщица, проживала с мужем в Сент-Антуанском предместье, но, когда дела ее стали плохи, ей даже пришлось заниматься попрошайничеством. Поэтому она сразу поверила маркизу и согласилась последовать за ним. Маркиз нанял фиакр и привез ее в Аркей, к себе в дом. Шел час, когда все отправились к мессе, и в доме никого не было. В саду он открыл потайную калитку, от которой у него был ключ, впустил доверчивую женщину и проводил в хорошо обставленную комнату. Не успела «привратница» обрадоваться своему счастью, как граф приказал ей раздеться догола, чего она делать, разумеется, не захотела. Тогда он достал из кармана огромный нож и стал грозиться убить ее в случае неподчинения. При виде ножа бедная женщина дрожащими руками принялась расстегивать булавки на одежде и наконец осталась в одной рубашке – дальше она раздеваться решительно отказалась; тогда маркиз, разъяренный, с безумным взором, сорвал рубашку с несчастной. Но, как ни странно и ни трудно в это поверить, намерения его были вовсе не таковы, как можно было бы подумать. По-прежнему угрожая женщине ножом, он заставил ее лечь на кровать, прикрыл ей лицо подушкой, чтобы заглушить крики, на грудь (очевидно, из скромности) набросил свою муфту, а потом связал ей руки и ноги. После чего схватил розги и стал хлестать ее по всему телу, но не до крови; далее он взял перочинный ножик или нечто подобное, сделал на ее бедрах многочисленные надрезы, а затем стал капать воском зажженной свечи на каждый порез и затирать ранки какой-то жидкостью. Несчастная, испытывавшая поистине адские муки, уже приготовилась к смерти и тоном, способным разжалобить камни, стала умолять его: «Ах, сударь, отчего такая жестокость? Разве вы забыли, что Господь все видит? Неужто вы считаете, что он не видит дел ваших?» При этих словах человек сей вздрогнул; дрожь пробежала по всему его телу; он развязал ее, приказал одеться, а сам вышел, но запер комнату на ключ. Бедная женщина, будучи почти при смерти, дотащилась до окна и увидела, что мучитель ее большими шагами расхаживает по саду; наконец он остановился. И тут Господь вдохновил ее: собрав все силы, она сорвала занавески, связала их друг с другом, а затем с большим трудом, ибо рамы были двойные, распахнула окно. Заметив, что она открыла окно, безумец издали стал грозить ей и даже побежал в дом с очевидным намерением убить ее. Однако у бедняжки хватило духу закрыть дверь на задвижку, и, пока он колотил и дергал дверь, пытаясь войти, она привязала свою веревку из занавесок к оконной раме и спустилась вниз; веревки хватило всего на половину расстояния, она упала, однако ничего себе не повредила. Мучитель не ожидал от нее такой прыти, полагая, что она по-прежнему находится в комнате; так что, пока он бушевал, она сумела выбраться из сада через ту же самую калитку, добежать до местного бальи и принести ему жалобу.

Видя, что добыча ускользнула, злополучный маркиз испугался – разумеется, небезосновательно, и почел за лучшее бежать в Париж, где вскоре и был арестован. На допросе у следователя он заявил, что испытывал составленный им новый

[1] Benerallandes archiv Karlsruhe, cote A 155A, Corr. 69.

бальзам, мгновенно останавливающий кровь и столь же мгновенно залечивающий раны. В самом деле, кажется, его цель была именно такова, однако неоднократно испытывая свой бальзам, он умертвил уже нескольких человек; говорят, когда стали копать у него в саду, нашли останки многих христиан. Человек этот, без сомнения, заслуживает колесования, однако по причине достаточной известности, коей пользуется его семья, его оправдали, но лишь затем, чтобы заключить в дом для умалишенных, где он и пробудет до конца дней своих. Нашли его садовника и его слуг, и если бы они оказались соучастниками, то им пришлось бы расплачиваться и за себя, и за своего хозяина. Однако их признали невиновными. Один из слуг сказал, что через садовую калитку к хозяину часто приходили разные девицы, но он ни разу не видел, чтобы они выходили обратно. Аркейский судья забеспокоился; говорят, он даже послал предупредить маркиза о показаниях его слуги, дабы маркиз успел бежать. Несчастная женщина не умерла; говорят, ей предложили сто луидоров, и она согласилась взять их. Для того, кто вынужден просить милостыню, подобная сумма вполне может показаться огромной. Вот какую трагическую историю рассказывают; истинность ее вполне доказана, и в Париже только о ней и говорят. Полагаю, наказание будет суровым.

II. Газетные заметки

«Утрехтская газета» («Gazette d'Utrecht»)

26 апреля, вторник, 1768 г. № 34, приложение

Продолжение рассказа о событиях в Париже, случившихся 18 апреля:

В пятницу палата Турнель поручила генеральному прокурору сделать сообщение относительно жестокого поступка графа де Сада, и мы не можем оставить известие это без внимания.

В день Пасхи г-н де Сад, рожденный в старинной дворянской семье, чьи владения расположены в графстве Авиньонском, в одиночестве направлялся в свой загородный дом в Аркее, что неподалеку от Парижа. По дороге он встретил нищенку и под предлогом оказания ей помощи привез к себе; однако, едва они прибыли на место, он проводил ее в уединенную комнату, связал по рукам и ногам, заткнул рот, чтобы она не могла кричать, перочинным ножиком сделал на теле ее множество надрезов и стал капать на них воском, чрезвычайно напоминающим испанский воск, коим запечатывают письма. Затем он преспокойно отправился гулять, оставив жертву своей жестокости под замком; однако женщине удалось высвободиться из пут, и она выскочила в окно, не причинив себе никакого вреда, кроме, разумеется, того, что уже был ей причинен. Все жители городка, кто видел ее, готовы были разорвать графа де Сада в клочья, и сделали бы это, ежели бы он не сбежал. Все убеждены, что он повредился умом; семья его добилась приказа о его заточении в крепость Сомюр, а порезанная женщина за некоторую сумму денег отказалась от своих показаний судье. Говорят, граф де Сад — страстный любитель химии, и жестокость его, о которой без содрогания думать невозможно, проистекала из желания испытать некий бальзам, с помощью коего, как он полагает, можно с невероятной скоростью залечивать разного вида раны.

10 мая, вторник, 1768 г. № 38, приложение

Продолжение рассказа о событиях в Париже, случившихся 2 мая:

Было издано постановление об аресте маркиза де Сада; впрочем, так как некоторые члены парламента связаны с ним тесными узами, а преступление его нельзя считать заразительным, то и наказание, ему назначенное, нельзя назвать примерным; впрочем, говорят, что его до конца жизни заточили в крепость Пьер-Ансиз.

Женщина, подвергшаяся варварскому обращению, теперь очень его хвалит, ибо благодаря сему приключению она получила изрядное состояние.

Политические новости, опубликованные в Лейдене г-ном А. Блюссе-младшим[1] в «Лейденской газете» («Gazette de Leyde»)

29 апреля 1768 г. № 35, приложение

Продолжение изложения событий, произошедших в Париже 22 апреля:

Случаются происшествия, кои, на наш взгляд, должны быть погребены во мраке глубочайшего молчания, дабы избежать стыда, неизбежно испытываемого родом человеческим за жестокости, совершенные одним из членов его, равно как и во избавление семейств сих бесчеловечных созданий от мучений видеть имена свои причисленными к сонму тех злосчастных имен, что вызывают возмущение у окружающей публики. Так, мы бы не стали упоминать о зверском поступке графа де Сада, капитана Бургундского полка, если бы дело его не поступило на рассмотрение парламента и не получило бы широчайшей огласки. Вот каковы факты: «Граф де Сад, уроженец славного семейства из графства Авиньонского, имеющий честь принадлежать к древнейшему дворянскому роду, прогуливался в день Пасхи возле своего дома в Аркее, что близ Парижа. Встретив нищенку, он завлек ее к себе в дом под предлогом человеколюбия, пообещав оказать ей помощь и нанять к себе на службу. Когда же она вошла в дом, он привел ее в уединенный кабинет, там связал по рукам и ногам, заткнул рот, чтобы она не могла кричать, и перочинным ножом сделал ей несколько надрезов на всем теле и залил их чем-то, напоминающим испанский воск . Затем он вышел и спокойно отправился на прогулку, оставив жертву свою запертой в кабинете. Но женщина сумела освободиться от пут и выскочила в окно, не причинив себе большего вреда, нежели тот, что уже был ей причинен. Жители селения, увидев состояние ее, готовы были растерзать графа де Сада, и наверняка сделали бы это, ежели бы тот не сбежал».

Известив парламент об ужасном сем происшествии, палата Турнель 15 числа сего месяца поручила генеральному прокурору сделать сообщение об этом деле; и вот позавчера двое советников Большой палаты прибыли в Кашар, селение, расположенное рядом с Аркеем, дабы обследовать место, где было совершено насилие, о котором местные жители говорят с невообразимым ужасом. Делаются различные предположения относительно намерений, кои мог иметь граф де Сад. Одни считают, что он является большим любителем химии и хотел испробовать новый бальзам для моментального, по его мнению, исцеления любых ран; другие утверждают, что он был одержим зловещей страстью расчленять людей и в саду его откопали несколько похороненных там трупов. Однако все так или иначе сходятся на той мысли, что рассудок его, несомненно, помутился. Семья его сумела раздобыть приказ о заключении его в крепость Сомюр; порезанная женщина за некоторую сумму отказалась от показаний, сделанных ею судье; однако маловероятно, что парламент, коему от имени общества поручено беспощадно преследовать лиц, совершивших преступления, закроет это дело, не разобравшись в нем досконально.

3 мая 1768 г. № 36, приложение

Продолжение изложения событий, произошедших в Париже 25 апреля:

Нам сообщают, что, желая избежать последствий судебного расследования, начатого парламентом, граф де Сад был отправлен за границу. Тем не менее суд распорядился, чтобы женщина, подвергшаяся насилию, была освидетельствована

[1] BN. M. 9945 (1768).

специально назначенным хирургом, а затем допрошена; также были опрошены и свидетели. Однако говорят, что женщина сия полностью исцелилась от ран, от коих не осталось даже шрамов; сие доказывает благотворное действие бальзама, который, как полагают, хотел испытать граф де Сад. Уполномоченные парламента, посланные в Кашан, не нашли ни одного из орудий, якобы используемых графом для удовлетворения своего жестокого любопытства.

«Курьер Нижнего Рейна» («Courrier du Bas-Rhin»)[1]

20 апреля 1768 г. № 32

Поступок необычный и дерзкий, злобою и невежеством людским причисленный к жесточайшим преступлениям, занимает сейчас весь Париж. Маркиз де***, полковник некоего полка, разгневался на одну из тех женщин, занятием которых является усмирение страстей и которая, вполне возможно, наградила его дурным подарком; и вот, в Пасхальный день, он привел ее к себе в маленький домик в предместье Парижа и там, заставив раздеться, исполосовал кнутом, так, как обычно поступают с неграми в колониях. Женщина эта, оставленная им в доме до заживления ран, сумела снять с окна занавески и с их помощью, полуголая, выбралась на улицу. Она тотчас же направилась к бальи и принесла ему жалобу, а тот, сочтя случай весьма серьезным, сообщил о нем королевскому прокурору, приказавшему провести в загородном доме маркиза настоящее расследование; последнему ничего не оставалось, как бежать в Париж. Тогда злые люди распространили слух, что под предлогом оказания помощи он заманил эту бедную, но честную женщину к себе, заставил раздеться и изрезал ей все руки и все тело, а потом залил раны каким-то едким средством. Рассказывают, что он поступал так со многими молодыми женщинами, которых заманивал к себе и которых больше никто не видел, и прочие сказки про Синюю Бороду; все эти слухи были столь ужасны, что почтенные члены его семейства буквально заболели от них. В настоящее время дело улажено, деньги исправили содеянное. Происшествие сие должно научить нас не доверять слухам, женщинам, готовым на любые услуги, а также не поддаваться жажде мести.

23 апреля 1768 г. № 33

Дело маркиза де*** по-прежнему будоражит умы, но каждый излагает его на свой манер. К тому, что мы уже сообщали ранее, хотим добавить, что по приказу короля маркиз был заключен в тюрьму Сент-Йон.

27 апреля 1768 г. № 34

Наконец-то мы узнали подлинную подоплеку жестокого поступка маркиза де С***. От отца ему досталось некое средство для исцеления ран за двадцать четыре часа, и он решил провести эксперимент, воспользовавшись для этого встреченной на улице нищенкой, просившей милостыню; прежде он эту женщину никогда не видел. Сначала он сделал ей непристойное предложение, но она отвергла его и заявила, что всего лишь осталась без работы; тогда он пообещал ей работу в своем загородном доме. Он привез ее туда, и, заставив раздеться, привязал к кровати; потом острым ножичком сделал надрезы у нее на теле и тут же приложил к ним свой бальзам, излечивший ее за двадцать четыре часа. Факт сей совершенно достоверен.

18 июня 1768 г. № 50

В пятницу, 10 числа, на публичном слушании дела де Сада в Большой палате было зачитано его помилование.

[1] Bayerische Staatsbidliothek, München.

25 июня 1768 г. № 51

Как мы уже сообщали, граф де Сад, о котором ходило столько слухов, получил оправдательную грамоту. Его доставили в суд, где, согласно обычаю, он преклонил колени в присутствии судей Большой палаты и палаты Турнель, а также в присутствии зрителей, и соответствующая грамота была ему зачитана. Публики, устремившейся поглазеть на этого странного человека, было много, что, на наш взгляд, было ему весьма неприятно. Есть основания полагать, что существует тайный приказ заключить маркиза в крепость Пьер-Ансиз или в иную крепость; таким образом смертная казнь заменена ему пожизненным заключением.

III. Дневник книгопродовца арди[1]

8 апреля, пятница, 1768 г.

Стало известно, что граф де Сад, дворянин из окружения принца Конде, состоящий с оным принцем в родственных отношениях через свою матушку (Майе де Брезе), проживающую в монастыре кармелиток в предместье Сен-Жак, в день Пасхи, то есть 3 числа сего месяца, собирался войти в некий дом возле площади Виктуар; тут на глаза ему попалась молодая женщина в возрасте примерно тридцати двух лет; теперь говорят, что она вдова какого-то немца, недавно скончавшегося в Отель-Дье. Женщина эта попросила у дворянина милостыню, но он ответил, что она занимается ремеслом, для коего не предназначена, и более пристойно для нее было бы найти работу, и прибавил, что, ежели у нее есть таковое желание, он может подыскать ей место привратницы в каком-нибудь сельском доме или замке. Затем он дал ей экю стоимостью в три ливра, облегчив тем самым ее положение на короткое время. Тут женщина эта сказала, что умирает с голоду, а потому готова наняться на работу и исполнять обязанности, о которых он ей только что говорил; однако она не знает никого, к кому она могла бы обратиться с просьбой подыскать ей такую должность. Тогда граф де Сад ответил, что за работой ходить далеко не надо, и ежели она после полудня прибудет в нужный час в указанное им место, то он проводит ее в сельский дом неподалеку от Парижа, где, если условия ей подойдут, она сможет остаться, а ежели условия ее не устроят, будет вольна уйти. Женщина приняла его предложение, пришла в условленное место, и действительно, он посадил ее в карету и довез до Круа-Аркей. По дороге он вел с ней вполне подобающие речи, крайне добропорядочные и любезные, поэтому ничто не предвещало той участи, которая ее ожидала. Прибыв в Круа-Аркей, он отослал экипаж, сказав, что нет смысла ехать в карете через деревню; войдут же они в зеленую калитку и пройдут через сад, который, как он показал ей, виднелся вдали. Когда они вошли в калитку, он, обводя рукой, показал окружавшую сад стену; в одном месте в этой стене была пробита брешь, но тогда она не думала, что вскоре ей придется брешью этой воспользоваться. Потом он провел ее в дом, показал гостиную, кухню, одновременно рассказывая, где находятся вещи, что смогут ей пригодиться; оттуда они прошли на второй этаж, поднялись на третий и углубились в коридор; тут он сказал, что здесь находится предназначенная ей комната. Пол в комнате этой, довольно темной, ибо свет проникал в нее через узкий оконный проем в стене, обращенной на соседний участок, был паркетный, стены обшиты деревянными панелями. Из мебели там стояли комод, шкаф, несколько стульев и кровать, покрытая соломенной циновкой и матрасом, поверх которого лежало стеганое одеяло. Едва они вошли в комнату, как граф де Сад запер дверь на ключ и

---

[1] *Siméon-Prosper Hardy*. Mes zoisirs, on Journal d'évenments tels qu'ils parviennent ā ma connaissance. [s. l., s. d.] (BN. Ms. F. fr. 6680, f^os 155–157; 158–159; 173).

приказал ей раздеться догола. Придя в ужас от подобного предложения, она не стала скрывать своего изумления и решительно заявила, что ничего подобного делать не станет. Услышав отказ, он выхватил шпагу и пообещал проткнуть женщину насквозь, если она и далее намерена сопротивляться. Видя, что угрозы не действуют, он яростно швырнул ее на кровать, сорвав с нее всю одежду, оставив на теле одну лишь рубашку, а затем потребовал, чтобы рубашку она сняла сама; видя, что и теперь она не соглашается исполнить его приказ, он разорвал рубашку в клочья. Потом связал бедняге руки, всунул в рот деревяшку вместо кляпа, чтобы крики ее не разносились слишком далеко, опрокинул на живот и, вытащив из шкафа две связки розог, исполосовал все ее тело. Завершив сию операцию, он достал из шкафа свечу, испанский воск и инструмент, напоминающий то ли перочинный ножик, то ли скребок. Сделав надрезы на самых мясистых частях тела несчастной, он, раздвигая пальцами каждый надрез, стал капать в них воском, расплавляя его по мере надобности на огне свечи (некоторые предполагали, что это был бальзам или эликсир, действие которого он якобы желал испытать). Когда сия вторая операция была завершена, он развязал ее и спокойно приказал ей одеться и привести себя в порядок. А так как она, уверенная, что ей суждено умереть, принялась оплакивать свою судьбу, он взял стул, сел подле нее и предложил исповедать ее, если она того пожелает. Услышав таковое предложение, женщина пришла в еще больший ужас, он же заявил, что пока смерть ей не грозит и у нее еще есть время поручить свою душу Господу, однако через три часа он вернется и тогда прикончит ее. Тут он вышел из комнаты и запер за собой дверь. Оставшись одна, она принялась размышлять о своей ужасной судьбе; потом как могла прикрылась лежавшим на кровати одеялом и, чувствуя страшную угрозу, проявила столько изобретательности, что в скором времени ей удалось выбраться в сад. То ли вспомнив о замеченной ею утром дыре в стене, то ли обнаружив приставленную к стене лестницу, она как-то преодолела сию преграду и очутилась на улице (а уже смеркалось). Пока она преодолевала стену, граф де Сад, вернувшийся несколько ранее обещанного, обнаружил ее побег и послал за ней в погоню слугу; тот, увидев женщину в конце улицы, стал призывать ее вернуться и показывать полный кошелек. Добежав до Аркейского источника (дом графа де Сада находится в Кашане, крохотном селении, примыкающем к Аркею и составляющем с ним единый приход), она увидела добрую женщину, пришедшую набрать воды, и спросила у нее, где находится здешнее селение и как отсюда можно выбраться. Почтенная женщина, удивленная ее видом, спросила, откуда она явилась в таком одеянии, а та в ответ приоткрыла одеяло и показала ей свои шрамы. Добрая женщина тотчас увела ее к себе и послала за местным хирургом Леконтом, дабы тот перевязал ее раны. Происшествие это наделало много шума в тех краях, а г-н Пинон, председатель парламента, обладающий правом ношения бархатной шапки с галуном, нынешний председатель палаты Турнель, также имевший дом в той самой деревне и как раз в нем находившийся, узнал о случившемся с превеликим возмущением. Предупредили г-на де Лабенадьера, председателя маршальского суда в Бург-ла-Рен, коему подвергшаяся жестокому обращению женщина и принесла свою жалобу, на ее основании был составлен протокол, который затем, как того и требовал обычай, представили в канцелярию суда Большого Шатле. Семья графа, узнав о сем злополучном деле, тотчас отправила доверенное лицо провести переговоры и уладить дело миром. Мэтру Буайе, прокурору парламента, коему поручено было провести эти переговоры, удалось уговорить несчастную забрать свою жалобу в обмен на сумму в две тысячи четыреста ливров, которые тот ей и отсчитал; также ей было обещано оплатить лечение вплоть до полного и окончательного выздоровления и дать четыре луидора для женщины, давшей ей приют. Благодаря высоким связям удалось получить королевское распоряжение, согласно которому граф де Сад был препровожден под арест в крепость Пьер-Ансиз. Впрочем, некоторые утверждали, что графа отправили вовсе не в крепость, а за границу. Как бы там ни было, сей не

имеющий достаточных объяснений факт является постыдным и возмутительным, и если правосудие не пожелает обратить на него внимание и не подвергнет графа де Сада примерному наказанию, то будущее поколение получит еще один пример безнаказанности, когда виновника одного из наиболее отвратительных преступлений оправдывают исключительно по той причине, что виновник сей имеет счастье принадлежить к сильным мира сего, богат и имеет связи.

19 апреля, вторник, 1768 г.

Стало известно, что г-н де Лабенадьер, председатель маршальского суда в Бургла-Рен, направил свой протокол в канцелярию суда Большого Шатле, а палата Турнель, за последние дни трижды направлявшая прошение генеральному прокурору, дабы тот исполнил свой долг, повелевающий ему принять участие в деле о преступлении, совершенном графом де Садом, наконец, на основании заключений, сделанных вышеуказанным генеральным прокурором, поручила судейскому чиновнику г-ну де Шавану и еще одному судейскому советнику съездить в Аркей вместе с заместителем генерального прокурора и секретарем суда с целью собрать там показания, что и было выполнено через день, в среду.

22 апреля, пятница, 1768 г.

Известно, что по результатам материалов предварительного следствия, проведенного в Аркее по уголовному делу графа де Сада, палата Турнель накануне приняла постановление об аресте данного сеньора, а также постановление о вызове в суд того самого слуги, который показывал кошелек женщине, призывая ее вернуться, когда та спасалась бегством. Несмотря на хвастливые заявления мэтра Буайе о том, что он сумел достичь примирения, а посему он никому не намерен ничего рассказывать из того, что ему удалось узнать относительно этого дела, господин сей был вызван в суд для дачи показаний, равно как и Леконта, местный хирург, ибо сей последний в двадцать четыре часа не доложил о случившемся правосудию, хотя и был обязан это сделать, а также фискальный прокурор, пренебрегший незамедлительно произвести обыск в доме графа де Сада. Известно также, что палата депутатов при дворе постановила просить короля отозвать грамоту, освобождающую виновного от наказания, кое он столь справедливо заслужил; в случае если отзыва вышеуказанной грамоты добиться не удастся, суд вынесет свой приговор заочно, дабы тот сохранял свою силу до окончательного решения.

20 июля, среда, 1768 г.

В деревне, где я в то время находился, я узнал, что по делу о несчастном и трагическом происшествии, случившемся в день Пасхи, 3 апреля нынешнего года, в Аркее, согласно всем надлежащим правилам, началось слушание, и обвиняемый, граф де Сад, заочно был приговорен к изгнанию и возмещению значительных убытков в пользу пострадавшей стороны; король же вновь подтвердил свое решение, уже известное суду, суть коего состоит в том, что означенного графа следует заточить пожизненно, дабы тот более не появлялся в свете.

Приложение V
МАРСЕЛЬСКОЕ ДЕЛО И ЕГО ОСВЕЩЕНИЕ В ГАЗЕТАХ

3 июля 1772 г.
Сообщение из Парижа:

Из Марселя сообщают, что г-н де Сад, совершивший несколько лет назад преступление, за которое был осужден и приговорен к тюремному заключению, только что уличен в деянии еще более ужасном. Он угостил многолюдное собрание пастилками своего собственного изготовления, в состав которых входят вещества, способные привести в возбуждение даже лиц, обладающих поистине ледяным темпераментом. Как следствие, лица обоих полов, воспламенившись, принялись распутствовать, а некоторые даже скончались от перевозбуждения. (Gazette ä la neain, par Varin. 1770–1772. (BHVP. Ms. 628. F 250)).

26 сентября 1772 г.
Сообщение из Парижа:

Граф де Сад, несколько месяцев тому назад отравивший нескольких человек пастилками собственного изготовления, а затем бежавший из Марселя, только что заочно приговорен к отсечению головы, а слуга его – к повешению; затем оба тела должны быть преданы огню (Ibid. P. 282).

24 июля 1772 г.

По сообщению из одного крупного города Прованса, некий дворянин, презрев свои обязанности перед обществом, предался варварскому удовольствию, угощая многочисленное общество пастилками, приготовленными с целью возбуждения темперамента даже самого холодного; помимо беспорядков, порожденных развратом, в который впали представители обоих полов, употребление данной смеси привело к смерти нескольких человек (Nouveller a la main (Bibl. Mazarine. Ms. 2394)).

12 сентября 1772 г.

Полагаем необходимым напомнить о том, что случилось в Марселе, а также о том, какие страшные последствия имело употребление пастилок, которые раздавал граф де Сад. Виновник сего жестокого поступка, преданный суду вместе со своим лакеем, был заочно приговорен к отсечению головы, а лакей его – к повешенью и последующему сожжению тел. С ними поступили так, как обычно поступают с отравителями. Известно, что несколько лет назад, в Париже, тот же самый де Сад уже привлекался к суду за то, что обманом завлек в свой загородный дом в Аркее несчастную женщину и там проводил на ней опыты по рассечению. Тогда семье его удалось добиться заключения его в крепость Пьер-Ансиз. Когда всем стало казать-

ся, что рассудок вновь вернулся к нему, семья обратилась с прошением даровать ему свободу; но мы видим, для чего он эту свободу использовал, и задаемся вопросом, действительно ли рассудок полностью вернулся к нему, ибо все то, что он сделал, можно вообразить себе разве только в бреду безумия (Ibid.).

21 августа 1772 г.
Сообщение из Парижа:

Полагаю, что родственники де Сада ничего не добьются. От их имени к королю должна была обратиться сама г-жа Дюбарри, что она и сделала, пересказав случившееся в весьма возвышенных выражениях. Король содрогнулся от ужаса и ответил: «Пусть будет так, как вам угодно». После такого ответа она то ли сочла, что рассказом своим не угодила королю, то ли не усмотрела в ответе определенного решения; словом, она произнесла: «Мне не угодно ничего».

Женщина, последовавшая за де Садом, является сестрой его жены. Мне сообщили, что они хотели ехать дальше, но у них не получилось, потому что не было паспортов. Тесть его, председатель де Монтрей, прихватив деньги, отправился за ними вдогонку в надежде увидеться с дочерью (Journal du Warquis di Albertas. BN. N.a.fr. 4388. f° 1284–1285)[1].

[1] Лакуна от 18.06 до 17.07.1772. Далее следует (f 1286): «Копия приговора, вынесенного маркизу де Саду, и врученная лейтенантом уголовной полиции сенешальства Марсельского. 3 сентября 1772 г. Выдержка из протокола канцелярии уголовного суда сенешальства Марсельского».

Приложение VI
ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРОТОКОЛА, СОСТАВЛЕННОГО В КАНЦЕЛЯРИИ СУДА СЕНЕШАЛЯ ФОРКАЛЬКЬЕ ФЕВРАЛЯ 1773 г.

Мы, Жозеф Экюйе, королевский советник, судья по гражданским делам, исполняющий обязанности генерального королевского судьи ввиду вакантности этой должности в королевском суде и сенешальстве сего города Форкалькье, доводим до сведения, что в день сегодняшний, пятого февраля 1773 года, во дворце и палате совета, в присутствии мэтра Матье-Андре Жоссана, главного секретаря суда, ведущего протокол, и нас, означенного судьи, предстал мэтр Жан-Жозеф Шаню, прокурор при означенном суде, выступающий от имени и по поручению Рене-Пелажи Кордье де Лонэ, супруги маркиза де Сада, сеньора Ла-Коста и прочих земель, а также приглашенный по судебной надобности мэтр Жан-Антуан Фаж, из города Апта, адвокат, доверенное лицо указанной маркизы де Сад, назначенное специальным актом двадцать четвертого ноября прошлого года; акт был удостоверен мэтром Жибером и его коллегой, королевскими советниками и нотариусами в Шатле в Париже, и в вышеуказанный день скреплен печатью. К настоящему документу будет приложена сия доверенность в оригинале. Названный мэтр Шаню заявил нам от имени вышеозначенной госпожи, что вышеозначенная маркиза, принимая во внимание расстроенное состояние дел вышеуказанного маркиза де Сада, ее мужа, приговор, лишающий его всех гражданских прав на пять лет, срок, который согласно ордонансу, дан для снятия заочного приговора, а также что до тех пор состояние маркиза находится в опасности, а вышеозначенная маркиза отягощена тремя малолетними детьми, выражает желание получить средства, необходимые ей для воспитания сих детей, содержания их и поддержания, равно как и указывает на необходимость управления владениями означенного маркиза де Сада. Но пока он не явился в суд для снятия с себя вынесенного ему заочно приговора, нам было подано прошение от восемнадцатого декабря истекшего года, на основании которого означенная маркиза де Сад желает вызвать в суд родственников этих детей как с материнской, так и с отцовской стороны, чтобы означенные родственники предстали в указанные день, место и час перед нами, дабы принять решение о воспитании вышеуказанных детей и об управлении их имуществом и имуществом вышеуказанного маркиза де Сада и выбрать и назначить для этого определенное лицо; и чтобы эта особа стала попечительницей ad hoc[1] вышеуказанных детей, и чтобы в необходимых случаях делала все в их интересах во время отсутствия вышеозначенного маркиза де Сада, до тех пор пока он не явится в суд для снятия с себя заочного приговора. Во исполнение нашего постановления, записанного внизу данного прошения, а также соответствующих писем вышеозначенная маркиза посредством извещения от двадцать девятого января сего года вызвала в суд мессира Жака Франсуа Поля Альдонса де Сада, аббата-коммендатария аббатства Сен-

---

[1] По этому случаю; для данной цели (*лат*).

Леже д'Эбрей; Ришара Луи де Сада-Мазана, давшего обет монаха ордена святого Иоанна Иерусалимского, командора Безьерского; Франсуа-Ксавье де Сейтра, маркиза де Комона, сеньора Воклюза, Кабанна и прочих земель; Луи-Гаспара де Тюля де Вильфранша, командора Кассельского, бригадира королевской армии; Клода Рене Кордье де Монтрея, шевалье, королевского советника королевских Советов, бывшего председателя податного суда в Париже; Жана Парсье, шевалье, бывшего интенданта королевского Дворца инвалидов; Антуана Оноре Масона, шевалье; Шарля Луи Франсуа де Поля Оноре Барантена, шевалье, сеньора Ардивилле и прочих земель, генерального адвоката Парижского парламента, и Жерома Пелажи Масона де Мелэ, президента Счетной палаты в Париже, дабы те предстали в указанный день и час, а именно в девять утра, во дворце и палате совета, перед нами, дабы в присутствии нашем обсудить все вышеназванные вопросы. А так как час вызова в суд уже истек и вышеуказанный мэтр Фаж здесь присутствует, то он вследствие имеющихся у него полномочий ходатайствовал о том, чтобы попечение, воспитание и управление как малолетними детьми, так и их имуществом и правами, и также имуществом вышеуказанного маркиза де Сада были бы доверены госпоже де Сад и в случае согласия вышеозначенной госпожи она бы их приняла и дала бы надлежащую и необходимую по такому случаю присягу. И вот от имени вышеозначенной госпожи и согласно имеющейся у него власти, означенный мэтр Шаню и означенный мэтр Фаж просят, чтобы им предоставили акт об их явке в суд и о том, что они ходатайствовали о выборе и назначении вышеозначенной госпожи в качестве попечительницы и распорядительницы с целями, указанными в данном ходатайстве. Подписали сей документ Фаж, специально назначенный доверенным лицом означенной маркизы де Сад, и Шаню. И мы, означенный судья, выслушав мнения королевского прокурора, передали означенному мэтру Шаню и означенному мэтру Фажу сей акт об их явке в суд и приказали, чтобы без промедления была начата процедура назначения попечителя для вышеуказанных малолетних детей и управителя имуществом вышеуказанного маркиза де Сада, о коем идет речь, и в этом поставили нашу подпись.

Подписано: *Экюйе, судья*

И затем перед судом предстал Франсуа-Бартелеми Фаж, практикующий юрист из города Апта, являющийся (на основании акта от двадцать четвертого ноября истекшего года, подписанного означенными мэтрами Монно и Жибером, нотариусами в парижском Шатле, скрепленного печатью в вышеозначенный день; и документ сей будет приложен к документу настоящему) специальным доверенным лицом указанных господ Клода Рене Кордье де Монтрея, шевалье, королевского советника в королевских Советах, бывшего председателем податного суда в Париже, деда с материнской стороны вышеозначенных малолетних детей; Жана Парсье, шевалье, бывшего интенданта королевского Дома инвалидов, двоюродного деда с материнской стороны вышеозначенных малолетних детей; Антуана Оноре Масона, шевалье, двоюродного деда с материнской стороны вышеозначенных малолетних детей, Шарля Луи Франсуа де Поль-Оноре Барантена, шевалье, сеньора Ардивилле и прочих земель, генерального адвоката Парижского парламента, троюродного деда вышеозначенных малолетних детей с материнской стороны; Жерома Пелажи Масона де Мелэ, президента парижской Счетной палаты, троюродного деда с материнской стороны вышеозначенных малолетних детей; а также он является (что подтверждается актом, подписанным мэтром Тома, королевским нотариусом в Авиньоне, восемнадцатого декабря истекшего года и утвержденным в канцелярии Апта первого числа текущего месяца надлежащим образом и согласно закону) специальным доверенным лицом господ Жака Франсуа Поля Альдонса де Сада, аббата коммендатария аббатства Сен-Леже д'Эбрей и Ришара Луи де Сада-Мазана, давшего обет монаха ордена святого Иоанна Иерусалимского, командора Безьерского; Франсуа-Ксавье де Сейтра, маркиза де Комона, сеньора Воклюза, Кабанна и прочих земель и Луи-Гаспара де Тюля де Вильфранша, командо-

ра Кассельского, бригадира королевской армии, кузенов с отцовской стороны вышеозначенных малолетних детей. Им было сказано и подтверждено, в соответствии с данной ему названными актами властью, что все его доверители согласны с тем, что на время отсутствия маркиза де Сада и вплоть до его возвращения или же до достижения вышеуказанными детьми совершеннолетия означенной маркизе де Сад, матери их, будет доверена забота об их воспитании и управление их имуществом; для этого она станет именоваться их попечительницей ad hoc, дабы представлять их интересы во всех делах, где таковые интересы могут быть, равно как и управлять и распределять доходы указанного маркиза де Сада в его отсутствие, получать и пользоваться тем, что ему причитается, как основным капиталом, так и процентами с него, а также получать выкупные платежи по рентам как королевским, так и местным, общинным, равно как и частных лиц, заключать договоры о сдаче в аренду всех доходов, сельскохозяйственных земель и жилых помещений, расторгать их и заключать новые, на все поступления выдавать расписки и погашать обязательства должным образом, делать с полным правом все, что следует делать в случае необходимости. Акт о её полномочиях был затребован и подписан Фажем, доверенным лицом вышеуказанных лиц с отцовской стороны.

Принимая во внимание подлинную доверенность от двадцать четвертого ноября истекшего года, выданную указанной маркизой де Сад мэтру Жану Антуану Фажу, адвокату, скрепленную в тот же день печатью и утвержденную мэтром Жибером и его коллегой, а также подлинную доверенность родственников с материнской стороны, заверенную того же числа теми же нотариусами и скрепленную в тот же день печатью на имя сьера Франсуа-Бартелеми Фажа, практикующего юриста из города Апта; а также доверенность от восемнадцатого декабря истекшего года, составленную мэтром Тома в Авиньоне и заверенную канцелярией Апта надлежащим образом, которая свидетельствует о согласии родственников малолетних детей с отцовской стороны утвердить их поверенным в делах Франсуа-Бартелеми Фажа, что надлежащим образом оформлено в виде ходатайства от восемнадцатого декабря истекшего года, с наложенной в тот же день резолюцией, и соответствующих грамот, составленных в тот же день и должным образом скрепленных печатями. Проверена правильность повестки о вызове в суд родственников, а также правильность протокола от двадцать девятого января текущего года. И вот, принимая все вышеуказанное во внимание:

мы не возражаем, чтобы означенная маркиза де Сад была бы назначена попечительницей и распорядительницей имущества малолетних детей и земель вышеуказанного маркиза де Сада, согласно общему решению родственников. Однако мы просим, чтобы означенные доверенности оставались бы приложенными в качестве дополнения к настоящему судебному постановлению.

В Форкалькье, во дворце и палате совета, пятого февраля тысяча семьсот семьдесят третьего года.

Подписано: *Эмар, королевский адвокат*

И мы, судья, заслушав мнение королевского прокурора, передали означенному Франсуа-Бартелеми Фажу акт о его явке и сделанном им заявлении и, как следствие, вручили заботу о воспитании малолетних детей маркизе де Сад, их матери, кою назначили попечительницей ad hoc, дабы она могла действовать во всех делах, в коих вышеуказанные малолетние дети могут быть заинтересованы, и сделали ее распорядительницей их состояния и состояния означенного маркиза де Сада, их отца, во время его отсутствия и до его возвращения или же до наступления совершеннолетия вышеозначенных детей, со всеми вытекающими полномочиями, перечисленными в заявлении родственников. В соответствии с этим мы вручили означенному Жану Антуану Фажу, доверенному лицу означенной маркизы де Сад, акт о том, что он от имени маркизы дал согласие на воспитание, управление и попечительство и принес от имени вышеозначенной маркизы присягу в том, что она бу-

дет должным образом исполнять свои обязанности при совместном поручительстве родственников, с чьего согласия и произведено сие назначение. Также мы распорядились, чтобы подлинники обеих доверенностей были приложены и присоединены к настоящему протоколу.

Составлено в Форкалькье, в год и число, указанные выше, и подписано нами.

Подписано: *Экюйе, судья;*
Жоссан[1], *главный секретарь суда*

Зарегистрировано в Форкалькье восьмого февраля 1773 г. Получено тридцать три ливра двенадцать су, а именно двадцать пять ливров четыре су за назначение попечителя трех малолетних детей, из расчета восемь ливров восемь су за назначение управительницы имуществом их отца. Подписано: *Жоссан*, сверено с черновиком.

Подписано: *Жоссан, главный секретарь суда.*

В присутствии нас, Жозефа Экюйе, королевского советника, судьи по гражданским делам, исполняющего обязанности генерального королевского судьи в сенешальстве сего города Форкалькье ввиду вакантности этой должности, в суд явился мэтр Жан-Антуан Фаж из города Апта, адвокат, который, будучи специальным доверенным лицом Рене-Пелажи Кордье де Лонэ, супруги маркиза де Сада, обычно проживающей в Ла-Косте (о чем свидетельствует подлинник доверенности, засвидетельствованной мэтром Жибером и его коллегой, нотариусами парижского Шатле, надлежащим образом скрепленный печатями и датированный двадцать четвертым ноября истекшего года) просил нас, на основании имеющихся у него полномочий, составить и вручить ему акт, гласящий, что означенная маркиза де Сад отказывается от общности имущества, оговоренной между ней и означенным маркизом де Садом в их брачном контракте от первого мая тысяча семьсот шестьдесят третьего года, составленном нотариусами Рейно и Форсье из означенного Шатле, ибо эта общность была ей более обременительна, нежели выгодна, а также что она готова принести присягу в том, что ничего не растратила, ни прямым, ни косвенным образом, из того, что составляет это совместное имущество, и в состоянии предъявить все, что может к нему относиться и быть в ее распоряжении, дабы означенная госпожа могла владеть этим имуществом, распоряжаться им и поступать по своему усмотрению. В чем и составлен сей документ, и подписан.

Подписано: *Фаж*

Принимая во внимание присутствие вышеуказанного доверенного, а также наличие доверенности:

мы, судья, передали акт означенному мэтру Фажу для того, чтобы он начал процедуру оформления отказа от оговоренного прежде совместного владения имуществом супругами: маркизой де Сад и маркизом де Садом, ее мужем, предусмотренного брачным контрактом, исключая право на третью часть сего имущества, а также передали акт о том, что означенный мэтр Фаж от имени означенной госпожи принес клятву в том, что она ничего не растратила, ни прямо, ни косвенно, из того имущества, что относилось к общему имуществу супругов, и готова предъявить все, что к нему относится и находится в ее распоряжении. В Форкалькье, пятого февраля тысяча семьсот семьдесят третьего года.

Подписано: *Экюйе, судья*

Зарегистрировано в Форкалькье в означенный день пятого февраля тысяча семьсот семьдесят третьего года. Получено восемь ливров восемь су.

Подписано: *Жоссан*

[1] Его фамилия выше была транскрибирована как Жуссо. (*Примеч. пер.*)

Сличено королевскими нотариусами, подписавшимися под документом, представленным мэтром Фажем, одним из наших адвокатов в Апте, сего двенадцатого февраля тысяча семьсот семьдесят третьего года.

Подписано: *Фаж и Гоффриди, нотариус, с парафами*

Мы, Жак Ансельм Дювиньо, королевский советник и королевский прокурор в суде города Апта, в отсутствие г-на судьи, заверяем всех, кого это касается, что подписавшиеся выше являются в действительности теми самыми людьми, коими они себя называют, а потому подписям их верить как в суде, так и в иных местах. В подтверждение указанного мы составили настоящий документ, снабженный печатью и судейским гербом.

В Апте, двадцать пятого февраля тысяча семьсот семьдесят третьего года.

Подписано: *Дювиньо, королевский прокурор*

[А также внизу написано:]

Проверено, подписано и парафировано, в качестве акта, сданного на хранение нижеподписавшимися парижскими нотариусами, и сделано это сегодня, десятого апреля тысяча семьсот семьдесят третьего года.

Подписано: *Менар*, вместе с *Жибером и Монно, нотариусами, с парафами*

Таким образом, означенная сверенная копия акта была сдана на хранение второго апреля тысяча семьсот семьдесят третьего года Менаром, парижским буржуа, означенному мэтру Жиберу, одному из нижеподписавшихся нотариусов, который выдал настоящий документ сегодня, двенадцатого мая тысяча семьсот семьдесят третьего года.

Два слова вычеркнуты за ненадобностью.

Жибер де Сен Поль
[+ два неразборчивых парафа]

Приложение VII
ПИСЬМА ДОКТОРА МЕНИ К МАРКИЗУ ДЕ САДУ*

I

Флоренция, 4 ноября 1775 г.

Сударь!

Всегда испытывая к Вам чувство почтительной привязанности, я, не получая никаких известий, уже начал терзаться ужасными подозрениями, но, к счастью, сегодня утром, 4 ноября, спокойствие вновь вернулось ко мне, ибо от Вас пришло сразу два письма. Без промедления отвечаю на них и прежде всего благодарю за известие о Вашем здоровье, столь для меня драгоценном, а также за великодушные заботы, проявленные Вами тотчас по прибытии, ибо Вы сразу же начали заниматься делом, о коем я просил, то есть поисками для меня монеты ныне правящего понтифика, по стоимости своей таковой, что более я не дерзну Вас ни о чем просить. Из переданного мне уведомления я узнал, что получу еще две монеты. И это не единственные доказательства Вашего ко мне благорасположения, кое прошу Вас, сударь, оказывать мне по-прежнему.

Я внимательно прочел обо всем, что с Вами случилось, равно как и об успехе, выпавшем на долю письма г-на Дони, а также письма, которое я дерзнул дать Вам сам. Контраст между пылкостью одного и холодностью другого, о чем я Вас и предупреждал, должен был Вас изрядно поразить и вряд ли расположил Вас к нему, тем более что молодого доктора, который мог бы Вам помочь, найти в Риме не так-то просто**. Надеюсь, однако, господин граф, что, когда Вы получите это письмо, Вы будете уже мало-мальски устроены, а Юар, коему я также отправляю письмо, сделает что-нибудь для того, чтобы у Вас было жилище, соответствующее Вашему вкусу. Что же касается талантов доктора Иберти, то мне известно только то, о чем я написал Вам в письме, ибо я не преминул дать Вам все необходимые указания, зная, что это значит – быть иностранцем в таком городе, как Рим, где Вы, полагаю, не станете надолго задерживаться, ибо найдете его пустынным как в отношении знакомств, так в отношении зрелищ. Мне известно, что Вы весьма осмотрительны, когда речь заходит о знакомствах, однако в Риме довольно много французов. Вам следует только посочувствовать; впрочем, Вы не такой человек, чтобы затеряться в этом городе. Вы любите созерцать прекрасные здания, прекрасные останки ученой античности, высказывать здравомысленные суждения: обладая таковыми наклонностями, Вы не будете скучать. Как бы мне хотелось, сударь, располагать собой! Я бы приехал развлечь Вас, а когда Вас перестали бы удовлетворять и современность, и античность, я бы наверняка отвлек Вас от скуки. Мне отчего-то кажется, что, несмотря на свою манеру выражаться возвышенным слогом, я бы сумел занять Вас. Ведь, если бы это было не так, отчего бы Вам хвалить меня?

---

* Хранятся в архиве семьи де Сад (АС).

** Скорее всего, речь идет о Джузеппе Иберти, о котором будет упомянуто ниже.

Я уже справлялся и еще буду справляться в почтовой конторе, нет ли Вам писем из Франции; пока нет ничего. Если же таковые будут, положитесь на меня. Надеюсь, когда Вы отправитесь в Неаполь, там Вы найдете больше развлечений. Еще Вы встретите там одну из моих дочерей и моего зятя, человека талантливого; они уже освоились в этом городе и смогут быть Вам полезны. Мне досадно, что я не сумел пробудить теплых чувств у Юара; я продолжаю оправдываться на тот случай, если Вы не получили моих предыдущих писем.

Супруга моя и дочери передают Вам наилучшие пожелания. Каждый день мы говорим о Вас, сударь. Пока Вы пребываете в сей стране, нам всем хотелось бы услужить Вам. У нас новостей нет никаких. Начались дожди; пока они несут только благо. Полагаю, Вам захочется рассказать мне что-нибудь о Вашем путешествии и о Ваших наблюдениях, рожденных городом Римом. Пока же имею честь оставаться с уважением, сударь, Вашим смиренным и почтительным слугой.

Д-р Мени <...>

II

Флоренция, 11 ноября 1775 г.

Сударь!

Я был несказанно удивлен, получив от Вас столь лестное письмо, где Вы пишете, что ждете от меня известий, ибо я без промедления ответил на Ваше первое письмо с вложенным в него цехином нынешнего понтифика. Я был слишком Вам признателен, чтобы отложить на потом выражение моей живейшей благодарности. К ответному письму я приложил также письмо для Юара с намерением высмеять проявляемое им равнодушие. Я Вас, несомненно, предупреждал, что Вы столкнетесь с человеком холодным, но, говоря по правде, сударь, я считаю, что равнодушие его проистекает из дурного источника, откуда он сам вышел. Однако оставим сей грубый автомат людям, которые не принадлежат к нашему кругу и не чувствуют, когда им воздают честь. Что еще я мог сделать? Вы сами видели, что *ни знаки внимания, ни почтение, оказанные его жене*, не могли, по моему мнению, показаться чем-либо большим; да Вы и сами не обошли ее своим вниманием. Единственное, что мне не нравится, так это то, что я невольно вызывал Ваше неудовольствие и напрасно унизил себя в глазах этого пошлого человека.

Я доволен несказанно, что мой мальчик* Вам понравился; этого я выбрал сам, он принадлежит к тем людям, чья помощь нам более всего необходима. Я вполне философски отношусь к жизни, дабы не угрызаться, а воспринимать все ровно и без лишних эмоций. Мне очень не нравится, что у него в руках находится моя шкатулка с медалями, и когда я захочу их заполучить, мне вновь придется к нему обращаться; надеюсь, Вы сообщите мне о нем все, что знаете, как я Вас об этом и просил.

Судя по Вашему письму, Вы вполне довольны cicerone**, которого предоставил Вам Ваш родственник***. Я бы сам с удовольствием выступил в его роли, однако тело мое не может следовать велениям моей души. Если бы все люди думали так же, как я, то я не имел бы счастья занимать столько места в Ваших мыслях. Из-за некоторых особенностей г-на Юара я имею счастье обладать в Ваших глазах некоторым преимуществом. Если бы мне было столько лет, сколько маленькому доктору Иберти, я наверняка был бы менее приспособлен для того, что Вы вправе от меня ожидать, предполагая, разумеется, что я имел бы счастье приглянуться Вам. Однако я не ищу комплиментов, ибо как прежде, так и сейчас чувствую себя вознагражденным за свое стремление быть Вам полезным. Древности и красоты Флоренции дают не такую

---

* Д-р Иберти.

** Гидом, проводником, экскурсоводом (*ит.*)

*** Маркиз де Дони.

обильную пищу для размышлений и бесед, какую предоставляет Рим. Мы видели галереи, несколько дворцов, несколько церквей, вот и все. В Риме Вы не пройдете и ста шагов, чтобы не наткнуться на что-либо, имеющее отношение к истории. Когда здание уцелело полностью, восхищаются искусством строителей и вспоминают то время, когда оно было сооружено. Когда видят руины, говорят о событиях, ставших причиной разрушения. Если теперь здание служит иной цели, как, например, античный храм, превращенный в церковь, то принято выражать досаду при виде произведенных изменений: не то чтобы в результате получилось дурно, но все же как-то жалко. Я сам это почувствовал, увидев Тарпейскую скалу*, оказавшуюся более низкой, чем я ее представлял; конечно, ведь нас зачастую обуревают прямо противоположные чувства, хотелось бы увидеть храм мира во всей его красе и заодно разглядеть в нем черты знаменитого храма Иерусалимского; мы сожалеем о бронзовых статуях Пантеона, переплавленных варварами, и знаем, что именно варвары стали причиною разрушения Колизея, или, как говорят итальянцы, Колоссео; нам ненавистна память о гуннах, готах, вандалах и их королях; мы негодуем на понтификов, которые, подобно святому Григорию, приказали сбросить в Тибр множество прекрасных статуй только за то, что они изображали Венеру, Диану, Весту, Юнону. Желая оставить только освященные предметы, нас сделали невеждами. Нам заузили кругозор, лишив мавзолеи их украшений. Нам осталось только слабое подобие мавзолея Адриана, а если говорить о храмах, то хочется высказаться отнюдь не лестно: храм Святого Петра вовсе не кажется мне более оригинальным, более благородным, чем храм Юпитера-громовержца и Конкордии, от которого на задворках Капитолия еще сохранились прекрасные колонны. Однако я заговариваюсь и утомляю Вас. Теперь, сударь, Вы сами можете убедиться, подошел ли бы я Вам как «чичероне». Я могу рассуждать еще долго, но на этот раз достаточно. Если бы у меня были важные для Вас новости, я бы не преминул их сообщить, а не утомлял бы Вас своими пустяками: болтовня хороша, но в меру. Извините меня, более такого не повторится.

У нас все по-прежнему. Несколько дней подряд льет дождь, и мы находим, что он излишне затянулся; человек вечно чем-то недоволен! Двор в добром здравии вернулся во Флоренцию. У нас была небольшая эпидемия насморка, но по-настоящему никто не заболел; эпидемия сия уже проходит. Ни я, ни супруга моя, равно как и моя дочь Франсуаза, коя также Вам кланяется, почти ничего не почувствовали. Мадам Молдетти еще не родила и накануне родов, вопреки предсказаниям врачей, чувствует себя превосходно.

Надеюсь для Вашего спокойствия получить уведомление о получении письма, датированного четвертым числом. Прошу Вас распорядиться относительно отправлений в сию область. Имею честь оставаться с уважением, сударь, Вашим смиренным и почтительным слугой.

Д-р Мени <...>

P. S. Из Маннгейма я получил свой диплом, и *т. п.*

III

21 ноября 1775 г.

Сударь!

Раз уж Вам угодно, воспользуюсь доказательствами доброты и дружбы, кои Вы пожелали мне изъявить, и попрошу у Вас еще кое-что для моего кабинета: либо для пополнения коллекции экспонатов по естественной истории, либо коллекции медалей. Вы наговорили мне столько любезностей, что удержаться я просто не в состоянии.

---

* Тарпейская скала – скала с западной стороны Капитолийского холма, с которой во времена Рима сбрасывали осужденных на смерть преступников.

Я возмущен тем, что Юар груб по-прежнему и по-прежнему не выказывает Вам ни намека на вежливость. Определенно, человек этот не был приучен к светскому обращению. Жена его, особа столь же заурядная и грубая, как и он, восемь дней назад уехала, не попрощавшись ни с кем из тех, кто принимал ее во время пребывания во Флоренции. К ней вполне можно применить латинскую пословицу: «Rustica progenius nescit habere modum»*. Прежде чем я скомпрометирую себя в их глазах, олени отправятся щипать травку на небо — простите меня, более цитат приводить не буду. Я получил ответ от юного врача, который, как Вы утверждаете, имел счастье Вам понравиться и поддержать Вас. По крайней мере, как следует из Вашего последнего письма, он стал вознаграждением за мои хлопоты. Из того же письма я узнал, что Вы нашли себе подходящее жилье и приличного поставщика. Вы пробуждаете во мне живейший интерес, все в Вас влечет меня к Вам.

Сообщайте мне, что удалось увидеть, что привело в восторг, о чем думаете и сколько времени остается на удовольствия. Наверняка, господин граф, у Вас будут поводы для досады: Вы обнаружите, что французские дамы более любезны и более жизнерадостны, нежели те особы, чьи портреты Вы мне набросали в общих чертах. Вы правы, сударь, только французы созданы для общества. Другие народы имеют свои заслуги; непринужденность французов естественна, в то время как другие, пытаясь проявить остроумие, начинают фальшивить, изъясняться тяжеловесно и надменно, и становится скучно. Французы могут измениться, некогда они были вполне солидной нацией; другие же, те, кто сохранил свой исконный характер, напоминают мне детали, вышедшие из форм, куда залили металл, не поддающийся ковке; я говорю это, нисколько не желая умалить их достоинств.

Вы просите написать моему зятю в Неаполь, чтобы таким образом Вы могли вступить с ним в переписку. Я, несомненно, напишу, но предупреждаю: этот человек постоянно в делах, ему надо поторапливаться, чтобы успеть вернуться во Францию и устроиться там. Он умен, не обделен талантом, честен, обладает живым характером, однако излишне говорлив; впрочем, на первый взгляд он совершенно очарователен, хотелось бы только, чтобы он был поспокойнее. Мы с ним рóдом из разных провинций, но мне прекрасно известны недостатки и его соотечественников, и моих собственных: от Лотарингии и Нанси до костра Девы расстояние столь же велико, как велика разница между его характером и моим. Лотарингец упрям, отважен, злопамятен, но искренен. Когда Вы с ним познакомитесь, сударь, полагаю, у Вас будет возможность сравнить наши характеры. У меня есть основания так представить Вам его. Не говорю, что у него нет чести, если бы я так сказал, я бы поступил против совести, однако он нередко со мной ссорился и совершал глупости в обществе, мнение которого мне небезразлично. К счастью, благодаря моей доброй славе мне это не повредило, однако попадать в подобное положение весьма неприятно. Но сохраните это в тайне.

Что же касается дочери, то вряд ли мне следует расточать ей комплименты. Скажу только, что она еще слишком молода. У нее весьма живая натура, и ее горячность должна была бы вызывать беспокойство у ее супруга, который, впрочем, сам нередко является ее причиной. При этом она нежна и искренна, как и все в нашей семье. Она захотела выйти замуж за этого человека, ибо о нем говорили много хорошего; теперь она его узнала, и этим все сказано. Я укорил мадам Молдетти за жалобы, что она не получает от Вас писем. Супруга моя нижайше Вам кланяется; дочь присоединяется к ней. О супругах Гудар ничего не слышно; более я их не видел. Вам известно, сударь, что дом Ванини, где я мог бы получить об них сведения, не относится к тем домам, где у меня есть связи и где я бываю**. Несколь-

---

* Деревенщине неведомы приличия (*лат.*).

** Ванини Аттило — владелец гостиницы и доктор философии, женился на англичанке Мэри Бойд. Его заведение на мосту Караджа было одним из самых знаменитых во Флоренции; во время своего пребывания в городе в нем останавливался Казанова. Ванини стал финансистом и деловым человеком; также он держал конюшню с беговыми лошадьми.

ко врачей, несколько философов, несколько любознательных особ – вот и все мое окружение.

У нас прошли сильные дожди, в горах стало холодно и выпал снег. В театрах ожидается несколько маскарадов да, быть может, несколько балов: вот, в сущности, и все новости, которые я сумел наскрести, дабы рассмешить Вас и разжалобить.

Имею честь оставаться с уважением, сударь, Вашим смиренным и покорным слугой.

Д-р Мени

P. S. Я получил от его светлейшего высочества курфюрста Пфальцского свидетельство, подтверждающее мое звание советника медицины, и медали.

IV

28 ноября 1775 г.

Сударь!

Очень расстроен последним Вашим письмом, из которого узнал о грубостях и дерзостях, что наговорил Вам Юар. Но судите сами, сударь, я же не могу выступать гарантом ни настроения, ни прочности разума человеческого. Негоже этому человеку из-за нескольких любезностей, сказанных его жене, поступать таким образом; если у него [к ней] имеются претензии, то он ни в коей мере не должен был высказывать их Вам. Только из чувства презрения я спускаю ему грубости, ибо знаю о его происхождении. Подобное поведение вполне подтверждает полученное им воспитание и то, кем он является. Если он позволяет себе пренебрегать таким человеком, как Вы, Вы имеете полное право поставить его на место. В Риме есть высокопоставленное лицо, назначенное Его Королевским Высочеством, моим повелителем, поверенным в делах Тосканы. Человек, занимающий этот пост, обладает большими полномочиями, и ему поручено следить за всем, что происходит; следовательно, он не должен пренебрегать кем бы то ни было, в особенности лицами такого ранга как Вы. Хотите, я напишу ему? Разумеется, в этом случае у меня будут кое-какие неприятности, но иного сорта. Я предупреждал Вас, сударь, каково мое мнение о нем. И чтобы доказать свою исключительную преданность, на всякий случай осуществлю задуманное. У него имеется шкатулка с моими медалями; скорее всего он затаит злобу на меня, но вряд ли окажется нечестным. Со своей же стороны, сударь, сделайте несколько любезных шагов в сторону министра, поверенного в делах Его Королевского Высочества, дабы узнать об образе действий того человека; судя по тому, что Вы мне сообщили, у Вас для этого имеется достаточно поводов и прав. Я поговорю с ним о Вашем дорожном сундуке.

Я видел строения, именуемые Вами прекрасными памятниками Рима, и согласен с Вашими справедливыми замечаниями. Разумеется, собор Святого Петра является шедевром нынешних веков, однако в Европе он один. О соборе Святого Павла в Лондоне также говорят с восхищением, но я его не видел. Но если в Европе имеются только отдельные разрозненные уголки, где можно восхищаться горсткой памятников и кое-какими произведениями изобразительных искусств одновременно, то Грецию почти всюду украшали статуи, храмы, публичные здания и великолепные изделия бытового предназначения, такие как вазы из яшмы, алебастра, мрамора, порфира, и принадлежали они не королям, принцам или тиранам, а частным лицам, так что, полагаю, сударь, Вы согласитесь, что греки были не только более великими, большими ценителями и приверженцами роскоши, но и более богатыми, чем наши современники, что позволяло художникам больше зарабатывать и поддерживало вкус к прекрасному и разнообразному. История рассказывает нам о грабежах, учиненных армиями, а речи Цицерона сообщают о грабежах и поборах консулов различных провинций. Так вот, если бы те горестные времена вернулись, что стали бы красть у нас? Фарфоровые статуэтки, безвкусные украшения. Несмотря на все золото, добытое в Америке, Гвинее и шахтах Европы, вряд ли можно сказать, что мы живем столь

же хорошо, как жили древние до нашествия гуннов, готов и прочих варваров. Кто из нынешних наших богачей заказывает выточить ему вазу из гранита или порфира? Быть может, мы еще как-то сравняемся с древними нашими фарфоровыми вазами, столь неудачно названными этрусскими, расписанными на сюжеты то ли религиозные, то ли героические, и вполне достойных форм и пропорций; так неужели, спрашиваю я, наши глиняные изделия станут для нас образцовыми и настанет день, когда потомки наши будут ими восхищаться? Однако, похоже, я уже не пишу письмо, не рассуждаю, а просто говорю слова и утомляю Вас. Простите, сударь, и позвольте засвидетельствовать Вам почтение всей моей семьи; засим же, сударь, заверив Вас в постоянном к вам уважении, кончаю; Ваш смиренный и почтительный слуга

д-р Мени, советник медицины и проч.

P. S. Вы должны были получить рекомендательное письмо в Неаполь.

V

Флоренция, 9 декабря 1775 г.

Сударь!

Почта побывала у нас уже трижды, но я не получил от Вас ни одного письма, а потому не знаю, что и думать. Не знаю даже, дошло ли до Вас то из них, куда было вложено рекомендательное письмо в Неаполь. Сообщите, пожалуйста, получили ли Вы его и остались ли довольны.

К сему письму прилагаю ответ Юара, прочтите его. Увидите, он получит Ваш чемодан. Мне хочется быть Вам полезным и в других вещах.

Семья моя почтительнейше шлет Вам приветствия и поклоны. Мадам Молдетти еще не родила. У нас ничего нового; холодно, но ясно.

Имею честь оставаться, сударь, Вашим почтительным, смиренным и покорным слугой.

Д-р Мени

P. S. Если для Вас не составит труда, передайте мои приветствия доктору Иберти.

VI

Флоренция, 19 декабря 1775 г.

Сударь!

Ваше молчание уже начало вселять в меня беспокойство, как вдруг я, можно сказать, неожиданно получил сразу три весточки – если Вы не против употребления такого слова. Они свидетельствуют о том, что Вы меня не забыли, а также сообщают, что Ваше драгоценное здоровье, столь меня беспокоившее, в полном порядке. В первом, насколько я сужу по дате, письме Вы подробно описываете вступление на престол понтифика Пия VI. И пишете об этом с таким множеством ярких деталей, что картина словно сама собой встает перед глазами. «Вот что значит владеть пером!» – сказал я себе. Полностью согласен с Вами, сударь: подобные публичные церемонии необходимы; они мощно воздействуют на умы народа и сильных мира сего; последние во время таких церемоний получают возможность убедиться в общественном признании своей значимости, что немало льстит их самолюбию, кое время от времени требует, чтобы ему воздавали должное. Философ знает всему этому цену, однако и он не бывает полностью бесчувственным к славе. Впрочем, я уже достаточно выразил свою мысль; избавьте меня от описания чувств, какие должны испытывать при этом деспоты.

Вторая весточка состояла из листа бумаги, где был написан мой адрес, и ничего более: еще один повод для ипохондрика, которые, как Вы наверняка слышали,

весьма изобретательно терзают себя, анализируя собственные поступки. Однако содержимое, обернутое этим листом бумаги, неопровержимо доказывает, что Вы по-прежнему ко мне расположены. Я был изрядно доволен гравировкой полученной медали. Понтифик, сей гениальный человек, безусловно сумеет возбудить интерес к искусствам в стране, где они уже начали угасать, несмотря на все сделанное в прошедшые века, ибо очевидно, что без меценатов у нас не будет более Вергилиев.

Более подробно остановлюсь на третьей весточке, написанной совсем недавно, несомненно, после отправки медали, потому что письмо Ваше я получил сегодня утром, а очаровательный подарок — вчера вечером.

Похоже, сударь, Вы обеспокоены отсутствием ответа от Тьерса, который в собственноручно написанном в ноябре письме обещает мне сделать все возможное, дабы помочь Вам отыскать удобное жилище в Неаполе; и у меня нет сомнений: он сдержит слово. Дочь моя в недавно полученном от нее письме подтверждает, что оба, и он и она, непременно засвидетельствуют Вам свое почтение. Не стану пересылать Вам письмо дочери, а просто приложу свое письмо к ней в незапечатанном конверте, чтобы Вы ей его передали — там нет никаких секретов.

Кажется, Вы убеждены, что я написал Юару. Вы уже знаете, что он ответил Вам по поводу Вашего чемодана. И уже огорчились из-за его ответа мне. Я также не остался безучастным, однако, когда в том случается надобность, я становлюсь философом. Пока я промолчу, но при случае доведу до его сведения, что поступил он неподобающим образом: так, как он, сделал бы один человек из тысячи.

Вы поздравляете меня с рождением очередного внука и делаете это в столь изысканных выражениях, что доставляете мне неизъяснимое удовольствие. Надеюсь, Господь наделит его более тонкими чувствами, нежели человека, ставшего причиною появления его на свет. От меня скрыли, кто будет представлять Вас. Это меня удивляет, ибо я никак не мог предположить, что Вы согласитесь принять участие в таком деле.

Я адресую письмо на имя доктора Иберти в надежде, что оно застанет Вас в Риме. Примите поклоны моей супруги и дочери. Я воспользуюсь Вашим великодушным предложением, чтобы отплатить той же монетой в Неаполе. Имею честь, сударь, выразить Вам почтительнейшую признательность и остаюсь Вашим смиренным и покорным слугой.

Д-р Мени и проч.

P. S. Примите, сударь, наши наилучшие пожелания по случаю грядущего нового года.

VII

5 числа текущего месяца [5 января] 1776 г.

Сударь!

Надеюсь, это письмо застанет Вас в добром здравии уже в Неаполе; это одно из моих Вам пожеланий, наряду с остальными, к Новому году. Как видите, сударь, я по-прежнему старомоден и не придерживаюсь обычаев тех мест, где поздравления уже не приняты. Пусть будет как будет, ведь я вот уже почти шестьдесят лет двигаюсь по одному и тому же кругу, не выходя за его пределы. Старые люди с трудом расстаются со своими предрассудками; Вы счастливый человек, граф, для этого века Вы еще вполне молоды и не имеете смешных черт, присущих людям моего склада.

Я с удовлетворением узнал, что перед отъездом в Неаполь Вы получили письмо Тьерса; судя по Вашим словам, весьма любезное. Я был прав, говоря, что он не преминет оказать Вам содействие, именно об этом я его и просил. По природе своей он вежлив и предупредителен. Вы без всяких экивоков описали мне возмущение,

которое вызвал у Вас слуга, принесший Вам искомое письмо. Я согласен с Вами, сударь: только в Италии священная тайна переписки безнаказанно нарушается. И, как Вам известно, это имеет весьма далеко идущие последствия. Нарушаются права людей, в обществе происходит злоупотребление доверием, предаются семейные тайны, компрометируют честь чужестранцев, подвергают риску состояния частных лиц и репутацию всего общества, и так будет, если только благоразумные меры не положат конец подобному безобразию. Князьям, присвоившим себе право извлекать выгоду, предоставляемую сим превосходным институтом, следовало бы трепетно следить за настоящей стороной деятельности полиции. Я удивлен, что де Монтескье не дал своей оценки этому явлению; возможно, впрочем, что порок сей его не затронул.

Поступок Вашего антиквара меня не слишком удивил. Если его Вам рекомендовали Дони или Лукатини, скажу, что это совершеннейшая скотина. Уверен, Вы согласитесь, что я нисколько не преувеличиваю и все, что имел честь сказать Вам, хорошо взвесил, ибо не желаю компрометировать ни Вас, ни собственную репутацию легковесностью суждений, правоту которых можно легко проверить и уличить меня. Но вот уже трое или четверо утвердили меня во мнении, что есть некоторые вещи, от которых мне бы хотелось Вас оградить. Вы не сообщили ничего о г-не Иберти.

Весьма Вам обязан, сударь, за благорасположение, выказанное по отношению ко мне в Риме; то, что Вы раздобыли для меня, как раз в моем вкусе. Вы одарили меня монетами и медалями понтифика Пия VI; доброта Ваша поистине беспредельна. Я вовсе не хотел Вас упрекнуть, когда имел честь сообщить Вам, что письмо, куда была вложена великолепная медаль, являло собой чистый лист. Ибо в письме, где Вы мне о ней сообщаете, содержалось немало подробностей, главным образом о церемонии вступления на престол, описанной, как я уже отмечал, Вами столь подробно, что мне показалось, будто я сам там присутствовал.

Я просил доктора Иберти раздобыть мне кое-что для кабинета естественной истории, но, похоже, он об этом позабыл. Мне бы очень хотелось побыть вместе с Вами в Неаполе; я смог бы отыскать там кое-какие диковинки. Тьерс и его жена уже прислали мне несколько экспонатов, но у натуралиста страсть к собирательству сравнима со страстью скупого, с той лишь разницей, что камни, камешки, растения и ракушки не являются золотом, хотя и стоят денег. Ваше великодушие мне известно, но мне не след им злоупотреблять.

Я упрекнул мадам Молдетти за то, что она призвала меня в свидетели того, что ей было никак невозможно исполнить свой долг, состоявший в том, чтобы известить Вас о своем здоровье и здоровье Вашего крестника. Она была изрядно расстроена и утомлена физически. Несколько дней ее свекровь чувствовала себя чрезвычайно дурно и в конце концов скончалась. Никто не мог обрести покоя ни днем, ни ночью; дочери ее, я имею в виду дочери покойной, были с утра до вечера на ногах, каждый час и каждый миг что-то требовалось. Вдобавок, у нее еще был панариций на ногтях. Но теперь она упокоилась с миром.

У нас здесь ничего нового. Два дня подряд шел дождь, время года наступило изрядно холодное; вода в Арно замерзла; судя по газетным сообщениям, в Париже гораздо больше больных, чем у нас, ибо, за исключением ноября месяца, когда была эпидемия лихорадки, сейчас, все — если вообще можно так сказать — чувствуют себя хорошо.

Супруга и дочь крайне признательны Вам за честь, Вами им оказанную, и посылают Вам свои наилучшие пожелания. Письмо это, очевидно слишком длинное, пора завершать; заверяю Вас в своем уважении, с коим имею честь, сударь, оставаться Вашим смиренным и почтительным слугой.

Д-р Мени

P. S. Передайте, пожалуйста, от нас тысячу поклонов чете Тьерс. Мадам Молдетти написала Вам письмо и отослала его в Рим.

VIII

17 января 1776 г.

Сударь!

Только что имел честь получить Ваше письмо от 8-го числа из Неаполя, откуда узнал, что Вы благополучно прибыли в этот город и были любезно приняты Тьерсами. Письмо Ваше меня весьма обрадовало, ибо из него следует, что приняли Вас весьма любезно и выказали готовность сделать все возможное, чтобы пребывание Ваше в городе было приятным. Я беспредельно счастлив, что Вы легко нашли с ними общий язык, что они предоставили Вам возможность повидаться с лицами уважаемыми и ввели Вас в достойное общество. Со своей стороны я выскажу Тьерсу и мадам Тьерс свою благодарность. Разумеется, Вы не должны благодарить меня, я и без того польщен Вашими оценками. Вы уже давно приобрели права на мою признательность, а это было то немногое, что я мог для Вас сделать, ведь Вы столько раз выказывали мне свое доверие и расположение. Сохраните, прошу Вас, то же состояние духа, о котором Вы сообщаете мне в столь дорогом для меня письме, его я непременно сберегу, или, выражаясь еще определенней, сберегу навсегда.

Мне очень приятно, что Вам пришлось по душе нежное согласие, царящее между Тьерсом и моей дочерью. Это означает, что между супругами существует взаимопонимание. Мне известно, что мадам Тьерс отличается мягкостью нрава, и если это качесто что-то значит в глазах мужей, значит, Тьерс сделал неплохой выбор. Я рад, что их хорошо принимают в Неаполе, и хотел бы, чтобы это способствовало удаче моего зятя, который готов горы своротить, если знает, что к нему относятся с уважением.

Вы спрашиваете меня, сударь, буду ли я продолжать Вам писать, как я писал Вам в Рим. Вопрос этот для меня равен приказу, и я намерен ему подчиниться. Мне во многих отношениях весьма полезно поддерживать с Вами переписку; время, посвященное писанию Вам писем, является моими излюбленными часами на неделе. Вы, без сомнения, помните, как во Флоренции я искал Вашего общества и сколь много привлекательного в нем находил; как жаль, что теперь нельзя провести с Вами в Неаполе даже несколько дней! Когда бы нам надоело беседовать об античности, мы смогли бы развлечься беседою на темы естественной истории; мы бы отправились считать внутренние помещения Геркуланума, стали бы восхищаться толщиной лавового слоя, увидели бы, был ли цвет лавы одинаков при каждом извержении или же нет, пошли бы разведывать жерла, откуда вырвались эти потоки лавы и огня; возможно, даже добрались бы до самого кратера: мне не чужды ни храбрость, ни дерзость. В Вольтерране до сих пор рассказывают, как я, несмотря на углекислый газ и пары серы, уверенно спускался в жерло вулкана, так что проводник оказался позади меня на расстоянии не менее двадцати шагов. Я не был безрассудно храбр, просто не придавал значения предрассудкам. Я знал, что этот вулкан не похож на Везувий, и осмелюсь утверждать, пребывание рядом с ним не представляет никакой опасности; полагаю, что делать этого нельзя лишь после дождей. Однако я увлекся; перейдем к другим предметам. Раз Тьерс пишет об извержении вулкана, значит, Вы, без сомнения, в тот день были в Сан-Дженнаро; Вам так хотелось увидеть, как делаются чудеса, что Вы наверняка научились взывать к святым и запомнили те слова, что говорят, когда хотят вознести хвалу этим святым или обратиться к ним*. Мне сказали, что, наряду с прочими обращениями,

* Собор (duomo) Неаполя посвящен св. Дженнаро (иначе св. Януарию); при нем имеется восхитительная часовня, сооруженная также в честь святого, где хранятся сосуды с его кровью и череп. Св. Януарий, епископ Беневентский, был обезглавлен в Поццуоли 19 сентября 305 г. Согласно преданию, его кормилица Евсевия присутствовала на казни и собрала кровь в два фиала. Останки мученика похоронили неподалеку его ученики, пожелавшие

святого этого называют Muso giallo*, ибо голова у него часто бывает из позолоченного серебра. Столь изысканное обращение вполне заслуживает того, чтобы растроганный святой снизошел к Вашим просьбам. Одному Богу известно, говорят ли молоденькие женщины ему еще что-нибудь. Я слишком поздно заметил, что пребываю в краю, где за подобные слова можно угодить в тюрьму Инквизиции. Поэтому даю задний ход: я восхищен могуществом Господа и его творениями. Вулкан, несомненно, заслуживает усилий, однако слишком много всего противостоит замыслам бедного натуралиста, пребывающего вдали от сего природного явления. Я неоднократно сожалел, что во время многочисленных путешествий по суше никогда не видел действующего вулкана — только вулканы потухшие. Но давно уже нет ни одного действующего вулкана, осталось только несколько скал, разбрасывающих камни то вправо, то влево; я рассказывал вам о вулкане Радикофани. Был такой возле Тренто. Когда Вы соберетесь возвращаться в Рим, то по дороге увидите еще один вулкан, который я Вам укажу.

Вы предлагаете мне свои услуги, граф, просите меня написать, что мне еще надобно для моего кабинета естественной истории: я воспользуюсь Вашим предложением. Письма вскоре будут отправлены, мне осталось чуточку времени, чтобы написать Тьерсу, на адрес которого я направлю письмо как к вам, так и к нему. Супруга моя желает поблагодарить Вас за то, что Вы по-прежнему помните ее. Она всегда отзывается о Вас, сударь, с большим почтением; она и дочь моя поручили мне передать Вам их нижайшие поклоны. Я сообщил Вам, что в Риме Вас ожида-

---

избавить покойного от надругательств палачей. Именно эта кровь, благоговейно сохраненная, пролилась на руки епископа св. Севера при переносе тела из Поццуоли в Неаполь, во времена правления Константина. Кровь течет ежегодно на протяжении 8 дней начиная с вечерней мессы в день Перенесения мощей, торжественно отмечаемый 1 мая. Истечение крови происходит и во время праздника святого, 19 сентября. Это чудо вызвало живейший интерес маркиза де Сада, всегда выступавшего против суеверий.

Чудо сие создается следующим образом: к раке с мощами подносят сосуд, где хранится кровь, и убеждают всех, что кровь начинает литься именно из него. Но скольким смертным из огромной толпы, собравшейся поглазеть на чудо, предназначено увидеть это собственными глазами, скольким людям, повторяю я, дается возможность вынести собственное суждение о происходящем? Чудо, разумеется, сотворено, но что в нем действительно чудесного? Чем оно отличается от простого физического опыта? Наша просвещенная наука сегодня вполне в состоянии уничтожить сей нелепый ритуал, с помощью которого кое-кто — не без удовольствия для себя — дурачит несчастный народ. Так не настало ли время вывести народ из заблуждения? И нам ли после этого смеяться над язычниками, когда мы сами поклоняемся идолам? Исступление, охватывающее народ Неаполя в день сотворения чуда, столь велико, что чужестранцу я бы искренне посоветовал не подвергать себя опасности смешаться с толпой поклонников этого смешного фарса. Ибо он действительно рискует жизнью, ведь летопись Неаполя полна упоминаний об убийствах чужестранцев, совершенных сей толпой, столь же жестокой, сколь и суеверной; несчастные были сочтены еретиками, препятствующими возникновению истечения крови, которое, завися полностью от махинаций священника, происходит или не происходит исключительно согласно тому, чего желает сей священник, а именно увеличить или же уменьшить ужасное возбуждение, царящее в городе в это время. Зная сие, можно только удивляться, насколько здешний народ суеверен и насколько предводители его погружены во мрак невежества!.. Какая отвратительная глупость! А если они в это не верят и только из малодушия не отменяют сей идолопоклоннический обычай, то как же они тогда слабы! Разве может во главе народа стоять тот, у кого есть выбор только между глупостью и страхом? Владеют — каждый своим — ключами от хранилища сего почитаемого сокровища трое наиболее уважаемых в городе лиц. Четвертое лицо — архиепископ; чтобы открыть святилище по всем правилам, необходимо присутствие всех четверых! (*Sade*. Voyage d'Italie // ОС. Т. XVI. P. 423–424).

* Букв.: «Желтая морда» (*um*.).

ло письмо от мадам Молдетти; говорю об этом за спиной своей старшей. Я перескажу ей содержание Вашего письма.

Если я долго не писал Вам, то этим письмом не только исправил сию оплошность, но и скорее всего злоупотребил Вашим терпением. Приказывайте, не лишайте меня Вашего расположения и верьте, что я имею честь оставаться преданным и привязанным к Вам, сударь, Вашим смиренным и покорным слугой.

Д-р Мени

IX*

6 февраля 1776 г.

Сударь!

С чувством глубокого удовлетворения имею Вам сообщить, что 30 января сего года я узнал, что Вы получили два моих последних письма. В Вашем письме сообщается о незначительных неприятностях, случившихся у Вас по причине наглости некоего мелкого чиновника или переписчика, из тех, кого обычно называют канцелярскими крысами; нынче они совершеннейше обнаглели. Но что поделаешь? В наше время от переизбытка званий люди становятся излишне самодовольными, и это побуждает их выходить за пределы своей компетенции; но когда все вокруг хотят быть обманутыми, или, точнее, хотят обманывать самих себя, следует предоставить потоку иллюзий свободно разливаться и далее. Признаюсь, оказаться в подобной ситуации крайне неприятно, и, какими бы философами мы ни были, всегда имеются вещи, способные вывести нас из состояния равновесия, особенно когда ощущаешь чудовищную нелепость происходящего. Истинным утешением, несущим облегчение, становится возможность поспособствовать тем, кого любишь, устранить неприятности. Я принял все возможные меры. Вы знаете, граф, сколь равнодушен я к поступкам некоторых особ, прежде вызывавшим у меня разлитие желчи. Немного времени на размышления, и я вновь спокоен, уравновешен и полагаю, что на наглеца с дурными мыслями всегда найдется не менее сотни тех, кто оценит по справедливости и поведение наше, и наши заслуги, а если бы суды занимались разбирательством подобного рода дел, пришлось бы удвоить число советников для возмещения ущерба тем, кто ежедневно сталкивается с наглостью. Не знаю, будет ли когда-нибудь положен конец безосновательным требованиям наглецов и положит ли этот так называемый век философов конец нелепостям, с коими мы сталкиваемся ежедневно. Вы прекрасно поступили, отринув сие оскорбление, особенно будучи в чужой стране. Воздайте сей мелкой твари презрением, как поступают владыки. Оскорбления, равно как и предрассудки, с коими нам приходится сталкиваться, в конце концов проходят, утверждает созерцатель. Не стоит становиться мизантропами: будем философами. Я мог бы привести немало примеров, но в задачу мою не входит пускаться в рассуждения на тему; это всего лишь письмо. Мне будет приятно, если соображения старого ворчуна придутся Вам по душе. Вы совершенно справедливо противопоставили века, исполненные глубоких мыслей, нашему легкомысленному столетию; действительно, имеются все основания опасаться, что, ежели все будет по-прежнему, мы впадем в варварство и невежество. Так постараемся же выйти из этого положения с наименьшими потерями.

Рад, что Вы вполне довольны обхождением г-на и мадам Тьерс. Непременно передам им, сколь премного я ими доволен. Они умеют выносить верные суждения о людях, а потому не только я, но и они понимают, какого обращения Вы заслуживаете.

Для человека, путешествующего с целью стать философом и получать наслаждение от красот природы, быть представленным ко двору короля – не главное. Но

---

* Адресовано: «Г-ну графу де Мазану, и проч., Неаполь».

мне приятно узнать, что это случилось. Тем более что от этого Собачий грот* не покажется Вам лучше и Вы так же прилежно будете осматривать восхитительные галереи Портичи, богатое собрание картин короля Обеих Сицилий, красивейшие греческие статуи, найденные в Геркулануме, этрусские вазы, камеи, обширные собрания медалей и наблюдать за вулканом, который, как Вы мне сообщили, продолжает извергать лаву. О, как бы мне хотелось увидеть сие природное явление! Но, призвав на помощь благоразумие, следует довольствоваться лишь чтением описаний этого феномена. Вы столь добры, граф, что велите мне указать, что мне хотелось бы получить для своего кабинета естественной истории. Подчиняюсь, ибо подобные веления лишний раз доказывают доброту Вашего сердца. Не хочу просить ни о чем определенным, однако, если Вам вдруг встретится какая-либо морская редкость, будь то растение или раковина, краб или иное морское животное, обладающее панцирем, буду Вам весьма признателен за такой подарок. Вы знаете, что их у меня уже немало. О медалях более речи не идет, ибо легко можно ошибиться. Однако мне не хотелось бы, чтобы Вы слишком тратились на подобные вещи; великодушие Ваше мне известно, и это удерживает меня от дальнейших просьб. Вот только если бы можно было раздобыть несколько кусочков лавы, не слишком больших, ибо у меня кое-какие экземпляры уже имеются. Видите, я говорю с Вами совершенно откровенно.

Вскоре Вы получите известие от Гудара и мадам Сары, написавшей «Письмо...», посвященное осени во Флоренции, где она сильно критикует дворянство**. Несколько дней назад Гудар принес мне экземпляр этого «Письма...» и спросил, удостоился ли я чести состоять с Вами в переписке и где Вы теперь находитесь. Сейчас они снова во Флоренции, однако я у них не был, ибо не знаю, где они проживают. Он сказал мне, что отправил Вам в Рим один экземпляр «Письма...», но не знает, получили ли Вы его. Вы спрашиваете, сколь огорчительна была смерть матери Молдетти для его семейства. Разумеется, они были весьма расстроены, однако сейчас все в порядке. Я спросил, написали ли они Вам, и оба, и один и другая, заверили меня, что писали Вам неоднократно; Вы вновь извещаете меня, сколь Вы довольны доктором Иберти; я этому рад несказанно. Погода у нас ужасная. После жутко холодного января, изобиловавшего заморозками и снегом, на-

---

* Собачий грот – грот на берегу озера Аньяно, возле Поццуоли, известен своими смертоносными испарениями. Название происходит от зрелища, которое некогда устраивали там для чужестранцев: собаку со связанными лапами клали на пол пещеры. В ту минуту, когда животное начинало задыхаться от асфиксии, вызванной углекислым газом, его вытаскивали на воздух, и оно вскоре возвращалось к жизни. Вот что рассказывает об этом жестоком трюке председатель де Бросс:

> Собака сыграла свою роль: забилась в конвульсиях и наверняка умерла бы, если бы хозяин не вытащил ее оттуда и не бросил на траву, словно труп, где к ней вскоре вернулись жизненные силы. Не пришлось даже погружать ее в воды озера, приносящие облегчение гораздо быстрее. Спаниель, над которыми обычно проводят подобного рода эксперименты, исполняет роль слуги шарлатана, коему приходится пить жабий сок; как только он видит приближение чужестранца, он уже знает, что придется «лежать и притворяться мертвым» (Lettres d'Italie. P.: Mercure de France, 1986. T. I. P. 146).

Возможно, де Сад присутствовал при аналогичной сцене.

** Речь идет о «Памятной записке об осенних развлечениях в Тоскане, или Письмах Сары Гудар о сем предмете, адресованных милорду Тильнею» («Relation historique des divertissements de l'automne de Toscane, ou Lettres de Madame Sarah Goudar sur ce sujet. A Mylord Tilney»). Сочинение представляет собой живую и остроумную критику балов и спектаклей, прошедших во Флоренции в период с 15 сентября по 3 ноября 1775 г. (см. также: *Mars F.-L.* Ange Goudar, cet inconnu. Essai bio-bibliographique sur un aventurier polygraphe du XVIIIe siècle // Revue internationale d'Etudes casanoviennes et dix-huitièmiste. 1966. № 9. Nice. № [111], [112], [113], [114]).

ступил непостоянный февраль. У нас все по-прежнему. Все мое семейства шлет Вам поклоны.

Имею честь, сударь, почтительнейше заявить, что остаюсь Вашим смиреннейшим и покорнейшим слугой.

Д-р Мени

X*

Флоренция, 27 февраля 1776 г.

Сударь мой и любезный граф!

Что с Вами сталось? Неужели Везувий сумел схватить Вас за ноги, исторгнув из себя потоки лавы, или Вы свалились в одно из его жерл, желая поближе взглянуть на сие природное явление? А может, Вас задержала, а потом пожрала одна из тех сирен, которые, как Вам известно, проживают в тех краях, где пролегает Ваш путь? Пребывая в бесплодных догадках, я намереваюсь отослать письмо свое на Елисейские поля, дабы получить о Вас весточку. Уверен, кто-либо из прекрасных теней, о существовании коих мне доподлинно известно, окажет мне честь и сообщит новости о Вас.

Вы обещали писать мне столь же регулярно, как Вы это делали в Риме; я же, сударь, обязался отвечать Вам сразу, как только Вы подадите признаки жизни. Я не только имел честь сдержать слово, но и сдержал его дважды, отвечая двумя письмами на одно; мне нравится быть кредитором. Но, оставшись без Ваших писем, я, граф, задался вопросом: быть может, г-ну графу есть в чем меня упрекнуть? Или же он вдруг стал мизантропом, как некогда грозился? Быть может, его новые победы заставили его забыть своего старого чичероне, сопровождавшего его во Флоренции? Нельзя стать мизантропом только из-за какого-то наглеца, чье единственное достоинство, дающее ему право называться секретарем, состоит в том, что он умеет водить пером. Время берет свое, возмущение проходит, остается презрение. Надеюсь, граф де Мазан встретил некий объект, достойный его страсти и заставивший его позабыть о мизантропии — если не полностью, то хотя бы наполовину. Быть может, он сам сообщит мне об этом, и ему, возможно, будет забавно поговорить со мной именно о сем предмете, вместо того чтобы рассказывать об извержении Везувия и вспоминать, какими уступами стекает лава по горе Сомма**, какова толщина слоя лавы и каков у нее цвет. Так вот, ежели, как я уже сказал, г-н граф пребывает именно в таковом настроении, то вряд ли он вспоминает о Флоренции, а уж тем более вряд ли станет раздумывать над плодом милого, однако, возможно, излишне дерзкого ума г-жи Гудар, которая только что распространила среди нас совершенно gratis некое «Письмо...», повествующее о карнавале во Флоренции***. В сочинении сем она наводит критику на все, что ей довелось увидеть, предается чуть больше, чем следует, сплину и порицает все, что нравится другим — впрочем, не скажу, что мне тоже, ибо я, как известно, не имею пристрастия к подобного рода развлечениям, а посему даже не видел перьев, украшавших прическу сей отступницы-англичанки, нисколько не одобряющей склад ума своей нации и, в подражание французам, забывающей о здравом смысле, порицающей итальянские обычаи, умалчивающей о немцах и, окончательно придя в дурное расположение духа, не

---

* Адресовано: «Г-ну графу де Мазану, в Неаполе или на Елисейских полях».

** На горе Сомма (высота 1132 м) после многократных извержений, собственно, и сформировался Везувий. В настоящее время эта гора представляет собой северную вершину вулканического нагорья, на южной оконечности которого расположен Везувий.

*** Вероятнее всего, речь идет о втором тексте, опубликованном в конце февраля 1776 г. под названием «Второе письмо Сары Гудар о карнавале в Тоскане. Посвящается г-ну Л***» («Lettre seconde de Madame Sarah Goudar sur le carnaval de Toscane. A Monsieur L***»); см.: *Mars F.-L.* Op. cit. № [120].

желающей сказать ничего хорошего даже о швейцарцах. На негативные высказывания, принадлежащие ей или же ее гнусному грубияну-мужу, что содержатся в ее «Письме...», вполне можно было бы ответить, и если ответ будет, я Вам об этом непременно сообщу*. Не знаю, как можно столь долго изрекать дерзости. Не исключено, что чаша терпения вскоре переполнится; она подвергла критике закрытие ridotto** в Венеции. Впрочем, об этом говорить можно еще много. Есть ли у Вас то «Письмо...», где она описывает осень, проведенную ею во Флоренции? Я писал Вам о нем; в нем много забавного.

Карнавал прошел не лучшим образом. Но, говорят, опера была превосходна. Как Вам известно, сейчас здесь находятся Ее Королевское Высочество эрцгерцогиня Кристина и ее супруг, принц Саксонский, по этому случаю устроены пышные празднества. Я еще не собрался посмотреть на них, поскольку принадлежу к людям, уставшим созерцать. С течением лет количество увиденного утомило мое зрение; исключение я делаю только для Везувия. Чувства мои притупились; в моем возрасте карьера перестает интересовать, любознательность моя пробуждается, только когда речь заходит о камнях, минералах, раковинах (а вовсе не о золоте, хотя, признаюсь, я бы охотно собирал и его); к ним я испытываю подлинную привязанность, не забывая, разумеется, и о предметах античности. Готов исполнить любые Ваши поручения. Примите заверения в совершеннейшем к Вам почтении супруги и детей моих.

Имею честь, сударь, искренне и почтительнейше оставаться Вашим смиренным и преданным слугой.

Д-р Мени

P. S. Прошу Вас, сударь, оказать мне любезность и передать г-ну Тьерсу и его супруге наши наилучшие пожелания. Г-н Молдетти и мадам Молдетти, кои только что вошли в комнату, где я завершаю писать Вам письмо, просят меня передать Вам поклоны и приветы.

XI***

Флоренция, 12 марта 1776 г.

Сударь!

К этому времени Вы должны были бы уже получить одно из моих писем, где я выражаю свою озабоченность состоянием Вашего здоровья. Сейчас я буду отвечать сразу на оба письма, полученные мною около пяти часов назад. Первое датировано 26-м февраля, а второе — 4-м марта. В порядке этих чисел я и стану отвечать на все, что, как мне кажется, требует ответа. Очень рад, сударь, что Вы наконец отбросили Ваши мрачные размышления, и это благодаря некой особе, которой нельзя отказать в определенном такте, данном далеко не всем людям. Следовательно, суета Ваша имела счастливое продолжение, ибо Вам удалось пустить в ход все имевшиеся у вас аргументы. Вы жили инкогнито, а следовательно, как философ, и вот теперь снова вращаетесь в вихре большого света. Конечно, ведь Вы еще не готовы для монотонной жизни философа. Возможно, когда Вы жили во Флоренции и я часто посещал Вас, я передал Вам частичку своей мрачности, коей отличаюсь по причине возраста и не самой веселой профессии, а также очевидной нехват-

* На «Письмо...» Анжа Гудара, подписанное именем его жены, было написано два ответа, также в форме писем; автором одного из них был якобы англичанин, проживающий в Риме, а второго — швейцарец из Лозанны. Обоим Гудар ответил остроумным опровержением в форме письма, озаглавленного «Третье письмо г-жи Сары Гудар о карнавале в Тоскане» («Lettre troisieme de Madame Sarah Goudar sur le carnaval de Toscane») и опубликованного в начале марта 1776 г. (см.: *Mars F.-L.* Op. cit. № [122]).

** Игорный зал (*ит.*).

*** Адресовано: «Г-ну графу де Мазану, и проч., в Неаполе».

ки подле себя людей любезных, знающих и способных, подобно Вам, сударь, вывести меня из мрачного состояния, в коем я пребываю большую часть времени.

Вы упрекаете меня за то, что я не познакомил Вас с милейшим г-ном Коллини. Просто я был уверен, что это сделает мадам Тьерс. Поэтому не приписывайте мне чувства ревности, но, даже если бы таковое и присутствовало, у меня имеются оправдания. Обычно ревность свойственна женщинам, однако мужчины тоже могут ее испытывать, особенно когда предчувствуют неминуемую потерю. Но в настоящем случае меня можно простить, хотя я и поступил несправедливо. Если бы я, сударь, не знал, какие чувства Вы ко мне питаете, я мог бы опасаться, что почтенный Коллини зачернит мой образ, произведет некое воздействие, подобное вздействию густого дыма, чернящего все. Но отбросим в сторону ревность: я рад, что Вы с ним совершаете совместные прогулки. Он отлично разбирается в физике, обладает глубокими познаниями в естественной истории и вдобавок превосходный собеседник. Сведя с ним знакомство, Вы проявили вкус и прозорливость, и не исключено, что из прозелита станете теперь ярым приверженцем естественной истории — мне прекрасно известна притягательность этой науки. Вы будете чрезвычайно любезны, коли сообщите мне, какие раковины и камни приготовили для пополнения моей коллекции. Вы опасаетесь, сударь, что экземпляр, отобранный Вами, станет вторым или даже третьим. Пусть Вас это не волнует: моя признательность за Вашу бесконечную доброту, кою Вам было угодно проявить, в любом случае не будет иметь границ.

Я напишу Юару по поводу Вашего чемодана. Надеюсь, мне удастся сделать так, что Вы перестанете волноваться из-за сего неприятного типа, ибо уверен, что во всем виноват он. Если Вы потом напишете мне о результатах, я непременно Вам отвечу.

Поговорим немного о Гударе и мадам Саре, возможно, использующей персонального красильщика, чтобы заполнять пачкотней свои письма. Я уже изложил свое мнение о том письме, где она рассказывает о карнавале в Тоскане. Один из моих друзей написал ответ, который, однако, пришелся ей не по вкусу;* впрочем, я единственный, кто знает имя автора. Недавно я встретил Гудара, и он спросил меня, знаю ли я автора, но я прикинулся, что не знаю. Но это еще не все: имеется еще один ответ, но такой, что глупее не придумаешь. Я спросил Гудара, как чувствует себя его жена, и он ответил, что она вернулась в деревню. Он также спросил, имею ли я известия от Вас, а я ответил, что нет. Полагаю, он непременно пошлет Вам по почте еще два «Письма...»; мне бы хотелось, чтобы их ему вернули. Поручение, кое Вы мне даете, я непременно исполню, лишь бы удалось найти то, что Вы просите. Мадам Гудар заявляет, что «Письма...» ее будут переизданы в Швейцарии. Остается выяснить, говорит ли она правду. Во всяком случае, если периздание будет, мы его получим; я же сделаю все, чтобы Вы получили «Неаполь»**.

Уверен, к вам в Неаполь уже дошло известие о благополучных родах Ее Королевского Высочества: три дня назад она произвела на свет прекрасного принца. Через некоторое время Вы будете иметь возможность увидеть в Неаполе Ее Королевское Высочество, очаровательную эрцгерцогиню Кристину вместе с супругом, принцем Альбертом. Но вряд ли эти события удержат Вас в Неаполе.

---

* Автор этого ответа остался неизвестным.

** Сад пытался найти памфлет Анжа Гудара, озаглавленный «Неаполь. О том, что требуется сделать для процветания сего королевства», впервые опубликованный в 1769 г., а 13 сентября 1774 г. сожженный на костре палачом. Маркизу, попросившему у автора экземпляр, Гудар ответил 25 марта 1776 г.:

Мне очень жаль, что Вы столь поздно затребовали книгу под названием «Неаполь»: после того как ее сожгли на костре, все оставшиеся экземпляры мгновенно были распроданы, их буквально рвали из рук. Сделали даже второе издание, к коему приложили ответ, составленный автором в ссылке и направленный премьер-министру Неаполитанского королевства. Вы правильно полагаете, что в сочинении сем есть немало живых и забавных наблюдений: сам материал ими изобилует (АС, НП).

Супруга моя и вся семья передает Вам нижайшие поклоны. Вот уже два или даже три месяца у нас стоит пренеприятнейшая погода. У меня разыгрался ревматизм; однако кровопускание и очистительные процедуры поставили меня на ноги, и я вновь в состоянии услужить Вам и заверить Вас, сударь, в своей привязанности и своем почтении, с коими и имею честь оставаться Вашим смиреннейшим и покорнейшим слугою.

Д-р Мени

XII

26 марта 1776 г.

Сударь!

Из прилагаемого письма Вы, несомненно, увидите, что я выполнил все, о чем Вы просили, дабы решить вопрос с Вашим чемоданом. И все предпринятые мною шаги были дурно встречены Юаром, сорвавшим на мне свое злобное настроение. Поначалу я даже растерялся. Ведь я написал ему во вполне достойных выражениях. Сам я, не являясь по натуре ни грубияном, ни себялюбцем, всегда стремлюсь поступать как человек, отвечающий за свои слова и поступки, и чувства и жалобы свои выражаю в достаточно спокойных выражениях. Имея несчастье получить весьма грубое письмо, я не ответил на него вовсе, иначе говоря, использовал все доступные мне средства. Мне, разумеется, будет не по вкусу, если мои медали будут упакованы не так, как следует, ибо от этого они теряют в цене; но что делать? Становиться на колени? Нет. Я имел удовольствие оказать Вам услугу, сделав все, что полагал долгом своим сделать. Я лишен чести получать от Вас письма. Я жду, когда Вам будет угодно мне написать, и имею честь, сударь, пребывать по-прежнему всячески уважающим Вас Вашим смиренным и почтительным слугой,

д-ром Мени, врачом и проч.

Примите также нижайшие поклоны от всей моей семьи.

XIII*

Флоренция, 9 апреля 1776 г.

Сударь!

Получив от Вас столь дорогое для меня письмо, без промедления сажусь отвечать на него, дабы Вы нисколько не сомневались в чувствах моих, а также в подтверждение искреннего интереса моего к Вашему здоровью и Вашему приятному времяпрепровождению в том мягком климате, где Вы сейчас проживаете, хотя, быть может, Вы и не обрели развлечений, Вам обещанных.

Я узнал, сударь, что Вы проделали многодневный путь и побывали на острове Капри, где некогда предавался наслаждениям нечестивый Тиберий; памятники той эпохи напоминают о скандальных оргиях этого владыки, известных нам из истории. Если Вы станете общаться с тамошними антикварами, то, несомненно, узнаете, что я хочу приобрести две медали с непристойными изображениями сего императора, высмеивающими его падение, как моральное, так и физическое; впрочем, вполне вероятно, это нисколько не мешало ему идти на поводу у своего дурного характера и злоупотреблять своим могуществом. Мне очень хотелось бы узнать соображения, возникшие у Вас при виде греческих городов, кои довелось Вам проехать. Уверен, Вы заехали в Сциллу, чтобы посмотреть на знаменитые подводные рифы

* Адресовано: «Г-ну графу де Мазану, Неаполь».

и осмотреть главную часть завоеваний Гвискара и норманнов*. Когда я буду иметь честь увидеться с Вами по Вашем возвращении, мы непременно поговорим об этом, ибо их не слишком заметная история меня весьма занимает. И мне известны кое-какие любопытные факты из нее. Говорят, земля в тех краях очень плодородна, и Гвискар был прав, когда решил там обосноваться. Однако род его там долго не продержался; не знаю, были ли Гвискары хорошими владыками, я интересовался этими людьми только до определенной степени, а сие означает, что я перехожу к другим вопросам, содержащимся в Вашем письме, дабы в точности на них ответить. Вы льстите мне, граф, говоря, что никогда не забудете Вашего «чичероне из Флоренции». Разумеется, для меня это безмерно приятно, однако по возвращении Вы наверняка найдете более подходящие для Вас привязанности.

Думаю, несколько дней назад Вы получили одно из моих писем, куда вложен ответ, написанный мною этому наглецу Юару; помните, я писал Вам об этом. В конце концов, что мне оставалось делать? Нельзя извлечь из мешка то, чего туда не положили. Тем не менее он все еще не прислал мне мою шкатулку с медалями; полагаю, ответ мой несколько смутил сего самодовольного грубияна. Я заявил ему, что полагал возможным обратиться к нему с подобной справедливой просьбой, а ежели он считает себя оскорбленным, то волен выместить свое зло на мне, но не на моей шкатулке; что же касается денег, то я готов вывести его из небольшого затруднения, в кое она его повергла, а услуги, оказанные мною его несчастному отцу в последние дни его жизни, вполне заслуживают некоторой признательности, кою я бы поостерегся выражать таким образом. Эта злосчастная шкатулка уже претерпела множество несчастий в Риме. Надеюсь, возвращение ее меня обрадует, ведь тогда я отправлю ее графу де Мазану. Впрочем, хватит о мужчинах, поговорим о женщинах. Полагаю, Вы ознакомились с трудом Сары, но не той, которая дала столь восхитительный ответ мужу, а той, супруг которой должен был, на мой взгляд, дать кое-какие советы; как мне кажется, параллель напрашивается сама собой. Она наверняка присудила бы Вам яблоко, так как ей хочется сохранить у Вас наилучшие воспоминания о себе, но, похоже, на самом деле эта маленькая месть является частью той кампании, которую она начала вместе с мадам Молдетти. Все равно быть у нее в милости весьма приятно. Про себя же могу сказать, что я утратил не ее милость, ибо в таковой никогда не пребывал, но ее доверие. Муж ее, коему, без сомнения, известны ее пристрастия, заметил мне, когда я в день прибытия почты принес ему записку от Вас, что советы мои были неуместны, ибо, какой бы ответ он мне ни дал, я все равно прибыл не ко времени, так как супруга его по-прежнему лелеяла свой сплин, и меня к ней не допустили, хотя был уже полдень. Не знаю, сударь, согласитесь ли Вы со мной, но при сем дворе влияние мое окончательно утрачено. Гудар сказал мне, что книги «Неаполь» у него больше нет. Я предпринял кое-какие шаги, чтобы раздобыть ее; если мне повезет, Вы ее получите. Он говорил со мной по поводу моего замечания о бивнях слона**. Я пообещал принести ему экземпляр. Я уже отсюда слышу, как Вы утверждаете, что это всего лишь предлог для продолжения отношений. Думайте что угодно, но жест этот обусловлен исключительно взаимной вежливостью, ибо совсем недавно Гудар принес мне ответ на критическую статью, которую один из моих соотечественников сочинил

* В 26 км к северо-востоку от Реджо ди Калабрия пучина Харибды и рифы Сциллы были особенно опасны для мореплавателей, пересекавших Мессинский пролив. Часто случалось, что, избежав одной опасности, они подвергались второй; отсюда пошла пословица: «Попасть из Сциллы в Харибду» В «Одиссее» оба этих опасных места описаны в виде морских чудовищ, пожирающих приблизившихся к ним мореплавателей.

Нормандец Роберт Гвискар, герцог Апулии, завоевал Калабрию в XI в.

** Бартелеми Мени является автором книги «Заметки о слоновьих бивнях, найденных в Тоскане» (см.: *Mesny B.* Observations sur les fossiles d'éléphants qui se trouvent en Toscane. Florence: Impr, royale, [s. d.]. — 47 p.).

в ответ на письмо мадам Сары, посвященное карнавалу*. Вот как обстоят дела. Возвратясь из Неаполя, Вы увидите меня вполне бодрым духом, если, конечно, я снова буду в милости.

Весьма Вам обязан, сударь, за заботы по пополнению моей коллекции. Из-за грозы не всегда можно выходить в море. Если предоставится возможность, мне было бы приятно получить что-либо морское, будь то растение, раковина или камень. Вы не пишете, когда намереваетесь возвращаться. Надеюсь, не покажусь Вам излишне нескромным, ежели спрошу напрямик. Коллини вскоре намерен вернуться ко двору Пфальцского курфюрста. Он преподнес Его Королевскому Высочеству отрывки из своего труда по естественной истории и в ответ удостоился золотой табакерки. Полагаю, письмо это уже излишне длинно; рука подсказывает, что пора его завершать. Все мое семейство шлет Вам поклоны.

Имею честь, сударь, почтительно оставаться Вашим смиренным и преданным слугою.

Мени

XIV

Флоренция, 23 апреля 1776 г.

Сударь!

Не могу выразить, какие чувства испытал я, распечатав Ваше письмо и узнав о принятом Вами решении не проезжать на обратном пути через Флоренцию. Ведь это означает, что я уже не буду иметь честь принимать Вас у себя в городе, ежели, конечно, Вы не измените решения. Будь я, сударь, менее к Вам привязан, для меня это не было бы столь ощутимым ударом. Обещайте, сударь, не оставить меня без утешения и писать мне, даже когда вернетесь к родному очагу. Я всегда с радостью стану получать Ваши письма и надеюсь, Вы окажете мне честь, сохранив воспоминания обо мне в уголке Вашей памяти, чему, я уверен, будет способствовать продолжение нашей с Вами переписки, тем более что Вы сами меня об этом просите, так как, полагаю, убедились, сколь тщательно я ее поддерживал. Вы также могли убедиться в моем постоянстве, хотя некоторые письма и запаздывали по причине Ваших перемещений и различных оказий. В конце концов, сударь, раз Вы побывали в Палестрине, значит, жребий брошен**. Вы знаете, что древние ездили туда узнать будущее; Вам, без сомнения, захотелось того же. Этим все сказано.

Не знаю, застанет ли Вас мое письмо в Риме, куда Вы просили меня его направить, полагая, что оно будет иметь счастье попасть к Вам в руки, ежели будет адресовано г-ну Сеасу, бригадиру и проч. Во всяком случае, повторяю, что от всего сердца желаю Вам самого большого, какое только возможно, счастья. Я готов сделать для Вас все, что в моих силах, и, сколько лет ни суждено мне еще прожить, нежные воспоминания о Вас всегда будут со мной, равно как и сожаления, что более я Вас никогда не увижу.

Супруга моя, Молдетти и мадам Молдетти, а также моя дочь были весьма огорчены, когда я поведал им печальную новость, дело даже дошло до слез. Вот так и проходит жизнь: в кратких утехах и продолжительных тяготах. Но к чему эти сетования?

Я очень рад, что Вы получили свой чемодан. Знай я об этом, не стал бы связываться с Юаром. Но не будем вновь о нем. В этом деле мне более, чем кому-либо, следует быть философом. Ваше утверждение, что я оказался Вам полезен в Ита-

---

* Вероятно, речь идет о следующем сочинении: Lettre troisième de Madame Sarah Goudar sur le carnaval de Toscane. A monsieur L*** // F.-L. Mars. Op. cit. № [122].

** Палестрина – город в Лациуме, в 34 км восточнее Рима; самая большая достопримечательность – знаменитый храм Судьбы.

лии, делает мне честь и несказанно радует. Непременно воспользуюсь Вашими великодушными предложениями, когда Вы вернетесь во Францию. Прошу Вас, непременно сообщите, как Вы расстались с Тьерсом.

Прощайте, дорогой граф. Простите любящему Вас человеку эту вольность, нисколько не умаляющую почтительных чувств, с коими, сударь, я остаюсь навсегда Вашим смиренным и покорным слугой,

д-ром Мени, советником медицины и проч.

XV*

Флоренция, 9 августа 1776 г.

[Нет, г-н граф, я не сомневаюсь, что Вы уже предали меня суду, провели следствие и вынесли приговор. В трех из Ваших писем, даже в четырех, в том числе и в письме от 25 июля, где, как я вижу, Вы нарисовали в своем воображении мой образ, очень далекий от истинного, говорится вполне ясно, хотя и, разумеется, предельно вежливо, что Вы рассержены и испытываете жесточайшую досаду, будучи вынужденным просить меня о различных мелких литературных услугах, которые Вам был бы рад оказать любой другой человек. Если бы Вы высказали Ваши огорчения кому-либо другому, меня бы забросали камнями. Но если мои письма не направились по дороге в ад, то, надеюсь, они увидят свет и помогут оправдаться перед Вами, сударь, а если Вы обвинили меня перед всем миром, то, будучи добрым христианином, должны восстановить мою поруганную честь. Вот несколько ответов, состоящих из чертовски напыщенных строк, кои приходится писать, дабы отринуть от себя подозрения. Отвечаю в последний раз, а там пусть письма мои канут в Лету или во Флегетон].

[В последний раз я имел честь написать Вам 2 августа. Ваше последнее письмо, как я указал, датировано 25 июля. Ваши письма приходят ко мне, мои же ведут себя как ветреники и изменники. Отчего так происходит? В последнем письме мы с Вами расстались на площади Ордена Благовещения: тогда я так устал, что не смог продолжать прогулку; теперь я подхватываю Вас на том же месте, где мы расстались, дабы продолжить наш осмотр основных площадей города; останавливаться мы будем только там, где имеется что-либо примечательное. Площадь Святого Марка ничем не примечательна, кроме разве того, что знаменитый Галилей был похоронен на этой площади как простой невежда, у подножия первой ступени паперти церкви Святого Марка (или лестничного пролета, если предположить, что там прежде находился дом)]; позднее прах его был оттуда извлечен и переправлен в церковь Святого Креста, ставшую настоящим Вестминстерским аббатством Флоренции, с тех пор как в ней покоятся останки многих великих людей. Чтобы более не возвращаться к площади Святого Марка, скажем еще, что именно там захоронен знаменитый Пико делла Мирандола, самый ученый человек своего времени. Большой любитель этрусских редкостей, знаменитый доктор Гори также нашел там свое упокоение**. Разумеется, лучше, когда все знаменитые люди собраны вместе, и нет нужды погребать их вместе с Медичи в церкви Святого Лаврентия. Только английские короли умеют в полной мере почитать своих великих людей и удостаивают чести быть похороненными вместе с ними.

---

* Адресовано: «Г-ну графу де Мазану».

Для своего «Путешествия по Италии» Сад широко черпал сведения из этого письма: использованные абзацы вычеркивал, сочинял подзаголовки. На первой странице его рукой написано: «Площади и нравы. Все, что вычеркнуто, использовал». А в верхнем левом углу написано: «Осталось только позаимствовать про нравы и одну из церквей». Вымаранные пассажи взяты в квадратные скобки.

** Гори Антонио Франческо (1691–1757) – священник и известный флорентийский археолог.

[Выходя с площади Святого Марка, поворачиваешь направо, чтобы пройтись по прекрасной улочке, называемой «via larga»; другой конец ее выходит на площадь Святого Лаврентия, о которой я буду говорить выше. На этой площади находится восхитительный постамент треугольной формы, украшенный барельефом удивительной красоты, работы Бачио Бандинелли*. Барельеф изображает Джованни Медичи, к которому приводят пленников и приносят трофеи, завоеванные в сражениях с разными народами. Есть мнение, что там изображен Бальтазар Турини, датарий Льва X, несущий на своих плечах свинью. Этот Турини, будучи священником и лицом, пользующимся доверием, случайно или намеренно причинил Бандинелли какие-то неприятности. От площади Святого Лаврентия, где более смотреть нечего, ну, разве только церковь (ниже я еще скажу несколько слов об этом месте), рукой подать до площади Санта Мария Новелла, где видишь две, помещенные на разных углах площади, пирамиды, служащие границами или пределами при проведении гонок на колесницах, ежегодных игр, наподобие цирковых, устраиваемых накануне праздника святого Иоанна Крестителя. Эти пирамиды из мрамора покоятся на спинах бронзовых черепах, несущих их вместе с основанием, или пьедесталом, размером в восемь или девять дюймов. Площадь эта прекрасна, ее украшением является портик, расположенный напротив церкви. Теперь осталось рассказать Вам всего о двух или трех уголках. Вутренний дворик дворца Питти также образует площадь; но так как там смотреть практически нечего, давайте поскорее отправимся на площадь Святого Креста, в глубине которой расположена одноименная церковь. Площадь представляет собой вытянутый прямоугольник, окруженный с трех сторон уродливыми деревянными тумбами, препятствующими экипажам проезжать по ней. Это прибежище масок, которые, когда погода тому способствует, прогуливаются здесь на исходе дня. Экипажи ездят вокруг этих тумб, а когда гуляющие прибывают, — отъезжают на значительное расстояние и ждут, пока не настанет время отправляться в театр. Часовые на углах улицы побуждают экипажи следовать определенному порядку и колесить туда-сюда, от площади Святого Креста до площади Санта Мария Новелла, объезжая уже упомянутые тумбы, служащие своего рода вехами. Я не поведу Вас на рыночную площадь, где нет ничего особенного, кроме портика с одной стороны и колонны посредине. От этой колонны до любой двери насчитывают ровно тысячу шагов. На странице у меня еще осталось место, чтобы поместить два-три памятника, что украшают город. Со стороны Арно, протекающей на юге, у подножия Старого моста видна скульптурная группа из двух фигур, одна из которых изображает смертельно раненного Аякса, поддерживаемого греческим воином; эти руины греческой скульптуры были великолепно отреставрированы Сальветти, которому в<еликий> г<ерцог> Фердинанд II даровал за эту работу триста дукатов. Говорят, на том месте, где теперь находится эта статуя, прежде стояло конное изваяние бога Марса, извлеченное из храма Марса; ужасное наводнение смыло ее в Арно. Другая статуя, о которой я хотел рассказать на следующей странице, — это прекрасная статуя Кентавра работы Джамболоньи. Великий герцог Козимо всегда, когда проезжал эти места, делал крюк, чтобы полюбоваться ею. Несомненно, желая отомстить за оскорбление, Геракл готов убить Несса, который, уж я не знаю как, в это время ласкает Деяниру. Впрочем, жене Геракла вряд ли подошел бы кто-нибудь меньший, нежели кентавр. Но не лучше ли предоставить честь решать сию проблему дамам? Однако я отклонился от темы, но, полагаю, Вы меня простите; тем более что делаю я это не слишком часто; материя сия вполне может вызвать чье-либо возмущение: мифология зачастую не отличается целомудрием. Итак, сменим тему. Тем более что возрасту моему она не пристала вовсе.]

Вы, сударь, уже в общих чертах ознакомились с нравами итальянского народа. И знаете, как он любит развлечения и удовольствия. Я не имею глубоких познаний

---

* Бандинелли Бартоломео (Бачио) (1493–1560) — знаменитый флорентийский скульптор.

для вынесения верного суждения об утонченности его вкуса и даже не уверен, обладает ли он страстью к наслаждениям. Чем больше я наблюдаю за его пристрастиями, тем меньше в них верю. Итальянцы всегда точно подсчитывают расходы и редко делают робкие попытки вырваться за определенные себе пределы; большинство удовлетворяет свои потребности всего лишь на треть. Знатнейшие сеньоры этого края мелочны, не отличаются деликатностью в передаче мысли, равно как и деликатностью в выборе развлечений. Здешние дамы унылы и дурно воспитаны, а потому, когда цвет их юности уходит в прошлое, они начинают напоминать шипы. Некоторые отличаются приятным цветом лица и столь же приятной полнотой, руки их и уста весьма привлекательны. Обо всем прочем судите в жарких краях (фи! какие грубые мысли!). Здесь едят много чеснока и прочих пряностей. Оставляю Вам самостоятельно представить, какое это производит воздействие; здесь все скупы, экономят на всем, в том числе и на воде, опасаясь, что веревка у колодца перетрется. Когда дамам дают деньги, они на них живут; если они сами зарабатывают деньги, то тратят их на украшения, которые потом отойдут к ним — в случае вдовства. Этими отнюдь не несметными сокровищами, заработанными нечестивым путем, можно воспользоваться. Быть может, Вы, сударь, считаете, что здесь пользуются миндальным тестом, порошком для зубов, ирисом для подмышек и прочими деликатными вещами для туалета? Применение их встречается столь же редко, как и белые дрозды; да и не знаю, нашлось бы достаточно поставщиков, если бы вдруг все стали эти вещи употреблять. Впрочем, женское сословие здесь вполне привлекательно, однако второго разряда, хотя и наделено искусством украшать себя и не лишено вкуса. Любой пустяк делает им честь — я имею в виду женщин. В вопросах белья ожидать деликатности сложно. Если дама или гражданка забыла носовой платок, она способна взять его у предложившего ей руку, чтобы выйти из кареты, мужчины, а потом или сразу вернуть ему, или продержать у себя весь день, до самого вечера. Я еще помню времена, когда вкусы наши были куда более грубыми, а стремления к чистоплотности не было вовсе. Дама могла появиться в роскошном бархатном платье, но при этом не сменить нижнюю рубашку, которую носила всю неделю не снимая; носовые платки лежали в карманах по две недели, а то и по месяцу; впрочем, даже сегодня можно встретить кавалера с крестом святого Стефана и таким носовым платком, каким во Франции постыдился бы воспользоваться даже сапожник. Для описания всех местных смешных обычаев не хватит одного письма, а чтобы рассказать о царящих здесь нравах, мало будет и целой книги. Поэтому ограничимся только общими вопросами и вполне определенным кругом лиц. Когда речь заходит о деньгах, чувство чести здесь отступает на задний план. Итальянцы обладают и честью, и честностью, но своего не упустят — при дворе ли или на рынке — не важно; ради денег они пойдут на все и все стерпят. Иногда по причине нищеты даже благородные люди занимаются ремеслом шпиона и делают это хотя бы ради бесплатного доступа в театр. Что можно сказать о кухне? Совсем немного. В целом по своей простоте она имеет много сходства с кухней голландской. Если вы видите в обеденной тарелке сыр, значит, в похлебке так мало мяса, что его количество не может придать бульону нужную консистенцию; сыр, опущенный в горшок, заменяет шесть или семь кусков мяса. Здесь готовят блюдо стоимостью пять или шесть су под названием «olpette»; это нечто вроде хлебной похлебки, к которой подается фунт рубленого мяса, обвалянного в муке с примесью некоторого количества пряностей. Обвалянные кусочки готовятся на жире или в вине. Обычно это кушанье нахваливают так, как иной нахваливал бы восхитительный паштет. Дамы, коим в больших домах желают оказать уважение, получают к столу маленького голубя. Дрозд, пара жаворонков и немного фруктов составляют домашнее меню какого-нибудь сенатора или маркиза. Кофе дома не пьют, это слишком дорого. Вряд ли во Флоренции найдется двадцать пять домов, где к столу будут подавать по семь блюд. Если рассказанного мной недостаточно, в следующий раз опишу все значительно подробнее: Вам ведь известно, с каким почтением я отношусь к Вам.

XVI*

23 января 1778 г.

С огромной признательностью и удовлетворением узнал, что Вы были столь добры, что объяснили г-ну де Бонту мои затруднения. Тысячекратно Вам за это обязан. Боюсь, что все, о чем он меня предупреждает, случится, если уже не случилось; впрочем, у меня теперь нет возможности противодействовать разорению. Тем не менее с помощью правосудия я предпринял официальное наступление на своих сонаследников и родственников. Не могу даже выразить, граф, сколь приятно мне Ваше внимание, Ваши любезные слова; уверен, Вы избавили бы меня от затруднений, в коих я оказался и доказали бы мне свою неизменную и нежнейшую привязанность ко мне.

Как хочется, чтобы дело, удерживающее Вас в Париже, поскорее завершилось. Надеюсь, все-таки настанет время, когда Вы сумеете меня утешить.

Полагаю, что все, что Вы имели честь сказать в Вашем последнем письме, я понял правильно. Сделав мне последние распоряжения, Вы вернетесь в Прованс, я же стану блюсти двадцать пять бутылок, бургундскую меру, кою Вы поручили мне держать у себя в погребе. Я оценил Ваше любезное сообщение по поводу книг Кронстедта** и «Досимазии» Сажа***. Сударь, Ваша доброта побуждает меня высказать мнение относительно других книг, которые мне бы хотелось иметь. Я вовсе не желаю налагать на Вас обязательства, но был бы глубоко благодарен, ежели бы Вы помогли мне получить сочинение Линнея, которое сейчас переводится на французский язык в Париже; я знаю, работа эта ведется вот уже несколько месяцев. Начать должны были с «Системы растений»; также хотели напечатать его «Изящные безделицы». Но самое большое удовольствие мне бы доставила книга, которая, возможно, еще только готовится к изданию, а именно его «Система природы»****.

---

* Письмо адресовано: «Г-ну графу де Мазану, в доме аббата Амбле в Париже». Проживая во Флоренции, доктор Мени не знал, что его друг в то время находился в заключении в донжоне Венсеннского замка. На письме имеется множество помет, сделанных рукой де Сада, свидетельствующих о его мании «расставлять значки». В начале первого листа: «Получено 12 февраля № 5. Отмечена половина великого целого». В конце письма, рядом с датой: «Получил 2 письма [23 января 1778 г.], была пятница. По возвращении вот уже 223». На обороте письма, после *P. S.*: «Не соотнесено ли слово *конец* из другого письма с 13 и 9 из этого письма, чтобы составилось 139, число, относящееся уже к нашему времени: времени отсутствия». Эту помету следует соотнести с «Историей 13 и 9» (см.: LML. T. I. P. 144—145). На обороте письма, рядом с адресом, имеется вот такое дополнение (быть может, речь идет о днях в году?):

52
52
52
52
52
52
52
———
364

** Кронстедт Аксель Фредрик (1722—1765) — шведский химик и знаток минералов, автор труда «Опыт классификации царства минералов» (1785).

*** Саж Бальтазар Жорж (1740—1824) — химик и знаток минералов, автор изданного в Париже в 1772 или 1777 году труда «Eléments de mineralogie docimastique». Досимазия — количественный химический анализ металлосодержащих минералов.

**** Речь идет о трех сочинениях натуралиста Карла Линнея (1707—1778). Его «Система природы», охватывающая три природных царства, менее чем за тридцать лет выдер-

Ознакомиться с его классификациями, которые наверняка обогатят французский язык, было бы крайне интересно. У меня есть это сочинение на латыни, но не последнее издание. Дело в том, что я более не хочу покупать продукцию сего кавалера Полярной звезды*, ибо он вел себя по отношению к литераторам словно единоличный властитель, завидующий чужим деньгам. Он торопился опубликовать сочинение, чтобы извлечь из него выгоду, затем делал к нему дополнения, и в конце концов получался десяток различных изданий его сочинения. Однако даже доверчивых людей нельзя обманывать столь часто; в конце концов он приобрел общие черты с теми, кто сумел навязать нам эти книги. Это был великий человек, но среди людей, любящих штудии и красоту, даруемую знаниями, его никогда не станут почитать за честного человека. В его краях люди еще дики, это готы и вандалы**. Прошу прощения за избыток внимания, уделенного сему вопросу. Посылка Ваша будет доставлена мне через Марсель.

Я несколько раз перечитал строки, относящиеся к доктору Иберти. Уверен, сударь, Вы помните, как я говорил Вам, что в случае необходимости смог бы вытащить Вас из Ватикана, где он Вас оставил. Я намеревался отправиться туда по одному делу. А так как у меня нет от Вас секретов, что, полагаю, я уже доказал, то сообщаю, что я намеревался поехать в Рим. Но для исполнения этого намерения необходимо было время, я испугался скомпрометировать и себя, и Вас, а также ввести Вас в расходы. Я все такой же осмотрительный, каким Вы меня знали, а потому раздумал говорить Вам о своем проекте, состоявшем в том, чтобы отправиться туда для заключения некоего соглашения относительно медалей; я уже предпринял некоторые шаги, но, испугавшись, что не сумею довести дело до конца и напрасно потрачусь, мысль эту оставил. Я мог бы сделать и одно, и другое, но это было бы отчасти вопреки Вашим интересам и оскорбляло бы мою деликатность, а поэтому я не стал больше распространяться об этом деле, ибо увидел в нем неожиданные трудности. Мне бы не хотелось ехать в Рим за свой счет, и я решил предложить Вам взять половину расходов по этому проекту на себя, при условии, что я сделаю для Вас описание того, что Вам желательно было бы приобрести. Но это в прошлом; я напишу ему все, что Вы велите мне написать, и попрошу сохранить его собственное описание, заверив, что он ничего не потеряет. Мысль о том, что Вы не смешиваете меня с теми людьми, премного меня утешает, тем более что я совершенно уверен в имеющейся между нами очевидной разнице. Я весьма изобретательно сделал то, о чем Вы просили, хотя и частично; но я не намереваюсь останавливаться на полдороге. У меня есть готовый для Вас материал, но его я отошлю только тогда, когда Вы приедете к себе. Я весьма продвинулся в поисках; можно сказать, уже держу добычу за хвост, хотя она и пытается от меня ускользнуть. Я отыскал множество заметок и анекдотов, которые необходимо приложить к уже имеющемуся материалу; но сразу делать этого не стану, а — подожду, когда Вы пришлете мне мои письма или же копии, где речь идет об интересующих Вас материях. Что же касается зданий, Вам достаточно сообщить мне, что я еще не описал. Я стал настоящим cicerone и должен быть Вам за это благодарен. Полагаю, сейчас мне остается только заверить Вас, что я имею честь оставаться преданным Вам и уважающим Вас, сударь, Вашим покорным и признательным слугой.

Д-р Мени

жала двенадцать изданий. Линней пересматривал, дополнял и исправлял свое сочинение при каждом переиздании: первое издание, вышедшее в 1735 г., состояло всего из трех листов, каждый из которых представлял собой синоптическую таблицу одного из трех природных царств; второе издание (1740) имело уже 80 страниц; шестое издание (1748) содержало 283 страницы; десятое издание (1754) состояло из трех томов, а двенадцатое (1766) — из четырех.

* Шведский король наградил Линнея орденом Полярной звезды, которого до него не удостаивался ни один из литераторов.

** Линней был шведом.

P. S. У нас все по-прежнему, не считая прибытия посла, которого король – или император, коли ему так угодно – Марокко направил к Его Королевскому Высочеству эрцгерцогу выкупить 80 рабов и раиса*, которых г-н Эктон, – да, как бы там ни говорили завистники, именно г-н Эктон, – захватил года три-четыре назад. В свите посла тридцать человек, не блещущих ни одеянием, ни лицом. Впрочем, применительно к одеяниям это всего лишь шутка: всем известно, что варвары одеваются в привычное для них платье, имеющее вид далеко не всегда благородный. Они носят белые плащи и накидки и низко надвигают на лоб тюрбаны. Люди эти не похожи на алжирцев, иначе говоря, столько смуглы, сколько загорелы, черты лица их не низменные (*sic*!), но не отличаются правильностью. Если Вы поручите переписать мои письма, пусть это делают в столбик, чтобы потом было проще делать приписки, и проч.

P. S. Сейчас все обсуждают мятеж на Мальте: великий магистр убит, равно как и множество рыцарей; ожидают подтверждений этих известий. Курьер отбыл, но с 31 декабря и до сего дня 23 января ничего не слышно**.

[Приписка д-ра Мени, приложенная к настоящему письму]

Гудар, получивший во Флоренции скандальную известность по причине своих долгов и постоянных насмешек над флорентийцами, после многих похождений был посажен в тюрьму. Когда его освободили, в тюрьму угодил один из его лакеев. Говорят, его жена замешана в его темных делах; но сам я ее не видел. В конце концов он получил предписание убраться из Тосканы. Одному Богу известно, как он поступит. Но у князей длинные руки.

P. S. Откуда пошел слух, сударь, что Ваше последнее письмо, которое Ренье доверил флорентийской почте, стоило мне три серебряных гроша вместо одного? Мне это странно. Объясните сию загадку. Они захотели получить мою расписку. Соблаговолите написать в Гренобль.

XVII***

[Б. д., 1778 г.]

Сударь!

В этом листке <...> в качестве краткого исторического приложения я приведу несколько анекдотов из эпохи Медичи. Вы сами видите, что статья про этрусков не могла быть краткой, иначе бы она стала излишне запутанной. Эти материалы нельзя переписать, их надо сразу выбросить, однако Вы вполне можете сделать приложение. Весьма обязан Вам за любезное приглашение, но поток слишком широк и перебираться через него нелегко. Г-н Молдетти свидетельствует Вам свое почтение, равно как и все остальные. Он намеревается выслать для Вас вино на свой адрес. Если Вы будете столь любезны и перешлете мне несколько диковинок через Марсель, то их следует направлять на имя почтенного отца Брузетина, приора монастыря фельянов в Марселе: он знает, как организовать доставку, и проч. Супруги Гудар в спешке покинули Флоренцию; с мадам Гудар я с тех пор не виделся. И в данном случае причина не во мне, а в Вас. Гудар был завзятым шулером. Во время карнавала жена его чувствовала себя плохо, и он проводил все время с дамами из театра. Некий венецианец раскритиковал его в пух и прах; один из моих

* Раис – предводитель, духовный лидер с властными полномочиями.

** Под датами «31 декабря» и «23 января» Сад написал: «Пятница». Однако 31 января 1777 г. была среда.

*** Адресовано: «Г-ну графу де Мезану, в замок Ла-Кост. Рядом с Аптоном, что в Провансе».

соотечественников также нашел повод сделать ему ряд упреков, хотя и в более мягкой форме; если Вам интересны эти критические замечания, я перешлю их через Марсель. Примите поклоны и заверения в искреннем к Вам уважении от всей нашей семьи. Через две недели дочь моя выходит замуж, поэтому судите сами, какая суета сейчас царит у меня. Более новостей нет.

[На верхнем поле рукой Мени приписано:] Суть в том, что я превозношу наши времена.

XVIII*

Флоренция, 15 октября 1778 г.

Господин граф!

Прошло уже три месяца с тех пор, как я имел честь написать Вам, однако ответа не получил. Вернулись ли Вы в Париж? Какой новый процесс помешал Вам ответить мне? Вы на меня обижены? Или, быть может, больны? Я очень обеспокоен Вашим молчанием; через неделю или дней через десять у нас есть возможность получить известия друг о друге; почта отвозит письма из Флоренции в Марсель через восемь дней, и на возвращение, полагаю, потребуется столько же. Поэтому время еще терпит. Надеюсь, в последнем своем письме мне удалось достаточно точно описать положение вещей, по крайней мере на то время. С тех пор мне также удалось кое-что сделать: иногда я нахожу кое-какие материалы, а пока мое письмо шло к Вам, я успел совершить путешествие в Кремону, откуда вернулся две недели назад. После почти месячного отсутствия первое, о чем я спросил, — были ли письма от графа де Сада; по возвращении я нашел множество писем, однако ни одного, кое было бы столь любезно моему сердцу, как любезны мне Ваши письма. Одно письмо было от его светлости графа д'Эрбака, которого Вы наверняка имели возможность видеть во Флоренции; письмо произвело на меня живейшее впечатление; вот уже четыре года мы с ним поддерживаем переписку по поводу античных древностей. Однако мы слишком далеки друг от друга. Это он купил у меня коллекцию загадочных истуканчиков, которые, как говорят, обозначают духов мести; однако его письма не идут ни в какое сравнение с Вашими. Завершая послание свое, прошу Вас, сударь, избавить меня от беспокойства и терзаний, в коих пребываю я по причине Вашего молчания. Ежели Вы были больны или же не могли писать мне, я войду в Ваше положение, однако, ежели чувства Ваши по отношению ко мне охладели, буду безутешен. Мое чувствительное сердце более не найдет покоя, ибо оно всегда поступает так, дабы в нем не поселилась неприязнь. Вот, господин граф, моя позиция, и с нее я не сойду, ежели Вы не будете иметь ничего против; тем более что она нисколько не помешает мне с превеликим почтением оставаться Вашим, сударь, смиренным и покорным слугой,

д-ром Мени, врачом Е<го> К<оролевского> В<еличества>.

* Адресовано: «Г-ну графу де Саду, полковнику кавалерии и генеральному наместнику провинций Брес, Бюже и проч., в его замке Ла-Кост, рядом с Аптом, что в Провансе. В Апт, Прованс». Печать почты Флоренции (частное собрание, НП).

Приложение VIII
НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА КЬЯРЫ МОЛДЕТТИ К МАРКИЗУ ДЕ САДУ

I

[Флоренция, август–сентябрь 1775 г.]

Дорогой друг!

В двух строках хочу Вас приветствовать. Тревожусь о Вашем самочувствии и надеюсь, что со вчерашнего вечера Вам стало лучше; мне не удалось Вас увидеть, и поэтому я очень огорчена – не хотелось бы быть источником Вашего недомогания. К тому же, когда Вы уходили, начался дождь, а такая погода могла повлиять на ухудшение Вашего состояния. Сообщите что-либо, чтобы меня успокоить. Посылаю Вам книгу и кинжал с тонким лезвием; я поняла, что предметы эти доставят Вам удовольствие; прошу Вас принять сей дар и расценивать его как слабое выражение моей признательности за все те любезности, кои Вы мне оказали и кои я никогда не смогу вернуть Вам в полной мере. Тем не менее примите мое доброе сердце; оно искренно, ибо любит Вас. Чем скорее Вы придете сегодня со мной повидаться, тем более удовольствия мне доставите.

II

[Флоренция, август – сентябрь 1775 г.]

Любовь моя!

Приветствую Вас и сообщаю, что относительно возможности Вашего размещения у меня в доме возникли большие осложнения, и причиною тому моя свекровь. Сегодня мы об этом еще поговорим. Клянусь, это привело меня в такое возбуждение, что ночью я даже не сомкнула глаз. Сейчас не могу Вам сказать большего, ибо крайне опечалена, равно как и мой супруг. Простите, что выражаюсь недостаточно ясно и пишу наспех. Прощайте, любовь моя.

III

[Флоренция, август – сентябрь 1775 г.]

Простите, ежели беспокою Вас столь рано, однако я места себе не нахожу, зная, что отсутствие мое вызвало Ваше недовольство. И все же я люблю Вас, любовь моя, и клянусь, в будущем стану делать только то, что будет Вам по нраву. Прости ту, кто любит тебя самой живейшей любовью искренне и от всего сердца. Пишу эти строки со слезами на глазах, кои являются выражением моих горячих чувств. Жду Вас сегодня вечером с огромным нетерпением, дабы расцеловать Вас. Всегда верная Вам. Прощайте.

IV

[Флоренция, август – сентябрь 1775 г.]

Дорогой граф!

Я бесконечно Вам обязана за внимание, кое Вы ко мне проявляете. Простите, что не приняла Вашего слугу, но поступать иначе было невозможно. Скажу Вам, что в эту ночь мне удалось отдохнуть гораздо лучше, нежели в прошлую. Теперь для меня важнее всего знать, как Вы себя чувствуете. Не забывайте пить холодную воду, это очень полезно для Вашего здоровья. Вы сами вчера так сказали. Ежели бы мне было дозволено, я была бы счастлива подавать Вам этот стакан, и сама непременно отпивала бы из него половину! Думайте о той, которая нежно Вас любит. Прощайте, любовь моя, и, как Вы мне обещали, не принимайте никого.

V

Флоренция, 23 октября 1775 г.

Мой любимый!

Примите эти строки, перед моим отъездом в деревню. Я не могу не писать Вам. Надеюсь, Вы благополучно прибыли в Рим и путешествие Ваше оказалось приятным. Для меня это важно, ибо я слишком люблю тебя, чтобы лишиться всего доказательства своей любви. Жду твое милое письмецо в ближайший вторник, как мы и уговорились; я предупредила сестру, чтобы вовремя послали за письмом на почту. Сестра Вам кланяется.

Прошу тебя, любимый, не забывай о той, кто обожает тебя. Знай, что единственная моя радость – думать о тебе и вспоминать счастливые мгновения, пережитые вместе с тобой. О, как бы радовалась я в эти минуты, коли могла бы сжимать тебя в объятиях, целовать, обнимать и дарить все те доказательства любви, кои только можно подарить! Я вновь хочу сказать, что ты был первым, кому я сказала о своей любви, кого полюбила сразу, как только увидела, и эта любовь по-прежнему остается самой верной.

Обнимаю тебя. Прощай.

VI

7 ноября 1775 г.

Мой любимый!

Получила Ваше бесценное послание седьмого числа сего месяца, когда уже стала отчаиваться. Честно говоря, мне показалось несвоевременным сообщать мужу о Вашем письме, так как до сих пор я скрывала от него, что мы состоим в переписке: он может догадаться, что тут не обходится без услуг посредницы в лице моей сестры-монахини. Прошу Вас черкнуть ему хоть пару слов, не сообщая, разумеется, что Вы написали также и мне. Вы обещали ему отправить весточку сразу же по приезде в Рим, и он удивлен, что все еще ничего не получил. Однако смею Вас заверить, он постоянно, и пока напрасно, спрашивает почтальона, нет ли от Вас писем.

Как горестно, любимый, узнать, что у Вас все плохо: и дурная пища, и дурное общество! Чего бы я не отдала, чтобы очутиться сейчас подле Вас и сделать для тебя (*sic*!) все, что ты пожелаешь! Я готова на все, лишь бы ты был доволен.

Вы спрашиваете меня, скоро ли наступят роды. Отвечу Вам, что мысль о том, что это может произойти со дня на день, облегчает мое существование. Но о под-

линном утешении я даже не мечтаю, ибо хотела бы видеть Вас рядом, а это невозможно. Пишу наспех, поскольку простудилась, у меня лихорадка, однако надеюсь, что она скоро пройдет. Все это время я грезила лишь о том, что вскоре Вы вернетесь на наши холмы, однако я ошиблась. Надеюсь, Вы получили оба моих письма, но ради моего спокойствия подтвердите их получение; к тому же Вы мне доставите огромное удовольствие, ежели напишете письмецо, ибо я постоянно боюсь, как бы они (письма. – *М.Л.*) не затерялись. Известите меня, пожалуйста, о Вашем здоровье и [расскажите], кто из мужчин или женщин составляет Вам компанию в течение дня. Все твердят мне – в том числе и матушка, – что Вы останетесь надолго, а также что Вы хотите отправиться в Неаполь. Но, мой добрый друг, мы с Вами, кажется, вовсе не так договаривались. Однако предоставляю Вам полную свободу; так я быстрее пойму действительно ли Вы любите меня. Я же клянусь держать свое слово до самой смерти, потому что по-настоящему тебя люблю. Возвращайся поскорее, любовь моя, утешь ту, которая любит тебя и которая с тех пор, как ты уехал, пребывает в неизбывной тоске. Мне бы хотелось иметь один из тех пустячков, что нужны, прежде чем ложиться в кровать; если пришлешь их в письме, буду очень признательна. Прости мою вольность; но ты дозволил мне ею воспользоваться.

Прощай. Береги себя для обожающей тебя Кьяры, той, что живет только тобой и которая верна только тебе.

VII

Флоренция, 21 ноября 1775 г.

Дорогой граф!

Не знаю, небрежение ли это со стороны моей сестры, но я постоянно пребываю в печали, получая письма Ваши на два или три дня позже остальных. Пишу в спешке: поразмыслите над тем, что я собираюсь сказать Вам. Вы уже знаете, что я пишу Вам без ведома близких, никто не должен об этом знать. Именно так, любовь моя, Вы велели мне поступать, и вот почему я убеждена, что Вы сохраните мой секрет. Говорю Вам это потому, что вчера матушка заявила, что знает о нашей переписке. Я все отрицала и буду продолжать отрицать, ежели Вы меня поддержите. При условии, конечно, что Вы уже не раскрылись моей матушке и не поставили тем самым меня в крайне затруднительное положение, которое усугубляется еще одной причиной, но об этом – при встрече.

Я написала Вам прежде, чем получила Ваше долгожданное письмо. Но если я ждала несказанной радости, то теперь вижу, сколь напрасны были мои надежды. Вы сообщаете, как изменилось Ваше отношение ко мне. Дорогой, обвинения Ваши напрасны. Будьте откровенны и признайтесь, что просто ищете предлог, чтобы отправиться в Неаполь: вот уже целый день я привыкаю к мысли о разлуке с Вами. Но, дорогой мой, не такого вознаграждения я заслуживаю и не такую награду ты мне обещал. Вы желаете притворяться и, видимо, хотите скрыть, что получили от меня три письма. Я думала, что уж последнее-то письмо непременно заставит Вас вернуться к той, кто любит Вас. Но я прекрасно вижу, что мне остается только печалиться, несчастья преследуют меня повсюду. Ах проклятый Неаполь! Да и Рим я тоже не могу благословить! Эти два города станут для меня роковыми. Я ведь в этот раз ждала нежного письма, исполненного тех чувств, в коих Вы когда-то клялись мне и коих, как я с горечью убеждаюсь, Вы более ко мне не питаете! Увы, лишь своему несчастью могу я приписать перемену Вашего отношения ко мне.

Ах, как же ты ошибаешься, любовь моя! И как содрогаюсь я от ярости и горя, когда получаю столь незаслуженно холодное письмо, в то время как ожидала совсем иного. Но хочется тешить себя надеждой, что Вы еще переменитесь, ибо я

знаю Вас как человека разумного, пересмотрите свое отношение и уделите больше внимания моим письмам, не огорчайте своим отъездом в Неаполь. О, как я несчастна, ведь каждый день, каждую минуту, я жду твоего возвращения! Всякий миг думаю только о тебе – и с какой радостью! Нет, я не верю, что ты хочешь заставить меня страдать! Я жду тебя; приходи, моя единственная надежда, вернись утешить ту, кто тебя обожает, и тогда увидишь, что я нисколько не заслуживаю рокового приговора, который ты грозишься вынести мне. Ах нет, любовь моя, сначала подумай, стоит ли подтверждать то, что ты сказал мне; действительно ли обожающая тебя бедная Кьяра, с таким нетерпением ждущая минуты, когда сможет заключить тебя в своих объятиях, заслуживает этого. Ах, сокровище мое, если ты бросишь меня, я заявлю, что ты сам выдумал причину покинуть меня, и мне остается только признать, что сердце твое самое что ни на есть жестокое и лживое, и ты не любил меня никогда. Торопясь ответить тебе быстро и ясно, я посылаю тебе тысячу поцелуев, которые, ты, быть может, тотчас отвергнешь. Но я буду вечно верна тебе, я обнимаю тебя, испытывая самую жгучую страсть к тебе в своем сердце, том самом, которое тебе было угодно омрачить. Но я готова получить от тебя любой ответ. Даже смерть от твоей руки будет мне мила. Прощай.

P. S. Никогда не думала, что печаль сия станет одолевать меня в то время, когда я со дня на день должна родить.

P. P. S. Я просила Вас написать моему мужу, но Вы этого не сделали. Ты хочешь, чтобы я стерпела все!

P. P. S. S. Если Вы меня любите, умоляю, не говорите никому, что состоите со мной в переписке.

VIII

27 ноября 1775 г.

Сударь!

Воистину, я удивлена, что в письме к отцу Вы жаловались, что я Вам не писала. Вчера он переслал мне Ваше письмо от 20-го. Наверное, Вы не получили моих писем или же хотите, чтобы все узнали о нашей переписке. Я оказалась в крайне неудобном положении, ибо постоянно отрицала, что пишу Вам, и, соответственно, что получаю от Вас ответы. Впрочем, я всего лишь соблюдаю тайну, которую мы вместе с Вами перед Вашим отъездом договорились соблюдать. Уверяю Вас, мне было весьма досадно, что меня не по моей вине принимают за лгунью. Быть может, Вы лучше знаете мои недостатки, известно ведь, что соломинку в чужом глазу всегда видишь лучше, нежели бревно в собственном.

Однако не могу не выразить Вам своего почтения и остаюсь Вашей покорной слугой

Кьярой Молдетти.

IX

26 января 1776 г.

Очень удивлена отсутствием от Вас писем – хотя бы ответов на мои собственные письма – тем более что со всех сторон мне твердят, что Вы упрекаете меня за молчание. Но я же вижу, что все как раз наоборот. С последней почтой я отправила Вам письмо, адресовав его в Рим. Я несколько раз справлялась, где Вы сейчас пребываете; мне ответили: в Риме. Вы не соблаговолили сами сообщить мне, когда Вы отбываете и где намереваетесь остановиться в Неаполе, дабы я могла туда адресовать свои письма. Поэтому прошу Вас оказать мне великую любезность

и сделать так, чтобы письма мои были переданы Вам в Неаполь, и тогда Вы увидите, что это не я не отвечаю Вам, а, наоборот, Вы – мне. Однако из всего этого приходится делать вывод и верить, что лишь Ваши многочисленные занятия помешали Вам написать мне. Когда видишь новые вещи, которых у себя не имеешь, тотчас забываешь про те, которые уже видел и о которых тебе рассказывали. К примеру, Неаполь, где Вы прежде никогда не были, теперь занимает вас более всего, а судя по тому, что мне рассказывают, там есть немало удивительно красивых вещей.

Прошу Вас сообщать мне новости о себе, сие будет для меня весьма ценно. Полагаю, что Вы уже разместились у моей сестры, которой я прошу передать множество приветов, а также попросить снизойти и ответить на мое последнее письмо. Жду с нетерпением известий. Когда Вам станет нечего делать, полагаю, Вы найдете немного времени, чтобы ответить мне, я же по-прежнему пребываю Вашим почтительнейшим и искренним другом

Къярой Молдетти.

P. S. Помните, что никто не любит Вас более, чем я. Прощайте.

X

Флоренция, 29 января 1776 г.

К сожалению, до сих пор не получила от Вас ни одного письма, кои доставляли мне прежде столько радости. Я ожидала ответа хотя бы на два последних письма, однако ответа нет как нет. Меня одолевают самые мрачные предположения, боюсь, что после несправедливых упреков в мой адрес Вы просто даете мне понять, что устали от меня, что я Вам наскучила, и хотите подтолкнуть меня самой отказаться писать Вам. Однако будьте уверены, что я постоянно буду докучать Вам письмами, и даже если Вы лишите меня Ваших изысканных посланий, стану с наслаждением перечитывать те, что у меня хранятся и где, как я была уверена, столько искренних чувств. Не знаю даже, что и подумать. Говорят, Вы удивлены отсутствием официальной просьбы стать крестным отцом. Это удивляет и меня. Ведь муж мой отправил Вам приглашение по всем надлежащим правилам. Вы были столь добры, что быстро нам ответили, однако в ответе ни слова о том, окажете ли Вы нам честь держать над крестильною купелью нашего ребенка. Вы кратко ответили на вопрос моего мужа об aleatico*, а также выразили радость по поводу моего благополучного разрешения от бремени, и ничего более. Однако, полагаю, мне стоит отбросить все свои подозрения – быть может, они напрасны, кто знает? Возможно, суровое время года, кое стоит сейчас, наводит меня на мрачные мысли; надеюсь, с наступлением смеющейся весны, чувства изменятся сами собой и расцветут, искренние и правдивые, словно чистейшие и белейшие розы.

Мне более нечего Вам сказать, кроме того, что начинается время карнавала: подумайте, как лучше его использовать и получить все возможные удовольствия. Я еще не была в театре, но зато посетила все празднества. У мадам Лапер будет небольшой прием, куда я пойду, как и на все празднества, с моими родителями и сестрой, ибо мы с ней неразлучны. Так как Вы были столь любезны, что неоднократно спрашивали, как обстоят дела в моей семье, то отвечаю, что в семье все благополучно и малыш также чувствует себя лучше, ибо прежде ему было очень худо. Когда увидите мою сестру, передайте ей мои наилучшие пожелания, равно как и моему шурину. Имею честь оставаться с искренним уважением вашей почтительной и обязанной Вам слугой

Къярой Молдетти.

---

* Сладкое красное вино (*ит.*).

XI

Флоренция, 9 февраля 1776 г.

Мой дорогой «крестный»!

Надежда получить ответ на свои письма лишила меня удовольствия ответить Вам с последней почтой, ибо я надеялась, что получу известие о дне Вашего столь долгожданного прибытия. Однако, полагаю, Вы хотите подарить мне еще большее счастье, сделав приятный сюрприз. Но, как бы там ни было, все равно это будет для меня большим утешением. Поверьте, любовь моя, еще никто столь не волновал мое сердце. Ваш облик всегда у меня перед глазами; это единственная радость, кою я испытала в этом мире с тех пор, как имею счастье быть с Вами знакомой. О, какая мука сдерживать свои чувства! И только радость, коя охватывает меня, когда я пишу Вам, мешает погрузиться в печаль, гнетущую сердце. Но я надеюсь когда-нибудь получить удовлетворение и рассказать Вам лично о моих чувствах.

Простите, если строки мои покажутся Вам глупыми. Если бы Вы были здесь, то поняли бы, отчего я так пишу.

Прощайте.

Ваша самая в <верная?>

К.М.

Приложение IX
ПИСЬМА И ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЖАЛОВАНИЮ ПРИГОВОРА В КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ (1776–1778 гг.)

I

КОПИЯ ПИСЬМА Г-ЖИ ДЕ МОНТРЕЙ К ГОФРИДИ ОТ 12 МАРТА 1776 г.*

Сударь, 29 февраля я отправила мадам де С<ад> Ваше письмо, полученное 27-го числа сего месяца и отправленное вами 16-го числа, сразу же после Вашего возвращения из Экса. Опоздание почты мне совершенно непонятно; однако ясно, что задержки происходят не в Париже. Что касается статьи, содержащей предлог для аннулирования приговора, то каждый парламент вправе изменять ее и избирать соответствующие причины по своему усмотрению. Мы здесь не найдем более веских причин, *поводов для аннулирования,* нежели нашли эти господа, а последние адвокаты, с которыми я советовалась, единодушны в том, что этими причинами могут стать именно отсутствие формальностей, регламентирующих постановления, однако по процедуре признания приговора недействительным не принято выносить одно и то же постановление. Это всего лишь соображения, однако, боюсь, их одних недостаточно для отмены судебного решения. Они все согласны с тем, что разговоры о яде утихли в процессе самого судопроизводства, и речь уже не шла ни о кантаридах, ни о каких-либо наркотических веществах. Вот почему не стоит опираться на содержание отказов от иска обеих девиц; шпанскую мушку следует рассматривать всего лишь как повод с их стороны, в результате которого были сделаны неправильные выводы, а опираться на постановление врачей и аптекарей, впоследствии измененное, содержащееся в процессуальных документах, а также на тот очевидный факт, что, вне зависимости от вышеозначенных доказательств в нашу пользу, все свидетельствует в пользу обвиняемого. Какой интерес ему давать яд девицам, которых он никогда не видел, о которых никогда не слышал и чье занятие не располагает ни к влюбленности, ни к ревности, да и вообще не вызывает никакого интереса? Я напоминаю Вам об этом, потому что мне кажется, что г-н Симеон весьма далек от того, чтобы принимать защиту мадам де С*** и ее детей близко к сердцу, и занимается этим делом недостаточно серьезно**. Все, что мне известно о его манере вести дело, я могу приписать только этим соображениям, ибо не имею оснований усомниться в его опытности, подтвержденной его блестящей репутацией; хотя, разумеется, он может быть более сведущ в гражданском праве, нежели в уголовном. Ибо если его мнение пребывает в согласии с параграфом из письма, полученного здесь позавчера и адресованного г-ну прево г-ном аббатом де С<адом>, то мнение это мне кажется необдуманным. Если необходимо делать представление, то прибегать к милосердию короля бесполезно, потому что представление обвиняемого на осно-

---

* Выполнена рукой Гофриди.

** Адвокат из Экса Жозеф Жером Симеон, будущий государственный советник и министр внутренних дел, выступил и получил разрешение на обжалование приговора, вынесенного по Марсельскому делу 30 июня 1778 г.

вании закона делает всю процедуру, проделанную до принятия постановления, недействительной. А начинать расследование заново, с новыми незаинтересованными следователями, возможно, было бы путем наиболее верным; однако такой путь опасен. Поэтому именно для избежания повторного расследования понадобится содействие королевской власти. И чтобы добиться желаемого, не встретив препятствий со стороны судей, надо убедить их, что приговор несправедлив, а процесс проведен не по форме; и что со стороны королевского правосудия, со стороны трибунала, каковым теперь является настоящий парламент Прованса, будет правильно помочь третьей стороне, чья честь и состояние были затронуты таким приговором, и что несправедливо было принуждать приносить жалобу в отсутствие обвиняемого или жаловаться на то, что сей обвиняемый никак не объявится.

Именно на эти обстоятельства и надо нажимать, необходимо убедить судей в том, что был нарушен принцип чести и равенства, прежде чем им будут направлены представления министра, устоять на своем, несмотря на строгость применяемых воздействий и на особые соображения, которые противодействуют протесту, сделанному прокуратурой, но который признан здесь вполне законным и бесспорным.

II

КОПИЯ ПИСЬМА [Г-ЖИ ДЕ МОНТРЕЙ] К Г-ЖЕ ДЕ С***

В тот же день, 12 [марта 1776 г.]*

Я нисколько не пренебрегаю Вашим делом, сударыня, и не забыла число, когда было вынесено судебное постановление; оно слишком часто стоит у меня перед глазами. Я знаю, что до истечения пяти лет остается шестнадцать месяцев. Если бы даже срок этот был равен десяти годам, я все равно сделала бы все, чтобы аннулировать приговор завтра, а не потом, если таковое возможно; но, говоря чистосердечно, сударыня, неужели Вы считаете, что это зависит только от меня? Я делаю все возможное и, пожалуй, даже больше, чем он заслуживает; я стараюсь преодолеть возникающие трудности, а Вы все еще не можете отрешиться от ощущения, что Вам препятствует кто-то сверху. Тем не менее, сударыня, не отчаивайтесь! Хотя Вы сами видите, что не время отвлекать министров, занятых делами государственными, вопросами о частных лицах; нас просто не станут слушать. Тем более что двое министров, чья поддержка мне нужна, имеют противоположные мнения об интересующих нас постановлениях. Надо подождать, пока они справятся со своими трудностями, затем я начну предпринимать шаги в соответствии с принятым планом.

Вот некоторые соображения, которые я прошу Вас передать без изменений, то есть написанными моею рукой (себе, если угодно, можете оставить копию) г-ну Гофриди. Я хочу, чтобы он передал их аббату де С<аду>, а копию — г-ну Симеону, чье мнение имеет большой вес.

Относительно разумных доводов, которые Вам угодно именовать проволочками — а Вы утверждаете, что у нас слишком много проволочек, — могу сказать только, что Вы следуете примеру слепых, решивших вынести свое суждение о свете. Если кто-то может сделать лучше, я от всего сердца уступлю ему это право и славу победителя. Я очень тороплюсь; вот уже целых три дня я каждый вечер провожу по три часа взаперти, обсуждая Ваше дело с самым опытным прокурором Шатле по уголовным делам, а именно с г-ном Куртево, ибо мои адвокаты не сумели найти достойного повода для аннулирования приговора.

В конце концов ежели Вы или г-н де С<ад> имеете в Париже доверенного человека, которому хотели бы поручить ведение Вашего дела, я согласна вступить с ним в любые переговоры; быть может, ему Вы и г-н де С<ад> станете доверять больше.

---

* Копия выполнена рукой Гофриди.

Копия краткого изложения замечаний по поводу судебной процедуры и последующего приговора

Исходя из того, что несоблюдение надлежащих формальностей, предписанных при проведении уголовного процесса, повлечет, согласно определениям вышеуказанного постановления, не аннулирование результатов процесса, а создание условий для повторного расследования, ибо на это имеется соответствующее постановление, следует, что повод для аннулирования в глазах закона, видимо, должен быть иным. Осмотрительность, продиктовавшая сии постановления во избежание нежелательных последствий, кои могли бы иметь граждане по прихоти своих врагов, очевидно не напрасна, ибо судебное производство, осуществляемое не по форме, все еще существует. Когда речь заходит об уголовном законодательстве, нет сомнений, что отсутствие одной-единственной предписанной формальности влечет за собой признание приговора недействительным.

Какое еще более грубое нарушение может содержаться в судебном решении (отнюдь, впрочем, не мягком, каковым является решение, кое мы хотим обжаловать), вынесенном на основании полной убежденности в совершении преступления, хотя показания, легшие в основу судебного следствия, свидетельствуют о ложности обвинения? Следует использовать все возможные аргументы в пользу невиновности обвиняемого в этом вопросе: никакого мотива, никакого интереса давать яд неизвестным женщинам, чья профессия не может внушить ни влюбленности, ни ревности, тем более мужчине, вращающемуся в совершенно иных кругах, нежели эти женщины.

Предполагая, что по второй статье обвинения невозможно доказать полную невиновность подсудимого, все же надо настаивать на том, что для вынесения приговора оснований нет. Тем более что по этому делу нет ни одной жалобы, а следовательно, и состава преступления. Поэтому, ежели говорить о равноправии, о правосудии, очищенном от предвзятости, следует, воспользовавшись отсутствием надлежащих формальностей, не соблюденных при судопроизводстве, аннулировать позорное постановление и вынести оправдательный приговор по обвинению в отравлении и признать обвиняемого обвиненным неправедно, как по фактам, так и по намерениям. Второй приговор отпадает сам собой по причине отсутствия состава преступления и жалоб. На крайний случай оправдательный приговор может быть вынесен ввиду отсутствия последствий.

При таком исходе дела безупречная репутация прокурора нисколько не пострадает; напротив, в его задачу входит защита каждого гражданина против клеветы и оскорблений, равно как и наказание преступлений.

Естественно было бы сказать: если обвиняемый невиновен и хочет быть оправдан, ему достаточно предстать перед судом, чтобы поцесс был признан недействительным и начато новое следствие по делу.

Да, разумеется, но тут он подпадает под действие существующего указа, согласно которому он должен находиться в тюрьме. Как это тяжко для человека, обвиненного неправедно! Более того, для человека знатного, известного в королевской армии своими заслугами и рвением, проявленным им в деле служения своей отчизне! Именно там, на поле боя, он подвергал риску свою жизнь, коя теперь подвергается риску из-за судебной ошибки, на основании которой ему приписали невероятные гнусности!

Не говоря уж о частных соображениях, которые могут его остановить. Сколь печальны примеры, когда правосудие ошибается или заблуждается! Разве при воспоминании о де Лангладе, Каласе и многих других любой обвиняемый не содрогается от ужаса и не начинает сомневаться в собственной невиновности? Или, по крайней мере, не начинает стараться защитить ее, будучи на свободе? Речь должна идти о справедливости наших законов и его служителей, а потому есть основания надеяться, что нам пойдут навстречу.

III

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬШИ ДЕ МОНТРЕЙ К ГОФРИДИ

[Февраль 1778 г.]

Первоочередные вопросы, коими следует заняться.

И вот почему: примерно год назад мы убедились, что де С<ад> время от времени подвержен приступам безумия, а сегодня разум все чаще покидает его. В сем плачевном состоянии он не может предстать перед судом ни по своей воле, ни по повелению. Да и каких объяснений можно требовать от человека, пребывающего в состоянии умственного расстройства? Следовательно, речь идет о том, чтобы официально признать его безумным: в случае такого признания попечитель, заинтересованный в его полном оправдании ради его малолетних детей, семьи и заинтересованных сторон, смог бы явиться вместо него в суд и просить отменить неправедное решение суда, неправильное по фоме и несправедливое по содержанию и на этом основании требовать пересмотра приговора.

Каким должна быть эта процедура, чтобы парламент Прованса принял ее и согласился с ней? Надо ли посылать об этом запрос непосредственно в сей парламент? К кому следует обращаться о назначении попечителя? Говоря о давно признанном состоянии безумия, надо ли напоминать, что именно безумие побудило семью умолять короля поместить вышеуказанное лицо в крепость, что и было сделано год назад? Мы надеялись, что неустанные заботы исцелят его и выведут из нынешнего состояния, в кое его ввергли предыдущие несчастья, и что он сможет сам выступить в свою защиту и потребовать, чтобы приговор ему был вынесен согласно закону. Но что прикажете делать теперь, когда душевное здоровье его не только не улучшается, но, напротив, продолжает ухудшаться, не оставляя надежд на выздоровление? Должно ли провести процедуру признания невменяемости здесь, или в ответ на этот запрос ее проведет назначенная тамошним парламентом комиссия, коя прибудет сюда и начнет дело с самого начала, или же сделать это будет поручено одному из членов парламента, которые теперь находятся здесь, например, Ману, или же запрос должен быть составлен семьей де Сада как стороной заинтересованной? Пусть нам скажут, как следует поступить; мы так и поступим. Вот, сударь, основная задача, кою Вам надлежит исполнить; для этого следует направить ходатайства пер<вому> председателю и генеральному пр<окурору>. Полагаю, министр не станет противиться и выполнит Вашу просьбу, ибо она совешенно законна и легко выполнима. Я буду просить вышестоящие инстанции упростить для нас форму ведения процесса насколько это возможно — ради того, чтобы не множить и без того немалые трудности и чтобы ускорить оправдание и решить судьбу несчастных детей.

Полагаю, вы заметили, что в прошении *на имя короля, направленном в королевский совет*, кое он представил и подписал в свое время, он заявляет, что не давал девицам ничего, что могло бы оказать действие, на которое они жаловались, и что в пастилках был всего лишь анис. Вам следует подчеркнуть, что заявление это вполне согласуется с протоколом фармацевтов, а также указать на дурной вкус девиц, отчетливо следующий из их показаний, на их пристрастия пускать ветры; о шпанской же мушке речь идет только в отказах от показаний сих девиц, данных по их собственному побуждению, а посему отказы сии не могут являться аргументом для обвинения. Анис сам по себе горячит, однако нисколько не вреден для организма. Разумеется, злоупотребление им может причинить некоторое нездоровье, однако ни о яде, ни о намерении причинить вред даже речи не может быть. Вот, как мне кажется, следует строить защиту против обвинения в отравлении. Тем более что заявления и протоколы, составленные аптекарями, не могут быть поставлены под сомнение, так как расследование и проч. проводилось при закрытых две-

рях, а постановление издано прежде, чем г-н де Сад или же кто-либо из его семьи мог узнать, какие выводы сделает следственная комиссия. Это подтверждается датами и фактами.

Прощайте, сударь. Поезжайте, прошу Вас. Первый председатель предупрежден о Вашем приезде, он ждет Вас уже две недели. Ответ напишите как можно скорее.

IV

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬШИ ДЕ МОНТРЕЙ К ГОФРИДИ

Париж, 21 марта 1778 г.

Сударь, Ваше письмо из Экса и приложенный к нему запрос я получила. После многочисленных совещаний я все же сомневалась, правильное ли мы здесь приняли решение. Крайне затруднительно будет скрыть сей маневр от мадам де Сад, но это необходимо, иначе возникает множество неудобств. Я все обдумаю с нужными людьми, от которых зависит дело, и тогда смогу с полным правом действовать, имея на руках запрос. Когда настанет время, я Вам сообщу. Поразмыслили ли Вы над тем, что после проведенных Вами консультаций необходимо предусмотреть, прежде чем начать новое следствие для вынесения благоприятного приговора? На мой взгляд, по первому вопросу нам опасаться нечего: эти твари не смогут сказать ничего нового по сравнению с тем, что уже имеется в протоколах первого расследования. Имеются письменные показания фармацевтов в пользу обвиняемого, так что здесь тоже все без изменений. Также нет никаких доказательств употребления шпанской мушки: девицы не могут сообщить больше, чем они сообщили во время первого расследования. Это был всего лишь засахаренный анис, без добавления чего-либо, и единственно предрасположенность их, без сомнения, привела к некоторому недомоганию. Латур мне поклялся, что ел эти конфетки в одно время с ними, из той же коробки и в их присутствии, и у него они не вызвали никакого расстройства.

По второму вопросу: появление *Маргариты Кост*, коли ее отыщут, вряд ли доставит много неудобств: она отказалась от своих показаний, когда ей их зачитали. Но было бы жаль, коли отыскали бы четырех остальных, особенно трех из них. Тогда пришлось бы устраивать очную ставку с обвиняемым, что всегда неприятно и затруднительно. В этом вопросе следует принять меры верные, однако осмотрительные. Узнав, где они находятся, Вы могли бы увидеться с ними, поговорить и т. п., проделав все, разумеется, в тайне, необходимой в деле такой важности, особенно в провинции, а также в Марселе (где следствие проводиться не будет). Вы должны были меня правильно понять, когда я предписала Вам во всем следовать указаниям Симеона и Пазери, иначе говоря, самому определить степень доверия, кое Вы можете к ним питать. Рассчитываю на Вас, сударь, полностью Вам доверяю.

Получателем бенефиций мадам де Сад назначит прево аббатства Сен-Виктор, который, разумеется, согласен. Надо выяснить, имеет ли она право выбирать получателя бенефиций вместо мужа или же право это принадлежит лицу вышестоящему; тогда нам надо бы как можно скорее составить подробную опись всех бенефиций. Вы сможете найти соответствующие разъяснения в бумагах аббата, ибо он был их получателем. Торопитесь, чтобы не упустить время; это единственное средство не дать им уйти из семьи.

Я удивлена, что разговоры о повышенном спросе на ферму в Мазане прекратились, ибо мне известно, что она хотела ее сдать. Я знаю, что участки, находящиеся во владении маркиза де Козана, приносят 2400 ливров, и это не считая того, что там

производится, а тамошняя продукция тянет на сумму никак не менее 4000 ливров. Но доля сеньора составляет всего половину; так стало с тех пор, как он там управляет, и в этом надо отдавать себе отчет.

Прощайте, сударь. Как видите, я страшно тороплюсь. И хотя ответ на мою записку был даже не один, это нисколько не изменило моего мнения, которое остается прежним.

Жду ответа как можно скорее.

V

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬШИ ДЕ МОНТРЕЙ К ГОФРИДИ (1)

Париж, 31 марта 1778 г.

Прошу Вас, сударь, запросить и прислать мне как можно скорее свидетельство королевского судьи сенешальства Форкалькье, датированное июнем месяцем истекшего года, где засвидетельствовано, что маркиз де С<ад> по-прежнему отсутствует, что дети его по-прежнему являются малолетними и что супруга его продолжает управлять имуществом мужа и осуществлять опеку над детьми. Мне необходимы эти свидетельства за 1772, 1773, 1774, 1775 и 17776 гг.: всего пять, и все их можно датировать маем 1777 г. Это нужно для получения недоимок по рентным платежам и представления сведений в Счетную палату для генерального сборщика налогов провинции Бургундия.

Считаю необходимым оставить г-ну Льонсу 500 ливров, попросив его уладить все необходимые дела как можно быстрее.

Мы все, сударь, работаем ради успеха самого важного и главного для всех дела.

Прошу Вас по-прежнему быть уверенным в моем уважении и доверии к Вам, и с ними я и остаюсь, сударь, Вашей смиренной и покорной слугой.

Масон де Монтрей

VI

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬШИ ДЕ МОНТРЕЙ К ГОФРИДИ

[Начало апреля 1778 г.]

Сударь, я устно передала мадам де С<ад> содержание Вашего письма из Экса, ибо не хотела, чтобы у нее сложилось четкое представление о тех способах, к коим мы намереваемся прибегнуть, ибо они бы только расстроили ее, взволновали и, как мы с Вами можем предположить, побудили бы к действиям, не всегда уместным. К тому же сам министр совершенно недвусмысленно предписал мне хранить все в глубокой тайне. Она передала мне оригинал Вашего письма от 20 марта, где Вы кратко касаетесь интересующих нас вопросов, что никому не повредит.

Мы скажем ей, что после ряда совещаний пришли к выводу, что дело можно решить двумя способами: первый состоит в открытой явке в суд, второй — в процедуре признания помрачения рассудка, и в обоих случаях семья получит грамоты на право судебного иска; когда будет назначена судебная экспертиза, провести ее будет поручено следователям, из числа коих исключаются господа из парламента, поэтому она будет проведена в полном согласии с заинтересованным лицом; кажется этот способ более надежен, ибо он позволяет избежать сложных судебных хитросплетений, которые могут возникнуть, равно как и появление и выступление нежелательных лиц. Мне кажется, нас должны поддержать, тогда мы добьемся успеха и приведем все в надлежащий порядок. Полагаю, Вы со мной согласны?

Ради успеха дела мы с Вами должны действовать в полном согласии, и вам следует осознать абзац из моего последнего письма относительно марсельских девиц, равно как и то, какие предосторожности следует принять. Жду Вашего ответа, он мне крайне важен. У Вас есть два адвоката, на которых Вы можете рассчитывать; они станут защищать маркиза де Сада, когда в этом будет нужда: это Симеон и Пазери. Необходимо безотлагательно предупредить их о том деле, исполнить которое я Вас прошу. В случае ежели мадам де Сад, по-прежнему относящаяся ко мне с недоверием, хотя она и старается делать вид совершенно противоположный, напишет им, чтобы узнать, каковы их соображения и какие ходят слухи, они могут, сами того не ведая, совершить опасную по своим последствиям нескромность. Так как Вы прекрасно знаете, до какой степени ослепления или же слабости доходит мадам де Сад, Вы, полагаю, сами понимаете необходимость предупредить их.

Приложение X

ЗАМЕТКИ Г-ЖИ ДЕ МОНТРЕЙ О НАСЛЕДСТВЕ АББАТА ДЕ САДА (1778 г.)

I

ЗАМЕЧАНИЯ В ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ КРЕДИТОРОВ ПОКОЙНОГО АББАТА ДЕ САДА*

Аббат де Сад, скончавшийся в Сомане, жилище, кое было ему предоставлено вместе с обстановкой покойным графом де Садом, его братом, исключительно во временное пользование, так как владельцем сего жилища являлся и является в настоящее время маркиз де Сад, его племянник, назначил своим наследником согласно завещанию своего брата, бальи де Сада. Бальи де Сад принял наследство и пользовался им и с тех пор даже продал кое-что из находившихся в замке вещей. Следовательно, он был в ответе за долги и обязательства, имевшиеся на наследстве покойного аббата де Сада. Почему покойный не оплатил их при жизни? Этого ни маркиз де Сад, ни лица, коим поручено управлять его делами в его отсутствие, знать не могут. Ясно только, что маркиз де Сад сам являлся кредитором покойного аббата и великого приора, что следует из исков, кои он подавал и был вправе подать на их наследство.

Если г-н Гофриди сумел каким-то образом уладить дела с кредиторами покойного аббата де Сада, то он мог это сделать только в качестве представителя бальи де Сада, к вящему удовлетворению сторон; однако г-н бальи умер, не успев вступить в права наследства**. Нет сомнений, что его наследство, заключающееся в обстановке, подлежит передаче, и орден, став наследником этого движимого имущества, не может утверждать, что это его не касается***. Именно к ордену, а не к маркизу де Саду должны обращаться кредиторы, ибо маркиз де Сад не причастен к этим долгам, *он сам ничего не получил* и сам является кредитором как одного, так и второго дядюшки. Вследствие чего ордену была предъявлена вся сумма долгов, коя весьма значительна и бесспорна. Орден еще не вынес решения относительно этих долгов.

Что же касается требований кредиторов покойного аббата де Сада, из двух статей необходимо выяснить одну: мог ли господин бальи, согласно уставу своего ордена, наследовать своему брату или же не мог. Фактически он унаследовал ему и пользовался полученным наследством, так как он даже продавал вещи из отошедшего к нему имущества, что доказано по документам.

Если он имел право ему наследовать, значит, долги аббата перешли к нему, он должен был их погасить, и вполне вероятно, что он намеревался как-то

---

* Написано рукой г-жи де Монтрей (АС, НП).

** Автор это понял следующим образом: не уладив разногласия, бальи де Сад, великий приор Тулузский, умер 20 сентября 1789 г., в своем доме в Сен-Клу, в нескольких лье от Мазана.

*** После смерти приора Мальтийский орден затребовал себе его имущество.

уладить эти дела, вести которые он от своего имени хотел поручить Гофриди; но сейчас на наследстве его долги эти пребывают.

Если он был не вправе наследовать, то орден должен отказаться от своих требований на наследство и возместить ту часть имущества, оставшуюся после смерти аббата де Сада, которую господин бальи продал; какова же эта часть имущества как в денежном выражении, так и в вещественном, определить не сложно, ибо после смерти аббата опись его имущества была составлена; возместить стоимость утраченного имущества необходимо деньгами.

Итак, после соответствующих размышлений, мы вправе обратиться к мэтру Гофриди с просьбой подать иск,что, впрочем, он уже сделал, дабы предоставить маркизу де Саду право возместить долги всем первостепенным кредиторам, ибо господин маркиз может взять на себя обязательство уладить дела покойного аббата, то есть сделать то, что собирался сделать сам бальи, и выполнить обязательства прежде всего по отношению к кредиторам, задолженность которым составляет сумму в 4000 ливров, заключив с ними соглашение, на основании которого маркиз де Сад становится ответственным за погашение долгов соответствующим кредиторам из наследства покойного аббата, однако он ни под каким видом не берет на себя ответственность за иные долги, если таковые вдруг обнаружатся.

Но прежде всего решение должен принять Мальтийский орден, поэтому обращаться следует прежде всего к нему.

II*

После смерти аббата в Сомане нашли инвентарную книгу, составленную дедом**, а также множество листов, выдранных из этой книги, и, в частности, листов, относящихся к мебели, имеющейся в Сомане, которой аббат был вправе только пользоваться. Вышеуказанная книга была передана в канцелярию суда Сомана, где секретарем является Бресси; нам хотелось бы передать ее Майе, нотариусу в Л'Иле, помощнику Рипера-сына, нотариуса и секретаря суда в Мазане, дабы указанный Майе был единственным нотариусом, ответственным за хранение сей инвентарной книги в Л'Иле.

Среди вещей замка Соман, вывезенных в Виньерм, числится библиотека, мебель, а также посуда, переданная командором мадам де Вильнев.

Кабинет естественной истории и медали принадлежали покойному аббату.

Следует выяснить: куда делись переплетенные реестры, содержащие бумаги, подтверждающие дворянские титулы семьи, а также документы, взятые отсюда в 1766 и 1767 гг. и направленные де Божону, дабы тот заверил их для предъявления при дворе; затем бумаги эти были отосланы обратно покойному аббату де Саду.

Nota. Часть земельного владения Виньерм, приобретенного покойным аббатом, не была оплачена, а посему должна быть возвращена тому частному лицу, у которого оно было приобретено. Процент со сделки был уплачен исходя из подлежащей вычету скидки за рентные платежи, кои владелец был должен сеньору Сомана.

В качестве уплаты за земельный участок он задолжал Валану де Соман сумму, приносящую 120 ливров ренты. Надо оставить все как есть. Необходимо делать регулярные выплаты или покрыть данный платеж из первых же доходов, которые поступят.

---

* Написано рукой г-жи де Монтрей (АС, НП).

** Гаспаром Франсуа де Садом (1669–1739), дедом Донасьена.

По описи ценных бумаг покойного аббата, сделанной в марте 1778 г., ясно, что долгов больше, чем имущества:

В Оде, по доверенностям на получение бенефиций с Бонье	3000 ливров
Арендатору Бонье в качестве аванса	1500 ливров
Арендатору бастиды Соман	1000 ливров
	5500 ливров

Другие статьи: слесари, рабочие, слуги, уполномоченные за свои особые услуги, оцененные согласно вышеуказанным статьям, должны получить от восьми до девяти тысяч ливров.

Законная доля аббата, оцененная им самим в письмах, направленных графу, своему брату, составляет пять тысяч ливров, из которых он не потребовал у него ничего, так как последний предоставил ему право безвозмездного пользования мебелью и книгами, составлявшими часть наследства мадам де Сад, их матери, полученного в 1780 г.

Из Виньерма в замок Соман был перевезен целый кабинет, и ключ от него находится у Гофриди, а большинство вещей из него, согласно имеющимся у нас сведениям, принадлежат маркизу де Саду. Остальное осталось в Виньерме, в руках привратника командора.

Приложение XI
ЗАМЕЧАНИЯ, РАЗМЫШЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, СДЕЛАННЫЕ ПО СЛУЧАЮ ДЕЛА, О КОЕМ СООБЩИЛ МНЕ МЭТР БОНТУ 18 МАЯ 1778 г.

[«Письмо с большими полями», написанное на левой половине каждого листа. На первом сверху – пояснение:] Я нарочно оставляю свободным это поле, дабы на нем написали ответы и прислали их мне в этой же тетради.

1. В своем письме председательша де Монтрей утверждает, что ничего не будет делаться без моего согласия. Фраза эта пугает меня, ибо под этим подразумевается: из опасения услышать упреки. Разве моего согласия когда-либо спрашивали? Неужели меня арестовали и поместили в тюрьму с моего согласия? В том же самом письме теща моя добавляет: «*Принимая во внимание важность сего дела*»; слово «важность» также свидетельствует о том, что мне следует остерегаться. В своем письме сия особа пишет так, словно желает убедить всех, что речь идет о простой формальности. Однако г-на Бонту это настораживает. Где же все-таки правда? Данное обстоятельство является для меня самым важным, и я не могу уехать, не разобравшись в этом вопросе.

2. Сначала рассмотрим положение вещей в благоприятном для нас свете и получим:

Совершенно очевидно, что это злосчастное дело, повлекшее за собой *скандал* и *безобразные слухи*, непременно потребовало от правосудия издания какого-либо постановления. Выставив меня виновником происшествия и не покарав, они навлекли бы на себя бесчестие, отсюда и это постановление. Покарав меня, судьи, которые вынуждены были это сделать, наверняка станут более гибкими: их честь, без сомнения, восстановлена и осталась незапятнанной. Но можно ли на это рассчитывать, и не слишком ли опасно идти и подставлять свою голову, когда тебя уже приговорили к ее отсечению? Не получится ли так, что появятся тайные враги в провинции, где я имею все основания опасаться таковых, и не смогут ли эти враги повредить мне?

3. На это мне ответили, что я все это время буду находиться под защитой короля. Во время Аркейского дела я этого нисколько не ощутил, скорее, наоборот, и совершенно очевидно, что наступает момент, когда рука короля перестает простираться над тобой. Король заключил меня в тюрьму парламента, и он же меня оттуда освободит; однако все то время, которое я буду в ней находиться, я буду пребывать во власти правосудия, и все это время оно будет мною распоряжаться. И время это я проведу в Эксе. Но каковы будут мои гарантии на это время? Мой приказ об аресте без суда и следствия? Парламент не может принять его во внимание, а следовательно, и тюремный привратник. Полицейский чиновник? Однако, доставив меня в Экс, он оставит меня в тюрьме, поручив меня тюремному начальству. И вот я остаюсь совершенно без защиты. К тому же весь этот план свидетельствует о том, что мне по-прежнему доверяют не полностью, а подобное предприятие требует полного доверия. Почему жена ничего не пишет мне об этом замысле?

Почему ничего не объяснит мне? Я получил от нее письмо, и оно весьма меня встревожило. Она заявляет вполне определенно, что окончание сего дела не принесет удовлетворения. (письмо 54, строка 18). Слова эти вполне способны породить соответствующие подозрения; что они означают?

4. Тем не менее здравый смысл диктует — и я в этом убежден, — что было бы совершенно абсурдно вообразить, что меня заставили столько страдать исключительно для того, чтобы все завершилось еще более ужасающей катастрофой. Но если мне ничего не грозит, пусть они наконец откажутся от путаных рассуждений и честно и откровенно скажут, какие есть у них опасения; разумеется, речь не идет о моей жизни, в этом вопросе, полагаю, я могу ничего не бояться; речь идет о смягчении наказания. Но какого рода наказание меня ждет?

5. К тому же необходимо помнить об ошибке, допущенной при ведении Аркейского дела. Эта вторая история, если судить здраво, в сущности, всего лишь продолжение первой. Оплошность, совершенная мною, вернула меня в тюрьму сразу же по выходе из парламента. Все видели, как, едва появившись в суде, я тотчас был отправлен в тюрьму, и все сказали себе: значит, он виновен. Если здесь поступят так же, последствия будут еще более мрачными, и я пропаду навсегда.

6. Хотелось бы, чтобы мне оказывали больше доверия. Я никогда не просил большего. Когда со мной обходились честно, со мной можно было делать все что угодно, и, если бы все всегда были со мной откровенны, я бы не испытал бесполезных огорчений и, быть может, даже не совершил бы некоторых опрометчивых поступков.

7. Почему, еще раз спрашиваю я, жена моя ничего не знает о шагах, предпринимаемых Бонту? Почему мне послали два письма Бонту, в то время как господин сей уверяет, что не писал мне ни одного? К чему все эти уловки?

8. Одним словом, я буду спокоен и удовлетворен только в том случае, если меня будет сопровождать жена. Ежели она со мной не поедет, значит, тут кроется какая-то ловушка и все делается, чтобы было ловчее заманить меня в нее, хотя, как утверждают, все делается только с *моего согласия*. Разве предпринималось бы столько предосторожностей, если бы речь шла о моем благе? Но я прекрасно знаю настроения тех, кто станет сопровождать меня. Поэтому поеду только вместе с женой, при условии, что именно она приедет за мной, ибо только так я поверю, что в пути мне ничто не угрожает; она сама, своими устами должна подтвердить, что по дороге мне ничто не грозит. Также я требую, чтобы я сел в карету вместе с ней и весь первый день ехал бы с нею вместе. А дальше, ежели будет угодно, она поедет самостоятельно, а я — в карете полицейского пристава, если таковой будет дан мне в сопровождающие. Затем договоримся насчет дней: мы будем двигаться с одинаковой скоростью и каждый вечер встречаться в одном и том же трактире, и только в Оранже мы расстанемся: жена отправится ко мне в замок, а я поеду в Экс. Таково мое основное условие, и если его не удовлетворят, то не стоит рассчитывать на мою поддержку в этом деле. Я ставлю под этими словами свою подпись, дабы подчеркнуть их непреложность и подтвердить, что не собираюсь от них отказываться.

Де Сад

9. Почему жена моя не осведомлена о столь важном для меня деле, отчего она посылает мне экипаж накануне того дня, когда мне сообщают о предстоящем отъезде? Если бы со мной поступали честно, то вряд ли стали бы скрывать предстоящую поездку от моей жены. Но раз ее скрывают, то не является ли это убедительным доказательством, что поездка сия может послужить мне во вред? Эти новые махинации только укрепляют меня в принятом решении, поэтому повторяю: если мои условия не будут приняты, я не сдвинусь с места. После всего этого мне еще больше хочется прочесть истину в ее сердце и ее словах. Я могу поверить только ей и уехать только вместе с ней.

10. Ведь если решение принимается для моего блага, тогда почему полагают, что я могу с ним не согласиться? А если я со всем согласен, зачем тогда мне нужен конвой? Путешествие с провожатым не только обходится дорого, оно еще и унизительно, а мне не хотелось бы, чтобы в моей провинции меня увидели под конвоем, ибо сие крайне неприятное ощущение навеки оставит в душе моей болезненный след. Не провожатый, а королевский приказ о моем аресте должен оградить меня от любых неожиданностей. Честь моя и детей моих является узами достаточно прочными, и я, несмотря на отвращение, не сделаю никаких шагов, противоречащих задуманному плану; а если вдобавок жена моя уверит меня в необходимости соблюдения выдвинутых мне условий, то я сам, не затрудняя никого, прибуду в тюрьму Экса в тот самый день, который будет мне назначен. Уверен, что прибыть туда по собственной воле и собственному побуждению является бесконечно более честным, нежели быть доставленным по принуждению под конвоем полицейских приставов. Мое прибытие в суд в сопровождении королевского чиновника станет свидетельством нужды моей в такого рода защите и публично о том оповестит; если же охраной мне будет только королевский приказ о моем аресте, лежащий у меня в кармане, такого не произойдет. Если я нуждаюсь в покровительстве, значит, мне есть чего бояться, а если я боюсь, значит, я виновен, ибо нельзя ставить под сомнение неподкупность судей. Итак, как бы ни хотели они меня обелить, предпринимаемые предосторожности бросают на меня весьма неприятную тень, чего, на мой взгляд, не случится, если я прибуду в Экс без сопровождения, с королевским приказом в кармане. Присутствие полицейского чиновника необходимо только для того, чтобы после вынесения решения тотчас освободить меня из рук правосудия; но прежде эта предосторожность совершенно бесполезна, дорогостояща и оскорбительна. Если бы мадам де Монтрей, которую легко уговорить воспользоваться сопровождающими и использовать их для своих целей, пожелала бы вспомнить о том основании, которое мы с ней несколько раз обсуждали, она бы избавила меня и от этой неприятности, и от этих расходов. В остальном же, поразмыслив, я пришел к выводу, что настоящее условие, равно как и предыдущее, не содержит опасности для меня, и я готов отказаться от одного в пользу другого, если только мне не посоветуют воспользоваться сразу двумя, однако при условии, что в случае, если я отказываюсь от предыдущего, то мне предоставляют настоящее, а также, что мне по-прежнему будет позволено сначала увидеться с женой и получить заверения из ее уст об ожидающей меня участи; без этого я никуда не поеду.

11. В конце концов, если сопровождение столь необходимо, то пусть меня эскортирует Марэ с одним слугой, дабы избежать шума, избытка вещей и напрасных расходов; пусть все происходит естественно, дабы в дороге нас принимали скорее за двух друзей, путешествующих вместе, нежели за узника и сопровождающего его конвоира. Удивительно, насколько проницательны люди, что встречаются нам по дороге, в гостиницах и на почтовых станциях. К моему изумлению, меня хорошо знают по дороге в Экс. Таким образом, это смешное и бессмысленное сопровождение, кое мне непременно хотят навязать, в сущности, явится своеобразной вывеской, извещающей и о моем аресте, и о моих злоключениях; об этом станет известно в каждой таверне на протяжении всего пути, а это, согласитесь, влечет за собой ряд неудобств. Поэтому как величайшей милости прошу я тех, кто хочет навязать мне сей конвой, поразмыслить и дозволить мне самостоятельно прибыть в Экс; но если сопровождение совершеннейше необходимо, то пусть сопровождающим будет друг, а не полицейский чин.

12. Прошу также дозволить моему слуге сопровождать меня. В Эксе я положительно не смогу обойтись без него.

13. Еще прошу до отъезда прислать мне одежду, а также необходимые мелочи, о которых я сообщу позднее; здесь мне совершенно нечего надеть, нет пристойной одежды, чтобы пуститься в путь, а в Эксе явиться к различным высокопоставленным персонам, с коими мне непременно придется встречаться.

14. Мне обещали, что перед отъездом я смогу повидаться с детьми; поистине, жестоко заставлять меня покидать сей край не повидавшись с ними. Я не только желаю, но и настоятельно требую, чтобы изыскали предлог, на основании которого я смог бы повидаться с детьми, а также с тещей. Про жену свою я просто не говорю и отсылаю всех выше, к тем статьям, где я указываю на это особо, а именно к пунктам 8, 9 и 10. Если бы соответствующие люди вели себя менее спесиво и выполнили бы условия, содержащиеся в этих пунктах, полагаю, они бы достигли гораздо больших результатов.

15. Что касается сроков отъезда, то, как мне сообщили, они зависят только от меня; мне же хотелось бы рассчитать время так, чтобы пробыть в тюрьме Экса только необходимый для меня срок, и не более того. Но так как мне не известно, каков он должен быть, пусть вопрос сей уладят, однако примут во внимание, что, находясь в заключении уже более шестнадцати месяцев и ни разу не имея возможности подышать воздухом, я не в состоянии ни совершать путешествие галопом, ни переносить тяготы длительной езды, привычной для господ полицейских чиновников, сопровождающих подконвойных. Мне желательно иметь в своем распоряжении на дорогу в Экс не менее десяти дней, дабы я мог, если того потребует мое здоровье, сделать остановку; остановки, несомненно, понадобятся, ибо здоровье мое по причине пребывания там, где я нахожусь сейчас, сильно расстроено и я совершенно не способен переносить утомление; к тому же мне необходима возможность делать остановку всякий раз, когда мне потребуется принять лекарство. Таким образом, в дороге я желаю быть самому себе хозяином и выбирать из трех имеющихся дорог ту, что мне более понравится; одним словом, здоровье мое расшатано, а потому мне не хотелось бы захворать либо в дороге, либо по прибытии на место, ибо в таком случае болезненное состояние мое может быть принято за испуг или робость, что, разумеется, произвело бы дурное впечатление на судей, как бы хорошо они ни были ко мне расположены. Поэтому я требую, чтобы во время пути мне были бы созданы благоприятные условия без всякого ограничения и чтобы я мог иметь возможность отдыхать. Это последнее условие нетрудно соблюсти в любом случае, поеду ли я один, вместе с женой или же, на крайний случай, с другом. Если бы только знали, сколь отвратительно мне исполнять условия, кои намереваются мне предписать, меня бы избавили и от этой траты денег, и от стесненных обстоятельств, в коих мне придется пребывать, и от подобного бесчестья. В это время года, когда военные разъезжают во все концы, я вполне могу встретить своих старых знакомых, ведь дорога предстоит долгая, а ежели это случится, то, само собой разумеется, они бросятся рассказывать всем и вся, что видели меня под конвоем полицейского!.. Бог мой, как мне неприятно это сопровождение и как бы мне хотелось, чтобы все смогли прочесть в моем сердце, что я намереваюсь в точности выполнить распоряжение короля, если мне предоставят возможность выполнить его в одиночку. Пусть вспомнят о Сомюре в начале Аркейского дела. Разве не явился я туда вместе с другом исключительно потому, что дал слово явиться? Однако какая разница! Тогда дело только начиналось, и я еще не знал, к каким последствиям оно может привести; здесь же явно речь идет о завершении дела! Поэтому прошу весьма внимательно прочесть эту статью.

16. Господин Симеон из Экса никак не избавится от навязчивой идеи объявить меня сумасшедшим. Он утверждает, что будет проведено исследование состояния моего рассудка, дабы доказать, что преступление было совершено в приступе безумия. Следовательно, этот человек убежден, что преступление было совершено, и не только совершено, но вдобавок совершено в состоянии безумия! Это пробуждает во мне все мои страхи, и, хотя я знаю, что невиновен, я начинаю опасаться, что мысль о преступлении по-прежнему прочно сидит в головах господ из Экса и никогда их не покидала.

17. Отчего такая строгость, такая скрупулезность со стороны нынешних господ из Экса относительно дела, проведенного судьями, которых они никогда не считали компетентными? Это подозрительно, а подозрения всегда пугают.

18. Следовательно, Совет не желает отменять решение суда в кассационном порядке. Означает ли это, что дело рухнет само собой от одного лишь моего присутствия, без каких-либо действий со стороны Совета, или же, когд я явлюсь, дело будет слушаться заново? Какие такие препятствия встретило в Совете мое ходатайство? Каковы причины, из-за которых Совет поступил иначе, чем мне было обещано? Если бы он отменил судебное постановление в кассационном порядке, присутствие мое было бы бессмысленным. В своем письме от 5 июля сего года мадам де Монтрей писала, что парламент пожелал, чтобы Совет отменил судебное постановление до того, как дело будет пересмотрено, что совершенно естественно, когда отмена решения суда предшествует пересмотру дела. А что мы имеем сегодня? Откуда столько противоречий в столь важном деле? И не созданы ли они специально, чтобы породить недоверие? Хотелось бы, чтобы в этот вопрос была внесена большая ясность, причем в письменной форме, ибо тогда я бы по дороге все обдумал и не случилось бы так, как произошло вчера, когда мне на бегу что-то сказали, и я тут же об этом забыл. В таких важных вопросах всегда надо возвращаться к истокам.

19. Каковы, хотя бы приблизительно, те формальности, соблюдение которых от меня там потребуется? Сяду ли я на скамью подсудимых , будут ли очные ставки, допросы и т. п.? Все эти процедуры всегда крайне неприятны, и я испытал бы искреннее удовлетворение, если бы за все, что мне уже довелось вынести, меня бы от них избавили.

20. Прошу также, чтобы сразу же по приезде я имел возможность в любое время сноситься с Гофриди. Ему следует написать и попросить устроить свою поездку так, чтобы прибыть в Экс в один день со мною, вернее, чуть раньше меня, дабы он мог встретить меня возле кареты на тюремном дворе. Приезд его стал бы для меня великим утешением и помог бы мне избавиться от страха, который дело сие мне внушает.

21. Почему я не могу получить свободу сразу же после принятия парламентом благоприятного решения? Говорят, что о новом вердикте надо будет прежде сообщить в Париж, и, только когда его там одобрят, можно будет ходатайствовать о моем освобождении. Но откуда столь нелепая необходимость держать меня в тюрьме еще две недели? Ежели меня оправдают, зачем королю продолжать содержать меня под стражей, да еще в темнице парламента? Это больше похоже на исполнение приговора. Люди в этих краях злы, и мое дальнейшее пребывание в тюрьме будет истолковано превратно. Разве свобода моя не зависит от решения суда? Если суд примет решение не в мою пользу, то, разумеется, меня прикажут вновь заточить в темницу; но если решение будет благоприятным, отчего бы не вернуть мне свободу сразу же после его оглашения? В любом случае исполнение решения суда можно было бы, как обычно, поручить интенданту, и тот исполнил бы его, каким бы оно ни оказалось, без лишних проволочек. Мне кажется, способ сей наиболее надежен, даже если решение будет принято не в нашу пользу, а уж тем более, если таковое окажется для нас благоприятным. Если же все придут к согласию, на что, как мне сообщили, есть все основания надеяться, следует просто уладить сие дело с де Латуром. Я же заявляю, что в случае вынесения парламентом благоприятного для меня решения, я не желаю оставаться в тюрьме ни минутой дольше и требую тотчас освободить меня из-под стражи.

22. Если же, как говорит Симеон, парламент не признает королевских тюрем ни достаточными, ни прочными, то как же тогда он будет расценивать мое пребывание в тюрьме Экса, куда меня направляют по распоряжению правительства? И еще: как могу я одновременно находиться под покровительством и короля и парламента? И разве не будет у меня оснований опасаться моих врагов, когда я более не буду пользоваться покровительством короля? Обстоятельства сего так опасались во время Аркейского дела (хотя и там особой вины на мне не было), что чуть было не заставили меня провести две ночи, кои я должен был находиться в распоряжении парламента, в Бастилии вместо Консьержери. Следовательно, верно, что тюрь-

мы, принадлежащие правосудию, помимо позора, который они за собой влекут, имеют свои опасности и неудобства.

23. Какова истинная причина того, что, похоже, хотят, чтобы хлопоты по поводу отъезда и явки в суд исходили от меня? В Аркейском деле за мной просто пришли, препроводили и т. д. Все это очень и очень подозрительно и меня беспокоит.

24. Что хотела сказать моя жена, когда писала, что, выйдя отсюда, я отправлюсь за границу? Подобные дурные шутки, которые ее заставляют писать мне в письмах, вновь приходят мне на ум, порождают тревогу и вредят моему освобождению.

25. Как получилось, что парламент, прежде весьма несговорчивый, что вполне устраивало двор, который, несмотря на благорасположение и доверие, кои он мне оказывает, не хочет отказаться ни от одного из своих требований, теперь соглашается приостановить (как говорят) действие любого вердикта, который вынесет двор (если он таковой вынесет), чтобы дать королю время для смягчения приговора? То есть получается строгость с одной стороны и тут же снисходительность с другой! Но это ощутимое противоречие порождает во мне исключительно недоверие.

26. Как утверждает в своем письме мадам де Монтрей, я обязан полностью доверять ее советам. Все, что ее посланец сказал мне и что мне довелось от него выслушать, несомненно, должно служить этой цели. Но сколь неубедительны ее верительные грамоты! Некое лицо, которое я прежде не видел и не знал, некая «Записка» из Экса, которую не хотят мне предъявить, некое письмо, под которым нет ни одной подписи тех, кого я люблю или к кому питаю бесспорное уважение, а лишь подпись лица, всегда меня обманывавшего, и даже это письмо не желают отдать мне в руки; еще два послания, присланные мне от имени сего посланца, хотя сам он авторство их отрицает, то есть две ужасные фальшивки, с помощью которых он решил обмануть меня, хотя я тотчас разоблачу сей обман: вот каковы его верительные грамоты; и они хотят, чтобы на их основании я подставил свою голову? Да если бы я поддался на эту удочку, я бы точно заслужил звание сумасшедшего, коего столь упорно добивается для меня Симеон! Неужели можно предположить, что я смогу это сделать? Тем не менее, исполнившись мыслей, изложенных в статье 2 сей записки, я так сделаю, однако единственно при условии точного ответа на все мои вопросы, поставленные в данной записке, а также при условии, что требования мои, содержащиеся в статьях 8, 9 и 10, будут исполнены.

27. Первая ложь, в которой я упрекаю присланное ко мне лицо, состоит в том, что мне было сказано, что парламент Экса пытался исполнить постановление о моем аресте и сделал бы это, ежели бы я остался в Провансе. Это очевидная ложь, ибо подобные действия противоречат всем законам. Это было бы настоящим варварством, *они бы перестали быть моими судьями, а стали бы моими палачами*. Именно у них я заимствую эту фразу; они сказали ее кому-то, кто затем передал ее мне, заверив меня, что, ежели бы я прибыл в Экс, они бы укрыли меня своими плащами.

Еще одна ложь состоит в утверждении, что ареста моего добилась вовсе не мадам де Монтрей. Неужели все еще не устали от этой лжи, раз упорно продолжают ее твердить, хотя и знают, что я не верю ей нисколько? Я не стану утруждать себя очередным ее разоблачением, однако ложь сия меня возмутила, и я никогда не стану доверять тому, кто с первой же встречи начнет мне ее повторять. Вот мой ответ: очевидно, она этого добилась, однако с какой целью?

Ответы на все мои вопросы могут быть написаны любой рукой, исключая, разумеется, ту, которая подделала подпись Бонту; вдобавок я требую, чтобы мне вернули мою записку не только с ответами на полях, но и подписанную моей тещей и моей женой.

Приложение XII
ПЕРЕПИСКА МАТОНА ДЕ ЛАВАРЕНА С МАРКИЗОМ ДЕ САДОМ

I

ПИСЬМО МАТОНА ДЕ ЛАВАРЕНА, АДВОКАТА ПРИ ПАРЛАМЕНТЕ*

Париж, 3 октября 1789 г.

Взятие Бастилии и ее разрушение стало началом революции, подготовленной смелыми сочинениями литераторов, кои, подобно жрецам, достоинством своим повергали в трепет тиранов, и вызревавшей под стоны жертв деспотизма и произ-

* Это письмо было напечатано в начале ноября в газете «Революсьон де Пари» («Révolutions de Paris dediées à la nation»), возглавляемой Турноном (не путать с газетой с таким же названием, издаваемой его конкурентом Прюдомом: компаньоны рассорились, и после 16-го номера каждый стал издавать собственную газету под прежним названием; см.: Révolutions de Paris dediées à la nation. 1789. № XVII. P. 41–43 (BN. 8⁰ Lc² P. 174 sq.)).

Родившийся в Париже около 1760 г. и умерший в Фонтенбло 26 марта 1813 г., Пьер-Анн-Луи де Матон де Лаварен некоторое время был адвокатом при парламенте, потом, отказавшись от карьеры адвоката, избрал стезю литератора. С самого начала революции испытывал глубокую антипатию к новым идеям и яростно нападал на вождей и журналистов народной партии: Камилла Демулена, Прюдома, Горсаса и др. 10 августа хотел бежать из Парижа, однако был узнан и, несмотря на попытки спрятаться, через несколько дней был арестован и препровожден в тюрьму Ла-Форс. Во время Террора о нем забыли, и после 9 термидора он обрел свободу; после переворота 18 фрюктидора [т. е. 4 сентября 1797 г.; завершился изгнанием из состава правительства депутатов-монархистов. — *Ред.*] вновь был вынужден скрываться и до конца своих дней находиться на подпольном положении. Оставил несколько сочинений и памфлетов, исполненных нападок на людей и порядки, порожденные Революцией: «Размышления гражданина о необходимости сохранения продажности нижних чинов» (см.: *Maton de La Varenne*. Réflexions d'un citoyen sur la nécessité de conserver la vénalité des offices inférieurs. [s. l.], 1789); «Памятка Национальному собранию, в которой среди прочего содержится разоблачение притеснений со стороны некоторых судей Совета и рассуждение о несовместимости существования такого суда с французской свободою» (см.: *Idem*. Mémoire à l'Assemblée nationale, où l'on démontre, entre autres choses, les vexations de quelques juges du Conseil et l'incompatibilité de ce tribunal avec la liberté française. P., 1790); «Записка для исполнителей приговоров, выносимых уголовными судами во всех городах королевства, где приводятся доказательства легитимности палаческого сословия» (см.: *Idem*. Mémoire pour les exécuteurs des jugements criminels de toutes les villes du royaume, où l'on prouve la légitimité de leur état. P., 1790); «Преступление следственного комитета Национального Учредительного собрания, а также о многочисленных фальсификаторах, созданных и оплаченных им, или Защита сьеров Лам-Эветта и Дюнана» (см.: *Idem*. Crime du comité des recherches de l'Assemblée nationale constituante et de plusieurs faussaires créés et salariés

вола, под вопли суверенных сообществ, часто гибнущих по причине бесчестных приговоров, вынесенных судами, где царило беззаконие. Разумеется, строительство великого здания общественного блага и нашей свободы еще не завершено, однако заложены его основы. Теории начинают претворяться в жизнь, и все наши труды идут на благо общества.

Я счастлив: я могу поздравить себя с тем, что родился в том веке, когда патриотизм моих сограждан взлетел на невиданную высоту, а сами сограждане обрели поистине все неотъемлемые права, коими наделила их сама природа. Однако я с горечью констатирую, что, воодушевленные недавними победами, они забыли, что еще есть тюрьмы, где в ту минуту, когда я пишу Вам, стенают несчастные жертвы деспотизма бесчестных полицейских чиновников. Будучи невиновными, а потому страдая вдвойне, жертвы эти утратили всякую надежду на освобождение от оков. А ведь все преступление этих несчастных, скорее всего, состоит лишь в том, что они осмелились оказать сопротивление кому-либо из сильных мира сего, и теперь, умершие для своего отечества, они даже не знают о наступившей эпохе возрождения. Не стану говорить Вам о казематах Мон-Сен-Мишеля, островов Сент-Маргерит, равно как и многих других, о существовании которых нам всем прекрасно известно, где наверняка можно найти множество невинных и позабытых всеми узников. Напомню Вам всего лишь о месте заключения под названием Шарантон, где на первый взгляд содержатся только душевнобольные и те, кто нуждается в постоянном надзоре; но ведь там есть люди, пребывающие в здравом рассудке, и именно они проливают кровавые слезы, страдая от коварных интриг и злоупотреблений властей. Печальным доказательством тому является недавнее дело графа де Сануа.

К уже известным рассказам о гонениях, коим подвергался сей несчастный старик, вышедший наконец из Шарантона, несмотря на противодействие его обвинителей, стремившихся удержать его там до скончания дней, я добавлю еще один, который, несомненно, взволнует сердца Ваших читателей. Около шести лет назад некий Друйер, нотариус из Фонтенбло, был арестован и, я уж не знаю кем, обвинен в злоупотреблении служебным положением. Из опасения, что у обвиняемого могут быть друзья в королевском превотстве Фонтенбло, где должно было рассматриваться его дело, для ведения процесса назначили генерального наместника бальяжа Немура. Но были ли законны основания, на которых судить Друйера стал вовсе не тот судья, который должен был это делать? Коварные враги, разве не они приложили к этому свои руки? Зная чиновничий произвол, именно такого поворота событий и следовало опасаться.

Насколько мне известно, обвиняемый, отличавшийся бесстрашным поведением в немурской тюрьме, где он давал возможность кормиться многим людям, был переведен в тюрьму Консьержери в Париже. Там дело его было пересмотрено, и я вспоминаю, что даже читал отчеты об этом процессе, и оправдание обвиняемого показалось мне вполне законным.

---

par lui, ou défense des sieurs Lami-Évette et Dunand. P., 1792). «Преступления Марата и прочих убийц, или Мое воскресение» (см.: *Idem.* Les crimes de Marat et des autres égorgeurs, ou ma résurrection. P., 1795); «Особая история событий, произошедших во Франции во время июня, июля, августа и сентября месяцев 1792 г. и предопределивших падение королевского трона» (см.: *Idem.* Histoire particulière des événements qui ont eu lieu en France pendant les mois de juin, juillet, d'août et de septembre 1792 et qui ont opéré la chute de trône royal. P., 1806). Также он является автором двух романов: «Камилла и Формоза: сказка» (см.: *Idem.* Camille et Formose, histoire. P., 1795) и «Вальдей, или Несчастья жителя Санто-Доминго» (см.: *Idem.* Valdeuil, ou les malheurs d'un habitant de Saint-Domingue. P., 1795).

Если верить слухам, ходившим среди народа тогда в Фонтенбло, Друйер был приговорен к повешению, а некоторые из жителей тамошних мест даже утверждали, что ночью приговор был приведен в исполнение. Но я уверен, что этого не случилось. Что стало с обвиняемым? Если его посчитали виновным, он должен был понести наказание, а если он был признан невиновным, то почему тогда исчезла его жена? Не было ли тут какой-нибудь судебной уловки?

Согласно полученным мною сведениям, некое частное лицо, проживающее в тех краях, заверило меня, что Друйера отправили в Шарантон, где, судя по всему, он до сих пор и пребывает. Я вовсе не утверждаю, что он невиновен; но мне хотелось бы в это верить, ибо в сердце моем живет любовь к добру. Ведь если Друйер действительно невиновен, если в тюрьму он отправился с чистой совестью, то как же он должен страдать теперь, покинутый всеми! Сколь тяжелы его терзания! Но ведь даже преступник имеет право на наше сострадание!

Предлагая Вам, сударь, опубликовать мое письмо, я тем самым признаю Ваше издание исключительно патриотическим. Те, кто нынче стоят у власти, наши добродетельные министры, наш благодетельный монарх, могли бы наверняка пересмотреть дело Друйера. Посудите сами, как был бы я счастлив, ежели бы мне удалось отыскать еще одного невиновного! Как были бы рады Вы, если бы Вам удалось поспособствовать его освобождению!

Имею честь оставаться с совершеннейшим уважением, сударь, Вашим смиренным и почтительным слугой.

Матон де Лаварен, адвокат при парламенте
Париж, 3 октября 1789 г.

II

[Д.-А.-Ф. де Сад]

Ответ Матону де Лаварену, адвокату при парламенте, на письмо, кое тот написал, побуждаемый благородством души, и кое было опубликовано в семнадцатом номере газеты «Революсьон де Пари». Отвечая ему, мы пойдем по его стопам. От того, будут ли приведенные мною факты опубликованы, зависят честь и спокойствие граждан*.

Да, сударь, несчастный Друйер жив; бедняга все еще дышит; да и разве может он прекратить свое существование, когда столь благородное сердце, как Ваше, интересуется его участью? Однако Вам пишет отнюдь не он. Увы, он не смог бы Вам написать. Заживо погребенный в темницах Шарантона, пребывая под надзором неправедных тюремщиков, кои слишком его боятся и заставляют молчать, он не может воззвать к Вам. Только чудом слова его признательности или горестные его рыдания могли бы достигнуть Вашей чувствительной души? Тем не менее он знает о Вашем порыве. Когда он слушал рассказ о Вашем великодушии, слезы текли у него по щекам, и один из его собратьев по несчастью объяснил нам, какие чувства его обуревают. Поторопитесь сообщить Национальному собранию, сударь, что сей несчастный еще жив, что он невиновен, но продолжает влачить дни свои в оковах

* Ответ де Сада Матону де Лаварену не был опубликован в «Революсьон де Пари». Видимо, эта газета, почтительно относящаяся к новым институтам и новому порядку, не пожелала начать на своих страницах полемику по поводу «судебных ошибок» и учреждений (исправительных, больничных), находящихся в ведении местных властей. Запал автора и его дурная репутация, без сомнения, также были в числе причин, удержавших Турнона от публикации письма маркиза.

наиужаснейшего деспотизма. Он будет Вам обязан жизнью; Вы осчастливите его и сами будете от этого счастливы. Вы непременно будете счастливы, ежели поможете ему, ибо, судя по письму Вашему, Вы обладаете всеми потребными для этого добродетелями.

О сударь, как ошибаются наши честные соотечественники, вообразившие, что гидра деспотизма погребена под обломками Бастилии! Великий Боже! Как было бы хорошо, если бы все возможные бедствия, кои Ты способен на нас наслать, были бы выкованы в кузницах, заключенных в ее грозных стенах! Ведь когда правительство хотело избавиться от кого-либо, оно никогда не отправляло его в Бастилию: да, обвиняемого сажали туда, но вскоре выставляли сумасшедшим и переводили в Шарантон, в страшные катакомбы Шарантона*, где палачи, не менее ужасные, чем палачи крепости Обрио**, через некоторое время ловко уничтожали узника. Автор сих строк, сударь, может многое Вам об этом рассказать: ему самому довелось быть жертвой деспотизма, подвергшейся ужасающему произволу, его самого швырнули на дно страшной клоаки, откуда он написал Вам накануне взятия Бастилии, ибо опасался, что событие это, вполне предсказуемое, не вернет ему свободы. Он познал заключение и в Бастилии, и в Шарантоне; он может сравнить их и предоставить Вам результаты своих сравнений. В Бастилии, сударь, несомненно, царили строгие порядки, смягченные, однако, честным нравом старших офицеров, набранных в полках различных родов войск; вместе с этими людьми в стены крепости проникли искренность, чуткость и неподкупность, столь характерные для французских офицеров. Их обращение с узниками, за которых они отвечали, резко отличалось от того, как обращаются со своими жертвами эти заурядные ретивые мошенники в рясах, которые, выйдя из самой отвратительной грязи и отвергнутые обществом, желая избежать позора или наказания, облачаются в черные балахоны, символизирующие не только пороки, но и преступления.

Что же, в самом деле, – и я это спрашиваю Вас, сударь, Вас, кто по состоянию своему, своим способностям и рождению наверняка знаком со всеми кругами хорошего общества, – что такое, скажите мне, представляют из себя члены ордена Милосердных братьев? Доводилось ли Вам встречать хотя бы одного из них в приличном доме?

Пойдем дальше: поищем причины выбора занятия подобными людьми. Когда орден, членами коего они состоят, обладает миллионными доходами, разве смирение определяет их решения? И, полагаю, отнюдь не религия, ибо они никогда не следуют священным заповедям. У них нет ни стремления послужить своим ближним, ни позаботиться о них, когда те недужны; в Шарантоне они настолько пренебрегают первейшим своим долгом, что у них нет даже аптекаря, и больные предпочитают оказаться в самом дурном госпитале Парижа, лишь бы не попасть на

---

* Катакомбами в Шарантоне называют камеры, откуда живыми заключенные уже не выходят. Камеры эти расположены на пятьдесят футов ниже уровня фундамента дома, где обитают монахи; на таком же уровне находится пол в тюрьме Ла-Форс, которая, известно, погружена в землю по самую кровлю. В окнах камер нет стекол: туда свободно проскальзывают крысы, кошки и ящерицы. От царящей там жуткой сырости стены постепенно разрушаются. Там же, в подвалах, находятся знаменитые клетки, однако не из железа, а из дубовой древесины; размер их по всем направлениям равен шести футам. Пустуют эти камеры крайне редко. (*Примеч. де Сада.*)

** Обрио Юг (?–1382) – прево Парижа, основавший Бастилию, первый камень которой он заложил 22 июля 1370 г. Построил также тюремный замок Малый Шатле, предназначавшийся для усмирения буйных школяров университета, мост Сен-Мишель, малый мост Отель-Дье, первые очистные канализационные сооружения, замостил несколько участков набережной и т. д.

больничную койку там; ведь первейшим ремеслом этих негодяев является служить тюремщиками жертв, которых им присылают.

Словом, сударь, совершенно очевидно, и Вы теперь знаете это лучше меня, что праздность, низость, распутство, сладострастие, чревоугодие, потребность скрыться от людей, в обществе которых ты замарал себя бесчестьем, — вот качества, определяющие поступки Милосердных братьев. Следовательно, нетрудно сделать вывод, что управление, осуществляемое подобными негодяями, являет собой исключительную опасность. Пусть проверят их деятельность; это все, чего я прошу. Умоляю вас, сударь, хотя бы на миг направить сюда свой взор; снизойдите, и вместе со мной, следом за мной отправьтесь в это смрадное логовище, служащее пристанищем несчастным, для которых скупость, алчность, честолюбие, мстительность и прочие пороки, царящие в Шарантоне, стали достаточным наказанием за их проступки; в эту минуту, когда я обращаюсь к Вам, наши добрые парижане, успокоившись, считают, что, разрушив Бастилию, они обезоружили деспотизм и уничтожили его застенки. Но последуйте за мной, и Вы убедитесь, что сие — заблуждение!

Пред Вашим взором предстанет мрачное здание, вросшее в землю по самую крышу, жуткое пристанище, куда никогда не проникает воздух, откуда рыдания и крики тех, кого там содержат, никогда не доносятся наружу, а посему не могут быть услышаны. Когда семь или восемь тюремщиков, сопровождаемые краснолицым толстым братом, этаким веселым здоровяком, откроют Вам калитку, и из крошечного дворика на Вас повеет гнойными испарениями, Вы, быть может, не пожелаете проследовать дальше. Но если Вы все же ступите туда, то увидите около двух десятков несчастных, которые вполне в ладу со своим рассудком, но которых, тем не менее, много лет назад намеренно забыли в этом пристанище горестей; дабы удвоить ужас их положения, их содержат рядом с действительно умалишенными, а по сути вместе с ними, вместе с буйнопомешанными, с людьми, подверженными эпилептическим припадкам, кои заражают их, развращают и бьют; когда же несчастные дерзают жаловаться, то в ответ получают лицемерное дозволение удалиться к себе в камеры, ежели окружающее общество их не устраивает. Сможете ли Вы войти в эти ужасные камеры? Сырые, с голыми стенами, кишащие насекомыми, с прибитой к стене койкой, они являют собой пристанище клопов и пауков, чей покой вот уже сотню лет никто не тревожил; рядом с койкой стоят колченогий стул и прогнивший стол, а в дверное окошко, вернее, в жалкое отверстие, несчастным обитателям сего жилища просовывают еду, ибо надзиратели не обязаны заходить к ним в камеру; окошко справа, то, что выходит на улицу, почти никогда не имеет стекол, но из-за частой решетки дневной свет пропускает крайне экономно, отчего в кельях этих, стены которых имеют высоту шестьдесят футов, царит вечный полумрак. Вот какую картину Вы увидите.

Сделаете ли Вы попытку получить от этих несчастных какие-то разъяснения? Если, конечно, вид их обнаженных тел, искореженных болью и голодом, не вызовет у Вас отвращения и оставит место для жалости. Так вот, если Вы их спросите, они расскажут Вам, что пищи им дают ровно столько, сколько требуется для поддержания их жалкого существования; они сообщат, что наименьшим содержанием считается восемьсот ливров, а пансион некоторых и вовсе доходит до пяти тысяч франков, из чего следует, что даже получающий минимум должен содержаться вполне прилично. Но всем им приходится три четверти времени промышлять кражами и вырывать друг у друга из рук скудную порцию, которую им раздают. Что я могу еще сказать? Их бьют; я это видел и готов подтвердить: за время моего пребывания двое умерли от зверских побоев тюремщиков; стоит несчастным дерзнуть произнести одно-единственное слово «жалоба», как их тут же принимаются осыпать бранью, а потом нещадно избивают.

Там, сударь, и пребывал почтенный и несчастный граф де Сануа, о котором Вы говорите в Вашем письме; там же помещался и маркиз де Сент-Юрюж;* там же, только под чужим именем (свое он носить здесь не может), пребывает и несчастный беарнский дворянин, двадцать пять лет назад ставший жертвой министерства Шуазеля;** и добрый и честный земледелец из окрестностей Периге;*** и советник из финансово-податного округа Жуани, ставший жертвой развратного поведения собственной супруги;**** и пехотный офицер, дворянин из Нормандии;*) и честный негоциант из Савойи;**) и нотариус из Парижа;***) давно томится здесь кавалерийский капитан, родственник Ламуаньона;****) и добрый парижский буржуа, коему скоро сравняется семьдесят лет; и богатый в прошлом мастер по изготовлению париков; и королевский офицер, служивший в армии еще во времена маркизы де Помпадур; и Ваш несчастный Друйер. А скольких, сударь, мы не знаем! И все они здоровы и телом и духом, а мошенники-монахи имеют бесстыдство держать их вместе с сумасшедшими, с эпилептиками, чтобы, быстро заразившись от тех безумием, они сделали свои цепи вечными и покидали бы стены этого ада только для того, чтобы отправиться в последнее печальное пристанище, последнее прибежище, уготованное им после стольких бед. Отличаясь особой жестокостью, монахи устроили так, что окна келий нечастных выходят как раз на сие пристанище.

Французы, вы полагаете, что свободны? Откажитесь от этой химеры: вы вовсе не свободны, и никогда таковыми не станете, если наряду со своими играми, прогулками, спектаклями позволите существовать инквизиционным застенкам, куда из прежнего своего храма переселился деспотизм, в любую минуту готовый поглотить вас. Придите и разрушьте стены этих нечестивых приютов; придите вернуть жизнь несчастным, которых там удерживают; придите и пригласите их насладиться той свободой, что делает вас столь счастливыми, свободой, которая

---

* Сент-Юрюж Виктор Амедей де Лафаж, маркиз де (1750–1810) – представитель старинного бургундского рода. В тринадцать лет вступил в армию, но, унаследовав после смерти отца огромное состояние, отказался от военной карьеры. В 1778 г. безоглядно влюбился в актрису Мерсье, которой удалось женить его на себе. Почти сразу же после свадьбы Сент-Юрюж узнал и о бурном прошлом, и о любовных похождениях жены, но та, пользуясь своим положением, отыскала себе могущественных покровителей. Среди них был министр Амло, у которого она, под предлогом, что муж ее стал соучастником убийства, совершенного одним из его подчиненных, раздобыла тайный приказ на арест супруга. Сент-Юрюж пробыл в Шарантоне три года, с 4 июля 1781 г. по 7 декабря 1784 г. Оказавшись после освобождения полностью разоренным, он бежал в Англию, откуда вернулся в самый разгар революционных событий и тотчас стал выступать против злоупотреблений Старого порядка с горячностью человека, жестоко от этого порядка пострадавшего. Еще молодой, необычайно представительный, наделенный звучным и громким голосом, ненавидящий власть, от которой ему пришлось пережить множество неприятностей, он обосновался в Пале-Рояле, где его прозвали «генералиссимусом санкюлотов». Связанный с Дантоном, он вскоре следом за падением трибуна был арестован и вышел из тюрьмы только после 9 термидора; всеми позабытый, он утихомирился и жил то в Париже, то в Маконнэ, где у него сохранились земли.

** Под именем Матиас. (*Примеч. де Сада.*)

*** Под именем Дешан. (*Примеч. де Сада.*)

**** Сьер Буйон де Божу под именем Мец. (*Примеч. де Сада.*)

*) Под именем Фалэз. (*Примеч. де Сада.*)

**) Под именем Марли. (*Примеч. де Сада.*)

***) Под именем Мадрид. (*Примеч. де Сада.*)

****) Под именем Камбрэ, теперь пребывает в монастыре. В конце концов эти негодяи устыдились держать вместе с сумасшедшими столь почтенного во всех отношениях человека. Они взяли его к себе. (*Примеч. де Сада.*)

не может существовать во всей полноте, пока остаются лазейки для несправедливости, оружие для нечестия. Только разбив оковы этих несчастных, только услышав, как несчастные эти называют вас своими освободителями, только почувствовав, как колени ваши оросились их слезами, только тогда вы действительно вкусите сладость свободы, столь льстящей вашему честолюбию. Только тогда станете по-настоящему свободны и величественны, ибо сотворите великое благо и навсегда искорените зло.

Затем, великодушные граждане, пусть взоры ваши обратятся на преследователей этих несчастных: зачем существует на земле орден Милосердных братьев? Ответьте мне, прошу вас, неужели государству станет хуже, если в нем не станет трех или четырех сотен мошенников-монахов, а вместо них будут великолепные чистильщики, прекрасные носильщики, замечательные сапожники? Неужели нация не получит реальной выгоды, когда на основании реформы эти бездельники превратятся в тружеников? Но предположим, что зло, кое я вам только что описал, кажется вам слишком ничтожным, а люди эти — абсолютно безопасными, а следовательно, не подлежащими уничтожению. Больницы, находящиеся в их ведении, — вот тот единственный аргумент, который эти монахи выдвигают на первый план, когда им приходится оправдывать свое существование. Но я уже сказал: аргумент этот иллюзорен, потому что обязанности, вменяемые их званием, они выполняют из рук вон плохо; впрочем, разве необходимо обладать миллионным имуществом, чтобы управлять больницами? Куда смотрите вы? Вы намереваетесь отобрать имущество у монахов, однако членов ордена Милосердия в их число не включаете! В самом деле, остается только удивляться подобной нелепости. Повторяю: орден сей совершенно бесполезен. Более того: он опасен; берусь доказать это, когда будет угодно. Больные постоянно находятся в руках мужчин, но забота о больных — это дело женщин. Сохраните несколько монастырей, разместите там больницы Милосердия, но отберите богатства у этих ненавистных тюремщиков! Отберите без всякого страха, ибо они злоупотребляют им, они не созданы, чтобы им владеть.

Они превратили лечебницу в тюрьму — одно это должно заставить вас содрогнуться! Подумать только! Повсюду только и пишут, только и говорят, что в тюрьме прежде всего должна царить здоровая атмосфера, но ведь здесь, в отравленных испарениях больницы, они осмелились разместить самую переполненную тюрьму, тюрьму, на которую всегда смотрели как на помойку Бастилии, как на младшую сестру знаменитого оплота тирании! Подобная непоследовательность была простительна в века рабства и деспотизма; ее нельзя терпеть в век Просвещения и Свободы.

Ваша напористость и добросердечье, сударь, Ваше искреннее неприятие злоупотреблений ободряет меня и побуждает сообщить Вам эти сведения. От имени всех моих несчастных собратьев, а главным образом того, кого Ваша человечность хочет вызволить отсюда, я смею просить Вас поскорее дать этому делу как можно большую огласку. Добейтесь приема у министра, сударь, добейтесь приема у мэра Парижа, пойдите к Вашим депутатам и скажите им всем: «Нет, граждане, вы не свободны: чудище деспотизма все еще осеняет Вас своими черными крылами. Разрушьте стены Шарантона, освободите томящихся там несчастных, безжалостно раздавите ненавистных агентов тирании, опутавших их своими цепями и терзающих их. Только тогда Вы сможете быть уверены, что добились подлинной свободы, ибо без этого свобода будет не более чем химерой и останется таковой до тех пор, пока вокруг будут раздаваться проклятия палачей и стенания жертв.

Имею честь.

Свидетельствую подлинность всех изложенных в данном письме фактов, в чем готов дать слово чести; столь же подлинными являются факты, содержащиеся в прилагаемой к письму записке, составленной на отдельном листе.

Де Сад

Письмо полностью написано маркизом де Садом.

III

[Матон де Лаварен]
письмо, написанное издателю газеты «Революсьон де Пари»*

Париж, 6 января 1790 г.

Сударь!

Внимание, с коим Вы отнеслись к моему письму от 3 октября истекшего года**, равно как и внимание, с коим Вы относитесь ко всему, что может послужить делу отечества и улучшению нравов, налагает на меня обязательство содействовать вашим похвальным усилиям и сообщать Вам обо всех злоупотреблениях властей, о которых, без каких-либо шагов с моей стороны, до меня доходят сведения.

Я только что узнал, что Друйер, по слухам, приговоренный к повешению за злоупотребление своим служебным положением нотариуса, более не находится в Шарантоне, куда, как мне известно из достоверных источников, он был заключен после так называемого приговора, вынесенного судом. Некое лицо, похоже, внимательно следившее за ходом дела, уверяет, что этого обвиняемого со всеми предосторожностями выслали на острова, чтобы помешать ему когда-либо вернуться в свое отечество.

Я имел честь заметить Вам, что, на мой взгляд, Друйер не был виновен; такой вывод я сделал после прочтения опубликованных по его делу отчетов; разумеется, я не могу гарантировать его невиновность, однако полагаю себя обязанным сообщить Вам об удивлении, испытанном мною относительно публикации моего последнего письма, не оказавшего воздействия на изменение теперешней участи несчастного, о котором я Вам пишу. Я знал его по Фонтенбло: он был там нотариусом, а сам я жил там. Я никогда не поддерживал с ним близких отношений; но перестал бы уважать самого себя, если бы не заявил, что честный — по крайней мере с виду — его характер и его поведение, казавшееся мне кротким и миролюбивым, всегда будут препятствовать мне поверить в те нарушения, в коих его признали виновным.

Мне кажется, было бы справедливо пересмотреть его дело. Враги его разъехались и вряд ли снова объединятся против него, и не исключено, что он окажется невинной жертвой. Если бы я ошибся относительно этого несчастного, я бы оставил его наедине с угрызениями совести и перестал бы выступать в его поддержку.

Зная, что в 1753 г. в Бастилию был заключен некий Леблан де Вильнев, сын капитана из Дворца инвалидов, и только за то, что написал маркизе де Помпадур письмо, в котором просил помощи в бедственном своем состоянии***, и ничто не предвещало, что он когда-нибудь из сей Бастилии выйдет, я сказал себе: возможно, несчастный Друйер, как и Леблан де Вильнев, имел могущественных врагов, и

---

* Настоящее письмо напечатано в изд.: Les Révolutions à Paris dediée à la nation. [1790]. № 27. P. 45–47. В своем втором письме Матон де Лаварен отвечает «автору “Революсьон де Пари”», то есть Турнону, но не Саду и слова «внимание, с коим Вы отнеслись к моему письму» отсылают всего лишь к публикации первого письма на страницах газеты Турнона. Ни автор, ни редакция не упоминают об ответе Сада. Скорее всего маркиз отправил свой ответ в газету («отвечая ему, мы пойдем по его стопам»), но ответ этот не был напечатан (и даже не передан Матону де Лаварену).

** Это письмо напечатано в нашей газете в № 17, на с. 41. (*Примеч. ред.*)

*** Леблан де Вильнев, протестант, офицер ополчения, был посажен в Бастилию 27 февраля 1753 г. по приказу, скрепленному подписью д'Аржансона; причиною ареста послужило признанное предосудительным письмо к мадам де Помпадур. Выйдя на свободу 1 июня 1753 г., он был отправлен в изгнание в Монтелимар. В сентябре 1754 г. ему разрешили вернуться (см.: *Funk-Brentano*. Les Lettres de cachet à Paris. P.: Imprimerie nationale, 1903. № 4226. P. 328).

один из них, воспользовавшись каким-нибудь пустяковым предлогом, решил принести его в жертву.

Чувство возмущения не покидает меня, когда я вспоминаю, как безо всякой веской причины в камерах Бастилии и Бисетра двадцать три года продержали человека, известного своей честностью, кротостью и терпением, а именно Жана Франсуа Эрона, инженера-географа, который, несмотря на все свои несчастья и даже безумие, до коего довели его враги, был любим и уважаем не только товарищами по несчастью, но даже своими бесчеловечными тюремщиками*.

Возмущение не покидает меня, ибо я знаю, что в Бисетре, вот уже шестнадцать или восемнадцать лет, в подземной камере держат Мюскине де Лапана, который, последуй он своему призванию, должен был бы стать светилом нашей литературы, но вместо этого, как уверяли меня многие, стал жертвой алчности одной богатой семьи, воспользовавшейся его гордостью и живостью его юности, свидетельствующих, как известно, о душе сильной и энергичной, и оклеветавших его.

Наконец, я продолжаю возмущаться, когда вижу, как, желая сокрыть свои деяния от сурового взора правосудия, власти, стремясь погубить неугодных им лиц, заключают их в некие дома, расположенные в предместьях нашей столицы; дома эти, не будучи тюрьмами по названию, тем не менее становятся настоящими могилами, где несчастных погребают заживо. В 1780 г. в одном из таких домов, пребывавшем под надзором одного из комиссаров Шатле, находился некий человек, содержавшийся там с 1775 г. на хлебе и воде; чтобы помешать ему бежать, эти варвары отняли у него чулки и штаны.

Будьте столь любезны, сударь, опубликуйте мои письма. Свои требования выступить против подобных возмутительных нарушений я могу направлять только врагам деспотизма. Быть может, открыв глаза на участь нескольких несчастных, я смогу изменить и участь Друйера и в его лице вернуть обществу его невинно осужденного члена, а опечаленной семье — любимого человека.

Имею честь <...>

Матон де Лаварен, адвокат при парламенте.

---

* Эрон Жан Франсуа, прозванный Форест, – инженер-географ, был заключен в Бастилию 25 декабря 1764 г. по приказу, скрепленному подписью Шуазеля, за шпионаж в пользу иностранных держав. Был признан сумасшедшим и 18 июля 1765 г. переведен в Бисетр, откуда вышел на свободу 28 декабря 1783 г. (см.: Ibid. № 4632. P. 366).

Приложение XIII
Д.-А.-Ф. ДЕ САД

[Стихи, сочиненные для заседания общества «Обеды в Сент-Пелажи»] 1801*

I

Обеденное общество — своим оппонентам

Коль сведены судьбою мы,
Страданьем, что союз наш крепит,
Так лучше здесь, в стенах тюрьмы
Увьем цветами горестные цепи.
В лавровых рощах — весь Парнас,
Чтоб всех увенчанных прославить,
Хоть разными путями Музы нас
Приводят в храм, чье имя — Память.

Вы в песнях судите наш грех,
Не столь суровы наши взгляды:
Мы славим способы утех
И ваших нежностей отраду.
В том поэтическом бою
Клинки стихов мелькают быстро,
Но мы украсим песнь свою
Лишь вашей же слетевшей искрой.

Друзья, прославим божество
Без раздражения и гнева!
Ведь больше восхвалят его
Сердец заветные напевы.
Вам Грации проложат путь
Вперед, к блистательным победам,
А мы подхватим что-нибудь
От вас, идя смиренно следом.

Де Сад

---

* Впервые опубликовано в книге «Мои забавы в тюрьме Сент-Пелажи» (см.: *Sade*. Mes amusements dans la prison de Sainte-Pélagie par [Hurard] Saint-Désiré. P., 1801); с тех пор книга ни разу не переиздавалась.

II

Стихи, посвященные картине, где изображен Диоген

Муза Клио одарила общество великолепным холстом, на котором был изображен философ-киник Диоген с фонарем в руке; председатель общества обратился к картине со следующими стихами:

Был Диоген мечтой томим
Найти талант и добродетель в человеке.
И пусть мы за ученость древних чтим,
Но знаем все же – были славны греки
Не сочетаньем этих свойств отнюдь.
Что вы на это скажете, друзья?
В сей области, рискну заметить я,
Нам лучше бы на Францию взглянуть.
Так справедливо ль дань с нее берут?
Не знаю. Только пусть признает Институт,
Что Диоген бы погасил фонарь, наверно,
Цель поисков своих увидев тут,
Когда бы стал он земляком Сен-П(ерна)*.

Де С<ад>

III

К моей розе

О, Роза, царственный цветок,
Свои возлюбленные чары
Неси мне в дар, я б ими смог
Смягчить суровость здешней кары!

На Розу обращаю взгляд –
Елены прелести я вижу,
Вдохну цветочный аромат –
Ее уста как будто ближе.

Весну вообразить хочу:
Стряхнув росы душистой слезы,
Навстречу жаркому лучу
Раскрылась девственная роза.
Елена, пожелала б ты
Делить со мною это пламя,
Какие б расцвели цветы
В момент объятья между нами.

Но Роза, словно ты, робка,
И стыд чело туманит тучей.
Хочу коснуться лепестка,
Но стебель чувствую колючий:

* Сен-Перн – член общества «Обеды в Сент-Пелажи».

Не трать в сопротивленье сил
И сладких не гаси порывов.
Шипы мой не остудят пыл,
Ведь наслажденье – дар счастливым.

Округлый розовый бутон
Опять воспоминанье будит:
Алтарь, богами возведен,
Подобен формой нежной груди.
Печальна роза, словно тень
Твоей любви, и столь же тленна.
Цветенью срок – один лишь день.
Вздохнула ль ты о ней, Елена?

Де Сад

IV

Шутка

Здесь, в Пелажи,
Царят веселье и отрада,
И знают мудрые мужи,
Что нас освобождать не надо
Из Пелажи.

Здесь, в Пелажи,
Где музыкой гостей встречали,
Свое искусство покажи
И дай концерт в приемной зале
Здесь, в Пелажи.

Здесь, в Пелажи,
Где сладострастие без края,
Оставь рассудка рубежи,
Своим желаньям потакая
Здесь, в Пелажи.

Здесь, в Пелажи,
И «Ифигения» бледнеет,
Здесь музыка легка, как жизнь,
Но можно наслаждаться ею
Лишь в Пелажи.

Здесь, в Пелажи, –
Свобода, защищайся смело,
Свои полки вооружи!
Но нам до битв какое дело
Здесь, в Пелажи?

Здесь, в Пелажи,
Толстяк де С<ад> ведет подкопы,
Свои безумства отложив.
Кем надо быть, бояться чтобы
Сесть в Пелажи?

Здесь, в Пелажи,
Когда наш М*** принарядится,
Какая женщина, скажи,
Не пожелала б очутиться
Здесь, в Пелажи?

Здесь, в Пелажи,
Когда наш Д*** для песни новой
Куплет причудливый сложил,
Мы позабыли про оковы
Здесь, в Пелажи.

Здесь, в Пелажи,
Мы столько наслаждений видим,
Что надобно признать без лжи:
Пускай мы никогда не выйдем
Из Пелажи.

Де Сад

Приложение XIV
Д.-А.-Ф. ДЕ САД

ЗАПИСКА, АДРЕСОВАННАЯ ДЕ САД

1 декабря 1806 г.

Дружеская конфиденциальная беседа, состоявшаяся между нами в последнюю пятницу у мадам Кене, во время которой Вы дали разъяснения, крайне меня интересующие, стала причиною появления сей небольшой записки. Надеюсь, она не оставит Вас равнодушной, ибо истина никогда не может оставить равнодушной честное сердце; а я Вас целую.

Сад

Сравнительная таблица моих доходов, составленная, дабы сопоставить уровень их в 1790-м г., в год моего выхода из Бастилии, то есть после того, как тринадцать лет состояние мое находилось под управлением мадам де Сад, с уровнем конца 1806 г.; означенная таблица имеет цель доказать, что состояние мое за истекшие шестнадцать лет, то есть со дня моего выхода из Бастилии и до настоящего времени, нисколько не уменьшилось, и все эти годы мадам Кене пребывала вместе со мной, а следовательно, мадам де Сад не права, утверждая, что: «Теперь Вы стали гораздо беднее, чем прежде».

Выйдя из Бастилии, я владел:

Арендная плата, получаемая с недвижимости в Арле	4000
В Ла Косте	3000
В Мазане	2400
В Сомане	1500
Итого	10 900

Из этой суммы следовало выплачивать долги семьи, налоги, накладные расходы и т. п. Необходимо заметить, что за тринадцать лет своего управления мадам де Сад не погасила (хотя могла бы) ни одного долга и ни разу ни в чем не отчитывалась. Она всего лишь обеспечивала мое существование, но таким образом, что большая часть доходов неминуемо попадала к ней в руки, и об этих доходах она никогда не хотела отчитываться; разумеется, если бы она из моих доходов экономила хотя бы по пять тысяч франков ежегодно, то за тринадцать лет должна была бы скопиться значительная сумма, которая вполне могла бы удовлетворить основных кредиторов семьи. Вот что можно было бы назвать трудами во благо собственных детей и супруга. Так неужели, когда столь дурно управляют во времена спокойные, можно порицать управление других во времена поистине катастрофические?

Нынешнее положение

Несмотря на потерю феодальных податей, которые получали не мы, но мадам де Сад, Ла-Кост был продан, а утрата его была возмещена следующим образом:

В Босе приобретено имение доходностью в	4200
Мазан приносит доход в	2700
Аренда в Арле поднимается до	6000
Соман приносит около	300
Всего	13200

Как и при рассмотрении предыдущей таблицы, из этой следует вычесть накладные расходы, налоги и семейные долги.

Итак, очевидно, что начиная с того времени, когда управление взяла на себя мадам Кене, доходы мои увеличились на 2300 ливров.

Упрек в том, что во время управления мадам Кене состояние разбазаривалось, является подлинной клеветой и не имеет под собой никаких оснований. И, повторяю, совершенно напрасно мадам де Сад считает, что сегодня состояние мое меньше, нежели тогда, когда я вышел из Бастилии. Разумеется, были *изменения и продажа*, однако изменения были выгодные; ибо в результате мы взамен земли, приносившей 3000 ливров, получили землю, приносящую 4200 ливров.

Относительно продажи

Разумеется, она была весьма выгодна, ибо я продал кое-какое имущество, приносящее 1200 ливров ренты, чтобы приобрести дом на улице Миромениль, аренда которого стоит сто луидоров. Если сделка не удалась, то виной тому вовсе не мадам Кене, а нечестность нотариуса Моме из конторы на площади Виктуар, который, будучи хранителем подписанного, но не засвидетельствованного нотариально договора, составленного продавцом, предвидевшим падение курса ассигната, получил немалую выгоду за то, что вернул ему обязательство, которое могло разорить его. Подлежащий засвидетельствованию договор был утрачен, а владелец не захотел более продавать. Но кто, скажите, при злосчастном этом режиме, не потерпел убытков от падения курса ассигнатов, от мошенничества? Никакой вины мадам Кене в этом нет; она не знала про мою сделку и никак не могла помешать ей.

Правда, по примеру мадам де Сад, мы за эти шестнадцать лет также не возвращали долги нашим кредиторам, иначе говоря, поступали так же, как тринадцать лет поступала она. Но если бы мы стали заниматься нашими должниками, мы бы начали с нее. Так пусть же она не жалуется на процедуру, которая, начнись она, разорила бы ее и вернула бы мне хотя бы то, что ее мать украла у меня на основании своих нелепых и смехотворных счетов, которые меня коварно заставили подписать не глядя в ту самую минуту, когда, едва очутившись на свободе после тринадцати лет заключения и пребывая в состоянии опьянения вновь обретенной свободой, я только начинал привыкать к яркому свету. Пусть же мадам де Сад знает, что именно мадам Кене постоянно противилась возбуждению иска по возвращению долгов, который я вполне мог предъявить, имея в кармане пятьдесят луидоров. Да, у меня было пятьдесят луидоров, которые все торопились мне дать, чтобы поскорее избавить меня от супруги, трудившейся исключительно ради того, чтобы погубить меня и полностью разорить. Так пусть же эта неблагодарная женщина знает, кому именно она обязана тем, что я постоянно отвергал советы, сыпавшиеся на меня со всех сторон. Впрочем, к чему все эти жалобы? Ведь Вы свели признательность свою к размерам поистине беспредельным, иначе говоря, сделали ее невидимой вовсе, и упрекаете ее даже за мизерную пенсию, назначенную ей после моей смерти, столь мизерную, что в ней нельзя отказать даже последнему слуге?

Продолжим; я намереваюсь полностью уничтожить даже малейший повод для неблагодарности.

Мадам Кене имеет долговую расписку на	15 000
В то время, когда имуществом управляла мадам Кене, было продано серебряной посуды на	8000

Продан замок за 4000

Итого 27 000

Куда пошли эти 27 000?

Что с ними стало?

О, Вы желаете задать сей вопрос? Но скажите, разве осмелитесь Вы это сделать не краснея? Разве Вы не знаете, что отец Ваш по злой воле собственной семьи был внесен в список эмигрантов, и причины этого раскрываются только сегодня? Разве не знаете, что Ваша собственная эмиграция, эта глупость, совершенная Вами всеми, повлекла за собой шестилетний секвестр и что в течение этих шести лет отец Ваш был лишен куска хлеба? И разве Вы не знаете, что эта женщина, кою сегодня Вы не желаете кормить даже несколько лет после моей смерти, сделала, чтобы дать ему хлеба? Чтобы поддержать его, она продавала то немногое, что у нее имелось, и давала ему луидор за луидором, постепенно распродавая свое имущество; таким образом она содержала его, тратя в течение трех лет по пять тысяч франков в год. Вот документ на пятнадцать тысяч франков, которые она просит теперь ей вернуть и которые Вы имеете гнусность у нее оспаривать .... 15 000.

Продажа серебряных изделий и замка в Мальмезоне позволили кормить меня в течение трех следующих лет .... 12 000.

27 000

Вот куда пошли те 27 000, которые, по Вашему утверждению, были растрачены попусту. Судите сами, насколько несправедливы Ваши подозрения.

В итоге

Управление, осуществлявшееся мадам Кене во времена гораздо более тревожные, нежели те, когда этим имуществом управляла мадам де Сад, оказалось бесконечно более благотворным, чем управление мадам де Сад, ибо доход увеличился на 2300 ливров.

Таким образом, нет никаких оснований упрекать честную и почтенную женщину за несчастные двадцать тысяч франков, женщину, пожертвовавшую мне свои самые лучшие годы, спасшую мне жизнь, предотвратившую мое разорение, сохранившую имущество для моих детей, пока те находились в эмиграции, в течение трех лет предоставлявшую мне средства к существованию из своих собственных доходов и оказавшуюся под угрозой карающего меча, занесенного над ней по нелепой неосмотрительности тех, кто сегодня столь дурно с ней обходится.

Повторяю

Только самая отвратительная неблагодарность могла продиктовать подобное поведение, которое, как мне кажется, они вряд ли захотели бы сделать достоянием гласности. Однако когда-нибудь сделать это придется — но нет: ужасный порок, вынуждающий нас так поступать, не может найти пристанище ни в душе той, кто дала жизнь моим детям, ни в душах тех, кто получил от нее эту жизнь.

1 декабря 1806 г. *Сад*

ГЕНЕАЛОГИЯ ДОМА ДЕ САД[1]

БЕРТРАН ДЕ САД

Согласно Сезару Нострадаму, присутствовал на заседании ассамблеи, состоявшейся в городе Арле в 1216 г. Скорее всего, именно он был отцом Раймона де Сада, с которого начинается родословная семьи.

I поколение[2]

РАЙМОН ДЕ САД[3]

1. Юг, наследник родового имени.

2. *Гарнье*, синдик Авиньона, в 1266 г. сочетался браком с *Бертрандой де Баньоль* (*де Баньолис*), скончавшейся в 1297 г. Исполнителем ее завещания был ее брат Пьер де Баньоль и Гийом Роберти. Гарнье де Сад умер до 1292 г., оставив после

---

[1] См.: *Nostredame César de.* Histoire et Chroniques de Provence. Lyon, 1614; *Remerville Joseph-François de.* Histoire de la ville d'Apte, 1690. (Manuscrit. B. Mazarine, 3442–3445); *Pithon-Curt Abbe Jean-Antoine de.* Histoire de la noblesse du Comtat Venaissin, d'Avignon et de la principauté d'Orange, dressée sur les preuves: En 3 vol. Paris: Veuve de Lourmel et fils, 1743–1750. T. III. P. 160 sq.; Histoire héroïque et universelle de la noblesse de Provence: En. 2 vol. Avignon, 1757–1759; *Sade, abbé de.* Mémoires pour la vie de François Petrarque: En 3 vol. Amsterdam [Avignon]: Arskée et Mercus, 1764–1767; *Lesquen Pierre de.* Histoire généalogique de la maison de Graindorge d'Orgeville de Mesnil-Durand. [s. l.], 1982. Texte polycopié; Archives conservées dans la famille de Sade (AC).

Настоящая генеалогия основана главным образом на рукописном документе XIX в. (AC), где собраны воедино данные, содержащиеся в указанных выше сочинениях. Эти же источники использовались ранее Жильбером Лели, поэтому повторение сведений, уже опубликованных в работе Лели, неизбежно. Тем не менее в примечаниях автор поместил ссылки, отсутствующие у его предшественника, и исправил мелкие неточности.

Автор впервые дает полную генеалогию семьи де Сад от маркиза до наших дней. Данные для нее почерпнуты в семейных бумагах и дополнены сведениями, любезно предоставленными нынешним графом де Садом.

[2] Следом за Жозеф-Франсуа де Ремервилем, Питон-Кюр считает Юга де Сада прямым потомком Бертрана, однако, согласно документам, имеющимся в семейном архиве, между ними стоит Раймон.

[3] Мать его звали Дус (Domina Dulcia); в 1249 г. Гийом Одоар признал за ней право на владение землей *sub dominatione sua*. В этом документе Ги де Сад упоминается как свидетель (Inventaire de l'abbaye Saint-Loran. F 132).

В 1263 г. Раймон де Сад продал монастырю Святого Лаврентия право получения цензивы в 28 турских солей с виноградника в Соржентиле (Ibid. F 133, 136).

Некий Жан де Сад был свидетелем дарения, совершенного в 1257 г. (Ibid.).

себя троих детей мужского пола[1]. Существование его подтверждается упоминанием в завещании Поля де Сада, его дяди, где можно прочесть следующие слова: «<...> in parochia sancti Agricoli consortato cum hospitio Garnerii de Sado»[2].

II поколение

ЮГ ДЕ САД

Именуется Dominus (Мессир) во всех документах. Есть основания полагать, что именно он присутствовал свидетелем при займе, сделанном Руа Санчесом де Элькоазом, оруженосцем, в Дамьете, во второй понедельник ноября месяца 1249 г., под гарантию Альфонса, графа де Пуатье. Расписка на пергаменте, подтверждающая этот займ[3], свидетельствовала об участии Юга де Сада в крестовом походе и давала основание запечатлеть имя и герб Юга де Сада в зале крестовых походов. 16 декабря 1262 г. Юг де Сад женился на Раймонде Гарнье. 3 марта 1298 г. в присутствии Жиля де Турнона, авиньонского нотариуса, Раймонда составила завещание, согласно которому после ее смерти платья ее должны были быть проданы, и половина вырученных денег направлена на строительство одной из арок моста Сен-Бенезе, а другая половина – на постройку церкви Кордельеров. Сам Юг де Сад составил завещание 15 мая 1302 г. в присутствии Ростена Мажистри, авиньонского нотариуса. У супругов родились:

1. *Бартелеми*, умер раньше матери. От его брака с *Этьенеттой Гантельми де Романиль* родилась дочь по имени Бартелеми, вышедшая замуж за Гийома

---

[1] 1. *Жак*; признал за монастырем Святого Лаврентия право на виноградник размером в четыре гемина, расположенный на территории монастыря Святого Лаврентия (Ibid. F 107).

2. *Раймон*; указан свидетелем под завещанием своего двоюродного брата Жака, составленным 6 июля 1303 г.

3. *Жан*; папский капеллан.

Все трое указаны в списках владельцев дома в приходе Святого Агриколы; половиной дома они владели нераздельно со своим дядей Югом де Садом.

[2] <...> в приходе Святого Агриколы получил пристанище вместе с Гарнье де Садом (*лат.*).

[3] Вот подлинный текст этой расписки:

Conozuda cosa sea a coantos esta carta vera<n>, como yo, Roy Sanchez de Elcoaz, mesnadero, recebi de vos. Aq. Gazolo XL livras de bonos tom., lasquales a mi prest. por mandamiento del senor Alf, cond<e> de Poet.; lesquales din<er>os devo dar & pagar en tiempo & en pena dic<chas>, & de losquall<es> din<eros> me tie<n>go por bie<n> pagado de vos. Son testigos d'este Hugo de Sada, Guill<elmu>s Clementis, mesnaderos.

Et yo, Garcia cl<er>igo, scrivi esta carta & ff. este mio sg [ici le monogramme] no acostu<m>nado en testimonia<n>ca de las antedichas cosas. Data en Damyet<ta> lune segu<n>do del mes de novie<m>b<re>, anno domini M.CC.XLIX.

Ниже дается ее перевод с латыни:

Да будет всем, кто документ сей увидит, известно, что я, Руа Санчес де Элькоаз, оруженосец, получил от Вас, Ак. Газоло, сорок полновесных турских ливров, которые Вы ссужаете мне под поручительство сеньора Альфонса, графа де Пуатье; эти деньги я должен вернуть и вовремя уплатить, иначе последует обычное в таком случае наказание. Вы мне эти деньги одолжили. Свидетелем тому является Юг де Сад и Гийом Клеман, оруженосец.

А я, Гарсия, клирик, написал эту расписку и поставил на ней свой обычный знак, свидетельствуя тем самым, что все, о чем говорится выше, правда. Написано в Дамьете, во второй понедельник ноября месяца, года Господа нашего 1249.

де Сен-Савурнена, юношу благородного происхождения, скорее всего потомка сеньоров из рода Агут, владевших некогда долиною Сольт[1].

2. Поль, наследник родового имени.

3. *Жак*, женившийся на *Раймонде Ланс* (или *Ланчио*); от их брака родилась дочь Раймонда, вышедшая в 1320 г. замуж за Бертрана Югони, сына Гийома[2]; в завещании, составленном 6 июля 1303 г.[3], Жак сделал ее своей наследницей. Умер он в 1314 г.

4. *Жан*; от жены *Эрмессанды де Сальвес*, или *де Савес* (дочери Бермона), у него родился сын Гийом, умерший раньше матери. Наследником Жан сделал своего старшего брата Поля[4].

5. *Раймонда*; ее судьба неизвестна.

6. *Пажези*; вышла замуж не позже 1276 г. за *Феррана Алоина* и родила сына Бернара, которому Жак де Сад завещал 50 коронных солидов.

7. *Томасс*; вышла замуж за *Гийома д'Эспина*; детей у нее не было; завещание составила 7 марта 1307 г.[5].

8. *Жасин*; вышла замуж около 1294 г. за *Гийома Пьера Амика де Коломбье* (приданое 12 000 коронных солидов).

9. *Раймонда*; до 1300 г. вступила в брак с *Бертраном Юртика*, адвокатом, сыном Пьера Юртика, шевалье (приданое: 28 000 коронных солидов).

10. *Лор*, вступившая в брак с *Анри де Шабо* (Шьябо или Шабот) де Кабриер. Их дочь Луиза вступила в брак с Луи де Монжуа, камерарием Робера де Женев, который стал Папой под именем Климента VII[6].

III поколение

ПОЛЬ ДЕ САД

В документах он именуется «молодым человеком знатного происхождения» (*дамуазо*); историки иногда называют его «шевалье» и причисляют к высшим кругам авиньонской знати. В 1321 г. он был избран представителем Авиньона, чтобы совместно с папскими комиссариями уладить вопрос о размещении в городе кардиналов и их свиты. Сам он уже был освобожден от повинности брать к себе на постой, когда Иоанн XXII перенес резиденцию апостолика в

---

[1] 22 июля 1310 г. Гийом написал расписку, где удостоверял получение остатка причитавшегося ему приданого. Юг де Сад, дед Бартелеми, дал Гийому 600 королевских экю. Сестра Бартелеми по имени Томасс в своем завещании сделала ее наследницей, а Поль оставил ей по завещанию 5 флоринов. Ее второй дядя, Жак, завещал ей 50 коронных солидов. 29 апреля 1306 г. Гийом де Сен-Савурнен присутствовал при торжественной встрече аббата из Л'Иль-Барба, устроенной Ростено де Сабраном и Аликс, графиней де Вентимиль, по случаю прибытия аббата в Воклюз.

[2] Согласно Питон-Кюру (см.: *Pithon-Curt*. Op. cit. T. III. P. 162) и тем, кто на него ссылается, Раймонда де Сад якобы вышла замуж за Жоржа Жюлиани, уроженца города Нима.

[3] Раймонда де Сад получила в приданое 30 000 коронных солидов (1500 ливров) согласно договору, заключенному в 1320 г. между ее мужем и Полем де Садом, ее опекуном.

[4] В присутствии Гиранума де Аквиса, согласно завещанию Поля.

[5] А не 13 марта, как ошибочно указывает Лели.

[6] Как утверждает Алессандро Велутелло, живший в начале XVI в., запись, имеющаяся в крестильных списках кюре Кабриера, говорит о том, что у Анри де Шабо и его жены была дочь, крещенная 4 июня 1314 г. и нареченная именем Лор. Она, вероятнее всего, скончалась во младенчестве, ибо далее о ней нет никаких упоминаний, и все единодушно приписывают Анри де Шабо единственную дочь по имени Луиза.

Авиньон (сентябрь 1316 г.). Неоднократно назначался синдиком (в 1331, 1336 и т. д.), т. е. на очень важную по тем временам должность в городском муниципалитете. Был женат первым браком на Жанне Лартисю (или Лартисюити) (ум. ок. 1290; полагали, что она состояла в родстве с домом Медичи), которая родила ему единственную дочь. 19 мая 1345 г. в присутствии авиньонского нотариуса Гийома де Винеа составил завещание и в следующем году умер; успел распорядиться похоронить себя в церкви братьев миноритов в Авиньоне, в часовне, построенной по непосредственной просьбе св. Анны и в ее честь. Завещал три золотых флорентийских флорина на Авиньонский мост[1].

От второй жены, Ожьер Леблан, дочери Жиро Леблана (*Blanqui*), на которой он женился 1 февраля 1300 г., у него было восемь детей, и все они упомянуты в его завещании:

1. Юг, наследник родового имени.
2. *Поль*, в 1325 г. каноник в Нотр-Дам-де-Дом (собор в Авиньоне).
3. *Жак*, около 1330 г. вступивший в брак с *Катрин де Кариа*, дочерью Оливье I, сеньора де Кондорсе в княжестве Оранж, графа де Каритата в Дофине.
4. *Пьер*, заключивший брак с *Гийометтой дю Коломбье*, дочерью Раймона дю Коломбье, сеньора Лодрона и Сансе де Перье. Во исполнение завещания Пьера, составленного 11 апреля 1348 г., в Авиньоне, на берегу Сорга, была построена больница, получившая имя де Сада, которое она носила до тех пор, пока в 1450 г. ее не объединили с больницей Сен-Бенезе. Также он завещал 5 золотых флоринов на постройку моста. Исполнителем завещания был его брат Гийом. В браке у Пьера родилось двое детей:
   - *Поле*, умер в ранней юности;
   - *Луиза*, около 1363 г. вступила в брак с *Ростэном д'Юрро* (*де Урро*), совладельцем Баньоля, умерла вдовой в 1376 г., детей не было.
5. *Гийом*, вступил в брак с *Сесиль де Лиль*, от которой имел сына *Андре* или *Андриве*, сеньора Ведена, вступившего в брак с *Аржантиной Кавалье*. У них родились дети:
   - *Понс де Сад*; прево кафедрального собора в Авиньоне, заместитель управляющего в 1413 г., примикарий Авиньонского университета в 1439 г., аббат аббатства Святого Евсевия в Апте, епископ Везона в 1445 г. Будучи епископом, он вместе с викарными епископами Арля и Экса участвовал в перенесении мощей, предположительно принадлежавших двум святым женщинам, Мари-Жакобэ и Мари-Саломэ, на острова Мартиг (1448 г.), а также присутствовал на провинциальном соборе Арля, проведенном в Авиньоне под руководством кардиналов Пьера де Фуа и Алена де Коэтиви 23 марта 1456 г. В апреле 1464 г. начал перестройку своего кафедрального собора в Везоне. В следующем году власти города Авиньона избрали его послом при Папе Павле II и поручили от имени города принести понтифику поздравления по случаю восшествия на престол св. Петра. В этой миссии ему помогали Бальтазар Спифам и Антуан де Нов, оба уроженцы Авиньона. В 1486 г. был вновь избран примикарием университета города Авиньона; умер в своем диоцезе в 1469 г.
   - *Маргарита де Сад*; в 1410 г. вступила в брак с *Жеаном де Коражем*, владельцем Корбьера. В приданое за ней было отдано поместье Ла-Редост, граничащее с Авиньоном, Комоном и Шатонефом, половину владения Ведена и дом в Авиньоне, именуемый домом Садов.

[1] Его завещание полностью приводится в «Мемуарах» аббата де Сада (см.: *Abbé de Sade*. Op. cit. T. III. P. 56–71).

6. *Бартелеми*, ставший каноником в Ниме при Папе Бенедикте XII и приором Салеона в диоцезе Гап при Иоанне XXIII.

7. *Эглин*, монахиня-бенедиктинка в аббатстве Святого Лаврентия в Авиньоне.

8. *Катрин*; сочеталась браком с *Готье де Кавайоном*[1]. У них было много детей, упомянутых в завещании их деда, Поля де Сада[2].

IV поколение

ЮГ ДЕ САД

Второй из рода де Садов, носящий имя Юг; получил прозвище Старый (*le Vieux*), чтобы отличаться от сына, носившего то же имя; владел большим состоянием и многими сеньориальными правами в городе Авиньоне, например, взимал плату за переправу через Рону, пошлину на торговлю солью и т. п. 16 января 1325 г. заключил (первый) брак с Лор (Лаурой) де Нов, прославившейся своей красотой и чувством, которое она внушила знаменитому Петрарке. Лор была дочерью шевалье Одибера де Нов, синдика Авиньона, семья которого, согласно записям, проживала в городе с XII в.[3], и г-жи Эрмессанды. В приданое за ней было дано 6000 турских ливров, что по тогдашним временам составляло немалую сумму. 3 апреля 1348 г. Лор в присутствии авиньонского нотариуса Гийома Жакоби составила завещание, а через три дня, 6 апреля (в двадцать первую годовщину с того дня, когда Петрарка увидел ее в церкви Святой Клары) скончалась от чумы. Состоя в браке с Югом де Садом, родила одиннадцать детей:

1. *Поль*, прозванный *Полон*; стал деканом Авиньонской митрополии, умер до 1348 г. (мать не упоминает его в завещании).

2. *Одибер*; доктор канонического права; родился ок. 1331 г., принят в состав капитула Нотр-Дам-де-Дом в 1342 г., в 1358 г. был каноником-ризничим в Тарасконе, затем, в 1361 г., деканом в Авиньоне, в 1338 г. – прево тулузской митрополии и, наконец, в 1395 г. – прево коллегиальной церкви в Пиньяне. В этой последней должности он в 1395 г. присутствовал на заседании штатов Прованса, куда его избрали депутатом от духовенства вместе с епископом Систерона. 11 апреля 1388 г. был одним из исполнителей последней воли кардинала Анджели де Гримоара, епископа Альбано, брата Папы Урбана V. Умер в Тулузе, похоронен там же, в церкви Сент-Этьен.

---

[1] Обещание жениться датировано 14 октября 1331 г. Есть предположения, что Катрин рождена от первого брака Поля де Сада, но пока подтверждения этой гипотезы нет.

[2] Питон-Кюр (см.: *Pithon-Curt*. Op. cit. P. 168) среди дочерей Поля де Сада числит и знаменитую Лауру (по-французски Laure [Лор]) Петрарки, которая, по его словам, «упомянута в завещании ее отца». Однако вряд ли он когда-нибудь видел это завещание, ибо, во-первых, он пропускает упомянутую там надлежащим образом Катрин де Сад, а во-вторых, Поль де Сад говорит там о Лор как о своей невестке (*nurus*), а не дочери: «Laurae nurus meae uxoris Hugonis filii mei» («Лауры, моей невестки, жены моего сына Юга»).

[3] Известно, что в 1189 г. некий Понс де Нов вместе с виконтом Марсельским Барралем де Бо, а также Бертраном Корнути и многими другими провансальскими сеньорами, присутствовал при пожаловании Идельфонсом II, графом Прованским, вольностей монастырю де Ласель, что возле Бриньоля. Другой де Нов, Одибер, в 1189 г. был в Авиньоне судьей. Затем, в 1201, 1216, 1217, 1220 и 1221 гг. – канцлером в Конта-Венэссен, где представлял графа Тулузского. Еще один Одибер де Нов, современник последнего, назван «судьей и заседателем» в Бокэре, о чем известно из соглашения, подписанного в Пон-Сент-Эспри 1 июня 1202 г. между Раймоном IV, графом Тулузским, и Югом, клюнийским аббатом, совладельцами этого города.

3. Юг, по прозванию Югонен, наследник родового имени. Родоначальник ветви де Сад де Мазан.

4. *Пьер*; в 1356 г. возведен Папой Иннокентием IV в сан каноника кафедрального собора Авиньона.

5–6. *Жак* и *Жоанне*, умерли до 1364 г. (в этом году отец их составил завещание, однако они в нем не упомянуты).

7. *Филипп*, родился ок. 1347 г.; в 1364 г. его уже не было в живых.

8. *Ожьер*, родилась ок. 1332 г., 1 января 1345 г. сочеталась браком с *Бертраном Мильсонди*, молодым человеком благородного происхождения, сыном Жана Мильсонди, совладельца Бедаррида. Приданого за ней было дано 2500 флоринов. Дед и мать завещали ей соответственно один и два флорина. От отца она получила по завещанию всего 5 солидов[1]. Предполагают, что поведения она была не слишком достойного, ибо в 1351 г., скорее всего по просьбе ее мужа, Папа Климент VI приказал монахиням монастыря Святой Екатерины в Апте принять ее к себе и держать под неусыпным надзором до конца дней ее. Тем не менее в 1364 г. имя ее числится среди монахинь монастыря Сент-Андре де Роверия.

9. *Эрмессанда*, в 1342 г. вступила в монастырь Святого Лаврентия, а в 1376 г. стала его попечительницей. В 1388 г. она была еще жива.

10. *Маргарита*, упомянутая в завещании своего деда Поля. Скончалась скорее всего между 1345 и 1348 гг.

11. *Гарсанд*, или *Гарсенет*; в первый раз вышла замуж в 1346 г. за Ростэна де Морьера, сына Ростэна, шевалье, однако уже в следующем году стала вдовой. Второй раз сочеталась браком с *Бернаром* (или *Боде*) *д'Ансезюном де Кадрус*, доктором правоведения, судьей княжества Оранж, который в 1360 г. составил завещание в пользу двух своих сыновей, Боде и Бертрана.

В третий раз Гарсанд вышла замуж в 1363 г. за *Раймона де Мосанга* (*Малисангвинис*), совладельца Меноменеса (или Монт-Альверника), а позднее и Ла-Тур-Сабрана. В 1406 г. была еще жива.

Спустя семь месяцев после смерти Лор Юг де Сад женился во второй раз на Верден де Тантливр, дочери Юга и Бартелеми д'Оппед (брачный контракт от 19 ноября 1348 г.). В 1355 г. он пожертвовал 200 флоринов на ремонт моста Сен-Бенезе. Скорее всего именно по этому случаю герб де Садов был выбит в арке первого пролета этого моста, где его можно видеть до сих пор. 14 ноября 1364 г.[2] он составил завещание и распорядился похоронить его в церкви Братьев миноритов, в часовне Святого Креста, построенной по его повелению.

---

[1] Дети Юга де Сада, упомянутые в завещании их деда Поля: *Полон, Ожьер, Одибер, Эрмессанда, Юг, Маргарита, Гарсенет, Жак и Жоанне;* каждый из них получил по одному флорину.

Дети, упомянутые в завещании их матери Лор: *Ожьер* (2 золотых флорина), *Эрмессанда* (5 флоринов), *Гарсанд* (1 флорин), *Одибер* (5 флоринов), *Юг, Жак, Пьер, Жоанне* и *Филипп* (по 1 флорину каждому).

В завещании Юга де Сада перечислены следующие лица: Юг, декан церкви Святого Агриколы, и Одибер, исполнители воли завещателя; Поль (сын от второго брака), Боде, Жанне. Маргарита получила в качестве приданого 1200 золотых флоринов; Катрин — 1200 флоринов; Бартелеми, которой было суждено провести жизнь в монастыре, он завещал 100 флоринов для вступительного взноса в монастырь; Ожьер и Эрмессанда получили по 5 солидов каждая; Гарсанд — 10 золотых флоринов; Одибер и Пьер — по 5 золотых флоринов.

[2] Его завещание приведено в «Мемуарах» аббата де Сада (см.: *Abbé de Sade*. Op. cit. T. III. P. 71–81).

Его эпитафия была следующего содержания:

Hic subtus est sepulcrum nobilis Hugonis de Sade senioris et suorum
Qui fecerunt aedificari hanc capellam sanctae Crucis, et unam aliam
Sanctae Annae de super. Et fundaverunt duas missas perpetuas, et Domina Vardaina
Ejus uxor unam aliam quod fecit fieri Joannes, ejus filius[1].

Его вторая жена составила завещание 8 января 1399 г. в присутствии Антуана Жиро, нотариуса из Кавайона.

От второго брака у Юга родилось шестеро детей:

1. *Боде*, родоначальник ветви де Сад де Соман, угасшей в XVI в. вместе с *Жоашеном де Садом*, скончавшимся без прямых наследников; его единственным и правомочным наследником стал *Жоашен де Сад*, владелец Мазана, его кузен и крестник, о чем и говорится в завещании Боде, составленном в 1534 г.

Боде де Сад (*Рэбо* или *Рэбоде*); у себя в провинции был лицом чрезвычайно уважаемым; в 1407 г. обратился к синдикам города Карпантра с просьбой помочь ему добиться у Папы Бенедикта XIV должности епископа этого города для своего брата Поля де Сада, епископа Марсельского, однако понтифик согласия не дал. В 1382 г. Боде женился на *Тибодетте Рено*, дочери Юга, молодого человека благородного рода, совладельца Кадруса, от которой у него было пятеро детей.

2. *Жанне*, или *Жан*; в 1418 г. был избран делегатом от города Авиньона для принесения поздравлений Папе Мартину V по случаю его вступления на престол св. Петра. Первый брак, согласно брачному контракту от 14 сентября 1388 г., заключил с *графиней Ретроншен*, дочерью Жана, молодого человека благородного рода, совладельца Мазана в диоцезе Карпантра. Супруга его составила завещание 13 января 1399 г.

Судя по брачному контракту, составленному 5 февраля 1401 г., во второй раз Жанне вступил в брак с *Элен де Лажюжи де Пюилаваль*, дочерью Гийома де Лажюжи и Катрин де Морна[2]. Второй брак оказался бездетным. 20 сентября 1431 г. Жанне составил завещание, сделав своим единственным наследником малолетнего племянника Анри. Еще он завещал некоторую сумму на приданое десяти бедным девушкам, а 13 ноября 1432 г. сделал к завещанию приписку[3]. 8 февраля 1433 г., когда его брат Поль, епископ Марсельский, упомянул его в своем завещании, был еще жив.

От первого брака у него родился сын: *Жанон де Сад*. В благодарность за военную службу король Карл VI назначил его губернатором форта Сент-Андрэ в Вильнев-лез-Авиньон. В июне 1432 г. он был убит в сражении между жителями Вильнева и Авиньона за право владения Роной. Папа Евгений IV с сожалением сообщил об этом королю и выразил горечь по поводу гибели отважного

---

[1] Здесь внизу находится погребение знатного сеньора Юга де Сада и его близких, / Которые распорядились построить эту часовню Святого Креста / И вверху еще одну часовню Святой Анны. И они завещали отныне служить две мессы ежегодно, / А госпожа Верден еще одну, распоряжение ее подтвердил Жан, ее сын (*лат.*).

[2] Семья родом из Лимузена. Гийом был сыном Ги де Пиюлаваля и Аликс де Лажюжи, племянницы Папы Климента VI и сестры Гийома и Пьера де Лажюжи, кардиналов, рукоположенных Папой Григорием XI в 1347 г. Никола де Лажюжи, брат Аликс, не имея детей, назначил наследниками своими Гийома де Пюилаваля и его детей, с условием, что они станут носить его имя.

[3] Он также сделал распоряжения в пользу своего брата Поля, епископа Марсельского, своей сестры Катрин де Карио, своих племянниц, Лор и Жаннет, монахинь в монастыре Св. Лаврентия, и Мари, монахини монастыря Св. Екатерины, а также в пользу своего племянника Эльзеара и своего внучатого племянника Жирара, сына Жана.

капитана. Жанон был женат дважды. В 1410 г. он вступил в брак с *Таде Лемэтр*, дочерью Жана Лемэтра, сеньора Мазога, генерального казначея Прованса, и Катрин де Порселе. Второй раз вступил в брак с *Катрин де Барра*, которая затем также вновь вышла замуж — за Шарля д'Арбувиля из Гренобля.

Оба брака Жанона были бездетны.

3. *Поль*; был советником короля Арагонского, о чем свидетельствует королевская грамота от 19 апреля 1397 г.; ризничим в церкви Сент-Агриколь в 1399 г.; государственным секретарем при Иоланде Арагонской, королеве Неаполитанской, графине Прованской, и ее министром при папском дворе в Авиньоне; ему было пожаловано епископство Марсельское, во владение которым он вступил 24 мая 1405 г. В 1409 г. присутствовал на соборе в Пизе, где ради сохранения внутрицерковного мира были низложены Бенедикт XIII и Григорий XII; 8 февраля 1433 г. составил завещание в пользу капитула своего собора Ла-Мажор или Сент-Мари-Мажор.

4. *Маргарита*; 16 сентября 1372 г. вступила в брак с *Жаном де Мулинефом*, молодым человеком благородного род, сержантом в войске Папы Григория XI. В 1399 г. уже была вдовой.

5. *Катрин*, вышла замуж за *Франсуа де Карио*, доктора права города Перне. Ее брат Боде упомянул ее в своем завещании от 9 января 1399 г.

6. *Бартелеми;* 13 апреля 1384 г. вышла замуж за *Тома Гийома дю Пюи*, владельца Монбрена. Умерла бездетной в 1399 г., незадолго до смерти своей матери Верден; 4 января 1399 г. составила завещание в пользу своего брата Боде.

V поколение

ЮГ ДЕ САД

Третий в роду, носящий это имя, именовался Югонен, или Маленький. В 1360 г. вместе с Жаном де Лоденом был направлен жителями города Апта к Папе Иннокентию VI за разрешением на основание в городе коллежа; в 1373 г. был синдиком общины города Авиньона и консулом; 12 марта 1406 г., а затем 23 июня 1406 г. в присутствии авиньонского нотариуса Пьера Сонье составляет завещание, а 17 мая 1423 г. делает к нему приписку. От брака с Жиродой де Ледеон, дочерью Жана, сеньора Арамона, родились дети:

1. Жан, наследник родового имени.

2. *Эльзеар*, конюший, а затем виночерпий Папы Бенедикта XIII и совладелец Иссара. В награду за услуги, оказанные им и его родственниками Империи, удостаивается от императора Сигизмунда Люксембургского привилегии носить на фамильном гербе имперского двуглавого орла с расправленными крыльями, увенчанного алыми коронами; грамота, подтверждающая пожалование, выдана была 11 января 1416 г. в Авиньоне[1].

Женился на *Дофине де Венаск*, владелице Иссара. У них были дети:

- *Эли де Сад*; судьба его неизвестна.
- *Аржантин де Сад*; в 1451 г. сочеталась браком с *Пьером де Раймоном*, сеньором де Лависклед, советником графа Рене[2].
- *Поле*; около 1398 г. служил папским постельничим; женился на *Жанне де Кастеллан*, от которой имел единственную дочь:

---

[1] Полный текст грамоты приводится в примеч. 13 к Прологу наст. изд.

[2] Питон-Кюр (см.: *Pithon-Curt*. Op. cit. P. 177) приписывает Эльзеару вторую дочь, Элен, вышедшую замуж за Колена д'Альбертаса, гражданина города Апта. Родство немыслимое, так как настоящая Элен де Сад заключила брачный договор 12 июня 1503 г.

Раймонду, в 1409 г. сочетавшуюся браком с *Луи де Кабасолем*; второй раз она сочеталась браком с *Понсом* (или *Понсе*) *д'Арамоном*, брачный контракт подписан 20 марта 1417 г.

- *Маргарита*; 24 апреля 1392 вышла замуж за *Одуэна дю План* (или *де Лаплан*), совладельца Каромб в Карпантра. В 1415 г. уже была вдовой; вместе с тремя сестрами упомянута в завещании своего брата Жана.
- *Катрин*; вышла замуж за *Пьера де Сегере.*
- *Лор;* монахиня в аббатстве Святого Лаврентия в Авиньоне.
- *Мари*; монахиня в цистерцианском аббатстве Святой Екатерины в Авиньоне.

VI поколение

ЖАН ДЕ САД

Доктор права, советник Людовика II Анжуйского, короля Иерусалимского и Сицилии, графа Прованского. В 1408 г. принц назначил его, а также Этьена Н..., Жюльена Шаваса и Жана де Женуардиса своими комиссариями для решения спорных вопросов, возникших в том году между жителями Марселя и правителем Генуи, маршалом Бусико, относительно права взимания податей за проезд по земле Перн. Людовик II пожаловал ему замок Пир, о чем свидетельствует письмо от 27 ноября 1409 г. В следующем месяце, а именно 30 декабря, жители указанного места принесли Жану де Саду вассальную присягу.

Назначенный на должность наместника сенешаля Прованса, он в 1410 г. вошел в состав канцелярии по делам Авиньона; во время осады папского дворца в Авиньоне, хозяином которого в конце концов стал Роже де Люна, племянник антипапы Бенедикта XIII, он отвечал за ведение военных действий и за распределение финансов,

Затем Жан де Сад был назначен чрезвычайным послом в королевство Арагон для ликвидации прав королевы Иоланды Арагонской, жены Людовика II, и прав ее старшего сына Луи, сеньора де Гиза. Исполнение миссии пришлось как раз на время, когда в Арагоне свирепствовала чума. Жан де Сад не отступил перед опасностью, а по возвращении в награду за оказанные услуги получил замки Сен-Жер и Майастр, бальяжи Мустье, Крейсель и Динь, со всеми их землями и прерогативами (королевские грамоты от 20 августа и 17 сентября 1411 г.).

Когда в 1415 г. в Эксе формировался парламент, он на основании королевской жалованной грамоты от 25 октября того же года, направленной на имя парламента, был назначен первым его председателем. 14 октября 1416 г. граф Прованский пожаловал ему землю *д'Эгийер*, выделенную из владений Каталан де Ла Рок[1].

Назначенный в 1418 г. послом города Авиньона при Папе Мартине V, он через три года получил повеление от Папы испросить у штатов провинции Конта-Венэссен помощи зерном для прокорма самого Папы и его кардиналов и без труда получил эту помощь. 15 октября 1419 г. он принес оммаж за свои земли в Провансе, 2 сентября 1415 г. составил завещание, а 30 мая 1420 г. внес в него последнюю поправку.

---

[1] Письмом от 2 декабря сенешаль Прованса доверил Бартелеми Брюни, королевскому нотариусу в Эксе, ввести Жана де Сада в лице мессира Бертрана Фароди, священника, доверенного лица означенного Жана де Сада, во владение этими землями.

Жан де Сад вступил в брак с Раймондой де Каис, дочерью Понса де Каис, канцлера Прованса, и Жансиан де Кикран, из города Арля. Жансиан составила завещание 17 июня 1473 г. В этом браке родились:

1. Жирар, наследник родового имени.

2. *Оноре*; 4 февраля 1422 года заключила брачный контракт с *Жаном Ретроншеном*, совладельцем Мазана. 17 февраля 1466 г. завещала все свое имущество единственному сыну *Бальтазару Ретроншену*. Бальтазар вступил в брак с *Лоретт де Перузи*; детей у них не было. Таким образом совместные владения Мазан, Венаск и Сен-Дидье вернулись к матери Бальтазара, которая передала их своей семье[1].

VII поколение

ЖИРАР ДЕ САД

Владелец Эгийера, Сен-Жера, Майастра и Крейселя в Провансе, совладелец Мазана, Венаска и Сен-Дидье в Конта-Венэссене. После смерти отца опеку над ним берут мать и двоюродный дед Поль де Сад, епископ Марсельский; в их присутствии жители Эгийера 11 июня 1421 г. приносят ему присягу на верность. В 1422 г. сеньориальные владения Сен-Жер, Майастр и Крейсель были отчуждены в пользу Антуанетты де Понтевес, жены Бонифаса де Кастеллана.

Согласно распоряжению, сделанному 10 мая 1444 г. в присутствии Изоара Гюона, нотариуса из Салона, Жирар де Сад передал церкви Нотр-Дам-де-Грас д'Эгийер реликвии св. Екатерины с условием, что ежегодно там будет проходить торжественная месса во здравие дома де Сад.

Согласно брачному контракту, заключенному 13 сентября 1428 г., Жирар де Сад сочетался браком с Жанной Пальмье, дочерью Пьера из города Валанса.

Назначенный на должность первого консула города Авиньона, 10 июня 1483 г. он составил завещание. Жена пережила его; она составила завещание в 1493 г. От их союза родились:

1. *Этьен*, капитан в Барбантане, где наместником был кардинал де ла Ровер; от имени вышеназванного кардинала исполнял обязанности бальи Барбантана; около 1500 г. стал первым консулом в Авиньоне. 6 мая 1506 г. и 15 января 1508 г. вместе с братьями Габриелем и Пьером совершил раздел владений и стал совладельцем Мазана, Венаска и Сен-Дидье. 9 марта 1476 г. заключил брачный контракт со своей первой супругой *Изабеллой Гираман*, дочерью покойного Жана Ги-

---

[1] В то же самое время некая *Катрин де Сад* в 1460 г. выходит замуж за *Пьера де Гаста*. Отметим также, что, по мнению барона дю Рура (см.: *Belleguise*. Les Maintenues de noblesse en Provence 1667–1669: En 3 vol. Bergerac, 1923. T. III. P. 386–378), дворянство рода де Сад начинается только с XV в., с Жана, сына Юга Маленького. В поддержку своего мнения барон дю Рур ссылается на три нотариально заверенных документа. Во-первых, на документ от 7 ноября 1409 г. (мэтр Б. Пассарен, в Арле), где Юг именуется «discreditus vir Hugo de Sadone, burgensis de Avinione» («смиренный муж Юг де Сад, житель Авиньона»); затем на два документа, относящихся к Жану, которые, как тот утверждает, предшествуют его возведению в дворянское звание: его брачный договор от 28 мая 1402 г. (мэтр П. Бернар, в Арле), где он назван только как «venerabilis vir legum doctor» («почтенный муж, доктор права»), а также акт от 13 января 1409 г. (Arch. De Saint-Maximin), где его именуют торговцем из Авиньона, и подпись его стоит среди подписей других торговцев, выступивших в качестве свидетелей завещания маршала де Бусико. На взгляд автора, к подобным утверждениям следует относиться крайне осторожно. Вплоть до настоящего времени специалисты по генеалогии утверждают, что он ошибается: начиная с Питон-Кюра и аббата де Сада все единодушно возводят дворянство семьи де Сад к XIII в.

рамана, сеньора Бра и Грамюза, и Катрин де Форбен. В первом браке детей у Жирара не было.

26 апреля 1483 г. он вступил во второй брак с Катрин де Кабасоль-дю-Реаль, дочерью Антуана де Кабасоль-дю-Реаль, совладельца Барбантана и Антрега, конюшего и стольника короля Рене, графа Прованского, кавалера ордена Камай, и Изабеллы де Бан д'Аси (де Альзиако), дочери Жана, помощника сенешаля Бокэра и Нима и президента парламента в Тулузе[1]. От второго брака у Жирара родились:

1. *Гийом*, совладелец Мазана, Венаска и Сен-Дени; заключил 21 февраля 1519 г. брак с *Катрин де Сен-Мишель*, дочерью Ги, сеньора Буасрона. Жирар уступил двоюродному брату Жоашену де Саду свою долю в Мазане в обмен на долю в Сен-Дидье. У него родились три дочери:

- *Франсуаза*; в 1539 г. сочеталась браком с *Жаном Фором*, сеньором Веркура и Ди в Дофине.
- *Жаклин*; ей принадлежала часть земель в Венаске; 9 декабря 1539 вышла замуж за *Жана Кикрана* из Арля, сеньора Вентабрана.
- *Габриэль*; около 1550 г. вышла замуж за *Жака де Бона*, барона де Самблансэ, виконта де Тур, главного распорядителя финансов в Дофине, рыцаря королевского ордена, штатного королевского постельничего и королевского посла в Швейцарии, камергера герцога Анжуйского, брата Генриха III, и управляющего этого герцога. Жак де Бон был внуком Жака де Самблансэ, исполнявшего обязанности суперинтенданта финансов при Карле VIII, Людовике XII и Франциске I. Став жертвой незаконного судебного преследования, начатого против него королевой-матерью Луизой Савойской 9 августа 1524 г. Самблансэ был повешен на Монфоконе. В 1603 г. Габриэль еще была жива. Одна из ее дочерей, Шарлотта де Бон, стала фавориткой королевы Екатерины Медичи; ее первым мужем был уроженец Лагедока Симон де Физес, барон де Сов, министр и государственный секретарь при Карле IX и Генрихе III. Барон де Сов умер в 1579 г. Вторично Шарлотта вышла замуж в 1584 г. за Франсуа де Тремуя, маркиза де Нуармутье. Прославившаяся своей красотой, а также связью с Генрихом IV и обоими Гизами, она умерла 30 сентября 1617 г., в возрасте шестидесяти шести лет.
- *Лоран* и *Аннет*, умерли в ранней юности.

2. *Бальтазар*, основатель ветви д'Эгийер. Обе ветви — де Мазан и д'Эгийер — вновь соединились 15 сентября 1808 г. посредством бракосочетания Донасьена Клода Армана де Сада, сына маркиза, со своей кузиной Габриэль-Лор де Сад д'Эгийер.

3. *Габриэль*, совладелец Мазана; 25 февраля 1524 г. составил завещание в пользу Жоашена де Сада, сына своего брата Пьера, 20 марта 1528 г. сделал к завещанию приписку и через четыре дня умер в возрасте более девяноста лет.

4. Пьер, наследник родового имени.

5. *Гийом*, рыцарь ордена иоаннитов, командор Пюимуассона в диоцезе Рец.

6. *Антуан*, каноник в церкви Сен-Совер города Экса; 12 июня 1493 г. сделал приписку к завещанию и все состояние оставил своему капитулу.

7. *Изабо*; в 1461 г. вышла замуж за Филиппа де Любьер из Тараскона; когда в 1483 г. отец ее составлял завещание, она была уже вдовой. Документом от 24 июня 1467 г. отказалась от всех своих прав в пользу братьев.

---

[1] Когда тетка Этьена, Раймонда де Сад, выходила замуж за Луи де Кабасоля, будущий супруг должен был взять специальное разрешение на брак по причине кровного родства в IV степени. Разрешение было получено 7 июня 1483 г.

VIII поколение

ПЬЕР ДЕ САД

Владелец Мазана, за который 19 февраля 1506 г. вместе с братьями принес оммаж. Около 1476 г. стал первым консулом Авиньона; будучи в этой должности, присутствовал на церемонии основания коллежа дю Рур, помещенного под патронаж кардинала делле Ровере (или дю Рур), первого архиепископа Авиньона (22 августа 1476 г.). В декабре 1493 г. тайно и без оглашения женился на Батистине де Форбен, вдове Раймона де Гландевес, сеньора Фокона, великого сенешаля Прованса, и дочери Паламеда де Форбена, прозванного Великим, виконта Мартига, шевалье, советника и камердинера Карла Анжуйского, короля Неаполя и Сицилии, последнего графа Прованского, и Жанны де Кастийон. 23 декабря 1493 г. супруги получили отпущение от Папы. Однако по неизвестным причинам скрывали свой брак вплоть до 2 января 1515 г.; в тот день Пьер, составляя завещание[1], объявил, что с 1493 г. он состоит в законном браке с Батистиной де Форбен и у него от нее имеются дети:

1. *Франсуа*, умер в ранней юности.
2. Жоашен, наследник родового имени.

Батистина де Форбен заявила о своем браке в документе от 18 января 1528 г. Согласно ее завещанию, составленному 4 июня этого же года[2], она завещала своему сыну Жоашену 1200 флоринов и дом с садом в Авиньоне, а наследником своим утвердила Пьера де Гландевеса, сеньора Фокона, своего сына от первого брака. 15 октября 1531 г. она составила второе завещание, согласно которому назначала своим наследником того же Пьера де Гландевеса и упомянула в завещании других детей, но не назвала их по именам «из уважения»[3].

От первого брака у нее было две дочери:

• *Маргарита де Гландевес*, маркиза де Пон, г-жа де Сен-Кана; вышла замуж за внебрачного сына короля Рене, от которого у нее родилась *Маргарита*, вышедшая замуж за *Франсуа де Форбена*, сеньора Сулье.

• *Онофе де Гландевес*, г-жа де Баржант.

Обе эти дочери были упомянуты в завещании Жоашена де Сада, их единоутробного брата, наследника родового имени.

IX поколение

ЖОАШЕН ДЕ САД

Доктор права, совладелец Мазана, Венаска и Сен-Дидье, прозванный Молодым, чтобы отличаться от своего родственника и крестного отца Жоашена де Сада, последнего потомка Соманской ветви. Согласно жалованной грамоте короля Франциска I, подписанной в Амбуазе 22 октября 1530 г., был назначен советником при парламентском суде Прованса.

В 1527 г. Жоашен де Сад вел процесс против Гийома, своего родственника, усомнившегося в законности брака Пьера, отца Жоашена, и пожелавшего объ-

[1] В присутствии Понса де Гарето, авиньонского нотариуса.

[2] В присутствии Мануэля Рейно, нотариуса из Экса.

[3] Состоя в браке, Пьер де Сад имел также внебрачного сына по имени Луи, который стал каноником в Систероне, затем прево в Карпантра, ректором капеллянства дю Тор и протонотарием. Его дядя Габриэль завещал ему 1000 флоринов при условии, что он станет священником. Жоашен, его сводный брат, завещал ему пенсию в 150 флоринов, дабы тот имел с этой суммы бенефиций.

явить Жоашена бастардом, чтобы завладеть его имуществом. Однако выиграть дело Гийому не удалось, и процесс завершился сделкой, подписанной 16 ноября 1531 г., согласно которой Гийом уступал Жоашену свою часть Мазана в обмен на часть, принадлежавшую Жоашену, в Сен-Дидье.

Унаследовав от своего родственника Соман и наследственную должность капитана города и крепости Везон, 11 апреля 1538 г. Жоашен Молодой принес оммаж и за оба унаследованных владения кардиналу Франсуа де Клермону, легату Авиньонскому. Согласно брачному контракту от 13 июля 1521 г., он женился на Клеманс де Жерар, дочери Драгонне де Жерара, сеньора Обре, примикария Авиньонского университета, и Франсуазы де Гальен (или де Галеан). Жена его получила в приданое 2000 золотых экю; умерла 22 октября 1529 г. и была похоронена в Мазане, в церкви Святого Назария.

Четвертого января 1532 г. Жоашен составил завещание в пользу единственного сына Жана. 13 сентября 1538 г. по дороге в Экс он утонул, переправляясь через Кулон (или Калавон) и через три дня был похоронен в Мазане, рядом с супругой. От их союза родились:

1. *Франсуа*, умер в ранней юности.
2. Жан, наследник родового имени.
3. *Мадлен*, умерла в 1529 г.
4. *Франсуаза*; в первый раз сочеталась браком 5 июля 1544 г. с *Антуаном Фуассаром*, прозванным Шосгро, владельцем Миме, Истра и Ла Тур д'Энтравена; второй раз вышла замуж за *Эспри Сене*, именуемого *д'Астуо*, сеньора Воклюза, Веллерона и Ланя, совладельца Мазана, титулярного графа Ампурии в Арагоне[1]. От второго брака у нее была дочь, которая вышла замуж за *Анри де Венсена де Молеона*, барона де Транс и де Козанс; она основала монастырь реколлектов в Мазане и монастырь миноритов в Венаске.

X поколение

ЖАН ДЕ САД

Второй в роду, носящий это имя; родился 18 ноября 1522 г., крещен 20 ноября, сеньор Сомана, совладелец Мазана, Кабанна и Истра, наследственный капитан крепости Везон. 12 декабря 1538 принес присягу на владение землями в Сомане.

В Париже изучал право под руководством знаменитого Алчиати;[2] 15 апреля 1549 г. получил докторскую степень в университете в Павии; вернувшись на родину, стал советником короля в парламенте Прованса.

Четвертого декабря 1551 г. был подписан брачный контракт, согласно которому Жан де Сад вступил в брак с Сибиллой де Жарант, вдовой *Антуана деРолана*, сеньора Рейанета, советника парламента Прованса. Сибилла была дочерью Клода де Жаранта, сеньора Сенаса, советника парламента Прованса, и Маргариты де Понтевес де Гарс, и племянницей Бартелеми (или Бальтазара) де Жаранта, архиепископа Амбрена. Этот последний отказался в пользу Жана де Сада от своих должностей первого председателя Счетной палаты и Хранителя печатей канцелярии Прованса. Отказ и передача должностей были подтверждены жалованными грамотами короля Генриха II, выданными в Фонтенбло 1 апреля 1554 г.

---

[1] Графство или же титул графа Ампурийского Иоланда, королева Сицилии и Арагона, даровала Гийому Сене, бывшему послом короля Франции.

[2] Алчиати Андреа (1492–1550) – итальянский правовед, много работал в области истории права. (*Примеч. пер.*)

Вероятно, Жан де Сад был смещен с принадлежавшей ему должности капитана, ибо он упоминает об этом 24 апреля 1553 г. Однако на основании буллы, выданной 2 апреля 1559 г. монсеньором Жаком Сари Сала, вице-легатом Авиньона, по приказу Папы Павла III, должность была возвращена ему вновь. Затем он сложил с себя полномочия первого председателя в пользу Жана де Ролана, так как его собственный сын Бальтазар был еще слишком мал, чтобы исполнять эту должность.

В августе 1562 г. его замок Мазан был разграблен во время вторжения в Конта барона Адрета[1]. В период набегов мятежников из Кабриера Жан де Сад на свои средства снарядил войска для защиты Сомана и окрестностей. Лично возглавлял многие вылазки против мятежников, захватил несколько пленных и отбил у нападавших охоту возобновлять набеги. 11 мая 1595 г. составил завещание, где упомянул всех своих троих детей, и умер 11 декабря 1599 г., достойно послужив четырем королям; Сезар Ностредам пишет о нем следующим образом:

У него было столько заслуг, что 8 января 1600 года он удостоился чести быть похороненным в часовне якобинцев в Эксе; там до сих пор можно видеть камень, под которым погребен он, а также мессир Бернарден де Тюль, шевалье, генеральный казначей Прованса.

От союза Жана де Сада с Сибиллой Жарант родились:

1. Бальтазар, наследник родового имени.

2. *Маргарита*; 22 января 1602 г. сочеталась браком с *Ришаром де Камбисом*. Получила 4000 золотых экю в приданое и умерла в 1606 г.; завещание составила 14 августа 1604 г.

3. *Клэр;* 19 октября 1576 г. вступила в брак с *Луи Кабре*, сеньором де Роквером; в приданое получила 18 000 экю.

Их мать, Сибилла де Жарант, составила завещание 13 ноября 1539 г., она пережила мужа. От ее первого брака, заключенного 15 августа 1536 г. с Антуаном де Роланом, у нее был сын, Жан де Ролан, унаследовавший от Жана де Сада должность первого председателя Счетной палаты; в 1605 г. он уступил права на эту должность своему сводному брату Бальтазару за 3600 золотых экю. Сестра его, Маргарита, жена Н. де Кориолиса, уступила свои права за 1652 экю.

XI поколение

БАЛЬТАЗАР ДЕ САД

Сеньор Сомана и Борегара, совладелец Мазана и Кабанна, доктор права, наследственный капитан крепости Везон, называемый «прославленным и великолепным сеньором»; 14 апреля 1600 г. принес оммаж за свои земли Папе.

Одиннадцатого октября 1575 г., будучи малолетним, испросил у парламента Прованса дозволения распоряжаться имуществом, оставленным ему его бабкой Маргаритой де Понтевес, г-жой де Сене, и 22 декабря получил от канцелярии Прованса грамоты, позволяющие ему вступить в права наследника.

Он начал тяжбу с Франсуазой и Сибиллой д'Астуо и добился направленных против них двух постановлений парламента, от 25 ноября 1605 г. и 18 мая 1609 г., а также постановления Частного Совета короля, от 10 июня 1611 г.

Четырнадцатого мая 1600 г. заключил брачный контракт с Дианой де Ба-

---

[1] Адрет Франсуа де Бомон, барон (1513—1586) — встал во главе вооруженной вольницы, грабившей и разорявшей Юг Франции как под знаменами протестантов, так и католиков. (*Примеч. пер.*)

РОНСЕЛЛИ, дочерью Бартелеми де Баронселли, сеньора Жавона, рыцаря королевского ордена, и Жанны де Бертон.

Пятнадцатого октября 1613 г. Бальтазар де Сад составил завещание, 18 числа сделал к нему приписку; умер 5 ноября этого же года. Его вдова составила последнее завещание 29 апреля 1645 г. в пользу двух своих сыновей. От их брака родилось трое детей:

1. ЖАН-БАТИСТ, наследник родового имени.

2. *Ришар*; 17 декабря 1626 г. получил степень доктора теологии в университете Авиньона и решил посвятить себя Церкви; 26 апреля 1627 г. был пострижен графом Барди, вице-легатом Авиньонским. Король Людовик XIII назначил ему пенсию в 1200 ливров, о чем было сообщено соответствующей грамотой, выданной в Шантийи 20 августа 1634 г. Папской буллой от 6 октября 1634 г. ему было пожаловано капелянство Сен-Жан-Батист от церкви дю Тор, а затем буллой от 17 ноября 1651 г. предоставлена должность каноника в церкви Святого Лаврентия в Риме. Ришар де Сад стал камерарием Папы Урбана VIII и вице-губернатором Тиволи и Равенны. На основании грамоты кардинала Барберини от 15 ноября 1652 г. был назначен великим викарием; буллой от 14 марта 1659 г. был возведен в епископский сан и получил епархию Кавайон. Помазан в Риме 17 марта 1660 г., во время понтификата Александра VII. Вернулся к себе в диоцез; авиньонский легат буллой от 30 мая 1659 г. даровал ему приорство Рейан. В 1663 г. вернулся в Рим в качестве депутата от Конта-Венэссена; умер в Риме 27 июня того же года. Тело его погребено в церкви Святого Лаврентия *in Damaso*; по велению кардинала Барберини над могилой возвели великолепное надгробие.

3. *Катрин*, родилась после смерти отца; в 1663 г. монахиня в аббатстве Святой Екатерины в Авиньоне.

XII поколение

ЖАН-БАТИСТ ДЕ САД

Сеньор Сомана и Борегара, совладелец Мазана, наследственный капитан города и крепости Везон, полковник папской легкой кавалерии в Конта-Венэссене, 27 октября 1614 г. принес оммаж своему суверену-понтифику за владения в Сомане. 12 апреля 1627 г. заключил брачный союз с ДИАНОЙ ДЕ СИМИАН, владелицей Ла-Коста в Провансе, дочерью Франсуа де Симиана, сеньора Ла-Коста, Лаверьера и т. д., и Анны де Симиан, г-жи де Шатонеф. Написал завещание 27 мая 1669 г., умер 19 июля того же года. Его жена составила завещание 17 сентября 1687 г. От этого брака родились дети:

1. КОМ, наследник родового имени.

2. *Жан*; сеньор Борегара, умер холостым после 1702 г.

3. *Ришар*; в 1630 г. стал рыцарем ордена Иоаннитов; обеты были принесены 12 июня 1641 г. Отличился в Кандийской войне[1], стал капитаном одной из папских галер, а затем полковником легкой кавалерии в Конта-Венэссене. В 1719 г. стал командором Монфрена, Пюимуассона и Жалеса, бальи Аквилы и великим приором Сен-Жиля. Умер на Мальте 17 марта того же года в возрасте восьмидесяти девяти лет[2].

---

[1] Речь идет о конфликте, начавшемся в 1645 г. наступлением турок на о. Крит (арабское название — Канди) и растянувшемся более чем на два десятилетия. (*Примеч. пер.*)

[2] Питон-Кюр упоминает также брата Ришара по имени Франсуа де Сад, бывшего в 1638 г. рыцарем ордена Иоаннитов; впрочем, этим рыцарем мог быть и сам Ришар, чье полное имя не зафиксировано ни в одном из документов.

4. *Жан-Батист*; родился в Мазане 14 июля 1633 г.; стал приором Бонье и Кюкюрона, 14 сентября 1665 г от брата Ришара унаследовал епископство Кавайонское; был посвящен в сан 14 марта 1666 г. 24 марта 1702 г. составил завещание в пользу больницы в Кавайоне, упомянул в завещании также братьев Ришара и Жана и племянника Гаспара Франсуа; умер 19 декабря 1707 г. Его перу принадлежит несколько благочестивых сочинений, таких как «Христианские и нравственные наставления, основанные на различных примерах из Священного Писания» (см.: *Sade J.-B. de.* Instructions Chrétiennes et morales sur divers passages de l'Écriture sainte. Avignon, 1696), «Размышления христианина над покаянными псалмами, найденными в бумагах отца Антуана, прибывшего из Португалии» (см.: *Idem.* Réflexions curétiennes sur les psaumes péniteneiaux trouvés dans les papiers de Dom Autoine, prétendant de Portugal. Avignon, 1698), «Поклонение таинству евхаристии» (см.: *Idem.* L'Adoration du sacrement de l'Eucharistie. [s. l. s. d.]).

5. *Изабо*; согласно брачному контракту от 17 марта 1666 г. вышла замуж за мессира *Жана Франсуа де Гаста*, сеньора Куароля и Монмирая.

6–7. *Мари и Франсуаза*; в 1669 г. монахини в монастыре Святой Клары в Авиньоне.

8. *Маргарита*; в 1706 г. была аббатисою в монастыре Святого Лаврентия в Авиньоне.

9. *Антуанетта*, монахиня в том же монастыре.

10. *Лор-Шарлотта*, монахиня в монастыре Святой Екатерины.

XIII поколение

КОМ ДЕ САД

Именуется «маркизом Сомана, Борегара и проч.»[1], сеньором вышеуказанных владений; совладелец Мазана; наследственный капитан города и крепости Везон. 11 февраля 1669 г. заключил брачный контракт с Элизабет Луэ де Ногаре де Кальвиссон, дочерью Жана Луи Луэ де Ногаре, маркиза де Кальвиссона, барона де Мандейля и де Массиларга, генерала королевской армии, губернатора фортов и соляных копей Пекали, и Франсуазы Бермонды де Сен-Бонне дю Кайлар де Туара, племянницы маршала Жана де Туара.

Ком де Сад принес оммаж суверену-понтифику за свою землю в Сомане 19 июня 1670 г.; 14 марта 1694 г. составил завещание, умер 18 марта этого же года. Жена его составила завещание 12 июля 1706 г. От их брака родились:

1. Гаспар Франсуа, наследник родового имени.

2. *Жан-Батист*, приор Бонье и архидиакон Кавайона.

3. *Жозеф-Мари*; крещен 18 апреля 1674 г.; после проведенных 31 марта 1692 г. надлежащих испытаний был принят в рыцари ордена иоаннитов; был капитаном на галерах, принадлежавших ордену; в 1700 г. утонул.

4. *Жан Луи*, приор церкви Святого Креста в Мальсанге, прево церкви Л'Иль-сюр-Сорг.

5. *Мари-Франсуаза*, монахиня в монастыре Святой Елизаветы города Л'Иль-сюр-Сорг.

6. *Франсуаза*, монахиня в монастыре Святого Бернара в Кавайоне.

---

[1] Как указано в дозволении на заключение брачного контракта со своей дальней родственницей Элизабет де Ногаре (подлинник от 9 февраля 1669 г.) и в разрешении на получение благословения данного союза от епископа Кавайонского (подлинник от 11 февраля), выданном Жаком Демером, великим викарием и епископом Нима.

XIV поколение

ГАСПАР ФРАНСУА ДЕ САД

Шевалье, носящий титул «маркиз де Сад»[1], сеньор Сомана и Борегара, Лакоста, Апшиса и проч., наследственный капитан города и крепости Везон, полковник артиллерии и Папской кавалерии в Конта-Венэссен, получивший эти должности на основании буллы Папы Иннокентия XII от 3 апреля 1693 г.[2]. 2 октября 1694 г. принес оммаж за свои земли в Сомане и Мазане. В 1700 г. был направлен властями города Авиньона к Клименту XI для принесения поздравлений по случаю его избрания Папой. Буллой от 4 июня 1701 г. назначен вигье Авиньона; когда он пребывал в этой должности, ему было поручено пригласить герцогов Бургундского и Беррийского почтить город Авиньон своим присутствием. Будучи наследником своего дяди Жан-Батиста, епископа Кавайонского, он заключил мировую сделку с лечебницей этого города 4 февраля 1708 г. и 22 февраля 1719 г.

Двадцать пятого сентября 1699 г. заключил брачный контракт с Луизой Альдонсой д'Астуо, дочерью Жана д'Астуо, шевалье, маркиза де Мюра, барона де Романиля, сеньора Седерона и Лику, и Мари Тезан де Венаск[3]. 16 октября 1722 г. составил завещание в присутствии г-на Жироди, авиньонского нотариуса; 9 февраля 1734 г. сделал приписку к завещанию; умер 24 ноября 1739 г. У него родились дети:

1. Жан-Батист-Франсуа-Жозеф, наследник родового имени.

2. *Ришар Жан Луи*; родился 12 октября 1703 г.; в 1715 г. стал рыцарем ордена иоаннитов. Воевал в Италии, служил адъютантом маршала де Виллара и графа де Брольи. Позднее стал командором ордена, затем бальи и великим приором Тулузы. Умер 20 сентября 1789 г. в возрасте восьмидесяти шести лет.

3. *Жак Франсуа Поль Альдонс*, называемый аббатом де Садом; родился в Авиньоне 21 сентября 1705 г.; в 1735 г. генеральный викарий Тулузы, а затем Нарбонна. На основании королевской грамоты от 20 августа 1741 г. архиепископ Арльский назначил ему пенсию в 2000 ливров; парламент Лангедока поручил ему ответственную миссию при королевском дворе; в 1744 г. ему было даровано цистерцианское аббатство Эбрей. С 1752 г. живет уединенно, получает от старшего брата земли в Сомане в пожизненное пользование, при условии выплаты ежегодной ренты в 2700 ливров, что закреплено соглашением от 7 марта 1760 г., и делит свое время между украшением замка и литературными трудами. Вскоре покидает Соман и обустраивается в Виньерме, сельском доме, расположенном в четверти лье от Соманского замка. Скончался 31 декабря 1777 г. в Виньерме.

В тихом пристанище Виньерм он создал объемистый труд под названием «Жизнеописание Франческо Петрарки, составленное на основании извлечений из его собственных сочинений и сочинений современных ему авторов, с замет-

---

[1] Гаспару де Саду чаще присваивают титул маркиза де Мазан, под которым он и фигурирует в булле 1701 г., на основании которой его назначают авиньонским вигье, а также в своем брачном контракте, в завещании и т. д. При жизни сын его в документах именовался «графом».

[2] Должность полковника занимал Ришар де Сад, дядя Гаспара Франсуа.

[3] Семья д'Астуо (или д'Астуар, или д'Астюар, или д'Эстюар, или д'Астоу) де Мюр, родом из Конта-Венэссена, известна с XIII в. Основателем рода стал Понс д'Астуо, шевалье на службе графа Тулузского, маркиза Прованского.

ками и рассуждениями, а также документальными подтверждениями» (см.: *Sade Y.F.P.A.* Mémoires pour la vie de Francois Petrarque, tirés de ses oeuvres et des auteurs contemporains, avec des notes ou dissertations, et les pièces justificatives: En 3 vol. A Amsterdam [Avignon]: Chez Arskée et Mercus, 1764—1767). Сохранилось также множество неизданных рукописей аббата де Сада.

4. *Жан-Батист Анри Виктор*, мальтийский рыцарь, принятый в орден на основании испытания, пройденного 25 августа 1718 г.; умер, скорее всего, раньше, чем его отец, ибо в отцовском завещании не фигурирует.

5. *Антуан Феликс Туссен*, умер во младенчестве.

6. *Габриэль-Лор*, родилась в 1700 г., аббатисса монастыря Святого Лаврентия в Авиньоне.

7. *Анн-Мари-Лукрес*, родилась в 1702 г., монахиня.

8. *Габриэль-Элеонор*, монахиня в монастыре Святого Бенедикта в Кавайоне.

9. *Маргарита-Фелисите*, монахиня в монастыре Святого Бернара в Кавайоне.

10. *Анриетта-Виктуар*, родилась в 1715 г., вышла замуж в 1733 г. за *Жозефа-Игнаса*, графа де Вильнева, сеньора де Мартиньяна и де Сен-Мориса, от которого родила трех дочерей.

XV поколение

ЖАН-БАТИСТ ФРАНСУА ЖОЗЕФ ДЕ САД

Называемый «графом де Садом», сеньор Сомана и Ла-Коста, совладелец Мазана, наследственный капитан города и крепости Везон, полковник кавалерии Конта-Венэссена. Родился в Мазане 12 марта 1702 г. Первоначально служил капитаном в полку под командованием Конде, в 1730 г. назначен послом при русском дворе. Но вступление на трон императрицы Анны Иоанновны автоматически аннулировало его миссию. Кардинал Флери отправил его в Лондон вести секретные переговоры при тамошнем дворе; доверял ему и иные дипломатические миссии.

Двенадцатого ноября 1733 г. женился на Мари-Элеонор де Майе де Карман, придворной даме принцессы де Бурбон-Конде, дочери Донасьена де Майе, маркиза де Кармана, графа де Майе и де Ламарша, и Мари-Луизы Бине де Марконье. Принимал участие в кампаниях 1734 и 1735 гг. в качестве адъютанта маршала де Виллара; купил у маркиза де Ласэ должность генерального наместника провинций Брес, Бюже, Жекс и Вальроме (на основании королевской грамоты от 29 мая 1739 г.) и приобрел владение Глатиньи неподалеку от Версаля. 9 ноября 1740 г. принес оммаж Папе за свои владения в Сомане и Мазане.

После смерти императора Карла VI 19 октября 1740 г. был послан в качестве полномочного министра к курфюрсту Кельнскому; из Кельна вернулся 31 декабря 1743 г. 3 августа 1741 г. отказался от чина полковника папской легкой кавалерии в пользу Жан-Батиста де Мантен де Марсель, маркиза де Крошана.

В феврале 1745 г. был вновь послан в Кельн возобновить переговоры, но по дороге был захвачен вольными стрелками королевы Венгерской и препровожден в крепость Анвер, где его продержали год.

Умер у себя дома в Монтрее, в предместье Версаля, 24 января 1767 г., в возрасте шестидесяти пяти лет.

В браке родилось трое детей:

1. Донасьен Альфонс Франсуа, наследник родового имени.

2. *Каролина Лор*, родилась в 1737 г., умерла в 1739 г.

3. *Мари-Франсуаза*, родилась 13 августа 1746 г. Вероятнее всего, умерла в младенчестве[1].

XVI поколение

ДОНАСЬЕН АЛЬФОНС ФРАНСУА, МАРКИЗ ДЕ САД

Родился 2 июня 1740 г. Женился 17 мая 1763 г. на Рене-Пелажи Кордье де Монтрей, дочери Клода Рене Кордье де Лонэ, сеньора де Монтрей, председателя Податного суда, и Мари-Мадлен Масон де Плиссэ.

От их союза родились:

1. *Луи-Мари*; родился в Париже 27 августа 1767 г., крещен 24 января 1768 г., в присутствии Луи-Жозефа де Бурбон, принца Конде, и Луизы-Элизабет де Бурбон-Конде, вдовствующей принцессы де Конти. В 1783 г. вступил в чине младшего лейтенанта в полк Субиза, в августе 1791 г. оставил службу, отправился в эмиграцию и служил в рядах армии принца Конде. К концу 1794 г. возвратился во Францию, жил в Париже, занимался ремеслом гравера, не оставлял литературных занятий и анонимно опубликовал «Историю французской нации» (см.: Histoire de la nation française. P., 1805). В 1806 г. вновь поступил на службу, участвовал в сражении при Йене, получил чин капитана во Втором польском пехотном полку, потом стал адъютантом генерала Марконье и в этом качестве принимал участие в сражении при Фридланде, где был ранен. Получив место лейтенанта в Изенбургском полку, хотел сесть на судно в Отранто и отплыть, чтобы присоединиться к своему корпусу на Корфу, но 9 июня 1809 г. был убит бандитами с большой дороги. В брак не вступал.

2. Донасьен Клод Арман, наследник родового имени.

3. *Мадлен-Лор;* родилась в Париже 17 апреля 1771 г., умерла 18 апреля 1844 г. в замке Эшофур, в возрасте семидесяти трех лет; в брак не вступала.

XVII поколение

ДОНАСЬЕН КЛОД АРМАН ДЕ САД

Родился в Париже 27 июня 1769 г. в приходе Мадлен. Крещен 28 июня 1769 г. в церкви Сент-Мари-Мадлен де ла Виль-Эвек, его крестными родителями были председатель де Монтрей и вдовствующая графиня де Сад. Кавалер Мальтийского ордена и ордена Святого Людовика. 15 сентября 1808 г. женился на своей дальней родственнице Луизе Габриэль Лор де Сад, из последнего поколения Эгийеров, родившейся 6 июня 1772 г., старшей дочери Жан-Батиста Жозефа Давида, графа де Сада, и Мари Франсуазы Амели де Бимар, родственницы и наследницы г-жи де Латур дю Пен, урожденной Лафей. Скончался 18 января 1849 г. в Валери.

Дети от этого брака:

1. *Рене*; родился в замке Конде-ан-Бри, в июле 1809 г., утонул в Санлисе в мае 1820 г.

2. Альфонс Игнас, наследник родового имени.

3. *Мари-Антуан Огюст*, родился в Валери (деп. Йонна), 12 октября 1818 г., 1 июня 1844 г. женился на *Шарлотте Жермен де Мосьон*, родившейся в 1818 г.

---

[1] Тринадцатого августа в церкви Сен-Сюльпис была крещена родившаяся в этот же день Мари-Франсуаза де Сад, дочь Жан-Батиста де Сада, генерального наместника провинций Брес, Бюже, Вальроме и Жекс, и Мари-Элеонор де Майе де Карман, состоящей в замужестве с 13 ноября 1733 г. <...> (Mercure de France. 1746. Du mois d'août. P. 208).

Ребенок этот, скорее всего, был зачат тотчас после освобождения графа де Сада, которого королева Венгерская удерживала в крепости Анвер с 8 февраля до 24 ноября 1745 г. Мари-Франсуаза де Сад, без сомнения, прожила очень мало, так как, кроме акта о ее рождении, мы не имеем о ней никаких упоминаний.

От этого союза родились:
- *Одетта.*
- *Валентина*, родилась в марте 1847 г., вышла замуж 16 сентября 1864 г. за *Пьера Лорана де Варю*, капитан-лейтенанта.
- *Лор-Мари Шарлотта*; родилась в Пасси 1 июня 1859 г., вышла замуж за графа Адеома де Шевинье. Станет одним из прообразов герцогини Германт у Марселя Пруста. Ее дочь, Мари-Тереза, вышла замуж за Франсиса де Круассе, а ее внучка, Мари-Лор, — за виконта де Ноайля.

4. *Лор-Эмили*, родилась в Конде-ан-Бри, 16 ноября 1810 г.; 13 января 1839 г. в Валери вышла замуж за *Луи-Мари Гастона де Грэндорж*, барона де Мениль-дюрана, сына Адольфа и Адели де Лаферте-Сенектер, родившегося в Версале 7 июля 1814 г. и умершего в Мениль-Дюране 24 июля 1889 г. Лор-Эмили умерла раньше своего мужа — 25 апреля 1875 г. в Версале.

Дети от этого брака:
- *Мари-Тереза*: родилась в Валери 26 декабря 1840 г. Умная, артистичная и образованная, жила вместе с родителями и целиком отдала себя воспитанию младших братьев и сестер. Когда отец овдовел, осталась жить с ним, а после его смерти удалилась в Менильдюран; умерла там же 23 апреля 1903 г.
- *Луиза Мари Мадлен*, родилась в Валери, 23 марта 1844 г., вышла замуж 22 сентября 1864 г. в Версале, за *Пьера Гаэтана Робера де Сен-Венсана*, выпускника Политехнической школы, капитана инженерных войск, родившегося в Бовэ, 27 января 1829. Умерла в Версале 29 июля 1879 г.
- *Поль Эдмон Мари*, родился в Валери 31 января 1864 г., 23 июня 1875 г. женился на *Мари-Франсуазе Натали Беатрикс Лебастье де Рэнвилье*, дочери Огюста Лебастье де Рэнвилье, и Мари-Шарлотты Мак Гир де Крюкс. Умер в Сен-Леже-ан-Брэ (Уаза) 4 июня 1879 г.
- *Луи-Фостен Мари*, родился в Версале 13 сентября 1853 г.; умер 13 мая 1879 г.; в брак не вступал.

5. *Габриэль-Пелажи-Матильда*, родилась в Конде-ан-Бри 4 сентября 1814 г., умерла 29 апреля 1875 г. в Валери, в брак не вступала.

XVIII поколение

АЛЬФОНС ИГНАС ДЕ САД

Родился 16 июня 1812 г. в замке Конде-ан-Бри, женился в Париже 14 июня 1842 г. на Анриетте Анн де Шоле (16 июля 1817 — 18 марта 1895), умер в 1890 г.

Дети от этого брака:

1. Юг Луи-Шарль, наследник родового имени.

2. *Лор-Мари Анриетта*, родилась в замке Сен-Валерьен (Йонна) 9 апреля 1843 г., 1 февраля 1870 г. вышла замуж за Эжена, барона де Рэнкура.

XIX поколение

ЮГ ЛУИ-ШАРЛЬ, ГРАФ ДЕ САД

Родился в замке Сен-Валерьен 29 апреля 1845 г.; 28 мая 1877 г. женился на Огюстине Элизабет Маргарите Жансон де Куэ (17 января 1856–1915), умер в Конде-ан-Бри 9 декабря 1925 г.

Дети от этого брака:

1. *Эдит Лор Мари*, родилась 5 мая 1878 г., умерла 20 апреля 1882 г.

2. *Ивонн Анриетта Мари*, родилась 5 июля 1880 г., вышла замуж за виконта *д'Аржан-де-Дефонтэна*.

3. *Эльзеар Виктор Мари*, родился 27 февраля 1885 г., пропал без вести во время войны 1914—1918 гг.

4. Бернар Жорж Мари, наследник родового имени.

XX поколение

БЕРНАР ЖОРЖ МАРИ, ГРАФ ДЕ САД

Родился в Олленвиле (деп. Эссонн) 9 апреля 1891 г., женился 22 октября 1918 г. на Жанне-Мари де Саразен (5 января 1893 – 22 февраля 1987), погиб 23 декабря 1933 г. в железнодорожной катастрофе в Ланьи вместе с двумя своими детьми.

Дети от этого брака:

1. *Жильбер*, родился в 1920 г.

2. *Эльзеар*, родился в 1921 г.

(оба погибли вместе с отцом 23 декабря 1933 г. в железнодорожной катастрофе в Ланьи).

3. Ксавье, наследник родового имени.

4. *Лор*, родилась в 1923 г., супруга барона *Анри Боинета*.

5. *Этьенетта*, родилась в 1925 г., супруга *Жака де Бомона*.

6. *Рауль*, родился в 1923 г., женился на *Сесили дю Бобриль*.

XXI поколение

КСАВЬЕ, ГРАФ ДЕ САД

Родился в Круа, в Турени, 20 апреля 1922 г.; 12 сентября 1946 г. сочетался браком с Роз-Мари Мелэ (родилась в Круа, в Турени, 28 октября 1926 г.).

Дети от этого брака:

1. *Эльзеар*, родился в 1947 г., супруга — *Од де Синету*. Имеются дети.

2. *Юг*, родился в 1948 г., супруга — *Каролина Сантюк*. Имеются дети.

3. *Мари-Лор*, родилась в 1952 г., во втором браке замужем за *Эриком Гожером*. Имеются дети.

4. *Мари-Эглин*, родилась в 1953 г., супруг — *Янн Юон де Кермадек*. Имеются дети.

5. *Тибо*, родился в 1956 г., вступил в брак 27 октября 1990 с *Мари-Лорой Дюсе*.

БИБЛИОГРАФИЯ

I. Источники рукописные

Национальный архив

Série AF IV (Secretairerie d'État impériale): 1236, 1237.
Série F^{1} (Ministère de l'Intérieur; comptabilité générale): 2519 à 2527.
Série F^{7}* (Police générale – Registres et fichiers) : 105, 116^{1} p. 655.
Série F^{7} (Police générale – Cartons): 3119, 3123, 3126, 3129, 3130, 3272, 3492 (dossier VIII, pièces 46–47), 3841, 4775^{9}, 4778 (pièce 31), 4954^{3} (pièces 18, 34, 130 bis, 137, 153), 6191 (dossier 2462, pièces 48 à 50), 6294, 7339 (dossier B^{4}, pièce 8094).
Série F^{15} (Hospices et secours): 1946, 2607 à 2609^{B}.
Série F^{16} (Prisons – personnel et détenus): 105, 112.
Série F^{17} (Instruction publique): 1032^{B}.
Série F^{18} (Imprimerie, librairie, presse): 1730 (dossier BARBA).
Série BB^{3} (Ministère de la Justice – affaires criminelles): 88.
Série N IV (Cartes et plans): Seine 21.
Série 0^{1} (Maison du roi): 305 p. 227, 393 (№ 513), 404 (№ 1287), 405 (№ 1156), 406 (№ 361, 497, 555, 968), 404 (№ 1987), 596 (dossier 3), 3696 (dossier 1).
Série 0^{2} (Maison de l'Empereur – Sénatoreries): 1430.
Série P (Mémoriaux de la Chambre des comptes): 2486, fol. 46.
Série S (Biens des établissements religieux supprimés): S 4511^{A}; S 4641^{A}; 4651^{A}
Série T (Papiers séquestrés): 548^{1}, 551^{8}.
Série W (Tribunal révolutionnaire): 434 (dossier 474).
Série X^{2a} (Parlement criminel – Registres – Plumitifs du conseil de la Tournelle): 840, 1131.
Série X^{2b} (Parlement criminel – Minutes): 1311, 1335 f° 6 v°.
Série Y (Châtelet de Paris) : 414 f° 163 v°, 5154, 5156, 5189, 11594, 13774 (décès de la comtesse de Longeville), 18666.
Minutier central : Étude VII (Normand), liasse 560.
Étude XVII (Lebrun), Masses 874, 875.
Étude XXXIX (Gibert), liasses 548, 565, 570, 621.
Étude XIX (Delacour), liasse 918.
Étude XVI (Dufouleur), liasses 885, 896, 900, 908.
Étude XVI (Deloche successeur de Dufouleur), liasses 919, 921, 983.

Архив Министерства иностранных дел

Мемуары и документы (Mémoires et documents): France 1741, f^os 147–152.
Политическая переписка (Correspondance politique): Cologne 73 à 76.
Naples 98 et 99.
Rome 874.

Национальная библиотека (Рукописи)

NAF. 24384–24393: Papiers Maurice Heine.
NAF. 18312 [MF. 3090]: Lettres de Sade.
NAF. 18880–18881: Archives Alfred Bégis.
NAF. 4388: Journal du marquis d'Albertas.
FF. 6680–6687: Mes loisirs ou Journal d'événements tels qu'ils parviennent à ma connaissance par le libraire parisien S.-P. Hardy. (1754–1789).
Отдел генеалогии (Cabinet des titres): Pièces originales: 1739 (Longeville), 2039 (Montrosier), 2441 et 2426.
Dossiers bleus: 401 (Longeville), 554 et 558 (Raimond).
Carrés d'Hozier: 650 (Longeville), 525 et 528 (Raimond).
Cabinet d'Hozier: 215 (Longeville), 284 et 285 (Raimond).
Nouveau d'Hozier: 213 (Longeville), 279 et 280 (Raimond).

Библиотека Арсенала

Ms. Archives de la Bastille: 10255: Dossier Comte de Sade.
10265: Dossier Abbé de Sade.
11636–11637: Henry Baumez.
12492: Lettres des lieutenants généraux de police aux gouverneurs et majors de la Bastille.
12495: Correspondance avec la lieutenance de police.
12517.
12455–12456.

Библиотека Мазарини

Ms. 2383: Recueil d'anecdotes littéraires et politiques (1768).
2394: Nouvelles à la main.
3442–3445: *Remerville J.-F. de*. Histoire de la ville d'Apt. [s. l.], 1690.

Архив префектуры полиции

Carton 17, pièces 345 et 373.
Carton 18, pièces 27 et 28.
Carton 26, pièce 168.
Aa 8, 5^e carton, dossier № 2.
Aa 28.

Carton Aa 208, pièce 112.
Carton Aa 209, pièce 72.
Carton Aa V, pièce 566.

Архив театра Комеди Франсэз

Registre 124[14].

Историческая библиотека города Парижа

Mss. 627, 628, 773, 777, 809.
NA. 144.

Библиотека Чекиано (г. Авиньон)

Mss. 2345, 2557, 2805, 3050, 3467, 3471, 3673, 4172, 4191, 4344, 4358, 5231, 5491, 5618, 5869, 6169, 6297, 6317.
Autographes REQUIEN.
Fonds Jouve, ms. 6600, f[os] 52 à 112.

Архив департаментов

Aisne : Série E (Dravegny) 1 E 298/1 et 1 E 298/2.
Bouches-du-Rhône: Police. Ordres du, roi. C. 4156.
Marne: Série H – 19 H (Abbaye d'Igny).
19 H 8: Biens. 6–20: Baux de divers biens des religieux (1757–1786).
23: Arpentage de tous les biens.
19 H 31: Extrait d'un contrat d'échange entre les religieux et Jean de Vertus, seigneur de Dravegny (1603).
19 H 32: 1–8: Cens de Longeville.
Val-de-Marne: A.J.[2] 25 à 27 A.J.[2] 95, A.J.[2] 100, 1 J 244, 15 Fi P.F. 8718.
Tables décennales-Charenton-Décès, 1792–1859: 5 E 19.
Répertoire des actes et contrats reçus par le citoyen Pierre Finot, notaire à Charenton: 2 E – Et. CXXVI, 62, 64, 67, 68, 69, 78, 86, 87, 88, 93.
Vaucluse: J. 87.
Divers 81 (Étude Geoffroy – Apt).
2 L. 44 № 65 et 2 L. 47 № 217 (Fonds du district d'Apt. Certificats de résidence).

Муниципальный архив

Versailles: R[2] 2170.
S 486.

Библиотека города Реймса

Collection TARBÉ: XVIII, 222–228.

Карлсруэ

Generallandesarchiv Karlsruhe, cote A 15 5A, Corr. 69.

Мюнхен

Bayerisches Hauptstaatsarchiv. OP 74811, 81345.

Вена

Österreichisches Staatsarchiv. 7 F.A. Sammelbände.

II. Источники печатные

Affiches, Annonces et avis divers ou Journal général de France.

Almanach royal.

Argenson, marquis d'. Mémoires et journal inédit: En 5 vol. P.: Jannet, 1857–1858. (Bibliothèque elzévirienne); *Argenson, marquis d'*. Mémoires et journal inédit: En 9 vol. P.: E.-J.-B. Rathery, 1859–1867.

Aunillon, abbé. Mémoires de la vie galante, politique et littéraire de l'abbé Aunillon Delaunay du Gué, ambassadeur de Louis XV près le prince électeur de Cologne: En 2 vol. P.: 1808.

Bachaumont. Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des lettres en France, depuis 1762 jusqu'à nos jours ou Journal d'un observateur: En 36 vol. L., 1777–1787.

Barbier E.J.F. Chronique de la régence et du règne de Louis XV (1718–1763): En 8 vol. P.: Charpentier, 1885.

Barras P.F.J.N., vicomte de. Mémoires / Éd. George Duruy. P.: Hachette, 1895.

Casanova G., Mémoires: En 3 vol. / Éd. R. Abirached, E. Zorzi. P.: Gallimard. (La Pléiade)

Choiseul E.F., duc de. Mémoires. P.: Mercure de France, 1983.

Clairambault-Maurepas. Chansonnier historique du XVIII^e^ siècle: En 10 vol. / Éd. E. Raunié. P.: Quantin, 1879–1884.

Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc.: En 16 vol. / Ed. M. Tourneux. P., 1877–1882.

L'Enfer de la Bibliothéque nationale. P.: Fayard, 1984–1988.

Flore, Mlle. Mémoires de Mlle Flore, artiste du théâtre des Variétés: En 3 vol. P.: Comptoir des Imprimeurs-unis, 1845; Rééd. 1903.

Gazette de France.

Hurard Saint-Désiré. Mes amusemens dans la prison de Sainte-Pélagie. P.: De l'Imprimerie d'Éverat, An X [1801].

Labouisse-Rochefort A. Voyage à Saint-Léger, campagne de M. le chevalier de Boufflers, suivi du voyage à Charenton et des notes contenant des particularités sur toute la famille Boufflers <...>. P.: C.-J. Trouvé, 1827. P. 149–170.

Luynes, duc de. Mémoires sur la cour de Louis XV (1735–1758): En 17 vol. P.: Didot, 1860–1865.

Marais M. Journal et Mémoires: En 4 vol. / Publés par M. de Lescure. P., 1863–1868.

Marion M. Dictionnaire des institutions de la France aux XVII^e^ et XVIII^e^ siècles. P.: A. Picard, 1923.

Mercier L.-S. Tableau de Paris: En 12 vol. Amsterdam, 1782–1788.

Mercier L.-S. Le Nouveau Paris: En 6 vol. Fuchs; Pougens; Cramer; P.: Mercure de France, [1798].

Mirabeau H.G.R., comte de. Des lettres de cachet et des prisons d'État: Ouvrage posthume composé en 1778: En 2 vol. Hambourg [Paris], 1782.

Mirabeau H.G.R. comte de. Lettres originales de Mirabeau, écrites du donjon de

Vincennes pendant les années 1777 à 1780 et contenant tous les détails de sa vie privée, ses malheurs et ses amours avec Sophie de Monnier, recueillies par P. Manuel, citoyen français: En 4 vol. P.: Garnery, 1792.
Nodier Ch. Souvenirs, Épisodes et Portraits de la Restauration et de l'Empire: En 2 vol. P., 1831.
Pidansat de Mairobert M.F. L'Observateur anglais ou Correspon dance secréte entre Milord All'Eye et Milord All'Ear: En 4 vol. L., 1777–1778.
Recueil des Instructions aux ambassadeurs et ministres de France. P.: CNRS, [s. d.].
Richelieu, maréchal de. Mémoires: En 2 vol. / Éd. par F. Barrière. P.: Firmin-Didot, 1889.
Rochefort A. de. Mémoires d'un vaudevilliste. P.: Charlieu et Huillery, 1863.
Sade J.F.P.A., abbé de. Mémoires pour la vie de François Pétrarque: En 3 vol. Amsterdam [Avignon]: Arskée et Mercus, 1764–1767.
Saint-Simon, duc de. Mémoires: En 43 vol. / Publiés par A. de Boislisle, L. Lecestre. P., 1879–1930.
Voltaire (Arouet F.-M., dit). Correspondance: En 12 vol. / Éd. Th. Besterman. P.: Gallimard, [s. d.]. (Pléiade)

III. Монографии

Chanover E.P. The Marquis de Sade: Bibliography. Metuchen (NJ): The Scarecrow Press, 1973.
Cioranescu A. Bibliographie de la littérature française du dix-huitième siècle: En 3 vol. P.: CNRS, 1969.
Festa G. Les Études sur le marquis de Sade: Contribution à une bibliographie analytique: Thèse 3[e] cycle. Clermont: Université de Clermont-II, 1981.
Martin A., Mylne V.-G., Frautschi R. Bibliographie du genre romanesque français, 1751–1800. L.; P., 1977.
Verger-Michael C. The Marquis de Sade, the man, his works and his critics: An annoted bibliography. N. Y.: Garland, 1986.

IV. Сочинения маркиза де Сада

Bourdin P. Correspondance inédite du marquis de Sade, de ses proches et de ses familiers. P.: Librairie de France, 1929.
Sade D.A.F., marquis de. Œuvres complétes: En 8 vol. P.: Cercle du livre précieux, 1966–1967.
Idem. L'Aigle, Mademoiselle...: Lettres publiées pour la première fois sur les manuscrits autographes inédits / Avec une préface et un commentaire par G. Lely. P.: Georges Artigues, 1949.
Idem. La Vanille et la Manille: Lettre inédite à Madame de Sade écrite au donjon de Vincennes en 1783 [en réalité fin 1784]. [P.], 1950. (Coll. Drosera).
Idem. Cahiers personnels (1803–1804) / Textes inedits, etablis, préfacés et annotés par G. Lely. P.: Corrêa, 1953.
Idem. Monsieur le 6 / Lettres inédites, publiées et annotées par G. Daumas. P.: Julliard, 1954.
Idem. Mon arrestation du 26 août: Lettre inédite suivie des Étrennes philosophiques. P.: Jean Hugues, 1959.
Idem. Journal inédit: Deux cahiers retrouvés du Journal inédit du marquis de Sade (1807, 1808, 1814), suivis en appendice d'une notice sur l'hospice de Charenton par

Hippolyte de Colins / Publiés pour la première fois sur les manuscrits autographes inédits, avec une préface de G. Daumas. P.: Gallimard, 1970. (Idées)
Idem. Théâtre: En 4 vol. / Ed. J.-J. Brochier. P.: J.-J. Pauvert, 1970.
Idem. Le Portefeuille du marquis de Sade / Textes rares et précieux présentés par G. Lely. P.: La Différence, 1977.
Idem. Lettres et mélanges littéraires. P.: Borderie, 1980.
Idem. Lettre au commissaire Chenon, 19 juillet 1789 / Présentée par J.-L. Debauve. [s. l.]: A l'Écart, 1985.
Idem. Œuvres / Édition établie par M. Delon. P.: Gallimard, 1990 (Pléiade)
Idem. Lettres inédites et documents retrouvés / Éd. par J.-L. Debauve. P.: Ramsay; J.-J. Pauvert, 1990.

V. Литература

Alméras H. d'. Le Marquis de Sade: l'homme et l'écrivain, d'après des documents inédits, avec une bibliographie de ses oeuvres. P.: Albin Michel, 1906.
Amargier J.-P. Sade et la Révolution française: Mémoire de maîtrise. [s. l.], 1969.
Antoine M. Le Gouvernement et l'administration sous Louis XV: Dictionnaire biographique. P.: CNRS, 1978.
Apollinaire G. L'Œuvre du marquis de Sade. P., 1909. (Collection des classiques galants «Les Maîtres de l'amour»)
Artarit J., Dr. Sade et la Vendée // Annuaire de la Société d'émulatiôn de la Vendée. [s. l.], 1985. P. 111–121.
Baratier. Histoire de la Provence. Toulouse: Privat, 1987.
Barthes R. Sade, Fourier, Loyola. P.: Seuil, 1971.
Bataille G. La Littérature et le mal. P.: Gallimard, 1957.
Beaumont-Vassy É.F., vicomte de. Mémoires secrets du XIX[e] siècle. P., 1874.
Beauvoir S. de. Faut-il brûler Sade? P.: Gallimard, 1972. (Idées)
Béliard O., Dr. Le Marquis de Sade. P.: Du Laurier, [1928].
Benabou E.-M. La Prostitution et la police des moeurs àu XVIII[e] siécle. P.: Perrin, 1987.
Berman L. The Thought and themes of the marquis de Sade. Toronto: University of Toronto, 1971.
Bidet Ch., Dr. D'Ébreuil à Châteauneuf: la vallée de la Sioule: Ébreuil et son abbaye. Clermont; Ferrand: G. de Bussac, 1973.
Biographie universelle ancienne et moderne (biographie Michaud). [s. l.], 1825. T. XXXIX. P. 472–480. Новое изд.: 1863. T. XXXVII. P. 219–224.
Biver P. et M.-L. Abbayes, monastères, couvents de femmes à Paris, des origines à la fin du XVIII[e] siècle. P.: PUF, 1975.
Blanchot M. L'inconvenance majeure, préface à: Sade, Français, encore un effort... P.: J.-J. Pauvert, 1965. № 28. (Libertés)
Blanchot M. L'insurrection, la folie d'écrire. P.: Gallimard, 1969. Перепечатано в изд.: Sade et Restif de La Bretonne. Bruxelles: Complexe, 1986.
Blanchot M. La Raison de Sade // Lautréamont et Sade. P.: Minuit, 1963. Перепечатано в изд.: Sade et Restif de La Bretonne. Bruxelles: Complexe, 1986.
Bonnet. La Carmagnole des muses: L'homme de lettres et l'artiste dans la Révolution. P.: A. Colin, 1988.
Bournon F. La Bastille. P.: Imprimerie nationale, 1893.
Boysse E. Le Théâtre des Jésuites. P.: Henri Vaton, 1880.
Breton A. Manifestes du surréalisme. P: J.-J. Pauvert, 1962.
Brochier J.-J. Le Marquis de Sade et la conquête de l'unique. P.: Losfeld, 1966. (Le Terrain vague).

Brochier J.-J. Sade: Classiques du XX[e] siècle. [s. l.]: Universitaires, 1966.
Cabanès, Dr. Cabinet secret de l'histoire, quatrieme série. P.: A. Maloine, 1900.
[*Cabanès, Dr.*]. Le Marquis de Sade et son oeuvre devant la science médicale et la littérature moderne / Par le Dr. Jacobus X... P.: Carrington, 1901.
Campion L. Sade franc-maçon. P.: Cercle des. amis de la Bibliothèque initiatique, 1972.
Camus A. L'Homme révolté. P.: Gallimard, 1951.
Camus M. Sade // Obliques. P., 1979. № 12–13.
Carter A. The Sadeian woman. L.: Virago, 1979.
Chérasse J.A., Guicheney G. Sade, j'écris ton nom Liberté. P.: Pygmalion, 1976.
Cleugh J. The Marquis and the Chevalier. L.: Andrew Melrose Ltd., 1951.
Cormann E. Sade, concert d'enfers. P.: Minuit, 1989.
Darnton R. Les papiers du marquis de Sade et la prise de la Bastille // Annales historiques de la Révolution française. 1970. № 202. Octobre-décembre. P. 666.
Delpech J. La Passion de la marquise de Sade. P.: Planète, 1970.
Desbordes J. Le vrai visage du marquis de Sade. P.: De la Nouvelle Revue Critique, 1939.
Didier B. Sade: Une écriture du désir. P.: Denoël / Gonthier, 1976.
Du Bus Ch. Stanislas de Clermont-Tonnerre et l'échec de la Révolution monarchique (1757–1792). P.: F. Alcan, 1931.
Duchesne G. Mademoiselle de Charolais. P.: H. Daragon, 1909.
Duehren [*Eugène; pseud de Dr. Iwan Bloch*]. Le Marquis de Sade et son temps / Tr. de l'allemand par le Dr. A Weber-Riga; Préface U. d'Octave. Berlin; Barsdorf; Paris; Michalon, 1901.
Dufour A., Rabut F. Miolans, prison d'État // Société savoisienne d'Histoire et d'Archéologie. Chambéry: Botters, 1879. T. XVIII.
Esquirol J.É.D. Mémoire historique et statistique sur la maison royale de Charenton. P., 1835.
Fauskevag S.-E. Sade dans le surréalisme. [s. l.]: Solum Forlag; Privat France, [1982].
Fauville H. La Coste. Sade en Provence. Aix-en-Provence: Édisud, 1984.
Favre P. Sade utopiste: Sexualité, Pouvoir et État dans le roman «Aline et Valcour». P.: PUF, 1967.
Fayot P., Tiran C. Mazan: Histoire et vie quolidienne d'un village comtadin à travers les siècles. Carpentras: Le Nombre d'or, 1978.
Felkay N. Quelques documents sur le marquis de Sade aux Archives de Paris // Annales d'Histoire de la Révolution française. 1971. Janvier-mars. P. 130–143.
Fin de l'Ancien Régime (La): Manuscrits de la Révolution: Sade, Rétif, Beaumarchais, Laclos. Vincennes: Presses universitaires de Vincennes, 1991.
Flake O. Le Marquis de Sade / Tr. de l'allemand par Pierre Klossowski. P.: Grasset, 1933.
Fould P. Un diplomate au dix-huitième siècle: Louis-Augustin Blondel. P.: Plon, 1914.
Funck-Brentano F. Les Lettres de cachet à Paris: Étude suivie d'une lisle des prisonniers de la Bastille (1659–1789). P.: Imprimerie nationale, 1903.
Furet F., Richet D. La Révolution française. P.: Fayard, 1973. (L'Histoire sans frontiéres).
Furet F., Ozouf M. Dictionnaire critique de la Révolution française. P.: Flammarion, 1988.
Garçon M. L'Affaire Sade. P.: J.-J. Pauvert, 1957.
Gear N. Sade, le divin démon. P.: Buchet-Chastel, 1964.
Ginisty P. La Marquise de Sade. P.: Charpentier, 1901.
Girard J. Évocation du vieil Avignon. P.: Minuit, 1958.

Giraudy Ch.-Fr. S. Mémoire sur la maison nationale de Charenton, exclusivement destinée au traitement des aliénés. P., an XII [1804].
Giudici E. Bilancio di una annosa questione: «Maurice Scève e la scorpeta della tomba di Laura» // Quaderni di filologia e lingue romanze: Ricerche svolte dall'Universita di Macerata. Macerata: Edizioni dell'Ateneo, 1980. Vol. II. P. 3–70.
Godechot J. La Contre-révolution (1789–1804). P.: PUF, 1984. (Qua-drige)
Gorer G. The Revolutionary ideas of the marquis de Sade. L.: Wishart & Co, 1934.
Harouel J.-L. De l'Ancien Régime à la Révolution // Histoire des institutions, de l'époque franque à la Révolution. P.: PUF, 1987.
Heine M. Le Marquis de Sade / Texte établi et préfacé par G. Lely. P: Gallimard, 1950.
Henaff M. Sade: L'invention du corps libertin. P.: PUF, 1978.
Janin J. Le Marquis de Sade // Revue de Paris. 1834. Novembre. T. XI. P. 321–360.
Jean R. Un portrait de Sade. Actes-Sud, 1989.
Klossowski P. Sade mon prochain. P.: Seuil, 1947.
Krafft-Ebing R. von., Dr. Psychopathia sexualis / Tr. fr. par R. Lobstein. P.: Payot, 1950. (Bibliothèque scientifique)
Laborde A. M. Le Mariage du marquis de Sade. P.: Champion; Genève: Slatkine, 1988.
Laborde A. M. Les Infortunes du marquis de Sade. P.: Champion, 1990.
Laborde A. Sade romancier. Neuchâtel: A la Baconnière, 1974.
Lacan J. Écrits II. P.: Seuil, 1971.
Lacombe R.G. Sade et ses masques. P.: Payot, 1974.
Lacroix P. Curiosités de l'histoire de France. P.: Adolphe Delahaye, 1858. (2[e] série: «Procès célèbres)
Lambergeon S. Un Amour de Sade: La Provence. Avignon: A. Barthélemy, 1990.
Laugaa-Traut F. Lectures de Sade. P.: A. Colin, 1973.
Laval V., Dr. Lettres inédites de J.-S. Rovère à son frère Simon-Stylite. P.: Champion, 1908.
Le Brun A. Les Châteaux de la subversion. P.: J.-J. Pauvert, 1982.
Le Brun A. Soudain un bloc d'abîme, Sade. P.: J.-J. Pauvert, 1986.
Le Brun A. Sade, aller et détours. P.: Plon, 1989.
Lely G. D.-A.-F. de Sade. P.: Seghers, 1948.
Lely G. Sade: Étude sur sa vie et sur son ceuvre. P.: Gallimard, 1967. (Idées)
Lely G. Vie du marquis de Sade, avec un examen de ses ouvrages. P.:
Gallimard, 1952–1957; Переизд. в составе: *Sade D.A.F.* Œuvres completes. P.: Cercle du livre précieux, 1962. T. 1; 1966. T. 2; 1962–1966. T. I–II; P.: J.-J. Pauvert; Suger, 1982; Ibid. P.: Mercure de France, 1989.
Lever M. Le Marquis de Sade à Charenton // Psychiatrie française. 1989. № 1/89.
Lever M. Sade, le marquis «sans-culotte» (1789–1795) // L'Histoire. 1988. № 113. Juillet-août.
Lever M. Les Bûchers de Sodome. P.: Fayard, 1985.
Lever M. Ange Goudar: Quatre lettres inédites au marquis de Sade // Dix-huitième sicle. 1991. № 23.
Lize É. A travers les chiffons d'Alexis Rousset // Revue d'Histoire littéraire de la France. 1978. № 3. P. 439–440.
Lumière H. Le Théâtre français pendant la Révolution. P.: Dentu, [1894].
Macchia G. Paris en ruines. P.: Flammarion, 1988.
Manuel P. La Police de Paris dévoilée: En 2 vol. P.: Garnery, an II [1793].
Marciat, Dr. Le Marquis de Sade et le sadisme. Lyon: Storck & Cie, 1899.
Marmottan N. Le Pont d'Avignon, le petit pâtre Bénézet. Cavaillon: Imprimerie Mistral, 1964.

Marquis de Sade (Le). Centre Aixois d'Études et de Recherches sur le XVIII[e] siècle. P.: A. Colin, 1968.
Mars F.-L. Ange Goudard, cet inconnu (1708–1791): Essai bio-bibliographique sur un aventurier polygraphe du XVIII[e] siècle. Отрывок из работы: *Mars F.-L.* Casanova Gleanings // Revue intemationale d'Etudes casanoviennes et dix-huitiémistes. Nice, 1966. № 9.
Mellie E. Les Sections de Paris pendant la Révolution française. P.: Société de l'Histoire de la Révolution française, 1898.
Mendel G. La Révolte contre le père. 4[e] éd. P.: Petite Bibliothèque Payot, 1974. Chap. VII: Sade et le sadisme.
Michelet J. Histoire de la Révolution française: En 2 vol. P.: Laffont. (Bouquins)
Mishima Y. Madame de Sade: Version francaise d'André Pieyre de Mandiar-gues. P.: Gallimard, 1976.
Moulinas R. Histoire de la Révolution d'Avignon. Aubanel, 1986.
Moureau F. Sade avant Sade // Cahiers de l'UER Froissart. Valenciennes: Université de Valenciennes. 1980, № 4. Hiver.
Nadeau M. Exploration de Sade // Marquis de Sade. Œuvres. P.: La Jeune Parque, 1947. № 3. P. 9–58. (Le Cheval parlant)
Neboit-Mombet J., Dr Qui était le marquis de Sade? P.: Le Pavilion, 1972.
Paulhan J. Le Marquis de Sade et sa complice ou Les Revanches de la pudeur. Bruxelles: Complexe, 1987. (Le Regard littéraire)
Pauvert J.-J. Sade vivant: En 3 vol. P.: Robert Laffont, 1986. T. I: Une innocence sauvage 1740–1777; 1989. T. II: Tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre-là...; 1990. T. III: Cet écrivain à jamais célèbre... .
Peise L. Rovère et le marquis de Sade // Revue historique de la Révolution française. 1914.
Pensée de Sade (La) // Tel Quel. 1967. № 28. Hiver.
Perraudeau H. Saint-Ouen pendant la Révolution. P.: 1912.
Petits et grands théâtres du marquis de Sade. P.: Art Center, 1989.
Peuchet J. Mémoires tirés des archives de la police de Paris: En 3 vol. P., 1838.
Pinon P. L'Hospice de Charenton, temple de la raison ou folie de l'archéologie. Liège: Mardaga, 1989.
Pithon-Curt J.-A., abbé de. Histoire de la noblesse du Comtat Venaissin, d'Avignon et de la principauté d'Orange, dressée sur les preuves: En 3 vol. P.: Veuve de Lourmel et fils, 1750.
Piton C. Paris sous Louis XV: En 5 vol. P.: Mercure de France, 1911–1914.
Pitou L.-A. Analyse de mes malheurs et de mes persécutions depuis vingt-six ans. P.: Chez L.-A. Pitou, Pelicier-Delaunay, 1816.
Poisson G. Choderlos de Laclos ou l'obstination. P.: Grasset, 1985.
Porquet Ch. Le Château de Béthune // Revue d'Histoire de Versailles. 1909.
Queneau R. Lectures pour un front (23 sept. 1944–12 nov. 1945) // Bâtons, chiffres et lettres. P.: Gallimard, 1950.
Roger Ph. Sade: La philosophie dans le pressoir. P.: Grasset, 1976.
Roger Ph. Sade et la Révolution / Éd. J. Sgard // L'Écrivain devant la Révolution. 1789–1820. Grenoble: Presses de l'université de Grenoble, 1990.
Roger Ph. Rousseau selon Sade ou Jean-Jacques travesti // Dix-huitième siècle. 1991. № 23. P. 381–403.
Sade: Écrire la crise / Ed. M. Camus, Ph. Roger. P.: Belfond, 1983.
Sade // Revue Europe. 1972. Octobre.
Sade Th. de Lecture politique de l'idéologie du marquis de Sade, ou des systèmes politiques raisonnés: Mémoire pour le DEA d'Études politiques. [s. l.], 1982.

Sérieux P., Dr. L'Internement du marquis de Sade au fort de Miolans // Hippocrate. 1937. Sept.-oct. P. 385–401, 465–482.
Soboul A. Précis d'histoire de la Révolution française. P.: Éditions sociales, 1975.
Soboul A. Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire en l'an II (1793–1794). P.: Flammarion, 1973.
Sollers Ph. L'Écriture et l'expérience des limites. P.: Seuil, 1971. (Points)
Thomas Ch. Sade, l'ceil de la lettre. P.: Payot, 1978.
Thomas D. The Marquis de Sade. L.: Weidenfeld & Nicolson, 1976.
Tulard J., Fayard J.-F., Fierro A. Histoire et dictionnaire de la Révolution française 1789–1799. P.: Laffont, 1987.
Vaille E. Le Cabinet noir. P.: Presses Universitaires de France, 1950.
Vovelle M. De la cave au grenier. Québec: S. Fleury, 1980.
Weiss P. La Persécution et l'assassinat de Jean-Paul Marat représentés par le groupe théâtral de l'hospice de Charenton sous la direction de Monsieur de Sade / Tr. de l'allemand par J. Baudrillard. P.: Seuil, 1965.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Морис Левер
Маркиз де Сад / Пер. с фр. Е.В. Морозовой. – М.: Ладомир, 2006. – 963 с.
ISBN 5-86218-463-5

Д.-А.-Ф. де Сад до сих пор остается заложником собственной легенды. У одних этот «гений порока» вызывает ужас, другие его боготворят.

Из всего написанного об «отце садизма» книга М. Левера, пожалуй, самая подробная и глубокая. В ней впервые, на основании последних исторических изысканий и обнародования ранее неизвестных документов, жизнь маркиза описана без ложного стыда, а взгляды и поступки проанализированы честно и беспристрастно. Ему не выносят приговор и в то же время его и не реабилитируют. Вместо этого делается попытка раскрыть сущность этой крайне противоречивой личности, сформировавшейся под диктовку своей среды и своего времени и отразившей их в себе, как в зеркале. М. Левер демистифицирует скандального автора «Жюстины», «Философии в будуаре» и «Ста дней Содома», возвращая ему человеческое лицо. Мы видим, что де Сад очень похож на многих персонажей своих романов. Он так же одержим комплексами, так же надменен и очень, очень одинок...

Научное издание

Морис Левер

МАРКИЗ ДЕ САД

Редактор *А.В. Дорошев*

Корректоры *Г.Н. Володина*, *О.Г. Наренкова*, *Н.М. Соколова*

Компьютерная верстка *И.В. Котанчан*

ИД № 02944 от 03.10.2000 г.
Сдано в набор 15.09.2005. Подписано в печать 20.12.2005
Формат 60x90 $^{1}/_{16}$. Бумага офсетная № 1
Гарнитура «Баскервиль»
Печать офсетная. Печ. л. 60,5
Тираж 2000 экз. Заказ № 389

Научно-издательский центр «Ладомир»
124681, Москва, Заводская, 6а
Тел. склада: (495) 533-84-77. E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
lomonosowbook@mtu-net.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

М.И. АРМАЛИНСКИЙ

«Чтоб знали!»:
Избранное

Михаил Армалинский — один из немногих русских авторов, в чьем творчестве столь откровенно представлена проблема сексуальных взаимоотношений во всем их спектре — от грубых случайных соитий до мучительно-утонченных любовных историй.

«А СЁ ГРЕХИ ЗЛЫЕ, СМЕРТНЫЕ...»

Русская семейная и сексуальная культура глазами историков, этнографов, литераторов, фольклористов, правоведов и богословов XIX—начала XX века

Книги 1—3

Первые три книги многотомного проекта по систематической публикации наиболее значимых работ отечественных деятелей науки и культуры XIX — начала XX века, посвященных различным аспектам сексуальности в жизни русских на протяжении многовековой истории нашего народа.

Собранные вместе, эти малоизвестные тексты (многие из которых — уникальные свидетельства очевидцев) позволяют по-новому взглянуть на то, как жили и любили наши предки, что считали дозволенным и запретным в отношениях между мужчиной и женщиной, что публично осуждали, а на что попросту не обращали внимания.

Некоторые темы, затрагиваемые в рамках настоящего проекта (семейные зверства, религиозное мракобесие вкупе с сексуальной вседозволенностью и половыми извращениями, бытовая и регламентированная проституция), могут показаться сенсационными, тенденциозно подобранными и даже шокирующими, вплоть до полного неприятия. Но такова была жизнь на Руси, и чем глубже мы будем знать свое прошлое, тем лучше поймем настоящее.

С.И. ГОЛОД

«Что было пороками, стало нравами»:
Лекции по социологии сексуальности

Новейшая книга ведущего российского ученого посвящена генезису и трансформации сексуальной морали в нашей стране, утрате браком монопольного контроля за сексуальностью, расширению зон, параллельных «парным» (в том числе и нелегитимных) эротическим практикам.

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
планирует к изданию

Серия «Русская потаенная литература»

В.М. ГНАТЮК

Байки не для печати:
Украинский соромской фольклор

Сегодня мало кто не знаком с «Народными русскими сказками не для печати», собранными А.Н. Афанасьевым. Но мировая фольклористика знает еще два столь же масштабных собрания — «заветных» сказаний южных славян из коллекции Ф.-С. Краусса и украинского непристойного фольклора из собрания В. Гнатюка.

Эти ставшие легендарными (в силу своей скандальности и недоступности) собрания публиковались лишь единожды, в начале XX в. в Лейпциге мизерными тиражами «для специалистов». Но даже эта оговорка не спасла их — по указке цензуры книги были уничтожены. Считанные экземпляры сохранились лишь в крупнейших библиотеках мира.

ФР.-С. КРАУСС

Заветные истории южных славян

В самом начале минувшего века известный австрийский этнограф доктор Фридрих Соломон Краусс задался целью собрать эротический фольклор славянских народов, входивших тогда в состав Австро-Венгерской империи. Одним из объектов его научных интересов стал Балканский полуостров, куда он и отправился записывать заветные рассказы и анекдоты. Большую помощь в экспедиции ему оказывали южнославянские коллеги. В результате удалось собрать богатейший материал и прежде всего — исторические байки, в которых фигурируют два популярных сербских героя — королевич Марко и князь Милош с их знаменитыми сексуальными подвигами. В книге много и обыденных народных анекдотов из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины. В переводе сохранена вся ненормативная лексика оригинальных текстов.



МАРКИЗ ДЕ САД

МОРИС ЛЕВЕР

Маркиз де Сад до сих пор остается заложником собственной легенды. У одних этот «гений порока» вызывает ужас, другие его боготворят.

Из всего написанного об «отце садизма» книга М. Левера, пожалуй, самая подробная и глубокая. В ней впервые, на основании последних исторических изысканий и обнародования ранее неизвестных документов, жизнь маркиза описана без ложного стыда, а взгляды и поступки проанализированы честно и беспристрастно. Ему не выносят приговор и в то же время его и не реабилитируют. Вместо этого делается попытка раскрыть сущность этой крайне противоречивой личности, сформировавшейся под диктовку своей среды и своего времени и отразившей их в себе, как в зеркале. М. Левер демистифицирует скандального автора «Жюстины», «Философии в будуаре» и «Ста дней Содома», возвращая ему человеческое лицо. Мы видим, что де Сад очень похож на многих персонажей своих романов. Он так же одержим комплексами, так же надменен и очень, очень одинок...


ISBN 5-86218-463-5
9 785862 184631